



Евгений Арнольдович Хелимский родился в 1950 году в Одессе. Выпускник ОСиПЛ филологического факультета МГУ (1972) и аспирантуры Института славяноведения и балканистики АН (1978). В годы обучения — под особенным влиянием А. И. Кузнецовой, А. Б. Долгопольского, А. А. Зализняка, Вяч. Вс. Иванова — сформировался круг научных интересов, отраженный в данной книге: экспедиционное изучение самодийских языков, сравнительно-историческая уралистика и ностратика, история языковых и этнокультурных контактов в славяно-урало-алтайском языковом пространстве, лингвистическое источниковедение.

Кандидат (1979), доктор (1988) филологических наук, действительный член Российской академии естественных наук (1990). Автор семи монографий и около 450 других научных публикаций. Работал в Институте славяноведения и балканистики АН, в Российском государственном гуманитарном университете. С 1998 г. — профессор, директор Института финноугроведения/уралистики Гамбургского университета.

Е. А. ХЕЛИМСКИЙ

КОМПАРАТИВИСТИКА, УРАЛИСТИКА

ЛЕКЦИИ И СТАТЬИ



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2000

ББК 81.2
X 36

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 98-04-16026

Хелимский Е. А.

X 36 Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. — М.:
Языки русской культуры, 2000. — 640 с. — (Studia philologica).

ISBN 5-7859-0157-9

Изучение лингвистическими средствами этнокультурной истории Северной Евразии — так, в наиболее общем виде, можно обозначить тематику большинства статей и лекций авторского сборника Евгения Хелимского. Эти работы сгруппированы в пять взаимосвязанных разделов: «Самодийские народы, языки и культуры» (полевая работа на самодийском Севере служит отправной точкой многих исследований автора), «Уралистика», «Алтаистика. Самодийско-алтайские языковые контакты», «Славистика. Славяне и финно-угры. Русский язык в Северной Евразии», «Ностратика. Ранние индоевропейско-уральские связи». Во многих случаях рассмотрение частных вопросов праязыковой реконструкции и этимологии сочетается с экскурсами в область теории и методологии сравнительно-исторических исследований.

Тематическая и дисциплинарная многоплановость позволяет рассматривать сборник не только как научное издание, но и как учебное пособие для студентов, интересующихся лингвистической компаративистикой, уральскими языками, историей и культурой народов Северной Евразии — это подтверждает и лекционный опыт автора в российских и зарубежных университетах.

ББК 81.2

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su) the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-7859-0157-9



9 785785 901575 >

© Е. А. Хелимский, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	9
-----------------	---

Самодийские народы, языки и культуры

Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев	13
Очерк истории самодийских народов	26
Phonological and morphological properties of quantity in Samoyed	41
Прасамодийские серии посессивов и их рефлексy	45
Об одном переходном северносамодийском диалекте	50
Установление диалектной принадлежности энецких материалов	56
The Enets text of the Lord's prayer from Witsen's book	60
К исторической диалектологии селькупского языка	68
Критерии классификации диалектов селькупского языка	80
Этимологические заметки по энецкой ономастике	82
Силлабика стиха в нганасанских иносказательных песнях	94
Загадки-иносказания в нганасанском фольклоре	110
Номинативная мини-загадка: на стыке загадки, метафоры и лексического субститута	118
Глубинно-фонологический изосиллабизм ненецкого стиха	125
Does the language of spirits influence the development of human language?	155
Заемствования из православной религии и советской идеологии в ритуальной практике нганасанского шамана	159
Нганасанский язык как литературный: размышления по поводу литературных языков	161

Уралистика

Proto-Uralic gradation: continuation and traces	167
Bisyllabic consonantal and trisyllabic vocalic stems in Finno-Permian and further	191
Прасамодийские *ə и *ä: прауральские источники и нганасанские рефлексy	196
Протосаамский и самодийский: корпус этимологий в свете современных данных самодистики	202
Правило Хонти для венг. <i>fészek</i> и его аналог в маторском языке	218
Г. Ф. Миллер и венгерская этимологическая традиция	221
Мифология и религия уральских народов	230

Алтаистика.

Самодийско-алтайские языковые контакты

Решение дилемм пратюркской реконструкции и ностратика	243
Происхождение древнетюркского чередования <i>r~z</i> и дилемма «ротацизма-зетацизма»	256
A distinctive feature which became a phoneme: the case of Monguor	267
On probable Tungus-Manchurian origin of the Buyla inscription from Nagy-Szentmiklós.....	268
Самодийско-тунгусские лексические связи и их этноисторические импликации.....	278
К истории этноязыковой ситуации в центре Азии: данные маторско-тайгийско-карагасского языка.....	284
On the interaction of Mator with Turkic, Mongolic, and Tungusic: a rejoinder	292
Самодийские лексические заимствования в тюркских языках: этимологии и оценка их достоверности.....	301
Тюркские лексические раритеты в маторском языке.....	313
Нганасанские заимствования в долганском языке: к выходу в свет долганского словаря М. Стаховского.....	320

Славистика.

Славяне и финно-угры.

Русский язык в Северной Евразии

* <i>Vele</i> , * <i>bolje</i>	325
Славянские (новгородско-псковские) заимствования в прибалтийско- финских языках: -а и -и в рефлексах имен мужского рода.....	331
К интерпретации древнерусских текстов: 1. нарцы; 2. шестники.....	333
О прибалтийско-финском языковом материале в новгородских берестяных грамотах	338
О нескольких лексических реликтах новгородской и севернорусской колонизации	349
Фактор Мангазейского морского хода в этнонимии и топонимии.....	351
Rossica: Этимологические заметки.....	353
Два <i>šišá</i> : Turkic <i>šiš(ik)</i> and Fennic <i>hisi</i> in Russian	358
Селькупские заимствования в русских диалектах.....	363
«Говорка» — таймырский пиджин на русской лексической основе	378
Корреляция по палатализации и падение редуцированных: славянско-самодийская аналогия.....	396
Fenno-ugrica в «ятвяжском» словарице?	402
Изучение ранних славяно-венгерских языковых отношений	404
Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии	416
<i>Király</i> и <i>olasz</i> : к истории ранних славяно-тюрко-венгерских отношений.....	433
Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке.....	436
Лексико-семантические раритеты в ранних славянских заимствованиях венгерского языка	452
Slavic/Latin/German stress and Hungarian vowel harmony	456
Славянское койне в Венгрии Арпадов и происхождение славяно-венгерских топонимов в Трансильвании.....	462

Ностратика.**Ранние индоевропейско-уральские связи**

Ностратические компоненты показателя собирательности:

славянско-самодийская аналогия.....	469
Уральский консонантный ауслаут ~ индоевропейская гетероклиза?.....	474
А «new approach» to Nostratic comparison	476
К оценке надежности индоевропейско-семитских лексических сопоставлений	481
«Смешанные» состояния и типологическая реконструкция	487
Early Indo-Uralic linguistic relationships: real kinship and imagined contacts	489
Южные соседи финно-угров: иранцы или исчезнувшая ветвь ариев («арии-андроновцы»)?.....	502
Сверхдревние германизмы в прибалтийско-финских и других финно-угорских языках	511
Указатель форм.....	537
Литература	592
Список сокращений.....	634

ОТ АВТОРА

Предложение издательства «Языки русской культуры» (А. Д. Кошелев) и поддержка Российского гуманитарного научного фонда позволили мне собрать под единой обложкой наиболее важные работы, опубликованные или представленные в качестве докладов на конгрессах и конференциях в течение последних 25 лет. Немалая часть этих работ либо связана своим замыслом с подготовкой и проведением лекционных курсов в российских (советских) и зарубежных университетах, либо была непосредственно использована как основа для таких курсов. «Лекционный потенциал» служил и одним из основных критериев отбора статей для настоящего издания (в него не вошли, в частности, многие публикации чисто дескриптивного и обзорно-источниковедческого содержания, а также рецензии). Другим критерием было желание автора представить в данном сборнике совокупность основных новых — пусть нередко и фрагментарных — результатов, на достижение которых были направлены его исследования; в числе таких результатов — формулировки фонетических законов и правил, экспликаторные модели, этимологии, гипотезы из области этнической и этнокультурной истории, теоретико-методологические тезисы. (В то же время сборник не повторяет содержания монографических работ автора.)

Распределение работ по пяти разделам книги и их относительный порядок внутри каждого из разделов носят в известной мере условный характер (например, самоэологическая тематика затрагивается, прямо или косвенно, и в ряде лекций и статей из разделов «Славистика»).

Как легко догадаться, основную сложность при подготовке данной книги представлял огромный разноречивый в транскрипционных обозначениях и формах ссылок на источники, обусловленный и специфическими требованиями тех или иных журналов и сборников, и их техническими возможностями, и — не в последнюю очередь — постепенной эволюцией взглядов и предпочтений самого автора. Основной труд по транскрипционной и библиографической унификации принял на себя В. Ю. Гусев — в прошлом один из наиболее постоянных и активных слушателей моих лекций в Российском государственном гуманитарном университете и спутник в ряде таймырских экспедиций, вклад которого в создание данной книги далеко выходит за рамки «подготовки оригинал-макета». Ему я обязан и немалой частью редакционных изменений и уточнений в ранее публиковавшихся текстах. Наиболее важные дополнения введены в исходный текст статей в угловых скобках. Как правило, специально не оговариваются сокращения первоначально публиковавшегося текста за счет избыточных (для данного издания) или утративших свою актуальность фрагментов.

Тем не менее, всеобъемлющая унификация формы и содержания оказалась невозможна; в той или иной мере каждая из вошедших в сборник работ несет на себе отпечаток времени и обстоятельств своего создания. В ряде случаев автор сознательно отказался от корректировки прежних работ на основе более поздних данных. Поэтому, например, прасамодийские реконструкции в статьях 1980-х гг. следуют в основном SW и не содержат разграничения двух «шва»-образных гласных (ср. [Хелимский 1993]) и некоторых других нововведений. Определенные непоследовательности (которые отражаются и в словоуказателе тома) обусловлены параллельным использованием различных источников материала отдельных уральских, тюркских и др. языков. Хотелось бы, однако, заранее принести читателям книги извинение за те погрешности, устранению которых помешала лишь невнимательность автора.

**САМОДИЙСКИЕ НАРОДЫ,
ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ**

САМОДИЙСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРАИСТОРИЯ САМОДИЙЦЕВ*

В настоящей статье ставится цель суммировать некоторые значимые с точки зрения лингвопалеонтологии данные по этимологии, диалектологии, генетическим и ареальным связям самодийских языков и истолковать их как источники для этногенетической и культурно-исторической реконструкции. Сравнительно-историческое языкознание является лишь одной из комплекса исторических дисциплин и поэтому, естественно, эти данные способны пролить свет лишь на фрагменты общей картины; впрочем, ограничиваясь лингвистическими аргументами, автор старается учитывать и использовать (иногда имплицитно) и результаты смежных дисциплин — археологии, этнографии, антропологии, что служит, как можно надеяться, защитой от произвольности в предлагаемых интерпретациях. С другой стороны, опора на языковые данные полностью оправдывается тем, что — особенно при углублении в не засвидетельствованное историческими документами прошлое — никакая из смежных дисциплин не способна соперничать с лингвистикой в точности и надежности этноязыковой «привязки» имеющегося материала.

Древнейшая прародина самодийцев. Весьма убедительным итогом развития лингвопалеонтологии прауральской (финно-угро-самодийской) эпохи представляется разработанная П. Хайду концепция, согласно которой в VI–IV тыс. до н. э. уральская прародина располагалась «к северу от Среднего Урала, между нижним течением Оби и истоками Печоры, большей частью, вероятно, в Западной Сибири» [Hajdú 1964a: 74].

Возможность западносибирской локализации не только уральской, но и даже финно-угорской прародины подтверждают результаты П. Вереша, основанные на данных о прежнем распространении в Западной Сибири некоторых широколиственных древесных пород и медоносной пчелы [Вереш 1985; Veres 1988].

К. Редей признает концепцию П. Хайду неадекватной, поскольку она не даст объяснения хронологическим и особенно географическим обстоятельствам контактов между уральцами (финно-уграми) и индоевропейцами [Rédei 1986: 9].

* Впервые опубликовано в: Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на Международной конференции (Москва, 29 мая — 2 июня 1989 г.). Ч. 2 / ИВ АН СССР. М., 1989. С. 2–20. См. также: Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков. М., 1991. С. 86–99.

Возражение это, однако, продиктовано чисто контактной трактовкой проблемы древнейших индоевропейско-уральских лексических параллелей и снимается ностратическим языкознанием¹.

Размещение той части прауральского населения, потомками которой явились самодийцы, допускает в рамках этой концепции дальнейшие уточнения. Анализ некоторых параллелей между венгерским, обско-угорскими и самодийскими языками, главным образом морфологических, подтверждает тезис о диалектной неоднородности уральского праязыка и позволяет предположить, что его «досамодийские» и «доугорские» диалекты обладали рядом общих черт, которые отличали их от «допермских» и особенно от «дофинно-волжских» диалектов [Хелимский 1982a]. Естественно считать, что «досамодийские» и «доугорские» диалекты образовывали единый диалектный ареал, и локализовать этот ареал в восточной части уральской прародины². Основой для такой локализации служит факт существования относительного изоморфизма между географической и генетической близостью отдельных языков уральской семьи. Этот изоморфизм сложился вследствие того, что дивергенция уральской праязыковой общности шла постепенно, освоение новых территорий велось главным образом населением той части прародины, которая примыкала к каждой из этих новых территорий, и соответственно схема позднейшего взаиморасположения языков-потомков в основном повторяет в увеличенном масштабе схему взаиморасположения соответствующих праязыковых диалектов (которой, в свою очередь, тесно коррелирует с относительной генетической близостью этих диалектов).

В данном случае речь идет об одном из частных приложений общего принципа этноисторической интерпретации диалектологических данных. Наличие явной корреляции между территориальной и генетической близостью диалектов (resp. языков-потомков), ситуация континуума с высокой долей вероятности указывают на постепенный характер происходившей дивергенции (примеры: романские, тунгусо-маньчжурские, дравидийские языки; коми-зырянские, хантыйские, селькупские диалекты). Отсутствие или слабость такой корреляции, обрывы диалектного континуума указывают на скачкообразность распада исходного единства или на то, что дивергенция не сводилась к простой иррадиации (примеры: иранские, тюркские, самодийские языки; восточнославянские, финские диалекты).

При этом следует считаться с той возможностью, что районы, частично охваченные охотничьей промысловой деятельностью прауральского населения, могли простирались довольно далеко на восток или юго-восток от указанной прародины и даже достигать региона, о котором ниже говорится как о вероятной самодийской прародине накануне времени распада самодийского праязыка. Учет этой возможности открывает путь к «стыковке» концепции П. Хайду с гипотезами археологов, соотносящих с уральской языковой общностью относительно единую ранненеолитическую культуру, простиравшуюся от Европейского Приуралья до Енисея [Халиков 1969: 381; Чернецов 1973]. Одновременно оказывается возможным объяснить происхождение таких лексических соответствий между ураль-

¹ <См. [Helimski 1999].>

² В более раннюю эпоху к этому ареалу мог примыкать и диалект — предок юкагирских языков (ср. характерную самодийско-юкагирскую изоглоссу использования коаффикса *-kз- в местных падежах).

скими и алтайскими (особенно тунгусо-маньчжурскими) языками, которые обозначают природные и культурные реалии таежной зоны³ и не могут поэтому отражать ни ностратические, ни более поздние — достаточно, впрочем, гипотетические — «туранские» (центральноазиатские) контакты (ср. [Menges 1977: 173]).

Прасамодийская эпоха: лексические данные. Названия хвойных деревьев, на анализе которых П. Хайду основывает свою концепцию уральской прародины, служат решающим аргументом и при рассмотрении проблем самодийской праистории. Самодийский праязык сохраняет уральские наименования основных хвойных пород — ели (ПС **kãât* > ПУ **kawse* [SW: 61; UEW: 222]), кедра — точнее, кедровой сосны *Pinus sibirica* (ПС **tj̥t̥ɛŋ* > ПУ **siks̥s̥* [SW: 160; UEW: 445]), пихты (ПС **nũlkã* > ПУ **nũlk̥s̥* [SW: 112; UEW: 327]), сосны (ПС **je* > ПУ **j̥zw̥s̥* [SW: 42; UEW: 107; (Helimski 1997: 194)]). Столь замечательная сохранность этой группы лексики позволяет утверждать, что на протяжении всей прасамодийской эпохи (III–I тыс. до н. э.) носители праязыка не покидали зоны тайги. Речь идет, разумеется, в первую очередь или даже исключительно о западносибирской тайге: по палинологическим данным, в течение почти всего среднего голоцена (VI — середина I тыс. до н. э.) широкое распространение *Pinus sibirica* в этом регионе, а отчасти также на крайнем северо-востоке Европы и на правобережье Енисея, сочеталось с ее вероятным отсутствием (или присутствием лишь в виде кедрового стланика) как в остальных частях Европы, так и на большей части Восточной Сибири [Hajdú 1964a; Хотинский 1977].

Показательно, что у ботанического феномена — распространения хвойных пород из Западной Сибири в Восточную — обнаруживается языковой аналог. К ранним самодийским или угорским формам, продолжающим указанные выше уральские названия кедра и ели, могут восходить ПТМ **suktu* ‘кедр’ [ТМС II: 122] и **k’asi-* ‘ель’ [ТМС I: 56], а к более поздним формам тех же названий — ПТМ **takti-* ‘кедр’ [ТМС II: 156], а также тюрк. **kađu* ‘сосна’ ([VEWT: 218]; скорее всего, из ПС **kãâtj̥-*, ср. нен. *ħadij̥* ‘ель’) и **t̥ɥt̥* ‘лиственница’ [VEWT: 479].

На распространение самодийского языка накануне распада праязыковой общности в таежной зоне указывают также присутствовавшие в нем названия лиственницы (**to¹j̥mã* [SW: 164]) и ряда таких животных и птиц, общим ареалом обитания которых могла быть только тайга: гагары **ñiññ̥*, кедровки **käs̥rã¹*, глухаря **sen̥k̥ä*, россомахи **wĩnk̥ãnce*, соболя **ki*, летяги **p̥z̥no(j)* [SW: 112, 65, 140, 176, 69, 121], а также выдры **tet* [Helimski 1987a: 92], горноста́я **piñ̥z̥*, косули **paj̥t̥¹z̥* [Хелимский 1986: 132, 131], горного козла **munt̥¹o* [Helimski 1997: 702]⁴. Судя по последним двум зоонимам, следует думать, скорее, о южной и близкой к предгорьям полосе тайги.

Сказанное, конечно, не исключает возможности самодийского происхождения каких-то степных или даже тундровых культур III–I тыс. до н. э. Однако их

³ Речь идет о соответствиях типа ПУ **sukse* ‘лыжи’ ~ ПТМ **sũksi-* (выявлены в работах М. Ряснянена, Б. Коллиндера, К. Г. Менгеса, Д. Синора, И. Футаки и некоторых других авторов).

⁴ (Примечательно, что название горного козла, непосредственно сохранившееся только в камасинском и маторском языках (прочим самодийцам это животное ныне неизвестно), служит основой для общесамодийского и повсеместно сохраненного обозначения породы (**munt̥¹oj̥t̥¹s̥z̥n̥*).)

создателями могли явиться разве что покинувшие свой таежный хабитат и впоследствии исчезнувшие филиации («парасамодийцы»), но не прямые языковые предки исторически известных самодийских народов. Поэтому для решительных утверждений такого рода требовались бы веские свидетельства об этнической (resp. языковой) принадлежности соответствующих культур⁵. В отсутствие же подобных свидетельств приходится квалифицировать как по меньшей мере неосторожные предположения о самодийском происхождении находок эпохи бронзы (II тыс. до н. э.) на юге Ямала и в районе устья Таза [Хлобыстин 1969: 134], устьеполуйской культуры рубежа новой эры в низовьях Оби [Могильников 1983: 83]⁶.

С точки зрения проблем самодийского глотто- и этногенеза существенны также некоторые данные о материальной и духовной культуре прасамодийцев, верифицируемые посредством лингвистической реконструкции и этнографической перспективы. Не вызывает сомнений существование у самодийцев развитого оленеводства, ср. восходящие к праязыку названия домашнего оленя (**t¹ez* или, скорее, **сез*: можно думать, что из самодийского источника заимствовано или опосредованно связано с ним монг. **ča* 'домашний олень') важенки (**jekcə*), теленка оленя (**cārkāj*), холощеного оленя (**kāptā*). Скорее всего, самодийского оленеводство явилось продуктом относительно самостоятельной эволюции, а не переноса навыков коневодства и молочного животноводства (как это можно предполагать в случае с тунгусским оленеводством). Достаточно тривиальны (в свете данных этнографии современных самодийцев) лексические указания на другие аспекты хозяйственного и быта: использование лука и копья, ловушек и силков, рыболовных снастей, скребков для выделки шкур, многообразных берестяных сосудов, лыж (ошкуренных и голиц), саней, чума (в том числе с берестяными нюками), небольших помещений складского назначения (лабазов) и т. д. В основном соответствующий материал приведен Ю. Янхуненом в [SW]. Дополнительное привлечение данных маторского языка (см. [Хелимский 1986; Helimski 1987a, 1997]) позволяет пополнить фонд реконструируемой прасамодийской культурной лексики обозначениями тупоконечной стрелы (**muŋkə*), остроги (**wikəɾä*¹), рыболовного запора (**juāj*), верши (**kāŋār*), сосуда для жидкости из мочевого пузыря оленя (**səpoj*), одного из видов саней (**ā¹t¹ā¹*), крышки чума (**ñākā¹*), дымового отверстия в чуме (**sār^wā¹*), лабаза на четырех столбах (**pāre*).

Прасамодийское происхождение обозначений верховного небесного божества-демиурга **num*, идолов («шайтанов») **kājkə*, шамана **tāce(pā¹)*, а также таких атрибутов и понятий шаманства, как бубен (**peŋkir*), колотушка шамана (**peŋkəpsən*), 'исполнять шаманские песнопения' (**sāmpə*), 'жертва' (**kāso(j)*) свидетельствует об архаичности тех религиозно-мифологических систем, где хорошо сохранена соответствующая номенклатура, в первую очередь ненецкой, селькупской и маторской (сведения о последней ограничиваются, к сожалению,

⁵ О непригодности или ненадежности таких археолого-этнографических признаков, как погребальный обряд или тип керамической орнаментации, в качестве этнических показателей (применительно к западносибирскому материалу) см., например, [Матюшенко 1983].

⁶ Ср. мнение о преемственности культур приморско-тундренного населения западного сектора Арктики (от Кольского полуострова до устья Енисея) от арктического палеолита до так называемого сихиртя нового времени [Крупник 1981].

этой номенклатурой). С опорой на эти системы восстанавливается прасамодийская мифологическая картина мира, построенная на троичной оппозиции верхнего (небесного, божественного), среднего (земного, человеческого) и нижнего (подземного, покойнического) миров, которые соотносены с триадой главных персонажей пантеона: небесный демиург, земная старуха — покровительница рождений, подземный властелин зла и смерти; на прасамодийский уровень экстраполируется ряд тем и сюжетов мифологии (см. [Хелимский 1982б]). Особое положение занимает религиозно-мифологическая система нганасанов с характерными для нее культом матерей природы и тенденцией к целостному (слабо структурированному на уровне бинарных или тернарных оппозиций) восприятию мироздания, что отражает, в частности, некоторая размытость грани между жизнью и смертью в традиционном мировоззрении нганасанов [Грачева 1983]. Поскольку при этом заметная часть соответствующей нганасанской лексики также своеобразна, эту систему следует, видимо, связывать главным образом с субстратным пластом нганасанского лингвоэтногенеза (см. ниже) и лишь с большой осторожностью привлекать в прасамодийских мифологических реконструкциях. Аналогичное субстратное — или же прямое нганасанское — влияние отчасти испытала и энецкая система.

Внешние связи самодийского праязыка. Наличие общих изоглосс фонетического развития (*s, *š > *ʃ > *t; *š > *s) позволило предположить, что сохраняющийся — с более или менее значительными трансформациями — до наших дней ареал самодийско-угорского языкового контактирования сформировался не позднее середины I тыс. до н. э. — времени распада угорской языковой общности и выхода правенгров из данного ареала. В пределах этого же ареала могли находиться и енисейскоязычные пумпокольцы⁷ [Хелимский 1982в: 113–125]. Представляется естественным локализовать этот ареал применительно к I тыс. до н. э. в окрестностях Обь-Иртышья, отводя уграм его западную часть (по мнению ряда современных исследователей, их прародина находилась в лесостепях и южной части тайги между Уралом и Обью (см. [Fodor 1982: 111–124; Honti 1982: 13–17]), а самодийцам — восточную. Нужно подчеркнуть, что тем самым мы фиксируем только дату *post quem* для угорско-самодийских контактов; однако ничто не мешает думать, что в той или иной мере контактные связи существовали и ранее, в течение едва ли не всего прасамодийского периода. К сожалению, состояние разработки исторической фонетики угорских и самодийских языков пока еще таково, что отграничение исконно общего (уральского) фонда от древнейших взаимных заимствований не представляется возможным; остается лишь надеяться, что эти трудности будут рано или поздно преодолены, и изучение контактов между прасамодийцами и прауграми (ряд гипотез о таких контактах высказан археологами) встанет на более прочные основания.

Установление самодийско-тюркских языковых связей, следует полагать, предшествовало разделению прототюркского языка на «общетюркскую» и булгарскую ветви (происшедшему, вероятно, в первые века н. э.), однако оснований для датировки этих связей существенно более ранним периодом — например,

⁷ С соответствующим контактным взаимодействием связано, вероятно, проникновение отдельных древнейших енисейских заимствований в обско-угорские языки, ср. манс. *kēp, хант. *kar 'лодка, челнок' из енис. *qä(ʔ)p [Хелимский 1982в: 243].

началом I тыс. до н. э. — как будто, нет⁸. Контакты могли возникнуть в результате продвижения тюрков на север, в степную и лесостепную зону Западной Сибири. Аргументом в пользу такого предположения служат, в частности, два вероятных самодийских заимствования в тюркских языках: тюрк. **kīl'* (> **kīš*) 'соболь' из ПС **ki* (ранне-ПС **kil'* из ПУ **kädwä*?) и тюрк. **kadī* 'сосна' (см. выше). Обратные заимствования — из прототюркского в прасамодийский — нередко относятся к разряду культурной лексики (ПС **jūr* 'сто' < тюрк. **jūr*; ПС **ken* 'ножны' < тюрк. **kīn* и др.).

Особо важное значение для праисторической реконструкции имеют данные о прасамодийско-пратунгусо-маньчжурских языковых связях. Об их интенсивности свидетельствует как количество параллелей в лексике обоих праязыков (повидимому, не менее 70; частично см. [Хелимский 19856]), так и общность заметной части базисной, слабо проницаемой для заимствований лексики; ср. ПС **kājwā* 'бок, сторона' и **kājwātā* 'ребро' ~ ПТМ **x'ew* и **x'ewte* [ТМС II: 435–456]; ПСС **pejā* 'лоб' ~ ПТМ **pēje* [ТМС II: 361]; ПС **māncz-* 'смотреть' ~ ПТМ **munsi-* [ТМС I: 556] и др. Установление контактов могло явиться следствием продвижения самодийцев на восток. Во всяком случае, выйдя к Енисею, они уже застали там тунгусоязычное население: на это указывает самодийское название этой реки — **Jentāsš* (нен. *Jen(ā)ša jam*?, эн. *Dēdoši*?, нган. *Dēntādā*, сельк. NP *Nāndesi* — последняя форма отражает влияние языка типа камасинского), которое заимствовано из ПТМ **Jendesī* (эвенк. *Jendeyī*, *Jendreyī*; в записях XVIII в. *Joāndesi*; ср. ПТМ **jenēl* **jeŋē* 'большая река', см. [ТМС I: 355]). Данный гидроним особенно значим для оценки дальнейших судеб самодийских языков и их диалектов. Сохранение заимствованного в прасамодийскую эпоху названия Енисея с его исходной географической соотнесенностью было бы нереальным при удалении от этой реки в ходе дальнейших миграций — ср. судьбу ПС **Jentāsš* в тазовском диалекте селькупского языка, где его рефлекс *čēntīs* означает 'море' и встречается в фольклоре как типичное место сказочного действия (превращение названия Енисея в географическую мифологию предшествовало повторному выходу северных селькупов на Енисей через Обь, Тым и Вах), или в лесном диалекте ненецкого языка, где это название было перенесено на Иртыш или Конду, ср. *Jenša kārbat* 'Кондинск'). Это ведет к следующим вероятным импликациям: а) к моменту распада общности прародина самодийцев или включала в себя часть бассейна Енисея, или, во всяком случае, примыкала к нему; б) в ходе последующего расселения предки энцев, нганасанов и восточных ненцев никогда не удалялись от Енисея на значительное расстояние — и, вероятнее всего, продвигались на север вдоль течения этой реки.

Относительная — а тем более абсолютная — хронология изменений в самодийском и тунгусо-маньчжурском праязыках изучена пока недостаточно для того, чтобы можно было датировать их контакты. Во всяком случае, начальная стадия одного из таких изменений (ПУ **s*, **š* > **t*, см. также выше) должна быть от-

⁸ Исследователи, предполагающие первичность тюркских сибилантов (**z*, **š*) по отношению к плавным (*r*, *l*) — например, А. Рона-Таш и Ю. Янхунен, — полагают, что самодийский праязык контактировал только с языком болгарского типа и отводит для этих контактов узкий промежуток в несколько столетий на рубеже новой эры [Róna-Tas 1981]. Такая трактовка представляется весьма спорной, так как никаких прямых следов этот язык болгарского типа в Сибири и вообще в Азии не оставил [Helimski 1991].

несена не позднее чем к середине I тыс. до н. э. В то же время имеются такие заимствования из прасамодийского в пратунгусо-маньчжурский и обратно, которые должны были быть переданы еще до этого изменения. Ср. ранне-ПС **sāja* 'палец' (> ПС **tājā*, ср. матор. *taja*), восходящее к ПУ **sudž* и заимствованное в виде ПТМ **saja(n)* [TMC II: 55]; ранне-ПС **šärz* 'родник, ключ' (> ПС **tärz*, ср. сельк. Таз *tērə*), восходящее к ПУ **šerä* или **šärä* (см. [Хелимский 1976а: 131]) и отраженное в ПТМ **sire* или (с учетом *š* в маньчж. *šeri*) **šire* [TMC II: 101]; ранне-ПС (?) **salka* 'разветвление, развилка' (> ПС **iālkā*), заимствованное, вероятно, из ПТМ **sālga(n)* [TMC II: 58], связанного с монг. *salγa-* 'отделять'.

К монгольскому источнику может быть возведено лишь очень немного прасамодийских слов. Скорее всего, они проникли через тунгусо-маньчжурское или тюркское посредство: показательны примеры типа ПС **toā-* 'считать', **ton* (**toān*?) 'число (> сто)' из монг. *toya(n)* 'число', *toya-la-* 'считать' при наличии тюрк. *tō* 'число, счет', маньчж. *ton* 'число' и т. д. Характер ранних монголо-самодийских связей получает достаточно естественное объяснение из предположения о том, что территория расселения прамонголов (Восточная Монголия?) была отделена от прасамодийской области территориями с пратюркским и пратунгусо-маньчжурским населением. Что касается тунгусо-маньчжурской прародины, то ее в эпоху перед распадом праязыковой общности (первые века новой эры; глоттохронология указывает приблизительно на V в. н. э.) допустимо локализовать в Прибайкалье, включая его западную часть. Распространение тунгусо-маньчжурских языков на Дальнем Востоке, от Охотского побережья до Маньчжурии, явилось результатом ряда односторонних миграционных волн, причем следует полагать, что в I тыс. до н. э. западнее Байкала до Енисея жили предки не только эвенков, но и «восточных» тунгусов, в языках которых обнаруживаются многочисленные самодийские заимствования праязыковой эпохи. Разумеется, при рассмотрении вопроса о древнейшем расселении тунгусо-маньчжуров следует учитывать их традиционную чрезвычайно высокую подвижность и говорить не столько об *Urheimat*, сколько — по удачному выражению К. Менгеса — об *Urwandergebiet* [Menges 1968: 4 ff.].

Имеется обширный лингвистический материал, свидетельствующий о сильном культурном влиянии индоиранских («скифских») в Европе, андроновских в Зауралье) племен на их северных соседей — финно-угров; в частности, в обско-угорских языках представлено свыше 40 «андроновских» заимствований. С этим контрастирует весьма незначительная даже в свете новейших специальных исследований [Janhunen 1983] роль индоиранизмов в самодийском праязыке. Вряд ли удастся существенно расширить и корпус тохарско-самодийских этимологий в этой же работе Ю. Янхунена, включающий два проблематичных сближения (см. также [Хелимский 1985в: 293] с двумя также проблематичными дополнениями). Видимо, на всех этапах своей истории прасамодийцы находились если и не на очень большом удалении, то, во всяком случае, в стороне от районов расселения индоевропейских племен, воспринимая их культурное влияние лишь эпизодически и, вероятно, опосредованно.

Не будет излишним высказать и некоторые соображения «негативного» свойства, касающиеся таких внешних связей прасамодийской эпохи (и соответствующих событий в самодийской праистории), которые мыслимы в принципе, или же предполагались кем-либо из исследователей, но, как мне кажется, не находят подтверждения в имеющемся лингвистическом материале.

Хотя юкагирский язык находится в несомненном родстве с уральскими и хотя из всех уральских языков самодийские наиболее близки ему территориально, нет, по-видимому, оснований констатировать какие-то специфически тесные юкагирско-самодийские языковые (и этнические) связи, по крайней мере применительно к периоду, следовавшему за отделением самодийского праязыка от финно-угорского⁹.

Ненадежными представляются и основания для того, чтобы постулировать «особые отношения» самодийских языков (взятых в целом) и саамского языка. Наиболее достоверная часть саамско-самодийских лексических параллелей, послуживших опорой для гипотезы о самодоязычности протосаамов [Toivonen 1950], ограничена с самодийской стороны ненецким языком и находит объяснение в фактах относительно поздней этнической истории саамов и ненцев [Helinski 1996a].

Не выдерживают критики аргументы, выдвигавшиеся в пользу предположения о существовании непосредственных контактов между правенграми (уже после их отделения от предков обских угров) и самодийцами ([Moór 1959], ср. [Хелинский 1982a: 52–56]).

Остались неубедительными попытки истолковать отдельные топонимы Прикамья и Русского Севера, исходя из самодийских языков ([Беккер 1970б; Кривошекова-Гантман 1973]; см. также работы М. Г. Атаманова), обнаружив тем самым следы каких-то древних миграций самодийцев. Я склонен думать, что продвижение ненцев в европейскую тундру было единственной этнически релевантной миграцией самодийцев в районы к западу от Урала за несколько последних тысячелетий. Не исключено, конечно, что отдельные группы самодийцев были вовлечены в великие переселения из Центральной Азии на запад, но уделом таких групп скорее всего была быстрая и бесследная ассимиляция.

Удовлетворительных этимологий, связывающих самодийский праязык с такими языковыми группами Восточной Сибири, как чукотско-камчатская, эскалутская, нивхская, почти нет; из отдельных сходств рискованно было бы делать какие-либо выводы. Впрочем, прогресс исследований в этих слабо разработанных сферах этимологического поиска может привести и к позитивным заключениям о роли восточных «палеоазиатов» в этнической истории самодийцев.

Прародина самодийцев накануне эпохи распада. Совокупность данных, изложенных выше, характеризует самодийцев второй половины I тыс. до н. э. как народ, этническая территория которого: а) полностью или значительной своей частью находилась в таежной зоне; б) включала в себя часть бассейна Енисей или примыкала к нему; в) непосредственно соприкасалась с областями расселения обских угров, енисейцев, тюрков и тунгусо-маньчжуров; г) находилась от областей расселения монголов, индоиранцев и тохаров (а тем более других индоевропейцев) на известном отдалении, допускавшем лишь слабые или опосредованные контакты; д) вряд ли могла примыкать к областям расселения европейских финно-угров, правенгров, а также — с другой стороны — юкагиров и восточных «палеоазиатов». На основании этого и с учетом наиболее вероятных локализаций прародин других народов представляется оправданным помещение

⁹ <Явно неудачна попытка объяснить урало-юкагирские лексические параллели как «заимствования», в том числе из самодийского в юкагирский [Rédei 1990, 1999].>

самодийской прародины в регионе между Средней Обью и Енисеем, ориентировочно — вокруг треугольника «Томск — Красноярск — Енисейск». Естественно, если территория поздней самодийской прародины была достаточно велика (что вполне вероятно), то она могла включать, полностью или частично, и ряд сопредельных регионов: северную часть Обь-Иртышского междуречья, северный Алтай, Присаянье, территории к востоку от Среднего Енисея, бассейны Сыма и Ваха. Однако было бы, как кажется, неосторожным ограничивать прародину самодийцев каким-либо из названных сопредельных регионов — например, только Саянами или только Прииртышьем. Полностью исключенными представляются гипотезы, локализирующие самодийскую прародину накануне эпохи распада в приполярной Европе¹⁰ или в Приуралье.

Тем самым предложенная интерпретация лингвистических данных о самодийской прародине не противоречит широко распространенным в археологической литературе последних 15–20 лет предположениям о самодийской принадлежности культур эпохи железа в Томско-Нарымском Приобье (ср. [Косарев 1974; Могильников 1983]). Достаточно сложной, однако, остается ситуация с атрибуцией конкретных археологических культур и отдельных памятников; в любом случае самодийцы не были единственным населением рассматриваемого региона. Кроме того, по степени археологической изученности Томская область сильно опережает соседние с ней районы Красноярского края (изучение которых по крайней мере столь же существенно с точки зрения самодийского этногенеза), что объясняется скорее научно-организационными, нежели содержательными причинами.

Предложенная выше локализация самодийской прародины была использована для идентификации самодийцев, с одной стороны, с населением кулайской культуры V в. до н. э. — V в. н. э. в Среднем (Сургутско-Нарымском) Приобье [Чиндина 1984: 174–175] и, с другой стороны, с населением тагарской культуры VIII в. до н. э. — I в. н. э. в Минусинской котловине [Вадецкая 1986: 98–99]). Следует заметить, что эти попытки идентификации несовместимы друг с другом (учитывая резкие различия между двумя культурами). Труднообъяснимыми оказываются также такие факты, как полное отсутствие или незначительная роль оленеводства (столь несомненно характерного для прасамодийцев) и у кулайского, и у тагарского населения, высокоразвитое бронзолитейное производство у кулайцев (эту черту хозяйства можно предполагать скорее у предков енисейских народов, чем у древних самодийцев) и развитое скотоводство в сочетании с примитивным земледелием у тагарцев (что позволяет, с нашей точки зрения, предполагать их принадлежность скорее с алтайскому, нежели к уральскому этнокультурному кругу).

¹⁰ Эта восходящая к Ф. Й. фон Страленбергу гипотеза, по-видимому, уже полностью изжила себя среди археологов и этнографов. Ей не оставляют места и исследования П. Хайду, посвященные этногенезу самодийцев [Hajdu 1952, 1963]. Однако в лингвистике «приполярно-европейская» гипотеза вновь всплыла в 50-х годах, преимущественно в связи с «протосаамско-самодийской» проблематикой, и дает рецидивы едва ли не до настоящего времени (см., например, [Lakó 1978]). Помимо изложенных здесь соображений данной гипотезе противостоит и сам характер территориального размещения самодийских языков в историческую эпоху: однократная миграция предков северных самодийцев на север представляется несравненно более вероятной, чем три сепаратные миграции (селькупская, камасинская, маторская) из зоны тундр в южном направлении.

Распад самодийской языковой общности. На основании лексико-статистических подсчетов, верифицированных анализом фонетических, морфологических и лексических параллелей между самодийскими языками и диалектами (на предмет выявления возможных общих инноваций), было предложено отказаться от традиционного деления самодийских языков на северную (ненецкий, энецкий, нганасанский языки) и южную (селькупский, камасинский, карагасский, койбалский, маторский, тайгийский языки) ветви. Новая схема предусматривает выделение четырех самостоятельных ветвей: северносамодийской, селькупской, камасинской (собственно камасинский и койбалский диалекты), маторской (собственно маторский, тайгийский и карагасский диалекты) [Хелимский 1982а: 37–47].

Четыре ветви самодийских языков обладают примерно одинаковой попарной взаимной удаленностью; постепенные переходы от одной ветви к другой и промежуточные ветви (что столь характерно для финно-угорских языков) не обнаруживаются. В частности, нет оснований говорить о какой-то особой генетической близости двух самодийских языков Присаянья — камасинского и маторского — и выделять соответствующую (под)группу¹¹. Отдельные камасинско-маторские изоглоссы фонетического развития появились после разделения этих языков и связаны с ареальными процессами, охватившими не только самодийские, но и тюркские диалекты Присаянья (ср. развитие **j- > i* или *n* при наличии носового согласного в позиции второго консонанта слова, характерное для камасинского, маторского и хакасского языков). Многочисленные совпадения в камасинской и маторской лексике — либо общесамодийское наследие, либо результат параллельного воздействия на оба языка соседних тюркских, в меньшей мере монгольских, тунгусо-маньчжурских и енисейских, диалектов. Более того, обнаруживается парадоксально много лексических изоглосс, связывающих маторский язык с северносамодийскими (особенно с ненецким и энецким, в меньшей степени с нганасанским) — в противопоставление селькупскому и камасинскому. Их дополняют немногочисленные, но показательные изоглоссы в фонетике и морфологии. Ср., с другой стороны, комплекс селькупско-камасинских морфологических параллелей, выделенных А. Кюннапом [Künnap 1978: 204–208]. Вероятно, в этих изоглоссах отражаются диалектные связи прасамодийской эпохи (относительное единство самодийского праязыка, упоминавшееся выше, нельзя абсолютизировать).

Как бы то ни было, в соответствии с общим принципом этноисторической интерпретации диалектологических данных соотношение самодийских языков и их диалектов не позволяет предполагать постепенной дивергенции, связанной с расширением территории распространения их общего праязыка. Скорее такое соотношение должно быть объяснено быстрым, резким распадом праязыковой общности, до того сравнительно единой. Причиной распада могло явиться, например, вторжение инородного населения, расчленившее территорию расселения самодийцев и оборвавшее связи между отдельными ее частями (вторжение хунну во II в. до н. э.), или же появление в самодийской среде неких предпосылок для активной экспансии (развитие транспортного оленеводства?). Возможно, той же причиной были обусловлены миграция предков северных самодийцев, при-

¹¹ Тем не менее термин «саяно-самодийские языки» является удобным операционным понятием в связи с общностью внешних влияний на камасинский и маторский языки и их судеб.

ведшая их в конечном счете в зону тундры, а также оттеснение предков маторов и камасинцев на Саяны (если эта территория не входила в пределы исходной самодийской прародины как одна из ее окраин).

Прасеверносамодийская эпоха. Для соотношения трех языков северносамодийской подгруппы характерна, напротив, известная постепенность межъязыковых переходов, отражающая исходный — сейчас уже нарушившийся — диалектный континуум (см. [Хелимский 1982а: 27–31, 46]). Это позволяет констатировать, что дивергенция этих языков происходила в основном уже в районах их современного распространения и не в условиях взаимной изоляции, а при сохранении тесных маргинальных контактов. Очевидно, единый северносамодийский праязык проник в приполярный регион не позднее середины I тыс. н. э. (по глоттохронологической оценке, ненецкий и нганасанский языки разошлись более чем 1,5 тыс. лет тому назад); это согласуется с археологическими данными о появлении в первой половине I тыс. н. э. на западе Таймыра населения с юга Западной Сибири [Хлобыстин 1973]. В материале северносамодийских языков не находят, на наш взгляд, подтверждения гипотезы, которые предполагают существование нескольких разобщенных волн миграции самодийцев на север ([Хомич 1966: 37; Васильев 1979: 40–41] и др.); далеко не бесспорна, впрочем, и историко-этнографическая аргументация, положенная в основу этих гипотез.

Выше в связи с названием Енисея уже отмечалось, что путь северных самодийцев в современные районы расселения пролегал, вероятно, вдоль течения этой реки. Дополнительно в обоснование такого (а не, скажем, приобского) маршрута можно указать на наличие в кетском языке отдельных северносамодийских заимствований, источником которых вряд ли мог явиться один из современных языков этой ветви (так, кет. *b'entšej* 'легкое' можно возвести к **wäjnsən* или **wäjntäsən* — производному с суффиксом *nomen instrumenti* *-sən* от ПС **wäjñ* или ПСС **wäjñtät* 'дыхание', хотя в современных северносамодийских языках такое производное слово не засвидетельствовано). Кроме того, продвижение в зону тундры должно было сопровождаться продолжением интенсивного взаимодействия с тунгусскими племенами. Об этом свидетельствует значительное число тунгусо-маньчжурских заимствований в прасеверносамодийском, среди которых, в частности, представлены названия некоторых специфических природных реалий: ПСС **jäñor* 'тундра' (эн. *d'eu'*, нган. *jañur*) < ПТМ **jañ-ur-* (эвенк. *jañ* 'сопка-голец', *jañurä* 'ровное место на горном хребте, мшистое место, см. [ТМС I: 341]), ПСС **kärpâ* 'северное сияние' (нен. *хара*, эн. *kabo'* мн. ч.) < ПТМ [ТМС I: 142] **garpa-* 'стрелять из лука; излучать свет, светить, сиять', **garpa* 'луч'.

Субстратные компоненты в самодийских языках. В предшествующих разделах внешняя история самодийских языков приравнивалась к этнической истории их носителей, языковая преемственность непосредственно отождествлялась с преемственностью этнической. Разумеется, это условность, но условность простительная, если учесть, что понятие «самодийцы» является, по сути дела, понятием чисто лингвистическим: видимо, не существует таких этнографических признаков и заведомо не существует таких антропологических признаков, которые были бы свойственны всем самодийским народам и одновременно чужды всем их соседям.

Не вызывает, однако, никакого сомнения, что в этногенезе самодийцев — как и любых других этносов — существенное место принадлежало интеграции раз-

народных в языковом отношении компонентов. Широкую известность приобрела этногоническая концепция выдающегося исследователя самодийских языков Г. Н. Прокофьева, стремившегося наполнить этот тезис конкретным лингвистическим содержанием и разделить собственно самодийские (принесенные, по мнению автора концепции, выходцами из Присаянья) и субстратные (сохранившиеся от аборигенного населения Севера) компоненты в северносамодийских и селькупском языках [Прокофьев 1940]. Под влиянием популярной в марровскую эпоху методологии Г. Н. Прокофьев сосредоточил свое внимание на выделении якобы первичных элементов в самодийской этнонимии; к сожалению, большинство предложенных им сближений по созвучию недостоверно или по меньшей мере рискованно¹². Однако сама постановка вопроса об этнической разнокомпонентности, обоснованная Г. Н. Прокофьевым на этнографическом и отчасти на лингвистическом (заимствования) материале, представляется полностью справедливой, а поиск субстратных влияний — актуальным и, быть может, перспективным, хотя и мало продвинувшимся вперед за истекшие десятилетия. Незаработанность проблемы имеет вполне объективные основания: языки, непосредственно послужившие источником субстратного влияния, исчезли (в отличие от языков, оказывавших адстратное воздействие) и в лучшем случае оставили более или менее близких языковых родственников. В этой ситуации с позиций прасамодийской реконструкции приходится говорить главным образом не о твердо установленном субстрате, а о «потенциальном субстрате», то есть о лексике самодийских языков, лишенной прасамодийской или внутренней этимологии и не объяснимой из адстратных языков¹³.

Небезынтересно отметить, что из трех северносамодийских языков потенциально субстратной лексикой наиболее богат нганасанский: подсчет показывает, что неэтимологизируемых именных основ в нем примерно вдвое больше, чем в ненецком или энецком языках. Источник этого субстрата остается загадкой. Речь явно идет не о тунгусо-маньчжурском языке: эвенкийское адстратное (отчасти, возможно, и субстратное) влияние на нганасанский легко выявляется и изучено довольно хорошо (из новейшей литературы см. [Futaky 1983]). Никакого сходства неэтимологизируемая нганасанская лексика не обнаруживает и с юкагирским языком, хотя, казалось бы, географическое положение последнего в сочетании с рядом установленных этнографических параллелей (см., например, [Симченко 1976]) делает его первоочередным «кандидатом» в источники субстрата.

Энецкий язык лексически наиболее архаичен среди северносамодийских — сохранению исконной лексики благоприятствовало его центральное географическое положение. Однако энецкая фонетика претерпела радикальную инновационную перестройку, что создает специфические трудности при этимологизации

¹² Ср.: сев.-сам. *ненэ-ЦЯН-*, *нгана-САН* (самоназвания) ~ кет. *дең* 'люди' ~ сельк. *ТЫН кула* 'татары' ~ эвенк. *чанит* и *дянд* 'иноплеменники'; нен. *хаби* 'остяк' ~ сельк. *кум* и манс. *хум* 'человек'; нен. *мандо* 'энец' ~ *матор* (этноним) ~ сельк. *матыр* 'богатырь'; эн. *таубу* 'нганасаны' ~ *туба*, *тофа-* (саяно-тюркские этнонимы) ~ сельк. *тибэ* 'мужчина'; нен. *хасава* 'мужчина' ~ *караГАС* (этноним). Правдоподобие таких сравнений кончается там, где начинается историко-языковой этимологический анализ.

¹³ Особую, не затронутую здесь сторону проблемы составляет выявление следов субстрата в ономастике, а также в фонетическом и морфосинтаксическом строе самодийских языков.

энецких слов¹⁴. Весьма вероятным выглядит наличие в энецком языке, особенно в его лесном диалекте, енисейского субстрата (или адстрата) — по крайней мере, эн. *Л би* 'он' и *й* 'ты' имеют несомненно кетское происхождение — однако, если этот субстрат достаточно древний, «лобовое» сопоставление энецкой и кетской лексики сильно затруднено.

Разряд потенциально субстратных слов в селькупском языке, по-видимому, довольно мал по сравнению с исконной лексикой и адстратными заимствованиями из хантыйского, эвенкийского, тюркских, монгольского, кетского и некоторых других языков. Если учесть значительную вероятность того, что территория современного расселения южных (обских), кетских и, возможно, нарымско-тымских селькупов оставалась бессмысленно самодоязычной еще с прасамодийской эпохи, то в правомерности тезиса Г. Н. Прокофьева о приблизительно равной значимости самодийских и субстратных компонентов применительно к селькупскому этногенезу можно усомниться. В этом пункте результаты лингвистического анализа совпадают с выводами на основе этнографо-археологического материала (ср. [Васильев 1983: 6–7]), вселяя надежду на то, что получение идентичных результатов средствами лингвистической реконструкции и этнографической ретроспекции возможно не только теоретически, но и практически.

¹⁴ Ср. судьбу прасеверносамодийского словосочетания **ājwā(n) mir* «цена головы, (перен.) выкуп», которое в ненецком сохранилось с минимальными фонетическими изменениями (*ñäewa-mir*²), но стало практически неузнаваемым в эн. *āmi*² 'ясак'.

ОЧЕРК ИСТОРИИ САМОДИЙСКИХ НАРОДОВ*

Общесамодийская предыстория

История самодийцев — а точнее, их предыстория — начинается около шести тысяч лет тому назад, когда в восточной части прауральского языкового ареала сложился диалект, ставший предком самодийского праязыка и отдельных самодийских языков нового времени¹. Постепенное нарастание отличий этого диалекта от соседних (дофинно-угорских, в том числе и наиболее близких ему доугорских) диалектов уральского праязыка было, по всей вероятности, обусловлено его территориальным обособлением, в том числе возможным продвижением древнейших самодийцев дальше на восток. Итогом этого процесса стало полное отделение древнейших самодийцев от финно-угров, еще продолжавших сохранять относительное территориальное и языковое единство.

Ареной этих (и значительной части последующих) событий являлась, скорее всего, таежная полоса Западной Сибири. Речь может идти об Обь-Иртышском регионе или о междуречье Оби и Енисея, если, вслед за П. Хайду, локализовать уральскую прародину в районах по обе стороны от Уральского хребта — в бассейне Печоры и большей частью в Западной Сибири (представляется, что данная

* Работа подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 93-06-10926) и Российского гуманитарного научного фонда, Москва (проект 95-06-17140). Впервые опубликовано в: Финно-угорский мир (Справочник по истории, культуре и языку) / Ред. Д. Нановски. Будапешт; М., 1996. С. 101–115. Венгерский перевод: A szamójéd népek vázlatos története. (Budapesti Finnugor Füzetek 1). Budapest, 1996.

¹ Основным, а часто и единственным материалом для изучения самодийской праистории являются данные сравнительно-исторического языкознания. Поэтому мы вынуждены условно отождествлять древнейших самодийцев с людьми, говорившими на языке-предке самодийских языков — хотя и не можем считать, что именно эти люди явились единственными или даже основными этническими (биологическими) предками самодийских народов. На протяжении тысячелетий, несомненно, неоднократно имело место усвоение самодийской речи населением иного, в том числе и неуральского, происхождения («экзосамодийцы»). С другой стороны, мог иметь место и обратный процесс, в результате которого отдельные племена самодийцев территориально обособлялись и впоследствии исчезали или переходили на иной язык, не оставив, таким образом, самодийскоговорящих потомков нового времени («парасамодийцы»). В этой связи интересно отметить, что антропологического единства самодийских народов выявить не удастся: сочетая в разных пропорциях признаки монголоидного и европеоидного расовых типов, отдельные группы самодийцев часто обнаруживают больше сходства с несамодийскими народами (нганасаны — с юкагирами, селькупы — с ханты и кетами и т. д.), чем между собой. Некоторые факты и гипотезы, связанные с экзо- и парасамодийскими компонентами, упомянуты ниже.

концепция прародины наиболее убедительным и непротиворечивым образом объясняет всю совокупность известных фактов²). В пределах западносибирской тайги оставались самодийцы и на протяжении нескольких последующих тысячелетий — приблизительно до рубежа нашей эры, когда произошел распад прасамодийского языкового единства. Только этим можно объяснить полную сохранность в их языке уральских названий всех основных пород хвойных деревьев — кедровой сосны, ели, пихты, сосны. При расселении в иных природных зонах (тундра, лесостепь, степь) или при удалении от Западной Сибири (единственного региона, где кедровая сосна издавна имела широкое распространение) эти названия были бы быстро утрачены.

Как и у уральских предков, основой хозяйственного уклада у самодийцев были охота (на птицу, северного оленя, пушного зверя) и рыболовство (в частности, запорное рыболовство на небольших речках). Это обуславливало кочевой или полуседлый образ жизни, частые миграции «челночного» типа, промысловое использование огромных территорий с очень низкой средней плотностью населения — особенности, которые сохранились у самодийцев дольше и полнее, чем у большинства родственных им финно-угорских народов. Столь же архаичными являются, по-видимому, и многие элементы духовной культуры самодийских народов — от мифа о сотворении мира ныряющей птицей и тернарной структуры пантеона до принципов стихосложения и классифицирующих систем счета родства.

В течение всей прасамодийской эпохи могли сохраняться маргинальные контакты самодийцев с уграми, позднее с обскими уграми; для ряда археологических культур II—I тыс. до н. э. в Обь-Иртышском регионе предполагается смешанное угорско-самодийское происхождение. Хорошо документируются лингвистически ранние и многообразные связи самодийцев с предками тунгусских народов. Продвинувшись на восток до Енисея, самодийцы застали здесь тунгусоязычное население, от которого и заимствовали название этой реки (**Jentâsê*). Определенное культурное влияние оказали на самодийцев и тюрки, которые в последние века I тыс. до н. э. продвинулись в северную часть Алтайского нагорья и на юг западносибирской тайги. С другой стороны, в алтайских (тунгусских, тюркских, отчасти монгольских) языках отмечаются самодийские заимствования, связанные с флорой и фауной таежных областей (например, названия кедровой сосны, ели, соболя, северного оленя).

Возможно, под влиянием скотоводческих алтайских народов произошла доместикация известного уже древним уральцам северного оленя. Во всяком случае, самодийский праязык отражает хорошо развитые навыки домашнего оленеводства³ и связанного с ним кочевого быта — всего того, что в новое время об-

² Концепция западносибирской прародины предполагает удаленность уральцев (и самодийцев) от вероятного исходного хабитата индоевропейцев (степная полоса Восточной Европы). С этим согласуется отсутствие следов индоевропейского языкового влияния в уральском праязыке: древнейшие индоевропейско-уральские лексические и морфологические соответствия (слова со значениями 'вода', 'имя', 'мыть', 'делать' и под., местоимения, окончания генитива и аккузатива) могут быть объяснены исходным ностратическим родством, но никак не контактами двух праязыков.

³ Весьма вероятно, что оленеводство прасамодийцев было молочно-мясным и верховым, а не только мясным и гужевым, как у ненцев, энцев, нганасанов, северных селькупов. В этом случае изменение навыков оленеводства обусловлено измельчением породы

наруживалось — с минимальными различиями — у всех групп самодийцев от Саянских гор до побережья Белого моря.

Совокупность лингвистических данных позволяет предположительно локализовать позднюю самодийскую прародину (накануне распада праязыкового единства) в регионе Чулыма — Среднего Енисея, ориентировочно вокруг треугольника «Томск — Красноярск — Енисейск». Из самодийских народов нового времени в этом регионе оставались южные селькупы и камасинцы. Естественно, если территория поздней самодийской прародины была достаточно велика — что вполне вероятно, — то она могла включать в себя, полностью или частично, и ряд сопредельных территорий — бассейн Средней Оби с ее притоками (хабитат центральных селькупов), Северный Алтай, Присаянье (хабитат маторов), земли к востоку от Среднего Енисея. Однако было бы, видимо, неосторожным ограничивать эту прародину какой-либо из названных сопредельных территорий — например, только Прииртышьем или только Саянским нагорьем (как это иногда делается). Совершенно устаревшими и неприемлемыми следует признать гипотезы, локализующие самодийскую прародину в приполярной Европе или в Приуралье. В то же время вопрос о возможных археологических коррелятах прасамодийской эпохи остается открытым — в частности, из-за недостаточной археологической изученности обозначенного выше региона⁴.

Предыстория отдельных самодийских народов

Как уже упоминалось, распад прасамодийской языковой общности произошел около двух тысячелетий назад (эта датировка приблизительна, хотя и подтверждается рядом независимых лингвистических свидетельств — от глоттохронологии до анализа фонетического облика заимствований). При этом обособились друг от друга четыре ветви, четыре этнических подразделения — предки селькупов, камасинцев, маторов и северных самодийцев (не исключено, конечно, существование в прошлом и других, «парасамодийских» ветвей, впоследствии исчезнувших; гипотетические следы таких ветвей находят — нередко без достаточных оснований — на северо-востоке Казахстана, в Нижнем Приобье, в Европейском Приуралье).

Если утрата прауральского единства, а в более позднюю эпоху — разделение северносамодийских народов шли путем медленного, постепенно углублявшегося территориального и диалектного обособления, то в случае с прасамодийцами ситуация иная. Соотношение основных ветвей самодийских языков указывает на иной — более «взрывной», «скачкообразный» — характер процесса, на быстрый распад прасамодийской общности, до того сравнительно единой. Причина распада могла быть внешней — например, речь может идти о вторжении инородного

домашнего оленя — типичным явлением при передвижении популяции в более суровые природные и климатические условия Севера.

Не представляются убедительными попытки идентифицировать самодийцев с населением кулайской культуры V в. до н. э. — V в. н. э. в Сургутско-Нарымском Приобье либо, напротив, с населением тагарской культуры VIII в. до н. э. — I в. н. э. в Минусинской котловине. Более вероятна идентификация носителей этих культур с енисейскоязычным населением (кулайцы) и одной из групп алтайской языковой семьи (тагарцы).

населения, сдвинувшего отдельные племена самодийцев с места и резко оборвавшего их взаимные связи. В этой связи уместно упомянуть, что после вторжения гуннов в Минусинскую котловину и на соседние территории во II в. до н. э. начинается длительная бурная эпоха в истории Южной Сибири, хорошо прослеживаемая по археологическим материалам (частые смены культур, не носящие эволюционного характера; рост числа военных захоронений) и отчасти историческим документам (древнекитайские хроники). Одной из внутренних причин или предпосылок распада могло быть развитие в самодийской среде транспортного оленеводства.

Можно предполагать, что именно в это время предки саянских самодийцев — маторов и камасинцев — были порознь частично оттеснены в предгорные и горные районы Саян. Здесь после этого сложилась своеобразная ситуация этнического и экологического баланса между горно-таежными саянскими самодийцами и их многочисленными тюрко-, монголо- и тунгусоязычными соседями. Маторы и камасинцы поддерживали с этими соседями тесные экономические связи, постоянно испытывали их культурное воздействие, платили дань тюркским и монгольским государственным образованиям. Однако они оставались не затронутыми теми многочисленными завоевательными походами и массовыми переселениями, которые в течение I тыс. — первой половины II тыс. н. э. начинались в ближайшем соседстве от Саянского нагорья и, как известно, многократно перекраивали этническую карту всей степной полосы Евразии. Этот баланс поддерживался вплоть до времени завоевания Сибири Русским государством.

Указанными выше причинами была обусловлена, вероятно, и миграция предков северных самодийцев на север вдоль течения Енисея, которая привела их в конечном счете в полосу арктической тундры. Эта миграция, сопровождавшаяся интенсивным взаимодействием с тунгусскими аборигенами Севера Средней Сибири, могла занять несколько сотен лет. К середине I тыс. н. э. на правобережье Нижнего Енисея — на западе п-ова Таймыр — появляется население, принесшее с собой керамику южносибирского характера. В этом населении естественно видеть ранних северных самодийцев. Из низовий Енисея начинается их постепенное расселение по тундрам на запад (ненцы — крайний Север Западной Сибири с п-овами Гыдан и Ямал) и на восток (нганасаны — п-ов Таймыр и бассейн реки Хатанга); в самих низовьях Енисея и в примыкающем с запада бассейне реки Таз сформировались энцы.

Открытые и слабозаселенные пространства тундры, возможность преодолевать в зимнее время большие расстояния в оленьих упряжках способствовали быстрому освоению всего региона, и в то же время замедляли процесс этнической и диалектной дифференциации. Вследствие этого энцы не только географически, но также в культурном и лингвистическом отношениях занимают промежуточное положение между ненцами и нганасанами. К западу от них, на левобережье Енисея, существовала группа ненцев-юраков, диалект которых (старовосточный, или собственно юрацкий) составлял промежуточное звено между ненецким и энецким языками. Особое природно-географическое положение заняли лесные ненцы в таежных районах к востоку от Нижней Оби. Как и у соседей-хантов, доминирующую роль в их хозяйственном укладе играли охота и рыбная ловля, а не оленеводство (как у тундровых ненцев).

Уже на рубеже I–II тыс. северные самодийцы (тундровые ненцы) проникают через Приполярный Урал в Большеземельскую тундру на крайнем северо-восто-

ке Европы и становятся известными скандинавским и славянским землепроходцам как северные соседи пермских и угорских народов. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» в конце XI в. сообщает о том, что новгородец Гюрята Рогович «послах отрок свой в Печору, люди, яже суть дань дающие Новгороду; и пришедшу отроку моему к ним, оттуда иде во Югру; Югра же людье есть язык нем и соседят с Самоядью на полунощных странах». Дальнейшее продвижение на запад приводит к расселению ненцев в Малоземельской тундре (левобережье Печоры), Тиманской и Канинской тундрах (восточное побережье Белого моря), в южной части о-вов Новая Земля.

В ходе заселения арктических тундр северные самодийцы постепенно вытесняли и ассимилировали достаточно редкое досамодийское население этих территорий, этническая принадлежность и язык которого совершенно неизвестны⁵. Память о предшественниках тундровых ненцев, которые, по-видимому, занимались в основном морским зверобойным промыслом на арктическом побережье, сохранилась в ненецких преданиях о «*šixirtá*» (иногда они упоминаются среди предков ненецких родов). Вероятно, более значительным было субстратное влияние со стороны древнейших аборигенов Таймыра на нганасанов. В нганасанском словарном фонде, мифологии, материальной культуре обнаруживается много элементов несамодийского происхождения, свидетельствующих о сильном воздействии местных традиций. Кроме того, у нганасанов и тундровых энцев (в отличие от лесных энцев и тундровых ненцев) охота на дикого северного оленя не уступала по своей хозяйственной значимости домашнему оленеводству. Наряду с природными условиями (таймырская популяция дикого оленя до сих пор является наиболее крупной в Евразии), в этом также могли отразиться хозяйственные приоритеты субстратного населения.

Постоянный характер носили культурные и торговые контакты с южными соседями — эвенками (нганасаны и энцы), кетами (энцы), хантаи, манси, коми (ненцы⁶). Воинственные, склонные к дальним вылазкам эвенки с их характерной военной татуировкой («шитыми лицами») постоянно фигурируют в фольклоре всех северносамодийских народов как наиболее опасные враги. Остро конфликтный характер, нередко сопровождавшийся боевыми столкновениями, приобрели с течением времени и взаимоотношения между ненцами, со одной стороны, и тундровыми энцами и нганасанами, с другой. Значительное распространение (по данным фольклора и языка) приобрел обычай обращения пленных иноплеменников в услужение (патриархальное рабство). Возможно, с данным обычаем связано появление ряда смешанных (хантыйских по происхождению, хантыйских или ненецких по языку, ненецких по оленеводческой культуре) родов в Нижнем Приобье.

Возможно, в наименьшей мере среди самодийских народов миграционными процессами оказались затронуты селькупы — по крайней мере их южная группа, которая на протяжении более чем полутора тысячелетий сохраняла свой исходный хабитат в бассейне Средней Оби и ее притоков. Лишь весьма ограниченно

⁵ Выдвигавшиеся предположения о языковой близости досамодийского населения саамам (на западе) или юкагирам (на востоке) не удается подкрепить лингвистическими аргументами.

⁶ В течение непродолжительного времени, до расселения русских в бассейне Северной Двины, ненцы имели маргинальные связи также с восточными прибалтийско-финскими племенами — заволочской чудью.

шло расселение селькупов на северо-запад (вниз по Оби) и на север. В южной части современной Томской области селькупское население постепенно оттеснялось или ассимилировалось тюркоязычными соседями (барабинскими, чатскими, томскими и чулымскими татарами); это давление, по-видимому, усилилось в период после монгольских завоеваний (XIII–XVI вв.).

Устойчивые связи и жизнь в сходных природных условиях сформировали значительное сходство хозяйственных и культурных традиций трех соседних народов — ханты, селькупов и енисейских кетов. Не случайно все они были известны многим другим народам под одним общим названием (тюрк. *ištäk*, русск. *остяк*, нен. *ǰǎbi*, эн. *bago*, эвенк. *ǰandri*). Ряд данных указывает на то, что язык селькупов нередко использовался в западносибирском регионе как *lingua franca* — средство межэтнического общения. Менее благоприятно складывались отношения с эвенками и с родственными селькупам энцами и ненцами, которые выступают в фольклоре как традиционные военные противники селькупов (в отличие от союзников-кетов).

Самодийские народы в составе России

Предыстория самодийских народов завершается с включением Сибири в состав Русского государства, происходившим в течение XVI–XVII вв. Начиная с этого времени судьбы этих народов и отдельных их подразделений прослеживаются по документальным историческим свидетельствам (донесения и учетные документы русской администрации, с XVIII в. — материалы путешественников и исследователей).

Завоевание Севера русскими было сопряжено, как правило, лишь с небольшими прямыми военными потерями со стороны противостоявшего им коренного населения; более значительным был ущерб, нанесенный эпидемиями ранее не известных болезней, особенно оспы. Следует, кроме того, отметить, что русская администрация никогда не проводила политики прямого истребления — геноцида по отношению к коренному населению (как это нередко случалось в практике других колониальных держав и империй). Ее целью было «замирение» аборигенов и превращение их в исправных плательщиков дани (ясака); даже за нередкими бунтами обычно не следовало чрезмерно жестких карательных санкций. Важную роль играло стремление русской администрации опереться на племенных и родовых старшин, «князцов», которым в дальнейшем нередко предоставлялись привилегии российского дворянства. Миссионерская деятельность православной церкви носила по преимуществу формальный характер — приняв крещение, коренное население Севера обычно продолжало придерживаться своих религиозных обычаев, поклоняясь идолам и практикуя шаманизм⁷. Однако принятие крещения создавало потенциальную возможность сближения с пришлым православным населением, а в дальнейшем и к полной культурной ассимиляции. В то же время военное завоевание Сибири русскими, а затем и ее колонизация,

⁷ Известны лишь несколько случаев, когда чрезмерно ревностные церковные деятели, опираясь на поддержку администрации, объявляли войну традиционным верованиям, преследовали «двоеверцев» и «отступников». В частности, такую линию проводил архимандрит Вениамин, по приказу которого в 1826 г. было сожжено более 100 идолов и уничтожено главное святилище канинских ненцев.

сопровождаясь массовым притоком населения из европейской России, вели к радикальным изменениям этнической ситуации и условий жизни в ряде сибирских регионов. Эти изменения затронули в первую очередь тех самодийцев, которые оказались в зонах русской земледельческой колонизации или в непосредственной близости от центров военной экспансии — камасинцев, маторов, южных селькупов, энцев. Следует считаться и с опосредованными результатами продвижения русских в Сибирь: стремясь уйти от военного противника или избежать ясного бремени, многие племена коренного населения сдвинулись с насиженных мест в поисках новых, более удаленных и более спокойных земель. Отдельные группы самодийцев непосредственно включились в этот процесс (предки северных селькупов, ямальские ненцы), другие, напротив, стали наряду с русским давлением испытывать давление со стороны своих давних соседей.

Все это означало разрушение сложившегося этнического — и одновременно экологического и экономического — равновесия. Для ряда относительно крупных северных народов потеря части исконных территорий не вела к катастрофическим последствиям; кроме того, они могли найти людские и другие внутренние резервы для частичной трансформации жизненного уклада в соответствии с условиями нового времени. Однако многие этнические группы — в том числе самодийские — всегда были весьма немногочисленны, насчитывая от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, и способны сохранять свою самостоятельность и самобытность только благодаря связи с определенной ограниченной территорией и определенным типом хозяйствования. Для таких народов адаптационных механизмов не нашлось: единственным способом биологического выживания оказалась культурная и языковая ассимиляция (либо русскими, либо одним из более крупных соседних народов).

Значительная часть этнических групп Севера сохранила, однако, свою самобытность на протяжении первых трех веков русской колонизации. Более того, ряду народов — в частности, ненцам и селькупам — после сокращения или стагнации их численности в XVII–XVIII вв. удалось в XIX в. восстановить и даже заметно увеличить свою численность. В этом плане положительную роль сыграла грабительская (по отношению к северянам), но хорошо отлаженная система торговли: коренное население в обмен, главным образом, на пушнину регулярно получало продовольствие, охотничье снаряжение и другие привозные товары, могло рассчитывать на хлебный кредит в голодные годы. В ряде местностей появилось медицинское обслуживание и санитарное просвещение, хотя и в самых примитивных формах.

В XX в. роль неблагоприятных с точки зрения этнического развития факторов не только сохранилась, но и значительно возросла. Началось интенсивное промышленное освоение Севера, сопряженное с многократно увеличившимся притоком русскоязычного населения и с резким, часто катастрофическим, ухудшением экологической обстановки. Создание в сталинские годы гигантского «архипелага ГУЛАГ» означало, в частности, отторжение ряда территорий исконного расселения сибирских народов и их административное отселение. Достаточно сказать, что лагеря и шахты Воркуты были построены в ненецкой тундре (по-ненецки *Wärkuta* — «место, изобилующее медведями»); что так называемая «мертвая», никогда не введенная в строй железная дорога Салехард — Игарка прошла по землям тундровых ненцев, лесных ненцев и тазовских селькупов; что одним из основных районов ссылки постоянно служил населенный селькупам

север
с энц
район
Земл
тани
лярн
осад
тилет
руше
На
по су
мени
циона
ций —
социа
служи
всей
тельс
пов —
графи
чальн
школ
ботке
ненец
сегод
как гр
предс
В
перев
посел
было
вновь
тем, к
минис
тов и
опред
ского
ее гор
онных
алкого
эта ка
До
циона
следст
ские н

8 О
говорит

север Томской области — Нарымский край; что в низовьях Енисея, по соседству с энцами и нганасанами, возник еще один крупнейший лагерно-промышленный район — Норильск. В 1950-х гг. ненцы были полностью выселены с о-вов Новая Земля и из некоторых прилегающих районов, где был создан полигон для испытаний ядерного оружия. В ряде местностей Большеземельской тундры и Приполярного Урала после этих испытаний происходило выпадение радиоактивных осадков, имели место случаи массовой гибели оленей. В самые последние десятилетия развернулась добыча нефти и газа в Западной Сибири, ведущаяся с нарушениями всех экологических и моральных норм⁸.

На смену православному миссионерству в советский период пришла близкая по сути и целям, но гораздо более жесткая идеологическая индоктринация. Применительно к этническим меньшинствам Севера так называемая «ленинская национальная политика» всегда была направлена на подрыв национальных традиций — в этом и состоял «путь народов Севера от первобытно-общинного строя к социализму». Школа, учреждения культуры, средства массовой информации служили основными инструментами приобщения коренного населения «к жизни всей страны», то есть фактически русификации этого населения. Такие просветительские меры, как создание национальных письменностей (у ненцев и селькупов — с начала 1930-х гг. на латинской, а с конца 1930-х гг. на кириллической графической основе), издание и использование национальных учебников для начальных классов преследовали по сути дела те же цели: дети, приходившие в школу без знания русского языка, подвергались начальной идеологической обработке на их родном языке; по мере же овладения русским языком использование ненецкого, селькупского и других северных языков свертывалось. Не случайно сегодня у народов Севера большинство людей читают и пишут по-русски, тогда как грамотность на родном языке является достоянием лишь очень узкого круга представителей гуманитарной интеллигенции.

В основном идеологическими мотивами была продиктована и кампания по переводу кочевого населения на оседлость и ликвидации мелких и полуседлых поселений, которая велась особенно активно в 1960-е гг. Коренное население было вынуждено оставлять свои традиционные промыслы и переселяться во вновь построенные (хотя и мало благоустроенные) поселки. По отношению к тем, кто пытался остаться на своих традиционных угодьях, использовалось административное и экономическое принуждение (прекращение продажи продуктов и снаряжения и т. п.). Концентрация коренного населения в поселках имела определенные преимущества с точки зрения, например, организации медицинского и культурного обслуживания, снабжения продовольствием и топливом. Но ее гораздо более значимыми последствиями стали повсеместная утрата традиционных навыков, массовая люмпенизация коренного населения, распространение алкоголизма. В отношении ряда северных народов — в частности, нгансанов — эта кампания по своим последствиям была равносильна геноциду.

Достаточно формальный характер носило и создание в 1929–1932 гг. сети национальных автономий, в которую вошли, в частности, и национальные (впоследствии автономные) округа с самодийским населением: Ненецкий (европейские ненцы; центр Нарьян-Мар; в составе Архангельской обл.), Ямало-Ненецкий

⁸ О правовых нормах в условиях СССР и современной России нельзя, к сожалению, говорить всерьез.

(ямальские, тазовские и лесные ненцы, северные селькупы; центр Салехард; в составе Тюменской обл.), Таймырский = Долгано-Ненецкий (енисейские ненцы, энцы, нганасаны; центр Дудинка; в составе Красноярского края). В условиях жестко централизованной советской системы эти округа были лишены самостоятельности в принятии решений, не могли выражать и защищать интересы коренного населения. В настоящее время представительные и административные органы северных округов целиком находятся под контролем пришлого русскоязычного населения, которое составляет большинство во всех северных регионах.

Таковы общие линии судьбы самодийцев в XVII–XX вв. — пожалуй, на наиболее трагическом отрезке их многотысячелетней истории. Основные факты из истории отдельных самодийских народов в этот период кратко излагаются ниже.

Саянские самодийцы в XVII–XX вв.

Ко времени прихода в Сибирь русских саянские самодийцы — маторы и камасинцы — жили в окружении многочисленных тюркских (отчасти также енисейских) племен; исторические документы часто не дифференцируют языковую принадлежность, пользуясь общим обозначением «татары» или указывая вместо этнической идентификации территориальную. Большинство этих племен находилось в положении данников государства енисейских кыргызов — приемников Тюркского каганата и Монгольской империи.

Маторы состояли из по меньшей мере трех территориально-диалектных групп — собственно маторов, тайгийцев и карагасов, населяя горные местности на крайнем юго-востоке современного Красноярского края (а также в соседних районах на севере Тувы и на востоке Иркутской обл.). Численность собственно маторов в XVII в. Б. О. Долгих определяет в 720 чел., еще около 100 чел. насчитывала группа карагасов (испытывавшая, помимо тюркского, также и сильное монгольско-бурятское культурно-языковое влияние), данные о тайгийцах отсутствуют⁹.

Маторы («моторцы») были формально приведены в русское подданство в составе так называемой «Тубинской земли» (с тюркско-самодийским населением) с 1609–1610 гг., хотя в течение всего XVII в. оставались нерегулярными плательщиками ясака. Русская воеводская администрация неоднократно снаряжала военные экспедиции в Тубинскую землю, а, например, в 1634 г. маторы с тубинцами (тюркоязычными?) сами «приходили войной» под Красноярск.

Камасинским языком в XVII–XVIII вв. пользовались как собственно камасинцы, населявшие «Камасинскую землю» в бассейнах рек Мана и Кан (правые притоки Енисея к юго-востоку и востоку от современного Красноярска), так и часть населения «Койбалльской земли» (правобережье Енисея к югу от Красноярска), известная как «койбалы» (самоедоязычные). Численность камасинцев в XVII в. составляла около 400 чел.; вероятно, соизмеримой была и численность

⁹ Здесь и ниже используются оценки численности самодийских народов, полученные Б. О. Долгих и другими исследователями главным образом на основании «ясачных книг» (налоговых ведомостей) русской администрации. Цифры получены путем экстраполяции (ясак платили только мужчины трудоспособного возраста) и поэтому носят приблизительный характер. Кроме того, известно, что часть коренного населения — порой весьма значительная — уклонялась от уплаты ясака, отпочковывая в труднодоступные местности.

койбалов. Камасинская земля была объясчена в 1629 г. (через год после основания близлежащего Красноярского острога).

Появление русских вело к стиранию прежнего территориального размежевания между саянскими самодийцами и их тюркоязычными соседями. Тюрки отступали с равнин в горные местности, смешиваясь с маторами и койбалами и ассимилируя их в языковом отношении. На судьбе собственно камасинцев, напротив, сказалась главным образом русская крестьянская колонизация.

Список тайгийских слов, составленный Г. Ф. Миллером около 1739 г., остался единственным памятником этого маторского диалекта — и вообще единственным свидетельством существования тайгийцев. Возможно, часть потомков этой группы можно найти среди современных северных тувинцев (Тоджа), в языке и материальной культуре которых прослеживается влияние самодийского субстрата. Также в XVIII в. сошел со сцены карагасский диалект; после Миллера с самодоязычными карагасами довелось встречаться только П. С. Палласу в 1772 г. В настоящее время в Нижнеудинском районе Иркутской обл. живет небольшая (и тоже близкая к исчезновению) этническая группа тюркоязычных карагасов, или тофаларов (тофов). Совпадение этнонима и близость территории расселения указывают на связь тофаларов с карагасами-самодийцами, в их языке представлен ряд самодийских заимствований. Однако было бы ошибочным рассматривать их просто как тюркизованных карагасов-самодийцев: тофаларский язык представляет собой вполне самостоятельный тюркский язык, который, несомненно, обособился от близкого ему тувинского языка гораздо раньше XVIII в.

Немногим дольше сохранялись этническая группа и язык собственно маторов. С ними работал в 1806 г. Г. И. Спасский, последняя же носительница этого языка умерла около 1839 г. (по сведениям М. А. Кастрена, уже не успевшего заставить ее в живых). Потомки маторов частично вошли в состав хакасов, частично подверглись русификации.

Примерно одновременно с маторами исчезают и камасинскоязычные койбалы. Уже к середине XIX в. под названием «койбалов», носителей «койбальского языка» известно только одно из тюркских племен в верховьях Енисея, входящее сейчас в состав хакасов. Именно в составе этой группы оказались потомки койбалов-самодийцев.

Камасинцам (носителям собственно камасинского диалекта) удалось сохраниться почти до наших дней. Их последним пристанищем оказалось село Абалаково (в 100 км к юго-востоку от г. Красноярска), где в канун первой мировой войны проживало 15 камасинских семей (8 человек знали камасинский язык в совершенстве, остальные были уже русифицированы). В Абалакове прожила большую часть своей жизни и последняя камасинка Клавдия Захаровна Плотникова (впрочем, и для нее камасинский язык был уже не родным, а вторым, выученным после русского). Дата смерти К. З. Плотниковой — 20 сентября 1989 г. — обозначила конец истории саянских самодийцев.

Селькупы

Ко времени присоединения Сибири к России селькупы занимали территории по Средней Оби и ее притокам — от Тыма на севере до нижнего течения Чулыма

на юге. Первоначально сильное сопротивление казачьим отрядам оказало селькупское племенное объединение — «Пегая орда», во главе которого стоял «князец» (племенной старшина) Воня, находившийся в союзе с сибирско-татарским ханом Кучумом. Окончательное покорение приобских земель и обложение селькупов данью (ясаком) произошло на рубеже XVI–XVII вв., когда по мере продвижения русских вверх по Оби были последовательно построены Нарымский острог (1596), Кетский острог (1602) и основан город Томск (1604). В первой половине XVII в. численность селькупов, плативших ясак в четырех сибирских уездах, составляла около 2700 чел. (Сургутский уезд — более 300 чел., Нарымский уезд — около 1350 чел., Кетский уезд — более 500 чел., Томский уезд — около 500 чел.).

Русская колонизация дала толчок к существенным изменениям в территориальном расселении селькупов. Крайне южные группы, и ранее испытывавшие демографическое давление со стороны соседей-тюрков, отходят на север или ассимилируются; уже к концу XVIII в. фактически исчезают селькупы Томского уезда. Одновременно, однако, происходит переселение «сургутских» селькупов (в основном из бассейна реки Тым) на север. Первые сведения о проникновении селькупов в бассейн реки Таз, на территории, заселенные до того лесными энцами, относятся к середине XVII в. В течение XVIII в. здесь формируется достаточно многочисленная и активная группа северных селькупов, которая расселяется далее на северо-восток (в бассейн реки Турухан и других притоков Енисея), ассимилирует остатки энецкого населения, а также захваченные миграцией семьи восточных ханты. В фольклоре северных селькупов широко известно предание о селькупском первопоселенце Таза, *Nomal' porqi* («Заячья шуба»), и о его победе над энцами.

В рамках того же движения на север происходит и поглощение селькупками небольшого енисейскоязычного народа — пумпокольцев, которые еще в начале XVIII в. жили в верхнем течении реки Кеть.

К концу XIX в. численность селькупов на территории современной Томской области, несмотря на ассимиляционные и миграционные потери, составляла около 4 тыс. чел. Следует, однако, принять во внимание то обстоятельство, что селькупы бассейна Средней Оби были давно крещены и постепенно сливались с русским (к тому времени уже старожильческим) крестьянским населением этих мест. Значительная часть из них, продолжая именовать «костяками», фактически превратились в одну из этнографических групп русского населения Средней Оби. В течение XX в. этот ассимиляционный процесс усилился (в частности, по причине насильственных переселений нарымских селькупов, оказавшихся в сфере господства ГУЛАГа). В последние десятилетия он полностью охватил даже наиболее удаленные местности в бассейнах рек Тыма и Кети. У всех территориальных селькупских групп Томской области передача родного языка младшим поколениям прекратилась. Именно здесь, однако, в последние годы возникло движение селькупского национально-культурного возрождения, организационно оформленное в сентябре 1989 г. созданием общества «Qolqı qır» («Обские люди»), которое призывает к изучению всеми селькупками родного языка и инициировало разработку системы учебных пособий по исследованным ранее селькупским наречиям Томской области.

Северных селькупов в конце XIX в. насчитывалось около 800 чел., к настоящему времени их численность возросла примерно вдвое, причем уровень владе-

ния родным языком остается относительно высоким. Этому способствует относительная изоляция (в ряде населенных пунктов региона селькупы продолжают составлять большинство населения) и сохранение традиционных промыслов (рыболовство, охота). Тем не менее, и здесь ассимиляционные факторы — в первую очередь, обучение и проживание детей в русскоязычных школах-интернатах (где лишь в последние годы и в очень ограниченном объеме возобновлено преподавание селькупского языка) — создают самую непосредственную угрозу будущему селькупского народа. Еще один негативный фактор — близость западносибирских нефтяных и газовых промыслов, перспективы обнаружения и разработки месторождений на селькупской земле.

Ненцы

Европейские ненцы, граница постоянного расселения которых на западе доходила до р. Мезени, раньше других самодийских народов оказались на положении подданных Великого Новгорода, а затем Московской Руси. Основание Пустозерского острога в низовьях Печоры (около 1500 г.), ставшего центром ясачного сбора и торговли, лишь закрепило уже сложившееся положение вещей.

Проникновение русских на земли сибирских ненцев (от Уральских гор до Енисея) происходило на рубеже XVI и XVII вв., причем шло двумя путями — более южным (от Тобольска вниз по Оби до ее дельты, где в 1595 г. был выстроен Обдорский острог — современный г. Салехард) и северным, так называемым Мангазейским морским ходом (от Архангельска по морю вдоль побережья, далее через п-ов Ямал, по Обской и Тазовской губе, на реку Таз и далее на Енисей). Сколь-нибудь значительного притока русских переселенцев, однако, не было, поэтому территория расселения и формы хозяйственной деятельности ненцев не претерпели существенных изменений. Более активно в колонизационном процессе участвовали коми-зыряне (ижемцы), которые успешно усваивали навыки ненецкого оленеводства и со временем превратились во владельцев наиболее крупных оленьих стад в Большеземельской тундре и Нижнем Приобье.

Общая численность ненцев в конце XVII в. оценивается в 7,5 тыс. чел. (европейские тундровые ненцы — около 1,5 тыс. чел., сибирские тундровые ненцы — более 5 тыс. чел., лесные ненцы — до 1 тыс. чел.).

История ненцев в XVII–XIX вв. богата военными конфликтами. Чрезмерные ясачные поборы, самоуправство русской администрации неоднократно приводили к бунтам, сопровождавшимся разгромом русских укреплений; наиболее известно восстание обдорских и тазовских ненцев в 1825–1839 гг., которым руководил Wawl'o Neňang (Ваули Пиеттомин). В результате военных побед над энцами в XVIII — первой половине XIX в. область расселения тундровых ненцев значительно расширилась, они сумели закрепиться на правом берегу Енисея. По-видимому, связанное с этим переселение значительных групп ямальских ненцев на восток привело к поглощению ими небольшой группы ненцев-юраков, которые в начале XVIII в. жили на левобережье Енисея. Имело место и продвижение лесных ненцев в верховья правых притоков Оби (на территорию нынешнего Ханты-Мансийского автономного округа). К концу XIX в. территория расселе-

ния ненцев стабилизировалась, а их численность возросла по сравнению с концом XVII в. примерно вдвое.

В течение всего советского периода общая численность ненцев, по данным переписей, также устойчиво возрастала: 1926 г. — 17 560 чел., 1959 г. — 23 007 чел., 1970 г. — 28 705 чел., 1979 г. — 29 894 чел., 1989 г. — 34 665 чел., в том числе на территории России 34 190 чел.; сегодня ненцы — наиболее крупный из коренных народов российского Севера. Но, несмотря на этот численный рост, доля ненцев в населении трех «ненецких» автономных округов неуклонно уменьшалась, составив 11% в 1979 г. и упав до менее чем 6% в 1989 г. Причина тому — бурный рост населения этих округов (в особенности Ямало-Ненецкого — со 159 тыс. чел. в 1979 г. до 495 тыс. чел. в 1989 г.) в основном за счет приезжих из других регионов России и СССР, связанный с их промышленным освоением.

Доля ненцев, считающих язык своей национальности родным, постепенно снижается (1959 г. — 84,7%, 1970 г. — 83,4%, 1979 г. — 80,4%, 1989 г. — 77,1%), но все же остается более высокой, чем у большинства других народов Севера. В 1989 г. 18,1% ненцев признавали родным языком русский, а в целом свободно владели русским языком (как родным или вторым) 79,8% ненцев — таким образом, еще существует достаточно заметная (порядка одной пятой) часть языкового коллектива, адекватное общение с которой может обеспечить только знание ненецкого языка. Типичным оказывается сохранение прочных ненецких речевых навыков у молодежи, хотя для значительной ее части основным средством коммуникации стал русский язык (как и у других народов Севера). Определенную позитивную роль играет преподавание ненецкого языка в школе, популяризация национальной культуры в средствах массовой информации, деятельность ненецких литераторов. Но в первую очередь относительно благоприятная языковая ситуация связана с тем, что оленеводство — экономическая основа ненецкой культуры в целом — смогло сохраниться в традиционной форме вопреки всем разрушительным тенденциям советской эпохи. Этот вид производственной деятельности целиком остался в ведении коренного населения.

Энцы

В начале XVII в. энцы занимали несоизмеримо большую территорию, чем в настоящее время. Район кочевий тундровых энцев («хантайских самоедов») охватывал обширные пространства тундры и лесотундры от бассейна Нижнего Таза на юго-западе до Енисейской губы и реки Пясины на северо-востоке. Кочевья лесных энцев («карасинских самоедов») простирались от Среднего и Верхнего Таза на северо-восток до правобережья Енисея в районе рек Нижняя Тунгуска и Курейка. Численность тундровой группы составляла при этом, по минимальным оценкам, не менее 800 чел., а лесной группы — не менее 400–500 чел.

Енисейский Север — территория расселения энцев — стал одним из наиболее важных опорных пунктов русской экспансии в Сибири. В 1601 г. архангельские мореходы и казаки основывают на реке Таз Мангазею. Этот город, получивший свое имя от названия одного из энецких родов (*Mogad'i*, нен. *Māṅgañši*), приобрел широкую известность благодаря соболям и другим ценным мехам, которые он поставлял на российские и европейские рынки. Несколько позднее в низовьях

Енисея, также на энецкой этнической территории, были основаны Туруханск и Дудинка.

Военные столкновения с русскими, особенно в первой половине XVII в. (когда, в частности, коренное население несколько раз нападало на Мангазею), и отселение части энцев на север и северо-восток — часто на земли союзников-нганасанов — привели, по-видимому, к значительному ослаблению тазовской группировки энцев. Как уже упоминалось выше, во второй половине XVII в. и в XVIII в. фактически вся прежняя территория лесных энцев переходит во владение переселившихся с юга селькупов. Тазовско-енисейские селькупы ассимилировали часть побежденных ими лесных энцев, другая часть отступила по Енисею на север, в районы между современными городами Игарка и Дудинка. Несколько позже ямальские ненцы, продвигавшиеся на восток, вытеснили тундровых энцев из низовий Таза и с левобережья Енисея. В результате наиболее поздних по времени военных действий (первая половина XIX в.) ненцам удалось закрепить и на энецких землях на правом берегу Енисея. Этому, между прочим, способствовали усилия русской администрации, направленные на прекращение межплеменных войн: к середине XIX в. эти усилия увенчались успехом и лишили энцев возможности «военного реванша» (или спасли их от окончательного разгрома). Значительные масштабы приобретает культурно-языковая ассимиляция лесных и тундровых энцев ненцами, которая продолжается до настоящего времени.

В силу этих причин вместе с уменьшением территории значительно сократилась и численность энцев — приблизительно до 500 чел. во второй половине XIX в.

Административные меры, предпринимавшиеся в советский период, стали фактическим продолжением этих негативных процессов, сведя энецкую этническую территорию до минимальных размеров. Сейчас последние тундровые энцы (несколько десятков человек, для большинства из которых обычными языками общения являются ненецкий и русский) сосредоточены главным образом в пос. Воронцово близ устья Енисея, а почти все лесные энцы (около 100 чел., большинство из которых владеет родным языком в весьма несовершенной форме) живут в пос. Потапово (на Енисее выше Дудинки).

Нганасаны

Географическая изоляция на крайнем севере Евразийского континента (п-ов Таймыр) обусловила специфику исторической судьбы нганасанов. Присоединение Сибири к России и все последующие события вплоть до середины нашего столетия лишь в небольшой мере отражались на судьбе этого кочевого народа. Достаточно устойчивой оставалась и его численность (600–900 чел.), резко сокращавшаяся только после эпидемий оспы (самая опустошительная в начале 1830-х гг.). Среди самодийцев только нганасаны всегда оставались некрещеными и сохранили свой традиционный именование (отдельные нганасаны, принявшие православие, отделились от своего народа и влились в состав южных соседей — долган).

Первые упоминания о нганасанах — «пясидских самоедах», «тавгах» — относятся к 1614–1627 гг. Картина состава родовых подразделений и распределения

родовых угодий не вполне ясна; возможно, в эти время еще только завершалась ассимиляция нганасанами субстратного несамодийского населения. Довольно сильное сопротивление, в том числе вооруженное, встретили попытки обложить нганасанов ясаком; огромные пространства тундры позволяли кочевникам легко уходить из-под контроля русской администрации. Позднее отношения несколько урегулировались: места уплаты ясака превратились в центры необходимого нганасанам товарообмена. Впрочем, их зависимость от привозных товаров оставалась невысокой. Даже огнестрельное оружие еще в 1930-х гг. не имело в среде нганасанских охотников широкого распространения. В этот же период нганасаны оставались поголовно неграмотными, и лишь немногие из них умели объясняться по-русски.

Так называемое «социалистическое переустройство» началось в центральных районах Таймыра позднее, чем где бы то ни было в Сибири — лишь на рубеже 1940-х — 1950-х гг. здесь были созданы колхозы. В начале 1960-х гг. почти все нганасаны (около 90%) были сселены в три поселка со смешанным населением, находящиеся к югу от обычных мест нганасанских кочевий, на долганской этнической территории. Попытки сохранить в новых условиях домашнее (транспортное) оленеводство оказались безуспешны. К концу 1970-х гг. все поголовье домашних оленей у нганасанов погибло, и они оказались полностью отрезанными от своих родовых угодий.

Современный нганасанский народ оказался расколот надвое возрастным рубежом. Люди 45–50 лет и старше, родившиеся и выросшие в тундре, в полной мере владеют всем комплексом традиционных промысловых и культурных навыков, но в изменившихся условиях не имеют возможности передать это наследие своим детям и внукам. Молодежь, проводшая всю свою жизнь в русскоязычных поселках и школах-интернатах, почти не владеет нганасанским языком, явно ощущает бесперспективность жизни в поселках (хозяйство которых в новых экономических условиях России оказалось совершенно нерентабельным) и в то же время не подготовлена должным образом ни к возврату в тундру, ни к переселению в крупные промышленные центры. Трагически резкое изменение образа жизни исковеркало судьбу этого самобытнейшего самодийского народа.

PHONOLOGICAL AND MORPHONOLOGICAL PROPERTIES OF QUANTITY IN SAMOYED*

0. The phonology, and particularly the domain of the quantitative oppositions of vowels, appear to be the least conservative level in the structures of the Samoyed languages as compared to morphology, syntax, vocabulary or even phonetics (although some phonological properties of the individual languages may be very archaic). The numerous differences formed in the course of separate development exclude the possibility of accounting for the «quantity in Samoyed» as a whole. It would be more expedient from the typological viewpoint, and probably from the historical and comparative viewpoints as well, to try to show how similar phonetic phenomena are integrated into basically different phonological systems, laying special emphasis on less known data from Tundra Enets and Tas Selkup which have been revealed due to field studies conducted in 1970s.

1. For Tundra Enets¹ the biphonemic interpretation of long vowels should be chosen. The reasons are as follows:

Qualitatively, the six long vowels (*ī, ē, ā, ō, q̄, ū*) are practically identical to the six corresponding short ones; no diphthongization trends (that accompany vowel length in many languages) can be observed.

Quantitatively, these long vowels seem to possess twice (or a little less than twice) the duration of the short ones².

Native speakers of very clear, full-styled enunciation «split» sometimes a long vowel into two short ones. Even in this case, however, there is no interruption of voice, i. e. no glottal stop, the latter being an independent phoneme in Enets: *pē* or *pee* 'footwear; пимы', but *pe'e* 'tinder'; *bagō* or *bagoo* 'beads', but *bago'o* 'hook for cleaning a pipe'.

The occurrence of long vowels is not subjected to positional restrictions (with the only exception of *q̄* that does not occur beyond the first syllable, just like its short counterpart *q*), cf. *āōo* 'I am', *kānuo* 'ill', *udāxa* 'taste', *ēsā* 'nine', *motulā* 'ford,

* Впервые опубликовано в: Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Hrsg. von P. Hajdú und L. Honti. Budapest, 1984. S. 13–17.

¹ This dialect of Enets (Yenisey Samoyed), called *somatu nau* 'Somatu language' by native speakers, is spoken by a few dozens of elderly people in the villages along the eastern coastline of the Yenisey Bay. In most respects it is close to the Chantaika dialect recorded by Castrén.

² In the Forest dialect the ratio of durations is about 1.6 to 1 (according to the experimental data of V. Susekov); but the comparison of the tape recordings from the two dialects shows a noticeable difference in this respect. In general, the phonetic peculiarities of Enets have been partly lost by modern Forest (Bai) dialect.

shallow' etc. Sometimes they are preceded, followed or even surrounded by other vowels, long or short: *muā* 'step', *ēsāu* 'ninety', *liāiāi* 'skeleton', *tīēone* 'fathom' (prol.).

There is no apparent distinction between the «etymologically» long vowels and the long vowels that arise on morphemic sutures in words like *mēda* 'he made' (*me-* + *-ēda*), *sirāne* 'snow' (prol.) (*sira* + *-ane* < *-one*).

In a number of cases morphemic borders bring together a long and a short vowel of the same quality. No elision takes place — it must be said that the Tundra dialect tends to preserve even the most «unconvenient» vocalic clusters — and the resulting articulations distinctly differ from the «simple» long vowels. Usually they take the shape of overlong vowels (*V̄*), but they may as well be segmented into one of the sequences *VV̄* or *VV*. For example: *dēbe* = *dēēbe* = *dēebe* 'let it ache' (*dē-* + *-ebe*), *tīna*? = *tīina* 'our teeth' (*tī* + *-i-* + *-na*?), *iḏāne* = *iḏāane* = *iḏāāne* 'place where a tent had been standing' (prol.; *iḏā* + *-ane*). The triphonic interpretation of *V̄*'s is a logical consequence of the biphonemic interpretation of *V̄*'s; the alternative phonological decision would lead to recognizing three degrees of vowel quantity.

I believe that decisive argumentation in favour of the biphonemic interpretation is supplied by some rules of morphophonological alternations. For example, the four following rules that describe the formation of the nominal stem of acc. pl. are significant:

1. stem-final *-o* (nom. sg.) changes into *-u* in bisyllabic stems with a short vowel in the first syllable: *duḏo* 'strip', *mimo* 'arrow' — *duḏu*, *mimu* (acc. pl.);
2. stem-final *-o* changes into *-i* in bisyllabic stems with a long vowel in the first syllable and in more than bisyllabic stems: *pāto* 'cover for a gun', *dqro* 'row, layer', *biomo* 'chief, owner', *kudaduo* 'evening' — *pāti*, *dqri*, *biomi*, *kudadui* (acc. pl.);
3. stem-final *-ō* changes into *-ou* in monosyllabic stems: *sō* 'foodstuff', *tō* 'summer' — *sou*, *tou* (acc. pl.);
4. stem-final *-ō* changes into *-oi* in non-monosyllabic stems: *bagō* 'beads', *poikaḏō* 'pelvis' — *bagoi*, *poikaḏoi* (acc. pl.)

It is obvious that the alternations in question are as a matter of fact subjected to phonological — not phonetic! — rules of the simplest form (*-o* changes into *-u* in stems with two vowel phonemes, *-o* changes into *-i* in stems with three or more vowel phonemes).

The proposed phonological interpretation finds further support in the fact that the long vowels in Enets frequently come back to the vocalic clusters that have resulted from the loss of an intervocalic consonant (former diphthongs being their other source), e. g.: *ē* 'mother' < **eme*, *kōri* '(a) tear' < **kājāli*, *koḏorā* 'pasture' < **kātālāmā* etc. There seem to be no apparent cases where a former short monophthong needs to be re-constructed in place of a modern long vowel.

2. For Nganasan the biphonemic phonologization of long vowels is by many indications also possible. The reasons are essentially the same that P. Hajdú has used to show the mora-counting character of the Nganasan prosody [Hajdú 1962, 1964b], viz. that the rules of consonant gradation always treat a syllable with a long vowel as an open one (e. g. in *bikā*? 'rivers' the strong grade of the alternation pair *k/g* appears, although the second syllable is closed; cf. *bigaj* 'river') and that the accent falls on the penultimate mora even if this mora makes a part of a long vowel (Castrén's original records like *tjiidi* 'pus' or *baārba* 'chief, owner' are especially demonstrative). It may be added that long vowels occur in Nganasan seldom enough (although in modern pro-

nunciation their relative frequency has increased due to diphthong-contractions) — this fact by no means justifies considering them to be special phonemes.

3. In Tas Selkup (as well as in other Selkup dialects, I would add) the long vowels have to be described as separate phonemes. Here are some of the reasons that make their biphonemic interpretation inexpedient:

The qualitative correspondence between the short and the long vowels is but partial. Thus e. g. one of the members of the quantitative correlation is composed of *o* and $\bar{o}$. Some of the long vowels have positional or optional diphthongal variants ($\bar{i}/i$, $\bar{y}/y$, $\bar{e}/e$, $\bar{\epsilon}/\epsilon$, $\bar{u}/u$, $\bar{q}/q$). The former qualitative difference between *a* and $\bar{a}$ enabled the latter sound to change into $\bar{a}$ and then into $\bar{o}$. This transition, testified by the records from the first half of our century, left $\bar{o}$ standing apart from the quantitative correlation.

In colloquial Selkup there is usually only a slight difference in duration between the long vowels and the short ones (the ratio does not exceed 1.5 to 1), frequently the vowel length is entirely ignored. In full-styled enunciation the duration of long vowels may be considerably augmented, but I never happened to hear any «split» which is rather common in the case of Enets.

Only long vowels are affected by certain positional restrictions, e. g. they never appear at the end of a polysyllabic word (except for some clipped forms).

The vocalic clusters are in general not typical of Selkup. When two vowels meet at a morphemic suture, one of them usually drops out or an epenthetic consonant appears, but no long vowels result.

The details of the phonetic history of the Selkup long vowels are still obscure, although the main sources of their development are obvious³. Anyhow, in many cases they originate from short monophthongs. The most recent example is given by some idiolects of Tas Selkup where a new $\bar{a}$ has by now taken the place of the former $\bar{a}$ (> $\bar{o}$, see above) due to the transition *a* > $\bar{a}$ in words like $\bar{l}\bar{a}p\bar{i}/l\bar{a}p\bar{i}$ 'oar', $\bar{t}\bar{a}q\bar{i}t\bar{a}q$ 'to close', $\bar{m}\bar{a}č\bar{i}/m\bar{a}č\bar{i}$ 'forest' etc. (this transition has been conditioned by the position in the first syllable immediately before a syllable with the structure $T\bar{i}$, where *T* = noise consonant).

To delineate the main features of the vowel quantity in Selkup, one should mention its highly developed system of quantitative alternations. For example, vowels of different length alternate in a few dozen monosyllabic nouns; *V*'s come out in stem I (nominative stem), and *V*'s — in stem II (genitive stem): $k\bar{i}r/k\bar{i}r\bar{i}$ - 'wound' ($k\bar{i}r$ [NomSg], $k\bar{i}r\bar{q}\bar{i}n$ [LocSg], $k\bar{i}r\bar{m}\bar{i}$ [NomSg + PxISg], $k\bar{i}r\bar{q}\bar{i}$ [NomDu] ... / $k\bar{i}r\bar{i}n$ [GenSg], $k\bar{i}r\bar{i}m$ [AccSg], $k\bar{i}r\bar{i}t$ [NomPl] ...), $\bar{s}\bar{a}q/\bar{s}\bar{a}q\bar{i}$ - 'salt', $\bar{t}\bar{o}t/\bar{t}\bar{o}t\bar{i}$ - 'otter' etc., cf. also $q\bar{o}n/q\bar{o}$ - 'chief' and a few examples with both quantitative and qualitative alternations: $n\bar{o}m/n\bar{u}$ - 'God, sky', $k\bar{e}m/k\bar{i}m\bar{i}$ - 'blood', $\bar{s}en/\bar{s}in\bar{i}$ - 'sheath' etc. Such alternations are not regular, cf. «pure» length or brevity in numerous cases like $q\bar{u}m/q\bar{u}m\bar{i}$ - 'man', $\bar{s}\bar{o}l/\bar{s}\bar{o}l\bar{i}$ - 'throat'. In verbs, quantitative alternations are most often connected with adding certain suffixes.

4. In this short communication it is impossible to discuss in detail the complicated problem of vowel quantity in Nenets. The situation is here obviously unique among the Samoyed languages, since we are aware of at least four quantitative phenomena of different origin and of relatively independent occurrence. The principal source of Nenets linguistic data (T. Lehtisalo's dictionary) fails to consequently distinguish be-

³ I think that the well-grounded and meticulously fulfilled Proto-Samoyed reconstruction by J. Janhunen [SW] needs some additions or at least explications as far as Selkup and Sayan Samoyed vocalism is concerned.

tween them — partly because these phenomena appear to have different shapes in different dialects — and the ambiguity of the materials has led to many contradictory conclusions on the matter.

To put it briefly, the dialects of Nenets possess:

1. The inherent length (or rather tense quality, according to H. Katz) of /a/, /e/, /i/, /o/ and /u/. From the phonological viewpoint it is not necessary to mark them as long.

2. The inherent shortness of /ā/, /ā̄/ and /a/ differ qualitatively as well as quantitatively (cf. *q*, *a* vs. *ā*, *q̄* in records by T. Lehtisalo).

3. The positional shortening that is especially characteristic of /i/ and /u/ in closed syllables and in non-final second syllables (v. [Wickman 1960]).

4. The opposition of «simple» (long or positionally shortened) vowels which usually have their origin in monophthongs and of their counterparts which come back to diphthongs or are of an onomatopoeic origin. These counterparts take either the form of overlong vowels (N. Tereshchenko sporadically marks such vowels with ː: *nyð* 'from behind' < **puāiā*, cf. Enets *puodo*, but *nyð* 'seine-string' < **pitā*, cf. Enets *piðo*; *nyāra* 'мездра' < **āārā*, cf. Enets *eāra*, but *nyāra* 'copper' < **hārāmā*, cf. Enets *narā* etc.; T. Lehtisalo did not distinguish between long and overlong vowels) or the form of falling-pitched vowels (*pu'ð* 'from behind' etc.; the tonal representation has been observed in Gydan dialect and needs further investigation, since it is possibly superimposed on tonal phenomena of a different origin). It is possible that the opposition in question has become neutralized in some dialects.

It may be seen that among the above quantitative phenomena only the last type gives a possibility for establishing a series of phonologically long (phonetically overlong) vowels⁴.

5. I have not much to say about the vowel quantity in Kamassian. In spite of more or less significant discrepancies the records by M. Castrén, K. Donner and A. Künnap give all grounds for singling out a series of long vowels that do not appear to be compound from the phonological viewpoint. But a thorough analysis of Kamassian phonology (and maybe even its internal reconstruction) is still a task of the future.

6. The records of two centuries' standing from Mator-Taigi-Karagas contain only a small number of words in which presumably long vowels are marked with doubled letters or with a special sign. Nevertheless it is worth mentioning that in such cases the etymological counterparts of MTK words usually contain a diphthong or a long vowel; no less important is the partial coincidence in marking vowel length between the independent records by Mueller, Pallas and Spasski. Thus, the external and internal checking strengthens the grounds for postulating the existence of long vowels in MTK, too⁵.

7. It can be seen that a similar phonetic appearance conceals considerable differences in the phonological status of the quantitative phenomena in the Samoyed languages. In some cases at least the long vowels are to be disregarded as phonological entities.

⁴ (For more detailed analysis of vowel quantity and related issues in Nenets see now [Janhunen 1986; Salminen 1993, 1997].)

⁵ (For more detailed analysis of vowel quantity in MTK see now [Helimski 1997: 130–132].)

ПРАСАМОДИЙСКИЕ СЕРИИ ПОСЕССИВОВ И ИХ РЕФЛЕКСЫ*

Всем самодийским языкам присуща категория посессивности, выражаемая сочетанием имени обладаемого R с посессивными суффиксами P_x, указывающими на посессора P_s. Выбор P_x зависит не только от лица и числа P_s, но и от падежа и числа R. Группа из девяти P_x (для трех лиц и трех чисел P_s), используемых при определенном падежно-числовом оформлении R, образует одну серию. Ниже делается попытка реконструкции этих серий, исходящей из «максимизационного» предположения о том, что материально и функционально тождественные элементы не явились результатом параллельного развития, а восходят к прасамодийскому (ПС) состоянию. Обилие и относительная однородность сев.-самод. материала обуславливают, видимо, некоторый уклон в сев.-самод. сторону при реконструкции (существенным моментом является также хорошая сохранность суффиксальных слогов в сев.-самод. языках). Но ввиду хронологической близости ПС и ПСС такой уклон вряд ли сильно искажает диахроническую перспективу; взаимные контакты сев.-самод. языков, бесспорно, способствовали сохранению их общего морфологического наследия и препятствовали радикальным инновациям.

Серия P_{x1} (для R_{NomSg})

	ПС	нен. Т ¹	нен. Л	эн. Т	нган.	сельк.	кам.
Sg 1	*-mē ~ *-mi	-w ~ -mi	-j ~ -mi	-(b)o ~ -(b)i [?]	-mə	-m(a)	-m
2	*-δē	-r	-L	-ro	-rə	-l(a)	-l
3	*-tā	-da	-ta	-da	-du ~ -tu	-tə	-t
Du 1	*-mij	-mi [?]	-j [?]	-(b)i [?]	-mi	-mī	-wei
2	*-dij	-ri [?]	-L [?]	-ri [?]	-ri	-lī	-lei
3	*-tij	-di [?]	-i [?]	-di [?]	-di	-tī	-dei
Pl 1	*-māt	-wa [?]	-ma [?]	-(b)a [?]	-mu [?]	-mət ₂	-wa [?]
2	*-dāt	-ra [?]	-La [?]	-ra [?]	-ru [?]	-lāt ₂	-la [?]
3	*-ton	-do [?]	-toŋ	-du [?]	-duŋ	-tāt ₂	-dan

Возможно, в ПС начальному согласному в P_x для P_{s1Sg} и P_{s2Sg} предшествовал гласный (*ə?), образовавший дифтонг с ауслаутным гласным основы. Ср. в

* Впервые опубликовано в: Категория притяжательности в славянских и балканских языках. М., 1983. С. 107–112.

¹ В ненецких формах всех серий P_x конечный гортанный смычный — морфонологически «звонкий» в Du 1–3 и Pl 3, но морфонологически «глухой» в Pl 1–2. Это различие отражается в орфографических написаниях у Н. М. Терещенко (-ми', -ри', -ди', -ва', -pa', -до'; аналогично в других сериях P_x).

нен. Л: 1Sg *kaLāj*, 2Sg *kaLāL* (но 3Sg *kaLta*, 1Du *kaLajʔ* от *кал* 'нож'); в сельк. 1Sg *qorat*, 2Sg *qopal* (но 3Sg *qorətə*, 1Du *qorəti* от *qorə* 'шкура'. Имеется, впрочем, и возможность чисто фонетического объяснения этого явления (компенсаторное развитие).

Серия Px_1 в сельк. используется также для $R_{NomDu/Pl}$, а в кам. приобрела вследствие явно поздней унификации посессивных парадигм универсальный характер для $R_{Nom/Gen/AccSg}$ и (с отличиями чисто фонетической природы, детерминированными суффиксом мн. ч. *-saŋə-*) $R_{Nom/Gen/AccPl}$.

Серия Px_2 (для R_{GenSg})

	ПС	нен. Т	эн. Т	нган.	сельк.
Sg 1	*-nnā ~ *-nni	-n ~ -ñi	-no ~ -ñiʔ	-nə	*-nnə
2	*-ntā	-nd	-do	-tə ~ -ntə	-ntə
3	*-ntā	-nda	-da	-tu ~ -ntu	-ntə
Du 1	*-nnij	-ñiʔ	-ñiʔ	-ni	*-nni
2-3	*-ntij	-ndiʔ	-diʔ	-ti ~ -ndi	-nti
Pl 1	*-nnāt	-naʔ	-naʔ	-nuʔ	*-nnat ₂
2	*-ntāt	-ndaʔ	-daʔ	-tuʔ ~ -nduʔ	-ntat ₂
3	*-nton	-ndoʔ	-duʔ	-tuŋ ~ -nduŋ	-ntat ₂

В нен. — нефонетическое развитие (обычно **-nt- > n*), вызванное необходимостью избежать сплошной омонимии Px_2 для $Ps_{1л}$ и $Ps_{2л}$ (по-видимому, «опаснее» омонимии Px для $Ps_{2л}$ и $Ps_{3л}$!) и поддержанное аналогией с серией Px_3 . В нен. Л обычным Px_2 для Ps_{1Sg} служит *-j* (из **-nni* или аналогически из серии Px_1), однако другой формант *-n* (из **-nnə*) сохранен в реликтовой парадигме $Prop_{refl}$: *kaLiʔn* 'свой (1Sg), я сам'. Вообще во всех сев.-самод. языках $Prop_{refl}$ (нен. Т *χārʔ*-, эн. *kereʔ*-, нган. *ŋonə-*) изменяется только по лицам, сочетаясь с серией Px_2 .

В сельк. Таз Px_2 для $Ps_{1л}$ имеют одинарный *n*, ср. однако многочисленные примеры с *nn* из других диалектов (Tschl. OO *loganna*, *loganni*, *logannöt* от *loga* 'лиса'). На ПС уровне реконструкция геминаты, возможно, подтверждается архаическими формами в нган. материале: (С) *basa* 'железо' : *bajana* 'моего железа', где слабая ступень основы *basa-* интерпретируется как свидетельство первоначальной закрытости второго слога; но ср. совр. нган. *basa* : *basanə*.

Серия Px_2 в сельк. используется также для $R_{GenDu/Pl}$ (наряду с Px_3 , см. ниже). Изолированные реликты этой серии, в целом утраченной, представлены в кам. текстах, особенно у припоселожного генитива (*üjünü* 'моей ноги' и др.), см. [Künnap 1971: 60–61, 161, 174 ff.].

Серия Px_3 (для R_{AccSg})

	ПС	нен. Т	эн. Т	нган.	сельк.
Sg 1	*-mā ~ *-mi	-w ~ -ñi	-(b)o ~ -(b)iʔ	-mə	-m(ə)
2	*-mtā	-md	-do	-mtə	-mtə
3	*-mtā	-mda	-da	-mtu	-mtə
Du 1	*-mij	-ñiʔ	-(b)iʔ	-mi	-mī
2-3	*-mtij	-mdiʔ	-diʔ	-mti	-mī
Pl 1	*-māt	-waʔ	-(b)aʔ	-muʔ	-mat ₂
2	*-mtāt	-mdaʔ	-daʔ	-mtuʔ	-mtat ₂
3	*-mton	-mdoʔ	-duʔ	-mtuŋ	-mtat ₂

В сельк. Нарым R_{X3} для Ps_{1Du} и Ps_{1Pl} отличаются от R_{X1} . При R_{NomSg} используются $-i$, $-wi$ ($*-mij$) и $-ut$ ($*-mat$), а при R_{AccSg} — $-mi$ ($*-mCij$ или $*-Cmat?$) и $-mut$ ($*-mCat$ или $*Cmat?$). Вероятно, однако, что это различие (не поддерживаемое никакими другими самод. данными) носит вторичный характер.

Серия R_{X3} в сельк. используется также для $R_{AccDu/Pl}$.

Серия R_{X4} (для $R_{Nom/Acc Du/Pl}$)

	ПС	нен. Т	нен. Л	эн. Т	нган.	сельк.
Sg 1	*-nā ~ *-ni	-n ~ -ñi	-j	-no- ~ -ñi?	-ñā	
2	*-tā	-d	-t	-do	-tā	
3	*-tā	-da	-ta	-da	-tu	
Du 1	*-nij	-ñi?	-j?	-ñi?	-ñi?	(-ñi)
2-3	*-tij	-dñ?	-t?	-di?	-ti	(*-ti)
Pl 1	*-nāt	-na?	-na?	-na?	-ñu?	(-nāt ₂)
2	*-tāt	-da?	-ta?	-da?	-tu?	(*-tāt ₂)
3	*-ton	-do?	-toñ	-du?	-tuñ	

Палатализация в нган. — результат слияния с предшествовавшим j показателей Pl и Du.

В сельк. в соответствующей функции используются серии R_{X1} и R_{X3} . Однако следы серии R_{X4} сохранились в реликтовой посессивной парадигме основы $\acute{s}i-$, которая используется в качестве аккузатива $Pron_{pers}$ 1-2 лица (в сочетании с соответствующими R_{X1}): Таз $\acute{s}i-ni$ 'нас (Du)', $\acute{s}i-nāt_2$ 'нас (Pl)', МО $[te]se-ti$ 'вас (Du)', Tschl. $[te]s-ter$ 'вас (Pl)'; в ряде диалектов эта парадигма полностью или частично модифицирована.

В нен. и эн. основа $\acute{s}i-$, используемая в той же функции, присоединяет R_{X3} при образовании аккузатива $Pron_{pers}$ ед. ч. и R_{X4} при образовании аккузатива $Pron_{pers}$ дв. ч. и мн. ч.

Серия R_{X5} (для $R_{GenDu/Pl}$)

	ПС	нен. Т	нен. Л	эн. Т	нган.	сельк.
Sg 1	*-inā ~ *-ini	- ² n ~ ² ñi	- ² j	-no- ~ -ñi?	-nā	*-nnā
2	*-itā	-t	- ² t	-to	-tā	-ttā
3	*-itā	-ta	- ² ta	-ta	-tu	-ttā
Du 1	*-tij	- ² ñi?	- ² j?	-ñi?	-ni	*-nni
2-3	*-tij	-tñ?	- ² t?	-ti?	-ti	-tti
Pl 1	*-ināt	- ² na?	- ² na?	-na?	-ñu?	*-nnāt ₂
2	*-itāt	-ta?	- ² ta?	-ta?	-tu?	-ttāt ₂
3	*-iton	-to?	- ² toñ	-tu?	-tuñ	-ttāt ₂

Для нен. Л дана несколько идеализированная система, реально засвидетельствованные формы характеризуются значительным фонетическим разбросом (особенно в случаях «трудных» сочетаний типа $-²t?$). В нган. никогда не происходит т. н. «нунации» t в R_{X5} для $Ps_{2-3л}$, что указывает на исходность сочетания $*-it-$.

В сельк. диалектах R_{X5} частично вытеснены R_{X2} , частично сосуществуют с ними в качестве вариантов (Tas *lokainden*, *lokaitten* 'ваших лис').

Серия P_{x6} (для R_{Loc})

	ПС	сельк.	кам.
Sg 1	*-Ak?	-āk _{2x}	-i
2	*-Antā	-āntā	-an
3	*-tā	-tā	-dā
Du 1	*-ij?	-ī	-iwei
2	?	-īi	-ilei
3	*-tij	-īi	-dei
Pl 1	*-it?	-ət ₂	-iwa?
2	?	-tət ₂	-ila?
3	*-ton	-tət ₂	-dan

Реконструкция особой ПС серии P_{x6} для локальных падежей проблематична не только с точки зрения отдельных деталей, но и в принципе. В северносамодийских языках в соответствующей функции употребляются P_{x2} (для R_{LocSg}, в нган. также для R_{LocDu/Pl}) и P_{x5} (для R_{LocDu/Pl}). Тем не менее, налицо точный параллелизм сельк. и кам. данных — функциональный и отчасти (P_{x6} для Ps_{2-3Sg}) формальный. Обращает на себя внимание сходство предполагаемых P_{x6} с ПС глагольными окончаниями суб. спр., позволяющее предположить их вторичность (ср. для сельк. -āk_{2x} [Künnap 1971: 168]); в частности, речь может идти об аналогическом «рифмовании» окончаний во фразах, где Ps тождествен субъекту глагола, ср. сельк. *man onāk m̄tqāk ilak* 'я живу в своем доме', *tan onāntā m̄tqāntā ilantā* 'ты живешь в своем доме' и т. д. (основа Pron_{ref} *on-* оформляется в сельк. серией P_{x6}).

В кам. перед P_{x6} постоянно размещаются элементы *-n-*, *-t-* (видимо, из **nt*; происхождение может быть объяснено разными способами).

Нетрудно видеть, что выведенная сравнительно-реконструктивным путем ПС система посессивов легко поддается внутренней реконструкции. Серии P_{x2}–P_{x5} могут быть сведены к одной серии (формально совпадающей с P_{x4}), к которой добавляются в препозиции аффиксы генитива *-n-* (у P_{x2}), аккузатива *-m-* (у P_{x3}), мн. ч. *-t-* (у P_{x5}). При некоторых более или менее правдоподобных допущениях эту «сводную» серию можно сблизить с серией P_{x1}. Парадокс, однако, состоит в том, что подобная процедура внутренней реконструкции в той же мере и с теми же результатами применима и к материалу современных самодийских языков — во всяком случае, такого архаичного и «прозрачного» в отношении P_x языка, как ненецкий. И если, как показывает приведенный материал, внутренняя реконструкция нен. системы до ее внешнего сравнения была бы излишней и даже ошибочной, то не окажется ли излишним и ошибочным упрощение ПС системы путем ее внутренней реконструкции? И не является ли такой ошибкой присутствующее в некоторых сравнительно-исторических исследованиях стремление поскорее «избавиться» от посессивов-морфем путем возведения их к посессивам-местоимениям?

Использование рефлексов ПС серий P_x и структуру посессивных именных словоформ в отдельных самод. языках отражает следующая таблица (C_x — падежный суффикс, N_x — числовой суффикс, CN_x — синкретический падежно-числовой суффикс, X — основа имени):

	сев.-самод.	сельк.	кам.
NomSg	$X + Px_1$		
GenSg	$X + Px_2$		
AccSg	$X + Px_3$		
Локальные падежи Sg	$X + Cx + Px_2$	$X + Cx + Px_6$	
Прочие косвенные падежи Sg	$X + Px_2 + Cx$ (нган.)	$X + Px_2 + Cx$	$X + Px_1 + Cx$
NomDu	$X + Nx + Px_4$	$X + Nx + Px_1$	нет
GenDu	$X + Nx + Px_5$	$X + Nx + Px_{2/5}$	
AccDu	$X + Nx + Px_4$	$X + Nx + Px_3$	
Локальные падежи Du	$X + Nx + Px_{5/2}$ + послелог	$X + Nx + Cx + Px_6$	
Прочие косвенные падежи Du	$X + Nx + Px_5 + Cx$ (нган.)	$X + Nx + Px_{2/5} + Cx$	
NomPl	$X + Nx + Px_5$	$X + Nx + Px_1$	
GenPl	$X + Nx + Px_4$	$X + Nx + Px_{2/5}$	
AccPl	$X + Nx + Px_5$	$X + Nx + Px_3$	
Локальные падежи Pl	$X + CNx + Px_{5/2}$	$X + Nx + Cx + Px_6$	
Прочие косвенные падежи Pl	$X + Nx + Px_5 + Cx$ (нган.)	$X + Nx + Px_{2/5} + Cx$	нет
Pron _{refl} (Nom/Gen)	$X + Px_2$	$X + Px_6$	$X + Px_1$
Pron _{pers} (Acc)	Sg: $X + Px_3$; Du, Pl: $X + Nx + Px_4$ (нен., эн.)	$X + Px_{2/3/4}$	нет

ОБ ОДНОМ ПЕРЕХОДНОМ СЕВЕРНОСАМОДИЙСКОМ ДИАЛЕКТЕ (к исторической диалектологии ненецкого языка)*

0. Исследователями ненецкого языка неоднократно отмечалось наличие в нем двух основных диалектных подразделений — тундрового и лесного; различия между говорами внутри каждого диалекта относительно невелики. Имеются, однако, основания полагать, что с прошлым существовал еще один ненецкий диалект, значительно отличавшийся как от тундрового, так и от лесного, но имевший черты, сближающие его с энецким языком.

1. Единственным известным нам оригинальным источником сведений об этом диалекте является одна из рукописей участника 2-ой Камчатской экспедиции (1733–1743) Г. Ф. Миллера (РГАДА, ф. 199, оп. 2, № 513, д 7, лл. 15–20). Рукопись входит в обширный цикл стандартных списков слов различных языков и диалектов Сибири. Данный словник содержит перевод латинских слов на 3 самодийских диалекта: «Mangaseische Samojeden», «Jurackisch» и «Surgutische Ostjaken zu Karassino». Первый из них соотносится с современным диалектом лесных энцев (пэ-бай), третий является одним из енисейских говоров северного диалекта селькупского языка. Под названием «Jurackisch» (юраки — одно из наименований ненцев, особенно распространенное в восточных районах их расселения) фигурирует ненецкий диалект, данные которого, насколько нам известно, не привлекались в исследованиях по самодийским языкам. Мы предполагаем, что этот диалект был распространен в северной части междуречья Таза и Енисея (и, может быть, в некоторых прилегающих районах) и ниже именуем его старовосточным диалектом (сВ) ненецкого языка.

Воспроизводимый в Приложении словник включает свыше 250-ти слов и словосочетаний из старовосточного диалекта. Он был использован Г. Ф. Миллером при составлении «Samojedisches Vocabularium von 13 Dialekten» (ПБ, ф. 7, № 129), данные которого, в свою очередь, перешли в «Sprachatlas» Ю. Клапрота (см. [Donner 1932: 36–50]). Неоригинальные источники, однако, характеризуются рядом сокращений и искажений.

Ниже рассматриваются специфические особенности фонетики и лексики сВ в сопоставлении с данными тундрового (нен. Т) и лесного (нен. Л) диалектов, а также энецкого языка (эн. Л — диалект пэ-бай, эн. Т — диалект сомату).

* Впервые опубликовано (без Приложения) в: Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1976. С. 89–93. Приложение публикуется впервые.

2.1. Судьба сочетаний «носовой + смычный» в сВ отличается от их развития в нен. Т и нен. Л, но идентична их судьбе в эн.

	*mp	*mt	*nt	*ŋk
нен. Т	mb	md	n	ŋg
нен. Л	mp	mt	-nn-, -n	ŋk
сВ	bb, b	dd, d	dd, d	gg, g, -k
эн.	b	d [d̥]	d [d̥]	g [g̊]

Примеры: нен. Т *līm̄ba* 'орел', нен. Л *līm̄pa*, сВ *libbe*, эн. *libe*; нен. Т *lēm̄bara* 'грудь', нен. Л *rēm̄parra*, сВ *ljabár̄ra*; нен. Т *sambl̄ang*, *saml̄ang* 'пять', нен. Л *ḡam̄pl̄āŋk*, сВ *sábl̄jāk*, эн. Т *soboreḡo*; нен. Т *lam̄dō* 'низкий', нен. Л *ram̄tū*, сВ *lad̄iku*, эн. Т *lōdu*; нен. Т *ḡāḡaram̄dej* 'третий', нен. Л *ḡāḡalom̄teḡ*, сВ *nh̄arru-dod̄ij̄alle* 'позавчера', эн. Т *neḡode* 'третий'; нен. Т *ḡan̄ō*, нен. Л *ḡann̄ū*, сВ *nḡáddu*, эн. Т *oḡu* 'лодка'; нен. Т, нен. Л *ḡj̄n* 'лук (для стрельбы)', сВ *nḡid̄de*, эн. Т *ido*; нен. Т *juna*, *jun̄ō* 'лошадь', сВ *júda*, эн. Т *d̄uda*; нен. Т *ḡan* 'нарта, сани', Л *kan*, сВ *ch̄ád̄de*, эн. Т *koḡo*; нен. Т *mun̄ōc̄* 'борода', нен. Л *mun̄n̄ūss̄a(ŋ)*, сВ *mud̄ūt*, эн. Т *mud̄ut̄e*; нен. Т *m̄un̄zu* 'молчи', сВ *m̄údsju*; нен. Т *w̄ān̄ō*, нен. Л *w̄ānn̄ū*, сВ *ūáddu*, эн. Т *baḡu* 'корень'; нен. Т, нен. Л *mañ* 'я', сВ *modi*, эн. Т *mod̄i*; нен. Т *mañije* 'видеть', сВ *mod̄ie*; нен. Т *mar̄aḡa* 'морошка', сВ *mar̄ága*, эн. Т *mor̄oḡa*; нен. Т *mung* 'стрела', сВ *mug*, эн. Т *muḡe'o*; нен. Т *s̄āḡ* 'penis', Л *ḡāḡk*, сВ *sag*, эн. Т *saḡo*; нен. Т *jaḡg(a)ñ̄a* — формант в названиях чисел от 11 до 19, сВ *-jaḡa*. Аномальное развитие в сВ *ḡinḡāni* 'росомаха' (ср. нен. Т *j̄inḡnéj*, *j̄ingañ̄ej*, нен. Л *w̄inḡn̄i*, эн. Т *biḡoḡi*) объясняется, вероятно, заимствованием из нен. Т в сВ.

2.2. В сВ, как и в нен. Л и эн., *w в положении перед гласным переднего ряда не превращалось в j (как в нен. Т): нен. Т *j̄i* 'вода', нен. Л *w̄it*, сВ *bi*, эн. Т *bi*?; нен. Т *j̄eḡēna* 'осетр', Л *w̄iḡēn̄na*, сВ *beh̄ánn̄a*, эн. Т *beḡana*; нен. Т *j̄ū* 'десять', нен. Л *j̄ūt*, сВ *bū*, *būu*, эн. Т *biu*?

2.3. Наблюдается соответствие между нен. Т, Л *m* и сВ *b* (в конце слова и перед согласным): нен. Т *n̄um*? 'бог, небо', Л *n̄ūm*, сВ *nub*; нен. Т *ḡam̄za* 'мясо', нен. Л *ḡamsa*, сВ *nḡábsa*.

2.4. В соответствии *k- (давшему нен. Т *ḡ*, нен. Л. и эн. *k*) в записях Г. Ф. Миллера поочередно появляется то *k*, то *ch* (= *χ*): *kau* '(мое) ухо', *kuo* 'береза', но *char* 'нож', *chowa* 'постель'. Возможно, в этом диалекте *k- дал увулярный смычный *q*, имеющий тенденцию к фрикативному произношению (известный, например, селькупскому языку).

2.5. В сВ, как и в нен. Л, носовой в ауслауте сохранен: нен. Т *ḡā*? нен. Л *ḡāḡ*, сВ *n̄jāḡ* 'рот'; нен. Т *w̄i*? нен. Л *w̄iḡ*, сВ *w̄yḡ* 'тундра'. Ауслаутный смычный дал, по-видимому, не обозначавшуюся в записи гортанную смычку: нен. Т *m̄ā*?, нен. Л *m̄āt*, сВ *m̄j̄ā* 'чум'; нен. Т *ḡu*? нен. Л *ḡut*, сВ *ngu* 'дорога'.

2.6. В трехсложных словах начинающийся с -ḡ- срединный слог в сВ выпал, как и в ряде тундровых говоров: сВ *p̄út̄jau* '(моя) жена' (нен. Т *p̄ūḡic̄aw*); сВ *s̄irte* 'дьявол' (нен. Т *s̄iḡir̄t̄a*, *s̄ir̄t̄a* 'сихиртя, мифологическое существо').

2.7. Представляют интерес некоторые фонетические и морфологические архаизмы в сВ: отсутствие омонимии между словами *to* 'озеро' и *túa* 'крыло' (ср. нен. Т, нен. Л *tō* в обоих значениях); сохранение односложности в слове *cha* (= *ḡa*) 'ель' при нен. Т *ḡāḡi* (первоначально, по-видимому, прилагательное 'еловый', ср. *taḡi* 'летний' от *ta*? 'лето'), нен. Л *kāt*.

3. Поскольку в рассматриваемом словнике представлен преимущественно основной, наиболее устойчивый пласт лексики, подавляющее большинство сВ слов известны в том же значении и в современных ненецких диалектах. «Оригинальными» являются не более 15 слов, соответствий которым не удалось обнаружить в словарях Т. Лехтисало и Н. М. Терешенко. Возможно, некоторые из них записаны или переведены неточно. Однако обращает на себя внимание наличие среди «оригинальной» лексики нескольких слов, известных энецкому языку: сВ *áddi* 'нельма' (эн. Л *ađe*, но нен. Т *sāwta*); сВ *jew* 'cunnus' (эн. Т *dobo*, но нен. Т *pasj*); сВ *kirwa* 'хлеб' (эн. Л *kirba*, но нен. Т *nāñ*); сВ *nadsik* 'стерлядь' (эн. Т *natiko*); сВ *nāessa* 'девять' (эн. Л *nēsa*, но нен. Т *χāsujū*).

4. Совокупность особенностей зафиксированного Г. Ф. Миллером лексического материала позволяет утверждать, что он принадлежит не одному из тундрово-ненецких говоров, а особому диалекту ненецкого языка. Диалект с подобным комплексом особенностей не известен по данным более поздних, в том числе и современных исследований. В предполагаемой области его распространения ныне распространены говоры тундровых ненцев — тазовский и енисейский (таймырский). Вероятно, старовосточный диалект исчез не позднее середины XIX в. вследствие поглощения его носителей волнами новых миграций ямальских ненцев на восток (см. [Васильев 1975]). Возможно, при углубленном диалектологическом изучении тазовско-енисейских говоров в них удастся выявить следы старовосточного субстрата.

5. Как было показано выше, многие фонетические и лексические изоглоссы, отграничивающие старовосточный диалект от тундрового, являются в то же время и межъязыковыми изоглоссами, разделяющими тундровый ненецкий и энецкий языки. Особенно характерна в этом отношении изоглосса развития сочетаний «носовой + смычный». Кроме того, можно подозревать, что в неизвестных нам других, менее стабильных частях старовосточной лексики доля слов, общих для сВ и энецкого языка, была весьма высока.

Эти характеристики старовосточного диалекта позволяют считать его в определенной степени переходным, занимающим промежуточное положение между ненецкими и энецкими диалектами. Промежуточным было и географическое положение его носителей — «юраков», соседствовавших на западе с тундровыми ненцами, на юго-западе — с лесными ненцами, на юге — с энцами пэ-бай и на востоке — с энцами сомату.

Можно предположить ряд путей формирования переходного характера старовосточного диалекта ненецкого языка. Возможно, этот диалект образовался на энецком субстрате в результате ассимиляции одной из этнических групп энцев ненцами. Более правдоподобное, с точки зрения имеющихся данных, объяснение состоит, однако, в том, что распад прасеверносамойской языковой общности происходил не скачкообразно, а постепенно, в результате довольно медленных перемещений отдельных групп самодийского населения на новые территории. При этом промежуточное географическое положение старовосточного диалекта обусловило длительное — и, вероятно, никогда не прерывавшееся — его контактирование как с другими ненецкими диалектами, так и с энецким языком. В такой ситуации на этот диалект могли распространяться некоторые инновации, характерные для энецких диалектов — что, однако, не препятствовало сохранению тесных языковых связей с основной массой ненцев. Переходный характер старо-

восточного диалекта мог в течение долгого времени обеспечивать его носителям высокий уровень взаимопонимания как с западными, так и с южными и восточными соседями.

Приложение

Старовосточный диалект ненецкого языка по Г. Ф. Миллеру
(Lateinisch - Jurackisch) [РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 513, д. 7, л. 15–19 об.]

(Л. 15)

Deus: **nub**
diabolus: **sirte**
idolum: **kähä**
coelum: **nub**
nubes: **tir**
ventus: **mérse**
procella: **cháda**
pluvia: **sáru**
nix: **sírre**
grando: **serápta**
tonitru: **kähä**
fulgur: **kähä-tu**
sol: **káiar**
luna: **jirri**
stella: **núbge**
dies: **jálle**
nox: **pi**
mane: **jállema**
meridies: **jállewoi**
vespera: **paússema**
media nox: **pijir**
hebdomas: **jirri** [зачеркнуто]
mensis: **jirri**
annus: **pu**
terra: **ja**

(Л. 15об.)

mons: **soti. kameⁿ pä**
collis:
ignis: **tu**
fumus: **jákki**
pruna: **ja**
aqua: **bi**
campus: **lópta** (наволоки),
wýng (тундра)
via: **ngu**
sylva: **pas**
arbor: **pjä**

mare: **wuing**
stagnum: **to**
fluuius: **jág^ha**
amnis: **jaháku**
fons:
puteus:
arena: **márra**
lutum: **táua**
lapis: **pä**
aurum: **kréjessè** [зачеркнуто]
argentum: **néneĩ**
cuprum: **njáraue**
aurichalcum: **kréjessè** gelb

Metall

stannum; plumbum: **kubt**
ferrum; chalybs: **jésse**
homo: **nénnetsi**

(Л. 16)

pater: **nissè**
mater: **néwau**
filius: **nju**
filia: **piriptè nju**
frater natu major: **ninjáka**
frater natu minor: **péwe**
soror natu major: **njá baku**
soror natu minor: **pápa**
maritus: **kassawañ**
uxor: **pútjau**
infans; puer: **ólöko**
puella: **néelku**
dominus: **jéru**
seruus: **chabíu**
ancilla: **neelku-chabiu**
caput: **ngáwau**
capillus: **ngöbt**
pilus: **tarr**
barba: **mudüt**
oculi: **säau** monosyll.

auris: **kau**
nasus: **puija**
os: **njäng**
labia: **pýptjä**
lingua: **njáamu**
genae: **padui**
mentum: **njángu**
brachium: **múde**
manus: **mudè-tárka**
digitus: **tárka**
pectus: **ljabárka**
cor: **seĩ**
mamillae: **ngámme**
venter: **tíu**

(Л. 16 об.)

intestina: **bédu**
vesica: **njádda** [зачеркнуто],
sówu
penis: **sag**
cunnus: **jew**
dorsum: **mácha**
pedes: **nge**
vestis (напка): **sodém**
vestis pellicea (сокуи): **sauk**
mitra: **saua**
femoralia: **pibmi** sowohl männl.
als weibl.
tibialia, пимы: **pimà**
ocreae, пимы: **pimà**
urbs; pagus (зимовье):
karrad
domus: **karrad**, Jurten **mjä**
fenestra: **mokóla** ist die Oeffnung
zu oberst in den Jurten
mensa: **latta**
sella; scamnum: **nabddörsi**
janua: **nju**
clauis:

lectus: **chowa**
 ahenum: **jel**
 vasculum ex ligno: **kuddusi**
 (турзукъ)
 culter: **char**
 forfex: **mattowski**
 cochlear: **kug**
 charta:
 annulus: **ngudéesse**
 candela:
 cereus:
 (Л. 17)
 arcus: **ngidde**
 sagitta: **mug**
 currus:
 rota:
 traha: **chádde**
 linter (ветка): **ngáddu**
 funis: **gine, tinsche**
 ascia: **túpka**
 frenum: **pódär**
 equus: **júda**
 vacca:
 ovis:
 lepus: **njáwa**
 sciurus: **tarrèku**
 lupus: **tehánuda**
 ursus: **wark**
 ceruus:
 capreolus:
 caprea:
 rangifer cicur: **ti**
 rangifer ferus: **giléwsi**
 alce: **gabórta**
 hermineum: **piéku**
 martes zibelina: **to**
 gulo: **gingäni**
 vulpes: **tööna**
 песецъ: **nócha**
 canis: **wéneku** s.[ive] **uwéneku**
 felis:
 mus: **pisse**
 glis: **púddo**
 piscis: **chálljä**
 oua piscium: **tiréwjä**

(Л. 17 об.)

sturio: **behánna**
 sterled: **nadsik**

lucius: **pürrè**
 mustela fluviatilis налим: **nója**
 perca: **nische**
 soroga: **lagórka**
 таимен: **táii**
 nelma: **áddi**
 carassius: Caraßen sind nicht
 tschira: **berise**
 Hering: Heringe sind nicht
 омуль: Omuli sind nicht
 muxun: **subbüg**
 avis: general Wort haben sie nicht
 anser: **jeptu**
 anas: **njawétjä**
 columba:
 noctua (лунъ): **chanípsu**
 vespertilio:
 aquila: **libbe**
 hirundo:
 accipiter: **tiä**
 cygnus: **kugórre**
 ala: **túa**
 ovum: **sárrnu**
 lac: **ngámmjä**
 butyrum; oleum: **jur**
 panis: **kirwa**
 farina: **ja**
 betula: **kuo** monosyll.
 abies: **cha**
 abies alba: **pi**
 pinus: **je**
 larix: **cháru**
 cedrus: **tíddi**

(Л. 18)

талникъ salix: **néru**
 ольха almus: **poiju**
 осина populus: **pi**
 folium: **uewa** bisyll.
 radix: **uáddu** bisyll.
 flos:
 ягоды: **ngóde**
 земляница:
 мороска: **marága**
 клуква:
 кислица: **kjópte**
 змородина: def.
 черница: **panárma**
 брусница: **jésire**

голубица:
 черемха: **schar-ngóde**
 gramen: **ngub**
 foenum:
 caro: **ngábsa**
 sal: **sir**
 mel:
 mustum:
 cerevisia:
 vinum adustum: **tú bi**
 esuriens: **ngámga**
 sitiens: **bigillang**
 satur: **malínem**
 ebrius: **jáwílnem**
 edere: **aúwurman**
 bibere: **bidímat**
 scribere: **páddanga**

(Л. 18 об.)

dormire: **chonáui**
 ire: **cháíwe kánto** [зачеркнуто,
 затем первое слово восстанов-

лено]

stare: **núled**
 loqui: **láchan**
 sile: **múdsju**
 vehi: **cháíwe**
 equo vehi:
 sto: **módi núel**
 stas: **au** [зачеркнуто]
 stat: **pu[?] pi[?]** [зачеркнуто]
 stamus:
 statis:
 stant:
 dormio: **modi chodégu**
 video: **modi modíegan**
 non video: **nje modès**
 rideo: **módi pissídagat**
 lacrymo: **módi járra**
 albus: **sirr**
 niger: **parríde**
 ruber: **njárkana**
 viridis; caeruleus; flauus:
tássedénga
 magnus: **njárka**
 parvus: **nólöku**
 altus: **pirtse**
 humilis: **ladíku**
 lucidus: **jálle**

(Л. 19)	2: <i>sídde</i>	18: <i>sirdjèt-jagà</i>
tenebrosus: <i>pāmesúma</i>	3: <i>njáhar</i>	19: <i>nāessà-jagà</i>
calidus: <i>júwa</i>	4: <i>tétti</i>	20: <i>sidè-wü</i>
frigidus: <i>títi</i>	5: <i>sábljāk</i>	21:
humidus: <i>nodábi</i>	6: <i>mat</i>	29:
siccus: <i>kássui</i>	7: <i>séo</i>	30: <i>njáhar-bü</i>
viuus: <i>jilléga</i>	8: <i>sirdjet</i>	40: <i>tjāto-bü</i>
mortuus: <i>chábbi</i>	9: <i>nāessa</i>	50: <i>sabljàg-bü</i>
mane: <i>mer</i>	10: <i>bü. büu. monosyll.</i>	60: <i>mátta-bü</i>
sero: <i>pāmesúma</i>		70: <i>séo-bü</i>
hodie: <i>tükújalle</i>	(Л. 19 об.)	80: <i>sirdétte-bü</i>
cras: <i>tépta</i>	11: <i>ngob-jagà</i>	90: <i>nāessa-bü</i>
perendie: <i>tehúwjalle</i>	12: <i>side-jagà</i>	100: <i>jur</i>
heri: <i>téjalle</i>	13: <i>njár-jagà</i>	101: <i>jur-ngob</i>
nudius tertius: <i>nhārudodijälle</i>	14: <i>tjāti-jagà</i>	200: <i>sidè-jur</i>
antrorsum: <i>ngjarnà</i>	15: <i>sabljàk-jagà</i>	300: <i>njáhar-jur</i>
retrorsum: <i>púnjā</i>	16: <i>mat-jagà</i>	1000: <i>bü-jur</i>
1: <i>ngob</i>	17: <i>seo-jagà</i>	10000: <i>jur-jur</i>

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИАЛЕКТНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭНЕЦКИХ МАТЕРИАЛОВ*

Во всех материалах по энецкому языку, начиная с XVII в., стабильно и четко прослеживаются особенности двух его диалектов — тундрового (Т), или *somatu*, и лесного (Л), или *baĵ* (*bae*). Дело, однако, осложняется тем, что обозначения этих диалектов крайне неустойчивы. В разных источниках, рассмотренных ниже, первый из диалектов фигурирует под территориальными наименованиями «туруханский», «мангазейский», «карасинский», «хантайский», второй — под наименованиями «мангазейский», «карасинский», «баихинский». Причина нечеткой и даже двусмысленной привязанности географических названий — исторические передвижения энцев, значительно сместившихся за последние 300–350 лет на северо-восток под давлением ненцев с запада и селькупов с юга [Долгих 1970; Васильев 1975]. Это обстоятельство, дополняемое наличием ряда диалектных наименований, образованных от этнонимов (маду, манту/манду, сомату — для Т; бай, пэ-бай — для Л), может создать неоправданно сложную и противоречивую картину диалектной дифференциации энецкого языка и вести к отдельным недоразумениям, ср. [Хелимский 1982г: 138–139].

Поэтому при установлении диалектной принадлежности энецких материалов целесообразно ориентироваться на определенные дифференцирующие признаки, среда которых можно, в частности, назвать:

1. Судьбу сочетаний **ms*, **ns*, **rs* (**rk-ə*), развившихся в Т *d'*, Л *z > s*, ср. Т *uđa*, Л *osa* 'мясо' (ПСС **əmsā*), Т *medē*, Л *mese* 'ветер' (ПСС **merkā* или **merke*)¹.

2. Рефлексию анлаутного **ä*, развившегося в Т *e-*, Л *na-*, ср. Т *e'*, Л *na'* 'рот' (ПСС **äŋ*).

3. Рефлексию анлаутного **i* в положении перед неносовым согласным, развившегося в Т *i-*, Л *ji- > d'i-*, ср. Т *irio*, Л *d'irī* 'месяц, луна' (ПСС **irijā*).

4. Отдельные характерные различия в рефлексии дифтонгов, ср. Т *baa*, Л *boa* 'плохой' (ПСС **wājmā*), Т *kaḥa*, Л *kixo* 'идол' (ПСС **kājķā*).

5. Лексические различия (включая различия в морфологическом оформлении общих по происхождению корней); наиболее яркими и надежнее всего документированными из них являются:

* Впервые опубликовано в: Dialectologia Uralica. Erstes Internationales Symposium zur Dialektologie der uralischer Sprachen. Thesen. Hrsg. von W. Veenker. Hamburg, 1984. S. 38–43. Немецкий перевод: Helimski 1985.

¹ Энецкие слова, цитируемые без ссылки на источник, отражают современное состояние языка (преимущественно по материалам экспедиций филологического факультета МГУ) и даны в фонологической транскрипции.

	Т	Л		Т	Л
‘голова’	<i>aburi</i>	<i>eba</i>	‘табак’	<i>oma</i>	<i>šaru</i>
‘нельма’	<i>dīdu</i>	<i>ade</i>	‘ум’	<i>teñi</i>	<i>bi</i>
‘озеро’	<i>tudʔo</i>	<i>to</i>	‘он’	<i>ñitoda</i>	<i>bu</i>
‘слово’	<i>nau</i>	<i>baða</i>	‘ты’	<i>todī</i>	<i>ū</i>
‘старик’	<i>baχuʔo</i>	<i>buuse</i>	‘что’	<i>miiʔ</i>	<i>obu</i>

По совокупности указанных признаков все известные материалы по энецкому языку можно соотнести или с Т, или с Л. Материалов смешанного характера, близких по одним из этих признаков Т, а по другим Л, мне не удалось обнаружить (равно как и материалов, которые позволили бы констатировать наличие каких-либо иных диалектов, резко отличающихся и от Т, и от Л)².

Нужно иметь в виду, что далеко не все фонетические различия относятся к числу дифференцирующих в диалектологическом отношении признаков. Некоторые из них соотнесены с различными хронологическими срезами или, возможно, близкими во всех прочих аспектах говорами одного диалекта, а иногда даже с различными современными идиолектами и с разными вариантами произношения в речи одного и того же лица. К числу недифференцирующих признаков можно, например, отнести соответствия $j \sim d^- \sim \check{z}$, $p \sim \varphi \sim f$, $s \sim \vartheta$, $\chi \sim \gamma$; наличие ~ отсутствие геминации интервокальных согласных; многочисленные примеры этих диахронических сдвигов и колебаний отражены в сводном энецком словаре [Katzschmann, Pusztay 1978]. В эту же группу признаков можно включить и соответствие $r/-l-$ (в записях XVII-XVIII вв.) ~ $l-$ (в более поздних записях), см. [Хелимский 1981: 128–123].

Основываясь на материалах М. А. Кастрена, могло бы быть считать — как это и делается в ряде исследований — что существенным диалектно-дифференцирующим признаком является судьба $*-t-$ (отражается как Ch. $-r-$, В. $-d-$) и $*-r-$, $*-l-$ (совпадают в Ch. $-t-$, В. $-r-$ ³). Однако и в современном Л (который по всем другим дифференцирующим признакам тождествен В. у Кастрена), и в современном Т (= Ch. у Кастрена) $-t-$ отражается как $-\delta-$, а $*-r-$ и $*-l-$ как $-r-$. В ряде более старых источников, относящихся по совокупности дифференцирующих признаков к Т, мы находим как «кастреновский» способ рефлексации ($-r-$; $-t-$), так и «современный» ($-\delta-$ или $-d-$; $-r-$). С другой стороны, в неопубликованном рукописном словнике И. Мыльников (XVIII в.), несмотря на фонетическое несовершенство записей, несомненно обнаруживаются r -образные рефлексy $*-t-$ и t -образные рефлексy $*-r-$, $*-l-$ в лесном («карасинском») диалекте. Ср.:

		Мыльников	Миллер	Кастрен	Доннер	соврем
‘живот’	Т	мунóри	munóri	münori		tunodi
	Л	мунéре	münäde	münedi		
‘щека’	Т	парú		färu		paðu
	Л	паéре	päade	faede		pajðe
‘рыба’	Т	карлé	chärre	käte	kär	kare
	Л	ка́рль	kärre	kare	käre	kare
‘снег’	Т	со́лла	ssira	sifa	ðira	sira
	Л	сы́лла	sirra	sira		sira

² О соотношении «юрацкого» (старовосточного) диалекта ненецкого языка с энецким языком см. [Хелимский 1982a: 27–31].

³ «Das Zeichen *t* repräsentiert einen eigenthümlichen... Laut, der fast wie *lr* im Deutschen ausgesprochen wird» [Castrén 1854: 11].

Вряд ли целесообразно придавать рассматриваемым различиям решающий вес в классификации энецких диалектов. Объяснить их, по-видимому, можно тем, что среди носителей Л и Т в течение какого-то времени сосуществовали две «орфоэпические традиции» причем к настоящему времени одна из них (более архаическая) одержала верх в обоих диалектах. Можно, конечно, допускать и развитие **-t- > *-d- > -r- > -δ-* и **-r-, *-l- > -t- > -r-*, происшедшее и в Л (несколько раньше), и в Т (несколько позднее), но это предположение представляется менее правдоподобным ввиду циклического характера постулируемых переходов (кроме того, словник Мыльников вряд ли отражает более раннее состояние энецкого языка, чем словник Миллера). Я предпочитаю ограничиться разграничением двух «вариантов» Т и Л, обозначая их, по рефлексам **-t-*, как *r*-вариант и *d*-вариант.

С учетом всего сказанного диалектная принадлежность основных энецких материалов устанавливается следующим образом:

1. «*Turuchansche Samojeden Spræk*» у Н. Витзена (см. [Donner 1932: 5–6; Witsen 1975: 81–84]) — *r*-вариант тундрового диалекта, ср. *todi* ‘ты’, *ba* ‘плохой’ (*basiedo* ‘in verzoekinghe, во искушение’ = Т *baa siedo* ‘в плохое дело’), *-ra Px3Sg* (*bodera* ‘Амен, аминь’ = Т *bodeða*). <Более подробно см. [Helimski 1996b].>

2. «*Mangasei-Chanteische*» в рукописи Мессершмидта (D. G. Messerschmidt, Specimen der Zahlen und Sprache einiger orientalischen u. sibirischen Völker. — ААН, ф. 98, оп. 1, № 36, л. 25–26) — принадлежность та же, ср. *essa* ‘восемь’ (Т *eessa*, Л *neesa*), *irri* ‘луна’, *ohra* ‘рука’ (Т, Л *ida*). Этот же материал с некоторыми искажениями приводит в графе «*Samojedi-Manzela*» Ф. Й. фон Страленберг в своих «*Tabula Polyglotta*» [Donner 1932: 8].

3. Из двух энецких словников Г. Ф. Миллера (РГАДА, Москва, ф. 199, оп. 2, № 513, л. 2 и 7) один — «*Sprache der Turuchanskischen Samojeden*» — относится к Т (*r*-вариант), а второй — «*Mangaseische Samojeden*» — к Л (*d*-вариант), ср. Тур. *médſche*, Mang. *mäsi* ‘ветер’, Тур. *iri*, Mang. *díde* ‘ведро, котел’ (Т *idi*, Л *díde*), Тур. *tudschio*, Mang. *to* ‘озеро’. Естественно, это же верно для ряда вторичных источников, восходящих в конечном счете к рукописям Миллера, хотя обычно и не имеющих ссылок на авторство («Сравнительные словари» и «*Zoographia*» П. С. Палласа, «*Vocabularium Sibiricum*» Й. Э. Фишера, «*Sprachatlas*» Ю. фон Клапрота).

4. Из двух энецких словников в рукописи И. Мыльникова «Наречие по Туруханской округе» (ААН, ф. 94, оп. 1, № 190) один — «Самояди Хантайская» — относится к Т (*r*-вариант), а второй — «Самояди Карасинская» — к Л (*r*-вариант), ср. Хант. *аболі́*, Кар. *евá* ‘голова’, Хант. *багу́а*, Кар. *бы́усы* ‘стар’, см. также примеры выше.

5. Как уже говорилось, в трудах М. А. Кастрена хантайский диалект (Ch.) отождествлен с Т (*r*-вариант), а баихинский (В.) — с Л (*d*-вариант). Диалект, используемый карасинской группой енисейских самоедов, Кастрен приравнивает к хантайскому («*Chantai-Karassinscher*»).

6. В небольшом словарице К. Доннера [Joki 1956], напротив, «*Karasinamundart*» — *d*-вариант лесного диалекта, тогда как «*Chantaika-Mundart*» — *d*-вариант тундрового диалекта, ср. Ch. *háj*, К *ho* ‘нога’ (Т *ha*, Л *ho*), Ch. *nāba*, К *nāba* ‘заяц’ (Т *naba*, Л *naba*), Ch. *ida*, К *ida* ‘рука’.

7. У Г. Н. Прокофьева [1937г] большинство форм, квалифицируемых как относящиеся к диалекту маду (т. е. Т), почерпнуто, по-видимому, из материалов Кастрена и отражает *r*-вариант этого диалекта. Отметим, однако, что едва ли не единственный «оригинальный» по отношению к Кастрену пример указывает на другой вариант произношения (с *-r*-, а не с *-t*-): *eru addo* 'железные подвески на груди у женщины' (Т *eru'addo*). Диалект бай у Прокофьева, как и у всех более поздних исследователей — *d*-вариант Л.

8. Нет необходимости специально останавливаться на диалектной принадлежности новейших энецких материалов (В. И. Васильев, Я. А. Глухий, Б. О. Долгих, Т. Микола, Е. Д. Прокофьева, Я. Пустай, Е. Ю. Рыжова, Ю. Б. Симченко, И. П. Сорокина, В. А. Сусеков, Н. М. Терещенко, Е. А. Хелимский), где, как правило, последовательно разграничены данные диалектов тундрового (маду, манту, сомату) и лесного (бай, пэ-бай), и где для обоих диалектов представлен только *d*-вариант. Отметим, что современным энцам *r*-вариант произношения вообще неизвестен (в речи отдельных носителей Т наблюдается тенденция к замене *δ* на *r* и к латерализации *r*, но все это только в положении перед *i*).

THE ENETS TEXT OF THE LORD'S PRAYER FROM WITSEN'S BOOK*

0. «Nicolaes Witsen wurde im Jahre 1641 geboren und starb im Jahre 1717. 1664–1667 weilte er mit einer niederländischen Gesandtschaft in Moskau und sammelte Angaben über die Völker in Nord- und Mittelasien, sowie in Nordosteuropa. Er interessierte sich auch für die Sprachen dieser Völker. Sein Buch enthält mehrere Wörterverzeichnisse und das 'Vaterunser' in mehreren Sprachen». (From Tibor Mikola's «Einleitung» in [Witsen 1975].)

1. Published and reprinted at least seven times [Witsen 1692; 1705; 1785: 890–891; Donner 1932: 5–6; Witsen 1975: 81–82 + Photomechanischer Nachdruck; Németh 1991: 95], the translation of the Lord's Prayer into the *Turuchansche Samojeden Spraek* did not undergo any detailed linguistic treatment. The words and forms from this text has been excerpted for an Enets vocabulary [Katzschmann, Pusztay 1978] and partly discussed in a review of this book [Хелимский 1982г; a short passage has been devoted to it in a survey of Enets linguistic materials [Хелимский 1984г: 41; Helimski 1985: 306]. The text certainly deserves more attention — at least as the first attestation of the Enets language, but also due to its unexpectedly high quality and to the presence of certain archaic features that later have been lost in both Tundra (Somatu) and Forest (Bae, Pee-Bae) Enets. The author of the present paper attempted to interpret and analyze the Enets Lord's Prayer from Witsen in the course of the field work among the Tundra Enets in late 1970s, with the assistance of two native speakers of the language — Aleksandr (Šuñiku) Tuglakov (born 1936) and Xol'u Kaplin (1910–1980). In some cases, however, the treatment of problematic fragments became possible only after the computer-aided systematization of all Enets field materials has been accomplished, partly also after taking the historical and comparative aspects into consideration.

2. The Enets Lord's Prayer has been published by N. Witsen in Romanized transcription (with some features of the 17th cent. Dutch orthography). This must be a transliteration of the original rendering with Cyrillic letters, which is tentatively — and certainly only very approximately — reconstructed in the second column. This original version could not be completely exact: for example, it lacked the symbol for the glottal stop, a very frequent Enets phoneme; the distinction between word-initial segments *je-* and *e-* was probably lost, because before the 18th century the Cyrillic *e* was normally used in place of both Modern Russian *e* and *э*. The transliteration brought further complications forth: the Cyrillic *x* was alternatively (and apparently without any system)

* Впервые опубликовано в: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. Szeged, 1996. 125–132. o.

rendered with *ch* or *cs*, probably also the Cyrillic *ю* — with *iu* or *ui*, and the Cyrillic *у* — with *u* or *oe*.

Modi Jeseje,
teio
nacho naare.
Todi Nilo
toreke chuziuro.
Todi nacsiaro toretusu.
Todi aguaaro toretusu,
Tone na chonaar,
i Jachona.
Modi Puiresiudava Kirva
Toratsui
mena erecsone.
I Kai
nena noina oteine,
tone imodinana kalodie
neine oteoponede.
Iro sirene
ta ora basiedo,
i role sirene
kodago choro.
Tone Todi Tonea
Nasciario,
i Nichoro,
i su Voeraaro,
i Reine,
Bodera.

моди есее,
теио
нахо нааре.
тоди нило
тореке хуцуро.
тоди нахиаро торетусу.
тоди агуааро торетусу,
тоне на хонаарь,
и яхона.
моди пуиресюдава кирва
торацю
мена ерехоне.
и каи
нена ноина отеине,
тоне и модинана калодие
неине отеопонедэ.
иро сирене
та ора басиедо,
и роле сирене
кодаго хоро.
тоне тоди тонеа
нахиаро,
и нихоро,
и су вурааро,
и реине,
бодера.

The left column below contains the suggested reconstruction of the old Enets text in phonemic transcription, and the right one — its literal (partly at the expense of grammatical and stylistic adequacy) translation. However, this literal translation remains so close to the canonical text that any comments to its content are hardly necessary.

- (1) *modi* (2) *esee*[?]
(3) *te'io* (4) *naaxona* (5) *aRe*
(6) *todi* (7) *nilo*
(8) *tore*([?]) (9) *keχutūRo*
(6) *todi* (10) *naaxi'aro* (8) *tore*([?]) (11) *tqsu*
(6) *todi* (12) *agu'aro* (8) *tore*([?]) (11) *tqsu*
(13) *tone* (4) *naaxona* (5) *aRe*
(14) *i* (15) *jaaxona*
(1) *modi* (16) *puoo* (17) (j) *iretūRowa*[?] (18) *kirwa*
(19) *toRatū* (20) *nena*[?] (21) *jereχone*
(14) *i* (22) *kae*[?]
(19) *nena*[?] (23) *nooina*[?] (24) *oteine*[?]

Our father
in the upper heaven being.
Thy name
so (is) for worshipping.
Thy reign so should come.
Thy grandeur so should come
as in heaven being
also on the earth.
For our further living bread
you should give us today.
And leave
to us our debts,

- (13) *tone* (14) *i* (1) *modina*? (25) *na kalodie*
 (26) *neine*? (24) *oteo* (27) *ponede*?
 (28) *iRo* (29) *šiRene*?
 (30) *taora*? (31) *baa* (32) *šiedo*?
 (14) *i* (33) *roola*? (29) *šiRene*?
 (34) *kodagoxoRo*
 (13) *tone* (6) *todi* (35) *tonea*
 (10) *ḡaaxi'aro*
 (14) *i* (36) *nixoro*
 (14) *i* (37) *suwuRaaro*
 (38) *(j)irei'ine*
 (39) *bodeRa*

as also we ...
 our debtors.
 Do not us
 bring into an evil deed,
 and shelter us
 from the Arch(-enemy).
 As yours is
 your reign,
 and your power,
 and your perfection / weal,
 along the lives.
 That's all.

3. Below the numbered words of the Enets text are listed, being supplied, whenever possible, with parallels from Modern Tundra (T) and Forest (F) Enets based on the author's field records, with references to [Katzschmann, Pusztay 1978] (KP + number of the word entry in this vocabulary), occasionally also with parallels from other Enets linguistic sources and with comments. It is important to mention that for F we indicate the basic (morpho)phonemic forms, which sometimes differ considerably from those which occur in the usual pronunciation (but appear in the «accurate orthoepic style», mainly among the elderly speakers of Forest Enets). The discussion of certain points of special interest will be carried over to the next section of this paper.

(1) *modi* 'I, my', *modina*? 'we, our (Pl)'; same in T F; KP 745. Concerning the use of *modi* in the plural meaning see 4.1.

(2) *ese*?: cf. T F *ese* 'father', 1Pl *esea*? ~ *eseba*?; KP 404. Concerning the preservation of vowel harmony see 4.2.

(3) *te'io*: T *te'io* 'upper, which is above'; KP 1467. Derived from the adverbial stem *te'i-*, which, according to M. A. Castrén, occurred also in the Baicha dialect (F): B. *te'ido*, Ch. *te'iro* 'von oben', etc.

(4) *ḡaaxona*: T F *ḡaa* 'God, heaven', Loc. *ḡaaxane*; KP 934. See 4.2, 4.3.1.

(5) *aRe*: T *aḡe*, but F *eḡe* Part. Praes. of 'to be' (cf. KP 36, 367, 935 with other forms of this verb). See 4.3.5, 4.4.6.

(6) *todi*: T *todi* 'thou, thy', but F *uu*; KP 1498 (and 1606). See 4.4.2.

(7) *ḡilo*: T F *ḡi* 'name', 2Sg *ḡilo*; KP 900.

(8) *tore* (or *tore*): F *tore* ~ *tore*? 'так, so'; KP 1487. Cf. T *teino* ~ *teino*?, but M. A. Castrén indicates also Ch. *toḡe* 'so', *toḡê* (= *toḡee*) 'so beschaffen'.

(9) *keḡutiRo*: T *kaḡa*, F *kixo* 'deity, idol'; KP 502. The potential regular verbal derivative of this noun is T **kaḡus-*, F **kixus-* 'to treat / to be treated as a deity, as an idol = to worship / to be worshipped', Part. Debit. T **kaḡutiḡo*, F **kixutiḡo*. It is likely that the corresponding verbal form existed in Old Enets or was easily — and really ingeniously — coined to render *да святится* 'hallowed be' from the Russian Lord's Prayer. However, the ambiguous spelling (-*ke chuzuiro*) leaves places also to other conjectures. See 4.3.5 and 4.4.6.

(10) *ḡaaxi'aro*: T *ḡaaxi* 'tsar, king' (literally 'the celestial one', derived from (4) *ḡaa*). Again, as in (9), we can reconstruct the derivational chain: *ḡaaxi* > VDN *ḡaaxis-* 'to treat / to be treated as a king = to reign' > Nom. Act. *ḡaaxi'a* 'reign, kingdom' >

2Sg *ḡaaxi'aro* (this form is quite comprehensible to the Tundra Enets speakers, though it does not occur in everyday speech).

(11) *tōsu*: T F *tō-* (in certain paradigmatic forms: *to-*, *tu-*) 'to come', Debit. 3Sg subj. T *totu*, F (?) *tusu* (A. Tuglakov, a speaker of T, identified *tusu* as the F correspondence of T *totu*; there was no opportunity to check this information with native speakers of F); KP 1488.

(12) *agu'aro*: T F *aga* 'big'; KP 10. In this case, similar to (9) and especially to (10), the derivational chain is actually attested as T *agu*² 'to consider big, great, to exalt' > Nom. Act. *agu'a* 'exaltation, glorifying, greatness, grandeur' > 2Sg *agu'aro*.

(13) *tone* 'as well, as'. This word occurs in the text three times, its spelling and meaning being always the same. Otherwise it does not appear in Enets materials, though can be possibly identified either with *tone*, *tonne* 'there, then' in Forest Enets sources (KP 1487) or with T *tone* 'нѣтъ, let it be that'.

(14) *i*: T F *i* 'and, also'; KP 253 (< Russ.).

(15) *jaaxona*: T F *ḡaa* 'earth, land', Loc. *ḡaaxane*. Concerning the distinctions between the Old and Modern Enets forms see 4.2, 4.3.1, 4.3.2.

(16) *puoo*: T *puoo* 'which is behind; further (of time)'; derived from adverbial stem T F *puo-* (KP 1136, 1156, 1176). It is worth mentioning that in the traditional Northern Samoyedic worldview the future is what lies behind (not before!) the present day.

(17) (*j*)*iretuRowa*²: T *ire-*, F *ḡire-* 'to live', Part. Debit. T *iretuḡo*, F *ḡiretuḡo*, 1Pl -(b)*a*²; KP 292, cf. also *ḡiriču* 'élet' [Mikola 1980: 229]. See 4.3.3, 4.3.5, 4.4.7.

Still, the suggested interpretation of **puiresiudava** as (16) + (17) is only tentative. There may be other comprehensible versions, e.g. identifying it with (a) T *puo*² *iretuḡoba*² 'for our living further / into the future'; (b) T *piretuḡoba*² 'for our cooking'; (c) T *puotiḡoba*² 'for our being well-fed, satiated' (or a certain other derivative of the stem *puos-* 'to be satiated'). Our interpretation of **-da-** in **puiresiudava** as **-Ro-** can also raise doubts, cf. the spelling of the same element in (9) *keḡutuRo*.

(18) *kirwa*: T *kiroba* ~ *kiriba*, F *kirba* ~ *kiroba* 'bread'; KP 507. See 4.3.3.

(19) *toRaṭu*: T *teḡa-*, F *toḡa-* 'to bring, to give (here)', Debit. 3Sg subj. T *teḡatū*, F *toḡatū*; KP 1502. See 4.3.5 and 4.4.6.

(20) *nena*² (the first letter in **mena** is obviously a misprint): T (rarely used) F *nena*² 'to us'; KP 883. More common is T *noona*² id. (KP 926). See 4.2.

(21) *jereḡone* 'today': T F *dere* 'day', Loc. *dereḡone*; KP 236. See 4.2, 4.3.2. Both Modern Enets dialects express the meaning 'today' by the word combination *eke dere* or *eke d'ereḡone*, but in the 18th cent. the simple Loc. form was common in both Enets dialects: Tur. **jerēchōnē**, Mang. **dērehān** 'hodie' [G. F. Mueller, Mscr.].

(22) *kae*²: T F *kae-* 'to leave (vt)', Imper. 2Sg subj. *kae*² (phonetically often [*kai*², *kaj*²]); KP 436.

(23) *nooina*²: T *nooo* 'the one belonging to, the one close to', 1Pl + 1Pl *nooina*²; derived from the adverbial-postpositional stem *noo-* (KP 926), which is attested also in the Forest dialect. See 4.2.

(24) *oteo*, *oteine*²: T *oteo* 'debt', 1Pl + 1Pl *oteina*² 'our debts'; KP 1010 (with wrong etymological attribution, see [Хелимский 1982r: 145]). According to M. A. Castrén, the word *oteo* occurred also in the Baicha dialect (F). Concerning the vowel harmony in *oteine*² see 4.2.

(25) The interpretation of **kalodie** (or **(-na) kalodie**, because the previous word in the text reads **imodinana** instead of **imodina**) remains an open question. The meaning

must be close to 'to forgive, remit (debts)'. It is possible to think of: (a) a certain derivative of the verb *kae*- 'to leave' (cf. (20)); (b) *T kalodi*- 'to interfere, to be a hindrance', Praes. 1Pl *kalodia*? (this passes very good phonetically, but is semantically out of place); (c) a form related to *F nekoro*-, Nen. *nekal*- 'to drag, draw' (this option faces both phonetic and semantic problems), etc.

(26) *neine*?: T *F neo* 'the one belonging to, the one close to', Pl + 1Pl *neina*?, the word is related to (20) and other forms given in KP 883. See 4.2.

(27) *ponede*?: T *F poner*- 'to practise, to produce, to have, to take care of, to wear (etc.)', Part. Praes. Pl *ponede*?, KP 1135, 1137-1143. The word combination (or compound) from Witsen's text also occurs in both modern dialects: T *F oteo ponede* 'debtor'.

(28) *iRo*: T *F ido* 'do not!', Imper. 2Sg of the negative verb; KP 254. See 4.3.5.

(29) *širene*?: T *F šidina*? ~ *šidena*? 'us' (objective personal pronoun); KP 1292. See 4.2, 4.3.5.

(30) *taora*?: T *taara*-, F *toora*- 'to take to, to bring to, to deliver', Conneg. T *taara*?, F *toora*?, KP 1502 (where F *toora*- and *tođa*- 'to bring, to give (here)' are erroneously mixed up). See 4.3.1, 4.4.6.

(31) *baa*: T *baa*, F *boa* 'bad'; KP 89, 128. See also [Хелимский 1982r: 140]. See 4.4.6.

(32) *siedo*?: T *F sie*? 'thing, deed', Lative *siedo*?, KP 1272.

(33) *roola*?: T *loola*- 'to shelter', Imper. 2Sg subj. *loola*?. Neither this verb nor its nominal root (T *loo* 'shelter') seem to be attested in Forest Enets. Concerning *r*- see 4.3.4.

(34) *kodagoxoRo*: T *kodago*, F *kolago* 'winding, meandering; (T also) cunning, agile', El. T *kodagoxođo*, F *kolagoxođo*. It is worth attention that the anonymous translator of the Lord's Prayer into Enets managed not only to find an exact equivalent of the notion 'Arch-enemy, Satan' (cf. also T *kodago amuke* 'devil', lit. 'cunning demon'), but also to render the etymological form of Russ. *лукавый* (*избави нас от лукавого* 'deliver us from the evil one = the Arch-enemy'), which is related to Russ. *лука* 'bend, curve (of a river)'. See 4.3.5, 4.4.5.

(35) *tonea*: T *F tone*- 'to exist, to be (present)', Praes. 3Sg subj. *tonea*; KP 1520.

(36) *niřoro*: T *F niřo* 'force, power', 2Sg *niřoro*; KP 891.

(37) *suwuRaaro*: cf. T *sueđa* — *speđa*, F *soiđa* 'good', T *sueđaa* 'the best', 2Sg *sueđaaro*. But cf. also T *sou*- 'to be good' with potential derivational chain: > **souđa*- 'to be good (in the future)' > Nom. Act. **souđaa* 'future weal' > 2Sg **souđaaro*. See 4.3.5. However, the ambiguous spelling (*su voeraaro*) leaves place to other interpretations — all perhaps in connection with the stem *sou*- ~ *soe*- ~ *sue*- 'good, to be good' (KP 1342, 1358).

(38) (*j*)*irei'ine*: T *ireo*, F *d'iree* ~ *d'irei* 'life', Pl Prol. T *irei'ine*, F *diree'ine* ~ *d'irei'ine*; KP 292. See 4.4.7.

(39) *bodeRa*: T *bode* 'finish', 3Sg *bodeđa* (often used as an interjection: 'that's it! it's over!'; KP 132 (Castrén: *bodde* 'nur, allein')). See 4.3.5, 4.4.5.

4.1. «I» as «we». In Enets the personal pronouns of 1-2 Du and Pl are, from the formal viewpoint, the personal pronouns of 1-2Sg supplied with possessive suffixes of 1-2Du and Pl:

T *F mod'i* 'I' — *mod'ini*? 'we (Du)' — *mod'ina*? 'we (Pl)'

T *tod'i* 'thou' — *tod'idi*? 'you (Du)' — *tod'ida*? 'you (Pl)'

F uu
These for
nouns (cf
Appar
singular
ter has th
my-our ta
cate nume
mod'i
nooina?
close to m
deer is ab
kaneda?
'наш мож
Such
-(b)ja? mo
tions of t
'among yo
acceptable
ples for th
sentence s
For Fo
[Прокopf
mod'i sidi
Cf. als
mod'iorio
similar co
mašmān 'l
dentally, t
/ we (Du)
1994: 215]
4.2. V
to the con
so that the
(cf., for e
negative v
ments. A s
dic, vowel
suffixes (w
while the v
Enets diale
morphoph
Old Enets
Prayer);
— The
stems: (4)
Both T and
3-1846

F *uu* 'thou' — *uud'i* 'you (Du)' — *uuda* 'you (Pl)'

These forms have probably ousted the original independent forms of non-singular pronouns (cf. Ngan. *mi(i)*, *ti(i)*, *mijj*, *tijj*).

Apparently due to this transparent relationship between pronouns, the non-marked singular pronoun can be used as an attribute with the non-singular meaning, if its master has the non-singular possessive marker ('my table-our' instead of 'our table-our = my-our table-our'). Besides the two examples in Witsen's text (under (1)), we can indicate numerous similar constructions attested in Modern Tundra Enets:

mod'i ninena 'на нас, above us'; *mod'i dudanena* 'между нами, among us'; *mod'i nooina* 'наши ближние, those close to us' (cf. *mod'i nooi* 'мой ближний, the one close to me'); *mod'i digua tiaba* 'у нас нет оленей, we have no reindeers / our reindeer is absent'; *mod'i daana' neone* 'по нашей земле, through our land'; *mod'i nedona* 'kaneda' 'от нас уйдут, they will go from our place'; *mod'i tōqna sueba dērea* 'ада' 'наш может быть хороший день будет, perhaps our day will be good'.

Such constructions are no less correct than those without the omission of *-na*', *-(b)a*': *mod'ina* 'dudanena' 'among us', *mod'ina* 'digu tiaba'. Other possible constructions of the same structure, like *mod'i dudaneni* 'among us two', *mod'i dudanedi* 'among you two', *mod'i dudaneda* 'among you', are qualified by the native speakers as acceptable, but were not found in recorded Enets texts. There seem also to be no examples for the omission of *-na*' etc., when *mod'ina* etc. are used not as attributes but as sentence subjects.

For Forest Enets cf. the objective forms of personal pronouns in Du and Pl (after [Прокофьев 1937: 86]): *mod'i šideni* = *mod'ini* 'šideni', *uu šidedi* = *uud'i* 'šidedi', *mod'i šidena* = *mod'ina* 'šidena', *uu šideda* = *uuda* 'šideda'.

Cf. also the typical emphatic constructions like *mod'ixoriono* / *mod'ixorioni* / *mod'ixoriona* 'even I / we (Du) / we (Pl)' — formally 'I + even + Px1Sg/Du/Pl'; similar constructions are characteristic also of Nenets (Nj. *mañ* 'I', *mañna* 'we', *mašmān* 'but I', *mašmāna* 'but we' [Lehtisalo 1956: 247]) and Ngan. (where, incidentally, they are based on plural personal pronouns: *miłiana* / *miłiani* / *miłiani* 'only I / we (Du) / we (Pl)' — formally 'we (Pl) + only + Px1Sg/Du/Pl', see [Хелимский 1994: 215]).

4.2. Vowel harmony or its traces. The study of vowel harmony in Nganasan leads to the conclusion about its Proto-Samoyedic origin [Хелимский 1993, 1994: 199 ff.], so that the well-known unsystematic phenomena of consonantal harmony in Nenets (cf., for example, *nu-na* < **nu-nta* 'standing' vs. *ñi-ña* < **i-ntā* Part. Praes. of the negative verb) can be safely regarded as archaic relics rather than innovative developments. A specific peculiarity of the Nganasan, presumably also of the Proto-Samoyedic, vowel harmony must be taken into consideration: it is affecting the vocalism of suffixes (which is determined by the phonetic quality of the last vowel of the stem), while the vowels of the stem itself may be harmonically heterogenous. The modern Enets dialects do not seem to have any systematic traces of the vocal harmony in their morphophonemics. It is therefore of exceptional relevance that we find such traces in Old Enets (OE — below this abbreviation is used for the language of the Lord's Prayer):

— The locative marker (PSam. **-kana*/**-kāne*) appears twice as *-xona*, with velar stems: (4) *ḡaaxona*, (15) *jaaxona*, and once as *-xone*, with a palatal stem: (21) *jereḡxone*. Both T and F generalized the variant *-xone*.

— The possessive suffixes of 1Pl (PSam. **-mat* / **-met*, **-nat* / **-net*) appear several times as *-e*?, *-ne*? with palatal stems: (2) *esee*?, (24) *oteine*? (here the «harmonically relevant» vowel is that of the second syllable), (29) *siRene*?, and once as *-na*? with a velar stem: (23) *nooina*?. The picture is somewhat spoiled with (20) *nena*? and (26) *neine*?: these two words could be expected to be harmonically similar (*nene*?, *neine*? or — in case if the harmony does not automatically reflect the synchronic phonetic properties of vowels, as it does not in Nganasan — *nena*?, *neina*?); possibly it is just a result of misspelling (cf. (33) *roola*? — written as *role*). Both T and F generalized for 1Pl the velar variants.

However, the preservation of vowel harmony in OE was probably only partial. The suffix of Part. Praes. (PSam. **-nta* / **-nte* / **-ta* / **-te*) appears as *-de*, *-Re* with velar stems: (5) *aRe*, (27) *ponede*? (the same generalization in T F *-de*, *-de*).

4.3. Other archaic phonetic features of OE.

4.3.1. OE did not go through the assimilative developments *ao* > *aa*, *aɣo* > *aɣu*, which are characteristic of both T and F: (30) *taora*?, (4) *ɣaɣona*, (15) *jaɣona*.

4.3.2. OE preserves **j-* as *j-* (cf. T F *d-*; however, *j-* was still preserved until recent times): (15) *jaɣona*, (21) *jereɣone*.

4.3.3. OE has word-medial *-w-* in place of T F *-b-*: (17) (*j*)*iretuRowa*?, (18) *kirwa*. However, in the initial position the development **w* > *b* already took place: (31) *baa*, (39) *bodeRa*.

4.3.4. Like other early Enets sources, OE has word-initial *r-* in place of T F (also Ch. B.) *l-*: (33) *roola*?, see [Хелимский 1981: 128–129; Helimski 1985: 305].

4.3.5. Like many other Enets sources (including Ch. after M. A. Castrén), OE has a certain vibrant in place of PSam. **-t-*, T F *-δ-*. This phonetic (rather than phonological) feature has been discussed in detail earlier [Helimski 1985: 305–306]. In the transcriptions above I tried to distinguish this vibrant («*R*») from *r*, though normally they are both marked with the same letter *r*: (5) *aRe*, (9) *keɣutuRo*, (19) *toRaɣu*, (28) *iRo*, (29) *siRene*?, (34) *kodagoɣoRo*, (37) *suwuRaaro*, (39) *bodeRa*. It is, however, very probable that *R* and *r* (**-t-* and **-r-* / **-l-*) did never completely coincide in any Enets dialect. At least in one (though problematic) word we have (17) (*j*)*iretuRowa*? spelt as *-iresiudava*: this may indicate the possibility of perceiving *R* as a *d-* or *δ-*-type sound.

4.4. Dialectologically relevant features of OE. In an earlier paper I confined myself to the following short remark: «‘Turuchansche Samoeden Sprack’ bei N. Witsen ... — *r*-Variante des Tundradialekts, vgl. *todi* ‘du’, *ba* ‘schlecht’ ..., *-ra* Px3Sg» [Helimski 1985: 306]. The situation seems, however, to be somewhat more complicated.

4.4.1. In most cases the OE forms coincide with the forms in both T and F (or are equally similar to both): (1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17–19, 21, 22, 24, 26–32, 35, 36, 38). We must add here also several instances where the comparable data from F may be lacking simply due to the insufficiency of available linguistic materials (3, 10, 12, 16, 23, 33, 37).

4.4.2. (6) *todi* (OE and T) is a common archaism (F *uu* ‘you’ is a borrowing from the Ket language).

4.4.3. (8) *tore*(?) and (20) *nena*? seem to be lexical items only recently lost or half-forgotten in T.

4.4.4. (11) *tqsu* may be a specific verbal form (or an archaism) common to OE and B — if only our information concerning this form is adequate.

4.4.5. In the reflexion of **lt*, **rt* OE coincides with T and differs from F: (34) *kodagoxoRo*, stem *koda* < **karta* (cf. Nen. *χāra* 'curve, bend', En. F *kora* id., *kolago* 'winding, meandering'). Cf. also (39) *bodeRa*, stem *bode* 'finish' < **wält*- (cf. Nen. *wālak* id., Ngan. *bāltu* id.).

4.4.6. There are very important, and presumably quite old, distinctions between T and F in the reflexes of certain Proto-(Northern-)Samoiedic vowels (especially of the diphthongs corresponding to *-äē-* in Nenets). There are 5 instances of this type in the text under examination, and in three cases the reflexes in OE are close to those in T: (5) *aRe*, (30) *taora*?, (31) *baa*; in one case OE and F are opposed to T: (19) *toRaiu*; and in one case OE seems to differ from both T and F: (9) *keχutuRo*.

4.4.7. The spelling does not give us an opportunity to find out whether the word-initial **i-* has developed before a non-nasal consonant into **ji-* (as in F, which now has *dī-*) or remained intact (as in T), see [Helimski 1985: 304]. Therefore above the ambivalent transcriptions have been used in such instances: (17) (*j*)*iretuRowa*?, (38) (*j*)*irei'ine*.

К ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА*

Накопление и диалектологическое осмысление селькупских языковых данных — в первую очередь материалов, собранных А. П. Дульзоном и его школой — позволило в последние годы достичь достаточной ясности и полноты в картине диалектного членения селькупской языковой территории. Показательно, что результаты, опирающиеся на различные критерии диалектологической группировки, хорошо коррелируют между собой или даже совпадают. Подразделение по территориально-этнонимическим признакам [Dulson 1971; Кузьмина 1974: 30; Морев 1983] принципиально совместимо с более традиционной тернарной группировкой [Прокофьев 1935: 5–7; Hajdú 1968: 121–127] и с наборами локальных говоров, выделявшихся М. А. Кастреном и К. Доннером. Это продемонстрировано Т. Януриком, в работе которого вся селькупская языковая территория предстает как диалектный континуум (от Таза и Турухана через Елогуй, Вах, Тым до нарымских, а затем среднеобских, кетских и крайне южных обских говоров), в пределах которого различия нарастают постепенно, но основные диалектные зоны все же отграничиваются целыми пучками изоглосс ([Janurik 1978], см. также [Janurik 1984]). Довольно сходную — с отличиями лишь в деталях — иерархию диалектного членения предлагает хрестоматия Х. Катца, где дается особенно детальная лингвистическая характеристика отдельных говоров и даже идиолектов [Katz 1979a].

С учетом всего сделанного в данной области представляется целесообразной — хотя и не единственно возможной — группировка современных селькупских говоров в пять основных диалектов: северный (С — Таз с Пуром, Карасино, Турухан с Баихой, Елогуй), тымский (Т), нарымский (Н — Обь в районе Нарыма, Васюган, Парабель), кетский (К) и обский (О — Обь от Колпашева и выше). Диакроническая перспектива оправдывает, кроме того, дальнейшее дробление обского диалекта с выделением существовавшего ранее, а ныне фактически исчезнувшего диалекта на крайней юге селькупской территории — Tschl. Tsch. ОО у М. А. Кастрена (см. [Хелимский 1984a]). По ряду признаков тымский и нарымский диалекты объединяются в центральный, или средний (Ц), а кетский и обский — в южный (Ю). Подобная группировка допускает альтернативные решения вопросов о принадлежности селькупских говоров на Оби между Нарымом и Колпашевом (переходных между обским диалектом, к которому их относят

* Впервые опубликовано в: Лексика и грамматика языков Сибири. Барнаул, 1985. С. 42–58.

Т. Янурик, и нарымским диалектом, к которому их причисляет Х. Катц) и на Нижней Кети (переходных между обским и кетским диалектами).

Существенно, что в исследованиях по селькупской диалектологии используется ставший уже почти стандартным набор основных признаков, дифференцирующих указанные пять диалектов (см. упомянутые работы Г. Н. Прокофьева, П. Хайду, Т. Янурика, Х. Катца, Ю. А. Морева).

В этой статье ставится весьма ограниченная задача из сферы историко-диалектологического изучения селькупского языка — проследить отражение основных диалектно-дифференцирующих признаков в хронологически наиболее ранних селькупских записях. Речь идет в первую очередь о трех коллекциях рукописных селькупских словников XVIII в., хранящихся в архивах Москвы и Санкт-Петербурга и до сих пор не вводившихся в научный оборот¹:

1. Пять словарных списков, составленных Г. Ф. Миллером в ходе Первой академической экспедиции в Сибирь, в 1734/35 или 1740/41 гг. (к датировке см.: [Ширина 1983: 24]). Сохранились оригиналы, писанные рукой самого Миллера (РГАДА, ф. 199, оп. 2, № 513, д. 7, лл. 7–20) и несколько копий; кроме того, через несколько промежуточных рукописей и с рядом искажений материал Миллера попал в «Сравнительные словари» П. С. Палласа и позднее в «Sprachatlas» Ю. Клапрота (см.: [Donner 1932: 36–50]). На основании территориальных обозначений (и — так будет показано ниже — равным образом по языковым особенностям) эти списки могут быть соотнесены с пятью селькупскими диалектами: обским («Tomskische Ostiackische Sprache», лл. 7–8), кетским, нарымским и тымским (графы «Ketisch», «Narimisch» и «Timisch», лл. 9–14), северным (графа «Surgutische Ostiacken zu Karassino», лл. 15–20; по указанию составителя, «Ostiacken zu Karassino sind einerley mit denen am Baicha, Kudassea [= совр. Худосей, сельк. *Kutaŕ*, правый приток Таза. — Е. Х.] und Tas»). Объем «томского» словника — ок. 250 слов, нарымского и карасинокого — ок. 300 слов, кетского и тымского — ок. 70 слов².

2. Два словарных списка, которые, как показывает состав «входного» перечня русских слов для перевода, были составлены в ответ на анкеты В. И. Татищева, рассылавшиеся во второй половине 1730-х годов (см.: [Вдовин 1954: 29 и сл.]). Несколько копий каждого из словников хранятся в ААН (ф. 21, оп. 6). «Остяцкой» словник из Томска (№ 152, лл. 177 об. — 186 об.; № 153, лл. 161–175 об.) отражает обский диалект; второй словник под заглавием «Язык иноземческой по изречениям» из Нарыма — нарымский диалект (№ 41, лл. 97–101; № 152, лл. 66 об. — 70 об.; № 184, лл. 68 об. — 71 об.). Объем каждого из словников — ок. 450 слов.

3. Четыре словарных списка в рукописи Федора Желтухина, озаглавленной «Наречие остяцкое и оные грамоты у себя не имеют» (ААН, ф. 94, оп. 2, № 92). Эта рукопись, включающая также словарные списки по шести хантыйским диа-

¹ По обстоятельствам создания в дальнейшей судьбе эти словники имеют много общего с аналогичными материалами по другим самодийским и сибирским в целом языкам (см., в частности, [Хелимский 1978, <Helimski 1993a>]).

² В некоторых вторичных списках, а также в публикациях Ю. Клапрота [Donner 1932: 36–50] кетский и тымский словники безосновательно расширены за счет повторения в соответствующих графах нарымских слов.

лектам и по кетскому языку (то есть охватывающая наречия всех «остяков»), также могла быть составлена в связи с деятельностью В. Н. Татищева, хотя «входной» перечень русских слов несколько иной. Представлены селькупские диалекты «в Сургутской округе, Тазовской» (северный), «в Нарымской округе живущих при реках Оби, Парабели, Чежапке и Тыму» (нарымский), «в Нарымской округе живущих при реке Кете» (кетский) и «в Томской округе» (обский). В данной работе использован не полный текст этой рукописи, а только выписки из нее.

Следует, разумеется, подчеркнуть, что ниже привлечена лишь небольшая часть той важной для исследования истории селькупского языка информации, которую можно извлечь из этих лексикографических источников. Характер стоящей задачи обусловил использование в качестве иллюстративного материала лексики, хорошо известной и из более поздних, начиная с М. А. Кастрена, селькупских источников. При этом оставлены вне рассмотрения слова более редкие, отчасти неизвестные современным селькупским диалектам, то есть представляющие несомненно больший интерес с точки зрения лексикологии и этимологии.

Эпизодически привлекаются также данные некоторых других источников конца XVII — начала XVIII в. (Н. Витзен, Ф. Й. фон Страленберг).

* * *

1. Для обширного класса основ и грамматических формантов с носовыми и смычными согласными в ауслауте установлено соответствие; Ю -*m*, -*n*, -*ŋ* — Ц -*p*, -*t*, -*k* — С -*m/-p* (~ -*θ*), -*n/-t* (~ -*θ*), -*ŋ/-k* (~ -*θ*). Данное диалектное распределение полностью регулярно и в материалах XVIII в.

(Стр) ³	О <i>pum</i> — Н <i>porp</i> 'бог'	
(РМ)	О <i>kuum</i> — К <i>kum</i> — Н <i>kub/kum</i> — Т <i>gub</i> — С <i>kub</i> 'человек'	
	О К <i>nom</i> — Н <i>num/nub</i> — Т <i>nub/nob</i> — С <i>nob</i> 'бог'	
(РТ)	О <i>кемь</i> — Н <i>кепъ</i> 'кровь'	О <i>номъ</i> — Н <i>нобъ</i> 'бог'
	О <i>кумъ</i> — Н <i>купъ</i> 'человек'	О <i>сурумъ</i> — Н <i>сурупъ</i> 'скот'
(РЖ)	К <i>кемъ</i> — Н <i>кебъ</i> — С <i>кемъ</i> 'кровь'	
	О <i>ломъ</i> — К <i>номъ</i> — Н <i>нап</i> — С <i>номъ</i> 'бог'	
	К <i>оромъ</i> — Н <i>орупъ</i> — С <i>орабъ</i> 'сила'	
	О <i>суромъ</i> — К <i>сурумъ</i> — Н <i>хуръпъ/хурпъ</i> — С <i>суру</i> 'зверь, птица'	
(РМ)	К <i>karren</i> — Н <i>kart</i> — С <i>chárren</i> 'утром'	
	К <i>man</i> — Н <i>mat</i> — С <i>man</i> 'я'	
	К <i>pin</i> — Н Т С <i>pit</i> 'ночи (Gen)'	
	О <i>ton</i> — Н <i>tot</i> — С <i>totn</i> (!) 'сто'	
(РТ)	О <i>пинъ</i> — Н <i>пить</i> 'ночь[ю]'	
	О <i>тонъ</i> — Н <i>тоть</i> 'сто'	

³ Здесь и ниже используются следующие сокращенные обозначения источников: (РЖ) — рукопись Ф. Желтухина; (РМ) — рукописи Г. Ф. Миллера; (РТ) — рукописи «остяцкого» словника из Томска и словника «Язык иноземческой по изречениям» из Нарыма; (Стр) — обский и нарымский диалект по данным Ф. Й. фон Страленберга [Donner 1932: 8]; (CL) — [Castrén, Lehtisalo 1960].

- (РЖ) О мань — Н мат- 'я'
 (Стр) О kanang — Н zanack 'собака'
 (РМ) О angde — К ang — Н T ak — С hâk 'рот'
 К nitteng — Н nedék — Т nedek 'девушка'
 О soláng — Н sóllak — С sólla 'ложка'
 О tjöpsáng — К tschöpsan — Н tschöfak — Т tschopsak 'снег'
 (РТ) О канань — Н канакь 'собака'
 О ниденъ — Н недекъ 'девица'
 О сорагъ — Н ховаракъ 'люблю'
 (РЖ) О амь — К ань — Н акъ — С акть 'рот'
 О енгъ — Н екъ 'есть'

Обозначения -нъ, -гъ, -мъ в записях по южным диалектам (РТ, РЖ) явно представляют собой попытки передать -η средствами русской графики.

2. Рефлексы интервокального *-η- соотносятся следующим образом: С -η- — Ц -у- (или -и-) — Ю ∅. Такое же распределение наблюдалось, по-видимому, и в начале XVIII в. (анализ данных затрудняется отсутствием у составителей словников специальных обозначений для η, у):

- (РМ) О ра — Н rágge — С ránga 'нож'
 К tágan — Н tágget 'летом'
 (РТ) О па — Н павы 'нож'
 (РЖ) К тагы- — С тагынъ 'лето'

Расхождения в рефлексации между словами 'нож' и 'лето' в кетском диалекте подтверждаются и более поздними данными: (CL) К paa 'нож', но tagi 'лето'.

3. Рефлексы интервокального *-m- в большинстве случаев соотносятся следующим образом; С *-m- — Ц Ю -и- (иногда с дальнейшим стяжением). Это распределение также относится не только к современным диалектам, но и к старым записям:

- (РМ) О ewél — К éwem — Н éweb — Т eweb — С hémed 'мать'
 О táwa — Н táua — С támma 'мышь'
 О tjú — К tüu — Н T töo — С tüum 'лиственница' (*tūma)
 (РТ) О евель — Н эвемъ 'мать'
 О не — Н нева 'заяц' (*noma)
 О неуре — Н ниуре 'мошка' (*nimarä)
 О Н пеу 'обувь' (*pēma)
 О тава — Н това 'мышь'
 (РЖ) О аур- — К агур- — Н аур- — С амор- 'кушать'
 О тыу — К теву — Н тиву — С тима 'зуб'

4. Четко прослеживается и соответствие С Ц $\acute{s}$ — Ю s, связанное с переходом * $\acute{s}$ > s в южных диалектах:

- (Стр) О ssidyniet 'восемь' — Н schidæ 'два'
 (РН) О siee — К se — Н T sche — С schel 'язык'
 О ssak — К sâk — Н schâk — С scheak 'соль'
 О ssi — К si — Н T schig — С si 'соболь' (s- вместо ожидаемого $\acute{s}$ - представлен в этом слове и в современном тазовском диалекте: sī).
 (РТ) О каза — Н кажа 'сорока' О сей — Н ше 'язык'
 О сакъ — Н шакъ 'соль' О селу — Н шелы 'свояк'
 О сега — Н шегы 'нитки' О сюу — Н шу 'змея'

- (РЖ) К кюсянь — Н чюжекъ — С тюшать 'боль'
 О сакъ — К сакъкъ — С шакъ 'соль'
 К себука — Н шебы — С шебя 'легок'
 К се — Н ше — С шет 'язык'

5. Отличительной чертой нарымского диалекта является развитие $*s > h$, χ и $*ps > f$. Это явление прослеживается во всех привлекаемых здесь источниках XVIII в., и во всех — крайне нерегулярно, что бросается в глаза при ознакомлении с приведенными ниже примерами. Если считать, что каждый словарный список получен опросом одного и того же информанта (что наиболее правдоподобно), то можно констатировать, что в первой половине XVIII в. формы с s и h (а также формы с ps и f) сосуществовали в одном идиолекте, а это позволяет датировать соответствующий историко-фонетический процесс именно данным периодом. Спустя сто лет нарымский диалект характер характеризовался уже вполне последовательным употреблением h, f на месте $*s, *ps$ (записи М. А. Кастрена). Вполне устойчивая в этом отношении картина отмечается и в современных говорах: смешение форм с s и с h типично лишь для переселенческих говоров на Тyme (см., например, [Katz 1979a: 70]).

- (Стр) О sseul — Н say 'глаз', но О ssällgie — Н hälsch 'семь'
 (PM) О ssómbel — Н sómbilag — С sámblang 'пять'
 О lóssi — К lóose — Н lóose — С lúuse 'дьявол'
 О nípsa — Н níipse-tepte — С nípsa 'молоко', но
 О esél — К ésem — Н ehe — Т essem — С héseb 'отец'
 О soroldó — Н hormtsch — Т sormtsch — С sórmdsche 'дождь'
 О tjöpsáng — К tschöpsan — Н tschöfak — Т tschopsak 'снег'
 (PT) Н козы 'железо', но Н логи 'дьявол'
 Н апсы 'пища', но Н афы' паксы' нючи 'солома' (букв. 'кормовая ... трава')
 Н хырыльнипсы 'молоко' наряду с Н хырыльнифыл юрь 'масло' и сыр' илмат 'теленки' (а этих словосочетаниях представлены основы $*sīrə$ 'корова', $*nípsə$ 'молоко').
 (РЖ) О салды — К сальжи — Н салжи — С салчже 'пень'
 К сой — Н солжи — С сольже 'горло', но
 К коръзырь — Н коръхырь 'бык'
 К сиджа — Н хиджа — С сыч 'сердце'
 О суромъ — К сурумъ — Н хуръпъ/хурпъ — С суру 'зверь, птица'

6. В ряде слов самод. $*j$ - отражен в южноселькупском не в виде t' или $\acute{c}$, а как k (см. [Castrén, Lehtisalo 1960: 100–101; Хелимский 1984a: 45]). В тех же словах аналогичное диалектное распределение представлено и в записях XVIII в.:

- (Стр) О kiunde — Н schindy 'лошадь' (передача аффрикаты $\acute{c}$ через sch встречается у Страленберга и в других случаях)
 (PM) О kõe — К kúe — Н Т tschüe — С tsche 'сосна'
 О kúnde — Н tschünde — С tschünde 'лошадь'
 (PT) О кында — Н чинды 'тетива' О кюу — Н чо 'пояс'
 О кюнде — Н чюнды 'лошадь' О кюз — Н чвъ 'сосна'
 (РЖ) О кю — К кюю — Н чюю — С чю 'пояс'
 О кюсянь — Н чюжекъ — С тюшать 'боль'

7. Отличительной особенностью кетского диалекта служит удлинение (по терминология Х. Катца, *Verschärfung*) согласного, расположенного в начале слога и следующего за кратким гласным или сонантом [Katz 1979a: 104, 138, 168]. Ряд форм в записях Г. Ф. Миллера и Ф. Желтухина указывают, что данная тенденция была присуща кетскому диалекту уже давно:

- (Fm) K *appa* — H *ába* 'старшая сестра'
 K *nítteng* — H *nedek* — T *nedék* 'девушка'
 K *órran* 'осень' (это, впрочем, единственный пример с геминацией сонанта)
 O *týbal* — K *típpi* — H *tibeb* — T *tíbbö* 'муж'
 (PЖ) O *кыгай* — K *кыкькай* 'яйцо'
 K *сокька* 'соха' (< русск.)

По-видимому, удлиненные согласные кетского диалекта могут крыться и за многими другими написаниями, где нет удвоения графемы, ср.:

- (PM) O *ügéll* — K *üku* — H T *ük* — C *hjuk* 'шапка'
 (PЖ) O *уть* — K *ута* — H *уда* — C *утоль* 'рука'

С другой стороны, обращают на себя внимание частые случаи удвоения графем в формах северного диалекта (карасинский говор) у Миллера: *hütte* 'рука', *irréd* 'луна', *lüppok* 'темный', *sírre* 'снег', *tschássok* 'холодный' и т. д. Более поздние источники не фиксируют этого явления.

8. Отмеченное в ряде диалектологических исследований соответствие *C t p k q* — Ц Ю *d b g ġ* в интервокальном положении лишь с большими оговорками может быть сочтено диалектно-дифференцирующим признаком. Во-первых, глухость-звонкость не является в селькупском языке фонологически релевантной⁴, вследствие чего во многих источниках по северному диалекту, использующих фонематическую или приближающуюся к ней транскрипцию, звонкость не обозначается. Во-вторых, в принципе для большинства селькупских говоров в интервокальном положении наиболее типичны слабые глухие смычные и аффрикаты, и различие состоит главным образом в том, что в северном диалекте они варьируют в данной позиции с соответствующими сильными глухими, тогда как в центральных и южных диалектах сильная артикуляция наблюдается в интервокальном положении относительно редко, зато возможно полуозвончение и даже полное озвончение слабых глухих (ср. [Кузьмина 1974: 223; Морев 1977: 22–23; ОчСЯ: 128]).

⁴ Глухость-звонкость приобрела, однако, фонологическую значимость в нарымском диалекте (а также, возможно, некоторых смежных с ним говорах тымского и обского диалектов). Здесь в позиции конца слова противопоставлены глухие согласные (исконно ауслаутные) и звонкие или полувзвонкие согласные (оказавшиеся в ауслауте после утраты гласного, который первоначально замыкал слово). Ср. (CL) N *nõp* 'бог' (**nom*) — *nõb* 'рукавица' (**norä*), *kap* 'кровь' (**kem*) — *kab* 'туловище' (**kepä*), *tot* 'сто' (**tõn*) — *tod* 'карась' (**tutä*), *koč* 'серьга' (**qõč* или **qõčči*) — *kož* 'метель' (**qoči*) и т. д. Кроме того, в интервокальной позиции глухие согласные (рефлексы геминат, если произошло упрощение последних) могут контрастировать со звонкими или полувзвонкими (рефлексами одиночных согласных). Приводя ряд примеров типа процитированных выше, Ю. А. Морев ограничивается предположением, 'что здесь дифференциация шумных согласных по степени звонкости находится на пути к фонологизации' [Морев 1977: 21]. Более радикальная точка зрения автора данной статьи отражена в работе [Живов 1980: 52, 53].

Как и следовало ожидать с учетом современной ситуации, в материалах XVIII в. обнаруживается значительный разноречивый в обозначении глухости-звонкости, хотя в целом наблюдается преобладание написаний с интервокальными звонкими на юге и в центре и с интервокальными глухими — на севере:

- (PM) O kuágana — H kuogor — C kúoger 'осетр'
 O kübá — H kúba — C kúpa 'маленький'
 O tobóll — H tópo — C tob 'нога'
 O ügél — H T ük — C hjuk 'шляпа'
 (РЖ) К себука — Н шебы — С шебя 'легок'
 К тибъ — Н тибы — С типа 'гвоздь'
 О тѣго — К твеко — Н твега — С тюка 'гусь'
 О уть — Н уда — С утоль 'рука'

9. Недостаточно четким диалектологическим критерием является, вообще говоря, а упоминаемое рядом исследователей соответствие Ю *t'* — С Ц *č*. По крайней мере в части говоров всех трех основных диалектных подразделений возможно свободное варьирование *t'* и *č* (ср. [Katz 1979a: 106; ОчСЯ: 131; Деннинг 1981: 161]). Картина, представленная в словниках XVIII в., лишь частично коррелирует с указанным диалектным распределением (в известной мере фиктивным) и, пожалуй, еще сильнее расходится с относящимися к середине прошлого века данными М. А. Кастрена, ср.:

	Обский	Кетский	Нарымский	Тымский	Северный
(PM)	<i>t'</i>	<i>č</i>	<i>č</i>	<i>č</i>	<i>č</i>
(PT)	<i>t'</i>		<i>č</i>		
(РЖ)	<i>t' / č</i>	<i>č</i>	<i>č</i>		<i>t' / č</i>
(CL)	<i>t'</i>	<i>t'</i>	<i>č</i>		<i>t' / č</i>

Вот некоторые примеры:

- (PM) O kodj — H kötsche — C kétsche 'слуга'
 O tjöpsáng — K tschöpsan — H tschöfak — T tschopsak 'снег'
 (PT) О тю — Н чю 'глина' О тинга — Н чинга 'лебедь'
 (РЖ) О телда — К Н чель — С тель 'солнце, день'

10. Сходные сомнения вызывает и использование в качестве диалектологического критерия соответствия Ю *-j* — Ц *-l/-l'* — С *-l'*. Сложность проблемы состоит в том, что в отдельных говорах севера и центра на месте *l'* выступает *j* [Katz 1979a: 85, Komm. 23; ОчСЯ: 154–155], тогда как в обском диалекте чередование *j* и *l'* представлено по крайней мере на уровне морфонологии (если не на уровне фонетической вариативности), в том числе и на стыках слов [Helimski 1983: 22, 29–30]. Тем не менее, в целом указанное диалектное распределение прослеживается и в ранних записях:

- (PH) О *-j* адъективный суффикс (tássui-ütt 'холодная вода', ulgói-soroldó 'град, букв. ледяной дождь') — Н *-l* (nelgul 'женский', ütkol-küil 'водяная яма') — С *-l* (ruschel mat 'дом, букв. русский чум')
 (PT) О кыгыди- — Н кыгыдыль 'охоч'
 О нючиюкопть — Н нючиюпачиты¹ чотчи 'сенокос' (первый компонент в обоих случаях — *ñičä 'трава, сено' с адъективным суффиксом)

(РЖ) О -й адъективный суффикс (авой 'худо') — С -л (тыбилкупь 'муж', шерба'ють 'вино')

11. Для центральных и южных диалектов (в наименьшей мере для кетского) характерно расширение гласных первого слога, затронувшее главным образом краткие гласные верхнего подъема *i (> i, e, e), *ü (> ü, ö, ö) *i (> i, e, e), *u (> u, o, o), а также *e (> e, ä) и *e (> e, a, a). Неравномерность протекания этого процесса позволяет использовать его в качестве диалектно-дифференцирующего признака (ср. [Katz 1979a: 62, 82, 85–86, 92 etc.]).

Материалы XVIII в. дают лишь редкие и несистематичные примеры расширения гласных; не исключено даже, что примеры эти — (PM) T *eréde* «месяц» и т. п., см. ниже — можно отнести на счет недостаточной точности записей. Как правило же, высота подъема гласных в первом слоге соответствует праселькупскому состоянию, которое ныне достаточно последовательно сохранено в этом отношении только в северном диалекте. Сравнение о данными М. А. Кастрена позволяет констатировать, что расширение *i, *ü, *i, *u, *e в южных и центральных диалектах произошло между серединой XVIII и началом XIX в., то есть дает довольно точную абсолютную датировку еще одного важного явления селькупского исторической фонетики.

(PM) О *týbal* — К *típpi* — Н *tibeb* — Т *tibbo* 'муж', ср. (CL) N *teb/téb*, MO *teb*, K *tippa*, OO *tebэ*

О *irét* — Н *ireda* — Т *eréde* — С *irréd* 'месяц', ср. (CL) N *äré*, MO *eré*, K Tschl. *iré*

О *küba* — Н *küba* — С *küpa* 'маленький', ср. (CL) N *kē-ba/kēbá/kiba*, MO Tsch. OO *keba*, K *kēpa/kepa* (**kīpa*)

О *kuum* — К *kum* — Н *kub/kum* — Т *gub* — С *kub* 'человек', ср. (CL) N *kup/ḳop*, MO *kōm*, OO *kum*, Tsch. *ḳōm*

К *kön* — Н *kōtn* 'зима', ср. (CL) N Tsch. OO *kä*, NP K *kē* (**kē*)

Н С *kōpte* 'смородина', ср. (CL) N *kāpté/kaptè* (**keptä*)

(PT) О *тыу* — Н *тиу* 'зуб', ср. (CL) N MO OO *teu*

О *неуре* — Н *ниуре* 'мошка' (**ñimärä*)

О *угемь* — Н *югу* 'шапка', ср. (CL) N *yg/ög*, MO *ög/ök*, Tschl. OO *ygo*

О *инда* — Н *инды* 'лук', ср. (CL) N *énd/end*, K *énddэ*, OO *i-ndä* (**intä*)

О *кумь* — Н *купь* 'человек'

О *кемь* — Н *кепь* 'кровь', ср. (CL) N *kap/kāp*, MO *kām/kam/kem*, K *kam/kem*, OO *kēām/kām* (**kēm*)

О *лерембань* — Н *лерымбакь* 'пугаюсь', ср. (CL) N *lérmbak/lärbmbak*, MO *lérmbang*, OO *lärbmbang* (**lérāmpä*)

(РЖ) К *иредь* — Н *иреды* — С *иреты* 'месяц'

О *тыу* — К *теву* — Н *тиву* — С *тима* 'зуб'

К *кюсянь* — Н *чюжекь* — С *тюшать* 'боль', ср. (CL) N *čöšan*, MO *kösun*

Н *сибинжа* 'свинья', ср. (CL) N *hēbanža*, MO *sebandjá*

О *уть* — К *ута* — Н *уда* — С *утоль* 'пука', ср. (CL) N *ud/od*, K *uttэ*, OO *udэ*

К *кемь* — Н *кебь* — С *кемь* 'кровь'

12. Вполне естественно, что в исследуемых материалах никак не отражены диалектные фонетические различия заведомо позднего происхождения. Таковы-

ми являются, в частности, соответствия Ю Ц $\check{c}$ — С t и Ю Ц $kw, qw, tw, tw/\check{c}w$ — С $k, q, t, \check{c}$ соответственно. Как известно, еще и в середине прошлого века северный диалект сохранял и $*\check{c}$, и лабиализованные согласные (или анлаутные сочетания с $w/\check{c}$). Заслуживает внимания, пожалуй, лишь то обстоятельство, что деаффрикатизация $*\check{c}$, которая во времена Кастрена уже далеко продвинулась в карасинском говоре и началась в тазовском говоре северного диалекта, изредка обнаруживается уже и в карасинских записях Миллера:

(РМ) Н $\check{u}ngontsch$ — С $\check{u}ngend$ 'росомаха', но
О $nj\check{u}dsche$ — Н С $nutsch$ 'трава'
Н $hormtsch$ — Т $sormtsch$ — С $s\check{o}rmdsche$ 'дождь'

Отсутствие старых данных по региону на границе обского и кетского диалектов не позволяет судить о давности процесса деназализации в гоморганных сочетаниях ($*nt > dd$ и т. д.), впервые отмеченного К. Доннером [Donner 1924] и характерного для некоторых современных говоров этого региона. Так же обстоит дело и с некоторыми другими фонетическими инновациями узко регионального распространения.

13. Наряду с рассматривавшимися до сих пор фонетическими признаками, диалектно-дифференцирующую роль играют и некоторые особенности морфологии. К сожалению, релевантные в этом плане словоизменительные формы в словарных списках XVIII в. почти не представлены; мало информативен и текст молитвы «Отче Наш», записанный в 1660-х гг. Н. Витзеном⁵.

Можно отметить специфическое для северного диалекта окончание инфинитива $-qo$ (ср. Ю Ц $-ku$), засвидетельствованное, правда, всего одним примером: (РЖ) О $auryu$ — С $amorko$ 'кушать'.

Селькупская языковая территория (и одновременно центральный диалект) рассекается, как известно, изоглоссой, связанной с показателем множественного числа имен. Северный и тымский диалекты сохраняют (и, следовательно, сохраняли всегда) показатель $-t$, имеющий прауральское происхождение. В отличие от них, нарымский и южный диалекты используют в той же функции показатель $-la$. Употребление $-la$ во второй половине XVII в. документируется самоназванием нарымских и кетских 'остяков', которое приводит Николай Спафарий (1675 г.), — **чугулы**⁶, то есть $\check{c}u(j)g\check{u}la$, ср. ед. ч. $tujqut$ как самоназвание чулымско-верхнеобской группы селькупов, реликтивно представленной сейчас в верховьях Кети [Морев 1983: 24–25]. Еще один пример — (РТ) О **воркуля** 'власть' (вероятно, букв. 'большие люди'). Таким образом, и этот диалектно-дифференцирующий признак имеет давнее происхождение.

⁵ Подробный, хотя и не во всем бесспорный анализ текста Витзена произвел Х. Катц [Katz 1979: 49–53]. Им отмечено, в частности, употребление датива-латива на $-(n)ni$ — этот архаичный показатель фонетически видоизменен в значительной части современных селькупских говоров.

⁶ «Народ Остяцкий древний, как и иные разные народы царства Сибирского... Сами себя именуют своим языком, которые по Обе живут и по Иртышу, Кандаях (= хант. $VVj. k\check{a}nt\check{a}y-jay$, DN $\check{x}\check{a}nt\check{a}-ja\check{x}$ 'хантыйские люди'. — Е. Х.), а Нарымские и Кетские именуют же себя **чугулы**. А жилище их начинается от Иртыша и до устья реки Иртыша, где впадает в Обь, а потом по Обе на низ до Березова и до Окиянского моря и вверх по Обе реке до Томского города, также и по Кете реке до вершины ея. И то место есть немалое. Толко и у них хотя и один народ и вера одна, однакожде языки у них, живут разные, на силу друг друга выразаумеют» ([Спафарий 1882: 83–84]; см. также: [Спафарий 1960: 68–69]).

14. По словарям XVIII в. хорошо прослеживаются и многие типичные диалектные различия в лексике, отмечавшиеся Г. Н. Прокофьевым [Прокофьев 1935: 6–7] и П. Хайду [Hajdú 1968: 126]:

- (PM) O *njäp* — Н *njab* — С *schiba* 'утка'
 O *kügái* — Н *njábi* — С *hêng* 'яйцо'
 O *pudjunóll* — Н *putsch* — С *húndel* 'нос'
 O *ssíd-jóntjet* — Н *schittetschángut-köt* — С *schittiálchun* 'восемь'
 К *pyngr* — Н *numma* — С *núnga* 'бубен'
- (PT) O сидиендеть — Н шигагылкеть 'восемь'
 O *ay* — Н кошига 'худо'
- (РЖ) К няпъ — Н нябъ — С шибо 'утка'
 O кыгай — К кыкькай — С ига 'яйцо'
 К пуджиноль — Н пуджи — С унжелъ 'нос'
 O авой — К авоень — Н кошига — С кошегаесь 'худо'

Несколько диалектно-дифференцирующих слов в использованных материалах не встретилось, еще в нескольких случаях имеющиеся данные вынуждают пересмотреть предлагавшиеся списки диалектных различий в лексике⁷. Поэтому в целом можно утверждать, что состав наиболее «ярких» лексических диалектизмов с XVIII в. до наших дней не изменился и не претерпел заметных территориальных перераспределений.

Как можно видеть, углубление диалектологической перспективы на 250 и более лет по сравнению с современными данными и на сто с лишним лет по сравнению с данными Кастрена не меняет существенно ни общей картины диалектного членения селькупской языковой территории, ни перечней специфических особенностей каждого из основных диалектов. Формы из словариков XVIII в. или совпадают с формами, которые фиксируются на соответствующих территориях позже, или, во всяком случае, оказываются больше похожи на них, чем на инодиалектные формы того же XVIII в.

В лингвистике пока не разработаны методы, с помощью которых можно было бы оценить возраст диалектной дифференциации внутри какого-либо языка на основе объема диалектных различий в фонетике и морфологии. Однако чисто интуитивно можно предположить, что для накопления той суммы диалектных различий, которая прослеживается по наиболее ранним селькупским записям, потребовалось время в несколько раз более длительное, чем лингвистически документированное последнее двухсотпятидесятилетие. Поэтому вряд ли окажется завышенной оценка возраста дивергенции селькупских диалектов по меньшей мере в 1 тыс. лет. В то же время пока, как кажется, нельзя считать серьезно аргументированной, тем более — доказанной гипотезу об отражении в этой дивергенции диалектных различий прасамодийской эпохи [Dulson 1971].

⁷ Как показывают многочисленные данные, слова **kípa* 'маленький' и **talíu* 'хвост' известны в действительности всем селькупским диалектам; **purä* 'щука' характерно не для всех центральных и южных говоров, а только для кетского диалекта (во всех прочих диалектах — **pítta*); в качестве названия нарты (ручной, собачьей) в северном диалекте зафиксировано не только *ïssamí*, но и общеселькупское **qančä* > **qantä* [Erdélyi 1969: 62]. Эти факты дают основания для корректировки списков, предложенных Г. Н. Прокофьевым и П. Хайду.

Не вполне однозначные результаты дает применение к селькупскому диалектному материалу метода глоттохронологической датировки. Было проведено сопоставление списков базисной лексики для северного диалекта (см. [Хелимский 1982: 129–133]) и обского диалекта (по материалам Н. П. Григоровского, см. [Helimski 1983]). Таким образом, сопоставлялись диалекты, максимально противостоящие друг другу по совокупности фонетических и морфологических признаков. Списки включали по 84 слова⁸. Этимологические различия (в корневой части) между семантическими эквивалентами имели место в 12 случаях: 1. 'белый': С *seri* — О *mégy/mégan*; 2. 'весь': С *muntik* — О *vesь*; 3. 'гора': С *qə* — О *tánbar*; 4. 'гореть': С *čəpi* — Н *póry*; 5. 'дым': С *purqi* — О *kaškóy*; 6. 'женщина': С *ima* — О *néygom*; 7. 'мужчина': С *ira* — О *tebégom*; 8. 'нос': С *intäl* — О *nyчь*; 9. 'перо': С *tū* — О *tap*; 10. 'ухо': С *ünkĩlsa* — О *ko*; 11. 'шея': С *söl* — О *kotял/kotél*; 12. 'яйцо': С *eη* — О *kygáy*⁹. Таким образом, доля совпадений составляет 0,86, а это при расчете по формуле М. Свадеша дает длительность дивергенции около 0,5 тыс. лет.

Известно, однако, что на материале диалектов одного языка или близкородственных языков, сохраняющих между собой маргинальные контакты, глоттохронологическая формула склонна давать систематическую ошибку в сторону занижения возраста дивергенции. Связано это с тем, что в условиях контактирования диалекты и языки общего происхождения оказывают друг на друга консервирующее действие или вводят общие лексические инновации. Поэтому мы, вероятно, будем более близки к истине, если примем глоттохронологическую датировку за самую минимальную оценку длительности диалектной дивергенции в селькупском языке.

Еще один значимый с точки зрения не только диалектологии, но и этнической истории селькупов вывод, к которому позволяет прийти рассмотренный выше материал, состоит в том, что в течение последних веков границы основных диалектных подразделений оставались достаточно стабильными. Не наблюдалось сколь-нибудь интенсивного смешения диалектов и диффузии диалектных черт¹⁰.

⁸ Из сокращенного до 87 слов лексикостатистического диагностического списка (см. [Хелимский 1982: 38, 129]) дополнительно исключены три значения ('желтый', 'зола', 'печень'), поскольку у Н. П. Григоровского соответствующие слова не представлены. В списке для северного диалекта сделана была одна замена: *qantipil* 'холодный (о физическом теле)' вместо *časiqil* 'холодный (о погоде)'.

⁹ Вообще говоря, число обнаруживаемых различий можно было бы даже сократить, введя в список для северного диалекта слова *qatqi* 'дым, туман' (малоупотребительное), *näl qut* 'женщина' и *tipil qut* 'мужчина' (используются вместо *ima*, *ira* в специальных случаях — например, чтобы указать пол новорожденного), *qə* 'ухо' (употребляется в верхнетазовском, но не в среднетазовском говоре), а в список для обского диалекта — слова *kénbar* 'гора' и *tu* 'перо' (которые реально засвидетельствованы у Н. П. Григоровского только в значениях «берег» и «крыло»). Однако глоттохронологическая методика предполагает использование в диагностических списках только основных слов для каждого значения.

¹⁰ Результаты интерференции диалектов, связанной с переселениями 30-х годов, до недавнего времени еще сравнительно легко поддавались опознанию и отделению. От явно интерференционных явлений (сосуществование разноталектных форм в речи одного лица) следует, разумеется, отличать чисто механическую путаницу, которая возникает в некоторых работах из-за паспортизации селькупского материала по месту его фиксации, а не по диалектной принадлежности информанта.

В то же время нельзя не отметить той определяющей роли, которую сыграло в этот период разделение селькупской языковой территории на два крупных и почти полностью изолированных друг от друга массива — северный (тазовско-енисейский) и южный (тымско-нарымско-кетско-обский). Распространение инновационных диалектно-дифференцирующих признаков (утрата лабиализованных согласных и **č* на севере, расширение гласных первого слога в центре и на юге) было строго ограничено пределами каждого из этих массивов.

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ДИАЛЕКТОВ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА*

Как опубликованные в последние годы селькупские материалы, так и специальные диалектологические исследования (в особенности [Janurik 1978] и [Katz 1979a]) позволили достичь известной ясности и полноты в картине диалектного членения селькупской языковой территории. Существенно, что можно констатировать если не совпадение, то по крайней мере удовлетворительную скоррелированность результатов, опирающихся на различные критерии классификации диалектов. Подразделение по территориально-этнонимическим признакам (А. П. Дульзон, А. И. Кузьмина, Ю. А. Морев) принципиально совместимо с более традиционной тернарной классификацией селькупских диалектов (Г. И. Прокофьев, П. Хайду и др.) и с набором локальных говоров, выделявшихся М. А. Кастреном и К. Доннером.

Безусловные сложности создает то обстоятельство, что селькупы до относительно недавнего времени заселяли крупный, но практически компактный регион, между соседними частями которого поддерживались систематические и интенсивные контакты. Это не могло не породить ситуацию диалектного континуума с постепенным нарастанием различий (от Таза и Турухана через Елогуй, Вах, Тым до Нарыма, а затем до Кети и бассейна Оби в пределах южной части Томской области). В подобной ситуации границы диалектных зон нередко оказываются довольно размытыми. Это делает принципиально возможными два подхода к отграничению крупных диалектных зон: ориентация на отдельные изоглоссы (разбиение оказывается достаточно жестким, но адекватность его зависит от того, насколько удачен выбор определенной изоглоссы в каждом конкретном случае) и на пучки изоглосс (разбиение оказывается репрезентативным, но сами пучки — сильно «растрепанными»). Наиболее сложным в классификационном отношении и заслуживающим специального внимания является участок селькупской языковой территории, включающий обские говоры между Нарымом и Колпашевым и говоры Нижней Кети.

Из собственно лингвистических критериев классификации диалектов селькупского языка наибольшим вниманием пользуется (вполне заслуженно) совокупность фонетических признаков, образующих ставший уже почти стандартный набор [Прокофьев 1935: 5–7; Hajdú 1968: 121–127; Janurik 1978; Katz 1979a; Морев 1983; Хелимский 1985a]. Особого внимания среди них, по-видимому, заслуживают:

* Впервые опубликовано в: *Dialectologia Uralica. Erstes Internationales Symposium zur Dialektologie der uralischer Sprachen. Thesen. / Hrsg. von W. Veenker. Hamburg, 1984. S. 44–46.*

а) изоглосса **k/*t'* (как в **kü-/*tū-* 'стрелять' и еще примерно десятке обще-селькупских слов). Учитывая позиционную обусловленность данного соответствия — преимущественно в позиции перед лабиализованным передним гласным — можно предполагать, что оно сформировалось еще на ранних этапах развития ПС **w >* протосельк. **k^w* > сельк. **k* и ПС **j >* протосельк. **č* [?] > сельк. **t'*;

б) изоглосса **ŋq/*qq* (как в **poŋqə/*poqqə* 'сеть').

Обе эти изоглоссы отделяют южные диалекты, с одной стороны, от центральных и северных, с другой. Можно предполагать, что данная граница носит чрезвычайно древний характер.

Представляется, что набор фонетических признаков нуждается в некоторой доработке с целью, в первую очередь, более тщательного учета особенностей крайне южных селькупских диалектов (Tsch. Tschl. ОО у М. А. Кастрена, «Томск» в словниках XVIII в.) — частичная или полная дефонологизация оппозиции **č : *t*, дифтонгизация долгих гласных, вторичная палатализация дентальных и др.

Нет оснований оспаривать методологическую важность подразделения селькупских диалектов на северные, центральные и южные, однако описывать «центральное наречие» или «южное наречие» в целом было бы совершенно невозможно. Можно полагать, что относительно высокий уровень внутреннего единства выделяемых диалектных областей (который, например, был бы достаточен для целей воображаемого школьного преподавания на селькупском языке в ту эпоху, когда еще в полной мере сохранялось все диалектное многообразие) обеспечивает разграничение 1) северных, 2) тымских, 3) нарымских (с васюганскими и парабельскими), 4) кетских, 5) обских (в первую очередь в районе Колпашева), 6) крайне южных говоров. Отдельные яркие диалектологические особенности позволяют добавить к этому перечню также говоры Верхнего Таза и бассейна Енисея (отделив их от среднетазовского), а также Верхней Кети (в отличие от средне- и нижнекетских). Разумеется, подобная группировка не снимает проблему переходных и смешанных говоров; не исключены и «диалектологические сюрпризы» со стороны еще не вошедших в научный оборот селькупских материалов.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ЭНЕЦКОЙ ОНОМАСТИКЕ*

Памяти учителя и друга Холю Николаевича Каплина, скончавшегося в
марте 1980 г.

I. *Somatu*

Этноним *somatu*, используемый тундровыми энцами в качестве самоназвания, не удастся истолковать на основе энецкого языка, сами энцы не дают ему перевода ([Васильев 1979: 13]; наши полевые данные). В литературе известны по меньшей мере три варианта этимологизации этнонима. Г. Н. Прокофьев [1937а: 7] допускает связь этнонимов *samadu* (написание искаженное!) и *madu* — название тундровых энцев в лесном диалекте энецкого языка (соответствует нен. *tando*, *mantu*); несостоятельность такого допущения продемонстрировал П. Хайду [Hajdú 1950: 16–17]. Основываясь на другом предположении Г. Н. Прокофьева, Б. О. Долгих [1946: 123] и П. Хайду [Hajdú 1950: 17], по-видимому, независимо друг от друга высказали мнение о заимствовании из рус. *самоди* (преобразованное *самоядь*, *самоеды*); впрочем, сам П. Хайду отмечал небезупречность этой заманчивой этимологии с точки зрения фонетики. Г. М. Василевич [1965] связывала рассматриваемый этноним с тунгусо-маньчжурским *Саман* ~ *Самай*, видя в энцах-сомату возможных потомков «исчезнувших» после XVII в. тунгусов-«шамагов» из Прибайкалья; историческая недостоверность такой гипотезы отмечена В. И. Васильевым [1979: 43].

Ниже предлагается принципиально иная этимологическая интерпретация.

1. Помимо самого тундрового диалекта энецкого языка, рассматриваемый этноним представлен также в нганасанском языке в форме *səmaʔtu*¹ (ранее он использовался — по крайней мере, эпизодически — и лесными энцами, но только в применении к тундровым, а не как самоназвание; см. [Долгих 1970: 117]). Нган. *səmaʔtu* и эн. *somatu* вряд ли могут быть исконно родственны, поскольку в прасеверносамодийской лексике наблюдаются, как правило, иные, менее тривиальные фонетические соответствия (нган. *-m-* : эн. *-θ-* или *-b-*; нган. *-u-* : эн. *-a-*). Напротив, на собственно нганасанской почве обнаруживается сходство (фактически тождество) данного этнонима с основой глагола обладания *səmaʔtə-* (инфинитив *səmaʔtəsa*, см. [Терещенко 1979: 257]) ‘иметь шапку, находиться в шапке’ (от *səmi* ‘шапка’).

2. Надежным свидетельством того, что сходство это не случайно, служит этимологический анализ названия одного из родовых подразделений тундровых

* Впервые опубликовано в: СФУ. 1981. XVII/2. С. 119–130.

¹ В записи *самаʔту* ‘энец племени маду’ [Терещенко 1979: 255] гласный первого слога обозначен неточно (*a* вместо фонетически очень близкого *ə* = *ä*), о чем бесспорно свидетельствует наличие написаний этого нганасанского слова через *o*, ср., например, *sʔomātu* [Middendorff 1875: 1442].

энцев — *Soeta*². По-ненецки этот род именуется, как установил Б. О. Долгих [1970: 178], *Собета*, *Совэта* (= таймырско-нен. *Sõbita*). И энецкая, и ненецкая формы родового названия интерпретируются как 3 л. ед. ч. наст. вр. от глаголов обладания *soeto-* (эн.), *sõbitä-* (нен., ср. большеземельскую форму этого глагола *сăбитă(сь)* [Терещенко 1965: 515]) 'быть в шапке, носить шапку'³. Глагол образован от эн. *soe* 'шапка', нен. *sõβa* — эти слова, наряду с нган. *səti*, а также нен. *Л хатта*, восходят к ПСС **sāmā*.

Прозрачная этимология данного родового названия хорошо осознается самими энцами. Наш информант Х. Н. Каплин (1910–1980) в сентябре 1979 г. указал в беседе, что род *Soeta* можно именовать также *Taai* (*taai* 'шапка' в основном вытеснило устар. *soe*, которое ныне употребляется преимущественно в суженном, специализировавшемся значении 'женская ушанка'), и продиктовал следующее предание о происхождении названия:

Soeta odoxoda tidōda Soeta niu'a. Kudaḥa? bidōda toneabi. Šidibiḥo? Taaiḍa toneabi, aburida nido ka'arabiḍa, taairioda lobiteupi. Eṇauloo mabi: «Tidoro mi? aḍa? Soeta niu aaba». Modī nenena? Taai, Soeta ṇuulio nidi?.

«У Сойты вот почему род называется Сойта. Когда-то товарищ у него был. Они расстались. У него была шапка, он снял ее с головы и все шапкой махал. Тот другой сказал: «Твой род какой будет? Пусть будет Сойта». У нас Таи («Шапка»), Сойта — одно их имя».

Сходные, хотя и упоминающие другой эпизод (предок рода Сойта сидит в чуме в шапке) предания известны и из этнографической литературы [Долгих 1970: 178–179]. Впрочем, сам Б. О. Долгих в данном случае — как и в некоторых других, см. ниже — пытался дезавуировать естественное толкование этнонима, считая его народно-этимологическим.

3. Возвращаясь к нган. *səma'tu*, мы можем констатировать, что это название является точным фонетическим и почти точным поморфемным соответствием нен. *Sõbita* и эн. *Soeta* (корень *səti* < **sāmā* + морфема чередования, характерно для аккузатива мн. ч. + суффикс отыменных глаголов -² < **-t-* + окончание 3 л. ед. ч. суб. спр. наст. вр. -*tu*). Правда, в современном нганасанском языке эта форма уже не является формой со значением 'имеет (носит) шапку', так как вместо исходного *səma'* используется производный от него глагол *səma'tə-*, 3 л. ед. ч. суб. спр. наст. вр. *səma'tətu*.

4. Ввиду этого есть все основания считать, что первоначально нган. *səma'tu* представляло собой название не всех тундровых энцев, а лишь их родового подразделения *Soeta*, и являлось, подобно нен. *Sõbita*, точным фонетическим соответствием (или поморфемным переводом) энецкого самоназвания этого рода. Известно, однако, что род *Soeta* — ныне, по утверждению информантов-энцев, исчезнувший с кончиной (в 50-х или 60-х гг.) его последнего представителя, Григория Ефимовича Горлашкина (*Šara*) — «лучше всех энецких родов племени

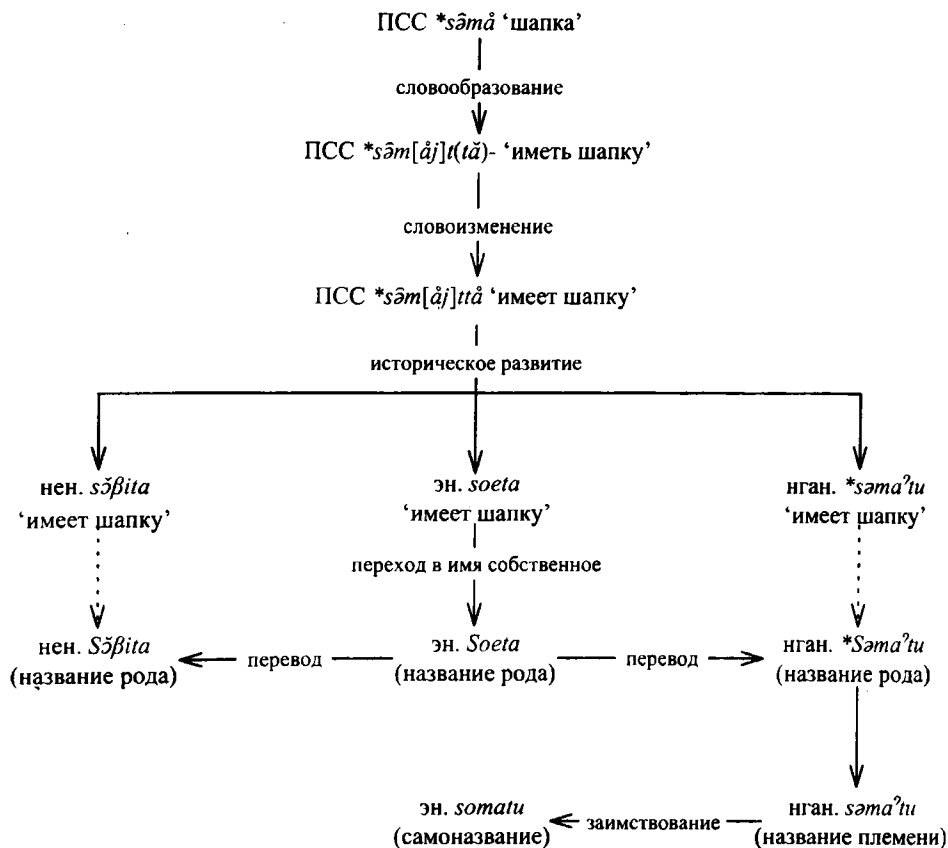
² В этнографической литературе принято написание *Сойта* (ср., впрочем, *Сойэта* и *Соэта*, [Долгих 1970: 178]), что связано с произношением *oe* в виде [oe] или даже [oi] в аллегривой энецкой речи.

³ Ненецкая форма может быть понята и как причастие настоящего времени от глагола *sõbitä-* (*сăбиць* [Терещенко 1965: 515]) 'использовать в качестве шапки, иметь шапку'. Однако в энецком языке окончание Part. Praes. -*ta/-ḍa/-da* наличествует в лесном диалекте, тогда как в тундровом представлено окончание -*tel/-ḍel/-de*. Поэтому тундрово-энецкая форма родового названия отождествляется только с личной формой *soeta* 'носит шапку', а не с причастием *soete* 'имеющий шапку' (от глагола *soe'*, соответствующего нен. *sõbitä'*).

сомату прослеживается вплоть до начала XVII в.» [Долгих 1961: 227] и был в разные периоды XVII–XVIII вв. самым многочисленным или одним из самых многочисленных тундрово-энецких родов (см. [Долгих 1970: 138–139, 142, 164; Васильев 1979: 108–109]). Особой популярностью пользуется этот род и в фольклоре [Долгих 1970: 179]. Эти обстоятельства легко могли обусловить перенос названия одного (крупнейшего) из родов на все племя тундровых энцев, подобно тому, как племя лесных энцев издавна именуется нганасанами *baj* [Терещенко 1979: 255] по названию крупного рода *Bae*.

5. В самом языке энцев-сомату их самоназвание оказывается, таким образом, заимствованным от нганасанов, с которыми сомату традиционно поддерживали теснейшие (в том числе и брачно-родственные) связи. Передача нган. *səmaʔtu* в виде эн. *somatu* вполне регулярна. Видимо, заимствование произошло уже после того, как прошедшие в нганасанском и особенно в энецком языке фонетические изменения замаскировали внешнее сходство и этимологическое единство между нган. *səmaʔtu* и эн. *Soeta*. В качестве любопытной параллели к заимствованному происхождению самоназваний можно указать на то, что современными тундровыми энцами употребляется, наряду с *somatu*, параллельное самоназвание *mantu*, заимствованное на сей раз уже из ненецкого языка (перечень же случаев неисконного происхождения самоназваний в других языках можно открыть хотя бы этнонимами *eesti* и *русский*).

6. Генезис рассмотренных этнонимов отображен с помощью стеммы:



II. Названия энецких родов

В своей работе о самодийских этнонимах П. Хайду был вынужден ограничиться рассмотрением лишь нескольких названий энецких родов, зафиксированных в опубликованной к тому времени литературе [Hajdú 1950: 74–76]. С тех пор огромная работа по сбору полевых (в том числе фольклорных) и архивных материалов, осуществленная в первую очередь этнографами Б. О. Долгих [1904–1971] и В. И. Васильевым, позволила выявить всю совокупность родовых названий энецов наряду с важными сведениями о происхождении, истории расселения, численности и взаимных связях соответствующих родов.

Пользуясь «Указателем названий родов, управ (волостей), племен, фамилий» [Долгих 1962: 232–235], мы в ходе экспедиционной работы выделили названия 14 энецких родов, известные современным тундровым энкам, и уточнили фонетический облик этих названий. (По крайней мере в одном случае — см. ниже *Aaseda* — такое уточнение принципиально важно для правильной этимологизации.) Ниже приводится перечень этих названий с объяснением их происхождения; мы не останавливаемся сколько-нибудь подробно на тех случаях, где следую- ем объяснению, предложенному Б. О. Долгих — исследователем, который уделял большое внимание лингвистическому анализу этнографического материала.

В качестве общей преамбулы к дальнейшему следует сказать, что Б. О. Долгих и особенно В. И. Васильев, придавая этнонимике первостепенное значение в решении вопросов этногенеза самодийцев, в некоторых случаях чрезмерно, на наш взгляд, преувеличивают архаичность родовых названий. Для их работ характерно стремление отыскать параллели этнонимов в этнонимическом же материале (по другим народам) и обосновать тем самым этнические связи глубокой древности. Однако анализ всей совокупности родовых названий показывает, что у северных самодийцев подавляющее большинство таковых имеет прозрачную этимологию, не идущую далее нарицательной лексики соответствующего языка (для ненецких данных — наиболее многочисленных — см. [Hajdú 1950: 45–69; Lehtisalo 1956; Терещенко 1965; Хомич 1976: 102–111; Долгих 1970: 100–102]). Кроме того, по чисто демографическим причинам (малая численность отдельных родов; высокая рождаемость и высокая смертность; частые случаи гибели целых коллективов при эпидемиях и войнах) неизбежно сравнительно быстрое обновление этой части этнонимии ввиду исчезновения одних и дробления других родов. Например, из 24 названий родов тундровых энецов, известных по ясачным книгам 1607 г. [Долгих 1970: 138], до нашего времени дошли лишь четыре (в том числе два — только как названия ненецких родов). В этой ситуации непрерывная преемственность какого-то родового названия на протяжении 1–2 тыс. лет хотя и не исключена, но маловероятна. С другой стороны, при сопоставлении этнонимии разных народов требуется особая осторожность, так как при наличии в каждой из сопоставляемых этнонимических систем десятков, а то и сотен названий родов, племен, территориальных групп неизбежны чисто случайные созвучия. Так, воспользовавшись одним только списком названий эвенкийских родов [Василевич 1958: 576–586], без затруднений можно обнаружить вполне «сносные» — но, увы, ошибочные! — «параллели» для не менее чем восьми (из 14) названий энецких родов (*Лодоседа* : *Лада-гир*, *Муггади* : *Му(н)ган*, *Солда* : *Шо-*

лот, Чор : Чорду и т. д.). Разумеется, свидетельствует это не об эвенкийском происхождении энецких (или энецком происхождении эвенкийских) родов, а всего лишь о ненадежности подобного сопоставления.

1. Названия родов тундровых энцев

Bago (Багго; 174–175⁴). От *bago* ‘яма’ или ‘остяк (т. е. ханты, селькуп или кет)’ — род ведет свое начало от некоего остяка, видимо, селькупа [Васильев 1979: 19].

Bunela (Буналя; 169–170). Ср. *bu*’ ~ *bun*- ‘собака’ (?).

Lodosede (Лодоседа; 166–169). Букв. ‘бесторсый’, т. е., скорее всего, ‘носящий одежду, лишенную специфического для верхней части туловища покроя (бесформенную, мешкообразую)’, менее вероятно — ‘обезображенный физическим уродством в верхней части туловища’ (от *lodo* ‘торс’, ср. нен. *lād*).

Masiuodae (Масодай; 171–174). Букв. ‘неумытый’ (от *masu*- ‘вымыть, умыть’).

Sadu (Садо, Саду; 175–176). Ср. *sadir*- ‘шить’, *sadoo* ‘отделка из каймы’ (?).

Soeta (Сойта; 178–179). Этимология указана выше, в связи с этнонимом *somatu*. Учítывая исходный облик названия (с утраченным впоследствии интервокальным -m-), следует безусловно отклонить сопоставление с южносибирским этнонимом *sojon*, *sojot* и топонимом *Саяны* [Долгих 1970: 242–245; Васильев 1974: 139–143].

Solda, фонетически обычно [*sòl'da*] (Солда; 179–180). Наличие сочетания *ld*, недопустимого в исконно энецкой лексике (гласный [̃] явно эпентетической природы), указывает на иноязычное происхождение названия. Представляется возможным возвести его к личной форме (3 л. ед. ч. наст. вр.) ненецкого глагола *sālda*- ‘заплатить, оплатить’. В ненецких заимствованиях тундрового диалекта энецкого языка *ā* (̃) регулярно передается в виде *o* (с позиционным вариантом *ò* перед сочетанием согласных), а сочетания согласных разбиваются лишенным фонологической самостоятельности эпентетическим гласным, ср. эн. *por̃e* [*pòr'̃e*] из нен. *pār̃e*, *pōr̃e* ‘ведьма’. В пользу такого объяснения свидетельствует, в частности, следующее. Во-первых, в записанном в 1949 г. рассказе энец Х. Н. Каплин — представитель (а позже старейшина) рода Солда — прямо указал: «Солда — это раньше были юраки» [Долгих 1961: 232]. Во-вторых, в том же рассказе можно усмотреть прямой намек на связь с глаголом ‘заплатить’: богатый, но бездетный старик Няндуй, купив мальчика-юрака (ненца) и заплатив за него оленями и лисицами, размышляет: «Как я тебе название дам? Я тебя не родил. Пусть твое название будет Солда» (выделено нами. — Е. Х.). Если подставить вместо имени Солда его предполагаемое исходное значение (‘заплатил’), высказывание обретает внутреннюю мотивированность. (Впрочем, слишком полагаться на данный аргумент нельзя: сам рассказ о продаже мог родиться благодаря созвучию эн. *Solda* и нен. *sālda* ‘заплатил’). В-третьих, в ясачных документах начала XVII в. род Солда именовался, по-видимому, *Мерета* ~ *Мерута*

⁴ В скобках после названия указаны его написание, принятое в этнографической литературе, и номера страниц по книге Б. О. Долгих «Очерки по этнической истории ненцев и энцев», где собраны сведения о соответствующем роде.

[Долгих 1970: 180]. С поправкой на неточность передачи писцами это название можно было бы интерпретировать как *mireta* — форму причастия настоящего времени или 3 л. ед. ч. буд. вр. ненецкого глагола *mire*² — ‘иметь цену, оцениваться, оплачиваться, быть дорогим’ (или как какую-то другую форму, связанную с основой *mir*² ‘товар, цена, стоимость, плата’). Во всяком случае, фонетическое соотношение весьма близких по значению ненецких слов *mir*² и *sāl* ‘плата’ очень напоминает соотношение названий *Мер*⁴/*ma* и *Солда*. Имеется, однако, обстоятельство, побуждающее отнестись к изложенной этимологии с осторожностью: дело в том, что ненцами род Солда именуется не *Sālda* (как можно было бы ожидать), а *Sālārta*. Объяснить происхождение этого параллельного названия в рамках изложенной этимологии можно было бы путем апелляции к производной глагольной основе типа *sālār-*, более или менее синонимичной глаголу *sālda-*, однако словари ненецкого языка такой производной основы не приводят.

Sonuka (Сонуко; 176–178). Трактовка этого названия как тотемического со значением ‘чайка’ (Б. О. Долгих) вряд ли приемлема, поскольку чайка по-энецки *sanike*. Гораздо естественнее считать источником эн. *sonuka* ‘шар(ик), круглый предмет’ — это слово могло служить прозвищем родоначальника, отличавшегося полнотой и небольшим ростом.

Tadobeo (Тадобэу; 170–171). Адъективное образование с суффиксом *-o* (**j-ê*) от *tadobe* ‘шаман’. Основа *ηə*² ~ *ηəd-* (*ηəd-*) ‘шаман’ содержится и в нганасанском названии этого рода, записанном Б. О. Долгих, — *Нгодикадю*.

2. Названия родов, имеющихсся у обеих групп энцев

Bae (Бай; 212–218). Из ряда предположений, высказывавшихся в связи с этимологией этого названия, наиболее убедительным представляется его возведение к эвенкийскому родовому названию *Baja*, *Bajagir* [Долгих 1970: 213–214]. Эвенки-баягиры в XVII в. жили в районе Тазовского и Мангазейского зимовий [Васильев 1958: 576], т. е. там же, где и энцы (несколько семей эвенков Баякиных живет в верховьях Таза и ныне). Сообщалось о традиционном для членов рода Бай в прошлом владении эвенкийским языком [Долгих 1970: 214]. Фонетически этимология безупречна, так как развитие **aja* [**eje*] > *ae* в энецком языке имеет регулярный характер: ср. эн. *mae*² ‘беда, мучение’ < ПСС **mājān* (ср. нен. *maja*²), эн. (Л) *naexa* ‘вытертая шкура’ < эвенк. *najaksa*, *najakša*, *najaha* ‘ровдуга, замша’. Связь с многочисленными енисейскими и тюркскими этнонимами, начинающимися на *Baj-* [Васильев 1974: 158–163] и, скорее всего, связанными с тюрк. *baj* ‘богатый’, может быть разве что косвенной (через эвенкийское посредство). Маловероятны, на наш взгляд, толкования названия *Bae* (и его ненецкой формы *Waj*) на основе нен. (только у Кастрена) *wai* ‘короткий рог’ [Hajdú 1950: 64] или нен. *waj* ‘злой’ [Терещенко 1965: 37].

Mogadi (Муггади; 205–212). Название рода является производным от эн. *moga* ‘лес’ (**moŋkã*, ср. нган. *mujku* ‘дерево, лес’ и нен. *moŋga* ‘низина в излучине реки’) и в своей ненецкой форме *Monganzi* легло в основу названия знаменитой Мангазеи. Представляются весьма ненадежными традиционные сопоставления с родовыми названиями самодийских и тюркских народностей Присаянья — кам. *Bögöshä*, койб. *Bögödj*, караг. *Bogoshe* [Castrén 1856: 389; Hajdú 1950: 75–76, 91,

97; Васильев 1974: 148–149], поскольку ни в каком из саяно-самодийских языков основа **moŋka* не должна была бы развиваться в *bögö*-. Вероятно, нельзя принять и сближения с названием *Мунгаткова* улуса (*Могатисанэ*) у кашинцев [Потапов 1957: 125], так как последнее трудно отделить от имени князца Мунгата у качинцев [Миллер 1941: 61].

3. Названия родов лесных энцев

Aaseda (Аседа; 203–205). Помимо энецкого языка, это родовое название имеется в ненецком — в форме *ŋasāda*. Известно, впрочем, что ненцы рода *ŋasāda* — энецкого происхождения [Васильев 1974: 169–170]. Существующие объяснения названия нельзя считать удовлетворительными. Л. В. Хомич [1976: 106] переводит его с ненецкого языка как ‘не имеющие *Ha*’ (*Ha* — злой дух). При этом в составе названия вполне обоснованно вычленяется каритивный формант *-šāda*; однако в целом толкование не может быть принято, так как энецкую форму названия нельзя ни перевести указанным способом (известно эн. *ŋaa* — но не *aa!* — ‘бог, небо’), ни объяснить как ненецкое заимствование (куда в таком случае делся согласный *ŋ*? Такому предположению противоречат, кроме того, и историко-этнографические данные). Еще труднее согласиться с мнением о связи рода Аседа с народом Аз в древнетюркских памятниках, ачинцами и ашкиштымами на юге Сибири, енисейскоязычными асанами и т. д. [Долгих 1970: 230–233; Васильев 1974: 170–173], хотя бы уже потому, что названию *Aaseda* приписывается при этом совершенно произвольное морфологическое членение. Этимологизируя рассматриваемое название, необходимо ориентироваться на его энецкую форму (нен. *ŋasāda* легко объяснимо как заимствование из эн. *Aaseda*, что согласуется и с историко-этнографическими данными, тогда как обратное направление заимствования, как уже отмечалось, невероятно). Элемент *aa-*, остающийся за вычетом каритивного форманта *-seda* (= нен. *-šāda*), не представлен в современном энецком языке в качестве самостоятельного слова. Он, однако, обнаруживается в составе деэтимологизировавшегося сложного слова, зафиксированного нами в тундрово-энецком диалекте: *aami*⁵ ~ *aamir* — ‘налог, ясак’. Это слово точно соответствует ненецкому словосочетанию *ŋāewa mir*⁵ с тем же значением и с буквальным переводом ‘цена головы’ (ср. аналогичные звукосоответствия в парах нен. *tāewa* : эн. *taa-* ‘дойти, достичь’, нен. *χāewa* : эн. *kaa* ‘костный мозг’, нен. *wāewa* : эн. *baa* ‘плохой’). Тем самым оказывается возможным возвести элемент *aa-* в названии *Aaseda* к ПСС **ājwā* ‘голова’. Отметим, что в виде самостоятельного слова со значением ‘голова’ **ājwā* развивалось в энецком языке несколько иначе и дало (Т) *aba*, *aburi*, (Л) *eba*. Причина нерегулярного для данной позиции развития (*-*w*- сохраняется в виде *-b-*, а не исчезает) связана, вероятно, с тенденцией «избегать» появления чрезмерно коротких слов⁵. Однако в случае с суффиксальным производным **ājwākātā* ‘безголовый’, как и в случае со словосложением **ājwā-mir* ‘налог, ясак’, угрозы возникновения слишком короткого слова не бы-

⁵ Исключения из фонетических законов, связанные с действием такой тенденции, хорошо известны из материала многих языков. Ср. хотя бы франц. *rien* из лат. *rem* вместо несуществующего «закономерного» **rie*.

ло, и фонетическое развитие шло регулярно (с утратой *-w- и последующим стяжением в долгий гласный). Предлагаемую реконструкцию родового названия *Aaseda* в виде **Ājwākātā* подтверждает то обстоятельство, что среди лесных ненцев имеется крупный род *Näieiwwašatta* (Нгэващата, Нгэвасяда, Айваседа), букв. 'безголовый', название которого возводится к той же северносамодийской форме. Не исключено, что появление рода **Ājwākātā* можно отнести еще к периоду праязыковой общности ненцев и энцев; во всяком случае, к XVII в. Аседа и Нгэващата явно не считались уже родственными родами, и их представители могли заключать между собой браки [Долгих 1970: 233]. Интересно, что на сходство родовых названий *Аседа* и *Нгэващата* ~ *Нгэвасяда* обратил внимание Б. О. Долгих, однако интерпретировал он его фантастическим способом, полагая, что значение 'безголовый' у второго из этих названий имеет народно-этимологическую природу и что на самом деле Нгэващата — это «головные» (т. е. передовые, двигавшиеся раньше других на Север) Аседа (там же).

Dūtī (Ючи; 218–220). Если обратиться к собственно энецким языковым данным, то, пожалуй, это родовое название можно интерпретировать через предикативную форму прош. вр. *dūtī*, образованную от существительного *dū?* ~ *dūs* 'сон, сновидение' и имеющую значение 'сон был'. Такой прозвище мог получить человек, рождению которого предшествовал вещий сон и который впоследствии стал основателем данного рода⁶. Впрочем, за отсутствием каких-либо дополнительных (например, фольклорных) данных в пользу высказанного толкования мы не можем быть уверены в его правильности. Б. О. Долгих [1970: 218, 234–236] и В. И. Васильев [1974: 165 и сл., 1979: 40] сопоставляют родовое название Ючи с целым рядом более или менее созвучных названий родов и племен — *Еуши* (Ивши) и *Юхучи* (Юхуди) у ненцев, *еуштинцы* у западносибирских татар, *Юуты* (Тууты) и *юс* (юж) у тубаларов, *юты* (*дьоты*) у кумандинцев и телеутов, *Чожду* у тофаларов, *Чооду* у тувинцев-тоджинцев, *Юсь* у южных алтайцев и др. Естественно, принять эти сопоставления *en masse* невозможно (с учетом исторической фонетики самодийских и тюркских языков), но какие-то из них, быть может, обоснованы. Думается, что — если не считать *Dūtī* образованием на собственно энецкой почве — наиболее заманчиво предположить его связь с концовкой трудноэтимологизируемых названий ненецких родов *Хару́чи*⁷, *Нюи́чи* (*Вюи́чи*) и, возможно, *Јеу́си* (эта форма лесного диалекта может восходить к *Јеи́чи*), ср. [Долгих 1970: 42].

Tōr (Чор; 205–207). В свете общих фонотактических закономерностей энецкого языка совершенно очевиден заимствованный характер этого названия: в исконно энецкой лексике не встречаются ни *t*- в анлауте перед *o* (допустимы толь-

⁶ Как повествует Аноним, Алмош (*Ālmos*, букв. 'сонный') — легендарный предок венгерской королевской династии Арпадов — получил свое имя из-за того, что якобы был зачат от птицы Турул, увиденной его матерью во сне.

⁷ Считается, что это название связано с нен. *χāro*, *χāru* 'журавль' [Hajdú 1950: 46; Долгих 1970: 246; Васильев 1979: 30]. Однако в слове 'журавль' гласный первого слога краткий (неполного образования), а в названии рода — долгий (нормальной долготы)! Ср. *χārē* и *Харю́чи* [Терещенко 1965: 749, 754], а также эн. (Т) *χori* и *χarutī*, *χarutī* (оба слова — ненецкие заимствования). Это обстоятельство, на наш взгляд, заставляет отклонить существующую трактовку.

ко *tî-* и *tû-*), ни ауслаутный *-r*. Это обстоятельство лишает всякой почвы гипотезу о том, что Чор — древнее собственно энецкое название рода *Mogadî* [Долгих 1962: 235] и объясняет причину отсутствия названия Чор в архивных документах XVII в., которое заставило В. И. Васильева [1974: 152 и сл.] фактически отказаться от этой гипотезы. Весьма малочисленная группа энцев *Tor* представляет собой, на наш взгляд, филиацию ненецкого рода с тем же названием, объясняемым из нен. *tôr-* 'крик, рев' (→ 'Крикун' как прозвище). Предположение о вторичном, народно-этимологическом характере этого объяснения [Васильев 1963: 36–37] представляется нам излишним, а сопоставление с этнонимом тюрков-шорцев *Sor ~ Ćor* [Долгих 1970: 237] — довольно рискованным.

III. Собирательная и женская формы родовых названий

В ходе экспедиционной работы по изучению энецкой этнонимии мы столкнулись с особыми (ранее не фиксировавшимися) собирательными наименованиями членов определенного рода, этнической группы или семьи, употребляющимися в тундровом диалекте: *Dutîo* 'представители рода *Dutî*'; *Masuodaeo* 'представители рода *Masuodae*'; *Mogadio* 'представители рода *Mogadî*'; *Soetaa* или *Soeteo* 'представители рода *Soeta*'; *Soldaa* или *Soldeo* 'представители рода *Solda*'; *somatuo* 'сомату (собирательное название)'; *luotâa* 'русские (собирательное название)', от *luotâ* 'русский'; *Leedoo* 'члены семьи Лэдо', от *Leedo* имя собств.; *Adubaa* 'члены семьи Адубы', от *Aduba* имя собств.

Эти наименования не тождественны обычным формам мн. ч. (с суффиксом ⁸: *Dutî*?, *Masuodae*? и т. д.). Помимо показателя множественности, в них содержится еще и суффикс *-o* (в формах типа *Soetaa*? *-aa-* из *-ao-*⁸), кроме того, факультативно возможен переход *-a* в *-e-*, т. е. использование основы аккумулятива мн. ч. Аналогичный суффикс встречается и в нарицательной лексике тундрового диалекта, образуя отыменные прилагательные и существительные с релятивным значением: *sireo* 'зимний; зимний период' (от *sira* 'снег; зима'), *iroo* 'нижний, находящийся под чем-л.; место под чем-л.' (от основы послелого *iro-*).

Нередко данные собирательные формы употребляются в генитиве. При этом, согласно общему правилу, *-o* из ауслаута основы номинатива ед. ч. переходит в *-i-* при образовании основы аккумулятива (и генитива) мн. ч. [Helimski 1978: 36–37]: *Dutîi*?, *Masuodaei*?, *Soetai*? (или *Soetei*?) и т. д. — аналогично *nenogi*? ген. мн. ч. от *nenogo* 'комар', *ibii*? ген. мн. ч. от *ibio* 'паук'. Подобная генитивная форма представлена, в частности, в названии опубликованного Б. О. Долгих [1961: 37–51] энецкого мифа «Солдэй Каха» (= *Soldei*? *kaxa* или *Soldai*? *kaxa*) 'шайтан рода Солда'. Ср. также *Soldai*? *ñue* (букв. 'остров рода Солда') — энецкое название о. Леонтьевского в низовьях Енисея; *Kibukai*? *ee* 'мать семьи Кибуки, мать Кибуки и его братьев'.

Как выясняется, эти формы генитива от собирательных названий полностью идентичны названиям женщин — представительниц определенного рода. По-

⁸ В данном случае «срабатывает» морфологическое правило, запрещающее сочетание вида *ao*. Ср. аналогичное явление в формах пролатива: *kareone* 'по рыбе', *oduone* 'по лодке', но *mogaane* (от *moga*) 'по лесу'.

следние впервые отмечены на энецком материале в работе Б. О. Долгих ([1962: 232–235]; см. также [Хелимский 1977: 303]) и характеризуются добавлением к названию рода суффикса *-i'*: *Bagoi'*, *Lodosedei'*, а также *somatui'* 'энка-сомату', *luotai'* 'русская'. Указанная связь с собирательными формами родовых названий позволяет трактовать *-i'* не как единый неразложимый суффикс, а как сочетание релятивного суффикса *-o* с показателем мн. ч. (которым в данном случае оказывается чередование *oli*) и с показателем генитива *-'*. Если попытаться перевести рассмотренные формы на русский язык поморфемно, то собирательная форма *Soldaa'* получит перевод 'Солдаские', а женская форма *Soldai'* 'Солдаских'.

Выявление этого факта на энецком материале позволяет нам занять определенную позицию в дискуссии о происхождении женских форм родовых названий в ненецком языке (типа *Juxu'* 'женщина из рода *Juxu'*', *Tori'* 'женщина из рода *Tor'*'). Как известно, Н. М. Терещенко [1956: 204, 1960: 113] квалифицирует их как формы генитива и предполагает идентичность содержащегося в большинстве из них суффикса *-j* суффиксу прилагательных. П. Хайду, со своей стороны, показывает, что исторически формант *-j* присутствует во всех (а не просто в большинстве) женских формах родовых названий, но объясняет этот формант как окончание ласкательной или звательной формы, а сами названия женщин — как первоначальные обращения. Представляется, что энецкий материал позволяет поддержать точку зрения Н. М. Терещенко — с той, однако, оговоркой, что речь идет о генитиве мн. ч. (а не ед. ч.) релятивных прилагательных. Было бы неестественно предполагать, что материально почти тождественные показатели с весьма специфическим значением (образование женских форм родовых названий) в двух близкородственных языках имеют разное происхождение, что и позволяет думать, что ранее в ненецком языке, как и в энецком, имелась (а быть может, сохранилась в каких-то говорах и до сих пор) и собирательная форма родовых названий, генитивом к которой является женская форма таковых.

IV. Энецкий след в топонимии тазовских селькупов: *Ратта*

Из нескольких населенных пунктов на реке Таз, в которых сосредоточено почти все население Красноселькупского района Тюменской обл., выше всех по течению реки расположен пос. Ратта — ныне, к сожалению, зачисленный из-за удаленности от райцентра в разряд «неперспективных» поселков и изрядно обезлюдевший, а в прошлом важный пункт на санном пути до Енисея и место проведения ежегодных оживленных ярмарок. В отличие от многих других северных поселков, тяготеющих к распадкам у устьев ручьев, Ратта занимает компактный столообразный песчаный холм на правом берегу реки Таз с совершенно плоской вершиной (площадью в несколько гектаров) и довольно крутыми склонами⁹.

⁹ Эта ландшафтная особенность снискала Ратте репутацию «летнего курорта» Селькупии. На песчаном, хорошо продуваемом холме комаров и гнуса почти нет даже в жаркие июльские дни, когда эти насекомые буквально не позволяют вдохнуть в таежном лесу,

СИЛЛАБИКА СТИХА В НГАНАСАНСКИХ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫХ ПЕСНЯХ*

Одним из наиболее ярких и своеобразных феноменов традиционной культуры нганасанов является особый фольклорный жанр — песни-экспромты иносказательного содержания — требующий особых языковых средств, в первую очередь лексических. Национальное название жанра — *kajŋairśa* или *kajŋairüa*, что можно перевести как 'пение друг другу' или 'певческое состязание' (*kajŋair-* форма с взаимно-возвратным значением от глагольной основы *kajŋa-* 'петь').

О существовании *kajŋairśa* стало известно благодаря работам этнографов, внесших в последние десятилетия большой вклад в изучение не только экономической, социальной и духовной жизни, но также языка и фольклора нганасанской народности. Б. О. Долгих и Л. А. Файнберг, впервые отметившие наличие у нганасанов иносказательного песенного языка *кайнгалара*¹, сообщают: «На этом языке объясняются и шутят молодые люди и девушки, устраивают состязания в остроумных шуточных песнях. Иногда старики между собой говорят на языке кайнгалара о том, как когда-то ходили в гости, ездили на промысел и т. д. При этом они называют друг друга разными иносказательными именами и прозвищами, бывает даже, что старики хором поют на языке кайнгалара про любовь, про то, как они ухаживали за девушками, и т. д. Молодое поколение при этом, хоть понимает слова, но не всегда понимает их скрытый смысл» [Долгих, Файнберг 1960: 55]; далее авторы приводят некоторые примеры лексических замен и смысловых иносказаний. Ю. Б. Симченко отметил приуроченность состязаний в иносказательном пении к традиционному массовому весеннему празднеству *ani'ə dālī* ('Большой день'), а также социальную институционализированность *kajŋairśa* как формы общения, стоящей иерархически существенно выше простого разговора [Симченко 1963: 177–178, 1976: 202].

Мои наблюдения, сделанные во время полевой работы в поселке Усть-Авам Дудинского района Таймырского автономного округа в 1986 и 1987 гг.², отра-

* Впервые опубликовано в: Музыкальная этнография Северной Азии. Новосибирск, 1989. С. 52–76.

¹ За этим вариантом названия стоит, по-видимому, глагольная форма *kajŋaləra'a*, букв. 'подвергся пению, оказался пропетым', т.е. 'о нем пели' (о человеке) или 'ее пели' (о песне).

² Экспедиция 1987 г. была организована фольклорной комиссией Союзмузinforma при Союзе композиторов СССР и Центром по изучению музыкальной культуры народов Сибири и Дальнего Востока при Новосибирской государственной консерватории со специальной задачей текстологического изучения нганасанских иносказательных песен. Пользуясь случаем выразить признательность организаторам экспедиции — Б. И. Раби-

жают резко изменившуюся за последние 30–40 лет ситуацию. Переход нганасанов от чисто кочевого к оседлому образу жизни, исчезновение многих прежних черт хозяйства и быта, всеобщ в условиях школы-интерната, распространение русскоязычных средств массовой информации — все это не замедлило привести к омертвлению ряда элементов национальной духовной культуры, создало определенный культурный барьер между нганасанами старшего поколения и молодежью, нередко к тому же слабо знающей родной язык. Многое из того, что на памяти стариков и даже людей среднего поколения было явлениями повседневной жизни, оказывается для их детей и внуков либо архаической экзотикой, либо им вовсе неизвестно. Не удивительно, что это отрицательно сказалось на судьбе *kajñairša* как по преимуществу молодежного жанра³. Умение вести иносказательный песенный диалог, адресовать сопернику малопонятную для непосвященных эпиграмму, выразить в завуалированной форме свои намерения оказалось полностью утраченным. Однако в памяти некоторых нганасанов старшего поколения — в Усть-Аваме это прежде всего блестящий сказитель Тубяку Дюходович Костеркин (в прошлом шаман; см. о нем [Грачева 1981: 75, 76, 86–88, 1983: 136–144]), а также Нумуму Хурсоптеевич Турдагин и Деморе Иванович Дептуме (по происхождению ненец) — сохранились наиболее удачные или наиболее памятные для них *kajñairša* как собственного сочинения, так и принадлежащие другим авторам. Эти произведения составляют часть песенного репертуара названных исполнителей (наряду с личными песнями *bəli* и напевами из эпических сказаний *šitabi* и историко-мифологических преданий *dürimi*) — ту, впрочем, часть, которая не пользуется особой популярностью среди слушателей по причине своей полной непонятности.

Сейчас трудно оказать, могла ли и прежде, в период активного бытования *kajñairša* как формы общения, происходить «канонизация» тех или иных песен. Вероятно, с особо выигрышными произведениями так и бывало (хотя, с другой стороны, все записанные *kajñairša* связываются их исполнителями с именами вполне конкретных, живших сравнительно недавно авторов: старинных песен мне обнаружить не удалось). Как бы то ни было, ныне из индивидуальных экспромтов⁴ иносказательные песни безусловно и окончательно перешли в разряд произведений национального фольклора о устоявшейся благодаря многократной рецитации музыкально-текстовой формой. Таким образом, лишившись, к сожалению, возможности непосредственно наблюдать процессы импровизационного порождения *kajñairša*, мы получили взамен корпус своего рода «эталонов», в значительной мере освобожденных от тех случайных отклонений от норм иносказательного пения, которые могли сопровождать первичную импровизацию. Это обстоятельство существенно облегчает поиск и описание соответствующих норм. Кроме того, информанты — знатоки *kajñairša* довольно охотно соглашались

новичу и Ю. И. Шейкину, а также неутомимому инициатору изучения нганасанского фольклора Г. Г. Григорьевой и моему спутнику в поездке Н. В. Плужникову.

³ По сообщению информантов, владение иносказательным языком котирировалось так высоко и имело такое значения при сватовстве, что юноша, оплошавший в этом плане в глазах своей избранницы и ее семьи, рисковал, при всех прочих своих достоинствах, получить отказ.

⁴ Разумеется, экспромтность не исключала ни «домашних заготовок», ни широкого применения песенных клише (примеров последних в записанных *kajñairša* довольно много).

ся надиктовывать тексты исполняемых ими песен и комментировать их содержание: с учетом исключительно сложного механизма шифровки, о котором пойдет речь ниже, текст и смысл записанных только на магнитофон произведений совершенно недоступны пониманию не только автора статьи (познания которого в нганасанском языке весьма ограничены), но и молодых нганасанов, хорошо знающих родной язык на бытовом уровне.

В последние несколько лет, отчасти в связи с планируемой подготовкой нганасанского тома в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», удалось записать большое количество произведений устного народного творчества нганасанов, в том числе и иносказательных песен. Имеются, в частности, записи, выполненные:

1. В 1985–1986 гг. в пос. Усть-Авам Н. Т. Костеркиной (дочерью исполнителя, активно и успешно занимающейся изучением национального фольклора) от Т. Д. Костеркина — 20 моно- и диалогических песен.

2. Весной 1986 г. в Центре по изучению музыкальной культуры народов Сибири и Дальнего Востока при Новосибирской государственной консерватории Ю. И. Шейкиным и сотрудниками Центра от Т. Д. Костеркина — 7 песен (наряду с большим количеством песенных произведений других жанров).

3. Летом 1986 г. в Усть-Аваме и летом 1987 г. в Дудинке автором статьи и Н. В. Плужниковым от Н. Х. Турдагина — около 10 песен (жанровую принадлежность некоторых песенных произведений, записанных от этого исполнителя, определить пока не удалось).

4. Летом 1987 г. в Усть-Аваме Н. В. Плужниковым от Т. Д. Костеркина — 5 песен, состоящих из 16 диалогических частей.

5. Летом 1987 г. мною от Д. И. Дептуме в Усть-Аваме — 8 песен⁵.

Тексты 30 песен по моей просьбе отдельно надиктованы и частично прокомментированы исполнителями (Т. Д. Костеркин — 26, Д. И. Дептуме — 3, Н. Х. Турдагин — 1). Кроме того, зафиксированы в текстовом виде (без магнитофонной записи) большое число иносказательных миниатюр из 2–4 строк и ряд песенных фрагментов.

В настоящей публикации в качестве иллюстративного материала привлекаются *kajñairša*, записанные в Новосибирске в студийных условиях. Высокое качество звучания обеспечивает возможность максимально точного соотношения их базисных текстов и мелодических распевов, что является основой для анализа силлабики стиха.

Прежде чем сосредоточиться на силлабике и ее роли в песенном иносказании, целесообразно остановиться на основных итогах наблюдений над языком *kajñairša*⁶.

Специфику нганасанских иносказательных песен составляет использование шифровки («иносказания» в расширительном смысле этого слова) на трех уровнях структуры их текста — сюжетном, лексико-морфологическом и силлабико-

⁵ <Эти записи послужили основой для музыковедческого исследования О. Э. Добжанской [1989]. Кроме того, иносказательные песни составили значительную часть материала сборника «Песни нганасан» [1995], где использованы и материалы данной статьи.>

⁶ Они были изложены в докладе «Тройная шифровка в нганасанских иносказательных песнях», прочитанном на 1-м научном заседании Московского лингвистического общества 8 сентября 1987 г.

фонетическом. Как позволяют судить высказывания Т. Д. Костеркина по поводу исполняемых им песен, безусловное предпочтение отдается тем произведениям, в которых все уровни шифровки задействованы одновременно — именно они признаются «настоящими *kajñairša*». Отсутствие шифровки на каком-либо из уровней, «прямосказание» ведет к сниженной оценке песни: по выражению исполнителя, «худой говорка, говорка совсем близко пришел»⁷, т. е. текст плох тем, что слишком близок своему неиносказательному эквиваленту.

Шифровку на сюжетном уровне можно иначе обозначить как фабулизацию содержания: описываемая ситуация, ее персонажи (в частности, сам певец и его адресат), их действия и намерения и т. д. переводятся в изоморфный ряд аллегорических образов. Например, желание высватать девушку обозначается как намерение взять на буксир еловую санку (*kuđā kanta* ‘еловая санка’ — часто встречающееся в песенном языке обозначение женщины, намекающее на возложенные на женщин обязанности по заготовке дров); положение трех претендентов на одну невесту уподобляется судьбе трех рыб, из которых одна, наиболее юркая, селится в протоке с чистой водой, а две другие, менее поворотливые, вынуждены довольствоваться мутными протоками; то, что слушатели не расходятся и внимательно следят за ходом состязания в иносказательном пении, передается выражением «игрушечные олени детей стоят на месте»; жалкие потуги соперничать с глубиной мысли одного из признанных мастеров иносказания сравниваются с попыткой крохотного медлительного жучка переползти широкую тундровую равнину и т. д. Наиболее распространены аллегории, обращенные к жизни животных и растений, однако встречаются и совершенно неожиданные повороты: так, в одном из *kajñairša* высмеивается женщина, неосторожно присевшая опрачить нужду на виду у постороннего человека, причем ее действия уподоблены не более и не менее, как камланию шамана с бубном. В лучших образцах рассматриваемого жанра фабулизация поражает точностью (изоморфизм реальной и фабульной ситуаций, на первый взгляд совершенно различных) и развернутостью (последовательным выявлением всех частных соответствий между этими ситуациями, их персонажами, атрибутами и т. д.).

Шифровка на лексико-морфологическом уровне состоит прежде всего в замене большого числа общеупотребительных слов их эквивалентами, предназначенными исключительно для употребления в *kajñairša*. В прошлом эта специальная лексика была, очевидно, известна многим нганасанам, а сейчас звучит полнейшей тарабарщиной для молодежи и полузабыта большинством людей старшего возраста. Предварительный этимологический анализ лексики *kajñairša* позволяет констатировать в ее составе архаизмы (*tamū* ‘земля’ — различные варианты данной основы присутствуют в нганасанских словниках XVIII–XIX вв.; *torjnsj* ‘лицо’ — это слово является точным соответствием нен. *tarenža* ‘внешность, облик, лицо’), заимствований (*alijaa* ‘лук’ из эвенк. *alañā*; *tarkaʔa* ‘палец’ из нен. *tarka*; *balku* ‘волк’ из русск. *волк*), искусственных образований (*lāmū* ‘чум’ — вероятно, это слово возникло из суффиксальной части нганасанских имен места действия, таких, как *təñulāmū* ‘летовка’ от *təñu* ‘летовать’, *muḡkulāmū* ‘зимовка’

⁷ Эта прямая цитата из речи Т. Д. Костеркина отражает не плохое владение русской речью, а использование особого языка — пиджина на русской лексической основе, имеющего свою (вполне устойчивую) грамматику; см. об этом языке [Хелимский 1987б].

от *tuŋku*² ‘находиться в лесу, зимовать’). Происхождение многих элементов этой лексики установить не удастся. Широко распространены также окказиональные заместительные номинации с прозрачной словообразовательной мотивацией, часто иронического, шуточного характера: *dərbü*²*a* букв. ‘мигалка’ (о глазе) от *dərbü*² ‘мигать’, *hurka*²*a* букв. ‘болталка’ (о языке) от *hurkatə* ‘мешать, размешивать, болтать’. Конкретный подбор таких заместительных номинаций, как и оформление слов, особенно глаголов, разного рода факультативными словообразовательными элементами, оказывается тесно связанным с требованиями силлабического построения текста, поэтому о них еще пойдет речь ниже. В сумме удельный вес необщезыковой лексики в иносказательных песнях может быть очень велик; пожалуй, рекордным в этом отношении является следующий текст (рядом о нем приведен перевод на обычный нганасанский язык, выполненный совместными усилиями Т. Д. Костеркина и его дочери Л. Т. Чунанчар):

На языке *kəŋŋəirsə*

sīlīdā taanə
masu h²əŋgürküəd'a
səjkəsəgəj bəd²aj
bəd²a²kəndətaŋə
h²əŋərəbsutini
l'ĩšĩrəbsutini
dəjtüdələbina
mənə taadujšütə d'əŋku
h²əŋgu²əgitinə
nĩndĩm kuəbtah²a²

На обычном языке

sīlīdā taa
masu tənəriküəd'a
tantəgəj lĩndəj
lĩndəj mətutəndaŋə
səŋlĩdaitini
hüəgəjtĩni
šüüləbina
mənə nĩansutə d'əŋku
nĩnigitinə
nĩndĩm d'əbtah²a²

Буквальный перевод данного текста гласит: ‘Для кого моего оленя / украшение догоняя / широких лайд (тундровых равнин) / лайду я пересеку / на локтях / на коленях / если даже я поползу / того, кто меня пожалеет, нет / среди моих старших братьев / я не собираюсь обращаться’. Согласно пояснениям исполнителя (Т. Д. Костеркина), автор песни (Дюдимяку Чунанчар, известная также как Чиминг) подверглась насмешкам со стороны адресата (Деймуму Костеркина, известного также как Кандачера). В своем иносказании Чиминг, уподобляя себя оленю, выражает готовность вернуть свое достоинство (украшение) в соперничестве с большим умом (широкими лайдами) обидчика, сколь трудным ни окажется соревнование («если даже я поползу на локтях и на коленях»); она берет все на себя, не рассчитывая на заступничество старших родичей.

Как можно видеть из сравнения двух нганасанских текстов, лексическая шифровка охватила 11 слов из 17: незамещенными остались в основном слова грамматического значения (*sīlīdā* ‘для кого’, *mənə* ‘я’, *d'əŋku* ‘нет’, *nĩndĩm* ‘я не’), а также два слова, которые сами по себе являются продуктами фабульной шифровки (*taa masu* ‘украшение оленя’, подразумевается достоинство девушки). В других случаях, впрочем, возможно и наложение лексического шифра на фабульный: лайдой именуется человеческий ум, и в то же время используется не обычное слово *lĩntə* ‘лайда’, а иносказательное *bəd²a²*.

* * *

Фундаментальным метрическим принципом нганасанского песенного стихосложения является использование шестисложных стихотворных строк (наиболее частый случай), либо строк, в произношении редуцируемых до шестисложных, либо, наконец, строк, которые посредством частичного повтора превращаются в две или более шестисложные строки. Этот принцип распространяется как на *kajñairša* (ему подчинены все записанные тексты), так и на иные песенные жанры (личные песни *bəlj*, поющий текст *šitəbj* и *dürimj*⁸). Более того, есть основания постулировать общесеверносамодийский характер песенного шестисложного стиха: специальное исследование публиковавшихся ранее ненецких песенных текстов на глубинно-фонологическом уровне позволяет оспорить утверждения об отсутствии в них строгих версификационных метрических норм [Добровольский 1965: 762; Lehtisalo 1937: 3] или о наличии таких норм только на уровне распева, но не на уровне базисного текста [Hajdú 1977, 1978]; в действительности и в ненецком песенном фольклоре решительно доминирует шестисложник [Хелимский 1989б].

В приведенном выше тексте из 10 строк мы находим восемь строк из шести слогов (1, 3–7, 9–10). При этом в строках 1 и 10 шестисложность обеспечивается двусложной — или, точнее, двухморной — трактовкой долгого гласного (*taanə*) и дифтонга (*kuəbta^h a^ʔ*), что соответствует фонологической норме нганасанского языка: нганасанские долгие гласные и дифтонги морфонологически и акцентуационно ведут себя как двухфонемные сочетания, как последовательности из двух отдельных гласных [Hajdú 1962: 53, 1964b: 397–400; Седельников 1983; Helimski 1984: 15; Хелимский 1987а]. Это не распространяется на дифтонгоиды *a^ʔ*, *a^ʔ*, которые фонологически однофонемны; соответственно, строки 3–5 и 9–10 шестисложны.

Строка 2 состоит из 7 вокалических мор, но в произношении редуцируется до шестисложной: *h^ʔangürkōda* вместо *h^ʔangürkūda*. Возможность амбивалентной трактовки дифтонга — одноморной, как в строке 10, или двухморной, как в строке 2, — обусловлена несоответствием между двухфонемным фонологическим статусом и реальной фонетической природой долгих гласных и дифтонгов в нганасанском языке. Фактическая длительность долгих гласных, по экспериментальным данным, в среднем лишь примерно в полтора раза превышает длительность соответствующих кратких гласных, а иногда приближается к ней⁹. Дифтонги склонны к стяжению в долгие монофтонги примерно той же длительности, что и другие долгие гласные. Таким образом, произношение *kuəb-ta-h^ʔ a^ʔ* или *haŋ-gür-kū-ə-dā* можно оценивать как «фонологическое», а произношение *kuəb-ta-h^ʔ a^ʔ* или *haŋ-gür-kū-ə-dā* — как «фонетическое». По моим наблюдениям, «фоне-

⁸ Именуемый в распоряжении автора материал по этим песенным жанрам ограничен, поэтому по крайней мере теоретически допустима возможность наличия в них иных метрических схем. <В ходе дальнейшего сбора материала в 1988–1989 гг. таких отклонений, однако, обнаружено не было.>

⁹ Этот вывод сделан на основании материала в работе Б. А. Седельникова [1979]. Хотя автор не различает в записи краткие и долгие гласные, его экспериментальные данные находятся в полном согласии с теми источниками, где такое различие проводится.

тическая» трактовка дифтонгов и долгих гласных встречается реже, чем «фонологическая», и допускается только в многосложных словах не в конечной позиции (долгие гласные и дифтонги в коротких словах и в положении конца слова всегда метрически соответствуют двум слогам). Охарактеризованная амбивалентность представляет собой случай версификационной вольности, допустимой и в других силлабических и силлабо-тонических системах (ср. возможность двух- или трехсложной трактовки слов типа *корабль*, *министр* в русской поэзии).

Строка 8 (*mənə taadujsūtə d'əŋku*) присутствует в указанном виде только в базисном тексте. При распеве рассматриваемого *kəjŋəiŋsə* она превращается в две «нормализованные» шестисложные строки путем предвосхищающего повтора последних четырех слогов (*mənə sūtə d'əŋku / taadujsūtə d'əŋku*); возможны и другие способы модификации подобной строки (например: *mənə taadujsūtə / taadujsūtə d'əŋku*). Кроме того, долгий *aa* в слове *taadujsūtə* образует только один слог (см. выше).

Следующий пример иллюстрирует использование шестисложника в базисном тексте личной песни *bəlj* (песня матери Т. Д. Костеркина в его исполнении):

*nūkūnə d'əsɿ*¹⁰
toljə korsəmtu
kəm'adūtəbūtū
šidi d'intədəmə
kasadūəm bədu'
ŋanasənə niri

Моего ребенка отец
 Воровской (нечестный) ум
 Если даже держит,
 Двух своих мальчика¹¹
 Я почти вырастила
 Вровень с людьми.

Строго метрическими, ритмизованными оказались и многие образные и иносказательные миниатюры, бытующие среди нганасанов в функции поговорок. Например, неграмотность человека характеризуется следующим текстом: *lūə'sa gosudari / todə hodəbsənə / bint'a'mjədəə / təbtə d'egutumə* 'русского государя / перьевым писалом / прочерченное / я тоже не знаю'. Незамужние девушки, ожидающие ребенка, подразумеваются в тексте: *bəlku hotədīə / satədūdədəə / bərikūdə' taa' / taa' tadursundu'* 'волчьей звездой / искусанные / рвущие [привязь] олени / олени захромали' (под волчьей звездой имеются в виду ночные визитеры, под хромотой — неуклюжая походка беременных).

Шестисложный размер налагает четкие ограничения на силлабическую структуру слов и словосочетаний, употребляемых в песенных текстах. Наиболее распространены шестисложные слова, заполняющие целую строку, и сочетания двусложного и четырехсложного, четырехсложного и двусложного, несколько реже — двух трехсложных слов (примеры см. выше). В ряде случаев строка образована тремя двусложными словами (*h'aa ŋojbi hii* «на вершину дерева», *šiti heŋkə šejmī* «два черных глаза»), прочие комбинации (5 + 1, 1 + 5) невозможны

¹⁰ Эта строка содержит пять слогов и, таким образом, нарушает размер. Подобное нарушение довольно типично именно для начальных строк песен и, по-видимому, компенсируется мелодическими особенностями зачина.

¹¹ *D'intə* букв. 'лук' — образное обозначение мужчины, юноши, мальчика в нганасанском фольклоре.

или исключительно редки. Следует заметить, что строки из четносложных слов (6, 2 + 4, 4 + 2, 2 + 2 + 2) удовлетворяют не только силлабическим, но и силлаботоническим принципам, поскольку в нганасанском языке основное ударение падает на предпоследнюю вокалическую мору слова, а дополнительные ударения в многосложных словах — на четные при отсчете от конца слова вокалические моры [Хелимский 1987а: 160–161]. Таким образом, эти комбинации дают трехстопные трохеические строки (بُشْبُشْ), которые в большинстве песенных текстов решительно преобладают над двухстопными амфибрахическими (بُشْبُشْ).

Роль метрических требований в лексическом наполнении северносамодийского песенного стиха чрезвычайно велика — замечателен, например, тот факт, что практически все имена эпических героев в ненецких ярабц и сюдбабц представляют собой шести- или двенадцатисложные словосочетания: *Ябта Сале' Ерв(ā)*, *Хан(ā) Хадеңота*, *Тивак(ā) Вакацям' Сякалтадараха* и т. д. [Хелимский 1989б]. В иносказательных песнях с обязательными для них лексическими заменами это обстоятельство создает для импровизатора особенно богатые возможности. Метрическое благозвучие как один из факторов выбора иносказательных номинаций вполне осознается одним из последних носителей нганасанской песенной культуры Т. Д. Костеркиным. Комментируя фрагмент *səŋhəlaŋkə šajbə / h^aaturu nūrəə / dālǝ nīidə tēmba / nīšjəm suðəh^a* 'Пятью семь / поленьев и жердей / с поворотом посолонь / я не хотел обогнуть', он специально пояснил, что «поленьев и жердей» (имеются в виду пожилые люди и молодежь) совершенно не обязательно было именно $5 \times 7 = 35$. Автор песни хотел лишь отметить их большое число, а *səŋhəlaŋkə šajbə* 'хорошо придет на язык, поэтому так говорил'. Действительно, замена *səŋhəlaŋkə* 'пять' любым другим числительным нарушит метрическую цельнооформленность песенной строки (в то время как семерка занимает, разумеется, привилегированное положение в культуре и фольклоре нганасанов, как и многих других народов).

С выполнением метрических требований связано, вероятно, по крайней мере отчасти, использование в *kəjŋəirsə* усложненных в словообразовательном отношении («утяжеленных») глагольных форм; другой функцией этих форм может быть намеренное запутывание смысла. В принципе, нганасанский язык, будучи агглютинативным, допускает нанизывание в цепочку целого ряда суффиксов со значением склонения, модальности, способа действия у глаголов (а у имен — диминутивно-аугментативных, выделительных, ограничительных суффиксов), однако в обычной речи предпочтение отдается формам максимально простой семантико-морфологической структуры. Напротив, в иносказательных песнях очень часты усложненные (без очевидной надобности) глагольные формы, особенно шестисложные: *d'endələh^aadǝdə* 'заблестел, оказывается' (вместо *d'endəli^a* 'заблестел'), *kułəsanǝkəndǝm* 'использую в качестве опоры' (вместо *kułə^akəndǝm* 'опираюсь'), *nīmkaŋamǝntǝ* 'тот, кого считают/называют старшим' (вместо *nīmkaə* 'старший') и т. п. Та же роль отводится распространенным в *kəjŋəirsə* формам обращения, включающим условно-деепричастную форму глагола бытия: *ida^a ihütə* букв. 'ты, будучи папой' или 'раз уж ты папа' (вместо обычного *ida^a* 'папа!'), аналогично *ıdǝi^a ihütə* вместо *ıdǝi^a* 'дядя!' (обращение к младшему брату матери).

* * *

Строго ритмизованный и за счет этого, пожалуй, несколько монотонный песенный текст — лишь материал для построения распева, отвечающего определенной мелодии. Мелодия и заданный ею распев шестисложника являются, с точки зрения нганасанской фольклорной традиции, ведущим компонентом песни по сравнению с текстом. Это особенно очевидно в случае с личными песнями, текст которых на протяжении жизни человека может неоднократно изменяться (или даже импровизироваться применительно к какой-либо частной ситуации) при сохранении одной и той же мелодии.

Соотношение между базисным текстом *kəjŋəir̥s̥a*, о языке и силлабике которого шла речь выше, и его распевом задается системой силлабико-фонетических преобразований, как правило, столь значительных, что можно говорить о шифровке «киносказаний» силлабико-фонетического уровня.

Ниже по пяти песням сопоставляются их базисные тексты, надиктованные исполнителем, и распевы, транскрибированные на основе магнитофонных записей. Элементы распевов, не имеющие соответствий в базисных текстах, заключены в скобки. Распевные повторы (в том числе предвосхищающие) подчеркнуты. Границы фонетических слов в распевах примерно соответствуют мелодическим паузам и могут не совпадать с границами слов в базисных текстах. Нечетко прослушиваемые или искаженные (что связано с дефектами исполнения) фрагменты распевов приведены в квадратных скобках.

1. Песня Хангабт्यू-нямы

А. Базисный текст и буквальный перевод.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. <i>h^həŋgəbt̪üə n̪em̪i</i> | Мать Хангабт्यू, |
| 2. <i>aba^hamə munt̪u</i> | Моя старшая сестра говорит: |
| 3. <i>i^hhəi^h d̪al̪it̪ini</i> | В нынешние дни |
| 4. <i>d̪ünt̪uə id̪a^hanə</i> | Моим средним отцом |
| 5. <i>m^halbəriəd̪ə</i> | Сделанной |
| 6. <i>kuəd̪ə kənt̪ənə</i> | Моей еловой санки |
| 7. <i>t̪al̪i^h l̪ubəbt̪i^harə</i> | В пазы ты аккуратно вошел. |
| 8. <i>i^hhəi^h d̪al̪it̪ini</i> | В нынешние дни |
| 9. <i>h^hal̪üründ̪ü^h ŋɔjba^h</i> | К каменистым вершинам |
| 10. <i>ni^hs̪i^h i^hr̪ibi^hid̪ə^h</i> | Не прислоняясь, |
| 11. <i>t̪am̪u^h kɔjbu^hhuəj</i> | Земли прочные места |
| 12. <i>kut̪əšan̪i^h kənd̪im̪</i> | Использую в качестве опоры. |

Б. Комментарий.

Хангабт्यू-нямы хвалит адресата песни за то, что он с пониманием относится к ней — «аккуратно входит (вставляет копылья) в пазы (для копыльев) у еловой санки, сработанной ее отцом, средним среди своих братьев» (еловая санка, символ женщины, здесь обозначает саму Хангабт्यू-нямы). Она сообщает, что не прислушивается к дурным, пустопорожним речам («каменистым вершинам»), а использует как опору людей хороших и надежных («прочные места земли»).

Можно предположить, что фраза о подгонке копыльев к пазам санки исходно содержала в себе эротический намек на интимные отношения Хангабтюо-нямы с адресатом (хотя исполнитель не делал на этот счет никаких комментариев).

В. Распев.

1. (*muno hontuo*) tüə(n)nieme hanğəbtü(wə)əniem
2. (*ṁ əwəməjə*) aməmonto aba'a(wə)məmon
3. (*ṁ əwə[ntuŋa] ...*) *təhojdə(ŋo)līte(j)*
4. (*ṁ əjənəjə*) edə'anə(j) d'onto(n)e(je)də'a(ŋ)
5. (*ṁ əwənəwə*) riədəə mälbo(r)ri(ə)ədə(ŋ)
6. (*ṁ əwənəwə*) kəntənə(ho) kuodə(wə)kəntən
7. (*ṁ əwənəwə*) lubobtärə təlelu(wə)bobtär
8. (*ṁ əwəwəwə*) d'ale(n)iene təhojdə(ŋo)līte(j)
9. (*ṁ əjənəjə*) [...] ŋojba halürü(wə)ndüŋoj
10. (*ṁ əwəbəwə*) tərbededə nisite(jə)rbide(j)
11. (*ṁ əjadəwə*) kojbuhuo(j) mamuko(wə)jbuhu(ŋ)
12. (*ṁ əwəhəjə*) sane(ŋ)kəndem kutəsa(wə)nekən

В распеве не отмечено мелодическое продление последнего гласного в каждом фонетическом слове.

II. Песня Аная (Сета'а Турдагина) — обращение к Хеуры-нямы

А. Базисный текст и буквальный перевод.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <i>anaj muntu</i> | Анай говорит: |
| 2. <i>kojkə hirəm'a'ku</i> | Шайтанской сопки |
| 3. <i>tunimiđə nii</i> | На плоскую вершину |
| 4. <i>hürəimüntü h'aa</i> | Похожее на жердь дерево |
| 5. <i>hetərurubađə'</i> | Поставлено. |
| 6. <i>h'aa ŋojbu nii</i> | На вершину дерева |
| 7. <i>kojkə mađu' saŋku</i> | Церковный колокол |
| 8. <i>sarəruh'adađə</i> | Привязан. |
| 9. <i>kojkə mađu' saŋku</i> | Церковным колоколом |
| 10. <i>datədiədə'</i> | Кованные |
| 11. <i>matu kojbuhuə'</i> | Земли прочные места |
| 12. <i>datərih'adində'</i> | Оказались выкованы. |
| 13. <i>h'angu konəntinə</i> | Моим старшим и младшим товарищам. |
| 14. <i>ədü ŋojbarunə</i> | Песенной выдумки |
| 15. <i>tühəə d'alitəni</i> | В нынешний день |
| 16. <i>ŋatəm'a'ku hombi'</i> | Если есть находка, |
| 17. <i>bəltamə iŋəə</i> | То пусть на этом я кончу. |

Б. Комментарий.

Анай уподобляет себя высокому дереву (его положение на «шайтанской сопке» указывает, вероятно, на шаманское дарование автора), а свой язык — церковному колоколу. Произносившиеся («кованные») его языком слова распространились по всем «прочным местам земли» (ср. предыдущую песню), будучи

адресованы старшим и младшим товарищам. Текст завершается предложением отыскать смысл песенного иносказания.

В. Распев.

1. *muntu anaj (əjə) anaj (əjə) mun(uŋ)*
2. (*ŋi əntəŋə*) *hirəmāko [hirəmā] kojkaŋi(jə)rəmā(ŋ)*
3. (*ə əwəhəwə*) *mədə(m)ŋe(j)ŋ toneme(jə)ðəŋe(j)*
- 4 + 5. (*ə əjəjəjə*) *nurəjmüntüha rurubaðə netərurubaðə(ŋ)*
- 4 + 6. (*ə əwəðəwə*) *nurəjmüntüha(ŋ) haŋoj(ə)buŋe(j)*
7. (*ə əjəjəjə*) *maðosaŋko kojkaŋa(wə)ðosaŋ*
8. (*ə ənuŋkəwə*) *rohaðaðə sarəro(wə)haðə(ŋ)*
9. (*ə əwəðəwə*) *maðosaŋko kojkaŋa(wə)ðosaŋ*
10. (*ə ənuŋkəwə*) *diədəə datədi(jə)ədə(w)*
11. (*ŋi əwəhəwə*) *kojbohoə mamukoj(ə)bohu(ŋ)*
12. (*ə əwəðəwə*) *rihaðendə(j) datəri(rə)haðe(j)*
13. (*ŋi əntəwə*) *konəntənə(j) hänguko(nə)nənte(j)*
14. (*ŋi əjənəwə*) *ŋojbaronə ədūŋoj(ə)baro(ŋ)*
15. (*ə əwəhəwə*) *dəle(n)təne(j) tühøjdaletə(əm)*
16. (*ŋi əhənəjə*) *mākohombe ŋətəmā(wə)koho(ŋ)*
17. (*ə əmbəjə*) *iŋəə(ho) bəltamə(wə)iŋə(w)*

III. Песня Хеуры-нямы — ответ Анаю

А. Базисный текст и буквальный перевод.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. <i>ŋahumə mununtu</i> | Моя старшая сестра говорит: |
| 2. <i>tidi' h'angu'əmə</i> | Дядя, мой старший товарищ! |
| 3. <i>mənə təlkarundum</i> | Я поражаюсь, |
| 4. <i>kojkə maðu' saŋku</i> | Церковным колоколом, |
| 5. <i>sarütüə saŋku</i> | Привязанным колоколом |
| 6. <i>d'atəd'ədəə'</i> | Кованные |
| 7. <i>mami kojbuhuə'</i> | Земли прочные места — |
| 8. <i>huditümənina</i> | (А) до моего уха |
| 9. <i>kojkə maðu' saŋku</i> | Церковный колокол |
| 10. <i>nišiiðə taltilə'</i> | Не дотронулся (?). |
| 11. <i>tənə tiŋkər'atə</i> | Уж ты-то |
| 12. <i>kari' mälü' huŋkədəmu</i> | Неезженные дороги с крюками и мысами |
| 13. <i>dəbsətamuh'a'ə</i> | (Лучше) срезай напрямую. |
| 14. <i>mənə miŋšienə</i> | Сама же я |
| 15. <i>düntuə idə'anə</i> | Моим средним отцом |
| 16. <i>m'albəriədəə</i> | Сделанной |
| 17. <i>kuədəə kəntənə</i> | Еловой санки |
| 18. <i>mätüðə ŋur'arə</i> | Шесть <i>ŋur'ar</i> [значение слова неясно], |
| 19. <i>dühüü tiri h'aa</i> | Подсохшие прочные дрова |
| 20. <i>korbima'muəntə</i> | Пока (?) досыхают, |
| 21. <i>niğətiŋ tarutə'</i> | Не отделяю друг от друга. |
| 22. <i>bəltamə iŋəə</i> | Пусть на этом я кончу. |

Б. Комментарий (в данном тексте остается ряд лексико-грамматических и содержательных неясностей).

Хеуры-нямы иронизирует над Анаем (см. предыдущий текст), приходящимся ей дядей (младшим братом матери): по его словам, звук «церковного колокола» (его языка) распространился по всем «прочным местам земли», но ее уха он не коснулся (тем самым Хеуры-нямы отклоняет ухаживания Аная). Она советует ему заняться такими девушками, которые не избалованы вниманием молодых ладей (*hunkad̥ami* «неезженная дорога», «место, которое обычно обходят стороной»), и не утруждать себя иносказательными речами («срезать напрямую»). Сама Хеуры-нямы («словая санка») не спешит принимать ухаживания («разделять шесть *ɲur'ar*» — слово и соответствующий образ неясны) претендентов с сомнительными достоинствами («полусухих дров»).

В. Распев.

1. *munto* (*umumunjo*) *nahumə(whə)munon*
2. (*ɲ əntəmə*) *hāngu'əmə teteðe(whə)hāngo(m)*
3. (*ə əwətməwə*) *təlkəronɔm mənətə(whə)lkəro(m)*
4. (*ə əntəmə*) *madosaŋko kojkamə(ɲo)dosan*
5. (*ɲ ənəhəwə*) *tüösəŋko sarötü(ɲow)asan*
6. (*ɲ ənəwə*) *d̥əd̥d̥ə d̥atəd̥e(jə)d̥ə(ɲ)*
7. (*ə əhəhəwə*) *kojbohoə mamoko(whə)jboho(ɲ)*
8. (*ə əhəhəwə*) [...] *tōmənənə hodetō(whə)mənə(m)*
- 9 + 10. (*ɲ ənənəjə*) *kojkə mado saŋko t̥altel̥ə ɲəsiðə(whə)t̥alte(j)*
11. (*ɲ ələləwə*) *tenkərātə tənətə(jhə)ŋkərä(m)*
12. (*ə ətətəwə*) *kari honkəd̥əm mälü(howhə) honkəd̥əm*
13. (*ɲ əməməwə*) *təmoħan̥ə d̥absətə(whə)moha(m)*
14. (*ɲ ənənəwə*) *mən̥se(j)ənə mənə(ɲo)mən̥seən*
- 15 + 16. (*ɲ ənənənə*) *dontuə eda'anə riəd̥ə mälbəri(jə)d̥ə(j)*
- 17 + 18. (*ɲ əwəhəwə*) *kuodə kəntənə mətōd̥ə(whə)ɲurä(w)*
- 19 + 20. (*ə ərərəwə*) *d̥oho t̥ere haa korbema(whə)muə(w)*
- 18 + 21. (*ɲ ənənəjə*) *mətōd̥ə ɲurärə tararə nigetel̥ə(ɲə)mtaro(m)*
22. (*ɲ ərərəwə*) *in̥ə(hə) bəltamə(whə)in̥ə(j)*

IV. Песня Кадяки (Тумтадоо Чунанчара)

А. Базисный текст и буквальный перевод.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>kaɖaɣa'a muntu</i> | Кадяка говорит: |
| 2. <i>ɲəðə bəjkunəɲu</i> | Шамана старика |
| 3. <i>d̥əl̥i mərsjbtid̥ə</i> | Дня наплечник, |
| 4. <i>d̥əl̥i ɲiid̥ə d̥embati</i> | (Совершая) поворот посолонь, |
| 5. <i>t̥alt̥in̥antiɖiəm</i> | Я захотел потрогать. |
| 6. <i>as̥adi' lambanə</i> | Предназначенного должанам рога |
| 7. <i>kirbarti' d̥adi'kü</i> | Предназначенный тамгам пай, |
| 8. <i>d̥ürak̥adi' lamba</i> | Предназначенный ненцам рог — |
| 9. <i>kirbarti' d̥adi'kü</i> | Предназначенный тамгам пай. |

Б. Комментарий.

Кадыка, имея самые лучшие намерения («поворачивая послонь»), хочет высватать дочь («наплечник дня», т. е. наплечное украшение шаманского костюма с солярным знаком) шамана-старика (речь идет о Дюходие Костеркине, отце Т. Д. Костеркина). В качестве калыма («пая для тамг») он готов предложить любое количество оленей («рога для долган, рога для ненцев»).

В. Распев

1. *muntu kad'aga'aka(η)*
(*gəwhə*) *muntu* (əəṁ)
2. *ηəδə (gəwhə) bəjku(oη)*
(*gəwhə*) *nan̄gu* (əəṁ)
3. *d'ale (gəj'ə)mə mərsi*
(*gəj'ə*) *btidə* (əəṁ)
4. *d'ale ηiine(j)e d'əde(η)*
(*gəwhə*) *mbate* (əəṁ)
5. *talte (gəj'ə) nanti*
(*gəj'ə*) *dia* (əəṁ)
6. *aša (gəwhə) δila(η)*
(*gəwhə*) *mbanə* (əəṁ)
7. *kirba (gəwhə) riṭida*
(*gəwhə*) *δikū* (əəṁ)
8. *dūra (gəwhə) kəde(ej)*
(*gəj'ə*) *lamba* (əəṁ)
9. *kirba (gəwhə) riṭida*
(*gəwhə*) [...]

V. Песня Бороды (Дентуме Турдагина) — обращение к Т. Д. Костеркину

А. Базисный текст и буквальный перевод.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>bərədaa muntu</i> | Борода говорит: |
| 2. <i>tūhəi' d'alitiini</i> | В нынешние дни |
| 3. <i>kamsusəmi' səmanə</i> | (см. пункт Б) |
| 4. <i>kumñū'ilətundə</i> | При воспоминании |
| 5. <i>tətilai' mungətum</i> | Так и говорю. |
| 6. <i>kamsusəmi' səmanə</i> | (см. пункт Б) |
| 7. <i>kumñū'iləma'ku</i> | Воспоминанье |
| 8. <i>nulbənəli'kətu</i> | Вызывает сожаление. |
| 9. <i>ñilj baarbi' idə</i> | Отец детей, один из которых Нилы — |
| 10. <i>bətiḍ'i mantimū</i> | Левого и правого |
| 11. <i>d'alj nuam'aku</i> | Дня указатель, |
| 12. <i>ij' sɨdərħəbtə'</i> | Да, действительно, |
| 13. <i>kut'əsani'ləmi</i> | Он место для опоры. |

Б. Комментарий.

Борода говорит о тесной дружбе и единопдушии, связывавших его с адресатом песни в дни их общей молодости (идея единства выражена словосочетанием

*kamsusəmi' səmanə*¹², в котором первое слово буквально значит 'мы, сложенные вдвое'; значение второго слова и словосочетания в целом неясно; он всегда вспоминает об этом. Адресат (отец Нилы — Михаила Костеркина) характеризуется как наставник в тяжелые и добрые времена («левые и правые дни»), как человек, на которого можно по-настоящему положиться.

В. Распев.

Распев данного *kajɲairša* особенно осложнен присутствием большого числа вводных элементов и их мозаичным чередованием с элементами базисного текста. При этом во многих случаях фонетические вводные элементы заменяются чисто музыкальными модуляциями тона на тянущемся звуке, что препятствует передаче распева средствами фонетической транскрипции. В этой связи я ограничиваюсь подачей распева только для нескольких строк, относительно легко поддающихся транскрибированию.

1. *muntu(əw) dā muntu(əw) bərə(həw) (hə)da (həw)mo(hə) (hə)nto (ho)dā*
4. *elə(hən) tunda(əw) komnu(hə) (hə)je(j) lətu(əw) (hə)ndə(hə)*
8. *nalə(əw) kəto(əw) nulbə(əw) (ho)na(w) ləkə(nə) (əm)to(hə)*
11. *nuə(am) māko(oŋ) dale(ej) (e)no (w)amä(həw) (hə)ko(whə)*
13. *šane(ej) ləme(ej) ko'ə(əw) (hoj)ša(w) nelə(w)*

Анализ приведенных распевов позволяет охарактеризовать ту систему фонетико-силлабических преобразований, которые отличают их от базисных текстов.

Собственно фонетические модификации невелики и, по-видимому, не специфичны для жанра *kajɲairša* (они обнаруживаются и в произведениях других песенных жанров нганасанского фольклора). Наиболее существенная из них — тенденция к расширенной артикуляции фонологически узких гласных: *i*, *u*, *j*, *ü*. В приведенных распевах это отражено частыми случаями записи *e* на месте *i*, а также *j*; *o* на месте *u*; *ö* или *e* на месте *ü*. Следует заметить, что применительно к *u* и *j* данная тенденция может рассматриваться как сохранение в песнях архаичной фонетики, поскольку исторически нган. *u* < ПС **o*, нган. *j* < ПС **e* (в части позиций). Часто встречается также модифицированное произношение гласного *ə*, особенно его лабиализация под влиянием лабиального фонетического окружения. Исчезают (или слабо слышны) глайдовые компоненты дифтонгоидов *'a* (> *ä*) и *"a* (> *a*). Ауслаутный гортанный смычный ³ в распеве устраняется.

Гораздо более значительные изменения претерпевает базисный текст за счет дробления его элементов, их перестановки, повторения и введения дополнительных сегментов, не имеющих соответствия в базисном тексте¹³. В силу этого «вычленение» базисного текста из отдельно взятой песенной строки оказывается сложной, порою даже непосильной для слушателя задачей (это подтверждается реакцией нганасанов — в том числе и людей старшего возраста, хорошо владеющих родным языком и знакомых с традицией иносказательного пения — на

¹² Семь слогов (!) — возможно, это свидетельствует о неточности сделанной записи.

¹³ Введение дополнительных сегментов (как правило, без других осложняющих модификаций) хорошо известно в песенных традициях, генетически и ареально близких нганасанской — например, в ненецкой [Hajdú 1977, 1978], обско-угорской [Austerlitz 1958].

исполнение неизвестных им произведений). Для того, чтобы такое «вычленение» стало возможным, слушатель должен на основании какой-либо относительно легкой для восприятия строки или путем сопоставления нескольких строк распознать общую для данной песни формулу соотношения базисного текста с распевом, найти «шифровальный ключ» фонетико-силлабического уровня. Как правило, одна и та же формула с незначительными вариациями повторяется во всех песенных строках.

Так, в песнях I–III (образующих единую серию и близких по мелодическому рисунку) доминирует следующая трансформационная формула:

$$S_1S_2S_3S_4S_5S_6 \rightarrow S_0 \ S_0S_0S_0S_0 \ S_3S_4S_5S_6 \ S_1S_2S_3S_0S_4S_5C_0$$

(обозначения: S_1 – S_6 — слоги шестисложной строки базисного текста, S_0 — дополнительный слог, C_0 — дополнительный консонантный элемент).

Ее вариантом для строк, состоящих из двух трехсложных слов (I: 6; II: 17; III: 22) является формула:

$$S_1S_2S_3S_4S_5S_6 \rightarrow S_0 \ S_0S_0S_0S_0 \ S_4S_5S_6S_0 \ S_1S_2S_3S_0S_4S_5C_0$$

Особую — довольно простую — формулу построения имеют строки-зачины, сообщающие об авторстве песни. Следует иметь в виду, что эти строки не являются органическими частями песенных текстов, а введены их исполнителем Т. Д. Костеркиным. Неясным является статус нескольких совмещенных строк распева, каждая из которых соответствует двум строкам базисного текста (II: 4 + 5; II: 4 + 6; III: 9 + 10; III: 15 + 16; III: 17 + 18; III: 19 + 20; III: 18 + 21). Их неравномерное распределение с концентрацией в заключительной части песен позволяет думать, что исполнитель сознательно осуществил этим способом компрессию распевов.

Основная формула песен I–III и ее варианты (один из которых реализован в распеве песни V) отойдет на предвосхищающем повторении четырех или трех последних слогов каждой строки базисного текста. Она настолько типична для жанра *kajñairśa*, что Т. Д. Костеркин и, независимо от него, Д. И. Дептуме надиктовывали мне базисные тексты большинства песен с предвосхищающей частью: *d'alitini tühai' d'alitini* (а не просто *tühai' d'alitini*) и т. д. Любопытно, что такой способ надиктовки сохраняется и при разрушении обычных границ слова (*śani' lami kut' śani' lami* вместо *kut' śani' lami*) и даже при появлении в начале предвосхищающей части согласного *ḍ*, который вообще в нганасанском языке может встречаться только в середине слова (*ḍəə kolī d'intüḍəə kolī* вместо *d'intüḍəə kolī*). Таким образом, в *kajñairśa* соответствующего мелодического рисунка между базисным шестисложником и распевом как бы вклинивается производный базисный текст из десятисложных трохеических или девятисложных амфибрахических строк.

Существенно отлична формула распева в песне IV. Ее основным вариантом следует, видимо, признать тот, который представлен в строках 2 и 8:

$$S_1S_2S_3S_4S_5S_6 \rightarrow S_1S_2 \ S_0S_0 \ S_3S_4S_0 // S_0S_0 \ S_5S_6 \text{ ээп}$$

(распев строк 5 и 6 сокращен на один слог, в строках 3, 4, 7 и 9 один из дополнительных слогов S_0 заменяется повтором S_3 или S_4). В этой формуле обращает на

себя внимание отсутствие фонетических пауз при цезурах: *d'əde(η)* (IV: 4), *δila(η)* (IV : 6), где первый и второй слоги принадлежат разным словам.

* * *

Ни один из приемов шифровки-иносказания, используемых в нганасанских *kəjŋəirša*, сам по себе не уникален. Фабулизация содержания, употребление «тайного» языка, распевные модификации — все эти приемы известны многим фольклорным традициям. Уникальным является, однако, сочетание и взаимное наложение иносказательной техники различных уровней, что делает нганасанскую традицию иносказательного пения одной из наиболее оригинальных форм национальной культуры народов Сибири и в полной мере оправдывает тот высокий престиж, которым пользовалась эта традиция в нганасанском обществе.

ЗАГАДКИ-ИНОСКАЗАНИЯ В НГАНАСАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ *

Некоторое представление о жанре иносказательного пения у нганасанов позволит составить базисный текст (о его отличиях от поющего текста см. ниже) *kəjŋəɪrʂa*, исполненного в 1986 г. и надиктованного в 1987 г. Т. Д. Костеркиным. Автор песни — известная в прошлом своим мастерством иносказания Чиминг (Дюдимяку) Чунанчар (*Timin [Dūd'im'a'ku] Tūnan'ar*); адресат — ее родственник Дюмнине Чунанчар (*Dūm'nimə Tūnan'ar*). Текст сопровождается подстрочником.

- | | |
|--|--|
| <p>¹ <i>H'angumə, ŋojbumə,</i>
<i>ʃiti hudiitūrə</i>
<i>koubtarəj hontj.</i>
<i>Suntəə ləjmimənu</i></p> | <p>Мой старший родич, моя верхушка,
два твоих сквозных отверстия
имеют предметы для восприятия на слух.
Во время безлесной скуки</p> |
| <p>⁵ <i>naði'səmiδətə</i>
<i>kobakuəj məuj</i>
<i>na'arkəbsüδütə.</i>
<i>Naði'səmiδətə</i>
<i>nerjbaaj məuj.</i></p> | <p>в качестве твоего места для установки чума
подсохшие земли
подбирай.
В качестве твоего места для установки чума
влажные земли,</p> |
| <p>¹⁰ <i>məuj naði'hiitə,</i>

<i>taatə kouða'hü?</i></p> | <p>земли если ты будешь использовать

для установки чума,
(то) если твои олени станут беситься
на солнцепеке,</p> |
| <p>¹⁵ <i>dəbsüəj teinditə</i>
<i>kəmiδu'ʃüδitə.</i>
<i>Kobakuəj məuj</i>
<i>na'arkəbsüδütə</i>
<i>suntəə ləjmimənu,</i>
<i>bida məmsi'ətə</i></p> | <p>(тогда) твои слипшиеся легкие
ты будешь ловить (= приобретать).
Подсохшие земли
подбирай
во время безлесной скуки,
моими десятью пальцами</p> |
| <p>²⁰ <i>nikuəm lajbəbə?</i>
<i>H'angumə, ŋojbumə</i>
<i>kəmiδüntəmunə,</i>
<i>ʃiti hudiitūrə</i></p> | <p>чтобы я не махала.
(Имя) моего старшего родича, моей верхушки
пока ты держишь (= носишь),
два твоих сквозных отверстия</p> |

* Впервые опубликовано в: Малые формы фольклора: Сборник статей памяти Г. Л. Пермякова. М., 1995. С. 270–272. Здесь опущена вступительная часть, в основном повторяющая данные предыдущей статьи настоящего сборника («Силлабика стиха в нганасанских иносказательных песнях»).

tut'anjkaə iŋəə
Bəltadu iŋəə,
dūlsimə iŋəə.

пусть находятся в правильном положении.
 Да будет конец этому,
 да будет мой предел.

Текст интерпретируется следующим образом: (1–3) Обращаясь к адресату, автор призывает его прислушаться — использовать свои уши («сквозные отверстия»). (4–7) Летом («во время безлесной скуки») — в это время года нганасаны кочевали в чистой тундре на севере Таймыра) он должен водить компанию с солидными, надежными людьми («подсохшие земли») и зарекомендовать себя как одного из таких людей. (8–13) Если же он окажется среди людей незрелых, ненадежных («влажные земли»), то в такой среде неизбежны раздор и распри («олени станут беситься на солнцепеке») и жить адресату будет трудно (ему придется дышать «слипшимися легкими»). (14–18) Он должен последовать этому совету с тем, чтобы автору не пришлось отмахиваться от дурных вестей. (19–22) Положение старшего родственника обязывает адресата держать свои уши («сквозные отверстия») в правильном положении — слушать разумные слова. В (23–24) содержится традиционная концовка *kajŋairša*.

Как можно видеть, центральный фрагмент текста (строки 4–13) содержит описание вполне реальной для нганасанского быта ситуации (выбор места для установки чума, забота о стаде оленей), переносное осмысление которой обусловлено лишь самим контекстом иносказательного пения. В этом плане проявляется сходство нганасанских *kajŋairša* с баснями и притчами европейской традиции. Однако от слушателя *kajŋairša* требует не извлечения некоей общей этической идеи, а вполне конкретной разгадки фабулизированного содержания. Жанровая близость к загадкам особенно очевидна в канонизированных иносказательных миниатюрах, которые наши информанты-нганасаны безоговорочно причисляют к *kajŋairša*¹, хотя часто эти миниатюры не пропеваются, а произносятся как ритмизованный текст. Вот некоторые образцы:

Tuditü him'anjka
hütəə təmiməŋi
horbu kudübaɖaʔ.

(У) знаменитой лыжни
 вдоль сердцевины
 пена, оказывается, поплыла.

(Вскрывшаяся река; зимой на лыжах удобнее всего ходить по снежно-ледяному покрову рек.)

Bəlku hotəɖiə
satəɖüəɖəə
bəriküdəʔ taaʔ
taaʔ taɖursunduʔ.

Волчьей звездой
 искусанные
 рвущиеся (с привязи) олени,
 олени захромали.

(Забеременевшие незамужние девушки; «волчья звезда» — их ночные посетители, хромота — изменение походки.)

¹ Отличая их тем самым от собственно загадок (нган. *tumtaʔa*), которые у нганасанов, по-видимому, мало разнятся от загадок соседних народов и предназначаются почти исключительно для детей.

*Mamu māl'imənu
neŋkəriŋəreŋi
šimbitiləŋdə.*

По краю земли
нечто похожее на грех (нечистое)
когда появляется.

(Луна, восход луны; идея нечистоты, греховности обусловлена связью с менструальными циклами.)

Другие самостоятельно употребляющиеся миниатюры сопоставимы скорее с поговорками и фразеологизмами (и, по-видимому, могут в речи выполнять их функцию), однако обязательным признаком остается фабульное иносказание:

*Lüə'sa gosudari
bint'a'mjədəə
təbtə d'erutumə*

Русским государем
прочерченное
я тоже не знаю.

(О неграмотном человеке; отметим, что в нганасанском языке есть глагол *hodüta* 'писать' и, таким образом, обозначение письма как проведения линий является условностью.)

*Longütü honuəə
d'alj hütədəə
nigəŋim takaku'.*

(На) мое относящееся к темноте обладаемое
дневной ремень наголовника
я не надеваю.

(О внебрачной связи, ночных свиданиях; в других текстах *kəŋəirša* наголовник и другие элементы оленьей упряжи упоминаются как символы брака).

*Tətə sadə nii
mamümsüədəə*

На четыре столба лабаза
поместивший жилище.

(О давно умершем человеке; подразумевается один из типов захоронения, о котором см. [Грачева 1983: 112–113].)

Специфику нганасанских иносказательных песен составляет использование в них шифровки («иносказания» в расширительном смысле) на трех структурных уровнях — сюжетном, лексико-морфологическом и силлабо-фонетическом. Как позволяют судить высказывания Т. Д. Костеркина по поводу исполняемых им песен, безусловное предпочтение отдается таким произведениям, в которых все уровни шифровки задействованы одновременно — именно они признаются «настоящими *kəŋəirša*». Отсутствие шифровки на каком-либо из уровней, «прямое сказание» ведет к снижению оценки песни: по выражению исполнителя (на таймырском пиджине с русской лексической основой, о котором см. [Хелимский 1987б]), «худой говорка, говорка совсем близко пришел», т. е. текст плох тем, что слишком близок своему неиносказательному эквиваленту.

О шифровке на сюжетном уровне (фабулизации содержания) можно частично судить по приведенным выше образцам; далее мы вернемся к анализу основных, наиболее устойчивых приемов фабулизации.

Лексико-морфологическая шифровка заключается в замене большого числа общеупотребительных слов их эквивалентами, предназначенными преимущественно или даже исключительно для употребления в *kəŋəirša* (именно этот феномен имели в виду Б. О. Долгих и Л. А. Файнберг, говоря об особом иносказательном песенном языке у нганасанов), а также в использовании нарочито ус-

ложненных за счет дополнительной суффиксации грамматических форм, не употребительных в повседневной речи. В немалой части случаев речь идет об искусственных окказиональных образованиях от обычных нганасанских корней и основ; ср. в приводившихся текстах *hudiŋ* 'сквозное отверстие', 'ухо' (от *hudi* 'ворота', 'проход'), *koubtar* 'предмет для восприятия на слух' (от *koubtu-* 'сообщить на ухо'), *lajmi* 'скука' (ср. *lajmi* 'он пресытился', 'ему надоело'), *tuŋiŋ* 'лыжня' (от *tutə* 'лыжи'), *lonŋiŋ* 'относящийся к темноте' (от *lonku* 'темная туча'). В других случаях сами основы уникальны и, как позволяют судить наблюдения, абсолютно неизвестны и непонятны нганасанам, не знакомым с традицией иносказательного пения: *h'aŋgu* 'старший родич', *təmsi* 'палец'; предварительный этимологический анализ позволяет констатировать, что в составе специфической для *kəŋŋairša* лексики присутствуют архаизмы (*tami* 'земля' — различные варианты этой основы отмечены в нганасанских словарях XVIII–XIX вв., *torŋsi* 'лицо' — этимологически точное соответствие нен. *tarenza* то же), а также окказиональные заимствования из контактирующих языков (*aliŋaa* 'лук для стрельбы' из эвенк. *alanā*, *balku* 'волк' из рус.).

Что касается нарочитого усложнения грамматических форм, то этот прием преследует, очевидно, двойную цель: с одной стороны, дополнительно маркировать песенные обороты как противопоставленные оборотам разговорной речи; с другой стороны, обеспечить соблюдение метрической нормы: *kəŋŋairša*, как и произведения других жанров нганасанского нешаманского песенного фольклора, состоят с редчайшими исключениями из изосиллабичных шестисложных строк, см. [Хелимский 1989б: 259]. Ср. в приведенных текстах: *ŋadiŋsamiŋdətə* 'в качестве твоего места для установки чума' вместо более обычного *ŋatiŋdətə* с тем же значением (в данном случае вместо именной основы *ŋati* 'место для установки чума' использовано помен loci *ŋadiŋsami* от отыменного глагола *ŋadis-* 'сделать местом для установки чума'); *bint'a'miŋdətə* 'прочерченное' вместо более простых по структуре причастных форм *bint'atiŋ*, *bint'amətə* с тем же значением или однокоренных имен *bindər*, *bintami* 'черта', 'полоса'.

Третьим уровнем шифровки — силлабо-фонетическим — определяются существенные отличия реально поющего текста *kəŋŋairša* от базисного текста. Это происходит путем дробления базисного текста на сегменты определенной длины в слогах (часто такие сегменты не соответствуют членению на слова), их перестановки, повторения, а также введения дополнительных сегментов, не имеющих соответствий в базисном тексте и лишенных самостоятельного значения. Одновременно вступают в действие специальные правила песенной фонетики (определяющие, в частности, широкое произношение гласных верхнего подъема — *e*, *o*, *e*, *ö* на месте соответственно *i*, *u*, *i*, *ü*). В итоге, например, за строкой распева:

ə əwəhəwə mədətŋeje tonemejəŋeje

— слушатель должен опознать преобразованную строку базисного текста:

tunimiŋdət ŋii ('на плоскую вершину')

Ключом к дешифровке служит то, что в пределах одной песни каждая из строк базисного текста, как правило, преобразуется (шифруется) по одной и той же формуле — таким образом, важнейшее значение имеет знакомство с традицией, и в частности, знание традиционных зачинов песни. Более подробно о силлабо-фонетической шифровке и ее формулах см. [Хелимский 1989а: 64–74].

* * *

Записанные тексты нганасанских *kajñairša* (в их числе 32 полные песни, включая и варианты, и примерно такое же количество иносказательных миниатюр; несколько песен пока удалось перевести и проинтерпретировать лишь частично) позволяют говорить о ряде типичных, устойчивых приемов фабулизации, характерных для данного жанра.

В подавляющем большинстве текстов (об одном показательном исключении см. ниже) метафорический «план содержания» связан со сферой человеческих отношений: любовные связи, сватовство, оценка индивидуальных качеств, пожелания и рекомендации; очень часто темой служат сами состязания в иносказательном пении. Метафорический «план выражения» в наибольшей мере затрагивает бытовую и хозяйственную сферы: жизнь в чуме, домашнее оленеводство, предметы быта и их изготовление, кочевья, охотничий и рыболовный промысел. Можно отметить и отдельные более частные корреляции, например, тематика сватовства особенно часто передается сюжетами, связанными с оленеводством, певческие состязания нередко уподобляются охоте, через устройство шестового чума описываются отношения в семье и т. д.

Этими общими соотношениями в целом определяется и связь конкретных метафорических «означаемых» и «означающих». Люди, о которых идет речь в *kajñairša*, — автор, адресат, другие персонажи — в значительной части случаев загадываются через животных. Особенно устойчивый характер имеет сравнение девушки, невесты с домашним оленем: *Linadā taa* 'линанчарский олень' — девушка из рода Линанчар; *taanā masu* 'украшение моего оленя' — имеются в виду песенный талант (или же, по другой интерпретации, гордость, достоинство) автора-девушки, *bəri'küda taa* 'рвущиеся [с привязи] олени' — девушки, вступившие во внебрачные связи. В одном из текстов автор выражает намерение взять в жены девушку, излеченную его отцом-шаманом и после этого (в соответствии с довольно распространенной традицией) поселившуюся в их семье, отданную в качестве *kodü* (платы за шаманство); соответственно объект ухаживания обозначается как

d'alī ləbtutəni
nənsidiḍə taa,
ḡəḍə idā'anə
dudimkiḡə taa

среди бела дня
(спокойно) стоящий олень,
моего отца-шамана
ручной олень.

С этим устойчивым обозначением связан и образ упоминаемого в одном из текстов *sulku kür'adə nadü* 'оленя-трехлетки с вытертым загривком' — подразумевается женщина в домашней парке (шубе), у которой вытерся мех на затылке.

Олени символизируют и просто людей, вне связи с возрастом и полом: *taata kouḍa'ñü* 'если твои олени станут беситься на солнцепеке' — если люди начнут ссориться. Обращая внимание своего соперника в пении на то, как внимательно их слушают собравшиеся, автор одного из текстов обозначает слушателей как «игрушечных оленей»:

ñüə' sañi taa'
taa' lendajit'indī'

детей игрушечные олени,
олени неподвижно стоят.

Одна из иносказательных песен целиком построена на уподоблении автора и двух его соперников (в сватовстве? в иносказательном пении?) трем рыбам, из которых одна, нельма, «всегда будет иметь своим пристанищем мутные протоки», другая, хариус — «плохая видом рыба», «будет иметь своим пристанищем пенные протоки», и лишь третья, омуль (имеется в виду сам автор), совершив сильный проток, отыщет себе «тальниковую стоянку» в одной из «соприкасающихся протоков» (т. е. в таком месте, где постоянно есть приток свежей воды). В другом тексте автор, констатируя свою неудачу, сообщает, что

ñeñd'irməbtutuəmə
halmiðia kolij
tuðitü ñim'laŋkə
hütəə təmiməñi
kudü'sutərəga?

ускользнувшая от меня
 рыба-сеledка
 знаменитой лыжни
 вдоль сердцевины,
 кажется, поплывет,

т. е. что девушка, отклонившая его ухаживание, намерена жить, пользуясь собственным незаурядным умом (стоит обратить внимание на то, что здесь «в подтексте» оказывается понятие реки, которая шифруется как «знаменитая лыжня», см. выше, и одновременно сама служит символом человеческого ума, интеллекта).

Встретились также обозначения персонажей *kajñairša* как птицы:

bad'amtua taanŋu
teðuləh'adiðə?
bad'amtua taanŋu
teðuləbətə?

от пожелезненного коршуна
 пошло, оказывается, эхо,
 пожелезненный коршун
 поднял эхо

(подразумевается девушка, о которой ведется много разговоров) и как букашки:

maa ñilitüñü,
sojbu ñilitüñü,
bəd'aj mətutəsa?

что (это такое) возится,
 букашка возится,
 пересекая лайды (тундровые равнины)?

В последнем случае автор пренебрежительно отзывается о своем сопернике, вряд ли способном постичь иносказательно выраженные глубокие мысли («лайды»).

Обозначение в иносказаниях людей как объектов растительного мира в имеющихся текстах связано главным образом с разграничением возрастных групп: *ñürəə* (*ñürəə h'aa*, *ñürəi'müntü h'aa*) 'тонкое прямое дерево' — молодой человек или девушка, *h'aturu* 'полено' — взрослый человек, *səltə* 'пень' — старик. Ср. также:

dühüü? tiri h'aa
korbüma'muəmtu
ñigətim suədu?

подсохшего прочного дерева
 засыхание
 я не обхожу стороной

(т. е. я прислушиваюсь к мнению накопивших жизненный опыт, зрелых людей).

Противопоставление влажности (молодости, незрелости) и сухости (надежности, опыта бывалых людей) присутствует и при уподоблении людей элементам

ландшафта, как в приведенном ранее полном тексте *kajñairsa*. Неоднократно встречается обозначение уважаемых членов социума как «прочных мест земли» — *tami kojbuhaʔ*.

Совет незадачливому сопернику — поискать счастья с какой-нибудь непривлекательной, не пользующейся успехом девушкой — звучит в иносказательной песне так:

kariʔ huŋkədəmu,
məliʔ huŋkədəmu,
dəbsətəmunhʔaŋə

место, где огибают повороты,
место, где огибают мысы
проходи напрямую.

Если различные участки земли, виды урочищ обычно символизируют определенного человека или группу людей (с учетом их личных качеств), то водные объекты чаще служат обозначением интеллекта:

təkəiniʔ təkədə
ŋadə bajkunəŋgu
šejmʔ takəə turku
niŋdiʔ ŋəbətiŋiʔ

с давних пор у нас
шамана-старика
необозримое озеро
не царапают

(т. е. еще никто не сумел справиться с умом, «озером» шамана-старика), и далее в том же тексте:

turkaʔa biŋumhiʔ,
natirə biŋumliŋiʔšiðiʔ

если озерце разольется,
(то) твоё чумовище окажется залитым

(т. е. обращение этого ума в твою сторону чревато для тебя поражением, бедами).

Кроме того, интеллектуальные качества, способности к иносказательному пению могут обозначаться (по-видимому, преимущественно применительно к женщинам) понятиями из сферы одежды и шитья; при этом различные виды украшений (нашивок, полосок, тесьмы, ленточек), характерных для нганасанской национальной одежды, служат символами особой изобретательности, затейливости:

küədə lujbiʔəŋə,

моей березовой подставки (для опоры ног
при шитье),

tolamüʔ ŋusinə,
dəŋgiʔ horʔarunə
tühəə hirətiʔ

моей разнообразной работы,
моих покровов нашивок
до времени

(т. е. до того времени, когда исполнительница научилась вести иносказательные беседы);

L'inəina ŋeminə
m'albəriədəə
šiði hʔandu hʔajmunə
arši mətərunə
tühəiʔ hirətiʔ
šəŋŋkalʔi dəŋgum

моей матерью из рода Линанчар
сделанных
двух моих камусных бакарей (меховых сапог)
лицевых (?) швов
до времени
я лишен зрения

(т. е. автор признается в том, что разбирается лишь в области своих непосредственных интересов и ничего не понимает в том, что выходит за ее пределы).

Исполнение *kəjŋəirsə* может уподобляться и другим видам производственных занятий:

d'adüda'a mja
tođit'ətində,
ŋitə'šelturij
ŋamtə n̄ir kūmaamə

молот из кованого железа
 хотя и трещит,
 все еще точится
 мой нож с костяной рукояткой

(под молотом подразумевается выступление соперника, под ножом — гораздо более тонкие и изящные иносказания самого автора).

Среди других повторяющихся приемов *kəjŋəirsə* внимания заслуживает передача эмоционального состояния, выражение личного отношения к чему-либо через описание соответствующих жестов: *šidi sədəbtümə | lajbəbi'əragum* 'двумя швырялами (т. е. руками) я, кажется, махнул' — мне стоит отказаться от дальнейших попыток; *bida məsu'əmə | nikuəm lajbəbə'* 'моими десятью пальцами чтобы я не махала' — чтобы мне не пришлось отмахиваться от дурных вестей; *dalj nuamürə | šübəbi' hoŋəə* 'да будет показан твой взмах руки дня' — дай мне наставление. С другой стороны, сами термины эмоционального состояния встретились в составе иносказательных обозначений времени года: *suntəə lojmi* 'безлесная скука' — лето; *dakida lojmi* 'студеная скука' — зима.

Устойчивые способы иносказания создают, как можно предполагать, опору при дешифровке истинного содержания песен. Наряду с ними большинство произведений этого жанра включают сугубо специфические метафоры, а также развивают в частных деталях тот сюжет, вокруг которого построено иносказание. Интересно отметить, что среди записанных текстов оказался один, резко отличный от других по своей тематике: в нем автор подшучивает над женщиной, которая неосторожно присела справить нужду на виду у постороннего человека. Единственным в своем роде оказывается при этом и метафорический «план выражения»: действия женщины уподоблены камланию шамана с бубном (ни в каких других имеющихся образцах шаманский ритуал не упоминается).

Как можно видеть, приемы иносказания в нганасанских *kəjŋəirsə* при всем своем национальном колорите в целом хорошо вписываются в набор тех образных средств, который характерен для загадок, басен, притч и т. д. в других фольклорных и литературных традициях. Тем не менее хотелось бы еще раз подчеркнуть ту жанровую уникальность, которую сообщает нганасанским иносказательным песням наложение на фабулизационные приемы лексико-морфологического, а затем и силлабико-фонетического кодов.

НОМИНАТИВНАЯ МИНИ-ЗАГАДКА: НА СТЫКЕ ЗАГАДКИ, МЕТАФОРЫ И ЛЕКСИЧЕСКОГО СУБСТИТУТА*

Достаточно частный, но любопытный повод дает основания обратить специальное внимание на роль загадок как потенциальных источников словаря (в чем проявляется, разумеется, более общая взаимосвязь между паремиями и идиоматикой), а тем самым на значимость данного фольклорного жанра в этимологическом поиске.

В двух недавно опубликованных работах по сибирской космонимии А. Е. Аникин [1990, 1991], анализируя наиболее распространенные типы обозначения Большой Медведицы в языках Сибири — как (небесного) лабаза (т. е. свайного сооружения для хранения продуктов) и как (небесного) лось, обнаружил своеобразное смыкание этих номинационных типов в тунгусо-маньчжурских языках. Цитируя [ТМС II: 360], он отметил, с одной стороны, такие южные (амурские) тунг.-маньчж. факты, как ороч. *пэулэ* 'амбар без крыши, помост для хранения продуктов; Большая Медведица', ульч. *пэулэ(н-)* 'вешала; Большая Медведица, Малая Медведица', орок. *пэулэ* 'вешала; Большая Медведица', нан. (найхинск.) *пэулэ* 'вешала для юколы', *Дай Пэулэ* 'созвездие Большой Медведицы' (букв. 'большие вешала'), *Нүчи Пэулэ* 'созвездие Малой Медведицы' (букв. 'малые вешала'). С другой стороны, в эвенкийских диалектах широко представлены названия Большой Медведицы *һэглэн* ~ *һоглан* ~ *һоглун* *чоли* ~ *һэглэн* *сöлин* ~ *һэвлэн* ~ *һэуин* ~ *һэглун* ~ *эвлэн* ~ *эүлэн* при (подкам.-тунг.) *һэглэн* устар. 'лось', ср. также (забайк.) *оһлэткан* 'Малая Медведица' при (ербогаченск.) *һоглокән* ~ *һэглэкән* 'лосенок', сюда же эвен. *һэвлэн* и негид. *хэвлэн* ~ *хэүлэн* 'Большая Медведица'.

Как комментирует в этой связи А. Е. Аникин, «оба ряда фактов допускают выведение из ПТМ **päylän*. Семантическая реконструкция вызывает затруднения. Соотношения значений '(небесный) лось' и '(небесный) амбар' сопоставимо с отразившимся в древних петроглифах противопоставлением двух эстетических концепций мира: динамическо-реалистической у палеолитических и неолитических охотников Сибири и статично-схематической у неолитических рыболовов Амура. Следует иметь в виду, что и '(небесный) лось', и '(небесный) амбар' могут именоваться как 'имеющий ноги (подставки)', ср. к семантике якут. *атахтāх* 'имеющий ноги, опоры; Большая Медведица» ([Аникин 1991: 38–39]; см. также [Аникин 1990: 20–21] и — касательно двух концепций мира в петроглифике — [Окладников 1967: 121–131]).

* Впервые опубликовано в: Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. 1. Москва, 1994. С. 256–263.

Проблема состоит, однако, в том, что в отличие от морфологически прозрачного якут. *атахтаах* (ср. *атах* 'нога', *-лаах/-таах* суффикс имен обладания), в тунг.-маньчж. *päylän* как синхронно, так, по-видимому, и исторически невозможно выделить внутреннюю форму типа 'имеющий ноги/опоры' (ср. [Болдырев 1987: 160–185]). Авторы «Тунгусо-маньчжурского словаря», справедливо объединяя слова со значениями 'лось', 'лабаз (амбар, помост, вешала)' и 'Большая (Малая) Медведица' в одной гнездовой словарной статье, вынесли в качестве заголовочного космонимическое значение. Но, несмотря на широкое распространение исследованных А. Е. Аникиным типов номинации и даже на то обстоятельство, что в двух языках-потомках (эвенском и негидальском) **päylän* представлено только как космоним, было бы противоестественным предполагать, что при исходном значении 'Большая Медведица' на его основе могли вторичным образом развиться значения зоонима (в эвенкийском) и хозяйственного термина (в амурских языках). Крайне сомнительным выглядит сопоставление (на алтайском уровне) ПТМ **päylän* с кор. *pyöl* 'звезда' [Miller 1991: 196], ср. убедительную традиционную алтайскую этимологию корейского слова ([Старостин 1991: 36, 90, 277], с реконструкцией алт. **p'üül'V* 'звезда').

Представляется, что нужный ключ к решению этой семасиологической проблемы дает короткая хантыйская (шеркальский диалект) загадка, помещенная в томе фольклорных материалов из архива Вольфганга Штейница ([Steinitz 1989]; коллекция загадок подготовлена к печати Л. Хонти):

(Хант. № 85) *unt tōpas = wəj*
'Лесной лабаз = Лось'.

Свайный лабаз (*š tōpas*, ср. также VVj. *lāwas*, Trj. *lāpas*, Irt. *tāpas*, Kaz. *lōpas*, O *lāpas* < русск. лабаз, см. [DEWOS: 790]) использован здесь как кодовый денотат, фактически напрямую соотнесенный с загаданным денотатом — лосем. Единственное пояснительное слово *unt* 'лес, лесной' не создает смыслового контраста (поскольку прекрасно совместимо и с прямым значением кодирующего слова: свайные лабазы устанавливаются как вблизи жилья, так и в лесу). Оно скорее апеллирует к устойчивому обозначению лося в хантыйском языке как «лесного зверя» (*unt wəj*, ср. также ниже примеры с другими «лесными» названиями лося), сближая загадку с классом словарных загадок, в которых отгадка подсказывается фразовым контекстом (присутствием постоянного эпитета загаданного денотата и т. п., см. [Лекомцева 1994]).

Что касается образной мотивации, она вполне прозрачна и согласуется с объяснением А. Е. Аникина: длинные ноги и туловище лося напоминают четыре высоких свай и надстройку лабаза.

Загадывание лося через *лабаз* отмечено еще по крайней мере в одной близкородственной традиции — у манси. В монографии И. Шельбах-Копра о мансийской загадке приводится в двух вариантах загадка с Лозьвы о беременной лосихе: (по А. Каннисто) 'Внутри большого лабаза маленький лабаз', (по Б. Мункачи) 'В большом свайном доме маленький свайный дом' [Schellbach 1959: 56, 104, 123]. Возможна и инверсия загаданного и кодового денотатов, как в тексте с р. Пелымки (по А. Каннисто) 'Безголовый лось бежал вокруг деревни = Лабаз' [Schellbach 1959: 30].

* * *

Лаконичность процитированной хантыйской загадки могла бы вызвать сомнения в самом ее статусе. Структурно ее собственно загадывающая часть (*unt tōpas*) не отличается от обычных, широко представленных в номинационной системе хантыйского и родственных ему языков, именных словосложений, в том числе и от таких описательных (иносказательных, отчасти табуистических) названий лося, как хант. (южн.) *enə-wojə* ('большой зверь'), (вост.) *körəj wajəj*, (сев.) *kurəj waj* ('ногастый зверь') [DEWOS: 1563ab], манс. (Ср. Лозьва) *jäni-uj* ('большой зверь'), *wāni-uj* ('лесной зверь') [Munkácsi, Kálmán 1986: 146b, 715b], коми *кузь-кок* ('длинная нога'), (язвинск.) *вўрнийан* ('лесной детеныш'), (пермяцк.) *вөр-мөс* ('лесная коро́ва') [Хаузенберг 1972: 98–99] и др. По степени образности, измеряемой семантической дистанцией между кодовым и загаданным денотатами, хантыйская загадка также не выходит за рамки допустимого в словосочетаниях (ср. *морская звезда*, *грудная жаба* и под.).

Однако здесь, как и вообще применительно к загадке, структурно-семантические критерии отграничения от других феноменов языка и фольклора недостаточны; загадку делает таковой ее прагматика — функционирование в качестве стандартного законченного текста, предполагающего диалогичность и наличие контртекста (отгадки). Коллекция В. Штейница показывает, что в своем лаконизме загадка о лосе не уникальна внутри жанра. Ср. столь же простые по форме образцы:

- | | | |
|----------------------------|---|-----|
| (Хант. № 8, вост.) | <i>kōri pōŋək = wānt' āj rj̄t</i>
'Нос стерляди = Узкий маленький челнок'. | (Э) |
| (Хант. № 77, Шеркалы) | <i>j̄ŋk tōman = xantas</i>
'Водный замók = Смола (для смоления лодок)'. | (Э) |
| (Хант. №№ 184, 342, Казым) | <i>kūl tōrəp = šōxal</i>
'Толстая губа = Чувал (очаг)'. | (Э) |
| (Хант. № 186, Казым) | <i>šāk t̄yəl = p̄l̄əp</i>
'Гнездо птички = Затычка дымохода'. | (Э) |
| (Хант. № 201, Казым) | <i>ne lak = rešeta</i>
'Круг женщины = Решето'. | (Э) |
| (Хант. № 503, Сыня) | <i>p̄iti nōl = šōxa</i>
'Черный нос = Куропатка'. | (Э) |

Еще проще (с точки зрения синтаксиса) загадки, построенные на ономотопее:

- | | | |
|--------------------------------|---|----|
| (Хант. № 138, 211, 368, Казым) | <i>ptu! (t̄pu!; t̄pu!) = leštan</i>
'Пту! (Тьпу!; Тпу!) = Точильный брусок'. | ст |
| (Хант. № 243, 385, Казым) | <i>ali-ali = am̄p̄ ōrijəl</i>
'Али-али = Собака ворчит'. | тс |
| (Хант. № 275, Казым) | <i>perə̄t pōrə̄t = šōxar</i>
'Перым-порым = Щокур, пыжьян (рыба Coregonus nasus)'. | те |

(следует отметить, что слова междометного типа, которые кодируют здесь загаданный предмет или действие, имитируют сопряженные с ними звучания, а потому не носят характер чисто условных знаков, как в загадках бауле: *Некле, некле, некле?* = *Беременной женщине не взобраться на дерево*; *Годо, годо, годо?* = *Антилопа уазани не пролезет в дырку*, см. [Пермяков 1970: 189]).

Эти примеры подтверждают неслучайный характер мини-загадки о лосе в хантыйской традиции, которая не возбраняет подобный лаконизм (ср. вероятное отсутствие сколь-нибудь точных аналогов в русской традиции). Существенным моментом является, конечно, и наличие содержательно близких загадок «нормальной длины» о лосе и лабазе у манси. Без дополнительных данных интерпретировать их диахроническое соотношение трудно: текст *unt tópas* с равным успехом может быть и результатом свертывания, и базой развертывания загадки мансийского типа.

Жанр мини-загадок хорошо представлен и в эвенкийской традиции (следует иметь в виду, что значительная часть опубликованных эвенкийских загадок содержит факультативный сигнальный компонент *та(ва)р экун*), ср.:

- (Эвенк. 1, с. 290, баунт.) *Тар экун, — тыкулдыкаку?* = *Пурга*
'То что, — сердитый?' = *Пурга*.
(Эвенк. 1, с. 295, баунт.) *Җиндуқан саңаричи* = *Пэктырэвун*
'Жердинка с дыркой = *Ружье*'.
(Эвенк. 1, с. 299, баунт.) *Ирэктэкэн гарачи* = *Бэюн иелин*
'Лиственничка с ветками = *Рога лося*'.
(Эвенк. 1, с. 303, сым.) *Тавар экун, — гарпаран?* = *Эша*
'То что, — выстрелило?' = *Глаз*'.
(Эвенк. 1, с. 303, сым.) *Тар экун, — аилун?* = *Дяли*
'То что, — промышленник (умелый охотник)?' = *Ум*.
(Эвенк. 1, с. 304, сым.) *Тар экун, — деунялдун?* = *Мунорукан*
'То что, — с приподнятым затылком?' = *Зяц*'.
(Эвенк. 2 № 11, баунт.) 'Гнилая колодинка = *Нос*'.
(Эвенк. 3 № 144, сев.-байк.) 'Половина глухаря = *Месяц*'.
(Эвенк. 3 № 174, баргузин.) 'Колодина в неводе = *Осетр*'.
(Эвенк. 3 № 183, баргузин.) 'Гора корявая = *Наперсток*'.

Как можно видеть, загадывающая часть в некоторых из этих загадок представляет собой абсолютно минимальный возможный текст и состоит из одного только кодового денотата, что превращает его в метафорический синоним и потенциальный субститут загаданного денотата. Ориентируясь на этот вариант номинативной мини-загадки и на хантыйский (а также мансийский) материал, в целом обнаруживающий немало сходств с эвенкийским (ср. [Futaky 1975] об эвенкийско-хантыйских лексических соответствиях), можно условно реконструировать эвенкийскую загадку

**Тавар экун, — һэглэн?* = *Төкй*
'То что, — лабаз?' = *Лось*,

которая и послужила основанием для семантической эволюции 'лабаз' → 'лось' у части рефлексов ПТМ **päylän*. Использование **päylän* как астронима, вообще

говоря, подтверждает исходность значения 'лабаз', так как для Восточной Сибири и Приамурья характерно обозначение Большой Медведицы как (небесного) лабаза (у якутов, юкагиров, нивхов, а также у селькупов), а обозначение ее как (небесного) лоса представлено преимущественно западнее — у уральских народов, а также у кетов, см. наряду с упоминавшимися статьями А. Е. Аникина также [Erdödi 1970: 28–92]. Впрочем, это распределение не является жестким, и отступления от него могут быть связаны как, например, с влиянием русских диалектных обозначений созвездия (*Лось, Сохатый*), так и с возникновением вторичных ассоциативных связей, опосредованных астрономом.

В этой статье не ставится задача детально проследить распространение номинативных мини-загадок (такая задача осложняется еще и тем, что, возможно, некоторые исследователи-фольклористы не включали их в публиковавшиеся коллекции ввиду «примитивности», недостаточной образной орнаментированности этих паремий), однако создается впечатление, что именно у ханты и эвенков они встречаются особенно часто. Несколько образцов этого жанра зафиксировано у ненцев:

- (Нен. 1 № 76) *Ята'маком минарнга = Пия*
'Носящий уголек = Горноста́й'¹
- (Нен. 1 № 81) *Толава'техэ' = Нумгы'*
'Неисчислимые = Звезды'.
šida šējat pād = tēn sūjik'
'Два мешка дверной половины чума = Почки оленя'.
- (Нен. 2 № 152) *ūlit ālit = kuprīššā, ḡō^{am} p'*
'ūlit ālit = Ложка, ковшик'².
- (Нен. 3 № 81) *Няхар'узта халы = Вэбарка*
'Трехногая рыба = Белуха'.
- (Нен. 3 № 137) *Лым'узвата халы = Тынзэ'*
'Червяк с костяной головой = Аркан'.

В собраниях загадок финно-угорских народов, живущих к западу от ханты и ненцев, тексты минимального объема встречаются, насколько можно судить, лишь как редчайшее исключение. Такова, например, карельская загадка

- (Кар. № 327) *Heinän helpi = Viikate*
'Бедя для травы = Коса',

выступающая, впрочем, лишь как редуцированная версия более естественной для всего соответствующего ареала рифмованной загадки

- (Кар. № 326) *Heinän heikko, aijan keikko = Viikate*
'Бедя для травы, опора для ограды = Коса'.

Реально же в качестве минимального в большинстве финно-угорских традиций выступает — и распространен весьма широко — формальный тип загадки, в

¹ Ср. несколько более развернутый вариант того же кодового сюжета:

(Эвенк. 3 № 47, баунт.) 'На хвосте уголек тащит = Горноста́й'.

² Явно не случайно сходство с цитировавшимися выше ономотопеическими загадками казымских ханты — соседей лесных ненцев, у которых бытует данная загадка.

котором кодовый денотат наделен двумя характеристиками загаданного денотата, чаще всего выраженными локальным модификатором и качественным атрибутом (откуда каноническая синтаксическая структура загадок этого типа: N — Postp — Adj — N_{cod}), ср.:

- (Морд. № 3) *Паксятень вельхкса сеном зиблек = Менельсь*
 'Над полями синий полог = Небо'.
 (Морд. № 305) *Келуть яла якстерь шаваня = Панкне*
 'Под березой красивая чашка = Грибы'.
 (Коми, с. 21) *Ва дорын гӧрд чуньлыс = Лежнӧг йыв*
 'Около реки красный наперсток = Плоды шиповника'.
 (Коми, с. 98) *Сёр вылын уча шыр = Паськӧм*
 'На грядках (жердях для просушки) много мышей = Одежда'.

Подобные загадки эпизодически встречаются и в русском фольклоре (обычно снабженные внутренней рифмой); любопытно, впрочем, что территориальные пометы сборника М. А. Рыбниковой [1932] позволяют полагать, что они распространены преимущественно в зонах русско-финно-угорского контактирования, ср.:

- (Русск. 1, с. 364, арханг.) *Вокруг кола золота трава = Кольцо на пальце.*
 (Русск. 1, с. 368, томск.) *Около кола золотая голова = Подсолнечник.*
 (Русск. 1, с. 370, томск.) *Кругом хаты синие лопаты = Окна.*

Отметим также едва ли не уникальную номинативную (или все же предикативную, как можно судить по знаку тире в публикации?) русскую мини-загадку:

- (Русск. 2 № 117) *Камень — пламень = Месяц.*

* * *

В отличие от других паремий, загадки сами по себе «являются знаками отдельных вещей» [Пермяков 1970: 77], выступая как потенциальные номинативные средства. Эти потенции, вообще говоря, тем выше, чем короче загадка и чем больший удельный вес в описании загаданного денотата приходится на ее номинативное ядро — кодовый денотат. В мини-загадках семантическая дистанция между кодовым и загаданным денотатами оказывается минимальной, так что при снятии внешних (по отношению к самому тексту загадки) признаков — функционального контекста, ожидания реакции собеседника, сигнального вступления, то есть при отделении загадки от ее прагматической стороны возникает готовое и достаточно лаконичное иносказательное (образное, описательное) обозначение загаданного денотата, его возможный фразеологический или даже моноксемный субститут. Приведенные выше хантыйские и эвенкийские примеры иллюстрируют возможность схождения и даже полного смыкания загадки, метафоры и лексического субститута. Это позволяет, помимо прочего, думать, что подробные конкордансы типа «кодовый денотат» — «загаданный денотат», уделяющие особое внимание материалу номинативных мини-загадок, могут быть использованы с эффектом в семасиолого-этимологических штудиях.

Пограничное положение мини-загадок заставляет еще раз вспомнить, что «в ряде архаичных традиций некоторые поэтические конструкции не только напо-

минают загадку, но, видимо, и генетически восходят к ней или к общему с нею источнику» [Елизаренкова, Топоров 1984: 24]. Было бы, однако, опростетчивым настаивать на том, что в каждом индивидуальном случае онтогенез текста загадки (в том числе и мини-загадки) совпадает с филогенезом жанра и что в наиболее коротких загадках следует видеть их не только простейшие, но и первичные варианты (ср. [Митрофанова 1978: 119]). Принципиальная допустимость лаконичных, неорнаментированных загадок в некоторых фольклорных традициях Сибири могла сама по себе служить фактором компрессионной обработки исходно более сложных, в том числе и заимствованных, вариантов их текста.

* * *

Список источников материала:

- | | |
|----------|--|
| Кар. | = Лавонен 1982 |
| Коми | = Коми народные загадки 1975 |
| Морд. | = Устно-поэтическое творчество... 1969 |
| Нен. 1 | = Пичков 1959 |
| Нен. 2 | = Lehtisalo 1947: 592-607 |
| Нен. 3 | = Куприянова 1960: 261-271 |
| Русск. 1 | = Морохин 1986 |
| Русск. 2 | = Митрофанова 1965 |
| Хант. | = Steinitz 1989: 575-635 |
| Эвенк. 1 | = Воскобойников 1960: 292-307 |
| Эвенк. 2 | = Воскобойников 1958: 161-170 |
| Эвенк. 3 | = Воскобойников 1967: 159-175 |

ГЛУБИННО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ ИЗОСИЛЛАБИЗМ НЕНЕЦКОГО СТИХА *

1. Проблема ненецкого стихотворного метра

1.1. Согласно мнению первых крупных собирателей и исследователей ненецкого песенного фольклора М. А. Кастрена и Т. Лехтисало, в ненецком стихосложении не используется метрический принцип. В текстах ненецких песен ими усматривался свободный речевой поток, регулируемый только синтаксическими паузами и накладываемой на этот поток мелодией (см. [Castrén 1853: 193; Lehtisalo 1922: 84, 1937: 3–4]). При этом Лехтисало даже специально подчеркивал, что отсутствие регулярной метрики представляет собой наиболее характерную «примитивную черту» ненецких песен, объединяющую их с другими столь же «примитивными» поэтическими традициями, в частности, саамской и обско-угорской¹.

1.2. П. Хайду в ряде работ продемонстрировал, что утверждение об отсутствии метра в ненецком песенном стихосложении верно лишь отчасти. Согласно его наблюдениям, базисные тексты (*Grundtexte*, *alapszövegek*) ненецких лирических и эпических песен состоят из неравных по количеству слогов строк, однако каждая строка реально поющего текста «подравнивается» и приобретает четкий метрический рисунок за счет вставки элементов-наполнителей (отдельных звуков и целых слогов с чисто ритмико-метрической функцией, без какой бы то ни было лексической или грамматической значимости). Этот вывод был основан на анализе соотношения текста и мелодии в ненецких песнях, записывавшихся самим Хайду [Hajdú 1959: 234–237, 1959–1960]. К аналогичному результату пришел и Б. М. Добровольский [1965: 762], чьи материалы широко привлекаются в более поздних публикациях Хайду по ненецкому стихосложению [Hajdú 1974, 1976, 1978, 1983: 421–426]. Сосредотачивая свои исследования на реально поющих текстах (а не на соответствующих им базисных текстах), Хайду высказывает мнение, что «die nur den Grundtext bietenden Publikationsmethoden die metrische Forschungen auf Irrwege führen» [Hajdú 1978: 157].

1.3. Однако в действительности утверждение об отсутствии метра в ненецком песенном стихосложении нельзя признать даже отчасти верным. В настоящей работе ставится цель продемонстрировать, что традиционная ненецкая поэзия строится на основе регулярных моделей силлаби-

* Впервые опубликовано в: JSFOu. 1989. 82. P. 223–268.

¹ «Den samojedischen und lappischen Jodlern ist der primitive Zug gemeinsam, dass in ihren Worten kein regelmässiges Metrum auftritt. Auch die Jodler der Ostjaken lassen kein genaues, nach Silben gemessenes Versmass erkennen...» [Lehtisalo 1937: 3].

ческого стихосложения, представленных в многочисленных, архаичных и новых, произведениях фольклора. Вне зависимости от мелодических требований, налагаемых на реально поющийся текст, базисный текст состоит из изосиллабических — обычно шести- или восьмисложных — строк. Этот принцип, который несмотря на свою простоту и широкую распространенность оставался незамеченным в течении почти полутора столетий², выступает со всей очевидностью, если применить к рассмотрению базисных текстов результаты, полученные Ю. Янхуненом в его монографическом описании глубинной фонологии ненецкого языка [Janhunen 1986]. Отклонения от этого принципа встречаются не чаще, чем в других системах силлабической версификации, и имеют ту же природу.

1.4. Начнем с рассмотрения первых трех строк поющего текста ярабц (эпического плача) *Ацькы*, опубликованного Добровольским [1965: 766–767] в сопровождении музыкальной нотации (ср. ранее анализ этого же текста в [Hajdú 1974: 284–285]):

- | | |
|---|--|
| (а) <i>Но-си-нэ-тэ-тов-ха-нов-э-нэй</i> | У Носитэта |
| <i>Сэ-ва'-нэ-тя-хэй-дя-нэй-э-нэй</i> | с тех пор, как мои глаза (смотрят на мир), |
| <i>Ма-не-нэ-и-лев-вэ-дэм'-э-нэй.</i> | я живу. |

Нетрудно выделить и исключить из этого текста вставные слоги (-нэ-, -нэй-, -э-нэй-) и вставные согласные (-в-, -й-), которые занимают вполне определенное положение в каждой строке, а также устранить фонетические эффекты, вызванные этими согласными (*a > o* перед *в*, *я > э* перед *и*). Текст приводится к следующему виду:

- (б) *Но-си-тэ-та-ха-на*
Сэ-ва'-нэ-тя-ха-да
Ма-не-и-ле-вэ-дэм'.

Этот вариант явно отличается от того, как выглядит соответствующий текст в орфографической (в) или транскрипционной (г) записи:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (в) <i>Носитэтахана</i> | (г) <i>nošitetaḡāna</i> |
| <i>сэва'н тяхад</i> | <i>säwä'n tāḡād</i> |
| <i>мань илевэдм'</i> | <i>mān jilewedm'.</i> |

Различия касаются, в частности, количества слогов в строках: если (б) содержит по 6 слогов в каждой строке, то (в) и (г) гетеросиллабичны (6 — 4 — 4).

Если, однако, переписать (г) с введением описанного в книге Янхунена глубинно-фонологического *ā* (так называемого «сегмента-ограничителя» — *check segment* — ненецкой фонологии), то мы приходим к следующему варианту того же текста:

² Впрочем, Кастрен был, возможно, близок к обнаружению данного принципа. Не находя непосредственно ни метра, ни деления на стопы в ненецких песнях, он замечает: «Wenn aber der Samojede ein Lied nicht absingt, sondern nur recitiert, so ist ihm an einer gewissen Rhythmus gelegen, an den sich auch mein Ohr gewöhnt hat. Dieser Rhythmus lässt sich nicht auf eine bestimmtes Versmass zurückführen, zeigt jedoch eine gewisse Neigung zu Trochäen» [Castrén 1853: 193]. Однако это тонкое наблюдение о трохаической основе базисных текстов никак, по-видимому, не отражено в самих записях Кастрена.

- (д) *nošitetaḡāna*
sāwā'nā tūḡādā
mānā jilewedām?

Этот вариант разделяет с (б) свойство изосиллабизма строк и, более того, фактически совпадает с ним по расположению «лишних» (в сравнении с (в) и (г)) гласных. Это дает основания предположить, что, в отличие от вставных слогов и вставных согласных варианта (а), те «лишние» гласные, которые сохраняются в варианте (б) — не вставные (как предполагает концепция Хайду и других исследователей), а глубинно-фонологические, реализуемые в песенных текстах на поверхностно-фонетическом уровне.

Данное предположение полностью подтверждается анализом публиковавшегося ненецкого фольклорного материала. При переходе к глубинно-фонологической вокализации у огромного большинства ненецких песенных текстов обнаруживается последовательный изосиллабизм строк, часто также четкое членение строк на трохенческие или дактилические стопы. На поверхностном уровне, напротив, все эти признаки силлабического стиха обычно отсутствуют. Подобная ситуация, иллюстрируемая рассматриваемыми далее текстами, не может быть случайной. Она показывает, что базисные тексты строятся по силлабическим нормам глубинной фонологии ненецкого языка, и их построение не может быть выявлено из орфографической или транскрипционной записи, которая отражает поверхностный уровень.

1.5. Здесь уместно прерваться и рассмотреть генеративно-фонологические (и одновременно с этим — историко-фонетические) правила, обуславливающие расхождение в вокалических огласовках глубинной и поверхностной форм ненецких слов. Изложение будет в основном опираться на работу Янхунена, и в особенности на тот раздел ее, в котором рассматривается сегмент-ограничитель [Janhunen 1986: 109–128]. Это позволит нам не вдаваться в детали и не повторять логически безупречную аргументацию Янхунена. Для упрощения в настоящей работе не принимаются во внимание те глубинно-фонологические характеристики ненецких слов, которые касаются только консонантизма и не затрагивают силлабическую структуру глубинных форм. Таким образом, приводимые ниже формы в косых скобках представляют собой «гибрид» поверхностного консонантизма и глубинного вокализма³.

Морфонология ненецкого языка указывает на присутствие в ряде инлаутных и ауслаутных позиций фонологического элемента глубинного уровня, который Янхунен определяет как сегмент-ограничитель (поскольку своим присутствием этот элемент ограничивает сферу применения ряда генеративных правил) и отождествляет с кратким *ā* поверхностного уровня. Отсутствие этого элемента в поверхностных формах (или, по крайней мере, в таких вариантах этих форм, которые отражаются в орфографии и практической транскрипции) обусловлено рядом процессов редукционного характера. Янхунен выявляет эти процессы на основе данных синхронной морфонологии и описывает их в терминах генератив-

³ Нами не используется принятая в работе Янхунена система транскрибирования как поверхностных, так и глубинных форм (см. возражения по поводу этой системы: [Helmski 1987b: 308]).

ной фонологии, однако внешнее сравнение свидетельствует о диахронической реальности редуционных процессов: как правило, ненецким формам, содержащим глубинный сегмент-ограничитель, соответствуют формы с реальным поверхностным гласным в той же позиции в энецком и нганасанском языках (ненецкий — единственный из северно-самодийских языков, испытавший редуционные процессы в вокализме непервых слогов; отметим, что имеет место значительное сходство между судьбой сегмента-ограничителя в ненецком языке и развитием еров в славянских языках, см. [Хелимский 1984б: 114–119]).

Соотношение поверхностных и глубинных форм, обусловленное редукцией сегмента-ограничителя и некоторыми другими генеративными процессами, можно описать следующим набором правил, охватывающих наиболее существенные случаи расхождений:

(R1) За любым поверхностным ауслатным согласным, кроме гортанного смычного [?], следует глубинный *ä* (см. [Janhunen 1986: 109–110]): *χän* ‘сани’ = */χänä/* (ср. эн. *kodo*, нган. *kəntə*), *jileš* ‘жить’ = */jilešä/* (ср. эн. *irese*, нган. *niilidi*). Это правило не распространяется на те случаи, когда поверхностный ауслатный согласный представляет собой эквивалент гортанного смычного в позиции синтаксического сандхи (*tiŋ goba* = *ti[?] χoba* ‘шкура оленя’) или когда постконсонантный гортанный смычный не обозначен, что может отражать диалектное произношение или какие-либо иные причины (*madadm* = *madadm[?]* ‘я отрезал’).

(R2) Ауслатный глубинный *ä* именных основ, как и ауслатный поверхностный *ä* глагольных основ, сохраняется как глубинный *ä* во всех словоизменительных формах и производных основах, даже если ему соответствует поверхностный ноль: *χän[?]* мн. ч. ‘сани’ = */χänä[?]/* (ср. эн. *kodo[?]*, нган. *kəntə[?]*), *padwi* ‘написанный; пестрый’ = */padäwi/* от *pada-* ‘написать’ (ср. эн. *padobi*, нган. *hotəmää*).

(R3) За первым элементом поверхностного консонантного кластера, отличным от *b*, *m*, *n*, *ŋ*, *l*, *r* или [?], следует глубинный *ä* (ср. [Janhunen 1986: 105, таблица]): *χawna* ‘кроме’ = */χawnä/* (ср. эн. *gaane*) *técda* ‘холодный’ = */técäda/* (ср. эн. *tefide*, нган. *téšitiä*).

(R4) Перед *s*, *š*, *r*, *ř* и *χ*, выступающими в качестве второго элемента поверхностного консонантного кластера, стоит глубинный *ä* (ср. там же): *jabři* ‘счастливец’ = */jabäři/* (ср. эн. *daborio*), *-rχa* уподобительный суффикс = */-räχa/* (ср. эн. *-raχa*, нган. *-räku*). (В некоторых диалектах кластеры со вторым элементом *s* или *š* могут и не содержать глубинного *ä*.)

(R5) Поверхностному долготу (сверхдолготу) гласному соответствует глубинное сочетание гласного нормальной долготы с *ä*, составляющее в метрическом тексте два слога (две моры) (см. [Janhunen 1986: 115 ff.], а также [Helimski 1984: 16–17] и [Janhunen 1984: 22] о долготе гласных в ненецком языке). Точное установление сферы действия данного правила представляет большие трудности, поскольку многие источники не отражают количественные характеристики гласных или передают их непоследовательно, и, кроме того, поверхностные рефлекс-ы глубинных вокалических кластеров, по-видимому, не вполне тождественны по диалектам и даже идиолектам ненецкого языка. Ситуация дополнительно осложняется тем обстоятельством, что в непервых слогах — примерно в тех же позициях, где происходит поверхностная редукция до нуля глубинного *ä* — глубинные вокалические кластеры реализуются фонетически как гласные нормаль-

ной долготы, а глубинные гласные нормальной долготы подвергаются частично-му сокращению. Наиболее очевидными являются те случаи, в которых глубинные вокалические кластеры грамматикализованы, см. (R7), (R9) и (R10). Наш материал показывает, что под действие рассматриваемого правила попадают и формы, возникшие в результате сравнительно поздних контракционных процессов: *nār* 'три' = /*naār*/ (ср. *naḥār* 'то же'), *pārišē* 'очень черный' = /*pārišēā*/ (ср. *pārišē* 'е' то же).

(R6) Гласный (фонетически краткий), занимающий положение между гортанным смычным и сонантом, обычно соответствует глубинному нулю (речь идет, таким образом, о процессе, обратном редукции глубинного *ā*, см. [Janhunen 1986: 126–127]): *ma'āma* (или *ma'ma*) 'наш дом' = /*ma'ma*/ (ср. эн. *meta*, нган. *tami*), *ji'ilḥa* 'водянистый' = /*ji'lāḥa*/ (ср. эн. *bilaḥa*, нган. *biləgi*).

(R7) Односложные имена структуры CV имеют сверхдолгий гласный (т. е. глубинный вокалический кластер, см. (P5)) при атрибутивном употреблении и в форме генитива. Данная закономерность, не рассматривавшаяся в исследовании Янхунена, устанавливается по результатам метрического обследования ненецких текстов и подтверждается данными энецкого языка: *ñe* 'женщина' = /*ñe*/ (ср. эн. *ne*), но *ñē* 'женский' = /*ñeā*/ (ср. эн. *nee*), *ñē* род. п. 'женщины' = /*ñeā*/ (ср. эн. *nee*); аналогично *pa* 'дерево', атр. *pā*, род. *pā* (ср. эн. *pe*, *pee*, *pee*). По крайней мере в некоторых вариантах ненецкого языка эффект возникновения сверхдолготы наблюдается также в аккузативе ед. ч. и в номинативе мн. ч. односложных имен структуры CV: *ñēm* вин. п. 'женщину' = /*ñeām*/, *ñē* мн. ч. 'женщины' = /*ñeā*/.

(R8) У имен с консонантной основой (т. е. оканчивающихся в номинативе ед. ч. на гортанный смычный) присутствует глубинный *ā* после конечного согласного основы (чередующегося с гортанным смычным) и перед окончаниями генитива и аккузатива ед. ч., номинатива мн. ч.: *ma* 'дом', род. п. *ma* = /*maā*/, вин. п. *madm* = /*maādm*/, мн. ч. *ma* = /*maā*/ (ср. нган. *ma*, *maḍa(ḥ)*, *maḍa(m)*, *maḍa*). Соответственно, глаголы с консонантной основой имеют глубинный *ā* перед окончанием императива 2 л. ед. ч. суб. спр. и коннегативной формы: *mi* 'дать', коннег. ф. *mi* = /*miā*/'. Следует отметить, что в описании Янхунена используются «сверхглубинные» формы слов этого типа, в которых еще не сработало правило адаптации консонантных сочетаний ((R35) в книге Янхунена, см. [Janhunen 1986: 111–112, 179 и парадигмы на стр. 172–175, 177]). Внешнее сравнение указывает на чрезвычайную древность (по крайней мере прасамодийскую) историко-фонетического аналога данного генеративного правила, что позволяет нам ориентироваться на не столь глубинные адаптированные формы — с уже вставленным, но еще не редуцированным до нуля *ā*.

(R9) В формах аориста и производного от него претерита, а также в ряде форм императива глаголов с вокалической основой присутствует глубинный вокалический кластер на стыке основы и личного окончания (см. [Janhunen 1986: 115–116, 177]): *ḥaāw* аор. об. спр. 'я убил' = /*ḥaāwā*/ (ср. эн. *kaḍaabo*), *ḥaāwāš* прет. об. спр. 'я убил' = /*ḥaāwāšā*/ (ср. эн. *kaḍaaboši*). По-видимому, данное правило не распространяется на некоторые производные основы с вокалическим ауслаутом, в частности, на основы с суффиксами *-dā-*, *-bā-*.

(R10) Краткая форма деепричастия (инфинитива) глаголов с вокалической основой оканчивается глубинным вокалическим кластером, на что указывает, в ча-

стности, и постоянное обозначение долготы ауслатного гласного данной формы в записях Лехтисало: *χadā* 'убив, убить' = *χadaā* (ср. эн. *kadae*), *jilē* 'живя, жить' = *jilēā* (ср. эн. *iree*).

(R11) Поверхностной форме показателя условного деепричастия *-bʔ(-)* (или *-pʔ(-)*) соответствует глубинная форма */-bāʔ(-)/* (или */-pāʔ(-)/*, ср. эн. *-buʔ*, *-puʔ*, нган. *-buʔ*, *-hūʔ*).

Более редкие случаи расхождения между поверхностными и глубинными формами ненецких слов, а также многочисленные проблемы, возникающие при глубинно-фонологической реинтерпретации, освещаются ниже в комментариях к рассматриваемым текстам.

1.6. Диахроническая достоверность глубинной фонологии ненецкого языка в том виде, в каком она описана у Янхунена, дает объяснение тому, что базисные тексты ненецкого песенного фольклора строятся по силлабическим нормам глубинной, а не поверхностной фонологии. Исходные силлабические структуры ненецких слов, радикально преобразованные в обычной разговорной речи за счет вторичных процессов преимущественно редукционного характера, достаточно хорошо сохранились в песенной речи. Эта сохранность исходных структур не представляет собой что-либо мистическое и не доказывает глубокой архаичности соответствующих песен (среди рассматриваемых ниже текстов имеются песни несомненно новейшего происхождения). Янхунен справедливо указывает, что устранение с поверхности сегмента-ограничителя обеспечивается генеративным правилом довольно низкого уровня [Janhunen 1986: 110] — выражаясь иначе, историко-фонетическим процессом довольно позднего времени. Поэтому можно допустить, что этот элемент по-прежнему присутствует в ментальных образах соответствующих слов в сознании носителей ненецкого языка (если подобные образы представляют собой психологическую реальность; здесь, разумеется, было бы неуместным вдаваться в эту сложную проблему психологии речи), что и делает возможным его учет при версификационной деятельности. Важно, кроме того, отметить, что подлежащий полной редукции глубинный *ā* до сих пор изредка получает вполне материальную реализацию, проявляясь на поверхностном уровне в виде сверхкраткого гласного или гласного призвука. Стандартная орфография и практическая транскрипция обычно пренебрегают подобными эпизодическими проявлениями, но точные фонетические транскрипции Лехтисало в отдельных случаях отразили их, ср. [Lehtisalo 1947: 592] Oks. *jāḍāχāñv* 'am Abhange' (= *ядхана*, *jadχāna*, *jadāχāna*) или [Lehtisalo 1956: 469] O₂ *ḡōbʔ* 'einmal' (= *ḡobʔ*, *ḡōbʔ*, *ḡōbāʔ*) (примеры взяты из [Janhunen 1986: 125]). Отдельные неустойчивые следы не до конца подвергшегося редукции *ā* обнаруживаютс-я и в других источниках ненецкого языкового материала.

2. Метрика песенного фольклора

2.1. Здесь и ниже по мере возможности используется такая форма записи ненецких текстов, в которой оригинальное написание совмещено с глубинно-фонологической презентацией вокализма. С целью такого совмещения применяются круглые скобки, в которые заключается не отраженный в оригинальном написа-

нии сегмент-ограничитель (изредка и некоторые другие не отраженные в оригинальном написании фонетические элементы), и квадратные скобки, в которые ставится поверхностный элемент, соответствующий глубинному нулю (ср. (R6)).

После каждой стихотворной строки указываются в порядке очередности правила из раздела 1.5, использованные для установления ее глубинного вокализма, а также делаются отсылки к специальным комментариям в конце соответствующего текста.

Перед каждой строкой обычно ставятся две цифры, из которых первая указывает количество поверхностных гласных в оригинальной записи, а вторая — количество глубинных гласных (resp. слогов). В отдельных случаях явно ошибочное членение текста на строки, присутствовавшее в источнике, исправлено. Переводы фольклорных текстов заимствованы из оригинальных публикаций, отдельные незначительные изменения и уточнения не оговариваются.

2.2. Лирические песни

2.2.1. З. Н. Куприянова в книге «Ненецкий фольклор» приводит в разделе «Лирические песни» 26 текстов, среди которых преобладают тексты с четкой метрической организацией.

T1 [Куприянова 1960: 251, № 30].

5/6	Арка нэ(ā) яха	R7	Большая каменистая река
4/6	ламдик(ā) Вэрав(ā).	R1, R1	низенького моего Вэра,
3/6	нюв(ā) хана(ā)сь(ā).	R1, R9, R1	моего сына унесла.
5/6	Яву' ёр(ā)хана,	R2	В глубину моря,
5/6	иди' ёр(ā)хана	R2	в глубину вод
3/6	нюв(ā) хая(ā)сь(ā).	R1, K1, R1	ушел мой сын.
8/9	Тедаева' пили' яруам(ā)'. 5/6 Арка нэ(ā) яха	K2	До сих пор я все плачу.
5/6	Р7		Большая каменистая река
3/6	нюв(ā) хана(ā)сь(ā),	R1, R9, R1	унесла моего сына,
6/10	Г(и)рисако нюв(ā) хана(ā)сь(ā).	K3, R1, R9, R1	унесла Гришенку, моего сына.
7/9	Тедаева' ся(ā)' тут(ā)но[в]?	K4, R2, K5	Теперь когда он придет?
4/6	Теда' ни(ā) тут(ā)'	R9 + K6, R2	Теперь он не придет!
4/6	Степанув(ā) нюв(ā)	K7, R1, R1	Мой сын Степан
4/6	си'м(ā) вуни сэй(ā)'.	R1, R8	меня не жалеет.

Комментарии: (K1) Основа аориста и претерита глагола *χās* 'уйти' в различных ненецких диалектах выступает то как консонантная (аор. *χāja* 'он ушел' = /χāja/), то как вокалическая (аор. *χājā* = /χājaā/, см. [Janhunen 1986: 117–118]). Мы исходим из предположения, что в данном тексте реализована вторая из этих возможностей. (K2) Янхунен интерпретирует окончание 1 л. ед. ч. суб. спр. -*m*? как /-mā?/, ориентируясь на форму этого окончания в сочетании с показателем претерита — -*mānz* [Janhunen 1986: 176–177]. Поскольку, однако для претерита известен и вариант -*mz* (см., например, [Castrén 1854: 390 ff.; Прокофьев 1937в: 41]), то допустима и интерпретация данного окончания как не образующего особый глубинный слог. (K3) Трактровка орфограммы *Грисако* как *Гирисако* (или даже

Хирисако) весьма правдоподобна на фоне общих тенденций адаптации заимствованных из русского языка слов, ср. *грамм* ≈ *х̣рам* 'грамм', *крупа* ≈ *х̣рупа* 'крупа' [Терешенко 1965: 158]. (K4) В соответствии с (R5), поскольку существует форма без контракции *śax̣ā* 'когда'. (K5) В оригинальном написании отражен вставной согласный распева -в (ср. 1.4). (K6) Специально обратим внимание на присутствие глубинного *ā* в аористе отрицательного глагола *niś* в соответствии с общим правилом (R9), ср. эн. *nie* 'он не'. В то же время надо, однако, отметить отсутствие по какой-то причине соответствующего гласного в аористе усилительно-отрицательного глагола *winiś* двумя строками ниже. (K7) К сочетаниям типа *st-* в заимствованных словах ненецкий язык более терпим, чем к сочетаниям типа *gr-* (ср. (K3)), поэтому нет оснований предполагать нечто вроде **Сетепанув*.

Как можно видеть, для 11 строк песенного текста (из 14) устанавливается изо-силлабическая метрическая схема из 6 слогов. Весьма правдоподобно, что в единственной 10-сложной строке глагол *хана(ā)сь(ā)* избыточен (неточность надписки или записи) — в таком случае, и эта строка обращается в шестисложную. Метрическая аномальность двух 9-сложных строк связана, возможно, с особой экспрессивной выделенностью их содержания.

T2 (Куприянова 1960: 251-252, № 31).

3/6	Мань(ā) не(ā) нюв(ā),	R1, R7, R1	Мою дочь,
4/7	не(ā) нюв(ā) мз(ā)да'!	K7, R1, R9 + K1	дочь мою возьмите!
8/6+6	Мань(ā) не(ā) нюн(ā) амгада ягу(ā)!	R1, R7, R1 R9	У моей дочери чего только нет!
6/6	сидя сегакуда,		У нее колокольчиков две смены,
5/6	сидя ной(ā)куда.	R2	у нее сукон две смены.
5/7	Апой(ā) ной(ā)куда	R1 + K2, R2	Одни сукна она
5/6	сыра мзць(ā)тыда,	R3	использует зимой,
5/6	няби ной(ā)куда	R2	другие сукна она
5/6	нара' мзць(ā)тыда.	R3	использует весной.
6/7	Апой(ā) сегакуда	R1 + K2	Одни колокольчики она
5/6	сыра' мзць(ā)тыда.	R3	использует зимой,
6/6	няби сегакуда		другие колокольчики она
5/6	нара' мзць(ā)тыда.	R3	использует весной.

Комментарии: (K1) В нашем распоряжении нет достаточного количества данных о спряжении глаголов в императиве — тем более по такому специфическому глаголу, как *meś* — чтобы исключить возможность существования формы без глубинного вокалического кластера /*meda*?. (K2) Обычно адъективному суффиксу -j соответствует на глубинном уровне /-jā/, что и вынудило нас указать глубинный *ā* в слове *апой* (= *нопой*). Поскольку, однако, подобная интерпретация дважды нарушает метрическую схему текста, позволительно думать, что песенная речь допускает и трактовку этого слова как двусложного не только на поверхностном, но и на глубинном уровне.

В тексте господствует трехстопная трохеическая метрическая схема с цезурой после первой стопы. Три отклонения от этой схемы таковыми, возможно, не являются (см. комментарии).

Т3 [Куприянова 1960: 252, № 32].

4/6	Сидя (у)Рубцов(ā).	K1, R1	Два моих Рубцова,
6/7	эдавыда эб(ā)та	R11 + K2	если вы отдаёте (свою дочь),
4/6	мер(ā)' эда(ā)ри'!	K3, R9	быстрее отдавайте!
6/6	Маня 'парубива'		Мы спешим,
6/6	яна' понда хубта,		наша земля далеко,
5/6	сидя янэдэв(ā),	R1	два моих свата,
4/6	сидя (у)Рубцов(ā)!	K1, R1	два моих Рубцова!

Комментарии: (K1) Несмотря на [Lehtisalo 1956: 236] U rūp(ʃq̄β Sippenname, можно предположить существование произносительного варианта *urubcow* по аналогии со случаями типа [Терещенко 1965: 514] *ручка* ≈ *уручка* и т. д. (K2) Без применения (R11) можно обойтись, если форма 3 л. условного деепричастия (у)эбта от глагола (η)āš 'быть', по крайней мере в данном диалекте, отделилась от продуктивной парадигмы и подверглась глубинной переинтерпретации по правилам, касающимся простых (первичных) консонантных кластеров. (K3) На наличие глубинного сегмента-ограничителя между *r* и ' указывает, в частности, дериват *мерри* (не **мели* 'торопливо; рано'; ср. также эн. *mero*?, нган. *mera* (Кастрен *meáran*) 'скоро, быстро, рано'.

Все, за возможным исключением одной, строки этого короткого песенного текста изосиллабичны.

Т4 [Куприянова 1960: 254, № 38].

4/6	Ня(ā)р' яля' ямб(ā)	R5, R1	Целые три дня
5/6	Сяторэй(ā) лабтам'.	R1	Щучью равнину,
5/6	лабтам' мадабив(ā),	R1	равнину я пересекаю,
4/7	мада(ā) я' ма(ā)в(ā).	R10, R9, R1	пересечь не могу.
6/6	Лабта лама эвы,		Равнина широкая была,
6/6	лабта арка эвы.		равнина большая была.
4/6	Ня(ā)р' мадабив(ā),	R5, R1	Три (дня) пересекаю,
5/6	яля' мадабив(ā).	R1	(три) дня пересекаю.
7/6+6	Иб(ā)' о' мякан(ā)	R11, R1	Хотя мне домой
	хэсь(ā) тара(ā)сь(ā).	R1, R9, R1	ехать нужно было,
7/6+6	од(ā)' иб(ā)' од(ā)'	R3, R11, R3	и хотя
	мер(ā)' тара' ни(ā)[в],	K1, R9, K2	ведь нужно быстро,
5/7	тэва(ā) тара' ни(ā)[в],	R10, R9, K2	ведь нужно доехать,
11/6+	выборкана мань(ā)	R1	на выборах я
8	аркатам(ā)' а' ни(ā)дам'.	K3, R9, K4	ведь главный.

Комментарии: (K1) См. (Т3, K3). (K2) См. (Т1, K6). (K3) См. (Т1, K2). (K4) В оригинальных написаниях *аркатам'* (вместо нен. литер. *нарктам'*) и *нидам'* (вместо нен. литер. *нидм'*) отражены поверхностно-фонетические реализации сегмента-ограничителя, см. 1.6.

В данном тексте особого внимания заслуживает дважды использованный прием разбивки одной синтаксической строки, не укладывающейся в песенный метр, на две метрически правильные строки: 2-я и 3-я строки соответствуют синтаксическому целому *Сяторэй лабтам' мадабив* 'Щучью равнину я пересекаю',

а 7-я и 8-я строки — синтаксическому целому *Нар' яля' мадабив* 'Три дня я пересекаю'. Аналогичную разбивку (столь же или менее очевидную) можно обнаружить и в ряде других текстов; данный прием носит практически универсальный характер. Это позволяет предполагать, что по крайней мере в части случаев метрически неправильные строки в опубликованных текстах являются результатом воссоздания при надиктовке синтаксических строк, которые в реальном распеве разбиваются на несколько частей.

В двух случаях (4-я и 13-я строки) метрические отклонения (семисложник вместо шестисложника) связаны, вероятно, с тем, что при версификации игнорировалось правило (R10) и деепричастия *мада*, *тэва* трактовались как двусложные. Метрическое отклонение в последней строке может иметь экспрессивную природу, ср. T1.

Метрическая схема четырех рассмотренных выше текстов — изосиллабические шестисложные строки, состоящие из трех трохеических (изредка из двух дактилических) стоп, часто с цезурой после первой стопы, при редких отклонениях в сторону строк большей длины — характерна для подавляющего большинства лирических песен в собрании Куприяновой (см. №№ 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 45, с несколько большими отклонениями также №№ 23, 39, 42). В пяти текстах (№№ 24, 27, 36, 40, 44) метрические требования либо ослаблены, либо подчинены некоей существенно более сложной схеме. Наконец, в двух текстах (№№ 46 и 47), относящихся к жанру частушек, представлен, по видимому, девятисложник:

T5 (Куприянова 1960: 257, № 46).

6/9	<i>Сеня(ā)на выугы(ā) не(ā)'</i>	K1, K2, R7	Раньше тундровых женщин
6/9	<i>сымэй(ā) нэсь(ā) толамбиць(ā),</i>	R1, R1, R1	грязными считали,
7/9	<i>тедяхава' выугы(ā) не(ā)'</i>	K2, R7	теперь тундровые женщины
7/8	<i>арка серка'на тара(ā)'</i>	R9	в больших делах участвуют.

Комментарии: (K1) Глубинная форма */señāānal* с вокалическим кластером несколько проблематична — она опирается главным образом на аналогию *сеняня* 'прежде', *сеня* 'в прошлом' с *ханяня* 'где', *ханя* 'куда' (= */hāñāā'*?, см. [Janhunen 1986: 118]). (K2) Мы принимаем формант локативных прилагательных *-xi* (*-gi*, *-ki*) за двусложный на глубинном уровне условно, с учетом поведения этого форманта в других стихотворных текстах (ср. T6, K3), (T9, K5), (T13, K1, K3)).

В силу проблематичности ряда глубинно-фонологических интерпретаций (см. комментарии; неоднозначна и трактовка *не*? 'женщины' как */ñeā'*?, см. (R7)) вопрос о метрической схеме этого четверостишия нельзя считать решенным.

2.2.2. В коллекции Лехтисало [Lehtisalo 1947] жанр фольклора, соответствующий лирическим песням у Куприяновой, обозначен как *Rauschlieder* в соответствии с нен. *jabe šo*, букв. 'пьяная песня' (см. по поводу этого и других обозначений жанра: [Hajdú 1978: 145–146]). В соответствующей рубрике книги помещены 25 текстов (из них 4 — на лесном ненецком).

Записанные Лехтисало тексты здесь и ниже приводятся с транскрипционными упрощениями (оговоренными в [Хелимский 1982: 134–135], и, в дополнение к этому, с заменой диграфа *äe* на *ä*).

T6: *jabe'ma*, Vasili Sjadai [Lehtisalo 1947: 580–581, № 120].

6/6	<i>tēta wāsilēi!</i>		Vasili-Wirt!
6/6	<i>šide sālexana</i>		Auf zwei Landzungen
5/6	<i>šide tēhēnāw(ā).</i>	R1	sind meine zwei Bekannten.
6/6	<i>jāpta sālexana</i>		Auf der schmalen Landzunge
5/6	<i>xañžerōwanōw(ā),</i>	R1	ist mein <i>xañžerōw</i> -Weib,
6/6	<i>lāta sālexana</i>		auf der flachen Landzunge
5/6	<i>pārkalōwanōw(ā).</i>	R1	ist mein <i>pārkalōw</i> -Weib.
4/4	<i>šidem' salem'</i>		Auf beiden Landzungen
4/6	<i>ja(ā)m' nāmdālpim(ā)?</i>	R7, K1	ich beherrsche das Land.
5/6	<i>ōka jilībāw(ā),</i>	R1	Meinen grossen Reichtum,
4/6	<i>tē(ā) jilībāw(ā),</i>	R7, R1	meinen Renttierreichtum
4/6	<i>num(ā)' dařewi(ā).</i>	R8, K2	hat Gott geschenkt.
5/6	<i>jēse jilībāw(ā)</i>	R1	Meinen Geldreichtum
5/6	<i>nišen(ā) xājuwī.</i>	R1	hat mein Vater hinterlassen.
3/6	<i>nūn(ā) nūk(ā)čīn(ā)</i>	R1, R3, R1	Meine Kinder, Kinderchen
4/6	<i>num(ā)' dařewi(ā).</i>	R8, K2	hat Gott geschenkt.
5/6	<i>tam(ā)na tañewā</i>	K3	Weiter sind
5/6	<i>tiki(ā)n dāxana</i>	K4	ausserdem
5/7	<i>nā(ā)r' ju' šādōtāw(ā),</i>	R5 + K5, R1	meine dreissig Schönen,
5/7	<i>nā(ā)r' ju' miritāw(ā).</i>	R5 + K5, R1	meine dreissig Teuren.
6/6	<i>tēta wāsilēi!</i>		Vasili-Wirt!
4/6	<i>ja(ā)m' nāmdālpim(ā)?</i>	R7, K1	Ich beherrsche das Land.

Комментарии: (K1) См. (T1, K2). (K2) См. (T8, K2). (K3) Свидетельством глубинной трехсложности *tāma* 'еще' может служить, в частности, эн. *toona* то же. (K4) В составе слова *tiki* 'тот, этот' следует, очевидно, выделять локативный суффикс (см. (T5, K2)). (K5) Возможно, в данном случае правило (R5) к контракционной форме *nār* 'три' не должно применяться — в этом случае строка оказывается также глубинно шестисложной.

T7: *nāderi'* Weib [Lehtisalo 1947: 587, № 130].

5/6	<i>xāce' tēta nēd(ā)m'</i>	R3	Ich bin beinahe ein reiches Weib,
4/6	<i>xēp(ā)' sawo nūd(ā)m',</i>	R3, R3	die gute Tochter des <i>xēp</i> ,
5/6	<i>pādawēta jēr(ā),</i>	R1	Besitzerin des bunten (Fahrrenntieres),
6/6	<i>xāl'mereṭa nēbe.</i>		Mutter des Verstorbenen.

Таким образом, и записанные Лехтисало ненецкие песенные тексты в их глубинно-фонологической интерпретации опровергают мнение этого исследователя об отсутствии метра в ненецком песенном фольклоре (см. 1.1). В обоих процитированных текстах прекрасно прослеживается та же шестисложная метрическая схема, которая характерна и для большинства лирических песен из коллекции Куприяновой. Предварительный просмотр остальных Rauschlieder у Лехтисало позволяет констатировать, что строки из шести глубинных слогов решительно преобладают по крайней мере в половине из них (№№ 117, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133), а в остальных встречаются достаточно часто (хотя было бы рискованно утверждать, что во всех текстах представлена эта или какая-

либо иная метрическая схема). Отметим также, что шестисложник доминирует, по-видимому, и в четырех лесных ненецких песенных текстах (№№ 135–138) — если, конечно, считать возможным перенос на лесное наречие тех результатов, которые получены Янхуненом при изучении фонологии и морфонологии тундрового наречия ненецкого языка (по крайней мере с исторической точки зрения такой перенос правомерен).

2.2.3. Ненецкая фольклорная коллекция Кастрена, подготовленная к печати Лехтисало [Castrén, Lehtisalo 1940], содержит четыре песни рассматриваемого жанра (№№ 15–18). В той мере, в какой удастся устранить интерпретационные сложности, обусловленные отчасти архаичностью языка записей Кастрена, но в гораздо большей мере непоследовательностью транскрипции и в целом не вполне удовлетворительным качеством записей (следует учитывать, что ненецкие материалы собирались в начальный период экспедиционной деятельности Кастрена), в этих песнях обнаруживается хорошо знакомая нам метрическая схема.

Поскольку оригинальные записи Кастрена ввиду обилия диграфов, неразличения *и* и *w*, *χ* и *ʔ* и т. д. чрезвычайно трудно совместить с записями, отражающими глубинный вокализм, мы дополнили эти записи переводом в орфографию современного ненецкого языка (и заранее приносим извинения за возможные погрешности этого перевода). Заслуживают, однако, внимания те довольно многочисленные случаи, когда несовершенная и нестандартизированная транскрипция Кастрена отражает (в отличие от орфографии) поверхностно-фонетическую реализацию сегмента-ограничителя.

T8 [Castrén, Lehtisalo 1940: 295, № 15, начало текста].

<i>manji kāmjin(ah)</i>		Wir liessen uns herab
<i>jāmda kamjin(ah).</i>		in das Meer liessen wir uns herab.
<i>sjurnje jēndatah</i>		Im drehenden Strome
<i>anouu tsajah.</i>		ging unser Farhzeug unter.
<i>ob kājuu(v)eh,</i>		Ein (Brett) blieb ubrig,
<i>manj āmdeām(uh),</i>		ich setzte mich,
<i>lāta hājuu(v)eh,</i>		ein Brett blieb,
<i>lātakōri njenje</i>		nur auf dem Brette
<i>jāsida jērmjeh</i>		mitten im Meere
<i>manj hūljurnam(ah)</i>		schwimme ich (vom Wasser getrieben)
<i>siu(hō) jāleh.</i>		sieben Tage.
6/6	маня' ха '[ā]м(ā)ъяна'	R6, R2, K1
5/6	ямд(ā)' ха '[ā]м(ā)ъяна'.	R3, R6, R2, K1
4/6	сюр(ā)ня ендят(ā)'	R2, R3
5/6	янова' сзя(ā).	R9
4/5	ноб' хаювы(ā),	K2
3/6	мань(ā) ямды(ā)м(ā)';	R1, K3, K4
5/6	лата хаювы(ā),	K2
6/6	латакори' ниня	
4/6	я(ā)сид(ā)' ерня	K5, R3
4/6	мань(ā) ху' люрнам(ā)'	R1, K4
2/?	си '[и]в(ā) ... яля.	R6, R1, K6

Комментарии: (K1) В современном литературном ненецком языке — *ха'мына* 'мы спустились'. Зафиксированная у Кастрена форма, которую мы интерпретируем как *ха'амъяна*, носит диалектный или архаический характер; она близка к формам спряжения данного глагола в лесном наречии, ср. [Lehtisalo 1956: 168] Nj. *kā^mmjet^{1,2}* (3 л. мн. ч. аориста — ср. нен. литер. *ха'мыд* 'то же') и к предполагаемой глубинной форме (см. [Janhunen 1986: 142] о гласном, предшествующем окончаниям рефлексивного спряжения глаголов). (K2) Ряд однородных случаев, обнаруживаемых при анализе текстов Кастрена и отчасти Лехтисало, заставляет предположить глубинный вокалический кластер в форманте причастий (участвующем в образовании перфекта) *-wi (-mi)*. Напротив, многие современные тексты (см., например, 5-ю и 6-ю строки в (T4)) не дают оснований для такого предположения — возможно, вследствие постепенного процесса стирания различий между глубинным и поверхностным вокализмом. Вопрос нуждается в дополнительном изучении. (K3) О глубинном вокалическом кластере в спряжении «семирефлексивных» глагольных основ см. данные у Янхунена [Janhunen 1986: 142]. (K4) См. (T1, K2). (K5) *jaši* 'даль' (здесь: 'море') разлагается как *ja ši* 'букв. 'подобие земли', где первый компонент стоит в атрибутивной форме. Поэтому закономерно вступает в силу правило (R7). (K6) Элемент (*hō*) в оригинальной записи Кастрена не поддается интерпретации. Несомненно, однако, что этот элемент — будь он чисто вставным или же наделенным грамматической или лексической функцией — дополнял четырехсложную строку до шестисложной нормы.

Продолжение данного текста (всего в нем 98 строк) местами создает определенные трудности для интерпретации, однако метрическая схема первых строк выдерживается на всем протяжении текста практически безупречно.

T9 [Castrén, Lehtisalo 1940: 300–301, № 18, начало текста].

manj njámam(ah)
tjätum serkou,
manj poaderŋam(ah)
tjätum serkou,
manj hariem(ah)
tjätum serkov,
jäsidlin(ah)
manj harebim(ah)
tjätum serkow.
meäk tauiu(uh)
wuan mädlið(ah).
tjätum serkow
manj sjārám'ah,
meät(a) jādajjuu'(ah).
njom tjādaðam'ah,
meäki meäknah
huvihalti jānguh.

Ich fing
 meine vier Weissen ein,
 ich schirtte
 meine vier Weissen an,
 ich treibe zu gehen
 meine vier Weissen,
 in abseitige Gegend
 ich treibe
 meine vier Weissen.
 Zu den Zelten gelangte ich,
 die Hunde begannen zu bellen.
 Meine vier Weissen
 band ich (an),
 zum Zelte zu Fuss begab ich mich.
 Die Tür öffnete ich,
 im grossen Zelte
 ist niemand.

3/6 мянь(ă) ня'ма(ă)м(ă)
 4/6 тетăм' сэр(ă)ков(ă),
 4/6 мань(ă) подерŋам(ă)

R1, R9, K1
 R2, R1
 R1, K1

4/6	<i>т. с.</i>	
3/6	<i>мань(ā) харе(ā)м(ā)'</i>	R1, R9, K1
4/6	<i>т. с.</i>	
3/6	<i>я(ā)сид(ā)лин(ā)'</i>	K2, R3, K3
4/6	<i>мань(ā) харебим(ā)'</i>	R1, K1
4/6	<i>т. с.</i>	
3/6	<i>мяк(ā)' тэв(ā)ьюв(ā)'</i>	R3, K4, R3
3/7	<i>вэн(ā)' мад(ā)лы(ā)д(ā)'</i>	R8, R3, K4, R3
4/6	<i>т. с.</i>	
3/6	<i>мань(ā) сяр(ā)м(ā)'</i>	R1, R9, K1
4/6	<i>мят(ā)' ядальюв(ā)'</i>	R3, R3
3/6	<i>нё(ā)м' тяда(ā)д(ā)м'</i>	R7, R9, R3
5/6	<i>мякы(ā) мякана</i>	K5
5/6	<i>хибяхалт(ā) яңу.</i>	R1, K6

Комментарии: (K1) См. (T1, K2). (K2) См. (T8, K5). (K3) О глубинном гласном в окончании датива -н' см. примеры у Янхунена (например [Janhunen 1986: 144]). (K4) См. (T8, K3). (K5) См. (T5, K2). (K6) Мы исходим из допущения, что слово *яңу* 'нет, отсутствует' способно выступать и в качестве глагольной формы с ауслаутным вокалическим кластером согласно (R9), как в T2 (3-я строка), и в качестве частицы без такого кластера, как в данном случае или в следующем тексте (T10, K1). Этот второй вариант может быть инновационным (вполне понятно, что тенденция к контракции высокочастотных форм способна затрагивать не только поверхностный, но и глубинный уровень фонологии), однако нельзя исключить и исконное сосуществование обоих вариантов (ср. [SW: 40] о морфологической двойственности ПСС **jāṅkэ*(-)). Условно в каждом конкретном случае альтернатива решается исходя из соображений метрики.

В окончании данного текста, как и в двух не рассматриваемых здесь лирических песенных текстах Кастрена, доминирует та же шестисложная метрическая схема песенной строки.

2.3. Эпические песни

Количество и большой объем опубликованных произведений ненецкого песенного эпоса, сюдбабц (богатырских песней) и ярабц (песней-плачей о злоключениях героя), не позволяют нам охарактеризовать их метр с той же степенью детализации, как это было сделано в отношении лирических песен. Кроме того, специфическая сложность состоит в том, что опубликованные эпические песни записывались практически всегда под диктовку исполнителей, а не непосредственно с голоса или с фонограммы. При таком способе фиксации возникает опасность подмены поющего текста его более или менее точным прозаическим пересказом или по крайней мере воссоздания синтаксических единств, подвергаемых при пении разбивке ради удовлетворения метрических требований к длине строки (см. сделанные выше замечания по поводу T4). О том, насколько эта опасность реальна, свидетельствует сравнение текстов, расшифрованных с фонограмм [Добровольский 1965: 766–780], с помещенными в той же книге текстами тех же эпических произведений, которые, по-видимому, записывались под дик-

товку исполнителей [Куприянова 1965]. Так, в частности, рассматривавшийся нами в 1.4 строго ритмический фрагмент *Носитэтахана | сэва'н тяхад | мань илевэдм'* в основной части книги имеет вид синтаксически правильной, но, увы, лишенной четкого ритмического рисунка фразы *Сэва'н тяхад Носитэтана илевэм'* [Куприянова 1965: 544].

Несмотря на это, во всех основных публикациях ненецкого эпического фольклора удается обнаружить целые тексты или по крайней мере крупные фрагменты, которые могут служить иллюстрацией тезиса о глубинно-фонологическом изосиллабизме как фундаментальном свойстве ненецкого стиха. При этом для эпических песен, как и для лирических, преобладающей является метрическая схема шестисложной строки.

T10: *Си'ивда Ноёця* [Куприянова 1965: 59, 77, начало текста]. В оригинале текст напечатан в подборку, как если бы он был прозаическим; деление на строки принадлежит нам.

6/6	<i>Нероко яхако'</i>	
5/6	<i>тиркана џопой(ă)</i>	R1
6/6	<i>нюдяко мядеко.</i>	
3/7	<i>Сюд(ă)бабц(ă) хо(ă)сь(ă),</i>	R3, R1, R9, R1
5/6	<i>џопой(ă) пухуця</i>	R1
3/3	<i>илевы.</i>	
4/6	<i>џопой(ă) таня(ă)</i>	R1, R9
6/6	<i>хасава џацекы</i>	
5/6	<i>юд(ă)м' потокоця.</i>	R8
4/6	<i>Та(ă)' маль(ă)џгана</i>	R7, R3
3/3	<i>пухуця</i>	
6/6	<i>нероко яхако</i>	
6/6	<i>халяком' хадаби.</i>	
6/6	<i>Халякода няби</i>	
8/8	<i>халякохонда тэворџа.</i>	
8/10	<i>Пухуця савав(ă)на иле(ă).</i>	R3, R9
5/6	<i>Хэв(ă)ндяда яџу,</i>	R2, K1
5/6	<i>тов(ă)ндада яџу.</i>	R2, K1

На берегу ивняковой речки один маленький чум. Песня нашла: жила одна старуха. (У нее) есть один мальчик — десятилетний ребенок. В летнее время старуха в ивняковой речке добывает рыбу. Рыбы у нее хватает до другой рыбы. Старуха хорошо живет. Никто от нее не уходит, никто к ней не приходит.

Комментарии: (K1) См. (T9, K6).

Довольно очевидно, что по крайней мере некоторые отклонения от метрической схемы — скорее дефекты записи, нежели органические свойства текста. Так, седьмой слог в 4-ой строке легко устраняется при вполне естественной замене претерита *хось* на аорист *хо*; аномальная 6-я строка в распеве, вероятно, совмещается с 5-ой (*џопой пухуця илевы* > *џопой илевы | пухуця илевы*, ср. аналогичный прием в T4) и т. д.

T11: *jārapc* [Lehtisalo 1947: 347–348, № 74, начало текста].

4/6	<i>mañ(ā) xāsowāw(ā)</i>	R1, R1	Mein Mann ist der
6/6	<i>nādaŋgāi tēta.</i>		Njaadangai-Wirt.
6/6	<i>nādaŋgāi tēta</i>		Der Njaadangai-Wirt
2/?	<i>mā' nīw'?</i>	K1	sagte doch:
5/6	<i>«nā(ā)r' māndō' jāna</i>	R5, K2	«Im Lande der drei Maantoo
6/6	<i>xānišēdo nōka.</i>		gibt es viel Wildbret.
4/6	<i>nā(ā)r' māndō' jān(ā)'</i>	R5, K3	In das Land der drei Maantoo
3/6	<i>mañ(ā) xān(ā)tām(ā)'</i>	R1, K4, K5	begebe ich mich».
4/7	<i>mañ(ā) dařēm mā(ā)m(ā)'</i>	R1, R9, K5	Ich sagte so:
4/6	<i>«nā(ā)r' māndakōr(ā)</i>	R5, R1	«Drei Maantoo
6/6	<i>xīwerī xādaŋbi'.</i>		töten Menschen,
4/6	<i>nā(ā)r' māndakōr(ā)</i>	R5, R1	drei Maantoo
6/6	<i>sawo' wēñi' ā'.</i>		sind keineswegs gut».
6/6	<i>nādaŋgāi tēta.</i>		Der Njaadangai-Wirt,
4/6	<i>mañ(ā) xāsowān(ā)</i>	R1, R1	mein Mann,
7/7	<i>opōi jōnar tēda.</i>	K6	hat tausend Renttiere.
4/7	<i>mañ(ā) dařēm mā(ā)m(ā)'</i>	R1, R9, K5	Ich sagte so:
4/6	<i>«jōnařē(ā) dēř(ā)</i>	K7, R1	«Deine tausend Renttiere
4/6	<i>mēmañ(ā) teχī(ā)'</i>	R1 + K8, K9	sind mehr, als du halten kannst,
4/6	<i>amañ(ā) teχī(ā)'</i>	R1 + K8, K9	sind mehr, als du essen kannst.
4/7	<i>xuñā(ā)ŋ gān(ā)tān(ā)'</i>	K10, K4, R1	Wohin du gehst».

Комментарии: (K1) Глубинно-фонологическая интерпретация обоих слов проблематична; в любом случае, они не образуют метрически полноценной строки. (K2) Очевидно, *jana* — адвербиальное образование от *ja* 'земля', а не стяженная форма локатива *jaχāna*, поэтому можно воздержаться от применении правила (P5). (K3) См. (T9, K3). (K4) Будущее время от глагола *xās* 'пойти' (*xantadm'* 'я пойду' и т. д.) фактически образовано супплетивным способом — от основы глагола *χanāc* 'отправляться, уходить' (ошибочным представляется выделение основы *χan-*, см. [Терешенко 1965: 86]). (K5) См. (T1, K2), где оговорена и принципиальная возможность отсутствия глубинного гласного в окончании 1 л. ед. ч. *-m'*. Судя по поведению формы *mat'* как в данном тексте, так и в ряде других текстов, в этой глагольной форме реализуется именно эта вторая возможность: */maāt'*, а не */maātā'*; в таком случае, 9-я и 17-я строки на глубинном уровне тоже шестисложны. (K6) См. (T2, K2). (K7) Очевидно, перед нами аугментатив *jonařē'e* со стяженной формой аугментативного суффикса, что позволяет использовать правило (K5). (K8) В оригинальном написании Лехтисало (в отличие от орфографии) отражена поверхностная реализация глубинного *ā* в виде слабого вокалического призвуча (ср. 1.6): *m zēřmāřīř', ammařīř'*. (K9) См. (T8, K2). (K10) Долгий гласный второго слога в слове *χāñā'*, *χīñā'*, *χuñā'* (о котором см. [Janhunen 1986: 118]) в ряде других случаев ведет себя, по-видимому, как глубинный вокалический кластер. Если, однако, такая глубинная интерпретация этого гласного необязательна, то и в этой строке можно ограничиться выделением шести глубинных слогов.

Как явствует из (K5, K6, K10), все четыре отклонения от шестисложного стандарта в сторону строки из семи слогов связаны с проблематичными глубинно-фонологическими интерпретациями.

T12 [Castrén 1855: 311–312, № 1, начало текста]. Ср. другую публикацию того же текста в трех диалектных вариантах: [Castrén, Lehtisalo 1940: 1–33, № 1].

*Ja hoihiñe
ñahar piebeas,
ñahar jan deata;
ñopoi habidu?
Tabadoda habi.
Ñahar jan deata,
ñüdea piebendu?
side ñiedea;
ñüdea tañawy,
Ñesi Leatambada.*

Auf der Erde Landrücken
waren drei Brüder,
drei Renntierbesitzer der Erde;
ein Knecht derselben,
der Knecht Tabadoda.
Drei Renntierbesitzer der Erde,
bei ihrem jüngsten Bruder
(waren) zwei Frauen;
ein Sohn is da,
Ngesi Leatambada.

4/6	Я(ā) хой(ā) ниня	R7, R1
4/5	няхяр' пёбяс(ā),	R1, K1
5/6	няхяр' я(ā)' тэта;	R7
5/6	уопой(ā) хабидо',	R1
6/6	Табадода хаби.	
5/6	Няхар' я(ā)' тэта,	R7
5/5	нюдя пёбяндо'	K1
4/4	сидя неда,	
5/6	нюдя таявы(ā),	K2
6/6	Ѓэсы' Лэтамбада.	

Комментарии: (K1) В двух строках — 2-й и 7-й — находим пятисложник вместо шестисложника; создается впечатление, что в этом «повинно» слово *peba* 'младший брат', но никакими доказательствами его глубинной трехсложности мы не располагаем, ср. с тем же значением эн. *pebe*, ПС [SW: 121] **repä*. (K2) См. (T8, K2).

Две специальные темы (об именах ненецких эпических героев и о метрических свойствах колвинского коми эпоса), тесно связанные с проблемой метра ненецких эпических песен, рассматриваются в Приложениях 1 и 2 в конце этой статьи.

2.4. Шаманские песни

Термином «шаманские песни» мы обозначаем тексты, которые исполняет шаман во время камлания и которые содержат в себе обращения к божествам и к духам-помощникам; они представлены в фольклорных коллекциях Кастрена [Castrén, Lehtisalo 1940: 302–304, № 19] и Лехтисало ([Lehtisalo 1947: 469–545, №№ 81–102]; обозначены как Zaubерlieder). По своей функции (преимущественно аллокутивной, а не нарративной) и, как удастся установить, по своим метрическим свойствам тексты этой категории отличаются не только от лирических и эпических песен, но также и от близких им по содержанию песенных повествований о шаманах или о мифологических существах (ср., например, тексты, сгруппированные в [Lehtisalo 1947] под названиями Schamanistische und märchenhafte Lieder и Spuklied).

T13: *tībiče: nēmli* [Lehtisalo 1947: 469–471, № 81]. При воспроизведении этого текста объединены пары соседних строк, которые в публикации Лехтисало даны раздельно. Правомерность такого объединения следует из того, что в синтаксическом и семантическом отношениях «строки» публикации Лехтисало несамостоятельны, оказываясь фактически полустроками.

6/8	<i>mařēlawā nē(ā)jērwa(ā)!</i>	R7, R1	Fee der Paarungsstätte!
5/8	<i>χunānānt(ā) χāw(ā)nān(ā)?</i>	R1, R3, R1	Wohin bist du gegangen?
7/8	<i>ηāre_talē mēri_cun(ā)!</i>	R1	Noch näher herbei eile!
5/8	<i>salē mā(ā) nē(ā)jērwa(ā)!</i>	R1, R7, R1	Fee der Landzungenspitze!
7/8	<i>ηāre_talē mēri_cun(ā)!</i>	R1	Noch näher herbei eile!
6/8	<i>šīde_cādū? nē(ā)jērwa(ā),</i>	R7, R1	Fee der beiden steilen Anhöhen,
7/8	<i>sōmtabīnī? mālēngi(ā)</i>	K1	von der Zeit her, da ich erstarkte,
7/8	<i>ηōb(ā)? pintē šēnkarmāmi?!</i>	K2	einmal von mir Genächtigte!
5/8	<i>χunānānt(ā) χāw(ā)nān(ā)?</i>	R1, R3, R1	Wohin bist du gegangen?
6/8	<i>χāmpā_jaxā nē(ā)jērwa(ā)!</i>	R7, R1	Fee des Wellenflusses!
7/8	<i>ηāre_talē mēri_cun(ā)!</i>	R1	Noch näher herbei eile!
8/8	<i>nādan_kīni? χanōtana</i>	K3	Der im Schlitten Befindliche meiner Nadym-Bewohner,
7/8	<i>ηāw(ā)nānta χunānānta</i>	R3	früher irgendwann
8/8	<i>sōmtabīnī? mālēngana</i>		zur Zeit meines Gutwerdens
5/8	<i>šūd(ā)bāmi tañā(ā)ś(ā).</i>	R3, R9, R1	mein Riese war vorhanden.
6/8	<i>χunānānta χāb(ā)īēw(ā)?</i>	R11, R3 + K4	Wohin sollte er wohl gegangen sein?
7/8	<i>ηāw(ā)nānta χunānānta</i>	R3	Früher irgendwann
7/8	<i>šīw(ā)m_ηūde worko? nēbe</i>	R2	eine Bärenmutter mit sieben Jungen
5/8	<i>ηāw(ā)nānta tañā(ā)ś(ā).</i>	R3, R9, R1	einst war vorhanden.
7/8	<i>šīw(ā)m_ηūde worko? nīse!</i>	R2	Ein Bärenvater mit sieben Jungen!
8/8	<i>ηāri_talē mēri_cūdī?!</i>		Noch näher herbei eilet!
4/8	<i>šīw(ā)η_kārwa(ā) nē(ā)jērwa(ā)!</i>	R2, R1, R7, R1	Fee der sieben Lärchen!
6/8	<i>pāda_jaxā nē(ā)jērwa(ā)!</i>	R7, R1	Fee des Sackflusses!
7/8	<i>pāda_jaxā_māl(ā)χana</i>	R2	Am Oberlauf des Sackflusses
7/8	<i>šīde_pā(ā) jēšē-ηāju!</i>	R7	Eisenente der zwei Berge!
7/8	<i>χunanāndī? χāw(ā)nādi?!</i>	R3	Wohin seid ihr gegangen?
6/8	<i>ηārka? pā(ā)? nā(ā)jūna</i>	R7, K5	Auf der Seite des Urals
7/8	<i>šīw(ā)m_tōta χānawā!</i>	R2	siebenflüglicher Habicht!
6/8	<i>χunanānta χāw(ā)nān(ā)?</i>	R3, R1	Wohin bist du gegangen?
	<i>jexē-ī jexē!</i>	K6	Jehei! Hehei!
8/8	<i>tāχabāda tōwanōntu?</i>		Dennoch hört man sie kommen,
8/8	<i>salnē-īdū? mīmē-nōntū?</i>		ihre fröhliche Stimmen hört man gehen.
6/8	<i>šūd(ā)bēi jirikow(ā)</i>	R3 + K7, R1	Meinen riesenhaften Grossvater
8/8	<i>ηāni? tařem? māmonōnta:</i>		wieder so hörte man sagen:
7/8	<i>«šāmt(ā)χāde χora namna!</i>	R2 + K8	«Rauchig gewordener Stier im zweiten Jahr!
5/8	<i>šimsī_pānt(ā) χāw(ā)rīn(ā)?</i>	R1+K9, R3, K10	Neben deine šimsī-Stange
6/8	<i>ηāniwēn(ā) nāmtawēn(ā)».</i>	R1 + K11, R1	wiederum hast du dich gesetzt».
8/8	<i>šīde ηāju jēše ηāju</i>		Zweier Enten, Eisenenten,
7/8	<i>mokodāna sārwo-rīn(ā)?</i>	K10	an der Bindestelle der Grundstangen des Zeltes

8/8	<i>jěše kadī' wirkā-dūri'</i>		es ist nur das Herabgleiten der Eisennägel,
7/8	<i>jěše pije sāw(ā)rūri'</i>	R3	es ist nur das Anpochen des Eisenschnabels.
7/8	<i>šiw(ā)m tōta xānawā!</i>	R2	Siebenflügler Habicht!
6/8	<i>tāxabād(ā) tōwanōnt(ā).</i>	R1, R1	Dennoch hörte man dich kommen.
6/8	<i>šiw(ā)n tōnta wīw(ā)rūri'.</i>	R2, R3	Deiner sieben Flügel Rauschen nur ist.

Комментарии: (K1) См. (T5, K2). (K2) *ηob'* = */ηobā'/* 'однажды', в отличие от *ηob'* = */ηob'/* 'один' (см. [Janhunen 1986: 125]). (K3) Следует, видимо, считать, что на форму *nādan'kīni'*, где формант *-kī-* находится в срединной позиции, не распространяется глубинно-фонологическая закономерность, оговариваемая в (T5, K2). (K4) Форма *xāb(ā)jēw(ā)'*, вероятно, объясняется как комбинация формы 3 л. ед. ч. условного деепричастия от глагола *xās* 'уйти' с вопросительной частицей *-w(ā)'*. (K5) Глубинная интерпретация */nāājuna/* исходит из предположения о том, что данный послелог включает в себя генитив существительного *nā* ('товариш' и пр.), ввиду чего действует правило (R7). (K6) Междометное восклицание, не являющееся органической частью песенного текста. (K7) В оригинальном написании Лехтисало отражена поверхностная реализация глубинного *ā* в виде слабого вокалического призвуча (ср. 1.6): *šūδ^hēi*. (K8) В оригинальном написании: *šāmī^hχādā*, ср. (K7). (K9) В оригинальном написании: *pāni^h*, ср. (K7). (K10) См. (T9, K3). (K11) В оригинальном написании: *ηāniβēn^h*, ср. (K7).

На всем протяжении этого большого текста идеально выдерживается особенная (по сравнению с лирическими и эпическими песнями) метрическая схема — четырехстопная трохенческая строка с обязательной цезурой после первых двух стоп. Метр настолько четок, что сам по себе может быть использован как указание на глубинно-фонологические свойства слов текста. Эта метрическая схема вполне последовательно проходит и через все прочие шаманские песни из коллекции Лехтисало.

T14 [Castrén, Lehtisalo 1940: 302–303, № 19, начало текста].

<i>tāvida njammaguem'ah</i>	Dann aber ergriff ich
<i>nuum beau njammaguem'ah.</i>	meinen Himmelsbaum ergriff ich.
<i>seāmeän njāsanjin,</i>	Wieviele sind meine Kameraden,
<i>suum buda kāmarnaje'eh!</i>	mögen sie sich von mir beugen!
7/8 <i>Тахабида ня'мангум(ā)'</i>	K1
5/8 <i>нув(ā)' няв(ā) ня'мангум(ā)'.</i>	R8, R1, K1
4/8 <i>Ся(ā)мян(ā) няс(ā)нин(ā),</i>	K2, R1, R3, R1
8/8 <i>си'ми пыдо' ха'морная'!</i>	

Комментарии: (K1) См. (T1, K2). (K2) Слово *šātan* 'все, сколько ни есть' этимологически двухкомпонентно, причем первым компонентом является вопросительная основа *ša-*, самостоятельно не употребляющаяся, в форме генитива (ср. построенное аналогичным образом *šambir* 'сколько', из *ša' pir*). В силу этого действует правило (R7), как и в других подобных сложных словах (ср. (T8, K5)).

Метрическая схема, совершенно тождественная схеме из записанных Лехтисало шаманских песен, соблюдена и в остальных 49 строках этого текста.

Таким образом, все известные нам из опубликованных источников шаманские песни-заклинания едины во всех деталях своего метра, вплоть до обязательной цезуры после второй стопы. Напрашивается предположение, что в традиционной ненецкой культуре восьмисложной метрической схеме принадлежала сакральная значимость как обязательной форме песенного общения с миром духов во время камлания.

3. Метрика современной ненецкой поэзии

3.1. Традиционная метрика

За последние сорок лет было опубликовано свыше двадцати сборников стихотворений и поэм Ивана Истомина, Леонида Лапцуй, Василия Ледкова, Любови Ненянггы, Ивана Юганпелика, а также антологий произведений этих и некоторых других ненецких поэтов. Обращение к современной ненецкой поэзии позволяет констатировать, что в подавляющем большинстве случаев применение принципа подсчета глубинных слогов столь же правомерно, как и при рассмотрении метрики фольклора. Более того, значительная часть произведений повторяет две основные метрические схемы песенного фольклора — шестисложную и более редкую восьмисложную. Учитывая специфичность, «латентность» норм метрической организации песенного текста, оставшихся до сих пор не изученными и не описанными, речь может идти, разумеется, о прямой преемственности литературного поэтического творчества по отношению к песенной традиции, об интуитивном усвоении поэтами версификационных норм фольклора. В этом отношении современная ненецкая поэзия гораздо более национальна, чем, например, многие прозаические жанры, формировавшиеся путем переноса на ненецкую почву неизвестных ранее литературных форм. Заметим также, что использование в ненецкой поэзии рифмы (далеко, впрочем, не универсальное) обычно лишь накладывается на традиционный метр, никак не меняя его — тем более, что рифма не чужда и собственно фольклорным песням различных жанров, хотя чаще всего обеспечивается за счет тождества вставных слогов в конце каждой строки распева (см. [Добровольский 1965: 763]).

Среди названных выше поэтов особой фольклорностью, по крайней мере в отношении метрики, выделяются Леонид Лапцуй и Василий Ледков, в творчестве которых практически отсутствуют отступления от «классических» для песенного стиха схем.

Т15: Леонид Лапцуй, *Саванем' нэндав* [Лапцуй 1950: 20, 1-я строфа]⁴.

6/6 *Саване сядота,*

5/6 *Индата пир(а)тя.*

К1

Саване красива,

Ее дыхание сильное,

⁴ Тексты стихотворений приводятся с помощью тех же приемов, что и фольклорные песенные тексты (см. 2.1). В одном из сборников [Истомин 1953] имеются параллельные русские переводы, прочие переводы даны автором статьи.

- 5/6 *Нгэвада ен(ā) не,* R1 Женщина с головой цвета конопля (со светлыми волосами),
6/6 *Ненэся савя не.* Вправду хорошая женщина.

Комментарий: (K1) *pirta* (= *pirta*) — причастие от *pīrāc* 'мочь, быть в силах'.

T16: Леонид Лапцуй, *Мань Ямялми, вадёд'!* [Лапцуй 1950: 3, 1-я строфа].

- 5/8 *Еси, хой(ā) тан(ā)да(ā)* R1, K2, R10 Поднимаясь по речкам и горам,
7/8 *Яво' иде маторпа(ā),* R10 Пересекая воды больших рек,
6/8 *Нгэрм(ā) яна' тире' сер(ā)'* R1, R8 + K1 По поверхности нашей северной
земли
6/7 *Юн(ā) вада' хульорнга'.* R1 Распространяются слова известия.

Комментарий: (K1) Выступая в роли послелога, слово *ser*² 'дело' стоит в форме генитива (см. [Терещенко 1965: 549]).

T17: Леонид Лапцуй, *Ям' сидернада* [Лапцуй 1970: 7, 1-я строфа].

- 7/6+6 *Хамб(ā)' нгэв(ā)' ниня |* R2, R2 На вершинах волн небесные облака
нув(ā)' тир(ā)хав(ā)' R3, R2, R3
12/6+6 *Нгэмдёдакорыха |* Как сидящие гуси.
япто' толахак'.

T18: Леонид Лапцуй, *Нгын* [Лапцуй 1973: 38, 1-я строфа].

- 4/6 *Иринан(ā) нгын(ā),* R1, R1 Лук моих дедов,
5/6 *Сяха' соясан(ā)?* R1 Когда ты родился?
5/6 *Соямар(ā) яля* R1 День, когда ты родился,
4/6 *По(ā) тяхамы(ā),* R7, K1 Скрыт годами,
4/6 *Пили' юр(ā)вы(ā).* R2, K1 Совсем забыт.

Комментарий: (K1) У Лапцуя сохраняется характерная для архаичных текстов трактовка причастного форманта *-wi/-mi* как глубинно двусложного, см. (T8, K2).

В целом при анализе метрики стихотворений Леонида Лапцуя обнаруживается, что в сборнике 1950 г. в 12 стихотворениях применен шестисложник, в 2 — восьмисложник, в 1 — осложненная метрическая схема с чередованием восьмисложных (а также четырехсложных) и шестисложных на глубинном уровне строк. В трех других книгах поэта [Лапцуй 1970, 1973, 1980] все стихотворения и поэмы построены на шестисложной метрической схеме, т. е. без «вторжения» в сферу сакрализованной метрики.

T19: Василий Ледков, *Мань яхянан хэ'нё' хынукад'* [Ледков 1962: 15, 1-я строфа].

- 8/6+6 *Мат(ā)' материк(ā)' |* R3, R3 Перед ветрами шести материков
мерци' нер(ā)няд(ā) K1, R1
10/6+6 *Соя' мани' яни' |* Лицо моей родной земли открыто.
сята нянн(ā)ры(ā). R3, K2
9/6+6 *Валакада яни' |* Только с одной стороны моей земли
нгоб(ā)' хэв(ā)' няд(ā) R8, R2, R1

- 7/6+6 *Нгарка мят(ā)рев(ā)' | хой(ā) пангг(ā)ры(ā).* R3, R3 R1, R3, K2 Как большой чум, возвышается гора.

Комментарии: (K1) На присутствие глубинного гласного в ауслауте связанной основы *ner-* 'перед' (= /*nerā-*/) указывают, в частности, внешние соответствия, ср. ПСС **nerā* [SW: 110]. (K2) О типе основ с перегласовой ауслаутного -ā- в -i (-ы), за которым стоит глубинный вокалический кластер, см. предварительные замечания Янхунена [Janhunen 1986: 142].

T20: Василий Ледков, *Букварь* [Ледков 1960: 17, 1-я строфа].

- 5/8 *Пад(ā)тавы, пад(ā)бэй(ā)* R2, R2, R1 Расписной, пестрый,
5/8 *Бук(ā)варь(ā)м' ня'[a]м(ā)бим(ā)'* R3 + K1, R2 + K1, R6, R2, K2 Букварь я держу.
4/8 *Нумб(ā)ьян(ā) мал(ā)хан(ā)* K3, R1, R2, R1 Кончиком указательного пальца
6/8 *Пад(ā)тавы толабим(ā)'* R2, K2 Нарисованное читаю.

Комментарии: (K1) Как и в ряде других случаев, заимствованное слово *букварь* подвергается переосмыслению на глубинно-фонологическом уровне со вставкой неэтимологических в данном случае гласных. Ср. в ряде фольклорных текстов *кол(ā)хоз(ā)* согласно (R4) и (R1). (K2) См. (T1, K2). (K3) К *numbja* 'указательный палец' (= /*numbāja*/) ср. эн. *uboe* то же.

Большое количество образцов традиционной метрики можно найти и в произведениях других ненецких поэтов, ср.:

T21: Иван Юганпелик, *Ватане* [Юганпелик 1960: 6, 5-я строфа].

- 6/8 *Нгэрм(ā) яна' сей(ā)хана* R1, R2 В сердце нашей северной земли
8/8 *Халям' хадабавахана,* В добыче рыбы,
8/8 *Теням' вадабавахана* В выращивании лис,
7/8 *Ты(ā)м' вадабавахана —* R7 В выращивании оленей —
5/8 *Ся(ā)мян(ā)' серк(ā)' нана',* K1, R2, R3 Во всех наших делах,
8/8 *Нгока манзаяханана'* Во многих наших трудах
6/8 *Тариця не(ā) саць(ā) нгока.* K2, R1 Есть очень много таких женщин.

Комментарии: (K1) См. (T14, K2). (K2) Уникальный случай распространения правила (R7) и на номинатив односложной основы структуры CV. В фольклорных текстах такие номинативы встречаются чрезвычайно редко (вероятно, из-за плохой совместимости с трохеем); по крайней мере в одном из литературных текстов они трактуются как односложные — см. T15, 3-я и 4-я строки.

3.2. Другие принципы метрической организации стиха

Приведенные примеры отражают значение принципа глубинно-фонологического изосиллабизма в ненецкой поэзии. При просмотре доступных нам изданий ненецкой поэзии удалось, однако, обнаружить и два стихотворения, принадлежащие Ивану Истомину, в которых, судя по всему, применен метрический принцип изосиллабизма на поверхностном уровне.

T22: Иван Истомин, *Нгарка Сталин е'эмня* [Истомин 1953: 7, 1-я строфа].

8	<i>Ненця' Родиnamдо' мэне'.</i>	Ненцы любят свою Родину.
8	<i>Ненця' столицамдо' мэне'.</i>	Ненцы любят свою столицу.
8	<i>Москва столицаханана'.</i>	В нашей столице Москве
8	<i>Маня' Сталин вождьва' илесь.</i>	Жил наш вождь Сталин.

В этом стихотворении количество глубинных слогов в каждой из строк не поставлено, поскольку глубинно-фонологическая интерпретация ряда заимствованных слов (*Родина*, *Москва*, *вождь*) неоднозначна. Однако совершенно очевидно, что никакой вариант интерпретации не дает строк, равных по числу глубинных слогов.

T23: Иван Истомин, *Я' понггана* [Истомин 1953: 17–18].

7/9	<i>Нгэдо' сата' хян(ā)ни ты(ā)'</i>	R2, R7	Быстроногие олени моей упряжки
7/9	<i>лабта'яв(ā)на нявоты(ā)'</i>	R3, K1	несутся вскачь по равнине.
8/8	<i>Мзбета тобаха'нандо'</i>		Крепкими своими копытами
7/8	<i>нюлак(ā) сыри тьяндамби'.</i>	R1	брызгами бросают мягкий снег.
7/10	<i>Пас(ā)кой(ā)', ламбэй(ā) нямдодо'</i>	R3, R2, R1	Красивые, ветвистые рога
7/9	<i>саць(ā) пирцяв(ā)на пэрьядо'.</i>	R1, R3	они несут очень высоко.
8/10	<i>Ямб(ā) пэмдидо' нерад(ā) мерця</i>	R1, R1	Длинную шерсть на их шеях
			встречный ветер
7/8	<i>сиди яв(ā)ня тярьяда.</i>	R3	раздваивает.

Комментарий: (K1) См. (T19, K2).

При подсчете числа поверхностных слогов выявляется определенная формула построения строфы (7-7-8-7), тогда как количество глубинных слогов варьируется бессистемно.

Наконец, нужно заметить, что использование силлабического стихосложения вообще не является универсальным для ненецкой поэзии (как, возможно, и для песенного фольклора). Яркий пример пренебрежения силлабическими нормами дает сравнение двух вариантов одного и того же стихотворения Ивана Истомина:

T24: Иван Истомин, *Ямалндер ню' е'эмня*

а [Истомин 1953: 27–28]

б [Вы' хынонга 1959: 19–20]

- | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|
| (1) | <i>Нумда нимнян пэвсюмдана.</i> | <i>Нумда нимнян пэвсюмда.</i> |
| | <i>Мань нгэсын нгэдалым.</i> | <i>Мань посёлкан нгэдалым.</i> |
| | <i>Ниня харебада тет парисе'эми</i> | <i>Сава тет парисе'эми</i> |
| | <i>тэри ихиндо' сиднгэды'.</i> | <i>Тэри ихиндо' сиднгэды'.</i> |
| (2) | <i>Таняна нгэсыхына, клуб' ниня</i> | <i>Посёлкахана клуб' ниня</i> |
| | <i>нярьяна флаг лабавтёдакы.</i> | <i>Флаг лабавтёдакы.</i> |
| | <i>Таня', нгэсын хувыняна</i> | <i>Таня' нгани' хувыняна</i> |
| | <i>нгока хан' ты тутнакы.</i> | <i>Нгока ты хан тутнакы.</i> |
| (1) | <i>Небо надо мной темнеет.</i> | <i>Небо надо мной темнеет.</i> |
| | <i>Я в посёлок еду.</i> | <i>Я в посёлок еду.</i> |
| | <i>Неподгоняемая четвёрка черных</i> | <i>Хорошая четвёрка черных</i> |
| | <i>спокойно рысью бежит.</i> | <i>Спокойно рысью бежит.</i> |

- | | |
|--|--|
| (2) Там в поселке, на клубе
красный флаг, наверно, висит.
Туда, в поселок к утру
Много упряжных оленей, наверно,
придет. | В поселке на клубе
Флаг, наверно, висит.
Туда опять к утру
Много оленьих упряжек, наверно,
придет. |
|--|--|

Поэтому в целом ряде случаев бывает нелегко оценить, имеем ли мы перед собой текст с тенденцией к изосиллабизму на глубинном уровне (но с более или менее значительными отклонениями от единой метрической схемы или с модифицированным набором глубинно-фонологических правил), или же текст с тенденцией к изосиллабизму на поверхностном уровне (но также с отклонениями от единой метрической схемы), или же, наконец, не организованный с точки зрения силлабики текст. Так, например, обстоит дело со стихотворными произведениями Любови Ненянггы. Вероятно, в подобных пограничных случаях использование одного только письменного текста недостаточно — для правильной метрической оценки потребовалось бы прослушивание стихов в авторском исполнении или песни на соответствующие слова, если таковая имеется. Кстати, следует полагать, что построение значительной части ненецких поэтических текстов на базе метрических и версификационных норм традиционного пения обеспечивает потенциальную (и, вероятно, фактическую) совместимость их с традиционными национальными мелодиями.

4. Заключительные замечания

4.1. Наложение глубинно-фонологических представлений на ненецкие стихотворные тексты фольклорного и литературного происхождения позволило нам обнаружить в значительной части этих текстов четкую метрическую организацию и выделить основные ее формы.

Главным лингвистическим следствием этого должен быть вывод о существовании особой фонетики ненецкой песенной речи (распространяющейся, возможно, и на декламационную речь при чтении стихов), которая существенно отличается от фонетики обыденной, разговорной ненецкой речи, но в отношении своего вокализма чрезвычайно близка тому былому состоянию ненецкой фонетики, которое отражает предложенная Янхуненом модель глубинной фонологии ненецкого языка. С этой точки зрения стихотворные тексты (особенно фольклорные произведения архаичного характера) могут служить немаловажным дополнительным источником для не только синхронного (глубинно-)фонологического, но и для исторического изучения языка. Разумеется, при этом следует принимать во внимание, что фонетика песенной речи не представляет собой застывший слепок старины: в отдельных отношениях она обнаруживает тенденцию к сближению с фонетикой разговорной речи, тем более значительную, чем к более позднему времени относится возникновение стихотворного текста (это обстоятельство отражено в некоторых комментариях к рассматривавшимся выше текстам). Некоторые исходные фонетические структуры (в частности, вокалические кла-

стеры
чью уж
4.2.
рошо и
счете с
немое
[Жирм]

Еще
сколт,
сенной
гласны
разно у
обыден
даже до

4.3.
нешког
Не буд
почел
характе
произв
шей по
силлаб
показат

Наи
ненецк
в нгана
песнях
ного на

kojka
tunin
ñürä
ñetär
h"aa
kojka
sara

В эт
строк в
следова

5 Ср.
глубинн
ря на то
ческого
6 <В
схема —
также [Т

стеры глубинного уровня в неграмматикализовавшихся позициях) песенной речью уже, по-видимому, полностью утрачены⁵.

4.2. Описанная ситуация представляет собой довольно близкую аналогию хорошо известной в стиховедении французской верификационной традиции: при счете слогов во французском стихе принимается во внимание так называемое немое *e* (*e muet*), которое в разговорной речи обыкновенно не произносится [Жирмунский 1975: 23].

Еще один бесспорный аналог — саамская система песенной речи в диалекте сколт, описанная М. Корхоненом [Korhonen 1983]. Существенным отличием песенной речи от разговорной является полное (нередуцированное) произношение гласных, которые присутствовали в общесаамском языке и которые целесообразно учитывать как самостоятельные фонологические единицы, но которые в обыденном произношении редуцируются до слабого вокалического призвука или даже до нуля звука.

4.3. Полученные результаты позволяют поставить вопрос о соотношении ненецкого стиха с другими уральскими системами силлабического стихосложения. Не будучи специалистом по соответствующей проблематике, автор статьи предпочел бы воздержаться от сколь-нибудь решительных выводов, тем более, что характерные для ненецкой метрики шестисложник (в лирических и эпических произведениях) и восьмисложник (в шаманских песнях, отчасти также в новейшей поэзии) представляют собой наиболее элементарные метрические схемы силлабического стихосложения [Kecskés e. a. 1984: 26–29] и поэтому наименее показательны при сопоставлении различных традиций.

Наиболее очевидной представляется связь — скорее всего, генетическая — ненецкого шестисложника с аналогичной метрической схемой, обнаруживаемой в нганасанских лирических (личных, «пьяных») песнях *bəlj* и иноказательных песнях *kəjŋəirsə* (см. [Хелимский 1989а])⁶. Ср. следующий отрывок из записанного нами в 1986 г. в Усть-Аваме от Тубяку Костеркина нганасанского *kəjŋəirsə*:

kojkə hiram' a'ku
tunimiðə nii
nürəimüntü h"aa
hetəurubada'.
h"aa ɲojbu nii
kojkə taðu' saŋku
sarəruh"adaðə.

Шайтанской сопки
 На плоскую вершину
 Похожее на жердь дерево
 Поставлено.
 На вершину дерева
 Церковный колокол
 Привязан.

В этой связи внимания заслуживает и явное преобладание шестисложных строк в камасинской песне, записанной К. Доннером [Donner, Joki 1944: 87] и исследовавшейся Дж. Лотцем [Lotz 1977: 487–488].

⁵ Ср., например, постоянную (в фольклоре и в поэзии) трактовку основы *ni-* 'сын' как глубинно односложной в таких случаях, как *niw* 'мой сын', *nuda* 'его сын' и т. д., несмотря на то, что исторически гласный основы представляет результат контракции дифтонгического сочетания (ср. эн. *nio*, нган. *niä*).

⁶ В нганасанской традиции прекрасно представлена и вторая основная метрическая схема — восьмисложник шаманских песнопений. См. в настоящем сборнике с. 155–158, а также [Таймырский этнолингвистический сборник... 1994].>

С другой стороны, восьмисложник шаманских песен вызывает естественную ассоциацию с основным размером «Калевалы» и в еще большей мере — с такими финно-угорскими вариантами восьмисложника, которые предполагают обязательную разбивку строки цезурой на два полустушия (4 + 4) — они хорошо известны, в частности, из венгерского [Papp 1955–1956; Galdi 1977; Kecskés е. а. 1984: 27] и мордовского [Paasonen 1910; Lotz 1977: 488] песенного фольклора. Восьмисложник хорошо представлен также в саамском стихосложении, а близкий ему четырехударник с колеблющимся, но обычно близким к двум числом слогов в каждой из ударных групп — в обско-угорских традициях [Kálmán 1962: 178–179; Шмидт 1985]. Как известно, уже в наиболее ранних сопоставительных исследованиях по финно-угорской метрике высказывалась мысль об общем происхождении восьмисложных размеров, об исключительной древности данной метрической схемы; впрочем, достаточно давнюю традицию имеют и сомнения по поводу возможности прямого отождествления данных из различных финно-угорских версификационных систем [Négyesy 1884: 84 ff.]. Однако по крайней мере ссылки на самодийский (ненецкий) материал как якобы подтверждающий, что древнейшие финно-угорские формы версификации не предусматривали точного счета слогов⁷, оказываются несостоятельными.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Имена героев ненецкого эпоса

Характеризуя ненецкий эпос, З. Н. Куприянова сообщает, что в богатырских песнях сюдабц «герои зачастую отличаются один от другого только по именам, которые в подавляющем большинстве случаев даются или по кличкам оленей героя, или по его внешнему облику, или по одежде (например: Светлый Ездовой Бычок, Черный; Довольно стройный, Довольно Высокий Хозяин; Белая Малица; Хозяин Ябта Саля, Железный Пояс, Суконное Одеало и т. п.)». В песнях-плачах ярабц «имена, как и в сюдабц, даются по оленям, которыми владеют герои, или по каким-либо особым внешним признакам, например: Пыя Яб (Длинноносый), Эбт Яб (Длинноволосый), Иксяда (С Короткой Шеей), Париде Хабт (Черный Бык) и т. п. Герои ярабц носят и имена, совпадающие с родовыми названиями: Неркыхы, Сусуй, Нядгы (лит. Нядагы), Тасиний Яр и т. п.» [Куприянова 1965: 31, 46].

Существует, однако, еще одно — чисто формальное — свойство эпического ономастикона: он состоит почти исключительно из имен, которые либо в своей основной форме, либо в той форме, в какой они реально употребляются в текстах, шестисложны или (реже) двенадцатисложны на глубинно-фонологическом уровне. Связано это, разумеется, с построением ненецких эпических песен на основе метрической схемы шестисложника (см. 2.3) и с тенденцией выделять при пении имя эпического героя, отводя для него целую песенную строку или даже две строки. Следует подчеркнуть, что именем героя должно считаться не только имя в узком смысле (например, родовое название), но целое словосочетание, ко-

⁷ Ср.: «Teljesen bizonyosnak tartjuk a finnugor vers alapelvének, a tagoló versnek közös finnugor voltát: e szabad szótagszámú tagoló vers ősi jellegét a szamojéd verselés is igazolja» [Galdi 1977: 475]. См. также [Lehtisalo 1937].

торо
соци
рик»
«Три
В
новой

С
Си [и
Си [и
Нэва
Сиде
Сиде
Пэко
Тиван
Ненэ
Есь(а
Яво'
Яво',

Ко
тольк
генит
Сиде
данно
второ
Возмс

Си
Сидя
Хасуи
Арка
Нюдя
Си [и
Си [и
Не(а)
Нюдя
Вэх(а)
Нин(а)

Ком
зовано
что эле

8 Об
на книг
(см. [Ку

торое часто включает в себя определение («Младший», «Старший»), указание на социальный статус, пол или возраст персонажа («Хозяин», «Оленевод», «Старик», «Женщина»), у собирательных имен нередко также числительное («Два», «Три», «Семь») и т. д.

Вот как выглядят имена героев двух эпических песен из коллекции Куприяновой [1965]⁸:

Си'ивда Ноёця

Си [и]в(ā)да Ноёця (61, 'семь одежд')	R6, R2
Си [и]в(ā) Сэротэта (62, 'семь Сэротэта')	R6, R1
Ѓэва Сыхыдёда (62, 'завязанная голова')	
Сиде Парисе'э (63, 'два черных (быка)')	
Сиде Сэр(ā?) Хабт(ā) (64, 'два белых быка')	K1, R1
Пэкоця Хухур' (65, 'каменный знак на возвышении')	K2
Тивак(ā) Вакацям' Сякалпандараха (66, 'словно кусающий кусок легкого')	R2
Ненэй(ā) Сеяд(ā) (66, 'серебряный щит на груди')	R1, R1
Есь(ā) Тота ерв(ā) (67, 'хозяин с железными крыльями')	R1, R1
Яво' Таркахэця (69, 'житель морских заливов')	
Яво' Мял(ā)хэця (69, 'житель морских мысов')	R2

Комментарии: (K1) В принципе, за написанием *сэр' хабт* может стоять не только */ser' xəbtā/* 'белый бык', но и */serā' xəbiā/* 'бык белого цвета' (с формой генитива, к которой применимо правило (R8)). Интересно отметить, что, хотя *Сиде Парисе'э* и *Сиде Сэр' Хабт* составляют коррелятивную пару персонажей в данном произведении, слово *хабт* 'бык' эксплицитно присутствует только во втором имени, что, несомненно, обусловлено метрическими требованиями. (K2) Возможно, *Пэ(ā)коця Хухур'* или *Пэкоця Хухур(ā)'*.

Сидя Сэротэта

Сидя Сэротэта (213, 'два Сэротэта')	
Хасуцяко Ацъ(ā) (213, 'молодой Хасуцяко')	R1
Арка Сэротэта (213, 'старший Сэротэта')	
Нюдя Сэротэта (214, 'младший Сэротэта')	
Си[и]в(ā) Пыряти (214, 'семь Пыряти')	R6, R1, K1
Си[и]в(ā) Тасиний(ā) (215, 'семь Тасиниев')	R6, R1, R1
Не(ā) Тасиний(ā) (216, 'женская (женщина) Тасиний')	R7, R1
Нюдя Тасиний(ā) (216, 'младший Тасиний')	R1
Вэх(ā)ля вэсако (221, 'старик Вэхля')	R3
Нин(ā)'мя Ябтако (221, 'тонкая талия')	K2

Комментарии: (K1) Куприянова [1965: 741] указывает, что имя *Пыряти* образовано от *пыря* 'шука'. Способ образования нам неясен, но можно предполагать, что элемент *-ти* содержит два глубинных слога. (K2) Инлаутная последователь-

⁸ Об используемых приемах подачи материала см. 2.1. В скобках указываются страница книги, на которой встречается соответствующее имя, и его приблизительный перевод (см. [Куприянова 1965: 738–750]).

ность $-n^2$ может быть (согласно [Janhunen 1986]) только результатом редукции сегмента-ограничителя между n и 2 .

Метрически «правильные» имена героев указывают на наличие метрической структуры и у тех эпических произведений, в опубликованных вариантах которых изосиллабизм строк не просматривается или просматривается с большим трудом.

Эти наблюдения позволяют, помимо всего прочего, подчеркнуть отсутствие у ненецких эпических произведений прямой связи с реальными событиями национальной истории. Можно полагать, что никакое историческое лицо — ни храбрый воин, ни богатый оленевод, ни мудрый старейшина — не смогло бы войти в национальный эпос под своим действительным именем, если бы только это имя не было глубинно шести- или двенадцатисложным (что в обыденном ненецком ономастиконе бывает достаточно редко).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Силлабика стиха в колвинско-коми эпических песнях

С ненецкой эпической традицией самым прямым образом связан песенный эпос колвинцев. Среди этой небольшой группы с двойственным (коми и ненецким) этническим самосознанием «бытуют оригинальные эпические произведения, которые исполняются на коми языке, но их основными героями являются ненцы, персонажи из ненецкого эпоса, их основная тематика ненецкая. Сами певцы, отдавая должное ненецкой и коми культуре в формировании такого рода эпических произведений, не называют их ни *сюдбабц*, ни *ярабц*, хотя и весьма близки к ним, ни коми песнями, хотя используют все их языковые средства. Обычный термин для их обозначения — это *яран съыланкыв* 'ненецкая песня' или *съылэмен яран мойд изъватас кылён* 'ненецкая поющая сказка на коми-ижемском наречии'» [Микушев 1969: 19].

Образцы колвинско-коми эпоса, опубликованные Э. Васойи [Vászolyi 1967, 1968] и А. К. Микушевым [1969], свидетельствуют о характерном для текстов этих песен изосиллабизме стихотворных строк.

Так, 203 строки песни *Сват да сваття* («Сват и сватья»; [Микушев 1969: 228–237, № 26]) распределяются по своей длине в слогах следующим образом:

- 6 слогов — 2
- 7 слогов — 10
- 8 слогов — 156
- 9 слогов — 26
- 10 слогов — 7
- 11 слогов — 2

Резкое преобладание восьмисложных стихотворных строк дополнительно подчеркивается наличием крупных фрагментов, состоящих целиком из строк данного размера, ср., например, строки 47–60:

*Видзьёдö тай, шуас нин и:
«Код инö тая локтö нин,
Кутшöм пи инö локтö нин,*

*Смотрит и спрашивает
«Кто же это едет,
Чей это сын,*

Код
Кут
Свят
Бөр
Вит
Сван
Зэв
Зэв
Айö
Айö
Чом
Кро
441–44
щаюши

5
6
29
69
136
137
138
146
165
176
186
192
195
198
199

Это
тически
неточно
тора, н
ности,
щееся с
Сред
дание в
№№ 25
гов, в т
ческого

9 Ср
было М
осущест
1968: 76

Код инö тая локтö нин,
 Кутишöм пи инö локтö нин?»
 Святтыыс öбессö сиптис,
 Бөр тай пырис да и пуксис,
 Вит орчча сера ним вурö.
 Сватыс тай и воис да и,
 Зэв бодрöя дадьсö домис,
 Зэв бодрöя тувчалö тай,
 Айö дорö эз и сувтлы,
 Айö дорö эз и сувтлы,
 Чомйö тай миме пырис да.

Кто же это едет,
 Чей это сын?»
 Прикрыла сватья двери,
 Снова села
 Шить нарядные пимы.
 Прибыл сват,
 Очень бодро упряжку привязал,
 Очень бодро он ступает.
 Около чума отца даже не остановился,
 Около чума отца даже не остановился,
 Сразу в чум прошел.

Кроме того, сравнение с другой публикацией того же текста [Vászolyi 1967: 441–444] позволяет внести в ряд невосемисложных строк исправления, превращающие их в восьмисложные, ср.:

(Микушев)	(Vászolyi)
5 Көрныдтö сибöдыштлö	Környdte nin šibedyšle
6 Асывнас водздэжык сувтö	Asynas vožžyk süteda
29 Маличасö тай насъталис да	Malčase taj paštalis da
69 Мыля жö он и мун тэ?	Myl'a ine on i mun te?
136 Карабö пырталисны	Karabl'ae pyrtalisnys
137 - // - - // -	- // - - // -
138 Карабыд тай пöри нин	Karablayd taj pöri nin
146 Караб мыш вылас кайис	Karabl'a myš vylas kajis
165 Чом дорö тай воис да	Čom dore taj vois da i
176 «Да пöв тай», — висъталин	«Da pö taj» — vištalin — «loas»
186 Нывлы тай висъталисны	Nyly taj vištalisny nin
192 Айыс тай нин, коньöр, пöрысь нин	Ajys taj, koñer, pörys nin
195 Важ бур рöбöчöйö	Važ bur röbeščeje, šeta
198 Мöд пöлöвинанас ме ола	Möd pölevinas me ola
199 Уна нин ме трудитчи	Una me nin trudičci da

Это дает основания предполагать, что «идеальный» текст данной песни практически целиком состоит из восьмисложных строк, а отклонения вызваны либо неточностями надиктовки и записи, либо необдуманными поправками публикатора, нарушающими метрический рисунок текста (такой характер носит, в частности, замена в четырех строках слова *карабля* ‘корабль’ на *караб*, употребляющееся с тем же значением в других коми диалектах)⁹.

Среди других колвинско-коми песен, опубликованных Микушевым, преобладание восьмисложных строк (на уровне 70–90% всего текста) обнаруживается в №№ 25, 27, 28, 31. В текстах №№ 23 и 24 преобладающая длина строки — 7 слогов, в тексте № 22 — 6 слогов (это единственный прямой аналог ненецкого эпического шестисложника), в тексте № 29 — 5 слогов.

⁹ Ср. также аномально длинную строку *Сылön völi нимыс Небыд юрсиа нин* ‘Ее имя было Мягкие волосы’ [Микушев 1969: 218, № 25]. Аномалия возникла вследствие осуществленной публикатором «комизации» имени героини-ненки: согласно [Vászolyi 1968: 76], данная строка звучит *Sylen völi nimys Ödderči*.

Напротив, в подавляющем большинстве коми баллад и эпических песен, не связанных с колвинской традицией (№№ 1–21 в коллекции Микушева), длина строки в слогах весьма неустойчива и на преобладающую размерность приходится, как правило, не свыше 30–40% всех строк текста (хотя коми лирическим песням известно и силлабическое стихосложение, восходящее преимущественно к русским образцам). Это позволяет считать, что колвинско-коми эпические песни, возникшие в своем большинстве путем перевода ненецких песен, сохранили — по крайней мере в форме сильной тенденции — изосиллабизм стиха, характерный для их первоисточников.

No
domir
as f
foot.
Ar
transc

marë
xunā
ñāre
salë
ñāre
šide
sōmt
ñōb(c
xunā.

An

ñerät
täñä c
küä h
ñirku
šelu l
horäc
maðä
ämäd

NE
cerned
deep p
thus e

• B
Budape

DOES THE LANGUAGE OF SPIRITS INFLUENCE THE DEVELOPMENT OF HUMAN LANGUAGE?*

The Metrical Pattern of Shamanic Verse

Northern Samoyedic shamanic verse is composed exclusively (Nenets data) or predominantly (Nganasan data) of isosyllabic lines with eight syllables as four trochaic feet in each, normally with a caesura after the second foot.

An example from Nenets (after [Lehtisalo 1947: 469–471, No. 81], with modified transcription):

marēlawā nē(ā)jēr(ā)w(ā)!
χunānānt(ā) χāw(ā)nān(ā)?
ḡāre tale mēri:cun(ā)!
salē māl(ā) nē(ā)jēr(ā)w(ā)!
ḡāre tale mēri:cun(ā)!
šīde čādū? nē(ā)jēr(ā)w(ā),
sōmtabīnī? māl'engī(ā)
ḡōb(ā)? pintē šēḡkarmāmi?
χunānānt(ā) χāw(ā)nān(ā)?

Fee der Paarungsstätte!
Wohin bist du gegangen?
Noch näher herbei eile!
Fee der Landzungenspitze!
Noch näher herbei eile!
Fee der beiden steilen Anhöhen,
von der Zeit her, da ich erstarkte,
einmal von mir Genächtigte!
Wohin bist du gegangen?

An example from Nganasan (recorded in 1989; shaman: Tubiaku Kosterkin):

ḡerəbtū'kü' munda'ki'am:
təḡə d'erdə ḡuə d'alī,
kūə h"aa bəd"ajl'amu,
nīrku h"aa bəd"ajl'amu,
šelu bābi bəd"ajl'amu,
horəd'aḡə šimtiḡda,
maḡajtaḡə nājbigətə iməd'əi
əməd'alī tiitiḡda...

Afore I-start-speaking:
(On a) midsummer heavenly day,
when a birch tree grows-well,
when an asp tree grows-well,
when a bare-horned wild-reindeer grows-well,
when-became-perforated my-leaf,
my-guests, who-came from-distant-land
on-this-day when-they-entered...

NB: The isosyllabicity of lines is transparent in Nganasan. As far as Nenets is concerned, it is revealed through a non-trivial procedure of bringing a poetic text into its deep phonological shape by adding deep vowels (marked here with parenthetic *ā*) and thus eliminating the results of innovative processes that affect the vocalism and the

* Впервые опубликовано в: Shamans and Cultures. Ed. by M. Hoppál and K. D. Howard. Budapest, 1993. P. 210–214.

general phonetic shape of Nenets words in colloquial speech, while sung forms and the norms of versification remain practically intact (see for details [Хелимский 1989б]).

An added deep vowel in Nenets, just as any vowel in Nganasan (usually including also each of the components of a long vowel [= tautovocalic sequence] or of a diphthong), corresponds to one mora and is calculated as a separate unit when counting syllables.

The principle of eight syllables refers only to shamanic incantations — that is, to songs performed by a shaman and his assistants and addressed to the world of spirits, or songs which are supposed to belong to spirits who come at the shaman's call and sing through his lips.

In contrast, poetic narratives on shamanic topics such as the life histories of celebrated shamans, descriptions of shamanic journeys, and mythological tales, belong to «secular» poetry and, whenever metrical, follow a different pattern shared with epic, personal and lyric songs. This metrical pattern requires isosyllabic lines with six syllables (three trochaic or two dactylic feet) in each. Thus, the metrical opposition 8 : 6 in traditional versification directly correlates with the opposition sacred : profane (or: language of spirits : human language). The same metrical pattern of shamanic verse is also found in South Siberian Turkic traditions (see [Кенин-Лопсан 1987]).

Selection of suitable word forms and the shaping of language

The metrical pattern of the shamanic verse determines the specific distribution of words of different length in syllables, with marked preference given to bisyllabic and tetrasyllabic words. This is demonstrated by data for different types of texts in Nganasan (a fragment of a narrative text, a fragment of a tale, and two fragments of shamanic incantations — each containing 300 words):

Length in syllables	Narrative text		Tale		Incantation I		Incantation II	
	Number of words	%	Number of words	%	Number of words	%	Number of words	%
1	8	3	5	2	4	1	4	1
2	60	20	69	23	101	34	109	36
3	89	30	97	32	37	12	20	7
4	91	30	96	32	140	47	140	47
5	30	10	24	8	9	3	19	6
6	19	6	9	3	8	3	8	3
7	1	1						
8	1				1	0		
9	1							

Taking into consideration that:

a) shamanic incantations are mostly improvised at a relatively high speed (even if they include standard portions), and the quality of versification is determined by previous individual experience rather than by a special preparation of texts;

b) it is
bi- and tetra-
c) it is
groups of 1
d) a shi-
the issues
it can be as
a) shan-
Northern
quently, w
these langu
b) shan-
tentially d
especially
These
Samoyedic
— suff
'I', tod'i 'th
— pres
Nen. -xVna
— abun
Ngan. -SU
-HAMHU-
tion), -SOM
— coex
fix, which
-TU and -T
— idea
Nganasan;
jected to p
nomenon
[Хелимский]

The sim
and the met
the differen
long vowel:
nate mainly

The disc
much-discu
(1955)) and

¹ There a
were hardly c

b) it is expedient to a Northern Samoyedic shaman to have at his disposal as many bi- and tetrasyllabic word forms as possible;

c) it is necessary to be able to use traditional formulae for making whole lines or groups of lines while singing;

d) a shaman, as the spiritual leader of a community, ranks as its higher authority in the issues of poetry and language (cf. [Revunenkovna 1989]) — it can be assumed that:

a) shamanic activity must be an important or even leading factor for enriching Northern Samoyedic languages with bi- and tetrasyllabic word forms and, consequently, with bisyllabic suffixes and suffixal combinations (as long as pure stems in these languages are for the most part bisyllabic).

b) shamanic activity must withstand trends of linguistic development which are potentially dangerous for the structural (syllabic) integrity of words and poetic formulae, especially the reductive processes.

These assumptions appear to be useful in evaluating many features of Northern Samoyedic linguistic evolution (or conservative trends), for instance:

— suffixal enlargement of personal pronouns, such as Nen. *mañ(ā)* 'I', En. *mod'i* 'I', *tod'i* 'thou', Ngan. *məñə* 'I', *təñə* 'thou' (PSam. **mān*, **tān*, cf. Selkup *man*, *tan*);

— presence of «co-affixes» in some case suffixes, such as suffixes of the locative: Nen. *-χVna*, Ngan. *-tənu* (PŪr. **na/-nā*);

— abundance of bisyllabic verbal suffixes, mainly of secondary origin, such as Ngan. *-SUə-* (past tense), *-ʷSUTə-* (future tense), *-HATU-* (inferential mood), *-HAMHU-* (renarrative mood), *-KIʷə-* (resultative present), *-MUʷə-* (name of past action), *-SəMU-* (nomen loci) etc.;

— coexistence of parallel — monosyllabic and bisyllabic — forms of the same suffix, which «fit» correspondingly stems with odd and even numbers of syllables, such as *-TU* and *-TUə* (present participle), *-KəC* and *-KəCTə* (relative) in Nganasan;

— ideal preservation of vocalic «skeletons» of words (including diphthongs) in Nganasan; the same phenomenon in Enets (despite the fact that this language was subjected to profound reductive processes in the domain of consonants)¹; the same phenomenon in Nenets songs as distinct from colloquial Nenets (see above and [Хелимский 19896]).

Common Uralic Framework

The similarity between the metrical pattern of Northern Samoyedic shamanic verse and the metre of Kalevala (and of Balto-Finnic traditional poetry in general) is obvious; the differences are hardly relevant or primary (for examples, monosyllabic treatment of long vowels in Balto-Finnic metrics is probably due to the fact that these vowels originated mainly from the lengthening of short vowels).

The discovery of Northern Samoyedic octosyllabic verse sheds new light on the much-discussed problem of the Finno-Ugrian origin of the Kalevala metre (see [Papp 1955]) and places this problem on the Common Uralic level.

¹ There are no records of Enets shamanic incantations, but the principles of versification here were hardly different from those in the Nenets and Nganasan traditions.

In view of recent research stressing the probable shamanistic background of the Kalevala, where charms as transformed shamanic incantations occupy about one fifth of a whole text [Oinas 1989: 277; Pentikäinen 1989], and the role of shamans as possible creators of epics [Siikala 1986], a hypothesis can be suggested according to which the metre of Kalevala was originally the metre of shamanic incantations, distinguishing sacred language from ordinary discourse.

There are also many common features in Northern Samoyedic and Balto-Finnic ways of adopting language to metrical requirements (see for example, the morphological peculiarities of Kalevala, which enlarge the share of metrically suitable word forms [Евсеев 1960: 165–167, 285–292] or the tetrasyllabicity of the names of many epic heroes, starting with *Ilmarinen*, *Väinämöinen*, and *Lemminkäinen*). There is hardly any doubt that the influence of poetry — and therefore, according to the above hypothesis, of the language of spirits — should not be disregarded when viewing the linguistic evolution in Balto-Finnic.

Last but not least, it is interesting to remark that the octosyllabic verse — if it is really of common Uralic origin — is best preserved exactly in those traditions where linguistic evolution did not result (at least until recent times) in the systematic reduction of final vowels and in other major changes of the syllabic structures of words (Balto-Finnic, Northern Samoyedic, partly Mordvinian). To what extent was the preservation or loss of the original language structures related to higher or lower activities of shamans?²

² <See also [Helimski 1995b], section 10.>

ЗАИИ
И

Сообщ
работы с
на полн
незадолг
осущест
наблюде
ванными

В отл
нические
собную
креплен
эффекти
говоря у
ем впечат
ры сверх
ние конт
тактивак
которые,
определе
тый хара
тельным
том числ

Харак
теркина
иноэтни
выступл
вновь пс
Владими
цы, изго
рассматр

* Впер
ная конфе
См.

ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИИ И СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ НГАНАСАНСКОГО ШАМАНА *

Сообщение опирается в первую очередь на данные, собранные в ходе полевой работы с нганасанским шаманом Тубяку Костеркиным (Нгамтусуо), в частности, на полный текст и перевод песнопений из сеансов камлания, проводившихся им незадолго до кончины, летом 1989 г. (расшифровка и комментирование текстов осуществлялись нами совместно с его дочерью Надеждой Костеркиной) ¹. Наши наблюдения сопоставимы и хорошо коррелируют и с фактами, засвидетельствованными в других шаманских традициях Сибири.

В отличие от религии или идеологии, шаманистические представления и технические приемы представляют собой принципиально открытую систему, способную вбирать в себя личный опыт и мировосприятие отдельного шамана (закрепление инновации в локальной традиции напрямую связано с авторитетом и эффективностью практики данного шамана). Картина мира и даже пантеон (не говоря уже о команде духов-помощников) могут модифицироваться под влиянием впечатлений, полученных шаманом в ходе экстатических путешествий в миры сверхъестественных сил. Важным фактором модификаций оказывается внешние контакты. Изменение внешних условий жизни, появление новых реалий подталкивают шамана к вступлению в контакт с теми сверхъестественными силами, которые, по его представлениям, связаны с подобными новшествами и способны определенным образом воздействовать на них. Кроме того, публичный и открытый характер шаманских обрядов делает возможным, а иногда и весьма желательным присутствие или даже активное участие в них посторонних людей, в том числе и не входящих в соответствующий этноязыковый коллектив.

Характерными показателями открытости в шаманской практике Тубяку Костеркина были его готовность проводить «показательные» сеансы перед большой иноэтнической аудиторией (заметим, что и другие нганасаны не считали такие выступления профанацией шаманского дела), использование во время камланий вновь появившихся атрибутов — от долганской шаманской куртки до иконки Владимирской Божьей Матери и нагрудного украшения из чугунной пепельницы, изготовленной в виде головы Мефистофеля. В этом же контексте следует рассматривать и трансформацию Николая Угодника, популярность которого в

* Впервые опубликовано в: Традиционные культуры и среда обитания: I Международная конференция. Тезисы. М., 1993. С. 98–100.

¹ См. [Таймырский этнолингвистический сборник... 1994: 30–106].>

народной православной традиции открыла ему путь в пантеоны некоторых языческих религий Сибири, в одного из основных духов-помощников Тубяку Костеркина — в Железного Коня Микулуску, который управляет «крепким паспортом» и имеет в своем распоряжении «тысячи каменных людей, тысячи железных русских, рождение всех машин». Ряд характеристик Микулуски и его собственные монологи² свидетельствуют о том, что он синкретически совмещает возможности и интересы, соотносимые с православным христианством, с советским строем и с нетрадиционными для нганасанов технологиями.

Лишь на первый взгляд может удивить неоднократное повторение в текстах песнопений идеологических клише и призывов коммунистического толка (перестройка к 1989 г. еще не успела дойти до таймырской тундры). Фактически идеология трактуется в (не столь уж чуждом ей) мифологическом плане. Так, лексика и фразеология упоминаний о Ленине повторяет тексты мифов о сотворении земли и ее воссоздании после потопа (ср.: «добрый рост жителей расстеленной Лениным земли», «отцовский закон и материнский закон, расстеленные Лениным»). Отметим, что идеологическая правоверность вряд ли может рассматриваться как выражение взглядов самого покойного шамана, который обычно сторонился так называемой «общественной жизни» (хотя и не был изолирован от СМИ), а в прошлом подвергался репрессиям за приверженность единоличному хозяйствованию и шаманскую деятельность.

Очевидно, господствующая советская идеология воспринималась Тубяку Костеркиным в точности так же, как его предками-шаманами воспринималась государственная православная религия: как совокупность верований другого народа (русского), отличающаяся от нганасанской системы верований, но заслуживающая уважения и внимания. Апелляция к чужим религиозно-идеологическим понятиям и образам полезна в той мере, в какой пришедшие извне инновации затрагивают повседневную жизнь. Прямая преемственность, собственно говоря — идентичность (с точки зрения нганасанов) носителей православия и коммунистической доктрины закономерно обусловили совмещение соответствующих мотивов в шаманской ритуальной практике.

² Как и другие духи-помощники, Микулуска в ходе сеанса непосредственно обращается к аудитории устами «отключающегося» при этом шамана.

НГАИ

Во время
возможностей
нием к свое
имея письм
ет высокок
традиции. Е
языке (того
верждать, ч
несомненно
который су
сти), но он
имел возмо
го сельског

Судя по
ними этног
терству ша
ванного во
основным
протяжени
(нган. *kajja*)
образные п
стилистиче
(например,
ворные, ин
формы с эм
гола. Непр
мечались, з
бенно если
быть компе
поводу син

* Впервые
further reflex
G. Zaicz. Buc

НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ*

Во время своей полевой работы на полуострове Таймыр я имел немало возможностей для наблюдения над языковыми навыками нганасанов и их отношением к своему родному языку. Все мои наблюдения убеждают в одном: даже не имея письменности, этот народ — или, точнее, его старшее поколение — обладает высокоразвитым стандартизированным литературным языком, языком устной традиции. Более того, у них есть традиция культуры речи, сознательной заботы о языке (того, что по-венгерски называется «nyelvművelés»). Нельзя, разумеется, утверждать, что нганасаны в этом отношении уникальны (по крайней мере одну несомненную параллель представляет собой гомеровский древнегреческий язык, который существовал и развивался в течение столетий до появления письменности), но они очевидно отличаются от других этнических групп, с которыми я имел возможность работать — тазовских селькупов, ижемских коми или русско-го сельского населения.

Судя по многочисленным свидетельствам самих нганасанов и работавших с ними этнографов, этот народ всегда придавал исключительно важную роль мастерству шаманских песнопений, искусству исполнения и навыкам квалифицированного восприятия эпоса и легенд (их рецитация служила важным занятием и основным развлечением во время пурги, а значит — на Таймыре — ежегодно на протяжении многих недель), владению особым языком иносказательного пения (нган. *kajjajirša*). Характерной чертой нганасанов были систематические и многообразные проявления языкового пуризма, жесткий контроль за правильностью и стилистической адекватностью собственной речи. В специально подготовленном (например, автобиографическом) повествовании предпочитались необщеразговорные, иногда слегка тяжеловесные полипредикативные конструкции, именные формы с эмфатическими клитиками, относительно редкие финитные формы глагола. Неправильное употребление слов или грамматические ошибки всегда отмечались, зачастую исправлялись, а иногда и высмеивались слушателями (особенно если совершивший их рассказчик, в силу своего возраста, должен был быть компетентен в вопросах языка). Многие были склонны к размышлениям по поводу синонимии и тонкостей семантики, интересовались внутренней формой

* Впервые опубликовано на английском языке: Nganasan as a literary language — and further reflexions on literary languages // Zur Frage der uralischen Schriftsprachen / Hrsg. von G. Zaicz. Budapest, 1995. S. 149–153.

(этимологией) имен, особенно имен собственных — причем не только в ситуации беседы с исследователем-лингвистом, провоцирующей такого рода размышления.

Это может показаться парадоксальным, но, возможно, именно национальные традиции внимания к языку могли способствовать очень быстрым темпам утраты родного языка молодыми нганасанами, которые росли (с начала 1960-х годов) в смешанном долгано-нганасанско-русском языковом окружении и воспитывались в русскоязычных детских садах и школах-интернатах. Темпы эти были столь высоки, что в ряде семей старики — нганасанские монолингвы — вообще не способны общаться со своими русскоязычными внуками без помощи промежуточного поколения (обычно двуязычного, а в худшем случае — «полужычного», то есть не владеющего в достаточной степени ни одним языком). При этом — по крайней мере во многих известных нам случаях — ни со стороны бабушек и дедушек, ни со стороны родителей, вопреки явной коммуникативной потребности, не наблюдается желания активизировать скудные и фрагментарные познания детей в нганасанском языке, превратить его хотя бы в их второй, после русского, язык. Не определяется ли это сознательным или неосознанным следованием пуристическому максимализму: «Пусть уж лучше они совсем не говорят на нашем языке, чем будут коверкать его»? (Опасения эти небезосновательны: нганасанский язык настолько сложен, что практически никому из выросших вне «чистой» языковой стихии не удастся говорить на нем без значительных погрешностей. Кстати, нганасаны единодушно, и не без гордости, оценивают свой язык как особенно сложный по сравнению с соседними языками, особенно с долганским.)

Так или иначе, нганасанский язык разработанностью своей лексики (в частности, в «интеллектуальной» сфере) и богатством стилистических возможностей контрастирует с малочисленностью самого языкового коллектива (не более 1000 человек) и относительной узостью сферы своего функционирования.

Высказанные выше оценки могут быть сочтены слишком субъективными. Есть, однако, и объективные признаки и последствия культивирования нганасанами своего языка. Это в первую очередь архаичная нганасанская морфонология — очень сложная и внешне противоречивая, но абсолютно последовательная и во всех «противоречивых» случаях мотивированная исторически (ср. чередование ступеней согласных, гармонию гласных, отражающую фонетические свойства скорее протонганасанских фонем, чем их соответствий в современном языке, и др.). В речи младшего поколения (к которому принадлежат и нганасаны, учившиеся в Ленинграде и работавшие с исследователями в 1970-е — 1980-е годы) некоторые морфонологические правила уже не соблюдаются — но формы, которые и сегодня можно услышать от пожилых носителей языка, в этом отношении безупречны и идеально соответствуют полуторавековой давности данным М. А. Кастрена.

Нганасанский язык представляет собой, по-видимому, очень редкий, если не уникальный случай. Увы, пример его вряд ли можно считать положительным: социальные и экономические потрясения последних нескольких десятилетий, особенно сравнимая по своим последствиям с геноцидом кампания по «переводу кочевников на оседлый образ жизни», несут смертельную угрозу существованию нганасанского народа, его языка и культуры.

Однако этот пример — наряду с некоторыми другими соображениями — заставляет поставить вопрос о том, насколько целесообразна и эффективна стандартная модель формирования новых литературных языков (создание письменности — выпуск школьных учебников — школьное преподавание языка — появление национальной интеллигенции — использование в средствах массовой информации), особенно когда речь идет о языках небольших этнических меньшинств. Не следует ли направить усилия в первую очередь на сохранение и изучение устной традиции народа (в ее естественной, живой устной форме), на поддержку (моральную, а также материальную и социальную) признанных мастеров фольклора, на создание оптимальных условий для сохранения «малого» языка в традиционной сфере его функционирования?

Аргументы в пользу названной выше «стандартной модели» настолько хорошо известны, что я не буду излагать их здесь (пусть мое мнение не покажется из-за этого пристрастным и односторонним!). В основном они сводятся к стремлению повысить престиж языка за счет расширения сферы его функционирования.

Я убежден, однако, что это расширение должно основываться на объективной необходимости, а не только на желаниях и амбициях отдельных людей. Прекрасно, если этого требуют реальные нужды языкового коллектива (хорошим примером может служить развитие политической терминологии в саамском языке, связанное с деятельностью в Норвегии, Швеции и Финляндии регионального Саамского Совета и местных парламентов [национальных собраний] саамов). В противном случае результаты могут быть плачевны. Достаточно вспомнить обязательные и типичные для бывшего Советского Союза идеологические передовицы, политические или информационные статьи в газетах, издававшихся в автономиях на национальных языках (коми или мордовском, калмыцком или якутском), — тексты, переполненные русскими заимствованиями, чужеродными синтаксическими конструкциями, семантическими и фразеологическими кальками. Характерной чертой этих текстов было то, что их вполне могли читать — понимая хотя бы общий смысл — русские, совершенно не владеющие соответствующим национальным языком, но они оставались почти или совсем непонятными для тех представителей коренной национальности, которые не говорили свободно по-русски. Абсурдность такого «развития» языка, такого, чисто механического и формального, способа «расширения» сферы его функционирования очевидна.

Очень серьезная опасность состоит в том, что многие методы так называемого «культурного строительства» в Советском Союзе, его дух и его стереотипы кладутся теперь в основу «национального возрождения» народов России, а возможно, и других государств бывшего СССР. Подходы к формированию литературных языков также требуют изучения и пересмотра. Для национальных и языковых меньшинств во многих отношениях оказывается полезнее сохранять свою культурную самобытность, а не следовать путем других народов в бесплодной надежде превратиться в их уменьшенные копии.

УРАЛИСТИКА

PROTO-URALIC GRADATION: CONTINUATION AND TRACES*

1. Introductory remarks

1.1. It is difficult to find a topic that is more traditional in the Uralic linguistics, or considered more «typically Uralic» by linguists beyond this domain, than consonant gradation — the morphonological alternation of stronger and weaker grades of word-medial consonants and consonant clusters, determined by synchronic (surface) or historical (underlying) differences between phonetic positions. This phenomenon is known from several languages of the Uralic family.

During the first half of our century the problem of the age and origin of consonant gradation was perhaps the most intensively discussed comparative and historical issue. In the last decades it was gradually buried in half-oblivion, without, however, being solved. I would like to express my special gratitude to Vladimir Antonovich Dybo, who — now already about twenty years ago — cautioned me against following the contemporary routine and viewing the theory of gradation as only a museum relic.

1.2. The new (but only partly new) treatment of the old problem in this paper results basically from:

A. Placing the focus on Nganasan (Tawgi), a Uralic language in which the mechanisms of consonant gradation are more consistent and productive than anywhere else. The Nganasan language, insufficiently investigated until recently, seems to deserve a special prize for archaic relics, not only for this one (cf. [Хелимский 1993]).

B. Paying special attention to rhythmic («suffixal») gradation, which often remained overshadowed by syllabic («radical») gradation, and to the distinctions between these two forms of gradation.

C. Attempting to correlate the presence or absence of consonant gradation in individual Uralic languages with certain other features within a single typological framework.

2. The lot of the gradation theory

2.1. The presence of phenomena, that look very similar to consonant gradation in Finnic and Lapp, also in Samoyedic languages (Nganasan and Ket' Selkup), has since Castrén's times (see [Wiklund 1913: 197]) been the strongest reason to suspect their PUr. origin. O. Donner was possibly the first to postulate the consonant gradation as

* Впервые опубликовано в: *Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars I: Orationes plenariae et conspectus quinquennales*. Jyväskylä, 1995. P. 17–51.

the principle common to Finno-Ugric and Samoyedic, but with its details obscured by secondary developments [Donner 1881: 236]. His preliminary claims were supported and developed by K. B. Wiklund [1907: 47, 1913–1919], E. N. Setälä [1911], and A. Sotavalta [1912, 1914]. Especially interesting were the conclusions drawn from the comparison between Finnic, Lapp, and Samoyedic in Wiklund's «Stufenwechselstudien» [1913–1919], see references to this work below. This line of research has been continued also by B. Collinder [1940: 98–99, 1948].

2.2. The most peculiar stage in the history of the problem started with the following promising assertion:

«Es lässt sich im samojedischen ein stufenwechsel konstatieren, welcher prinzipiell dem finnisch-ugrischen ähnlich ist. [...] Eine untersuchung der finnisch-ugrischen lautgeschichte muss den blick stets auf das samojedische gerichtet haben» [Setälä 1911: 15].

It turned out, however, that — unlike Wiklund — Setälä and his follower H. Paasonen essentially failed to understand the essence of Finno-Ugric-Samoyedic gradation. In their works morphonological mechanisms are confused with phonetic correspondences between languages and dialects and remain deep in their shadow — a mistake unpardonable even in the years when the term «morpho(pho)nology» did not yet appear. Paasonen's work [1917], valuable as a collection of Uralic and Samoyedic etymologies, is full of most strange claims. E. g., its author declared the paradigmatic alternations *k* : *g* in Nganasan and Ket' Selkup secondary and emphasized instead such instances as Nen. *nāhar* — *nār* 'three' (this purely dialectal phenomenon was projected back to PUr. **k* : **γ*), or explained the divergent reflexes of PSam. **nt* in the following way: «Jur[akisch], K[amassisch] *n* = schwache Stufe, T[awgy] *nt* usw. = starke Stufe» [Paasonen 1917: 56–58, 91].

Regretfully, it were not the early reasonable treatments of Finnic gradation by Setälä [1890–1891; 1896], but his later fantastic ideas [Setälä 1912; Szinyei 1922] that shaped the notorious «theory of PUr. gradation» and made it a butt of critical arrows. It is therefore necessary to stress that this paper has nothing to do with such extremes as e. g. assuming the gradation of vowels or explaining the correspondence between Fi. *m* and Hu. *v* (*nimi* : *név*) from two original grades of **m*, strong and weak. See the modern critical assessments of Setälä's theory in [Hajdú 1966: 55–56; Korhonen 1986: 129–133; Wickman 1988: 808–810].

2.3. Some of Setälä's opponents went even so far as to contest the Proto-Finnic age of consonant gradation. The absence of productive gradational patterns in (Kurland) Livonian, Veps, partly also in Lude Karelian has been viewed as an archaic feature, and Finnish (Karelian, Ingrian, Votic, Estonian, Salis Livonian) gradation — as a late innovation [Kettunen 1919, 1936]. However, there are most obvious traces of former consonant gradation also in Livonian and Veps, indicated already by Setälä [1890: 50 ff., 100 ff.], so that this exaggerated criticism has been demolished by ample evidence [Tunkelo 1938, 1946: 145 ff.; Posti 1939, 1942: 149–232]. In a very similar way, the absence of gradation in Southern Lapp gave rise to doubts in its Proto-Lapp character [Bergsland 1945]. Now, however, at least the Proto-Finnic-Lapp origin of consonant gradation does not raise serious doubts [Laanest 1982: 106 ff.; Korhonen 1981: 141, 1986: 133]. Its Proto-Finnic-Lapp source is usually viewed as a phonetic rather than phonological phenomenon [Ravila 1960: 287; Leppik 1968; Korhonen

1981: 144–146], but the relevance of this issue (phonetic vs. phonological) perhaps should not be overemphasized (see 6.2–3).

2.4. On the other hand, the geographically limited occurrence of consonant gradation in Finno-Ugric was, more often than not, treated as an insurmountable obstacle to projecting it further back than to Proto-Finnic-Lapp:

«*Stufenwechsel kommt nur im Ostseefi. (ausser Weps. und Liv.) und Lapp. (ausser Südlapp.) vor. Diese Sprachen haben auch sonst zahlreiche Züge gemeinsam, die sie von den anderen fiugr. Sprachen unterscheiden und — wie allgemein angenommen — Neuerungen darstellen. Da in den anderen fiugr. Sprachen keine Spur eines mit dem osfi.-lp. Stufenwechsel vergleichbaren paradigmatischen Konsonantenwechsels vorkommt, ist vom fiugr. Standpunkt aus die Annahme der fiugr. Herkunft des osfi.-lp. Stufenwechsels unbegründet und methodisch falsch. Die von Setälä aufgestellte Stufenwechseltheorie [...] hat die Forschung nur auf Abwege geführt und den Blick für wichtige Zusammenhänge verdunkelt*» [Steinitz 1952: 19].

(Steinitz — as well as in his other works on PFU reconstruction — was frequently inclined to view the Western Finno-Ugric languages as uninterestingly innovative, and provocatively disregarded the data from Samoyedic.)

V. I. Lytkin formulated his principal objection in a similar way:

«Самым существенным доводом против предполагаемого праязыкового чередования ступеней является то, что в других многочисленных финно-угорских (и самодийских) языках мы не находим этого явления, что нельзя объяснить случайностью» [Лыткин 1974: 135].

A very reasonable answer to such objections has been given by E. Itkonen ([1962: 195]; quoted below, see 8.1). E. Itkonen, as well as B. Collinder [1960: 215–218] and L. Hakulinen [1979: 60], holds the PUr. origin of gradation for possible though unproven.

2.5. A very reasonable modern approach consists in viewing the similarities in the mechanisms of consonant gradation as, at least, an important key to understanding and reconstructing the PUr. prosodic (accentual, syllabic, and rhythmic) patterns:

«It is an open question whether the Fennic (Lappish) and Samoyed qualitative alternations are inherited from PU, or have come about separately in the same prosodic conditions» [Collinder 1960: 218].

«The PU stress pattern divided the word in two-syllabic sections with initial stress, with the main stress on the first section of the word: (C)V(C)CV(C)/CṼ(C)CV(C). This phenomenon is best preserved on the periphery of the language family (Finnic-Lapp, Samoyed), where it has convergently led to important phonotactic and morphophonemic developments (esp. so called “consonant gradation”)» [Janhunen 1982: 27].

Common prosodic determinants in the rise of gradation are stressed also by P. Hajdú [1962], who is otherwise skeptical about the proto-language roots of this phenomenon.

On the other hand, in some modern treatments of PUr. phonology the consonant gradation is completely disregarded or mentioned only in connection with Finnic-Lapp developments [Sammallahti 1988; Barbera 1993b: 25].

3. Basic facts and terminology: rhythmic and syllabic gradation

3.1. When dealing with consonant gradation, the historical and descriptive grammars mention:

A. The radical gradation (der radikale Stufenwechsel, radikaali astevaihtelu), with its strong grade (SG) appearing before the vowel of an open syllable, and its weak grade (WG) — before the vowel of a closed syllable: Fi. *kipu* 'pain' : *kivun* (Gen.), *parta* 'beard' : *parran* (Gen.), *kukka* 'flower' : *kukan* (Gen.), *ien* 'gum' : *ikenen* (Gen.). The original conditions of this gradation can be obscured by secondary transformations of closed syllables into open ones and vice versa, as for example in LpN *guolle* 'fish' : *guole* (Gen.) from **kölle* (**kōlē*) : **kōlēn*.

B. The suffix(al) gradation (der suffixale Stufenwechsel, suffiksaali astevaihtelu), with its SG appearing after the vowel of 1st, 3rd etc. (an odd-numbered, and normally stressed or bearing a supplementary stress) syllable, and its WG — after the vowel of 2nd, 4th etc. (an even-numbered, and normally unstressed) syllable: Fi. *-ta* : *-a* (with zero as the WG counterpart of the SG *i*) in the partitives *puu-ta* 'tree', *kala-a* 'fish', *oikea-ta* 'right'; even in otherwise archaic Finnish this kind of gradation tends to be almost completely obliterated through the mechanism of analogy.

See [Wiklund 1915: 182; Penttilä 1957: 126–136; Rapola 1965: 102–178, 1966: 34–177; Laanest 1962: 106–113; Korhonen 1981: 135–153; Lehtinen 1994: 64–69].

3.2. It is obvious that both traditional terms are misleading. The radical gradation is not restricted to roots (or stems) only: cf. Fi. *elaton* 'inanimate' : *elattoman* (Gen.), where it occurs in the caritive adjectival suffix *-ton* : *-ttoma-*. Neither is the suffixal gradation restricted to suffixes: cf. Fi. *laatu* 'quality' from Slav. **ladъ* (**lādŭ*) and Fi. *apea* 'depressed, dejected' from Slav. **obida* (**ābīdā*), where the different reflection of Slav. *-d-* in roots is determined by «suffixal» gradation (for other numerous examples of this kind see [Setälä 1890: 58–110; Бубрих 1948: 149–153; Rapola 1966: 131–135, 161–166]).

At least sometimes literal understanding of this terminology results in erroneous definitions: «Radical gradation takes place in the stem of the word and it is determined by the quality of the syllable, its openness or closedness. [...] Suffix gradation takes place in the markers, endings and tags of a word. It is principally similar to radical gradation but in it the plosive occurs in the weak grade even in the beginning of an open syllable in a posttonic position» [Turunen 1988: 64–65]. (Other authors find it necessary to indicate that radical and suffixal gradation occur «usually» or «predominantly» in roots, resp. in suffixes; cf. e. g. [Rapola 1966: 34, 122].)

3.3. It is preferable therefore to apply the terms «syllabic gradation» (SyllGrad) in the first case, when the relationship between SG and WG depends on the structure of the syllable, and «rhythmic gradation» (RhGrad) in the second case. «Rhythmic» seems to be more exact than e. g. «accentual» or «prosodic», because at least in Nganasan this type of gradation is determined by the rhythmic structure of the word quite independently of the stress: the latter is usually placed on the penultimate vocalic mora of a word [Хелимский 1987a].

3.4. Not infrequently, RhGrad, which has mainly lost its synchronic motivation, and its distinctions from SyllGrad are disregarded in general treatments of consonant gradation ([Collinder 1960: 215–218; Hajdú 1966: 55–56; Korhonen 1988: 48–49, 273–

276; Comrie 1988: 457–459; <Barbera 1993a>]; see also numerous general linguistic handbooks and encyclopedias where Finnish data serve as the only example for consonant gradation). There are, however, good reasons to believe that — at least in the framework of a historical or a generative treatment — the logical priority should belong to RhGrad.

4. Consonant gradation in Nganasan

4.1. Like most other linguistic phenomena in the Samoyedic languages, the Nganasan RhGrad and SyllGrad (as well as another related morphonological phenomenon — the so-called nunation) have been discovered by Matthias Castrén. Regrettably, in A. Schiefner's adaptation the complicated rules of consonant gradation were presented in such a manner as if the aim of the text was to conceal the phenomenon: the description was mainly done in terms of inflectional classes and paradigmatic forms [Castrén 1854: 82–83, 158–159, 164–165, 442–443]. The same approach has been followed by G. N. Prokof'ev, whose sketch [Прокофьев 1937б] is heavily dependent on Castrén's grammar. The Nganasan gradation was also discussed in the articles by A. Sotavalta [1914: 155] and P. Hajdú [1962: 50–54]¹. The monograph by N. M. Tereshchenko [Терещенко 1979] remains a most valuable source of Nganasan grammatical data, but the treatment of morphonology here is confined to listing certain cases of alternation.

The description that follows results from the author's work with the Nganasan native speakers in 1986–1994. The continuous research made it possible not only to collect new data, but also to check the linguistic authenticity of earlier materials and to control descriptive hypotheses. A more detailed outline of Nganasan morphonology and inflectional morphology can be found in [Хелимский 1994] <and [Helimski 1997a]>.

4.2. The abundance and complexity of productive morphonological alternations place Nganasan to an exclusive position among the Uralic languages. This is determined by the coexistence and the cumulative action of several relatively independent mechanisms, including those of glottal stop alternation (on its Nenets analogue see [Janhunen 1986]), truncation, RhGrad, SyllGrad, nunation, stem alternation (described in [Хелимский 1989b: 14–22]), vowel harmony (see [Хелимский 1993]), and accommodation. These mechanisms — SyllGrad and vowel harmony in particular —

¹ Some Nganasan forms were considered by P. Hajdú to be problematic and seemingly contradicting to the principles of gradation [1962: 50–52]. The newer materials and interpretations show that all such examples do not deviate from these principles. The WG of the stem-medial cluster in (C) *kandá-tang* (DatSg of *kintta* 'Rauch') is due to the fact that the suffixal *t* (from **nt* due to RhGrad) remains — morphonologically — a cluster and closes the preceding syllable (this explanation has been tentatively suggested already in Hajdú's article). The adjectival suffix with the meaning 'having plenty of' is *-bala*, so that (C) *ñudabala* 'beerenreich' is — also phonetically — *ñuda^hbala*; the diminutive suffix is *-a'ku*, and (C) *kandaku* 'kleiner Schlitten' is in reality *kanda^hku*. In (C) *tílása* 'kämme' the SG in the infinitive marker (*-sa*, not *-ja*) is determined by the odd number of preceding vocalic morae — while the number of preceding syllables is even. Thus, in this case — as also otherwise — the gradation follows the principle of mora-counting, the relevance of which in Nganasan has been shown in the same article by P. Hajdú [1962: 53] (see also [Hajdú 1964: 397–400]).

have lost much of their synchronic phonetic motivation, which, however, does not prevent them from remaining regular and productive. This state of things produces a fanciful diversity of both radical and suffixal allomorphs. Tables 1 and 2 (at the end of the paper) illustrate this diversity, accounting for the distribution and generation of ten allomorphs of the renarrative mood suffix: their phonetic shapes vary in the range between *-h'ambu-*, as in *kou-h'ambu-* 'they are said to remain', and *-b'ahj-*, as in *koljōj-b'ahj-* 'they are said to be fishing'. Some other morphemes also occur in an apparently paradoxical (though accountable) variety of allomorphs.

4.3. These features of Nganasan morphonology make it convenient to describe the composition of morphemes — at least of suffixal ones — in terms of morphonemes (underlying level phonemes). The morphonemes, as distinct from surface level phonemes, are written in capitals: e. g., the generalized morphonemic shape of the above mentioned renarrative mood suffix is *HAMHU*. It appears sufficient to distinguish in Nganasan 18 consonant morphonemes: *H T T' K' S Š B J D' M N Ń N L L' R^C* (four of them — *T' Š D' R^C* — can be probably eliminated from the description, at the expense of making it more artificial and complicated). Most of consonant morphonemes, if they are not affected by any obligatory generative rules applied to individual units and to their strings, are ultimately rewritten with the corresponding non-capital letters (the Nganasan stock of surface level consonants includes /*h* (*p*) *t t' k' s š b d* (*δ*) (*j*) *d' g m n ŋ l l' r*/). The morphoneme *^C* («zero-consonant») corresponds to the surface level zero: it denotes a conventional (though historically real) unit, which occurs syllable-finally after vowels and imparts to a (phonetically) open syllable the properties of a closed one, as well as participates in certain other morphonological rules. The morphonology of Nganasan vowels is not discussed here. It is sufficient to indicate that usually a long vowel or a diphthong is morphonologically treated as a sequence of two vowels (= vocalic morae), and an overlong vowel or a triphthong — as a sequence of three vowels.

4.4. The SG of rhythmic gradation occurs in general after an odd-numbered vowel, and its WG after an even-numbered vowel. RhGrad affects:

— 5 morphonemes: *H T K S Š*. The corresponding WGs are *b δ g d' d'*.

— 5 clusters of the same morphonemes with preceding homoorganic nasals: *MH² NT ŃK NS ŃŠ*. The corresponding WGs are *^CH^CT^CK^CS^CŠ^C*, phonetically *h t k s š* (or — if the action of RhGrad is followed by that of nunation under the impact of a preceding nasal — *ŋh nt ŋk ns ŋš*).

RhGrad manifests itself very clearly in the allomorphy of suffixes, which operates in Nganasan with high precision, cf.: *nj-tj : bñj-δj : headə-tj : kərigali-δj* 'his wife : rope : thumb : march' (all with the Px3Sg -*TU*); *nj-rəgi : bñj-rəki : headə-rəgi : kərigali-rəki* 'similar to a woman : rope : thumb : march' (all with the simulative suffix *RƏKU*), etc.

The action of RhGrad is subject to several additional rules:

(R1) Only the SG occurs after consonants (including *^C*), unless the resulting cluster participates in RhGrad itself: *tər-tu* 'his hair', *kaðar-tu* 'his light'.

(R2) Only the WG occurs after vocalic sequences: *latəð-ðu* 'his bone', *birə-δj* 'his wound'.

² *H* is historically a labial stop (PSam. **p*).

(R3) Only the WG of the cluster *NT* occurs before the vowel of an open non-second syllable: *hütäðä-tänu* 'in the trunk' (with the locative marker *NTÄNU*). Closed non-second syllables preserve the SG of this cluster, which undergoes then the SyllGrad: *hütäðä-ndinü* 'in the trunks' (with the plural locative marker *NT^lNU*).

4.5. The SG of syllabic gradation occurs in general before the vowel of an open syllable, and its WG before the vowel of a closed syllable. SyllGrad affects the same 10 morphonemes and clusters as RhGrad. The WGs of single morphonemes are the same as in RhGrad, but for the «Nasal + Voiceless»-type clusters the 5 corresponding WGs are *mb nd ŋg nd' nd'*. In terms of rule ordering SyllGrad follows RhGrad and is applied only to those units that are preserved by RhGrad in their SG (the WGs of RhGrad, e. g. *ð* from *T* or *^CT* from *NT*, do not participate in SyllGrad). The action of SyllGrad manifests itself e. g. in the following paradigmatic pairs: (NomSg : NomPl) *kuhu* : *kubu* 'skin, hide', *basa* : *bada* 'iron, metal, money', *käntä* : *kändä* 'sledge', *kaðar* : *katarä* 'light', *heñd'ir* : *hensjirä* 'shaman's drum'; (Inf. : Conneg.) *kotuda* : *kodu* 'to kill', *demb'isi*³ : *deñhidä* 'to get dressed'. As long as the closed character of a syllable can be controlled also by the zero-consonant *^C*, the SyllGrad may occur on the surface level as an «unmotivated» alternation: *käntä* 'sledge' : *kändä* (Gen.) (with the genitive marker *^C*). It must be also mentioned that an intervocalic glottal stop *ʔ* behaves morphologically as a cluster (as long as in this position it always goes back historically to a cluster) and closes the preceding syllable: *kodaʔamä* 'I killed him'.

The rule (R1) from 4.4 refers also to SyllGrad, cf. *ñämsu* 'meat' : *ñämsu* (Pl.).

Some additional rules of SyllGrad (not discussed here) are applied to stems ending in *^C* («pseudo-vocalic» or «quasi-consonantal» stems), like *kodu* 'snowstorm', *dügu* 'to get lost'.

4.6. An important observation concerning the relationship between RhGrad and historical phonology has been done by T. Mikola. The divergent development of PSam. **p-*, **t-*, **k-*, **s-* (and of some clusters with these sounds) in Nganasan is determined by the rules of RhGrad. Their voiceless reflexes (resp. *h*, *t*, *k*, *s*) occur after odd number of preceding vocalic morae, and the voiced ones (resp. *b*, *ð*, *g*, *d*) occur after even number of preceding vocalic morae (in older sources we may find also *f*, *d*, *j* in place of modern *h*, *ð*, *d'*, correspondingly). See [Mikola 1986: 243–244]⁴. The following example demonstrates the applicability of the rules of RhGrad to historical developments:

PNSam.	NenT	EnT	Ngan.
* <i>putätä</i> 'trunk'	<i>puðäðä</i>	<i>puðoðo</i>	<i>hütäðä</i>
* <i>putätä-tä</i> 'future trunk'	<i>puð(ä)ðäðä</i>	<i>puðoðoðoðo</i>	<i>hütäðätu</i>
* <i>putätä-ta</i> 'his trunk'	<i>puð(ä)ðäðä</i>	<i>puðoðoðä</i>	<i>hütäðätä</i>
* <i>putätä-tä-tä</i> 'trunk for him'	<i>puð(ä)ðäð(ä)ðä</i>	<i>puðoðoðoðä</i>	<i>hütäðätäðä</i>

³ <In this form the glottal stop (ʔ) surfaces the underlying morphoneme *S*, therefore the example illustrates the gradation *S* : *d'*>

⁴ I must, however, disagree that «die ursprünglichen Vertretungen in mehreren Fällen durch analoge Ausgleichungen verdrängt worden sind» [Mikola 1986: 244]. The data in [Castrén 1854] (inflectional paradigms), as well as modern data recorded from qualified native speakers, are in most perfect correlation with the predictions of the above theory, if only all phonological details (vowel sequences which influence the mora counting, etc.) are properly taken into consideration; see also the footnote 1.

4.7. The Nganasan rules of consonant gradation show that RhGrad and SyllGrad cannot be viewed simply as two sides of the same phenomena. Their similarity is restricted only to the basic principle of alternation between «stronger» and «weaker» consonants. But not only phonetic (morphonological) conditions of RhGrad and SyllGrad are different — so is also the outcome of these two processes, at least in one half of cases (for the «Nasal + Voiceless»-type clusters). The forms with the above mentioned suffix *HAMHU* serve as a good illustration of this distinction. Cf. *ŋh* : *h* and *ŋh* : *mb* in *d'angujh'ahhu* 'he is said to be absent' (the cluster in the suffix is not affected by either gradation, *ŋh* < *mh* due to accommodation) : *tujh'ahu* 'he is said to have come' (the cluster follows here an even-numbered vowel and is affected by RhGrad) : *d'angujh'ambu* 'they are said to be absent' (the cluster stands here in a closed syllable and is affected by SyllGrad). The fourth form, *tujh'ahu* 'they are said to be absent' (where the cluster both follows an even-numbered vowel and stands in a closed syllable), proves the morphonological priority of RhGrad: if the order of gradation rules were different, we would expect a non-existing **tujh'ambu*?, and if the two gradation could be superimposed, the expected form would be an equally impossible **tuh'abu*?

4.8. A simple and coherent explanation of the relationship between the WGs of RhGrad and of SyllGrad consists in the following principle: RhGrad weakens the initial component of a phonetic unit, while the SyllGrad weakens its final component.

For the single consonants the outcomes of the two processes are in Nganasan identical (in other languages this is not necessarily so). For the «Nasal + Voiceless»-type clusters, the weakening of a nasal in RhGrad results in its zero-grade (or rather in the zero-consonant, see 4.4), hence *MH NT ŊK NS ŅŠ* are transformed, correspondingly, into *^CH = h* *^CT = t* *^CK = k* *^CS = s* *^CŠ = š*. The weakening of a voiceless consonant in SyllGrad results, on the contrary, in its voicing, hence *MH NT ŊK NS ŅŠ* are transformed into *mb nd ŋg nd' nd'*, correspondingly. Thus, we may postulate the scheme:

	SG	WG	SG	WG
RhGrad	C	[~] C*	CC	[~] CC
SyllGrad	C	C*	CC	CC

* In Nganasan, [~]C = C* = [~]C; «[~]» is used as a symbol for weakening.

Below this scheme is referred to as the «R - S - M o d e l»; R-S stands for «rhythmic and syllabic (gradation)».

The model is transparent from the viewpoint of its phonetic motivation. RhGrad divides a morphological word into bisyllabic (bimoraic) rhythmic groups, ending in an unstressed vowel. It is the absence of stress on this vowel (and not the stressed character of the next vowel) that determines the weakening (see e. g. [Tauli 1947]); so it is natural that it is applied to the initial component of a unit, which directly follows the unstressed vowel. On the contrary, SyllGrad provides the balance of intensity within a syllable, and therefore weakens the final component, which borders or belongs to the closed syllable (cf. [Wiik 1982, see reference in [Lehtinen 1994: 64]]).

5. Origin of consonant gradation

5.1. It will not be sufficient to say that the similarity between the gradation mechanisms in Finnic-Lapp (3.1) and those in Nganasan (4.4–5) is strong — this similarity is striking. The sets of consonants and consonant clusters, which are subject to gradation in Finnic and in Nganasan, are different in some details (see also below, section 7), but so are the corresponding phonological systems, and, besides, in this respect the difference between Finnic and Lapp (where gradation encompasses the entire word-medial consonantism) is much bigger.

What are the logical possibilities to account for this far-going parallelism found on two opposed peripheries of the Uralic language family (cf. [Korhonen 1985: 160])?

5.2. As soon as consonant gradation appears to be connected with prosodic phenomena which are universally typical of the human speech (rhythm, stress, syllabicity — see 4.8), it is natural to think first of a typological explanation, and to try to present the similarities as parallel innovations (cf. [Hajdú 1966]).

It was traditional to compare the rules of Finnic-Lapp gradation to the Verner's law in Proto-Germanic and its analogues in several other languages of the world, cf. [Eliot 1890: XVI; Wiklund 1891: 22; Setälä 1896: 23; Lehtisalo 1938: 359]. Really, the weakening of consonants in pre-tonal position (or, to be more precise, in the position after an unstressed vowel) or in a closed syllable is a rather common typological trend. But are there any languages of the world where this trend produced an exact morphological counterpart of Finnic-Lapp-Nganasan RhGrad and — this is the most important point — of the dual combination of RhGrad with SyllGrad found in all these languages?

As soon as somebody presents us with an example of this dual combination beyond the Uralic language family, I am ready to accept the typological explanation and ask everybody to discard whatever follows as irrelevant. As long as, to the best of our typological knowledge, such examples do not exist, I prefer to discard the idea of independent parallel innovations.

5.3. The next possibility to account for the consonant gradation would be assuming a contact influence of Finnic-Lapp (or of its descendants) upon Nganasan, or of Nganasan upon Finnic-Lapp, or of a certain third language (a sub-, super-, or adstratum) upon both. The contacts must have been prolonged and extremely intensive, in order to impart the prosodic habits and morphonological mechanisms to the target language. It is hardly necessary to prove that such ideas do not have anything in common with historical and geographical realities (again, to the best of our present knowledge). L. Posti made an attempt to go farther than just comparing gradation to the Verner's law, and to attribute its origin in Proto-Finnic to the Germanic influence [Posti 1953: 76–82]. This hypothesis continues to meet sympathetic response [Korhonen 1981: 142; Lehtinen 1994: 70–72]. But how can Nganasan facts be combined with this hypothesis? Perhaps only by a daring statement that certain yet unknown Germanic tribe migrated as far east as to the Yenisei river with the generous aim of telling the rules of consonant gradation to the forefathers of the Nganasans — and, on accomplishing its mission, got frozen to death... A little more promising may be a return to Y. H. Toivonen's hypothesis that the Pre-Finnic consonant gradation can be ascribed to an early influence of Lapp, and that the Proto-Lapps possibly spoke a Samoyedic language [Toivonen

1949: 187]. However, this version also does not fit the facts well enough (as far as gradation is concerned, the similarity between Finnic and Nganasan is stronger than between either of these two languages and Lapp). Besides, Toivonen's idea concerning the eastern roots of Proto-Lapp is found to lack any linguistic or historical substantiation [Lehtiranta 1986, 1990; Helimski 1996a].

5.4. Actually we are left with only two options: to believe in wonders capable of producing most incredible coincidences in related or unrelated languages — or to regard the consonant gradation found in Finnic-Lapp and in Nganasan, both in its rhythmic and syllabic forms, as a P.U.r. phenomenon. I prefer to choose this second option.

6. Status of consonant gradation in P.U.r.

6.1. The above conclusion must be understood only in the following way: the mechanisms that regulate RhGrad and SyllGrad — namely, the weakening of consonants and consonant clusters after even-numbered vowels and in the beginning of closed syllables — existed already in the Uralic proto-language, and were preserved intact in Finno-Ugric, Finno-Permian, ..., Finnic-Lapp, Lapp, Finnic, Samoyedic, Northern Samoyedic proto-languages. This does not bear any direct implications concerning the phonological distinctiveness or scope of consonant gradation in P.U.r. and in its successors. I completely agree, that

«gradation could be manifestly older as a phonetic phenomenon than as a phonological» [Korhonen 1986: 133].

As a matter of fact, viewing gradation as P.U.r. is not incompatible even with the claim that consonant gradation was an allophonic phenomenon as late as in Proto-Finnic, and that the distinction between SG and WG was phonologized only due to secondary developments — not in all Finnic languages and not always in the same positions [Kangasmaa-Minn 1964; Leppik 1968]⁵.

6.2. In order to assess the status of gradation, we must take into consideration that in reconstructed Proto-Finnic and Proto-Lapp, as well as in Nganasan, SG and WG of consonant gradation: (a) represent the same deep level morphonemes, i. e., coincide morphonologically; (b) correspond to different surface segments, i. e., differ phonetically. The same can be said also about the P.U.r. gradation. It is in this discrepancy between the morphonological and phonetic levels where the essence of consonant gradation (like of any other productive alternation) lies. The phonological relationship between the SGs and WGs is only of secondary relevance. It depends on whether all or some SGs and WGs coincide phonetically with consonants and consonant clusters which are not affected by gradation (gradationally neutral), or whether the WG of a certain alternation coincides with the SG of another alternation. Such coincidences are

⁵ The idea of late phonologization seems, however, to come into conflict with the fact that Proto-Finnic knew the gradational pair *s* : *h* (where *h* developed from *z*, so that originally this gradational pair consisted of two allophones — *s* : *z*) and that, after the transition of **š* also into *h*, the SG and WG in this pair were phonologically opposed.

more or less
guage and m
ence does n
nological ph
6.3. It is
Uralic famil
also Cherem
guistic desc
nently arisi
signals that
methods wh
ogy, any ph
tifying their
vast space l
phonetic or

6.4. Pro
same as rec
sonant grac
consonant
phonetic d
phonologiz
The joint
was alway
nasals in S

6.5. A
ways the
its phonet
For exam
PFU inclu
palatal, th
the next p
grades ha
the gradat
eralized t
served m
lāsān olla
otherwise
be trace
*taivaha
*pehän;
where th
ing deve
s : z in c
[Posti 19
It is c
vergent

more or less accidental — they are determined by the sound material of a given language and may appear at any moment due to a phonetic change. Their absence or presence does not, however, change the essence of consonant gradation as of a morphological phenomenon.

6.3. It is also worth mentioning in this context, that for many languages (within the Uralic family — at least for many Lapp dialects, Estonian, Nenets, Nganasan, probably also Cheremis) the psychological reality of the phonemic level and its necessity in linguistic descriptions are questionable (cf. [Хелимский 1994: 191, 203]). The permanently arising problem of the so-called «non-uniqueness of phonological solutions» signals that modern linguistics sometimes went too far with applying the phonological methods wherever possible or impossible. In languages with complicated morphonology, any phonological solution (that is, postulating a certain set of phonemes and identifying their allophones) turns out to be nothing but an arbitrarily selected point in the vast space between the two levels which are really important, the morphonemic and the phonetic ones.

6.4. Projecting the mechanisms of RhGrad and SyllGrad back to PUr. is also not the same as reconstructing the PUr. set of SG : WG pairs. As for the original scope of consonant gradation, it does not seem impossible to admit, that all or many consonants and consonant clusters in word-medial position could participate in it, though the degree of phonetic distinction between the two grades was not always sufficient for subsequent phonologization even under favourable conditions (still, that is what occurred in Lapp). The joint evidence from Finnic and Nganasan permits to assume, that this distinction was always strong for single voiceless consonants and their clusters with preceding nasals in SG and less significant in many other cases. See also section 7.

6.5. As long as the mechanisms of alternation remained productive, there was always the possibility, by renovating the external manifestation of gradation, to restore its phonetic transparency whenever this latter was blurred by phonetic developments. For example, there are reasons to suspect, that one of gradational pairs in PUr. and PFU included **s* (SG) and **j* (WG), see 7.6. In Proto-Finnic, where **s* became non-palatal, the «phonetically inexact» pair **s* : **j* was obviously replaced by **s* : **z*. But the next phonetic change transformed **z* into **h*, therefore at this stage again «the two grades had lost the usual opposition *unvoiced/voiced*. The feeling that they belonged to the gradation system may finally have been lost altogether. Thus very often *s* was generalized throughout the paradigm» [Posti 1953: 81]. Proto-Finnic **s* : **h* is now preserved mainly in cases of lexicalization (Fi. *tässä* 'here' : *tähän* 'here, to this place'; *länä olla* 'to be near, to be present' : *lähellä* 'near'; such cases are also found in the otherwise non-gradational Veps language: *län* 'near' : *lähenduz* 'approach'), and can be traced in the morphonological type Fi. *taivas* 'heaven' : Gen. *taivaan* (< **taivahan*); paradigmatically, however, it was lost (Fi. *pesä* 'nest' : Gen. *pesän*, not **pehän*; see [Posti 1953: 59–63; Pikamäe 1957: 49]). However, the Votic language, where the mechanisms of gradation remained basically intact, underwent a renovating development once more and, after having introduced a new phoneme *z*, has now *s* : *z* in cases like *pesä* 'nest' : Pl. *pezäD*, *makazi* (Late Proto-Finnic **makasi*) 'slept' [Posti 1953: 62].

It is obvious that the high probability of the renovating developments, as well as divergent phonetic options provided by the R-S-Model (see 4.8, 7.3), present a serious —

even if surmountable — obstacle to reconstructing the original set of gradational pairs⁶.

6.6. There is at least one strong, though indirect, indication that already in PUr. SG and WG could be phonologically distinct. In a recently published paper [Helinski 1992] I tried to substantiate the reconstruction of Proto-Finno-Permian (resp. PFU and PUr.) bisyllabic consonantal stems, as opposed to both bisyllabic and trisyllabic vocalic stems. It turns out, that among several dozens of such stems (reconstructible mainly on the basis of Finnic data) there are 4 or 5 stems with **δ* as the word-medial consonant (**puδas* 'river-arm', **šūδām* 'heart', **uδəm* 'canopy', **wiδəm* 'marrow', probably also **uδar* 'udder'⁷) — and not a single one with **t* in this position. Otherwise — that is, in Pur./PFU words with an open second syllable — **-t-* was significantly more frequent than **-δ-*: among reliable etymologies the ratio is 16 to 10 (data from [SUL] with correction for the etymologies listed above). The opposite ratio in words with originally closed second syllable suggests the possible intervention of the SyllGrad between **t* (SG) and **δ* (WG); on the other hand, there are no reasons to doubt the existence of the gradationally neutral PUr. **δ*. If so, then at least in this point the phonetic shape of SyllGrad in Nganasan, where we find the pair *t* : *δ* (see 4.5), is innovative, because PUr. **t* : **δ* was to develop into PSam. **t* : **r*, Ngan. *t* : *r*. The presumptive PUr. gradation **š* : **j*, see 6.5 and 7.6 (if only the WG-consonant was really **j*, and not a sound similar to **j*) is another possible example of a phonological distinction between grades in PUr.

7. Further comparison between Finnic-Lapp and Nganasan

7.1. The mechanisms of consonant gradation in contemporary Finnic and Lapp dialects are to a considerable extent destroyed, so that for Modern Finnish an exhaustive generative description of gradation based on historical principles is hardly possible [Hammarberg 1974], to say nothing of such language as Estonian. While the relatively simple mechanism of SyllGrad often continues to operate and is applied also to recent borrowings etc., the action of RhGrad can be traced mainly in relic forms and by the reconstructive procedure. It lost first its transparency because of numerous contractions and other phonetic developments in suffixal syllables, and then also its productivity, because the new non-transparent state contradicted the tendency to have the same allomorph of a suffix in all phonetic positions [Rapola 1965: 147–178; Kangasmaa-Minn 1968; Laanest 1982: 111].

Under these circumstances the comparable data from Nganasan, when used with necessary caution, and the R-S-Model based on these data, may be useful for confirm-

⁶ Cf. the tentative reconstruction of PUr. **p* : **b*, **t* : **d*, **k* : **g*, **s* : **z*, **š* : **ž*, with the gradation between geminate and single stops looking less likely [Collinder 1940: 98–99, 1948]; later B. Collinder (e. g. [1960: 215–218]) refrained from using this reconstruction.

⁷ See [UEW: 400, 477, 541, 572, 806], where these words are reconstructed as resp. **puδa-se*, **šūδä(-mэ)*, **uδэ-mэ*, **wiδэ(-mэ)*, **utare*. In the last stem the reconstruction of **t* (and not **δ*) is based only on Cher. *wəδar*, *wəδar* 'udder' (with **-δ-* from **-t-*). But, according to G. Bereczki [1992: 95], this latter is an independent Indo-Iranian borrowing in Cheremis and does not belong directly together with Fi. *utare*, *udar* etc.

ing or explaining some details in the original situation. This section certainly does not exhaust the possibilities of such comparison, especially as far as analogies and distinctions between Lapp and Nganasan are concerned.

On the other hand, the gradation in Nganasan, despite its productivity and regular character (or maybe even due to these features, see 6.5), may also be innovative in certain important aspects; this language certainly should not be viewed as a new candidate for «the key language of PUr. reconstruction».

7.2. An important distinction between RhGrad in Finnic-Lapp and in Nganasan lies in its syllable-counting character in the first case and mora-counting character in the second one. Nganasan monosyllabic stems with a long vowel or a diphthong behave like bisyllabic stems with two short vowels, cf. *ña* 'mate' : Dest3Sg *ñantadu* ('mate for him'), but *ñaa* 'Nganasan' : *ñaadatu*, *ñomu* 'hare' : *ñomuđatu*. In Finnic such stems are followed by a SG of RhGrad (Fi. *puu* 'tree' : Part. *puuta*). This is in conformity with other evidence which leads to the conclusion that Finnic long vowels in the first syllable usually result from positional lengthening (*puu* < **pu* or **puw*) rather than from contractions (it is hardly possible to reconstruct the PUr. word for 'tree' as **puwe* or **puxi*).

On the other hand, it looks reasonable to assume (or even to predict) that also in Finnic and Lapp those long vowels and diphthongs (in any syllable), which arose from contractions, may behave from the viewpoint of RhGrad like bivocalic (bisyllabic) sequences. The problem needs further investigation.

7.3. The most important feature of the R-S-Model is the possibility to account for the differences between WGs in RhGrad and in SyllGrad. In Nganasan such differences are found only in the «Nasal + Voiceless»-type clusters. Both in Finnic and in Lapp the scope of differences is much wider.

7.3.1. The articulation of a single intervocalic stop includes two temporal segments — a hold (period of closure, closed phase) and a release (explosive phase). Therefore the R-S-Model allows for the loss or weakening of the hold in RhGrad, and for the loss or weakening of the release in SyllGrad. A stop without a hold becomes nothing but a border between two vowels: *t, k, p* > $\emptyset$ (this «zero» may, however, preserve the timbre of the reduced consonant). A weakened hold creates a weak stop: *t* > *D*, *k* > *G*, *p* > *B*. A stop with no or weak release preserves its hold, so that it approaches the corresponding voiced fricative: *t* > δ , *k* > γ , *p* > *w*.

That is exactly the picture that we find — in all its numerous possible variants — in the languages under scrutiny. The most perfect illustration is the relationship between two WGs of **t* in Finnish: in RhGrad it is $\emptyset$ (and only $\emptyset$!), while in SyllGrad it is δ (> dial. *l, r, \delta, \emptyset*, Literary Fi. *d* under Swedish influence). Cf. *pata* 'pot' : Part. *pataa* (not **patada*) : Gen. *padan*⁸. Another version of the same relationship (with the hold

⁸ This distribution is obviously connected with the type of gradation (RhGrad or SyllGrad), and not with the position of the WG within the word. Cf. the regular character of archaic forms with δ as the WG of *t* in the beginning of closed 4th syllable: (Agricola) *caritzadhen* GenPl to *karitsa* 'lamb', *pacanadhen* GenPl to *pakana* 'pagan'. In the beginning of closed 3rd syllable - δ - («*dh*») is uncommon also in older Finnish texts. There is also abundant dialectal evidence that confirms this distribution; see the detailed analysis of data in [Rapola 1966: 142–159] (while the treatment of this problem in [Lindén 1949] appears to be unsatisfying). — Here we do not go into important, but very complicated details connected with the various WG-forms of unvoiced consonants in Finnish and in other Finnic idioms. For example, of great interest are the

weakened but not completely lost in RhGrad) is reconstructed for Proto-Lapp, with $*\tilde{p} : *B, *i : *D, *k : *G$ in RhGrad and $*\tilde{p} : *B, *i : *d, *k : *g$ in SyllGrad ([Korhonen 1981: 152] — the contemporary version of the approach applied to Lapp data already in [Wiklund 1913–1919]). Naturally the model does not exclude the identical outcome of weakening in both forms of gradation (as in Nganasan, possibly also in some Finnic idioms).

7.3.2. According to the R-S-Model, the gradation of voiceless geminates in PUr., if only it existed, could only have the phonetic shape $TT : \tilde{T}T$ (RhGrad) or $TT : T\tilde{T}$ (SyllGrad); there seem to be no reasons to reconstruct e. g. $TT : T$.

The merger of the WG of geminates with the SG of single stops in SyllGrad (as in Finnish, cf. *patto* : *paton* 'crime' and *pato* : *padon* 'dam') is a late secondary development (Posti 1953: 76). The WGs of the geminates $*pp, *tt, *kk$ behave morphonologically like consonant clusters, so that the preceding syllable is treated as closed: Fi. *kannetut* ($*kante-ttu-t$) 'brought (Pl.)', *parrakas* ($*parta-kkas$) 'bearded' [Бубрих 1948: 131]. While in the case of *kannetut* one may think of the analogical influence of Sg. *kannettu* ($*kante-ttu$) 'brought', for *parrakas* an analogy could hardly play any role. Votic has Iness. *pagoza* (from *pako* 'escape'), but *pakkoza* (from *pakko* 'compulsion'); the WGs of single stops in their contemporary shapes are older and those of geminates are younger than the shortening of *ss* in the inessive marker ($*-ssa >$ Votic $-za$) [Posti 1953: 82].

As for RhGrad, it is likely that the Proto-Finnic geminates remained unaffected by it [Laanest 1982: 111].

The situation in Lapp appears to be much more complicated, phonetically as well as dialectologically. Here all geminates — not only voiceless ones — are affected by both RhGrad and SyllGrad. In Northern Lapp the two gradational mechanisms produce different WG-results: *riegadât'tet* (SG of RhGrad in originally open syllable) 'to give birth', *riegadât'tam* (SG of RhGrad in originally closed syllable) 'I give birth', *borât'it / borâtâm* (WG of RhGrad in both open and closed syllables) 'to feed / I feed' [Korhonen 1981: 149–150].

In Nganasan the reflexes of PSam. voiceless geminates mostly coincide with single voiceless consonants (in SG) phonetically, but differ morphonologically⁹: they remain unaffected by gradation themselves and close the preceding syllable. Cf. Ngan. *latütü* 'is ready' ($*lettunta$, PSam. $*lettz-$ 'leiden, entragen', see [SW 83]), *kuhu* 'skin, hide' : GenPl + Px3Sg *kubatu* ($*kopä-t-tu$ or $*kopë-t-tu$, PSam. $*kopa$, see [SW 73]).

Thus, we find at least three lines of development for voiceless geminates:

	Finnish	Northern Lapp	Nganasan
$*TT$ (SG)	TT	T^1T	T
$*\tilde{T}T$ (WG of RhGrad)	TT	T	T
$*T\tilde{T}$ (WG of SyllGrad)	T	TT	T

7.3.3. One of the most noteworthy issues is the assumed original absence of gradation in the Finnic type *avanto*, *isäntä* — that is, in words with a cluster «Reso-

RhGrad-developments of $*p$ in the Praes3Sg marker, cf. (Agricola) *ottau* 'ottaa, takes', *pitey* 'pitää, holds' etc., with the phonetic timbre of the reduced consonant shifted to the following vowel [Rapola 1966: 172].

⁹ Under certain conditions, however, PSam. $*CC >$ Ngan. 2C .

nant + Stop» between the second and the third syllables [Kettunen 1949; Posti 1953: 76, 79–80; Rapola 1966: 34, 36]. The comparative data indicate, that the situation in Standard Finnish, where such clusters are subject to gradation also in this position (*avanto* 'ice-hole' : Gen. *avannon*, *isäntä* 'owner' : Gen. *isännän*) is due to secondary analogical influence of bisyllabic stems (*rinta* 'breast' : *rinnan*). But in many Finnic idioms (including also the Estonian language) the situation is different. Especially important is the evidence from otherwise very archaic and relatively transparent (as far as gradational mechanisms are concerned) dialects:

Olonets (Livvik) Karelian *rambu* 'lame' : Pl. *rammat*, but *vanhemb* 'older' : Pl. *vanhembat*; *händy* 'tail' : Pl. *hännät*, but *emändy* 'hostess' : Pl. *emändät*; *kiändiä* 'to turn' : 1Sg *kiänän* (< *kiännän*), but *paimendua* 'to graze (vt)' : 1Sg *paimendan*; *kieldiä* 'to forbid' : 1Sg *kielän* (< *kiellän*), but *puhaldua* 'to blow' : 1Sg *puhaldan*; *kierdiä* 'to twist' : 1Sg *kierän* (< *kierrän*), but *kumardua* 'to lean' : 1Sg *kumardan*. In Finnish this distinction is absent: *rammat* and *vanhemmat*, *hännät* and *emännät*, *käännän* and *paimennan*, *kiellän* and *puhallan*, *kierrän* and *kumarran* [Бубрих 1948: 120–121].

Votic (Kattila) *kumpa* 'every' : Pl. *kummaD*, but *sürepi* 'bigger' : Pl. *sürepaD*; *kangaZ* 'linen, fabric' : Gen. *kaṅkā* (< *kaṅkan*), but *kunikaZ* 'king' : Gen. *kunikā* (< *kunikan*; secondarily also *kunikkā*); *peṇto* 'field' : Pl. *peṇtoD*, but *vajetä* 'to change' : 1Sg *vajetan* (cf. also *луgetелла* 'to pronounce charms' < *луgetеллак*, where the cluster in question follows the third syllable and behaves in the same way as after the first syllable); *janka* 'foot' : Pl. *jangaD*, but *pičelko* 'oblong' : Pl. *pičelkoD* ([Kettunen 1930: 25, 57, 64, 66, 104]; see also [Setälä 1891: 367–369; Rapola 1966: 36]).

7.3.3.1. There were at least two attempts to account for these facts. According to D. V. Bubrih, the Olonets data prove that the SG was originally always preserved before an odd (stressed) syllable, even if it was closed [Бубрих 1948: 120 ff.]. This idea contradicts, however, to everything what is known about the behaviour of single stops and geminates — they undergo SyllGrad also in this position, and also in Olonets Karelian. L. Posti explained the original absence of gradation in *avanto*-type from his well-known pattern of the relative degrees of stress [1953: 79–80]. But this explanation made him to postulate the Proto-Finnic absence of SyllGrad also in the type with a geminate between the second and the third syllable (**harakka* 'magpie' : **harakkan*; [Posti 1953: 80]), which contradicts to linguistic data (Fi. *harakku* : *harakan*, Olonets Kar. *harakku* : Pl. *harakat*, Votic *lapakko* 'mittens' : Gen. *lapakō*; see [Бубрих 1948: 121; Kettunen 1930: 47]); it is specially emphasized that the SyllGrad of geminates is universally spread in Finnish dialects [Rapola 1966: 118]. Besides, this explanation does not account for the loss of the nasal element in Votic *sürepi* etc.

7.3.3.2. The Votic forms quoted above show very clearly, that it is not precise to speak about the absence of gradation in the «Resonant + Voiceless»-type clusters between the second and the third syllables. The underlying *mp*, *nt*, *ŋk* develop in this position into Votic *p*, *t*, *k* (instead of being preserved or reduced by SyllGrad to *mm*, *nn*, *ŋŋ*). The R-S-Model gives a coherent explanation of this development. We witness in Votic an outcome of a «powerful» RhGrad, which eliminates the first (nasal) element of the cluster; the SyllGrad is not applied to the forms already transformed by RhGrad (see 7.4), so that the second element remains voiceless. Actually, here the gradational behaviour of the «Nasal + Voiceless»-type clusters is essentially the same as in Nganasan. The underlying «Liquid + Voiceless»-type clusters remain intact (and occur as *lt*,

lk, rt, rk etc. in both open and closed syllables), because the gradational weakening of a liquid is not sufficient to reduce it to zero, while their voiceless element is preserved for the same reason as in the «Nasal + Voiceless»-type clusters.

It is likely that similar rules operated also in Livonian, before this language lost its mechanisms of gradation (we cannot go here into the discussion of relevant forms, which can be found in [Posti 1942: 212–220]).

In Olonets Karelian (and several other Finnic idioms of the same type, including also Estonian) all «Resonant + Voiceless»-type clusters behave like «Liquid + Voiceless»-type clusters in Votic. The weakening of resonants (including also nasals) by RhGrad was insufficient to reduce these sounds to zero, while the voiceless element remained intact by gradation. Later these idioms underwent the general process of voicing the unvoiced consonants after resonants; therefore the clusters under scrutiny occur here as *mb, nd, ng, rd, ld* etc.

The stages of the developments discussed above can be presented as follows (*N* — nasal, *R* — liquid, *T* — voiceless, *D* — voiced):

	RhGrad	SyllGrad
Proto-Finnic	<i>NT: ÑT, RT: ÑT</i>	<i>NT: NĤ, RT: RĤ</i>
Votic I (<i>Ñ > Ø, Ñ > R, Ñ > D</i>)	<i>NT: T, RT: RT</i>	<i>NT: ND, RT: RD</i>
Olonets I (<i>Ñ > N, Ñ > R, Ñ > D</i>)	<i>NT: NT, RT: RT</i>	<i>NT: ND, RT: RD</i>
Votic II (<i>ND > NN, RD > RR</i>)	<i>NT: T, RT: RT</i>	<i>NT: NN, RT: RR</i>
Olonets II (<i>ND > NN, RD > RR</i>)	<i>NT: NT, RT: RT</i>	<i>NT: NN, RT: RR</i>
Olonets III (<i>NT > ND, RT > RD</i>)	<i>ND: ND, RD: RD</i>	<i>ND: NN, RD: RR</i>

The non-archaic Finnish situation results from the spread of SyllGrad in the positions where it was originally «blocked» by RhGrad.

7.3.4. An attempt to postulate the original Proto-Finnic gradation in the clusters of the type «Voiceless + Resonant» (*kl* : *yl, tr* : *ðr, tv* : *ðv, sn* : *hn* etc.; see e. g. [Setälä 1896: 11–16; Kettunen 1930: 31–32; Бубрих 1948: 143–145]) was, as it seems, ill-founded. There is no need to attract gradation in order to account for dialectal correspondences (and not paradigmatic alternations!) of the type Fi. *kakla, kaula* ‘neck’, *petra, peura* ‘reindeer’, etc.; see [Posti 1942: 179, 1953: 81; Rapola 1966: 196–232]. As for Nganasan, here the clusters of this type are almost completely absent and naturally do not participate in gradation. The R-S-Model predicts that the alternation of the postulated type (*kl* : *kl*, etc.) could be only a RhGrad, but not a SyllGrad (in which no weakening of the first element can be expected), while all examples quoted in this connection refer to the position where only SyllGrad can occur.

7.4. It has been stressed in connection with the Nganasan data that from the viewpoint of morphonological rule ordering RhGrad comes first. If a phonetic position of a consonant cluster is gradationally weak in terms of both RhGrad and SyllGrad — that is, if it follows an even-numbered vowel and precedes a closed syllable — the resulting WG is the weak grade of RhGrad; SyllGrad is applied only to consonants which remain unaffected by RhGrad (see 4.7).

This principle of rule ordering must have been valid also in Proto-Finnic. We find the WG of RhGrad in the forms of GenPl like **pata^hten* > Fi. *patain* ‘of pots’ (the priority of SyllGrad would have produced **pata^hen* > Fi. **pataden*; cf. also footnote 8 in 7.3.1). The absence of gradation in the stem type *avanto, isäntä* — or, to be more

exact, the
affected b
did not s
on sovel
asteisiki
superimp
7.4.1.
combined
(«subradi
differ bo
[Wiklund

Accor
the data
the third
do not re
Finnic ar

7.5. 1
resulting
Rl in 4.4
Its scope
by gradat
-rk-, -lk-
single co
I was
tary rule:

7.6. 1
culiar gr
and assu
Ngan. s
relations
admitted
tive grac
of conte

Lp. *
opposed
reindeer
1960: 2
into con
Central
of interc
175, 178

exact, the absence of SyllGrad in this stem type (see 7.3.3) — confirms that the clusters affected by RhGrad are no longer subject to SyllGrad. Thus the assertion that RhGrad did not superimpose SyllGrad («suffixaalin astevaihtelun mukaista heikennyssäntöä on sovelettu vain tapauksiin, jotka radikaali astevaihtelu on jättänyt vahvaasteisiksi» [Lehtinen 1994: 68]) is not completely precise: it was SyllGrad that did not superimpose RhGrad.

7.4.1. On the other hand, K. B. Wiklund assumed for Proto-Lapp the possibility of combined action of the two forms of gradation, so that the WG of dual gradation («subradical gradation»; see [Wiklund 1915: 182] and [Korhonen 1981: 149 ff.]) could differ both from the WG of RhGrad and from the WG of SyllGrad. In his scheme [Wiklund 1915: 179] the original situation was reconstructed as follows:

SG of RhGrad, SG of SyllGrad:	<i>k</i>	<i>p</i>	<i>t</i>
SG of RhGrad, WG of SyllGrad:	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>D</i>
WG of RhGrad, SG of SyllGrad:	<i>γ</i>	<i>β</i>	<i>δ</i>
WG of RhGrad, WG of SyllGrad:	<i>θ</i>	<i>θ</i>	<i>θ</i>

According to M. Korhonen [1981: 152], this scheme does not find direct support in the data from any modern Lapp dialect. Normally the same WG always occurs before the third syllable, be it open or closed: the third and fourth lines of the above scheme do not really differ. If so, the situation in Lapp is in this respect basically the same as in Finnic and in Nganasan.

7.5. The rule according to which only the SG occurs after a consonant, unless the resulting cluster does not participate in gradation itself, is common to Nganasan (see R1 in 4.4, 4.5) and Finnic (specially mentioned e. g. in [Kangasmaa-Minn 1968: 112]). Its scope of action in Nganasan is, however, wider, because certain clusters, affected by gradation in Finnic, do not participate in it in Nganasan (e. g., *-rp-*, *-lp-*, *-rt-*, *-lt-*, *-rk-*, *-lk-*). There remains no scope of action for it in Lapp, where all clusters (as well as single consonant) participate in gradation [Korhonen 1981: 189–192].

I was unable to find any direct Finnic-Lapp counterparts for two other complementary rules of RhGrad in Nganasan (4.4).

7.6. It was already K. B. Wiklund who paid special attention to the phonetically peculiar gradational pair in Nganasan — *s* : *j* (in modern Nganasan *j* has changed into *d'*) and assumed the proto-language origin of this alternation [1913: 200 ff.]. As long as Ngan. *s* < PUr. **š* > Lp. **č*/**ś*, he interpreted numerous traces of a certain «intimate relationship» between **č*/**ś* and **j* in Lapp as the heritage of this alternation. It must be admitted that this relationship does not come out in the form of a systematic, productive gradation. Still, Wiklund's hypothesis continues to look plausible also in the light of contemporary research.

Lp. **č* is reflected in originally closed syllables in Inari and Kolтта Lapp as *jj* : *j* (as opposed to LpN *čč* : *č*): **koččj* 'soot' > LpN *gožo*, I *koijo*, Ko. *kādij*: **vāčēm* 'female reindeer' > LpN *vāždā*, I *vaij-*, Ko. *vaiij* ([Lehtitanta 1989: Nos. 438, 1343; Collinder 1960: 216]; cf. [Korhonen 1981: 159], where only «regular» reflexes of **č* are taken into consideration). In place of the cluster **šk* we find **jk* (LpN *i'k* : *ik*) in Southern and Central Lapp dialects, but *šk* in Eastern dialects (from Inari to Ter), and the same type of interdialectal correspondences is characteristic also of **št* and **šn* [Korhonen 1981: 175, 178–179]. There are reasons therefore to assume the original gradational alterna-

tion between *č, *šk, *št, *šn (SG) and *j, *jk, *jt, *jn (WG), with later generalization of either the SG or the WG in different dialects and with corresponding phonetic renovation of gradational patterns.

The abnormal declination of LpN *olmuš* 'man' (Gen. *ol'bmū*), coupled with sporadic traces of the same abnormality in other words with word-medial or word-final *č [Wiklund 1913: 203–213; Ravila 1960: 295 ff.; Korhonen 1981: 205], can also be best accounted for by assuming the original gradation *č : *j, with subsequent loss of *j and contraction in suffixal syllables.

8. Lenition and «de-gradation»

8.1. It has been mentioned above (2.4) that the absence of gradation in the majority of Uralic languages has often served as the strongest argument against the PUr. origin of gradation. In reality, however, there is nothing surprising that the loss of consonant gradation (this process can be also labelled as «de-gradation») is more common within the Uralic language family than its preservation. The articulative motivation of gradation — a specific way of accentual, rhythmic, and syllabic organization of words — could be easily destroyed by alternative articulatory «fashions», spreading gradually through the Uralic world. In some languages the paradigmatic consonant gradation could be eliminated or significantly reduced by morphological restructuring (as for example in Permian and Ugric nominal inflexion) or simply due to analogy. But the main reason of «de-gradation» has been indicated by E. Itkonen:

«Das Fehlen des Stufenwechsels in den meisten finnisch-ugrischen Sprachen allein reicht nicht aus, um die vor allem mit Setäläs Namen verbundene Stufenwechseltheorie zu widerlegen. Bei dem für die meisten fi.-ugr. Sprachen typischen Stimmhaftwerden der Konsonanten *k, t, p* in intervokalischer Position bzw. beim Schwund dieser Konsonanten, d.h. vor allem im Permischen, dürften die Spiranten *γ, δ, β* (die als solche, in vielen Dialekten allerdings an der Grenze der Klusile stehend, im Tscheremissischen vorkommen) als allgemeine Zwischenstufe aufgetreten sein. Dieser Prozess hätte, zusammen mit der auf demselben Sprachgebiet eingetretenen Verkürzung von *kk, tt, pp*, schon ausgereicht, um die Bewahrung des Stufenwechsels, praktisch gesehen, unmöglich zu machen. Ausserdem sind für diese Sprachen solche sekundären Tendenzen wie Apokope und Synkope sowie vielfältige Neuerungen in den Beziehungen zwischen den Wortstämmen und Suffixen charakteristisch; dies alles sind Faktoren, die das Bedingungen des Stufenwechsels stören. Solange man nicht in der Lage ist, die uralische Herkunft des Stufenwechsels mit gewichtigeren Argumenten als den bisherigen zu bestreiten, muss diese Frage als offen betrachtet werden» [E. Itkonen 1962: 195].

8.2. A phonetic change consisting in the systematic lenition (voicing, spirantization, complete loss) of word-medial consonants was to level out the original opposition of grades. And such phonetic change is known to have occurred in several Finnic idioms (including Veps and Livonian!), in Southern Lapp (!), in Mordvin, Chëremis, Permian, Hungarian, Nenets, Enets, Central and Southern Selkup dialects, Kamassian, and Mator.

Table 3 demonstrates the obvious inverse correlation between the lenition of word-medial voiceless consonants and the presence (preservation) of consonant gradation.

Only four
Forest Ne
the gradat
same Wes
ture in con

9.1. D.
consonant
traces also
course, ex
considered
tation of S

Only f
9.2. It
Nganasan
One cannot
erite suffi
position t
201 ff.), w
tribution.

In sever
first mark
[Hajdú 19
LpS ee
voijn-i-h
[Hasselbri
MordN
jaka, but I

The *.
Estonian
one of tw
joined also

If the
subject to
is, with th
few such
formed a
appears to
morphs v
?Hungaria
Veps. Vor
san, cf. iii.

Only four idioms appear to be «exceptional» from this viewpoint: in Vogul, Ostyak, Forest Nenets and Northern Selkup there was no lenition (or only partial lenition), but the gradation of consonants is also absent. It is noteworthy that all four belong to the same West-Siberian linguogeographical area and have an important phonological feature in common — absence of voiced consonants; see also 9.5.

9. Traces of gradation

9.1. Despite the processes discussed in the previous section, the PUr. gradation of consonants, and especially the RhGrad, could and even was to leave more or less clear traces also in non-gradational Uralic languages. The search for such traces must be, of course, extremely cautious: it is sufficient to recollect once more, to what extent the ill-considered eagerness in «finding» such traces everywhere contributed to the discreditation of Setälä's gradation theory.

Only few selected topics are therefore attracted to discussion in this section.

9.2. It has been mentioned above (see 6.5 and 7.6) that the joint evidence from Nganasan and Lapp permits to think about the PUr. gradational pair $*\dot{s}$ (SG) : $*j$ (WG). One cannot help recollecting in this connection the mysterious coexistence of two preterite suffixes, reconstructed as PUr. $*\dot{s}$ - and PFU $*j$ -, with no signs of functional opposition between them. This analogy was not left unnoticed by Wiklund [1913: 201 ff.], who was, as it seems, the first to indicate a very probable trace of original distribution.

In several Finno-Ugric languages and dialects, that preserve both $*\dot{s}$ - and $*j$ -, the first marker occurs in the preterite of the negative verb; this peculiarity is well-known [Hajdú 1966: 139; Майтинская 1975: 304; Raun 1988: 563]. Cf.:

LpS *ee-ddj'i-h*, *ee-ddj'i-h* 'I did not, you did not', L *i-čči-w*, *i-čči-h*, but S *voojn-i-h*, *voojn-i-h* 'I was seen, you were seen', L *kull-i-w*, *kull-i* 'I heard, you heard' [Hasselbrink 1981: 145, 150; Grundström 1952–1954: 1848, 1917]).

MordM *i-ž-eñ jaka*, *i-ž-eñ jaka* 'I did not go, you did not go', E *e-ž-iñ jaka*, *e-ž-iñ jaka*, but M E *jaka-n*, *jaka-t* 'I went, you went'.

The $*\dot{s}$ -marker of the past tense is joined to the negative verb also in Livonian and Estonian (Southern, Kodavere dialects; see [Laanest 1982: 243]). In Cheremis, where one of two conjugational types has $\dot{s}$ - (< $*\dot{s}$ -) as the preterite marker, this marker is joined also to the negative verb.

If the assumption concerning PUr. $*\dot{s}$: $*j$ is true, and the preterite suffix $*\dot{s}$ - was subject to RhGrad, then its SG $*\dot{s}$ - was to occur after monosyllabic vocalic stems (that is, with the negative verb $*i$ -: it was the only verbal stem of this type, or one of very few such stems), and its WG $*j$ - — after bisyllabic vocalic stems (which probably formed a majority of non-derived verbal stems). This concept of the PUr. distribution appears to be in good correlation with the above facts. The original distinction of allomorphs was later neutralized in favour of either $*\dot{s}$ - (Vogul, Ostyak, Selkup, ?Hungarian, ?Nenets, ?Enets, ??Estonian, ??Livonian) or $*j$ - (Lapp, Finnish, Karelian, Veps, Votic, Mordvin, Votyak, Ziryen). It seems, however, to be preserved in Nganasan, cf. *ñi-sjäm* 'I did not' : *ñili-d'iam* 'I lived' : *ñimijh'a-sjäm* 'I usually did not'.

9.3. Several sporadic but exact analogies between Nganasan and two other Northern Samoyedic languages suggest that RhGrad in its «Nganasan» outlook could exist in Nenets and Enets until relatively recent times. <T. Salminen's studies on Nenets morphonology [Salminen 1997, 1998] provide us with more analogies of that kind.>

9.3.1. Tundra Nenets and Tundra Enets have two alternative ways of deriving verbal adverbs (infinitives) from vocalic verbal stems: NenT (morphonologically) *-šā* and *-ā*, (in standard orthography) *-cā* and *-θ*, EnT *-se* and *-e*. It is known that in NenT only the first variant of the suffix is used after monosyllabic vocalic stems, while after longer stems both are possible and at least in some dialects the second variant is strongly preferred [Терещенко 1956: 71–72, 1965: 910]: *ñi-s(ā)* negative verb, *nu-s(ā)* 'to stand', but *xadā* (= *xada-ā*) 'to kill', *jilē* (= *jile-ā*) 'to live'. In EnT (according to the author's field materials) the suffixes *-se* and *-e* are usually in free variation (with preference given to the second variant): *kaða-e* / *kaða-se* 'to kill', *ire-e* / *ire-se* 'to live', *ku-e* / *ku-se* 'to find', but the negative verbal adverb occurs only as *i-se*. Thus, the situation is very similar to that discussed in 9.2 and, most probably, has a similar cause. It seems extremely likely that it results from partial loss of morphonological contrast between two variants, which originally were alternating in accordance with the rules of RhGrad, **-se* and **-je*. Cf. the corresponding gradation in Nganasan verbal adverbs: *ñi-si* negative verb : *kotu-dā* 'to kill', *dōrā-dā* 'to cry' : *dōrā-lā-sa* 'to start crying'.

9.3.2. M. Lyublinskaya in her dissertation on the morphonology of Nenets verb, with special attention devoted to the distribution of allomorphs, had shown that the choice between the two durative markers, *-bā-* and *-mbā-*, is determined by the prosodic and syllabic structure of the verbal form. The allomorph *-bā-* occurs mainly after bisyllabic stems, while the typical position of *-mbā-* is after mono- and trisyllabic (and also after longer) stems, cf. [Терещенко 1965] *tāmābā-* 'to be giving', *xadābā-* 'to be killing', *hamadāmābā-* 'to be preparing' [Люблинская 1993: 56–59]. Here we see an obvious parallel with the RhGrad in Nganasan — which, incidentally, does not have the corresponding durative suffix, but otherwise alternates the SG *-ñh-* (= Nen. *-mb-*) with the WG *-h-* (= Nen. *-b-*).

9.4. PUr/PFU **pp* is reflected in Cheremis as either *p* or *w* [Collinder 1960: 87]. It can be suspected that this ambiguity reflects the distinction between the SG of this geminate (> Cher. *p*) and its WG in SyllGrad, **p̄p̄-* (> Cher. *w*). The newest and most complete collection of Finno-Ugric etymologies for Cheremis [Bereczki 1992] contains the following relevant examples:

- A. Cher. **kapā* 'verschimmeln' < **kappā*
 Cher. **lepā* 'Miltz' < **lāleppā*
 Cher. **lipā* 'Schmetterling' < **lāppā*
 Cher. **lip(ə)* 'lau (warm)' < **leppā*
 Cher. **lop* 'Eintiefung' < **lappā*
 Cher. **lup* 'trübes Wetter' < **lo/uppā*
 Cher. **lupā* 'Treibholz' < **lappā*
 Cher. **lupā* 'Ranzen aus Bast' < **lappā*
 Cher. **tup* 'Rücken' < **tuppā*
 B. Cher. **lewet-* 'bedecken' < **lāppā-*

Cher. *šuwəs 'Schlauch' < *šopp3-s3 (rather *šopp3s. — E. H.).

9.5. It seems appropriate to say here a few words about the consonant gradation in Ket' Selkup. It consists in paradigmatic alternation of long voiceless consonants, which occur in open syllables, with voiced (idiolectally weak voiceless) consonants, which occur in closed (and also in formerly closed) syllables: *qopə* 'skin, hide' : Gen. *qobən*, *qobən*, Attr. *qobi*, *qobi* (from **qobəj*, **qobəj*). Other numerous examples, together with data on similar phenomena in other Selkup dialects, can be found in [Hajdú 1962: 43–47]. A concise but informative treatment of this alternation for modern Ket' Selkup belongs to Sh. Kuper [Kynep 1990]. In particular, he singled out the phonetic factors which block its action — a long vowel in the first syllable or a fixed stress on the second syllable. Still, many important details remain unclear. The problem is extremely complicated by the fact that the data collected by M. Castrén, K. Donner, Sh. Kuper refer to different subdialects, where the manifestations of consonant gradation do not always coincide. Even more, we can find examples of gradationally dissimilar parallel forms which are attributed (correctly or mistakenly) to the same idiom, cf. *ūtta* 'Hand': Gen. *utan*, *udan*, (*uden*), *utton* [Castrén, Lehtisalo 1960: 124].

The paradigmatic alternations in Ket' Selkup are fairly similar to SyllGrad in Finnic, Nganasan, and — especially — in Lapp. But there is no indication that this dialect shares or ever shared with these languages the mechanism of RhGrad. And — as it has been stated above (5.2) — it is the unique combination of RhGrad with SyllGrad (as well as applicability of the R-S-Model and generative priority of RhGrad) which can be viewed as an unmistakable sign of common PUr. origin.

Thus, SyllGrad in Ket' Selkup may be genetically related to PUr./PSam. gradation. Perhaps further study and an exhaustive description of this mechanism (if only this is feasible) will shed more light on this problem. But it seems very likely that here, at best, only a truncated and strongly transformed version of PUr. consonant gradation is preserved.

In this respect the situation in Ket' Selkup does not differ very much from that in several other Selkup dialects (including Taz Selkup), in Vogul, Ostyak, and Forest Nenets, where voiceless consonants can undergo positional (non-phonological) voicing in intervocalic position, especially before the vowel of a closed syllable. The secondary origin of such phonetic phenomena is at least as probable as a partial preservation of PUr. SyllGrad.

10. Gradation and traditional octosyllabic trochaic poetry

It cannot be denied in connection with different manifestations of consonant gradation in Uralic, that

«Im Hintergrund dieser Erscheinungen steht wahrscheinlich das Streben nach einem inneren rhythmischen Gleichgewicht der Rede» [Hajdú 1962: 53].

The above considerations, with strong emphasis made on the eminent role and the ancient roots of RhGrad, seem to support this assessment. It is therefore tempting to think about the possible relationships between gradation and those domains of language use where the need in rhythmic balance was always very strong — that is, with versification and singing.

The author of the present paper had in recent years several occasions: (a) to demonstrate the dominant role of octosyllabic metre with stresses on odd-numbered syllables and with an obligatory caesura after the second syllable ($\acute{\text{U}}\text{U}\acute{\text{U}}|\acute{\text{U}}\text{U}\acute{\text{U}}$) in Northern Samoyedic shamanic incantations; (b) to assume the direct genetic links between this metrical scheme and the metre of Kalevala, taking into consideration also the role of shamanic incantations as the source of Finnic epic songs; (c) to bring up a hypothesis, according to which «the language of spirits» (that is, the shamanic versification and singing) could have a strong impact upon the development of «human» (everyday) Uralic languages [Хелимский 1989б; Helimski 1990, 1993].

The inherent relationship between the octosyllabic trochaic and the principles of RhGrad is self-evident. It will probably be not too daring to assume that this form of gradation originates from poetic speech, and that its generalization is due to the outstanding role played by poetic (shamanic, sacral) narrative in the ancient Uralic society.

No less important was, as it seems, the further interaction between the morphonological phenomenon and the poetic tradition. It is difficult to distinguish here causes from consequences — but in the majority of Uralic languages, which underwent not only the «de-gradation» (see 8.1) but also the intensive reductive processes in suffixal syllables, no or only weak traces of octosyllabic versification are found. On the other hand, it can hardly be accidental that in Finnic and Nganasan we find preserved the entire batch of related extralinguistic and linguistic phenomena: the octosyllabic poetry, the syllabic structure of words practically untouched by reductive processes, and the consonant gradation.

Table

Features of
stem (chain)
Harmonic
Second syl
suffix open
Second syl
suffix close

Table

HAMHL

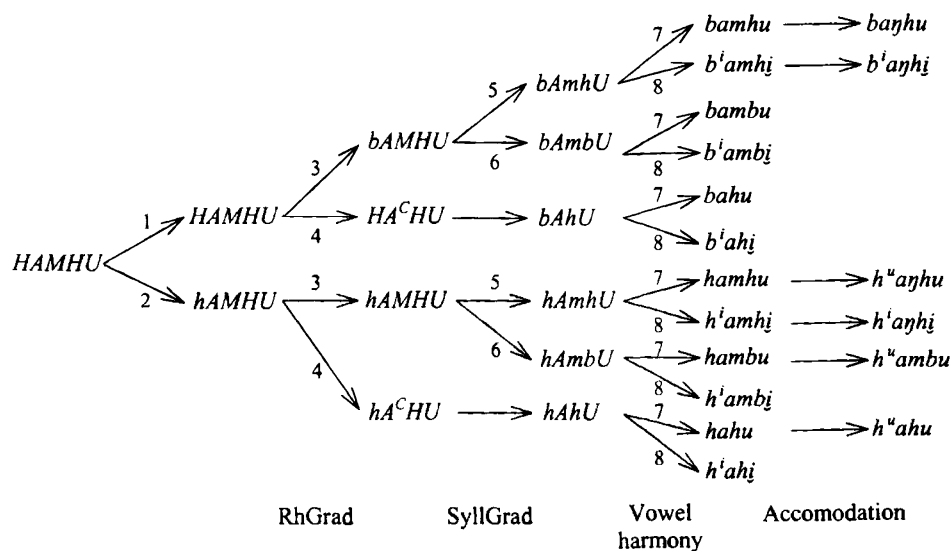
- 1 — af
- 2 — af
- 3 — af
- 4 — af
- 5 — if
- 6 — if
- 7 — af
- 8 — af

* * *

Table 1. Allomorphy in Nganasan: The renarrative mood suffix

Features of the preceding stem (chain of morphemes)	(2n) vocalic morae				(2n+1) vocalic morae			
	Vocalic		Consonantal		Vocalic		Consonantal	
Harmonic class of the stem	1	2	1	2	1	2	1	2
Second syllable of the suffix open	<i>baŋhu</i>	<i>b'əŋhĩ</i>	<i>h"əŋhu</i>	<i>h'əŋhĩ</i>	<i>bahu</i>	<i>b'ahĩ</i>	<i>h"ahu</i>	<i>h'ahĩ</i>
Second syllable of the suffix closed	<i>bambu</i>	<i>b'ambĩ</i>	<i>h"ambu</i>	<i>h'ambĩ</i>	<i>bahu</i>	<i>b'ahĩ</i>	<i>h"ahu</i>	<i>h'ahĩ</i>

Table 2. Generation of allomorphs in Nganasan: The renarrative mood suffix



- 1 — after vocalic stems
- 2 — after consonantal stems
- 3 — after stems with even number of vocalic morae
- 4 — after stems with odd number of vocalic morae
- 5 — if the second syllable of the suffix is open
- 6 — if the second syllable of the suffix is closed
- 7 — after stems of the first (originally velar) harmonic class
- 8 — after stems of the second (originally palatal) harmonic class

Table 3. Lenition and gradation in Uralic languages.

Language (dialect)	Lenition of intervocalic stops	Gradation	Example: PFU * <i>sata</i> '100', PSam. * <i>uta</i> 'hand'
Lapp (Southern)	+	-	<i>tjüodie</i>
Lapp (Ume)	-	+	<i>tjüehtee</i> , Gen. <i>tjüetee</i>
Lapp (Northern)	-	+	<i>čuoŋte</i> , Gen. <i>čuode</i>
Lapp (Inari)	-	+	<i>čyeti</i> , Gen. <i>čyeđe</i>
Lapp (Ter)	-	+	<i>čjDte</i> , Gen. <i>čjđe</i>
Finnish	-	+	<i>sata</i> , Gen. <i>sada</i>
Karelian	-	+	<i>sata</i> , <i>šata</i> , Gen. <i>sada</i> , <i>šada</i>
Veps	+	-	<i>sada</i>
Votic	-	+	<i>sata</i> , Gen. <i>saa</i>
Estonian	(+)	(+)*	<i>sada</i> [<i>saDa</i>], Gen. <i>saja</i>
Livonian	+	-	<i>sada</i>
Mordvin (E/M)	+	-	<i>šado</i> / <i>šadā</i>
Cheremis	+	-	<i>šüda</i> , <i>šüdö</i>
Votyak	+	-	<i>šu</i>
Ziryan	+	-	<i>šo</i>
Hungarian	+	-	<i>száz</i>
Vogul (Northern)	-	-	<i>sāt</i>
Ostyak (Eastern)	-	-	<i>sat</i>
Nenets (Tundra)	+	-	<i>ηuða</i>
Nenets (Forest)	-	-	<i>ηutta</i>
Enets	+	-	<i>uða</i>
Nganasan	-	+	<i>dūtü</i> (* <i>juta</i>), Gen. <i>dūdū</i>
Selkup (Northern)	-	-	<i>utə</i>
Selkup (Central)	+	-	<i>udə</i> , <i>uDə</i>
Selkup (Ket')	(-)**	(+)**	<i>uttə</i> , Gen. <i>udən</i>
Kamassian	+	-	<i>uda</i>
Mator	+	-	<i>uda</i> , <i>uDə</i>

* Preserved mainly as a relic phenomenon

** Lenition (voicing) only in special positions

*** Only in the form of SyllGrad (possibly as an innovation)

BISYLLABIC CONSONANTAL AND TRISYLLABIC VOCALIC STEMS IN FINNO-PERMIAN AND FURTHER*

The author has the pleasure to combine offering Károly Rédei his hearty congratulations with expressing a deep gratitude for the ample opportunities, which the new «Uralisches Etymologisches Wörterbuch» provides for further studies in Uralic etymology and historical phonology, and for the reassessment of some earlier concepts.

* * *

1. It can be hardly denied that the phonetic structures

CVCVC VCVC CVCCVC VCCVC

could exist and even were frequent in the Uralic and Finno-Ugric proto-languages. This fact directly follows from the accepted (and very reliable) reconstructions of such inflexional morphemes as *-m* (Acc.), *-n* (Gen.), *-t* (Pl.), *-k* (Imper. 2Sg/Conneg.). Therefore the paradigms of **kala* 'fish', **elä-* 'to live', **koska* 'aunt', **äjmä* 'needle' were to include such forms as **kalam*, **eläk*, **koskan*, **äjmäi*, and so on. (The same refers to the less frequent trisyllabic structures with final consonants: CVCVCVC, CVCCVCVC, etc.)

The phonetic structures listed above occur as root and stem patterns in all Uralic languages without exceptions, even in Finnish and other Balto-Finnic languages, where at least on the surface level there are no monosyllabic consonantal stems of nouns.

This combination of facts means that the reconstruction of PUr. and PFU bisyllabic consonantal roots and stems appears to be valid from both internal (structural) and external (comparative) viewpoints. Nevertheless, the permission to reconstruct such roots and stems is blocked by the assertion that all PUr. and PFU stems were vocalic. Repeated in many handbooks and studies, this assertion has never been proven: it remains an axiom, based, on the one hand, on the idea of the structural uniformity and primitivity of a proto-language, and, on the other hand, on extending the Balto-Finnic restriction on the occurrence of monosyllabic consonantal stems both in width (to non-monosyllabic stems) and in depth (to all language stages that preceded Balto-Finnic)¹.

* Впервые опубликовано в: Rédei-Festschrift. Wien; Budapest, 1992. S. 195–200.

¹ However, this restriction itself seems to be of secondary nature. On the possibilities for reconstructing PUr./PFU monosyllabic consonantal stems see the author's comments [Helimski 1984a: 248–249] (and also [Хелимский 1979, 1990a]).

2. It is possible to prove that bisyllabic consonantal stems existed at least as early as in Finno-Permian and were opposed to trisyllabic vocalic stems (CVCVCV, CVCCVCV, etc.). The decisive evidence is given by the Indo-European loanwords in FP:

(I) Whenever a borrowed stem was bisyllabic consonantal in IE, no traces of an original vowel in the third syllable can be found in any of the FP languages;

(II) If a borrowed stem was in IE trisyllabic and vocalic, it is preserved as vocalic in Balto-Finnic (which appears to be most conservative also in this respect), and there are sporadic traces of an original vowel in the third syllable in other FP languages (which underwent reductive processes that often affected even the final vowels of bisyllabic stems);

(III) There is a small residue of cases when the original shape of the IE source or some secondary developments remain unclear or controversial.

The relevant material is as follows:

(I) Ilr. **bhagas* (OInd. *bhāgah*, Av. *bayas*) 'God; lot; luck' > Md. M *pavas* 'Gott; Gluck', E *paz*, *pas* 'Gott' ([Joki 1973: 301]; [Rédei 1986: 55–56] with the reconstruction of FP **pakas(e)*).

Ilr. **bhundas*/**budhnas* (OInd. *budhnāh* 'Grund, Boden') > Ch. KB *pāndaš*, J *pūndaš*, JP *pūntakš* (with secondary final cluster?) 'Boden, Grund', Vot. *pīdes* id., Zyr. *pīdes* id.; Ch. B *pundāš*, *punduš* 'Baumstumpf' and Md. E M *potmaks*, E *potnaks* 'Boden, Grund' may also belong here, while Zyr. *pīd* 'Tiefe' reflects another IE source or results from a recomposition of the original stem ([Joki 1973: 304–305]; [Rédei 1986: 56–57] — FP **puntaksə* ~ **punta*; [UEW: 740] — FP **puntə* (~ *-ksə*)).

Ilr. **daivas* (OInd. *dēvāh* 'himmlisch, göttlich; Gott') or a related IE form (IE **dēiyo*) > Fi. *taivas* (Gen. *taivaan*) 'Himmel' ([Joki 1973: 323]; [Rédei 1986: 60–61] — FP **tajwas(e)*).

Ilr. (?) **darghas* (from IE **dolghos*) 'Sichel, Schiene', see [IEW: 196] > Md. E M *tarvaz* 'Sichel' ([Joki 1973: 325]; [Rédei 1986: 60–61] — FP **tarwas(e)*).

Early Ilr. **erdhas* (OInd. *ārdhah* 'Teil, Seite, Hälfte') > Md. E M *irdes*, E *irdis* 'Rippe', Ch. KB U B *ōrdāz* 'Seite', Vot. *urdes* id., Zyr. *ordes* 'die aufrechtstehenden Seitenbretter im Schlitten'; Vot. *urd* 'Rippe', Zyr. *ord-lī* id. and perhaps also Lp. **ērtē* 'side' [Lehtiranta 1989: No. 237] relate to this stem in the same way as Zyr. *pīd* to *pīdes*, see above ([Joki 1973: 25–25]; [Rédei 1986: 50] — **ertāsə* ~ **ertā*; [UEW: 625] — FP **ertā*).

Ilr. **martas* (OInd. *mārtah* 'Mensch, Sterblicher') > Fi. *marras* (Gen. *martaan*) 'im Sterben liegend; ...; männlich', (?) Vot. *murj* 'gelte Kuh', (?) Zyr. Ud. *mur* 'barren (of cow)' ([Joki 1973: 280–281]; [Rédei 1986: 52–53] — FP **martas(e)*; [UEW: 699] — FP **marta*; [Лушникова 1990: 8] with the demonstration of the fact that only Ilr. **martas*, and not **mrtas*, must be the source of the Fi. word).

Early Ilr. **poršos* (from IE **porkos*) 'swine', Lat. *porcus*, see [IEW: 841] > Fi. *porsas* (Gen. *porsaan*) 'Ferkel', Md. E *pursuz*, *purcos*, M *puRc*, *puRc* 'Schwein', Vot. *parš* id., Zyr. *porš* id. ([Joki 1973: 303]; [Rédei 1986: 56] — FV, ?FP **poršas* or **porčas*; [UEW: 736]).

Ilr. **suasar-* (OInd. *svāsar-* 'Schwester') and related IE (Baltic?) forms (IE **suesor-* 'sister') > (a) Md. E M *sazor* 'jungere Schwester', Vot. *suzer* id., Zyr. S *sozor* 'Fadenbruch (im Gewebe)', (b) Fi. *sisar* (Gen. *sisaren*) 'Schwester', Est. *sōsar* id., Ch. KB *šāžar*, U *šūžar*, B *šūžar* 'jungere Schwester' ([Joki 1973: 312]; [Rédei 1986: 58–59]; [UEW: 752–753] — FP **sasare* and [UEW: 761–762] — FV **sisare* ~ **sesare*).

Ilr. (?)

'Basis, Gru
od. Gerüst,
hölzerner K
325]; [UEV
mantically,

Ilr. **ūd/*
id., Ch. KB
FV **utare*.)
utaro).

An IE fo
'Feind, Teu
ous', (?) S
interpretatio

Early Ilr
vermen 'Ol
schlechter S
1973: 343];

Ilr. **vrka*
1973: 342–3

(II) Ilr. **a*
Md. E *ažija*
beldeichsel',
sel', which
[Rédei 1986

rather **ajiša*
struction 'o
hardly be val

Ilr. **a-kš-*
the parallel f
versiegt', M
[(UEW: 606]

Ilr. **asur*
Furst') > Md

Vog. **ātar* 'F

Early Ilr.

Md. E *rives*

'schlau, listig

in Fi. *repo*, F

1986: 46; UE

construct **re*

Ilr. **žhar-*
E *širne*, M *š*

Messing, Ku
orany 'Gold'

times (Joki 1
**žarāna*).

1–1846

Ilr. (?) **talas* (cf. OPr. *talus* 'Fussboden' and, with another ending, OInd. *tala-m* 'Basis, Grund, Boden; Oberfläche, flaches Dach' > (?) Fi. *talas* (Gen. *talaan*) 'Stange od. Gerüst, worauf etw. getrocknet wird...', Vot. *tilis* 'Hütte', ? Zyr. *tilēs* 'Schachtel, hölzerner Kasten', (?) Vog. N LM *tul* 'Stange mit Lebensmitteln...' ([Joki 1973: 324–325]; [UEW: 508] — FP, ?FU **tala(-s3)*). The whole etymology is problematic semantically, partly also formally.

Ilr. **ūdhar* (OInd. *ūdhar* 'Euter') > Fi. *udar* (Gen. *utaren*) 'Euter', Md. E M *odar* id., Ch. KB *waḍar*, U B *woḍar* id. ([Joki 1973: 332]; [Rédei 1986: 61; UEW: 806] — FV **utare*). There are also secondary trisyllabic dialectal forms in Fi. (*utare*, *utara*, *utaro*).

An IE form related to Balto-Slavic **uorgos* (Lith. *vařgas* 'Not, Elend', Russ. *vórog* 'Feind, Teufel') > Vot. *vargas* 'solitary, self-willed', Zyr. *varges* 'cunning, treacherous', (??) Sam. **wārka* 'bear' ([Helimski 1984b: 199]; [Rédei 1986: 62] with different interpretation of the IE source).

Early Ilr. **vermen-* (Ilr. **varman-*, OInd. *vārman-* 'Panzer, Schutzwehr') > Fi. *vermen* 'Oberhaut, Epidermis' (dial. *vermes* 'Stoff; Halstuch', *verme* 'dünner, schlechter Stoff...'), Lp. **vėrmė* '(fishing) net' [Lehtiranta 1989: No. 1410] ([Joki 1973: 343]; [Rédei 1986: 63] — FP **wermen(e)*).

Ilr. **vrkas* (OInd. *vrkaḥ* 'Wolf') > Md. E *veřges*, *veřgis*, M *veřgas* 'Wolf' ([Joki 1973: 342–343]; [Rédei 1986: 62] — FP **werkas(e)*).

(II) Ilr. **aiša* (OInd. *iṣā* 'Deichselstange', Av. *aēša* 'die beiden Femiernstangen') > Md. E *ažija*, M *ažjā* 'Deichsel', Vot. S *vajiš*, *vaiš*, K *vajiš*, *vaiš* 'Femiernstange, Gabeldeichsel', Zyr. *vož*, SO *qž* 'Deichsel'; cf. also Fi. *aiša* 'Gabel-, Deichselarm; Deichsel', which is borrowed from a related IE (Baltic?) source ([Joki 1973: 253–254]; [Rédei 1986: 49; UEW 605] — FP **ajša*). The Md. and especially Vot. forms suggest rather **ajiša*, thus bringing the reconstruction closer to the Ilr. source (while the reconstruction **ooši* in [Sammallahti 1988: 552] leans in the opposite direction and can hardly be valid).

Ilr. **a-kšaitra-* (OInd. *ā-kṣetra* 'destitute of fields, uncultivated') > Fi. *ahtera* (with the parallel form *ahder*, Gen. *ahteren*, probably of secondary nature) 'gelt, unfruchtbar, versiegt', Md. E *ekšter*, *jakšter*, *āštir*, M *āšter* 'gelt, güst, unfruchtbar, nicht gebärend' ([UEW: 606] — FV **akšte-r3* or **akš3-ter3*; [Blažek 1990: 40]).

Ilr. **asura* (OInd. *āsurah* 'mächtig; Herr; böser Geist, Dämon', Av. *ahurō* 'Herr, Furst') > Md. E *azoro*, E M *azor* 'Herr', Vot. *uzir* 'reich, Reichtum', Zyr. *ozir* 'reich', Vog. **ātar* 'Furst' ([Joki 1973: 253]; [Rédei 1986: 44; UEW: 18] — FU **asur3*).

Early Ilr. **reupōšo-* (OInd. *lōpāśāḥ* 'Fuchs, Schakal') > Lp. S *rēPis*, *rēP^hse* 'Fuchs', Md. E *riveš* id., Ch. KB *rāwāž*, U B *rāwāž* id., Vot. *ž cī* id., Zyr. *ruć* id., Hu. *ravasz* 'schlau, listig, (OHu.) Fuchs'; different (secondarily transformed?) variants of this stem in Fi. *repo*, Est. *rebane*, Lp. N *riebān*, etc., Hu. *róka* ([Joki 1973: 308–309]; [Rédei 1986: 46; UEW: 423–424] — FU **repā* (~ -č3)). It seems at least as reasonable to reconstruct **repš3s* (Perm. -č- < **pš-* < **pš3-*).

Ilr. **žharan(i)ya* (OInd. *hiranya-*, Av. *zaranya-* 'gold' and its later reflexes) > Md. E *širne*, M *širne* 'Gold', Ch. *šōrni*, Vot. Zyr. *zarñi*, Os. V *lorñā* 'Kupfer', Vj. *jorñi* 'Messing, Kupfer', Vog. P *tariñ*, *tariñe* 'Kupfer' [Munkácsi, Kálmán 1986: 630], Hu. *arany* 'Gold'; these forms are borrowed from different Ilr. sources and at different times ([Joki 1973: 250–251]; [Rédei 1986: 82] — Perm. **zarñi*; [UEW: 843] — Ug. **žarania*).

Ilr. **varāzha-* (OInd. *varāhah* 'Eber, Schwein', Av. *varāza-* 'Eber') > Fi. *orasa*, *oraisa* (with the parallel form *oras*, Gen. *oraan*, possibly of secondary nature) 'Eber; verschnittener Eber', Md. M *urozi*, *uros* 'verschnittener Eber' ([Joki 1973: 296]; [Rédei 1986: 54; UEW: 720] — FV **oraše*). Fi. *ora(i)sa* suggests rather **oraša*.

Ilr. **vazra* (OInd. *vājrah* 'Donnerkeil (Indras); Diamant', Av. *vazra-* 'Keule, Hauptwaffe des Mithra') > Fi. *vasara* 'Hammer', Lp. **vēcērē* id. [Lehtiranta 1989: No. 1367], Md. E *užere*, *vižir*, E M *užer* 'Axt' ([Joki 1973: 339]; [Rédei 1986: 63; UEW: 815–816] — FV **wašara*).

Though the traces of the original vowel of the third syllable are obvious in the group (II), their distribution (for example, in Md., where these traces are preserved only in some dialects) needs special investigation on much larger material.

(III) IE **orbhos* or Ilr. **arbhas* (OInd. *ārbhaḥ* 'klein, jung, schwach; Kind', Lat. *orbus* 'orphan') > Fi. dial. *orvas* 'Verwandter', Lp. **ōrpēs* 'orphan; lonely' [Lehtiranta 1989: No. 846], Md. E *urus*, E M *uros* 'Waise', ?Ch. KB *arweza*, M *urweze*, U *ārweze* 'Knabe...; jung' (with irregular vocalic correspondences; this circumstance raises doubts about the original character of the trisyllabic structure), ?Os. V *-urwi*: *jēṅku* 'Waise; Witwe', Vj. *-urj*: *jēṅku*. 'verwaist (Kind; Greis)', ?Hu. *ārva* 'Waise; einsam'. Related forms — Fi. *orpo* 'Waise, verwaist', *orpana* 'Vetter, Cousin(e)', Lp. **ōrpēnē* 'sister' [Lehtiranta 1989: No. 845], Md. E *urva* 'Schwiegertochter', M *ervä* 'Frau, Gattin' — can either result from transformations of the stem in FU or be separately borrowed from IE (cf. IE **orbhano-* in Gr. ορφανός 'verwaist', IE **orbhjo-* in Goth. *arhja* 'der Erbe'); in view of this, the position of the Os. and Hu. forms remains unclear ([Joki 1973: 297–298]; [Rédei 1986: 46; UEW: 343] — FU **orpa(s)* ~ **orwa(s)*, [UEW: 722] — FV **orpa*).

The consonantal stem in Vog. **āntər* 'Magen' and related FU forms (there are no direct correspondences in FV) can go back to Ilr. **untar* (OInd. *antār* 'zwischen') or **antura-* (OInd. *antara-* 'innerer') [Korenchy 1972: 46–47; IEW: 313]; the relationship to FU **omte* '(Brust-, Bauch-) Höhle' and **oṅte* 'Höhle, Höhlung' [UEW: 338, 341–342] is not quite clear.

For two more words, attested only in Cheremis (Ch. *šūdər*, *šəḍər* 'Stern' and *tawar*, *towar* 'Axt'), it is difficult to define the original stem structures of their presumable Ilr. sources [Joki 1973: 321–322, 326]; however, any solution cannot contradict the regularities found in (I) and (II).

3. The absence of any traces of an original final vowel in the reflexes of Ilr. bisyllabic consonantal forms, which contrasts with the almost systematic (in Balto-Finnic) or partial (in other FP languages) preservation of such vowel in the reflexes of trisyllabic vocalic forms, leads us to the conclusion that the words discussed in (I) were bisyllabic consonantal stems also in Proto-Finno-Permian: **pakas* (or rather **payas*), **puntas* (?**puntaks*), **tajwas*, **tarwas*, **ertäs*, **martas*, **porš/čas*, **sasar* and **silesar*, **talas*, **utar*, **warkas* (?), **wermen*, **werkas*, perhaps also **orpas* (or rather **orwas*) from (III).

As long as these stems are Finno-Permian (with problematic Ugric counterparts for **talas* and **orpas*), this conclusion does not automatically mean that bisyllabic consonantal stems existed also earlier, in PFU and PU. But it does not seem likely that this feature is a FP innovation, caused (or catalyzed) by a strong Ilr. influence. While the numerous *s*-stems are mostly (maybe ever all) borrowed, there exists a group of PFU and PUr. etymologies, which are quite similar to the etymologies from the group (I).

These words have a bisyllabic consonantal stem (or, secondarily, due to contraction, a monosyllabic stem with a long vowel and an added final *-i* in Nom., but not in Part.) in Balto-Finnic and show no traces of an original trisyllabicity in other languages. Cf. for example:

'Heart': Fi. *sydän* (Gen. *sydämen*, Part. *sydäntä*), Lp. **čedēm* [Lehtiranta 1989: No. 100], Md. E *sedēj*, *sedēj*, M *sedī*, Ch. *šüm*, Vot. *šulem*, Zyr. *šęļem*, Os. Vog. **sīm*, Hu. *szív*, Sam. **sejā* [SW: 139], see [UEW: 477]. The word can be reconstructed as PUr. **šüδām* (?).

'Mouse': Fi. *hiiri* (Gen. *hiiren*, Part. *hiirtä*), Md. E *čejer*, *čeveř*, M *šejer*, Vot. Zyr. *šjř*, Os. **āōñkər*, Vog. **tāñkər*, Hu. *egér* (Acc. *egeret*), see [UEW: 500–501]. The word can be reconstructed as FU **šjiger* (?).

4. The relative scarcity of the relevant etymological material certainly is a serious obstacle for definite and reliable differentiation between bisyllabic consonantal and trisyllabic vocalic stems. It can nevertheless be expected that the future study of the problem may lead to interesting findings. For example, it can be — very tentatively — pointed to the fact that the weak consonants *-w-*, *-γ-* and especially *-δ-* seem to occur medially in presumable bisyllabic consonantal stems much more often, than in bisyllabic vocalic stems, and more often, than their strong counterparts *-p-*, *-k-* and *-t-*. If this preliminary observation is true, it may mean, that the notorious theory of PUr. gradation of consonants was not, after all, a complete mistake².

² < See now [Helimski 1995a], esp. section 6.6.>

ПРАСАМОДИЙСКИЕ **ə* И **ä*: ПРАУРАЛЬСКИЕ ИСТОЧНИКИ И НГАНАСАНСКИЕ РЕФЛЕКСЫ*

Среди многообразных морфонологических явлений нганасанского языка, к изучению которых неоднократно обращался Петер Хайду (см., например, [Hajdú 1962, 1964b: 397–400] с фундаментальным выводом о моросчитающем характере нганасанского языка), существенное место занимает гармония гласных.

Как и в других языках с вокалической гармонией, суть ее состоит в подразделении корней (основ) на гармонические классы и в зависимости вокалической огласовки суффиксов от гармонического класса основы. Своеобразие нганасанской гармонии заключается, однако, в отсутствии сколь-нибудь четкой корреляции между «детерминирующими» и «детерминируемыми» гласными на уровне синхронных фактов. Фонетически тождественные корневые гласные способны задавать разные типы вокалической огласовки суффиксов, а один и тот же суффиксальный гласный способен участвовать в разных рядах гармонических альтернатив. Кроме того, характер зависимости между вокализмом «детерминирующим» и вокализмом «детерминируемым» не может быть в общем виде описан в терминах фонологических оппозиций по ряду, подъему и лабиализации. Это своеобразие отражается, например, в облике нескольких парадигматически тождественных форм, образованных от омонимичных глагольных основ *hon-* 'заплести' и *hon-* 'иметь':

Ger. ('заплести/имея')	<i>hon-sa</i>	<i>hon-si</i>
Ger. cond. ('если заплести/иметь')	<i>hoŋ-hü?</i>	<i>hoŋ-hi?</i>
Praet. 1Du obj. ('мы двое заплели/имели это')	<i>hon-suä-mi</i>	<i>hon-sjä-mi</i>
Infer. 3Sg obj. ('он, оказывается, заплел/имеет это')	<i>hoŋ-h"adu-tu</i>	<i>hoŋ-h"ädi-ti</i>
Imp. 1Pl obj. ('пусть мы заплетем/имеем это')	<i>hoŋ-ku-mu?</i>	<i>hoŋ-ku-mi?</i>

Здесь, несмотря на фонетическую омонимию, основы принадлежат разным гармоническим классам (что позволяет квалифицировать их как неомонимичные на уровне глубинных репрезентаций). Первому из этих классов соответствуют суффиксальные гласные *a*, *ü*, *u*, *ä*, второму — гласные *i*, *i*, *a*; кроме того, гласные как первого набора (*u*), так и второго набора (*i*) выступают в определенных случаях как нейтральные в отношении гармонии, сочетаясь с основами обоих классов.

Не удивительным — и даже, пожалуй, оправданным при очень буквальной трактовке идеи «гармонии» гласных — является поэтому утверждение о том, что «в нганасанском языке нет сингармонизма» [Терешенко 1979: 48].

* Впервые опубликовано в: Hajdú Péter 70 éves. Budapest, 1993. 125.–133. о.

В действительности нганасанская гармония гласных, как и некоторые другие морфонологические феномены этого языка — интереснейший заповедник языковой диахронии. Хаотичные и внешне непоследовательные отношения между гармоническими классами и соотношения в рядах альтернатив — результат сохранения норм огласовки конкретных словоформ в условиях радикального сдвига гласных (vowel shift) и нейтрализации ряда фонетических оппозиций. В этих условиях типологически естественно было бы ожидать разрушения и утраты гармонических норм, лишившихся фонетической мотивации, что и происходило в ряде языков. Нганасанская традиция, однако, обнаружила в этом отношении замечательную устойчивость и почти полный консерватизм. Лишь в речи младших поколений носителей языка (лица моложе 40 лет) отмечаются отклонения и сбои гармонических и иных морфонологических норм; но это сочетается с общей неполнотой языковой компетенции в соответствующих возрастах и, следовательно, является симптомом скорее языковой деградации, нежели языковой эволюции.

Наиболее часто реликтом некогда существовавшей гармонической оппозиции заднерядных и переднерядных гласных в суффиксальных слогах выступает оппозиция двух заднерядных гласных верхнего подъема — *u* (ПС **a*) : *i* (ПС **e*); в определенных случаях — после палатальных согласных, при *i* или *u* в предшествующем слоге — ее замещает оппозиция *ü* : *i* (где *ü* выступает репрезентантом старого заднего ряда, а *i* — старого переднего ряда). В приводимых ниже примерах, взятых из нганасанских полевых записей последних лет и из чрезвычайно полезного индекса словоформ, составленного М. Катцшманном [Katzschmann 1990], принадлежность основ к тому или другому из гармонических классов иллюстрируется, как правило, словоформами с такими суффиксами, в которых наблюдается альтернатива *u* : *i* и/или *ü* : *i*.

Гармоническая двойственность нган. *i*. Хорошим подтверждением тезисов об исторической обусловленности и устойчивом консерватизме гармонических явлений в нганасанском языке может служить дистрибуция по гармоническим классам у слов с гласным *i* в первом слоге.

Как известно, в нган. *i* совпали (в большинстве случаев) ПС **i*, **j* и **ü* [Janhunen 1976: 175; Mikola 1988: 224–225].

В тех случаях, когда источником нган. *i* является ПС **j*, мы регулярно находим огласовки *u* или *ü*, указывающие на старый задний ряд:

ПС **ilä* низ, дно' ([SW: 24]; реконструкция **ilä* является опечаткой, ср. [Janhunen 1981: 227]) — нган. *ñilä* : *ñilänu* 'внизу, под';

ПС **ināpā* 'свекор, тесть' [SW: 24] — нган. *ñinābā* : Px3Sg -*tu*;

ПС **jintā* 'лук' [SW: 25; Janhunen 1981: 253] — нган. *dintā* : Px3Sg -*δu*;

ПС **kij* 'луна, месяц' [SW: 69] — нган. *kitāδā* : LocSg -*tānu*;

ПС **mitā* 'печень' [SW: 93] — нган. *mitā* : Px3Sg -*δu*;

ПС **mur* ~ **mīr* 'ступня' [SW: 96] — нган. *mirā* : Px3Sg -*δu*;

ПС **nikā* 'склоняться' ([SW: 101], с вариантом **nikā*) — нган. *ñigü*? 'унижаться' : Praes. 3Sg subj. *ñigütü*;

ПС **ñiñkā* ([SW: 101], с вариантом **ñiñkā*) — нган. *ñiñkā* : Praet. 3Sg obj. -*düädu*;

ПС **širā* 'снег' [SW: 140] — нган. *širü* : Px3Sg -*δü*;

ПС **irā* 'высохнуть' [SW: 160] — нган. *tirü* : Praet. 3Sg subj. -*düä*.

Последние два примера менее показательны, поскольку в них огласовка суффиксов может рассматриваться как детерминированная вторым корневым гласным (**ä*). В то же время не могут считаться исключениями из закономерности

два примера, в которых огласовки, указывающие на старый передний ряд, детерминированы гласным *i* во втором корневом слоге:

ПС **iiz-* 'защищать' [SW: 25] — нган. *ɲiɖiʃi-* : Praes. 3Sg obj. *-tiɖi*;

ПС **iiz-* 'повесить' [SW: 25] — нган. *ɲiti-* : Praes. 3Sg obj. *ɲiɖiʔəti*, наряду с нган. *ɲitā-* 'вешать': Praet. 3Sg obj. *-dūədu* (здесь, как и в ряде приведенных выше примеров с *ə* во втором слоге, гармоническая огласовка непосредственно определяется гласным **i* первого слога).

В тех случаях, когда источником нган. *i* является ПС **i*, регулярно обнаруживается огласовки *i* или *i*, указывающие на старый передний ряд (только по материалу, вошедшему в SW, можно указать свыше 40 примеров этого рода, из которых ниже приводится лишь небольшая часть):

ПС **i-* ~ **ni-* 'верх, вершина' [SW: 26] — нган. *ɲi-* : *ɲini* 'на';

ПС **ilā-* ~ **jilā-* 'поднять' [SW: 26] — нган. *dilā-* : Praet. 3Sg subj. *-dīā*;

ПС **kiā-* 'дыра' [SW: 69] — нган. *siā* : Px3Sg *-ɖi*;

ПС **mi-* 'отдать' [SW: 94] — нган. *miʔ-* : Praet. 3Sg obj. *miʃiəɖi*;

ПС **mir-* 'цена' [SW: 94] — нган. *mirəɖi-* 'заплатить';

ПС **nim-* ~ **nūm-* 'имя' — нган. *ɲim* : Px3Sg *-ti*;

ПС **pi-* 'свариться' [SW: 123] — нган. *hiɲ-* : Praet. 3Sg subj. *-siā*;

ПС **tiā-* 'облако, тень' [SW: 162] — нган. *tiəbətɪ-* 'затенить, -ся'.

Как и в выше рассмотренном случае, мы обнаруживаем мнимые «исключения»: они обусловлены тем, что старый заднерядный гласный (ПС **ā*) во втором слоге меняет гармоническую принадлежность основы:

ПС **jikkā-* 'развязать' [SW: 45] — нган. *dikū-* : Praet. 3Sg obj. *-dūədu*.

Такие же огласовки (старый передний ряд) наблюдаются и при нган. *i*, отражающем ПС **ü* (ниже цитируются лишь отдельные примеры):

ПС **cūrā-* 'костыль, посох' [SW: 34] — нган. *tirā* : Px3Sg *-ɖi*;

ПС **jüntā-* 'слышать' [SW: 49] — нган. *dindi-* : Praet. 3Sg subj. *-dīā*;

ПС **jūr-* 'жир' [SW: 50] — нган. *dīr* : Px3Sg *-ti*;

ПС **küntā-* 'дым' [SW: 79] — нган. *kintā* : Px3Sg *-ɖi*;

ПС **kūŋ-* 'пупок' [SW: 79] — нган. *kiŋ* : Px3Sg *kiinti*;

ПС **iij-* 'войти' [SW: 167] — нган. *tii-* : Praet. 3Sg subj. *-dīā*;

ПС **tūt-* 'справить нужду' [SW: 167] — нган. *tīt-* : Praet. 3Sg refl. *tiʃiɖā*;

ПС **wūt-* 'десять' [SW: 177] — нган. *biiʔ-* : *biidimtiā* 'десятый'.

Следует отметить, впрочем, наличие в отдельных случаях вариантов со «старой заднерядной» огласовкой, например, *biidūmtiā* 'десятый' [Терещенко 1973: 212] или *kirti* ~ *kirtū* 'его муха' (ПС **kūr*, см. [SW: 79]). Такие варианты могут возникать вследствие вторичных деструктивных процессов, о которых говорилось выше, но и исключить их архаичность — особенно с учетом того, что речь идет о рефлексх ПС **ü* — тоже нельзя.

Гармоническая двойственность нган. *ə*. Способность присоединять суффиксы с огласовками обоих гармонических типов присуща не только основам с первым гласным *i*, но и основам с другими гласными, в том числе и с гласным *ə*: ср., например, *kəmə-* 'поймать, захватить': Ger. *kəmədā*, Praet. 3Sg subj. *kəmədūā*, Fut. 3Sg subj. *kəməʔsūtā* и *kərə-* 'причалить, пристать': Ger. *kərədī*, Praet. 3Sg subj. *kərədīā*, Fut. 3Sg subj. *kərəʔʃitā*.

Естественно предполагать, что и в подобных случаях гармоническая двойственность связана с исторической гетерогенностью источников нган. *ə*, отражающего два (или более) гласных разного гармонического качества.

Препятствием к такому предположению служит то обстоятельство, что в широко признанной прасамодийской реконструкции Ю. Янхунена (SW, см. также [Mikola 1988]) источником нган. ä практически во всех случаях является ПС *ä (в положении после губных согласных — также ПС *ǣ). Реконструкция ПС *ä достаточно убедительна в том плане, что рефлексy этого гласного в отдельных самодийских языках обычно носят стандартный характер — во всяком случае, до сих пор вопрос о целесообразности реконструкции на соответствующем месте более чем одной фонологической единицы, видимо, не возникал.

Однако обнаруживается, что гармоническая двойственность нган. ä находится в корреляции с двойственностью прауральских источников ПС *ä. Вполне представительный ряд надежных уральских этимологий, как и некоторое число этимологий «второго эшелона» (о принципе эшелонирования в новом UEW и его значимости для сравнительно-фонетических штудий см. [Хелимский 1989ж: 240–241]), свидетельствуют о том, что источником нган. ä, за которым следуют «старые заднерядные» огласовки в суффиксальных слогах, является ПУ гласный заднего ряда (обычно *u), а источником нган. ä с последующими «старыми переднерядными» огласовками в суффиксальных слогах является ПУ гласный переднего ряда (обычно *i).

Особого внимания заслуживают этимологии со вторым из этих двух типов соответствий, которые я предлагаю рассматривать как основание для реконструкции ПС *ǣ — переднерядного аналога ПС *ä:

1. ПУ *e ([UEW: 67–68]; часть рефлексов указывает, по-видимому, и на *i) — ПС *ǣ- ‘этот’ ([SW: 19]: *ǣ- (? ~ *e- ~ *ǣ-)) — нган. äm- — основа указ. мест. ближнего дейксиса: ämñi ‘здесь’, ämij ‘вот этот’.

2. ПУ *ipse (реконструкция по [Sammallahti 1979: 27; Puszta 1983: 194]; ср. [UEW: 83]) — ПС *ǣptä ‘запах’ ([SW: 16]: *ǣptä) — нган. ηäbtä : ηäbtäljä ‘вонючий’.

3. ПУ *itā- ‘появиться, стать видимым’ ([UEW: 85] в качестве ПФУ этимологии) — ПС *ǣtz- ‘стать видимым’ ([SW: 16]: *ǣtā-) — нган. ηädu- ‘быть видимым’ : Praes. 3Sg subj. ηäduñj. В данном случае используется новая ПУ этимология; сравнения самодийских слов в [UEW: 20] sub *attz- и в [UEW: 334] sub *oā- представляются ошибочными. По-видимому, непосредственным предшественником нган. ηädu- является ПС дериват *ǣtü-.

4. ПУ *kiñz(-lǣ) (*küñz(-lǣ)) ([UEW: 159]; думается, что нет необходимости реконструировать ПУ *u первого слога, как это предлагается в [Janhunen 1981: 255] и [Sammallahti 1988: 537]) — ПС *kǣñäli ([SW: 53]: *kǣñäli с вариантами) — нган. kǣlǣ ‘слеза’ : Px3Sg -ǣj.

5. ПУ *m[i]rkz (хант. DN mǣrak ‘Oberarm, -knochen; Flügel’, O mǣrax ‘Oberarm (des Vogels)’, манс. Sy. mark ‘Oberarm, obere Hälfte des Flügels; Schleudern’, N kǣt-mǣrak ‘Oberarm’; см. с иным и неточным сравнением [UEW: 295–296]) — ПС *mǣrki ‘плечо’ ([SW: 88]: *mǣrkä) — нган. mǣrsj : Px3Sg -ǣj. Тем самым предлагается новая ПУ этимология взамен фонетически и семантически ненадежного сопоставления ПС слова в [UEW: 293] sub *mǣrz.

6. ПУ *pilmz ([UEW: 381–382]) — ПС *pǣjmi- ‘темный, темнеть’ ([Janhunen 1981: 237]: *pǣjmā-) — нган. hojmi- : hojmintä ‘темный’. Следует иметь в виду регулярный характер замены ä на o в положении после h- в нганасанском языке, что позволяет рассматривать hojmi- среди основ с ä в первом слоге.

7. ПУ *piša ([UEW: 384–385]; слабость данной этимологии состоит в том, что с финно-угорской стороны представлено только изолированное морд. piže, piža

‘зеленый’) — ПС **päte* ‘желчь’ ([SW: 115]: **pätä*) — нган. *hoti* : Px3Sg -*đi* (относительно нган. *ho-* см. выше).

8. ПУ **silmä* [UEW: 479] — ПС **säjme* ‘глаз’ ([SW: 132]: **säjmä*) — нган. *šejmī* : Px3Sg -*đi*.

Среди этих этимологий особенно показательны две первых, поскольку в них гармонические свойства основы заведомо задаются гласным **ä*, а не переднерядным гласным второго (или третьего) слога.

Возможно, к перечню следовало бы подключить еще одну этимологию, амбивалентность которой проистекает из сосуществования передне- и заднерядных огласовок у уральских *t*-овых указательных местоимений:

9. ПУ **iä ~ *te ~ *ti* ([UEW: 513–515]; указанная ниже нганасанская и связанные с ней самодийские формы приведены в [UEW: 526–528] sub **to*) — ПС **tā(-)* ([SW: 144]: **tā(-)*) — нган. *tä-* основа анафорического указательного местоимения: *täñi* ‘там’, *täti* ‘тот, тот самый’.

Происхождение нган. *ä* со «старыми заднерядными» огласовками последующих слогов из ПУ **и* (или близкого **и* заднего гласного) удостоверяется довольно большим количеством примеров, что позволяет ограничиться лишь особенно надежными и показательными этимологиями:

10. ПУ **kuma* [UEW: 201–202] — ПС **kāmā-* ‘упасть’ [SW: 52] — нган. *kāmā-* ‘повалить’.

11. ПУ **kupsa-* [UEW: 214–215] — ПС **kāptā-* ‘погасить’ [SW: 54] — нган. *kāptu-* : Praet. 3Sg obj. -*dūādu*.

12. ПУ **muna* [UEW: 285–286] — ПС **mānā-* ‘яйцо’ [SW: 86] — нган. *māni* : Px3Sg -*đu*.

13. ПУ **mura* (**murz*) [UEW: 288] — ПС **mārā-* ‘сломать, разбить’ [SW: 87–88] — нган. *mārā* ‘размягнуть шкуру скоблением’: Ger. cond. -*bū?*.

14. ПУ **nusz-* (**nušz-*) [UEW: 309] — ПС **nāt-* ‘скоблить’ [SW: 97] — нган. *nāt-* : Praes. 3Sg obj. *nādu?ātu*.

15. ПУ **puna-* [UEW: 402–403] — ПС **pān-* ‘сплести’ [SW: 113] — нган. *hon-* : Praes. 3Sg obj. *honu?ātu* (относительно нган. *ho-* см. выше, пример 6).

16. ПУ **suñe* [UEW: 451] — ПС **tāñ ~ *tāñā* ‘лето’ [SW: 148] — нган. *tāñā* : *tāñāru-* ‘летовать’.

17. ПУ **toye-* [UEW: 529–530] — ПС **tā-* ‘принести, дать’ [SW: 145] — нган. *tā-* : Ger. *tāsa*.

Примечательно, что изложенные закономерности проходят по всему изучавшемуся в данной связи этимологическому материалу чрезвычайно четко и последовательно, что еще раз подтверждает глубокий консерватизм нганасанской гармонии гласных. Противоречащие примеры можно отыскать только в этимологическом материале «второго эшелона» (сопоставления, снабженные в UEW знаком вопроса и не выделенные жирным шрифтом в заголовочной части, а также отдельные сопоставления, справедливо отсеянные в [Janhunen 1981] — работе, в которой критерии отбора прауральских этимологий в целом представляются мне слишком жесткими). Понятно, что невыполнение сформулированных выше правил может служить лишь дополнительным аргументом для отказа ([X]) от этих этимологий. Ср., например:

[X] 18. ПУ **kinče* (**künče*) (~ ? **kiče* (**küče*)) [UEW: 157] — ПС **kātā* ‘ноготь’ [SW: 55–56] — нган. *kātu* : Px3Sg -*đu*.

[X] 19. ПУ **weñcz* ~ **wečz* 'весь' ([UEW: 568–569]; этимология встречает ряд проблем, начиная с того, что морд. Э *véše*, *véši* является вероятным русским заимствованием) — нган. *bansa*: *bansami* 'все мы'.

[X] 20. ПУ **korŋa*- ([UEW: 185–186]; с финно-угорской стороны только саам. N *goar'gŋo*- 'подняться') — ПС **kārâ*- 'причалить к берегу' [SW: 54] — нган. *kārâ*:- Praet. 3Sg subj. -*dīa*.

[X] 21. ПУ **piñiz*- ([UEW: 413–414]; с финно-угорской стороны только саам. T *piñña*- 'охранять, пасти') — самод.: эн. T *poner*- 'пасти' — нган. *hon*- 'иметь, использовать, носить (одежду), пасти (олений)': Praes. 3Sg subj. -*tī*.

Заключительные замечания. Рассмотренный выше материал представляется достаточно сильным аргументом в пользу того, чтобы различать в ПС реконструкции два «шва-образных» гласных — заднерядный **ā* и переднерядный **ǣ*, ориентируясь при этом на данные нганасанского языка. Обозначение **ā* можно резервировать для тех довольно многочисленных случаев, когда нганасанские соответствия отсутствуют или не позволяют судить о гармонических свойствах корня, а также для «шва-образного» гласного в непервых слогах (вопрос о возможном противопоставлении **ā* и **ǣ* в непервых слогах пока приходится оставить открытым).

Вероятно, большой артикуляторно-акустической близостью этих двух гласных объясняется совпадение их рефлексов во всех самодийских языках и во всех (?) позициях. Теоретически можно даже допустить, что совпадение **ā* и **ǣ* произошло уже в ПС эпоху — но в этом случае придется предполагать, что фонетически немотивированный сингармонизм имелся уже в ПС языке и был сохранен нганасанским языком так же, как и гармонические свойства отдельных корней. Это выглядит маловероятным.

В связи с предшествующим изложением возникают историко-фонетические проблемы, пролить свет на которые позволяют, как можно надеяться, дальнейшие исследования:

А. Проблема отражения различий между **ā* и **ǣ* в других самодийских языках, помимо нганасанского. Внимания заслуживают, в частности, остаточные явления гармонии в непервых слогах ненецкого языка, ср. нен. T *ñābt-e-č* 'пахнуть' и *tāŋ-o-č* 'летовать' на фоне №№ 2 и 16 выше (данное наблюдение — результат предварительного обсуждения материалов настоящей статьи с Т. Салминеном). Нет полной ясности и с рефlekсами в камасинском языке.

Б. Проблема гармонической связи между гласными внутри основы. В нганасанском языке гармоническая детерминированность вокализма суффиксальных слогов сочетается с возможностью «дисгармонии» внутри самой основы, вследствие чего однокоренные образования могут относиться к разным гармоническим классам (в зависимости от качества последнего гласного основы), ср. при ПС **tīā* 'облако, тень' нган. *tīābā*: Px3Sg -*tī* 'тень' из **tīārā* и *tīirū*: Px3Sg -*tū* 'облако' из **tīzrā*. Насколько архаичной может быть подобная ситуация?

В. Проблема точных условий развития ПС **ǣ* из ПУ **i*. Достаточно очевидно, что правило относительно ПУ **i* > ПС **ǣ* в положении перед конечнослоговым **l* ([Janhunen 1981: 247], см. также [Sammallahti 1988: 484]) не охватывает всей совокупности наблюдаемых случаев.

ПРОТОСААМСКИЙ И САМОДИЙСКИЙ: КОРПУС ЭТИМОЛОГИЙ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ САМОДИСТИКИ*

Возвращаясь спустя четыре с половиной десятилетия к широко известной работе Ю. Тойвонена «Zum Problem des Protolappischen» [Toivonen 1949] и порожденным ею откликам, следует прежде всего констатировать, что в своем исходном виде развитая Ю. Тойвоненом гипотеза К. Нильсена [Nielsen 1913: 204] о самододозычности антропологических предков саамов и о присутствии в языке (языках) саамов самодийского субстрата плохо согласуется с современными данными об этногенезе и этнической истории соответствующих народов. Проникновение части самодийцев в циркумполярные области вряд ли можно датировать ранее чем серединой I тыс. н. э.; до этого территория их расселения (таежные области к северу от Алтая и Саян) была отделена от Фенноскандии многими тысячами километров и территориями расселения целого ряда родственных народов. Продвижение предков ненцев на крайний север Восточной Европы произошло еще несколькими столетиями позднее. Саамский язык — предок современных саамских диалектов — успел сложиться и вобрать в себя элементы предполагаемого субстрата задолго до этого времени.

Однако корпус собранных Ю. Тойвоненом саамско-самодийских (наряду с саамско-угорскими и саамско-угро-самодийскими) этимологий — предполагаемого наследия протосаамского субстрата самодийского характера — вместе с отдельными дополнениями [N. Sebestyén 1953; Collinder 1952–1954] в целом продолжает иметь хождение в уралистике. Скептическое отношение Б. Коллиндера к самой гипотезе о самододозычности протосаамов (там же) не распространилось на данный свод этимологий: все они, за небольшим числом исключений, оказались проинтерпретированы в FUV как рефлексy элементов прауральского словаря. Аналогичной трактовки придерживается применительно к подавляющему большинству (до 90%) саамско-самодийских сравнений К. Реден в новом UEW: они служат опорой для уральских реконструкций (чаще всего, правда, снабженных знаком вопроса и комментарием типа «Die Zusammenstellung ist wegen der entfernten Verwandtschaft unsicher»). Практически полностью оказались исключены из рассмотрения все эти сравнения в важнейших новаторских исследованиях Ю. Янхунена [Janhunen 1981] и П. Саммаллахти [Sammallahti 1988], однако здесь

* Впервые опубликовано на немецком языке: Protolappisch und Samojedisch: die vorgeschlagenen Wortgleichungen im Lichte der heutigen etymologischen Forschung // Lapponica et Uralica: 100 Jahre finnisch-ugrischer Unterricht an der Universität Uppsala / Hrsg. von L.-G. Larsson. Uppsala, 1996. S. 51–69.

про
мог
отве
уда
смот
поп
отка
возм
язык
к ди
или
прин
ског
пара
дийс
ния
амск
межд
райо
ми к
иссле
носте
Од
[Leht
логий
рых
или в
циаль
а) при
ской
диале
объек
ствен
зей. М
имств
в саам
ско-фн
б) вес

См
Г. А. А
став и
бенност
и попер
ными ч
легенда
мы, тол

проявилась очевидная общая ориентация на максимальную редукцию исследуемого материала и на некоторое упрощение реальной картины фонетических соответствий.

Юбилейный симпозиум «Lapponica et Uralica» (Уппсала, 1994) предоставил удачный повод вернуться к анализу данного этимологического корпуса, пересмотрев его с учетом как современных данных самодистики, так и существенно пополнившихся сведений о саамской лексике. При этом, как мне представляется, отказ от гипотезы Нильсена-Тойвонена в ее исходном виде вовсе не исключает возможности объяснения какой-то части из наблюдаемых сходств как наследия языковых контактов. Вряд ли оправданно, следуя Б. Коллиндеру, сводить анализ к дилемме выбора одного из двух решений — элемент прауральского словаря или ошибочное сравнение. Следует иметь в виду еще по крайней мере несколько принципиальных возможностей, связанных с реальными обстоятельствами саамского и самодийского (северно-самодийского) этно- и глоттогенеза. Среди них — параллельное заимствование, субстратное или адстратное, в саамском и самодийском из языка или языков древнейшего (скорее всего, неуральского) населения циркумполярной Европы¹; прямые контакты между крайне восточными саамскими и крайне западными ненецкими группами в непродолжительный период между появлением ненцев на севере Восточной Европы и оттеснением саамов из районов к югу и западу от Белого моря; взаимодействие, опосредованное языками южных соседей — прибалтийско-финскими и русским. Целью настоящего исследования была оценка имеющегося материала с учетом всех таких возможностей его интерпретации.

Одним из последних к протосаамской проблеме обратился Ю. Лехтиранта [Lehtiranta 1986, 1990]. Его конкретные замечания по поводу нескольких этимологий справедливы (см. ниже). К сожалению, с критериями, на основании которых Ю. Лехтиранта признает целые группы слов, не имеющих финно-угорской или внутренней этимологии, непригодными для рассмотрения в качестве потенциальных субстратных элементов, трудно согласиться. Среди этих критериев: а) присутствие фонем и фонемных сочетаний, появившихся не ранее прасаамской эпохи; б) представленность слова менее чем в четырех соседних саамских диалектах; в) принадлежность к числу обозначений природных и культурных объектов (ландшафт, климат, флора, фауна, постройки), которые и в других родственных языках часто обозначаются словами без дальних этимологических связей. Мне такой подход представляется невозможным, поскольку: а) именно с заимствованиями — в частности, субстратными — может быть связано появление в саамском тех фонем и их сочетаний, которые отсутствовали в раннеприбалтийско-финском (финно-саамском) праязыке (ср. генезис венг. *b-*, *d-*, *g-*, *ty-* и т. д.); б) весьма обычным является сугубо локальное воздействие субстрата (ср. сохра-

¹ См. [Моор 1957: 162; Хелимский 1982а: 49–51]. Интересны соображения антрополога Г. А. Аксеновой: «Возможно, существовал некий общий пласт населения, вошедший в состав и саамов (особенно кольских), и европейских ненцев. Его антропологическими особенностями предположительно могли быть низкий рост, маленькие размеры продольного и поперечного диаметров головы, некрупное лицо с нерезко выраженными монголоидными чертами (однако сильнее, чем у саамов). И здесь уместно вспомнить о “сииртя” — легендарных аборигенах тундры, которые, согласно преданиям ненцев, «такие же, как мы, только маленького роста» [Аксенова 1991: 112–113].

нение дороманского субстрата в отдельных итал., франц., исп. диалектах); в) как раз перечисленные Ю. Лехтиранта лексические сферы легко проницаемы для субстратных элементов, с чем по крайней мере отчасти может быть связана их этимологическая непрозрачность в других языках (которые и сами могли испытать какие-то суб- и адстратные воздействия). Это вынуждает с осторожностью отнестись и к суммарным количественным оценкам корпуса саамско-самодийских сравнений Ю. Тойвонена и И. Н.-Шебештьен, которые получены Ю. Лехтиранта на основе выдвинутых критериев.

Вообще, нельзя признать правомерным стремление Ю. Лехтиранта отвести сформулированную столетие назад К. Б. Виклундом [Wiklund 1896: 11] проблему протосаамского языка как надуманную и фактически несуществующую. Она существует вне зависимости от качества или надежности тех или иных лексических перечней и этимологий, поскольку:

(а) В лингвистическом плане налицо, во-первых, комплекс заметных прасаамских фонетических изменений (в большей мере материальных, нежели структурных), что обычно расценивается как воздействие иных артикуляционных навыков. Во-вторых, выявляется лексикостатистически «недостача» в сохранности праязыкового словаря (см. [Lehtiranta 1982: 114–115]), которая обычно бывает сопряжена с мощным внешним, нередко субстратным, воздействием на соответствующий язык (лексикостатистическое соотношение саамского и финского языков на финно-угорском фоне очень напоминает соотношение албанского и греческого на и.-е. фоне, идиш и немецкого на германском фоне, положение меланезийских языков в австронезийской семье и т. д.; см. [Беликов, Хелимский 1987] и др. статьи в сборнике [Возникновение... 1987]). Возможная связь лексических утрат с фонотактическими предпочтениями [Lehtiranta 1982] не меняет сути проблемы принципиально.

(б) В антропологическом плане обособленность саамов от их ближайших языковых родственников, прибалтийских финнов — факт, свидетельствующий об участии неприбалтийско-финского компонента в саамском этногенезе, а следовательно, потенциально и в глоттогенезе (если только не признать, что именно саамы сохранили исходный и для прибалтийских финнов антропологический тип — но это как будто не поддерживается данными палеоантропологии).

(в) В археологическом плане налицо свидетельства преемственности саамов по отношению к древнейшему населению Фенноскандии, хронологически несомненно предшествующего какому-либо мыслимому присутствию здесь прямых языковых предков саамов. Впрочем, следует иметь в виду решительное заключение В. Я. Шумкина ([1991] и ряд других его работ) о чисто палеоевропейских связях этого населения: мезолитическое заселение Северной Фенноскандии (аренбургская культура, свидерская культура, культуры Комса и Суомусярви) шло из Западной Европы, а воздействие «восточного импульса» было испытано данным регионом только в эпоху раннего металла (II–I тыс. до н. э.)².

² Кроме того, «археологические данные достаточно определенно свидетельствуют, что население Лапландии никогда не выходило за пределы Северной Фенноскандии. Заключение о былом широком распространении саамов (или протосаамов), активном участии их в этногенезе других народов не соответствует действительности» [Шумкин 1991: 143–144].

Н.
И. Н.
осуш
ско-
вне
полн
(саам
дост
испо
если
чем
лее а
1965]

Пр
крип

А.
рассм
1.
скреп
[То
tens'),
жение
19906

Бл
ским
ном к
ление,
1952–

2. С
ПС *р
[То
Com

pādar,
туса са
hinterer
Lehtiranta

3. С
[То
Сел
говоря
Ю. Янх
мля', ка
тически

* * *

Ниже саамско-самодийские сравнения, предлагавшиеся Ю. Тойвоненом, И. Н.-Шебештьен, а также Б. Коллиндером, сгруппированы в соответствии с осуществленными мною оценками и интерпретациями данных сравнений (саамско-угорские и саамско-угро-самодийские сравнения из тех же работ оставлены вне рассмотрения). Формы, цитировавшиеся в этих работах, по возможности дополнены или заменены данными из современных источников и праязиковыми (саамскими и самодийскими) реконструкциями. Иногда одних этих уточнений достаточно для того, чтобы выявить неприемлемость сравнения (например, при использовании самодийских реконструкций вместо цитирования рефлексов — если последние чисто случайным образом более сходны с саамскими формами, чем их источники). Обычно без ссылок на источник приводятся данные из наиболее авторитетных саамских словарей, из нен. Т (преимущественно по [Терещенко 1965]), из эн. Т, эн. Л, нган. и сельк. Таз (по материалам полевых записей автора).

При цитировании источников сделаны некоторые непринципиальные транскрипционные упрощения.

А. Я полагаю, что 25 сравнений (а это, к сожалению, почти половина всего рассматриваемого материала) следует признать ошибочными.

1. Саам. **čēne*- 'связать' [YSS: No. 112] — нен. Т *сян* 'две плоские костяшки, скрепленные ремнем на узде оленьей упряжки'.

[Toivonen 1949: 172; [UEW: 37] (? ПУ **činz* (**čenz*) 'Zugriemen des Schlittens'), там же — об отражениях нен. слова в коми, хант., манс.; еще одним отражением является рус. (Арх.) *сян* 'поводок в оленьей упряжи', см. [Хелимский 1990б: 40–41].

Ближайшее соответствие нен. слова — эн. Т *sedo* (с тем же терминологическим значением); реконструируется ПСС **säntä* или **käntä*. Различия в индлаутном консонантизме лишают остатков привлекательности саам.-самод. сопоставление, семантическая слабость которого констатировалась и ранее [Collinder 1952–1954: 99].

2. Саам. Р *poaskas* 'Zugriemen des Lappenschlittens' — нен. Т *nodep* 'лямка' из ПС **potär* / **pätor* 'Riemen' [SW: 128].

[Toivonen 1949: 172–173; [UEW: 324] (ПУ **počka* 'Zugriemen (zum Schlitten)').

Сопоставление неприемлемо как ввиду ПС *-t- (а не *-č-; ср. сельк. (С) N *pādar*, МО *paador*, Тsch. ОО *poadur* 'Stiefelband'), так и ввиду производного статуса саам. слова — деривата от **pōckē*- [YSS: No. 966], Р *pōāšk* 'Knochen im hinteren Teil des Fussgelenks am Hinterbein des Renttiers' [Т. I. Itkonen 1958: 386; Lehtiranta 1990: 324].

3. Саам. Ко. *moiDD* 'Wald' — сельк. **ma'ä* id.

[Toivonen 1949: 174; [UEW: 263] (? ПУ **maidā* 'Wald').

Сельк. слово (по диалектам имеющее значения 'лес; яр; тундра', собственно говоря — 'преобладающий тип ландшафта') надежно проэтимологизировано Ю. Янхуненом как рефлекс ПС **maja* 'Erde, Gelände', откуда также нган. *тэи* 'земля', кам. *mija* 'гора', мат. *bijā* 'гора' [SW: 85]. Семантические и особенно фонетические трудности сравнения с саам. вряд ли преодолимы.

4. Саам. **kārñē* 'кривой' [YSS: No. 370] — ПС **kāra*, **kārä* 'krumm, Krümmung' [SW: 55].

[Toivonen 1949: 175]. [UEW: 220] предлагает иные, фонетически более удачные ф.-у. параллели к самод. формам (удм. *kiriž* 'кривой' и т. д., ПУ **kurs* 'krumm, schräg, schief...'). Думать же о контактной связи саам. и самод. слов нецелесообразно ввиду значительных фонетических различий и мало типичной для заимствований семантики.

5. Саам. (N) *buoidä -i'däg-* 'горностай' — нен. Т *ниа*, эн. Л *piidu*, нган. *hieðä id*. [Toivonen 1949: 175]; [UEW: 320–321] (ПУ **pojta* 'Hermelin').

Сопоставление абсолютно неприемлемо, поскольку: а) сев.-самод. слова вместе с мат. *ihüñs/* 'горностай' восходят к ПС **piñz*, см. [Хелимский 1986: 132]; б) саам. название горностая трактуется как дериват от саам. **pōjtē* 'жир' [Lehtiranta 1990: 324].

6. Саам. N *duov've* 'salmon with roe' — сельк. **tiñä* 'таймень', кам. *tēji*.

[Toivonen 1949: 176]. Ввиду несопоставимости инлаутных согласных (саам. **-ww-* : ПС **-ñ-*) сравнение обоснованно исключено из рассмотрения в UEW.

7. Саам. N *njakka* 'Lota lota' — ПС **ño'ña* (? **nōjna*) 'Quappe' [SW: 103].

[Toivonen 1949: 176]. Ввиду несопоставимости инлаутных согласных (саам. **-k-* : самод. **-ñ-*) сравнение обоснованно исключено из рассмотрения в UEW.

8. Саам. N *jolle* 'middling fatness, good condition' — нен. (C) *jāl* 'Fett, Tran'.

[Toivonen 1949: 177]. В [UEW: 107] саам. слово обоснованно сравнивается только с хант. О *jāl* 'Bibergeil', Kaz. *jol* (откуда и заимствовано нен. *jāl* — Ю. Тойвонен ошибочно предполагал противоположное направление заимствования).

9. Саам. N *jōzzä -3 zäg-* 'back of Lapp shoe' — нен. *еняð* 'пятка', эн. Т *leedodi*.

[Toivonen 1949: 177–178]. Это фонетически весьма неточное сопоставление (ПСС **leantoti*!) справедливо исключено из рассмотрения в UEW.

10. Саам. **moksē-* 'перейти реку' [YSS: No. 674] — нен. Т *мада-* 'перейти, переехать', кам. (C) *mākterlam* 'schreiten'.

[Toivonen 1949: 180]; [UEW: 284–285] (? ПУ **mukča-* 'über das Wasser fahren').

С самод. стороны сопоставление неприемлемо, поскольку: а) нен. слово — семантический дериват от Т *мада-* 'разрезать, перерезать' (см. [Sammallahti 1979: 32]); б) кам. слово, семантически далекое от предполагавшегося источника, может находиться в прямой или опосредованной связи с кам. (Donner) *bakta-* 'kommen' (далее к ПУ **pukta-* 'hüpfen, laufen' [UEW: 402]).

11. Саам. L *kiehttō* 'Erzählung, Geschichte, Ereignis, Begebenheit; Vorstellung', *kiehttōt* 'erzählen' — ПС **ket-*, **ketz-* 'erzählen' [SW: 66].

[Toivonen 1949: 180].

Луле-саам. слово вряд ли можно отделить от саам. N *giedätállât* 'behandeln' и ряда родственных образований (см. [SKES 263; SSA 480]) — формальных и семантических дериватов от саам. **kēte*, L *kiehta* 'рука'. Вероятно, именно в силу этого сопоставление исключено из рассмотрения в UEW.

12. Саам. N *gok'set* 'do someone an injustice by taking the lion's share', I *kopsed* 'jmdn. leer ausgehen lassen', I *kupsud* 'lehr ausgehen, seinen Teil von etw. nicht bekommen' — нен. *хäðä-* 'обделить, лишить', *хäðē-* 'остаться без чего-л.'

[Toivonen 1949: 180]; [UEW: 214] (? ПУ **kupsa-* (**kuksz-*) 'jmdn ohne Anteil lassen, jmdm seinen Teil wegnehmen').

Обращает на себя внимание полное формальное тождество саам. **kopsē-*, **kopsā-* (см. выше) с вост.-саам. **kopsē-* 'погасить, погаснуть' [YSS: No. 458] из ПУ **kupsa-* [UEW: 214]. Значения 'обделить' и 'остаться обделенным' представлены в тех и только тех саам. диалектах, где рефлекс ПУ слова со значениями 'погасить' и 'погаснуть' не засвидетельствованы. Принципиальная возможность семантической деривации ('погасить' > 'обделить') не вызывает сомнений. Из близких (пусть и не абсолютно точных) аналогий ср. англ. *quench* (coll. 'to put down in a dispute, to squash'), рус. диал. *гасить* '(ряз.) истреблять, (перм.) бранить', *гаснуть* '(пск.) скучать' [СРНГ 6: 151–152]. Данная семантическая этимология саам. слов снимает вопрос о саам.-самод. сопоставлении: ПУ **kupsa-* имеет иные и вполне надежные рефлексy в самод. (ПС **kāpta-*, нен. Т *хāпта-* 'погасить').

13. Саам. I *čevdi* 'кожа' — нен. Т *сyбт* 'лубок, древесная кора'.

[Toivonen 1949: 180]; [UEW: 32] (? ПУ **čāpts* 'Haut, Rinde').

Сопоставление неприемлемо, поскольку нен. слово вместе с мат. /*kāpti*/ 'шелуха, чешуя' восходит к ПС **kāpti* (Helinski 1987a: No. 509] и подробно [Хелимский 1992–1993: 112]). Отсутствие терминологического тождества заставляет исключить и возможность заимствования в саам. из нен.

14. Саам. N *budda* 'testicle', (Friis) *budda* 'sacculus ex pelle factus' — нен. Т *nad* 'мешок' (также 'мешочка'), нган. *hoadaɟ* 'мешок', кам. (Donner) *bəra*, *wəra* id.

[Toivonen 1949: 180–181]; [UEW: 400] (? ПУ **puða* 'Sack, Beutel').

Сопоставление фонетически во всех отношениях неудачно. Интервокальный согласный в нен. и нган. словах (ср. еще нен. Т *nam* 'чехол для ружья', эн. Т *paato* id.) не может восходить к **-d-* (> ПС **-r-*). Кам. слово (не имеющее никакого отношения к ПСС формам) содержит, по-видимому, **w-*. Заимствование из нен. в саам. предполагать не приходится (вокализм!). Об алт. связях сев.-самод. форм см. [Janhunen 1977: 123] (тунг. **puta(-)* 'мешок, мешочек' — см. [ТМС II: 356]; не менее интересным представляется, впрочем, и сравнение с южно-тунг. **padu* 'сумка' — см. [ТМС II: 32]). Прямое сопоставление саам. **puða* с тунг. формами (фонетически, пожалуй, приемлемое) вряд ли реалистично; ср. в целом неудачный опыт саам.-тунг. сравнения: [Эрнйтс 1977].

15. Саам. N *gud'jo*, *gul'jo* 'cover, case, tarpaulin' — эн. Т *kuroi*, Л *kōpri* 'меховое одеяло', (С) Ch. *koŋei*, *koŋoi*, В *kōre*, *kūre* 'Decke'.

[Toivonen 1949: 181]; [UEW: 193] (? ПУ **kuðjz* 'Decke, Umschlag'; наряду с саам. и эн. словами, подключены койб. *кайя* 'крою' и мат. *каямь* id., которые отражают ПС **kāñā-* 'bedecken, schliessen' — см. [SW: 53–54] — и фактически повторены в [UEW: 208–209] sub ПУ **kuñā-* 'die Augen schliessen, blinzeln').

Ближайшее соответствие эн. форм — нган. *kaulā-* 'покрыть, закрыть, прикрыть'. Остаются проблематичными детали фонетики и дальнейшие этимологические связи (ср. [SW: 53–54] и [UEW: 208–209], где фигурирует и нган. *kaulā-*), однако фонетически неприемлемое сопоставление с саам. неспособно пролить свет на эти проблемы.

16. Саам. N *boayun* 'belt' — нен. Т *нуй* 'тяж, при помощи которого олень, везущий грузовую нарту, присоединяется к задку идущей впереди нарты', нган. *hūtā* 'шоры, наголовник (в оленьей упряжи)'.

[Toivonen 1949: 181]; [UEW: 391–392] (? ПУ **poka* 'Riemen, Gurt').

Сопоставление несостоятельно ввиду наличия у самод. форм (друг с другом никак не связанных) надежных внутренних этимологий. Нен. слово тождественно *nŷŷ* 'задний' (см. уже [Collinder 1952–1954: 99–100]); далее к ПС **pua* 'das Hintere' [SW: 129]. Нган. слово (*hütä* < *hütä* < *hütä*) образовано от *hij* 'проем, ушко (иглы)', ср. однокоренное *hütü-* 'вставить в отверстие, всунуть'; далее вместе с селк. Таз *pü* 'ушко (иглы)' сопоставимо с угор. **pukkz* 'stumpfes Ende' [UEW: 880].

17. Саам. N *bubme* 'шило' — ПС **pät³mä* 'scharf' [SW: 115].

[Toivonen 1949: 181]. Сравнению на ПУ уровне препятствует рефлекс одичного инлаутного **-m-* в саам. (при кластере в самод.), предположению о заимствовании — отсутствие терминологического значения ('шило') в самод.

18. Саам. **närpē* 'тонкий' [YSS: No. 767] — нен. (C) Л *niervēä, nieriveä, nielwēä, nielwēä* 'lichtmaschig'.

[Toivonen 1949: 182].

Нен. слово, засвидетельствованное, по-видимому, только М. А. Кастреном [Castrén, Lehtisalo 1960: 284], несомненно связано с нен. Т *nälä* 'выскользнуть' (ср.: *халя* "поуза" *сэв* "сивня нялпорна" 'рыбы выскальзывают из ячей невода' [Терещенко 1965: 344–345]), нган. *nielhädi-* 'пропустить'. ПС **-lp-* исключает возможность сравнения с саам. формой.

19. Саам. N *moallo* 'crumb, little bit, piece, morsel', L *smöllē* 'Stück...' — ПС **mälz-* 'brechen' [SW: 86].

[Toivonen 1949: 182]; [UEW: 278–279] (? ПУ **molz* 'Stück, Bruchstück; (zer)brechen (tr. intr.)').

Вряд ли есть необходимость отрывать саам. формы от их вероятных германских источников, ср. др.-швед. *smola, smula, smule* 'крошка, кусочек'. Впрочем, и в этом случае между саам. и самод. словами можно предполагать опосредованную связь на ностр. уровне (см. [IEW: 716–717; Иллич-Свитыч 1976: 69–70]).

20. Саам. Kld. *vüntem* 'Freier, Bräutigam' — ПС **wänä(-)* 'durch Heirat verwandt' [SW: 173], **maŋto* или **manto* 'Freiwerber' [SW: 89].

[Toivonen 1949: 182–183]; [UEW: 557] (? ПУ **wantz* 'verwandt (durch Heirat)'; в обеих работах смешаны рефлексy двух вышеуказанных самод. основ.

Сопоставление легко рушится, т. к.: а) для саам. слова вероятна словообразовательная связь с саам. **vönēt* 'свекровь, теща' [YSS: No. 1442], далее с фин. *apoppi*, ПС **inapā* [UEW: 9]; б) с другой стороны, ПС **wänä(-)* является, по-видимому, дериватом от ПС **wän-* 'близкий, близко' ([Helimski 1987a: No. 557; Хелымский 1992–1993: 117]); в) при сравнении с ПС **maŋto, *manto* (например, в рамках гипотезы о заимствовании этого слова из саам.) не находит объяснения различие анлаутных согласных.

21. Саам. (Friis) N *vuorro* 'Salmo hibernus per hiemem in fluvio remanens' — тайг. *argäle* 'таймень'.

[N. Sebestyén 1953: 304]. Тайг. слово представляет собой тюркизм (тюрк. **arkali(y)* 'имеющий спину'), см. [Helimski 1987a: No. 147].

22. Саам. (Friis) N *njoavdnja* 'fetus salmonis alpini' — нен. Т *nyužэхэй* 'кумжа, голец'.

[N. Sebestyén 1953: 304]; [UEW: 325–326] (? ПУ **nowŋa* 'Salmo sp.').

Нен. слово деривационно связано с нен. Т *nyužoць* 'оголиться' (ср. рус. название данного вида лосося — *голец*); сопоставление ошибочно.

23. Са

[N. Se

*kāmā 'S

(wat-) д

24. С

kintāh id

[N. Se

какого с

hotamā)

ски несо

25. Са

вершен

[Colli

Нен.

т. ч. глуб

Туб" "с

Б. Эт

(быть м

группы /

заключе

сравнив

идти реч

26. С

Baches' -

[Toiv

[Samall

Нен.

(ПСС *n

Предс

Meeresb:

'мелкое

дежност

27. Са

[Toiv

Кам. с

*pige- 'к

1991: 262

28. Са

*nūāñ 'P

[Toiv

Доста

с саам. *

ты (как в

29. Са

дать, нав

проверит

23. Саам. (Wiklund) *N sjato* 'Ukelei, Alburnus lucidus' — нен. *Т сявта* 'нельма'. [N. Sebestyén 1953: 304]. Нен. слово образовано от *сяв* 'чешуя рыбы' (ПС **kāmā* 'Schuppe' [SW: 63]); в случае заимствования из нен. в саам. группа -*wt-* (-*wät-*) должна была бы сохраниться.

24. Саам. *S kaito* 'Lucius' — нган. (C) *katifatamā* 'Hecht', (Messerschmidt) *kintāh* id.

[N. Sebestyén 1953: 304]. Два нган. названия щуки не имеют друг к другу никакого отношения. Первое буквально означает 'чешуя пестрая' (совр. *kati hotamā*). Второе этимологически непрозрачно, но, во всяком случае, фонетически несопоставимо с саам. *S kaito*.

25. Саам. *N ol'lo* 'much, many; much, very' — нен. *Т нули* 'вовсе, совсем, совершенно; весьма, вполне, очень', (L) *P ну'ли*.

[Collinder 1952–1954: 100]; [UEW: 543–544] (? ПУ **ulz(-jz)* 'viel, gross; sehr').

Нен. слово — образование с наречным суффиксом -*ri*² (после согласного, в т. ч. глубинно-морфонологического, -*li*²); корневой элемент исходно связан с нен. *Т ноб* 'один', ПС **o*, **op* [SW: 28].

Б. Этимологии следующей группы представляются весьма сомнительными (быть может, не стоит отвергать их столь же категорически, как этимологии группы А, но тем более не стоит опираться на них в каких бы то ни было умозаключениях). Сомнения распространяются как на версию праязыкового родства сравниваемых слов, так и на контактную версию, если о таковой может вообще идти речь.

26. Саам. *Ko. nuorā* 'haarförmiges Moos auf dem Boden eines Flusses od. Baches' — нен. *Т нярцо* 'исландский мох (светлый)', кам. (C) *nor* 'Moos'.

[Toivonen 1949: 172]; [UEW: 325] (? ПУ **norz* 'eine Art Moos'); ср. также [Sammallahti 1979: No. 109] с реконструкцией ПФУ **niare*, **nöre*.

Нен. слово представляет эн. *Т nadūdo* 'длинный белый мох', нган. *norso* id. (ПСС **narso*); соотношение с кам. словом неясно.

Представляется весьма вероятной связь саам. *nuorā* с саам. *Ko. nuōrr^a* 'Meeresbank, Untiefe' (**nöre* — [YSS: No. 792]), с семантической деривацией 'мелкое место' > 'растительность на мелком месте'. Это еще более снижает надежность ПУ этимологии.

27. Саам. *N biekkān* 'Buteo lagopus', *Т рijkij* 'канюк' — кам. (C) *phigije* 'Falke'.

[Toivonen 1949: 176]; [UEW: 361] (?? ПУ **pāke* 'eine Art Raubvogel').

Кам. слово представляет собой, по-видимому, старое заимствование из тунг. **pige-* 'коршун, ястреб' > эвенк. *hiyen*, *hiyēcēn* [TMC II: 322–323], см. [Helimski 1991: 262]. Иное решение (ПУ > кам. > тунг.) крайне маловероятно.

28. Саам. *N njunnalak* 'Podiceps auritus', *l nuñalah* 'Mergus albellus' — ПС **nuñäñ* 'Polartaucher' [SW: 112].

[Toivonen 1949: 176]; [UEW: 330–331] (? ПУ **nyñz* 'Taucher').

Достаточно правдоподобно, как отмечает и К. Реден [UEW], связь саам. слова с саам. **nōñē* 'нос' [YSS: No. 791]. Вообще же нерегулярные рефлексы и варианты (как в саам. диалектах, так и в самод.) затрудняют интерпретацию параллели.

29. Саам. **vōñē-* 'идти по следу' [YSS: No. 1476] — нен. *Т вэдәмз* 'проведать, навестить; проследить за кем-л.', *вэдецъ* 'навестить, посетить, провести; проверить, проследить, разведать'.

[Toivonen 1949: 176–177]; [UEW: 561–562] (ПУ **watta*- ‘aufspüren, folgen’).

С нен. словом связаны эн. Т *büder*- ‘высматривать, проверять’, нган. *batüda*- ‘разведать’ (ПСС **wet*-). Другие дериваты предположительно от той же основы — нен. Т *вэде*- ‘вертеть головой, озираясь по сторонам’, эн. Т *büdee* ‘пугливый’ (и *büdedo* ‘горноста́й’), нган. *bataa* ‘пугливый, убегающий от поимки’, *batu* ‘тревога, волнение’ — указывают на семантику эмоционального состояния (и сопутствующих ему действий), что, пожалуй, ослабляет позиции саам.-самод. сравнения.

30. Саам. N *bæd’be* ‘shoulder-blade’ — нен. Т *пурбя* ‘горб (животного)’, (L) P *piäma* ‘Widerrist’.

[Toivonen 1949: 177]; [UEW: 368] (ПУ **peðpā* ‘Schulterblatt’).

Нен. слово связано с эн. Т *pire’e* ‘затылок’, нган. *hiri’a* id., что ослабляет саам.-самод. сравнение и в фонетическом, и в семантическом отношениях. Заимствование из нен. в саам. нелегитимно ввиду -d- при нен. -r-.

31. Саам. **čorme* ‘кулак’ [YSS: No. 167] — нен. (L) O *sörmūnk* ‘Faust’, Taz *sur’mung*, Nj. *χirmun̄k* ‘aus der Faust hervorragender Knöchel des Mittelfingers’, P *χōllamun̄k*.

[Toivonen 1949: 177]; [UEW: 491] (? ПУ **šurme* ‘Faust’).

Данные двух нен. диалектов (Taz, P) указывают на гласный между *r* и *m*, что служит фонетическим препятствием к сравнению. Представляется возможной трактовка нен. слова как сложения с нен. Т *муң* ‘стрела’ (первый компонент неясен).

32. Саам. **ñm̄s*- ‘(N) creep, crawl; be infectious, infect; (L) etw. umschlingen, umfassen, mit den Händen um etw. greifen’ [YSS: No. 781] — нен. Т *ня’мā*, эн. Т *по’о*- ‘взять, схватить, поймать’.

[Toivonen 1949: 180]; [UEW: 322] (? ПУ **ñoma*- ‘fangen, (er)greifen’). Сравнение встречает серьезные трудности — с саам. стороны семантические, с самод. стороны фонетические (инлаутный гортанный смычный указывает на исходное сочетание типа «смычный + **m*»).

33. Саам. **kōr̄ñs*- ‘(N) climb, go up, rise; (T) klettern, steigen; ans Land gehen, landen’ [YSS: No. 478] — ПС **kəra*- ‘landen’ [SW: 54].

[Toivonen 1949: 180]; [UEW: 185–186] (? ПУ **korn̄a*- ‘...(ans Ufer) anlegen, landen’).

Сравнение проблематично и с фонетической стороны <(см. особенно [Хелимский 1993: 132])>, и с семантической стороны; тем не менее, праязыковая версия — при всей ее шаткости — гораздо предпочтительнее контактной.

34. Саам. Kld. *lūps* ‘Raum hinter der Feuerstätte (in der Hütte, Aufbewahrungsort des Fleisches)’ — нен. Т *лабтэй* (э: *lābtэй*) ‘ящик, сундук, короб, ларь’, эн. (C) B *lote* ‘Gefäß, Kiste’.

[Toivonen 1949: 182]; [UEW: 237–238] (? ПУ **laps̄s* ‘Raum hinter der Feuerstätte (in der Hütte)’).

С высокой вероятностью самод. слова можно трактовать как дериваты от ПС **lapta* ‘eben, Ebene’ ([SW: 81]; ср. также [UEW: 238]: ? ПУ **lapta* ‘platt, flach’), нен. Т *lābta* ‘плоский’ (ср. типичную сплюснутую форму ненецких ларей, предназначенных для транспортировки на нартах).

35. Саам. **kōre*- ‘идти по следу, следовать’ [YSS: No. 530] — сельк. **kural*- ‘побежать’, Taz *kurit*- ‘ходить, шагать’.

[N.
данны
гола с
лабляс
В. С.
но пра
ствую
для да
предла
чество
ам.) яз
36.
(чем-л.
[Toi
herde)
Эн.
нган. h
связан
ного из
ства. A
связи с
ствах —
шения
37. (‘пересо
[Toi
den’)).
Возм
точным
тэхэдä-
случае,
лобна.
38. (‘Licht, T
[Toiv
Обра
Свитыч
эвенк. d
220]. Эт
нию мо
melsrich
Westen n
39. C.
‘Brustbei
[Toiv
(? Brustb

[N. Sebestyén 1953: 304]. Ближние связи саам. и сельк. слов неясны, однако данные словарей явно не позволяют считать основной и исходной для саам. глагола семантику движения (как в случае с сельк. глаголом). Это существенно ослабляет позиции праязыковой версии и исключает контактную версию.

В. Следующую группу составляют надежные или, по крайней мере, достаточно правдоподобные уральские этимологии; контактная версия генезиса соответствующих саам.-самод. параллелей представляется излишней. Фактически лишь для данной группы правомерна та трактовка материала Ю. Тойвонена, которую предлагал Б. Коллиндер. Объем данной группы, пожалуй, не превосходит количество сепаратных изоглосс, связывающих самод. языки с другими (помимо саам.) языками и ветвями ф.-у. подсемьи.

36. Саам. Kld. *piññe-*, Т *piñña-* 'bewahren, hüten...' — эн. Т *poner-* 'заниматься (чем-л.), вести, пасти'.

[Toivonen 1949: 172]; [UEW: 413–414] (ПУ **pñiz-* 'beobachten, hüten (Rentierherde)').

Эн. слово сложным образом связано с нен. Т *пэръц* 'заниматься (чем-л.)...', нган. *hon-* 'иметь' (ПСС **pññ-*, **pññ-?*) и, вполне возможно, в конечном счете связано с саам. глаголом. В этом случае, однако, речь может идти о реликтах одного из праязыковых (полу)грамматических глаголов, а не о термине оленеводства. Автор надеется вернуться к данной сложной и интересной этимологии (в связи с ней см. отчасти [Иллич-Свитыч 1984: 108–110]) при других обстоятельствах — во всяком случае, к протосаамской проблематике эта этимология отношения не имеет.

37. Саам. **cōkē* '(N) low water in river or sea' [YSS: No. 89] — сельк. **čęka-* 'пересохнуть, обмелеть'.

[Toivonen 1949: 174]; [UEW: 60–61] (? ПУ **čoka* 'niedrig (werden), seicht (werden)').

Возможно, изолированность сельк. слова можно преодолеть семантически точным (но требующим фонетической верификации) сравнением с нен. Т *тэхэдä-* 'быстро просочиться, протечь, впитаться; иссякнуть (о воде)'. В любом случае, реконструкция ПУ источника саам.-сельк. параллели вполне правдоподобна.

38. Саам. **jēlēkkes* '(N) complete cloudlessness' [YSS: No. 261] — ПС **jāle* 'Licht, Tag, Sonne' [SW: 40].

[Toivonen 1949: 175]; [UEW: 96–97] (? ПУ **jelä* 'Licht, Tag, Sonne').

Обращают на себя внимание возможные ностратические параллели [Иллич-Свитыч 1971: 281–282], но особенно — юкаг. (колым.) *jelode* 'солнце' (ср. также эвенк. *dilačä* id., изолированное на алт. фоне — [TMC I: 206; Старостин 1991: 220]). Это подкрепляет ПУ этимологию. Кроме того, к саам.-самод. сопоставлению можно подключить и ранее не протимологизированное хант. V *jil* 'Himmelsrichtung' [DEWOS: 360–361], ср. особенно J *jil-pär'yi* 'gegen die Sonne, von Westen nach Osten' (*pär'yi* 'gegen').

39. Саам. **pikse* '(N) breastbone of a bird' [YSS: No. 922] — нен. Л (L) *pētät ri* 'Brustbein des Vogels'.

[Toivonen 1949: 177]; [UEW: 361] (? ПУ **pākse* 'irgendein (vorderer) Knochen (? Brustbein) bei Tieren').

Сюда же эн. Т *реду'о* 'грудная кость птицы', нган. *hītāḍā* id., сельк. Таз *pīti* id. Урал. этимология (с учетом регулярности развития ПУ **ks* > ПС **t* > нен. Л *t*, эн. ḍ, нган. *t*, сельк. *t*) не встречает затруднений.

40. Саам. **sējpē* 'хвост' [YSS: No. 1119] — ПС **tajwa* id. ([SW: 150]: **t'ajwa*; в число рефлексов следует включить также сельк. **tal'tā*)

[Toivonen 1949: 177]; [UEW: 438] (? ПУ **sejpā* 'Schwanz (nicht bei Vögeln)').

Урал. этимология представляется вполне приемлемой с фонетической точки зрения.

41. Саам. *S tjuw* 'gula, guttur' — ПС **soj* / **söj* 'Hals, Kehle'.

[Toivonen 1949: 178]. В [UEW: 492–493] саам. и самод. формы закономерно объединены с фин. *sui* и другими рефлексами ПУ **šuwe* 'Mund, Maul' (см. также [Janhunen 1981: No. 127] и [Sammallahti 1988: 540] — ПУ **soxi*). В своем комментарии К. Реден [UEW] специально отмечает идентичность значений саам. и самод. рефлексов; это совпадение, однако, вряд ли может быть связано с вторичными контактами.

42. Саам. **vōjŋe*- 'дышать' [YSS: No. 1425]; N *vuoi'gñā* 'spirit, [Pl.] breath' — ПС **wājñā* 'Atem; Seele' [SW: 173].

[Toivonen 1949: 179]; [UEW: 552] (ПУ **wajŋe* 'Seele; Atem'). Несомненно, элемент прауральского словаря, который вряд ли целесообразно отделять от синонимичного **wajmz* (см. [UEW: 809]).

43. Саам. **jotē*- 'идти' [YSS: No. 281] — ПС **jatā*- '(zu Fuss) gehen, entgegengehen' [SW: 38–39].

[Toivonen 1949: 179]; [UEW: 106] (ПУ **juta*- 'gehen, wandern', с вероятным рефлексом также в морд.). Если даже саам. и самод. слова не связаны на ПУ уровне непосредственно, они неотделимы от большой группы ПУ глаголов движения с начальным **j*- [UEW: 88, 100, 102, 109, 850, 851], для которых вероятно ностр. происхождение (ср. [Иллич-Свитыч 1971: 265–267]).

44. Саам. Wfs. *čjōlčē* 'Stange...' — ПС **sālčā* 'Baumstumpf, Pfahl' [SW: 132].

[Toivonen 1949: 181]; [UEW: 484] (? ПУ **solčē* 'Pfahl, Stange', с многочисленными оговорками).

Подход К. Реден [UEW] к данной этимологии представляется, пожалуй, излишне критичным: ПУ этимология выглядит проблематичной скорее в смысле богатства интересными проблемами, чем в смысле недостоверности. Во всяком случае, целесообразно дополнить или вообще заменить саам. член сопоставления на саам. (бесспорно общесаам., в отличие от приведенной выше формы!) **čōlčē* 'пень, столб' [YSS: No. 195] и исходить из ПУ **-lt-* (или **-lt-/*-lč-*). Для ПС с реконструкцией **sālčā* вполне способна конкурировать реконструкция **sālta* (в сельк. известен ряд случаев появления рефлексов **c* вместо **t* после **l*). Чув. *šalsa*, *šalča* 'тычина, шест' (из незасвидетельствованного др.-мар. источника?) поддерживает позиции ПУ этимологии.

45. Саам. **kāskē* 'старшая сестра матери' — ПС **kata* 'Grossmutter' [SW: 62].

[Toivonen 1949: 183–184]; [UEW: 189] (ПУ **koska* 'eine ältere Verwandte').

Одна из вполне надежных ПУ этимологий (см. еще [Janhunen 1981: No. 13; Sammallahti 1988: 537]). Развитие ПУ **-sk-* > ПС **-t-* закономерно, тогда как при относительно позднем заимствовании соответствующая субституция была бы немыслима.

46. Саам. N *bužšē-*, *bužšō-*: *b.-dak'te* 'the little bone in the pit of the femur in the hind leg of a reindeer, the patella (knee-cap)', L *puttjēs* 'die Kniescheibe (Patella) des Rentiers' — нен. Т пунзо 'коленный жир (оленья)'.

[Collinder 1952–1954: 100]; [UEW: 403] (? ПУ **puñca* 'Kniescheibe des Rentiers').

Сюда же эн. Т *puđa* 'коленный жир (оленья)', нган. *hüñsü* id.: ПСС **punsä*, (?) **punso*. Ср. еще эн. Т *puđadi* 'коленная кость', где суффиксальный -*đ-* (*-*t-*) потенциально может соответствовать саам. -*s* (при точном семантическом соответствии форм).

В. В. Напольских (устно) обратил мое внимание на коми *pižēs* 'колено', удм. *pižēs*, *piđēs* id. [Лыткин, Гуляев 1970: 221] — фонетически безупречное соответствие саам. слова (ПФУ **puñčs*). Это сильнейший аргумент в пользу ПУ этимологии, заставляющий воздержаться от контактной трактовки саам.-самод. сопоставления (которая ранее представлялась мне достаточно вероятной). Ввиду перм. **u* [Лыткин 1964: 195] следует отклонить сомнительное перм. слов с манс. Т *pisi* 'локоть' [Лыткин, Гуляев 1970: 221; UEW: 376–377].

47. Саам. **jävkkē-* 'теряться, исчезать' [YSS: No. 257] — ПС **jokə-* (? **jok-*) 'sich verirren' (видимо, **jok-* 'терять' и **jokö-* 'теряться').

[Collinder 1952–1954: 100]. Сопоставление представляется вполне убедительным. К соответствующему ПУ этимону следует, возможно, возводить также морд. Э *joma-*, М *juma-* 'теряться', мар. *joma-*, Г *jama-* id. (предполагая *m*-овый суффикс в этих формах; детальный анализ этимологических альтернатив — см. [Keresztes 1986: 44; UEW: 89] — выходит за рамки задач настоящей работы).

48. Саам. N *mac'ce* '(a) pleat, fold, crease; gather' — нен. (L) Nj. *mātar'* 'Falte, Bruch'.

[Collinder 1952–1954: 100]. Сопоставление (отсутствующее в UEW) может быть «реабилитировано» окольным путем, с учетом словообразовательных отношений: саам. слово связано с саам. **māccē-* 'повернуть, завернуть' ([YSS: No. 639]; см., например, [Toivonen 1928: 72]). В свою очередь, нен. слово связывается с нен. (L) Sjo. *mādaré* 'biegen, zusammenbiegen, zusammenfallen', эн. Т *mađoro-* 'загнуть, свернуть, засучить', *mađus-* 'изогнуть, сильно свернуть'; сюда же, вероятно, и ПС **macə(-)* 'Biegung (eines Flusses)' ([SW: 89], ср. также [UEW: 282]). Тождество на праязыковом уровне (ПУ **maččē-* 'завернуть'; неудачно сравнение саам. **māccē-* с ПС **māca-* 'schneiden', см. [Paasonen 1917: 117; Toivonen 1928: 72]) представляется вполне возможным и более вероятным, чем контактное происхождение параллели.

Г. Для саам.-самод. параллелей следующей группы представляется правдоподобным или допустимым контактное (в части случаев — контактное либо праязыковое) происхождение. При этом, впрочем, некоторые из них заведомо не имеют никакого отношения к протосаамской проблематике, отражая контакты позднего времени (№№ 48, 50, 56–58). К этимологиям Ю. Тойвонена и Б. Коллиндера добавлено несколько новых сравнений — №№ 56–59 (можно надеяться, что дальнейшая работа в этом направлении позволит расширить их перечень).

49. Саам. L *njāb'lō* 'schwach, kraftlos (wird von den Rentierkälbern in ihrer ersten Lebenswoche gesagt und ist ihr gewöhnliches Epithet; man sagt es auch von Hunden, Kindern); Rentierkalb während der erste Lebenswoche od. solange es noch

sehr schwach ist', *njāb'lōt* 'kraftlos, schwach werden (von einer Rentntierkuh, die vor kurzem gekalbt hat)' [Grundström 1946–1954 IV: 639], *S njāb'lōt* 'parere vitulum' — нен. (L) O U *nāblūj*, Sj. *nēblūj* '(Fell des) Rentntierkalb(s) im Herbst, wo die neue Behaarung die für eine Malitza geeignete Dichte hat', *S nāmplūj*, P *nāpplūj tū* 'Rentntier, das schon neue Herbsthaare hat'.

[Toivonen 1949: 171] (ср. также [Toivonen 1927: 183]). Б. Коллиндер фактически отвергает сопоставление саам. и нен. слов — с его точки зрения, «difference in meanings is so great that it seems audacious to identify them» [Collinder 1952–1954: 99]. (Представляется, однако, что семантические препятствия с легкостью преодолимы.) К. Редеи, напротив, на основе данного сопоставления реконструирует ПУ **neplz* 'Fell des Rentntierkalb im Herbst', включая его в корпус надежных этимологий [UEW: 316]. (Такая реконструкция фактически противоречит широко признанному мнению о довольно позднем — отстоящем от прауральской эпохи на несколько тысячелетий — происхождении оленеводства.)

Ненецкими заимствованиями признаются: рус. (арх., печор., беломор., север., урал., сиб.) *неблүй*, (тобол., арх., курган., тюмен.) *неплүй* 'молодой северный олень, не достигший полугодовалого (мезен. арх.: годовалого) возраста; шкура молодого оленя; (арх. также) молодой тюлень' [СРНГ XX: 318, XXI: 110]; коми *неблүй* 'пыжик' [Лыткин, Гуляев 1970: 187], манс. N, LM *noplūw*, *noplū*, *nopluj* 'Rentntierkalbsfell' [Munkácsi, Kálmán 1986: 368], хант. O *nāpaləw* etc. id. [DEWOS: 1065–1066].

Такая трактовка представляется неточной. Нен. формы, хотя и представленные во многих нен. диалектах, не сводимы воедино и свидетельствуют не в пользу исконности слова.

С другой стороны, можно с уверенностью утверждать, что саам. *L njāb'lō* — собственно саам. образование дескриптивного характера; свидетельство тому — разветвленная сеть фонетически и семантически близких образований. Ср. *L njāb'tsō* 'Rentntierkalb während der ersten Lebensstage', *njāb'tsōt* 'sich unter einer Last beugen, biegen, einsinken; schwanken, einknicken, nicht ordentlich auf den Beinen stehen können (von einem neugeborenen Rentntierkalb); kalben (von einer Rentntierkuh)', *njāptsas* 'schwach, nachgebend, einknickend (von den Gliedern eines neugeborenen Rentntierkalbes)' [Grundström 1946–1954 IV: 639–640]; *Malä njau'las* 'schwach (lebende Wesen)', *njauhtsōda* 'in der Mitte nach unten gebogen' [Schlachter 1958: 101]; T *nebl'* 'Fischbrut, junger Fisch', S *nāb'le-pōaḏḏz'* 'stilles Rentntier' [T. I. Itkonen 1958: 292, 296]; ср. далее также саам. **nevlē* 'слизь' [YSS: No. 760], I *njivlāā* 'schleimig (Netz, neugeborenes Kalbchen)' [E. Itkonen 1986–1991: No. 2762], L *snjib'lē* 'weich und lose; weich, biegsam', *snjib'lō* 'schleimig; weich, biegsam' [Grundström 1946–1954 IV: 615].

Можно уверенно признать некую вост.-саам. форму, близкую *L njāb'lō*, источником русск. диал. *неблүй* (как полагал в свое время уже А. Шегрен, см. [Toivonen 1927: 184]). В пользу этого свидетельствует присутствие этого диал. слова в беломорских говорах; добавление *-й* является типичным способом рус. адаптации ф.-у заимствований с ауслаутными *-o*, *-u* в языке-источнике [Хелимский 1986а: 256]. Весьма вероятно, что именно на рус. почве саам. обозначение новорожденного олененка приобрело важное терминологическое значение, став названием шкурки особой ценности (пыжика), что и способствовало дальнейшему проникновению слова в нен. язык (где оно имеет отчетливую функциональ-

ную сс
манти
теленк
50.
106]: >
'олень,
[Toiv
также
*sele-).
Сюд
без шк
ПС *se
Точи
рамках
51. С
денное
[Toiv
Сюд
kadudā
По-в
*kata- 'Ч
этимолс
ность за
52. С
ка-моря
[Toiv
объедин
риала).
Сюда
ция общ
ходить к
Фоне
ко — вл
геминате
нормаль
льных
ет возмо:
53. Са
(животн
[Toiv
Сюда
Урал.
напротив
уместной
54. Са
nallō-
[Toivo

ную семантику и связь со сферой товарообмена — ср. чисто биологическую семантику у исконного нен. Т сую 'теленка оленя', суюнгоба = сую' хоба 'шкура теленка оленя') и другие языки региона.

50. Саам. *čelę- '(N) rub the antlers against smth to get the skin off' ([YSS: No. 106]; > фин. *keloaa*) — нен. Т *селă-* 'очиститься от кожи (о рогах оленя)', *селюй* 'олень, с рогов которого облезла кожа'.

[Toivonen 1949: 172]; [UEW: 35] (ПУ *čele- 'das Geweih von Bast reinigen'); ср. также [Sammallahti 1979: No. 167; Pusztay 1983: No. 32] с реконструкцией ПФУ *šele-).

Сюда же эн. Т *seri-, serio* (= нен. Т *селă-, селюй*), нган. *šeluə* 'олень с рогами без шкуры': ПСС *selü-, *selijä [Хелимский 1978а: 126]. Не исключена связь с ПС *seli- 'наточить' (> эн. Т *seri-*, нган. *šeli-*, сельк. Таз *selj-*).

Точность соответствия позволяет трактовать его и как наследие ПУ эпохи, и в рамках одной из контактных версий.

51. Саам. N *guottot* 'feed (on), graze (on)' — нен. Т *хадо* (э: *хăдо*) 'место, объединенное оленями'.

[Toivonen 1949: 172]; [UEW: 131] (ПУ *katz 'Weide, weiden').

Сюда же эн. Т *кодю* 'место, объединенное оленями, копаница, пастбище', нган. *kădudă* id.: ПСС *kato (эн. -о, нган. -dă — суффиксы).

По-видимому, Ю. Лехтиранта прав в трактовке нен. слова как деривата от ПС *kata- 'kratzen', *kata 'Nagel, Kralle' [Lehtiranta 1990: 324]. В таком случае от ПУ этимологии целесообразно отказаться, однако заслуживает внимания возможность заимствования саам. *kôit- (< *kato- ?) из ПСС *kato.

52. Саам. N *hân'ŋa, hân'ŋja* 'Harolda glacialis' — нен. Т *ŋa''yo* 'утка-нырок, утка-морянка'.

[Toivonen 1949: 176]; [UEW: 13] (ПУ *aŋz 'Schneehuhn, Eisente, Polarente', с объединением в статье разнородного и этимологически несопоставимого материала).

Сюда же эн. Т *ŋa'u*, нган. *ŋaŋudă* 'утка'. Для нен. и эн. мыслима реконструкция общей праформы *a'ŋo (*aŋo), однако нган. а первого слога не может восходить к *a: источник подобия — заимствование или ономотопея.

Фонетическое сходство между саам. и ПСС (нен.) формами настолько велико — вплоть до «соответствия» между знаком слогораздела в саам. сверхдолгой геминате и знаком гортанного смычного в нен. — и так плохо укладывается в нормальные историко-фонетические схемы, что речь может идти только о параллельных образованиях звукоподражательной природы (что, однако, не исключает возможность контактного генезиса наблюдаемого сходства).

53. Саам. *tine '(N) tip of muzzle' [YSS: No. 1255] — нен. Т *тына* 'кончик носа (животного); край верхней губы'.

[Toivonen 1949: 178]; [UEW: 517] (? ПУ *tāŋz '(unbehaarte) Nasenspitze').

Сюда же эн. Т *tina* 'кончик носа' (из нен. или вместе с нен. из ПСС *tina?).

Урал. этимология встречает вряд ли преодолимые фонетические трудности; напротив, контактная версия генезиса данной параллели представляется вполне уместной.

54. Саам. K *noalle-* 'kriechen' — нен. Т *нялодă-* 'ползти (о человеке)', (L) Kis. *hăllō-*.

[Toivonen 1949: 180]; [UEW: 321] (? ПУ *nola- 'kriechen').

Не исключено, что саам. слово — всего лишь фантом, см. [Т. I. Itkonen 1958: 303; UEW: 321]. Если, однако, это не так, то изолированный (насколько нам известно) характер нен. глагола на самод. фоне позволяет думать о контактном происхождении параллели между кольско-саам. и нен.

55. Саам. **šōjē* 'рябина' [YSS: No. 1209] — сельк. Таз *sāña* (**sāña*) id.

[N. Sebestyén 1953: 304]. Интересное сравнение, однако для объяснения фонетических деталей (саам. **š*- — инновационная фонема, не имеющая ф.-у. источников; саам. **j*- при сельк. **ñ*-) нужно строить гипотезы, вряд ли поддающиеся проверке на доступном материале.

56. Саам. Kld. *jurka* 'Umzäunung für Renttiere', [Курч 1985] *юррк* 'кораль (загон в тундре для браковки или пересчета оленей)' — нен. Т *ёрка* 'загон для помки оленей'.

[Т. I. Itkonen 1958: 76]: саам. < рус. *юрка* < нен. Русское диал. слово, указанное Т. И. Итконеном в качестве лексемы-посредника, в других доступных мне источниках не засвидетельствовано. В принципе можно думать и о прямом недавнем заимствовании от группы ненцев-оленьеводов, переселившихся в XIX в. на Кольский п-ов. Ср. еще коми (ССКЗД) I *юркооны* 'привязать на более длинную дистанцию несколько голов оленей на одну веревку' из нен. Т *ёркальц* 'загнать в загон оленей'.

Нен. слово отражает ПСС **jork*-, ср. эн. Т *dugite* 'загон для ловли оленей', нган. *dürkata* 'неводить'.

57. Саам. Т *jurra* 'Schar, Schwarm (Fische od. Vögel)' — нен. Т BZ *юра* 'косяк рыбы'.

Очень яркая параллель, однако оба слова заимствованы (хотя это не отмечено ни в [Т. I. Itkonen 1958: 76], ни в [Терещенко 1965: 816]) из рус. диал. (Арх.) *юро* 'большая масса плывущих стадом рыбы или морского зверя' с вероятной слав. этимологией [Подвысоцкий 1885: 196; ЭСРЯ IV: 531–534].

58. Саам. **lāmčē* 'ремень, (Ко.) Zügel, Zaum des Renttieres aus Leder' [YSS: No. 564; Т. I. Itkonen 1958: 199] — нен. Т *ямдѐ*, (L) О *jāmču* 'Riemen aus Sämischleder am Renttierhalfter'.

Саам. слово родственно фин. *lämsä* 'аркан' (о возможных дальнейших связях см. [UEW: 239]), соответствия нен. слова в самод. неизвестны. Таким образом, можно думать лишь о заимствовании в нен. из саам. Что касается субституции *l* > *j*-, то она широко представлена, например, и в относительно поздних заимствованиях в нен. из тунг. (эвенк. *lāpčā* 'хвост рыбы', см. [ТМС I: 494] — нен. Т *ябцо* id.; сол. *lantū* 'молот', см. [ТМС I: 494] — нен. Т *яну* 'предмет, которым оглушают оленя; кузнечный молот'), хотя фонетическая сторона данного явления остается для меня неясной.

59. Саам. Ко. *leñjēna* 'die Kiemendeckel (des Fische)' — эн. Т *leguo* 'жаберная крышка'.

Эн. -*g*- < **ñk*-. Ввиду неясности этимологических связей у обоих членов сравнения комментарии затруднительны.

Выше был подробно рассмотрен практически весь материал, привлекавшийся как свидетельство возможной самодозычности протосаамов. Проведенный этимологический анализ — отсечение ошибочных и очень сомнительных сближений, а также реликтов ПУ словарного фонда — сводит этот материал к весьма

небольшой группе саам.-самод. параллелей контактного характера. Несомненно, изучение таких параллелей заслуживает внимания, тем более, что дальнейший их поиск (на существенно пополнившемся за последние десятилетия лексическом материале) явно не лишен перспектив. И все же довольно очевидно, что не только о самоедоязычности протосаамов, но даже и о сколь-нибудь массивном языковом взаимодействии саамов с самодийцами — прямом или опосредованном — вряд ли может идти речь. В данном отношении автор данного исследования вполне солидаризируется с выводами, к которым пришли Б. Коллиндер и Ю. Лехтиранта.

В свете этого упоминавшаяся выше концепция палеоевропейских связей протосаамского населения выглядит предпочтительнее, чем гипотеза о близости протосаамов к древним (досамодийским) аборигенам арктических тундр к западу и востоку от Урала.

ПРАВИЛО ХОНТИ ДЛЯ ВЕНГ. *FÉSZEK* И ЕГО АНАЛОГ В МАТОРСКОМ ЯЗЫКЕ*

Корневая часть венг. *fészek* 'гнездо' имеет своими прямыми этимологическими соответствиями фин. *pesä*, морд. *pizä*, удм. *puz*, коми *poz* и т. д. [MSzFE: 205], т. е. восходит к праформе с интервокальным *-s-. Данная этимология обычно трактовалась либо как свидетельство того, что венг. -sz- является закономерным рефлексом ПУ, ПФУ *-s- (см., например, [Szinyei 1922: 36; Collinder 1960: 99; Alvre 1981: 78]), либо как пример спорадической палатализации *-s- > *-š- с последующим закономерным развитием *-š- в венг. -sz- [Moór 1947: 41; Hajdú 1966: 106; Лыткин 1974: 142]. Однако первая из трактовок оставляет без внимания другие случаи рефлексации срединного *-s- в венгерском и, в частности, соответствие ПУ *-sz: венг. -a, -ja, -e, -je, -i в формантах 3 л. ед. ч. для личнопредикативного склонения имен и объектного спряжения глаголов [Hajdú 1966: 133–134, 142–143; Хелимский 1982a: 72, 82], тогда как вторая предполагает сугубо избирательное воздействие на *fészek* такого фактора, как палатальность соседствовавших с *-s- гласных.

Чрезвычайно интересное новое объяснение этой проблемы предложил Л. Хонти [Honti 1983]. Считая, что нормальным рефлексом ПУ, ПФУ *s как в анлаутной, так и в срединной позициях явилось угор. *ʋ, развившееся далее в правенг. *h, венг. ʃ, Хонти объясняет -sz- в *fészek* действием специального фонетического правила частичной ассимиляции между *f- (рефлексом *p-) и *ʋ- (рефлексом *-s-). Подчиняясь этому правилу, *ʋ- вместо того, чтобы превратиться в *-h-, «вернулось в исходное положение», т. е. дало *-s- (венг. sz).

Можно отметить, что правило Хонти допускает в принципе различные интерпретации и, соответственно, различные артикуляторно-фонетические обоснования в зависимости от того, какова была относительная хронология правенгерских фонетических процессов *p- > *f- и *ʋ > *h (сколько-нибудь точно датировать каждый из этих процессов по данным заимствований правенгерской эпохи пока, по-видимому, не удастся). Это, однако, ни в коей мере не меняет сути дела. В применении к системе основных фонетических соответствий между уральскими языками правило дает следующую схему рефлексации:

- А. ПУ, ПФУ *s > венг. sz в положении после *pV-;
- Б. ПУ, ПФУ *s > венг. ʃ во всех остальных случаях¹.

* Впервые опубликовано в: СФУ. 1987. XXIII/1. С. 57–60.

¹ Здесь нет необходимости касаться хорошо известных случаев специального или вторичного развития *s в венгерском — например, сохранения промежуточной стадии *h в *hét* 'семь' (под влиянием *hat* 'шесть') или примеров вставки на месте *-s- > ʃ согласного j для устранения зияния.

Несомненное достоинство правила Хонти состоит в том, что в отличие от существовавших ранее объяснений оно дает нам фонетический закон в самом точном младограмматическом значении этого термина. Никаких исключений, «расщеплений» или «спорадических изменений» фонем предполагать не приходится. Ряд других преимуществ нового объяснения, связанных с реконструкцией общеугорского консонантизма, изложен в статье Хонти.

Многих может, вероятно, смутить то обстоятельство, что, хотя правило Хонти, как и положено хорошему фонетическому закону, не знает исключений, но и подтверждающий его материал исчерпывается единственным словом *fészek*. Действительно, в венгерском языке не обнаруживается ни одного другого корня, который возводился бы к уральской (финно-угорской) праформе вида **pVs-* или к угорской праформе вида **pVθ-*. Вполне очевидно, что виной тому не само правило, а объективные обстоятельства: редкость срединного **s* в поддающихся реконструкции праязыковых основах и отсутствие венгерских рефлексов у ряда праформ интересующей нас фонетической структуры (например, соответствий фин. *pestä* 'мышь', *poski* 'щека', *puskea* 'бодать', ср. [SKES: 530–531, 608–609, 659]).

Нехватка венгерского материала, который бы подтверждал историческую достоверность правила Хонти, может быть отчасти компенсирована привлечением типологических аналогов. Уместно обратить внимание на историческую фонетику маторского (маторско-тайгийско-карагасского) языка, свидетельствующую об «особом статусе» последовательности фонем **pVs-*, на которую не распространяются общие закономерности рефлексации.

Обычно ПС **p-* отражается в виде матор. *h-*. Приводимая подборка содержит по одному примеру для каждого из различающихся между собой согласных в инициальной последовательности ПС **pVC-*:

**picä-* 'стричь' [SW: 124] > /hida-/: МСп иди́ямь 'стригу', хиди́ямь 'волосы стригу';

**pâjñä* 'шкура-постель' [SW: 115–116] > /hajja/: КМ haínga 'lectus';

**pâktz* 'икра, голень' (сельк. Tsch. ОО paḡtur 'Wade') > /huktz/: КП chúcto 'лядвезя', МСп охтэ 'голень';

**pelä* 'половина, кусок' [SW: 120] > /hālā/: ММ hälla-hinde 'media nox';

**pim-* 'наступить — о ночи' [SW: 123] > /him-/: МСп имдымтчи́гайтыгы 'смеркивается';

**pen-* 'класть' [SW: 118] > /heŋ-/: МСп хенна́мь 'кладу что-нибудь';

**piñz* 'горноста́й' [Donner 1920: 162–163] > /hüñz ~ hüjz/: ТМ hüne 'Hermelin', ММ húje;

**pâñkâ* 'черенок, дре́вко' [SW: 113] > /haŋga/: МСп ханга́ 'стрела';

**peptän²* ~ **piptän²* 'губа' [SW: 122] > /höbte ~ höbte'n/: КМ höptet 'labia', МСп гепты́нь 'губа';

**pârkâ* 'одежда, шуба' [SW: 116–117] > /harga/: КМ hárga 'vestis pellicea';

**pâtä* 'желчь' [SW: 115] > /hädä/: КР chëdide 'желчь', МСп халы́де;

**pâ* 'дерево, лес' [SW: 116] > /hä/: ТМ hä 'sylva', МСп ха́ 'дерево'.

Этому вполне единообразному материалу противопоставляются три имеющихся примера, в которых ПС **p-* в составе фонемной последовательности **pVs-* имеет рефлексом матор. *b-*:

**pāsij(-)* 'cunnus' [SW: 114 s. v. **pāsā* 'Riss'; Иллич-Свитыч 1984: 97] > /*bisigä*/ (дериват): ТМ *bischigedä* 'cunnus', КМ *bischigà*, ММ *bischigà*, КП *pisiga* 'женский детородный уд', МСп *бишке*;

**pisin-* 'смеяться' [SW: 126 s. v. **pisz-*] > /*bisin-/*; ТМ *pißinschum* 'rideo', КМ *bissinschi*, ММ *bischinnergum*, КП *amgandynbischingas* 'что ты смеешься?', МСп *бижнеграмь* 'смеюсь', *бижингетъ* 'насмешник';

**posā-* 'стать гнилым, трухлявым' [SW: 128] > /*bosomo*/ (дериват): КП *bósomo* 'гнилой'.

Таким образом, в системе основных фонетических соответствий между самодийским праязыком и маторским следует отдельными пунктами рассматривать фонемную последовательность **pVs-* и прочие фонетические структуры: ситуация принципиально та же, что и при принятии правила Хонти для венгерского языка.

Разумеется, как нетрудно увидеть, конкретная специфика рефлексии последовательности **pVs-* в венгерском и маторском совершенно различна. Можно лишь отметить, что и в том, и в другом случае результирующие фонемные последовательности — венг. *fVsz-*, матор. *bVs-* — оказались более сходными с исходной последовательностью, чем те группы, которые могли бы возникнуть по общим правилам фонетической эволюции — венг. **fVh-* > *fV-*, матор. *hVs-*. Трудно представить, что такое совпадение тенденций к сохранению относительной устойчивости последовательности **pVs-* может быть случайным. Скорее перед нами одна из изученных пока еще очень слабо фреквенталий историко-фонетического развития².

² На роль универсалии историко-фонетического развития рассмотренное явление претендовать, естественно, не может. Достаточно сослаться на примеры из нганасанского языка, где последовательность **pVs-*, подобно прочим, оказалась охваченной переходом **p-* > *f-* > *h** > *h-* (ср. *hisilä-* 'засмеяться' при ПС **pisin-*), и из нарымских говоров селькупского языка, где она подчинилась общему правилу перехода *s* > *h* (ср. N *pahadšap* 'ich spaltete' при Таз *pasijšo* 'трескаться, лопаться').

Извес
еще и в
ошибочн
сика ран
но в фин
витии от
ли дости
никам бь
(саамско
ского) и
этом пер
помимо
шедшем
постулир
сопоставл
ранних ис
четкой и
19], осозн
языка-пре
Вне вс
языкового
ху Милле
ряда Втор
ная) экспе
го Миллер
ло изучен
результатом
подавляю
них включ
ревода ста
нимы, этн

Вперв
Юго-Восто
Об это

Г. Ф. МИЛЛЕР И ВЕНГЕРСКАЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ*

Известно, что вопрос о составе и границах индоевропейской языковой семьи еще и в первые десятилетия XIX в. оставался не вполне решенным: некоторые ошибочные представления на этот счет присутствуют, например, в работах классика раннего сравнительного языкознания Фр. Боппа. Как это ни парадоксально, но в финно-угроведении, которое впоследствии заметно отставало в своем развитии от индоевропеистики, соответствующие фундаментальные результаты были достигнуты много раньше. Уже около 1697 г. Г. В. Лейбницу и его сподвижникам был известен факт родства финского, эстонского, ливского, лапландского (саамского), пермского (коми), мордовского, венгерского, остяцкого (хантыйского) и самоедского (ненецкого) языков [Zsirai 1937: 482]. Отдельные лакуны в этом перечне — черемисский (марийский), вогульский (мансийский), прочие, помимо ненецкого, самодийские языки — были безошибочно устранены в вышедшем в 1730 г. труде Ф. И. Страленберга, который также проиллюстрировал постулируемое родство отдельными, очень немногочисленными, лексическими сопоставлениями [Strahlenberg 1730, 1975]. Отмечу, что в работах некоторых ранних исследователей уральских языков присутствует, хотя, конечно, не в такой четкой и афористичной форме, как у сэра Уильяма Джонса [Семереньи 1980: 18–19], осознание языкового родства как результата дивергентного развития единого языка-предка.

Вне всякого сомнения, идея уральского («бореоориентального», «скифского») языкового родства была известна выдающемуся историографу Герарду Фридриху Миллеру (Mueller, 1705–1783), фактическому руководителю сухопутного отряда Второй Камчатской (она же Первая Академическая, она же Великая Северная) экспедиции в 1733–1743 гг. Среди многочисленных задач экспедиции самого Миллера наряду с историко-архивоведческой работой больше всего привлекало изучение языков и этнографии народов Поволжья, Приуралья и Сибири¹. Результатом явилось, в частности, составление нескольких десятков словариков для подавляющего большинства языков и диалектов данного региона. Каждый из них включает около 300 слов из круга «базисной» лексики, собранных путем перевода стандартного входного списка, и в качестве дополнения отдельные топонимы, этнонимы и термины традиционной материальной и духовной культуры.

* Впервые опубликовано в: Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 232–243.

¹ Об этом периоде деятельности Миллера см. [Косвен 1961: 176–194]

Большинство таких словников, хранящихся в Центральном <ныне Российском> государственном архиве древних актов (Москва) и Архиве Академии наук, написаны рукой самого Миллера, причем несут на себе неоспоримые признаки первичных полевых материалов (исправления и вставки, которые могли появиться только в ходе непосредственного опроса информантов)². В них использована одна и та же система фонетической записи на немецкой орфографической основе, для своего времени очень точная [Хелимский 1978: 50 и сл.]. Наряду с этими первичными списками в архивах имеется значительное число отредактированных и нередко сокращенных (за счет дополнений) копий, а также сводных словников по группам родственных или ареально близких языков. Нет нужды говорить о непреходящей значимости словарных записей Миллера; достаточно упомянуть, что для некоторых языков и диалектов (например, пумпокольского енисейской семьи, «юрацкого» и тайгийского самодийской группы) эти первые памятники их письменной фиксации являются и, увы, навсегда останутся единственными.

Сведенный воедино лингвистический материал Второй Камчатской экспедиции послужил основой для «Вокабулария, содержащего по триста слов тридцати четырех народов, в основном из Сибирского региона»³. Он был составлен в 1763 г. Иоганном Эберхардом Фишером (1697–1771), участником экспедиции на заключительном этапе ее работы (с 1739 г.; в Сибири оставался до 1747 г.), а затем в Петербурге постоянным помощником, преемником (по части написания «Сибирской истории») и соперником Миллера, получившим от последнего по настоянию Академии материалы экспедиционного архива⁴. Факт вторичности «Вокабулария» Фишера в его собственно лексикографической, а не этимологической части по отношению к оригинальным записям Миллера давно известен⁵. К сожалению, он не отмечался или недостаточно подчеркивался зарубежными исследователями, работавшими с гёттингенской копией «Вокабулария», а не с многочисленными его первоисточниками, более полными и лишенными некоторых ошибок и искажений [Joki 1952: 30; Stehr 1957: 101–117⁶; Gulya 1967: 87–88, 1976: 140]. (Впрочем, в своей работе, посвященной проекту критического издания «Вокабулария» Фишера⁷, Я. Гуя отмечает, что «его словарный материал, словники отдельных языков являются... лишь копиями других словников XVIII в., хранящихся в московских и ленинградских архивах», и заслугой собст-

² Исключение составляют словники языков Восточной Сибири, которыми Миллер непосредственно почти не занимался.

³ «Vocabularium continens trecenta vocabula triginta quatuor gentium, maxime ex parte Sibiricarum». Имеются две копии данной рукописи: гёттингенская (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 4° Cod. Ms. philol. 261) и петербургская (ААН, разр. III, оп. 1, № 135).

⁴ О взаимоотношениях этих двух ученых см. [Андреев 1937], особенно с. 97–101.

⁵ «Что касается до сборника слов из языков разных сибирских инородцев, то он не был трудом самого Фишера» [Пекарский 1870: 631]; «Он (Миллер. — Е. Х.) собрал большое число «вокабуляриев» сибирских народов, которые впоследствии послужили материалом для исследований его соперника Фишера» [Бахрушин 1937: 32].

⁶ О содержании этой неопубликованной диссертации я могу, впрочем, судить только по ее пересказу: [Koerner 1978: 98–99], а также по ссылкам в статьях Я. Гуя.

⁷ «Издание осуществлено в 1995 г. [Fischer 1995]. См. также рецензионные статьи [Helinski 1997b; Winkler 1997].»

венно
[Gulya
но-угр
более
ских я
работ
Од
ного м
по ис
угров
этимол
вслед
токов
уральс
больш
шаяся
полны
ностей
ратны
саны р
ски), б
искажи
Рук
белов,
раздел
вплоть
писи т
отожде
лера (с
ряда в
перечн
рукой,
писка
Сло
ные да
Милле
исполь
словни
ние Фи
Миллер
Пр
ния обу
венгерс
пронхо
В а
сожален
пись упо

венно Фишера признает только этимологическую обработку этого материала [Gulya 1983: 165].) Справедливость требует признать, что именно Миллеру финно-угроведение второй половины XVIII — первой половины XIX в. обязано наиболее известными и широко использовавшимися словарными данными об уральских языках России — это бывает не всегда очевидно для читателей (и авторов) работ по истории финно-угроведения этого периода.

Однако Миллер был не только лингвистом-полевиком, собирателем словарного материала. Лингвистический материал широко привлекался им в ряде работ по истории и этнографии народов Российской империи. Для развития финно-угроведения особенно важными оказались результаты, полученные им в области этимологического изучения венгерской лексики. Именно Миллер (или Миллер и вслед за ним Фишер, но не один только Фишер, как принято считать) стоял у истоков традиции параллельного сопоставления венгерского языка с другими уральскими и с тюркскими языками⁸. Повод к такому утверждению дает небольшая и ранее, насколько мне известно, не публиковавшаяся рукопись, хранящаяся в ЦГАДА (ф. 199, оп. 2, № 513, д. 25, л. 1–4)⁹. В конце статьи приведен ее полный текст на языках оригинала с сохранением всех орфографических особенностей. Пояснительная вставка, сделанная при публикации, заключена в квадратные скобки. Прочтение немецко-латинской скорописи XVIII в., которой написаны рукопись (за вычетом языковых форм, обычно выведенных каллиграфически), было несколько затруднительным, но, надеюсь, это не повлекло серьезных искажений в воспроизводимом тексте.

Рукопись не озаглавлена, не подписана и не датирована. Первый из этих пробелов, впрочем, полностью восполняется заголовками к отдельным ее разделам — «Сходство венгерского с остяцким и вогульским языками» и т. п. вплоть до «Сходство между венгерским и татарским языками». Отсутствие подписей также не создает проблем, так как почерк автора без малейших колебаний отождествляется с известным по сотням других рукописей почерком Г. Ф. Миллера (см. образец почерка: [Миллер 1937а, вклейка между с. 32 и 33]), а наличие ряда вставок (например, слова «in einigen Dialecten *tü*, auch *tün*» в первой строке перечня самоедско-венгерских сопоставлений) и исправлений, сделанных той же рукой, убеждает в том, что перед нами авторский оригинал, а не копия и не выписка из сочинения какого-либо другого лица.

Сложнее обстоит дело с датировкой. Здесь я могу опереться лишь на косвенные данные: рукопись заведомо не могла быть создана ни ранее 1734 г., когда Миллер впервые попал в ходе экспедиции в Западную Сибирь и мог составить использованные им в сопоставительных целях самоедские и обско-угорские словники, ни позднее 1756 г., когда в Академию было представлено исследование Фишера «О происхождении венгров» (см. ниже). Вероятнее всего, штудии Миллера в области венгерской этимологии относятся или к заключительному

⁸ Правомерность и этимологическая эффективность такого параллельного сопоставления обусловлены тем, что в количественном отношении фонд тюркских заимствований венгерского языка лишь немногим уступает фонду корней угорского (и более раннего) происхождения.

⁹ В архивоведческом отношении бумаги Миллера изучены достаточно хорошо (хотя, к сожалению, лишь малая толика этого наследия увидела свет). В частности, данная рукопись упоминается в [Бакланова, Андреев 1937: 562; Вдовин 1954: 42; Gulya 1966: 166].

периоду пребывания в Сибири (до 1743 г.), или к первым годам по возвращении в Петербург (1743–1749), когда, судя по данным автобиографии [Миллер 19376], центральное место в его исследованиях занимали вопросы языковых связей и этнической истории народов Сибири. Впоследствии к этим проблемам Миллер практически не возвращался.

Сопоставляемые венгерские слова почерпнуты Миллером из 300-словного «Vocabularium Hungaricum» (ЦГАДА, ф. 199, оп. 2, № 513, д. 16), составленного на основе латинско-венгерского словаря Париза Папай [Párai 1708]. Ввиду недоступности словаря мне не удалось установить, восходят ли некоторые орфографические непоследовательности (*nedwes* вместо *nedves* 'влажный', *elo* вместо *élő* 'живой' и др.) непосредственно к первоисточнику или привнесены при переписке; во всяком случае, написания венгерских слов в обеих рукописях (д. 25 и 16) совпадают. Источниками данных по обско-угорским, коми, самодийским, мордовскому, тюркским языкам явились рукописные словники, о которых речь шла выше.

В целом Миллер приводит 82 этимологических сопоставления для 62 венгерских слов (корней). Из их числа правильными (или, во всяком случае, принятыми и в современных этимологических словарях венгерского языка [TESz; MSzFE]) являются 55 сопоставлений для 41 венгерского слова. Вот перечень этих слов (в современной венгерской орфографии): *áll* 'подбородок' *árpa* 'ячмень', *búza* 'пшеница', *éj* 'ночь', *él* 'жить', *ezüst* 'серебро', *fiú* 'сын', *fül* 'ухо', *hal* 'рыба', *hó* 'месяц', *jég* 'лед', *kék* 'синий', *kés* 'нож', *későn* 'поздно', *kéz* 'рука', *kő* 'камень', *kicsi*, *kis* 'маленький', *kos* 'баран', *kút* 'колодец', *ló* 'лошадь', *lúd* 'гусь', *meleg* 'теплый', *mell* 'грудь', *menni* 'идти', *menny* 'небо', *mony* 'яйцо', *nyelv* 'язык', *nyíl* 'стрела', *sárga* 'желтый', *szakáll* 'борода', *száraz* 'сухой', *szél* 'ветер', *szem* 'глаз', *szív* 'сердце', *tenger* 'море', *tó* 'озеро', *tyuk* 'курица', *ujj* 'палец', *vaj* 'масло', *víz* 'вода', *vörös* 'красный'.

Еще в шести случаях сопоставления Миллера вполне корректны постольку, поскольку сравниваемые слова действительно связаны между собой этимологически, однако связь эта опосредованная, поэтому для полной правильности этимологиям недостает ссылок на промежуточные звенья. Ср.: венг. *arany* 'золото' < иранск. (авест. *zaranya*) // об.-угор. *sorni*, *sarni* < коми *zar'ni* < иран.; венг. *asztal* 'стол' < слав. **stolъ* // башк. *ustel*, телеут. *óstol* < рус.; венг. *gatya* 'штаны' < схрв. *gāće*, словен. *gāča* < слав. **gatja* // коми *gatsch* < рус. диал. *gāчи* < слав.; венг. *roz* 'рожь' < слав. **rъžь* // морд. *ross* < рус.; венг. *szakáll* 'борода' < тюрк. *sakal* // морд. *sakal* < тюрк.; венг. *szán* 'сани' < слав. **sani* // тюрк. *tzanna*, *tschanna* (тюркское и славянское слова, наряду со сходными названиями саней в некоторых финно-угорских языках, обычно рассматриваются как древний восточноевропейский миграционный культурный термин¹⁰).

В пяти случаях венгерские имена родства (*anya* 'мать', *apa* и *atya* 'отец') сопоставлены Миллером со словами, которые, подобно им, являются образованиями на основе детской речи, хотя и не состоят с ними в прямой этимологической

¹⁰ Любопытно, что TESz рассматривает и венгерское слово как непосредственно связанное с тем же миграционным термином, оспаривая его славянское происхождение [TESz III: 672], т. е. фактически возвращается к этимологии Миллера (с чем, впрочем, трудно согласиться).

связи. Г
совреме
MSzFE:
Нель
этих сл
nedves
бочны.
ления д
встреча
прошло
Паасоне
Как
сближен
удачны
ны всего
Если
опублик
1770], «
их сход
как пре
полност
сопост
финно-у
в заклю
венная,
на, что
ных и не
риала, с
двух дру
ческие с
чем в ру
последо
мых язы
сравни
венгерск
герско-м
общими
и 23 в то
Такое
как мне
шер как
в общени
о принци

¹¹ В из
сопоставл

8 — 1846

связи. Показательно, что те же сопоставления упоминаются (как аналогии) и в современных этимологических словарях венгерского языка [TESz I: 160, 197; MSzFE: 89–90, 101].

Нельзя, по-видимому, считать заведомо ошибочными два сопоставления, в этих словарях не принимаемые: 1) венг. *férj* 'муж' с тюрк. *ir*, *er*, *eri*; 2) венг. *nedves* 'влажный' с эн. *nudáwe*. 14 сопоставлений для 12 венгерских слов ошибочны. Отмечу, впрочем, что по меньшей мере пять из этих ошибок (сопоставления для *alacsony* 'низкий'; *só* 'соль'; *szőr* 'волос', *tűz* 'огонь', *úr* 'господин') встречались не только у Миллера, но и в этимологической литературе конца прошлого и даже начала нашего века (ср., например, сравнение *szőr* с самод. *tar* у Паасонена [Paasonen 1917: 256]).

Как можно видеть из этого анализа, доля правильных и почти правильных сближений в этимологических заметках Миллера чрезвычайно велика. Особенно удачны венгерско-обско-угорские и венгерско-коми сравнения (ошибки допущены всего в двух случаях из 23 и в одном случае из 7).

Если обратиться к этимологическим разделам трудов Фишера, написанных и опубликованных в 1750-х и 1760-х гг.: «О происхождении венгров» [Fischer 1770], «Сибирской истории» [Fischer 1768], «Вокабулярия», то трудно не увидеть их сходства с рассматриваемой рукописью Миллера. Текст Миллера выглядит как предварительный набросок этих разделов. Общая схема построения почти полностью повторена в «Сибирской истории», где мы последовательно находим сопоставления венгерских слов с тождественными по значению словами других финно-угорских (S. 162–165), тюркских (S. 167–168), самодийских (S. 168–169) и в заключение енисейских языков (S. 170; эта группа сопоставлений — единственная, которой нет в рукописи Миллера, — у Фишера очень коротка и неудачна, что неудивительно, так как делается попытка сравнения языков неродственных и не имевших контактных связей). Несколько иные принципы подачи материала, свидетельствующего о внешних связях венгерского языка, использованы в двух других трудах Фишера, причем в «Вокабулярии» предлагаются этимологические сопоставления для 158 венгерских слов — в два с половиной раза больше, чем в рукописи Миллера¹¹. Общий метод выявления лексических сходжений — последовательное сличение 300-словных списков для каждой пары сравниваемых языков — у Миллера и у Фишера совпадает. В то же время сами по себе сравнения Фишера лишь отчасти дублируют сравнения Миллера: так, при 23 венгерско-обско-угорских этимологиях в приведенной выше рукописи и 20 венгерско-мансийских этимологиях в исследовании «О происхождении венгров» общими являются только 7; при 19 венгерско-тюркских этимологиях у Миллера и 23 в той же работе Фишера совпадают 12 из них.

Такое соотношение между рукописью Миллера и трудами Фишера получает, как мне кажется, наиболее естественное объяснение, если предполагать, что Фишер как помощник Миллера в 1740-х годах почерпнул от него или сформировал в общении с ним свои общие представления о внешних связях венгерского языка, о принципах выявления этих связей и, возможно, свой основной вывод о венгер-

¹¹ В их числе, по подсчетам Я. Гуи, 85 верных, 46 проблематичных и 27 ошибочных сопоставлений [Gulya 1967: 88].

ском этно- и глоттогенезе¹². Это явилось стимулом, побудившим его к дальнейшим, и во многом весьма успешным, этимологическим и этно-генетическим изысканиям [Stehr 1957; Gulya 1976], тогда как для Миллера, уже в начале 1750-х годов в значительной мере отошедшего от лингвистической и этнографической проблематики, штудии по венгерской этимологии явились лишь небольшим эпизодом научной биографии. Можно, кроме того, предполагать, что конкретных этимологических разработок Миллера в распоряжении Фишера не было, и он провел соответствующие изыскания самостоятельно (разве что существовали несохранившиеся или пока не выявленные рукописи Миллера, по количеству и составу венгерских этимологий отличающиеся от рассматриваемой рукописи; но никаких фактических оснований для такого допущения у нас нет).

На высказанное предположение о зависимости трудов Фишера по венгерской этимологии от идей и этимологических набросков Миллера указывает и все то, что известно о научной деятельности Фишера в целом — деятельности, которая носила во многом вторичный, компилятивный характер. Так, уже упоминавшаяся «Сибирская история» — наиболее значительная работа Фишера — родилась на основе материалов Миллера после того, как последний был фактически отстранен Академией от составления более фундаментального труда по той же теме [Андреев 1937: 97–101; Косвен 1961: 179]. Работа «О происхождении молдавцев, об их языке, знатнейших приключениях, вере, нравах и поведении», опубликованная в «Месяцеслове историческом на 1770 год», представляет собой сокращенное изложение написанного на латинском языке и остававшегося в то время в рукописи сочинения Дмитрия Кантемира «Историческое, географическое и политическое описание Молдавии» [Косвен 1961: 205–206]¹³.

То, что Фишер не упоминает имени Миллера — ни в связи с включенными в его «Вокабуларий» словариками, ни в связи с вопросами венгерской этимологии, вряд ли удивительно с учетом достаточно сложных взаимоотношений между этими двумя учеными. Любопытна аналогия из того же XVIII в. и из той же области науки: труд Страленберга (о нем шла речь выше) не содержит никаких упоминаний имени Д. Г. Мессершмидта, чьим помощником Страленберг был во время путешествия по Сибири и материалы которого он широко использовал. На это обстоятельство обратил внимание Дж. Крюгер, что дало ему основания для сдержанности в оценке лингвистических достижений Страленберга [Krueger 1975].

Как бы то ни было, нельзя отрицать, что именно труды Фишера непосредственно оказали определяющее влияние на большинство авторов, касавшихся в конце XVIII — начале XIX в. проблем финно-угорского родства и происхождения венгерского языка. Сопоставительный лингвистический материал и выводы Фишера обильно цитировал А. Л. Шлёцер в своей «Всеобщей северной истории» [Schlözer 1771: 296, 392 Anm., 431–433 e. a.], что содействовало широкому

¹² «Summa huius exercitationis est, antiquissimam Jugris patriam circumiectas Turfano regiones fuisse... lingua autem eorum maximum partem ex Tatarico atque Scythico, inprimis Vogulico idiomate, conflatum esse» [Fischer 1770: 40].

¹³ Этот и ряд подобных фактов служат основанием для оценки сочинений Фишера (в основном, правда, исторических) как «компиляций, не имеющих особого научного значения» [Косвен 1961: 206]. Здесь, однако, нужна оговорка: компиляции Фишера нашли значительный отклик в научной мысли своего времени и оказываются мало значимы лишь в сравнении со своими первоисточниками.

распространению правильных в своей основе представлений о венгерском этногенезе [Tibenský 1962: 239–242]. Известная работа Ш. Дьярмати, посвященная обоснованию финно-угорского языкового родства [Gyarmathi 1799], в своей этимологической части почти целиком опирается на почерпнутые у Фишера сопоставления, причем в ней, как и у Фишера (и у Миллера), сравнения венгерских слов со словами других финно-угорских языков дополняются венгерско-тюркскими сравнениями. В целом названные и ряд других исследований образуют единую и чрезвычайно важную для истории венгерского и финно-угорского языкознания научную традицию в сфере этимологии. Сказанное выше позволяет констатировать, что не только своими словарными собраниями, но и первыми шагами их этимологической обработки Г. Ф. Миллер — отчасти вслед за Ф. И. Страленбергом — внес решающий вклад в становление этой традиции.

Приложение

Aehnlichkeit der Ungarischen mit der Ostiackischen u. Wogulischen Sprache

Aqua	Ostiack.: Wogul.: }	ujt	Ungar.: viz
glacies		jank, jenk	jeg
lacus		tu	to
lapis		keu, koch	kő
aurum		sorni, sarni	arany
mater		anke, angu	anya
dominus		urt, ort	ur
oculus		scham, sem	szem
auris		pel, pil	ful
lingua		njelm, njälem	nyelv
manus		köt, ket	kez
digitus		lui, loi, joi	ui
pectus		magl, mögil, mël	mely
cor		schim, sem	szu, sziv
culter		ketsche, kötsche	kes
sagitta		njäl, njöl, njol	nyíl
equus		lu, lau, lo, loch	lo
anser		lunt, lont	lud
ouum		mong, mungi, mock, moch	mony
vehi		mennen, minnen	menni
ruber		wür, wünte	veres
calidus		melek, möllek, meleng	meleg
siccus		sarym, serum	szaraz

Die Ungarischen Zahlen haben einige wenige Aehnlichkeit mit den Zahlen der Tschussowischen Wogulen.

Aehnlichkeit der Permischen u. Sirjanischen mit der Ungarischen Sprache

Lacus	Permisch	<i>tu</i>	Ungarisch	<i>to</i>
argentum		<i>jösis, isisch</i>		<i>ezüst</i>
filium		<i>pi</i>		<i>fiu</i>
femoralia		<i>gatsch</i>		<i>gatya</i>
butyrum		<i>wi, wuy</i>		<i>vai</i>
sal		<i>sol</i>		<i>so</i>
vehi		<i>munni</i>		<i>menni</i>

Wörter in der Samoiedischen und Ungarischen Sprache die überein kommen

Ignis	Samoj. <i>tu</i>	Hung. <i>tüz</i>	in einigen [Samoj.] Dialecten <i>tü</i> , auch <i>tün</i>
lacus	<i>to</i>	<i>to</i>	
pater		<i>apa</i>	Taiginzisch <i>abydda</i> , Camasisch <i>aba</i>
dominus	<i>jeru</i>	<i>ur</i>	
pilus	<i>tar, tor</i>	<i>szor</i>	
oculus		<i>szem</i>	Tawgisch <i>séme</i> , Taiginz. <i>schimeda</i> , Camasisch: <i>saima</i>
cor	<i>sei</i>	<i>szu</i>	Tawgisch: <i>soa</i>
alce	<i>chaburta</i> <i>gaborta</i>	<i>javor</i>	allein das Samoiedisch bedeutet soviel als das mit den Ohren schüttelt
piscis	<i>chala, challe</i>	<i>hal</i>	
ouum		<i>mony</i>	Mangas. <i>mona</i> , Turuch. <i>monna</i> , Tawgi <i>monu</i> , Camasinzi <i>muni</i>
magnus		<i>öreg</i>	Obdor.: <i>arka</i> , Jurak.: <i>njarka</i> , Tomsk. Ost.: <i>uurga</i> , Narim: <i>uarke</i> , Taiginzi: <i>orgo</i> , Camasinzi: <i>uruga</i>
humidus		<i>nedwes</i>	Turuch. <i>nudáwe</i>
vivus	<i>jille</i>	<i>elo, eleven</i>	

Diese Aehnlichkeit ist aus meinem ganzem Vocabulario welcher aus beynahe 300 Wörter besteht, ausgelesen. Alle übrige Wörter und auch die Zahlen, sind ganz u. gar unterschieden.

Aehnlichkeit der Morduanischen u. Ungarischen Sprache

	Morduan.	Ungar.
Coelum	<i>menil</i>	<i>menni</i>
nix	<i>lo</i>	<i>ho</i>
nox	<i>wei</i>	<i>ei</i>
mensis	<i>ko</i>	<i>ho, holnap, honap</i>
aqua	<i>wied</i>	<i>viz</i>
lapis	<i>kjau</i>	<i>kö</i>

pilus	sch	szor capillus
barba	sakal	szakal
oculus	ssjelm	szem
lingua	kjel	nyelv
mentum	ula	all
manus	kjed	kez
cor	ssiedei	sziv
pagus	wä'ä	falu
sagitta	nall	nyil
lupus	wjarges	farkas
piscis	käl	hal
butyrum	wai	vai
siligo	ross	roz
coeruleus	sjän	szinü

Aehnlichkeit zwischen der Ungarischen und Tatarischen Sprache

	Tat. <i>sil, schil, sjöl</i>	Ungar. <i>szel</i>
Ventus		<i>tenger</i>
mare	<i>tengys</i>	<i>kut</i>
puteus	<i>kuduk</i>	<i>atia, apa</i>
pater	<i>ata, aba</i>	<i>anya</i>
mater	<i>inai, inä</i>	<i>feri</i>
maritus	<i>ir, er, eri</i>	<i>szakall</i>
barba	<i>sakal, sachal</i>	<i>asztal</i> Baschk.: <i>ustel</i>
mensa		Teleut.: <i>óstol</i>
traha	<i>tzanna, tschana</i>	<i>szan</i>
aries	<i>kotschkar, kutscha</i>	<i>kos</i>
gallina	<i>tauuk, tauk</i>	<i>tyuk, tik</i>
triticum	<i>budai</i>	<i>buza</i>
hordeum	<i>arba, arpa</i>	<i>arpa</i>
coeruleus	<i>kok, kuk</i>	<i>kek</i>
flauus	<i>sara</i>	<i>sarga</i>
paruus	<i>kitschi, kitschu</i>	<i>kitschi, kis</i>
humilis	<i>alascha</i>	<i>alazatos, alatsony</i>
sero	<i>kitz, ketsch</i>	<i>kesön</i>

МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ УРАЛЬСКИХ НАРОДОВ

Народы уральской (финно-угро-самодийской) семьи живут в основном в лесной зоне Восточной Европы и в западносибирской тайге, а также в зоне тундры и лесотундры от Скандинавии до полуострова Таймыр. Они состоят из нескольких ветвей и групп. Прибалтийско-финская группа — это народы Северной Прибалтики, Приладожья и Прионежья: финны (второй по численности среди уральских народов), эстонцы, карелы и очень немногочисленные вепсы (в районе Онежского озера), ижорцы и воль (к югу от Финского залива), ливы (на западе Латвии). Отдельную группу составляют саамы — коренное население Кольского полуострова и северных районов Норвегии, Финляндии и Швеции (раньше вся эта область часто называлась Лапландией, а сами саамы — лопарями). Мордва (которая широко расселена и за пределами Мордовской республики и делится на мордву-эрзя и мордву-мокша) и марийцы (прежнее название — черемисы) составляют волжскую группу. Северо-восточнее живут народы пермской группы: удмурты (прежнее название — вотяки) и близкие друг другу коми-пермяки и коми-зыряне. Два народа угорской группы, ханты (остяки) и манси (вогулы) — коренные жители Западной Сибири; их вместе называют обскими утрами. Третий угорский народ — венгры, или мадьяры (наиболее многочисленный из народов уральской семьи), которые пришли в бассейн Дуная из Приуралья около 1100 лет назад. Все перечисленные группы объединяются в финно-угорскую ветвь (или в две ветви: финно-пермскую и угорскую). Еще одну ветвь составляют небольшие по численности, но расселенные на обширной территории самодийские народы. Очень немногочисленные и сейчас уже почти исчезнувшие энцы — коренное население тундры и лесотундры в низовьях Енисея; к западу от них до полуострова Канин в Архангельской области живут ненцы (прежнее название — юраки, юрако-самоеды), а к востоку на полуострове Таймыр — нганасаны (тавгийцы), самый северный из народов Евразии. К самодийской ветви относятся также селькупы (прежнее название — остяко-самоеды), живущие в тайге и лесотундре между Обью и Енисеем.

Сейчас уральские народы в значительной степени утратили прямые соседские связи друг с другом (на многих в прошлом финно-угорских землях давно живут продвинувшиеся с юга народы, особенно русские и татары), говорят на взаимно непонятных языках, заметно различаются по быту и культуре, в том числе с точки зрения религии и мифологии. Однако и в языках, и в культурах сохранилось множество черт общего происхождения: когда-то, около 6 тыс. лет назад, предки уральцев составляли относительно единый народ, населявший, по-видимому, леса и тайгу Западной Сибири и Приуралья (отсюда и название «уральские народы») и занимавшийся охотой (на крупных копытных животных — лося, северно-

го оленя, на медведя, на водоплавающих и боровых птиц) и рыбной ловлей. Впоследствии, расселяясь на сопредельных территориях, продвигаясь на запад (а отчасти также на восток и на север), вступая в тесные сношения и смешиваясь с соседними народами, отдельные племена уральцев с течением времени все больше обособлялись друг от друга; так возникли ветви и группы уральской семьи, а затем и самостоятельные современные народы.

В соответствии с этим, в понятие «мифология и религия уральских народов» вкладывается двойной смысл. С одной стороны, эта совокупность всех религиозно-мифологических традиций всех соответствующих народов, от финнов до селькупов. С другой стороны, это то общее, что прослеживается (или существовало еще относительно недавно) в религии и мифологии различных финно-угорских и самодийских народов и, как можно полагать, было унаследовано ими от далеких общих предков. Чтобы установить первоначальный, древнейший облик этого наследия, нередко приходится использовать особый прием исследования — реконструкцию (восстановление) на основе сравнения нескольких родственных традиций. Поэтому в этой статье, рассматривая отдельные элементы религии и мифологии, мы будем по возможности различать *общее* (то, что непосредственно засвидетельствовано у различных уральских народов или что может быть реконструировано) и *специфическое* (то, что обнаруживается только в одной или в нескольких близких традициях, и является либо результатом самостоятельного развития, либо заимствованием из других — неуральских — традиций).

Главная сложность изучения уральских религиозно-мифологических традиций состоит в отсутствии древних источников. Письменность появилась только одновременно с христианством и иными европейскими культурными влияниями (у венгров, финнов, эстонцев, коми — в первой половине нашего тысячелетия, у других народов — гораздо позже), то есть одновременно с разрушением целостности исходных, «языческих» представлений о мире и об управляющих миром сверхъестественных силах. Сохранились довольно скудные средневековые сведения по финской, эстонской, коми мифологиям. Остальные традиции известны преимущественно по фольклорным материалам последних 150 лет и по современным данным. В наименьшей мере влияние христианства коснулось обских угров и самодийцев, в наибольшей — венгров. Кроме того, на религиозно-мифологические представления ряда уральских народов, особенно в Поволжье и Приуралье (удмуртов, марийцев, мордвы), оказали влияние ислам и тюркские домусульманские верования. С учетом этого данные, относящиеся к разным уральским традициям, не вполне равноценны с точки зрения реконструкции. На особую древность могут претендовать черты религии и мифологии, отраженные у обских угров, самодийцев, саамов — то есть у тех народов, которые поздно и слабо подверглись воздействию мировых религий, а также — что немаловажно — которые сохранили многие старинные особенности хозяйства и быта и которые продолжают жить на тех же территориях, что и их далекие предки (последнее относится в первую очередь к обским уграм). Важнейшим источником является и свод финско-карельского поэтического эпоса — «Калевала», вобравший в себя множество древних мифов и шаманских песнопений, а также близкая «Калевале» традиционная эпическая поэзия других прибалтийско-финских народов.

* * *

Основой религиозных верований финно-угров и самодийцев с древнейших времен являлся анимизм, то есть обожествление природных явлений и естественных объектов, поклонение им. Небо и светила, земля и вода, огонь и ветер, скалы и растительность воспринимались как материальные воплощения стоящих за ними сверхъестественных существ — божеств, духов, «хозяев», «матерей», «дедов». Нужно отметить, что в значительной мере анимистические верования сохранены у финно-угорских народов России, в большинстве своем принявших православие, отдельные их следы просматриваются и у финнов и эстонцев, в основной своей массе лютеран, у венгров, исповедующих католицизм, реформатство или лютеранство.

Для анимизма естественна и закономерна тесная связь представлений о пантеоне — совокупности богов и иных сверхъестественных существ — с общими мифологизированными представлениями об устройстве мироздания. В общей уральской мифологии картина мира изображала его состоящим из трех частей: верхней — это небо (часто представляемое как закрепленное в центре «гвоздем неба» — Полярной звездой — и вращающееся вокруг этого центра), средней — это земля, окруженная или ограниченная с севера водами океана и пересеченная текущей с юга на север мировой рекой, и нижней — это подземный мир, страна покойников и духов зла.

Этой троечастности мироздания соответствует триада главных богов, обнаруживаемых в большинстве уральских пантеонов.

Главным из богов признается бог неба, он же — создатель и верховный управитель всего мироздания. У финнов это Укко, «верхний старец», «золотой король» в синей мантии, огненной шапке, с мечом и луком, из которого он посылает стрелы-молнии. Пантеон обских угров возглавляет Нуми-Торум, «верхний бог», ниспослатель дневного света, изображаемый в мифах как величественный старик в сверкающем золотом одеянии, который живет в огромном светлом небесном доме, полном всяческих богатств, и через ведущее вниз отверстие может наблюдать за происходящим на земле и спускать туда на железной цепи своих посланников. Во многом сходным образом изображаются и верховные небесные боги Нум (Ном) у ненцев и селькупов, Нгаа у энцев, Радизн-Ачче (или Юбмел) у саамов, Ен у коми, Инмар у удмуртов (он выступает также в двух специальных ипостасях: как творец Кылдысин и как бог погоды Куазь), Шкай у мордвы-мокша и Нишке у мордвы-эрзя, Кугу-Юмо у марийцев. Бог неба олицетворяет собой само небо и погоду, поэтому его имя может использоваться для описания природных явлений: например, селькупы вместо «стемнело» говорят «Ном потемнел», вместо «гром гремит» — «Ном кричит», вместо «потеплело» — «Ном нагрелся» и т. д. С другой стороны, часто подчеркивается удаленность и связанная с этим отстраненность верховного небесного бога от повседневных земных дел, ведение которых он перепоручает другим божествам.

Второе место в тройке главных богов занимает богиня среднего мира, супруга бога неба (этот образ сохранен не во всех традициях). Часто ее называют просто «мать земли» (Маан-Эмойнен у финнов, Маа-Эма у эстонцев, Маддер-Акка у саамов, Мых-Ими у ханты, Я-Небя у ненцев). Известна она и под другими име-

нами (Калташ-Эква у манси, Пугос у восточных ханты, Ылэнта-Кота у селькупов). В качестве обиталища богини среднего мира часто указываются верховья мировой реки, где возвышается мировое дерево — столп мироздания, достигающий своей кроной неба и уходящий корнями глубоко в подземную страну, чрезвычайно важный для уральской мифологии символ. Богиня выступает как покровительница женщин, особенно рожениц, и новорожденных детей (лепечущий младенец общается с ней на понятном ей языке), наделяет людей шаманским даром и снабжает бубном, костюмом и другими атрибутами шамана. При этом ветви мирового дерева используются ею как своеобразный склад — на этих ветвях, например, размещаются души еще не родившихся людей. Широко распространен миф о том, что богиня среднего мира вначале жила на небе, но была оттуда сброшена или спущена своим мужем. В мансийском варианте этого мифа Калташ-Эква наказывается таким образом за требование построить себе новое жилище из костей всех животных и птиц; в момент падения, между небом и землей у нее рождается сын Мир-Суснэ-Хум («следящий за миром человек»), которыйstad впоследствии покровителем человеческого рода и посредником между людьми и богами, облетающем весь мир на крылатом коне или в облике гуся.

Тройку замыкает властелин нижнего, подземного мира — глава всех духов зла и болезней, управитель страны мертвых. В ряде традиций это младший брат верховного небесного бога, вместе с ним участвовавший в сотворении мира (и воспользовавшийся возможностью создать его опасные и неблагоустроенные области, например, высокие горы). Это Перкель у саамов, Омоль у коми-зырян, Керемет у марийцев и удмуртов, Шайтан у мордвы, Куль-Отыр у манси, Кынь-Лунг у ханты, Нга у ненцев, Кызы у селькупов. В мифах постоянно упоминается проделанное этим богом отверстие в поверхности земли, через которое он проник в подземную страну и завладел ею; через это же отверстие он посылает снизу на землю духов болезней и кровососущих насекомых.

В представлениях об устройстве мира немало и специфического для отдельных традиций. Страна мертвых иногда (например, у самодийцев) помещается далеко на Севере — за устьем мировой реки, в холодном море. Верхний мир нередко разделяется на несколько частей-небес (три или семь), причем у обских угров трем ярусам небес соответствуют три поколения верховных богов: считается, что на втором и третьем ярусах остались отстраненные от владычества отец Нуми-Торума, Корс-Торум, и его дед, Косяр-Торум (это напоминает о Зевсе, Кроносе и Уране в греческой мифологии). Также на несколько ярусов может подразделяться и подземный мир: так, у северных народов уральской семьи это семь слоев подземной мерзлоты, принадлежащие семи духам зла.

Известны представления о противоположности подземного мира миру людей: смерть в среднем мире означает рождение под землей (и, наоборот, живые люди, сумевшие проникнуть в нижний мир, воспринимаются его обитателями как бесплотные привидения и становятся для них столь же опасными, как подземные духи зла для человечества); в подземном мире находятся ушербные светила или их тени, дающие мало света и тепла. С идеей противоположности связан, между прочим, имеющийся у многих уральских народов обычай портить предметы, которые оставляют на могиле для покойника (у санок ломают полозья и планки, посуду бьют или продырявливают и т. д.): то, что дефектно в нашем мире, должно оказаться целым и пригодным к использованию в стране мертвых.

Еще большей пестротой — в рамках общих анимистических идей — характеризуются мифологические истолкования различных природных объектов и явлений, часто связываемые с образами дополнительных членов семьи богов. У саамов солнце — это бог Пейве, который каждый день начинает путь утром верхом на медведе, продолжает на олене-самце и заканчивает вечером на оленухе. Более характерно, впрочем, представление о солнце как о женщине, в отличие от месяца-мужчины. Таковы богиня солнца Хотал-Эква и бог луны Этпос-Ойка у манси. Вечерняя заря — это расчесываемые перед сном волосы Хотал-Эквы, солнечный зайчик — ее протянутая рука, чередование лунных фаз связывается с болезнью, которая периодически настигает Этпос-Ойку. Нередко в мифах Месяц и Солнце (или их дети) состоят в небесном браке. По ненецким поверьям, звезды — это части сверкающего «настоящего» неба, которое прикрыто от нашего мира дырявой небесной шкурой; селькупы видят в звездах корни деревьев, растущих на первом ярусе неба. Многим уральским народам известен миф о космическом охотнике на лыжах (его лыжня — Млечный Путь), преследующем гигантского лося (созвездие Большой Медведицы).

Северное сияние в эстонской мифологии — это павшие в битве герои, поднявшиеся на небо (быть может, этот сюжет навеян скандинавскими представлениями о Вальхалле, небесной обители погибших воинов). Саамы видят в северном сиянии кровь, разливающуюся в небесном бою между невидимой дружиной витязя Найнаса и злым духом Оадзем. В представлениях ненцев и энцев холод связывается с великанским Быком Севера, живущим у северной кромки неба, в ледовом море. Его дыхание зимой принимает вид пламени — северного сияния, а летом появляется в виде дождевых туч. Когда Бык Севера сбрасывает вылинявшую шерсть, идет снег; когда он дует изо рта, поднимается холодный ветер; когда он остается на месте, царит холод, а когда приходит в движение — теплеет.

Многие финно-пермские народы связывают грозу с действиями бога-громовержца, поражающего своих противников (этот мифологический сюжет хорошо известен славянам и другим индоевропейским народам — возможно, именно от них он перешел к финно-уграм). Мордовский громовник (Пургине-Пас у эрзи, Атям у мокши) вооружен луком-радугой и каменными стрелами-молниями (после грозы в земле оказываются их наконечники — «чертовы пальцы», белемниты). Он преследует злых духов, которые его передразнивают и прячутся в облике змей в дуплах деревьев. Саамский громовник Айеке (или Тиермес) — сын властелина нижнего мира Перкеля, который насильно овладел его матерью; Айеке мстит злодею-отцу и его воинству. Иные и, возможно, более древние мифы о грозе известны обско-угорским и самодийским традициям. У манси громовник Сяхыл-Торум, младший брат и помощник Нуми-Торума, постоянно живет в черных тучах и развозит воду в упряжке «оленей с мамонтовыми рогами». Когда он ударяет своих оленей вожжей, вспыхивает молния и раздается гром, а от резкого рывка упряжки потоки воды проливаются на землю дождем. Самодийцы объясняют гром как шум от полозьев саней, в которых сыновья Юга — духи грозы — едут сражаться с Быком Севера; от полозьев нарт летят искры-молнии, грозowymi тучами Бык Севера загорается от сыновей Юга.

Наряду с этими двумя типами мифов о грозе (охота громовника на злых духов и езда в небесных санях), известны представления о птице или птицах с громовым голосом, которые зимуют в теплых краях (и поэтому зимой гроз не бывает).

У финнов эта птица — воплощение верховного бога-громовника Укко; она высекает молнии своими каменными перьями. В хантыйских представлениях молнии сверкают тогда, когда эта птица открывает свой огненно-красный рот, чтобы заговорить громовой речью.

Пургу может олицетворять (например, у самодийцев) неопрятная и злая старуха с длинными волосами, при расчесывании которых перхоть превращается в снег. Иногда она показывается живым людям, особенно молодым мужчинам, которые замерзают и гибнут от ее ласк.

Упомянутые здесь божества стихий и светил в большинстве уральских традиций относятся ко второму уровню пантеона, вместе с божествами — распорядителями и покровителями определенных видов деятельности, хозяевами тех или иных местностей. Как правило, это божества среднего мира, непосредственно управляющие им совместно с богиней земли; во многих традициях (эстонской, саамской, мордовской, марийской, удмуртской, венгерской, нганасанской) они почитаются как женские божества — «матери» природы и стихий. За разнообразием имен и мифологических «биографий» стоят несомненные общность происхождения и сходство функций божеств второго уровня.

К ним относятся в древней финской языческой традиции (которая была описана в XVI в. главой финской реформации Микаэлем Агриколой) бог леса Тапио, посылавший добычу охотникам; бог вод Ахти, распоряжавшийся рыбой; бог трав и корней Лиекио; хозяин морских бурь и покровитель мореплавателей Ильмаринен; бог Турисас, дававший победу в битве; покровитель домашнего хозяйства Тонту. Карельские боги, согласно Агриколе, «специализировались» в охоте на определенных животных (Ниркес — на белок, Хатавайнен — на зайцев) и в выращивании тех или иных растений (Ронготеус — ржи, Пеллон Пекко — ячменя, Виранканнос — овса, Эгрес — льна, конопли и овощей); Кёндёс покровительствовал пахоте, Кекри — приросту скота. Эстонцы до христианизации поклонялись матерям земли (Маа-Эма; по народным представлениям, сев — зачатие земель урожая), ветра (Тууле-Эма), бури (Марум-Эма), воды (Веэ-Эма), огня (Туле-Эма), покровителям плодородия (Метсик и Пеко), хозяевам водной стихии и рыб (Кала-Тонт, Кала-Куингас). Аналогичные божества были у вепсов (например, властелин подводных стад Туржас), у ливов (например, покровители урожая — отец поля Нурме-Эзя и мать поля Нурме-Имя).

Согласно саамской традиции, детей оберегают дочери богини среднего мира Маддер-Акки: Укс-Акка («дверная женщина») заботится о мальчиках, Сар-Акка («пряжущая женщина») — о девочках. Покровителем рыбной ловли является Инару, выступающий в облике большой рыбы, покровителем охоты — хозяин зверей медведь Lieb-Олмай, покровителем урожая и военных действий — Хорагаллас. У восточных саамов популярны женские божества: богиня леса Вирас-Акка, покровительница ягельных пастбищ Рази-Айке, хозяйка оленей Луот-Хозик, сама покрытая оленьей шерстью; удача в рыбной ловле зависит от Аккрувы, женщины с рыбьим хвостом.

В мордовский пантеон входили матери природы (мать леса Вирь-Ава, мать воды Веде-Ава, мать ветра Варма-Ава, мать земли Моде-Ава, мать полей Норов-Ава, мать лугов Нар-Ава, мать деревенской общины Вель-Ава) и боги-покровители (бог солнца Чи-Пас у эрзи и Ши-Баваз у мокши считался «кормильцем», дающим урожай; дождем ведал Пиземе-Пас, пчелами — Нешке-Пас, зарытыми в

землю кладами, а также кладбищами — Матор-Пас). Согласно одному из мифов, гигантская птица высиживает на мировом дереве — березе — три яйца, из которых появляются на свет Норов-Ава, Вирь-Ава и Варма-Ава; птица отпускает их в поля, в лес, с ветром.

У марийцев к «земным богам» причислялись бог огня Тул-Он-Кугу-Юмо, бог достатка Перке-Кугу-Юмо, бог урожая Кинде-Шочин-Кугу-Юмо, бог скота Вольык-Шочин-Кугу-Юмо, бог домашнего очага Сурт-Кугу-Юмо. Известны были также другие владельцы природных стихий и боги-покровители, а наряду с ними — духи-матери: например, мать солнца Кече-Ава считалась покровительницей семьи.

В мифологии народа коми сохранились имена богов-близнецов Войпеля (хозяин северного ветра) и Йомы — сыновей верховного небесного бога Ена, прародителей всех народов земли. У удмуртов известны прежде всего матери природы — мать солнца Шунды-Мумы, мать неба Ин-Мумы, мать земли Музьем-Мумы, мать грома Гудыри-Мумы. Сходные представления о матерях природы были некогда и у венгров, свидетельством чему — сохранившийся в народных поверьях образ матери ветра Сел-Ани, живущей в ветвях мирового дерева: от движения этих ветвей поднимается ветер.

Пантеон обских угров включает, наряду с богами-хозяевами светил и стихий (о них уже шла речь выше), семерых сыновей Нуми-Торума, которых он послал на землю для непосредственного управления земными делами. Часть из них — местные божества, между которыми распределены земли Приобья. Таковы у манси Ас-Талых-Торум — бог верховий Оби, распорядитель рыбных и пушных богатств этого края; Нёр-Ойка — бог Урала, хозяин оленьих стад (согласно мифу, он не проливает человеческой крови, но зато превращает в камни тех, кто посягает на его богатства), Ай-Ас-Торум — бог Малой Оби и ряд других мифологических персонажей. Особенно почитается уже упоминавшийся Мир-Суснэ-Хум, младший из семи сыновей, покровитель всего человеческого рода.

Боги-хозяева стихий, светил или определенных местностей известны и самодийским традициям (у нганасанов это обычно «матери»). Селькупам почиталась хозяйка леса в образе самки соболя, которая вступает в связь с избранным ею охотником и дарит ему удачу. Для самодийцев-оленьеводов очень важным богом был покровитель оленьих стад — ненецкий Илебям-Пэртя, энецкий Ирео-Понедэ.

Общее происхождение имеют, судя по всему, и представления о разнообразных сверхъестественных существах, которые составляют третий, низший уровень пантеона — «духах», «чертях». Большинство уральских народов — как, впрочем, и другим народам мира — известны лешие (метсахалтъя у финнов, вариэлля у саамов, ворса у коми, мачиль-лозы у селькупов и т. д.), водяные (веденхалтъя у финнов, чадзиэлля у саамов, васа или вакуль у коми, ву-мурт у удмуртов, визи-эмбер у венгров, ютыль-лозы у селькупов), домовые (кратт или тонт у эстонцев, кьёдеэлля у саамов, олысе у коми, корка-мурт у удмуртов). В отдельных традициях эти существа наделяются специфическими чертами: например, марийский дух леса овда — женщина с перевернутыми ступнями, венгерский водяной визи-эмбер выглядит как утопленник с окоченевшим телом, который, вредя рыбакам, топит их лодки и запутывает сети. Еще одна важная и особо опасная категория сверхъестественных существ низшего порядка — духи зла и болезней, подданные и помощники бога — хозяина нижнего мира («черные

муки
Из ч
хов
став
дух
родн
рели
хэжэ
нача
наде
ной

П
пред
прим
теисч
знач
ний.
шегс
каци
(то е
дьяв
назва
вой М
вите
канон
дерев
него
торы
та, м
панте
свято

О
творе
бог-с
Инма
птиц
комо
витьс
гагар
участ
птиц
татс
танн
тить»

муки» пианес-олмак у саамов, керемет у марийцев, куль у коми и обских угров). Из числа низших духов набирают своих помощников шаманы — роль таких духов особенно велика в самодийских традициях (ненецкие тадебцо, обычно представляемые в образе полуфантастических животных). Воплощениями низших духов (а иногда и божеств более высокого ранга) признаются отдельные природные объекты — камни, деревья, становящиеся благодаря этому объектами религиозного культа, или же специально изготавливаемые идола (сеида у саамов, хэхэ у ненцев, койка у нганасанов). Для шамана владение подобным идолом означает, что соответствующий дух находится у него в подчинении, однако для не наделенных шаманским даром людей обращение с идолами требует максимальной осторожности.

Под влиянием христианства и ислама нередко происходило переосмысление представлений о мире богов, пополнение пантеона новыми персонажами. Например, верховный небесный бог-создатель легко отождествлялся с Богом монотеистических религий, что вело (у обских угров, у самодийцев) к повышению значимости его культа, появлению дополнительных ритуалов и жертвоприношений. Ряд признаков обско-угорского Мир-Суснэ-Хума — божьего сына, выросшего на земле, и посланника неба среди людей — способствовали его идентификации с Христом. Напротив, для части селькупов «отец всех русских Кэристос» (то есть Христос) — враждебное божество, действующее заодно с «семизубым дьяволом». Культ богородицы в христианской Венгрии, где она носит народное название болдогания («мать счастья, богатства»), свидетельствует о принятии Девой Марией функций древней богини среднего мира, жизнедательницы и покровительницы рожениц и младенцев; интересно, что иногда даже — вопреки всем канонам христианства — упоминаются семь богородиц на семи ветвях мирового дерева (вероятно, это древние матери природы, ведавшие вместе с богиней среднего мира земными делами). У соседей-мусульман заимствованы имена и некоторые детали образов богов нижнего мира — удмуртского и марийского Керемета, мордовского Шайтана. Во многих уральских традициях среди персонажей пантеона в последние столетия фигурируют Илья-пророк, Николай Угодник, святой Георгий.

* * *

Очень важное место в уральской мифологии занимают повествования о творении и обустройстве мира. В наиболее распространенном из таких мифов бог-создатель (мордовский Шкай, марийский Кугу-Юмо, коми Ен, удмуртский Инмар, обско-угорский Нуми-Торум, самодийский Нум) велит водоплавающей птице — обычно гагаре — нырнуть на дно первичного океана и принести оттуда комочек земли. Иногда говорится о двух птицах — гагаре (ей не удастся справиться с заданием) и утке (которая, не будучи такой хорошей ныряльщицей, как гагара, все же принесит землю со дна); нередко образ птицы принимает второй участник творения, младший брат верховного бога. Из принесенного в клюве птицы комочка бог-создатель творит земную твердь, которая начинает разрастаться, и все полезное на ней, а младший брат использует крупинки земли, спрятанные в клюве (или во рту), чтобы создать неровности почвы и вообще «испортировать» новосозданную землю.

Специфический миф о сотворении мироздания из яиц представлен у западных финно-угров. В финско-карельских рунах птица, летающая над водами первичного океана в поисках места для гнезда, откладывает яйцо (или несколько яиц) на колено Ваянямёйнена, единственного обитателя океана, или на холм посреди волн. Яйцо скатывается вниз и разбивается, и из разных его частей — желтка, белка, скорлупы (или из разных яиц) — образуются отдельные части мироздания. В коми мифе из двух яиц, снесенных уткой в первичном океане, вылупляются вначале боги Ен и Омоль. Затем каждый из них использует для творения еще по два яйца: Ен создает землю и своих духов-помощников, Омоль — луну и злых духов.

Особняком стоит и очень интересный нганасанский миф, в котором участвуют две матери природы — Моу-Нямы и Коу-Нямы, Земля и Солнце. Дети Моу-Нямы, звероподобные духи дямада, посылают птичку ушипнуть Землю и обратиться на себя ее внимание: они жалуются, что шкура Моу-Нямы вся покрыта льдом, из-за чего жить на ней холодно и плохо. Земля сближается с Солнцем, лед тает и устанавливается нормальный климат. Из шкуры Моу-Нямы выползают голые черви, превращающиеся в первых людей. Затем Коу-Нямы говорит духам дямада, что они, как дети Земли, должны жить, приросши к ее телу, калечит их и превращает в каменных идолов-койка.

Большинство известных уральским народам мифов о происхождении человека навеяны библейскими мотивами и, вероятно, во многом вторичны. Своеобразный миф рассказывают манси: творец Нуми-Торум вначале изготавливает из стволов лиственницы лесных чудовищ — менквов, затем из сердцевины и корней лиственницы у него получаются неудачные и нежизнеспособные мохнатые люди, и лишь с третьей попытки он создает настоящих людей, сплетенных из ивовых прутьев и обмазанных глиной.

В некоторых традициях представлены мифы о вселенском потопе или вселенском пожаре, некогда прервавшем мировую историю, а также содержательно близкие им мифы о конце света. Ненцы связывают потоп с гибелью первого мирового дерева — священной березы с семью корнями, к которой совершали паломничество и приносили жертвы все люди. Однажды корни березы начали гнить, и, когда сгнил последний седьмой корень, она рухнула. Из ее ствола хлынул, как кровь, священный огонь, а за ним — поток воды, поглотивший все реки. Лишь немногие люди и животные смогли спастись при этом на плоту. Великие же шаманы сумели семикратным криком отогнать воды потопа от вершины священной горы, на которой они собрались, а затем и направить всю воду в реки. В мансийском мифе конец света связывается с огненным потопом, во время которого спасутся те, кто подготовит плоты из семи слоев древесины: шесть слоев прогорят, и останется лишь седьмой; плывущих на плотях без укрытия будут пожирать гигантские комары. Спасшиеся проживут еще столько, сколько жили до пожара-потопа, затем превратятся в водяных жучков хомлах и, наконец, обратятся в прах, что и будет окончанием мира.

У обских угров очень важную роль играет миф о медведе, который вырос в человеческом облике на небесах, в богатом дворце Нуми-Торума. Ему было запрещено смотреть через отверстие на земной мир; за нарушение этого запрета Нуми-Торум спустил его вниз в колыбели на длинной цепи. Приняв на земле звериный облик (но сохранив при этом многие человеческие повадки), медведь во исполнение воли верховного бога истребляет грешных людей. В свою очередь, и люди имеют право убивать медведей-грешников, но должны после этого

соблю
зывает
льные

Ми
дам. Т
еще не
божда

Ши

вопре

основ

ся пос

тради

нганас

то это

началу

не зна

он по

шанта

ствую

ствия

злых с

вых. Г

довиш

соглас

Наибо

ют в

ханты

наруж

В фин

повест

рои до

Ани

полне

гающи

таких

ных ж

следов

считал

го оле

практи

ла обя

рующу

Осс

ленны

чение

соблюдения особый сложный ритуал прощания с убитым медведем — это так называемый медвежий праздник, с которым связаны многие песенные и танцевальные традиции обских угров.

Мифы о небесном первопредке медведей известны и другим уральским народам. Так, у саамов медведь Талло — персонаж преданий о событиях в молодом, еще не устоявшемся мироздании. Он похищает гром и лунную деву, но та освобождает гром и сама спасается от похитителя.

Широко распространены и мифы о культурных героях или героических первопредках, которые освобождают землю от власти злых чудовищ, закладывают основы человеческого быта и хозяйства и, оставив людям свои заветы, становятся после смерти их небесными покровителями. Культурный герой самодийских традиций (Йомбо у ненцев, Ди'а или Дюба-Нга у энцев, Дяйку или Дэйба-Нгуо у нганасанов. Ича у селькупов) — одиночка, сирота, воспитанный бабушкой (часто это мать земли, богиня среднего мира). Он приступает к освоению мира и поначалу ведет себя до смешного неумело: охотится на мышей, гребет травинкой, не знает, мясо каких животных можно употреблять в пищу. Маленький и слабый, он побеждает своих врагов-чудовищ с помощью хитрости, коварства или даже шантажа (благодаря всему этому культурный герой выступает не только как действующее лицо героических мифов, но и как персонаж сказок-анекдотов). Странствия приводят его в разные концы земли, где он освобождает из-под власти злых сил рыболовные угодья и стада оленей, в гости к светилам и в землю мертвых. Побежденные чудовища превращаются в идолов, а при сожжении этих чудовищ из искр возникают комары. Завершив свои подвиги, культурный герой, согласно некоторым мифам, случайно осклапывает себя и переселяется на небо. Наиболее близкие самодийским представления о культурном герое присутствуют в мифологических традициях Сибири — как уральских (отдельные группы ханты и манси), так и неуральских (кеты, юкагиры, долганы). Много сходств обнаруживается и в обско-угорских мифах о деяниях семи сыновей Нуми-Торума. В финско-карельских эпических рунах «Калевалы» центральное место занимают повествования о том, как небесный кузнец Ильмаринен и другие культурные герои добывают чудесный источник изобилия Сampo.

* * *

Анимистические верования уральских народов предполагали постоянное выполнение многочисленных обрядов, соблюдение запретов и предписаний, помогающих умиротворить всевозможных богов и духов, избежать их гнева. Среди таких ритуальных действий — обращение с молитвами и принесение специальных жертв «хозяевам» священных или опасных мест, кормление воды и огня, следование определенным нормам поведения на охоте (например, нганасаны считали необходимым вырезать и возвращать Земле-Матери глаза убитого дикого оленя: это обеспечивало поддержание поголовья стад). Подобная религиозная практика не требовала участия специальных служителей культа — она составляла обязательную часть повседневной деятельности каждого человека, гарантирующую ему собственное благополучие и благосостояние.

Особое место в духовной жизни принадлежало шаманству. Среди многочисленных функций шамана первоочередную роль играет защита от духов зла: лечение больных (то есть изгнание духов болезни), проведение похоронных обря-

дов (то есть устранение опасного контакта между миром живых людей и нижним миром), предотвращение всевозможных несчастий или устранение их последствий. Для шамана существенны не столько строгое выполнение обрядов и предписаний, сколько определенные личные качества и навыки: гипнотические способности, умение достигать (часто с помощью наркотических средств, а также музыки, пения, пляски) состояния экстаза, нередко также музыкальная и поэтическая одаренность. Считалось, что шаманом может стать лишь тот, кто избран на это сверхъестественными силами (обычно в подростковом возрасте), причем избранничество проявлялось в длительном состоянии психического надлома или даже душевного расстройства, сопровождающемся галлюцинациями и сновидениями, в которых будущий шаман совершал путешествия в разные части мироздания, знакомился с духами и богами, обретал сверхъестественных помощников. В дальнейшем он обзаводился (обычно получая их от шамана-предшественника) атрибутами шаманской деятельности, основными из которых были бубен, украшенный магической символикой, и специальный костюм (у нганасанов, например, такой костюм включает набор подвесок и нашивок, каждая из которых прикрывает и как бы замещает какую-то часть человеческого тела).

Шаманский ритуал — камлание — может включать в себя (в зависимости от обстоятельств, вызвавших его проведение, от местной традиции и от индивидуальных качеств и предпочтений самого шамана) битье в бубен и песнопения, с помощью которых шаман созывает сверхъестественные силы и приводит себя в экстатическое состояние, дающее возможность общаться с этими силами; демонстрацию чудесных способностей шамана (например, он высвобождается из пут или наносит себе удары ножом, не получая при этом повреждений); беседу присутствующих с явившимися божествами и духами, которые на время вселяются в тело шамана; рассказ самого шамана о совершенном им в экстатическом состоянии путешествии в сверхъестественные сферы и о достигнутых результатах.

О древности уральского шаманства, которое лучше всего сохранилось в самодийских и саамской традициях, свидетельствует, в частности, общее финно-угорское происхождение названия шамана (нойта). О былом значении шаманства для прибалтийско-финских народов свидетельствуют многие руны «Калевалы» — например, в одном из повествований ее герои отправляются учиться песнопениям к телу давно умершего первошамана-гиганта Антеро Випунена. Традиции шаманства выходят за рамки собственно анимистических верований: шаман — не жрец богов и духов одушевленной природы, а посредник между людьми и сверхъестественными силами. Поэтому эти традиции нередко сохранялись и при переходе от анимизма к одной из мировых религий. Так, прямым преемником шамана в народных верованиях венгров является колдун-талтош, связанный со звероподобными духами и способный сам в облике животного (особенно быка) вступать в символические битвы с другими талтошами или с мифологическими противниками: от исхода этой битвы зависят погода и плодородие в опекаемой им местности.

АЛТАИСТИКА. САМОДИЙСКО-АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

РЕШЕНИЕ ДИЛЕММ ПРАТЮРКСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И НОСТРАТИКА *

1. В таксономии компаративистических дисциплин ностратика призвана соотноситься с семитохамитологией, картвелистикой, индоевропеистикой, уралистикой, дравидологией, алтаистикой так же, как индоевропеистика соотносится со славистикой или германистикой, уралистика — с самодистикой и т. д. Отсюда зависимость ностратической реконструкции от результатов, полученных в сравнительно-исторических грамматиках соответствующих языковых семей, и стремление проверить ностратiku данными «поглощаемых» (или, лучше сказать, объединяемых) ею разделов компаративистики, которым продиктованы многие отклики на первые два тома «Опыта сравнения ностратических языков» В. М. Иллич-Свитыча [1971, 1976]. (Издание было завершено в 1984 г. третьим томом в обработке В. А. Дыбо [Иллич-Свитыч 1984].) К числу их относится дискуссионная статья А. М. Щербака «О ностратических исследованиях с позиций тюрколога» (ВЯ, 1984, № 6), где «предпринимается попытка соотнести важнейшие положения работ В. М. Иллич-Свитыча и комментарии к ним его коллег с представлениями о фонологической системе и морфологической структуре тюркских языков, сложившимися в тюркологической среде» (с. 30). Дальнейшее содержание статьи показывает, что предложенная ностратическая реконструкция с этими представлениями, по мнению автора, несовместима.

Полезно сразу уточнить, о каких представлениях фактически говорится в статье. Речь идет не о непосредственных результатах синхронного анализа тюркского материала: А. М. Щербак целиком сосредоточивается на таких проблемах, как характер связей тюркских языков с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими и оценка отдельных алтайских этимологий, выявление замаскированных вторичным семантическим развитием изобразительных слов, возможность существования сонантов и звонких согласных в пратюркском анлауте, «ротацизм/зетацизм» и «ламбдаизм/сигматизм», генезис долгих гласных. Уже этот перечень позволяет считать, что автор поторопился приписывать «тюркологической среде» сколь-нибудь единые «сложившиеся представления» по рассматриваемым проблемам. Расхождения чрезвычайно велики и многообразны. Так, Г. Дёрфер, на работы которого многократно ссылается А. М. Щербак, занимает — подобно автору статьи — позицию противника теории алтайского (а заодно и ностратического) родства. Но это не мешает ему — в отличие от А. М. Щербака — признавать первичность плавных в соответствиях типа $r : z, l : \tilde{s}$ [Doerfer 1975–1976] и реконст-

* Впервые опубликовано в: ВЯ. 1986. № 5. С. 67–78.

руировать не две, а три ступени долготы пратюркских гласных. А. Рона-Таш, напротив, считает сибиланты *z*, *ž* исходными, но зато поддерживает (с некоторыми оговорками) концепцию алтайского родства и реконструкцию анлаутных звонких [Róna-Tas 1982; Rédei, Róna-Tas 1983: 15]. Дж. Клосон, также не признававший внешних генетических связей тюркских языков, реконструировал оппозицию глухих и звонких шумных в анлауте [Clauson 1972]. В. И. Цинциус в целом принимала взгляды А. М. Щербак на пратюркское фонологическое состояние, но не трактовку алтайских лексических параллелей как результатов заимствования [Tsintsius 1975] и т. д. Определенным единством или близостью воззрений по перечисленным узловым проблемам характеризуется, пожалуй, только традиция, которая связана в первую очередь с именами Г. Рамstedта, М. Рясянена, Н. Поппе, К. Г. Менгеса и которая была принята и отчасти развита дальше В. М. Иллич-Свитычем. Основные положения этой традиции — принятие алтайского родства и признание пратюркского состояния в ряде-отношении неархаичным в сравнении с прамонгольским и пратунгусо-маньчжурским. А. М. Щербак давно известен как антагонист алтаистической традиции, и его последняя статья во многом продолжает или даже повторяет более ранние антиалтаистические выступления ([Щербак 1966] и др.).

Таким образом, мы вправе констатировать, что «сложившиеся представления», о которых пишет критик, в своей совокупности отражаются только в его монографии «Сравнительная фонетика тюркских языков» [Щербак 1970], которая бесспорно выделяется энциклопедичностью в отражении материалов и опыта фонетического изучения тюркских языков, в особенности их современных диалектов. В то же время книга предлагает такой вариант пратюркской реконструкции, который — как с полной очевидностью показывает А. М. Щербак в своей статье — кардинально расходится и с интерпретациями В. М. Иллич-Свитыча, и с самими данными ностратического сравнения, не оставляя места для каких-то компромиссов.

Причина подобного расхождения, как нам представляется, состоит не в том, что В. М. Иллич-Свитычем «конкретные языки воспринимались сквозь призму предварительно сформулированных соответствий» (с. 35) и, тем более, не в том, что ностратического языкового родства не существует. Признание или непризнание этого родства пока остается для лингвистов вопросом конфессионального характера. Сам факт наличия многочисленных материальных сходств между индоевропейским, уральским, тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским, картвельским, в меньшей мере дравидийским и афразийским праязыками не отрицает, по-видимому, никто. Большинство оппонентов ностратики полагает, что материальные сходства такого рода могут быть следствием не только родства, но и, например, тесных контактов в условиях первобытного этнического континуума и т. п. В пользу теории В. М. Иллич-Свитыча говорит прежде всего весь опыт компаративистики, которая до сих пор успешно оперировала моделями языковой дивергенции и обходилась без «конвергенционных» моделей.

Фактической причиной расхождений между В. М. Иллич-Свитычем и его критиком оказывается различный подход к дилеммам реконструкции пратюркского языкового состояния, гораздо более близкого к нам по времени. Те позиции, с которых А. М. Щербак критикует методы и результаты ностратических исследований, характеризуются — как мы попытаемся показать ниже — прин-

ципиа
воспри
тур, ко
доказу
языков
преобл
34–35,
можно
ально
тунгус
ходимо
ляется
раллел
тюркск
объясн

2. П
того пу
ми. Мо
гальном
уральск
В. М. И
к первс
томе он
ларинга
прафор
рингал
новании
структу
Tekin 1
яснятьс
утратой
[Иллич-
пути ре
Свое
гипотез

1 Сле
тогони
досягае
пробле
древност
2 Это
тора в [Ш
так и на
также от
32], Б. А.
3 Гип
ственн
А. М. Ще

ципальной глоттогонической установкой: вся предыстория тюркского праязыка воспринимается им, по-видимому, как эпоха рождения языковых форм и структур, которые, однажды возникнув, сохранялись далее неизменными (отсюда недоказуемые тезисы об исходности таких черт фонологического строя тюркских языков, как сингармонизм, отсутствие звонких согласных и сонантов в анлауте, преобладание односложных основ, отсутствие палатального ряда согласных — с. 34–35, 38, см. также [Щербак 1970: 71, 106, 121, 187 и др.])¹. Реальную возможность контроля пратюркской реконструкции извне А. М. Щербак принципиально отвергает, ср.: «На вопрос о возможности использования монгольских и тунгусо-маньчжурских материалов при реконструкции тюркских праформ необходимо ответить отрицательно» [Щербак 1970: 12]. Такой негативизм представляется совершенно неприемлемым. Пусть даже все алтайские лексические параллели и являются, как полагает А. М. Щербак, результатом заимствования из тюркских языков; но тогда пратюркская реконструкция обязана учитывать и объяснять фонетический облик этих заимствований².

2. Позволим себе начать обсуждение дилемм пратюркской реконструкции с того пункта, в котором позиции ностратики представляются особенно уязвимыми. Можно согласиться с А. М. Щербаком (с. 38–39) в том, что гипотеза о ларингальном происхождении тюркских (а также, добавим, тунгусо-маньчжурских и уральских) долгот — не самая удачная часть ностратической реконструкции В. М. Иллич-Свитыча. Это признавал и В. А. Дыбо в редакторском предисловии к первому тому Ностратического словаря [Иллич-Свитыч 1971: VI]; в третьем томе он в ряде случаев указывает на трудности в соотношении реконструируемых ларингалов с алтайской просодией [Иллич-Свитыч 1984: 47, 52]. В отдельные праформы явно должны быть внесены коррективы: например, неизвестный ларингал в ностр. **baHa* ‘привязывать’ [Иллич-Свитыч 1971: № 2] вводится на основании долготы в тюрк. **bā-*; установлено, однако, что в тюркских корнях структуры *CV* долгота носит автоматический характер [Щербак 1970: 135–136; Tekin 1976: 236]. Достаточно часто долгота гласного должна, по-видимому, объясняться относительно поздними компенсаторными процессами, связанными с утратой гласного следующего слога³ — см. использование этого объяснения в [Иллич-Свитыч 1984: № 378]; возможно, существуют и другие конструктивные пути решения проблемы пратюркских долгот.

Свое справедливое замечание критик сопровождает, однако, отсылкой к своей гипотезе о происхождении пратюркских долгот: «...на той стадии развития, ко-

¹ Следует подчеркнуть, что ностратика В. М. Иллич-Свитыча полностью лишена глоттогонической направленности. Она увеличивает (возможно, до 10–15 тыс. лет) глубину достигаемости сравнительно-исторического метода, но не дает и не может дать решения проблемы происхождения языка. Итог ностратической реконструкции — язык глубокой древности, но не некий «первозык».

² Это обстоятельство, как и неубедительность многих реконструктивных решений автора в [Щербак 1970] уже отмечались специалистами, стоящими как на «алтаистических», так и на «антиалтаистических» позициях — см. рецензии [Doerfer 1971; Poppe 1973], а также отдельные замечания и комментарии в работах Г. Дёрфера [Doerfer 1975–1976: 31–32], Б. А. Серебренникова и Н. З. Гаджиевой [1979: 53–55], Т. Текина [Tekin 1969: 55–56].

³ Гипотеза компенсаторного удлинения не предполагает, что оно было единственным источником тюркских долгот, поэтому детальная критика этой гипотезы у А. М. Щербака [1970: 127 и сл.] не достигает цели.

гда господствовал моносиллабизм и большую роль играли слоговые акценты, сложилась оппозиция двух просодических типов слога: вокальнотвершинного и консонантнотвершинного. Долгие гласные развились в слогах с вершиной на вокалической части» (с. 39; ср. [Щербак 1970: 134–138]). Как и другие глоттогонические построения, эту гипотезу можно только обсуждать, но нельзя ни опровергнуть (если данные внешнего сравнения принципиально игнорируются), ни тем более доказать. Вопрос о генезисе количественной оппозиции гипотеза А. М. Щербака не решает, а просто подменяет вопросом о генезисе оппозиции просодических типов и к тому же порождает другой вопрос: какими антропологическими особенностями прототюрков определялась их уникальная способность произносить «консонантнотвершинные» слоги, проще говоря — слоги с ударением на согласном?

3. Отвергая большую группу ностратических и алтайских этимологий с сонантами (**l*, **m*, **n*, **ŋ*) в анлауте, А. М. Щербак ссылается на «противопоказанность» начальных сонантов тюркским языкам (с. 34–35). С равным основанием можно было бы, например, отвергать индоевропейские этимологии со звонкими придыхательными, которые, как известно, «противопоказаны» русскому и другим славянским языкам. Характерной чертой позиции А. М. Щербака по данному вопросу остается приписывание пратюркскому состоянию неких абсолютных, неизменных во времени свойств; если к моменту распада праязыка (а только этой глубины и может достичь тюркская реконструкция) в нем не было определенных фонологических единиц⁴, то их не должно было существовать ни в какую более раннюю эпоху. Следует отметить, что в данном случае взгляды А. М. Щербака расходятся со взглядами большинства тюркологов. Наличие значительного числа алтайских лексических параллелей, в которых четырем разным анлаутным согласным в монгольском — **d*-, **ʒ*-, **j*- и **n*-, а также тунгусо-маньчжурским **l*- и **ŋ*- соответствует один и тот же тюрк. **j*-, уже давно оценивается как свидетельство нейтрализации соответствующих противопоставлений в пратюркскую эпоху, слияния разных фонем в тюрк. **j*-, см. литературу и примеры в [Рорре 1960: 22–23, 27–28, 31–33, 36–39]. Признание этого факта не зависит от отношения к теории алтайского родства: считая монгольские формы с **d*-, **ʒ*-, **j*-, **n*- тюркскими заимствованиями, Дж. Клосон тем не менее опирался на них для установления «первоисточников» тюрк. **j*- [Clauson 1972: 869–988, 1957]. Однако автор, также придерживающийся версии заимствований, ограничивается воспроизведением тюрк. **ʒ*-, не предлагая какого-либо серьезного фонетического объяснения разнoboю его отражений при предполагаемом заимствовании, ср. [Щербак 1966: 32–33].

4. Существуют, как уже отмечалось выше, разные мнения относительно того, противопоставлялись ли в пратюркском глухие и звонкие анлаутные смычные. Применительно к дентальным суть позиции В. М. Иллич-Свитыча [1963] такова: между языками, различающими *d*- и *t*- (огузские, тувинский, тофаларский), име-

⁴ В действительности есть достаточно оснований реконструировать тюрк. **m*- и — в очень немногочисленных словах — **n*- (ср. **maŋ*- 'слабеть', **matur* 'герой', **mort* 'хрупкий, рыхлый', **nā* 'что' и др.).

Такую неожиданную реинтерпретацию А. М. Щербак, следуя своей теории изначальной глухости тюркского анлаута, предлагает для **j*- [Щербак 1970: 79–80, 159–160]. См. критику Б. А. Серебренникова [Серебренников, Гаджиева 1979; Серебренников 1974а].

ются эн
констру
- и **d*
Г. Дёрф
дующее
ский, тс
звукон.
ства дел
След
- и -
щая табл
книге В.

Как м
решител
подтверж
интерпре
тюркских
Разум
не устан
вавшие п
лектах.

5. Соо
В. М. Ил
телей, воз
**ʒ* и **l*
А. М. Ще
восходят
в положе
гласного
также [Щ
го, что в т

⁶ Счита
замена *t*- на
и *t*- квалиф
для компар
правильных
конструкци
суется с да
принять ее
также [Стар

ются значительные расхождения в употреблении этих звуков; предлагается реконструировать **t-* в тех случаях, когда хотя бы в части этих языков представлен *t-*, и **d-* в тех случаях, когда везде последовательно представлен *d-*⁶. Этому Г. Дёрфер [Doerfer 1973b] и А. М. Щербак (с. 36–37) противопоставляют следующее утверждение: между языками, различающимися *d-* и *t-* (огузские, тувинский, тофаларский), имеются значительные расхождения в употреблении этих звуков. Это утверждение вполне справедливо (ср. выше), но, к сожалению, существа дела оно не затрагивает.

Следует отметить, что фактически количество расхождений в употреблении *d-* и *t-* значительно уступает количеству совпадений. Это иллюстрирует следующая таблица, для составления которой использован сопоставительный словарь в книге В. И. Рассадина [1971: 168–179, 232–236]:

Тип соответствия	Количество примеров в парах языков			
	тоф.—тув.	тоф.—азерб.	тоф.—тур.	тоф.—туркм.
<i>d — d</i>	98	34	32	46
<i>d — t</i>	18	7	13	9
<i>t — d</i>	11	4	2	5
<i>t — t</i>	18	6	8	10

Как можно видеть, во всех случаях «одноименные» соответствия (*d — d*, *t — t*) решительно преобладают над «разноименными», что может служить косвенным подтверждением реконструкции В. М. Иллич-Свитыча (хотя допускает и иные интерпретации) и, во всяком случае, облегчает процедуру установления пратюркских архетипов.

Разумеется, рассматриваемую дилемму нельзя считать вполне решенной, пока не установлены (или установлены лишь частично) закономерности, регулировавшие процесс постепенной замены *t-* на *d-* в каждом из пяти языков и в их диалектах.

5. Соответствия тюрк. *z* : булг., монг., тунг. *r* и тюрк. *š* : булг., монг., тунг. *l* В. М. Иллич-Свитыч, следуя известному решению Г. Рамстедта и его последователей, возводил к тюрк.-булг. (а также алт., ностр.) **r* и **l*, в отдельных случаях к **r* и **l* со вторичной палатализацией [Иллич-Свитыч 1971: 170, 172, 239]. А. М. Щербак выдвинул гипотезу, согласно которой «*z*, *r* и *s* в тюркских языках восходят к одному из аллофонов пратюркского */*s/* — слабому *s*, выступавшему в положении после долгого гласного в односложных словах и после любого гласного в словах из двух и большего количества слогов» ([Щербак 1966: 31]; см. также [Щербак 1970: 56, 85–88, 161–162]). Эта гипотеза неприемлема в силу того, что в тюркских однословах представлены не только типы *-šs* и *-šz*, к которым

⁶ Считая, что общей тенденцией развития рассматриваемых языков была постепенная замена *t-* на *d-* (но не наоборот), В. М. Иллич-Свитыч во всех случаях колебаний между *d-* и *t-* квалифицирует *t-* формы как реликтовые. Иначе говоря, здесь применена стандартная для компаративистики процедура реконструкции по реликтовым формам — ср. роль «неправильных» словоизменительных форм при реконструкции парадигм. Предложенная реконструкция (в которой впоследствии **t-* был заменен на **t'*-, а **d-* на **t-*) хорошо согласуется с данными внешнего (алтайского и ностратического) сравнения, что позволяет принять ее за принципиальную основу дальнейших разысканий в этом направлении <см. также [Старостин 1991: 15–16; Дыбо 1996: 36–38]>.

апеллирует ее автор, но также $-V_s$ и $-V_z$, ср. *jās* 'ущерб', *kōz* 'глаз'⁷ [Doerfer 1971: 337; Porre 1973: 99; Tekin 1969: 55–56]. Сейчас А. М. Щербак пользуется более осторожной и расплывчатой формулировкой: «...ротацизм и ламбдаизм в чувашском языке — результат относительно позднего развития слабых (звонких) аллофонов пратюркских фонем $*s(z)$ и $*š(ž)$ в своеобразных фонетических условиях, которые предстоит еще уточнить (! — Е. Х.). Однако независимо от этого (? — Е. Х.) уже сейчас мы вправе заявить, что тезис о существовании первичных алтайских (пратюркских) $*r$ и $*l$ несостоятелен» (с. 38).

Ограниченный объем статьи не дает нам возможности остановиться на многочисленных свидетельствах того, что первичны именно плавные (не обязательно, впрочем, палатализованные: можно думать также о ретрофлексных или имеющих иную дополнительную артикуляцию $*r_2$, $*l_2$, ср. [Porre 1960: 77, 80]) по отношению к сибилантам. Упомянем, в частности, что анализ случаев с чередованием $z : r$ в небулгарских тюркских языках, которые отмечались уже давно, в том числе и А. М. Щербаком [Щербак 1970: 87–88], а в последнее время были собраны Т. Текином [Tekin 1969, 1975, 1979] и Р. Г. Ахметьяновым [1978: 61 и сл.], позволяет установить, что это чередование носит закономерный характер. Наиболее типичными и архаичными являются те случаи, когда z представлен в ауслаутной или интервокальной позиции, а чередующийся с ним r (иногда r/z или r/s в качестве вариантов) — в составе консонантных сочетаний, ср. *boyuz* 'горло': *boyurdaq* 'гортань', *boyrul* 'животное' с белой шеей'; *javiz* 'плохой': *javri-* 'ослабевать'; *qiz* 'девушка, дочь; невольница, наложница': *qirqin* 'невольница, наложница' и т. д., и даже *tāniz* 'море': *tānri* 'небо, бог'⁸. Нетрудно увидеть, что сформулированное нами правило находит наиболее правдоподобное типологическое объяснение именно при предположении о том, что общий источник z и r отличался от 'чистого' $*r$ некоторой дополнительной артикуляцией, которая обусловила его развитие в z в сильных позициях и нейтрализацию с r в слабых (в составе консонантных сочетаний). Допускать развитие $*boyur_2$, $*boyur_2daq$, $*boyurzul > boyuz$, *boyurdaq*, *boyrul* гораздо естественнее, чем выводить *boyurdaq*, *boyrul* из $*boyuzdaq$, $*boyzul$ или тем более (следуя А. М. Щербаку) из $*boyusdaq$, $*boysul$ ⁹.

Внутритюркские свидетельства первичности $*r_2$, $*l_2$ по отношению к сибилантам целиком согласуются с данными алтайского сравнения (плавные в булгарских, монгольских, тунгусо-маньчжурских языках, т. е. в «двух с половиной» из трех ветвей алтайских языков) и сравнения на ностратическом уровне. В основных публикациях В. М. Иллич-Свитыча по ностратике [1971, 1976, 1984, 1967, 1968], а также в его картотечном наследии (обработка и подготовка которого к печати проведена В. А. Дыбо) представлено около 30 таких ностратических этимологий, в которых тюркские рефлексy содержат z или s , а рефлексy в

⁷ В списке общетюркских односложных слов А. М. Щербак [1970: 193–198] в подобных случаях отходит от обычных критериев для реконструкции кратких и длинных главных (ср. [Щербак 1970: 50 и сл.]) и приводит реконструированные основы в такой вид, чтобы они согласовывались с его гипотезой.

⁸ Объясняя *tānri* как дериват от *tāniz* (существует масса других этимологий этого теонима), мы опираемся в первую очередь на семантическую параллель в монгольском: *dalai* 'море' и 'великий, вселенский, верховный'.

⁹ <Более подробно см. [Хелимский 1986b].>

остальные
ского пре

Мы не

Свитычен

тельными

статьями

рованных

соответст

и углубле

конструк

и тем бол

тельно це

тавительн

денных ф

вых соотв

смотреннс

между алт

1971: № 1

течь']. С

$*r_2$ докум

[Иллич-Св

дует алт.

также при

116, 172, 1

[Иллич-Св

Возможнос

вывод о ра

ным гласн

ную в алта

ками типа

гласно это

перед узки

тех же слу

гласным и,

можно, в р

однако, что

$*r$ (в осталь

5.1. Наи

«ротацизма

тил ранние

этой связи т

5.1.1. Др

ваш. *vākār*,

¹⁰ Однако

компаративис

ментальных

В. М. Иллич-С

остальных группах и семьях — плавные или результаты вторичного фонетического преобразования плавных.

Мы не собираемся утверждать, что каждая из предложенных В. М. Иллич-Свитычем этимологий и интерпретаций верна. Расхождения между предварительными набросками ностратических сближений (в ранних работах) и готовыми статьями Ностратического словаря показывают, что «предварительно сформулированных соответствий», которые предполагает А. М. Щербак (с. 35), не было: соответствия устанавливались и модифицировались по мере расширения объема и углубления анализа привлекаемого материала. Тот вариант ностратической реконструкции, который сложился к 1966 г., вряд ли оценивался самим ее автором и тем более не может рассматриваться сейчас как окончательный¹⁰. Исключительно ценно то, что ресурсы для его «ревизии» содержит сам собранный сопоставительный материал: он пригоден не только для иллюстрирования уже найденных фонетических соответствий, но и для обнаружения принципиально новых соответствий. В частности, мы хотели бы обратить внимание на «не предусмотренное» (ср. [Иллич-Свитыч 1971: III–IV, 150]) регулярное соответствие между алт. **r*₂ (тюрк. *z*) и драв. **ɹ*, ср. следующие этимологии: [Иллич-Свитыч 1971: № 173, 1976: №№ 318, 339, 1984: № 378, 1968: №№ 1.19, 2.8, 1967, s. v. *течь*¹]. С другой стороны, постулировавшееся соответствие между драв. **ɹ* и алт. **r*₂ документируется только одной, причем очень спорной, этимологией — [Иллич-Свитыч 1971: № 112], тогда как в нескольких случаях драв. **ɹ* соответствует алт. **r* (тюрк. *r*) [Иллич-Свитыч 1971: №№ 22, 26, ? 213, ? 244]. Имеются также примеры на драв. **ɹ* при алт. **r* [Иллич-Свитыч 1971: №№ 8, 21, 107, 108, 116, 172, 197, 213, 244, 1976: №№ 309, 310, 1968: № 1.5] и драв. **r* при алт. **r* [Иллич-Свитыч 1971: №№ 47, 145, 213, 214, 216, 231, 236, 1968: №№ 7.10, 8.2]. Возможное реконструктивное решение, которое мы предлагаем, опирается как на вывод о развитии драв. **ɹ* из **r* в положении перед первоначальным переднерядным гласным второго слога [Иллич-Свитыч 1971: III–IV, 150], так и на известную в алтаистике идею о развитии тюрк.-булг. **r*₂ из **r* в положении перед звуками типа *i* [Porre 1960: 80] и из сочетания **rj* [Doerfer 1975–1976: 33–37]. Согласно этому решению, ностр. **r*- (в инлауте) дает тюрк.-булг. **r*₂ (в положении перед узким переднерядным гласным и *j*), **r* (в остальных позициях), драв. **ɹ* (в тех же случаях, что и тюрк.-булг. **r*₂, а также перед широким переднерядным гласным и, возможно, в еще каких-то позициях), **ɹ* (в неясных условиях, возможно, в результате упрощения сочетаний ностр. **r* с согласным; не исключено, однако, что драв. **ɹ* репрезентирует особую фонему ностратического праязыка), **r* (в остальных случаях).

5.1. Наиболее весомым аргументом А. М. Щербака в его трактовке дилеммы «ротацизма/зетацизма» должно показаться утверждение о том, что «ротацизм охватил ранние заимствования из индоевропейских языков» (с. 38). Приведенные в этой связи три примера заслуживают поэтому специального рассмотрения.

5.1.1. Др.-тюрк. *öküz* 'бык, вол' (ср. также уйг. *höküz*, узб. *hokiz*, якут. *oyus*; чуваш. *vākār*, венг. *ökör* из др.-булг.; монг. **hüker* > ср.-монг. *hüker*, п.-монг. *üker*,

¹⁰ Однако, на наш взгляд, показательно, что за истекшие годы ни в одном из разделов компаративистики (кроме, может быть, афразийского языкознания) не получено фундаментальных результатов, которые требовали бы радикального пересмотра выводов В. М. Иллич-Свитыча.

монгол. *fuGuor*; эвенк. *hukur* 'корова', эвен. *haken*) возводится к тохар. В *okso* 'бык', скр. *ukšā*, авест. *uxšan-* и другим рефлексам и.-е. **uk^hsō*, **uk^hsen*. В связи с этой давно известной этимологией (см. литературу в [Севортян 1974: 521–523]) в первую очередь возникает проблема происхождения *h-*, представленного не только в отдельных тюркских языках, где — по мнению А. М. Щербака — этот согласный носит протетический характер [Щербак 1970: 81]¹¹, но также в монгольском и тунгусо-маньчжурском. Обычно *h-* признается рефлексом алт. **p-*; разумеется, для сторонников рассматриваемой этимологии такое решение неприемлемо. В попытке преодолеть эту трудность А. Рона-Таш выводит тюрк. **höküzl/*hoquz* из пратохар. В **hokso*, т. е. из гипотетической формы, еще сохранившейся и.-е. ларингальный [Róna-Tas 1974: 500, 502]¹². Однако нет, по-видимому, никаких собственно тохарских данных, которые указывали бы на столь позднее (уже после переселения в Центральную Азию!) сохранение ларингальных. Более того: многочисленные попытки обнаружить фонетические (а не только морфонологические) следы ларингалов за пределами анатолийской ветви и.-е. языков не убеждают в том, что к моменту распада общего праязыка всех остальных ветвей ларингалы еще сохранялись.

Другое, не менее серьезное фонетическое препятствие — предполагаемая субституция *-ks-* → *-küzl/-quz*. С одной стороны, все архаические и.-е. данные указывают на то, что *ks* сохранялось в названии быка именно в виде срединного кластера, без вставки гласного¹³. С другой стороны, тюркский праязык имел много слов со срединными *ks*, *qs*, ср. др.-тюрк. *aqsun* 'свирепый, буйный', *aqsa-* 'хромать', *eksi-öksü-* 'убывать, уменьшаться', *jüksä-* 'возвышаться' и т. д. В этой ситуации можно было бы ожидать заимствование и.-е. слова только в виде тюрк. **öksül/*oqsu* или **öksäl/*oqsa*, но не в форме **höküzl/*hoquz*.

Таким образом, признание первичности плавного (булг., монг. тунг. *-r*) по отношению к сибиланту служит лишь дополнительным и завершающим, но отнюдь не единственным основанием для отклонения данной этимологии. Более удачным представляется сравнение алтайских слов с и.-е. **реки* 'скот' [Севортян 1974: 523; Иллич-Свитыч 1984: № 375].

5.1.2. Др.-тюрк. *jez* 'желтая медь, латунь' вкупе с гипотетическим болгарским соответствием **šer* А. М. Щербак считает заимствованием из тохар. А *wās*, В *yasa* 'золото'. Эта этимология в цитируемых им работах П. Аалто [Aalto 1959] и К. Г. Менгеса [Menges 1965] представляет собой одно из звеньев в нагромождении различных названий металлов в разных языках Евразии, обладающих более

¹¹ По крайней мере к материалу халаджского языка такое объяснение неприменимо, см. [Doerfer 1971: 326–327, 333–336].

¹² Аналогичные следы ларингала А. Рона-Таш видит в тюрк. **hōt* 'огонь' при и.-е. **(h)āt* (но в тохарском представлено совершенно другое и.-е. название огня — тохар. А *por*, В *puwar* [Van Windekens 1976: 382–383]; и.-е. и тюрк. слова сходны, так как восходят к ностр. **qoŋi* [Иллич-Свитыч 1976: № 343]) и в монг. **halaq* 'ладонь' при тохар. А *āle*, В **alyiye* (но в данном случае скорее уместно в самом тохарском слове, не имеющем хорошей и.-е. этимологии, ср. [Van Windekens 1976: 161], видеть заимствование из монг. **haliya* 'ладонь', о котором см. [Иллич-Свитыч 1984: 94]). В пяти других предполагаемых тохаризмах тюркских языков представлен чисто вокалический анлаут.

¹³ Дж. Клосон предполагает, что в тохарском А могло существовать незасвидетельствованное *okās* 'бык' [Clauson 1972: 120]. Такая форма — мыслимая, но очень поздняя — создает неразрешимые трудности с хронологизацией предполагаемого заимствования.

или м.
званий
'медь'
во'; ос
'желез
jes 'ме
маньч
работк
языков
харско
венно
языках
ское по

Но
булг., м.
тельств
на мест
языках.
рается,
5.1.2

из не со
Х. Паас
выгляди
1909: 12
ниями,
менее э
1968: 13

Г тю
тая Б. М
Ср. авес
zarrēn 'з
заимств
нечного
тива и от
как морд
угорских
непосред
ва) sārni
5.1.2.2
ражено в
самому А
Прила
рит о не

¹⁴ Люб
[Juhász 196
между šere

или менее очевидным попарным сходством. Вот только некоторые из этих названий: шумер. GUŠ.KIN 'золото'; др.-арм. *oski*, арм. *voski* 'золото'; фин. *vaski* 'медь'; венг. *vas* 'железо'; венг. *ezüst* 'серебро'; удм. *azveš* 'серебро', *izveš* 'олово'; осет. *æwzestæ* 'серебро'; нивх. *wat* 'железо'; нен. *ješa* 'железо'; сельк. *kēsə* 'железо'; дагур. *kašō* 'железо'; тохар. *wäs*, *yasa* 'золото'; тюрк. *jez* 'медь'; монг. *žes* 'медь'; тибет. *zags* 'медь'; нивх. *ais* 'золото'; гот. *aiz* 'железо'; лат. *aes* 'медь'; маньчж. *aisin* 'медь'; лат. *aurum* 'золото'. Эти сопоставления без детальной разработки каждого из них скорее затемняют, чем освещают картину культурных и языковых взаимодействий. В частности, версия о заимствовании тюрк. *jez* из тохарского выглядит на создаваемом фоне не исключенной, но и далеко не единственно возможной, даже если предполагать, что названия металлов появляются в языках только путем заимствований и образуют замкнутое на себе семантическое поле — что, конечно, не соответствует действительности.

Но и принятие этой версии не может служить доказательством развития **z* в булг., монг. *r*, которое предполагает критик. Дело в том, что реально засвидетельствованные чуваш. *jēs* 'желтая медь, латунь' и п.-монг. *žes* 'медь' имеют -*s* на месте тюрк. -*z*, что характерно для поздних тюркских заимствований в этих языках. Реконструкция гипотетических *r*-овых соответствий у А. М. Щербака опирается, по нашему мнению, на недостоверные или ошибочные интерпретации.

5.1.2.1. Предположение о том, что морд. *M šere* 'медь, латунь' заимствовано из не сохранившегося в чувашском языке др.-чуваш. **šer* (= тюрк. *jez*) высказал Х. Паасонен в 1897 г. [Paasonen 1897: 46–47]. С фонетической точки зрения оно выглядит правдоподобно. Впрочем, в своей мордовской хрестоматии [Paasonen 1909: 124] Паасонен не снабдил это слово никакими этимологическими указаниями, что, вероятно, указывает на пересмотр им прежней точки зрения. Тем не менее этимологию Паасонена повторяют многие современные работы ([Федотов 1968: 133; Róna-Tas 1982: 156] и др.).

Г тюркской этимологией мордовского слова конкурирует иранская, выдвинутая Б. Мункачи и поддержанная в последнее время А. И. Йоки [Joki 1973: 250]. Ср. авест. *zaranya-* 'золото' и особенно более поздние формы: пехл. *zarr* 'золото', *zarrēn* 'золотой', н.-перс. *zār* 'золото', *zārrīn* 'золотой'. Речь может идти или о заимствовании иранской формы с уже утраченным -*n*, или о переосмыслении конечного *n* в **šereñ* (ср. морд. *M šereñ* 'медный, латунный') как показателя генитива и относительного прилагательного -*n*. Иранское название золота отражено и как морд. *Э sirñe*, морд. *M širñe* 'золото'¹⁴ — ср. аналогичное положение в обско-угорских языках, где хант. (Вах) *lorñä*, манс. (Пельмка) *tarəñ* 'медь' заимствованы непосредственно из иранского названия золота, а хант. (Вах) *sārñiz*, манс. (Сосьва) *sārñi* 'золото' — из коми *zarñi*, восходящего к тому же иранскому источнику.

5.1.2.2. Предположение о том, что то же гипотетическое др.-чуваш. **šer* отражено в тат. диал. *žar*: *žäšel žar* 'медный купорос' принадлежит, по-видимому, самому А. М. Щербаку.

Прилагательное *žäšel* 'зеленый' в этом термине из лаишевского говора говорит о неточности перевода в 'Диалектологическом словаре татарского языка'

¹⁴ Любопытно приводимое Е. Юхасом морд. *M šerəñ*, *širəñ* 'медь, латунь, серебро' [Juhász 1961]. Эти формы составляют как бы промежуточную ступень (или контаминат?) между *šereñ* 'медный, латунный' и *širñe* 'золото'.

[ТТДС: 566]: известно, что медный купорос имеет синий цвет, в отличие от железного купороса, который действительно зеленый (ср. англ. *blue vitriol* и *green vitriol*). Неточность подтверждается наличием того же недоразумения в другом татарском словаре, ср. *яшел-зәңгәр* 'медный купорос' [ТатРС: 720], 'железный купорос' [РТС: 290].

Далее, в лаишевском говоре фиксируется слово *jar* 'пленка' (= тат. литер. *яры*) [ТТДС: 166]. Но в этом говоре сосуществуют формы с анлаутными *j-* и *ž-*, ср. *jalpaju/žalpaju* 'скособочиться, накрениться на один бок', *joldoru/žoldoru* 'спустить' и т. д. [ТТДС]. Это дает все основания отождествить *žar* в составе *žäšel žar* с *jar*. «Зеленая пленка» — совершенно естественное название для железного купороса, который встречается в природе в виде примазок и натеков. С другой стороны, особым внешним сходством с медью купорос (будь он медный или железный) не обладает и вряд ли может именоваться 'зеленой медью', как предполагает этимология А. М. Щербака.

5.1.3. В связи с третьим примером «ротаизма в ранних индоевропейских заимствованиях» — др.-тюрк. *böz* 'хлопчатобумажная ткань, холст, бязь', чуваш. *pir* 'холст' при греч. *βύσσος* 'льняная ткань' достаточно сослаться на выводы в том же исследовании А. Рона-Таша, которое цитирует и сам А. М. Щербак [Róna-Tas 1975]. Ни о каком раннем индоевропейском заимствовании нет речи, поскольку источником является одно из ближневосточных обозначений тканей (ср. финик. *bš*, араб. *būš*, араб. *bazz*), к которым восходит и греч. *βύσσος* [Masson 1967: 20–22]. Чувашское слово заимствовано из тюрк. **bez* довольно поздно, и его облик связан с известным в истории чувашского языка развитием $\delta > r$, а не с соответствием тюрк. *z* — булг. *r*, подробнее см. [Róna-Tas 1975].

5.1.4. Очевидно, критик склонен принимать (см. с. 40) и этимологию Х. Педерсена: тур. *eşek* 'осел' < арм. *ēš* [Pedersen 1907: 561], что должно свидетельствовать о первичности тюрк. *s* по отношению к *l*. Однако тюрк. *ešäk, ešgäk, ešjäk* 'осел' невозможно рассматривать в отрыве от п.-монг. *elžigen* 'осел' (к фонетике ср. др.-тюрк. *qoryaşın* 'свинец' при п.-монг. *qoryolžin* и под.)¹⁵. Предположение о появлении *l* на монгольской почве, сделанное А. М. Щербаком в связи с этим соответствием [Щербак 1966: 32], — характерный пример того, какие допущения ad hoc вынужден делать исследователь, если он не признает, что древнетюркский язык, до того как он стал таковым, мог претерпеть какие-то историко-фонетические изменения (в данном случае **lž > š*).

6. Замечания А. М. Щербака дают повод коснуться нескольких разрозненных вопросов, в основном связанных с методологией сравнительно-исторических исследований.

6.1. Критик не принимает (с. 31) и, видимо, не понимает причин ухода В. А. Дыбо от ответа на вопрос, существовал ли алтайский праязык [Дыбо 1978: 400]. Но этот вопрос действительно не является для ностратических исследований кардинальным. Среди сторонников ностратики имеются заметные расхождения в оценке алтайской теории — от мнения о том, что три группы алтайских языков составляют семью примерно той же временной глубины, что и индоевро-

¹⁵ Нельзя исключить, что в конечном счете монг. *elž-*, тюрк. *eš-* и разрозненные, не сводимые к общей праформе и.-е. названия осла (арм. *ēš*, лат. *asinus*, греч. *ὄνος*) опосредованно взаимосвязаны — например, через шумер. *anšu* (ср. [Ermout, Meillet 1951: 51]).

пейска
до при
жуточн
ский п
ностра
восход
33–36].
[Рорре
и монг
хожден
ческих
ция наб
сужден
балто-с
тийски
собой,
заимств
венно ц
Конеч
чем раз
изучени
статье
ских па
ром тру
«верхни
«глубок
фер, А.
верженн
старают
лексики

Теория м
ства как
по себе
беспрещ
6.2. А
изобрази
ратическ
подсчете
исхожде
ствующи
ва в общ

пейская или уральская семья, до признания этих трех групп независимыми (т. е. до приравнивания алтайского праязыка ностратическому). Существует и промежуточная точка зрения (которой придерживается автор данной статьи): алтайский праязык существенно древнее индоевропейского и уральского, но моложе ностратического; к нему или к несколько более раннему языковому состоянию восходят, по-видимому, также корейский и японский языки [Хелимский 1984в: 33–36]; значительная часть алтайских лексических параллелей (например, в [Рорре 1960]) отражает не исконное родство, а вторичные тюркско-монгольские и монгольско-тунгусские языковые контакты. Как бы то ни было, указанные расхождения обычно не служат препятствием к принятию тех или иных ностратических этимологий, фонетических правил и т. п. Напомним, что сходная ситуация наблюдается и в такой области, как индоевропеистика. Имеются различные суждения касательно существования балто-славянского праязыка и характера балто-славянских отношений. Но до сих пор это не мешало признавать как балтийские, так и славянские языки индоевропейскими и даже сравнивать их между собой, не установив заранее и достоверно, «что ими было заимствовано, дважды заимствовано и перезаимствовано» (хотя по мнению В. Банга, которое сочувственно цитирует на с. 31 А. М. Щербак, такое сравнение должно быть абсурдно).

Конечно, насыщенность алтайских языков взаимными заимствованиями, причем разновременными, создает специфические трудности для их исторического изучения. Возможный путь к преодолению этих трудностей показан в последней статье Г. Дёрфера, посвященной «расслоению» монгольско-тунгусских лексических параллелей по лингвогеографическим критериям [Doerfer 1984a]. С ее автором трудно, однако, согласиться, когда бесспорную идентификацию нескольких «верхних» слоев как монгольских заимствований он экстраполирует на самый «глубокий» слой параллелей. Между прочим, критики алтайской теории (Г. Дёрфер, А. М. Щербак и др.) охотно акцентируют внимание на общности легко подверженной заимствованию культурной лексики алтайских языков, но обычно стараются уйти от объяснения поразительных сходств в сфере местоименной лексики, ср.:

Тюрк.-булг.	П.-монг.	Тунг.	
* <i>bi</i> (чуваш. <i>e-pē</i>)	<i>bi</i>	* <i>bi</i>	'я'
* <i>māniŋ</i>	<i>minu</i>	* <i>mini</i>	'меня, мой'
* <i>si</i> (чуваш. <i>e-sē</i>)	<i>či</i>	* <i>si</i>	'ты'
* <i>sāniŋ</i>	<i>činu</i>	* <i>sini</i>	'тебя, твой'

Теория межалтайских заимствований вынуждена, очевидно, трактовать эти сходства как результат заимствования не просто отдельных местоимений (что само по себе большая редкость), но целых местоименных парадигм — случай явно беспрецедентный в практике языковых контактов.

6.2. А. М. Щербак использует подсчеты С. В. Воронина, согласно которым изобразительные слова составляют свыше трети всей реконструированной ностратической лексики. При этом если для самого С. В. Воронина [1980: 25] эти подсчеты служат основанием утверждать, что «язык имеет изобразительное происхождение», то А. М. Щербак ссылается на них, чтобы дезавуировать соответствующие этимологии: «они не могут быть свидетельством генетического родства в общепринятом понимании его» (с. 33).

Поскольку пояснений о методе ведения подсчетов критиком не делается (непосредственно в [Иллич-Свитыч 1971, 1976] пометой о дескриптивности снабжено только 28 слов из 353), будет не лишним осветить этот вопрос. Судя по [Воронин 1980], С. В. Воронин исходит из небезыntenесных, хотя в основном известных и до него, закономерностей фонетического символизма, например, гласящих, что частота появления лабиальных в обозначениях округлого значительно превышает вероятное ожидание. Непосредственно от этого он переходит к утверждениям иного типа: слова, которые обозначают округлое и содержат лабиальный, — звукоизобразительной природы. Поскольку в распоряжении С. В. Воронина имеется довольно много подобных фонетических примет для разных групп лексики, применение описанного метода (дополняемого, по-видимому, интуитивными оценками) позволяет ему обнаружить в Ностратическом словаре огромное число якобы «дескриптивных» праформ — таких, например, как... **ʔiä* 'есть', **ʔaju* 'жить', **gUra* 'горячие угли' [Воронин 1977]. Легко понять, что подобный метод позволит объявить на треть и более «дескриптивным» любой другой перечень слов (реконструированных или взятых из живого языка) примерно того же семантического состава, что и Ностратический словарь.

6.3. Недостаток методики В. М. Иллич-Свитыча усматривается и в том, что «нередко квалифицируются как алтайские и вводятся в ностратические параллели слова, отсутствующие в тюркских языках» (с. 34). В этой связи уместно вновь сослаться на практику компаративистики: для констатации индоевропейского происхождения, например, германского слова совершенно не обязательно его присутствие одновременно в готском, западно- и северногерманских языках (хотя, конечно, присутствие во всех трех ветвях повышает надежность этимологии). Если учесть чрезвычайно большой временной разрыв между алтайским праязыком (ср. 6.1) и тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским праязыками, каждый из которых по меркам компаративистики довольно молод (длительность дивергенции в пределах 1–2 тыс. лет), то вполне закономерно, что преобладающая часть общеалтайского лексического фонда сохранилась только в одной или двух ветвях алтайских языков или же не сохранилась ни в одной из них, а потому не может быть реконструирована.

Критерии, которыми пользуется сам А. М. Щербак при отнесении тех или иных слов к праязыковому пласту, остаются нам не вполне понятными. Так, на с. 34 он высказывает сомнение в общетюркском характере тур. *kendi* 'сам'. Но, как несомненно известно критику, слово *kentü* 'сам, свой' фиксируется памятниками древнетюркской письменности начиная с VIII в. [ДТС: 298]; оно представлено в языках огузской и кыпчакской (куман. *kensi*) ветвей; какие требуются дополнительные свидетельства пратюркской древности слова? Наличие в тюркских языках других слов с тем же значением, перечень которых приводит А. М. Щербак, не меняет дела: *öz* сосуществовало с *kentü*, *kendü* с древнейших времен (ср. др.-тюрк. *kendü* *öz*, *öz* *kendü* парн. 'сам, свой'), остальные представляют собой региональные инновации. Нам кажется неосновательной и критика сравнения с п.-монг. *gendü* 'самец', давно утвердившегося в этимологической литературе [Ramstedt 1935: 133; Porre 1980: 25] и использованного В. М. Иллич-Свитычем [1971: № 79].

6.4. Неверное представление о содержании современной ностратической теории может создать у неосведомленного читателя преамбула статьи А. М. Щер-

бака, где одним из основоположников ностратики ошибочно назван А. Тромбетти, направлявший свои усилия на доказательство моногенеза языков¹⁶, и высказывается мнение, что ностратика может превратиться в гипотезу о единой глобальной языковой семье. В действительности подобная перспектива перед ностратикой закрыта, хотя бы потому, что стала известна еще одна макросемья, включающая северно-кавказские, енисейские и синотибетские языки, и сделаны первые шаги в направлении реконструкции праязыка этой макросемьи, который сопоставим с ностратическим праязыком по временной глубине, но явно ему не тождествен, см. работы С. А. Старостина [1982, 1984]. К проблеме границ ностратической макросемьи см. также [Хелимский 1984в].

Неточность, допущенная А. М. Щербаким в связи с А. Тромбетти, — лишь первая среди ряда фактических неточностей, неправильных цитаций материала в его статье (ср. с. 32, 34 и др.). Мы не считаем необходимым специально останавливаться здесь на этих частностях, равно как и на оценочных суждениях А. М. Щербака о В. М. Иллич-Свитыче и его научной деятельности. Все это имеет отношение только к самой статье А. М. Щербака, но не к существу затрагиваемых проблем.

7. В своем критическом выступлении А. М. Щербак несколько раз повторяет тезис о том, что «В. М. Иллич-Свитыч создал не сравнительную грамматику ностратических языков, а очень своеобразный ностратический вариант индоевропейской сравнительной грамматики» (с. 33), что «под ностратическим уровнем подразумевается древнейшее состояние индоевропейского праязыка (до начала действия аблаута, с вокализмом уральского и консонантизмом картвельского типа)» (с. 31). Нельзя, конечно, отрицать, что теория В. М. Иллич-Свитыча признает ностратический праязык древнейшим состоянием индоевропейского праязыка. Так же верно и то, что она признает его древнейшим состоянием уральского праязыка (до упрощения системы шумных согласных), тюркского праязыка (до утраты части анлаутных сонантов, падения ауслаутных гласных и некоторых других инноваций) и т. д. и т. п. Все это вполне тривиально. Но вряд ли будет ошибкой считать, что в процитированных комментариях ставится другая цель — подчеркнуть, что подход В. М. Иллич-Свитыча к ностратической реконструкции является прямым продолжением традиций индоевропеистики (можно даже сказать точнее: индоевропеистики младограмматиков) и не соответствует тем принципам, на которых пытается строить реконструкции сам А. М. Щербак.

Мы полагаем, что сказанное выше дает сторонникам ностратики основания без сожаления принять этот упрек.

¹⁶ См. оценку работ А. Тромбетти в [Иллич-Свитыч 1971: 39–40].

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ R~Z И ДИЛЕММА «РОТАЦИЗМА-ЗЕТАЦИЗМА»*

Цель данной статьи — обосновать не формулировавшееся ранее правило нейтрализации противопоставления $z : r$ в пользу r в составе большинства консонантных сочетаний в древнетюркском языке, а также использовать это правило для типологической верификации различных версий, трактующих соотношение между тюркским «зетацизмом» и болгарским, монгольским и тунгусо-маньчжурским «ротацизмом».

Нет, вероятно, необходимости углубляться в историю широко известной и многократно дискутировавшейся дилеммы «ротацизма-зетацизма». В самое последнее время к ней вновь было привлечено внимание (причем не одних только тюркологов) в связи с критикой, которой А. М. Щербак подверг ностратическую теорию В. М. Иллич-Свитыча «с позиций тюрколога» [Щербак 1984]¹. В основном повторяя критическую аргументацию, выдвигавшуюся им ранее в связи с теорией алтайского языкового родства (ср. [Щербак 1966]), А. М. Щербак, в частности, отвергает принятую В. М. Иллич-Свитычем (вслед за Г. Рамstedтом [Ramstedt 1922–1923] и рядом других исследователей) реконструкцию алтайских (пратюркских) $*\acute{r}$ и $*l$: «Ротацизм и ламбдаизм в чувашском языке — результат относительно позднего развития слабых (звонких) аллофонов пратюркских фонем $*s$ (z) и $*\acute{s}$ ($\acute{z}$) в своеобразных фонетических условиях, которые предстоит еще уточнить. Однако независимо от этого уже сейчас мы вправе заявить, что тезис о существовании первичных алтайских (пратюркских) $*\acute{r}$ и $*l$ несостоятелен» [Щербак 1984: 38]. Очевидно, ссылку на «своеобразные фонетические условия, которые предстоит еще уточнить» следует расценивать как отказ от гораздо более решительной формулировки, предлагавшейся тем же автором ранее: « s , r и z в тюркских языках восходят к одному из аллофонов пратюркского $/*s/$ — слабому s , выступавшему в положении после долгого гласного в односложных словах и после любого гласного в словах из двух и большего количества слогов» ([Щербак 1966: 31]; см. также [Щербак 1970: 56, 85–88, 161–162]). Поскольку последняя формулировка вынуждает, в частности, игнорировать такие бесспорные тюркские праформы, как $j\acute{a}s$ 'ущерб' с долготой перед s или $k\acute{o}z$ 'глаз' с краткостью перед z (ср. [Doerfer 1971: 337; Poppe 1973: 99; Tekin 1969: 55–56]), в отказе от нее с А. М. Щербаком следует всецело согласиться. Однако без точного ука-

* Впервые опубликовано в: СТ. 1986. № 2. С. 40–50.

¹ <См. анализ позиций А. М. Щербака в [Хелимский 19866].>

зания фо
(чуваш. /
правдопо
сящихся
ному и сс

Даннс
только п
1979] и Р
не резул
гарских s
1970: 87-
скую при
r~z не с
щипы это
лее общи
ной и ин
нантного
сочетани

(1) АТ
башк. *bo*
boğurtlak
пример Т
ции в тк
рассматр
гlossари:
меняющи
Ибн Мух
быть при

prā и *z*
лектах в
этимологи
шить, сди
son 1972:
у М. Рся

2) АТ
каты, выи
АТ *izdä-*
характер
преследо
ного согл
тян 1974:

3) АТ
АТ *javri-*
порочить

² Этим
по данным

зания фонетической позиции вся гипотеза об аллофоническом соотношении s и r (чуваш. r), $\tilde{s}$ и $\tilde{z}$ (чуваш. l) повисает в воздухе. К вопросу о ее типологическом правдоподобии и объяснительной силе мы вернемся после анализа фактов, относящихся к древнетюркскому чередованию $r \sim z$ (в значительной мере сохраненному и современными тюркскими языками).

Данное чередование отмечалось уже давно (ср. [Emre 1949: 93–96]), однако только представительный материал, собранный Т. Текином [Tekin 1969, 1975, 1979] и Р. Г. Ахметьяновым [1978: 61 и сл.], позволяет убедиться, что перед нами не результат дублетного словообразования и не спорадическое вкрапление болгарских языковых особенностей в древнетюркском и его потомках (ср. [Щербак 1970: 87–88]), а явление, которое имеет регулярный характер и чисто фонетическую природу. Поскольку в имеющихся публикациях случаи с чередованием $r \sim z$ не систематизированы вообще или сгруппированы так, что ведущие принципы этого чередования остаются затемненными, мы начнем с выделения наиболее обширной и однородной группы случаев, в которых z представлен в ауслаутной и интервокальной позициях, реже — в качестве варианта — в составе консонантного сочетания, а r — в тех же основах только в составе консонантного сочетания.

(1) АТ $boyuz$, $boyaz$ 'горло, глотка' ~ АТ $boyurdaq$, $boqurdaq$ 'горло, гортань', башк. $boyardaq$ 'дыхательное горло, трахея', ног. $boyirdaq$ 'горло', тур. диал. $boğurtlak$ 'гортань'; АТ $boyrul$ '(животное) с белой шеей' [Tekin 1969: 59]. Этот пример Т. Текина хорошо демонстрирует слабости той этимологической традиции в тюркологии, которая не признавала чередования $z \sim r$. Так, Дж. Клосон рассматривает формы $boyurdaq$, $boqurdaq$ 'горло, гортань' в тюркско-арабских глоссариях XIV–XV веков как 'вторичные или, скорее, ошибочные', заменяющие якобы правильную форму $boyazdaq$ (засвидетельствована только у Ибн Муханны) [Clauson 1972: 319]. Его предположение об ошибке еще может быть приемлемо, если имеются в виду глоссарии (с учетом сходства арабских rā и zay), но, конечно, не объясняет наличия r в современных тюркских диалектах в этом слове. $Boyrul$ у Дж. Клосона вообще оторвано от $boyuz$ — для его этимологизации вводится незасвидетельствованный каузатив $*boyur-$ к $boy-$ 'душить, сдавливать', что, естественно, вызывает семантические сложности [Clauson 1972: 318]. Неясным остается соотношение между $boyuz$ и $boyurdaq$, $boğurtlak$ у М. Рясенена [VEWT: 78] и Э. В. Севортына [1978: 184].

2) АТ iz 'след' ~ АТ $irtä-$ 'искать', $irdä-$ 'искать, стремиться', якут. $irdä-$ 'искать, выискивать, выслеживать (зверя по следу), расследовать' и, наряду с этим, АТ $izdä-$ 'идти по следу, следовать', $istä-$ 'искать, желать' (Махмуд Кашгарский характеризует $irtä-$ и $istä-$ как синонимы), чаг. $iste-$ 'стараться; идти, следовать, преследовать' (чередование z/s определяется звонкостью/глухостью суффиксального согласного) [Tekin 1969: 60; Clauson 1972: 208, 243; VEWT: 173, 175; Севортян 1974: 383–385, 646].

3) АТ $javiz$, $jabiz$, $javuz$, $jafuz$ 'плохой, слабый, ничтожный, скверный, злой' ~ АТ $javri-$, $javru-$ 'ослабевать, обессиливать', $javrit-$, $jabrit-$ 'ослаблять, истощать; порочить, хулить' [Tekin 1969: 65]. Из всех дериватов от основы $*jav-$ (см. [Clau-

² Этим сокращением обозначаются архаические диалекты (древне- и среднетюркские) по данным [ДТС] и [Clauson 1972].

son 1972: 879; VEWT: 176]) указанные глаголы могут быть соотнесены семантически и словообразовательно только с *javiž*.

(4) АТ *kāz* 'зарубка на стреле, через которую проходит тетива', тур. диал. *gez* 'насечка, зарубка, надрез'; сюда же, несомненно, относится куман. *-kez* '(столько-то) раз' (у М. Ряснен дано отдельной статьей [VEWT: 260]; к семантике ср. рус. *раз*, первоначально 'удар, надрез'); каз. кирг. *kezen* 'целиться' ~ АТ *kārt* 'надрезать, делать метку' [Tekin 1979: 126; Севортян: 11–12]. Объяснение *kārt* как деривата затрудняет и, скорее всего, исключает реконструкцию ностр. **kertl* 'резать', предлагавшуюся В. М. Иллич-Свитычем в предварительном порядке [Иллич-Свитыч 1967: 361], но впоследствии не включенную в «Опыт сравнения ностратических языков» [Иллич-Свитыч 1971].

(5) АТ *köküz, kögüz* 'грудь' — чаг. *kökre* то же, тат. башк. *kükräk*, таранчи *kökürdaš* 'молочный брат' (к словообразовательной модели ср. АТ *qarindaš* 'брат (единоутробный)' от *qarın* 'живот') [Щербак 1970: 87; Tekin 1969: 60; Clauson 1972: 712; VEWT: 287, 288; Севортян 1980: 54–55]. Допустимо считать, что с этим же словом связано и АТ *kökürčän, kökürčün, kögürčän* 'голубь', если сближение с *kōk* 'голубой', отразившееся на фонетическом облике этого орнитона в современных языках [Севортян 1980 55–59], носит вторичный (народно-этимологический) характер.

(6) АТ *qiz* 'девушка; дочь; невольница, наложница' ~ АТ *qirqin* 'невольница, наложница', *qiz qirqin* парн. 'невольницы, наложницы', кирг. *kiz kirkin* 'девушки, девочки, дочери', АТ *qirnaq* 'невольница, молодая рабыня', туркм. *girnaq* 'рабыня', см. [Tekin 1969: 62; Clauson 1972: 654, 661, 679–680; VEWT: 267, 269]. Предложенное Т. Текином объяснение *qirqin* и *qirnaq* как нормальных дериватов от *qiz* (ср. АТ *qadın qadınayın* парн. 'тесть и свекор, сваты; зятя, шурины, деверья' от *qadın* 'тесть; зять, шурин, деверь'; тур. *bacanak, bacınak* 'свояк' при туркм. *bāza* то же) устраняет существовавшие этимологические неясности. Так, Дж. Клосон колебался между соотнесением *qirnaq* с *qiz* и его трактовкой как искаженного араб. *gurnāq* 'юноша или девушка приятной наружности' [Clauson 1972: 661] — естественно, эти колебания однозначно решаются в пользу тюркской этимологии слова. В трактовке Г. В. Юсупова тат. *qiz qirqin* являло собой «самый выразительный пример пережитка бытования ротацизма в татарском языке, наследования его болгарскому языку» [Юсупов 1960: 78].

(7) АТ *qiz* 'краснеть, пламенеть, багроветь; разъяриться', *qizil* 'красный' ~ АТ *qirru* наряду с *qizru* 'розовый, румяный' (обе формы встречаются в одном и том же памятнике Qutadı bilig), *qirraq* 'гнев, немилость правителя, опала' наряду с *qizra* 'ругать, бранить, клясть', хак. *xirt* 'ненависть, злое чувство' [Севортян 1980: 62]. Дж. Клосон при анализе данной группы слов вынужден прибегнуть к конъектурам — *qirra* вместо *qizra* (оговорена, см. [Clauson 1972: 655]) и, видимо, *qizru* вместо *qirru* (не оговорена, см. [Clauson 1972: 681] — ср. [ДТС: 446]).

(8) АТ *sämiz* 'жирный, тучный, упитанный' ~ АТ *sämri* 'жиреть, полнеть' [Щербак 1970: 87; Tekin 1969: 63]. Ср. затруднения при этимологическом и словообразовательном анализе этой пары слов в [Clauson 1972: 830; VEWT: 409].

(9) АТ *süz* 'очищать, процеживать', *süzük* 'чистый, прозрачный' ~ АТ *sürmä* 'вино' и, наряду с этим, АТ *süzmä* 'вид творага', чаг. *süzme* 'прозрачное чистое вино'. Дж. Клосон [Clauson 1972: 864] и М. Ряснен [VEWT: 438–439] форму *sürmä* вообще не рассматривают.

'бы
[Te

~ /
Тег
тур

[Te
tov
вме
ект

нит
нол
сни
циг
реп

утк
boz
моэ

АТ
Явн

(и-)

ния

мая

изо

täv

ägi

(в к

е. *

чит

чае

ост

*er

сюд

VE

жае

ант

erki

шес

эти

Сев

(10) АТ *tüz-* 'бежать, убежать', *tüzig* 'быстрый, расторопный' ~ АТ *tärk* 'быстро, скоро', *tärkin* то же, *tärklä-* 'торопить, ускорять', куман. *terče* 'быстро' [Tekin 1969: 64].

(11) АТ *tiz-* 'ставить в ряд, нанизывать', *tizig* 'ожерелье', *tizim* 'ряд, вереница' ~ АТ *tirkis*: *arqış tirkis* парн. 'караван' (в орхоно-енисейской надписи Кюль-Тегина, где возможно также чтение *terkiš*, условно принятое в [ДТС: 555]), туркм. *tirkis* 'вереница, цепь, ряд' [ДТС: 277; Clauson 1972: 545].

(12) АТ *tuwuz* 'крупный' ~ АТ *tuwra-* 'увеличиваться в размерах, разрастаться' [Tekin 1969: 65]. Дж. Клосон для объяснения этой пары слов предлагает чтение *toṽur* вместо *toṽuz* (= *tuwuz*) [Clauson 1972: 444]. М. Ряснен, напротив, цитирует вместо *tuwra-* форму *tuwza-*, вероятно, конъектурную [VEWT: 502]. Обе эти конъектуры являются равно излишними.

Эту серию примеров с максимальной степенью достоверности можно пополнить многими десятками случаев, в которых налицо то же соотношение морфологических альтернантов основы с *z* и с *r*, но показательность которых отчасти снижается или из-за отсутствия архаических тюркских данных, или из-за принципиальной допустимости иных (пусть даже менее удачных) этимологических решений. Вот некоторые из них.

(13) АТ *boz* 'серый' ~ кирг. *borbaš* 'большой серый сорокопут', *borčun* 'серая утка (дикая)', чаг. *borčın* 'серая утка', тур. диал. *bortaq* 'вид дикой утки' (при каз. *bozdaq tüö* 'серый верблюд') [Tekin 1969: 59]. Вопреки Т. Текину, сюда вряд ли можно относить тур. диал. *boran* 'дикий голубь'.

(14) АТ *ekiz, egiz, ikiz, ikkiz, jikiz* 'пара, близнецы' (ср. *eki, iki, ikki, jeki* 'два') ~ АТ *jegirmi, jigirmi, egirmi* 'двадцать' [Ахметьянов 1978: 66; Егоров 1964: 214]. Явно неудачной представляется попытка вывести *jegirmi* из тохар. *A wiki, B ikam* (и.-е. **wikṛnti* 'двадцать' [Róna-Tas 1974: 504] — при этом остается без объяснения *-r-* (ср. также чуваш. *širēm* 'двадцать!'). По-видимому, не исключена и прямая связь между *ekiz* и АТ *ikircüḡ* 'сомнение', ср. еще *ägri* 'кривой, неровный, изогнутый; лживый, ложный, неправильный', также эпитет неясного значения к *tävä* 'верблюд' (может быть, 'двугорбый?'), обычно этимологизирующееся от *ägir-* 'окружать, обходить; прясть, сучить' [Clauson 1972: 112, 115; VEWT: 37–38] (в конечном счете все эти слова, по-видимому, этимологически связаны — ср. и.-е. **duō* 'два' и его дериваты типа лат. *dubium* 'сомнение', англ. *twist* 'крутить, сучить, изгибать, искажать, обманывать'). Проблематичным, однако, в любом случае остается отождествление суффиксального *-z-* в *ekiz* и суффиксального *-r-* в остальных перечисленных формах.

(15) Шор. (Радлов) *äzä* 'прежде', саг. койб. (Радлов) *ezä* 'прежде, теперь' ~ **erki* 'старый' (тув. *ergi*, хак. *irgī*, ж.-уйг. *erke* и т. д.) наряду с АТ *eski* 'старый'; сюда же, вероятно, относится АТ *ertä* 'рано, утром' [Ахметьянов 1978: 66; VEWT: 49; Севортян 1974: 303–304]. Показательность данной этимологии снижается тем, что, с одной стороны, в АТ источниках не засвидетельствован вариант *erki* 'старый', а с другой — предполагаемый корневой элемент *ez* (откуда *äzä, erki, eski, ertä*) в «чистом» виде тюркским языкам неизвестен — более того, существует ряд этимологических версий, предполагающих полное или частичное этимологическое размежевание перечисленных слов, см., например [VEWT: 50; Севортян 1974: 302–304, 306–308; Ramstedt 1949: 66; Рассадин 1971: 182].

(16) AT *julduz* 'звезда' ~ AT *juldruq, joldruq, jaldruq* 'блестящий, сверкающий' [Tekin 1969: 65].

(17) AT *qadiz* 'кора дерева' ~ AT *qadiryay* 'мозоль, волдырь', тат. *qajri* (**qadri*) 'кора дерева', якут. *хайрик* (**qadriq*?) то же [Ахметьянов 1978: 66]. Этому сопоставлению Р. Г. Ахметьянова противостоят менее убедительные этимологические решения в [Clauson 1972: 606] (*qadiryay* от *qadir* - 'отворачивать') и [VEWT: 218].

(18) AT *qiz* 'скупой, жадный', кирг. *kizgan* - 'жалеть, скупиться' ~ тув. *kirzan* - 'бережно (экономно) расходовать' [Tekin 1975: 277].

(19) AT *qonuz* 'жук', алт. *komis* ~ якут. *хотурдуос, хонурдуос* то же (при отсутствии прямого рефлекса **qonuz*) [Tekin 1969: 62; VEWT: 281].

(20) AT *oyuz* название племени и объединения племен ~ AT *oyraq* название одного из тюркских племен (с диминутивным суффиксом, как в *oyul* 'сын' → *oylaq* 'козленок'). Менее вероятно, что *oyraq* следует соотносить с болгарским этнонимом *oyur* (= тюрк. *oyuz*).

(21) AT *sez* - 'чувствовать, замечать, ощущать, обнаруживать', *sezik* - 'предполагать, сомневаться' ~ куман. *sergek* 'бдительный', узб. *sergak*, тат. *sirgäk* и, наряду с этим, чаг. *sezgek* 'умный, понятливый' [Щербак 1970: 87; Tekin 1969: 63; VEWT: 412, 413]. С учетом чагатайской формы и принимая во внимание наличие AT -*yaq/-gäk* как суффикса прилагательных характерного действия [Clauson 1972: XLIV] представляется необязательной трактовка *sergek* как монголизма, принятая в [Clauson 1972: 850; VEWT: 413], ср. п.-монг. *sergeg* 'чуткий, бдительный', *serge* - 'взбодриться, прийти в себя'.

(22) Алт. *sīs/siz* - 'боль', AT *sizla* - 'болеть, ныть, ломить' ~ каз. *sirqat* 'болезнь', кирг. *sirko* то же, *sirka* - 'хворать' [Tekin 1969: 63].

(23) AT *tāniz* 'море' ~ AT *tānri* 'небо, бог', *tānirkän* 'священнослужитель у тюркско-немусульман'. Фонетическим обоснованием этой новой этимологии тюркского теонима, неоднократно обсуждавшегося в этимологической литературе, служит формулируемое в данной статье правило чередования *z* ~ *r*. Чрезвычайно важную семантическую аналогию дают монгольские языки, ср. п.-монг. *dalai* 'море' и 'великий, вселенский, верховный'.

(24) AT *tiz* 'колено' ~ AT *tirsäk* 'локоть' [Tekin 1969: 64-65].

(25) Кирг. *tiyiz* 'крепкий, плотный', ног. *tiyiz* 'плотный; тугой, тесный, коренастый', туркм. *dikiz* 'плотный, набитый, сжатый; упитанный, крепкий' ~ кирг. *tiyirčik* 'низкого роста и плотный, коренастый', AT *tiyra* - 'становиться сильным, крепким', *tiyraq* 'сильный, крепкий', тат. *tiyriq* 'узкий проход, теснина' (→ 'тесный, сжатый'), башк. *tiyriq* то же [Tekin 1969: 64; VEWT: 477-478; Clauson 1972: 339-340; Róna-Tas 1982: 161].

(26) AT *toquz, toyuz* 'девять', *toquzinc, toyuzinc, toquzunc* 'девятый', тур. *dokuz* 'девять' ~ ст.-осм., тур. диал. *tokurcin, dokurcun, dokurcun* 'игра типа шахмат с девятью шашками' [Tekin 1969: 65].

(27) AT *tutuz* - 'передать, доставить' ~ AT *tuturyu* 'поручение', *tutruy* 'завешание' [Tekin 1969: 71]. Дж. Клосон и в данном случае вводит конъектуру, рассматривая *tutruy* как результат описки вместо *tutsuy* (**tutzu*) — нормального деривата от *tutuz* - [Clauson 1972: 459, 460]. Можно, впрочем, допускать, что базой деривации для *tuturyu, tutruy* послужило не *tutuz*-, а *tutur*- (параллельная форма каузатива к *tut* - 'держат').

Точно такое же соотношение *z*-овых и *r*-овых альтернантов дают многие другие примеры, цитируемые в работах Т. Текина [Tekin 1969: 59-65, №№ 5, 8, 10,

11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 32, 35; Tekin 1975: 277–279, 1979: 126–128] и Р. Г. Ахметьянова [Ахметьянов 1978: 66–67]. Материал, собранный этими исследователями, автор настоящей статьи счел целесообразным пополнить лишь несколькими новыми примерами (см. выше 9, 20, 23), хотя в действительности варианты, содержащие *г* в составе консонантных сочетаний, можно отыскивать для значительной части общетюркских корней, в которых представлен ауслаутный или интервокальный *з*.

Для проверки вывода о том, что *г* выступает в роли «заместителя» *з* в составе консонантных сочетаний, нами было проведено фонотактическое обследование материала архаических тюркских диалектов; был охвачен материал «Древнетюркского словаря» [ДТС], дополненный с помощью весьма удобного для целей фонотактических исследований указателя А. Рона-Таша к словарю Дж. Клосона [Clauson 1981].

Налицо существенные дистрибутивные ограничения на употребление *з* в составе консонантных сочетаний. Достаточно широко представлены только группы *zl* и *zy/zg* (как правило, разделенные границей морфем, но изредка и в составе основ, синхронно нечленяемых или имеющих затемненное членение); *ayızla-* 'прокопать выодную борозду' (: *ayız* 'рот, устье'), *bozla-* 'реветь, кричать (о верблюде)', *izlik* 'чувяки из 'кожи' (: *iz* 'след?'); *azyan* 'терновник' (: *aziŋ* 'клык, зуб'), *azyır* 'свирипей' (: *āz-* 'сбиваться с пути?'), *özgä* 'иной' (: *ōz* 'сам'), *qazyan-* 'приобретать, добывать' (: *qaz-* 'рыть?'), *quzyun* 'ворон' и под. — примеров на эти группы насчитывается много десятков. Сочетания *з* с другими последующими согласными (кроме *l* и *y/g*), а также любые консонантные группы с *з* в качестве второго компонента, встречаются значительно реже и только в определенных разрядах лексики. Подобные сочетания содержат в себе:

А. Формы словоизменения и дериваты, образованные по продуктивным моделям и сохраняющие прозрачную связь с мотивирующей основой: *azmīš* 'заблудший', *bedizci* 'резчик по дереву', *bizdā*, *bizkā*, *bizni*, *bizniŋ* (падежные формы к *biz* 'мы'), *buzmaq* 'расстройство, нарушение', *čiztūr-* 'заставить чертить', *eüzitāki* 'находящийся в теле', *jazgi* 'весенний', *jazsa-* 'хотеть развязать', *közsüz* 'слепой', *özkän* 'преданный, свой', *tüzdäm* 'ровный, гладкий' и под.

Б. Новейшие (по отношению к рассматриваемому периоду) заимствования, нередко не адаптированные даже на уровне графики — согдийские: *anxrvzn* 'зодиак', *aznd* 'притча', *Äzrua* Зерван (теоним), *nizvanī* 'страсть', *Xormuzta* Ормузд (теоним), *zmırun* 'смирна, мирра' (в конечном счете из греч. *σμύρνα*), *Zrušc* Заратуштра, *zmuytuŋ roč* '28-й день месяца в согдийском календаре'; среднеперсидские и другие иранские: *arzu* 'желание, стремление', *avzuri* 'кушанье из смеси пшеничной и ячменной муки' (вместо *avruzi* из перс. *afrūsa* [Clauson 1972: 15]), *jazd* 'бог', *Jazdigard* (имя собственное), *manastar xırz-a* 'прости мои прегрешения', *Özcänd* и *Özkänd* (топонимы), *qaznaq* 'казна' (в конечном счете из араб.; АТ *qiznaq* 'казна' является, по-видимому, результатом народно-этимологического сближения с *qiz* 'дорогой, драгоценный'); арабские: *arz et-* 'предлагать', *azzā vā žällä* 'велик он и славен', *mänzil* 'жилище', *mu'azzim* 'колдун', *til lafz* 'слово, речь', *uzr* 'извинение'; монгольские: *azman* 'кастрированный баран' [VEWT: 33]; китайские: *čavzu* 'род акации', *kenzi* 'цветная ткань китайского производства', *šunzi* 'вошь, блоха'; санскритские: *drzul* 'трезубец' (видимо, через согдийский). К этой же категории следует отнести несколько слов, для которых этимологиче-

ские словари предполагают иноязычный источник, хотя и затрудняются его указать: *banzi* 'остатки винограда на лозах', *küzkünäk* 'вид птицы', *küzküni* 'сверчок', *layzın*, *laqzın* 'свинья', *ögzin*, *ögzin* 'злой дух', *zäränzä* 'сафлор красивый'.

В. Слова, в которых произошла поздняя синкопа гласного и которые нередко сосуществуют в качестве вариантов (диалектных?) с нестяженными формами: *ayzan-*, *ayızan-* 'говорить' (: *ayız* 'рот'), *közñü*, *közgü*, *közünü* 'зеркало' (: *közün* 'виднеться'), *menzä-* 'быть похожим' и *menzät-*, *menjät-* 'уподоблять' (: *mejiz* 'облик'), *toqsıñç*, *toqsunç* (*qs* < **qz*), *toquzıñç* 'девятый' (: *toquz* 'девять'). К этой же группе следует, несомненно, отнести засвидетельствованное только у Маумуда Кашгарского и только в одном варианте *közmän* 'хлеб, выпеченный в горячей золе': данное слово естественнее непосредственно связывать с *közä-* 'помещивать угли', а не с *köz* 'горящие угли' (ср. [Clauson 1972: 761]) и предполагать незафиксированный первичный вариант **közämän*. Кроме того, к *menzä-* (см. выше) примыкает образованное по аналогии с ним *janza-* 'быть похожим' (от китаизма *jan* 'форма, облик').

Г. Словосложения: *öztik-*, *östik-* 'стремиться' (*öz* 'сам, свой' + 'устанавливать, ставить', см. [Clauson 1972: 243]), *tözkär-* 'постигать' (*töz* 'основа' + тот же элемент, что и в *köñül kār-* 'разжалобить, понять, уразуметь' от *köñül* 'сердце', *köküz kār-* 'гордиться' от *köküz* 'грудь', *tüpkār-* 'постигать' от *tüp* 'дно', см. [ДТС: 300, 313, 316, 583, 598; Clauson 1972: 735]; полностью ошибочна этимология *tözkär-* в [Clauson 1972: 574—575]).

Д. Формы с метатезой: *tegzin-* 'вращаться, кружиться' (и дериваты) наряду с *tezgin-* (с «допустимым» сочетанием *zg*).

Е. Несколько слов, в которых сочетания с *z* можно предположительно объяснить либо поздней синкопой гласного, как в группе В, либо вторичной аналогией с производящей основой, как в рассмотренных ранее примерах вариативности типа (1) *boyurdaq* ~ *boyuzdaq*, (2) *irdä-* ~ *izdä-* и т. д.: *közkiš-* 'встречаться, виднеться' (: *közük-* 'смотреть'), *köznäk* 'отражение' (: *közün-* 'виднеться'), *öznä-* 'возражать, перечить' (: *özän* 'центр'? Суффикс *-na/-nä-*, с помощью которого это слово могло бы быть образовано непосредственно от *öz*, неизвестен), *sıyza-* 'вставлять, вшивать' (: **sıyız* 'вставка'; не исключено, что «недостающим» *r*-овым вариантом к этой основе является АТ *sıyra* 'широкое ущелье между двумя горами', *sıyraq* 'промежуток между двумя пальцами', ср. [Clauson 1972: 815]), *tepzä-*, *tepsä-* 'завидовать' (: *tepiž* 'зависть'), *tizmä* 'гашник, завязка' (: *tiz-* 'нанизать'), *tütsük* (*ts* < **tz*) 'благовония' (: *tütüz-* 'воскурять'), *üzmälä-* 'искоренять' (: *üz-* 'вырывать').

Ж. Несколько слов, оцениваемых как искаженные в написании: *tapzuuq* вместо *tapuzuuq* (с «допустимым» сочетанием *zy*) 'загадка', *janzat-* вместо *janrat-* 'сболтнуть, проговориться', *qızqan-* вместо *qızıqan-* 'скупиться'; *qızqıl* вместо *qızıqıl* 'красный', см. конъектуры Дж. Клосона [Clauson 1972: 448, 667, 953].

З. Вне всех перечисленных групп остаются только два слова с неясными этимологиями: *jeznä* 'муж старшей сестры' и *ömzük* 'лука седла'.

Таким образом, случаи типа (1)–(27) и примеры, рассмотренные в группах А–З, оказываются в распределении, близком к дополнительному. Сочетания *rC* и *Cr* на месте «ожидаемых» *zC* и *Cz* обнаруживаются в исконно тюркских словах, утративших прозрачную связь с производящей основой или по меньшей мере приобретших значительную независимость от нее. Если подобные сочетания воз-

никили вследствие синкопы второго слова (как в примерах 1, 3, 5, 8, 12, ? 14, 16, 17, 20, 23, 25, 27), то данную синкопу — судя по отсутствию нестяженных вариантов в АТ материалах — можно признать весьма ранней (более того, допустимо предположить даже вторичность узкого гласного в «несинкопированных» формах). Противоположная во всех отношениях картина наблюдается в словах, где «ожидаемые» сочетания zC и Cz действительно представлены, из чего можно заключить, что более архаичная ситуация отражена в случаях типа (1)–(27). Совершенно очевидно, что в период, засвидетельствованный древнетюркскими памятниками, и тем более в тюркских языках позднейших эпох чередование $z \sim r$ уже было мертвым, закрепившимся только за определенными лексемами. Видимо, и в более раннюю (дописменную) эпоху данное чередование должно было наталкиваться на мощное противодействие сил аналогии, с чем и связано наличие значительного количества дублетных форм, восстановивших z (или — в соседстве с шумным глухим согласным — s) в составе консонантных сочетаний (как в примерах 2, 7, 9, 15, 21, 27, а также, возможно, в части примеров из группы Е). Кроме того, следует признать, что в некоторых сочетаниях употребление r изначально могло иметь менее облигаторный характер — это, в первую очередь, сочетания с l (примеров на rl вместо «ожидаемого» zl нет вообще, что вполне естественно, если учитывать артикуляционную сложность подобного сочетания двух плавных), с y/g (мы находим ry вместо «ожидаемого» zy в примерах 7 и 17 — ср. упоминавшиеся выше многочисленные случаи вполне устойчивых сочетаний zy и zg). Возможно, запреты на сочетания того или иного типа отсутствовали в части ранних пратюркских диалектов (мы не располагаем материалом для твердых выводов по этому вопросу), что и отразилось в сосуществовании вариантов.

Чередования типа qiz 'девушка' $\sim qirqin$ 'невольница', $köküz$ 'грудь' $\sim kökräk$ то же при наличии запретов или, во всяком случае, существующих (для ранней пратюркской эпохи) ограничений на фонетические структуры $*qizqin$ и $*kökzäk$ могут быть интерпретированы одним единственным образом.

В качестве исходных праформ следует реконструировать пары $*qizX$ — $qizqin$, $*köküX$ — $kökXäk$ ³ и постулировать для $*X$ следующие правила развития:

$*X \rightarrow r$ в составе (большинства) консонантных сочетаний;

$*X \rightarrow z$ в остальных положениях (интервокальное, ауслаутное). Анлаутный $*X$ не реконструируется.

Эти правила позволяют судить об исходном фонетическом качестве $*X$, опираясь на типологию диахронических фонетических изменений.

Если предположить, что $*X = z$ (такова позиция тюркологов, считающих z первичным), то придется признать, что тюркский праязык испытал ротацизм, который не затронул z в интервокальном и ауслаутном положениях, но воздействовал на z в составе консонантных сочетаний, в частности и в особенности — сочетаний с глухими шумными согласными. Однако факты истории многих языков, которым был известен переход $z > r$, свидетельствуют о том, что ротацизму бывает подвержен в первую очередь интервокальный z , тогда как в составе сочетаний z (или s) проявляет, напротив, большую устойчивость. Естественный харак-

³ Чтобы объяснить отсутствие гласного в $kökräk$, для еще более раннего состояния нужно реконструировать $*köküX$ — $köküXäk$ или $*kökX(-)$ — $kökXäk$.

тер такого (но никак не противоположного по своим условиям) развития имеет и артикуляторно-фонетические обоснования. См. подробный анализ явления ротацизма в книге Б. А. Серебренникова [1974: 148–149]⁴. Типологическая беспрецедентность ротацизма, ограниченного консонантными сочетаниями, и делает невозможной трактовку $*X$ как z ⁵.

Еще сложнее обстоит дело с интерпретацией $*X$ как s в соответствии с излагавшейся выше гипотезой А. М. Щербака. Из отождествления $*X = s$ следует цепочка развития $*qĩsqĩn > *qĩZqĩn / *qĩzqĩn > qĩrqĩn$ и т. п., иными словами, «ротацизму» предшествует ослабление и озвончение z в соседстве с глухим согласным! Поверить в реальность такого развития и, следовательно, такой фонетической реконструкции невозможно.

Отождествление $*X$ с r исключается, поскольку в интервокальном и ауслутном положениях рефлексы $*X$ и $*r$ контрастируют, ср. $qāz$ 'гусь' : $qār$ 'снег', $azĩy$ 'клык, зуб' : $arĩy$ 'чистый'.

Можно выдвинуть еще несколько версий относительно фонетической природы $*X$, но большинство из них не приблизят нас к получению типологически правдоподобной картины фонетического развития. Например, при $*X = \delta$ или $*X = \vartheta$ возникают примерно те же трудности, что и при отождествлении $*X$ с z или с s .

Единственной версией, убедительной во всех отношениях для фонетического обоснования сформулированных правил, является предложенная Г. Рамstedтом и заключающаяся в том, что $*X$ — вибрант, отличный от обычного r , например, палатальный $\acute{r}$ или ретрофлексный $\bar{r}$. Именно для звуков такого типа вполне естественны, засвидетельствованы во многих языках как сибилантизация в интервокальном положении, так и тенденция к совпадению с обычным r (или, во всяком случае, к отсутствию сибилантизации) в составе консонантных сочетаний, то есть в позиции, которая вообще способствует нейтрализации фонологических противопоставлений близких по качеству согласных. Так, при действии в западнославянских языках общего правила $*\acute{r} >$ польск. rz [ʒ], чешск. $\bar{r}$ отдельные отступления от этого правила связаны с вхождением $*\acute{r}$ в кластеры, ср. $*s\acute{r}$, $*z\acute{r} >$ польск. $\acute{s}r$, $\acute{z}r$ [Klemensiewicz 1974: 53; Śmiech 1953] и чешское чередование типа $stařec \sim starče$ [Hujer 1961: 170–174]. В тамильском языке в интервокальной позиции противопоставлены три вибранта — обычный (дентальный), альвеолярный и ретрофлексный, но в сочетаниях (в препозиции фрикативному) встречается только «обычный» r [Андронов 1966: 29]. Положением между гласными был ограничен процесс перехода $r > z$, охвативший в XIII–XVI веках ряд северофранцузских патау и оставивший отдельные следы типа дублетов *chaire* 'кафедра' : *chaise* 'стул' в литературном языке [Сергиевский 1938: 144–145, 178].

Таким образом, использование данных даже одних только тюркских языков (без болгарских) приводит к прямому подтверждению реконструкции вибранта $*r_2$, принятой у Н. Поппе [Porre 1960: 80] и в ряде других алтаистических работ.

⁴ Б. А. Серебренников считал общетюркский z первичным, а болгарский r — результатом ротацизма, исходя из того, что развитие $z > r$ в языках мира наблюдается в целом чаще, чем $r > z$.

⁵ Разумеется, в том случае, если кому-либо удастся отыскать другой пример подобного необычного развития, автор статьи готов признать свои возражения против отождествления $*X$ с z несостоятельными.

По-видимому, в представленном выше материале нет никаких бесспорных указаний на то, что $*r_2$ отличался от $*r$ именно палатальностью, а не каким-либо иным фонетическим признаком.

Рассмотренное правило нейтрализации противопоставления $*r_2 : *r$ в составе большинства консонантных сочетаний позволяет объяснить происхождение еще одного довольно частого типа случаев с чередованием $z \sim r$, представленного как в древнетюркском, так и во многих современных тюркских языках. Речь идет о чередовании $z \sim r$ в ауслауте глагольных основ. Хорошо известны такие яркие примеры данного чередования, как дублетность тюркских $*\bar{a}r$ - и $*\bar{a}z$ - 'худеть', $*b\bar{u}r$ - и $*b\bar{u}z$ - 'делать складки, сморщивать, стягивать', $*k\bar{o}r$ - $\bar{u}n$ - и $*k\bar{o}z$ - $\bar{u}n$ - 'показываться, виднеться', см., например, [Севортян 1978: 296, 1974: 161, 1980: 61]. Т. Текин отметил и ряд других тождественных или близких по значению пар этого типа, ср. АТ $\bar{a}z$ - 'сбиваться с пути, заблуждаться, совращаться' и $\bar{a}r$ - 'обманывать, лгать, соблазнять'; тув. ar - dor - и кирг. az - toz - 'худеть', туркм. jor - и азерб. joz - 'толковать, переводить' [Tekin 1975: 279–280]. Особенно распространена дублетность r -овых и z -овых форм у суффиксов каузативных и транзитивизированных глаголов, ср. АТ $bild\bar{u}r$ - и $bild\bar{u}z$ - 'сообщать' (: bil - 'знать'), чаг. $teg\bar{u}r$ - и $teg\bar{u}z$ - 'доводить, доставлять' (: teg - 'достигать'), узб. $\bar{c}iqar$ - и $\bar{c}iqaz$ - 'выводить, вынимать' (: $\bar{c}iq$ - 'выходить') и т. д.; упоминание таких дублетов можно найти в большинстве тюркских грамматик.

Следует предполагать, что исходным в случаях этого рода был $*r_2$ в ауслауте основы. В значительной части форм глагольной парадигмы этот согласный оказывался в преконсонантной позиции и в соответствии с общим правилом превращался в $*r$. Таким образом, парадигма $*\bar{a}r_2$ - 'худеть' включала целый ряд форм с алломорфом основы $*\bar{a}r$ - ($*\bar{a}rd\bar{i}$ 'он похудел', $*\bar{a}rmad\bar{i}$ 'он не похудел', $*\bar{a}rsun$ 'пусть он худеет' и т. д.). Результатом обобщения этого алломорфа и явился вторичный вариант $*\bar{a}r$ -, во время как вариант $*\bar{a}z$ - является прямым продолжением основного варианта $*\bar{a}r_2$ -.

Учет этого механизма, дополняющего сформулированное ранее правило, позволяет объяснить огромное большинство случаев древнетюркского чередования $z \sim r$, приводившихся Т. Текином, Р. Г. Ахметьяновым и другими исследователями. Лишь в единичных случаях истоки такого чередования можно связывать с какими-то иными причинами, среди которых наибольшего внимания заслуживает возможность суффиксации, обусловившей превращение $*r$ в $*r_2$ — так, по гипотезе Г. Дёрфера, $k\bar{o}z$ 'глаз' является дериватом от $k\bar{o}r$ - 'видеть' и восходит к праформе $*k\bar{o}rijz$ (> $*k\bar{o}r_2$ в общетюркском, но не в болгарском), что позволяет, видимо, объяснить или приблизиться к объяснению аномального сибиланта в чув. $ku\bar{s}$ 'глаз' [Doerfer 1975–1976: 33–37, 1984]. Для очень ограниченной группы r -овых форм, отмеченных лишь в отдельных тюркских языках Поволжья и Северного Кавказа в соответствии с общетюркскими z -овыми формами, можно допускать заимствование из болгарского источника. Следует, наконец, упомянуть, что часть приводившихся примеров с чередованием $z \sim r$ основывается на неточной или ошибочной этимологизации. Так, каз. $\bar{q}im\bar{i}ran$, кирг. $\bar{k}im(i)ran$ 'кипяченое молоко, разбавленное водой' при АТ $\bar{q}im\bar{u}z$ 'кумыс' [Tekin 1969: 61] является монголизмом, ср. п.-монг. $kimurayan$, калм. $kimr\bar{a}n$, см. [VEWT: 264]. Тип. $\bar{b}ari\bar{s}$ 'мир, соглашение' вряд ли может быть сопоставлено с АТ $\bar{b}az \bar{q}il$ - 'усмирить, за-

мирить', крым-тат., караим. *baz* 'мир', поскольку турецкая и другие огузские формы или отражают вторичное семантическое развитие АТ *bariṣ-* 'ходить друг к другу, поддерживать тесные отношения' [Clauson 1972: 369; VEWТ: 62], или восходят к иноязычному источнику, ср. согд. *br'z-* 'заключать соглашение, договор', *br'z* 'перемирие, мир' [Севортян 1978: 73–74]. Цитируемое Р. Г. Ахметьяновым [1978: 67] др.-тюрк. (рунич.) *мэңэр-э-* 'ликовать' (отсутствует в [ДТС] и [Clauson 1972]; вероятно, должно быть **mäñilä-*) следует связывать не с *māñiz* 'лицо', а с *māñi* 'веселье, радость'. Можно предположить, что эти и некоторые другие этимологические неточности, наряду с несовершенной систематизацией материала, помешали Т. Текину и Р. Г. Ахметьянову сделать более четкие историко-фонетические выводы из привлеченных ими данных.

В заключение настоящей статьи уместно в предварительном порядке заметить, что и среди случаев с древнетюркским чередованием *l ~ ṣ* значительную долю составляют примеры, когда альтернант *l* встречается либо в сочетаниях с другим, особенно шумным, согласным, либо в качестве ауслаутного согласного в одном из двух вариантов глагольной основы:

АТ *taṣ* 'внешний, наружный, внешняя, наружная сторона', *taṣu-* 'выгонять', *taṣqar-* 'удалять, устранять, отправлять' ~ АТ *talqī-* 'отвергать, откладывать, отбрасывать';

АТ *teṣ-* и *tel-* 'продырявливать' (откуда то же чередование в дериватах: АТ *teṣük* и *telik* 'дыра, отверстие').

Тем не менее имеющийся материал (коллекция случаев с *l ~ ṣ* у Т. Текина значительно беднее, чем для *r ~ z*, что, видимо, объективно отражает существующее положение) не дает оснований утверждать, что пути формирования чередований *r ~ z* и *l ~ ṣ* полностью совпадали. Сочетания типа *ṣC* и *Cṣ*, не замещающиеся на *lC* и *Cl*, встречаются в АТ материале достаточно часто. Кроме того, при объяснении значительной части примеров с чередованием *l ~ ṣ* следует учитывать возможность развития тюркского *ṣ* из групп согласных **lč*, **lč̣* [Tekin 1969: 79–80, 1979: 130–132; Porre 1960: 86], **lb* [Street 1980], **lg*⁶. Поэтому возможны случаи, когда *l* первичен, а чередующийся с ним *ṣ* фактически представляет собой сращение корневого *l* с начальным согласным суффикса.

С другой стороны, в литературе неоднократно и вполне справедливо отмечалось, что решения дилемм «ротацизма-зетацизма» и «ламбдаизма-сигматизма» неотделимы друг от друга, поэтому — вне зависимости от различий в деталях — первичность вибранта **r₂* по отношению к тюрк. *z* предполагает первичность латерального **l₂* по отношению к тюрк. *ṣ*.

⁶ На представительную группу этимологий, содержащих тунг.-маньчж. **lg* в соответствии с тюрк. *ṣ*, указала А. В. Дыбо (устное сообщение). Автор пользуется случаем поблагодарить ее за ряд ценных замечаний по материалу данной статьи.

A DISTINCTIVE FEATURE WHICH BECAME A PHONEME: THE CASE OF MONGUOR*

1. Regular phonetic developments which accompanied the voicing of word-medial obstruents and affricates in Monguor¹ (as compared to Common Mongolian [CM], roughly equal to Written Mongolian [WM]):

(1) Appearance of **h-* (> *x, f, s, ʃ, ś*, depending on the quality of the following segment) before word-initial vowels, which later have often disappeared: *xarDan* 'or', WM *altan* (no forms with *h-* in Middle Mongolian, therefore CM **h-* < **p-* cannot be suspected, contrary to [Poppe 1983: 118]); *fuĎŽün* ~ *śĎŽün* 'fille', WM *ökin*; *sĎöGu* 'vieux', WM *ötegü*; *śdie* 'tôt', WM *erte*.

(2) Devoicing of word-initial voiced consonants: *t'uĎŷ* 'pas assez', WM *dutayu*; *p'ierGeDi-* 'être difficile', WM *berged-*. It can be supposed that in these examples *t'-* < **hD-*, as indicated by such dialect variants as *t'uro* 'dans, parmi' = *sDuro* = *xtoro* (Širongol of Pao nan), WM *dotura*.

(3) Preservation of word-initial voicelessness: *k'uGuo* 'bleu', WM *köke*; *tś'iĎŽiaĠ* 'fleur', WM *čēčeg*.

(4) Devoicing of «intermediate» voiced consonants in words with word-initial resonants: *k'irĎŽiaĠ* 'bât', WM *yanggirčay*.

(5) Addition of *s, ʃ, ś* to some «intermediate» clusters (**rT, *bt, *dT, *gT*) in words with word-initial resonants: *mu(r)śDā-* 'oublier', WM *marta-*; *noĠśĎŽi-* 'passer', WM *nögči-*.

(6) Absence of voicing in word-medial position, if the beginning of the word is occupied or separated by a resonant and there are no «intermediate» voiced consonants or clusters, as in (4) and (5), occur: *nik'i-* 'tisser', WM *neke-*; *amut'a* 'goût', WM *amtan*.

(7) Approximately the same phenomena, as in (5) and (6), if the (original) voiceless consonant belongs to a productive suffix: *tś'igiśĎŽi* 'couvre-oreille', WM *čikibči*; *Ďütś'i* 'chanteur', WM *dayučī*.

Regularities of the same kind operated in Tibetan loan-words of Monguor; it accounts for many «inconsistencies» mentioned by A. Róna-Tas in his «Tibeto-Mongolica» [Róna-Tas 1966].

2. These highly peculiar correspondences must have a common explanation. I postulate the split of word-medial voiceless consonants into their voiced counterparts and the distinctive feature of voicelessness (presumably suprasegmental!). The latter moves to the beginning of the word, where it either develops into **h-* (1), or gets absorbed (2, 3), or is forced back by its incompatibility with resonants (4, 5, 6) or by forces of analogy (7). The partial merger of this walking-by-itself distinctive feature with the CM **h* is of special interest.

* Впервые опубликовано в: 5th International Phonology Meeting. Abstracts. Wien, 1984. P. 27.

¹ Quoted here after [de Smedt, Morstert 1933].

ON PROBABLE TUNGUS-MANCHURIAN ORIGIN OF THE BUYLA INSCRIPTION FROM NAGY-SZENTMIKLÓS*

1.1. The famous treasure of Nagy-Szentmiklós was found exactly two hundred years ago, in 1799. It consists of 23 gold bowls, dishes, jars, and cups, and belongs now to the exposition of the Kunsthistorisches Museum in Vienna. It was found in Banat, near the village of Nagy-Szentmiklós (today Sinnicolau Mare, to the north-west of Temesvár — Timișoara). The detailed description of the treasure and the history of studies is given in [László, Rácz 1983]; see also an ample bibliography compiled by Maria Ivanics (in [Göbl, Róna-Tas 1995: 59–77]).

There are no direct indications for dating and attribution of the objects. Most estimates place them in the period between the 5th and the 10th centuries, the first half of the 9th century being the most wide-spread (and still, rather likely than proven) dating, see [Róna-Tas 1990: 9]; in his more recent publication András Róna-Tas [1997: 110] gives however preference to the second half of the 8th century¹. Therefore the treasure is usually referred to as «Avar» or «Late Avar», sometimes also as «Protobulgarian» (e. g. [Mavrodinov 1943] as well as later literature from Bulgaria). This, however, does not necessarily characterise its provenance: as far as analogues to goldsmiths' work, vessel forms, pictorial representations, and ornamental motives are concerned, references have been made to the Carpathian basin and to the entire Eurasian steppe zone, to Byzantium and to Southern Europe, to the Caucasus and to Iran.

1.2. The objects belonging to this treasure have inscriptions of three kinds which received recently a detailed palaeographic analysis in [Göbl, Róna-Tas 1995]. An inscription in Greek (the reading of which remains non-unproblematic, see [Vékony 1973]) is repeated twice on two paired bowls. The famous «Buyla inscription» (Inscr. 17 on buckled bowl [Schnallenschale] XXI) is written also with Greek letters, but in a non-Greek language. 13 objects have short inscriptions written with an unknown script of the «runiform» type.

It has been confirmed many times and by various study methods that the Nagy-Szentmiklós inscriptions differ not only in language and script, but also were not made by the same hand and therefore may originate from different (geographically as well as chronologically) artisan shops — as well as the gold objects themselves. «Die einzelnen Stücke des Schatzes stammen sicher aus verschiedenen Zeiten. [...] Die

* Публикуется в журнале: *Studia Etymologica Cracoviensia*. 2000. 5.

¹ A very late (not before the 12th century) dating of the treasure suggested by Hugo Mötefindt [1925] found no support in further research.

griechische Schrift des in griechischen Sprache geschriebenen Textes und die der Buyla-Inschrift sind paläographisch sehr weit voneinander entfernt» ([Róna-Tas 1990: 10]; see also [László, Rác 1983: 176–180; Göbl, Róna-Tas 1995: 29, 33–35]). It is therefore permissible to restrict here the discourse to only one inscription, which always attracted more attention than the others.

2. The reading of the Buyla inscription causes no difficulties:

+ ΒΟΥΗΛΑ • ΖΟΑΠΑΝ • ΤΕΣΗ • ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ •
ΒΟΥΤΑΟΥΛ • ΖΩΑΠΑΝ • ΤΑΓΡΟΓΗ • ΗΤΖΙΓΗ • ΤΑΙΣΗ

This text should be probably transliterated as follows:

buila (-j/-) • *zoapan* (ž-, ʒ-, ʒ-) • *tesī* (-ī) • *dügetügi* (*dügetüji*, *düjetüji*; -ī) • *butaul* •
zoapan (ž-, ʒ-, ʒ-) • *tagrogi* (-roj-; -ī) • *icigi* (*iciji*; ī-; -č-; -ī) • *tesī* (-ī)

The variants of transliteration (shown in brackets) are determined partly by the impossibility to distinguish some sounds with the means of the Greek alphabet, partly by the instability and dialectal heterogeneity of the Byzantine Greek alphabets. At least two problems deserve special mention:

2.1. The merger of *η* and *ι*, abundantly attested in post-classical Greek, has never been complete and universal (the archaic pronunciation of *η* as *ē* survives even in the Pontic dialects of Modern Greek). In the Byzantine period a trend can be observed — maybe due to learned efforts — to use in foreign names *η* for rendering a stressed (long) vowel, and *ι* for rendering an unstressed (short) one. See [Debrunner 1954: 103–104] («in nachchristlicher Zeit scheint *ī* die herrschende Aussprache [des *η*] geworden zu sein») and [Schwyzer 1939: 185–186], as well as the material in [Moravcsik 1958]. Therefore the presence of both symbols *η* and *ι* in the Buyla inscription may raise suspects that they rendered two quantitatively (or even qualitatively?) different vowels (cf. below 4.3.3). On the other hand, this may be a variation like that of *oa* and *ωa*, *ε* and *αι* in other words of the same inscription.

2.2. Another post-classical and especially Modern Greek feature, the pronunciation of *γ* as *j* before *ι η ε*, has been taken into consideration for the reading of the Buyla inscription by Marcel Erdal [1988] and András Róna-Tas [1990] though disregarded in other deciphering attempts. The issue seems to be controversial. Gyula Moravcsik [1958: 32] accepts the reading *γ = j* before palatal vowels for Turkic glosses in Byzantine sources (most of which are however younger than the Buyla inscription), but he also mentions very late examples where *γ* even in this position obviously stands for *g* (Γεμήσι καπὶ = Γκεμί καπισί 16th c. = Turkish *Gemi qapısı* 'ship gate', *ορταγή* 1453 = Turkish *ortayî* 'his companion')² [Ibid.: 32, 114, 22]. Numerous other facts (e. g. the usual rendering of *γ* as *g* in Slavic words and proper names of Greek origin, as well as the onomastic materials collected in [Свод... 1995]) leave no doubt that the preservation of the non-palatal *γ* was, at least as a feature of learned pronunciation, absolutely possible throughout the Middle Greek times and that therefore the letter sequences *γε*, *γη* could be freely used for rendering foreign *ge* or *gi*. Additionally, there always existed an opportunity of rendering a foreign intervocalic *j* with *ι* (as in *Βαϊανὸς* = Bulg. *Bajan* [Ibid.: 228–229] etc.). Therefore the traditional reading of all *gamma*'s in the

² This example is especially important due to the likeness of spellings between *ορταγή* and *ταρρογη* from the Buyla inscription.

Buyla inscription as «g's» (or aspirated «γ's») must be considered much more probable than the new suggestion.

3. The book by R. Göbl and A. Róna-Tas contains on pp. 18–19 a collection of 14 attempted decipherments of the Buyla inscriptions; some earlier attempts are mentioned on pp. 11–16. The vast majority of scholars started with the assumption that the text belongs to a Turkic language (or even took its Protobulgarian origin for granted). However, this common starting point produced most variegated results, as the comparison of selected translations (belonging to specialists whose Turkological knowledge stands beyond question) shows:

Le zoapan Bouila a achevé la coupe, (cette) coupe à boire qui par le zoapan Boutaul a été adaptée à être suspendue [Thomsen 1917: 24].

Der Zoapan Buila hat graviert den Kampf, der Zoapan Butaul hat das innere Kreuz graviert [Mladenov 1927: 335].

Die Schale des Boila Čaban, in seinem Auftrag wurde sie ausgeführt; Botaul Čaban hat ihr die Schnalle machen lassen, seine Trinkschale ist sie ([Németh 1932a: 1]; cf. also [1932b: 10, 1972: 13]).

(paraphrased) Der Buila čupan tayši hätte hiernach seinem älteren Bruder (*ičikā*), dem himmlischen erhabenen Prinzen (*tānrogi tayši*), diese Schale geweiht [Haussig 1985: 30].

It is Buyla Žoapan who carries the bowl. Drinking bowl, made by But Aul Žoapan [Erdal 1988: 233].

Die Burg des Buyla župan werde ich bauen lassen. (Ich,) Butaul župan, werde die innere Burg (zu bauen) anfangen [Róna-Tas 1990: 27].

Needless to say, each of these tentative interpretations demanded both introducing numerous conjectures and amendments in the text of the inscription itself³ and constructing a Turkic idiom with otherwise unattested (and sometimes hardly imaginable) combination of phonetic, grammatical and lexical peculiarities. The detailed analysis of weak points in these interpretations is hardly necessary: they obviously contradict and dishabilitate each other, and the fact that A. Róna-Tas in his summary report from 1995 refrained from supporting any of the versions (including his own) is enough eloquent. The idea that the language of the Buyla inscription is Turkic remains natural and attractive (taking the history of the corresponding area into consideration), but it repeatedly leads the studies to a deadlock.

4. My search in another direction was prompted mainly by the following two observations:

4.1. The inscription includes three words with the same ending *-gi* preceded by a vowel: ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ, ΤΑΓΡΟΓΗ, ΗΤΖΙΓΗ. It is natural to assume that all three words occur in the same grammatical form and fulfil the same syntactic function, most likely the predicative one; so one must think of languages which have this or a similar end-

³ It is almost universally assumed that the engraver — poor devil! — knew neither the Turkic language nor the Greek script, and that nobody possessing this knowledge cared to control his work. The entire philological experience proves, however, that assumptions of that kind (and they occur, regrettably, too frequently) signalise only the inadequacy of interpretations — not of the texts in question.

ing. This observation is not new (cf. already [Keil 1888], referred to in [Göbl, Róna-Tas 1995: 14]). However, this circumstance could not be taken into consideration in the numerous attempts to decipher the text: the Turkic languages do not know an ending like *-Vgi* in systematic grammatical use.

It is Tungus-Manchurian that fits this demand: here one of the most frequent, widespread and archaic verbal forms of 3Sg is reconstructed as **-ra-gī* (with harmonic variants like **-re-gī* and with variants determined partly by the assimilation of the initial consonants and partly by the conjugation class like **-da-gī*, **-ta-gī*, **-sa-gī*, **-ca-gī*, **-la-gī*, resp. **-de-gī*, etc.), see [Menges 1943: 243; Benzing 1955: 128–133; Суник 1962: 215–228]. In modern Tungus-Manchurian languages this form underwent contraction⁴ and appears as Manchu *-ra*, Nanai *-ri* (dial. *-raj*) after long and *-j* after short vowels, Ulcha *-ri*, Oroch *-j*, Udehe *-i*, Solon *-ri*, Negidal *-ji*, Evenki and Even *-rī* (with numerous variants which either go back to the above mentioned proto-language allophony — see e. g. [Janhunen 1991a: 79] — or result from later morphonological changes). Like most finite and semi-finite verbal forms in the Altaic languages, this form seems to originate from a participle (or gerund) and combines at least in some languages non-finite and finite meanings: Nanai *xolaj naj* 'the reading man', *naj xolaj* 'the man is reading / reads' [Суник 1962: 223]; Evenki (dial.) *emerī* 'coming, приход', *emerīw* 'I have come, я недавно пришел' [Василевич 1958: 706]. It is qualified as nominal aorist form (Benzing), as present participle serving as the base for finite forms of the (immediate) past tense (Sunik), etc. Below it is referred to as (predicative) participial aorist or (attributive) aorist participle.

4.2. For one of the two proper names in the inscription, BOYTAOYA, a Turkic interpretation has been suggested by Gy. Németh [1932b: 8] and accepted in later research [Göbl, Róna-Tas 1995: 23]: *Butaul* = *Bota-ul* < *Bota-oyul* 'Bota's son', cf. the Turkic name *Bota*. This explanation is not faultless because: a) the contraction *oyu* > *u* (*ū*, *ō*) in the word for 'son' is a relatively late development of Kipchak and Siberian Turkic unknown in Ancient Turkic and Bulgar Turkic; b) according to the dominant model of Ancient Turkic (as well as Modern Turkic) patronyms, one could expect the construction 'Bota's son' to include the possessive form *oylı*, *oylu* rather than the absolute form *oyul* (*ul*); this second model of patronyms (represented e. g. by the Tuvian names in *-ool*) is — according to Peter Zieme's personal communication (March 1999) — either very scarcely attested or even totally absent from Ancient Turkic sources.

On the other hand, the name BOYTAOYA shows striking similarity to the typical masculine proper names in *-wul* which are wide spread in Evenki (*Guriwul*, *Berkewul*, etc., cf. [Василевич 1958: 748]). If the name in question sounded *Butawul*, the absence of a special letter for *-w-* before *-u-* in its rendering with Greek letters is expectable. One can naturally only guess about the meaning of the stem *Buta-*, but the Tungus-Manchurian languages provide us with at least one very likely explanation: **buta-* 'to hunt, to fish' [TMC I: 108], attested in Juchen, Manchu, Nanai, Ulcha, Udehe, and Oroch, hence *Butawul* 'Hunter, Fisher'.

⁴ Incidentally, through the intermediary stage **-ra-jī* etc.; this contraction, which affected all Tungus-Manchurian languages, must have occurred quite early. This means that even the interpretation of all *-ΓH* in the inscription as *-ji* or *-jī* (see 2.2) remains compatible with the Tungus-Manchurian reading suggested here.

4.3. The above considerations can be regarded only as indicative, but by no means decisive. The crucial moment consists, in my opinion, in the fact that after «extracting» the presumable endings of participial aorist from ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ, ΤΑΓΡΟΓΗ, ΗΤΖΙΓΗ one easily and immediately recognises three verbal stems which: (a) are attested throughout the Tungus-Manchurian family and occur in many sources dealing with the Proto-Tungus-Manchurian reconstruction; (b) form together a uniform and relatively transparent semantic context.

These three stems in question are **jüge(t)-* 'to change, to exchange, to replace' ([TMC I: 270]; [Старостин 1991: 225] as **jügē-*), **tāg-* 'to recognise, to acknowledge, to learn' ([TMC II: 149]; [Janhunen 1991a: 79] as **taag-*, with the aorist suffix **taag-ra-*), and **ič(e)-* 'to see, to look, to observe' (cf. [Цинциус 1949: 308]; [Benzing 1955: 22] as **ičā-*; [TMC I: 334-335]; [Старостин 1991: 214] as **iče-*). Placing these verbs into the context of the inscriptions we obtain a text saying that two regional leaders (zhupans) replace, recognise and supervise somebody (or each other), or maybe are themselves being replaced, recognised and supervised — in other words, behave like regional leaders of all times and are indulged into normal political and administrative activities⁵.

4.3.1. ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ.

The TM stem **jüge-* (perf.), **jüget-* (imperf.) 'to change, to exchange, to replace' [TMC I: 270] is well attested in most languages, e. g. as Evenki *jüget-*, Orok *du(w)je-li-*, etc. The form of 3Sg of participial aorist of the imperfective stem: **jügetegī* or **jügetegī* < **jüget-regī*. In Manchu, where this stem is not preserved, the development **jü* > *dü* (> Late Manchu *du-*) could be expected, as in the Orok form of this stem or in Manchu *duksi* 'bilberry, whortleberry' < TM **jüxi-kte-* [Цинциус 1949: 211; Benzing 1955: 36, 42]. The phonetic development **j* > *d* occurs also in other TM languages (systematically, however, only in Orok). Another process that is not uncommon in TM is the weak labial attraction [Benzing 1955: 20], which could produce the effect **ä* > *ö* (*ü*) after the labial vowel of the first syllable. Therefore the spelling ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ may render not directly the proto-form like **jüget(t)egī*⁶, but rather its dialectal developments like °*düget(t)egī*, °*düget(t)ögi*, °*düget(t)ügi* resp. (with shortened end vowel) °*düget(t)egi*, °*düget(t)ögi*, °*düget(t)ügi*, being transcriptionally exact.

4.3.2. ΤΑΓΡΟΓΗ.

The reconstruction of TM **tāgragī* 'recognition, (has) recognised' raises no doubts. One may perhaps speculate on the phonetic reasons of rendering the long *ā* in the first syllable with A, and of the short *a* in the second syllable with O (the first type of rendering occurs also in БОУНЛАА, ЗОАПАН ~ ЗЛАПАН, БОУТАΟΥА). An explanation that lies close at hand consist in assuming that the Tungus-Manchurian language of the inscription was (partly) affected by the phonetic development which was in the 8th and 9th centuries gradually spreading through the Proto-Slavic dialect continuum: the change of **ā* to *a* and of **ā* to *o*. The symbiosis with the Early Slavs (see the rich literature on the issues of the Avar-Slavic relationships) could in principle be responsible for the penetration of this phonetic innovation also in the language of the Buyla inscription.

⁵ Rather than into producing, engraving, and buckling bowls (as it is suggested by most popular versions of reading the inscription in Turkic).

⁶ In this case we were to assume the rendering of *jü* with ΔΥ (*dü*) — which looks by no means impossible.

The partici
structed as *i
[Benzing 1955
in Even ič- and
derivatives of
ičā- 'to shov
the archaic
form of the p
germination) °
even assumed
of the initial
the usage of η

5.1. The p
less clear. My
name BOYT

Perhaps i
BOYHAA, b
treatment in
cannot be ex
bearers or to

The title:
mill., and re
lands that ad
essary ([Ibid
[Zett 1975])
-aa-: one cc
other Greek
otherwise th
unique spell
And, if so, i
1955: 26, 1
group of te
second part
comparison
ments of zh
mation from
phonetic ch
scription.

5.2. TE:
studies, and
In the f
middle of th

⁷ An ad
low, 6.3) su
was a Tung

4.3.3. HTZIIH.

The participial aorist of TM *iče- 'to see, to observe' should be probably reconstructed as *ičeregī or (if the stem belonged to the conjugation classes II or III, see [Benzing 1955: 123–128]) resp. *ičesegī or *ičedegī. However, the consonantal stem in Even *ič-* and Orok *it-*, as well as the variation of vowels in the second syllable in the derivatives of other TM languages (cf. Evenki *ičulī-* 'to check, to investigate', Nanai *ičūči-* 'to show', Solon *išō-* 'to appear', see [TMC II: 334–335]) may bear testimony to the archaicity of the corresponding stem without the final vowel. If so, the expected form of the participial aorist could have been (with assimilation) °iččegī, (after degemination) °ičegī and even (with attraction/assimilation of vowels) °ičigī. It can be even assumed that the spelling HTZIIH correctly renders stressed character and length of the initial and final vowels as opposed to shortness of the medial vowel (cf. 2.1 on the usage of *η* and *ι*).

5.1. The proper names and titles in the Buyla inscriptions have always been more or less clear. My suggestion concerning the presumably Tungus-Manchurian origin of the name BOYTAOYA has been formulated above (4.2).

Perhaps it were possible to find a tentative TM etymology also for the name BOYHAA, but this is hardly necessary: on the one hand, it received a most persuasive treatment in [Göbl, Róna-Tas 1995: 22–23] and, on the other hand, it must not and cannot be expected that personal names belong either to the language of the name-bearers or to the language of the document mentioning these names (cf. [Ibid.: 23])⁷.

The title *zhupan* (in its different phonetic version) was in the last centuries of the 1st mill., and remained afterwards, so wide spread in the Carpathian basin and adjoining lands that additional comments to the word ΖΟΑΠΑΝ, ΖΩΑΠΑΝ are also hardly necessary ([Ibid.: 24–25] as well as rich etymological literature devoted to this title, e. g. [Zett 1975]). The only striking circumstance consists in the Greek spelling with -οα-, -ωα-: one could rather expect this word to be spelled with *ov*, *ω*, or *ο*, as in numerous other Greek renderings of the same title (see [Moravcsik 1958: 131–132]). As long as otherwise the Greek transliteration seems to be very exact, it can be suspected that this unique spelling renders the pronunciation of the title in the language of the inscription. And, if so, its first part can be tentatively compared with TM *žu(w)a(n) 'ten' [Benzing 1955: 26, 101; TMC I: 248], Nanai *žoā*, *žoa(n)-* id., Manchu *žuwanda* 'foreman (in a group of ten units or persons)'. If a plausible Tungus-Manchurian source also for the second part -*pan* can be found (my search in this direction remained fruitless), this comparison may constitute a sound alternative to other suggested etymological treatments of *zhupan* (to Slavic *župa* 'district' — unless this word is not itself a back formation from the title, etc.). If not, this comparison may explain the folk-etymological phonetic change underwent by the foreign title *zhupan* in the language of the Buyla inscription.

5.2. ΤΕΣΗ, ΤΑΙΣΗ (the identification of both spellings is a commonplace of former studies, and I do not see any need to reject this tradition).

In the framework of the suggested interpretation *tesī* (*tesi*) remains the last lexical riddle of the inscription — and obviously must play the key role in its reading. There

⁷ An additional consideration: at least one of the resulting interpretations of the text (see below, 6.3) suggests that it was Buta(w)ul, but not necessarily also Buyla, whose native language was a Tungus-Manchurian idiom.

seem to be no obvious «candidates» for direct (without conjectures, etc.) identification in the lexical material of contemporary Tungus-Manchurian languages. Still, I venture to suggest a solution which is by no means the sole one — but looks very probable.

The TM verbal stem **teg(e)-* 'to sit down' (Ev. *tege-* etc, see [Benzing 1955: 30] as **tägä-*; [TMC II: 226–228]; [Старостин 1991: 214] as **tege-*) is attested as Manchu *te-* with the meanings 'to sit, to sit down; to sit enthroned; to hold a post, a seat' ('сидеть, садиться, восседать; занимать должность, место'). The «administrative» meaning of this stem is evidently archaic, perhaps even common TM, as evidenced by the following derivative of **teg(e)-*: Evenki *tegemēr*, Even *təγamer/təγamēr/tegemēr*, Oroch *teyemeri* 'tsar' [TMC II: 228]⁸.

In Manchu this (or a similar) derivative is, according to [TMC], not attested — a fact that can hardly be surprising, because all political terminology of this language consists of Chinese and Mongolian loan-words. However, the most commonly used suffix of nomina agentis in Manchu is *-si* (*adulasi* 'herdsman' from *adula-* 'to graze', *medesi* 'messenger' from *mede* 'message', *učulesi* 'singer' from *učule-* 'to sing', etc; s. [Болдырев 1987: 55]). That determines the semantic transparency and derivational plausibility of the non-attested **tesi* 'king, monarch' (or maybe only 'seat-holder, high-ranked person'), semantically parallel to Evenki *teyemēr*, in a TM language relatively close to Manchu⁹.

The fact that, similar to the title *zhupan*, the word in question is repeated in the inscription twice strengthens the probability of treating it as another title.

6. Summing the above interpretational and etymological suggestions up, we receive the following word-for-word translation of the Buyla inscription:

zhupan Buyla «king» replaced zhupan Butaul recognised supervised «king»

(the quotation marks signalise that the «king» may be actually any privileged person, from a senior district official up to the Byzantine basileus, the emperor of the Franks, or the Avar khaghan).

The absence of grammatical markers (with the exception of the verbal/participial ones) makes the syntactic roles of individual words unclear. This is a most serious obstacle to understanding the text unequivocally.

6.1. One possibility consists in treating the text as composed of nominal predicative phrases with omitted copulae (existential verbs)¹⁰ and with aorist participles used — in accordance with the syntactic rules of Tungus-Manchurian — in preposition to substantives:

⁸ It is worth mention that the same semantic derivation is attested also in Selkup, a language with a long history of Tungus-Manchurian influences: Selkup (Taz) *šmij' qon* 'tsar, king', derived from *šmij-* 'to sit'.

⁹ I must mention, however, a phonetic problem that arises in connection with this explanation: one must assume the early loss of intervocalic (or stem-final) *-g-* in **teg(e)-*, while in other cases the language of the Buyla inscription seems to have preserved this consonant (see above). It can only be remarked that problems of that kind frequently accompany the attempts to give an accurate description of the reflexes of «weak» consonants in Tungus-Manchurian (and in other Altaic, as well as non-Altaic) languages. Just one example: TM **daga* 'root' is attested in Negidal as *dā*, though normally *-g-* is preserved there as *γ* (TM **daga* 'near' > Negidal *dāγa*).

¹⁰ There are numerous examples of such syntactic constructions in Evenki [Колесникова 1966: 119], in Nanai [Авrorин 1981: 93ff.] and in other Tungus-Manchurian languages.

Zhupan Buyla (is the) «king». (The) replacing zhupan Butaul (is the) recognising (and) supervising «king». (Alias: Zhupan Buyla is and remains the king, but — during his absence or disease — his deputy zhupan Butaul fulfils the administrative duties.)

This reading is perhaps the simplest one. However, I can hardly imagine a situation when such a message should be engraved on a gold bowl (for whom?) rather than announced through horse-riding heralds, etc.

6.2. Another, and perhaps a better, reading, can be obtained by ascribing the passive meaning to aorist participles:

Zhupan Buyla, (the) «king», (is) replaced. Zhupan Butaul (is the) recognised (and) supervised «king».

I am, however, inclined to reject this version as long as the aorist participles in **-ra-gī* are normally employed in the Tungus-Manchurian languages as active participles (unless the verb itself is supplied with a passive marker).

6.3. A principally different, and more sensible, reading derives from the following considerations:

(A) Though all Tungus-Manchurian languages inherit the object (accusative) marker **ba*, its usage is in the Southern group non-obligatory, especially with indefinite objects [Benzing 1955: 79]. V. A. Avrorin in his book on Nanai syntax devoted a big chapter to nominative objects, indicating that in some texts they occur as frequently as the accusative ones [Аврорин 1981: 151–158].

(B) Though the canonical word order in the Tungus-Manchurian languages is SOV, all grammatical descriptions as well as texts indicate ample possibilities of deviating from this word order in emphatic construction. The text of the Buyla inscription can be expected to be declarative (with an emphasis) rather than narrative.

(C) If the Buyla inscription is a translation from some other language (e. g., from Greek, from Slavic), it can be expected to be a word-for-word rendering of the original text, with the non-Tungus-Manchurian (or untypical) syntax preserved.

These considerations permit me to suggest the following third version of interpreting the text (taking the employment of Greek letters into consideration, it is the basileus who can be considered the most probable candidate for ΤΕΣΗ / ΤΑΙΣΗ):

The basileus has displaced (or: displaces) Buyla as zhupan. The basileus has recognised and supervised (or: recognises and supervises) Butaul as (the new) zhupan.

or even (treating the text of inscription as a performative speech act):

The basileus declares the displacement of Buyla as zhupan. The basileus declares his recognition and watch over Butaul as (the new) zhupan.

Such a text may be authentic, though syntactically aberrant (from the viewpoint of dominating syntactic models in the contemporary Tungus-Manchurian languages). Even more likely, it can be a word-for-word translation from an Indo-European language with a free word order — for example, the translation of the text which corresponds syntactically to the following, syntactically adequate, Russian text: *Буйлу-жупана император сменяет. Бутаула-жупана признает и контролирует император.*

It is this last reading version that produces perhaps the most plausible scenario, explaining also the circumstances under which the Buyla inscription came into being: *After a political change in the southern part of the Avar khaghanate, which could have occurred even without any direct Byzantine participation, Constantinople seeks the ways to reaffirm its (formal rather than real) sovereignty over the region and strengthen the ties to the new zhupan Butaul. The latter is therefore presented with a gold bowl (and possibly other gold objects belonging to the treasure of Nagy-Szentmiklós). An inscription engraved on the bowl serves as the act of diplomatic recognition on the basileus' side. As a token of special respect, this inscription is translated into Butaul's native language.*

6.3.1. This last reading version (which seems to be more promising than those in 6.1 and 6.2) and the corresponding scenario lead to the following suggestions concerning the gold bowl XXI and perhaps also the other objects belonging to the treasure:

(a) they were produced in Byzantine artisan shops, so that e. g. the portrayal of a victorious nomad warrior on gold jar II [László, Rácz 1983: 53–55] and other engraved scenes can be viewed as the continuation of the tradition of the famous «Scythian» vases with the scenes from the Scythian life (which were produced in ancient Greece) and not as specimens of «steppe art»;

(b) they can be dated with the time when the Byzantine presence or even domination in (contemporary) Banat and in adjoining regions was possible, perhaps before the invasion of Danube Bulgarians (ca. 670–680) or, less likely, after the victories of Byzantium over Bulgaria (mid-10th century).

Both suggestions remain within the limits delineated by the previous studies on the treasure of Nagy-Szentmiklós.

6.4. It goes without saying that the above three versions do not exhaust the possibilities of interpreting the Tungus-Manchurian text, and especially of speculating on its possible historical connotations.

7. The assumption that a Tungus-Manchurian idiom was spoken in the Carpathian basin in the Avar times is naturally a much more serious claim. It must be stressed, however, that: (a) neither Turkic nor Mongolic origin of the Avars has been until now proven; (b) according to the wide-spread view, the Avar tribal confederation was not linguistically uniform¹¹; (c) the Tungus-Manchurian affiliation of the language of the Buyla inscription certainly does not suggest that this was the only or the dominating language of the Avars.

Another, and extremely important, piece of evidence must necessarily be mentioned in this connection. István Futaky in two articles [1970, 1973] indicated some probable borrowings from Tungus-Manchurian into Hungarian, and at least four of his etymologies (for Hung. *beteg* 'ill', *oldal* 'side', *hamar* 'quickly', *kanál* 'spoon') appear to be faultless¹². One can see here another trace of the Tungus-Manchurian presence in the Carpathian basin, or at least far enough in the West to reach the Proto-Hungarians.

¹¹ «It should hardly be surprising that the European Avars were an entirely mixed tribal confederation, with an Inner Asian core, in which a number of Altaic and non-Altaic languages were spoken» [Golden 1992: 111]. Cf. also [Ligeti 1986a; Golab 1992: 394 ff.].

¹² The fact that they are not accepted in the contemporary Hungarian etymological lexicography is a problem of the latter — not of the quality of I. Futaky's comparisons.

7.1.
Proto-Tu
daughter
chu. Th
Manchu
some pr
7.2.
person v
serve ou

7.1. The language of the Buyla inscription appears to be relatively close to the Proto-Tungus-Manchurian — closer anyhow than to any of the later or contemporary daughter idioms, though some features can be viewed as Southern or even Early Manchurian. This agrees with the relatively late dating of the dissolution of the Tungus-Manchurian unity (first half or middle of the 1st mill.) which the author assumed in some previous studies (see e. g. [Хелимский 1985б: 210]).

7.2. If the above assumptions concerning the Buyla inscription are correct, both the person who prepared the Greek transliteration and the goldsmith who engraved it deserve our gratitude: the text contains no misspellings and needs no amendments.

САМОДИЙСКО-ТУНГУССКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ИХ ЭТНОИСТОРИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ*

Достижения последних лет в лексикографической и этимологической разработке тунгусского (тунгусо-маньчжурского) и самодийского материалов [ТМС; SW] позволяют уточнить и существенно расширить список сопоставлений. Их пополненный перечень показывает, что по суммарному числу параллелей в самодийской лексике тунгусские языки уступают только финно-угорским. Такую ситуацию можно считать закономерной, учитывая сочетание определенного числа исконно общих элементов — наследия ностратической, восточно-ностратической и (возможно) урало-алтайской эпох — с языковыми следами длительных взаимодействий вдоль самодийско-тунгусской этнической границы, пересекающей с юга на север всю Сибирь. Данная работа опирается на корпус примерно 300 лексических параллелей контактного происхождения, свыше половины из них ранее не привлекались к рассмотрению. Разумеется, сопоставления неоднородны с точки зрения хронологии и языкового охвата. Наиболее многочисленные группы образуют прасамодийско-пратунгусские соответствия (около 70, включая более 20 слов заведомо самодийского и около 10 слов заведомо тунгусского происхождения), тунгусские и эвенкийские заимствования в селькупском (не менее 40), заимствования в эвенкийском из отдельных самодийских языков (более 35), прасеверносамодийско-пратунгусские соответствия (около 35, включая около 15 слов заведомо тунгусского происхождения). Во многих случаях вопрос о направлении заимствования еще требует дополнительного изучения.

Многочисленность и разнообразие соответствий делают их чрезвычайно важным (и пока еще почти не использованным) источником для изучения как внутренней, так и внешней истории самодийских и тунгусских языков. Мы сосредоточим внимание на втором из этих аспектов, рассмотрев некоторые этимологии (и группы этимологий) с точки зрения тех внешних предпосылок, которыми могли быть обусловлены соответствующие заимствования.

Вопреки высказывавшемуся в последнее время мнению об относительно позднем характере самодийско-тунгусских лексических связей [Futaky 1973: 33; Janhunen 1977: 127] существует более правильная, как нам представляется, точка зрения о том, что интенсивные контакты имели место еще в эпоху, предшествовавшую распаду самодийского и тунгусского праязыков, т. е. до рубежа новой

* Впервые опубликовано в: Урало-алтаистика: археология, этнография, язык. Новосибирск, 1985. С. 206–213.

эры. Особенно показательна этимологическая общность ряда элементов базисной, сравнительно слабо проницаемой лексики: ср. ПС **nā* 'человек, некто' ~ тунг. **niā*; ПС **kājwā* 'бок, сторона' и **kājwāiā* 'ребро' ~ тунг. **x'ew* и **x'ewte* (примечателен параллелизм как производящих основ, так и дериватов); ПС **op* 'один' ~ тунг. **up-kat*, **up-kal* (формы с усилительными суффиксами) 'весь, целый'; ПС **jeppā* 'быть горячим' ~ тунг. **jeppō* 'теплый'; ПС **māpsz* 'смотреть' ~ сев.-тунг. **mūnsi*- и др.¹

Определение относительной (а по возможности и абсолютной) хронологии фонетических изменений в обоих праязыках позволило бы по лингвистическим данным датировать начало самодийско-тунгусских контактов. Во всяком случае, начальная стадия одного из таких изменений (урал. **s*, **š* > ПС **t*) относится, видимо, не позднее чем к началу I тыс. до н. э. [Хелимский 1982а: 125]. Вместе с тем имеется несколько заимствований, которые должны были быть сделаны до этого изменения: ср. тунг. **saja(n)* 'палец' < ранне-ПС **sāja* (> ПС **tāja* > матор. *taja*) < ПУ **suḍa*; тунг. **sire* (или **šire* — ср. маньчж. *šeri*) 'родник, ключ' < ранне-ПС **šörz* (> ПС **törz* > сельк. *tērā*) < ПУ **šerā* или **šārā*; ПС **tālkā* 'развилка' < ранне-ПС **sālkā* < тунг. **sālgā(n)* (~ монг. **salγa*- 'отделять').

Установление контактов между двумя праязыками могло явиться следствием продвижения самодийцев из Обь-Иртышья или какого-то иного региона в таежной зоне Западной Сибири² на восток и их приближения к территории тунгусской прародины. Последнюю (по крайней мере, для начала новой эры) принято локализовать в Прибайкалье, включая его западную часть (распространение тунгусских языков на Дальнем Востоке явилось результатом более поздних миграций) [Menges 1968]; в то же время прародина, или, по удачному выражению К. Менгеса, *Urwandergebiet*, тунгусов могла охватывать и огромные сопредельные пространства Средней и Восточной Сибири. Во всяком случае, выйдя к Енисею, самодийцы уже застали там тунгусов. Об этом говорит прасамодийское название реки — **jentāsš* (нен. *Jen(ā)ša-jam*?, эн. *Dēdosi*?, нган. *Dēntadiā*, сельк. (южн.) *Nandesī*), которое заимствовано из тунг. **Jendesi* (эвенк. *Jendeyi*, *Jendreyi*, в записях XVIII в. *Joandesī*). Об исконности тунгусского гидронима свидетельствуют наличие у него нарицательного значения (большая река, исток большой реки) и словообразовательная вторичность по отношению к тунг. **jenē*/*jenē* 'река (большая)'. Этноисторические импликации данной этимологии весьма существенны. С одной стороны, она доказывает, что прибайкальская прародина тунгусов достигала на западе Енисея, с другой — сохранение заимствованного самодийцами названия Енисея с его исходной географической соотнесенностью было бы нереальным при удалении от бассейна этой реки в ходе дальнейших миграций. Примером тому служит судьба ПС **jentāsš* в тазовском диалекте селькупского языка, где его рефлекс *čēntis* означает 'море' и встречается в фольклоре как название места сказочного действия; вероятно, название Енисея превратилось в

¹ Отсутствие у перечисленных (и ряда других) слов надежных уральских (с самодийской стороны) или алтайских (с тунгусских сторон) этимологий затрудняет установление языка-источника, оставляя открытой возможность влияния какого-то третьего языка, субстратного по отношению к прасамодийскому и пратунгусскому.

² Лингвистические данные по проблеме прародины самодийцев и их миграций см. [Хелимский 1983б, <1991>].

географическую мифологему еще в тымско-ваховский период истории тазовских селькупов. Здесь же можно указать и вероятный перенос названия Енисея на Иртыш или Конду в диалекте лесных ненцев (ср. *Jeñša kārbat* 'Кондинск'). Следует поэтому предполагать следующие обстоятельства, обеспечивающие сохранность семантики рассматриваемого гидронима: а) к моменту распада языковой общности прародина самодийцев или включала в себя часть бассейна Енисея, или прилежала к нему; б) в ходе дальнейшего расселения северных самодийцев они не удалялись от Енисея на значительное расстояние, а, скорее всего, продвигались на север вдоль течения этой реки (так же, как позднее кеты); в) близко от Енисея обитали на всем протяжении своей истории и южные селькупы. Отметим, что большинство сравнительно немногочисленных монгольских заимствований, возможно, проникло в самодийский праязык через тунгусское посредство. Ср., например, ПС **ton* или **toḍn* 'число' (> 'сто') при ср.-монг. *to'an* и маньчж. *ton*, ПС **jesin* 'силок' при монг. *degēsün* 'веревка' и эвенк. *desun* 'веревка, петля, аркан'. Такая ситуация вполне допустима, если учесть, что пратунгусы Прибайкалья находились между территорией проживания самодийцев Обь-Енисейского региона и местами расселения прамонголов (по-видимому, в Восточной Монголии).

Наличие определенного числа прасеверосамодийско-пратунгусских (или практически неотличимых от них прасеверосамодийско-древнеэвенкийских) параллелей свидетельствует о сохранении, а возможно, и об активизации контактов северных (в то время, вероятно, еще восточных или северо-восточных) самодийцев с тунгусами после распада самодийской языковой общности. Представляется, что продвижение самодийцев на север (вдоль Енисея) проходило по территории, уже частично заселенной какими-то периферийными группами тунгусов. Наиболее интересны в этом плане, на наш взгляд, несколько тунгусских заимствований, связанных со специфически циркумполярными природными реалиями: ПСС **jānor* 'тундра' (эн. *deu*?, мн. ч. *deuro*?, нган. *dānur*) < тунг. **jan(ur-)* (эвенк. *jan* 'сопка-голец', *janurā* 'ровное место на горном хребте, мшистое место'; вряд ли оправданы сомнения в тунгусском происхождении нганасанского слова, ср. [Janhunen 1974]); ПСС **kārpā* 'северное сияние' (нен. *χarp*, эн. *kabo*? мн. ч.) < тунг. **garpa-* 'стрелять из лука; излучать свет, сиять', **garpa* 'луч'; ПСС **pāj* 'ольха' (нен. *pāj*, эн. *poja*) < тунг. **pulV* 'ольха, осина, тополь' (это заимствованное название произрастающей на севере Западной Сибири и в Восточной Сибири ольхи кустарниковой по фонетическим признакам [переход *u* > *ā*, субституция тунг. *l* в виде *j*], видимо, следует отнести к прасамодийской эпохе).

Заслуживает особого внимания обозначение эвенков в южно- и центрально-селькупских диалектах: (Нарым) *kyelom* и под. По нашему мнению, оно связано с тунг. **kēlōmel* **kēlēme* 'слуга, работник'³ и, таким образом, входит в довольно обширный этимологический разряд этнонимов, источниками или дериватами которых являются обозначения слуг (рабов) и которые возникали как отражение архаического института военного рабства (из близких территориально семантических аналогий ср. нен. *χābi* 'остяк; слуга, раб'). Возможно, именно из речи тунгусов-военнопленных, живших среди селькупов (или же от захваченных жен-

³ Фонетические трудности препятствуют принятию этимологии И. Футаки, объясняющего селькупское слово из тунгусского родового названия *Kile(n)*, ср. также ульч. *kilō* 'эвенк' [Futaky 1975: 24–25].

щин), бы
ские сло
значение
ваты тип
модийски
обстояте
'что', эн.
тельной
сельк. *q-*
ваниях и

Довол
модийски
языками.
наследие
первые в
пада тун
сделать
Отдельн
цы Енисе
направле
вовлечен
частност
ульч. *хо*
дение эт
(произво
того, в п
гать поз
niseza 'я
может от
3) нан. *l*
Впрочем
рус. *ли*
чить в к
**wāc* 'ог
скорее и
маньчж.

Особ
как поср
ний севе
путным
промыш
вскоре н
путь с С
верховья
логия, п
90; ЭСР
зано Е. I

шин), были усвоены такие высокочастотные и совершенно не терминологические слова, как *qaj* 'что' (тунг. **xai*) и *ašša*, *aša*, *aš* 'не' (тунг. **ā* — основа со значением отрицания; непосредственный источник селькупского слова — дериваты типа эвенк. *āšša*, удэг. *anči* 'нет, отсутствует'). Отметим, что и в северосамодийских языках соответствующая сфера лексики оказалась (в силу сходных обстоятельств?) проницаемой для тунгусских заимствований: нен. *ḡāwī*, *ḡāmgī* 'что', эн. (Л) *obi* отражают тунг. **xawū*/**xawgū* 'что' (дериват той же вопросительной местоименной основы, что и **xai*; различная рефлексация тунг. **x* — сельк. *q-*, при ПСС $\emptyset \sim \eta$ имеет место и в других необщесамодийских заимствованиях из тунгусского).

Довольно многочисленные лексические совпадения наблюдаются между самодийскими и «восточно-тунгусскими» (т. е. тунгусские языки без эвенкийского) языками. Естественно, здесь мы можем иметь дело с реликтивно представленным наследием прасамодийско-пратунгусских контактов или со следами связей в первые века новой эры (после завершения прасамодийской эпохи, но еще до распада тунгусской языковой общности). Имеющийся материал позволяет, однако, сделать еще одно немаловажное с точки зрения этнической истории допущение. Отдельные группы самодийцев (древние селькупы Приобья, северные самодийцы Енисея), возможно, были «захвачены» тунгусскими миграционными волнами, направленными из Енисейско-Прибайкальского региона на Дальний Восток, и вовлечены в этногенез «восточных» тунгусов. Такая гипотеза может объяснить, в частности, следующие предположительно поздние заимствования: 1) нан. *xorko*, ульч. *xorkū*, сол. *xukku*, удэг. *xuku* 'веревка'. Фонетически затруднительно возведение этих слов к пратунгусской форме, заимствованной из ПС **kurko* 'веревка' (производное от **kurā*- плести'), поскольку не ясна субституция *k* → *x*, а кроме того, в пратунгусской лексике **-rk-* > нан. *jk*, ульч. *č*. Скорее следует предполагать поздний самодийский источник типа нен. *ḡurko* 'веревка' (из **kurko*); 2) нан. *tūseza* 'ящерица': слово явно напоминает сельк. *tūšī* 'ящерица', хотя заведомо не может отражать прасамодийский источник этого селькупского слова (ПС **tānsā*); 3) нан. *līptoko* 'тапочки', ср. ПСС **līptət* 'меховые чулки' (нен. *līpt'*, эн. *lūtu*). Впрочем, можно думать и об очень позднем опосредованном заимствовании (ср. рус. *липты*, из нен.); 4) маньчж. *hečen* 'город, стена'. Нельзя, вероятно, исключить в качестве возможного источника сельк. **q***eššā* 'поселок, город' (из ПС **wāc* 'ограда, забор'); 5) эвен. *kēnde*, *kende* 'нарта (оленья), олень (упряжной)' — скорее из ПСС **kāntā* 'нарта', чем из более ранней формы — ПС **kāncā* (ср. маньчж. *xunčū(n)* 'санки' [Sinor 1975: 261]).

Особую группу составляют этимологии, которые отражают роль самодийцев как посредников между русскими и тунгусами. Проникновение русских на крайний север Средней Сибири морем началось раньше, чем были достигнуты сухопутным путем ее центральная и южная части. Так, в низовьях Енисея русские промышленники из Приморья появились не позднее второй половины XVI в. (и вскоре начали подниматься до Нижней и Подкаменной Тунгусок), в то время как путь с Оби через Кеть в бассейн среднего течения Енисея (и лишь затем к его верховьям) был освоен только в XVII в. Это обстоятельство не учитывает этимология, предполагающая южносамодийский источник рус. *Енисей* [Paasonen 1917: 90; ЭСРЯ II]. Действительным источником гидронима является, как было показано Е. Владимировым [1938], нен. *Jen(ā)ša-jam*?. Если учесть в конечном счете

тунгусское происхождение ненецкого названия, то оказывается в какой-то мере «реабилитированной» старая этимология Й. Э. Фишера, непосредственно связывавшего Енисей и эвенк. *Joandesi* [Fischer 1768].

Давно установленным фактом является самодийское происхождение слова, которым тунгусские народы называют русских. Эвенк. *lūča* (*lōča*, *niča*) 'русский', распространившееся далее во все тунгусские языки (нан., маньчж. *loča*, удэг. *lusa*, эвен. *niči* и др.), а также в якутский (*luča*, *niča*) и бурятский (*lūsa*), является заимствованием из нен. *lūca* 'русский' (см. [Donner 1928: 367]). Последнее восходит к древнененецкой форме **luātsā* (на это указывают ранние заимствования в соседние северосамодийские языки: эн. *luotā*, нган. *lū'ša*), которая непосредственно отражает приб.-фин. *rōtsa/ruotsa* 'скандинав, варяг' (фин. *Ruotsi* 'Швеция', *ruotsalainen* 'швед'). Ошибочным (в свете приведенной реконструкции) представляется толкование нен. *lūca* как заимствования из коми *roč* или хант., манс. *ruš* 'русский' [Donner 1928: 366; SKES IV: 876].

В известной мере «симметрична» судьба этнонима *тунгус*, распространившегося в русском и в европейских языках. Среди многочисленных этимологических предположений, высказывавшихся в связи с этим этнонимом, решительной поддержки заслуживает гипотеза Ю. Янхунена о его ненецком происхождении [Janhunen 1974: 3]. С учетом того, что именно с ненецкой и энецкой этнической территории русские впервые проникли в район расселения эвенков [Menges 1978: 367], заимствование нен. *tungo*?, *tungu*? (мн. ч. *tungos*?, *tungus*?) 'эвенк, тунгус' в русский язык оказывается вполне естественным. Бытующее мнение об обратном направлении заимствования, о вторичности ненецкого слова встречает существенные возражения: 1) слова с чередованием -*ʔ*/-*s*- представляют в ненецком языке сравнительно редкий морфонологический тип, и для заимствования была бы гораздо естественнее форма с сохранением -*s* в ед. числе (ср. нен. *śas* < рус. *час*, нен. *tuross* 'рубанок' < рус. диал. *спруж*); 2) ни одному из ненецких диалектов не известно никакое иное обозначение восточных соседей, кроме *tungo*?, причем оно широко употребляется в традиционном фольклоре не только сибирских, но и европейских ненцев (в том числе малоземельских, с закономерной фонетической модификацией в *tigu*?, мн. ч. *tiguśe*? (см. [Куприянова 1965: 371–382]); трудно представить себе, чтобы относительно позднее заимствование могло полностью вытеснить какие-то более ранние обозначения. Следует, впрочем, заметить, что источник нен. *tungo*? не вполне ясен. Возможно, им является эвенк. *tuŋu-ri-l* 'родня по свойству' (ср. [Joki 1959]) — в этом случае этимология слова, возможно, отражает существование в прошлом регулярных брачных связей между северными самодийцами и тунгусами. Имеются, однако, и некоторые родовые названия эвенков (*Donki*, *Donoj*, *Toŋkul*), которые в принципе также могли послужить источником рассматриваемого этнонима [Joki 1959]. Во всяком случае, нет оснований искать источник слова *тунгус* в языках Южной или Восточной Сибири, например, в якутском (ср. [Menges 1968: 8])⁴.

С начала XVII в. основной путь проникновения русских на Енисей и Лену пролегал через Маковский острог на р. Кеть, через этническую территорию селькупов. С этим связано то обстоятельство, что некоторые ранние русские заимствования попали в эвенкийский язык, видимо, через селькупское посредство. Ср.

⁴ <В связи с этимологией этнонима *тунгус* см. также [Helimski, Janhunen 1990].>

особенно ф
(Подкамен
эвенк. (Под
Совоку
на основан
зультатами
возникает
термины р
них заимс
нган. *naag*
нии в сост
1952: 23)).
терминов
'седло' < э
стилка под
валенты т:
ni'leka 'элс
нение хар
зацией эт
самодийск

особенно формы со специфическими адаптационными преобразованиями: эвенк. (Подкаменная Тунгуска) *sivĩŋša* 'свинья' при сельк. *siwĩnča* (> *sipĩnča*, *simĩnča*), эвенк. (Подкаменная Тунгуска) *lekarsē* 'лекарство' при сельк. *lekarsō*, *lekarsä*.

Совокупность тех самодийско-тунгусских лексических параллелей, которые на основании их распространения и фонетического облика можно признать результатами контактов нового времени, дает иную картину, нежели та, которая возникает при рассмотрении результатов древних связей. Названия частей тела, термины родства, местоимения и другие элементы базисной лексики среди поздних заимствований не представлены (пожалуй, единственное исключение — нган. *ñaagəə* 'хороший' из эвенк. *naa*, при том, что имеются данные о вхождении в состав нганасанов целых групп эвенкийского происхождения, см. [Долгих 1952: 23]). Преобладает так называемая культурная лексика (показательна серия терминов верхового оленеводства в говоре верхнетазовских селькупов: *ločiko* 'седло' < эвенк. *ločoko*; *tiŋaptiŋ* 'подпруга' < эвенк. *tiŋeptun*; *kumala* 'меховая подстилка под седлом' < эвенк. *kumalāŋ*), в отдельных случаях заимствовались эквиваленты табуизируемых слов (эвенк. [Сым] *korko* 'медведь' < сельк. *qorqi*; нен. *ŋileka* 'злой дух, вызывающий болезнь; волк' < эвенк. *ŋēleki* 'трус, волк'). Изменение характера заимствований, вероятно, обусловлено происшедшей стабилизацией этнических границ, а также расселением кетов в областях интенсивных самодийско-тунгусских взаимодействий.

К ИСТОРИИ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ЦЕНТРЕ АЗИИ: ДАННЫЕ МАТОРСКО- ТАЙГИЙСКО-КАРАГАССКОГО ЯЗЫКА*

Памяти Наташи Соколовской

В течение полутора тысячелетий, от гуннской эпохи до монгольских завоеваний, значительная часть исторических потрясений в странах цивилизованного мира была связана — прямо или косвенно — с импульсами, исходившими из Центральной Азии. Кочевники Монголии, Алтая, верховьев Енисея с удивительным постоянством вновь и вновь накапливали силы для экспансионизма общевразийских масштабов. Периодические волны их нашествий радикально меняли этноязыковую ситуацию в ряде далеких от центра Азии регионов. При этом, например, в Северном Причерноморье — на западной периферии Великой степи — изменения были настолько бурными, что черты культурной и языковой преемственности между отдельными эпохами (скифской, гуннской, аварской, болгарской, венгерской, печенежской, половецкой, татарской) или отсутствуют, или прослеживаются с чрезвычайным трудом.

Определенная парадоксальность состоит, однако, в том, что в регионе, включающем сам центр азиатского материка (обелиск «Центр Азии» стоит, как известно, в Кызыле) и его ближайшие окрестности, этноязыковая ситуация, по-видимому, не была подвержена столь же бурным изменениям и даже обладала известной стабильностью, особенно если иметь в виду территориальное соотношение не отдельных племен и племенных союзов, а крупных этнических единств. Хотя археологические материалы, известия китайских хроник и косвенные лингвистические свидетельства не могут восполнить дефицит прямых документальных данных, особенно для раннего периода, имеется немало указаний на длительное сохранение такой стабильности. Так, на большей части Алтая и Тувы на всем протяжении рассматриваемого нами периода вряд ли присутствовал какой-либо автохтонный этнический элемент, кроме тюркского [Этническая история... 1984, passim]. По крайней мере уже на рубеже н. э. Западная Монголия была ареалом расселения тюркоязычных, а Восточная — монголоязычных племен [Menges 1968a: 55–56]; даже натиск киданей в X в. [Кызласов 1984: 79] и затем создание империи Чингисхана не привели к вытеснению тюрков из Западной Монголии, а лишь к численному сокращению тюркоязычных групп и их постепенной ассимиляции, продолжающейся до настоящего времени [Брук 1981: 489–

* Впервые опубликовано в: Синхрония и диахрония в лингвистических исследованиях. Ч. II. М., 1988. С. 153–166.

490]. Гр
ми, начи
и таежн
к северу
условия:
показате
предпри
в тунгу
своей хр
дела, од
Суше
признат
рически
лексики

Этот
вины, о
века, за
и удовле
между 1
1987а]; Г
караг. ди
бликаци
этих и р:

Исто
нья — н
соедине
1957]; с
штейн 1
дийцах
ничье-ол
чать, что
ли може
ным мож
самодий
беже н.
ней Обь
локализ
гласован
per 1920
рые доп
мой сам

1. Ре
(Carpeol
женное

1 <В
ется прос

490]. Граница между тюрко-монгольскими и тунгусо-маньчжурскими племенами, начиная с древнейшего периода, примерно соответствовала границе степной и таежной зон [Menges 1968: 6], а начавшееся в X–XI вв. смещение этой границы к северу в циркумбайкальском регионе носило характер медленного процесса в условиях тесного бурятско-эвенкийского контактирования [Бураев 1986]. Весьма показательны и данные изучения межъязыковых заимствований — в частности, предпринятое Г. Дерфером [Doerfer 1984a] исследование монгольских элементов в тунгусо-маньчжурских языках, демонстрирующее, что они различаются по своей хронологии, но что различные хронологические слои отражают, по сути дела, один и тот же тип историко-культурных взаимодействий.

Существенным дополнением к этим соображениям (которые — необходимо признать — в той или иной мере могут быть оспорены с позиций иных этноисторических концепций) могут служить результаты этимологического исследования лексики маторско-тайгйско-карагасского языка (МТК)¹.

Этот самодийский язык горных и предгорных районов Минусинской котловины, окончательно вышедший из употребления в первой половине прошлого века, засвидетельствован в нескольких достаточно представительных по объему и удовлетворительных с точки зрения качества записей словниках (Г. Ф. Миллер, между 1734 и 1740 — тайг., караг. и мат. диалекты, см. публикацию в [Helimski 1987a]; П. С. Паллас или один из участников возглавлявшейся им экспедиции, 1772 — караг. диалект, см. ту же публикацию; Г. Спасский, 1806 — мат. диалект, см. публикацию в [Potapov 1957]; см. также [Хелимский 1978, <1997>] с характеристикой этих и ряда других, первичных и вторичных, источников лексического материала).

Исторические и этнографические данные о самодийском населении Присянья — носителях МТК и камасинцах — относятся только к периоду после присоединения этого региона к Русскому государству (наиболее подробно [Potapov 1957]; см. также [Donner 1920: 1–6; Hajdú 1950: 92–97; Joki 1952: 25–33; Вайнштейн 1976, 1983]). Однако есть серьезные основания видеть в саянских самодийцах XVII–XIX вв. непосредственных потомков древнего самодийского охотничье-оленоводческого населения этого региона. Нам уже приходилось отмечать, что, хотя давно известная гипотеза о саянской прародине самодийцев вряд ли может считаться приемлемой в своем чистом виде, достаточно правдоподобным можно считать отнесение Присянья к числу периферийных зон расселения самодийцев накануне распада праязыкового единства (т. е., по-видимому, на рубеже н. э.) — при том, что основной зоной был скорее всего регион между Средней Обью и Енисеем, вокруг треугольника «Томск-Красноярск-Енисейск». Такая локализация, опирающаяся на лингвистические данные, вполне может быть согласована и с археологической историей территорий, о которых идет речь [Donner 1920; Вадецкая 1986: 98–99]. Сейчас имеется возможность указать на некоторые дополнительные лексико-этимологические аргументы, связанные с проблемой самодийской прародины:

1. Реконструируется прасамодийское обозначение козули, или дикой козы (*Capreolus capreolus*) — **pajt*¹z (т. е. **pajt*z или **pajcs*), непосредственно отраженное в камас. (Кастрен) *phôiu* 'wilde Ziege', (Доннер) *p'ô'du* 'коза, Capra

¹ <В более поздних публикациях — см. особенно [Helimski 1997] — этот язык именуется просто маторским, по имени наиболее полно засвидетельствованного его диалекта.>

sibirica' | койб. (Паллас) *pooto* 'Cervus capreolus', (Спасский) *pōdo* «коза» | МТК (Миллер) тайг. *hâschte*, караг. *hâschte* 'capreolus', (Паллас) караг. *châsta* 'коза', (Спасский) мат. *хаиша* 'коза'. Сильно расходящийся фонетический облик камасинско-койбальского и МТК слов исключает возможность позднего происхождения параллели; в тоже время реконструкция самодийского архетипа дает фонетически адекватное объяснение. Отсутствие соответствий в селькупском и северносамодийских языках вполне естественно: они распространены вне хабитата *Capreolus capreolus*, который в Сибири охватывает лесостепную и часть таежной зоны (к югу от 55–60° с. ш.), Саяны и Алтай [Млекопитающие фауны СССР 1963: 991]. По-видимому, перевод *Capra sibirica* (т. е. сибирский горный козел) у Доннера представляет собой недоразумение; если, однако, реконструируемое слово действительно относилось к этому гораздо более специфическому по среде обитания животному, то возникнуть оно могло только у населения, осваивавшего горные хребты Саян и Алтая [там же: 1043].

2. В п.-монг. *ča* (халх. *цаа*) «северный олень (домашний, ездовой)» следует, на наш взгляд, усматривать заимствование из ПС **ceз* с тем же значением. (Ср. реконструкцию **t'ēz*, т. е. **tež* или **cež*, в [SW: 155]; об исходности **с* свидетельствует как монгольская параллель, так и вхождение данного слова вторым компонентом в южно-сельк. *ādāžā*). Слово могло быть заимствовано в прасамодийскую эпоху или несколько позднее, но, во всяком случае, до перехода **с > т*, который мы находим в самодийских языках позднего времени (ср. кам. *to*, МТК *tegä*). Кстати, данный термин может служить существенным аргументом в пользу неоднократно высказывавшегося мнения о приоритете самодийцев в доместикации северного оленя и о Саянах как вероятном первичном центре доместикации.

Дальнейшие выводы этноисторического характера, уже непосредственно связанные с судьбами носителей МТК и их соседей, могут быть сформулированы на основе этимологического анализа некоторых групп культурной лексики этого языка. Ниже при рассмотрении полностью привлекаются данные по каждой из таких групп; большая часть слов приводится в унифицированной фонологической транскрипции (к её обоснованию см. [Хелимский 1986г]) и лишь не поддающиеся однозначной фонологизации формы цитируются в оригинальном написании в угловых скобках. Этимологические источники (прасамодийские реконструкции, тюркские и монгольские оригиналы) в большинстве случаев для краткости не указываются.

1. Домашние животные, лексика животноводства.

Общесамодийское наследие ограничено словами *tegä* 'домашний олень', *ben* 'собака' (и *tada-* 'лаять'), *niunda* 'лошадь' (тюркское заимствование прасамодийской эпохи, см. [Joki 1952: 138]), *kejbe* и *<gim>* 'кобыла', *sarta-* 'доить'.

Основная масса слов данной тематической группы отражает тюркские и монгольские источники. Среди них по крайней мере три слова, по данным самодийской и алтайской исторической фонетики, представляют собой очень ранние заимствования: *ton(g)oj* 'свинья' (ср. тюрк. *donuz < *donur*), *üdü ~ üdä* 'корова' (ср. тюрк. *üd*), *čärE* 'бык, самец' (ср. п.-монг. *žari* 'самец домашнего или дикого оленя'). Фонетические соображения не противоречат даже той возможности, что эти слова были заимствованы в прасамодийскую эпоху (вместе с названием лошади), но не сохранились в других самодийских языках. Потенциально к числу древних

заимст
aktalan
ставле
из кар
монгол
[Хелим
'вербл
ские п
пехом
леднем
кой ве
основн
бурятс
k(i)ran
ör 'таб
Тюрки
'рыжкн
Ни
ской гр
Вып
домашн
унасле
1971: 2
восход
тельств
существо
турно-и
исхожд

2. С
Иск
ondoј 'г
Сло
Тюр
šor 'сар
прячь',
Мон
быть и
Так
два неп
связанн
ховой е
причем

3. О
В пр
гическо

заимствований могут быть отнесены также слова *aktälä* — 'кастрировать' (откуда *aktalan* 'вол'), *buka* 'бык', *koj* и *konin* 'овца' (первое из них — тюркское и представлено в маторском и тайгийском диалектах, второе — монголизм, известный из карагасского диалекта; подобное диалектное распределение слов тюркского и монгольского происхождения является достаточно типичным для МТК, см. [Хелимский 1982а: 32]), *kulun* 'жеребенок', *čala* 'грива', *kuča* 'баран', *mEj(ə)tE* 'верблюд'. В словах этой группы отсутствуют достаточно четкие диагностические признаки фонетики (и семантики), вследствие чего они могут с равным успехом оказаться заимствованиями тысяче-полуторатысячелетней давности и наследием контактов XVII–XVIII вв. Наконец, большую группу слов можно с высокой вероятностью квалифицировать как сравнительно поздние заимствования, в основном обнаруживающие специфические хакасские (а не тюркские вообще) и бурятские (а не монгольские вообще) черты: *askir* 'жеребец', *bizo* 'теленка', *k(i)randər* 'ржать', *kışko* 'кошка' (в конечном счете из русск.), *kuragan* 'ягненок', *ör* 'табун', *šoška*, ? *šorška* 'свинья', *süskü* 'бодливый', *takja* 'курица', *tizäk* 'навоз'. Тюркизмами являются и обозначения мастей: *ala* 'пегий', *bora* 'сивый', *bozrak* 'рыжий', *čogər* 'пестрый, чубарый', *toru* 'гнедой'.

Ни единого слова неизвестного происхождения в пределах данной тематической группы лексики не обнаруживается.

Выше уже говорилось о самодийском происхождении монгольского названия домашнего оленя. Можно предполагать, что ещё один термин оленеводства унаследован из самодийского субстрата тофаларским языком: тоф. [Рассадин 1971: 233] *tarhyš* 'годовалый олененок (неодобрительное название)', очевидно, восходит к ПС [SW: 31–32] **cärkäj*- 'теленка домашнего оленя' через незафиксированное МТК (караг.) **targaj*, **targäš*-. Более проблематичным ввиду отсутствия этимологических объяснений, но достаточно правдоподобным с культурно-исторической точки зрения было бы предположение о самодийском происхождении ряда других оленеводческих терминов в тюркских языках Присяня.

2. Средства передвижения.

Исконно самодийская лексика: *ñEṇmä* 'лыжи', <*dengi*> 'лыжи-голицы'; *ondoj* 'лодка, челнок', *lähä* (?) 'весло'; *EdE* 'сани', *čikə*- 'распрячь'.

Слова неясного происхождения: <*тялямамъ*> 'гребу'; <*никсхьямъ*> 'выпрягаю'.

Тюркские заимствования: *kaṅgajak*, <*changārgan*> 'лыжи-голицы'; *sal* 'плот'; *šor* 'сани'; *añir* 'седло', *čügän* 'узда', *kaṁžī* 'плеть', *čalaṇ* 'верхом', *kölər*- 'запрячь', *soglok* 'узда'.

Монголизмы: *oygoso* 'лодка'; *terge* 'телега'; *solo* (?) 'узда' (это слово может быть и тюркизмом).

Таким образом, общесамодийское наследие (к нему, видимо, примыкают и два непротимологизированных слова) преобладает в тематических подгруппах, связанных с лыжным и водным транспортом. Напротив, среди терминов верховой езды нет ни одного исконного слова — не вызывает сомнений тюркское, причем позднее, происхождение соответствующих навыков.

3. Охота, оружие.

В пределах данной тематической группы связь между предметной и этимологической соотнесенностью слов прослеживается весьма четко. Исконное проис-

хождение имеют слова *m(i)nästar-* 'охотиться, промыслить' (дериват от *m(i)näsä* 'зверь, животное') и *čida-* 'стрелять', а также большинство терминов, относящихся к охоте с луком: *mindī* 'лук', *nej* и *<mühu>* 'стрела' (вероятно, общие названия), *muŋgu* 'тупоконечная стрела, тамар', *neḷi* (?) 'костяная стрела', ? *<sihdä>* 'костяная стрела' (помимо МТК, известно только из камасинских материалов). Этимология слова *čukun* 'колчан' остается нам неизвестной. Тюркское происхождение имеют три структурно однотипных наименования стрел по их функциональному назначению: *čagluk ~ čäluk* (боевая, кибирь), *kastuk* (с широким железным наконечником, боевка), *kustuk* (для охоты на птиц, оргиш), а также слово *k(i)ri* 'цель, мишень'. Оба сохранившихся в источниках названия холодного оружия имеют монгольское происхождение, причем если для *čeda* 'копье' допустимы различные версии относительно времени и путем заимствования (ср. [Joki 1952: 357–358]), то *helme* 'шпага' отражает специфические поздние фонетические особенности бурятского источника (бур. *helme*, ср. п.-монг. *sel(e)me*). Оба термина, связанные с огнестрельным оружием, — тюркского происхождения: *tar* 'порох', *aldəŋ(g)aj* 'винтовка' (непосредственный источник не установлен, но, очевидно, связан с тюрк. *aldī* 'дичь').

4. Рыболовство.

Дошедшие до нас термины рыболовства в МТК носят общесамодийский характер: *hoŋga ~ hoŋgo* 'сеть, невод', *čuj* 'запор', *kajər* 'морда', *bigürä ~ bügürä* 'острога'; корневая часть слова *kojabsin* 'удочка' неясна, но слово оформлено исконным суффиксом *poŋen instrumenti*. Единственный тюркизм — *sügän* 'верша'.

5. Металлы и их обработка.

Единственным исконно самодийским словом этой группы является *bEsä* 'железо' (и 'металл' вообще). Все прочие названия металлов можно охарактеризовать как 'тюрко-монгольские', учитывая, что большинство из них представлено и в монгольских языках, и в тюркских языках Южной Сибири: *bolat* 'сталь', *altın* 'золото', *kümiš* 'серебро', *bagır* 'медь', *čes* 'медь', *sed* 'медь' (данное слово, этимологически связанное с предшествующим, представляет собой несомненный поздний бурятизм: бур. *zed*), *kola* 'бронза', *tolgan ~ <tugun>* 'олово', *korgolžin* 'свинец' (и *ak korgolžin* 'олово'). Ср. также тюркские заимствования *tabtəjər-* 'ковать' (таким образом, МТК, по-видимому, утратил исконное ПС **jäsä-* с тем же значением) и *is* 'кузнец'.

6. Сфера товарно-денежных отношений.

Исконно самодийская лексика: *temdə-* 'продать', *temdər-* 'покупать, торговать', ? *kü-* 'дешево', *bir ~ mür* 'калым' (первичное значение 'цена, плата'), ? *kälən-käbti* 'деньги' (видимо, восходит к прасамодийским обозначениям рыбьей чешуи), *tälər-* 'воровать' и *täl(ə)gät* 'вор'.

Слово неясного происхождения: *<коймукты>* 'дорого'.

Тюркские заимствования: *almə* 'долг', *alban* 'дань', *eŋži ~ inži* 'приданое', *kip* 'приданое' (исходно 'одежда, наряды'), *kinām* 'убыток', *sadiži* 'купец', *ornazər-* 'менять', *baj* 'богатый', *katkan* 'скупой', *turmok* 'даром'.

Монгольские заимствования (они отчасти дублируют тюркские): *müŋgü* 'деньги', *andəldə-* 'менять', *jadoko* 'бедный', *koŋgoj* 'жадный'.

Зде
вованн
гатель
можно
их пер
тем, ч
ным вл

7. С
Есл
(напри
следие
состав
основ
дения
подин
монг.
предп
Обрат
(стар
По
данной

8. I
В э
звания
факти
хожде
'чита
'числ
поздн
видет
pingo;
1949;
Чи
точни
'1000'
следн
сител

9. I
Не
ная на
'Бог,
hedib
(? hal
быть

Здесь, как и в некоторых других группах, имеет место преобладание заимствованной лексики в периферийной части терминологии (например, среди прилагательных, характеризующих материальное положение людей). Данное явление можно связать скорее с эффектом билингвизма носителей МТК и постепенного их перехода на языки тюркского и отчасти монгольского окружения, нежели с тем, что сами соответствующие понятия появились в МТК только под культурным влиянием соседей.

7. Сфера социальных отношений.

Если не включать в эту сферу термины родства и близкие им наименования (например, *čojbuh* ~ *čujbuh* 'вдова, сирота', *mōndoh* 'сват'), то самодийское наследие оказывается не представленным вообще. Обширный корпус (до 20 слов) составляют тюркские и тюрко-монгольские, реже чисто монгольские элементы, в основном, видимо, связанные с культурными влияниями (и социальными учреждениями) сравнительно позднего времени. Интересно слово *čar* 'начальник, господин'; видимо, это слово либо является продуктом метонимического развития монг. *žar* 'приказ', либо (мы, конечно, сознаем рискованность этого второго предположения) отражает первичную семантику указанного монгольского слова. Обратим внимание также на *čalaŋ* 'царь', заимствованное из тув. *čalaŋ* 'цзалан (старший чиновник)' (< кит.).

Пока нам не удалось установить происхождение следующих двух терминов данной сферы: *<susū ~ dschisū>* 'слуга' и *<кай(джадага)>* 'армия' (? 'войско идет').

8. Культурная сфера (счет, письмо).

В этой группе, довольно малочисленной (к ней условно отнесены также названия больших чисел, но не числительные первого десятка) исконная лексика фактически не представлена вообще, так как все слова прасамодийского происхождения в конечном счете также оказываются заимствованными: это *tōrā* ~ *tōr* 'считать' (монголизм в прасамодийском), *tun* '100' (первоначально, вероятно, 'число' — также монгольского происхождения), *čür* '100' (ПС **jür* из тюрк. **jūr*, позднее *jüz*), *<hungusishta>* 'пишу' (ПС **peŋ* (?) 'писать', в котором допустимо видеть индоевропейское заимствование, ср. тохар. В *pinkem*, скр. *pinkte*, лат. *pingo*; известна и версия китайского происхождения данного слова, см. [Ramstedt 1949: 213] о камас. *phiändeläm*).

Числительное *čüs* '100' — повторное заимствование из того же тюркского источника, к которому восходит и *čür*. Еще три слова — монголизмы: *mingan* '1000', *bičik* 'книга' (известно и тюркским языкам), *sarhun* 'бумага', причем последнее из этих слов обладает несомненными фонетическими признаками относительно позднего бурятского заимствования (бур. *sārhan*, ср. п.-монг. *čayarsun*).

9. Религия.

Несколько слов, выражающих основные религиозные понятия, и вся известная нам терминология шаманизма имеют прасамодийское происхождение: *nut* 'Бог, небо', *kajgu* 'идол', *möjüh* (? *mojuh*) 'душа'; *tädE* 'шаман', *höngür* 'бубен', *hedibsin* ~ *hidibsin* и *höngəbsin* 'колотушка бубна'. Происхождение слова *hāla* (? *hala*) 'черт, дьявол' неясно, но, судя по инициальному *h-*, оно также может быть исконным.

Для основополагающих терминов известны и синонимы заимствованного происхождения — *iĖrā* 'Бог, небо' (тюрк.), *ĉEĉi* 'Бог' (в конечном счете из монг. *ᠵајауаĉи* 'творец'), *burkan* 'божество, идол' (монг.), <*зедкыр*> 'дьявол' (монг., тюрк.). Кроме того, тюркизмами являются *tölgälər* 'ворожить', *ıalan* 'счастье, удача', *numak* 'сказка', *tigir (mät)* 'церковь', *abıs* 'священник'.

Анализ этимологического состава нескольких других, довольно многочисленных тематических групп культурной лексики не вносит существенных изменений в общую картину, поэтому мы ограничиваемся приведением итоговых числовых данных по этим группам:

	Исконная лексика	Тюркизмы	Монголизмы	Тюрко-монголизмы	Русские заимствования	Лексика неясного происхождения
Хозяйственная утварь	13	15	3	4	2	2
Жилище, постройки	5	6	1	1	2	—
Одежда, обувь, украшения и их изготовление	11	8	1	—	—	—
Еда, напитки, курение	4	15	2	2	1	1

Специально подчеркнем, что терминов, связанных с земледелием, в материалах по МГК не засвидетельствовано (за возможным исключением тюркизма *urluk* 'семья'), хотя анкеты, использовавшиеся Г. Ф. Миллером и П. С. Палласом, предусматривали фиксацию названий знаков и основных сельскохозяйственных орудий.

Подводя итоги проведенного рассмотрения, нет необходимости специально останавливаться на вполне очевидных выводах касательно роли исконных традиций и внешних влияний в развитии определенных сфер хозяйства и культуры саянских самодийцев: в этом плане наше исследование в основном согласуется с делавшимися ранее выводами, см. особенно [Вайнштейн 1976, 1983].

Внимания заслуживает, однако, такой фундаментальный факт, как мизерно низкая доля слов неизвестного происхождения во всех без исключения группах культурной лексики (в ряде групп дошедшая до нас лексика этимологизируется вообще полностью). Если учесть, что некоторые из оставшихся этимологически неясными слов, возможно, искажены в оригинальных записях, а происхождение некоторых других сможет раскрыть дальнейшее исследование (ресурсы которого представляются еще далеко не исчерпанными), то можно утверждать, что культурная лексика МТК целиком состоит из элементов самодийского, тюркского, монгольского и — в небольшой мере — русского происхождения. Иначе говоря, в течение своей примерно двухтысячелетней истории самостоятельного существования носители МТК не подвергались сколь-нибудь интенсивному воздействию со стороны таких этнических групп, которые говорили не на тюркских или монгольских языках. Тем самым наши данные фактически исключают возможности того, что в бурных политических событиях в Присаянье и смежных областях Южной Сибири за последние две тысячи лет (см. [Кызласов 1984]) активно участвовали иные этнические группы — например, тунгусо-маньчжуры, енисейцы, и тем более носители вообще не сохранившихся в данном регионе языков.

С з
точно
языко
поздн
объяс
ствиел

Да:
но от
дийск
и пол
не вел
но, ин
насел

По
тюркс
(или д
них, к
групп
имело
невод

Ду
двину
ситуа
регион
делам

Ст
тойчи
приро
разно
деятел
район
чение
этот т
скотон
курел

С этой точки зрения ситуация с лексикой МТК если не уникальна, то достаточно нетипична: в частности, в большинстве финно-угорских и самодийских языков обнаруживаются большие пласты культурной лексики относительно позднего происхождения, не имеющие удовлетворительных этимологических объяснений и предположительно связываемые с суб- или суперстратным воздействием ныне исчезнувших языков.

Далее следует отметить, что тюркские и монгольские заимствования МТК явно относятся к весьма различным хронологическим этапам (начиная с прасамодийской эпохи и до XVII–XVIII вв.). Таким образом, никакие массовые миграции и политические бури в течение всего этого длительного исторического периода не вели к коренным изменениям этнической ситуации в регионе, хотя, несомненно, интенсивность как тюркского, так и монгольского влияния на самодийское население на отдельных этапах могла сильно варьироваться.

Показательно, наконец, что мало менялся с течением времени и характер тюркского и монгольского влияния: слова одних и тех же тематических групп (или даже вообще повторно одни и те же слова) заимствовались и на самых ранних, и на наиболее поздних этапах культурного взаимодействия (ср. особенно группы 1 и 8). С другой стороны, столь же устойчивый во времени характер имело, по-видимому, культурное влияние самодийцев на их соседей в сфере оленеводства.

Думается, что изложенный материал достаточно наглядно подтверждает выдвинутый в начале статьи тезис об относительной стабильности этноязыковой ситуации в центре Азии в течение всего того периода, когда исходившие из этого региона миграционные волны разрушали такую стабильность далеко за его пределами.

Стабильность вряд ли может быть объяснена чем-либо иным, кроме как устойчивым распределением данного региона (чрезвычайно контрастного по своим природно-ландшафтным условиям, см. [Суслов 1954: 276–328]) между этнически разнородными группами, специализированными на разных типах хозяйственной деятельности. Только в качестве охотников и оленеводов горных и предгорных районов могли немногочисленные группы саянских самодийцев сохранить в течение долгого времени свою этническую самобытность. Вполне вероятно, что этот тип хозяйственной деятельности в той или иной мере сочетался с занятиями скотоводством (ср. [Вайнштейн 1983: 47–48]), но о длительной и активной конкуренции в этой сфере с соседями-тюрками вряд ли можно говорить.

ON THE INTERACTION OF MATOR WITH TURKIC, MONGOLIC, AND TUNGUSIC: A REJOINDER*

For my part, I can only thank Juha Janhunen for having singled out and discussed those problems which were only cursorily or marginally touched upon in my etymological comments to Mator¹ vocabularies [Helinski 1987a], although they are of potential ethnohistorical relevance.

In this rejoinder I am going to discuss only the points of our disagreement with Janhunen (fortunately we are of the same opinion on many other fundamental and particular problems concerned with the structure, internal, and external history of Mator). I also accept one of his objections as undoubtedly justified: my original explanation of 81B *hará-da* 'arm' was wrong, the word must belong together with Tundra Nenets (Lehtisalo)² *parad id.*

I. Janhunen makes an interesting attempt to reconsider the history of Turkic-Mator linguistic relations and to discount the whole set of etymologies which have been interpreted (partly already by A. J. Joki and K. H. Menges) as Mator borrowings from Proto-Turkic and Old (Ancient) Turkic. For easily understandable reasons the number of recognisable old Turkic loans in Mator is limited³, though it is not exhausted with the words discussed by Janhunen (see below). Thus, though I am not persuaded by the attempt, it shows once more that small groups of etymological comparisons often can

* Впервые опубликовано в: JSFOu. 1991. 83. P. 257-267 в качестве ответа на статью Ю. Янхунена [Janhunen 1989].

¹ I readily follow Janhunen's offer and give up the cumbersome glottonym «Mator-Taigi-Karagas» in favour of the simple appellation «Mator». I introduced this compound glottonym (on a line with «Kamas-Koibal» for the second Sayan Samoyedic language) and have been using it for more than a decade in order to stress that Taigi and Karagas are mere dialects of Mator, just as Koibal is a dialect of Kamas. Earlier this fact was not evident even to the most prominent specialists in the field — cf. P. Hajdú's «Bevezetés az uráli nyelvtudományba» [Hajdú 1966], where on p. 6 the Sayan Samoyedic idioms were listed simply in alphabetical order: Kamas, Karagas, Koibal, Mator, Soyot, Taigi. If by now my aim to clarify the situation has been achieved, there are no reasons to keep to the purposefully complicated terminology.

² For abbreviations used in this paper see [Helinski 1987a: 106-112].

³ The three main reasons are: (a) our knowledge of the Mator vocabulary is, and is doomed to stay, incomplete; (b) under the conditions of prolonged language interaction old borrowings are likely to be substituted, at least partly, by newer borrowings from the same source; (c) whenever the phonetic shape of a word remained essentially intact throughout both Turkic and Mator linguistic history (and no semantic or distributional criteria can be used), it is impossible to tell an old loan from a newer one.

be — fi
jected a
In h
leged e
local Ti
ternativ
to long
ever, ar
Some o
'swine'
/toŋuj/
pounds
(with t
tle'. Ha
independ
In ar
justified
lation o
solution
Turkic i
the pres
early ce
and thir
The
ceded th
centurie
so? Eve
strong a
the Mini
which e
exclusiv

⁴ For
Hungaria
lieve it w
Tocharian

⁵ The
'родовани
rowing fr
regular re

⁶ Whi
essary to
Khakassia
from time
independe
[Боргомяк
to at least

⁷ See
by no p

be — for more or less serious reasons, but mainly for their scarcity — either totally rejected and disregarded⁴ or provided with an alternative explanation.

In his article Janhunen tries to find such an alternative by stating that «all of the alleged early Turkic loanwords in Mator were actually borrowed from the neighbouring local Turkic languages or their immediate predecessors». But the price paid for the alternative appears to be very high: every now and then my opponent is forced to resort to long chains of provisos and problematic guesses («This suggestion involves, however, another distributional problem...» etc. — the same style throughout the paper). Some of them are elegant and inventive — for example the explanation of 461 *donhoi* 'swine' from Tu. *toŋuz* through morphonological re-interpretation: /toŋus, toŋus-ta/ → /toŋuj, toŋus-ta/.⁵ Others, however, are more dubious — e.g. the hypothetic compounds **ud-t'e* or **uj-t'e* 'cow-reindeer' would be expected to result in Mator */*ütü*/ (with *t < tt*) or */*üstü*/ (with *st < jt*), but not in the actually attested 120 *üdü* 'cow, cattle'. Hardly any better is the assumption that 157 *kúgo* 'swan' and Tu. **quyu* id. are of independent onomatopoeic origin.

In any event, this inventiveness would be necessary and the resulting complications justified, if we knew for sure that no language contacts between the Samoyedic population of the Sayan area and the Turks could have existed in the period between the dissolution of the Proto-Samoyedic unity and the emergence of the distinctly different Turkic idioms of South Siberia which already exhibit the main characteristic features of the present-day Khakas, Tuva and Altai (Oïrot) languages, i. e. during the first and the early centuries of the second millennium A. D.⁶ This period corresponds to the second and third stages of the Turkicization of South Siberia in Janhunen's scheme.

The second stage (which followed the westward migration of the Huns and preceded the formation of the Turkic Qaganate) comprises, according to Janhunen, «a few centuries with apparently no Turkic speaking population in the region». Was it really so? Even in the absence of direct linguistic evidence from the pre-runic epoch there is strong archaeological evidence indicating that the population of the Tashtyk culture in the Minusinsk region (i. e. in the steppe vicinities of the Sayan Samoyedic woodlands), which existed approximately from the 1st century B. C. till the 6th century A. D., was exclusively or predominantly Turkic⁷. The problems of this archaeological culture are

⁴ For example, some scholars tend to disregard the North Caucasian or Tungusic elements in Hungarian, or Mongolic loanwords in Old Turkic just because there are too few of them. I believe it would be equally possible (but hardly expedient) to disregard Indo-European or at least Tocharian loanwords in Proto-Samoyedic (see [Janhunen 1983: 115–127]) for the same reason.

⁵ The possibility of an opposite development is indicated by the example of ToF. *tarhyš* 'годовалый олененок (неодобрительное название)'. This word can be explained as a borrowing from PSam. [SW: 31–32] **cārkhāj* 'Rentierkalb' through the non-attested phonetically regular reflex in Mator — **targaj* (**targas* - [**targaš* -] before the suffixes beginning with *t*).

⁶ While Janhunen's and my own opinions on this dating seem to coincide, I consider it necessary to emphasise that this dating contradicts the views of some scholars (mostly from Khakassia), who would want to prove the existence of their own nations and native languages from times immemorial. For example, M. P. Borgoyakov sees Khakas, Shor, Tuva and Altai as independent contemporaries of the language of the Orkhon-Yenisei runic inscriptions [Боргояков 1981: 92–93], while L. R. Kyzlasov projects the existence of the Khakas ethnicity to at least the 6th century A. D. [Кыласов 1969: 20].

⁷ See for example: [Вадецкая 1986: 141–146] (with relevant literature cited). This opinion is by no means new: S. V. Kiselev in his «Древняя история Южной Сибири» [Киселев 1949]

not yet definitely solved, but in order to speak about «no Turkic speaking population in the region» Janhunen is supposed to present the arguments discarding the prevailing opinion and proving that the Tashtyk population had nothing to do with the Turks.

As to the third stage (the period of expansion of the General Turkic dialects to South Siberia), Janhunen himself views Turkic lexical influence on the Sayan Samoyedic languages as quite possible during this period, though prefers to disregard this possibility when discussing the etymological material.

On my side, I accept the possibility of direct language contacts between the speakers of Mator and the Turks as historically plausible for any given time throughout the whole linguistic history of Mator (without insisting that the Turkic neighbours of the Mators formed necessarily a single non-interrupted genetic string). This assumption is confirmed by the results of a study where I tried to survey the whole «cultural» vocabulary of Mator, coming to the conclusion that it hardly contains a single word which is not either genuine or an Altaic (Turkic or Mongolic) loanword. This conclusion is best explained by admitting that (a) during its separate history the Mator language underwent no significant influences from non-Altaic sources; (b) the linguistic, ethnic and economic conditions in the Sayan region remained fairly stable during the whole period, when the migration waves and conquest campaigns which started not far from this region produced catastrophic changes in far distant parts of the Eurasian continent [Хелимский 1988a].

Therefore in such cases, when a Turkic loanword in Mator looks phonetically or semantically closer to the Old Turkic form (attested or reconstructed) or to its Proto-Turkic predecessor⁸ than to the forms attested in the Turkic languages of South Siberia, it can be treated as a reliable or at least probable example of the Old resp. Proto-Turkic lexical influence. The corresponding etymologies are presented in the table on the next page (less significant details are omitted but can be easily recovered from the references). Among these etymologies some admit alternative treatments: Nos. 5 and 7 — as Proto-Turkic loanwords with Mator *j* as the substitute for the strongly palatalized **r* or as later (but undoubtedly not quite recent) borrowings with morphonological reinterpretation, as assumed in Janhunen's paper (although attractive, his explanation remains problematic); No. 9 may be a Tuva loanword and No. 3 a loanword from an Altaic-type Turkic dialect. Nos. 4 and 13, both referring to the domain of agriculture, may be very recent Tatar loanwords (if we admit that some groups of Volga Tatars moved to Siberia more or less simultaneously with the Cossacks and came into contact with the Mators). No. 8 possibly represents the Common Samoyed heritage (of Turkic origin), cf. NenT *χir*⁷ 'grey hair', identified as a Turkic loanword by Janhunen [1977: 125]. In No. 12 the Mator data are ambiguous.

II. The Mongolic influence on the Mator language, which was especially important for the Karagas dialect, manifests itself in two distinct layers of borrowings, one exhibiting obvious Buryat phonetic features and the other with no such features, much closer to early Mongolic forms reflected in Written Mongolian, cf. table on p. 296:

emphasises the local — Tagar and especially Tashtyk — sources of the Qyrgyz culture which existed in the Minusinsk region already in the epoch of early Turkic statehood.

⁸ The most important phonetic peculiarities of the Proto-Turkic forms (preserved stem-final vowels, *r* for *z* and *l* for *š*) are mentioned in Janhunen's article.

	Motor	Proto-Turkic	Old Turkic or Common General Turkic	Modern South Siberian Turkic			References
				Khakas	Tuva	Altai	
1	MSp ангырь 'saddle'		*yŋyr 'saddle', reflected as Yakut yŋyr, Karaim yŋyr; cf. Chuvash jĕner	(Sag. (R) yŋyrčaq)	(yŋgyrčak)	(yŋgyrčak)	[LSS: 142 (Km. yŋgyrdak); ЭСТЯ I: 658]
2	*/ara-/ 'clean' → der. verb MSp арамдыямъ 'I clean'		aryŋ 'clean'	aryŋ	aryŋ	aru	[LSS: 71–72; ЭСТЯ I: 184]
3	7A T borogón 'storm'		*boroyon ~ *borayan 'storm'	porān	borān	borogon	[LSS: 97–98]
4	MSp булонъ 'meadow'		buluŋ 'corner, country'; 'meadow' in Tatar and Bashkir	puluŋ 'corner, cape'	buluŋ 'corner'	buluŋ 'corner; riverbend'	[ЭСТЯ II: 261]
5	461 K donhoi (probably /toŋoj/) 'swine'	*toŋur' (*doŋur')	toŋuz 'swine'	—	—	toŋus	[Хелимский 1986: № 38; ЭСТЯ III: 267]
6	449 K dzjâla- 'mane'		*jala 'mane', reflected in Kaz. jalâ, Osm. jâlâ (*jälâ)	(čilîn)	(čel)	(jal)	[VEWT: 181]
7	150 M T K /kaj/ 'goose'	*kār	qāz 'goose'	xas	kas	kas	[LSS: 150–151; Janhunen 1989]
8	199 M T K /kir/ 'white'	?*kŷr 'light-coloured'	qŷr 'grey, light-grey'	xŷr	kŷr	—	[LSS: 183; Janhunen 1977:125]
9	124 M T /kodan/, K /kodon/ 'hare'		qodan 'hare'	xozan	kodan	kojon	[LSS: 197–198]
10	157 M T K kúgo 'swan'	possibly *kugo	quyu 'swan'	xū	kū	kū	[LSS: 206–207]
11	466 K tschópkon 'lynx' (secondary form: MPZ dshokom)	possibly *jĕpkön ~ *jĕpgön	*jĕpkän ~ *jĕpgän 'glutton'	KangM dschik'pá	čepke, čekpe (R)	jākkän	[Хелимский 1992–1993: № 56]
12	MSp ум (probably /ōŋ/): уммѣрга 'western wind'		ōŋ 'east, front'	(ōŋ 'colour')	(ōŋ 'colour, façade')	(ōŋ 'appearance, colour')	[ЭСТЯ I: 532]
13	MSp урлукъ 'seed'		*urluq 'seed', reflected in the Turkic languages of Eastern Europe; cf. Chuvash vārlāx	—	—	—	[ЭСТЯ I: 604]
14	120 M T K /ūdū/ 'cow, cattle'	?*udü	ud 'cow'	—	—	—	[Menges 1959: 163; Хелимский 1986: № 17]

A				
	Karagas	Written Mongolian	Buryat	
291	зедкыр	<i>čidkür</i>	(C) <i>šutkür</i>	'demon, devil'
341	kürgu	<i>kögerge</i>	dial. <i>kürgü</i>	'bridge'
358	sed	<i>žes</i>	<i>zed</i>	'copper'
434	chýlmý	<i>sel(e)me</i>	<i>helme</i>	'sword, sabre'
439	ongoso	<i>onyuča</i>	<i>ongoso</i>	'boat'
469	куныр	<i>kürene</i>	<i>xüneri</i>	'polecat'
497	scháshai	<i>siyažayai</i>	<i>šāzgaj</i>	'magpie'
589	chérgulam	<i>sergülen</i>	<i>hergelen</i>	'cheerful'
655	bihilýk	<i>biličeg</i> etc.	(C) <i>bihelek</i>	'fingerring'
660	sárchun	<i>čayarsu(n)</i>	<i>sārha(n)</i>	'paper'
664	charkja	Khalkha <i>sarxiag</i>	<i>harxāg</i>	'mushroom'
665	kolhon	<i>qulusu(n)</i>	<i>xulha(n)</i>	'reed'
667	salá	<i>žalaya</i>	<i>zālā</i>	'crest (of a bird)'
B				
184B	soktýrgem	<i>soɣtuɣura-</i>	<i>hogtūr-</i>	'(to get) drunk'
401	búltschin-	<i>bulčij</i>	<i>bulšan</i>	'calf, muscle of the leg'
431	káitschi	<i>qaiči(n)</i>	<i>xajša</i>	'scissors'
672	bitschiktshi	<i>bičigeči</i>	<i>bešegše</i>	'scribe'

Among the words listed under B **soktýrgem** is of particular interest, because it (a) must have been borrowed directly from a Mongolic source, for the Turkic languages of South Siberia do not have any corresponding term for 'drunk' (as for the three other words of this group, they could, theoretically at least, have been borrowed not only directly, but also via Turkic); (b) distinguishes the Karagas dialect from both Mator proper and Taigi, which employ words of Turkic origin with the corresponding meaning (184A T **eseréshie**, M **eserírgem** 'drunk'). Thus, **soktýrgem** seems to reflect the specific Mongolic influence on Karagas (but not on the two other Mator dialects), exercised by an early form of the Buryat language which still had no characteristic phonetic features of this language (and therefore can be identified with Common Mongolic rather than with Buryat proper). This example, although unique and therefore open to alternative interpretations (cf. above), forces me to doubt Janhunen's statement that the typical distributional pattern of the foreign elements in the three dialects of Mator (Turkic word in Mator proper and Taigi, Mongolic word with the same meaning in Karagas)⁹ is «simply due to a varying basis of bi- and multilingualism» among the last speakers of Mator. Perhaps essentially the same pattern for the choice of the second language (and of the source of borrowings) was valid for their bilingual forefathers as well.

III. At the end of his article Janhunen discusses three Mator-Tungusic lexical comparisons and rejects two of them. His explanation of 234 **dschûn/dschûd** 'ten' looks really more convincing than the etymological version of G. J. Ramstedt and K. Donner, to which I was inclined. However, the comparison of 92 **/sokto/** 'backside (anus)' with Tung. ***sogdo-** 'back (dorsum)' is semantically hardly more problematic than the derivation of *backside* from *back*, and cultural considerations most certainly favour the idea of borrowing euphemisms from a marginally adjacent language.

⁹ Concerning this pattern see already [Хелимский 1982a: 32].

Ag
about
etymo
scanty
(repre
MI
'орле
Mo
Ye p'e
Kn
ill; ac
ensi- i
*enu-
Kn
*pige-
Kn
bone',
So
other
Sayan
contex
such c
contact
Kama
IV
proble
oppon
a shor
easy t
his ca
the id
actly t
WI
in [Xe
last ti
were c
1.
(e. g.
or two
10
K. H. M
*₂ (pr
proces
(Z. Go
was al
lar diff
between

Again, just as in the case with presumable old Turkic loans, Janhunen is sceptical about the presence of Tungusic borrowings in Sayan Samoyedic mostly because the etymological evidence presented so far by A. J. Joki [LSS: 43 ff.] and me is rather scanty. Perhaps I can hope to soften his attitude by adding several new etyma (representing both Mator and Kamas) to the list of comparisons:

MPZ *kölljadsche* 'Aquila Ossifraga, black eagle' — cf. Ev. [TMC I: 447] I *Se keleči* 'орленок'

MontPZ *hungito* 'Talpa europaea, mole' — cf. Ev. [TMC II: 37] P-T Nak *p'eqatī*, Ye *p'eqoti* id.

Km. (C) *enstī* 'ill', Kb. (Sp) *инзиле* id. — cf. Tung. [TMC II: 455] **enusi*(-) 'to be ill; ache, aching' (Lamut *ensi* 'aching, ache', Oroch. Nanai *enusi*- 'to be ill', Ulcha *ensi*- id.; in Evenki only *enū* 'pain', *enūhin* id. and several other derivatives of Tung. **enu*-)

Km. (C) *phigije* 'falcon', Kb. (Sp) *пѣя* 'hawk' — cf. Tung. [TMC II: 322–323] **pige*- 'kite, hawk' (Ev. *hiyen*, *hiyēcēn* etc.)

Km. (D) *pikkā* 'breastbone of a bird' — cf. [TMC II: 323] Ev. *hiken* 'chest, breastbone', Lamut *hiken* 'breast, breastbone (of a bird)' (Tung. **piken*).

Some of the Mator-Tungusic and Kamas-Tungusic lexical pairs undoubtedly reflect other kinds of linguistic relationship than the direct borrowing from Tungusic into Sayan Samoyedic, but definite conclusions can be reached only within a much broader context of comparing Samoyedic and Tungusic vocabularies. I am sure, however, that such comparison cannot benefit from neglecting or underestimating the role of direct contacts between peripheral south-western dialects of Evenki (now possibly extinct), Kamas and Mator.

IV. I am aware that Janhunen shares the view of many modern anti-Altaicists on the problem of «rhotacism — zetacism»¹⁰, but I cannot agree with the manner in which my opponent rejects the opposite view of Ramstedt (and many others, including myself) by a short phrase «**r*₂, i. e. **z*» (on p. 290, in connection with 461 *donhoi* 'swine'). It is easy to understand that Janhunen has no intention to dwell on the old controversy, but his casual tone presumes that the controversy is already definitely solved in favour of the identification **r*₂ = **z*. I am, on the contrary, sure that the definite solution is exactly the opposite, no matter how many new voices have joined the anti-Altaic chorus!

While formerly I have already discussed some points of this problem (for example, in [Хелимский 1986б, 1986в]), I feel it necessary to return to it (I wish it were for the last time!) and to summarize the evidence indicating that the General Turkic *z* and *š* were originally (perhaps up to the 7th century A. D. at least) pronounced as liquids.

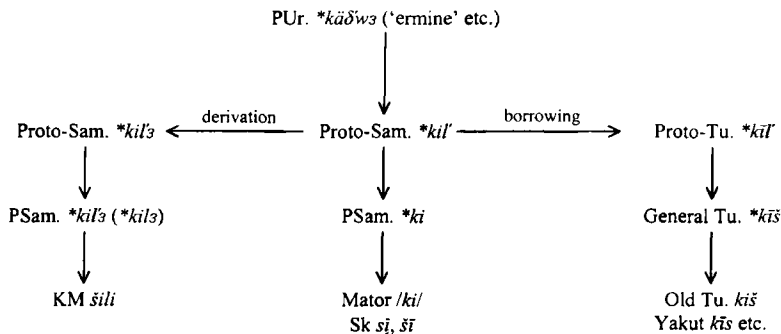
1. All early Turkic loanwords in Mongolic have *r* in the place of General Turkic *z* (e. g. Tu. *ikkiz* 'twins' > WM *ikire*, *ikere* etc.). The same substitution is attested in one or two Proto-Samoyedic words of Turkic origin (PSam. **jür* 'hundred', cf. Tu. *jüz* id.;

¹⁰ According to the theory of «zetacism» (G. J. Ramstedt, M. Räsänen, N. Poppe, K. H. Menges, V. M. Illich-Svitych e. a.), General Turkic *z* goes back to Altaic and Proto-Turkic **r*₂ (preserved as the vibrant *r* in Tungusic, Mongolic and Bolgar Turkic and subjected to the process of zetacism in General Turkic). According to the opposing theory of «rhotacism» (Z. Gombocz, J. Németh, G. Clauson, A. M. Shcherbak, A. Róna-Tas e. a.), General Turkic *z* was always a sibilant (**z* or **s*, changed by the process of rhotacism in Bolgar Turkic). A similar difference exists between the «sigmatistic» and «lambdistic» treatments of the relationship between General Turkic *š* and Bolgar Turkic *l*.

possibly also PSam. *jür 'fat', cf. Tu. öz id.). This substitution looks absolutely normal if we assume that at the time of borrowing the sound in question was not a sibilant, but a vibrant only slightly different from *r (*r₂ — palatal *r or maybe post-alveolar *r).

The followers of the «rhotacistic» treatment consider all early Turkic elements in Mongolic and Samoyedic to be of Bolgar Turkic origin (Janhunen explicitly advocates this conception). It looks very strange, because actually Bolgar type Turkic idioms are historically attested only in Europe (Volga Bolgar and Chuvash, Khazar, the language of Proto-Bolgars in Bulgaria, the language of the Turkic tribes in the Onogur/Hungarian union), while all historically attested Turkic languages in Mongolia and Siberia represent the General Turkic type. In order to account for this contradiction, Janhunen (as well as A. Röna-Tas and several other scholars) is compelled first to settle both South Siberia and Western Mongolia with «an intrusive population speaking an early Bolgar type of idiom» (so as this population could satiate Proto-Mongolic and Proto-Samoyedic with loanwords) and then to lead all this strongly dispersed population far away «in the process of the continuing westward migration of the linguistic predecessors of the historical Bolgar Turks». Such a reconstruction of the migrational processes is hardly credible; besides, the ubiquitous Bolgars in this complicated picture leave neither in Mongolia nor in Siberia practically any place for those Turks who are supposed to coexist with them and to speak an early General Turkic type of idiom.

As far as the linguistic relationships between Turkic and Samoyedic are concerned, we can also take into consideration the etymology of the Samoyedic and Turkic names of sable. The scheme below is based essentially on [Räsänen 1950: 129], with important modifications ([Joki 1952: 290–291] and [Janhunen 1977: 126] give preference to the idea of borrowing from Turkic into Samoyedic):



The scheme is based upon the «sigmatistic» treatment of the history of Tu. s.

2. In genuine Turkic words neither *z* nor *š* occur word-initially. This phonotactic restriction is unnatural for obstruents, especially for the voiceless obstruent *š*: all other voiceless obstruents (in Oguz and Tuva-Tofalar also the voiced ones) freely occur in the initial position. We come to the understanding of this phenomenon when we assume that both *z* and *š* have developed from liquid consonants (*r₂, *l₂), which shared with *r and *l the property of being incompatible with the word-initial position.

3. The analysis of examples with the stem internal and stem final alternations between *r* and *z* in the languages of the General Turkic type (see my paper [Хелимский 1986b], essentially based on the materials collected by T. Tekin) shows that originally the distribution of alternating forms was subjected to purely morphonological rules. In the most typical and most archaic examples, the alternating *z* is present in word-final or intervocalic positions, while the alternating *r* occurs in the same stems pre- or postconsonantly, cf. *boγuz* 'throat' : *boγurdaq* 'larynx' : *boγrul* 'white-necked (animal)', *tāñiz* 'sea' : *tāñri* 'Heaven, God' (← *'celestial' ← *'marine', cf. WM *dalai* 'sea; universal, great'). This morphonological principle finds its typologically most plausible explanation if we assume that the common source of the two alternating consonants *z* ~ *r* differed from the «pure», non-alternating **r* by virtue of an additional articulatory feature (distinctive marker), which provoked its development into *z* in «strong» positions (word-finally and intervocalically), but was lost in «weak» positions (in consonant clusters).

4. V. M. Illich-Svitych has shown that it is the solution of Ramstedt which creates fruitful opportunities for external (Nostratic) comparisons of the Altaic material, while by adopting the opposite solution we achieve close to nothing. «Опыт сравнения ностратических языков», other Nostratic works by Illich-Svitych and his unpublished etymological materials (from card-files) contain about 30 Nostratic etymologies with *z* or *š* in Turkic and liquid consonants (or their regular reflexes) in all other language groups and families.

However, as long as the predilection for the «rhotacistic» theory usually goes hand in hand with anti-Altaic views and, accordingly, with the total rejection of the Nostratic hypothesis, the reference to these results can hardly sound persuasive to my opponent.

5. An important piece of evidence is provided by the Old Turkic runic alphabet. In accordance with the notion that this alphabet originated from a variant of the Soghdian cursive script, several attempts have been made to deduce the runic letters Ψ (for «z») and Υ (for «š») from the corresponding Soghdian letters¹¹ with an effect which the authors themselves could hardly consider satisfactory¹².

On the other hand, there exists an evident similarity between the runic symbols Ψ for «r» («r¹») and Υ for «z» (cf. also Ψ and Υ , Ψ and Υ in other graphic variants of the runic alphabet). No less obvious is the likeness between the symbols Υ for «l» («l²») and Υ (or Υ , or Υ) for «š».

If these comparisons between runic graphemes first suggested and discussed by A. Róna-Tas [1987: 10] are convincing (and I think they are much better than the existing explanations), it can be assumed that both the «tail» in Υ and the cross-line in Υ (Υ , Υ) originally served as diacritic marks, indicating the special quality of «z» as compared to «r» and of «š» as compared to «l». In other words, in the 6th or 7th century, when the runic alphabet was created, «z» (**r*₂) could still be a vibrant and «š» (**š*₂) a lateral consonant. Consequently, the well-known fluctuation in the choice of symbols for «š», observed already in some of the earliest runic inscriptions [Тенишев

¹¹ See for example: [Gautiot 1914: 7–10; Ключевский 1986: 152 и сл.; Лившиц 1978: 94–97].

¹² Cf. e. g. the suggestion of V. A. Livshits: $\wedge$ (Soghdian cursive «z») → $\neg$ → $\neg$ → Υ ; $\neg$ (Soghdian cursive «š») → Υ → Υ .

1971: 293–294; Кононов 1980: 64–65], may indicate that the sibilantization of $*l_2$ into $\dot{s}$ was already in process¹³.

6. Janhunen's assertion that from the point of view of phonology $*z$ must be regarded as an allophone of $*s$ in Early Turkic is contradicted by the examples showing that these two consonants could occur in identical phonological positions, cf. $*asy\gamma$ 'profit, advantage' and $*azy\gamma$ 'large tooth, tusk', $*jās$ loss, grief and $*jāz$ 'summer, spring', $*ōs$ 'grow' and $*kōz$ 'eye'¹⁴. Still, the general Turkic vocabulary actually demonstrates the distinct tendency to combine $*s$ with preceding short vowels and $*z$ with preceding long vowels, so that they do stand in quasi-complementary distribution.

Ramstedt's conception gives no explanation to this tendency. It is a serious, but perhaps surmountable drawback. For example, one is reminded of the automatic lengthening of vowels before [z] (and several other consonants, but not before [s]) in French. On the other hand, it is possible to think about a certain much more subtle mechanism of historical development¹⁵.

7. Quite often the followers of the «rhotacistic» theory refer to several Turkic words of alleged Indo-European origin, which are supposed to prove the primariness of sibilants. A detailed analysis of the relevant etymologies can be found in [Хелимский 1986: 72–75] (my polemics with A. M. Shcherbak).

V. At the end of this rejoinder I would like to say a few words about the so-called «cultural considerations», which Janhunen often mentions in his article. To be sure, taking the background of cultural history into consideration is a *sine qua non* of etymological work. It does not mean, however, that the history of words is a mere reflection of the history of things: many examples testify to the absence of a rigid correlation. Janhunen sees a cultural problem with the early dating of the borrowed word for swine, because «swine keeping was never a feature characteristic of the Samoyedic speaking peoples». But knowing swine is not the same as keeping them (cf. Hebrew *hazir* 'swine' — in spite of the prescriptions of Judaism! — and Common Slavic **velibodū* 'camel', which certainly does not qualify the Slavs as camel-breeders); the presence of a word for swine can also be a natural (and necessary) consequence of having neighbours acquainted with this kind of animal husbandry. On the other hand, in the course of language contacts many words are borrowed without any «cultural» necessity, just by play of chance or due to a curious fashion, and I cannot accept the radicalism of Janhunen, who would not allow the derivation of Samoyedic words for simple things from foreign sources (e. g. from Tu. $*tāl$ 'twig; willow', or from Tung. $*sogdo-$ 'back').

¹³ <See in more details [Хелимский 19916].>

¹⁴ In a recently published conference paper A. M. Shcherbak [Щербак 1987] admits that such examples create difficulties for his original theory of complementary distribution between $*s$ and $*z$ (which Janhunen seems to accept without reservation).

¹⁵ Many General Turkic stems of the type $C\dot{V}z/C\dot{V}\dot{s}$ (but certainly not all stems with these consonants) can go back to protoforms of the type $**C\dot{V}r/**CV\dot{r}$, where the front vowel $**i$ (later lost) is responsible for both the palatalization of $**r_1/*i_1$ into $*r_2/*i_2$ ($> z/\dot{s}$) and the compensatory lengthening of the first vowel.

CAM

ЭТ

1.

П

хак. (

См. е

мина

xarija

qaray

П

kadie,

*kaet

восхс

1955:

*kose

К

кедр

96–9

отра

хран

С

ками

поро

цесс

вост

фиче

тюре

цам

2

П

каза

-

etym

M. S

САМОДИЙСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ: ЭТИМОЛОГИИ И ОЦЕНКА ИХ ДОСТОВЕРНОСТИ*

1. ПТ **kađi* 'сосна' [сам. > тюрк. — надежно]

ПТ **kađi* 'сосна': тоф., тув. *xadj*, нижеинюсс.-тюрк. *xajj* [Рассадин 1971: 185], хак. (*qara*)*yazj* (койб. [R II: 151]), (*xara*)*xazj* (качинск. [PXC: 814]), чуваш. *xir*, *xirä*. См. еще [VEWT: 218] с упоминанием туркм. *kajñ* 'сосна' как результата контаминации с *kajñ* 'береза'. Вопреки [Егоров 1964: 314], сюда не относится якут. *xarija* 'ель' (связанное с названиями темнохвойных деревьев типа чаг., казах. *qarayaj* [Räsänen 1955: 26; VEWT: 235]).

ПС **kañjə* (фонетически, возможно, *[*kāñjə*]) 'ель': нен. Т *ħađi*, эн. Т *kađio*, Л *kađie*, сельк. N *qāñjə*, ОО *qeañe* [CL: 39]. Данное слово является дериватом от ПС **kañt* 'ель' [SW: 61], которое, наряду с фин. *kuusi*, манс. **kāwt*, хант. **kāl* и др., восходит к уральской праформе, реконструируемой в виде **kowsə* [Collinder 1955: 30, 1960: 407], **kaxsj* [Janhunen 1981: 240; Sammallahti 1988: 538], **kuse* ~ **kose* [UEW: 222].

К уральскому названию ели могут восходить также монг. *xusi* 'сибирский кедр' и тунг. **xasi(ka)* 'ель/пихта' (ср. еще бур. *xasūri* 'ель'), см. [Sauvageot 1929: 96–97; Räsänen 1955: 26; TMC I: 56; UEW: 222]. В отличие от **kađi*, эти формы не отражают каких-либо (поздних) самодийских фонетических особенностей (сохраняя *-s-).

См. [Róna-Tas 1982: 160–161, 1988: 745; Терентьев 1989: 275–276] (со ссылками на более раннюю литературу). Заимствование названий деревьев хвойных пород из уральских источников в алтайские языки может быть соотнесено с процессом распространения самих соответствующих пород из Западной Сибири на восток, который прослеживается по данным палинологии, хотя историко-географическим фоном данного конкретного заимствования могло быть проникновение тюрков — вероятно, из Западной Монголии — на север, в населенную самодийцами таежную область, см. [Хелимский 1988в: 9, 1991: 88].

2. ПТ **kil* 'соболь' [сам. > тюрк. — надежно]

ПТ **kil* 'соболь' > общетюрк. **kīs*: др.-уйг., ср.-тюрк., чаг., тув. *kiš*, якут. *kīs*, казах., хак. *kis*, тат. *kaš* [VEWT: 272; Clauson 1972: 752].

* Впервые опубликовано на английском языке: Samoyedic loans in Turkic: Check-list of etymologies // Laut- und Wortgeschichte der Türkischen Sprachen / Hrsg. von B. Kellner-Heinkele u. M. Stachowski. (Turkologia 26). Wiesbaden, 1995. S. 75–95.

ПС **ki* 'соболь' [SW: 69; Helinski 1987a: 67]: эн. Т (дериват) *sini* (XVIII в.), сельк. N *šī* [CL: 91], мат. *ki*. Кам. (C) *šili*, койб. (Pallas) *ssillae*, (Сп.) *šile* могут отражать ПС **kilz* или **kilz*.

М. Ряснен [Räsänen 1950: 129; VEWT: 479] и, вслед за ним, автор данной статьи [Хелимский 1988в: 11, 1991: 91] и В. А. Терентьев [1989: 277] связывают самодийское название соболя со следующими финно-угорскими зоонимами: сам. N *gad'fe* (**kādvē*) 'mustela erminea feminina', манс. **kāl* 'самка', хант. **kājəu* 'самка (особенно соболя, лисы)', венг. *hölgy* '(ст.-венг.) горноста́й, (совр.) дама'. Предлагались реконструкции ПФУ **kādwā* [Collinder 1960: 411], что не объясняет венг. *h-* (обычно из **k-* перед гласным заднего ряда) или **kādwā* (**kādwz*) [UEW: 116], что плохо согласуется с передним вокализмом всех рефлексов (в т. ч. саам. *a* < **ā* < **ä*). Если отказаться от широко распространенных, но недоказуемых презумпций относительно фонетической структуры ПФУ/ПУ реконструируемых форм, то можно было бы думать о ПУ форме типа **kaiūd* (*'самка пушного зверя'?). В любом случае, в свете внешних сравнений вероятным представляется развитие ПС **ki* < **kij* < **kil* < **kEd*. Промежуточная стадия данного развития (ср. [Sammallahti 1988: 485]), **kil*, отражена в заимствованной ПТ форме. Дополнительным свидетельством о направлении фонетической эволюции служит отмеченный выше дериват — ПС **kilV* или **kilV* — с сохранением латерального в неконечной позиции. Ср. аналогичные случаи сохранения латеральных в дериватах: ПУ **pele-* 'бояться' [UEW: 370] > ПС **pij-* [SW: 124] + ПС **pils-* в нган. *hilī-tim* 'боюсь'; ПУ **tule-* 'прийти' [UEW: 535] > ПС **toj-/tuj-* [SW: 164] + ПС **tulz-, *tultz* в сельк. Таз *tulj-š-* 'дойти', *tultj-* 'занести'.

Относительно соотношения ПТ и ПС форм в контексте проблем тюркского «ротацизма-зетацизма» см. еще [Helinski 1991: 263] со схемой.

В ряде работ принимается противоположное направление заимствования — ПС из ПТ (или из булгарско-тюркского, что крайне плохо согласуется с фактом распространения реально засвидетельствованных булгарско-тюркских языков исключительно к западу от Уральских гор), см., в частности, [Joki 1952: 290–291; Janhunen 1977: 126; Róna-Tas 1988: 743] (со ссылками и на более раннюю литературу). Однако убедительная историко-фонетическая либо культурно-историческая мотивировка такого этимологического решения здесь отсутствует, вряд ли оправдана и критика ПУ этимологии М. Ряснена у А. Й. Йоки.

3. ПТ **tīt* 'лиственница' [урал. > тюрк. — надежно, сам. > тюрк. — приемлемо]

ПТ **tīt* 'лиственница': др.-тюрк. *tīt*, якут. *tīt*, тув. *dīt* и др. [VEWT: 479; Clauson 1972: 449], ср. также сиб.-тат. *tetayac* 'кедр' [Ахатов 1963: 101].

ПС **titeŋ* 'сибирский кедр' ([SW: 160] с реконструкцией **titejaŋ*), суффиксальный дериват от основы **tīt-* < ПУ **siksī* 'сибирский кедр' ([Janhunen 1981: No. 70; Sammallahti 1988: 540]; см. также [UEW: 445–446] с реконструкцией ПУ **soks3/ *saks3/ *saks3*).

Можно с высокой степенью уверенности говорить о заимствовании уральского слова в ПТ, причем, как и в случае с названием ели/сосны (см. выше № 1), заимствование может быть соотнесено с естественно-историческим процессом распространения хвойных пород из Западной Сибири на восток. Имеются, однако, по крайней мере две возможности идентифицировать непосредственный

уральск.
суффикс
Róna-T
и в ПС
479; U
ной по
дия об
виться
Зас
ния де
[TMC

4. I
ПТ
казах.
и др. [
ПС
сельк.
вах, н
рокли
еще п
мами
ренне
непро
См
дим в
форм,
из во
*weka

5.
ПТ
'пешн
68–69
ния т
вий м
ла *ja
По
урал.
числе
102, 1
Са
этим
из са
ностр

уральский источник — либо как ПС или, точнее, как раннюю ПС форму без суффиксального элемента **-eŋ* [Janhunen 1977: 127; Терентьев 1989: 277–278; Róna-Tas 1988: 746], либо как один из обско-угорских диалектов, в которых, как и в ПС, осуществилось развитие **s > t*, ср. манс. **tēt*, южно-хант. *tīyət* [VEWT: 479; UEW: 445]. Первая из этих двух возможностей выглядит более убедительной по крайней мере в силу аналогии с № 1 и в силу того, что завершающая стадия обско-угорского диалектного развития **s > *ʃ > t* не должна была осуществиться слишком рано.

Заслуживает внимания двукратное заимствование того же уральского названия дерева (в более архаичных фонетических обликах) в виде тунг. **suktu* ‘кедр’ [TMC II: 122] и тунг. **takti-* ‘кедр’ [TMC II: 156], см. [Хелимский 1991: 88].

4. ПТ **bäkirä* ‘осетр’ [сам. ~ тюрк. — надежно]

ПТ **bäkirä* ‘осетр’: туркм. диал. *bekire/bekre*, узб. диал. *bäkrä*, ккалп. *bekire*, казах. *bekire* (‘вид пресной рыбы’), *bekrä* (‘севрюга’ [R IV: 1577]), башк. *bikrī* и др. [VEWT: 68; ЭСТЯ II: 108].

ПС **wekana* [SW: 174] / **wekər(ə)* ‘осетр’; второй вариант отражен только в сельк. Таз *qeqir*, N OO *qegar* [CL: 33]. Чередование *r ~ n* в суффиксальных словах, неожиданно (и явно случайным образом) сходное с индоевропейской гетероклизой, самодийским языкам, вообще говоря, не свойственно (ср., впрочем, еще по крайней мере один подобный случай: сельк. ‘силок’ с диалектными формами *česən ~ čehər ~ kēsən ~ kēžər* и под., см. [CL: 101; Hajdú 1952a: 160]). Внутренней или уральской этимологии данный ихтионим не имеет, как, по-видимому, непрозрачно этимологически и тюркское слово.

См. [Ramstedt 1935: 41; ЭСТЯ II: 108]. Как и авторы данных работ, мы не видим возможности идентифицировать источник несомненного сходства ПТ и ПС форм, так что заимствование из самодийского в тюркский остается лишь одной из возможностей. В любом случае вряд ли оправдано сопоставление сам. **wekana* с монг. *baɣana* ‘колонна, столб’ (!?), см. [Janhunen 1977: 124].

5. ПТ **jada-* ‘пешком’ [сам. > тюрк. — маловероятно]

ПТ **jada-* ‘пешком’: чаг. *jaja-* ‘идти вброд’, *jajan* ‘пешком’, ср.-тюрк. *jaday* ‘пеший’, чуваш. *šuran* ‘пешком’ и т. д. [VEWT: 177; Clauson 1972: 887; ЭСТЯ IV: 68–69]. В последнем из указанных источников излагаются три варианта объяснения тюрк. форм: как заимствований из ср.-перс. *piyādag* ‘пеший’, как соответствий монг. *jadayu* ‘слабый, бедный’, и как образований от гипотетического глагола **jada-* ‘ходить’.

ПС **jatə-* ‘идти (пешком), встречать’ [SW: 38–39], возможно, восходящее к урал. **juta-* ‘идти, ходить’ [UEW: 106] и, во всяком случае, связанное с многочисленными уральскими глаголами движения с начальным **j-* [UEW: 88, 100, 102, 109, 850, 851].

Сам.-тюрк. сопоставление допустимо только при отклонении перс. и монг. этимологических версий для тюрк. форм; даже и в этом случае с заимствованием из сам. в тюрк. могут конкурировать иные объяснения, вплоть до принятия nostr. этимологии. См. [UEW: 106] (урал., тюрк.).

6. ПТ *kaja 'скала' [сам. > тюрк. — приемлемо]

ПТ *kaja 'скала' (ср.-тюрк., чаг., уйг. и др., см. [VEWT: 221; Clauson 1972: 674–675]). Традиционно данное слово сравнивается с монг. *qada* 'скала' [Ramstedt 1957–1966 I: 46, 89, 97; Poppe 1960: 95, 124; VEWT: 221]. Однако соответствие *j* : монг. **d* в интервокальном положении (в отличие от анлаутного) не фигурирует ни в одном из вариантов алтайской сравнительной фонетики, и предположения о не наблюдаемом в других случаях чередовании (Рамстедт), а тем более о заимствовании тюрк. форм из такого тюрк. языка, в котором **d* (**δ*) закономерно развилось в *j* (Поппе), выглядят достаточно произвольными. Такое соответствие не может, очевидно, быть объяснено и заимствованием в том или ином направлении.

ПС *koəjə 'гора, высокий водораздел': нен. Т *χōj*, Л *kōj*, эн. Т *kuoo*, нган. *kuədə*, сельк. Таз *qē*. Известно (хотя и не всегда принимается) сравнение сам. слова с венг. *hegy* 'верхушка, гора' с возведением к ПУ *kaδa [UEW: 115].

Сам.-тюрк. сравнение представляется приемлемым (хотя и не безупречным) в фонетическом и семантическом отношениях; если при этом принимать и урал. этимологию сам. слова, то тюрк. *kaja следует трактовать как сам. заимствование.

7. ПТ *kās 'кора' [сам. > тюрк. — приемлемо, тюрк. > сам. — сомнительно]

ПТ *kās 'кора': др.-уйг. *kas*, ср.-тюрк. *kāz* (ошибочное написание с *z* вместо *s*), *kās-*; в современных тюрк. языках представлены главным образом дериваты данной основы типа хак. *xasta-* 'снимать кору' [VEWT: 243; Clauson 1972: 665]. Имеется этимологическая версия, возводящая тюрк. слово к алт. *kaʀV (~ -ä-) 'кора' ([Старостин 1991: 38, 128, 186, 285] с литературой), однако архаические тюрк. формы достаточно четко свидетельствуют, как отметил Дж. Клосон, о первичности **s*, не возводимого к **r*. Видимо, *kās следует отделять и от тюрк. названий коры типа *kadir, *kadir (см. [VEWT: 218]; ср. [Старостин 1991]).

ПС *kāsa 'кора' [SW: 65]. Хотя известное сравнение этого слова с ПФУ *ko(n)čkz 'кора' ([UEW: 179–180], под вопросом) не включается в перечни наиболее надежных урал. этимологий (у Ю. Янхунена и П. Саммаллахти), фонетические трудности не являются непреодолимыми: известны и многие другие случаи развития ПС *ā (фонетически, скорее всего, широкий гласный среднего ряда!) из ПУ *a/*o, а также присутствия в ф.-у. (но не в сам.) постконсонантного *k (суффиксация в ПФУ?).

См. [Castrén 1857] (сельк. и тюрк.); [Róna-Tas 1988: 746] (сам. > тюрк.).

8. ПТ *kād 'метель, вьюга' [сам. > тюрк. — приемлемо]

ПТ *kād 'метель, вьюга': ср.-тюрк. *kād*, туркм. *gaj*, тур. *kaj* ('дождь со снегом'), тув. *χat* ('ветер') [VEWT: 217; Clauson 1972: 593]. С. А. Старостин [1991: 289] сравнивает это слово с тунг. *xedün 'ветер' и реконструирует алт. *kādV, однако значение 'ветер' в тув. скорее следует рассматривать как инновацию, что делает данную алтайскую этимологию уязвимой со стороны семантики.

ПС *kasi 'метель, вьюга' ([SW: 57] с реконструкцией *kacə; [Хелимский 1978а: 125]). Ввиду *c (совпавшего впоследствии в большинстве сам. диалектов с *t) совершенно неприемлемо возведение этого слова к ПУ *kidz 'снегопад' [UEW: 194]. Сравнение с фин. *kide* 'снежинка', мар. *kəčək* 'свежевыпавший снег'

[Collinder 1957: 195].
все же недоста
объясняет стр
соответствие
виду более ви
В [Menges
ся заимствова
тимо с упомя

9. ПТ *tal-

ПТ *tāla-

1972: 492; ЭС
talas- 'драть'
528–529] и п
шать'.

ПС *talä-
431]. В отли
не вызывает
обширны и с

Предпол
абсолютно
ре семантич
сфере, тогд
Ввиду этог
как приемл
ний об исто

10. ПТ

приемлемо

ПТ *gāt

VEWT: 241

ПС *kep

Толков:

В. А. Тере

препятств

вполне мь

ного (верс

рую с уче

вращения

также не у

Весьма

якут. *χарт*

11. Чу

мнитель

ПТ (?)

сближены

[Collinder 1955: 24–25; Терентьев 1989: 275] представляется более удачным, но все же недостаточно надежным: реконструкция **kič(č)u*, ? **kič(č)e* (Терентьев) не объясняет странного соотношения в вокализме фин. и сам. слов, семантическое соответствие неполно, принадлежность сюда мар. слова достаточно сомнительна ввиду более вероятных его связей с ономастическим *käčäk*, *käčä* 'скрипучий'.

В [Menges 1959: 148; Róna-Tas 1981: 382; Терентьев 1989: 275] предполагается заимствование из сам. в тюрк. Естественно, такое предположение несовместимо с упомянутой выше версией алт. происхождения тюрк. форм.

9. ПТ **tāla* 'грабить' [сам. > тюрк. — приемлемо]

ПТ **tāla* 'грабить, разорять, разрушать' (см. подробно [VEWT: 458; Clauson 1972: 492; ЭСТЯ III: 135–137]). Слово имеет ряд дериватов, например, др.-тюрк. *talaš-* 'драться, сражаться, спорить, скандалить', *talīm* 'хищный, дерзкий' [ДТС: 528–529] и представлено как заимствование также в монг. *tala-* 'грабить, разрушать'.

ПС **talä-* 'воровать' [SW: 150] из ПУ **sala-* 'таиться, воровать' [UEW: 430–431]. В отличие от ряда других случаев, уральское происхождение данного слова не вызывает сомнений (см. [Janhunen 1981: № 10; Sammallahti 1988: 540]); весьма обширны и его словообразовательные связи в сам. [SW: 150–151].

Предположение о заимствовании (достаточно раннем) из сам. в тюрк., будучи абсолютно приемлемым с фонетической точки зрения, встречает по крайней мере семантические трудности. Сам. слово относится преимущественно к бытовой сфере, тогда как тюрк. **tāla-* известно в первую очередь как военный термин. Ввиду этого предложенную этимологию приходится оценить в лучшем случае как приемлемую, и воздержаться от потенциально небезынтересных рассуждений об исторических обстоятельствах, которые могли обусловить заимствование.

10. ПТ **gāt* (**kāt*) 'ягода' [сам. > тюрк. — сомнительно, сам. > якут. — приемлемо]

ПТ **gāt* (или **kāt*) 'ягода': ср.-тюрк. *kāt*, алт., хак. диал. *qat*, тув. *kat* [R II: 275; VEWT: 241; Clauson 1972: 593–594; ТувРС: 231].

ПС **keptu* 'смородина' ([SW: 66] с реконструкцией **kepta*, [Терентьев 1989: 276]).

Толкование тюркского слова как самодийского заимствования, предложенное В. А. Терентьевым [там же], не представляется убедительным. Его принятию препятствуют фонетические соображения: хотя упрощение **pt > t* в тюркском вполне мыслимо, но гораздо сложнее объяснить звонкость инициального согласного (вероятным рефлексом которой является тув. *k-*) и долготу гласного (которую с учетом ср.-тюрк. формы постулирует Дж. Клосон). Предположение о превращении названия смородины в обозначение ягод вообще при заимствовании также не усиливает эту этимологию.

Весьма вероятно, однако, что к какому-то самодийскому источнику восходит якут. *хартыаһа* 'красная смородина' (> эвенк. *kartayās*, см. [TMC I: 377]).

11. Чуваш. *šēr, šör* 'ночь' [урал. > тюрк. — приемлемо, сам. > тюрк. — сомнительно]

ПТ (?) **jüdi*/**jüde* > чуваш. *šēr, šör* 'ночь' ([VEWT: 201]: крайне проблематичное сближение с тюрк. *jir* 'левая сторона, север'; [Егоров 1964: 212] без этимологии).

ПС **üätz* (?**üts*) 'вечер' [Helimski 1987a: 56–57] из ПУ **jüts* 'вечер, ночь' [UEW: 99].

Версия о заимствовании в древнебулгарский из самодийского выдвинута К. Адьягаши [Agyagási 1989] в качестве альтернативы версии о прамарийском происхождении чувашского слова, ср. мар. *jüt* 'ночь' [Adamović 1985: 74–75]. Однако более удачной представляется все же версия М. Адамовича — возможно, с некоторыми поправками, позволяющими преодолеть хронологические трудности (ПТ **j-* подвергся фриктивизации до установления болгарско-пермских языковых контактов, ввиду чего К. Адьягаши считает невозможным отражение прамар. *j-* в виде чуваш. *ś-*. Однако при отсутствии в системе *j-* субституция этого согласного через *ǰ-* с дальнейшим развитием в чуваш. *ś-* могла иметь место и позднее. Кроме того, допустимо думать и об уральском источнике, не тождественном прамарийскому, но также отразившему ПУ **jüts*). С точки зрения семантики (пара)прамарийская версия также выглядит убедительнее.

12. ПТ **bün* 'суп' [сам. > тюрк. — сомнительно]

ПТ **bün* 'суп': ср.-тюрк. *mün, bün* и др. [Joki 1952: 228–229; Clauson 1972: 347].

ПС **weñz* 'суп' [SW: 174].

Фонетическая дистанция между тюрк. и сам. формами настолько значительна, что многочисленные попытки истолковать **weñz* как тюркизм ([Paasonen 1917: 291; Donner 1920: 57–58]; [Joki 1952] с очень сильными сомнениями) либо **bün* как самодийское заимствование [Róna-Tas 1988: 746] не представляются убедительными: проще смириться с возможностью случайного и далеко не полного созвучия. Определенные этимологические перспективы сохраняет, впрочем, рассматривавшаяся у А. Йоки версия о китайском происхождении обеих форм (в связи с синокор. *mjen* 'суп').

13. ПТ **junt* 'лошадь' [сам. > тюрк. — ошибочно, тюрк. > сам. — надежно]

ПТ **junt* 'лошадь': др.-тюрк. *junt*, спорадические рефлексy в новых тюрк. языках [VEWT: 211; Clauson 1972: 946].

ПС **juntz* 'лошадь' ([SW: 49]; с колебаниями в качестве гласного второго слога, указывающими, видимо, на его неэтимологический характер, см. [Janhunen 1977: 125]).

Обычно сам. название лошади с полными на то основаниями рассматривается как тюркизм ([Paasonen 1917: 90, 269; Donner 1920: 6; Joki 1952: 138; Janhunen 1977; Róna-Tas 1988: 744] и др.). Несколько обособленную позицию занимает Д. Сайнор, который видит в ограниченном объеме тюрк. данных признак неисконности слова **junt* и трактует его как саянский регионализм общего происхождения с ПС **juntz* [Sinor 1965], а в другой работе даже рассматривает среди предположительных сам. заимствований в тюркском [Sinor 1979–1980: 771].

14. Тюрк. *Kem, Käm* 'Енисей' [сам. > тюрк. — ошибочно, урал. > тюрк. — сомнительно]

Тюрк. *Kem, Käm* 'Енисей' (название, распространенное во всех тюркских и ряде нетюркских языков Юга Сибири, см. [Vásáry 1971]).

Не представляется приемлемой попытка И. Вашари (там же; см. также [Sinor 1979–1980: 771]) объяснить данный гидроним из сам. форм, близких сельк. *kj*

'река'. Ф
'середины
68)) допс
Енисея н.
92)). Не
И. Вашар
географи
(см. о ни:
ких указа

15. Чу
Чува
восходит
ПС *
Предс
мологич
размельч
110)). По
[VEWT:
[VEWT:

16. С
Якут.
ПС *
[Janhunen
имеют м
терминал
качестве
[Janhunen
обязател
источни

17. А
Алт.
Сель
*komz(r
Согла
нием. Б
ского де

18. Д
Др.-к
Сель
[UEW: 5
Всле
сельк. в
Таш [R

'река'. Фонетическое неправдоподобие этимологии (сельк. *kj* отражает ПС **kj* 'середина, русло реки' < ? ПУ *[*kole*] < ностр. **gol*HA, см. [Хелимский 1972; SW: 68]) дополняется тем обстоятельством, что собственно самодийским названием Енисея несомненно является **Jentäsš* ([SW: 43]; см. также [Хелимский 1991: 91–92]). Не исключенной, хотя и трудно доказуемой выглядит предполагаемая далее И. Вашари (вслед за рядом других авторов) связь с ф.-у. гидронимами и гидро-географическими терминами типа фин. *Kemi*, *kymi* 'река', удм. *Kam* 'Кама' и т. д. (см. о них, в частности, [ЭСРЯ II: 172; UEW: 229–230]). Как бы то ни было, никаких указаний на сам. посредство не имеется.

15. Чуваш. *ävä* 'трут' [сам. > тюрк. — ошибочно]

Чуваш. *ävä* 'трут' (диал. *iva*, *iv*, *ü*) — согласно [Róna-Tas 1988: 746], может сходиться к ПТ **ruju* (> **huju* > **uju*).

ПС **ruja* 'трут' [SW: 131].

Представляется, что чуваш. слово получает вполне удовлетворительное этимологическое объяснение на тюрк. почве: оно связывается с чуваш. *äv* 'тереть, размельчать' [Егоров 1964: 39], к семантике ср. русск. *тереть* : *трут* [ЭСРЯ II: 110]. Поскольку чуваш. глагол родственен тюрк. *uγ*-, *ü*- 'тереть, размельчать' [VEWT: 510], не исключена в конечном счете и связь с монг. *uul(a)* 'трут' [VEWT: 508]. Все эти формы, естественно, не имеют ничего общего с ПС **ruja*.

16. Сиб.-тюрк. *tūt* 'лыжи' [сам. (др.-мат.) > тюрк. — надежно]

Якут., тув. *tūt* 'охотничьи лыжи (подбитые шкурой)'.

ПС **tutä* 'лыжи' (отражено только в эн. *tudo* и нган. *tutä*) из ПУ **sukse* [Janhunen 1981: 236; UEW: 450]. Отметим, что «типичные» лыжи у самодийцев имеют меховую подбивку (деревянные лыжи, голицы, обозначаются особыми терминами). Ю. Янхунен, предложивший данную этимологию, предполагает в качестве источника незасвидетельствованный (древне)мат. рефлекс ПС **tutä* [Janhunen 1989: 295–296]. Такая версия представляется возможной, хотя и не обязательной: вполне правдоподобно и заимствование в (сев.-вост.) тюрк. из ПС источника.

17. Алт. *qām* 'горсть' [др.-сельк. > тюрк. — сомнительно]

Алт. (леб., туб.) *qām* 'горсть' [R II: 478].

Сельк. Таз *qāmī* 'охапка' < **qāmā* < ПС **kāma* [SW: 63–64], вероятно, к ПУ **komz(rz)* 'горсть' [UEW: 175–176].

Согласно [Дыбо 1989: 212], тюрк. слово может быть (др.-)сельк. заимствованием. Более достоверным представляется объяснение *qām* как собственно алтайского деривата от *qaw*- 'хватать' со стяжением из *qaw-īm* [Баскаков 1985: 153].

18. Др.-кыргыз. *qaša* 'железо' [др.-сельк. > тюрк. — сомнительно]

Др.-кыргыз. *qaša* 'железо', ср. также дагур. *qasō*, *qasō*, *qasō* id. [Ligeti 1950: 150 ff.].

Сельк. Таз *kēsī* 'железо' < общесельк. **kēsā* < ПС **wesā* [SW: 175] < ПУ [UEW: 560–561; Sammallahti 1988: 541].

Вслед за [Ligeti 1950] (см. также [Ligeti 1986: 423]), заимствование из др.-сельк. в тюркский (контактного или субстратного характера) принимает А. Рона-Таш [Róna-Tas 1988: 748]. При этом он воспроизводит др.-сельк. *qasa* — форму,

никоим образом не согласующуюся с данными самодийской и селькупской исторической фонетики (хотя приведенная выше реконструкция $*k^{h}esə$ носит ориентировочный характер, но, во всяком случае, промежуточной стадией между ПС $*e$ и сельк. $\bar{e}$ никогда не мог быть гласный типа a). Более того, даже такая реконструкция *ad hoc* не объясняет др.-кыргыз. $\bar{s}$ на месте сам., сельк. s . В силу этого мы не склонны видеть в данном случае ничего, кроме случайного (и лишь частичного) фонетического сходства.

19. Сиб.-тюрк. *čitke* и т. д. 'затылок' [(др.)-мат. > тюрк. — сомнительно, тюрк. > мат. — надежно]

Сев.-вост. тюрк. 'затылок, загривок': тув. *čitke*, хак. *čitkelnitke*, саг. *netkă*, кыз. *itkă*, ж.-уйг. *iki*, шор. *nitkälčitkă*, чулым. *jitkă*, алт. *ditke*, лб. *jitke* [VEWT: 203; ЭСТЯ IV: 191].

Мат. МСп *nitkă* (ниткиде, с суффиксом 3Sg) 'затылок'.

Согласно предположению в этимологической картотеке В. М. Иллич-Свитыча, развитому А. В. Дыбо [1989: 212], тюрк. формы могут быть заимствованы из ПС $*nitka$, соответствующего фин. *niska* 'затылок' и сохранившегося только в маторском языке. Однако громадный и не заполненный какими-либо параллелями разрыв между прибалтийско-фин. и маторской формами, равно как и типичный характер маторско-тюркских лексических взаимоотношений делают несравненно более вероятным заимствование в противоположном направлении.

20. Тюрк. $*tān$ 'холодный ветер' [(др.)-кам. > тюрк. — сомнительно, тюрк. > кам. — надежно]

Тюрк. $*tān$ 'холодный ветер' (ср.-тюрк., хак. — см. [Clauson 1972: 510; Joki 1952: 309].

Кам. (С) *than* 'север', *t'an* 'слабый холодный зимний ветер; север, северный' [Donner 1944].

Без какой-либо серьезной аргументации Д. Сайнор [Sinor 1979–1980: 771] допускает заимствование в тюркский из камасинского. Однако все факты свидетельствуют о гораздо более обычном противоположном направлении заимствования, см. [Joki 1952: 309; VEWT: 460].

21. Чаг. *qotan* 'загон для скота' [др.-сельк. > тюрк. — ошибочно]

Тюрк.: чаг. и т. д. *qotan* 'загон для скота' [VEWT: 284].

Сельк. Таз *qētī* 'город', N *qoač* 'город' [CL: 34] < ПС $*wac$ 'забор, ограждение' [SW: 171] < ПУ $*woča$ [UEW: 577–578]. Во всех отношениях неприемлемой представляется версия о заимствовании в тюрк. (др.-кыргыз.) и далее в монг. (*qotal/qotan* 'ограда, город', впоследствии обратно проникшее в тюрк. языки) из др.-сельк. $*qota$ [Róna-Tas 1988: 748]. Достаточно сказать, что ввиду инновационного (уже в XX веке!) и диалектного характера развития $\bar{c} > t$ в сельк. предполагаемая др.-сельк. форма нереальна (в других же сам. языках не происходило гуттурализации $*w$). В полной мере сохраняет силу давнее объяснение тюрк., монг. *qota(n)* как евразийского миграционного термина, связанного с иран. $*kata-$ < $*kota-$ ('жилище, хозяйственная постройка'), см. [Иллич-Свитыч 1971: 317; Joki 1973: 272]. Естественно, ПУ $*woča$ и его рефлексy никакого отношения к данному термину не имеют.

22. Сиб.-тюрк. —

Тув. *bič* 'пластовый родник' [Мат. / 'лед', Ничто не из енисей (идеи эт)

Таким Полностью но гораздо *puluu* до $*büz$ 'лед' словообразно вероятно

23. Тоф.

Тоф. 1971: 5];

Мат. 60; Хели

Сема

тофалар предположительно, неясно

24. Сиб.-тюрк.

но, мат. Тоф.

194; Тув. Мат.

69]. Слово

есть хорошо

есть не

<Версия; о в

1997: 22

ния [Хели

25. Тюрк.

Тоф. тюрк. яз. В качестве

22. Сиб.-тюрк. *buluk* и т. д. 'наледь' [мат. > тюрк. — сомнительно, мат. < тюрк. — надежно]

Тув. *buluk* 'наледь, кромка льда', лебед. *puluq* 'наледь (замерзшая в несколько пластов земля)' [ТувРС: 122; R IV: 1375]; сюда же, очевидно, тоф. *bulaq* 'наледь у родника' [Рассадин 1971: 72, 6] — продукт контаминации с тюрк. *bulaq* 'родник' (ср. [ЭСТЯ II: 257]).

Мат. */buluk/* 'лед' [Helimski 1987a: 84]. Сравнивается с сельк. Таз *ulqa* (*/qulqa*) 'лед', Нижняя Чая *ulqo* 'лед, град' [Setälä 1912: 105; Donner 1920: 53]. <Это сравнение неприемлемо: сельк. **ulqo*, **qulqo* 'лед' представляет собой заимствование из енисейского словосложения **xul-qo*, ср. кетск. *ül'* (аринск. *kul*) 'вода', *qo* 'лед' (идея этого этимологического объяснения автор обязан Й. Алатало).>

Таким образом, мат. слово оказывается на самодийском фоне изолированным. Полностью исключить возможность субстратного влияния (мат. > тюрк.) нельзя, но гораздо более вероятно противоположное направление заимствования: *buluk*, *puluq* допустимо трактовать как архаичные собственно тюркские дериваты от **büz* 'лед' (отсутствие *-z* < **r* перед суффиксом *-luk*, *-luq* имеет аналогии в тюрк. словообразовании — ср. уйг. *silär* 'вы' вместо **sizlär*, якут. *bulüs* 'ледник' — и, вероятно, обусловлено упрощением исходного сочетания плавных: **rl* > *l*).

23. Тоф. *čoydī* (этноним) [мат. > тюрк. — приемлемо]

Тоф. *čoydī* и *qara čoydī/joydī* — названия двух тофаларских аймаков ([Рассадин 1971: 5]; у М. А. Кастрена: *Tjogde*, *Kara Tjogde*, а также бурят. *Zugde* 'Karagasse').

Мат. */čagədil/* 'старый; мужчина, муж, хозяин' из ПС **jek(ə)l'z* [Helimski 1987a: 60; Хелимский 1986: 123].

Семантика маторского слова позволяет видеть в нем возможный источник тофаларского (карагасского) этнонима, самодийское происхождение которого предполагалось и ранее [Радлов 1989: 87–88; Рассадин 1971: 92]. Остается, впрочем, неясной огубленность гласного в тюрк. формах.

24. Сиб.-тюрк. *ča'pqış* и т. д. 'летучая мышь' [мат. > тюрк. — сомнительно, мат. < тюрк. — надежно]

Тоф. *ča'pqış* 'летучая мышь', тув. *ča'ski*, кангат. *dschäs kysch* [Рассадин 1971: 194; ТувРС: 521; рукопись Г. Миллера, XVIII в.].

Мат. (в карагасском диалекте) */čabkapso(n)/* 'летучая мышь' [Helimski 1987a: 69]. Слово выглядит самодийским по облику, и в нем предположительно выделяется хорошо известный суффикс *-pso(n)* < ПС **-psən*. Однако корневая часть остается непрозрачной.

<Вероятно, корневая часть мат. слова представляет собой тюрк. заимствование; о возможных версиях этимологической трактовки тюрк. форм см. [Helimski 1997: 224–225]. Впрочем, исключить противоположное направление заимствования [Хелимский 1986: 132] тоже нельзя.>

25. Тоф. *čarpin* 'наст' [мат. > тюрк. — приемлемо]

Тоф. *čarpin* 'слегка оттаявший наст' [Рассадин 1971: 194]. Параллели в других тюрк. языках не обнаружены.

В качестве возможного субстратного источника можно думать о незасвидетельствованной маторской форме, этимологически близкой к сельк. Таз *čərpī* <

**iärpə* 'крепкий подбитый наст (особенно у озер)', далее ср. уральские названия снежного покрова и наста (с не вполне ясным соотношением) типа саам. L *čar^ava* 'so hart gefrorener Schnee, dass man darüber gehen kann', коми *чарӧм* 'наст', откуда, через русск. диал. *чарым*, также алт. *čarım* 'наст' [UEW: 465; ЭСРЯ IV: 317–318].

26. Тув. *ire, irej* 'дедушка' [мат. > тюрк. — надежно]

Тоф. *ire* 'предок; медведь', тув. *ire* 'прадед, (Тоджа) дедушка, свекор', *irej* 'дед, дедушка, старец; (иносказ.) медведь' [Рассадин 1971: 92; ТувРС: 210; Чадамба 1974: 73].

Мат. ('lingua monticolis Sajanensibus') *irei* 'медведь' [Pallas 1811] из ПС **irz* (**iräi*) 'дед, старик' [SW: 27].

Направление субстратного заимствования устанавливается вполне надежно, см. [Menges 1959: 143; Рассадина 1971] (неточно [Joki 1952: 257–258]).

27. Тув. *kada* 'тетя' [мат. > тюрк. — надежно]

Тув. *kada* 'тетя, (Тоджа) бабушка, свекровь' [Чадамба 1974: 73; Татаринцев 1983: 108].

Вероятным источником является незасвидетельствованное мат. слово, отражающее ПС **kata* 'старшая родственница (бабушка, тетя, свекровь)' [SW: 62]. В маторском данное слово должно было звучать как **kada*.

См. [Татаринцев 1983: 108].

28. Тув. *heŋme* 'вяленое мясо' [мат. > тюрк. — сомнительно, мат. < тюрк. — приемлемо]

Тоф. *heŋme* 'мелкокрошенное вяленое мясо', тув. *heŋme* 'вяленое мясо, рыба' [Рассадин 1971: 188].

Мат. *kõngmä*, (тайг.) *kémngnä* 'уликта, вяленое мясо' [Helimski 1987a: 80].

Возможная аргументация в пользу трактовки тюрк. слов как мат. заимствований исчерпывается ссылкой на слабо засвидетельствованное мат. */ke-/* 'вялить, сушить' (? — только в [караг.] *geimomsa* 'уликта, вяленое мясо' [там же]) и, видимо, недостаточна для полной уверенности в данном решении (ср. [Janhunen 1989: 295]). <Значительно более вероятно заимствование в противоположном направлении: тюрк. формы могут рассматриваться как дериваты от тув. *heg-* 'резать на мелкие куски, раздроблять, крошить' [Schönig 1996].>

29. Тув. *-ški-* суффикс имен родства [мат. > тюрк. — надежно]

Тув. *-(li)ški(-lar)* — суффикс, образующий от терминов родства собирательные существительные со значением 'группа лиц (членов семьи), объединенных данной степенью родства', например, *avalışkılar/avaškılar* 'мать со своими детьми' от *ava* 'мать' [Исхаков, Пальмбах 1961: 171]. Соответствия суффикса в других тюрк. языках неизвестны.

Вероятным источником мог быть незасвидетельствованный мат. суффикс (суффиксальный комплекс) того же значения, отражающий ПС **-sə-kəj* (**-sə-kəñ*), ср. соединительно-взаимные (connective-reciprocal) показатели дв. ч.: нен. *-s-χa²*, эн. *-so-χo²*, нган. *-d'-ə-gəj*, сельк. Таз *-sī-qā-qī* (см. [Hajdú 1975: 71–114]; [Хелимский 1977: 303–304] с изложением данной самодийско-тувинской этимологии).

30. Тув. *di*
Тув. *di*
других ди
Мат. *ti*
также нен
Заслуж
этого элем

31. Тоф. *i*
Тоф. *i*
1971: 233]
Мат. (мат. морф
[SW: 31–3
См. [Н
в весьма д
можность
представл
таль адап
ция семан

32. Хап.
Хак. *ka*
63]]. Веро
[ЭСТЯ II:
Койб. (К
Ср. нис

33. Хап.
Хак. *ti*
яков 1981
общетюрк
Койб. (К
Ср. так

34. Хап.
Хак. *ti*
1981: 63]]
шетюркск
Койб. (К
Этот и
происходя
единствен
ских диал
лений) пр
ское (койб

30. Тув. *dī'jba* 'клин' [мат. > тюрк. — надежно]

Тув. *dī'jba* 'клин' (Тоджа, см. [Чадамба 1974: 76] — при тув. *šaančak* 'клин' в других диалектах).

Мат. *tājba* (МСП **тайбе**) 'гвоздь' из ПС **t'ājwa* 'гвоздь, клин' ([SW: 154], ср. также нен. *Т тива* = *tīwa*, см. [РНС: 114]).

Заслуживает внимания фарингализация, возникающая в тувинской передаче этого элемента субстратной маторской лексики.

31. Тоф. *tarhiš* 'олененок' [мат. > тюрк. — надежно]

Тоф. *tarhiš* 'годовалый олененок (неодобрительное название)' [Рассадин 1971: 233].

Мат. (незасвидетельствованное слово) **targaj/*targāš-* (с характерным для мат. морфонологическим чередованием) из ПС **carkaj* 'тенок северного оленя' [SW: 31–32].

См. [Helimski 1991: 266, note 5]. Отсутствие предполагаемого слова-источника в весьма далеких от полноты мат. лексических материалах компенсируется возможностью достаточно точно реконструировать его облик с опорой на хорошо представленные рефлексy в других сам. языках. Заслуживает внимание такая деталь адаптации этого позднего субстратного заимствования, как пейоративизация семантики — несомненно, уже на тюрк. (тоф.) почве.

32. Хак. *ka* 'лось' [кам. > тюрк. — надежно]

Хак. *ka* (**ка**) 'лось' (качинск., XIX в. — Н. А. Костров, см. [Боргояков 1981: 63]). Вероятно, окказионализм — ср. хак. *pulan* 'лось' общетюркского характера [ЭСТЯ II: 260].

Койб. (Сп) **ка** 'лось', ср. ПС **ka* 'лось' [SW: 56].

Ср. ниже 33 и 34 (с комментарием).

33. Хак. *tugne* 'росомаха' [кам. > тюрк. — надежно]

Хак. *tugne* (**мугнэ**) 'росомаха' (качинск., XIX в. — Н. А. Костров, см. [Боргояков 1981: 63]). Вероятно, окказионализм — ср. хак. *xuni* 'росомаха' с широкими общетюркскими связями [VEWT: 300].

Койб. (Сп) **мугна** 'росомаха', ср. ПС **wiŋkance* 'росомаха' [SW: 56].

Ср. также 32 и 34 (с комментарием).

34. Хак. *tāt* 'выдра' [кам. > тюрк. — надежно]

Хак. *tāt* (**тять**) 'выдра' (качинск., XIX в. — Н. А. Костров, см. [Боргояков 1981: 63]). Вероятно, окказионализм — ср. хак. *xamnos* 'выдра' с широкими общетюркскими связями [VEWT: 228].

Койб. (Сп) **тять** 'выдра', ср. ПС (?) **töt* ([Helimski 1987a: 92] с литературой).

Этот и два других качинских зоонима (ср. выше 32 и 33), очевидным образом происходящие из койбальского диалекта камасинского языка, представлены в единственном источнике и, по-видимому, впоследствии не сохранились в хакасских диалектах. В силу этого их статус как заимствований (а не иноязычных вкраплений) проблематичен; с высокой долей вероятности можно предположить самодийское (койбальское) происхождение информанта, с которым работал Н. А. Костров.

35. Хак. *sidik* 'тяжелый, трудный' [кам. > тюрк. — приемлемо]

Хак. *sidik*, (сар.) *sedik* 'тяжелый, трудный' [ХРС: 186; R IV: 485]. Слово выглядит изолированным на тюрк. фоне; вокализм сагайской формы более архаичен.

Камас. *sed-em* 'тяжелый, трудный' [Donner 1944] из ПС **seč-* то же [SW: 139].

Сопоставление небезупречно ввиду различия в суффиксальном оформлении кам. и хак. форм.

Рассмотренными выше этимологиями не исчерпывается перечень тюркских слов, для которых предполагались самодийские источники. Думается, однако, что нет особой необходимости рассматривать в деталях целый ряд бегло сделанных сопоставлений, не находящих подтверждения в данных исторической фонетики — например, тоф. *kēš*, *hēš* 'сказать' с ПС **kēt-*, тоф. *ot* 'голенище' с нен. *χutī* 'сапог', тув. *čāva* 'жена старшего брата' с нен. *ñaba*, тув. *xuna-* 'отбирать' с ПС **kanta-* 'уносить', тув. *xāj* 'нос' с ПС **pīja*, тоф. *höipä* 'крючок' с сельк. *kota*, тоф. *ālagaš* 'мало, редко' с нен. *ōluku* 'маленький', тув. *tānde* 'раньше' с кам. *šan* 'старина' [Menges 1959: 142–149]. Не нуждаются в сам. этимологии (вопреки [Рассадин 1971: 92]) тоф. *aba* 'мама', ср. ср.-тюрк. *aba*, и тоф. *sō* 'ведерко из бересты', ср. [R IV: 512].

С другой стороны, можно ожидать немало интересных результатов от этимологического изучения долганской лексики (где несомненно присутствуют нганасанские, а быть может, и другие сев.-сам. заимствования), а также от поиска селькупских элементов в чулымско-тюркском и соседних сибирско-тюркских диалектах. В данной статье соответствующая проблематика осталась незатронутой.

В проце
дится апел.
детельство
лиации, ди
и семанти
точнее, «р
вом, что э
ника, либо
венных ем
изученност

Пожалу
которых, в
тя и усколи
и пометати
ский 1983а

С точк
представля
масинского
находилис
особенност
1952)).

Данная
шего до на
диалектам
ных в нем
обнаружен
в литерату
Отдельным
вания, отра
же прототи
(в том числ
ках (см. [Н

* Впервы

ТЮРКСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАРИТЕТЫ В МАТОРСКОМ ЯЗЫКЕ *

В процессе исторического изучения заимствованной лексики нередко приходится апеллировать к формам языка-источника, которые реально в нем не засвидетельствованы, хотя и весьма правдоподобны (с учетом его генетической аффилиации, диалектологии, словообразовательных моделей, особенностей фонетики и семантики). Необходимость обращения к подобной реконструктивной — или, точнее, «реаттестационной» — процедуре определяется либо тем обстоятельством, что заимствование «законсервировало» устаревшую форму языка-источника, либо тем, что последний сам вышел из употребления (в отличие от родственных ему диалектов или языков), либо, наконец, просто его недостаточной изученностью.

Пожалуй, разумно отграничивать незасвидетельствованные формы (часть из которых, возможно, благополучно дожила в языке-источнике до наших дней, хотя и ускользнула из поля зрения лексикографов) от праязыковых реконструкций и помечать их не астериском, а особым символом — например, ° (см. [Хелимский 1983а: 203; Аникин 1995: 13]).

С точки зрения тюркской лексикологии и этимологии немалый интерес представляют, как известно, данные двух самодийских языков Присаянья, камасинского († 1989) и маторского († 1839), которые в течение многих столетий находились под сильным влиянием тюркских диалектов Южной Сибири, в особенности диалектов хакасского и тувинско-тофаларского типа (см. [Joki 1952]).

Данная статья опирается на опыт полной этимологической обработки дошедшего до нас материала по тайгийскому, карагасскому и собственно маторскому диалектам маторского языка (см. [Helimski 1997]) и содержит сводку выявленных в нем тюркских лексических раритетов, до сих пор не отмеченных (или не обнаруженных нами) в тюркской лексикографии; часть из них уже обсуждалась в литературе ([Joki 1952], публикации автора данной статьи и М. Стаховского). Отдельными и не затрагиваемыми в ней темами являются древнейшие заимствования, отражающие архаические особенности лексики и фонетики древне- и даже прототюркского периода (см. [Helimski 1991]), а также лексические элементы (в том числе раритеты) самодийского происхождения в сибирско-тюркских языках (см. [Helimski 1995]).

* Впервые опубликовано в: *Studia Turcologica Cracoviensia*. 1998. 5. P. 125–134.

Тюрк. °*ajlaq* ‘галка’

Данный орнитоним явно тюркского, а не самодийского облика отражен в мат. *ajlak* ‘галка’: MPZ *ailäk* ‘Corvus Graculus’. Близкие формы представлены в тув. языке: *ajlaŋ-kuškaš* ‘соловей’ (*kuškaš* ‘птичка’), *ajlaŋ-sāskan* ‘сойка’ (*sāskan* ‘сорока’). Представляется наиболее вероятным, что и °*ajlaq*, и тув. *ajlaŋ* образованы непосредственно от хорошо известного (в т. ч. в Южной Сибири) тюрк. **ajla*- ‘кружиться, вертеться’ [ЭСТЯ I: 109–110], причем в случае с ‘галкой’ мотивационной доминантой могло послужить характерное для птиц семейства Corvi (ворон, воронов, грачей, галок) свойство кружиться в небе большими стаями, см. [Хелимский 1992–1993: 110–111]. Альтернативную возможность деривации от тюрк. **ajlaq* (< **ālā*- ~ **ajlā*- ‘знать, объяснять, думать’), со ссылкой на обычаи гадания по поведению птиц, предлагает М. Стаховский [Stachowski 1996: 218 s. v. *alas*].

Сиб.-тюрк. °*aqsu*-as ‘ласка’

Возможность такого тюрк. словосложения с буквальным значением ‘беловатая ласка’ или ‘беловатый горностай’ доказывается ссылкой на (1) алт. (R) *aq as* ~ *ayas* ~ *ās* ‘Hermelin’ (буквально ‘белый *as*’, к тюрк. **as* ‘горностай, ласка’, см. [ЭСТЯ I: 191–192]); (2) тюрк. **aqsu* ‘беловатый’ > алт. (R) *aqsū*. О его реальности свидетельствуют две самодийские формы в «Зоографии» П. С. Палласа: мат. (караг. диалект — *Lingua monticolis Sajanensis*) *aksagas* ‘Mustela Gale, ласка’ и кам. *aksagas* id. Нельзя, впрочем, исключить и тюрк. источник типа °*aqsag*-as, °*aqsay*-as, испытавший контаминационное воздействие со стороны тюрк. **aqsag* ‘хромой’.

Структурно и семантически однотипное тюрк. °*aqtay*-as отражено в кам. (D) *aktayaš* ‘Hermelin’ (см. [Joki 1952: 60]).

Сиб.-тюрк. °*aryaly*(γ) ~ °*arqaly*(γ) ‘таймень (Salmo taimen)’

Адъективный дериват от тюрк. **arqa* ‘спина, хребет’ (см. [ЭСТЯ I: 174–175]) зафиксирован на Юге Сибири, насколько нам известно, только в своем прямом значении: шор. лб. (R) *aryaly*, алт. (R) *arqalū* ‘einen Rücken habend’. Нет, однако, никакого сомнения, что он должен был использоваться (или используется) и как название тайменя — рыбы, выделяющейся среди прочих лососевых своей высоко выступающей горбатой спиной. Особенно показательно хак. *pil* ‘(1) спина; (2) таймень’; северносамодийские названия тайменя (нен. *šumbāng*, эн. *šubogo*) образованы от слова ‘обух (топора)’. В качестве заимствования рассматриваемое слово отражено в мат. *argalā* ‘таймень’ (TM *argāle* ‘taimen’; TPZ *argalae* ‘Salmo fluviatilis, таймень’; KM *ārgali* ‘taimen’; MM *ārgale* id.).

Сиб.-тюрк. °*bičülör* (или близкая форма) ‘сыр’

В тюркских языках юга Сибири и в монгольском широко представлены названия сыра или творога, по крайней мере частично связанные в конечном счете с тюрк. **biš*-, **byš*- ‘созревать, достигать готовности’ (см. [VEWT: 74b]), но в своем фонетическом облике подверженные сильному варьированию вследствие многократных межъязыковых заимствований и контаминационных процессов. Наряду с более или менее прозрачными в словообразовательном и фонетическом плане формами — сар. (R) *pyslaq* ‘Käse aus Quark’, шор. (R) *pyšlaq*, тел. (R) *pyštaq*

(ср. так
форм т
‘сырки
особня
ма, зас
исхожд
рассмат
1952: 9
гинал т
форм.

Сиб
Это
тюрк.
тельств
‘kibiri’)
(сиб.)
соответ
диалек
ской гл
личной
тувинс

Сиб
В х
шор. (с
агентн
(хак.)
‘вый’.
‘ложь,
Дал
двумя
либо к
‘ложь,
позтич
такая
°čök-čč

Тю
Пре
обычн
1972:
тюрк.
удалос
мат. с
чаю’,
мый в

(ср. также п.-монг. *bisilay* 'сыр', халх. *baslag*) и т. д. — можно отметить группу форм типа саг. (R) *püçürä* 'nudelartiger Käse', шор. (R) *müçrā* 'Quark', хак. *pīçirō* 'сырки из кислого молока', (саг.) *müçire* (см. [VEWT: 346b]), а также стоящее особняком кыз. (R) *püzlār* 'Käse'. В этой запутанной ситуации своеобразная форма, засвидетельствованная в мат. языке — МСп бичюлёр 'сыр' (на тюрк. происхождение слова указал сам составитель словника, Г. И. Спасский; А. Й. Йоки рассматривал его искаженную во вторичных источниках форму *biçülöp*, см. [Joki 1952: 94]) — должна, скорее всего, отражать неизвестный тюрк. диалектный оригинал типа **biçülör*, в фонетическом отношении гибрид перечисленных выше форм.

Сиб.-тюрк. **čayluq*, **čäluk* 'боевая стрела'

Этот вполне прозрачный в словообразовательном отношении дериват от тюрк. **jayu* 'война' (см. [ЭСТЯ IV: 55–57]) > шор. (R) *šay*, тув. хак. *čā* засвидетельствован в мат. языке в двух диалектных формах: тайг. *čagluk* (TM *dsjagluk* 'kibiri') и караг. *čäluk* (KM *dschäluk* 'kibiri'). Переводом служит русск. диал. (сиб.) *кибирь* 'боевая стрела (длинная, с железным наконечником)'. Поскольку соответствие тайг. *-ag-* : караг. *ā* в исконной маторской лексике не представлено, диалектные формы скорее всего отражают тюрк. формы различной хронологической глубины (с учетом развития в направлении **jayu* > *čayu* > *čay* > *čā*) или различной диалектной принадлежности. Форма **čäluk* должна была быть собственно тувинской или хакасской.

Сиб.-тюрк. (хак.) **čōk-čal* (**čōx-čal*) 'болтун, пустомеля, болтливый'

В хак. языке отмечено несколько образований от *čōx* 'разговор, речь' (~ саг. шор. (R) *čōq* 'Rede, Wort'), имеющих значение 'болтливый, болтун': *čōxčy* (с агентивным суффиксом), *čōx tyras* (букв. 'не держит речи'). Несомненно, тюрк. (хак.) источник отражает и мат. *čok-čal* (? *čōk-čal*): МСп тчэкь тчалъ 'болтливый'. Не исключено, что вторая часть сложения находится в связи с тюрк. **jal* 'ложь, клевета и т. д.' (см. [ЭСТЯ IV: 87, 92]).

Дальнейшая этимология хак. *čōx* не вполне ясна: ср. [VEWT: 119a и 206a] с двумя разными объяснениями, ни одно из которых не выглядит убедительным: либо к тюрк. **jo-r-*, **jo-j-* 'объяснять' [ЭСТЯ IV: 223–225]), либо к тюрк. **joj* 'ложь, лжец' [VEWT: 205a]. Вполне допустимо думать, впрочем, и об ономато-поэтическом происхождении слова, см. [Stachowski 1996: 219–220 s. v. *čōx*] — такая версия хорошо согласуется с присутствием инициальной аллитерации в **čōk-čal* (**čōx-čal*).

Тюрк. **jajutyn-* > **čaqutyn-* 'приближаться, двигаться навстречу'

Представляется правдоподобным существование рефлексивного деривата (с обычным суффиксом рефлексива **-n/*-yn*) от тюрк. **jajut-* 'to approach' [Clauson 1972: 899] > хак. *čayda-* 'приближаться' и т. д. Однако по крайней мере в сиб.-тюрк. языках обнаружить формы типа **čaqutyn-* или **čay(u)dyn-* (< **jaj(u)utyn-*) не удалось. Тем не менее, отражение тюрк. **čaqutyn-* можно, вероятно, усматривать в мат. *čaktān-* 'приближаться, двигаться навстречу': МСп джяктынгаемь 'встречаю', где представлена конструкция «конверб (равен основе глагола) + спрягаемый вспомогательный глагол» (-гаемь 'иду' от мат. *kaj-* 'идти').

(?) Тув.-тоф. *°dan(γ)aj*, *°dān(g)āj* 'лыжи-голицы'

В тюрк. языках Сибири широко распространены названия неошкуренных лыж (голиц) типа тел. куманд. леб. (R) *qanaj* 'Schneeschuhe, die nicht mit Fell überzogen sind', леб. (R) *qanḡayaj* 'Schneeschuhe ohne Fell', качинско. (D) *qanḡajāq* 'Schneeschuhe ohne lederne Sohle', тоф. [Рассадин 1971: 91] *qanḡa* 'лыжи без меховой обивки' (далее этимологически к куман. (R) *qana* 'Brett', тат. тоб. (R) *qanḡa* 'das Holzgestell des Sattels'). Качинско-хакасская форма отражена в кам. (D) *kangyjak* 'Schneeschuh (aus Holz)' [Joki 1952: 160], мат. *kangajak* (ММ *changaijāk* 'Golizi').

Наряду с этим, в мат. языке (карагасский диалект) отмечена и необычная, хотя и отчасти созвучная форма с тем же значением: КМ *dengi* 'Golizi'. Учítывая, что: (а) по крайней мере в одном случае в тув. и тоф. языках имело, по-видимому, место нетривиальное развитие **qVŋ-*, **gVŋ-* > *dVŋ-*, ср. тув. тоф. *danḡa* 'курительная трубка' (< **ganḡa*, **qanḡa*, ср. п.-монг. *γanḡa* ~ *γansa*, бур. *gansa*, хака. *ḡanḡa*, алт. *kanḡa*, см. [VEWT: 232b; Аникин 1995: 45, 46]); (б) в тунгусо-маньчжурских языках представлены обозначения лыж-голиц с передним вокализмом основы (эвенк. *kiŋlā*, *kiŋnā*), которые А. Й. Йоки сравнивал с *qanaj* и под. — можно, с большой осторожностью, предположить существование тув.-тоф. *°danḡaj/°danaj*, *°dānḡāj/°dānāj*, которое после заимствования претерпело на мат. почве монофтонгизацию ауслатного дифтонга (и, возможно, сопутствующую гармоническую палатализацию первого гласного), что могло дать в итоге мат. *dān(g)ī* или *deŋ(g)ī* (= КМ *dengi*). К фонетическому развитию ср. мат. *inī* 'хороший' < ПС **ena-j*, мат. *āmī* 'еще один' < ПС **āmā'j*, мат. *kālā* 'рыба' < ПС **kale*.

Наличие тоф. *qanḡa* служит, конечно, препятствием к постулированию тув.-тоф. форм с начальным *d-* — однако препятствием не непреодолимым, если учесть диалектологическую неоднородность региона, весьма наглядно проявляющуюся при сравнении «карагасских» материалов М. А. Кастрена и современных тофаларских данных.

Сиб.-тюрк. *°kūmgz* 'обух (топора)'

Засвидетельствовано заимствованным мат. *kūmgz*: КР *gūmgȳde* 'обух' (с притяжательным суффиксом 3Sg *-de*). Тюркское происхождение позволяют предполагать дополнительно суффиксированные по сравнению с *°kūmgz* формы, которые, как и понятие обуха, в своей семантике содержат указание на тыльную сторону предмета: алт. *kōmkör-*, *kōŋkör-* 'перевернуть вверх дном, повалить вниз лицом', *kōmkörö*, *kōŋkörö* 'ничком, вниз лицом', куманд. (R) *kūmgürä-* 'mit dem Gesicht nach unten liegen'.

Сиб.-тюрк. *°māsa* (или раннетюрк. **māsa*) 'овод, слепень'

Источником мат. *māza* (КР *māasa* 'слепень'), по-видимому, являлась тюрк. форма, совмещавшая в себе долготу корневого гласного (как в тув. хака. *mās* 'овод, слепень'; ср. тоф. *mas*) и наличие гласного в ауслате, как в казах. (R) *masa* 'Mücke' (см. [VEWT: 329a]). В собственно тюрк. источниках такой формы нами не обнаружено.

Хака. диал. *°mušta-* 'реветь, мычать'

Входит в серию синонимичных глаголов ономатопеэтического характера: хака. *musta-* 'реветь', тел. (R) *mysta-* 'brüllen', сар. (R) *mykta-* id., тел. алт. леб. (R) *pusta-* 'brüllen (von Rindvieh)'. На фоне алт. форм с *-st-* хака. *-s-* выглядит исходным, од-

нако фор
хака. *-s-*).
ставляет
ративных
имствове
(выступа

Сиб.-

Если
(ранее н
возможн
хака. *ölen*
той стор
онной св

Тюрк-

Несом
рот'. Из
леб. (R)
den', дал
и > а пр
нет нужд
фиксаль
тать, зан
ставлена
тув. *ḡajju-*
qaj- 'пов
ется впол
*°qaj-ly-*yc

(?) Сиб.-

Данна
ствованн
шор. (R)
ный' (см
чем, в ф
ком, засл

Сиб.-

Эта н
названия
°dān(g)āj
простран
kanḡarga

Сиб.-

Словс
средство

нако форма **mušta-* позволяет предполагать исходность прото-хак. **-š-* (> лит.-хак. *-s-*). Отражено в мат. *muštar-*: МСп *муштыршиста* 'ревет', где *-шиста* представляет собой комбинацию инфинитивного показателя с вспомогательным дуративным глаголом *astā-* 'посылать', а суффикс *-ər-* отражает, как и в других заимствованных из тюрк. глаголах, тюрк. суффикс имперфективного причастия (выступающего в качестве второй основы: хак. *mustir-*, диал. **muštir-*).

Сиб.-тюрк. **ölän* 'ил'

Если перевод мат. *ölän*: МСп *улянъ* 'ил' у Спасского точен, то подобная (ранее не засвидетельствованная) семантика тюрк. слова-источника дополняет возможным соединительным звеном цепочку, связывающую, с одной стороны, хак. *öleŋ* 'ковыль', леб. [Баскаков 1985] *ölön* 'трава', кирг. *ölön* 'осока', и, с другой стороны, тюрк. **öl* 'мокрый, сырой, влажный' (о предполагаемой деривационной связи между ними см. [ЭСТЯ I: 524–525, 527–528]).

Тюрк. (хак. ?) **qajlyŋaq* или **qajlyŋaq* 'водоворот'

Несомненным тюркизмом является мат. *kajlägak* (МСп *хайлыгакъ* 'водоворот'). Из засвидетельствованных тюрк. форм ему наиболее близка алтайская: тел. леб. (R) *qijülyāq* 'Wasserwirbel' (дериват от *qijül-* 'im Wirbel herumgedreht werden', далее к тюрк. **qid-* 'лечь', см. [VEWT: 297ab]). Однако предполагать мену *и > а* при заимствовании или соответствующее искажение в записи Спасского нет нужды. Известны и другие тюрк. обозначения 'водоворота' с суффиксом (суффиксальным комплексом) *-l(y)-yaq*, например, тув. *boralgak* (дериват от *bora-* 'заметать, заносить; путать'). Далее, в образованиях той же или близкой семантики представлена и основа *qaj-*: туб. (R) *qajyr* 'die Strömung des Wassers, быстрина реки', тув. *qajut* 'пучина, водоворот' (вероятно, данная основа тождественна ср.-тюрк. *qaj-* 'поворачиваться', алт. тел. (R) *qai-* 'sich zurückwenden'). Тем самым оказывается вполне правдоподобным существование тюрк. источника типа **qaj-yl-yaq* или **qaj-ly-yaq* 'водоворот', совмещающего рассмотренные выше основу и суффикс.

(?) Сиб.-тюрк. **qaly* 'злой'

Данная форма отличается только конечным гласным от хорошо засвидетельствованных родственных форм: тел. (R) *qaldjū* 'wild, wütend, toll, grob, hart', тел. шор. (R) *qal* 'grob, unverschämt', алт. *kal* 'дерзкий', *kaldür* 'сердитый, злой, бешеный' (см. [VEWT: 224a]). Она отражена как мат. *kalī* (МСп *халы* 'злой'); впрочем, в фонетическом отношении записи Спасского не могут считаться источником, заслуживающим стопроцентного доверия.

Сиб.-тюрк. **qan(y)aryan* 'лыжи-голицы'

Эта непосредственно не засвидетельствованная форма бесспорно связана с названиями лыж-голиц, указанными выше в связи с тув.-тоф. (?) **dan(y)aj*, **dän(g)äj* id. и отличается от них только наличием суффикса *-r-yan*, весьма распространенного в тюрк. Nomina instrumenti. Данная форма отражена в мат. *kangargan* (TM *changárgan* 'Golizi').

Сиб.-тюрк. **qastuq* 'стрела (с железным наконечником, для охоты на гусей)'

Слово образовано непосредственно от тюрк. **qāz* > сиб.-тюрк. *qas* 'гусь' посредством суффикса **-luq* > *-tuq* (ср. выше о сиб.-тюрк. **čayluq*, **čāluq* 'боевая

стрела' от тюрк. **jaŋu* 'война') и отражено как мат. *kastuk*: ТМ *chastuk* 'bojewki [= рус. устар. или диал. *боёвки* 'стрелы с железным наконечником']'. Несмотря на полное тождество семантики и на минимальное фонетическое различие, непосредственным тюрк. источником нельзя признать форму типа тел. (R) *qastaq* 'ein Pfeil mit einer breiten eisernen Spitze', которая образована не прямо от **qāz* > *qas*, а от отыменного глагола: тюрк. **qāzla-* > тел. (R) *qasta-* 'wilde Gänse jagen'.

Тюрк. (тув.-тоф.) **syjbu* 'мизинец'

Диминутивом к данному слову является тув. *syjbyžyk* 'мизинец' (с суффиксом -*žyk* < тюрк. *-*čyq*, *-*žyq*). Отражено как мат. *sijbi* (? *sijbi*) только в караг. диалекте: КР *schiebidaeda* 'мизинец' (-*daeda* 'его палец'). Орфография источника не дает, к сожалению, возможности для надежной фонетической интерпретации.

Тюрк. **šaja* < **čaja* 'хитрый, лукавый'

В тюрк. языках Саяно-Алтайского региона данное слово, похоже, не засвидетельствовано. Ближайшим и точным соответствием является тат. (R) *čaja* 'gewandt, schlau, geschickt, flink'. Согласно В. В. Радлову, оно отражает -*čaja-* в рус. *отчáянный*, что вряд ли соответствует действительности: гораздо вероятнее связь с лэб. (R) *čai* 'Unglück', шор. (R) *šai* 'Unglück; Ausschweifung, Ausschweifende' (к семантике ср. рус. *бедá* : *бедóвый* и под.). Сюда же, вероятно, тат., башк. *šajan* 'шаловливый, шутливый; шутник', *šajar-* 'шутить' (с диалектной меной *č* ~ *š*-. Ср. [Berta 1989: 225] об артикуляции тат. *č* как *š*).

Отражено как мат. *šaja* (МСП *шая* 'лукавый') наряду с кам. (C) *šājā* 'schlau', (D) *šaja* 'Lüge'. Самодийскую этимологию (мат. < кам. < ПС **kija* 'lügen', см. [SW: 70]) следует отвергнуть. Можно думать либо о существенно более широком распространении тюрк. **čaja* (не только в кыпч., но и в сиб.-тюрк. диалектах, в т. ч. в диалектах с развитием **č* > *š*), либо о заимствовании из говоров волжско-камских татар, получивших значительное распространение в Присаянье после его присоединения к Русскому государству (ввиду татарского происхождения значительной части казачества, привлечения «служилых татар» в качестве проводников и переводчиков и их последующего поселения) и, вероятно, оказавших определенное влияние и на языки саянских самодийцев (см. [Helimski 1991: 258]). Заимствование из языка сибирских (тобольских, тарских и т. д.) татар мало вероятно уже из одних только географических и исторических соображений.

Тюрк. **süskü* 'бодливый'

Тюрк. **süs-* 'бодать' (см. [VEWT: 438b]) имеет ряд адъективных дериватов со значением 'бодливый': ср.-тюрк. *süsgän*, алт. *süskür*, *süzegen*, хак. *süskĩži*. Еще на один подобный дериват (с партиципiallyно-именным суффиксом *-*qu*/*-*kü*) указывает мат. *süskü*: МСП *шушкү* 'бодливый'.

(?) Тюрк. **teŋ* 'круглый'

Именная основа **deŋ* ~ **deg* (**teŋ* ~ **teg*) широко представлена в тюрк. языках как связанная основа (корень) в составе ряда образований со значениями 'круглый, круг, кольцо' (а также со вторичными, в том числе терминологическими, значениями) — например, **degre*, **degirmi*, **döŋgelek* (см. [ЭСТЯ III: 178–179, 281–282], а также в хак. *teglek* 'круг, окружность'). В чистом виде данная основа

фиксируется
Paket'). В
'круглый'
сенность
незасвиде
Кроме то
языке на

(?) Си
Мат. с
соответст
но, как и
ское прои
но предп
сложение
цельный' (>
манд. *tyq*

фиксируется в производном значении 'сверток' (казах. (R) *ten* 'der Ballen, das Paket'). В мат. языке представлено, однако, и прилагательное *tEŋ*: МСп **тенгъ** 'круглый'. В данном случае, однако, остается неясной хронологическая соотнесенность тюрк. источника (утраченная др.-тюрк. или даже прототюрк. форма? незасвидетельствованная форма одного из современных сиб.-тюрк. языков?). Кроме того, нельзя категорически исключить обратное словообразование в мат. языке на базе заимствованного *teglek*, *°tenlek*, *°tenlik* 'круг'.

(?) Сиб.-тюрк. *°tyu-oq*, *°tyu-oq* 'только'

Мат. слово, засвидетельствованное как МСп **тугокъ** 'только', имеет точное соответствие только в камасинско-койбалском языке: **тыгокъ** 'только' (отмечено, как и мат. слово, только у Г. И. Спасского). Тем не менее, исконно самодийское происхождение обоих слов маловероятно (вопреки [SW: 167]). Скорее можно предположить сиб.-тюрк. источник типа *°tyu-oq*, *°tyu-oq*, усматривая в нем сложение тюрк. **dyq* (**tyq*, *tyŋ*, см. [ЭСТЯ III: 337–340]) 'тесный, тугой; полный, целый' (> хак. *tü* 'полностью, сплошь' — вероятно, через **tuw*, **tyw* из **tyu*; куманд. *tyq* 'полно') с усилительной частицей — тюрк. **-oq*, хак. *-oχ* 'же, тоже'.

НГАНАСАНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ДОЛГАНСКОМ ЯЗЫКЕ: К ВЫХОДУ В СВЕТ ДОЛГАНСКОГО СЛОВАРЯ М. СТАХОВСКОГО*

Изданный Марекком Стаховским в середине 1993 г. в Кракове свод долганской лексики — «Dolganischer Wortschatz», в отличие от вышедшего годом ранее долганского словаря школьного типа [Аксенова и др. 1992], не преследует практических нормативных задач. Он ориентирован на лингвистов (и даже исходит из презумпции наличия у читателя и пользователя определенных познаний в тюркологии) и с практически исчерпывающей полнотой суммирует и систематизирует лексические данные, представленные в опубликованных к 1992 г. источниках. Значительное внимание уделено и этимологии: в словаре последовательно отмечены якутские соответствия долганских слов (если таковые соответствия известны), перенесены этимологические отсылки из использованных трудов (это в особенности касается долганской лексики эвенкийского происхождения), во многих статьях подробно прокомментированы или впервые проинтерпретированы в историко-этимологическом плане как собственно долганские, так и якутско-долганские формы. Эти комментарии особенно ценны с учетом высокого авторитета М. Стаховского как специалиста по исторической фонетике якутского языка в общетюркской перспективе.

Пожалуй, долгане — самый «молодой» из народов Сибири, окончательно сформировавшийся лишь в прошлом веке на основе группы якутизированных эвенков с участием собственно якутского, русского (затундринские крестьяне) и самодийского (крещенные энцы, ненцы и нганасаны) этнических компонентов [Долгих 1963; Убрятова 1985: 5–17]. Самостоятельный статус долганского языка вытекает, как справедливо отмечает М. Стаховский во введении, не столько из долганско-якутских языковых различий, сколько из наличия у его носителей собственного этнического самосознания. Подобная этноисторическая подоплека позволяет признать исключительно существенным уже сам факт появления научного долганского словаря. Эта принципиальная заслуга М. Стаховского дополняется очевидными высокими достоинствами словаря с точки зрения лексикографического исполнения, полноты и детальности.

Наиболее заметный недостаток словаря является, по сути дела, порождением и продолжением указанных достоинств: с равным уважением относясь ко всем имеющимся источникам, автор фактически придает в словаре одинаковый статус

* Впервые опубликовано в: Таймырский этнолингвистический сборник. Вып. 1. М., 1994. С. 234–237.

различным
го отражаю
записи (нап
гласных в п
hürbä 'двад
недоступны
ных сборни
щелки — чел
[Демьяненко]

«Wie g
Einfluss au
unbekannt.
einer partie

Несколы
явившихся
ждают обос
материалы
рабочих сло

1. Долг. 41]. Вслед з
ся эвенк. ak
1958], ни
А. Е. Аники
видно, приз
сп. нен. Та
14; Тереще
(вскармли
(Верховья Г
ми' [СРНГ]
бой пище о.
ное распрос
Долг. ā- на
тации, свя
М. Стаховск

2. Долг.
из нган. bak
железными
bakoo id. Дс
ляется собс
[Убрятова 1

3. Долг. 3.
скорее, иска

4. Долг. 4.
известен и

различным вариантам фиксации слова, в том числе и таким, которые скорее всего отражают не особенности произношения долганских слов, а дефекты самой записи (например, подозрительно часто оказывается не обозначенной долгота гласных в публикациях Н. П. Бельтюковой: *has* вместо *hās* 'весна', *hūrbā* вместо *hūrba* 'двадцать' и т.д.) Отметим также, что составителю остались, по-видимому, недоступными некоторые публикации в томских и новосибирских малотиражных сборниках — например, в словаре отсутствует долганское слово *bilir* 'часть щеки — челюстная мышечка', которому была посвящена специальная статья [Демьяненко 1982].

«Wie gross der Anteil der samojedischsprachigen Bevölkerung und wie tief ihr Einfluss auf das Dolg. war, — замечает автор на с. 16 — bleibt einstweilen unbekannt. Es ist zu hoffen, dass das vorliegende Wörterbuch zur — sei es auch nur einer partiellen — Beantwortung dieser Frage beitragen wird».

Несколько приведенных ниже наблюдений и этимологических объяснений, явившихся результатом сплошного просмотра долганского словаря, подтверждают обоснованность этой надежды М. Стаховского. Нганасанские и энецкие материалы без ссылки на источник приводятся по данным полевых картотек и рабочих словарей автора.

1. Долг. *āku*, *ākō* 'олень, приученный к хлебу; ручной олень' [Stachowski 1993: 41]. Вслед за Е. И. Убрятовой [1985: 41, 61] источником данного слова признается эвенк. *aku*, *aki* id. Однако подобных эвенкийских форм нет ни в [Василевич 1958], ни в [ТМС]. Совокупность связей долг. слова рассмотрена ранее А. Е. Аникиным [Аникин 1990а: 16]. Действительным источником следует, очевидно, признать нган. *auki* 'ручной теленок оленя', эн. *T auki* 'ручной олень' — ср. нен. *T awka*, *ṇawka* 'áвка (олень, вскормленный около чума)' [Lehtisalo 1956: 14; Терещенко 1965: 369], откуда также коми (ижем.) *avko*, *aako* '(обл.) авка (вскормленный в чуме олень)' [ССКЗД: 9], русск. обл. *áвка* (см. выше), диал. (Верховья Печоры) *áвко* 'оленок, брошенный матерью и вскормленный людьми' [СРНГ I: 198], хант. (казым.) *awka*, (обд.) *awkkā* 'ручной, привыкший к любой пище олень' [Steinitz 1959: 429; DEWOS III: 232–233]. Широкое региональное распространение затрудняет достоверное определение путей передачи слова. Долг. *ā-* на месте *au-* (*aw-*) может быть результатом собственно долганской адаптации, связанной с отсутствием в языке (согласно личному сообщению М. Стаховского) дифтонгического сочетания *au*.

2. Долг. *baka* 'скребок для очистки шкуры от мездры' [Stachowski 1993: 51]: из нган. *bakāā* 'скребок (в виде деревянной планки с двумя разнонаправленными железными лопастями посередине)', см. [Симченко 1992: 44 и рис. 43]; ср. эн. *T bakoo* id. Долг. *bakalaa-* 'очищать оленью шкуру от мездры скребком' скорее является собственным образованием с высокопродуктивным суффиксом *-laa* (см. [Убрятова 1985: 146]), чем адаптацией нган. *bakāāla-*, *bakāilā-* id.

3. Долг. *jolto* 'доска пола' [Stachowski 1993: 131] — см. *lojto* id. (метатеза или, скорее, искаженное написание).

4. Долг. *läpsä* 'кружок на тонком конце хорея' [Stachowski 1993: 173]; термин известен и якутским северо-западным диалектам ([ДСЯ: 149, 153]: жиган. *lapsa*,

анабар. *läpsi*): из нган. *läpsi* 'костяной кружок или утолщение на конце хорея; головка гвоздя', ср. также *länsy* 'закрытый конец (патрона)' [Терешенко 1979: 47]. Нган. слово (с базисным значением 'уплощенная, сплюснутая часть') родственно нен. Л *läpša* 'Platte (breit und glatt)', нен. Т *läpca-* 'eben, platt hauen' [Lehtisalo 1956: 220], *läbčoj* 'плоский, приплюснутый' [Терешенко 1965: 167] и восходит к ПСС **läpse*, **läps-* (далее ср. [UEW I: 237] и более широкий круг образований, скорее всего, ономотопозитической природы [UEW I: 238; TMC I: 584; Иллич-Свитыч 1976: 23–25]).

5. Долг. *lojto* 'доски в чуме, настилаемые в качестве пола' [Stachowski 1993: 174]: из нган. *lojtü*, *lotü* 'доска; пол (в чуме)' или, точнее, из старонган. **lojtu*, **lojto* (ср. *loumy* 'пол' в одном из рукописных нган. словарей первой половины XVIII в.). Вместе с эн. Т Л *lata* id., нен. Т *lata* id. [Терешенко 1965: 178] нган. слово восходит к ПСС **lajtta* — возможно, заимствованию из приб.-фин. **laita* 'борт' (см. [SKES II: 271]).

6. Долг. *syläka* 'корытообразная емкость для рыбы и мяса, днище которой используется также при кройке шкуры' [Stachowski 1993: 213]: ср. нган. *sil'a'ka* 'деревянное корыто, при переворачивании служащее доской для выделки шкур', эн. Т *suroko* id. Нган. и эн. слова должны отражать общую праформу или единый источник типа **sılzkkä*; к данной реконструкции близка долг. форма. — Сюда не может иметь отношения якут. *siälinäsä* (< рус. *сельница*) 'корыто для муки или мяса'.

Разумеется, этот перечень нганасанских (или северносамодийских) элементов в долганском языке не может претендовать на полноту. Он, однако, показателен в том отношении, что позволяет констатировать достаточно скромный объем и узко терминологический характер этих элементов. Существенно в то же время, что в случаях фонетического расхождения между современной нганасанской формой и ее старонганасанским источником последний оказывается более близким к отражению в долганском языке (ср. также гидроним *Попугай*, *Папугай* на долганской этнической территории — название реки, впадающей с юга в Хатангский залив: он соответствует старонган. **pa(a) bigaj* при совр. нган. *h"aa bigaj* 'лесная река'). Видимо, мы имеем дело преимущественно со следами нганасанского влияния на северо-восточные якутские говоры в период еще до сложения долганской народности.

СЛАВИСТИКА.
СЛАВЯНЕ И ФИННО-УГРЫ.
РУССКИЙ ЯЗЫК В СЕВЕРНОЙ
ЕВРАЗИИ

*VELE, *BOLJE*

В данной статье рассматривается возможность этимологической трактовки слав. **vele(-)* 'мagnopere' (resp. **velъjъ*, **velikъ* и т. д.) и **bolje* 'magis' (resp. **bolъjъ*, **bolъši* и т. д.) как слов, лишь вторично вошедших в сферу знаменательной лексики, а исходно представлявших собой сложения из хорошо известных славянским языкам частиц (**bo*, **ve*, **le* с вариантами) и передававших общее значение усиления, эмфазы.

Применительно к **vele*, **velikъ* речь идет о возврате к выдвинутой Г. А. Ильинским еще в начале века [Ильинский 1905: 104–107, 1916: 423–424] этимологии, незаслуженно забытой в новейшей литературе; что касается супплетивных форм сравнительной степени, то для них подобное этимологическое решение раньше, насколько нам известно, не предлагалось.

В связи с принципиальным вопросом о возможности приобретения сочетанием частиц знаменательного значения вообще, и адъективно-адвербиального значения положительной градации качественного признака в частности, достаточно будет сослаться на широко принятое объяснение слав. **dalje* (resp. **dаль*, **dalekъ*, **dальнъ* и т. д.) как сложений на основе частицы (местоименного корня) **da*; аналогичные образования в балтийских языках — лит. *tolì* 'далеко', *tolùs* 'далекий', латыш. *tāls* 'далекий', прусск. *tālis* 'вперед' — включают другую частицу (местоименный корень) [Slawski 1952 I: 136; ЭСРЯ I: 483; SP II: 334; ЭССЯ IV: 184–185, 187]. Существенно отметить как принадлежность этих образований к тому же семантическому полю, что и **vele*, **bolje*, так и участие в их составе тех же *l*-овых элементов, причем в случае с **dalje* : **bolje* имеет место полный формальный параллелизм. О семантико-этимологических связях прилагательных со значением положительной градации качественного признака, с одной стороны, и слов со служебными значениями ('еще', 'либо' и др.), с другой стороны, в славянских, балтийских и других индоевропейских языках см. также [Топоров 1974: 11–12, 1975– I: 282].

Проблема происхождения слав. **vel-* обычно решается на уровне индоевропейской корневой этимологии — предлагаются, например, сравнения с тохар. A *wāl* 'князь, государь', B *walo* то же, *walke* 'продолжительный', греч. (F) *ἄλις* 'достаточно', *εἰλω*, *εἰλέω* 'тесню, жму', с другой ступенью вокализма лат. *valeo* 'быть сильным, здоровым' ([ЭСРЯ I: 289; БСР I: 131; ЕСУМ I: 346–347] с литературой), или же с др.-инд. *variṇān* 'лучший' [Zubaty 1945: 366], с греч. *ἐρι*, *ἄρι* 'очень, сильно' при предположении о мене *l/r* [Machek 1871: 683], с греч. *ἐλιχόν* •

* Впервые опубликовано в: Советское славяноведение. 1988. № 4. С. 54–59.

ὄρθον (Hesych.) [Grošelj 1954: 122–124], наконец, со слав. **volъ* [Meillet 1902: 242], **valiti* [Solmsen 1909: 155] или же **velēti*, **volja* [Holub 1937: 325]. К сожалению, количеством имеющихся этимологических версий не компенсируются органические недостатки корневой этимологии. Никакие из сравнений не объясняют особенностей оформления у членов гнезда слав. **vel-*, в частности, уникальность адъективного суффикса *-ik-* у **velikъ*.

Формальные трудности удачно решает гипотеза Г. А. Ильинского о местоименном происхождении этого гнезда. Решающим аргументом для ее автора служит абсолютный параллелизм между **velikъ* 'большой' и **jelikъ*, **kolikъ* 'сколький, какой, сколь большой', **tolikъ* 'столький, такой, столь большой' — параллелизм, распространяющийся на всю совокупность родственных форм, ср. (по Г. А. Ильинскому [1905: 105–106]):

**tolъ* — ст.-сл. вель (вельможя)

**toli* — чешск. диал. *veli*

**tole* — **vele*

**tolja* — зап.-слав. диал. *vela*

**tolъкъ* — зап.-слав. **velъкъ*

**tolikъ* — **velikъ*

**tolъmъ* — **velъmъ*

**tolъmъ* — **velъmъ*¹

«Этот удивительный параллелизм образований мест. **tolъ* и имени **velъ* нельзя объяснить иначе, как единством их происхождения. И так как в слав. язз. нет никаких данных для гипотезы, что какая-то именная или глагольная основа *ve-* еще в прасл. эп. заимствовала от **tolъ*, **kolъ* и т. д. их суфф., и вместе с ними разделила все их судьбы, то остается предположить, что ф[орма] **velъ* представляет такое же мест., как и фф. **tolъ*, **kolъ*» [Ильинский 1905: 106].

Данная этимология предполагает для членов гнезда слав. **vel-* то же разложение на составляющие компоненты, что и для параллельных им местоименных образований, ср., например, относительно **je li*, **jъ lě* / **je lě* [ЭССЯ VIII: 186, 205], относительно **ko li* / **ko lě*, **koliko* / **kolikъ(jъ)* [ЭССЯ X: 85–86, 135–136]; см. также [ESSJ: II] sub (j)elě, jeli (jelъ, jele, ile), jeliko, jelikъ, jельma /-mi, koli / kolě, koliko, kolikъ, колъmi /-ma, ole, oliko, onolikъ, onoliko, ovoliko, selъ, seliko, selikъ, toli / tolě, toliko, tolikъ, toльmi/-ma. Речь может идти, таким образом, об исходности композитов **ve* + **le* 'много, очень, велико-' (ст.-сл. болг. макед. *веле-*, схрв. *вѣле*, словен. *vele-*, чешск. *vele*, слвц. *velo*, польск. *wiele*, *wielo-*, в.-луж. н.-луж. *wjele*, др.-рус. *веле*, рус. укр. *веле-*, белор. *веля-*), **ve* + **lъ* (в **velъmoža*, **velъmožъ*, а также, возможно, в отдельных образованиях типа укр. *вельхорош*, если они не вторичны), **ve* + **lъ* + **jъ* 'большой' (ст.-сл. велии, болг. макед. *вѣли*, схрв. *вѣлѣ*, др.-чешск. *velí*, др.-рус. *велий*, укр. диал. *вѣлий*), **ve* + **li* + **къ* 'большой' (ст.-сл. великъ, болг. макед. *велѣк*, схрв. *вѣликѣ*, словен. *velik*, чешск. слвц. *veliký*, н.-луж. *wjeliki*, др.-рус. *великъ*, рус. укр. *великий*, белор. *вялікі*), **ve* + **lъ* + **къ* 'большой' (чешск. *velký*, слвц. *vel'ký*, польск. *wielki*, в.-луж. *wulki*, полаб. *wilt'ě* при жен. р. *wilka*). Более проблематична предполагаемая Г. А. Иль-

¹ Последние две строки отражают представление о том, что формы типа **tolъma/-mi*, **velъma/-mi* являются по происхождению генитивными [Ильинский 1905: 86]; более оправдана трактовка их как InstrDu/Pl, см. [ESSJ I: 321–322], а также ниже.

ински
образ
vjeldzi
сложе

В.

тожде

веле (ч

други

лагате

неицѣл

либо т

ческая

Супра

Зам

ской д

этим.

междо

*e-le,

(болг.

сторон

[ESSJ

также

ее рец

домети

логиче

Эле

здесь'

vezdaj

-vel-vě

нередк

шей эт

матри

mapn

ский

Пр

обще

го гнез

ны в

[ESSJ

те бал

славян

вокали

товать

слав.)

2

Вс

предпо

инским [1905: 107–108] архаичность некоторых локальных западнославянских образований с адъективным значением, ср. польск. диал. *wielgi*, *wieligi*, кашуб. *vjeldži* (**ve* + **li* + **gъ*, **ve* + **lb* + **gъ*?), н.-луж. *wielesy* (**ve* + **le* + **sb*?); следы сложений с **gъ* и **sb* обнаруживаются и в сфере местоимений.

В. Н. Топоров [1974: 10] в иной связи уже констатировал этимологическое тождество адвербиального **vele* (см. выше) и ст.-сл. эмфатического местоимения *веле* (часто о *веле*): Супр. 368, 2 о *веле* дѣло чоудно ѿ тѣхъ ѹ́зновъ пра́мѣтовъ и ряд других примеров [SJS: 171–172]. Характерны сочетания междометия *веле* с прилагательным *великъ* (Супр. 339, 4–5: ѿ *веле* великое несмы́шление • ѿ *веле* великое нещѣлимое оужесточение и под.), в которых усматривается *figura etymologica* — либо традиционная, либо, возможно, свидетельствующая о том, что этимологическая связь междометия и прилагательного еще осознавалась в эпоху создания Супрасльской рукописи.

Заметим, что если усматривать в ст.-сл. *веле* 'ох! о как!' результат семантической деградации наречия *веле*, а последнее, в соответствии с распространенными этимологическими взглядами, возводить к и.-е. **uel-*, то приходится отрывать междометие *веле* от рифмующихся с ним и близких по значению междометий **e-le*, **o-le* [ESSJ II: 278–279, 517–518], а также редуPLICATIONОННОГО **le-le* 'увы!' (болг. *леле*, схрв. *лѐле*, укр. *лѐле*, см. [Ильинский 1905: 68; БЕР III: 354]). С другой стороны, идея о том, что междометие *веле* преобразовано из **e-le*, с *v-* в хиатусе [ESSJ II: 719] заставляет этимологически размежевать ст.-сл. *веле*₁ и *веле*₂, с чем также трудно согласиться. Идея Г. А. Ильинского решает эту дилемму (другим ее решением могло бы быть предположение о контаминационной природе междометия *веле*), позволяя видеть в **ve-le*, **e-le*, **o-le*, **le-le* параллельные в этимологическом, формальном и отчасти семантическом планах образования.

Элемент **ve*, по-видимому, может быть отождествлен со словен. *ve* 'сейчас, здесь' (наречная частица; также в пре- и постпозитивном употреблении: *vezdaj* = *zdaj* 'сейчас', *tam ve* = *tam-le*, *tu ve* = *tu-le*), ср. также материал по слав. *-vel/-vě* в [ESSJ I: 332]. Индоевропейское сравнение открывает широкие, но, как нередко в подобных случаях, во многом гадательные возможности для дальнейшей этимологизации этой частицы. В частности, Г. А. Ильинский [1905: 106] усматривал в **ve* рефлекс и.-е. **ui* (как и в **vb-sb*, вслед за К. Бругманном [Brugmann 1893–1894: 74]), хотя впоследствии отказался от этого сближения [Ильинский 1916: 424].

Происхождение и функции элементов **le* / **lb* / **li* (а также **lě*, который, вообще говоря, также мог участвовать в некоторых образованиях рассматриваемого гнезда, но трудно поддается отделению от **le* и **li*) подробно охарактеризованы в недавних работах В. Н. Топорова [1975–IV: 418–436, 1984]; см. также [ESSJ I: 319–320, II: passim]. Специально отметим выводы об архаичности (в свете балтийских и других индоевропейских данных) усилительного значения у славянских *l*-овых частиц [Топоров 1984: 78] и о принципиальной вариативности вокализма в этих частицах [там же: 75]. Последнее обстоятельство можно трактовать, между прочим, в пользу этимологического «равноправия» **velikъ* и (зап.-слав.) **velьkъ* (resp. **kolikъ* и **kolьkъ*, **tolikъ* и **tolьkъ*)². В то же время не-

² Вопрос о соотношении этих форм решается в литературе по-разному. В. Махек предполагает, что чешск. *velký* и под. — результат речевой редукции из *veliký* и под.; в то

обходимой объяснительной силой обладает, несмотря на недостаточность реконструктивных оснований, и гипотеза Г. А. Ильинского о том, что **l̥b*, **l̥i* и **le* по происхождению являются формами муж., жен. и ср. родов, а некоторые другие *l*-овые частицы — падежными формами несохранившегося в самостоятельном употреблении местоимения [Ильинский 1905: 37 и сл.].

Славистическая литература создает впечатление, что компаратив **boljъbъ*, **boljъši*, **bolje(je)* имеет безукоризненно надежную индоевропейскую этимологию, связывающую его с др.-инд. *bālīyas-* 'сильнее' (к *bālam* 'сила'), греч. βέλτερος 'лучше', лат. *dē-bilis* 'бессильный', др.-ирл. *ad-bol* 'огромный, большой', ниж.-нем. сев.-фриз. *pal*, *pall* 'крепкий, тугой, жесткий' (ср. [ЭСРЯ I: 191; SP I: 316; ЭССЯ II: 193; БЕР I: 65; Sadnik, Aitzetmüller 1963–1975: 383–384] и другие, старые и современные, этимологические словари). В индоевропеистике, однако, это сравнение вызывает серьезные сомнения: во-первых, из-за необходимости реконструировать чрезвычайно редкий анлаутный и.-е. **b* (в интерпретации глоттальной теории **p*) [Pedersen 1951; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 6]; во-вторых, ввиду необычного сохранения **-l-*, отсутствия иранских соответствий и возможности объяснения как заимствования из дравидийских языков [Burgow 1956: 384] под большим вопросом оказывается др.-инд. *bālīyas-* (в котором обычно видят поморфемный аналог слав. **boljъbъ*).

Соображения, положенные в основу настоящей статьи, позволяют выдвинуть гипотезу об исходности композита с частицей **bo* в качестве первого компонента. Среди довольно широкого спектра значений данной частицы в контексте предлагаемой этимологии существенно усилительное значение у ст.-сл. бо 'же', рус. диал. *Иди бо, садись бо, принеси бо* [СРНГ III: 34], релевантное и для балтийских соответствий [Топоров 1975– I: 207–208], а в еще большей мере проявляющееся у этимологически тождественной энклитической частицы **ba*, ср. особенно польск. *ba* 'поистине; даже, больше того; вот, ну; конечно' [ЭССЯ I: 105; ESSJ II: 92–93].

Таким образом, уже у частицы **ba* (энклитическим вариантом которой с сокращением исходной долготы является **bo*) выявляется определенная семантическая близость к компаративу **bolje*. С другой стороны, обращают на себя внимание отдельные рефлексy слав. **bolje* и вторичного **boljъše* со значениями, далекими от 'magis', но чрезвычайно характерными для частиц и сложений из частиц. Так, в северновеликорусских говорах отмечаются арх. *боле* 'снова, опять, еще раз, уже; теперь, в настоящее время' (*Стары стали, натъ боле умирать крайно; Ф пеце боле у меня остыло*), 'уж, ведь' (*Я боле софсем стала видеть худо*) [АОС II: 54–55], арх. *больше* 'еще, дополнительно, вдобавок; теперь, в настоящее время; уже; потом, после, позже; совсем, совершенно, окончательно', а также 'пожалуй, что ли' (*Я пойду домой большэ*), 'ну-ка' (*Помани большэ*) [АОС II: 64–65], том. алт. иркут. челяб. *больше* 'кажется, должно быть, вероятно, пожалуй', перм. новг. вост.-сиб. енис. забайк. *большо* 'кажется, словно бы, думает-

же время признаются первичными формы типа **kolъkъ*, а *-i-* в **kolikъ* объясняется вторичной аналогией с **velikъ* (!), где *-i-* — результат стяжения из **-ъjъ* (**veljъbъ-kъ*), см. [Machek 1971: 269, 682]. Противоположная точка зрения — представление о вторичности **l̥b* по отношению к **l̥i* в местоименных образованиях — отражена, например, в [Schachmatov 1884] и, имплицитно, в [ЭССЯ X: 135–136], а с предположением о дублетности уже на праславянском уровне — в [ЕСУМ II: 556–557, 558].

ся, зна-
еще; те-
'добре'
инском
225]. В
видимо
претир
320: II:

Так
ционно
чески с
значени
**bolje*;
нами эт
шения с
мере от
вавшей
тельног

В то
/-овая ч
[SJS: 1
оформл
древнос
образов
раннему

Допс
корневы
сами [In
вельма, (р
рус. вел
сл. больш

³ В пр
mais.

⁴ В по
ное сост
**da le*, пе
'сверх то
чем у **ve*
иных —
дало пред
контраста
что в сво
**-je* (и.-е.
> **dalje*)
Менее ве
**bolje*, **d*
частиц (ср
331)).

ся, знать' [СРНГ III: 87, 90], волог. перм. *болѣшто*, *болѣщо* 'почти, около; что еще; тем более что' [СРНГ III: 74]. Сюда же, очевидно, и укр. диал. *боле*, *боли* 'добре', *болѣдь* 'либонь', *болѣдь що* 'слава богу, що', квалифицированные в украинском этимологическом словаре как «не вполне ясные образования» [ЕСУМ I, 225]. В силу семантической близости к укр. *болѣдь* к этим примерам можно, по-видимому, добавить и словен. диал. *boli* 'либо', отказавшись от попытки интерпретировать это слово как стяжение из **bōdi li* или как метатезу из **libo* [ESSJ I: 320; II: 95].

Таким образом, и в этом случае мы оказываемся — в случае принятия традиционной этимологии для слав. **bolje* — перед необходимостью или этимологически обособлять результаты семантической деградации **bolje*³ от близких по значению частиц и сложений (**bo*, **ba*, **li bo*, **le bo* и др.), или размежевывать **bolje*₁ 'magis' и **bolje*₂ (или **bole*, **boli*?) как сочетание частиц. Предлагаемая нами этимология решает эту дилемму на основе довольно естественного допущения о том, что на периферии славянского мира могли сохраниться (по крайней мере отчасти) следы первичной семантики **bolje* (или **bole*, **boli*?), предшествовавшей специализации на выражении значения сравнительной степени прилагательного.

В то же время, то обстоятельство, что вторым компонентом **bolje* выступает *l*-овая частица в сращении с показателем сравнительной степени (ср. ст.-сл. *боле* [SJS: 137], схрв. *бѣље* 'лучше' и т. д.; в этом отношении **bolje* отличается по оформлению от **vele*, но совпадает с упоминавшимся выше **dalje*), а тем более древность форм муж. и жен. родов **boljъjь* и **boljъši* свидетельствуют о том, что образование исходного композита должно быть отнесено к существенно более раннему времени, чем поздняя праславянская эпоха⁴.

Дополнительно подчеркнем такую существенную аналогию рассматриваемых корневых гнезд с местоименной лексикой, как наличие производных с суффиксами InstrDu *-ma* и InstrPl *-mi*, ср. **velъma*, **velъmi* 'много, очень' (ст.-сл. *вельми*, *вельма*, болг. *вѣльне*, *вѣлно*, схрв. *ведѣма*, чешск. *velmi*, словц. *vel'mi*, польск. *wielmi*, рус. *вельмѣи*, укр. *вѣльмѣи*, белор. *вѣльмѣи*) и **bolъjъma*, **bolъjъmi* 'лучше, более' (ст.-сл. *боѣми*, *боѣма*, схрв. *бѣѣма*, словен. *boljma*, др.-рус. *больми*), см. [ЭСРЯ I: 289;

³ В принципе такая деградация несомненно возможна, ср. хотя бы лат. *magis* > франц. *mais*.

⁴ В порядке одной из возможных гипотез можно попытаться реконструировать исходное состояние, характеризовавшееся использованием сочетаний частиц **ve le*, **bo le*, **da le*, передававших значение эмфазы с теми или иными оттенками ('даже', 'более того', 'сверх того' и под.). Вероятно, степень эмфазы в **bo le* (и, возможно, у **da le*) была выше, чем у **ve le* (такому предположению не противоречат данные о семантике **bo*, **da* и **ve* в иных — самостоятельных и несамостоятельных — употреблениях этих частиц). Это создало предпосылки к развитию семантического контраста между **ve le* и **bo le*, по типу контраста между положительной и сравнительной степенями прилагательных и наречий, что в свою очередь обусловило сближение **bo le* с формами сравнительной степени на **-je* (и.-е. **-jos*, см. [Мейе 1951: 297]), превращение **bo le* в **bolje* (то же в случае с **da le* > **dalje*) и затем «достройку» по аналогии форм **boljъjь* (муж. р.) и **boljъši* (жен. р.). — Менее вероятно, с нашей точки зрения, тождество (исходное) второго компонента в **bolje*, **dalje* с **lje* как одним из вариантов вокалической огласовки славянских *l*-овых частиц (ср. схрв. *ље* — частица усиления отрицания, см. [Ильинский 1905: 36–37; БЕР III: 331]).

БЕР I: 132; ЕСУМ I: 348; SJS: 135; Berneker 1908–1913: 72; Преображенский 1959 I: 35]. Как справедливо подчеркнул уже Г. А. Ильинский применительно к **vel̥mi/-ma* [Ильинский 1905: 86], подобные производные имеют наиболее многочисленные и близкие аналоги среди бесспорно местоименной лексики (ср. **jel̥mi/-ma*, **kol̥mi/-ma*, **tol̥mi/-ma*, **v̥s̥ma*, см. [ESSJ I: 321, II: 281–282, 366, 682–683]; относительно мало распространенное **t̥m̥mi/-ma* ‘менее’ — ст.-сл. мьньми, схрв. ма̋ма — могло возникнуть по аналогии с **vel̥mi/-ma*, **bol̥mi/-ma*).

Изложенная выше этимология слав. **vele* и **bolje*, удачно объясняя ряд формальных особенностей этих слов и по-новому интерпретируя их связи с некоторыми служебными словами, одновременно ставит серьезные проблемы семантического порядка, будучи в этом отношении существенно сложнее, чем прямолинейные индоевропейские корневые этимологии. Автор рад предоставить коллегам возможность судить о том, насколько в данном случае оправдан такой нетривиальный этимологический прием, как предположение о вторичности знаменательного значения по отношению к служебно-эмфатическому. В то же время мы не склонны считать, что предложенное этимологическое решение «передает» **vele* и **bolje* в сферу исключительной компетенции славянской этимологии и выводит эти слова за пределы досягаемости индоевропейского сравнения. Собственно говоря, разложение этих слов на компоненты-частицы являет собой внутреннюю реконструкцию, которая, как и во многих других случаях (ср., например, [Хелимский 1983в]), вряд ли может быть четко спроецирована на хронологическую ось. Этим обстоятельством определяется потенциальная (но требующая, разумеется, специальных дополнительных изысканий за пределами славистики) совместимость нашего этимологического решения с какими-то из предлагавшихся ранее индоевропейских параллелей к **vele* и **bolje* — в том случае, если соответствующие слова восходят к тому же или сходному сочетанию частиц (ср. характерную с этой точки зрения ситуацию со слав. **kolikъ*, **tolikъ*, которые, с одной стороны, поддаются разложению на этимологические компоненты — **ko + li + къ*, **to + li + къ*, а с другой стороны, правомерно сопоставляются с тождественными по значению и образованию греч. $\tau\eta\lambda\acute{\iota}\kappa\omicron\varsigma$, $\tau\eta\lambda\acute{\iota}\kappa\omicron\varsigma$, лат. *quālis*, *tālis* [ЭСРЯ II: 291; IV: 75; ЭССЯ X: 135–136]). Одна из первых возникающих в этой связи идей — это возможность реабилитации гипотезы о связи слав. **bolje* с лит. *lābas* ‘добрый, хороший’, латыш. прусск. *labs* (см. [ЭССЯ II: 194] с литературой и [Топоров 1975– IV: 408]): варьирующийся порядок расположения частиц гораздо более правдоподобен, чем чисто фонетическая метатеза. В то же время нельзя забывать, что разыскания в этом направлении могут оказаться в опасной близости от глоттогонических идей первичного корнетворчества.

СЛАВЯНСКИЕ (НОВГОРОДСКО-ПСКОВСКИЕ) ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКАХ: -А И -U В РЕФЛЕКСАХ ИМЕН МУЖСКОГО РОДА *

Поскольку источником основной массы славянских заимствований в ПФ языках являются не собственно восточнославянские диалекты, а диалекты Псковской и Новгородской земель, проникшие на Русский Северо-Запад в VI–VII вв. с запада и юго-запада [Седов 1982], в этих заимствованиях обнаруживаются специфические черты, определяющие особое положение этих диалектов в славянском языковом мире (см. о древненовгородском диалекте-койне [Зализняк 1986, 1988а, 1988б] и о диалекте псковских кривичей [Николаев 1988]). В их числе — отсутствие т. н. второй палатализации заднеязычных согласных (фин. *käämi*, *käävi*, эст. *kääv* ‘цевка, шпулька’ < слав. **kěvь* — не **cěvь*), -*gl*- на месте общеслав. *-*dl*- и «общеюст.-слав.» -*l*- (эст. *vigl* ‘вилы’ при слав. **vidla*; вепс. *mugl*, эст. *mogl*, *mugl*, *mügl* ‘шелочь’ при слав. **mydlo* ‘мыло’).

Одновременно наиболее ранние славизмы в ПФ языках позволяют судить о наиболее архаичном состоянии новгородско-псковских диалектов, имевшем место задолго до их фиксации в новгородских берестяных грамотах. Они свидетельствуют о сохранении в VI–VII вв. — и, вероятно, в течение еще нескольких столетий — общеславянского неполногласного вида групп **TorT* и под., долготной корреляции гласных, произношения **ъ* и **ь* как кратких *и* и *і* в сильной, и в слабой позициях, ср. такие классические случаи, как фин. *palttina* ‘полотно’ из слав. **polъно*, фин. *värttänä* ‘веретено’ из слав. **verteno*, фин. *akkuna* ‘окно’ из слав. **okъно*, фин. *lusikka* ‘ложка’ из слав. **lъžьka*, фин. *naatti* ‘ботва’ из слав. **natъ*, фин. *siivatta* ‘скотина’ из слав. **životъ* и т. д. [Kalima 1956: 25–42]. Те же свидетельства дают и обратные заимствования, ср. др.-новг. (XVI в.) *коломище* ‘кладбище’ из ПФ *kolmisto*, рус. диал. *мерѣда*, *мерѣда* ‘верша’ из ПФ *merta*, др.-рус. *солома*, рус. диал. *соломя* ‘морской пролив’ из ПФ *salmi*, гидроним *Мста* из ПФ *Musta* (‘Черная [река]’).

Внимание исследователей неоднократно привлекала [Mikkola 1938: 40–43; Kalima 1956: 57–61; Plöger 1973: 284–285], но не получила адекватного объяснения множественность в ПФ ауслаутном оформлении славянских имен мужского рода, из которых одни имеют в ПФ ауслаутный -*a* (-*ä* в основах переднего ряда), а другие — ауслаутный -*u* (-*ü*). Ср., с одной стороны, слав. **lьль* > вод., эст. *lina*

* Статья написана совместно с С. Л. Николаевым. Впервые опубликовано в: *Uralo-Indogermanica* I. М., 1990. С. 41–43.

или слав. **grěxъ* > фин. *räähkä* (аналогично в словах, соответствующих рус. *бес, бодр, бок, внук, вор, враг, гуж, дяк, квас, ковш, колоб, короб, край, круг, кум, лук, лыч* 'кочерыжка', *мудр, -ник* суфф., *полк, порох, пуст, пух, ствол, стол, столб, сыр, хлев, хорт* 'борзая', *ям*), и, с другой стороны, слав. **ladъ* > фин. *laatu* или др.-рус. *радъ* > фин. *rääty* (аналогично в словах, соответствующих рус. *ад, боб, вар, *вороб* 'воробей', *дух, ?мил, мир, нар, пир, рай, род, сак, сноп, толк, торг, ход, чай, шелк*).

Особые трудности для объяснения вызывал первый тип рефлексии, поскольку *-al-ä* не могут быть объяснены ни как отражения *-ъ*, ни как вокалическая эпитеза в консонантных основах языка-источника: в заимствованиях из германских и других языков консонантные основы регулярно превращались в ПФ основы на *-i*, что встречается и в славянских (довольно редко), а также в поздних русских заимствованиях.

Объяснить данное явление позволило обращение к результатам А. А. Зализняка [1986: 129–134, 1988а: 169–171], установившего, что в древненовгородском диалекте *o*-основы мужского рода в им. п. ед. ч. регулярно имели вокалическое окончание, изображавшееся обычно графемой *-е* (ср. *внуке* 'внук' и т. д.); фонетически этот гласный был, по крайней мере первично, не тождествен обычному *-е* (в частности, не создавал эффекта первой палатализации заднеязычных) и скорее всего представлял собой среднерядный *-ə*. Не вызывает сомнения, что именно этот гласный отражен как ПФ *-al-ä*.

В другом типе рефлексии ПФ *-ul-ü* естественно рассматривать как закономерное продолжение слав. *-ъ* (краткий *и*) в *и*-основах мужского рода, не принимавших в им. п. ед. ч. окончания *-а*.

Предложенное объяснение хорошо подтверждается сопоставлением приведенных выше перечней с другими данными о распределении славянских имен мужского рода по классам *o*- и *и*-основ. Среди слов с ПФ *-al-ä* несомненными *o*-основами являются по крайней мере слав. **běsъ, *grěxъ, *lьnъ, *porxъ, *rьlkъ, *stolъ, *vorgъ, *vьnukъ, *xlěvъ*; *и*-основы можно было бы подозревать, по косвенным признакам, только для **kraь, *krögъ, *stьlbъ*. Напротив, в перечне слов с ПФ *-ul-ü* «классическими» (см. [Эккерт 1963]) или весьма вероятными *и*-основами являются слав. **mirъ, *pirъ, *rědъ, *rodъ, *tьlkъ, *tьrgъ*, а по акцентологическим данным подольских говоров (см. [Булатова, Дыбо, Николаев 1988: 59–60] также **ladъ, *parъ, *varъ*; вероятную первоначальную *o*-основу можно усматривать только в случае с **ходъ*.

Чрезвычайно показательна и системная аналогия: в славянском все *и*-основы двусложны [Эккерт 1963: 124], и имена мужского рода из трех и более слогов относятся только к классу *o*-основ. В славянских заимствованиях ПФ языков тип рефлексии с ауслаутными *-ul-ü* также полностью отсутствует в именах из трех и более слогов.

Представляется, что ПФ материал может служить ценным дополнительным источником при решении вопроса о первичном соотношении *o*-основ и *и*-основ мужского рода, указывая одновременно на длительно сохранявшуюся архаичность новгородско-псковских говоров в этом отношении.

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТОВ:

1. НАРЦЫ; 2. ШЕСТНИКИ*

1. Нарцы 'то есть'

В палеорусистике утвердилось мнение, что название римской провинции *Noricum* (на территории современной Австрии) и соответствующего кельтского этнонима *Norici* 'норики' было перенято славянским ономастиком в виде *нарцы*, *нарец* (нарьци, нарьць), причем, судя по предполагаемой фонетической субституции (**ō* > раннеслав. **o* > позднеслав. *a*), речь должна идти о раннем и устном, а не об относительно более позднем и книжном заимствовании. Это мнение основывается в первую очередь на известной фразе из русского летописного свода: Нарци еже суть словѣне (Лавр., л. 2 об.). См. литературу с трактовкой и комментариями: [Шахматов 1904: 71 (прим. 2); Лихачев 1950: 213; Трубачев 1985: 9–10; Ковалев 1991: 78; Трубачев 1993: 4–5].

При этом, если у А. А. Шахматова данная летописная фраза вызывала недоуменный вопрос («Почему Норики отождествлены со славянами, неясно»), то для О. Н. Трубачева она служит одним из важнейших свидетельств в пользу его гипотезы о дунайской прародине славян.

Эту давнюю проблему представляет в совершенно ином свете предположение (которое я высказал в дискуссионном выступлении на XI съезде славистов в Братиславе в 1994 г.) о том, что пресловутые «нарцы» Нестора — не народ и не племя, а союз, причем союз не племенной, а грамматический.

Если процитировать соответствующее место из ПВЛ целиком, то мы прочтем: афетови же принаша западь и полунощныя страны • ѿ сихъ же • о • и • в • [72] языку бысть языкъ словѣнскъ • ѿ племени афетѣва • нарци еже суть словѣне. Традиционная интерпретация слова нарци приводит к тексту с явным нарушением и логики повествования, и структуры дискурса: получается, что летописец, перебивая себя, спешит сообщить о тождестве славян и нориков — хотя в предшествующем тексте вопроса ни о каких нориках не вставало и они в любом случае вряд ли представляли собой особо известную и крупную группировку славян. Такой сбой вступает в противоречие с плавной последовательностью всего прочего изложения в начальном разделе летописи (и, вероятно, вынуждает думать, что фраза о «нарцах» является поздней и неудачной вставкой — что, впрочем, совершенно не объясняет странного выбора «нарцев» из всего множества славянских этнонимов).

Картина меняется, если допустить, что перед нами *нарах*: нарьци, имп. ед. ч. к глаголу *нареши* (ср., например, нарьци себе *вєводѣ* Супр. 132, 10), употребленный в значении союза 'то есть'. Другие примеры подобного использования данной

* Впервые опубликовано в: Балто-славянские исследования 1997. М., 1998. С. 563–569.

формы нам неизвестны, однако ровно в таком же союзном значении в древнерусских и старославянских текстах многократно встречаются беспрефиксальный императив *рьци* (*рцы*), равно как и другие формы, связанные с глаголом (на)речи: *рекыше*, *си рѣчь*; ср. также она гла емоу • еврейскы раввоуни • еже наречеть са оучителю Мар. Ио 20, 16. Подобные параллели делают толкование *нарци* = 'то есть' как минимум правдоподобным. Рассматриваемый текст ПВЛ при данной интерпретации обретает логику и связность: «...И среди этих 72 народов («языков») был славянский народ Иафетова племени, то есть [современные летописцу] славяне». Подобные полутавтологические пояснения вполне обычны в древних (как и в современных) текстах.

Несомненно, употребление *нарьци* в значении 'то есть' было редким, если не уникальным, и уже вскоре должно было оказаться малопонятным или вовсе непонятым для читателей и преемников летописца. Именно этим, как я могу предположить, объясняются многочисленные и порой невразумительные переделки рассматриваемого пассажа в других вариантах летописного свода, где при сохранении остальных элементов текста на месте слова *нарци* обнаруживается словосочетание *нарицаемии норци* (Акад.; Хлебн.), *нарьчаемьи норци* (Ипат.), *нарицаеми иновѣрци* (Радз.), *нарицаеми норици/инородцы/инорици* (Соф. I, различные списки; Воскр.). На эти варианты (а не на Лавр.) опирается и текст в шахматовской сводной реконструкции ПВЛ: «От сихъ же 70 и двѣю языку бысть языкъ Словѣньскъ; отъ племѣне же Афетова нарицаемии Норици, иже суть Словѣнь» [Шахматов 1916: 5]. Здесь решение проблемы связности дискурса было достигнуто (и, как можно видеть, лишь частично) за счет вставки частицы *же* после слова *племѣне* — конъектуры, не имеющей опоры в первоисточниках.

Наибольшую сложность в связи с предлагаемой «синтаксической» трактовкой спорного текста создает несомненное обозначение «норицы» как славян в коломенском списке Толковой Палеи (1406 г.): *отъ афѣта же си суть рожшиисѧ языци . иже в столпотворение раздѣлени быша 'а' мидои 'в' кападокии 'г' галати • иже суть кельтъи [...]'и норица иже суть словѣни* (стлб. 237–238). Следует думать, что уже весьма эрудированный редактор данной версии Толковой Палеи (или предшествовавшего ей хронографа) придал известному ему летописному тексту ту же, что и исследователи XX века, «этнонимическую», а не «синтаксическую» интерпретацию, а потому и соотнес непонятное слово *нарци/нор(и)ци* с созвучным ему названием *нориков* (*Nórikoí*) в одном из своих источников (как предполагается, таковым был перечень народов в *Chronicon Paschale*, см.: *Patrologiae Cursus Completus: Patrologiae Graecae tomus XCII*, Paris 1860, col. 133). Источниковедческий анализ Толковой Палеи не противоречит такому предположению: ее исходный славянский текст — возможно, непосредственно относящийся к мефодиевской традиции — подвергся на русской почве основательной переработке с использованием целого ряда источников, в том числе летописи либо общего для летописи и Палеи первоисточника (см. [Шахматов 1904]).

2. Шестники 'кочевники'

Слово «шестники» (шестъники, шьстьники), неоднократно отмеченное в памятниках севернорусской письменности XIII–XV вв., но, по-видимому, совершенно

не представленное ни в более поздних источниках, ни в русских говорах, до сих пор не получило убедительного толкования.

Чисто условный характер имеет трактовка данного слова в словаре И. И. Срезневского (т. III, с. 1605–1606): в зависимости от конкретных примеров и контекстов выделяются значения ‘пеший воин’, ‘хожалый (?)’, ‘слуга княжеский’ (аналогично и в словаре Вл. Даля), а еще для двух примеров (где речь идет о шестниках духовного звания) место перевода просто занимает вопросительный знак. Эти переводы с теми или иными вариантами (‘боярский вооруженный слуга’, ‘лицо низшей судебной/княжеской администрации’ и т. д.) неоднократно и, как кажется, без особого успеха использовались при интерпретации рассмотренных ниже письменных источников.

К правильному, на наш взгляд, пониманию этого слова значительно приблизился В. Л. Янин. В связи с упоминанием «шестников» в новгородской берестяной грамоте № 161 (шестники 5 каден ржи, в росписи натуральной повинности) он проанализировал все имеющиеся примеры употребления этого слова и пришел к выводу, что им обозначаются пришлые люди, в частности «какие-то крестьяне, новоприбылые, не уроженцы местной округи» [НГБ 1977–83: 232–233]. Перевод шестникъ ‘пришлый человек’ (?) вошел и в словоуказатель к берестяным грамотам [Зализняк 1995: 681].

Такой перевод, разумеется, имплицитно основан на предположении о словообразовательной и семантической связи слова *шестник* с *шествовать*, *шество* (то же можно сказать и о двух первых переводах у Срезневского). Иную этимологическую связь и мотивацию слова предположил Л. В. Черепнин [1969: 233]: «крестьянин-издольщик, работающий из шестого снопа»; впрочем, данная интерпретация явно не вяжется с большинством контекстов, в которых фигурируют «шестники».

Перевод ‘кочевник’, поставленный в заголовок этого раздела, исходит из предположения о том, что слово шестник образовано от *шест* как обозначения основного конструктивного элемента кочевого жилища (ср. *шестовой чум*); перевозимые в санях шесты представляют собой одну из характерных примет кочевых обозов на Севере. Ср. также *шест* стар. ‘тягло, дым, очаг, двор, семья’ (Даль). Таким образом, шестник оказывается близким или даже точным словообразовательным аналогом слова *вежник*, которое было ранее идентифицировано в текстах берестяных грамот в значении ‘кочевник’ ([НГБ 1984–89: 55, 326; см. также [Зализняк 1995: 271]) и которое образовано от *вежа* (~ *вѣжа*) ‘кочевое жилище, чум’.

Представляется, что предлагаемый единый перевод совершенно приемлем для всех собранных В. Л. Яниным (и цитируемых ниже по его работе) случаев употребления слова шестник(и):

(а) Из кочевого или полукочевого населения (очевидно, преимущественно финно-угорского происхождения, хотя уже по крайней мере отчасти христианизированного и русифицированного) по мере необходимости составлялось вспомогательное ополчение, участвовавшее вместе с княжеской дружиной и новгородцами в военных операциях. Отсюда сообщение Новгородской I летописи под 1256 г. о походе Александра Невского на емь: ...Понде с своими полкы князь и с новгородци; и бысть зол путь, акыже не видали ни дни, ни ночи, и многым шестником бысть пагуба, а новгородцев бог сблуде. О таких же полувоенных отрядах кочевни-

ков идет речь в Псковской летописи под 1476 г. при описании беспорядков в городе: ...А сестники почаше ножами колотися, а наши камением от себе битися. И поидоша сестники на весь мир с ножи на Торг, а иныя с лоуки; и почаша стрелятися, инии ножи колотися; ... зане же посло таково слово от сестников, что хотять еще в том опале и Псков зажечи... Ряд деталей — участие в походе на емь, т. е. в северном походе, где навыки кочевников-северян могли быть особенно полезны; недостаточная, в сравнении с новгородцами, экипированность или подготовленность, вызвавшая потери в живой силе; использование в качестве оружия ножей и луков — становятся в свете предлагаемого толкования особенно выразительными.

(б) В двух случаях в летописях упомянуты военные экспедиции в Заволочье, жертвами которых оказываются «шестники», в которых естественно видеть кочевников-северян: за Волоком Онего и Каргополе и Пудогу повоеваша и пограбиша шестники (летопись Авраамки, 1447 г.); шестники измогоша, и Заволочан посекоша и Двинян иссекоша (Новг. IV лет., 1471 г.).

(в) «Шестники» выступают и как союзники татар, видимо, также в роли вспомогательных воинских отрядов; эти кочевники по своей этнической принадлежности могли быть, вероятно, пермянами или югрой: ...И почаша снимати и с шестников и Татаров битых ту платье и доспехы...; и того же дни шестники и Татарове пограбиша Русу всю, и поидоша к Демяню...; а со города с Демяна убиша 15 человек шестников (лет. Авраамки, 1456 г.).

(г) Установление Новгородской судной грамоты — А кто с кем пошлется на послуха, ино взять заклад шестнику на сто верст по старине... трактуется В. Л. Яниным как указание на чужеродность «шестников», которым приходилось искать послухов (поручителей, свидетелей) на значительном, стоверстовом удалении от места происшествия. Данный пассаж воспринимается еще более естественно, если принять, что «шестники» были не просто пришлыми, но и постоянно меняющими свое местонахождение людьми.

(д) Наконец, в сообщении Новгородской II летописи под 1422 г. об отстранении архиепископа Феодосия, которого сослал новгородцы, а ркучи: не хотим шестника владыкою, становится вполне прозрачной шовинистическая мотивировка действий новгородцев. С другой стороны, данное сообщение, вместе с записью о том, что поставлен бысть Алексей чернец шестник в диаконы и в попы (Новг. I лет., 1359 г.), удостоверяет известную в православии возможность успешного продвижения лиц из числа новообращенных и инородцев в церковной иерархии (ср. тремя столетиями позднее, патриаршество Никона, мордвина по происхождению, и т. д.).

(е) Спорадические упоминания «шестников» вне обширного контекста, нередко в качестве приложения к личному имени (писцовые книги, грамота № 161 и др.) позволяют лишь констатировать, что они составляли одну из категорий налогоплательщиков, что также не противоречит переводу 'кочевник', хотя и не может служить его прямым подтверждением.

С учетом предполагаемой полной синонимичности обозначений шестник и вежник (ср. [Зализняк 1995: 271] об этнонимических коннотациях последнего: «Возможно, так называли лопарей и/или карел (которые жили в чумах)») небезынтересно то обстоятельство, что слово шестник встречается в памятниках не ранее середины XIII в. (и, вероятно, не позднее XV в.), в том числе в берестяной грамоте № 161, датированной 1410-ми — началом 1420-х гг. [там же: 559], тогда

кал
от
Гл
де
ва
Ру
ве
ст
кас

обоз
изол
говор
лыва
север
веж
как
связа
ного
вет н
ная с

как оба случая употребления в берестяных грамотах слова *вежник* (№ 550, № 664) относятся к более раннему периоду — 2-й половине XII в. [там же: 271, 341]¹. Глагол *кочевать* (от которого современное *кочевник*) имеет тюркское происхождение (общетюрк. *köç-* 'перекочевать') и отмечен в памятниках, по данным Словаря русского языка XI–XVII вв., не ранее 1380 г. (распространяясь с востока, Русского Севера он должен был достичь заметно позже); впрочем, и сейчас в северных и сибирских говорах этот глагол испытывает сильную конкуренцию со стороны своих синонимов (*аргишить* ~ *аргышить* ~ *арьюшить*, *чумовать*, *каслать*, *ямдаты*).

¹ Слово *вежник* могло, тем не менее, реликтивно сохраняться в северных говорах как обозначение кочевого (инородческого, «полудикого») населения. Не указывает ли на это изолированное урал. (1948) *вежничать* 'хулиганить' [СРНГ IV: 96]? Сюда же, вообще говоря, может относиться и отмеченное только у Вл. Даля арх. *вёжник* 'кожевник, выделывающий замшу' (выделка замши — одно из самых традиционных занятий кочевников-северян). В словаре Вл. Даля сюда же присоединено снабженное вопросительным знаком *вежь* 'замша' (и *вёжить* 'очищать кожу, готовить ее к выделке') — слово, не известное из каких-либо иных источников. Неуверенность лексикографа в его реальности могла быть связана именно с тем, что *вежь* и *вёжить* являются продуктами искусственного (и ложного) обратного словообразования от *вежник*, и были сообщены информантом лишь в ответ на слишком настойчивые расспросы (конечно, это всего лишь гипотеза — но подобная ситуация хорошо знакома полевым лингвистам).

О ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОМ ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ В НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТАХ*

Эти заметки являются результатами изысканий, проведенных автором по инициативе А. А. Зализняка и с использованием его картотечных данных и устных комментариев. Следует отметить, что во многих случаях прогностическая точность комментариев А. А. Зализняка (в частности, по поводу грамоты 403, имени Новъ) сделала филологическую и этимологическую обработку прибалтийско-финского (далее ПФ) материала чисто технической процедурой.

1. Лендом(а)

В грамоте 249, повествующей о набегах «севилакшан» (т. е. жителей подчиненной Швеции области Savolax, фин. *Savo*) на принадлежавший Новгороду район «Коневых вод» (т. е. оз. Оривеси — современная губ. Похьойс-Карьяла на востоке Финляндии), имеется фраза: оумундуа · оувармина · сна · взалъ · ѿ · лендомъ · рыбу 'у Мундуя у Вармина сына взяли 10 лендом рыбы'. Из контекста явствует, что лендом(а) — некая мера количества рыбы (причем достаточно крупная, чтобы событие заслуживало упоминания). В других древнерусских и диалектных источниках это слово, как отмечает А. В. Арциховский [НГБ 1956-1957: 75], не обнаружено.

Отсутствует соответствующее слово и в известных нам ПФ источниках. Однако оно достоверно этимологизируется по данным вепсского языка, где представлена глагольная основа *lenda-* (инф. *leta*) 'поднимать; выдерживать (тяжесть)', ср. в частности *hece veneh ij lenda kuimet ristitut* 'эта лодка не поднимет трех человек' [СВЯ: 285]. Эта основа обладает почти полным формальным и семантическим параллелизмом с *kanda-* (инф. *kanta* или *kata*) 'носить, таскать; держать, выдерживать (тяжесть)' [СВЯ: 178; SKES I: 157], ср. также употребление в фразеологизмах *nenan tendab* 'сердится' и *nenan kandab* 'таит злобу, дуется'. От *kanda-* (ПФ **kanta-*) образован дериват *kandam* 'ноша, охапка' (ПФ **kantama*, ср. эст. *kandam*, лив. *kādam*, *kādam* id.), употребляющийся, в частности, как единица измерения: *kaks kandmad hāgod* 'две охапки дров' [СВЯ: 176;

* Впервые опубликовано в: В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 годов). М., 1986. С. 252-259.

Лаап
сушк
(под
пока
В

слов
и т. д.
этой
ний.
обыч
мене
язык
Дру
lenpi

и уд
ветс
язык
вепс
имет
язык
там
в ра
тами

С
же в
ранн
отра
[Kali

Э
выто
З
боле
гин
Ф
лень
в ру

особе
[Kett
мент
2
'взле

Laanest 1975: 137, 138]¹. По аналогии естественно предположить возможность существования вепс. **lendam* со значением 'поднимаемый, выдерживаемый (лодкой) груз' или же 'поднимаемый (сетью) улов'. Наличие др.-новг. лендом(а) показывает историческую реальность этой реконструкции.

Вепс. *lenda-* имеет также значение 'летать, взлетать', причем родственные слова с таким значением представлены в ПФ языках повсеместно: фин. *lentää* и т. д., ПФ **lentä-*. [SKES II: 287] справедливо связывает *lenda-* 'поднимать' с этой же ПФ глагольной основой², не рассматривая вопрос о первичности значений. Поскольку семантическая деривация 'поднимать(ся)' → '(вз)летать' вполне обычна, тогда как развитие значений в противоположном направлении гораздо менее естественно, можно предполагать, что значение 'поднимать' в вепсском языке является семантическим архаизмом, утраченным другими ПФ языками. Другим вероятным реликтом этого архаического значения является фин. *lennatto*, *lennates*, *lennatos* 'насторожка, колышек для взвода ловушки (п о д н и м а ю щ и й и удерживающий плашку-боек)'. В силу этого слова **lentä-* 'поднимать' и соответственно **lentämä* 'лендом(а)' в прошлом могли существовать и в других ПФ языках, помимо вепсского, что делает трактовку слова лендом(а) как именно вепсского заимствования в принципе необязательной. Следует во всяком случае иметь в виду, что данный термин был понятен далеко за пределами вепсской языковой территории — составителям грамоты в Западной Карелии и ее адресатам в Новгороде. Его повсеместная утрата — результат параллельных процессов в развитии лексики ПФ языков, обусловленных их тесными взаимными контактами.

С точки зрения фонетики соотношение ПФ **lentama* и др.-новг. лендома или же вепс. *lendam* и др.-новг. лендом полностью регулярно. Практически во всех ранних ПФ заимствованиях русского языка **nt* (фин., вод., сев.-кар. *nt*, проч. *nd*) отражается как *нд*, безударный инлаутный *a* — как *о*, ауслаутный *a* — как *a* [Kalima 1919: 35, 46, 47, 63].

2. Вытол

Это слово встретилось в грамоте 600 [НГБ 1977–1983: 60–62] в контекстах: а вытоле того изловили и молвать вытоло изловили.

Значение и происхождение слова раскрывают следующие ПФ данные (наиболее важные в фонетическом и семантическом отношениях для нашей этимологии формы выделены разрядкой):

фин. *vetelys* 'п р а з д н о ш а т а ю щ и й с я, бездельник, копуша, лентяй, увалень, рохля; (диал., обычно во мн. ч.) тонкая конопля, которая при ческе остается в руках; (диал., шутл.) то, что тащат сзади', *vetla* (диал.) 'vetelys', *vetlakka*

¹ Ср. также сходные по образованию и семантике лив. *ēitām* 'бросок (= три штуки, особенно при счете рыб и яиц)' от *ejītā* 'бросать' и *v'edām* 'воз' от *v'e'ddā* 'возить' [Kettunen 1938: 50, 496]. За указание этих ливских примеров и за ряд других ценных комментариев автор благодарит Т.-Р. Вийтсо, ознакомившего с данной статьей в рукописи.

² К соотношению значений ср. сельк. *węšj-* 'подняться', *węććj-* 'поднять', *węššē-* 'взлететь'.

(диал.) 'вялый, ленивый, ослабевший; хитрый', *vetlu* (диал.) 'вялый, ленивый', *viettelys* 'соблазн; соблазнитель, бес';

кар. *vedelüs* 'vetelys', *vetkula* 'жидкий; vetelys';

кар.-ливвик. *vedel* 'водянистый, мокрый, жидкий, рыхлый', *vetlakka* 'рыхлый, жидкий; гибкий, хрупкий; доброжелательный; проворный, ловкий';

вепс. *vedenuz* 'vetelys; потаскун, потаскуха; бродяга (прозвище ленивой собаки)', *vedentas* 'слоняться, валяться';

ижор. *vëttelüz* 'тратящий время, мешающий работе';

вод. *vetel* 'жидкий', *vetelüz* 'vetelys';

эст. *vedel* (юж.-эст. *vetel*) 'жидкий, водянистый, жидкость; вялый, слабый', *vedelik*₁ 'жидкость', *vedelik*₂ 'вялый, ленивый, бродяга' (ср. *vedel(e)da* 'валяться; бездельничать, лодырничать').

См. [SKES VI: 1716–1717, 1719–1720, 1731; СВЯ: 622; Nirvi 1971: 663; Wiedemann 1973: 1339–1340].

Картина, свидетельствуемая словарями, бесспорно явилась результатом ряда контаминационных процессов. Характерно, что слово *vetelys* этимологический словарь финского языка упоминает дважды в связи с корневыми гнездами совершенно различного происхождения ([SKES VI], s. v. *vetelä* 'жидкий' и *vetää* 'тащить'). Тем не менее, материал позволяет с уверенностью констатировать наличие в общеПФ лексике слова (или группы слов) с фонетическим обликом типа *vet(э)л(э)* и со значением 'бродяга' (при адъективизации — семантическое развитие в направлении 'хитрый, проворный, ловкий'), являющегося, по-видимому, дериватом от **vetä-* 'тащить'. С точки зрения как фонетики, так и семантики данное слово повсеместно испытало влияние со стороны близких по звуковому облику слов типа фин. *vetelä* 'жидкий', а также *veltto* 'вялый, дряблый, инертный' (ср. также фин. диал. *velmo*, *velppa*, *velso* и под., в своих значениях повторяющие отчасти *vetelys*, отчасти *veltto*, см. [SKES s. v.]), оказав в свою очередь встречное влияние на эти слова (ср. фин. *vento* 'рыхлый, топкий, податливый, мягкий; чужой, незнакомый'). Налицо также частичная контаминация с **vettä-*, фин. *viettä-* 'проводить, тратить (время)'.

Данные ПФ языков и сам контекст грамоты 600 позволяют постулировать значение 'бродяга' и для др.-новг. вытол. Его источником явилось вышеназванное ПФ *vet(э)л(э)*, вероятно, с заднерядным вокализмом второго слога, обусловившим веларизацию гласного *e* и его передачу через *ы* (ср. развитие ПФ **e* в эст. *õ* при заднерядности следующего гласного)³. Остается неясным, присутствует ли среди перечисленных ПФ форм прямой рефлекс той формы, которая была заимствована в древненовгородский. Наиболее вероятными кандидатами могут быть фин. диал. *vetla* и *vetlu* (если допустить фонетико-морфологические преобразования уже на русской почве). Однако сосуществование ряда близких по звучанию и значению ПФ форм (**vet(t)-elü(k)s*, **vetla*, **vetelikko* и др.) позволяет думать и об

³ Полностью аналогичная фонетическая субституция имеет место в с.-в.-р. *vyrändä* 'куча хвороста' из кар.-людик. *verand* [Kalima 1919: 87]; другие подобные примеры см. [Kalima 1919: 52]. Небезынтересно отметить также *vyxotъ* (кем. арх. 1910) 'кусоч тряпки или мочала, служащий для мытья пола или посуды' [СРНГ VI: 54] — это слово, засвидетельствованное в зоне контактов с ПФ языками, соответствует *veхотъ* (вѣхотъ) других русских диалектов.

утраченных или незасвидетельствованных вариантах типа **vetal*, **vetol*, **vet(t)alu*, **vet(t)ulu* и под., которые могли непосредственно отразиться в виде др.-новг. вытол.

3. Русско-прибалтийско-финский глоссарий в грамоте 403

Грамота 403 [НГБ 1958–1961] состоит из двух частей. Ее верхняя половина содержит цельный и легко читаемый текст записи повинностей или долгов, причем имена большинства должников и названия населенных пунктов прибалтийско-финские (см. [Jelisejev 1966: 302]; топонимические сопоставления позволяют отнести их с территорией Кирияжского погоста Водской пятины, находившейся к западу от Ладожского озера [НГБ 1958–1961: 104]. Нижняя половина листа содержит разделенный на группы и несколько поднимающийся по диагонали текст:

			церево
		кисело	социлекохти
соромо	вѣли	хапала	кюзувѣлькадониндалы
гулкиа	каска		

Нерусский характер большинства слов этой записи был констатирован в комментариях А. В. Арциховского (там же). В двух публикациях Ю. С. Елисеева [Jelisejev 1966: 302–304; Jelisejev 1975] представлены два варианта ее интерпретации, исходящие из предположения о том, что перед нами связный (хотя и перенасыщенный русскими заимствованиями) ПФ (карельский) текст. Однако при обоих (отличающихся трактовкой концовки записи) вариантах такой интерпретации чтения оказываются недостаточно естественными в плане содержания, отчасти нарушающими закономерности лексико-грамматического строя ПФ языков и, кроме того, опирающимися на ряд конъектур исходного текста.

Используя некоторые фрагменты дешифровки Ю. С. Елисеева (в отношении слов гулкиа, каски, кюзу), мы предлагаем интерпретацию рассматриваемой записи как русско-прибалтийско-финского глоссария. Следует думать, что составитель записи долгов или повинностей в верхней части листа был русским новгородцем, которому предстояло вступать в контакты с названными в грамоте кирияжцами на их родном языке. Владея какими-то азами ПФ речи, этот человек счел необходимым заготовить «шпаргалку» с переводами нескольких нужных для таких контактов слов. Записанные друг под другом русские слова и их ПФ переводы образуют пять пар:

1) соромо — гулкиа. Русское слово, с учетом характерной для новгородских грамот мены *ъ/о*, читается как соромъ ('срам'). В качестве переводного эквивалента этого абстрактного имени взят глагольный инфинитив — фин. *hylkiä*, кар. *hülkie* 'брезгать, гнушаться'. Передача ПФ анлаутного *h* через *г* столь же обычна, как и его отражение в виде *х* (см.: [Kiparsky 1958: 165–174]). Отметим, что фин. *hylkiä* не имеет точных соответствий и других ПФ языках, кроме карельского [SKES I: 93; KKS I: 356].

2) вѣли — каски. Русское слово — императив вели (с ошибочно употребленным ятем). Соответствием служит фин., кар., вепс. *käske* 'вели, прикажи' или *käski* '(он) велел, приказал'.

3) кисло — хапала. Значение кисель ('кислый', возможно также 'прогнивший, испорченный', ср. [СРНГ XIII: 235]) в современных ПФ языках выражается следующими дериватами от основы **happa-*: фин., кар. *hapan* (*happame-*), кар.-ливвик. *hapai(n)*, вепс. *hapa(n)* (в слове *hapa(n)-maid* 'простокваша'), вод. *arō*, эст. *hapi*, *hapen*, *hapne*, лив. *ap̃r̃ān* [SKES I: 56]. Зафиксированная грамотой форма позволяет думать, что в прошлом от той же основы существовал и дериват с суффиксом *-la* (*-lā*), который хорошо известен в ПФ языках как суффикс прилагательных, в т. ч. и обозначающих вкусовые ощущения, ср. фин. *hankala* 'затруднительный, неудобный' (от *hanka* 'развилка'), *ihala* 'ясный; прелестный' (наряду с *ihana* 'чудный, прелестный'), *imelä* 'сладковатый, приторный' (наряду с *imara* id.) [Хакулинен 1953: 111; Laanest 1975: 137]; соответственно, за написанием хапала может стоять ПФ **happala*⁴.

4) социле — кюзувълкадониндалы. Русское слово социле = сочил 'взыскал, требовал (например, по суду)' лишь случайно оказалось записанным слитно с кохти (см. ниже). В качестве ПФ переводного эквивалента использовано целое словосочетание, в котором достоверно опознаются: а) кюзу = фин. *kysyi*, кар.-ливвик. *küzüi*, вепс. *küzui* 'спросил, потребовал' или фин. *kysy*, кар.-ливвик. *küzü*, вепс. *küzü* 'спроси, потребуй' и б) вълка = фин. *velka*, диал. *veleka* 'долг'⁵. Для концовки этого выражения мы затрудняемся дать однозначную интерпретацию. По-видимому, она состоит из аффиксальной части основы *veleka* (-д- может быть показателем мн. ч. — фин., кар. *-t*, вепс. *-d*) и какой-то формы, связанной с глаголом ПФ **anta-* 'дать' (в слабой ступени **anna-*).

5) дерево — кохти. Соответствием дерево ('чрево') служит ПФ **kohtu* 'живот' (фин. *kohtu* 'матка', кар. *kohtu* 'живот', вепс. *koht*, эст. *koht* и т. д.; см. [SKES II: 206]); *-i* в ауслауте непонятно (возможно, описка или неточное прочтение?). Как можно судить по прориси грамоты, слово кохти лишь случайно слилось в одну буквенную цепочку с русским словом из предшествующей глоссы.

Как видим, употребление большинства рассмотренных слов и выражений вполне естественно для беседы на тему взыскания долгов или неустоек, что подтверждает высказанные выше соображения о назначении глоссария. Вероятно, в связи с какими-то неизвестными нам обстоятельствами составителю записи предстояло упоминать о чем-то 'кислом' и о 'череве' (возможно, о недоброкачественных, прогнивших брюшных частях шкур — ср. [НГБ 1958–1961: 104]).

4. К ПФ тексту грамоты 292

Ю. С. Елисееву принадлежит заслуга выявления древнейшего письменного памятника ПФ языков — новгородской берестяной грамоты 292 [НГБ 1956–1957: 120–122] со следующим текстом:

⁴ Т.-Р. Вийтсо обратил внимание также на кар. *haplakka*, -о 'хрупкий, изношенный, гнилой', *haplata* 'киснуть, гнить' [KKS I: 169] с труднообъяснимым сочетанием **pl*.

⁵ В этой форме, очевидно, отражено финское сварабхакти — разбивка сочетаний *l* + согласный (реже другой сонант + согласный) повторенным гласным первого слога. Современный ареал этого явления из всех ПФ языков охватывает только диалекты Центральной, Северо-Западной и Восточной Финляндии [Kettunen 1969: п.о 199].

юмолануоли • i • нимижи
 нуолисѣханолиомобоу
 юмоласоудьнииохови

Не вызывающим никаких сомнений и достоверно диагностирующим ПФ языковую принадлежность грамоты фрагментом является ее начало: юмола-нуоли = *Jumala(n) nuoli* 'божья стрела', т. е. — с учетом многочисленных лингвистических и мифологических параллелей — молния. О том, насколько различной может быть интерпретация всего остального текста, позволяет судить сравнение чтения Ю. С. Елисеева и выдвинутой М. Хаавио альтернативы:

- | | |
|---|--|
| 1) <i>Юмала(н) нуоли, 10 нимижи</i>
<i>Нуоли-се хя́н оли ома Бо́у</i>
<i>Юмала соудьньи йохави</i>
(или: <i>соудь ни</i>) | Божья стрела (= молния), 10 имен твоих
Стрела-та она принадлежала Богу
Бог судный направляет
(или: судил так)
([Елисеев 1959]; см. также [НГБ 1956-1957: 120-122] и [Jelisejev 1966: 296-301]) |
| 2) <i>Jumolan nuoli inimiži (= фин. ihmisen)</i>
<i>nouli (вместо nuoli) sekä n[oli] omo Бо́у</i>
<i>Jumola соудьньи оковы (~ оков)</i> | Божья стрела, человечья
стрела, а также стрела сама. Богу.
Бог судный. Оковы. |

[Haavio 1964: 2]

Не вдаваясь в детали разбора, отметим, что чтение Ю. С. Елисеева предполагает, в частности, использование в грамоте чуждой ПФ языкам, гибридной в синтаксическом и лексическом отношениях конструкции *оли ома Бо́у* (вместо нормальной *oli Jumalan ota*). В чтении М. Хаавио, который усматривает в грамоте текст клятвы, вызывают сомнение как странные конъектуры (*k* вместо *x*, дважды), так и маловразумительность якобы русской концовки текста.

Не претендуя на окончательное решение проблемы, рискнем предложить разбивку и интерпретацию ПФ текста в следующем виде (с использованием элементов обоих цитировавшихся чтений):

- | | |
|---|---|
| 3) <i>Jumala(n) n^ooli 10 nimeži</i>
<i>N^ooli [säihä] n^oöli ambu</i>
<i>Jumala süd(u) nī ohjavi (johavi?)</i> | Божья стрела, 10 имен твоих
Стрела сверкни, стрела выстрели
Бог суд так производит (правит) |
|---|---|

Отличия от чтения, предложенного Ю. С. Елисеевым, фактически касаются лишь второй строки. Для выделяемого нами *съха = säihä* (фонетика ориентировочна) ср. многочисленные варианты типа фин. *säihkyä* 'сиять, сверкать', диал. *säjähtää* 'вспыхнуть, заискриться', *säikkiä* 'высекать искры', *säikähtää* 'вспыхнуть', кар.-ливвик. *säigeä* 'блестеть, сверкать, вспыхнуть', *säijätä (säigä-)* 'вспыхнуть', *säikäätä* 'высечь огонь' и др. [SKES IV: 1161-1163]. Для *омобоу = ambu* (или, возможно, *am^obu*) ср. фин. *ampua* 'выстрелить', кар. *ambu-* и — что особенно интересно с точки зрения семантической связи компонентов текста — вепс. *ampta (ambu-)* 'стрелять, застрелить; ударять (молнией)' [СВЯ: 30].

В третьей строке с постулированной Ю. С. Елисеевым (во втором варианте его чтения) глагольной формой может, на наш взгляд, «конкурировать» известное ряду ПФ языков заимствованное существительное со значением «суд»: фин.

suuto, кар.-ливвик. *suudo*, *suutu*, *suudu*, кар.-людик., вепс. *sūd*, вод. *sūto* [SKES IV: 1140]. Последнее слово мы трактуем скорее как *ohjavi* (с архаическим окончанием 3 л. ед. ч., ср. фин. *ohjaa* 'ведет, производит, управляет, правит'), чем как *johavi* (от **johta*- 'вести, управлять' с неясным отсутствием *-t*-, ср. фин. *johtaa*, диал. *johtavi*). В таком случае *-in-* в *-нинохави* является, очевидно, графическим отражением долготы гласного в *nī*.

5. ПФ антропонимы в берестяных грамотах

Довольно многочисленные личные имена ПФ происхождения были предметом рассмотрения как в комментариях к изданиям НГБ, так и в отдельных статьях [Mägiste 1957; Попов 1958; Хямяляйнен 1958; Naavio 1964; Jelisejev 1966; Halthoer 1981]. Критический анализ предложенных интерпретаций и этимологий, дополненный рядом наших собственных наблюдений, позволяет представить следующий ниже перечень ⁶.

Ава или Ави (у Авиница 278 — по мнению А. А. Зализняка, скорее всего Р. мн.: «у Авиничей, у детей Авы /Ави»). Мы полагаем, что здесь отражено древнее ПФ имя, известное или реконструируемое в вариантах *Auva*, *Auvo*, *Auvi*, *Avo*, *Avi* и др. [Forsman 1891: 154; Stoebe 1964: 83, 136; Nissilä 1975: 124] и связанное с апеллятивом ст.-фин. *auvo* «радость».

Алюй (оу Алюевниъ 138). Явно отождествимо с патронимом Алюев в Толдожском погосте Водской пятины и, вероятно, названием деревни Алуево в Лопском погосте Водской пятины (см. [Трусман 1898: 2]). Само имя Алюй (Алуй) мы рассматриваем как русифицированную форму ПФ имени *Alo*⁷, засвидетельствованного у ливов с 1184 г. и у эстонцев с 1518–1544 гг.; его источником, по Д. Штёбке, является германское личное имя — др.-нем. *Alo*, др.-датск. *Allo* [Stoebe 1964: 15, 151]. Западные (эстонско-ливские) ПФ связи рассматриваемого имени согласуются с показаниями другого антропонимического материала из грамоты 138 (Кюрик, см. ниже) и позволяют предположительно соотнести ее с территорией Шелонской или западной части Водской пятины. Палатализация л в

⁶ Перечень не включает те имена, для которых — несмотря на их вероятную ПФ принадлежность — не удается сколько-нибудь точно определить фонетический облик источника (Ваакшина 130, с Кюпанка 218, оу Ладопги 141, у Вонга 348, у Питина сн 249, у Пюхтино 403, оу Селекоуевниъ 138 и некоторые др.).

⁷ В берестяных грамотах, как и в других письменных памятниках древнего Новгорода, широко представлены личные имена ПФ происхождения на *-уй* (Гымуй, Аьинуй, Мундуй, Нустуй, Тадууй, Ёкуй — см. ниже, Вихтуй и т. д., см. также: [Попов 1981: 95, 96, 106, 107]). Мы предполагаем, что их источником явились многочисленные ПФ имена и особенно гипокористические дериваты на *-и*, *-о*, ср. фин. *Tatu* = Давид, *Aatu* = Adolf, *Mikko* (кар. *Miku*) = Михаил (или Николай, Никифор), *Markku* = Марк, *Raavo* = Павел и т. д. [Stoebe 1964: 120; Попов 1958: 98, 99; Nissilä 1975: 170; Елисеев 1979: 274–279]. Субституция *-уй* на месте ауслапного *-и* (реже *-о*) характерна и для ранних русских апеллятивных заимствований из ПФ языков [Kalima 1919: 67, 70], ср. *елуй*, *ёлуй* 'помост для сушки рыбы' из фин. *jolu*, *холуй* 'сор, нанос от разлива' из фин. *kalu* и др. Особенно широкому распространению этой субституционной модели в антропонимах бесспорно способствовало наличие собственно русского суффикса *-уй*, имеющего, в частности, гипокористическое значение.

Алюй отражает восприятие «на русский слух» характерного для эстонского языка не веляризованного *l* (по сообщению Т.-Р. Вийтсо, *l* других ПФ языков в положении перед заднерядным гласным обычно воспринимается русскими как непалатализованный).

Ваивас (у Ваиваса 130). Предположение о связи этого имени с фин. *vaiva* 'труд, мучение, хлопоты' [Halthoer 1981: 164] подтверждается, в частности, продуктивностью соответствующей модели образования антропонимов: ср. *Vihäs* от *viha* 'гнев, злоба' [Forsman 1891: 162, 214]. Интересно отметить топоним *Вайвас-ламба* — населенный пункт Вагвозерского общества Коткозерской волости Олонецкого уезда Олонецкой губернии [Благовещенский 1907: 60]⁸.

Валит (у Валита 130). Это имя, фигурирующее также как имя карельского воеводы в Первой Софийской летописи под 1337 г. ([ПСРЛ V: 220]; см. [НГБ 1953–1954: 67]), М. Хаавио надежно отождествил с карельским антропонимом *Vallittu*, ср. *vallita* 'господствовать, владеть' [Haavio 1964: 3]; ср., впрочем, также фин. *valittu* 'выбранный, избранник' [Halthoer 1981: 164].

Варма (оу Вармина с.на 249). ПФ имя (или прозвище), образованное от прилагательного фин. *varma* 'надежный, верный' [НГБ 1956–57: 75; Halthoer 1981: 166], ср. современное финское женское имя *Varma*.

У Вигали 260 — см. след.

Вигарь (у Вигара 130). Мы полагаем, что здесь представлено древнее ПФ имя *Vihari*, упомянувшееся еще в работе А. Форсмана и связанное с фин. *viha* 'гнев, злоба', *vihanta* 'зеленый, цветущий' [Forsman 1891: 162]; менее вероятными представляются сопоставления с фин. *Viikari* от *viikari* 'шалун, пострел' [Haavio 1964: 3] и тем более с фин. *vikuri* 'норовистый' [Halthoer 1981: 164]. Те же этимологические связи имеет, по-видимому, и имя Вигала (Вигаля?) в грамоте 260. Хотя непосредственно *l*-овые антропонимические дериваты от основы *viha* в известных нам источниках не отмечаются, ср. ниже Игала (*Ihala*) от апеллятива *iha*, а также параллельное функционирование суффиксов *-ri* и *-li*, *-la* в древней ПФ антропонимии: *Toivari* и *Toivali*, *Ihari* и *Ihali*, *Ihala* [Forsman 1891: 212].

Вихтимас (в Вихтимаса 2). Отождествлено с ливскими и эстонскими именами, известными по документам XIV–XV вв. в написаниях *Vychtemas*, *Vichtmys*, *Vichtemas*, *Vichtmys* [Stoebke 1964: 75, 76]. Основа **Vihta* ~ **Vihto(i)* ~ **Vihti* представлена и в ряде других древних ПФ антропонимов; Д. Штебке признает ее апеллятивные связи неясными, отклоняя предположения А. И. Попова об образовании от фин. *vihta* 'банный веник' или *vihkiä* 'венчать' ([Попов 1958: 98; Stoebke 1964: 105, 141]; см. также [Mägiste 1957: 98, 99]). На наш взгляд, весьма вероятна связь с фин. *viihtyä* (диал. *vihtyä*, *vyhtyä*, *vyuhtyä*) 'чувствовать себя хорошо', *-vihteinen* в *hyvänvihteinen* 'здоровый', кар.-ливик. *vihtyö* 'располагаться, успокаиваться', вепс. *vihtutõda* 'успокоить, убаюкать', см. об этих словах [SKES VI: 1741].

Воземут (в Воземьта 2). В полной мере сохраняет свою силу указанное еще А. А. Беляковым [НГБ 1951: 24] объяснение из ПФ **vasem-* (фин. *vasen*, кар. *vazen*) 'левый', с диминутивным суффиксом кар. *vazemut* 'левенький'.

Вэльют (в Вэльюта 2, в Вэльютowych 2). Наличие в той же грамоте 2 параллельного по графическому отражению имени Вэльюказ (см. след.) заставляет от-

⁸ Рус. диал. (олон., арх.) *ламба* 'озеро, особенно лесное' заимствовано из ПФ языков, ср. фин. *lampi*, кар. *lambi* [Kalima 1919: 149].

дать предпочтение трактовке данного имени как связанного с ПФ **vilja* 'жито' и содержащего типичный для антропонимов суффикс *-t(tu)* [Mägiste 1957: 98; Попов 1958: 97, 98]. Согласно другому объяснению, от ПФ **velj-* 'брат' с диминутивным суффиксом, ср. кар. *vellut* 'братец' (А. А. Беляков в [НГБ 1951: 24]; [Хямäläйнен 1958: 102]). Следует подчеркнуть, что основа **velja*, в отличие от **velj-*, хорошо засвидетельствована в древней ПФ антропонимии.

Въялказ (Въялказа Р. ед. 2). Древнее ПФ имя, образованное от основы **vilja* 'жито' с помощью суффикса фин. *-kas*, вепс. *-kaz* или непосредственно от фин., эст. *viljakas* 'плодородный, продуктивный, обильный' [Mägiste 1957: 98; Попов 1958: 97; Stoebeke 1964: 106]. В качестве собственно имени известно, в частности, по документам XV–XVI вв. из Эстонии в написаниях *Villika*, *Villikasti*, *Willekasse*, *Willikas* [Stoebeke 1964: 79, 80].

Гымуй (у Гымуева снa 403). Фин. *himo* 'жажда, вожделение', указанное Ю. С. Елисеевым в качестве источника этого имени [Jelisejev 1966: 302], известно и в качестве древнего антропонима — *Hima*, *Himo* [Forsman 1891: 167; Nissilä 1975: 124]. К русифицированной форме на -уй см. примеч. 7.

Гувий (оу Гувиева снa 249). Как определил А. И. Попов ([НГБ 1956–1957: 75]; см. также [Halthoer 1981: 166]), здесь представлено ПФ **hüvä* (фин. *hyvä*) 'хороший', которое лежит в основе древних ПФ антропонимов *Hüvä*, *Hüviä* — возможно, именно этот вариант отражен формой Гувий, *Hüvö* [Forsman 1891: 154; Stoebeke 1964: 84, 136; Nissilä 1975: 124].

Игала (оу Игалъ 249, у Игалина брата 278). А. И. Попов [1958: 98] отождествил это имя с *Ihala*, хорошо известным из старых источников [Forsman 1891: 155; Stoebeke 1964: 84; Nissilä 1975: 124] и имеющим прозрачную этимологию (фин. *iha* 'довольный', эст. *iha* 'влечение, желание').

Икагал(а) (у Икагала 278). Составное имя, компоненты которого отождествляются с фин. *ikä* 'возраст, жизнь' и *halu* 'желание' [Halthoer 1981: 163]. С учетом других данных о функционировании этих основ в антропонимах возможны следующие варианты: *Ikähalu*, *Ikahalu*, *Ikähalo* (такой вариант представлен в перечне древнефинских имен у М. Форсмана [Forsman 1891: 155]), *Ikahalo*.

Кавкагала (Кавкагалу В. ед. 249). Также составное имя, ср. фин. *kauko-* 'дальный' и *halu* 'желание' [Halthoer 1981: 166]⁹. Компонент *Kauka* ~ *Kauku* широко распространен в древней ПФ антропонимии [Forsman 1891: 157; Stoebeke 1964: 90, 91; Nissilä 1975: 124].

Кюрик (оу Кюрика оу Тюлпина 138). В принципе это имя вполне могло бы быть одним из вариантов хорошо засвидетельствованных в берестяных грамотах и других древненовгородских памятниках христианских имен (ср. в Кюриле 220, в Кюръака 332, оу Кюра 521, а также имя новгородского писателя XII в. Кирика). Однако в данном случае речь идет о сыне человека, который носил ПФ прозвище Тюлпа ('Тупица', см. ниже); поэтому допустимо предполагать, что и Кюрик является прозвищем, которое безо всяких затруднений отождествляется с эст. *küürik* 'горбатый' [Wiedemann 1973: 437]; аналогичная этимологическая идея высказывалась в связи с названием деревни Кюриково Дегожского погоста Шелонской

⁹ Различия в оформлении ауслаута этого и предшествующего имени могут объясняться параллелизмом мужского и женского типов склонения у антропонимов, широко распространенным в древненовгородском: ср. Марк — Марка, Карп — Карпа.

пятины
то не з
точно
ские) п

Льви
с основ
др. [Ф
чаль', /

Мик
ПФ пр
24] —
ствиям
кифор)

Му
мански
однако

Му
сольск
на -уй
вестно

Монт
поним
предст
гия По

имею
имство
др.-пр
Вполн

ту же
второй
Мь

Mielit
Мь
зан не

1976:
~ *Мь
имени

Но
ность
Кире
предп

предп
Nousi
178; N
тины
Новзу
возмо

пятины [Трусман 1898: 154]. Следует отметить, что в других ПФ языках как будто не засвидетельствованы дериваты от основы **kūr-* 'горбиться', которые бы точно соответствовали эст. *küürik*; преимущественно западные (эстонско-ливские) параллели имеет и другое ПФ имя из той же грамоты 138 (Алюй, см. выше).

Лъинуй (у Лъинуя 278). Русифицированная форма (см. примеч. 7) от ПФ имени с основой *Lein-*. Известны варианты *Leina*, *Leinä*, *Leini*, *Leino*, *Leinio*, *Leinakka* и др. [Forsman 1891: 164; Stoebe 1964: 42]; все они связаны с фин. *leina* 'горе, печаль', *leino* 'печальный'.

Мика (8 Мики 2). Это имя, фигурирующее в грамоте в окружении ряда имен ПФ происхождения, отождествимо — как отметил уже А. А. Беляков [НГБ 1951: 24] — с кар. *Miku*, фин. *Mikko*, гипокористическими по происхождению соответствиями русских христианских имен Михаил, Николай (Микола), Никифор (Микифор).

Мунданахт (у Мунданахта 403). Ю. С. Елисеев признает данное имя «явно германским» и сравнивает его с нем. *Mondnacht* 'лунная ночь' [Jelisejev 1966: 302]; однако ср. след.

Мундуй (оу Мундуа 249). Ср. также название деревни Мундуева Гора, Корбо-сольский погост Водской пятины [Трусман 1898: 191]. Русифицированная форма на -уй (см. примеч. 7) от древнего ПФ имени *Monto* ~ *Monta*, для которого известно много дериватов и сложений (*Montaja*, *Montaneuvo*, *Montoneuvo*, *Montopäivä*, фамилии *Montonen*, *Montanen* — с XV в.), а также производных топонимов [Forsman 1891: 127, 159; Nissilä 1975: 124]. Передача ПФ о через рус. у представляет собой достаточно частый феномен [Kalima 1919: 48, 49]. Этимология ПФ имени неясна; по-видимому, можно предполагать как связь с основой, имеющей значение 'много' (фин. *moni*, часто в форме партитива *monta*), так и заимствование германских или балтийских антропонимов (др.-нем. *Munt*, *Mundo*, др.-прусс. *Munte*, *Monte*, см. [Stoebe 1964: 61, 155] — в связи с эст. *Munth*). Вполне возможно, что и имя Мунданахт содержит в качестве первого компонента ту же антропонимическую основу и является ПФ, а не германским; впрочем, второй компонент не поддается однозначной интерпретации.

Мълит (у Мълита 130). Надежно отождествляется с финским антропонимом *Mielitty* от *mielitty* 'любимый' [Haavio 1964: 3; Halthoer 1981: 164].

Мъла или Мъли (Мълицю Д. ед. 534). Вероятно, патроним Мълиць (Мълич) связан не непосредственно с рассмотренным выше именем Мълит (ср. [НГБ 1962–1976: 136]), а с этимологически родственным древним ПФ именем **Mēli* ~ **Mēlo* ~ **Mēla* [Stoebe 1964: 139], ср. др.-фин. *Mieli*, *Mielo* [Nissilä 1975: 124]; в основе имени — апеллятив **mēle-* (фин. *mieli* 'душа, чувство, ум').

Новзь (249). А. А. Зализняк указал автору этих заметок на явную ошибочность прочтения фрагмента киреевъ · сно · иновзь · лопинь в грамоте 249 как Киреевъ сыно ино възь лопинь 'Киреев сын еще взял лопарь' [НГБ 1956–1957: 74] и предположил, что Новзь — имя упоминаемого 'лопина' (лопаря, саама). Такое предположения достоверно подтверждается наличием древнего финского имени *Nousia*, ср. также фамилию *Nousiainen* и топоним *Nousiala* [Forsman 1891: 124, 178; Nissilä 1975: 124, 127]. Данное имя известно и по материалам из Водской пятины древнего Новгорода, где упоминаются Новзьй, Новзьйко, Новзуй, Новзьев, Новзуьв, деревня Новзуево в окрестностях города Корелы [Трусман 1898: 199]; можно отметить также населенный пункт *Новзинская* Васюковского общества

Коловской волости Пудожского уезда Олонецкой губернии [Благовещенский 1907: 250] — при том, что уже М. Форсман отождествлял патроним Новзин из писцовых книг Водской пятины с фамилией *Nousiainen* [Forsman 1891: 124]. С точки зрения фонетической характеристики ятя в древненовгородском представляет интерес передача с его помощью ПФ *ia*, что сопоставимо с употреблением ятя в слове Коръла (ср. фин. *Karjala*), а также в имени Ёкуй (см. ниже). Само имя *Nousia* связано с фин. *nousta* 'подняться' [Nissilä 1975: 150], ср. особенно карливик. *nouziaized* 'новоселье' [SKES II: 394].

Нустуй (на Нустуе 336). Мы предполагаем, что это имя (зафиксированное в русифицированной форме, см. примеч. 7) можно сопоставить с ПФ глагольной основой **nosta-* 'поднимать, возвышать' (фин. *nostaa*) — ср., в частности, образованную от этой основы фамилию *Nosturi* [Nissilä 1975: 150]. О передаче ПФ *o* через *y* см. выше, в связи с именем Мундуй¹⁰.

Тадуй (оу Тадоуа 141). Очевидно, русифицированная форма на *-уй* от фин. *Tatu*, кар. **Tadu*, что соответствует христианскому имени Давид [Nissilä 1975: 170].

Тюлпа (оу Тюлпина 138). Здесь вряд ли представлено что-либо иное, чем прозвище, которое объясняется из фин. *tylppä* (диал. *tylpä*) 'тупой', кар. *tülpä*, вод. *tülpä*, эст. *tülp* (ген. *tülba*), ст.-лив. *tülp* [SKES V: 1449, 1450].

Ёкуй (на Ёкуевъ 2 — чтение А. А. Зализняка, уточненное по сравнению с [НГБ 1951: 23, 24]). Очевидно, русифицированная форма на *-уй* от одного из христианских имен в ПФ гипокористической адаптации, ср. фин. *Jaakko* = Яков, кар. *Jekkulo*, *Dekkulo* = Ефим(ий). Наше объяснение лежит в русле толкования А. И. Попова, который, однако, рассматривал *-ёкуевъ* как концовку какого-то патронима [Попов 1958: 98, 99].

6. Топоним Ноя (в Нои 278)

По-видимому, здесь представлен довольно распространенный в ПФ языковой области топоним *Nuija* (ср. также *Nuijala*, *Nuijamaa*), образованный от апеллятива фин. *nuija* 'дубина' (см. [Nissilä 1975: 46, 120, 152, 154]). Передача ПФ *u* в виде *ь*, а после прояснения редуцированного в ударной позиции — в виде *o* характерна для наиболее древнего слоя ПФ заимствований в русском языке [Kalima 1919: 49, 50].

¹ Ср. также *u* в лив. *niūtā* 'поднимать' [Kettunen 1938: 257], на что обратил наше внимание Т.-Р. Вийтсо.

О НЕСКОЛЬКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ РЕЛИКТАХ НОВГОРОДСКОЙ И СЕВЕРНОРУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ*

Необходимость учета русской диалектной и устаревшей лексики как источника немалой части русизмов в финно-угорских и самодийских языках определяется давностью и характером соответствующих контактов. Новый импульс исследованиям в этом направлении придают полученные в последние годы результаты, свидетельствующие о тех различиях, которые исходно обособляли диалекты Русского Северо-Запада (Псковской и Новгородской земель) от собственно восточнославянских диалектов — в частности, в сфере лексики — и были впоследствии в значительной мере стерты общерусскими конвергенционными процессами [Зализняк 1988а, 1988б; Николаев 1988]. Отражения реликтовых особенностей этих диалектов и генетически связанных с ними северно-великорусских говоров обнаруживаются во всем огромном регионе новгородской и севернорусской (или преимущественно севернорусской) колонизации Севера и Крайнего Севера. Возможности этимологического выявления подобных реликтов еще, по-видимому, далеко не исчерпаны.

1. ПФ *kurkku* 'горло' (фин. *kurkku*, вепс. эст. *kurk*, лив. *kuŗķ* и др.) фонетически безупречно возводится к слав. **kъrkъ* (= **kŭrkŭ*) 'шея, горло', что делает излишними конкурирующие скандинавскую и финно-угорскую этимологии этого слова; см. [SKES]. Основным контраргументом для исследователей, не принимающих этой достаточно старой этимологии (Миккола, Калима, Плёгер), служит, очевидно, отсутствие предполагаемого славянского источника в русском языке. В южно- и западнославянских языках оно, однако, хорошо известно (схрв. диал. *kŕk* 'шея; горло, гортань', чешск. *krk* 'шея', словин. *kark* 'шея' и др.). Предположение о существовании его в древненовгородском хорошо согласуется с другими данными о характерных для этого диалекта лексических изоглоссах юго-западной ориентации. Прибалтийско-финские данные позволяют квалифицировать слав. **kъrkъ* как вероятную и-основу (ср. [Николаев, Хелимский 1990]).

2. Не получило этимологического объяснения коми ижем. *ватлан* 'ведро, железное ведро' [КЭСК]. Отправную точку для этимологии дает др.-рус. *вать* 'ведро' (Берында, со ссылкой на него Срезн.). Этот лексический раритет германского происхождения (ср. др.-сканд. *fat*, ср.-н.-нем. *vat* 'сосуд, бак', откуда и эст. *vaat* 'бочка, кадка') не является, однако, староукраинизмом: уже в первой из най-

* Впервые опубликовано в: Русский язык и языки народов Крайнего Севера: Проблемы описания контактных явлений. Л., 1991. С. 89–90.

денных в Новгороде берестяных грамот засвидетельствован диминутив *ватыць* (как мера сыпучих тел): «4 вацц (= ватыцц) солоду» [НГБ 1977–1983: 221, 268]. Коми *ватлан* есть все основания рассматривать как дериват от несохранившегося (как и в русском языке) корневого **ват*. Деривационная схема прозрачна, хотя и гипотетична: от **ват* на коми почве образуется глагол типа **ватлы-ны* с возможными значениями ‘пользоваться ведром/носить в ведре/использовать в качестве ведра’ (ср. *радлы-ны* ‘радоваться’ от заимствованного *рад* ‘радость, радостный’), а от **ватлы-ны* — имя орудия действия *ватлан* с типичным суффиксом *-ан* (ср. *вартан* ‘цеп’ от *варт-ны* ‘молотить’). Деривационный круг обеспечил совпадающую семантику **ват* и *ватлан*.

3. Сельк. (Таз) *qat* ‘(Кастрен) холст, полотно, платок; (соврем.) полог’ широко представлено в селькупских диалектах непосредственно, а также в составе словосложений *qatəp ri*, *qawəp ri*, *qaiip ri*, *qatpi* (‘холст, полотно, платок, тряпка’) и *qatəl' porqə*, *qal'porqə*, *qaj'porqə* (‘рубашка, платье’). Ср. др.-новг. хамь ‘полотно’ [НГБ 1977–1983: 303], откуда *хамовник* ‘ткач’ (с существенно более широким распространением и длительным сохранением) и ряд других дериватов [ЭСРЯ, sub *хамовник*]. Вероятно, селькупское слово восходит к проникшим в Сибирь севернорусским говорам, в которых сохранялось слово *хам* ‘полотно’; (вероятно, из др.-сканд. *hamr* ‘одежда, завеса’, ср.-н.-нем. *ham* ‘покрыв, завеса, покрывка’). Субституция рус. *х* — сельк. *q* представлена и в другом раннем заимствовании, сельк. (Таз) *səqir* ‘сахар’.

В
тойчи
желез
бирск
особе
Предс
сибир
этого
ления
русск

Хо
больс
1853
дарст
бильн
раны
верны
АО),
однак

На
морск
Тайм
Сибир
задол
ния (с
типа
монга
емых.

От
этно-
и тог
посре
падно

В
зисы м

ФАКТОР МАНГАЗЕЙСКОГО МОРСКОГО ХОДА В ЭТНОНИМИИ И ТОПОНИМИИ*

В нашем обыденном географическом сознании путь в Сибирь довольно устойчиво связывается с маршрутом, по которому была проложена Транссибирская железная дорога, а районы с севера от нее — в особенности низовья великих сибирских рек, сибирская тундра, арктическое побережье — воспринимаются как особенно удаленные в сравнении с пунктами вдоль этого основного маршрута. Представляется, что некоторые проблемы, которые возникают при рассмотрении сибирского этно- и топонимического материала, как и неточности в трактовке этого материала, связаны с тем, что соответствующие географические представления нуждаются в поправке на реальную историю первичного ознакомления русских — а через них и Европы в целом — с территорией Сибири.

Хорошо известно, что вышеуказанный основной путь в Сибирь (через Тобольск или Тюмень) стал доступен лишь после экспедиции Ермака (1582–1853 гг.); пределы ставших известными (и включенными в состав Русского государства) территорий в течение последующих 70 лет постепенно и довольно стабильными темпами расширились на восток до Тихого океана. Существенно раньше (по крайней мере уже в XIII в.) был прочно освоен несколько более северный путь в Югорскую землю (западная часть нынешнего Ханты-Мансийского АО), а сама эта земля включена в состав новгородских владений; судя по всему, однако, этот путь не вел дальше Нижнего Приобья и Северного Прииртышья.

Намного более широкую географическую перспективу открывал, однако, морской путь от Поморья к п-ову Ямал, Тазовской губе, низовьям Енисея и п-ову Таймыр — фактически наиболее короткий, хотя и чрезвычайно трудный путь в Сибирь. «Предок» Севморпути, Мангазейский морской ход был знаком поморам задолго до основания на р. Таз Мангазейского острога (1601) и до распространения (с XVI в.) коча как более приспособленного для арктического мореплавания типа суден. Ср. «люди самоедь зовомые Малгонзеи» (т. е. энцы-моггади, нен. *моузанси* — отсюда и название Мангазея) в «Сказании о человецех незнаемых...» (XV в.).

Отметим некоторые факты контактной (русской и сибирской аборигенной) этно- и топонимии, объяснимые с учетом фактора Мангазейского морского хода и того обстоятельства, что в течение XV–XVI вв. (а возможно, и раньше) роль посредников между Россией (Европой) и Сибирью принадлежала не столько западносибирским татарам или обским уграм, сколько северным самодийцам.

* Впервые опубликовано в: Славянские языки в зеркале неславянского окружения. Тезисы международной конференции. М., 1996. С. 74–76.

1. Этноним *самоед* имеет (или имел) в русском языковом обиходе два ареала распространения. На северо-востоке Европы и в Нижнем Приобье он применялся к ненцам. На Енисейском Севере этот же этноним обозначал энцев (самоедов мангазейских, карасинских, туруханских, хантайских) и нганасанов (самоедов пясинских, авамских), но не ненцев, известных в этих местах как *юраки*. Поскольку ненцы расселены сплошной широтной полосой в зоне тундры от Белого моря до Енисея, «обрыв» цепи употребления этнонима восточнее Нижней Оби и ее «восстановление» на Нижнем Енисее, но уже с иной этнической привязкой, может показаться парадоксальным. Но более внимательный взгляд на карту разрешает противоречие. По морскому ходу поморы проходили с п-ова Ямал непосредственно к р. Таз или на Енисей, т. е. в районы расселения энцев и нганасанов, которых они и отождествляли с *самоедами* Ямала; ненцы междуречья Оби и Енисея оставались при этом в стороне и впоследствии воспринимались как другой народ.

2. Названия русских в языках Сибири восходят главным образом к трем четко различающимся (хотя в конечном счете связанным по происхождению) источникам: (а) тюрк. *орус*, *урус* (> тюркские языки юга Сибири, бур. *ород*); (б) коми *роч* (> манс. *русь*, хант. *руть*, сельк. *рушь*); (в) др.-нен. *луотса* (> нен. *лууца*, эн. *люотя*, эвенк. *лууца* и близкие формы в других тунгусских языках вплоть до маньчж. *лоча*, якут. *нуучча* и др.). Их дистрибуция соотносится с тремя названными выше путями проникновения в Сибирь; с точки зрения охвата территории доминирует форма ненецкого происхождения.

Кроме того, широко представлены обозначения русских, связанные со словом *казак*. Особое место занимает кетск. *сирэ* 'русский' — не результат метатезы (так у Г. К. Вернера), а отражение этнонима *зырян(ин)*, ср. роль коми-зырян (ижемцев) как проводников русских отрядов в Сибири.

3. Этноним *тунгус*, для которого неоднократно предпринимались попытки обосновать тюркскую (в связи с тюрк. *тоңгуз* 'свинья'), эвенкийскую или якутскую этимологию, попал в русский и европейские языки из нен. *тыңгос*, *тыңгус* 'эвенки (мн. ч.)', см. подробно: [Helimski, Janhunen 1990].

4. Топоним *Енисей* показателен тем, что отражает не обычное для языков Южной и Средней Сибири название этой реки типа *Кем*, а др.-нен. *Енэсий* (совр. *Ензя-ям*) 'Енисей', см. относительно происхождения данного топонима [Хелимский 1991]. Примечательна «встреча» в начале XVII в. топонимов *Енисей* и *Кем*, которые в течение некоторого времени использовались в документах параллельно и не идентифицировались друг с другом; более позднее «северное» название смогло вытеснить «южного» конкурента.

Сре
хожде
времен
монто
за сче
ником
восло
виде *

Не
мое ж
дов об
М. Хи
'мамо
земли:

Не
источ
мысли
tāt 'м
манси

Ис
ānt (С
ное зн
адъек
māmō
IX: 24
VI: 58
η → *m*

Не
засвид
и диа
форм
после
монто

Е
гии. М
12 — 18

ROSSICA: ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ*

1. Мамонт

Среди многочисленных и весьма разнообразных попыток установить происхождение этого слова (отчасти см. [ЭСРЯ II: 556] с литературой) последняя по времени оказалась наиболее удачной. Отметив, что до завоевания Сибири мамонтовая кость и сведения о мамонтах должны были поступать в первую очередь за счет контактов русских с обскими уграми, М. Хини предположил, что источником слова *мамонт* является обско-угорское (мансийское или хантыйское) словосложение с буквальным значением 'земля-рог', которое он реконструирует в виде **māmoŋt-/mēmōŋt-/māmoŋt-/mēmōŋt-* [Heaney 1976].

Несомненно, что слово мамонт первоначально обозначало не само ископаемое животное, а мамонтовую кость — бивни, которые традиция северных народов обычно трактует как «рога» мамонта. Это обстоятельство, как и гипотеза М. Хини в целом, подтверждается данными ненецкого языка, ср. нен. *ja' xora* 'мамонт' (букв. «самец земли, бык земли»), *ja' hāmd* 'клык мамонта' (букв. «рог земли»); см. [Lehtisalo 1956: 87; Терещенко 1965: 820].

Некоторых уточнений требует только восстанавливаемая форма слова-источника. Предполагавшийся М. Хини первый компонент *mām/mēm* вряд ли мыслим с точки зрения мансийского или хантыйского словообразования (манс. *mām* 'народ' представляет собой стяжение из *māxum* [Munkácsi, Kálmán 1986: 294]), мансийское слово со значением 'рог' указано неверно (*oŋtə* вместо *āñt*, *ānt*, *oñt*).

Исходное словосложение в диалектах мансийского языка могло иметь вид *māñ-āñt* (Сосьва), *mēñ-oñt* (Пелым), *māñ-ont* (Верхотурье), *māñ-āñt* (Тавда) и буквальное значение 'земляной рог', ср. праманс. **mē* 'земля', **mēñ* 'земляной' (где *-ñ* — адъективный суффикс), **ēñt* 'рог'. Передача этих диалектных форм через русск. *мамонт* (мамонтова кость, 1578 г., и *рогъ мамонтовъ*, 1609 г., см. [СлРЯ XI–XVII IX: 24]), *мамáнт*, *мамант* (в словарях конца XVIII и начала XIX вв., см. [ССРЛЯ VI: 584]); *maimanto* (у Ричарда Джемса, где *ai=e*) вполне закономерна: субституции *ñ → m* могло способствовать ассимилирующее влияние начального согласного.

Непосредственно это словосложение в современных мансийских диалектах не засвидетельствовано (следует учесть, что многие западные диалекты, в том числе и диалект Верхотурья, исчезли в течение XVIII–XIX вв.). Однако весьма сходные формы из северного (сосьвинского) диалекта содержатся в двух вышедших уже после опубликования работы М. Хини мансийских словарях: *māxarāñt* 'мамонтовая кость' (от *māxar* 'почва, поверхность земли' и *āñt* 'рог') [Kannisto 1982:

* Впервые опубликовано в: Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990. С. 30–42.

188]; *mā-χār* 'мамонт' (от *mā* 'земля' и *χār* 'самец, бык', ср. нен. *ja'χora*), *mā-χār-āñt* 'бивень мамонта, мамонтовая кость' [Munkácsi, Kálmán 1986: 82, 43, 289].

2. Тайга

М. Рясänen [Räsänen 1950: 131] указывает в качестве источника слова *тайга* следующие сибирско-тюркские формы: тел. леб. шор. саг. койб. кюэр. *taiya* 'скалистые горы (так называют безлесные горы к западу от р. Катунь; противоположность: горы, покрытые лесом к востоку от Катунь, черновой лес, чернь = жыш)', алт. *taiqa* ([Радлов 1893–1911 III/1: 767]; см. также [Ramstedt 1949: 247]). Это объяснение повторяет и М. Фасмер [ЭСРЯ IV: 11], см. также [ЭСРЯ I: 482] о сибирск. (Даль) *дайгá* 'горы в верховьях рек'.

Более точным в семантическом и историко-географическом отношении является, на наш взгляд, сравнение рус. *тайгá* со словом *taiga* 'sylva/лес' в диалекте (языке) томских (чулымских) татар, которое содержится в составленном около 1735 г. рукописном словнике Г. Ф. Миллера (РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 513, д. 22, л. 1; то же в составе сводного словника тюркских диалектов Сибири: ОР ГПБ, ф. 7 — Ф. П. Аделунг, № 102, л. 105 об.). Зафиксированное Г. Ф. Миллером слово доказывает, что семантическое изменение 'скалистые безлесные горы' → 'лес, тайга' осуществилось еще на тюркской почве, а не в русском языке. Показательно, что в сводном словнике чулымское *taiga* выступает как эквивалент слова *jisch* у 'чацких татар' (близки современным эуштинцам в Томском Приобье), в то время как у Радлова *taiya* и *juš* даются в качестве взаимно противопоставленных географических терминов в хакасских и алтайских диалектах. Одновременно данные Г. Ф. Миллера позволяют считать наиболее вероятным ареалом первичного проникновения слова *тайгá* в русский язык Причулымье. Любопытно — и, по-видимому, не случайно — что и первая известная фиксация слова тайга в русском литературном языке (по данным картотеки Словаря русского языка XVIII в.) связана с этим же ареалом: «До села Боготольского 29 вер. Дорога идет полями, еланями и березняками, тайги остаются вниз по Чулыму» [Радищев 1952: 273].

В публикациях Н. А. Баскакова по современным северным диалектам алтайского языка отмечено слово *тайга* 'гора, покрытая лесом; тайга' в диалектах лебединцев и черневых татар [Баскаков 1966: 152, 1985: 200]. Учитывая расхождение в значениях с данными В. Радлова, можно заподозрить, что эти диалектные алтайские формы скорее испытали влияние со стороны рус. *тайгá*, нежели явились непосредственным источником русского слова.

Поскольку этимологическое тождество тюрк. *taiya*, *taiqa* 'скалистые горы' и чулым. *taiga* 'лес' не вызывает сомнений, сохраняет свою силу гипотеза М. Рясänen о заимствовании тюркского прототипа из монг. **tajika* (~ тюрк. *day*, *taγ* 'гора', якут. *tya* 'лес').

3. Трусы

В русском переводе словарь М. Фасмера [ЭСРЯ IV: 110] дополнен короткой статьей: «*трусý* мн. Заимств. из англ. *trousers* 'брюки'; см. Ушаков». Согласно «Краткому этимологическому словарю русского языка», непосредственным за-

имствованием из англ. *trousers* является *трусики*, которое «оформлено по типу уменьшительных существительных с суф. -ик», тогда как *трусы* — «собственно русское» и «возникло в результате усложнения основы в заимствованном *трусики*» [Шанский и др. 1961: 341–342]. См. еще то же объяснение у В. М. Аристовой [1978: 55].

Очевидно, авторам этих интерпретаций осталось неизвестным франц. уст. *trousses* (мн. ч.) ‘короткие шаровары’ («Chausses que portaient autrefois les pages, et que portaient aussi les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit... Les trousses, espèce de haut-de-chausse court et relevé, qui ne descendait qu'à la moitié des cuisses, et que l'on couvrait d'une demi-jupe» [Littré 1968 IV: 6510], которое, несомненно, и явилось источником рус. *трусы*. Определенная сложность сопряжена с тем, что франц. *trousses* уже в XIX в. превратилось в историзм, тогда как слова *трусы*, *трусики*, по данным [ССРЛЯ IV: 1055–1056, 1061], не встречаются в русском литературном языке ранее первой трети нашего столетия. Вероятно, впрочем, что эти слова бытовали в русском языке в качестве интимно-разговорного эквивалента слова *панталоны* существенно раньше (возможно, с конца XVIII в.), но употребление их оставалось столь же скрытым, как и использование самого денотата.

Франц. *trousses* ‘короткие шаровары’, условно включаемое во французских словарях в одну статью с полисемичным *trousse* ‘связка, узел, пакет; ящик, сумка с набором инструментов; вид плотно облегающей куртки и т. д.’, появляется как обозначение вида штанов только в XVII в. (словарь Miège’a, 1677, см. [Robert 1985 IX: 534]) и представляет собой не собственно французский семантический дериват, а заимствование из англ. (ныне также ист., уст.) *trouse* [trūz, trouz], *truss* [tras] ‘close-fitting breeches or drawers, covering the buttocks and tops of the thighs’. В английском языке эти слова известны со второй половины XVI в. и восходят в конечном счете к кельтскому названию (коротких) штанов — др.-ирл., гэльск. *triubhas*, совр. ирл. *triús* [OED XI: 408, 429–430]. Производным от *trouse* является и англ. *trousers* ‘брюки’, ошибочно указывавшееся в качестве источника рассмотренного русского слова.

4. Шалопай

В русских словарях слово *шалопáй*, *шелопáй* отмечается с середины прошлого века в формах *шалопáй*, *шелопáй* [ССРЛЯ XVI: 1248]. Известны попытки объяснить его из франц. *chenapan* ‘негодяй, хулиган’, из нем. *Schlüffel* ‘шалопай’, из тюркских форм типа тат. *šalbak* ‘дурак’, узб. *šalpan* ‘человек с обвислыми ушами’, *šalpak* ‘ленивый’, а также связать с рус. *шалить*, *шалый* или *холопáй* ‘батрак, слуга’ (см. [Шанский и др. 1961: 378] и [ЭСРЯ IV: 400], где существующие этимологии признаются неудовлетворительными).

Думается, что источник слова *шалопай* можно видеть в группе монгольских и тюркских образований оноματοпечического характера, которые в конечном счете связаны, вероятно, с упоминавшимися *šalbak*, *šalpan*, *šalpak*, но лучше объясняют фонетику и семантику русского слова. Особенно существенно тув. *чалгаанай* ‘лодырь, лентяй’ [Тенишев 1968: 513] (дериват от *чалгаа* ‘лень, ленивый’; о суффиксе -най см. [Исхаков, Пальмбах 1961: 173]). В тюркских языках с меной *ç* на *š* и с тенденцией к упрощению группы *ly* в *l* (такими языками являются казахский

[Рясянен 1955: 156–157; 201], а также каракалпакский и ногайский) соответствующее слово могло бы звучать *шалайпай, *шалапай. Непосредственно подобные формы нам неизвестны, но ср. казах. *šala* 'недоделанный, недоконченный, кое-как', *šalayai* 'неисполнительный, недоделывающий до конца' [Радлов 1893–1911 IV/1: 961]; в современных словарях находим казах. *шалагай* 'верхогляд (не доводящий дело до конца; относящийся к работе поверхностно)', калп. *шалагай* 'верхогляд', *шала-пула* 'кое-как, наспех, наскоро', ног. *шалагай* 'не доводящий дела до конца'. Далее ср. др.-тюрк. *čalaŋ bulaŋ* 'что-либо незначительное, совершенно несущественное' [ДТС: 137]¹, п.-монг. *čalayai*, *čaliyai* 'небрежный, неисполнительный; небрежность, неисполнительность' [Lessing 1973: 162], бур. *шала-* 'томиться от бездействия', *шали-* 'болтать вздор; бузить, задиаться, хулиганить', *шалиг* или *шалиг шальпаа* 'болтливый; пустой, вздорный, легкомысленный; задиристый, хулиганистый', *шальпадха* 'недотепистый'.

Диал. *шалопут*, *шелопут* 'шалопай' вряд ли может быть возведено к какому-либо особому тюркско-монгольскому прототипу. Скорее всего, это сложение из *шалый* и *путь* (как и предполагают [ЭСРЯ IV: 400; Шанский и др. 1961: 376]), «катализированное» тюркским заимствованием *шалопай*.

5–10. Наракуй, нармота, пелей, писяга, пуденица, сян

Объединение этих шести диалектных слов в одной этимологической заметке оправдано постольку, поскольку: а) все они известны из «Словаря областного архангельского наречия» А. Подвысоцкого (СПб., 1885); б) все они квалифицируются в словаре М. Фасмера [ЭСРЯ III: 43, 44, 228, 268, 410, 827] как неясные или темные; в) все они без затруднений объясняются как заимствования из ненецкого языка.

Наракуй (мезенск.) 'наст, застывшая ледяная корка'. Ср. нен. *narako* 'весенний наст' [Lehtisalo 1956: 283]. Ненецкое слово — диминутив к *nara* 'наст; время наста, весна до ледохода', ПС **nârâ* то же [SW: 98].

Нармота (печорск.) 'вид гаги *Somateria spectabilis*'. Ср. нен. (Сейда, Обдорск) *närmeŋi* 'птица, обитающая на побережье Ледовитого океана', (Сёмжа) *närmaŋi* 'гага' [Lehtisalo 1956: 281], *нарматы* 'гагара-гребенушка', *яв' нарматы* 'гага' [Терещенко 1965: 285]. Орнитоним образован от нен. *närmeŋ* 'носовой хрящ, носовая раковина'.

Пелей (арх.) 'упряжный олень'. Ср. нен. *pelej* 'правый олень в упряжке; лубой олень, запряженный сбоку от передового' [Lehtisalo 1956: 376; Терещенко 1965: 456]. Ненецкое слово — дериват от *peŋa* 'половина, часть, сторона', ПС **peŋä* то же [SW: 120].

Писяга (кольск., пинежск., шенкурск.) 'одеяло на оленьем меху'. Ср. нен. *piŋ* (*piŋs-* в косвенных падежах и сложениях) покрывало из шкур или сукна для женских нарт' [Lehtisalo 1956: 382; Терещенко 1965: 472]. Экспрессивный суффикс *-яга* (ср. *сотняга*, *коняга*) выступает в данном случае в роли расширителя основы, как и в *коряга*. Не исключено, что слово было заимствовано еще до утраты

¹ От образований, подобных тюрк. *čalaŋ bulaŋ*, *шала-пула*, ведет, по-видимому, свое происхождение и русск. *шалый-валяй*, преобразованное по ассоциации с *шалить*, *валять*.

согласного *з* в номинативе основы, то есть из ст.-нен. *řisʔ* (ср. форму *řis* в некоторых говорах наречия лесных ненцев); впрочем, такое предположение не обязательно, поскольку нен. *řiʔ* и сейчас употребляется преимущественно в таких формах и сочетаниях, в которых оно имеет вид *řis-*. Ненецкое слово — исконное, ср. эн. (Т) *rieʔ(s)* с тем же значением, нган. *hiəʔ(d)* 'вид шубы из оленьего меха, сокуй'.

Пуденица (арх.) 'веревка для привязывания грузила на рыболовной сети'. Ср. нен. *pid* 'тетива невода' [Терещенко 1965: 483]. Суффиксальное оформление слова *пуденица* является, по-видимому, собственно русским. На исконность нен. *pid* указывает эн. (Т) *rido* с тем же значением.

Сян (арх.) 'поводок в оленьей упряжке'. Ср. нен. *šan* 'одна из двух плоских костяшек, скрепленных ремнем на узде оленьей упряжки' [Терещенко 1965: 600], 'костяшка недоуздка; недоуздок' [Lehtisalo 1956: 429]. Ненецкое слово восходит к ПСС **säntä*, ср. эн. (Т) *sedo* 'костяшка, скрепляющая узду на щеке оленя'.

12. Прошка

Совершенно излишней представляется попытка усмотреть в диал. (шенкурск., вятск., сиб.) *про́шка* 'нюхательный табак' преобразованное **про́чх* от *чихать* [ЭСРЯ III: 387]. Слово несомненно связано с польск. *proch* 'пыль, порошок, прах', *proszek* 'порошок'.

13. Рачёк

Трактовка диал. (яросл.) *рачѣк*, род. п. *рачка́* 'маленькая клеточка для певчей птицы' как деривата от *ра́ка* 'ящик', *ра́ковина* встречает морфологические трудности [ЭСРЯ III: 450].

Можно предположить, что перед нами — заимствование из венг. *rács* [rãč] 'решетка, решетчатая ограда', снабженное диминутивным суффиксом. Венгерское слово используется для обозначения разного рода решетчатых сооружений и устройств; о его этимологии (либо из ПФУ **račz* 'решетка, решетчатая ограда, решетчатое устройство для рыбной ловли', либо, возможно, из слав. **račь* 'рачий', если слово первоначально обозначало загородку для отлова раков) см. [Kniezsa 1974: 726–727; TESz III: 327; UEW: 418; MSzFE: 522].

В ярославские говоры заимствование могло проникнуть через жаргон офеней, вобравший в себя (главным образом благодаря контактам с разносчиками-словаками) некоторое число венгерских заимствований. Ср. происхождение таких диалектных слов, как воронежск. *хазина* 'постройка' (венг. *ház* 'дом', ср. также *хáза* 'дом, притон' в воровском аргю), костромск. *халѣть* 'умирать' (венг. *hal* 'умирать'); ср. попытку увидеть в диалектном слове мерянское субстратное наследи [Ткаченко 1985: 165–166].

ДВА ШИША: TURKIC *ŠİŞ*(IK) AND FENNIC *HİSI* IN RUSSIAN*

0. The etymological comments below refer to two homonyms, both richly attested in dialectal and colloquial, less so in contemporary standard Russian: *шuuu* I 'pointed / protruding / coneshaped object' (Даль: 'островерхая куча, ворох, насыпь, построй-ка; кукиш, фи́га, дуля; ничто, или ничего нет; островерхий шалаш, балаган или вежка, из составленных сахарной головой и покрытых соломой жердей; жерди шатром') and *шuuu* II 'devil, thief, robber, spy' (Даль: 'шалун, бродяга, шеромыга; вор; стар. лазутчик, соглядатай и переносчик; нечистый, сатана, бес; злой кики-мора или домовый, которого обычно поселяют в овине; оvinный домовый').

Another important lexical item, which cannot be left aside in this discussion, is Slavic **šišьka* 'cone (of conifers)' > Russ. *шuuшка* (also 'bump, swelling'), Ukr. *шuuшка*, Blr. *шuuшка*, SCr. *šiška*, Sln. *šiška*, Cz. *šiška* (cf. also *šišatý* 'cone-shaped'), Slk. *šiška*, Pol. *szyszka* (also *szysza*), Sorbian (Upper) *šiška*, (Lower) *šyška*.

1. Among these items, it is only *шuuu* I that hardly causes any serious etymological problems. The word is obviously borrowed into Russian from Turkic, where two groups of words with the same proto-form **šiš* (> **šiš*, **šiš*, **šiš*) are represented:

A. Middle Turkic *šiš*, *šiš*, *šiš*, *šiš* 'a spit, spike, fork', Osm. (also Crimean, Shor) *šiš* 'a spit', Qyrgyz *šiš* (also 'peg, prickly object, pin'), *čiš*, Khakas (Sagai, Koibal) *šiš*, Turkmen *čiš*, Kazan Tatar *šeš* 'central part in a hay-stack', (?) Karachai-Balkar *tiš* 'fork'. See [Clauson 1972: 856–857; Räsänen 1949: 175; VEW: 424] (M. Räsänen compares this Turkic word with Tungus *šile-wun* 'a spit' etc.).

B. Middle Turkic *šiš*, *šiš*, *šiš*, *šiš* 'swelling, boil', Osm. (also Tobol Tatar and Uzbek) *šiš*, Shor *šiš* ~ *šiš*, Khakas *šiš*, Karakalpak *is*, Turkmen *čiš*, Kazan Tatar *šeš*, Bashkir *šeš* (also 'cone (of conifers)'). The homonymous correlative verb **šiš-* 'to swell' is attested even more abundantly (e.g. also as Baraba Tatar and Teleut *tiš*, Yakut *is-*). See [Clauson 1972: 857; Räsänen 1949: 175–176; VEW: 424; Joki 1952: 300–301] (M. Räsänen sees a counterpart of this stem in Mongolian *šil* 'glass', while A. J. Joki suggests a more realistic comparison with Mongolian *selküre-*, *selgüre-* 'to swell').

Russian *шuuu* I is treated as a borrowing from either the Turkic forms under B ([Горяев 1896: 423]; [ЭСРЯ IV: 444], with doubts raised by *шuuu* II and *шuuшка*, see below) or from those under A [Черных 1993 II: 414]. It seems that the basic meaning of Russian *шuuu* I — 'pointed, cone-shaped object' — combines the meanings which are present, at least marginally, in both groups (A: 'prickly object' in Qyrgyz,

* Впервые опубликовано в: *Studia Etymologica Cracoviensia*. 1997. 2. P. 151–157.

B: 'cone' in Bashkir). Their contamination in Russian is just as probable as the same process which could have occurred in a Turkic idiom. Besides, one can hardly exclude that these two Turkic stems (which are traditionally treated as homonyms in Turkology and are even provided with different Altaic parallels) have, after all, the same origin. If so, then the original meaning 'pointed / protruding / cone-shaped object' could have alternatively developed into either 'peg, spit' or 'protuberance, swelling'.

2. The word *шuu* II 'devil, thief, robber, spy' is characteristic of the dialects of the Russian North. Its first attestation (Richard James, 1618) stems from the Arkhangelsk district: *shish* 'a rogue of the woods' (see [Ларин 1959: 65]). This fact makes the idea of a Fennic (or Finno-Ugric) source natural and attractive.

Still, numerous attempts to find such source proved to be unsatisfying (see their sceptical enumeration in [ЭСРЯ IV: 444–445]). Estonian *sisś*, *tsisś* 'robber, spy', Finnish *sissi*, Komi *šiš* 'rogue, vagabond' are themselves Russian loans — as well as Lapp *šiešš*, Lettish *sisis* and Polish *szysz* 'partisan, robber', borrowed during the Polish intervention of the Smutnoe Vremja, when the word *шuu* II must have spread far beyond its original dialectal area; see [Brückner 1927: 562; Ларин 1977: 102–103; Шилов 1996: 72].

It is equally impossible to accept B. A. Larin's [1977: 105] etymological version, according to which *шuu* II is a genuine Eastern Slavic item, derived from a non-attested **шухъ* (the other would-be traces of **шухъ* — dialectal and argotic *шухоботь*, *шухворость* 'riff-raff, rabble' — are derived from *хобот*, *хворост* with the expressive prefix *шu-*, like *шuверзуть* from *-верзуть*, *шuворот* from *вóрот*, *шuгалдун* from *галдѣть* etc.; see [ЭСРЯ IV: 436, 444]).

Both Max Vasmer and B. A. Larin left unnoticed the comparison of *шuu* II with Finnish *hiisi* 'devil (forest devil, water devil, evil spirit)', suggested by J. K. Grot as early as in 1852 ('as a mere guess') («только в виде догадки») and without any comment (see [Грот 1899: 448]). The derivation from Finnish and Karelian *hiisi*, Olonets *hiisi* (with *шu-* instead of *x-* due to regressive assimilation) is cautiously accepted also in [Черных 1993 II: 414].

This derivation (the author must admit that he came to the same etymology of *шuu* II independently, but later discovered that the priority should be given to J. K. Grot) is absolutely plausible. The substitutions of Fennic **i* with Russian *u* and of **si* (> *-ši* in Olonets) with *-шь* > *-ш* (in a masculine noun) are regular. The substitution of initial **h-* (**x-*) with *шu-* may at first glance remind either of the change of **š* into **h* in Fennic (in the 1st mill. B. C.) or of the first palatalization of velars in Slavic, when **xi* changed into **ši*. But the loanword can hardly be so old as to be affected by one of these early processes.

Nevertheless, if we assume that the borrowing occurred not (much) later than in the 14th century (and this dating is very likely), the substitution of **hī-* (**xī-*) with *шu-* can be explained by the phonetic and phonotactic properties of Old Russian. The phonetic sequence *xu* did not occur in it after the first palatalization of velars and before the change of *xy* (*кы*, *гы*) into *xu* (*ку*, *гу*). This latter development started in North Russian only in the 14th century — almost two centuries later than in South Russian [Зализняк 1995: 74]. The documents from the Dvina region show that here this change was not yet over even in the 15th century [Шахматов 1903: 82]. The consonant written as *ш* remained in the 14th century still palatal — *š* [Зализняк 1995: 74–75].

(Unlike other East Slavic dialects, the dialect of Novgorod was not affected by the so-called second palatalization of velars and had therefore *xu* < **xoi*, see [Зализняк 1986: 119]. Still, this phonetic sequence did not occur word-initially; besides, the absence of the second palatalization as a phonetic peculiarity of Old Novgorodian was not shared by all dialects of the Russian North.) Therefore the phonetic sequence *xu-*, being alien to Old Russian, could be replaced by the permissible and phonetically similar sequence *uu-*; there seems to be another example of the same substitution: *уи́ландать* 'to crumble, to crackle (of ice-floes)', *уи́льник* 'thin crust of ice in spring' ([ЭСРЯ IV: 438], without explanation) < Fennic, cf. Finn., Kar. *hile* 'thin ice, sludge ice', *hillo-* 'to crush, to crumble (vt)' ([SKES: 75; SSA I: 163–164]; a non-attested Kar. **hillVnda-* 'to crush, to crumble (vi)' could be the direct source of *уи́ландать*).

Finn. *hiisi* (gen. *hiiden*) has also the meanings 'place of heathen sacrifice, sacred forest' (which appears to be primary in regard of the meaning 'forest devil, devil') and 'thicket, dull remote place'. Besides Kar. and Olon., it has counterparts in Vot. (*iž* 'forest ridge'), Est. (*hiis* 'ancient sacred forest') and in Lapp (**sijtē* 'Lapp settlement' and/or **sējtē* 'place of sacrifice, sacrificial stone'), see [SKES: 74; UEW: 499–500]. Numerous attempts to find the source of this Fennic-Lapp lexical item in Germanic (see [Kylstra e. a.: 101–102; SSA I: 162]) resulted only in contradicting and unlikely explanations.

3. Being attested in most Slavic idioms, the word **šiška* 'cone' is usually treated as genuine (cf. [ЭСРЯ IV: 445]). However, as long as any obvious etymological counterparts beyond Slavic are lacking, several phonetically complicated (and therefore hardly reliable) constructions have been ingeniously built to prove its Indo-European origin.

According to one version, «Psl. *šiška* je útvar s intenzivní reduplikací: s litev. *skujà* t/v souhlasí, uznáme-li přemístění *k-j* > *j-k*, **ška* (ze **sjuka*); **ši-* a **ša-* musíme uznati za slabiky reduplikační, nutné proto, že rozsah slova **ška* (s pouhým jerem!) byl velmi malý» [Machek 1971: 610].

Yet another explanation says: «Допустимо видеть здесь и.-е. корень *(s)*keu-* — 'вместилище', 'хранилище' с перестановкой начальных *sk* > *ks* и с расширителем *-s-* (Рокоту I, 953) и рассматривать о.-с. **šiška* как произв. от **šiša* из более раннего **ksjū-s-j-a*, от корня **ksjū-* (> о.-с. **chji-* > **ši-*). Ср. (без начального *s*) греч. *kýstis* 'пузырь' [...], исл. *haus* (др.-исл. *hauss*) — 'голова, особенно у животных', 'черепа', шв. диал. *hös* — 'черепа', ст.-дат. *høs* 'голова'» [Черных 1993 II: 415]. (The critical enumeration of phonetic weakpoints in these versions can be safely omitted here.)

It seems therefore reasonable to return to the much more obvious Turkic parallels of **šiška*, disregarded by Max Vasmer (and others) because of the Common Slavic character of the word. In fact, some etymologists do accept the idea of Turkic origin — but only for Russ. *уи́шка* 'swelling, bump, boil', separating this word from *уи́шка* 'cone' and its Slavic counterparts and treating it as a derivative of *уи́и* I [Ларин 1977: 105; Черных 1993 II: 414–415].

But it needs to be taken into consideration that:

A. It is hardly possible to draw a demarcation line inside the continuum of meanings of Russ. *уи́шка*: the word denotes various kinds of jutting out, protruding objects (esp. with rounded, semicircular tops), like swellings, cops of yarn, cones of conifers,

knucklebones etc. (cf. Даль: *шйшкa* 'всякого рода отдельная или сростлая с чем-либо блона, гулька, волдырь, горбина, нарост, пухляк, желвь, желвак; шашка, бабка, козна, лодыжка игорная; рученька пряжи, початок, прѣстень, с веретеном; горн. стержень, на котором отливают пустотелые снаряды гранаты, бомбы; горн. молот, кулак, балда; горка, или верхушка горы [etc.]'). That kind of polysemy occurs in many languages; cf. for example the semantic spectrum of Germ. *Zapfen* ~ *Zapf* ~ *Zipfel*.

B. The meaning 'cone (of conifers)' is present also in Turkic, cf. above Bashkir *šeš*.

C. In addition to the words listed in connection with *шшш* I, the Turkic languages have a nominal derivative of the same stem: forms like *šššik* etc. (< **šššik* < **šššik*) with the basic meaning 'swelling, boil', cf. Koman *šššik*, Chagatai *šššuy*, Qyrgyz *šššik*, Nogai *šššik*, Shor and Baraba *šššik*, Kondoma Shor *šššik*, Khakas *šššig*, Oirot *šššik*, Tuva *žžžyk* etc. [Joki 1952: 301; VEWT: 424; Clauson 1972: 857]. Turkic **šššik* could have been borrowed, without any phonetic deformation, as Slavic **šššik*- and — after gender adaptation — **šššika*.

Judging from the spread of this word in Slavic and its mainly specialized (beyond East Slavic) semantics, it must probably belong to the earlier — still Common Slavic — layer of Turkic loans, while *шшш* I is a later and independent borrowing. Rare West Slavic forms like Pol. *szysza* may be either back formations from **šššika* (where -k- could be easily perceived as suffixal) or, less likely, reflections of other Turkic derivatives with the same stem.

4. It is equally probable that the Turkic source of **šššika* or a related derivative of **ššš(-)* > **ššš(-)* has been borrowed also into Hungarian to render Hung. *sisak* [šššak] 'helmet', a word which later found its way into many Slavic languages (Russ. Ukr. *шшшак*, SCr. Sln. *šššak*, Cz. Slk. *šššák*, Pol. *szyszak*). The Hungarian word is considered to be of unknown origin, though the idea of its Turkic source is not completely new [TESz III: 547–548]. The non-attestation of the meaning 'helmet' in Turkic can hardly be a serious obstacle to this etymology if only we accept that the Slavic word for 'cone (of conifers)' goes back to a Turkic source. The two meanings can be easily combined by a polysemic word, cf. Latin *cōnus* 'cone (of conifers); conical apex of a helmet'.

5. It is only natural that in those Slavic languages, where several different «offsprings» of Turkic **ššš(-)* > **ššš(-)* (different from the viewpoint of the chronology and ways of their penetration into the given language) coexist, the etymological links between these offsprings are not completely obscured. This is certainly the case with *шшшкa* and *шшш* I (both denoting cone-shaped objects) in Russian: the etymologists were making strong, though hardly needed, efforts to resist the temptation of treating the first word as a derivative of the second one (this derivational relationship seems to be, after all, valid — but on Turkic, not on Slavic or Russian soil).

Vladimir Dal in his dictionary made a reference from *шшшак* 'helmet' (of Hungarian origin) to *шшш* I: a helmet can easily find its place among the different pointed objects denoted by *шшш* I.

Bulg. *шшшкo* 'fat man' is undoubtedly a direct, and relatively recent, Osman Turkish loan, cf. Osm. *šššqo* 'geschwollen, angeschwollen, einen dicken Bauch habend, dickbäuchig' (a derivative of *ššš-* 'to swell', on a line with *ššškin* 'geschwollen,

angeschwollen; aufgeblasen, stolz', *šišman* 'fettig, dick', etc.). But this Bulgarian word is erroneously mentioned in [Черных 1993 II: 414] among the reflexes of Slavic **šišbka* — a characteristic mistake in view of their very distant etymological connection (*шишко* < Osm. *šišqo* < Osm. *šiš-* < Turkic *šiš-* > Turkic *šišik* > **šišbka*).

6. Even *шшш* I and *шшш* II, being pure homonyms with completely different etymological backgrounds, did not avoid contamination. It is, for example, difficult to tell, which one of two homonyms occurs in colloquial (or even vulgar) Russian idiomatic expressions like *ни шшшá* 'nothing, not a bloody thing', *шшш тебе (вам)* 'you don't get anything, you get bugger all', (rare) *шшш с тобой (с вами)* 'O. K. and to hell with you, I've had it with you': among numerous possible equivalents of *шшш* in such expressions we find both *фиг* 'the thumb sticking out of the fist (insulting gesture)' (this is also one of the meanings of *шшш* I) and *чёрт* 'devil' (this is, on the contrary, the main meaning of *шшш* II). One must naturally keep in mind, that this specific list of contextual equivalents is centered around *хуй* 'penis' and includes its euphemistic replacements — several nouns all of which are masculine and monosyllabic. Cf. correspondingly *ни фигу́* / *ни черта́* / *ни хуя́*, *фиг* / *хуй тебе́ (вам)*, *чёрт* / *фиг* / *хуй с тобой́ (с вами)*, all with the idiomatic meanings given above.

The association between *шшш* I and *шшш* II may be even stronger. The following passage from an article by N. I. Tolstoj (first published in 1976) emphasises the connection between the devil's designation *шшш* and one of his possible outlooks — with head or hair being oblong and pointed, cone-shaped («вытянутый/торчащий шишом»). The passage suggests either the direct methonymic link between *шшш* I and *шшш* II or, which is much more probable, a kind of folk etymological association between the two words:

«Знакомый нам облик дьявольский с рогами, козлиной бородкой, довольно длинным хвостом, с козлиными ногами и копытами — это облик очень поздний и заимствованный, судя по всему, из Западной Европы. Более ранний облик, отчасти тоже книжный, зафиксированный в древнерусских миниатюрах XVII в. и особенно XVIII в., — антропоморфный. Это черт с вытянутой шишом головой (часто лысый) или с торчащими шишом длинными волосами, голый, часто с крыльями за спиной, с небольшим (куцом) хвостом и с гусиными пятками. С этим обликом, видимо, согласуются отдельные русские диалектные названия черта типа *шшш*, *шшшко*, *шшшга*, *луканько* (по форме головы), *беспятый*, *куций*, *куцак*, *куца́н*, *корнахвостик*, *голенький*, *лысой*, *лысый бес* и др.» [Толстой 1995: 261].

Though the author does not refer here directly to any Russian folklore texts, there are good reasons to assume that the statements like **У шшша голова шшшом* ('The devil [шшш] has a cone-shaped [шшш-shaped] head') may have been wide-spread. By the way, another example from the same list of devil's names — *луканько* — seems to be derived from *лукáвый* 'Arch-enemy, [cunning] devil' (< *лукá* 'bend, curve, arch'), but associated, due to folk etymology, also with *лук* 'onion' ('onion-shaped' ≈ 'cone-shaped'). The same connection arose also between *чёрт* 'devil' and *чёрный* 'black'; the second word serves in the Russian folk demonology as an euphemistic substitute of the first one [Зеленин 1930: 90].

спр
мн
В.
ти
ко
ми
ча
В
зн
ск
му
ру
на
яв

и
С.
вы
ск
зр
на
зо
гис
ци

лог
ко
эти
лам
жи
вер
сел
< с
ини

СЕЛЬКУПСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКИХ ДИАЛЕКТАХ*

Статья опирается на материал «Словаря русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» (далее — Сл, Д — дополнения к Сл) — итога многолетней полевой работы томских диалектологов-русистов во главе с В. В. Палагиной и О. И. Блиновой. Работа велась в Томской обл. и северной части Кемеровской обл., т. е. на территории, немалая часть которой до появления в конце XVI — начале XVII вв. первых русских поселенцев была занята селькупами. На севере ее, в пределах бывшего Нарымского края, обские селькупы и сейчас живут по соседству с русскими, хотя и сильно уступают им по численности. В более южных районах — как и во многих местностях Нарымского Приобья — значительные группы селькупов были ассимилированы, став одним из этнических компонентов русского «старожильческого» населения. Естественно поэтому, что собранная в Сл диалектная лексика отразила результаты селькупско-русского языкового контактирования. В этом отношении Сл является не только наиболее богатым, но и вообще практически единственным источником для выявления селькупских заимствований в русском языке¹.

Этимологическое исследование иноязычных (преимущественно селькупских и тюркских) элементов в русских говорах Среднего Приобья было начато С. И. Ольгович, участницей томских диалектологических экспедиций, еще до выхода в свет первого тома Сл (1963, 1964, 1965). Селькупские этимологии русских диалектных слов у С. И. Ольгович — в большинстве своем, с нашей точки зрения, совершенно правильные — устанавливаются преимущественно с опорой на неопубликованные словарные материалы селькупских экспедиций А. П. Дульзона ([Дульзон 1962], цит. здесь по [Ольгович 1963]), реже с привлечением других источников. Однако лишь после введения в научный оборот всего экспедиционного диалектологического материала и с использованием ряда новых или

* Впервые опубликовано в: СФУ. 1983. XIX/3. С. 202–216.

¹ Более ранних диалектологических данных по Среднему Приобью почти нет. Этимологический словарь М. Фасмера, включающий значительную часть собранной и опубликованной до 50-х годов диалектной лексики, предлагает всего две собственно селькупские этимологии русских слов, причем обе вызывают сильные сомнения (см. ниже). За пределами Среднего Приобья, в районах расселения северных селькупов, постоянного (старожильческого) русского населения очень мало; по наблюдениям автора, едва ли не единственным селькупским заимствованием, прочно вошедшим в речь русских жителей Красноселькупского р-на Тюменской обл., является *чопса* 'изжаренная на рожне (вертеле) рыба' < сельк. Таз *čəpsj* 'рожень' [ОчСЯ: 130] с метонимическим изменением значения при заимствовании.

дополнительных селькупских источников можно получить более или менее полный перечень слов, проникших в русские говоры из селькупского языка.

В данной статье даются селькупские этимологии 63 русских диалектных основ с рядом вариантов и дериватов (свыше половины из них в работах С. И. Ольгович не рассматривались). Примерно в 45 случаях селькупское происхождение достоверно документируется, в остальных его можно признать вероятным — полной доказательности препятствует неполнота доступных нам сведений о лексике селькупских говоров. В связи с этим нужно отметить, что исследование селькупских заимствований интересно не только в плане этимологизации русской диалектной лексики и оценки роли селькупского субстрата и адстрата в формировании говоров Среднего Приобья. Материал такого исследования может, несмотря на ограниченность объема, служить дополнительным (а порой и единственным) источником сведений о лексическом составе и фонетических особенностях селькупских диалектов и основанием для реконструкции утраченных или незасвидетельствованных диалектных вариантов, дериватов, словосложений. Немаловажно и то обстоятельство, что среди рассматриваемых ниже заимствований преобладает терминологическая лексика, которая отражена в имеющихся селькупских источниках относительно слабо и не всегда адекватно. Мы не останавливаемся на закономерностях фонетико-морфологической адаптации селькупских заимствований (в целом достаточно тривиальных) и на их тематической группировке; соответствующим вопросам посвящены специальные разделы диссертации С. И. Ольгович [1963].

Следуя результатам исключительно удачного диалектологического исследования Т. Янурика, мы разграничиваем три основные группы селькупских диалектов — северную (в Приобье не представлена), центральную и южную. В отдельных случаях для объяснения фонетического облика заимствований целесообразно особо выделять в центральной говору Нарыма (с васюганскими и парабельскими), а в южной — говоры Тогура (сближающиеся с центральной группой) и Кети. Подробнее см. [Janurik 1978], а также [Katz 1979a] (с диалектологической характеристикой имеющихся селькупских источников). Как показывает материал, русские диалектные слова (локализованные по районам) хорошо отражают фонетические особенности соответствующих территориально селькупских говоров, хотя следует, конечно, считаться и с диффузией заимствований. Соответствие между современным административным делением и диалектным членением селькупского языка следующее: Каргасокский р-н (Карг.) — центр.-сельк. (в том числе Нарым); Парабельский р-н (Пар.) — центр.-сельк. (Нарым) и частично южносельк. (Тогура); Колпашевский р-н (Колп.) — южносельк. (в том числе Тогура); Верхнекетский р-н (В.-Кет.) — южносельк. (Кеть).

Кривошеинский (Крив.) и Молчановский (Мол.) р-ны находятся в основном вне пределов современной селькупской языковой территории, но в прошлом здесь жили чулымские и верхнеобские селькупы (южная группа диалектов); впрочем, часть заимствований могла проникнуть не непосредственно из селькупского языка, а из русских говоров соседнего Колпашевского р-на. Эпизодически слова селькупского происхождения зафиксированы также на крайнем юге Томского Приобья — в Томском (Том.) и Шегарском (Шег.) р-нах, в Тегульдетском р-не (Тег.) в Причулымье, а также в примыкающих к Томской обл. северных районах Кемеровской обл. — Мариинском (Мар.) и Яшкинском (Яшк.).

В приводимых этимологиях использована дифференцированная система помет для реконструированных/незасвидетельствованных форм: * ставится перед общеселькупскими праформами²; фонологическая интерпретация (синхронно-фонологическая реконструкция) форм, известных по фонетическим, не всегда достаточно точным записям, снабжается °, который фактически эквивалентен косым скобкам фонематической транскрипции (иногда праселькупская реконструкция и синхронно-фонологическое представление идентичны и выбор между * и ° произволен); °° ставится перед незасвидетельствованными источниками рассматриваемых заимствований — например, перед потенциально возможными дериватами от известных основ или словосочетаниями из известных компонентов, а также перед диалектными формами, реконструированными на основе данных других диалектов.

1. *Абармо* (Пар.) 'мясо убитой или павшей скотины, употребляемое как приманка для зверей' [Сл 1: 15] < сельк. Тым *awarmo* 'plunder, booty' ([Szabó 1967]; значение, возможно, дано в неточном переводе), СтС *awarmo* 'приманка' [Дульзон 1962: 884]. Дериват от **awar-* (**amər-*) 'есть, кушать' [CL: 9]. Ср. [Ольгович 1963: 103–104].

2. *Акка* (Колп. Пар.) 'устье' [Сл Д1: 15]. Единственный в словаре пример («Там два уся, акки называется вот почему...») позволяет усомниться в правильности толкования. Адекватный перевод слова находим в другом источнике: *акка* (север Томской обл.) 'старое русло реки, протока, рукав реки' [Воробьева 1973: 155–156]. Из центр.-сельк. °*āqqā*, ср. Парабель Тым Васюган *akko* 'старица; речка, которую с обеих сторон закидало; длинное, большое озеро' [Беккер 1970а: 172]. Подробнее см. 4.

3. *Альфа* (Пар.) 'часть ловушки клепцов — колодка, кладущаяся поперек тропы', пояснение информанта: «Вот это — веретено заламывается, колодка кладется поперек тропы: альфа, по-остяцки что ли» [Сл 1: 17]. Из центр.-сельк. °°*ālpo*. Эта форма реконструируется на основе сев.-сельк. Таз *ālpo* 'поперечная планка для сидения в нарте' (МЭ); семантическая близость обоих технических терминов очевидна. Вероятно, из сложения **āl* (адъективная форма к **āḡ* 'рот, устье, открытая часть, проем', см. [CL: 12]) и **po* 'дерево' [CL: 74].

4. *Анга* (В.-Кет. Колп. Крив.) 'рукав реки, старое русло реки, протока', *за́нга* (В.-Кет.) 'место за протокой' [Сл 1: 18; 2: 17] < южносельк. °*āḡqo* [-ḡq-], ср. *a-ḡqo*, *a-ḡgi* 'старица', *aḡgi* 'курья' [Дульзон 1962 VII: 137, VIII: 876]. Вместе с центр.-сельк. °*āqqā* (см. 2) и сев.-сельк. Таз *āqqi* 'удлиненное проточное озеро, старица' [ОчСЯ: 61] восходит к общесельк. **āḡqo*, междиалектные соответствия регулярны. Обращает на себя внимание распределение форм *āḡga* и *ākka* в русских говорах в соответствии с селькупской диалектной изоглоссой (*ḡq/qq* < **ḡq*).

² Хотя эксплицитного описания праселькупской фонетической реконструкции не существует, восстановление исходного облика селькупских слов — особенно при одновременном наличии северно-, центрально- и южноселькупских данных — в большинстве случаев не представляет особых проблем. Принципы, на которых автор статьи основывает свои реконструкции, в целом те же, что и в работах Х. Катца (см. особенно [Katz 1977]) и Т. Янурика, отдельные отличия — в частности, реконструкция ауслатных лабиализованных гласных, сохранившихся только в южноселькупском — не имеют решающего значения.

Ср. [Ольгович 1963: 104–105]; в другой работе С. И. Ольгович, однако, объясняет диал. *анга* ‘часть реки, в которой рыба задыхается’ (? — Е. Х.) из сельк. *анг* ‘рот, устье’, предлагая (со ссылкой на данные экспедиций А. П. Дульзона) совершенно фантастическую интерпретацию: «В местном селькупском наречии обнаружено образное объединение этих двух значений, а именно “река-рот” (т. е., если перевести более пространно, — река, пожирающая рыбу)» [Ольгович 1964: 31].

5. *Ант(а)* (Колп.) ‘вид лодки’ [Сл Д1: 16] < сельк. *°antə*, ср. МО *and* ‘Boot’ [СЛ: 9], Таз *anti* ‘долбленая лодка, обласок, челнок’ [Erdélyi 1969: 22]. Вероятно, не более чем окказиональное заимствование, поскольку для обозначения данного вида лодок в Приобье широко распространен термин *обласок*.

6. *Атарма* (В.-Кет. Карг. Колп. Крив. Мол. Пар. Шер.) ‘рыбозаградительное сооружение, состоящее из деревянной стенки и ловушки-мешка, вид запора’, прил. *атарменный* (Пар.), *атармочный* (Пар.) [Сл 1: 19–20, Д1: 17] < сельк. *°atərmə*, ср. *adarmo* ‘атарма’ [Hajdú 1952a: 155], Таз *atirno* ‘место, где производится весенний промысел рыбы’ [Erdélyi 1969: 26]. Очевидно, дериват от несохранившегося **atə-* ‘смотреть’ (запоры «смотреть», т. е. проверяют наличие рыбы), ср. *°atə-* ‘виднеться’ [СЛ: 10]. Ср. [Ольгович 1963: 105–107].

7. *Ибальджа* (Крив. Пар.), *ибальджá* (Колп. Пар.), *ибэчка* (Мол.), *ивойка* (Мол.) ‘часть черкана (ловушки на мелкого зверя), колышек, удерживающий стрелку во взведенном состоянии’, уменьш. *ибальджушка* (Пар.) [Сл 2: 54, Д1: 173]. Вероятный источник — южносельк. *°ipaj*, с притяжательным суффиксом 3 л. ед. ч. *°°ipalčə* [ibalčə] — ожидаемое соответствие сев.-сельк. Таз *ipai* ‘деталь ружейного затвора, прижимающая капсуль с гильзой’ (МЭ)³. Данное слово — дериват от глагола *ipa-* ‘давить’ (ср. N *éragi* ‘drücken’, см. [СЛ: 20]), его использование применительно к огнестрельному оружию является несомненно поздним, вторичным. С. И. Ольгович [1963: 107–108] указывает в качестве селькупского источника *ē-bi, je-bi, jēbi, jēbe, ēbi* ‘насторожка у черкана’ [Дульзон 1962 V: 476–477, VIII: 878–879, 886–887, IX: 105] — формы, которые во всяком случае более далеки от *ибальджа* и т. п., нежели реконструированная выше (хотя скорее всего того же происхождения). На давний характер заимствования указывает употребление специфических форм (с адаптационным суффиксом *-ка*) в Молчановском р-не, т. е. на прежней этнической территории чумских селькупов.

8. *Казара* (Пар.) ‘птица кедровка’ [Сл 2: 66] < сельк. *°qāsəra* [-zə-], ср. Tas Kar. *kaasera* ‘Nusshäher’ [СЛ: 32], *qāsirä* ‘кедровка’ [Erdélyi 1969: 63], *kāz’ra* ([Дульзон 1962 IV: 438] и др.). Случайна паронимия с рус. *казáра, казárка* ‘малый дикий гусь’. Ср. [Ольгович 1963: 108–109, 1964: 30].

9. *Кальджа* (В.-Кет. Колп. Пар.) ‘низина, низменное заболоченное место, обычно у берега реки’ [Сл 2: 67–68]. Ср. ойконимы *Кальджа, Кальджа Мысовая, Кальджа Трехустная* (Колпашевский р-н). Из сельк. *°kālčə* [-č-], ср. NP *kāldš* ‘eine niedrige, feuchte, schlammreiche Stelle’ [СЛ: 42], СтС *kalčə*, НС *kalčə* ‘топкое кочковатое место’ [Дульзон 1962 VIII: 876], Таз *qāliti* ‘клин тундры’ (МЭ). Наряду с коттским *kalšu* ‘mit Gestrüpp bewachsenes Flussufer’ (сопоставле-

³ К соответствию сев.-сельк. *-ñ* : южносельк. *-j* ср. В Tas Kar. *kāpənj* : NP *kapai* ‘заплата’ [СЛ: 28]. К морфонологическому правилу *jt → lč* ср. *квалычи* [Григоровский 1879: 30] = *квай* ‘река’ + посесс. суфф. 3 л. ед. ч. *-лэ*.

ние см. [Gombocz 1902: 193]), восходит к тунгусо-маньчжурскому источнику (орок. *χālčj* 'высохшее болото', нан. *χalō* кур.-урмийск. 'болото, низина, марь'). Рус. *kálmjс* (арх., сиб.) 'не слишком вязкое болото', ошибочно объясняемое как прямое заимствование из сельк. **kālčə* [ЭСРЯ II: 170], может быть связано с этими географическими терминами опосредованно. Ср. [Ольгович 1963: 109–110].

10. *Канák* (Пар.) 'сухое возвышенное место' [Сл Д1: 186]. Вероятно, из центр.-сельк. *°qanək* — ожидаемого (хотя, насколько нам известно, не зафиксированного) соответствия сев.-сельк. *Tas kánang, káneng*, Карг. *kánang* 'Rand, Strand' [CL: 28], *qanik, qanij* 'край, берег' [Erdélyi 1969: 61]. Заимствовано из хант. *VVj kānəŋ* 'Ufer, Saum, Rand' [MSzFE: 262], связанного с котск. *hanəŋ* 'Ufer' и пумпокольск. *kónnong* 'гора' [Хелимский 1982: № 69]. Центр.-сельк. *-k* < **-ŋ* закономерно [Hajdú 1968: 122].

11. *Кандék* (Крив. Мол. Пар.) 'тонкий лед' [Сл Д1: 188] < сельк. **qantək* [-nd-] или **qantäk* [-nd-], ср. *N kändək, kändək* 'Herbst' [CL: 30], *khande* 'наст' [Hajdú 1952a: 159], Таз *qantj* 'осенний наст' (МЭ). Ср. [Ольгович 1963: 111–112] (с проблематичной и к тому же необязательной реконструкцией исходного сельк. *канду кы* 'наст реки' или *канды кы* 'замерзшая река').

12. *Кандéнка* (Крив. Мол. Пар.) 'колышек для укрепления сети самолова и др. снарядов на льду', синоним — *приморóзка* [Сл 2: 68]. Непосредственный селькупский источник не засвидетельствован, но бесспорно связан с *N kándak*, МО К *NP kándang* 'ich erfror' [CL: 30], *qande-ptəgi* 'морозить, охлаждать' [Дульзон 1962 IV: 727, VI: 333]. Можно предположить адаптацию на русской почве словосочетания типа *°qantäptəpəl' pō* 'примороженная палка'. Приводимая Э. Г. Беккер [1965: 143] сельк. форма *qandepka* 'кандепка, колышек для укрепления сети самолова на льду' является, вероятно, обратным заимствованием. [Ольгович 1963: 113–116, 1965: 22]. С. И. Ольгович упоминает в связи с этим словом диал. *кандéчить* 'замораживать реку; покрываться тонким льдом', *закандéчить* [1963: 115, 236] и рассматривает их как отражение сельк. Ласк. *qandē-čki* 'мерзнуть' и т. п. [Дульзон 1962 VI: 217]. Однако эти глаголы (в Сл они по какой-то причине не вошли) гораздо естественнее считать образованными уже на русской почве от заимствованного *кандék* (см. 11) по продуктивной модели, ср. кулак — *кулачить* и т. д.

13. *Карамдэжу́шка* (Пар.) 'корзинка' [Сл Д1: 189]. Диминутив к *°карамдžá* (*°коромдžá*) < сельк. **korəčä* [-mž-], ср. *N koromdše, Tas koromdšä* 'Korb aus Birkenrinde' [CL: 45]. Ср. [Ольгович 1963: 116–117].

14. *Карамó* (В.-Кет. Карг. Колп. Пар.), *карамá* (В.-Кет. Колп. Крив. Мол.) 'землянка', уменьш. *карамíшко* (Пар. Тег.), *карамóшко* (Пар.), *караму́шка* (Колп. Мол. Пар.) [Сл. 2: 70, Д1: 189], ср. также уменьш. *каральму́шка* [Ольгович 1963: 119] < сельк. *karamō* 'землянка' [Hajdú 1952a: 160], *карамо* [Григорьевский 1884: 16]; *каральму́шка* может отражать форму типа *Tas kārā-ljmo* 'Erdrhütte' [CL: 40]. Ср. [Ольгович 1963: 117–120 (с сомнительной этимологизацией селькупского слова из *kora* 'песок'), 1964: 38, 1965: 23].

15. *Каргаи́ак* (Карг. Пар.), *каргаи́atina* (Пар.), *каргаи́атник* (В.-Кет. Пар. Том.) 'мелкий хвойный лес (преимущественно сосняк) на болоте' [Сл 2: 70–71]. Согласно С. И. Ольгович [1963: 155–156], тюркского происхождения — от *karɣaj* и т. п. 'сосна' с диминутивным суффиксом *-šak*. На наш взгляд, более вероятно происхождение из селькупского языка, где — в качестве тюркского заимст-
вова-

ния — представлено *kargaj*, *kargə* 'большой сосновый лес' [Дульзон 1962 V: 482, X: 649], *kargu* 'дерево малакит, тальник-fèle' [Hajdú 1952a: 160] (рус. диал. *молокита*, *молокитник* 'разновидность тальника, ивняка, ракитник' использовано в переводе как расширительное обозначение любой мелкой древесной растительности, в частности и сосняка). Суффикс *-šak* (*-šaj*, *-sak*, *-saŋ*) характерен для собирательных названий древесных массивов: *hulksaŋ* 'пихтовник' от *hulk* 'пихта', *šunksaŋ*, *šunšaŋ*, *šunqəšaŋ* 'ракитник', *tiđižaŋ* 'кедровник', *harkizəŋqin* 'в тальнике' [Кузьмина 1974: 214, 227, 228, 232, 250, 251], *pol-zək* 'erdö' [Hajdú 1952a: 176]. В пользу предлагаемого решения говорят распространение *каргаши́к* и т. п. преимущественно в северной, селькупской части Томской области⁴, наличие у слова собирательного, а не диминутивного значения; тюркская этимология ослабляется и тем обстоятельством, что общетюркский диминутивный суффикс **-čaq/*-čäk* (*-šaq/*-šek*, собственно говоря, — преимущественно казахская форма) представлен в диалекте томских татар в виде *-čaq/-čəq* [Рассадин 1978: 57; Тумашева 1968: 151].

16. *Кас* (Пар.) 'поплавок из коры, прикрепляемый к крючку самолота' [Сл Д1: 190]. Вероятно, сюда же (с метонимией на русскую почву?) *кáзы* (Карг.) 'указатели, метки на самолетах' и *каз* (Карг. Колп. Крив. Пар.) 'кол, брус, к которому прикрепляются различные ловушки на рыб' [Сл Д1: 186, 2: 65–66]. Из сельк. *°qāsə* [-z] ('кора' → 'поплавок из коры' → 'поплавок'), ср. NP B Tas Kar. *kaas* 'Baumrinde' [CL 32], Тогуз *qas*, *qaza*, Кеть *kās* 'поплавок' [Кузьмина 1974: 150, 231]. Ср. [Ольгович 1963: 120].

17. *Квэна* (Пар.) 'род мережи, сплетенный из грубой конопляной пряжи', пояснение информанта: «Квена — это саип. Он вяжется сто ячей: шесть сажень длины, два из них косятся. Кошенный саип, да и все» [Сл Д1: 193]. В пояснении подчеркнут такой отличительный признак *квены* по сравнению с обычным «саипом»⁵, как наличие боковых скосов. Это позволяет предположить селькупский источник, связанный с южно-сельк. *квент* 'с боку, в сторону' [Григоровский 1879: 30], *квен* 'набок, возле' [Григоровский 1879б: 22, 56]. Этимологическую трудность представляет то обстоятельство, что хорошо известная общеселькупская основа **qö* 'бок, сторона' [CL: 40–41] выступает в виде **q^we*, насколько нам известно, только в записях Н. П. Григоровского, происходящих из Костенкина на Нижней Чае (чередуюсь, впрочем, с *°q^wö* и *°qö*, ср., наряду с *квент*, также *квэнт* [Григоровский 1879: 41] и *кэнт* [Григоровский 1879: 37]). В других селькупских говорах лабиализованный согласный в анлауте отсутствует, ср. в частности форму с Парабели: *qöi* 'на бок' [Дульзон 1966: 101].

18. *Кэба* (Карг. Пар.) 'боковое крепление рамы чердака (снаряда для подледного лова рыбы)' [Сл 2: 76]. Может восходить к сельк. *°qöro* [-b] — сочетанию компонентов, соответствующих N *kö* 'Seite' [CL: 40] и N *po* 'Baum, Holz' [CL: 74].

19. *Коготка* (Карг.) 'длинная речка, пересыхающая местами; обычно богатая рыбой' [Сл Д1: 200]. Семантика и район распространения позволяют заподозрить селькупское происхождение; на это указывает и элемент *-ка*, отождествимый с

⁴ В русских говорах южной ее части в том же значении употребляются бесспорно тюркские по происхождению *каргыз*, *киргыз(ник)*, *киргизник*, *кыргызык* [Сл 2: 71, 79, 121].

⁵ *Saип* 'рыболовная сеть или мережа' <хант. *säip*, см. [Кальман 1951: 262; ЭСРЯ III: 545].

сельк. *kj/kj̄* 'речка' (ср. сельк. *kj̄* в виде *-ка* в многочисленных западносибирских гидронимах типа *Печалька*, *Толька*, *Чижанка*). В таком случае первую часть можно предположительно связать с сельк. **Kūs-* (*K = k* или *q*), ср. *K Tsch. OO kuuska* 'seicht' [CL: 48], Тым *kūzəra* 'laskee (alarajaan saakka)' (запись К. Доннера, цит. по [SW: 61]), Таз *qusiŋi-* 'убыть (о воде)' (МЭ). В нарымских говорах (Каргасокский р-н) **s > h ~ χ* [Janurik 1978: 95], краткие гласные верхнего подъема расширяются, вследствие чего **Kūs-* должно было принять вид *Koh-* (или, при исходной долготе, *Kūh-*). Это делает возможной условную реконструкцию источника рус. *кóготка* — центр.-сельк. Нарым. °*Kohət kj̄* 'речка с пересохшими местами', где первая часть словосочетания — генитив от °*Koh* (**Kusə*) — точного этимологического соответствия нен. *χās* 'отлив'.

Значительно менее вероятной представляется связь *кóготка* с *кагáн* (Крив. Мол. Шег.) 'небольшое озеро, высыхающее летом' [Сл 2: 65] — тюркским заимствованием, ср. телеут. *kaŋan* 'засуха, сушь', зуштинск. *kagan* 'заливной луг' [Ольгович 1963: 151–152].

20. *Кололózы* (Карг.) 'идолы, предметы поклонения': «Кололозы — это как черти, только пострашнее» [Сл Д1: 204]. Из словосочетания, вторая часть которого отождествляется с сельк. °*lōsə* 'черт' (см. 25). К первой части ср. неясное для нас сельк. *кава-лос* 'черт' [Пелих 1972: 116]; можно предполагать также источник типа °*kollal-lōsə* 'крылатый черт', ср. Кар. *kolà*, Тас *kollà* 'Flugel' [CL: 44].

21. *Куба* (В.-Кет. Карг. Колп. Пар.), *кубá* (Колп. Крив. Мол.) 'жердь у некоторых рыболовецких снарядов, служащая для их погружения в воду и подъема' [Сл 2: 110]. Может восходить к сельк. °*kūpo* [-b-] — сочетанию компонентов, соответствующих *N ku* 'funis' (Миллер), В Тас Кар. *kū* 'лямка' [CL: 46] и *N po* 'Baum, Holz' [CL: 74]; букв. 'ляточная палка; палка, за которую тянут'.

22. *Кул* (Пар.) 'стержень, проходящий вертикально через переднюю ось и подушку телеги, позволяющий оси вращаться при поворотах' [Сл 2: 113]. Возможно, из центр.-сельк. °*qūl* (*qūlə*), ср. зафиксированный в тазовском диалекте технический термин *qūlī* 'пряжка в оленьей упряжи (застежкой служит деревянный стерженек, вставляемый в отверстие); насторожка капкана'; заимствовано в кетский язык: *qul* 'Holz- od. Knochenstückchen im Loch des Bauchriemens am Renttiergeschirr od. in der Schlaufe Renttierlassos' [Donner 1955: 70], см. [Хелимский 1982в: № 36].

23. *Куравина* (Колп.), *кура́инка* (Колп.) 'часть запора: рыбозаградительная стенка': «Ето будем считать запором, вот ето место делатся куравина, друга. Ети толочки плетут, или проволока или корнём» [Сл Д1: 230]. Из пояснения явствует, что речь идет о плетеной части запора. Этот существенный момент позволяет объяснить термин из южносельк. °*kuraj*, ср. *kuráu* 'плетеный' [Григоровский 1879: 37]. Дериват от °*kurə-* 'плести', ср. МО *kūrau*, *kuráu* 'ich flocht (eine Reuse)' [CL: 47]. Субстантивация (с добавлением сингулятивного суффикса *-ина*) произошла, вероятно, уже на русской почве.

24. *Лисáн* (В.-Кет. Карг. Колп.), *ли́нсáн* (Карг. Пар.), *ли́нсáд* (Пар.), *ли́пцáн* (Пар.), *ли́пцáн* (Пар.), *ли́псáд* (Пар.) 'жердь или столб для установки рыболовного снаряда «чердака»' [Сл 2: 131, 192, Д1: 246, 247, 254]. С. И. Ольгович [1963: 121–122] указывает в качестве источника сельк. СтС *nessan*, НС *nassala* (мн. ч.) то же [Дульзон 1962 VII: 289, VIII: 880–887]. Из других источников это селькуп-

ское слово нам не известно, неясны и его этимологические связи⁶. Тем не менее, сам факт селькупского происхождения *lisán* и т. п. не вызывает сомнений: отчетливо опознается селькупский суффикс *nomina instrumenti* *-(p)sa (см. [ОчСЯ: 340–341]), очень показательно и сосуществование вариантов с -d центрально-селькупского происхождения и с -n преимущественно южноселькупского происхождения (о -n/-t см. [Hajdú 1968: 122]).

25. *Лóза* (Колп.) ‘идол, предмет поклонения’ [Сл 2: 133–134] < сельк. *°lōsā* [-z-], ср. МО *los* ‘Geist’ [CL: 54], *лоз* ‘черт, дух, бес, идол’ [Григоровский 1879: 38 и др.]. См. также 20.

26. *Лымба* (Карг. Пар.), *лунба* (Пар.) ‘трясина, лужа’ [Сл 2: 137, Д1: 253]; ср. также *лынпасичка* (Крив.) ‘вид лекарственного растения’ [Сл Д1: 254]. Из сельк. *lĩmba* ‘топкое место, трясина’ [Дульзон 1962 V: 478–479], Таз *lĩmpā* ‘зыбун, сырое место’ [Erdélyi 1969: 118]. Второй компонент слова *лынпасичка* происходит, возможно, из рус. диал. *сит, сить, ситá* ‘осока, камыш’ [ЭСРЯ III: 628]. Ср. [Ольгович 1963: 123–124, 1965: 23].

27. *Магай* (Крив. Мол. Пар. Том.) ‘разновидность орудия рыбной ловли — фитиля (т. е. вентеря. — Е. Х.) больших размеров’ [Сл 2: 139]. Согласно С. И. Ольгович [1963: 124], связано с сельк. *magaj* ‘ловушка для рыбы’ [Дульзон 1962 VIII: 886–887], см. также *могай* ‘фитиль — ловушка для рыбы (цилиндрический рукав)’ [Пелих 1972: 12]. Однако наличие селькупских данных еще не удостоверяет направление заимствования (особенно если учесть, что *магай* широко представлено на «неселькупском» юге Томской обл.); селькупское слово может быть русского происхождения или же вместе с *магай* восходить к третьему источнику (не является ли таковым, в конечном счете, монг. *moγai* ‘змея’, с переносным использованием в качестве названия «змеевидной» ловушки для рыбы?). Если селькупское слово все же исконно, можно предположить — хотя и затруднительно обосновать семантически — связь с южносельк. *°moqaj* [-g-] ‘спинной, задний’ (адъективная форма к N *mōga*, K *moḡka* ‘Rücken’, см. [CL: 58]).

28. *Мáдога* (В.-Кет.) ‘горизонтально закрепленная жердь, балка, которая служит остовом для стога с непросохшим сеном’ [Сл 2: 139] < южносельк. *°māḡako* [-dæg-]. Эта форма реконструируется на основе сев.-сельк. Таз *māḡiko* ‘один из шестов, служащих остовом чума’ (МЭ). Дериват от *māḡi* (**māḡi*) ‘чум’, вероятно, в сложении с рефлексом ПУ **wōle* ‘шест чума’ [Хелимский 1976а: 119]. Интересен перенос (на селькупской или уже на русской почве) наименования с чума на схожий с ним по форме стог.

29. *Мака́* (Пар.) ‘большая широкая кочка’, *магарок* (Карг.) ‘бугорок’ [Сл Д1: 256, 2: 139] < сельк. N *maká* ‘Rasenhügel’ [CL: 56], *мака* ‘курган’ [Hajdú 1952a: 164], Таз *макка* ‘бугор с лесом’ [ОчСЯ: 64]; *магарок* — явно результат контаминации *мака* и *бугорок*.

30. *Мáрамджа* (Карг.) ‘котец — плетенная из прутьев рыбозаградительная стенка с узким горлом’ [Сл 2: 141] < сельк. *°māramčā* [-mž-], ср. Tas *maarndšeng* ‘котец’ [CL: 58], *maarendžet* [Hajdú 1952a: 165], *maromžā* [Дульзон 1962 IX: 107]. Ср. [Ольгович 1963: 126, 1965: 23–24].

⁶ Согласно С. И. Ольгович, от *nip, nep* ‘багор’ [Дульзон 1962 VIII: 988] под влиянием *lep* ‘доска’ [Дульзон 1962 X: 353] и *lepša:žambādi* ‘приплюснутый’ [Дульзон 1962 V: 91].

31. *Mámut* (Колп. Пар.), *mádar* (Пар.), *máder* (Пар.) 'колья, забиваемые в дно водоема и составляющие основу запорной рамы' [Сл 2: 139, 144] < сельк. °*matər*, ср. Таз *matir* 'кол в запоре' (МЭ), *madər* [Дульзон 1962 IX: 118]. Общего происхождения с нен. О Sj *mad'ər* 'Stütze', S Nj *mačär* 'Pfahl im Wehr' [Lehtisalo 1956: 249]. Ср. [Ольгович 1963: 124–126].

32. *Муч* (Карг.), *муча* (В.-Кет.), *мыч* (Пар.) 'изгиб реки' [Сл Д1: 276, 277, 2: 162] < сельк. °*mūč*, ср. В Tas Kar. *muuč* 'волок, Ziehplatz der Boote (auf den Krümmungen des Flusses)' [CL: 60], *муч* 'извилина реки' [Григоровский 1884: 14].

33. *Мыга* (Пар.) 'рыболовный снаряд, состоящий из вентера и рыбозаградительного сооружения' [Сл 2: 162]. Распространение и значение делают его селькупское происхождение весьма вероятным. Возможно, речь идет о переносном употреблении сельк. °*mika* [-g-] 'игла' (см. [CL: 60]) в применении к рыболовному снаряду вытянутой, заостренной формы.

34. *Пáгальджи* (В.-Кет. Колп. Крив. Пар.) 'голенища; обувь с голенищами' [Сл Д2: 63]. Согласно С. И. Ольгович [1963: 126–127], из *paqi-l*, *pagi-l* 'голенища' [Дульзон 1962 VIII: 888–889]. Эти селькупские формы следует, по-видимому, интерпретировать как центр.-сельк. °*paq-īl* (**paŋqə-īlə*), ср. N *pāk*, *paχ*, MO K *pang*, Tas *paχ*, *paχχ* 'a 'Schaft (an Messer, Axt)' [CL: 72], *пангы* 'голенища' [Пелих 1972: 43], *paqqi* 'рукоятка, ручка, топорище' [Erdélyi 1969: 174]⁷ и N K *il*, OO Tas Kar. *īl* 'Boden, das Untere' [CL: 19], *īlī* 'низ, дно' [Erdélyi 1969: 51]. Чтобы объяснить -джи в *пáгальджи*, естественнее всего предположить, что наряду с **paq-īl* существовало и °*paq-īlš* (**paŋqə-īlčə*) 'голенище-подошва', где второй компонент этимологически связан с **īlə* и отражен в N *toban-ildšet* 'unteres Fussblatt' [CL: 110], *īlti* 'подошва, подножие' [Erdélyi 1969: 52].

35. *Пáнги* мн. ч. (В.-Кет.) 'род мягкой обуви с голенищами' [Сл Д2: 65] < юж.-носельк. °*paŋqə* [-ŋg-] 'голенище' (см. 34).

36. *Пáря* (В.-Кет.) 'глубокое рыбное место в реке': «Пáря бывает на речках, где пошире, там течения такого нет, вроде омут; на паре там уже глубоко, там на паре рыба стоит» [Сл 3: 10] < сельк. °*pōrā*. Зафиксировано у М. А. Кастрена как N *pēärē*, В Tas *puoreä* 'der Grosse Bär' [CL: 74], но исходным несомненно является 'омут, место без течения', ср. Таз *pōrā* 'омут, заводь' и *qışqāl* *pōrā* 'Большая Медведица, букв. звездная заводь' [ОчСЯ: 63]. Вероятнее всего, *пáря* < *паря* (нормальное отражение сельк. *pōrā* в условиях аканья), однако рус. а может быть и специфическим отражением дифтонгоидного рефлекса *о (только в позиции после р-, см. [Katz 1979a: 168]) в верхнекетских говорах селькупского языка (N *pēärē*).

37. *Печенól* (Карг.), *печенóк* (Карг. Пар.), *печенóльник* (Пар.), *починól* (Карг.) 'веревка, связывающая все детали рыболовного снаряда чердака' [Сл 3: 18, Д2: 117]. Не вызывает сомнения, что источник — селькупское словосочетание, первый компонент которого стоит в генитиве (показатель -н), а второй — центр.-сельк. °*ol* (**olə*) 'голова, верхняя часть' [CL: 14]. Но за отсутствием соответствующих селькупских данных мы не рискуем восстанавливать точный фонетический облик и этимологию первого компонента.

⁷ Полисемия сельк. **paŋqə* ('рукоятка' ~ 'голенище') тривиальна, ср. нем. *Schaft* то же.

38. *Пода* (В.-Кет. Карг. Колп. Крив. Мол. Пар. Мар.) 'прорубь для установки снарядов подледного лова рыбы' [Сл 3: 28] < сельк. *°pōta* [-d-], ср. N *pód, pōd*, МО К *pood* 'Wuhne, Loch im Eise für den Fischfang' [Сл: 75]. Ср. [Ольгович 1963: 129–130, 1965: 24].

39. *Поджа* (Карг. Пар.), *позя* (Пар.), *пónса* (Карг. Пар.), *пónьджа* (Пар.) 'большое решето в деревянной четырехугольной раме для сушки кедровых орехов (реже рыбы)' [Сл 3: 32, Д2: 98, 106].

Предложенное С. П. Ольгович [1963: 130–131, 1965: 25] объяснение *поджа* как результата контаминации сельк. *pōžagi, pōžigi* 'греть' [Дульзон 1962 IX: 531, X: 493] и сельк. *риža, riža* 'ядро ореха' [Дульзон 1962 VI: 439, X: 462] представляется фантастическим. Территория распространения и фонетика русского диалектизма действительно позволяют с высокой вероятностью оценивать его как селькупское заимствование, однако обнаружить селькупский источник нам не удалось. Правда, у Г. И. Пелих [1972: 31] имеется сельк. *поджа* 'берестяная куженька с невысокими краями', но здесь можно заподозрить искаженное написание сельк. *°pača*, ср. Тым *padža* 'korb, korb aus birkenrinde, gefäss' [Donner 1920: 70], *padža* 'кузенка (т. е. куженька. — Е. Х.)' [Hajdú 1952a: 168], *pata* 'коробичка' [Erdélyi 1969: 179]; сомнительно, чтобы *поджа* (с вариантами) могло восходить к этому слову. Колебания между -дж-, -з- и -нс-, -ньдж- в русских диалектных формах могут отражать сосуществование альтернатив у селькупского слова-источника — ср. -нč-/č- в N *čenčak*, К *seencang*, МО *čeečang*, *čeečang* 'говору' [CL: 104].

40. *Поза* (В.-Кет.) 'белка-летяга' [Сл 3: 41] < южносельк. *°pōša* [-z-] (общесельк. **pōša*), ср. N *pōšsi* (Миллер), Тым *pōš* [Donner 1920: 162], Таз *pōšš* (МЭ).

41. *Покальбó* (Карг. Пар.) 'колышек, к которому прикрепляются рыболовные снасти', *покальпó* (Колп. Пар.) 'то же, что ибальджа — часть черкана (ловушки на мелкого зверя), колышек, удерживающий стрелку во взведенном состоянии' [Сл 3: 43] < центр.-сельк. **poqqal' pō* букв. 'неводная палка' (сложение из адъективной формы общесельк. **poŋqa* 'невод, сеть' и **po* 'дерево, палка', см., напр. [CL: 74]). Использование технического термина в качестве названия детали черкана, видимо, вторично. Ср. [Ольгович 1963: 131–132] (в качестве селькупского источника допускается также сложение из *pōka* 'палочка' и *pō* 'палка').

42. *Поканák* (Пар.), *подканák* (В.-Кет. Карг. Пар.), *подканát* (В.-Кет.) 'толстая веревка для загрузки и подъема чердачного мешка' [Сл 3: 33, 44]. Колебания в облике русских диалектных слов имеют скорее контаминационную, чем чисто фонетическую природу, и затрудняют установление селькупского источника. Таковым могло быть словосочетание или дериват на базе глагольной основы **pot-* 'помещать в воду', ср. *потку* 'ставить сеть' [Григоровский 1879: 31], *pot-* 'сложить (что-либо в котел), напр. мясо, чай (в чайник)' [Erdélyi 1969: 193]. Не исключена, однако, и связь с центр.-сельк. **poq* (**poŋqa*, см. [CL: 74]) 'невод, сеть', которую предполагает С. И. Ольгович [1963: 132–133]. Контаминационные воздействия могли исходить со стороны рус. *под-* (приставка), *канат*, а также *пода* 'прорубь' (см. 38).

43. *Поньжа*, *пónьджа* (В.-Кет. Карг. Колп. Крив. Мол. Пар.), *пónжа*, *пónьджа*, *панжá* (В.-Кет.) 'болото на безлесном месте; высохшее место на болоте' [Сл 3: 52, Д2: 65, 106, 242] < сельк. **pončá* [-ŋž-], ср. *ponž* 'moog, fen' [Szabó 1967], *ponža* 'чистое болото, свободное от древесной растительности' [Беккер 1971: 108]. Ср. [Ольгович 1963: 133–134].

44. зуемая
109]. Е
таться
fisch' [
простр
кому
турном
ние Ю
ват от
воист
чжурс
эвен.
порсу
Ср. [С
нию).

45. пыдь
наряд
75], р
вый' (

46. рыбол
дачно
(Крив
'брев
прикр
руиру
'голо
ясным
нечно
рус. б
1880–

47. [Сл Д
ванно
[Григ
вмест
puril
как Т
знача

48. умен
139],
вычер
гола
schöpr

44. *Порс* (В.-Кет.), *пóрса* (В.-Кет. Карг. Колп. Пар.) 'сушеная рыба, используемая для приманки зверя в капканах; мука из сушеной рыбы' [Сл 3: 57, Д2: 109]. Если форма *порс* представлена только в Томском Приобье и может считаться селькупским заимствованием, — ср. сельк. Тым. *pors* 'trocken gemahlener fisch' [Donner 1920: 95], Таз *porsj* 'мука из сушеной рыбы' (МЭ), — то более распространенная форма *пóрса* с равной вероятностью может восходить и к ненецкому или хантыйскому источнику; подробнее о *пóрса* как миграционном культурном термине в языках Сибири см. [Janhunen 1977a]. Этимологическое решение Ю. Янхунена, реконструирующего ПС **porsâ* и объясняющего его как дериват от **por-* 'есть', встречает определенные трудности; не исключено, что первоисточник культурного термина все же не самодийский, а тунгусо-маньчжурский, ср. ПТМ **puro-* 'крошить, толочь', дериватами которого являются эвен. *horča-* 'крошить, мясо (для сушки), раскладывать рыбу (для сушки на порсу — рыбную муку)', *horča* 'мясо (мелко нарезанное сушеное или вяленое)'. Ср. [Ольгович 1963: 134–136] (без разграничения *порс* и *пóрса* по происхождению).

45. *Пуджа, пуджá, пудьжа, пудьжá, пудзьá, пужжа, пузя, пыджа, пыдьжа, пыдьжá* (Пар.) 'мягкий снег' [Сл 3: 92, 95, Д2: 140] < сельк. **piča* [-ž-] (вероятно, наряду с **puta*), ср. К *pisai, putcai, NP putčai, N podal, pudal* 'ruhig, weich' [CL: 75], *pižal yər* 'мягкий снег' [Дульзон 1962 IX], Таз *puta* 'мягкий, рыхлый, пуховый' (МЭ). Ср. [Ольгович 1963: 136–137].

46. *Пурнóл* (Колп. Карг. Пар.), *пурнóла* (Пар.), *пурнóва* (Пар.) 'составная часть рыболовного орудия чердака, бревно, сжимающее своими концами столбы чердачной рамы' [Сл 3: 93]. Сюда же, видимо, относится искаженная форма *пырлó* (Крив.) 'жердь для укрепления чердака' [Сл Д2: 143] и, возможно, *бурло* (Мол.) 'бревно, укрепленное с помощью проволоки и якоря на середине реки; к нему прикрепляют перемет' [Сл Д1: 47]. Как и в случае с *печенóл* и т. п. (37), реконструируется исходное селькупское словосочетание типа *°pürən ol(ə)* с **olə* 'голова, верхняя часть' [CL: 14] в качестве второго компонента, но остаются неясными фонетический облик и этимология первого. Слово *бурло*, если оно в конечном счете восходит к этому же селькупскому источнику, испытало влияние рус. *бурлитъ*, диал. (сев.) *бурло* 'первый, большой колокол на колокольне' [Даль 1880–1882 I: 144].

47. *Пурьльга* (Карг.) 'небольшая речка на заливном лугу, похожая на озеро' [Сл Д2: 141] < сельк. *°purəl kī*. Ближайшим аналогом этому незасвидетельствованному словосочетанию является *пурултó* (*°purəl tō*) 'безысточное озеро' [Григоровский 1879: 34], отличающееся только вторым компонентом (*tō* 'озеро' вместо *kī* 'речка'). Ср. также Тогур *purulža* 'заводь' [Кузьмина 1974: 213], Таз *puril'ta* 'водоворот' [ОчСЯ: 63]. Вероятно, дериваты от основы, представленной как Таз *pur* 'unfruchtbar' [CL: 76]: все приведенные географические термины обозначают круговое, бессточное, «безрезультатное» движение воды.

48. *Салтафán, салтуфán* (Карг. Пар.) 'сачок для вычерпывания рыбы', уменьш. *салтафánчик* (Пар.) [Сл 3: 120]. Согласно С. И. Ольгович [1963: 138–139], из сельк. *saldafat* 'черпак для рыбы' [Дульзон 1962 II], *hō-tofat* 'черпак для вычерпывания рыбы и льда из проруби' [Дульзон 1962 V: 342], деривата от глагола 'черпать' (N *huonnap, Ob soogonnau, soogannau, MO NP soottang* 'ich schöpfe', см. [CL: 85]). Известно и другое образование с тем же значением от то-

го же глагольного корня: Тогур *sotsa* (**sōtsa*) 'сачок' [Кузьмина 1974: 231]. Цитируемые С. И. Ольгович селькупские формы неархаичны (при этом первая, очевидно, является обратным заимствованием рус. *салтафан*); вероятный источник следует реконструировать в виде **sōqəltəpsan* (от **sōqəltə-*, с упоминавшимся в 24 суффиксом *-*psan*), откуда со стяжением *sōltəpsan* и, с характерным для нарымских говоров развитием *ps* > *f*, — *sōltəfan*; отметим, что две другие фонетические особенности нарымских говоров — *s* > *h*- и *n* > *t* — в заимствовании не отражены (что небезынтересно с точки зрения датировки соответствующих фонетических процессов).

49. *Сырга* (Карг. Пар.) 'ромашка?': «Сырга, это от живота ее пьют, это ромашка» [Сл Д2: 217] < сельк. **sirqa*, ср. Таз *sirqi* 'трава, цветок (особенно иван-чай и другие растения, используемые для заварки и в виде настоев)' (МЭ). Несмотря на отсутствие прямых данных, наличие заимствования в русских говорах доказывает, что слово известно не только северно-, но и центральноселькупскому диалекту.

50. *Таур* (В.-Кет. Карг. Колп. Пар.), *таур* (В.-Кет.) 'плетеная из прутьев рыбозаградительная стенка с узким горлом, котец' [Сл 3: 181, Д2: 219] < сельк. *таур* 'котец' [Григоровский 1879: 37], *таур* [Пелих 1972: 10]. Ср. [Ольгович 1963: 139].

51. *Тесан* (В.-Кет. Колп.) 'болото, поросшее хвойным лесом' [Сл 3: 182]. Можно предположить селькупский источник в виде южносельк. (Кеть) ^{оо}*tesan* 'сосняк', ср. с одной стороны, NP *tjve* 'Fichte' ([CL: 101]; в южноселькупских говорах на Оби — формы с анлаутным *k*^в:- ОО *kye* и, с другой, суффикс -*šak*, -*šan* (южносельк. -*šan*) в собирательных названиях древесных массивов (см. 15).

52. *Толомок* (В.-Кет.), *толомок* (В.-Кет. Колп.) 'тонкий, обычно ивовый прут, используемый для плетения верши', собир. *толом* (В.-Кет. Колп.), *толомья* (В.-Кет.), уменьш. *толомочек* (В.-Кет. Колп.), *толомочек* (Колп.) [Сл 3: 184–185] < сельк. ^о*toləŋ*, ср. Таз *tolij* 'прут (для плетения запора)' (МЭ), *толам* 'жердь котца, вбиваемая в дно реки' ([Пелих 1972: 11]; запись фонетически безупречна).

53. *Туп* (Колп.) 'навар из березовой коры': «Кожу в туп. Под берестом кора есть така, ее заваривают, чтобы крепость была. Выгонят из ее сырье» [Сл Д2: 232]. Если считать — на это как будто указывает пояснение — что существенным признаком *туна* является способность придавать коже крепость, то естественно искать его источник в сельк. **tūp*-, ср. N *tū-bek* 'zäh, hart, твердо', *tūba wač* 'zähes Fleisch' [CL: 111], Таз *tūpil* 'крепкий, грубый, жесткий' (МЭ). За отсутствием других данных неясно, имелось ли в селькупском соответствующее субстантивное образование (дериваты которого — процитированные адъективные и адвербиальные формы) или же субстантивация сопутствовала метонимии, происшедшей уже на русской почве.

54. *Чакка* (Пар.) 'колышек как составная часть некоторых рыболовных снарядов', уменьш. *чаккочка* (Пар.) [Сл 3: 219]. Вероятно, из центральноселькупского слова, соответствующего сев.-сельк. Таз *čakka*, *čokka* 'развилка, палка с развилкой на конце' (МЭ). Сюда же, возможно, относится Тогур *tāqi poq* 'кривда, снасть для ловли шук' [Кузьмина 1974: 228].

55. *Чвор* (В.-Кет. Карг. Крив. Пар.), *чвора* (Карг.) 'рукав реки, окружающий часть суши и соединяющийся с рекой и протокой; озеро с истоком', уменьш. *чворышка* (Карг.) [Сл 3: 221–222, Д2: 263] < сельк. *čvor*, *čvöri* 'чвор' [Hajdú 1952a:

157], 139–140.

56. рыболов-
робный
прижи-
142]. С
ные сл
(ожида-
шим с
чума,
во, па-
гольни
Ориен-
произи-
и т. п.

57. Д2: 26
209],

58. рыбы
не —
мне н
незаск
(генит
заимс
и позн
диале

59. иувал
(*šonj
В Кар
шанни
[Hajdú
ском
вполн
окруж
нации
IV: 37
С тюр
1902:

60. ке' [С
перев
инфор
ченго

157], Тогур *tīwēr* [Кузьмина 1974: 216]. Ср. [Steinitz 1961: 601; Ольгович 1963: 139–142].

56. *Чыньджа, чыньжа, чыньза, чёньжа* (Пар.), *чёньжа* (Крив.) ‘часть замка рыболовного снаряда чердака’ [Сл 3: 225, 230]. С. И. Ольгович дает более подробное описание этой детали: ‘деревянный брус (бревно) до 7 м длиной, которое прижимает на льду оба пурнола (части чердака), скрепляя их со льдом’ [1963: 142]. Согласно С. И. Ольгович (там же), из сельк. *čanže* ‘широкий’ (°čānčā, данные см. [CL: 102]). Такое объяснение крайне затруднительно как фонетически (ожидали бы *чаньджа* и т. п.), так и семантически. В действительности ближайшим селькупским соответствием является сев.-сельк. Таз *čęnarо* ‘внешняя жердь чума, придавливающая нюки’ (МЭ) — дериват (с суффиксоидом *-ро* < *pō* ‘дерево, палка’) от глагола *čęntj-* ‘придавить (так, чтобы не сдуло ветром)’; этот глагольный корень известен и обским говорам: МО *tjinnau* ‘ich drücke’ [CL: 100]. Ориентируясь на данные русских говоров и на сев.-сельк. *čęnarо*, можно воспроизвести °čęnča/čįnča [-nč-] — непосредственный источник *чыньджа, чёньжа* и т. п.

57. *Чо́ньджа, чо́ньжа, чёньджа* (В.-Кет.) ‘земляная запруда реки’ [Сл 3: 232, Д2: 264] < сельк. °čončā [-nč-], ср. Тогур *čonž* ‘затор из льда’ [Кузьмина 1974: 209], Таз *čontj* ‘запруда’ [ОчСЯ: 122]. Ср. [Ольгович 1963: 143–144].

58. *Чуш* (Карг. Колп. Пар. Шер.), *чушь* (Пар. Яшк.) ‘кушанье из мороженой рыбы с солью и перцем’ [Сл Д2: 271]. Речь, собственно говоря, идет о строганине — сырой мороженой рыбе: «Мерзлую рыбу чушью зовут, кому ндравится, а мне на дух не надо, сыры, да и что вкусного». Из сельк. °čuš. Реальность этой незасвидетельствованной формы подтверждается наличием сев.-сельк. Таз *tūš* (генитив *tūšjn*) ‘мясо или рыба, поедаемые в сыром виде’ (МЭ). Рассматриваемое заимствование компенсирует собой отсутствие собственно селькупских данных и позволяет констатировать первичность *č в анлауте (в современном тазовском диалекте *č и *t совпали в *t*).

59. *Шевёл* (Карг. Пар.) ‘глиняная печька в землянке’ [Сл 3: 238], ср. также *шувал* (Карг. Пар.) ‘разновидность печи’ [Сл Д2: 282] < центр.-сельк. °šowol (*šonol). Селькупское слово известно из северных говоров, где *-η- сохраняется: В Кар. *šongol* ‘печка’ [CL: 90], *sonal* ‘чувал, печь’ [Erdélyi 1969: 222], и из смешанных обских говоров тогурского типа, где произошло стяжение: *šöl* ‘чувал’ [Hajdú 1952a: 172]. Как показывает облик русского диалектного слова, в селькупском говоре-источнике *-η- (в окружении лабиализованных гласных) дало w, что вполне аналогично центрально-селькупскому развитию *-η- > γ (> Ø) в других окружениях [Katz 1975: 15]. Форма *шувал* могла возникнуть вследствие контактизации между *шевёл* и *чувал*; последнее заимствовано из тат. *čıval* ‘камин’ [ЭСРЯ IV: 376] или, что менее вероятно, из хант. V *tōxal*, Kaz. *šōyal* [Кальман 1951: 266]. С тюркскими и обско-угорскими формами связано и само сельк. *šonol [Paasonen 1902: 136; Rédei 1972: 192].

60. *Шо́нга* (В.-Кет. Крив.), *шо́ньга* (Крив.), *чёнга* (В.-Кет.) ‘мелкий лед на реке’ [Сл 3: 242, Д2: 264, 281]. Для *чёнга* составители словаря дают (под вопросом) перевод ‘затор’, который, однако, основан на ошибочном толковании пояснений информанта: «Чёнга — это самый затор, когда пройти не может лед, говорят, чёнгой прошел» (т. е. прошел мелкими льдинками. — Е. Х.). Из сельк. *šongā

(наряду с **ʔonqəʔ*), ср. N *šok*, MO *song*, K NP *songa*, Tsch. Tschl. OO *songo*, B *čonga* 'Eiskruste, шуга' [CL: 90], Таз *čonqī* 'шуга' [ОчСЯ: 15]. Заимствованные *шонга*, *шонга* фонетически наиболее близки к общеселькупской праформе; их источником могли быть говоры, не претерпевшие ни центральноселькупского развития **ηq* > -*qq*-, -*q* (ср. 4), ни происшедшего в большей части южноселькупских говоров перехода **š* > *s*. Форма *чэнга* свидетельствует, видимо, о том, что формы с начальным *č* (**t*), зафиксированные только в северноселькупском, имели (или имеют) более широкое распространение. О чрезвычайно многочисленных возможностях внешнего сравнения для селькупских слов см. [Paasonen 1917: 145–146], где, в частности, высказано предположение о самодийском происхождении рус. *шуга* (маловероятно с учетом широкого распространения этого слова в европейских говорах, ср. даже *шугá* 'первый лед' в украинском; тем не менее, в [ЭСРЯ II: 63, s. v. *жу́га́*] принимается предположение Х. Паасонена, хотя в [ЭСРЯ IV: 483, s. v. *шугá*], о селькупских словах не упоминается).

61. *Шугор* (Колп.) 'вид печи' [Сл Д2: 282] < сельк. **šoqər*, ср. N *šogor*, MO *sogor* 'печка' [CL: 90], Таз *šōqir* (МЭ). По К. Реден, восходит наряду с **šonol* 'печь' (см. 59) к хант. VVj *ʔoya!* [Rédei 1972: 192].

62. *Юнга*, чаще мн. ч. *юнги* (В.-Кет. Карг. Колп. Крив. Мол. Пар.) 'тонкие, выстроганные из сосновой дранки дощечки, палки, которые переплетаются и служат рыбозаградительным щитом в запорах', прил. *юнговой* (Пар.), *юнговый* (Пар. Карг.) [Сл 3: 245–246] < сельк. **ünka* [-*ng*-], ср. N *üng*, *öng*, Tschl. OO *ungo*, B. Jel. *ungə* 'Wehr, Holz des Wehres' [CL: 23]. Ср. [Ольгович 1963: 144–146, 1964: 28].

63. *Ютуш* (Колп. Пар.) 'жердь, скрепляющая рыбозаградительный щит в «запоре» — ловушке на рыб' [Сл Д2: 287]. В тазовском диалекте селькупского языка соответствующая деталь запора называется *ūtqil' tōt* букв. 'в воде находящаяся жердь' (МЭ). Можно предположить, что *ютуш* отражает неизвестный нам из селькупских источников термин **ūtāš* — дериват от **ūt* 'вода' [CL: 25], снабженный довольно широко распространенным суффиксом *nomina instrumenti* (ср. сельк. Таз *nurjś* 'пеленка' от *nur* 'слой', *purjś* 'факел' при *tūl' pur* то же; см. [ОчСЯ: 340]).

Целесообразно привести небольшой дополнительный перечень слов «потенциально» селькупского происхождения. Он включает русскую диалектную лексику, засвидетельствованную в районах русско-селькупского языкового контактирования, не имеющую очевидных этимологических связей и по своим семантическим и фонетическим признакам сближающуюся с рассмотренными заимствованиями: *адор* (Пар.) 'приспособление для ловли белок'; *ка́рша* (В.-Кет.) 'речка, проток в болоте под мхом' (отметим сельк. Верх. Таз *koršañ* 'яма, обрыв' (МЭ)); *кинярка* (В.-Кет.) 'порода уток': «Кинярка чёрная, у ей ноги назад, на воде плавает, несъедобна она»; *корняжка* (Карг. Пар.) 'сушеная рыба'; *пёры* (Пар.) 'первый лов после ледохода' (может быть собственно русским образованием от *переть* для обозначения момента, когда рыба «попёрла»); *пурчисон* (В.-Кет.) 'вид мха', *пурчисонисто* (Крив.) 'покрыто мхом'; *седовá* (В.-Кет. Колп. Крив.) 'то же, что гавань — часть рыбозаградительного сооружения-атармы'; *сёка* (Пар.) 'осо-

ка,
то
(К
тр
(К
чу
юл
(П
ни:
ски
ис

ка, Сагех'; *тэря* (Пар.) 'шов у рыболовных снастей (невода, сети и др.)'; *то́лоп*, *толопá* (В.-Кет.) '(звериная) тропа'; *урá* (В.-Кет.) 'чистое болото'; *чэньжа* (Крив.) 'большая щука'; *чильгá* (Пар.) 'снежная крупа' (отметим сельк. Таз *čilq̄-tri* 'скрипеть — в частности, о снеге под ногами', *čilq̄* 'скрип' (МЭ)); *чйра* (Колп.), *чирá* (В.-Кет. Колп.) 'труднопроходимое, засоренное место в лесу'; *чукáн* (Пар.) 'колонок'; *юдор* (Пар.) значение не установлено: «Скотина лезет на юдор, если засушливый год» (может быть, из коми *judor* 'место у реки?'); *юргá* (Пар.) 'деталь рыбозаградительного сооружения запора, соединяющая его части, нижняя поперечная жердь'. Можно надеяться, что публикация новых селькупских материалов — и в первую очередь обширных словарных записей томских исследователей — прольет свет на происхождение некоторых из этих слов.

«ГОВОРКА» — ТАЙМЫРСКИЙ ПИДЖИН НА РУССКОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ*

В этой статье описывается пиджин, который возник в качестве языка межэтнического общения в самой северной области Евразии, на полуострове Таймыр (территория нынешнего Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Российской Федерации). Лексика этого пиджина почти целиком почерпнута из русского языка, не претерпев при этом сколько-нибудь значительных фонетических изменений; современный русский язык свободно используется при необходимости и для пополнения основного словарного фонда говорки. Грамматические морфемы также имеют русское происхождение. Однако структурно грамматика пиджина крайне далека от флективного русского языка и представляет собой урало-алтайский морфосинтаксический тип, преобразованный в направлении большего аналитизма.

Слово *говорка* (ср. рус. диал. *говóрка* 'речь; слух, молва; манера говорить, произношение, акцент; диалект, язык и т. д.' [СРНГ VI: 257]) используется в пиджине со значениями 'язык; речь; слова, высказывание; предложение; слово' и — в отсутствие других терминов — может обозначать и сам пиджин, ср.:

(1) *Меня русский говорки место казать будет.*

Я буду говорить на русском языке.

(Здесь и далее примеры фраз и отдельных конструкций сопровождаются переводом на стандартный русский язык. Для записи примеров мы используем русскую орфографию, фиксируя лишь существенные отличия в сфере фонетики. Отказ от транскрипции и фиксации второстепенных фонетических деталей позволяет сконцентрировать внимание на различиях в морфосинтаксисе и словоупотреблении.)

Аборигенное население Таймыра состоит из нганасанов, энцев, восточных ненцев (три эти народа говорят на языках, принадлежащих к самодийской ветви уральской языковой семьи), долган (говорящих на тюркском языке, который можно считать диалектом якутского) и (северных) эвенков (язык которых относится к тунгусской ветви алтайской семьи). Из-за крайне низкой плотности населения, живущего на огромной территории, и чрезвычайно сурового климата численность ни одной из этих этнических групп никогда не превосходила нескольких тысяч или даже нескольких сотен человек. Сегодня все они вместе состав-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 93-06-10926 «Культура Таймыра»). Публикуется впервые (ср. [Хелимский 19876]).

ляют лишь незначительное меньшинство населения автономного округа, в юго-западной части которого расположен Норильский промышленный район, а в других частях которого имеется пришлое русскоязычное население. Стандартный русский язык и его разговорные варианты занимают ведущие позиции в сфере администрации, общественной жизни, в школьном образовании и культуре. Им владеют как вторым, а нередко и как первым языком практически все молодые и среднего возраста представители коренного населения Таймыра (степень русификации или, наоборот, сохранения родного языка варьируется по разным этническим и локальным группам и тесно связана с сохранением традиционного образа жизни).

В такой ситуации говорка остается языковым достоянием некоторых пожилых (часто неграмотных) представителей местного нерусского населения, которые используют его в общении с русскими или со своими соседями иной национальности (язык которых они не знают). Характерно, что носители пиджина обычно не говорят на стандартном (разговорном) русском языке и очень плохо понимают его (хотя тот нередко служит основным домашним языком в семьях их детей и внуков), но говоркой пользуются свободно и бегло, особенно в пределах сравнительно узкого круга традиционных тем межэтнического общения. Автору удалось записать многочисленные примеры высказываний и целых текстов на пиджине, в основном в ходе работы с нганасанами, которая велась начиная с 1986 года. Особенно интересны записи, сделанные от Тубяку Костеркина (1921–1989) и Нумуму Турдагина (1914 — ок. 1997) из Усть-Авама, Нумаре Яроцкого (род. 1920) и Караре Кокоре (род. 1924) из Волочанки. По-видимому, именно в нганасанской среде говорка имела наибольшее количество шансов сохраниться, не будучи вытесненной стандартным русским языком: вплоть до 1960-х гг. нганасаны оставались кочевниками, сравнительно изолированными от всего, что было принесено на Таймыр после 1917 года. Однако в ходе бесед с пожилыми долганами, энцами и ненцами нам также приходилось слышать формы и выражения, подтверждающие наши наблюдения.

Происхождение говорки и ее взаимодействие со стандартным русским языком

Некоторые отрывочные сведения об особенностях русского языка, которым пользуется коренное население Таймыра, содержатся в работах этнографов и лингвистов, работавших здесь в тридцатые и сороковые годы (А. А. Попов, Б. О. Долгих, Е. И. Убрятова, Ю. Б. Симченко и др.). Е. И. Убрятова [1985: 67–68] пишет, что у долганизированных потомков местных русских жителей «выработался особый говор русского языка, так называемая говорка, без шипящих, часто без *в* и *ф*, с заимствованными из языка долган гласными, новым синтаксическим строем речи, массой слов долганского происхождения». Некоторое количество предложений на говорке (или их фрагментов) было сохранено в публикациях энцевских и нганасанских фольклорных текстов, записанных по-русски и изданных Б. О. Долгих [1961, 1962, 1976], в таймырских дневниках А. М. Хазанович [1986] и т. д. Однако попыток изучения и описания говорки как независимого лингвистического феномена не было.

тического феномена не предпринималось вплоть до доклада автора настоящей статьи на московской конференции по контактным языкам [Хелимский 19876].

Из-за крайней скудости имеющейся у нас информации об истории говорки можно строить лишь более или менее правдоподобные гипотезы.

Есть все причины полагать, что пиджинизация стандартного русского языка (СРЯ) и превращение его в говорку (Г) произошли главным образом благодаря имевшим место в XVIII–XIX веках контактам так называемых «русских затундренных крестьян» с аборигенным населением Таймыра. Эти крестьяне, мигранты из европейской части России (почти исключительно из северных ее районов) или отставные солдаты, создали в этот период в южной части полуострова сеть небольших — один-два дома — поселений (зимовий), которые шли с запада на восток. Все более переходя от торговли и традиционных занятий русского крестьянства к охоте и рыболовству и заимствуя все больше элементов хозяйственного и бытового уклада местных жителей, они к концу XIX века растворились в среде крещеных якутов и эвенков, став одним из компонентов новой долганской народности [Долгих 1963]. Пиджин-говорка (или предшественник его современной формы) мог облегчить соответствующие контакты на их ранних стадиях. Его распространение в таймырском регионе позволило ему принять на себя функции *lingua franca*. Возможно, до проникновения русских на север Сибири аналогичную роль играл здесь эвенкийский язык, благодаря традиционной высокой мобильности его носителей (это подтверждается количеством и характером эвенкийских заимствований в северносамодийских языках; некоторые черты говорки также могут быть правдоподобны объяснены тунгусским субстратом).

Не исключено также, что в формировании говорки сыграли роль какие-то иные пиджинизированные формы русского языка, которые могли иметь распространение в XVIII–XIX веках и ранее на северо-востоке Европы и в Западной Сибири, где русский язык также интенсивно контактировал с уральскими и тюркскими языками. Однако в отсутствие данных о подобных пиджинах это предположение остается чисто умозрительным, и говорка оказывается самостоятельным объектом лингвистического изучения.

Вероятно, в определенный период, вплоть до первых десятилетий нашего века, говорка была широко известна или по крайней мере понятна тем жителям Таймыра (русским и нерусским), которые достаточно регулярно участвовали в торговле и в иных ситуациях межэтнического общения (в первую очередь речь идет о мужчинах). Однако отсутствовали какие-либо предпосылки для креолизации пиджина, то есть для его превращения в родной язык для какой-либо этнической или локальной группы, члены которой использовали бы ее для внутриэтнического общения. Ничто, таким образом, не могло воспрепятствовать постепенному вытеснению ее стандартным русским языком после долганизации постоянного русского населения и многочисленных нововведений — включая всеобщее школьное обучение, — принесенных Советской властью.

Совершенно правильная фраза на говорке может иногда совпадать или быть очень схожей с соответствующей фразой на СРЯ, но нередко производит на неподготовленного русскоязычного слушателя впечатление грубого искажения его языка, а иногда выглядит просто абсурдной или смешной, ср.:

- (2) *Тебя ночь как резал?*
Как ты провел ночь?

(носитель СРЯ мог бы «понять» эту фразу как обращенную к человеку, которого резала ночь);

(3) *Меня сестра девка мужик совсем худой.*

Зять моей сестры очень плохой.

(последняя фраза содержит дикую — опять-таки с точки зрения СРЯ — последовательность существительных в именительном падеже).

Требуются время и непредвзятость, чтобы осознать, что «ошибки» в таких фразах устойчивы, системны и заданы языковой структурой, радикально отличной от структуры СРЯ, хотя и оперирующей в основном тем же набором слов. Понятно, почему распространено презрительное отношение к говорке как к неграмотной, искаженной и крайне непрестижной форме русской речи. В сущности, такое отношение провоцируют сами говорящие на этом пиджине, которые часто — хотя и не всегда — утверждают, что они владеют именно русским языком, и отказываются признать, что говорят вовсе не по-русски. Автор этой статьи только однажды во время своей полевой работы столкнулся с другим, терпимым и уважительным, отношением к пиджину. Нганасанка Екатерина Яроцкая из Волочанки, имеющая законченное среднее образование и свободно говорящая на СРЯ (но не на говорке), с уважением и некоторым восхищением говорила о своем муже, который, также владея СРЯ, в разговоре со стариками мог легко переключаться на говорку и говорить так быстро, что она не могла понять практически ни слова. К сожалению, мне не удалось пообщаться с самим ее мужем, Дяламте Яроцким (род. 1941) — по-видимому, трилингвом, знающим, помимо говорки, нганасанский и русский языки.

Немногочисленные сегодня носители говорки в Усть-Аваме и Волочанке постоянно слышат вокруг себя стандартный русский язык, причем не только от русских, но и от членов своих собственных семей и от своих соседей, а также из радио- и телепередач. Естественно поэтому, что говорка подвергается постоянному влиянию со стороны СРЯ. В сущности, степень этого влияния зависит от самих говорящих: оно тем сильнее, чем больше человек старается (например, в ситуации официального общения) быть лучше понятым или произвести впечатление грамотного человека; и наоборот, оно полностью отсутствует, когда, к примеру, двое или несколько пожилых людей (нганасанов и долган) разговаривают между собой на темы, не связанные с современной жизнью. (Это означает, в частности, что и примеры, записанные нами в ходе работы с информантами, возможно, не представляют собой самые чистые образцы говорки. Русский язык автора, хотя тот и пытался приблизить его к говорке, мог оказать влияние на речь его собеседников.)

Поведение носителей говорки и языковые результаты такого поведения свидетельствуют о существовании *постпиджинского континуума* (ср. хорошо известное в лингвистической контактологии понятие *посткреольского континуума*). Часто переключение кодов происходит в этом континууме за счет вставки в предложения на говорке готовых фрагментов из СРЯ, особенно частых сочетаний слов и идиоматических выражений (СРЯ и Г *шесть часов*, где существительное стоит в родительном падеже, вместо ожидаемого в Г **шесть час* с именительным падежом, и т. д.). Другие явления того же типа будут обсуждаться ниже, в частности, в связи с употреблением личных окончаний глагола.

Структура

В нашем кратком описании мы будем обращать внимание в основном на отличия говорки от СРЯ (взяв за образец сибирский разговорный вариант последнего, характеризующийся некоторыми чертами севернорусских говоров, в основном в лексике). Те элементы и характеристики говорки (в лексике, фонетике, наборе грамматических элементов, синтаксисе и т. д.), которые она разделяет со СРЯ, обычно специально не отмечаются.

Лексика

Основной словарный фонд говорки (в отличие от ее расширенного в постпиджинском континууме словаря; ср. также ниже раздел «Фонетика») состоит, по-видимому, из не более чем нескольких сотен слов, практически полностью заимствованных из СРЯ.

Небольшой объем словаря достигается, в частности, за счет (этимологически вторичной) полисемии. Многие слова получают дополнительные значения, которые в СРЯ не существовали или встречались окказионально, в специфических контекстах, например:

слово	дополнительные значения в говорке	примеры
<i>середка</i>	половина, часть	22
<i>девка</i>	дочь	3, 50
<i>поймать</i>	получить	27
<i>прийти</i>	попасться	
<i>ломать</i>	портить	
<i>резать</i>	пересекать; проводить (время)	2
<i>казать</i>	говорить, рассказать	1

Нередко полисемия индуцирована родными языками носителей говорки, ср. нган. *helj* 'середина, половина, часть'; нган. *kobua*, якут. *küis* 'девушка, дочь'; якут. *aldat* 'ломать, портить'; нган. *tatuda* 'резать, пересекать (реку), проводить (время)'.

Глаголы обязаны своей полисемией также опущению частицы -ся (или же недифференцированному употреблению глаголов с и без -ся в постпиджинском континууме): Г *родить* = СРЯ *родить* и *родиться*; Г *парить* 'женить; жениться' = *парить* 'женить' и *париться* 'жениться' (диал., ср. [СРНГ XXV: 225–226]); Г *одевать* = СРЯ *одевать* и *одеваться*; Г *торопил аргишиить* = СРЯ *торопился аргишиить* (пример из [Хазанович 1986: 74]). Ср. также Г *согласить* = СРЯ *согласиться*; Г *забыть* = СРЯ *забыть* (*Меня песня-то сам забылся* 'Я сам забыл эту песню'). Явление того же порядка проявляется в употреблении беспрефиксальных глаголов вместо их производных с префиксами: Г *работать* = СРЯ *работать*, *переработать*, *проработать*, *заработать* и т. д., и даже Г *стать* = СРЯ *стать* и *остаться* (*Вчерашний работа стал* 'Вчерашняя работа осталась').

Другим источником компрессии словаря является употребление описательных словосочетаний вместо единых лексем СРЯ. Такое разложение значения на

составляющие его семы находится в русле общей тенденции говорки к большему аналитизму. Ср.: *конь санка* 'телега'; *царь девка* 'царевна'; *девка мужик* 'зять'; *железка вести* 'радиограмма' (этот последний пример — из [Хазанович 1986: 146]).

Основной словарный фонд говорки содержит также некоторое количество диалектных и областных (северных и сибирских) слов: *добрый* 'хороший', *худой* 'плохой', *дородно* 'хорошо, много, достаточно', *чикать* 'мочиться'.

Постоянно употребляемых слов, заимствованных из местных языков, немного: *урахá* 'чум' (из долг. *uraha*), *надерка* 'бумага, письмо, документ' (из нен. *päder'*), *дяринга* 'парень' (происхождение неясно).

Хотя основной словарный состав говорки постоянен и ограничен, пиджин открыт для практически любых заимствований из языка-донора — из СРЯ, и эта возможность широко используется при разговоре на «современные темы» или при переключении на одну из форм постпиджинского континуума. Еще более окказиональны заимствования из родного языка говорящего: они происходят, когда говорящему не хватает слов говорки, чтобы выразить свои мысли. В частности, наши информанты часто перемежали свою речь нганасанскими модальными наречиями, частицами и междометиями (*һаниэ* 'вправду, действительно', *иһээ* 'пусть будет так', *таараа/тахараа* 'вот, теперь', *һеј* 'эх!').

Фонетика

Фонетика говорки ближе к СРЯ, чем другие элементы ее структуры. Существующие расхождения полностью определяются отличием фонологии русского языка от языков аборигенного населения Таймыра. Типичным является произнесение вместо лабиодентальных фрикативных *в* и *ф* лабиальных фрикативных *β* и *φ* или даже взрывных *б* и *п*; однако противопоставление *в* : *б* и *ф* : *п* сохраняется, по крайней мере в постпиджинском континууме. Взрывной компонент аффрикаты *ц* часто произносится очень слабо или вовсе отсутствует, вследствие чего этот согласный слабо отличается от *с*.

Два других важных признака различают основной и расширенный словарный фонды. Анлаутные сочетания согласных не встречаются ни в одном из аборигенных языков Таймыра и обычно устранены в собственной лексике говорки, ср.: *колько* 'сколько', *се* 'все', *тарик* 'старик', *малаший* 'младший' и т. д. Однако наши нганасанские информанты часто правильно (с точки зрения СРЯ) произносили аналогичные сочетания в словах расширенного словарного фонда: *скатерть*, *школа* (наряду с *кола*), *блядь* и т. д.; возможно, что и в таких собственных словах говорки, как *брат*, *дрова*, начальные кластеры были восстановлены (в постпиджинском континууме). Аналогична ситуация с шипящими (*ш*, *ж*, *ц*). Они заменены на свистящие в основной лексике (*күсать* 'кушать', *сюка* 'щука' и т. д.), но в других словах носители говорки сегодня без труда произносят эти звуки.

Систематических сдвигов гласных, по-видимому, нет. Гласные артикулируются так же, как соответствующие им звуки в нганасанском или долганском языках; это является абсолютно нормальным, учитывая, что говорка для всех ее носителей остается неродным языком. Место ударения в большинстве случаев также сохраняется (поэтому в приводимых здесь примерах ударение обычно не от-

мечается); по крайней мере некоторые отличия объясняются диалектными различиями внутри русского языка.

Интонационные контуры совпадают с нганасанскими во всех деталях.

Морфосинтаксис

В этом отношении говорка радикально отличается от СРЯ. Вся синтаксическая структура русского языка была полностью трансформирована на основании фундаментальных принципов урало-алтайского языкового типа, в частности:

а) управляемое слово помещается перед управляющим (*rectum ante regens*); в силу этого правила прямой объект помещается перед глаголом (преобладают порядки SOV и OVS), существительное ставится в конец атрибутивной конструкции, широко используются послелогии;

б) морфологическая информация экономится; этим принципом диктуется опущение грамматических маркеров там, где они навязываются синтаксическим или лексическим контекстом (и, в частности, отсутствие согласования), и общая тенденция к максимальной простоте и единообразию соотношения между морфемами и семами.

Уральско-алтайские языки относятся к преимущественно агглютинативному типу. Говорке не хватало внутренних ресурсов для развития агглютинативной морфологии, и ее отсутствие компенсируется аналитическими конструкциями.

Морфология существительных

В «чистой» говорке у имен есть только одна неизменяемая (абсолютная) форма, которая обычно (но не всегда) совпадает с именительным падежом единственного числа в СРЯ. Исключений довольно много, ср.: *глазá* 'глаз', *люди* 'человек' (Г *человек* 'кто-то, кто-нибудь'), *ребята* 'ребенок', *богу* 'бог' (эта форма, вероятно, обязана своим существованием высокочастотным в русской разговорной речи оборотам *слава богу, ей-богу*), *закона* 'закон' и т. д. Названия месяцев обычно употребляются в виде, соответствующем русскому родительному падежу единственного числа: *мая* 'май', *агуста* 'август' (без сомнения, благодаря употреблению именно этой формы в обозначениях дат). По крайней мере некоторые существительные, оканчивающиеся в СРЯ на *-а*, могут употребляться в основной форме, которая восходит к форме винительного падежа: *казка/казку* 'сказка', *веревка/веревку*. Ср.:

- (4) *Тогда глазá нету стал.*

Тогда (он) остался без глаза.

- (5) *Тебя какой люди?*

Что ты за человек = Кто ты?

- (6) *Наша земля пришел человек, зачем воровать будет?*

(Если) кто-то приехал в нашу землю, зачем ему воровать?

- (7) *Баба-то есть и ребята один.*

(У него) есть жена и один ребенок.

кон
ред
пос
(дя
счи
рит
сут
зит
(дя

сут
пос
ше

ник
ном

сов
ски
'в
рог
мо
рая

вид
те
(«н

- (8) *Советский закона родился время, такой закона — Богу нету.*
(У того, кто) родился при советской власти, такой закон, что Бога нет.
- (9) *Меня агушта придет.*
Я приеду в августе.
- (10) *Это самый натуре казку.*
Это самая подлинная история.

Русские формы множественного числа встречаются иногда в постпиджинском континууме, но не в «чистой» говорке, в которой значение множественности передается сочетаниями с препозитивной частицей *много* (*много, мого, ного*) или постпозитивной *се* (<СРЯ *все*). Последний тип очень характерен для говорки (*дяринга се* 'все парни; парни', *казку се* 'все сказки; сказки') и, возможно, должен считаться аналитическим множественным числом. В этом случае можно говорить и об аналитическом двойственном числе (формы двойственного числа присутствуют во всех языках Таймыра, кроме долганского): конструкции с постпозитивным *оба* синтаксически и семантически параллельны конструкциям с *се* (*дяринга оба* 'оба парня; два парня', *казку оба* 'обе сказки; две сказки').

Немногочисленные падежные формы, отличные от формы абсолютива, присутствуют только в клишированных сочетаниях, проникших в говорку (или в постпиджинский континуум) из СРЯ как единое целое, ср. Г = СРЯ *два рубля, шесть часов*, Г *натуре* 'действительно, действительный' (СРЯ *в натуре*), и т. д.

Говорка унаследовала из севернорусских говоров и тенденцию к употреблению эмфатической указательной частицы *-то* в значении, близком к определенному артиклю (ср. примеры 7, 24, 27, 49).

Другие разряды имен

Прилагательные и другие адъективные образования употребляются в форме, совпадающей (за исключением некоторых фонетических особенностей) с русским именительным падежом мужского рода единственного числа: *белый, торой* 'второй', *который*. Прилагательное не согласуется с существительным, от которого оно зависит; учитывая факты глагольной и местоименной морфологии, мы можем утверждать, что категория рода полностью отсутствует в говорке (которая и в этом отношении сближается с урало-алтайскими языками). Ср.:

- (11) *Два тарший ребята пришел.*
Два старших сына пришли.
- (12) *Который баба совсем кытырый.*
Некоторые женщины очень хитры.
- (13) *Меня такой придуманье есть.*
У меня есть такое предложение.

Система личных местоимений была коренным образом трансформирована. Как видно из многочисленных примеров, приводимых в этой статье, формы *меня* и *тебя* заменили все прочие падежные формы местоимений *я, мой, ты, твой* («нормальные» или «более нормальные» с точки зрения СРЯ формы встречаются

очень редко и без сомнения принадлежат к постпиджинской речи). Ситуация с местоимениями 1 и 2 лица множественного числа менее ясна. Примеры — возможно, благодаря специфике тех материалов, которые нам удалось записать, — немногочисленны и не систематичны. Наиболее типичным кажется употребление *наша* и *ваша* вместо всех форм местоимений *мы*, *наш*, *геср. вы* и *ваш*, ср. пример 6. Тем не менее, иногда носители говорки используют и такие формы, как *мы*, *наш*, *нас*, *вы*, *вас* (мы не уверены, что их следует полностью относить на счет вторичного влияния СРЯ):

(14) *Вы какой люди?*

Что вы за люди = Кто вы?

Гораздо интереснее, однако, спорадические и семантически неоднозначные примеры аналитических местоимений множественного числа:

(15) *Меня се тебя дождал.*

а) Мы тебя ждали / б) ?Я все (время) тебя ждал.

(16) Вертолет почто меня тебя не брал?

а) Почему нас не взял вертолет? / б) ?Почему меня (и) тебя не взял вертолет?

Если верны первые варианты интерпретации этих примеров, то становится возможным постулировать — или, скорее, реконструировать с большой степенью гипотетичности, — что по крайней мере первоначально говорка имела систему аналитических форм, различавших не только двойственное и множественное число, но также инклюзивные и эксклюзивные формы первого лица:

	дв. ч.	мн. ч.
1 л. (инкл.)	<i>меня тебя</i>	<i>меня тебя се</i>
1 л. (экскл.)	<i>меня оба</i>	<i>меня се</i>
2 л.	<i>тебя оба</i>	<i>тебя се</i>

(Следует упомянуть, что противопоставление инклюзивных и эксклюзивных форм существует, в частности, в эвенкийском языке).

Для третьего лица употребляются местоимения *они* и *его* (произносится *ево*), но сходство со СРЯ в данном случае совершенно обманчиво. Последняя форма употребляется в значении субъекта в постглагольной позиции (и лишь иногда, в основном в постпиджинских разновидностях говорки, также как притяжательное местоимение третьего лица):

(17) *Город место гулять ходили, вечером приходили его.*

Он пошел гулять по городу, вечером вернулся.

(18) *Вода таскать не хочет его оба.*

Они двое не хотят носить воду.

(см. также ниже примеры 29, 30). В остальных случаях на третье лицо указывает форма *они* либо (реже и без каких-либо семантических или грамматических отличий) *он*, *она*, ср. примеры 19, 20, 26. Когда необходимо указать число, используются аналитические конструкции *они се* (*он се*, *она се*), *они оба* (*он оба*, *она оба*):

(19) *Они два рубля работал.*

Он заработал два рубля.

- (20) *Они се шесть рублей работал.*
Они (все) заработали шесть рублей.

Наиболее частотными указательными местоимениями являются *это* (в говорке не различаются атрибутивная форма СРЯ *этот* и не-атрибутивная *это*) и *тут*. Местоимение *это* имеет обычно дейктическое значение, а *тут* — анафорическое. Вопросительные местоимения (заимствованные из СРЯ без существенных изменений) могут употребляться и как неопределенные, ср. пример 12. Числительные сохраняют имеющееся в СРЯ различие количественных и порядковых форм.

Синтаксические функции имен

Абсолютная форма употребляется в качестве подлежащего или как именная часть сказуемого (см. примеры 4–10). Она также употребляется после числительных (примеры 11, 22, 25, 50) и с отрицанием (в СРЯ обе эти конструкции требуют родительного падежа), ср.:

- (21) *Меня санка нету.*
У меня нет санок.

Та же форма может означать и прямое дополнение:

- (22) *Два середка резай.*
Разрежь на две части.

- (23) *Меня морда ране мотрела?*
Видела ли ты мое лицо (= меня) раньше?

В большинстве случаев субъект и объект различаются благодаря порядку слов (базовыми типами являются SOV и OVS):

- (24) *Чими девка-то песня пел меня сестра место.*
Дочь Чими пропела песню моей сестре.

- (25) *Меня сто конь кўсал бы.*
Я бы съел сто коней.

- (26) *Меня они видал лавка место.*
Я видел его/ее в магазине.

- (27) *Говори, деньги-то поймал отец.*
Скажи, что отец получил деньги.

- (28) *Сундук воровал меня?*
Я ведь украл сундук?

Как кажется, порядок OVS выбирается в особых синтаксических условиях (например, в эмфатических вопросах и в семантически подчиненных предикациях, как в примерах 6, 27). Кроме этого, он часто встречается, если субъект выражен личным местоимением, особенно местоимением *его* 'он, она, они':

- (29) *Меня шаман костюм одел его.*
Он надел мой шаманский костюм.

- (30) *Меня видал лавка место его.*
Он/она видел/видела меня в магазине.

- (31) *Таймирамү место родил меня.*
Я родился на (реке) Таймирамү.

Форма абсолютива употребляется также в атрибутивной позиции. В этом случае каждое имя синтаксически подчинено следующему за ним (в отличие от генитивных конструкций СРЯ с противоположным порядком элементов); ср. примеры 3, 24, 29 или следующие:

- (32) *Какой-то лес хребет нашел.*
(Он) наткнулся на какой-то лесистый хребет.

- (33) *Парень имя Лямо.*
Сына зовут Лямо.

Немногочисленность морфологических показателей часто ведет к синтаксической омонимии; так, пример 25 в принципе может быть понят и как '(Он) съел бы сто моих коней', а пример 32 — как 'Какой-то лес нашел хребет'. Однако в большинстве случаев контекст или просто здравый смысл указывают на правильное понимания фразы.

Принцип помещать определение перед определяемым применяется и к прилагательным (в этом отношении говорка не отличается от СРЯ), и к сочетаниям слов, используемым как определение:

- (34) *это рога длинный олень*
этот олень с длинными рогами
(35) *который это ребята поймал люди*
человек, который поймал этого ребенка

Жесткий порядок слов присутствует и в конструкциях с приложениями: личное имя ставится перед обозначением должности или профессии, а фамилия предшествует имени (как в венгерском, но не в русском и многих других индоевропейских языках):

- (36) *Турдагин Сета парень*
сын Сеты Турдагина

Наконец, абсолютивные формы функционируют как обстоятельства места (обычно с глаголами, имеющими обязательную локативную валентность) и времени, ср. примеры 6, 9 или:

- (37) *Тебя школа положить не будем.*
Мы тебя не отдадим в школу.

Конструкции с послелогами

Другим (и гораздо более частотным) способом оформления обстоятельств места, как и не прямых дополнений, являются конструкции с послелогом *место* (фонетически, разумеется, *мэста*). Этот послелог стал, как кажется, наиболее

приметным признаком пиджина, его приметой (нганасанские дети, родным языком которых уже стал стандартный русский, иногда дразнят говорящих на говорке фразой *Меня место ходи!* 'Подойди ко мне'). Сочетания с *место* заменяют различные синтаксические конструкции СРЯ, в частности:

а) Творительный падеж (и в инструментальном, и в эссивном значении):

(38) *Тебя колоти ножик место.*

Коли ножом!

(39) *Штаны говно место марал.*

(Он) испачкал штаны говном.

(40) *Меня царь место работал.*

Я работал (= был) царем.

(41) *Меня дурак место делали.*

Меня сделали дураком (=одурачили).

б) Дательный падеж с предлогом к или без такового (и в дативном, и в лативном значении):

(42) *Тарик место такан налил.*

(Он) налил старику стакан.

(43) *Меня место не интересно.*

Мне не интересно.

(44) *Как тебя голова место попал?*

Как тебе в голову пришло?

(45) *Ночью когда меня тебя место ходил.*

Когда я ночью приходил к тебе.

Личные местоимения могут употребляться в дативном значении и без послелога *место*:

(46) *Меня работа дай!*

Дай мне работу!

(47) *Меня тебя дрова рубил.*

Я тебе дрова рубил.

(48) *Тебя колько надо товар?*

Сколько тебе надо товару?

в) Различные конструкции с предлогами и винительным или предложным падежом существительного, ср. примеры 1, 26, 30, 31, 44.

г) Сравнительные конструкции:

(49) *Такой-то баба место большой голова.*

Вот такая голова, больше, чем у женщины.

Необходимо учитывать, что в большинстве урало-алтайских языков (включая и нганасанский) в таких конструкциях основание сравнения выражается аблативом (или его эквивалентом).

Другие послелогии гораздо более редки. К ним относятся *месте* 'с' (< СРЯ *месте* предл. пад. или *вместе*; спорадически послелогии *место* и *месте* употребляются как свободные варианты одной лексемы), *мера* 'до, в течение, размером с', *время* 'во время, в течение', *пора* 'во время, в момент, до (какого-либо времени)':

(50) *Два девка месте меня там сидел.*

Я сидел там с двумя девушками.

(51) *Конь месте ходил.*

(Он) ехал на коне.

(52) *Жизнь мера тебя товарищ его.*

Он твой товарищ на всю жизнь.

(53) *Тут время тут мера был.*

В то время он был вот таким.

(54) *Еще работа пора не дошли.*

Еще не настало время работы.

Таким образом, большинство послелогов говорки восходит к именам СРЯ (и синтаксически не очень отличаются от обычных имен — так же обстоит дело со многими послелогам и в урало-алтайских языках). Единственный сохранный в говорке предлог СРЯ — *рядом* (с) — также функционирует как послелог:

(55) *Печка рядом век сидит.*

Всегда сидит рядом с печкой.

Морфология и синтаксис глагола

В говорке сохранены следующие категориальные формы русского глагола:

— инфинитив, употребляемый как глагольное дополнение, с вспомогательными и модальными глаголами (примеры 6, 17, 18);

— прошедшее время индикатива (см. ниже);

— настоящее время индикатива (см. ниже);

— будущее время индикатива; в СРЯ будущее время имеет простую форму (совпадающую с настоящим временем глаголов несовершенного вида) у глаголов СВ и сложную — у глаголов НСВ, в говорке же (где видовые противопоставления отсутствуют) предпочтение без сомнения отдается аналитическим формам, ср. примеры 1, 37 и такие формы, как *будет умереть* 'умрет; будет умирать';

— условное наклонение, ср. пример 25;

— повелительное наклонение с единственной формой, восходящей к форме 2 лица единственного числа СРЯ (но образованной иногда аналогически, ср. *резай* 'режь', пример 22). Эта форма используется для всех лиц и чисел императива, в том числе и для первого лица единственного числа (наличие первого лица в императиве характерно для многих урало-алтайских языков, но не для СРЯ):

(56) *Меня пиши па́дерка.*

Напишу-ка я письмо.

В СРЯ различаются два числа и (в единственном числе) три рода в формах прошедшего времени изъявительного наклонения и в условном наклонении, два числа и три лица в настоящем и будущем времени индикатива. Эти формы присутствуют и в говорке (или, по крайней мере, в постпиджинском континууме), но в употреблении их царит хаос. Обычно глагол не согласуется с подлежащим ни в числе, ни в лице, ни в роде, и из всех вариантов выбираются преимущественно формы множественного числа или мужского рода (в прошедшем времени и условном наклонении) и 3 лица единственного числа (в настоящем и будущем времени). Тем не менее, встречаются и другие формы (например, женский род ед. ч., первое лицо ед. и мн. ч., 3 лицо мн. ч.; формы второго лица индикатива практически неизвестны говорке). Как видно из приведенных выше примеров, часто они употребляются правильно (на взгляд носителя СРЯ), но очень типичны и «аномальные» сочетания подлежащего с глаголом, ср.:

(57) *Только меня проверяет, тебя как живут.*

Я только проверяю, как ты живешь.

Как уже говорилось, противопоставление совершенного и несовершенного вида в говорке нейтрализовалось, главным образом в пользу форм НСВ:

(58) *Баба давно умирал.*

Жена давно умерла.

(59) *Меня богатый царь девка брал.*

Я взял (в жены) богатую царевну.

В соответствии с этой нейтрализацией глагольные префиксы, с помощью которых в СРЯ образуются глаголы совершенного вида от несовершенного (как и некоторые другие, со значениями способа действия или направления), в говорке опускаются, ср. примеры 2, 19, 20, 22, 25, 56.

Дополнительные замечания по синтаксису

Приводимые ниже примеры (наряду с примерами 4, 8, 13, 21) иллюстрируют структуру бытийных предложений говорки. Позицию предиката занимают глаголы *был(и)*, *есть*, *будет* (как и в СРЯ) или отрицательный глагол *нету*, часто в сочетании со вспомогательным глаголом (этот последний тип конструкций в СРЯ невозможен). Обладатель при необходимости выражается существительным или местоимением в форме абсолютива:

(60) *Там купец, говорят, такой корова есть.*

Там у купца, говорят, есть такая корова.

(61) *Меня баба нету стал.*

Моей жены не стало.

Паратакисс кажется наиболее обычным способом выражения сложных синтаксических единств, ср. примеры 6, 8, 27, 57. Однако носители говорки употребляют и придаточные предложения, схожие с существующими в СРЯ; они компенсируют отсутствие в говорке причастий, деепричастий и глагольных

имен, которые используются в аналогичных позициях в нганасанском и долганском языках; ср. примеры 35, 45.

Некоторые другие особенности синтаксиса говорки иллюстрируются текстом, который приводится ниже. Это отрывок из сказки (русского происхождения), рассказанной Тубяку Костеркиным в Усть-Аваме в июле 1987 года. Каждое предложение сопровождается русским переводом.

Пример текста на говорке (отрывок из рассказа Тубяку Костеркина)

Пошел домой. Доехали. Оо, серений парень-то говорит:

Пошли домой. Добрались. О, средний сын говорит:

— *Эй, тут меня брат-от настоящий лодырь, совсем такой. Отец месте*

— Эй, этот мой брат-то настоящий лодырь, совсем ленивый. С отцом

работал, оо, полно се папиэ богатый стал, одел се папиэ, мать место
поработал, и вот, совсем прямо-таки богатым стал, прямо-таки разodelся, матери

брат. Это оно лодырь человек! Если меня работал бы, меня тут
купил (подарки). И это он, ленивый человек! Если бы я работал, то я бы там

брат месте меня больше работал бы. Меня завтра тоже пойду купец место,
в сравнении с братом больше заработал бы. Я завтра тоже пойду к купцу,

работа тоже просить будем.

тоже буду просить работу.

Ну, тут серений-то говорит... чай пили, понимаат...:

Ну, тогда средний (сын) говорит... за чаем, понимаешь...:

— *Отец!*

— Отец!

— *Чего?*

— Чего (тебе)?

— *Это меня брат тутто совсем худой человек, меня брат век лупил.*

— Этот мой брат — совсем никудышный человек, я всегда бил (= был сильнее) брата.

Дрова рубить не хочет, вода таскать не хочет, а сейчас богатый стал, работал
Рубить дрова он не хочет, носить воду он не хочет, а сейчас стал богатым, заработал

такой. Меня сам онни (= одни) мать дрова рубил, вода таскал, ну, меня работал
столько. Я сам один матери рубил дрова, носил воду, ну, я работал.

Это место меня больше деньги поймал бы.

Поэтому я получил бы больше денег.

— *Оо, тебя так нет, так не говори, — отец говорит. — Тебя мера не*

— О, ты неправ, не говори так, — говорит отец. — Он (= купец)

принимает его.

не нанимает таких (маленьких) как ты.

— Ну, се-таки тут... Первый сын таки принимал его, купец. Ну,

— Ну, все-таки это (возможно). Все-таки он, купец, нанял старшего сына. Ну,

завтра меня се равно пойду.

завтра я все равно пойду.

— Хоть черта тебя! Куда не ходите!

— Вот ты черт! Никуда не ходи!

Завтра стали. Это малый тати, парень-то, конечно ушел, батрак, купец место.

На следующее утро встали. Этот-то малый, (старший) сын, батрак, конечно ушел к купцу.

Ну, серений парень-то говорит:

Ну, а средний сын говорит:

— Меня тоже пойду.

— Я тоже пойду.

Мамка-то:

А мать (ему):

— Тебя куда не ходи, там ругать будет купец.

— Ты никуда не ходи, там купец ругаться будет.

Ну се равно пошел. Купец контора место сидит, отец сидит, меня брат сидит.

Но он все равно пошел. Купец сидит в конторе, отец сидит, мой брат сидит.

Это серений парень-то зашел. Ну так зайдет пора, это купец говорит:

Этот-то средний сын зашел. И в тот момент, когда он зашел, этот купец говорит:

— Ну ладно, вчерашний работа, дрова руби там. Для топить дрова.

— Ну ладно, (делай) вчерашнюю работа, руби там дрова. Дрова для топки.

Ну, тут тебя парень-то ударник получил!

Ну, этот-то твой сын ударником стал!

Оу, это серений парень-то говорит:

О, этот-то средний сын говорит:

— Оо, дедушкоу!

— Эй, дедушка!

— Чего?

— Чего (тебе)?

— Меня тоже дай работа. Это лодырь меня брат-от. Меня больше работал.

— Мне тоже дай работу. Этот мой брат лодырь. Я больше работал.

Меня мамка совсем помогал меня. Меня мамка-то там корова месте работал.

Я по-настоящему помогал своей матери. Моя-то мать возилась с коровой.

Это корова сегда молоко место помогает его, кұсает хорошо.

Эта корова, она всегда помогает молоком, (мы) хорошо питаемся.

Таараа, купец ругал, он говорит:

Вот (= услышав это), купец стал браниться, он говорит:

— *Что такой интересно? Тогда меня однако совсем душить будет это царь-то:*

— Что еще за выдумки? Ведь тогда царь совсем задушит (= накажет) меня:

«Почто так тебя ребята-то? Зачем туда пускает?»

«Почему это у тебя ребенок-то (работает)? Зачем (его) пускаешь (пускают) туда?»

Ну тут теперь-то серений парень-то плакал-то плакал:

Ну, тогда этот средний сын расплакался:

— *Ээ, дедушкаа, дайте мне работа, пожалуйста, дайте какой-нибудь работа.*

— О, дедушка, дай мне работу, пожалуйста, дай какую-нибудь работу.

Ну, тарик говорит... это купец говорит:

Ну, старик говорит... этот купец говорит:

— *Неее, ну ладно, надоелся, понимаат. Ну, тут помогай там, понимаат,*

— Ох, ну ладно, надоел, понимаешь. Ну, тогда помогай там, понимаешь,

отец брат помогай. Месте работай один кучей.

отцу и брату помогай. Вместе работайте одной артелью.

Ну, конечно, целый день наработали. Вечером шесть часов стал. Ну,

Ну, конечно, они проработали целый день. Наступило шесть часов вечера. Ну,

мастер пришел, мастер парараб иңээ:

мастер пришел, мастер ли, прораб ли:

— *Ну, де работал?*

— Ну, где работали?

— *Тут, тут. Ну, шесть часов. Договор договорил се-таки меня — шесть*

— Вот, вот. Ну, шесть часов. Я все-таки договорился — (когда будет) шесть

часов тут падерка таскать.

часов, тогда приносить документ (о сделанной работе).

Ну, тарик-то ушел, батрак-то, падерка таскал. Там-то сел-да, падерка

Ну, старик-батрак ушел, понес документ. Пришел туда, отдал документ

давал купец место. Оу, купец пишет, потом смеется:

купцу. О, купец пишет (=считает), потом рассмеялся:

— *Батрак, тебя какой люди, интересно! Тебя век один рубль получил.*

— Батрак, что ты за человек, странно! Ты все время получаешь один рубль.

Это торой парень-то два рубля век тоже. Это малаший парень-то,

Этот второй сын тоже все время два рубля. (А) этот младший сын,

который серений, три рубля получал. Тебя всего шесть рублей получили,

который средний, получил три рубля. Всего ты получил шесть рублей,

се золотой меня такой деньги дам. Так, три рубля малаший-то.

я дам все такие золотые деньги. Так, младший-то (заработал) три рубля.

[Рассказчик обращается к слушателям:

Такой тебя ум нашел бы? Однако нет. Это язык не деланный, это самый Ты бы такое смог придумать? Явно нет. Этот разговор не придуман, эта сказка

натуре казку. Еще переди интересно-то десь.

(= история) самая натуральная (= подлинная). Еще впереди здесь будет интересно.]

Теперя тут это серений парень-то говорит:

Тогда этот-то средний сын говорит:

— Оу, отец, меня одежда будем брать.

— Эй, отец, давай купим мне одежду.

Ну, там, taaraa, магазин место зашел. Taharaa, се җити — телогрейка

Ну, после этого (они) зашли в магазин. Вот, все как следует — маленькая

маленький, рукавиц, шапка, буруки иҗәә, валенки совсем новый. Оу, телогрейка, рукавицы, шапка, брюки и все прочее, совсем новые валенки. О, (он)

оделся магазин место, җапиә прямо такой стал. Ну, товар брали — оделся в магазине, прямо настоящим таким (красавцем) стал. Ну, купили товары —

ну, шесть рублей много, се золотой деньги.

ведь шесть рублей, все золотом, это много.

КОРРЕЛЯЦИЯ ПО ПАЛАТАЛИЗАЦИИ И ПАДЕНИЕ РЕДУЦИРОВАННЫХ: СЛАВЯНСКО-САМОДИЙСКАЯ АНАЛОГИЯ*

Хотя системы с дистинктивной мягкостью согласных имеют почти универсальное распространение в евразийском языковом ареале [Якобсон 1931], ненецкий консонантизм обращает на себя в этом аспекте особое внимание сходством с восточно- и западнославянскими системами, в первую очередь с русской. Сходство это, которое, кстати, обеспечивает ненецкой графике экономичность и относительно высокую адекватность в сравнении с графическими системами многих других младописьменных языков, строящихся на основе русского алфавита, уже отмечалось [Вийтсо 1971; Терентьев 1977: 199]. Цель данной заметки — показать, что синхронная аналогия порождена чрезвычайным подобием (вплоть до полного тождества) праславянско-древнерусских и прасеверносамодийско-древнененецких процессов фонетического развития¹ и что ненецкий представляет собой интересное дополнение к перечню языков, привлекавшихся славистами в качестве историко-типологических аналогов (ср. [Martinet 1952, 1958; Shevelov, Chew 1969; Чекман 1979]).

Система фонем современного ненецкого языка (тундровый диалект) имеет следующий состав:

Консонантизм:					Вокализм:		
<i>p</i>	<i>p̣</i>	<i>t</i>	<i>ṭ</i>	<i>k</i>	<i>ʔ</i>	<i>i</i>	<i>u</i>
<i>b</i>	<i>ḅ</i>	<i>d</i>	<i>ḍ</i>			<i>e</i>	<i>o</i>
		<i>c</i>	<i>c̣</i>			<i>a</i>	
		<i>s</i>	<i>ṣ</i>	<i>χ</i>		<i>ã</i>	
<i>m</i>	<i>ṃ</i>	<i>n</i>	<i>ṇ</i>	<i>ŋ</i>		<i>ĩ</i>	<i>ũ</i>
		<i>l</i>	<i>ḷ</i>			<i>äɛ</i>	
		<i>r</i>	<i>ṛ</i>			<i>ā</i>	
<i>w</i>			<i>j</i>				

См. [Hajdú 1968: 22–24] (без разграничения оппозиций *a* : *ã* и *ā* : *a*) и др.²

* Впервые опубликовано как часть статьи «Две заметки о славянско-самодийских аналогиях» // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984. С. 114–123.

¹ О сходстве одного из таких процессов (*C̣Ṿ > CṾ*) в ненецком и русском языках упоминал ранее Ю. Янхунен [Janhunen 1975–1976: 186].

² Этой — ныне наиболее распространенной — трактовке ненецкой фонологии противостоит описание, в котором корреляция согласных по палатализации в позиции перед гласными (но не в конце слов) устраняется за счет удвоения количества гласных в системе [Collinder 1957: 423–426]. Основанием служит при этом наличие у гласных фонетиче-

Заслуживают внимания такие важные проявления параллелизма с современной русской фонологической системой, как: охват корреляцией по палатализации подавляющего большинства согласных фонем (при наличии нескольких непарных твердых и мягких); противопоставленность твердых и мягких согласных в положении перед гласными и в конце слов при сильной тенденции к нейтрализации оппозиции в положении перед согласными; существование наиболее значительной лакуны, связанной с отсутствием палатализованных велярных, и даже наличие тенденции к заполнению этой лакуны³; наконец, возможность альтернативной интерпретации *i* (ы) — как аллофона /i/ в положении после твердых согласных или как самостоятельной фонемы⁴. Перечень сходств можно было бы продолжить, обратившись к отдельным явлениям вторичного характера (так, в части восточных ненецких говоров переход $\acute{c} > \acute{c}'$ создал систему с непарной твердой /c/ и непарной мягкой /č/!).

Фонологическая система ненецкого языка представляет собой результат трансформации прасеверносамодийской (ПСС) системы фонем, впервые убедительно реконструированной Ю. Янхуненом ([Janhunen 1975–1976]; см. также [SW; Хелимский 1978a]) и обладавшей почти вдвое более богатым вокализмом и почти вдвое более бедным консонантизмом:

Консонантизм:				Вокализм (без дифтонгов):			
*p	*t		*k	*i	*ü	*j	*u
	*s			*e	*ö	*e	*o
*m	*n	*ñ	*ŋ	*ä		*a	
	*l	*l'					
*w	*r	*j				*ə ⁵	

ской упрежденности в положении после мягких согласных, откуда возможность интерпретации противопоставленных сегментов типа [tā]: [ta] как /tā/: /ta/ или как /tā/: /ta/. Нетрудно видеть, что подход Б. Коллиндера близок той «стихийной» фонологии, которая господствует в сознании грамотных, но не обладающих лингвистическими познаниями носителей русского языка (восприятие я, ю как особых «звуков» и т. п.). О соотношении двух моделей описания ненецкой фонологии см. [Wickman 1960], а также [Viitso 1970] — в последней работе рассматривается и третья модель, трактующая смягчение согласных и упрежденность гласных как проявление фонологического йота ([tā] = /tja/); будучи наиболее экономной, такая модель не соответствует, однако, никакой современной или исторической реальности. <Новейшие трактовки фонологии ненецкого языка (которые остаются, однако, вполне совместимыми с концепциями данной статьи) отражены в [Janhunen 1986; Salminen 1997].>

³ Фонологически уникальное слово $\acute{x}$ ba 'кто' (и его дериваты), противопоставленное многочисленным словам с $\acute{x}i$ - = /χi-/, содержит, согласно интерпретации В. А. Терентьева [1977], фонему /χ/.

⁴ В ряде описаний *i*, а также *e*, выделены в качестве особых фонем. Наиболее весомым аргументом в пользу фонологической самостоятельности *i* является, вероятно, правило, согласно которому за интервокальным $\acute{x}$ повторяется предшествующий ему гласный, причем орфографические *и* и *ы* в этих случаях различаются (сихина 'в дыре', но нэсыхина 'в стойбище'; ср. иное положение в случаях типа тохона 'в озере' — сэхона 'в горле'). Ср. известные расхождения между МФШ и ЛФШ по вопросу о фонемном статусе *ы* в русском языке.

⁵ По-видимому, систему дополнял сверхкраткий передний гласный *ə (парный с *ä). Он реконструируется на основе относительно редких и не учтенных Ю. Янхуненом соот-

Становление корреляции по палатализации в ненецком языке обусловлено регулярной заменой дистинктивности по ряду у гласных на дистинктивность по палатализации у согласных: нен. *má* 'чум' < ПСС **māi* — ср. нен. *ma* 'пазуха' < ПСС **mas*; нен. *tida* 'младший брат матери' < ПСС **tiä* — ср. нен. *tija* 'узкий' < ПСС **tija*.

Тенденция к палатализации согласных перед гласными переднего ряда характерна, вообще говоря, и для двух других северносамодийских языков — энецкого и нганасанского. Здесь следует, однако, разграничивать несколько хронологически различных процессов.

1) Палатализация **k* перед **i* с дальнейшим развитием **k* > **š* произошла еще на ПСС уровне: нен. *šida* 'два', эн. *šide*, нган. *šiti* < ПСС **šite* < ПС **kite* (ср. тайг. *kidde*). Будет достаточно естественным, заимствуя готовый термин из славистики, обозначить этот процесс как первую палатализацию веларных.

2) Палатализация **k* и **ŋ* перед прочими гласными переднего ряда с дальнейшим развитием **k* > **š*, **ŋ* > нен. *ń*, эн. *n* или $\emptyset$ охватила ненецкий и энецкий языки, но не затронула нганасанский: нен. *šu* 'пуп', эн. *šu*, нган. *kiŋ* ~ *kiij* < ПСС **kūŋ*; нен. *ńa* 'рот', эн. Л *na*, Т *e*, нган. *ŋaŋ* < ПСС **ŋāŋ*. Налицо аналогия со второй славянской палатализацией веларных (пра-, но не общеславянской⁶ — ср. ее отсутствие в древненовгородском диалекте, см. [Зализняк 1982]).

3) В нганасанском языке наблюдается смягчение дентальных перед рефlekсами некоторых ПСС передних гласных: нган. *téta* 'четыре' < ПСС **tetiä*, ср. также нен. *tet*. Этот процесс не может, однако, быть генетически идентичен аналогичному процессу в ненецком языке, поскольку в нганасанском ему безусловно предшествовала ассимиляция **e* и **i* гласным следующего слога (в частности, ПСС **-e-a-* > **-ä-a-* > нган. *-a-u-*, ПСС **-i-ä-* > **-e-e-* > нган. **-e-ē-*, позднее **-i-i-*), воспрепятствовавшая смягчению дентальных; ненецкому языку такая ассимиляция совершенно неизвестна: нган. *saŋku* 'колокольчик' < ПСС **seŋka* (ср. нен. *šengga*); нган. *tijj-da* 'младший брат матери' < ПСС **tiä* (ср. нен. *tida*).

4) Высказано предположение [Janhunen 1975–1976: 178] о том, что развитие типа *CV* > *ŠV* произошло в общем ненецко-энецком праязыке, однако впоследствии мягкость была энецким языком в основном утрачена, сохранившись главным образом у дентальных перед *i* (**i*) и *u* (**ü*), ср. эн. *turo* 'посох' < ПСС **iürä*, *tudo* 'лыжа' < ПСС **tutä*; *ši* 'подобие' < ПСС **šit*; *si* 'соль' < ПСС **ser*. Такое предположение подсказывается теми обстоятельствами, что: а) для энецкого языка, как и для ненецкого, характерна попарная нейтрализация в большинстве позиций некоторых разнорядных ПСС гласных (**i*, **i* > *i*; **ü*, **u* > *u*; **ö*, **o* > *o*), дополненная устранением из системы **ä* (> *e*) и **ē* (> *i*, *u*); б) в нем имело место отверждение «первично мягкого» ПСС **ń*.

Тем не менее данная гипотеза Ю. Янхунена не может быть принята (во всяком случае, в ее строго фонологическом истолковании, т. е. при постулировании в «праненецко-энецком» вдвое расширившейся по сравнению с предыдущим состоянием системы согласных и вдвое сократившейся системы гласных фонем).

ветствий нен. *'e*: эн. *o* (~ *e*), ср. нен. Л *ńēŋwa* 'сон': эн. Т *eta*, Л *nota*. В селькупском языке, по крайней мере в части таких случаев, выступает *ä* (т. е. тот же рефлекс, что и при ПС **ä*), см. [Терентьев 1982: 190]. <К реконструкции ПС **ä* см. [Хелимский 1993]>

⁶ К разграничению терминов см.: [Хелимский 1982a: 26–27].

Дело в том, что при «праненецко-энецком» развитии $\acute{C}\ddot{V} > \acute{C}V$ следовало бы ожидать отражения $*\acute{C}\ddot{a}$ как $*\acute{C}a$ и далее, с утратой мягкости, как эн. *Ca*. В действительности же $*\acute{C}\ddot{a}$ всегда дает эн. *Se*, ср., например, эн. *neχu* 'три' < ПСС $*\acute{n}\acute{a}kur$ (ср. нен. *ñaxär*⁷). Этому аргументу можно было бы противопоставить допущение о том, что энецкой депалатализации предшествовало развитие $a > e$ после мягких согласных (т. е. $*\acute{n}\acute{a}kur > *\acute{n}\acute{a}χur > *\acute{n}eχur > neχu$). Но такое развитие неизвестно тем энецким словам, которые содержат исходный, «первично мягкий» $*\acute{n}$, ср. эн. *naba* 'темя' < ПСС $*\acute{n}ampra$ (ср. нен. *ñamba*) — это доказывает, что перехода $*\acute{n}a > *\acute{n}e$ в истории энецкого языка не было.

Здесь, по сути дела, нами использованы те же соображения, которые препятствуют квалификации палатализации согласных как общеславянского процесса. Как известно, утрата различий в таких вокалических парах, как $y : i$, $\ddot{y} : \ddot{y}$, не свидетельствует о том, что в сербскохорватско-словенской диалектной зоне возникла (а потом снова утратилась) корреляция согласных по палатализации, поскольку соответствующие языки четко различают слав. $*n$, $*l$ (перед передним гласным) и слав. $*\acute{n}$ ($*nj$), $*l'$ ($*lj$), ср. срхв. *низ* : *ньива*, *не* : *к њему*, *лан* : *воља*, *дан* : *коњ*, словен. *niz* : *njiva*, *ne* : *k njemu*, *lan* : *volja*, *dan* : *konj* [Jakobson 1929: 69].

Еще одно теоретически мыслимое допущение — о существовании в «праненецко-энецком» трех ступеней палатализации ($*\acute{C}$; $*\acute{C}$ при «вторичной мягкости» например в *näkur* 'три'; $*\acute{C}$ при «первичной мягкости», например в $*\acute{n}ampra$ 'темя')⁷ — выглядит фонологически и фонетически маловероятным. Кроме того, трудно предполагать, чтобы $*a$ мог развиваться в эн. *e* после слабо смягченного $*\acute{C}$, но не после мягкого $*\acute{C}$.

Как видно из рассмотренных данных нганасанского и энецкого языков, в них также имелись фонетические предпосылки для появления корреляции согласных по палатализации, однако соответствующая тенденция реализовалась в них лишь фрагментарно. Всеобъемлющий характер эта корреляция приобрела только в ненецком языке. Аналогия со славянским развитием позволяет выявить тот фактор, который сыграл решающую роль в фонологизации смягченных согласных и радикальной перестройке фонологической системы. Речь идет о частичной утрате сверхкратких гласных $*\acute{a}$ (и $*\ddot{a}$) и гласных верхнего подъема $*i$, $*\ddot{u}$, $*i$, $*u$ в непрерывных слогах, иначе говоря, о падении редуцированных — процессе, который из всех северносамодийских языков наблюдается только в ненецком⁸.

На фоне всего комплекса упомянутых выше славянско-самодийских аналогий уже вряд ли может вызвать удивление то обстоятельство, что этот процесс в целом хорошо описывается классическим «правилом Гавлика»: перечисленные гласные сохраняются под ударением, т. е. в первом слоге, всегда, а в безударной

⁷ Ср. возможность интерпретации некоторых фактов древнерусской орфографии как отражения подобной трюичной оппозиции, по крайней мере на фонетическом уровне [Васильев 1913; Jakobson 1929: 68–69].

⁸ С учетом историко-типологических наблюдений В. Н. Чекмана [1979: 180–184] можно предполагать, что промежуточным этапом между сокращением гласных верхнего подъема и их частичной утратой явилась централизация, сблизившая эти гласные с $*\acute{a}$ (а $*i$ и $*\ddot{u}$ — с $*\ddot{a}$, если последний еще сохранялся, см. сноску 5). Такое предположение подтверждается наличием $\acute{a}$ -образных (т. е. отражающих $*\acute{a}$) рефлексов гласных верхнего подъема в позициях, где редукции воспрепятствовала перспектива появления труднопроизносимых сочетаний согласных (ср. нен. *ñaxär* 'три' < ПСС $*\acute{n}\acute{a}kur$).

позиции, т. е. в непервых слогах, — перед другим (утрачиваемым) редуцированным гласным⁹. Вот некоторые примеры, иллюстрирующие данный процесс:

- нен. *meñuj* 'полная луна' < ПСС **menüjā*, ср. эн. *menio*;
 нен. *sāmbļang* 'пять' < ПСС **sāmpāl'āṅkā*, ср. нган. *sāṅhal'aṅkā*;
 нен. *serād* 'голод' < ПСС **serātā*, ср. эн. *sirōdo*;
 нен. *šudbāpc* 'сказание' < ПСС **sūtāpipsu*, ср. эн. *šudobitū*;
 нен. *tāl'ma* 'крышка' < ПСС **tāl'āTma*, ср. эн. *toru'a*;
 нен. *tāñād* 'летняя обувь' < ПСС **tāñāti*, ср. эн. *tōdi*, нган. *tāñādaa*;
 нен. *χāewdār* 'борт нарты' < ПСС **kājwāter*, ср. эн. *kōde*;
 нен. *warti* 'мизинец' < ПСС **warātūiā*, ср. эн. *baroti*.

Принципиально важными являются случаи, когда утрата *i (вероятно, также *ü, хотя надежных примеров этого рода нет) оставляла позиционно смягченный согласный в ауслаутной или преконсонантной позиции:

- нен. Т *piś*?, Л *piś* 'смех' < ПСС **pisi(N)*, ср. нган. *hidī* (: нен. *piś* 'покрывала женской нарты (Gen)' < ПСС **pišān*, ср. эн. *pieso*?);
 нен. *sāpc* 'плевок' < ПСС **sāpsi*, ср. эн. *sotī* (: нен. *jepc* 'колыбель' < ПСС **l'epsā*, ср. нган. *lapsā*);
 нен. *χāmd* 'обрыв' < ПСС **kāmti*, ср. эн. *kodi* (: нен. *hāmd* 'рог' < ПСС **hāmtā*, ср. нган. *hāmtā*);
 нен. *χāñ* 'иней' < ПСС **kāntiñ*, ср. эн. *kodi*? (: нен. *χāñ* 'нарты (Gen)' < ПСС **kāntān*, ср. нган. *kāndā*).

В части случаев (после губных, перед рядом согласных) палатализации на месте утраченного *i не обнаруживается; это может быть результатом автоматической депалатализации (одновременно с утратой *i) или более позднего отвердения, ср. отвердение ауслаутных губных согласных в русских говорах [Борковский, Кузнецов 1963: 117–119] и ряд аналогичных явлений в славянских языках. В других случаях палатализация представлена не во всех ненецких диалектах: нен. Т *jun*, Л *diñ* 'известие' < ПСС **ūnti*, ср. эн. *udi* (детальный анализ подобных колебаний сильно затруднен неполнотой диалектного материала).

Представляется, что есть все основания экстраполировать применительно к ненецкому языку концепцию генезиса мягкости в славянских языках, развитую в фонологических терминах Р. Якобсоном [Jakobson 1929: 57 ff.]. Очевидно, первым, относящимся еще к ПСС эпохе этапом развития явилось чисто позиционное и, вероятно, не всегда и не во всех ПСС диалектах облигаторное смягчение согласных перед гласными переднего ряда. В случае с заднеязычными согласными (*k, отчасти *ŋ) — наиболее чувствительными, как показывает типология, к ак-

⁹ Процессы редукции, описываемые «правилом Гавлика» или сходной с ним системой закономерностей, наблюдались в истории ряда языков (см. [Чекман 1979: 205–206]). Ненецкий материал, не использовавшийся В. Н. Чекманом, хорошо укладывается в построенную им схему закономерностей редукционного процесса и, в частности, дополнительно подтверждает претензии правила «редукция двух подряд кратких гласных не допускается» на статус типологической универсалии. <По-видимому, более адекватно ненецкий вариант «правила Гавлика» описывается формулировкой Т. Салминена: полная редукция происходит в конечных слогах и в четных слогах, не предшествующих слогу с полностью редуцируемым гласным; редуцированный гласный сохраняется в неконечных нечетных слогах и в слогах, предшествующих слогу с полностью редуцируемым гласным [Salminen 1997: 41].>

комод
 вело к
 словив
 сти у
 призна
 менен
 в котс
 рующ
 нецко
 ление
 чески
 Ко
 и дру
 хотя с
 письм
 сам).
 взаим
 зации
 напри
 С
 темы
 яввш
 (стар
 какоі
 ляюі
 проя
 фоне
 мент
 исто

пре:
 где:
 [Оч

комодационному воздействию гласных — это позиционное смягчение рано привело к процессам, обозначенным выше как первая и вторая палатализация и обусловившим отсутствие в ненецком языке, как и в русском, корреляции по мягкости у велярных. В целом же дублирование согласными одного из фонетических признаков последующего гласного долго не вело ни к каким кардинальным изменениям системы, хотя, возможно, существовали произносительные варианты, в которых основную дистинктивную нагрузку нес именно вторичный, дублирующий признак — палатализация согласного¹⁰. Импульсом к перестройке в ненецком языке явилось падение редуцированных гласных и, как следствие, появление таких позиций, где различие согласных по твердости — мягкости, фонетически существовавшее и ранее, имело автономную фонологическую значимость.

Конечно, самодийский материал допускает с большим или меньшим успехом и другие интерпретации, но так же обстоит дело и со славянским материалом, хотя он исследован диахронически несравненно полнее (не говоря уже о наличии письменных памятников, практически синхронных соответствующим процессам). Представляется, тем не менее, что он типологически верифицирует наличие взаимосвязи между двумя процессами — становлением корреляции по палатализации и падением редуцированных (что иногда в славистике оспаривалось — см., например [Koschmieder 1958]).

Следует отметить особенность прасеверносамодийско-древнененецкой системы в сравнении с праславянской и некоторыми другими системами, сопоставлявшимися с ней и прошедшими отчасти сходную диахроническую перестройку (старофранцузской [Martinet 1952], японской [Shevelov, Chew 1969]): здесь ни в какой момент не действовал закон открытых слогов, т. е. закономерность, позволяющая трактовать славянскую палатализацию (на фонетическом уровне) как проявление слогового сингармонизма [Jakobson 1929] или в терминах «группофонем» [Журавлев 1966]. Вероятно, специфически тесная спаянность обоих элементов в рамках двухфонемного слога не является необходимой предпосылкой историко-фонетического развития славянского типа.

¹⁰ Ср. свободное варьирование фонетических сегментов [rā], [r̄ā] и [r̄a] в качестве репрезентантов последовательности фонем /rā/ в тазовском диалекте селькупского языка, где, вообще говоря, /a/ и /ā/ — разные фонемы, тогда как фонемы /r̄/ не существует [ОчСЯ: 132].

FENNO-UGRICA В «ЯТВЯЖСКОМ» СЛОВАРИКЕ.*

Несколько слов в «ятвяжском» словаре, опубликованном З. Зинкявичюсом [1984; Zinkevičius 1985], находят весьма близкие соответствия в финно-угорских языках.

1. *wal* 'было'. Эта неожиданная форма (ср. легко объяснимую форму футура: *bus* 'буду') совпадает с претеритальной основой глагола бытия в ряде ф.-у. языков — венг. (устар.) *val-a* 'был', коми *vel-i*, удм. *val* (диал. *vaу*), фин. *ol-i*, ПФУ **wol-* (ср. основу презенса: венг. *van* 'есть', удм. *vañ*, фин. *on*, ПФУ **wol*).

2. *fala* 'мясо'. Если отказаться от проблематичного отождествления с латыш. *gaļa* (Зинкявичюс) то допустимо сравнение с ПФУ **paļa* 'кусоч (чего-либо съестного)' (фин. *pala*, манс. **pūl*, хант. **puļ*) с вторичным семантическим развитием в морд. М *pal* 'мясо'. Развитие **p- > f-* характерно только для венгерского языка, где имеются производное *falat* 'кусоч (чего-либо съестного)' и глагол *fal* 'пожирать'. Таким образом, в «ятвяжском» слове как бы совмещены венгерская фонетика и мордовская семантика.

3. *alm* 'яблоко'. Не вызывает сомнений связь с общетюрк. (Кăшĕ, чаг., тат. и т. д.) *alma* 'яблоко', откуда и венг. *alma*. Гораздо более далеки возможные соответствия того же миграционного термина, неоднократно привлекавшего внимание этимологов, в и.-е. (слав. **ablŭ/o*, герм. **apl-*, лат. *mālum*, греч. *μήλον*) и ф.-у. (фин. *omena*, лив. *utār*, морд. *umar*) языках.

4. *chad* 'дом'. Предположение З. Зинкявичюса о заимствовании из пол. *chaia* встречает известные трудности. Примечательна близость к иранским названиям дома (авест. *kata-*, перс. *kad*, ягноб. *kat*), широко представленным в виде заимствований в ф.-у. языках — фин. *kota* ('хижина'), морд. Э *kudo* ('дом'), морд. М *kud* и т. д. «Ятвяжской» форме особенно близко правенг. **xāð*, откуда венг. *ház* 'дом'.

5. *mard* 'человек'. В этом случае, как и в предыдущем, напрашивается сопоставление с индо-иранскими и иранскими обозначениями человека, смертного (авест. *mar³ta-*, пехл. перс. *mard*; скр. *mṛtāh*, *mārtah*), также заимствованными рядом ф.-у. языков (и.-ир. **mṛtas >* коми *mort* 'человек', удм. *murt*, морд. М *mirdē* 'муж'; и.-ир. *martas >* фин. *marras/marta-* 'умирающий; покойник; мужской'; в венгерском не представлено).

6. *ajki* 'время'. Если это «ятвяжское» слово (~ лит. *laikas*?) имеет прабалтийскую древность, то, по-видимому, балтийским заимствованием должно быть

* Впервые опубликовано в: Tarptautini baltistų konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius. 1985. S. 234–235. Ср. также: Орол В. Э., Хелимский Е. А. Наблюдения над балтийским языком польско-«ятвяжского» словарика // Балто-славянские исследования 1985. М. 1987. С. 121–134.

признано ПФ **ajka* 'время' (фин. *aika*, эст. *aeg*). До сих пор происхождение этого ПФ слова признавалось неясным (высказывавшееся предположение о заимствовании из герм. **aiwa-*, **aiwi-* 'вечность, время' встречает фонетические трудности).

7. *dumo* 'темно'. Фиксация этого слова (~ латыш. *dūms* 'темно-красный, темно-серый', далее к и.-е. **dhūmos* 'дым') позволяет поставить вопрос о балтийском происхождении ПФ **tum-*: фин. *tumma* (диал. *tymmä*) 'темный', *tummentaa* 'затемнить', *tumea* 'сумрачный, пасмурный' (вероятно, результат контаминации с исконным *sumea* 'тусклый, мрачный, туманный'). Отсутствие основы **tum-* в других уральских языках делает версию о ее ностратическом происхождении (~ и.-е. **tem(H)-* 'темный', кушит. **twm* [Иллич-Свитыч 1967: 368]) недостаточно надежной.

8. *lausā* 'воля'. Очевидно, слово является ранним германским заимствованием, ср. герм. **lausaz* 'свободный' (этимология В. Э. Орла). Если допустить, что *lausā* (или однокоренные формы) могло употребляться применительно к словесному волеизъявлению, то к нему могут восходить фин. *lausua* 'изречь, произнести', *lausia* 'заклинать, заговаривать', эст. *lausuda* 'сказать, заклинать', *laus* (ген. -*su*) 'заклинание, заговор'.

9. *sula* 'дыра'. Ср. фин. *sula* 'полынь' (вместе с *sulaa* 'таять' восходит к ПФУ **sula-* 'таять'). Ввиду существенного расхождения в значениях данное сближение представляется наименее достоверным в представленном перечне.

В том случае, если дальнейшие исследования позволят все же квалифицировать «ятвяжский» словарь как талантливую фальсификацию, процитированные ф.-у. параллели должны рассматриваться как источники фальсифицированных форм. Если же (как хочется надеяться) перед нами действительно уникальный памятник неизвестного балтийского языка, то соответствия 1–5 (особенно 1–3) дают основания предположить, что этот язык испытал интенсивное воздействие какого-то финно-угорского языка, скорее всего — венгерского (правенгерского).

ИЗУЧЕНИЕ РАННИХ СЛАВЯНО-ВЕНГЕРСКИХ ЯЗЫКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

(Материалы и интерпретации.

Вопрос об этноязыковых контактах венгров
с восточными славянами)*

Проблематика славянских заимствований венгерского языка (далее СЗ), традиционно являющаяся центральной темой венгерской славистики и в то же время пользующаяся несомненным (хотя и ограниченным) вниманием исследователей в других странах, представляет собой не только важное направление научных разысканий, но и интересный «полигон» для апробации и усовершенствования методов историко-языкового и этимологического исследования, как и для отработки схем взаимодействия лингвистики с археологией, историей, исторической демографией, историей материальной и духовной культуры. Обширный и в основном надежный, но в то же время достаточно сложный фактический материал, накопленный при изучении СЗ, стал объектом ряда интерпретаций, расходящихся между собой в принципе или в существенных деталях. В течение многих лет в более или менее острой форме велась полемика между лингвистами и историками, между венгерскими славистами и их коллегами из славянских стран, между исследователями, придающими значение возможному общественно-политическому резонансу своих работ, и теми, кто признает соображения подобного рода вненаучными. И если даже в последние десятилетия, после смерти основных оппонентов (Я. Мелиха, И. Книежи, Э. Моора, словацкого ученого Я. Станислава, югослава И. Поповича) открытые дискуссии почти прекратились, то различия в подходах и трактовках у сторонников разных концепций сохранились и в некоторых аспектах даже углубились.

Различия касаются главным образом вопросов об источниках, датировке и характере раннего слоя СЗ — многих сотен (по различным оценкам, от 300–400 до 600–650) слов славянского происхождения, прочно вошедших в словарный фонд венгерского языка и значительной своей частью представленных уже в языковых памятниках старовенгерского периода (X–XV вв.), а также славянских топонимов на территории с ныне венгерским населением, зафиксированных в тот же период. В дальнейшем, говоря о СЗ, мы будем иметь в виду именно этот ранний слой, отвлекаясь от присутствия в венгерском языке и его диалектах многочис-

* Впервые опубликовано в: Славяноведение и балканистика в странах Зарубежной Европы и США. М., 1989. С. 184–198.

ленн
ских
прос
но ст
И
держ
ку ма
отно:
но-ве
венге
венге
циал
русси
Необ
факт
при
П
клош
не в
из 95
сход
верх
тигл
редь
пода
«нел
ком с
пен н
сил
В
ские
ко, и
ной п
и изд
ческ
труд
моно
вянск
этой
382 п
точн
1 С
И. Кн
[Kiss
2 С
1956;

ленных более поздних сербохорватских, словацких, чешских, украинских, русских и других заимствований из славянских языков. С решением этих главных вопросов связано и освещение истории славяно-венгерских этнических связей, обычно строящееся на основе или по крайней мере с учетом лингвистических данных.

Изложение и оценка соответствующих концепций составляют основное содержание предлагаемого обзора (который включает в себя общую характеристику материала и рассмотрение проблемы восточнославянско-венгерских языковых отношений). Что касается самой истории изучения СЗ и других аспектов славяно-венгерских языковых отношений — в частности, таких существенных, как венгерское влияние на славянские языки или воздействие славянских языков на венгерский за пределами лексической сферы, — то она рассмотрена в ряде специальных работ¹, в том числе (и очень подробно) в монографии А. М. Рота на русском языке [Рот 1973], а поэтому в основном оставлена за рамками обзора. Необходимо, однако, хотя бы вкратце охарактеризовать основные источники фактического материала по СЗ, ценность которых не ставится под сомнение ни при каких конкурирующих интерпретациях данного материала.

Первой квалифицированной научной презентацией СЗ явился труд Фр. Миклошича (1813–1891) «Die slavischen Elemente im Magyarischen», изданный в Вене в 1871 г. (2-е изд. — 1884) и построенный в форме этимологического словаря из 956 статей. Фр. Миклошич смог соотнести делавшиеся до него наблюдения о сходстве венгерских и славянских слов, обычно разрозненные и довольно поверхностные², с теми результатами, которых во второй половине XIX века достигло славянское сравнительно-историческое языкознание, не в последнюю очередь благодаря самому Миклошичу. Если даже из-за некоторой небрежности в подаче этимологического материала этот словарь, по мнению Л. Хадровича, «нельзя причислить к самым удачным творениям великого мастера», то, во всяком случае, он был составлен «на таком высоком уровне, который не был доступен никому из венгерских современников» Миклошича и «оказал исключительно сильное стимулирующее влияние на языкознание в Венгрии» [Hadrovics 1960: 2].

Выдающихся результатов в разработке многих этимологий достигли венгерские слависты О. Ашбот (1852–1920) и Я. Мелих (1872–1963). Поскольку, однако, их обобщающие труды с подробным анализом СЗ (и довольно острой взаимной полемикой) [Melich 1903–1905; Asbóth 1907] остались незавершенными, как и издававшийся Я. Мелихом совместно с З. Гомбоцом «Венгерский этимологический словарь» [Gombocz, Melich 1914–1944], то свое практическое значение труд Фр. Миклошича утратил лишь с выходом в 1955 г. в Будапеште двухтомной монографии И. Книежи (1898–1965) «A magyar nyelv szláv jövevényszavai» («Славянские заимствования венгерского языка»; 2-е изд. — 1974). На 1044 страницах этой работы изложены 2062 венгерско-славянские этимологии (1252 надежные, 382 проблематичные — это в основном лексика, восходящая к неславянским источникам, но, возможно, проникавшая в венгерский язык через славянское по-

¹ См., например, [Hadrovics 1960]. Деятельность двух крупнейших исследователей, И. Книежи и Я. Мелиха, освещена в широком историографическом контексте в работах [Kiss 1968, 1973].

² Специально о ранних (до второй половины XIX в.) исследованиях см.: [Gáldi 1955, 1956; Fried 1964].

средство — и 428 отвергаемых автором). Исключительно высокий уровень этимологического анализа у И. Книежи обеспечен тщательным учетом как славянских данных, так и фактов истории, диалектологии и исторической орфографии венгерского языка. Пожалуй, единственный упрек, который можно адресовать автору — то, что историко-фонетические критерии, на которые он опирался в своем этимологическом анализе, в большинстве случаев недостаточно эксплицированы в словарных статьях: как показал дальнейший опыт разработки проблемы, эти критерии, достаточно очевидные для Книежи, нередко оставались непонятыми и игнорировались. К сожалению, не были осуществлены ни намерение автора дополнить словарь томами с развернутым историко-языковым и культурно-историческим комментарием, ни проект издания книги в немецком переводе, который сделал бы ее более доступной для славистов.

За тридцатилетие, прошедшее после выхода в свет словаря И. Книежи, было предложено несколько десятков новых славяно-венгерских этимологий, в основном, впрочем, отражающих позднее славянское влияние на венгерский язык; особенно важны разыскания Л. Хадровича (1910–1997) и Л. Кишша (род. 1922)³. Часть новых результатов нашла отражение в трехтомном «Историко-этимологическом словаре венгерского языка» [TESz], «славянская» часть которого редактировалась Л. Кишшем; в целом при трактовке СЗ этот словарь, как правило, почти дословно следует И. Книеже.

Наряду с апеллятивной лексикой, раннее славянское влияние отражает венгерская топонимия славянского происхождения на территории Венгрии и исторически входивших в ее состав областей (Трансильвании, Словакии, Закарпатья, Войводины, Хорватии, Бургенланда). Обширный этимологический материал по топонимам служит основной опорой для этноисторических исследований Я. Мелиха по Венгрии эпохи Переселения⁴ ([Melich 1925–1929]; см. также полезную сводку материала этой сложной по построению работы: [Kniezsa 1933]), И. Книежи по Венгрии XI века [Kniezsa 1938a, 1938b], а также по Трансильвании и некоторым другим областям Восточной Венгрии [Kniezsa 1942a, 1942b, 1943], Я. Станислава по «Южной Словакии» эпохи средневековья, которую он фактически приравнивает к исторической Венгрии [Stanislav 1948], Э. Моора по средневековой Западной Венгрии [Moór 1936] и по бассейну Тисы [Moór 1930] (наряду с множеством более частных топонимических исследований названных выше и некоторых других авторов). Значительная часть этого материала охвачена «Этимологическим словарем географических названий» Л. Кишша [Kiss 1983]. Особенно богатым источником материала по топонимии эпохи Арпадов (895–1301 гг.) стали первые тома «Исторической географии Венгрии эпохи Арпадов» историка Д. Дьёрффи [Györffy 1963–], в которой нередко можно найти и этимологические комментарии к топонимам.

³ См., в частности: [Hadvics 1965; Kiss 1970; Hadvics 1975]. С новыми этимологическими предложениями выступали также Б. Шулан, Э. Урхеди, Ф. Грегор, А. Золтан и др.

⁴ Здесь и ниже этим термином обозначается происшедшее в последнем десятилетии IX в. переселение венгров в Карпатский бассейн и их расселение на современной этнической территории. Другие используемые в литературе на русском языке эквиваленты венг. *honfoglalás* (нем. *Landnahme*) представляются не вполне удачными из-за своей хунгароцентричности («обретение родины», «завоевание родины») или описательными и слишком громоздкими.

Во всех названных работах важнейшее место занимает рассмотрение топонимов славянского происхождения, что отражает удельный вес этих элементов венгерской топонимии. Разумеется, с учетом широко распространенной параллельной разноязычной топонимии в окраинных областях исторической Венгрии (специально о данном феномене см. [Knieszsa 1944]) важными источниками данных служат также исследования, сосредоточенные на анализе словацкой, трансильванско-румынской и трансильванско-немецкой топонимии; см., в частности: [Šmilauer 1932; Majtán 1972; Scheiner 1926; Libhart 1927; Suciú 1967–1968].

Не вызывает сомнения, что к числу ранних СЗ относятся и многие венгерские личные имена, причем не только собственно славянские по происхождению (как *László* из слав. *Ladislavъ*), но и восходящие в конечном счете к греко-латинским источникам (как *Vászoly* через слав. *Vasilъ*). К сожалению, неполная и во многом устаревшая работа Я. Мелиха [Melich 1903] остается единственным специальным изложением связанных с этим вопросов, хотя немало материала может быть почерпнуто даже из научно-популярного антропонимического словаря Я. Ладо [Ladó 1978].

Исторический фон, на котором разворачивались ранние славяно-венгерские языковые контакты, характеризуется в первых двух томах «Истории Венгрии», особенно в разделах, написанных Д. Дьёрффи [MT I–II], а также в многочисленных исследованиях по предыстории венгерского народа, Переселению и эпохе Арпадов (отчасти см. ссылки ниже). Следует заметить, что тенденция недооценивать роль контактов со славянами в истории венгерского народа и венгерского государства, возникшая в сложных политических условиях монархии Габсбургов и поддерживаемая в межвоенный период «идеологией туранизма», продолжает оказывать свое влияние на часть венгерских и зарубежных историков (см. в этой связи [MT II: 1637–1638]).

* * *

При освещении проблематики СЗ — как собственно лингвистической, так и исторической и историко-культурной — расхождения между концепциями отдельных исследователей проявлялись и проявляются главным образом в решении следующего цикла вопросов:

1. Могли ли иметь место языковые контакты между венграми и славянами (восточными) в период до Переселения, насколько интенсивными они были и какие венгерские слова могут квалифицироваться как восточнославянизмы?

2. Какова была языковая принадлежность славянского населения, с которым могли встретиться венгры в Паннонии и других частях занятой ими территории Карпатского бассейна?

3. Как накануне Переселения проходили в Карпатском бассейне границы распространения болгарского, сербского, хорватского, словенского, словацкого, древнерусского языков и насколько интенсивным было лексическое воздействие каждого из этих языков на венгерский язык в ранний период?

4. Было ли усвоение венгерским языком СЗ подчинено строгим фонетическим закономерностям и какова роль фонетических критериев в определении непосредственных источников СЗ?

5. Было ли усвоение венгерским языком отдельных тематических групп славянской лексики скоррелировано с направлениями культурного и экономического влияния и какова роль культурно-исторических критериев в определении непосредственных источников СЗ?

6. Каково происхождение многочисленных славянских элементов в венгерской христианской терминологии?

Анализ этого цикла вопросов (из которых в рамках настоящей публикации мы имеем возможность остановиться подробно только на первом) целесообразно предварить перечислением и общей характеристикой основных существующих версий о происхождении СЗ.

Специфическим ответом на первый из сформулированных вопросов выделяется восточнославянская версия, предполагающая, что значительная часть СЗ была усвоена венгерским языком еще до Переселения (см. о ней ниже).

Наиболее традиционное объяснение исходит из того, что ранний слой заимствований почерпнут венграми у ассимилированных ими славян Карпатского бассейна, а поэтому может быть обозначено как субстратная версия (хотя, по не вполне понятным автору обзора соображениям, исследователи обычно избегают пользоваться термином «субстрат» при рассмотрении проблематики славяно-венгерских языковых отношений). Данная версия представлена в ряде вариантов, различия между которыми настолько существенны, что позволяют квалифицировать их как самостоятельные версии.

Древнесловенская версия (Фр. Миклошич и другие исследователи) опиралась на теорию Е. Копитара о паннонско-каринтийском (словенском) происхождении церковнославянского языка (см. [Куркина 1981]) и поэтому предполагала, что источником СЗ явился диалект, особенно близкий языку древнейших памятников славянское письменности. Демонстрация В. Ягичем болгарской диалектной основы этих памятников повлекла за собой пересмотр (в частности, в работах О. Ашбота [Asbóth 1893, 1896]⁵) и в конечном счете практически полное забвение этой версии.

Словацкая версия (Я. Станислав, в менее радикальной форме ряд других словацких и чешских языковедов и историков) предполагает отождествление языка славянского населения Великой Моравии и Паннонии со словацким языком, откуда вытекает словацкое происхождение ранних славизмов венгерского языка. Позиции этой версии существенно ослабляются тем труднопроверяемым обстоятельством, что применительно к эпохе Переселения едва ли можно говорить о словацком языке (или даже о единой прасловацкой группе славянских диалектов): словацкий язык сложился в пределах границ венгерского государства при участии не только западнославянских (чешско-моравских и отчасти лехитских), но также южнославянских (среднесловацкий диалект) и в небольшой мере также восточнославянских (в восточнословацком диалекте) компонентов (см. [Horálek 1971; Krajčovič 1981]; ср. также развиваемую в этой монографии Р. Крайчовича миграционно-интеграционную теорию генезиса словацкого языка).

Болгарская версия основывается на мнении, что славянское население большей части исторической Венгрии (в Трансильвании, в Потисье и в Дунай-

⁵ О. Ашбот попытался совместить (в том числе и терминологически) идею древнесловенско-церковнославянского происхождения СЗ с теорией болгарского происхождения церковнославянского языка.

ско-Тисском междуречье) было болгарским, что весьма значительным было культурное влияние Болгарии на Венгрию Арпадов, и что в соответствии с этим большинство СЗ следует вывозить из болгарского языка. Эта версия, характерная для работ О. Ашбота [Asbóth 1900a; Ашбот 1902, 1908] и резко критиковавшаяся Я. Мелихом [Melich 1903–1905 I, 1909], постоянно присутствует в работах болгарских исследователей, а в последние годы интенсивно разрабатывается в Венгрии И. Тотом [1984a, 1984b; Tóth 1985].

Эту цепочку естественно дополняет сербохорватская версия, разрабатывавшаяся И. Поповичем [Popović 1961] и исходящая из идеи автохтонности сербохорватского языка и этноса на территории Паннонии.

Еще одна версия о характере славянского языкового субстрата, которая условно может быть обозначена как паннонская, исходит из невозможности проецирования на праславянский диалектный континуум IX–X вв. более поздних этноязыковых границ. Источником СЗ мог явиться диалект (или диалекты), не соотносимый напрямую ни с одним из современных славянских языков, хотя и совпадающий по ряду своих признаков с соседними словенскими и сербохорватскими диалектами, со среднесловацким диалектом словацкого языка. В различных формулировках эта версия присутствует в работах ряда славистов (см., например: [Бернштейн 1961; Birnbaum 1979; Иванов 1982]), она же положена в основу доклада автора данного обзора на X Международном съезде славистов, где рассмотрена возможность фонетической реконструкции особенностей субстратного панноно-славянского языка на материале СЗ [Хелимский 1988г].

Концепция, господствующая в венгерской славистике после работ Я. Мелиха (начиная с книги [Melich 1910a]; ср. также [Melich 1910b]), формально может быть обозначена как версия множественности источников СЗ, а по сути как адстратная версия. Она исходит из стремления в каждом конкретном случае, для каждого отдельного слова славянского происхождения в венгерском языке установить его непосредственный источник в одном из соседних славянских языков, используя с этой целью фонетические, лингвогеографические и культурно-исторические критерии. При этом перечень возможных языков-источников включает словацкий, чешский, словенский, (кайкавско-)хорватский, сербский, болгарский, древнерусский языки — но не те славянские диалекты, которые могли существовать в эпоху Переселения на территории самой Венгрии. Такое фактическое исключение субстратных источников характерно не только для исследователей, которые отрицали наличие значительных групп автохтонного славянского населения в центральных регионах Венгрии Арпадов (как сам Я. Мелих), но и для И. Книежи и Э. Моора, которые в ряде своих работ продемонстрировали на топонимическом материале повсеместное присутствие таких групп. Обоснованием адстратной версии служит, эксплицитно или имплицитно, представление о том, что проникновение СЗ скоррелировано с культурными, экономическими и политическими влияниями, которые исходили от «престижных» соседей-славян, а не от «непрестижных» автохтонных групп. Различия между вариантами адстратной версии касаются вопросов об источниках определенных тематических групп СЗ, а при исследовании топонимов — вопроса о границах предполагаемых ареалов славянской топонимии (словацкого, словенского, сербохорватского, болгарского, восточнославянского) на территории Венгрии.

Весьма любопытно, что адстратная версия, внешне беспристрастная и даже примиряющая друг с другом версии националистической окрашенности (словацкую, болгарскую, сербохорватскую), в момент своего возникновения имела вполне определенную политико-идеологическую подоплеку. Известно, что после публикации словаря Фр. Миклошича национальное чувство некоторых кругов венгерской общественности оказалось задето как самим фактом обнаружения громадного числа СЗ, так и неосторожным замечанием по поводу того, что славянам «действительно было чем поделиться со стоявшими на низшей ступени культуры мадьярами» [Miklosich 1884: 41]. Не случайно одним из откликов на этот словарь явилась публикация И. Халасом серии контрэтимологий с характерным заглавием «Отвоєванные венгерские слова» [Halász 1881–1883]. Последовавшие несколько десятилетий, вопреки усилиям таких фигур, как Е. Ягич и О. Ашбот, не смогли внедрить в венгерское общественное мнение сознание того, что научную проблему СЗ вряд ли целесообразно смешивать с текущими проблемами национальных отношений.

В 1910 г. Я. Мелих, до того придерживавшийся взглядов, достаточно близких к «паннонской версии» ([Melich 1903–1905 II]; здесь автор характеризует паннонских славян как «крестителей венгров»), ценой отказа от прежней точки зрения находит, как ему кажется, способ защитить достоинство нации. Этот способ — концепция множественности языков-источников СЗ: «Если со временем мы сумеем применительно к каждому из славянских слов нашего языка показать, из какого именно славянского языка оно происходит, то мы увидим, что хотя в совокупности славянское языковое влияние на наш язык достаточно велико, но влияние каждого отдельного славянского языка не более значительно, чем, например, древнетюркское или итальянское языковое влияние» [Melich 1910a: 31]. (Показательно, что и в дальнейшем Я. Мелих, развивая свою концепцию, был склонен даже видеть в своих прежних единомышленниках виновников национальной трагедии расчленения Венгрии: «Несчастьем стало то, что, ссылаясь на достигнутые Миклошичем результаты, враги венгерской нации подчеркивали, что важнейшую часть своей культуры венгры заимствовали от славян. Влияние этой трактовки мы испытали в полной мере в связи с диктатом Трианонского мира, и в первую очередь со стороны Чешской Академии наук» [Melich 1926: 112].)

В качестве общеметодологического комментария к этому обзору имеющихся версий происхождения СЗ хотелось бы добавить, что на фоне кардинальных проблем исторической и историко-культурной значимости нередко оставался в тени четвертый из перечисленных выше вопросов — а именно, вопрос об использовании фонетических критериев при анализе СЗ, хотя как раз этот вопрос и является, по нашему убеждению, узловым для всего цикла. Многих трудностей, связанных с исследованием СЗ, можно было бы избежать при безоговорочной постановке во главу угла историко-фонетических свидетельств.

* * *

Сообщения о пребывании венгров в IX веке, накануне Переселения, на территории современной Причерноморской Украины, в соседстве с восточнославянскими племенами, содержатся в ряде хорошо известных мусульманских, визан-

тийских, славянских и венгерских источников (Ибн Руста, Аль Бекри, Гардизи, Константин Багрянородный, «Повесть временных лет», Житие Константина Кирилла Философа, Аноним — нотариус короля Белы III и др.⁶). Эти источники надежно фиксируют социальную структуру и отчасти этнический состав общества венгров-кочевников, связь с Хазарским каганатом и вассальную зависимость от него, столкновения с другими кочевыми народами и набеги с целью захвата добычи и пленных-рабов (особенно набеги на славянские поселения), постепенный отход венгров на запад под давлением двигавшихся с востока печенегов. Они, однако, оставляют историкам большую свободу для интерпретации ряда частных сведений, собственных имен, а равным образом для догадок о событиях более раннего, нежели вторая половина IX века, времени. Эта свобода использована сполна (из наиболее важных работ укажем: [Грот 1881; Czeplédy 1943; Переньи 1956; Vernadsky 1957; Fehér 1959; Шушарин 1961; Macartney 1968; История Венгрии 1971 I: 91–96; Bevezetés 1976 II: 117–305; MT I: 481–574; <Bartha 1988; Németh 1991; Kristó 1996; Шушарин 1997; Róna-Tas 1997>]), и если в некоторых случаях найдены достаточно правдоподобные решения проблем (например, относительно того, что на сообщения Анонима наслоились хронологически более поздние мотивы взаимоотношений Венгрии с Галицко-Волынской Русью), то целый ряд других вопросов благодаря усилиям многих поколений исследователей можно считать окончательно запутанным — например, вопрос о локализации Леведии (Λεβεδία) и Этелькёза (Ἐτελχοῦζον) Константина Багрянородного⁷.

Многие трудности интерпретации проистекают из того, что сведения источников относятся к такому «текущему» в географическом, политическом и даже этническом отношении образованию, кадим являлся союз кочевых древневенгерских племен. К первой половине и середине X века — а именно в это время были написаны труд хорасанского географа Джайхани, послуживший основой для дошедших для нас мусульманских источников, и «De administrando imperio» Константина Багрянородного — ситуация решительно изменилась сравнительно со второй половиной IX века (венгры уже переселились в Карпатский бассейн), и было бы странно ожидать, чтобы источники четко отличали более ранние политико-географические факты от более поздних. Кроме того, этнонимы «турки» (τοῦρχοι) и «угры» (ἄγρε), которыми обозначаются венгры в византийских и славянских источниках (см. об этих этнонимах [Király 1983]), не являются этноспецифичными применительно к собственно венграм (мадярам, носителям одного из финно-угорских языков), о чем свидетельствует уже само по себе тюркское происхождение этих этнонимов (τοῦρχοι < тюрк. *türk*; ἄγρε < тюрко-булг. *on (o)gur* 'десять (о)гуров, т. е. союз десяти (о)гурских племен'), отражающее участие тюркских компонентов в этногенезе венгров (см. новейшую презентацию данных о тюркско-венгерских этноязыковых связях: [Ligeti 1986]). Можно допустить, что к сведениям о венграх в отдельных случаях могли примешаться сообщения о

⁶ См. различные издания этих источников, а также две их антологии: [A magyar honfoglalás kútfoi 1900; A magyarok elődeiről 1986]. Большинство релевантных выдержек содержится также в книге [Грот 1881: 180–248].

⁷ См. цикл статей о Леведии и Этелькёзе, опубликованных в журнале «Magyar Nyelv» (80. evf., 1984, 4. sz. — Györffy Gy., Benkő L., Harmatta J., Király P.; 81. evf., 1985, 1. sz. — Ligeti L.).

других, невенгероязычных и не входивших в древневенгерский племенной союз, носителях тех же этнонимов.

Сведения об отношениях между венграми и восточными славянами в том виде, как они непосредственно содержатся в источниках, не дают, по-видимому, достаточных оснований ни для широких обобщений, ни для версии о том, что княжению Олега в Киеве предшествовало там венгерское наместничество (Г. Вернадский [Vernadsky 1957]), ни для идиллической картины братской помощи восточных славян венграм в их трудном пути на новую родину (В. П. Шушарин [1961]). Существенное значение имеет оценка продолжительности того периода, в течение которого венгры могли находиться в непосредственном соседстве с восточными славянами. В литературе неоднократно поднимался вопрос о том, следует ли доверять сообщению Константина Багрянородного, согласно которому турки (венгры) «жили вместе с хазарами в течение трех лет, воюя в качестве союзников хазар во всех их войнах». Многие исследователи считают трехлетний срок соседства с хазарами — и, соответственно, с восточными славянами — сильно заниженным. В частности, концепция, развиваемая в ряде работ современного венгерского исследователя А. Барты, предполагает более чем двухсотлетнее пребывание венгров в южнорусских степях (VII–IX вв.) [Барта 1972: 123; Bartha 1975: 47–49, 1987: 35–72]. С другой стороны, и летопись Нестора с ее кратким упоминанием угров, которые «оставили по себе у днепровской Руси впечатление и воспоминание какой-то странствующей орды, проследовавшей мимо и только временно располагавшейся кочевьями в ее соседстве» [Грот 1881: 205–206], согласуется скорее с цифрой Константина, чем с попытками исправить данный источник. Если к тому же учесть, что область расселения предков восточных славян до VIII века скорее всего ограничивалась на востоке бассейном Северского Донца [Седов 1979: 124] (в то время как венгры в эту эпоху находились, вероятно, не западнее Дона), а в VIII–IX вв. проникновение славян в степную зону было довольно слабым, то можно согласиться с оценкой восточнославяно-венгерских сношений в эпоху до переселения как не очень интенсивных.

Изучение археологического материала предположительно венгерского происхождения из южнорусских степей (особое внимание уделялась при этом памятникам круга салтово-маяцкой культуры VIII–IX вв. в Подонье; см. [Arendt 1935; Мерперт 1958; Эрдеи 1959; Проблемы археологии 1972; Les anciens Hongrois 1977; Erdélyi 1967; Fodor 1977]) продолжает сталкиваться с трудностями разграничения археологического наследия древних венгров и культурно близких им кочевников-тюрков, вследствие чего «в днепровских и донских степях... в настоящее время нельзя назвать ни одного связанного с этим народом памятника» [Степи Евразии 1981: 75].

* * *

Большое внимание привлекает и лингвистический аспект вопроса о восточнославяно-венгерских контактах до Переселения. В этой связи следует остановиться прежде всего на тех исследованиях, авторы которых придают этим контактам решающую роль в формировании массива СЗ.

Согласно версии, которую в 1897 г. выдвинул (в качестве альтернативы субстратной версии) венгерский финно-угровед Б. Мункачи, СЗ по большей части

пре-
диа-
ван-
зна-
вер-
сло-
'дв-
вен-
соо-
ков-
рио-
реа-
'ро-
нен-
обл-
кас-
Deb-
неч-
что
I
бот-
ши-
вто-
*me
рон-
что
стве
рам-
так-
фло-
ван-
Нак-
ют
няли
У
зйис-
ных
го
логс-
об
носл-
исто-
туа-
гиям
дит
язык
(Den

представляют собой заимствования из праславянского языка, resp. из того его диалекта, который бытовал на впоследствии восточнославянской территории; славянское влияние на венгерский язык после Переселения было, по Мункачи, незначительным. Основные аргументы, которыми он попытался поддержать эту версию, сводились к следующему: а) в венгерском языке присутствуют славянские слова в формах, нетождественных общеславянским (ср. *medve* 'медведь', *udvar* 'двор', *beszéd* 'беседа, речь') и, по Мункачи, не являющихся результатами собственно венгерского развития, а отражающими некий «дообщеславянский» облик соответствующих слов; б) СЗ широко представлены уже в старовенгерских языковых памятниках XI века, а, следовательно, успели к этому времени пройти период внедрения в язык; в) среди них встречается немало слов для обозначения реалий, которые должны были быть известны венграм и до Переселения (*rozsz* 'рожь', *medve* 'медведь', *veréb* 'воробей', *csuka* 'щука' и др.); г) СЗ распространены во всех венгерских диалектах; д) к моменту Переселения Паннония и другие области исторической Венгрии были практически безлюдны [Munkácsi 1897]. Что касается многочисленных славянских топонимов на территории Венгрии (*Pest*, *Debrecen* и др.), то Мункачи допускал, что они являются славянскими лишь в конечном счете, но к венграм попали через аварское посредство (тем самым полагая, что депопуляция Среднего Подунавья коснулась славян, но не аваров) [Ibid.: 7–8].

Взгляды Б. Мункачи были убедительно и безоговорочно опровергнуты О. Ашботом [Asbóth 1900a, 1900b]. Критики не выдерживает ни один из использовавшихся аргументов. Тая, венг. *medve* несомненно представляет собой результат вторичного преобразования др.-венг. **medvéd*, закономерно отражающего слав. **medvědъ* (-d было переосмыслено как уменьшительный суффикс); с другой стороны, данные славянской этимологии позволяют квалифицировать идею о том, что славянское название медведя когда-либо имело вид **medve* (откуда непосредственно венг. *medve*) как беспочвенную. Так же обстоит дело и с другими примерами Б. Мункачи. Присутствие СЗ в старовенгерских памятниках и в диалектах, а также вытеснение ими ряда исконно венгерских (так и оставшихся неизвестными) флористических и фаунистических наименований говорит об интенсивности славянского влияния на венгерский язык, но никак не о хронологии этого влияния. Наконец, данные исторических источников и археологии решительно опровергают мнение Б. Мункачи и некоторых других исследователей о том, что венгры заняли в Карпатском бассейне пустовавшие (или редко заселенные аварами) земли.

Утверждение о восточнославянском происхождении значительной части хозяйственной и культурной лексики венгерского языка (без сколь-нибудь серьезных попыток аргументировать это лингвистически) можно найти у Г. Вернадского [Vernadsky 1957]. В 60–70-х годах это же утверждение стало лейтмотивом целого цикла работ А. М. Рота [Rot 1968, 1973, 1979; Rot 1968a, 1968b]. Говорить об этих работах в целом, и особенно о большой монографии «Венгерско-восточнославянские языковые контакты», довольно затруднительно. Информативный историографический обзор, ценные данные о венгерских говорах и языковой ситуации Закарпатье соседствуют у А. М. Рота с более чем странными этимологиями и интерпретациями (например, утверждение что нем. *Wien* 'Вена' восходит к кельт. *wedinna* 'дерево' или кельт. *vindo* 'белая постройка' через венгерское языковое посредство, и что «это еще один аргумент в пользу того, что в Подонье (Dentu Mogyeri) венгерские племена контактировали с восточными славянами»

[Рот 1973: 173–174]]. Столь же странной является и замена общепринятой этимологической аргументации ссылками типа: «Наше комплексное ареальное этимологизирование показало, что венг. *borozda*~ является лексическим заимствованием др.-русск. (юж. д. ареала) *борозда* и имеет $Q \leq 0,01$ общезыковой ассимиляции. Это слово было заимствовано в результате лингвистической интерференции маргинальных языковых контактов. Др.-русск. (юж. д. ареала) *борозда*~ как исторический источник заимствования венг. *borozda*~ подтверждено 7 критериями комплексного ареального этимологизирования, имея, таким образом, выше средней относительную этимологическую надежность» [Ibid.: 198]; «Русск. *большевик*~ как исторический источник заимствования венг. *bolsevik*~ подтверждено данными 9 критериев комплексного этимологического анализа, имея, таким образом, максимальную относительную этимологическую надежность и $Q < 0,01$ общезыковой ассимиляции. Оно было заимствовано в результате лингвистической интерференции немаргинальных венгерско-русских языковых контактов» [Ibid.: 434]. Что же касается сути проблемы, то А. М. Рот склонен оценивать ранние восточнославянско-венгерские контакты как длительные (продолжавшиеся около 250 лет) и интенсивные, связывая с ними заимствование в венгерский язык многих терминов земледелия, рыбной ловли, устройства жилищ, духовной культуры (в числе последних — даже *szerda* ‘среда’ и *szombat* ‘суббота’, вне учета того обстоятельства, что речь идет о контактах с языческой Русью).

Кардинальным опровержением любых концепций, предполагающих широкое проникновение ранних восточнославянских заимствований в венгерский язык, служат данные исторической фонетики. Дело в том, что среди СЗ присутствует большое количество слов с праславянскими сочетаниями типа *TorT*, *TolT*, *TerT*, *TelT*. Все они дают в венгерском языке такие же рефлексy, как сочетания *TraT*, *TlaT*, *TrēT*, *Tlēt*, т. е. рефлексy не праславянского и не восточнославянского, а южнославянско-чешско-словацкого типа (ср., например, *kalász* ‘колос’ из **klašь*, как *palást* ‘плащ’ из **plaščь*; при заимствовании из праславянского **kolsь* венгерская форма должна была бы иметь вид *kalsz*, а при заимствовании из вост.-слав. **kolosь* — вид *kalasz*; см. [Miklosich 1884: 42]). Разумеется, при анализе требуется учитывать и исключать воздействие вторичных факторов: так, венг. *szerda* ‘среда’, несмотря на сходство этого слова с праслав. **serda*, восходит все же не к этой праславянской форме, а к метатетической форме **srēda* — отсюда др.-венг. *szeréda* с дальнейшей редукцией гласного в открытом втором слоге (см. [Moór 1964: 53]); с венг. *barázda* ‘борозда’, представляющим собой заимствование из **brazda*, соседствует очень поздняя по своему происхождению диалектная форма *borozda*, заимствованная из карпатских восточнославянских говоров. Ситуация с рефлексами *TorT* и т. д. подсказывает и общее решение проблемы: если бы лексические проникновения из восточнославянского в венгерский носили массовый характер, то среди них, несомненно, должны были бы оказаться и слова с восточнославянским полногласием (или с общеславянским — без полногласия и без метатезы — фонетическим обликом). К аналогичному выводу приводит и рассмотрение некоторых других фонетических признаков СЗ.

Более реалистичным выглядит предположение о том, что в эпоху до Переселения венграми могло быть усвоено из языка восточных славян лишь несколько разрозненных слов. В этой связи чаще всего называются слова *görög* ‘грек’, *lengyel* ‘поляк’ (ср. **lędjaninь*, отраженное в *Λενξανῆνοι* у Const. Porph.), *kereszt* ‘крест’, *halom* ‘холм’. Основным аргументом в пользу восточнославянского про-

исхо:
встр
1925-
(*grь
груп
ство
тийс
Leda
нони
точн
прис
гвист
тель
1952
ссыл
тигн
слав
нети
венг.
лишн
ство
ветст
боле
носл
1977
Пове
двор
моло
жени
111],
Та
сово
суют
русс
не пр
точн
Проб
лей -
вост
Дуна
рии;
экон

исхождения слова *görög* служит то, что венгры еще в Северном Причерноморье встречались с греками и даже вступали с ними в политические сношения [Melich 1925–1929: 12; Moravcsik 1952: 39–40]; сам облик славянского слова-источника (**grьkъ*) был в IX–X вв. одинаковым у восточных славян и у тех славянских групп, с которыми венгры могли контактировать в Карпатском бассейне. Существование древнерусского обозначения поляков **lędjan-* документируется византийскими и арабскими передачами этого слова: впрочем, известно и ст.-серб. *Leđanin* [TESz II: 751], что указывает на возможность заимствования данного этнонима в венгерский язык уже после Переселения. Предположение о восточнославянском происхождении слова *kereszt*, выдвинутое Д. Моравчиком и присутствующее в работах ряда венгерских историков, базируется на экстралингвистическом факте — на наличии изображения креста в одном из предположительно древневенгерских захоронений из Северного Причерноморья [Moravcsik 1952: 39; MT I: 560]. И. Книежа небезосновательно оспаривал это предположение ссылкой на то, что в эпоху, о которой идет речь, слово *krьstъ* еще не могло достигнуть восточных славян [Kniezsa 1955 II: 264]. Трактовка *halom* как восточнославянизма появилась в работах Я. Мелиха в качестве средства преодоления фонетических трудностей, связанных с этим словом (из слав. **хьlмь* ожидалось бы венг. *holom* [Melich 1925–1929: 10]). Однако эта трактовка была бы приемлема лишь в том случае, если бы форма типа современного *холм* (с *о* на месте *ъ*) существовала в древнерусском языке уже в IX в., тогда как в действительности соответствующий процесс относится к существенно более позднему времени. Еще более шаткие основания имеет под собой отнесение к числу возможных восточнославянизмов раннего периода таких венгерских слов, как *kemence* 'печь' [Fodor 1977: 65–86], *udvar* 'двор' ([Györffy 1977: 247], со ссылкой на то, что, согласно Повести временных лет, в конце IX в. на Угорской горе под Киевом был Ольмин двор), *szégye* 'закол для рыбной ловли', *tanya* 'хутор', *óriás* 'гигант' (вопреки этимологической версии, выдвинутой в свое время Б. Мункачи и, несмотря на возражения О. Ашбота и И. Книежи, поддержанной Л. Хадровичем [Hadvovics 1976: 111]), это слово нет никакой возможности связать с *варяг*, *варяж*-).

Таким образом, данные лингвистики заведомо исключают возможность массового проникновения СЗ в венгерский язык до Переселения и тем самым согласуются с оценкой восточнославяно-венгерских этнических контактов в южнорусских степях как непродолжительных и ограниченных по интенсивности. Они не противоречат возможности проникновения небольшой части СЗ из языка восточных славян, но и не дают однозначных свидетельств такого проникновения. Проблему СЗ следует решать — как это и делало большинство исследователей — на историческом фоне событий, последовавших за Переселением: «На востоке Европы венгры и славяне только *граничили друг с другом*, а в долине Дуная и Тисы они жили на одной географически единой и замкнутой территории; это *сосуществование* венгров и славян и в этническом и в общественно-экономическом отношениях было новым явлением» [Барта 1965 I: 21].

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРАСЛАВЯНСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ПАННОНИИ*

С точки зрения как славянского, так и венгерского языкознания богатейшим историко-языковым источником является фонд славянских заимствований (аппеллятивов и топонимов), проникших в венгерский язык в период, хронологически близкий к завоеванию венграми Среднего Подунавья (895–900 гг.).

Возможность выделения этого древнейшего фонда среди всей массы венгерской лексики славянского происхождения, наиболее полно представленной в словаре И. Книежи [Kniezsa 1974] и «Историко-этимологическом словаре венгерского языка» [TESz], а также в топонимических работах ([Melich 1925–1929; Kniezsa 1938a, 1943; Stanislav 1948; Györffy 1963–; Kiss 1983] и др.), определяется в первую очередь фонетическими критериями. Представляется целесообразным осуществлять такое выделение¹ поэтапно. Во-первых, к древнейшему фонду с уверенностью можно отнести те заимствования, в которых: (а) отражаются славянские носовые гласные, утрата которых в центральном ареале славянских диалектов произошла не позднее XI в. [Бернштейн 1961: 241–246; Stieber 1979: 46–48], см. также ниже; (б) слав. *c* субституируется через венг. *cs-*, *-t*², что связано с отсутствием в древневенгерской системе фонем аффрикаты /c/ — ее появление и распространение относят к X–XIII вв. [MNYT: 113; Mollay 1982:

* Впервые опубликовано в: Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 347–368.

¹ Следует заметить, что хотя в принципе в предшествующей литературе неоднократно ставился вопрос о хронологизации славянских заимствований венгерского языка и об их древнейшем слое (см. уже [Asbóth 1907]), фактически сепаратное рассмотрение этого слоя, взятого в своей совокупности как единое целое и отграниченного от более поздних напластований, никогда не предпринималось. При этом если, например, И. Книежа в своем фундаментальном труде приводил древне-, средне- и нововенгерские заимствования из славянских источников общим списком, но по возможности снабжал их хронологическими указаниями, то в целом ряде работ смешение различных слоев ведет к неадекватным историко-фонетическим и историко-культурным заключениям.

² В интервокальной позиции слав. *c* всегда отражается как венг. *-cs-*; очевидно, в раннюю эпоху нормой субституции было слав. *-c-* > венг. *-tsz-* с последующим стяжением *tsz* в аффрикату после появления таковой в языке, как и в собственно венгерских словах (ср. произношение слов *latszik* 'кажется', *tetszik* 'нравится', отраженное в старовенгерских написаниях *lacik*, *tecik*).

218]
логи
реко
чени
ника
при
альн
*

belén

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

goro

*

*

temu

*

*

*

*

*

‘под

*

*

*

*

218]. Эти два диагностических признака позволяют получить следующий этимологический перечень (топонимика учтена в нем, вероятно, неполно). Славянские реконструкции даны по ЭССЯ (буквы *a-k*) или в записи, принятой в ЭССЯ; значения венгерских слов указаны сокращенно, даты их первой фиксации в памятниках и словарях приведены преимущественно по TESz и [Kiss 1983], отдельные принадлежащие автору этимологические коррективы и дополнения здесь специально не оговариваются.

- **blędъ* > др.-венг. *báľind* → *belendēs* (ок. 1380) 'распутный' (вторичная форма *beléndes* - по контаминации с *beléndek* 'белена')
- **blqđъ* > *bolond* (1372/1448) 'сумасшедший'
- **bobovъсь* > *Babót* (1217) МН (м. Дьер-Шопрон)
- **bojevъсь* (?) > *Bajót* (1202) МН (м. Комаром)
- **Boreľa* > *Berente* (1323/1332) МН (м. Боршод-Абауй-Земплен)
- **cerъ* > *cser* (1193) 'чернильный дуб'
- **cerъje* > *cserje* (1358/1364) 'кустарник, заросли'
- **cępъ* (или **cępy* Pl.) > *csęp* (1138/1329) 'цеп'
- **cęsarъ* > *császár* (1233) 'император'
- **cęva* > *csęve* (1548) 'цевка, шпулька'
- **cęvъ* (**cęvъ*) > *cső* (1319) 'труба'
- **čqbrъ* (см. [ЭССЯ sub **čębrъ*]) > *csombor* (1220/1550) 'чабрец *Satureia hortensis*'
- **dqbovъ/a/o* > *Dombó* (1278) МН (м. Шомодь; Трансильвания)
- **dqbrava* (или **dqbrovъ/a/o*) > *Dombró* (1291) МН (Трансильвания)
- **dqga* > *donga* (1233) 'клепка, изогнутая доска в бочке'
- **drogъ* > *dorong* (1291/1294) 'дубина, жердь'
- **glqbbъкъ* (?) > *Galambok* (1231) МН (м. Зала)
- **golqbbъ* (**golqbbъ*) > *galamb* (1165) 'голубь'
- **gqba* > *gomba* (1138/1329) 'гриб'
- **gqđъсь* (?) > *Gondoc* название горы (м. Зала)
- **gręda* > *gęręnda* (1321/1323) 'балка, брус'
- **grędilъ* ([ЭССЯ]. **grędelъ*) > *gęręndęly* (1363) 'дышло плуга'
- **gręđъ* > ст.-венг. *gęręnd* (1346) 'чердак, стропило; возвышение'
- **grqba* > *goromba* (ок. 1456) 'грубый'
- **grqđъ* > диал. *gorond* (1330/1505) 'холмик; кочка, остров на болоте'
- **grqđъje* > диал. *gorongya* (1893) 'ком земли' (видимо, вторично литер. *gorongy* с экспрессивным преобразованием)
- **kqđ(e)ръ* > диал. *kondor* (1075/1217) 'кудрявый, курчавый'
- **kqkqljъ* > *konkoly* (1193) 'куколь, растения *Agrostemma githago* или *Lolium temulentum*'
- **kqсъ* > *konc* (1181/XVI в.) 'кусок (пренебр.)'
- **kroqъ* > *korong* (1274) 'диск, круг (сыра, гончарный)'
- **kroqpa* > *Korompa* (1113) МН (Словакия, слвц. *Krupá*)
- **lęđjanъ* (или **lęđjęnъ*) > ст.-венг. *lengyeł* (1130-40/XII-XIII вв.) → *lengyel* 'поляк'
- **lęđъnica* > *Lendence* гидроним (м. Зала)
- **lęđъnikъ* > др.-венг. **lindnik* → *lędnęk* (1471) ~ диал. *lędnęk* 'вика *Vicia*'
- **lętja* > *lęncse* (1325) 'чечевица'
- **lqgъ* > *Long* (1350) МН (м. Боршод-Абауй-Земплен)

- **lǫka* > *lanka* (1217/1270) 'пологий склон, (ст.-венг.) луг около водоема'
 **lǫkavъсь* > *Lankóc* (1273) МН (м. Шомодь)
 **mečъ* (?) > диал. *mancs* (1792) 'деревянный мяч'
 **moravъсь* > *Marót* (1113/1410) МН (Словакия, слвц. *Zlate Moravce*)
 **mǫka* > *munka* (1138/1389) 'работа, (ст.-венг.) мýка'
 **němъсь* > *němēt* (1130–40/XII–XIII вв.) 'немец'
 **obrǫčъ* > *abroncs* (1467) 'обруч'
 **ǫtora* > диал. *ontora* (1649) 'нарезка в клепках бочки'
 **ǫtkъ* > диал. *ontok* (1635) 'уток, поперечная нить ткани'
 **paǫkъ* > диал. *pánk* ~ *ponk* (XVIII–XIX вв.) 'паук'
 **pętkъ* > диал. *pěntěk* (1138/1329) 'пятница' (вторично лит. *pėntėk*)
 **porǫč(iti)* > *parancs-ol* (1372/1448) 'приказать'
 **potęgъ* > *pating* (1577) 'гуж, особ. для крепления плуга к оглоблям'
 **prǫdъ* > *porond* (1530) 'арена; (ст.-венг.) песок, коса'
 **prǫgъ* > диал. *porong* (1493) 'рама ткацкого станка; (ст.-венг.) одна из состав-
 ных частей мельничной запруды'
 **pъstroгъ* > ст.-венг. *pisztrong* (1261) → *pisztráng* (вторичная форма) 'форель'
 **rędъ* > *rënd* (1248) 'ряд, порядок'
 **rǫb(iti)* > *romb-ol* (1621) 'разрушать; (ст.-венг.) рассекать, разрубать'
 **rǫčъka* > ст.-венг. *roncska* (ок. 1495) 'сосуд для жидкости (с ручкой)'
 **selmę* > *szelemén* (1135) 'продольная балка крыши, обрешетина'
 **sqbota* > *szombat* (1002/1109) 'суббота'
 **sqpačъ* > *Szompács* (1214) МН (м. Зала)
 **sqśędъ* > *szomszéd* (1322) 'сосед'
 **svęt(iti)* > *szent-ěl* (1372/1448) 'святить'
 **svętъ* > *szent* (1156) 'святой'
 **svętja* > *szērēncse* (1275) 'судьба; удача, счастье'
 **tęžadlo* > диал. *tenzsola* (XIX в.) 'оглобля'
 **tǫpa* > *tompá* (1135) 'тупой'
 **tǫpa* > диал. *toromba* (1463) 'охапка соломы'
 **tǫdъ* > ДВ **turund* → *torongy* (1585) 'язва'
 **vęzъ* > ст.-венг. *venz* (1257) → *vénic* (вторичная форма) 'вяз'
 **xlęba* > *Helemba* (1234) название острова на Дунае
 **xręščany* (?) > *Herencsény* (1303) МН (м. Ноград)
 **zǫbrъ* > *Zombor* (1298) МН (м. Боршод-Абауй-Земплен)
 zǫbryl*/žębry* (?) > *Zsombor* (1332/1337) МН (Трансильвания)

Несмотря на некоторое однообразие этого перечня, обусловленное преобладанием структурно однотипных славянских этимонов с *ǫ* и *ę*, в нем весьма последовательно отражаются все основные закономерности фонетической рефлексии, характерные для заимствований раннего периода (см. о них ниже). Редчайшие отклонения от закономерностей объясняются специфическим фонетическим окружением (особенно влиянием предшествующего губного согласного на гласный) и вторичными изменениями в венгерском языке и отдельных его диалектах³; как показали наши результаты и как отчасти будет продемонстри-

³ В данной работе автор вынужден в основном обойти вниманием эту исключительно важную, но далеко уведующую нас от собственно славистических проблем тему.

ровано в дальнейшем изложении, фактически почти не возникает необходимости связывать отклонения с особенностями тех или иных славянских диалектов-источников.

Во-вторых, к древнейшему фонду правомерно будет отнести и те заимствования, в которых при отсутствии рефлексов слав. *с, *ѣ и *ѣ выполняются другие характерные для приведенного перечня нормы фонетической субституции. Разумеется, в целях контроля должны учитываться и филологические данные: поскольку древневенгерский лексический материал в целом хорошо отражен в памятниках XIII–XV вв., отчасти и в более ранних, то из слов, впервые фиксируемых в XVI в. и позднее, целесообразно привлекать (и то с осторожностью) лишь те, которые до сих пор сохраняют узко специальный или диалектный характер. Исторические и историко-культурные критерии могут приниматься во внимание в той мере, в какой они исходят из бесспорных фактических данных, а не из более или менее субъективных предположений о соотносительности заимствования с определенными историческими событиями⁴.

Составленный на основе изложенных принципов словник ранних славянских заимствований насчитывает от 500 до 650 апеллятивов⁵ и несколько сот топонимов (для сравнения: в словаре И. Книежи рассмотрено в общей сложности около 1500 надежных и проблематичных славянских заимствований венгерского языка, куда не входят культурные заимствования из литературных славянских языков новейшего времени).

Для квалификации этого древнейшего фонда следует принять во внимание факты истории и данные сравнительного славянского языкознания. К моменту прихода древневенгерских племен в Среднее Подунавье эта территория имела преимущественно славяноязычное население, наиболее густое в задунайских областях (собственно Паннония, прежние владения Прибины и Коцела), многочисленное в Трансильвании и сравнительно редкое на Дунайско-Тисской равнине и в бассейне Тисы ([Györffy 1959: 31; Popović 1961: 202–210; Sós 1969, 1973; Пеняк 1972; Трубаев 1983: 250] и др.). Присутствующая в ряде работ венгерских историков недооценка славянского автохтонного этнического компонента и переоценка аварского (близкого к древним венграм по хозяйственному и социальному укладу и быстро с ними слившегося) встречает серьезные возражения, см. [Simonyi 1955: 333–304; Bálint 1984: 118; Леваи 1986]. Следует иметь в виду, что государство аваров всегда строилось на своеобразном аваро-славянском симбиозе.

⁴ Ср. как пример такой субъективной (и произвольной) оценки мнение о том, что слова *csata* 'битва; (ст.-венг.) военный отряд' (слав. **četa*) и *rab* 'пленный, раб' (слав. **orbъ*) заимствованы из сербохорватского языка в эпоху турецкого ига [Knieza 1974: 122, 452].

⁵ Колебания в этом подсчете связаны, во-первых, с наличием ряда слов, лишенных четких диагностических признаков и могущих с равным успехом быть и ранними, и поздними заимствованиями; во-вторых, с этимологической проблематичностью некоторых венгерских слов, восходящих к тюркским, романским, немецким и другим первоисточникам либо прямо, либо через славянское посредство (ср. *sátor* 'шатер, палатка', хорошо выводимое и из слав. **šatъrъ*/**šatъrъ*, и непосредственно из тюрк. **čatır*, тюрк.-булг. *šatır*). Кроме того, ряд издавна известных венгерскому языку славянизмов употребляется в инновационном фонетическом облике в результате повторного заимствования — так, наряду с представленным выше в перечне диал. *tenzsola* 'оглобля' имеются диалектные формы *tézsola*, *tézsla* с тем же значением, отражающие славянский источник с утратой ринезма.

зе [Шушарин 1971: 75–76; Fritze 1979]; что этнополитическая ситуация после разгрома этого государства могла в IX в. привести к значительному языковой ассимиляции аваров славянами [Szöke 1960: 111; Moór 1962: 267]; наконец, что многие т. н. аварские древности Венгрии имеют в действительности славяно-аварское и даже преимущественно славянское происхождение [Седов 1979: 126–128].

Судьба славянского населения Венгрии довольно четко прослеживается по археологическим материалам из Задунавья. Для конца IX — последней четверти X в. отмечаются только раздельные погребения славян и венгров. С конца X в. при сохранении раздельных погребений начинают встречаться славянские предметы в венгерских и венгерские — в славянских захоронениях. Для конца XI в. характерным становится использование славянами и венграми одних и тех же погребальных полей (с пустой разделительной полосой); кроме того, в XI–XII вв., местами до XIII в. отмечаются этнически смешанные кладбища. Наконец, в последующий период установление этнической принадлежности покойников по погребальному обряду и предметам материальной культуры становится невозможным ([Fehér 1957: 15–28]; ср. [Váňa 1954]). Эти наблюдения, сохраняющие силу и в свете археологических исследований последних десятилетий, дают четкую картину постепенного слияния местного славянского и пришлого венгерского населения. Поскольку языком-победителем в этой ситуации оказался венгерский (а могло бы быть и наоборот — вспомним историю Болгарии), полностью уместна характеристика языка славянского населения как субстратного по отношению к современному венгерскому языку и, соответственно, оценка выделенного нами древнейшего фонда славянских заимствований как лексического субстрата.

Субстратный язык славянского населения Паннонии и других областей исторической Венгрии применительно к интересующему нас периоду (X–XII вв.) можно, по-видимому, характеризовать как один из позднепраславянских диалектов или группу таких диалектов (к вопросу об относительном единстве этого языка мы вернемся ниже), как часть общеславянского языкового континуума той эпохи, когда бассейн Дуная еще не разделял, а связывал между собой различные группы славян. Такая характеристика существенно расходится со взглядами ряда исследователей — как венгерских, так и славянских — которые тем или иным путем элиминируют панноно-славянский язык, либо приравнивая его к одному из соседних славянских языков, либо вообще предполагая чисто адстратное происхождение всех славянизмов венгерского языка, в том числе и древнейших (см. об этом далее). Однако среди множества точек зрения о хронологических рамках праславянского периода наиболее содержательным лингвистически представляется отнесение его конца ко времени, «où les différentes langues slaves perdirent pour toujours la faculté de participer toutes ensemble à des changements communs», т. е. к эпохе падения слабых еров — X–XII вв. [Troubetzkoy 1922: 217–218]; ср. также [Дурново 1932; Топоров 1959; Birnbaum 1979].

Этим определяется значение венгерского языка для славистики как источника — фактически единственного⁶ — для исследования особенностей славянского

⁶ Славянские языковые островки на территории современной Венгрии (словацкие, сербохорватские, словенские) связаны с основными территориями распространения соот-

языка Паннонии (сам не будучи славянским, венгерский язык является его наследником) и как источника для позднепраславянской реконструкции. Хотя констатация этого факта со времен Фр. Миклошича прочно утвердилась в славянском языкознании, объем и способ использования венгерского материала вряд ли могут быть признаны удовлетворительными. Ранние заимствования в венгерском языке (как, впрочем, и в румынском, и в албанском, и в финском) лишь эпизодически упоминаются в славянских этимологических словарях (из общеславянских словарей они — и то далеко не в полной мере — отражены только у Фр. Миклошича и в неоконченном труде Л. Садник и Р. Айцетмюллера). Не лучше обстоит дело и с использованием историко-фонетических импликаций. Так, в фундаментальном труде Дж. Шевелева [Shevelov 1964], где свидетельства соседних со славянскими языков уделено особенно много внимания и, в частности широко привлекаются данные венгерского языка, не менее половины ссылок на эти данные содержат серьезные неточности. Ср.: 1) «the earliest Hung borrowings from Sl manifest the same principle of rendering both Sl *o* and *a* by *a*» (p. 155) — в действительности венгерский язык отражает слав. *o* как *a* [â], но слав. *a* как долгий *á* [ā]; 2) венгерское отражение *я* характеризуется как «*ē* (open vowel)» (p. 170) — на самом деле в древневенгерском различались *ā* и *ē* (ныне совпавшие в лит. *ė* [ē]), но имеющие разные рефлексы в венгерских диалектах), и на месте слав. *ě* обычно обнаруживается закрытый др.-венг. *ē*; 3) венг. *megye* 'область' «goes back to Sl **medja* or **meža*; later, Hung borrowed this word again but this time with the later B[ul]g reflex of *dj*, notably *žd*: Hung *mesgve* [méžd'e] 'boundary'» (p. 216) — согласно принятым взглядам, двойственность типа *megye/mezsgye* имеет диалектную, а не хронологическую природу, причем вариант с рефлексом болгарского типа признается по крайней мере не более поздним, чем вариант с *gy* (об иной возможности объяснения этой двойственности см. ниже); 4) чередование в венг. *alma* 'яблоко', Pl. *almák* сопоставляется с метатонией в слов. *mesto*, Pl. *mestá* (p. 542) — не учитывается, что это чередование возникло вследствие сокращения долгого гласного в абсолютном ауслaute: **almá*, **almák* > *alma*, *almák*, см. [MNYT: 166]; 5) «in Hung -*a* yielded -*u* and -*ā* yielded -*ü* ~ -*i* in the eleventh century, after which both were lost, recalling the rise and loss of *jers* in Sl» (p. 624) — в действительности процессы -*a* > -*u* и -*ā* > -*ü* ~ -*i* произошли существенно раньше: они затронули венгерскую лексику финно-угорского происхождения, но не славянские и даже не более ранние тюркские заимствования, а к древневенгерскому периоду можно отнести лишь утрату ауслautных *u*, *ü*, *i*, как восходящих к **a*, **ā*, так и содержащихся в заимствованных словах (ср. *tök* 'тыква' < слав. **tyku*).

Ниже мы — с неизбежной краткостью — охарактеризуем основные закономерности рефлексации в ранних венгерских заимствованиях из панноно-славянского, в первую очередь с точки зрения их вероятных импликаций для позднепраславянской фонетической реконструкции.

Вокализм. Типичная (без учета специальных фонетических позиций и вторичных процессов) рефлексация отражена в табл. 1 и 2.

ветствующих языков и сформировались в основном вследствие относительно поздних миграционных процессов.

Таблица 1. От славянского к древневенгерскому

СЛАВЯНСКИЙ		ДРЕВНЕВЕНГЕРСКИЙ			
Традиционное обозначение	Фонетический характер в ПаннС	Без сингармонизации		При сингармонизации	
		Неконечная позиция	Ауслаут	Неконечная позиция	Ауслаут
*a	$\bar{a}$	$\bar{a}$	$\bar{a} > \acute{a}$	$\bar{a}$	$\bar{a} > \acute{a}$
*o	$\acute{a}$	$\acute{a}$	$\acute{a}$	$\acute{a}$	$\acute{a}$
*ě	$\bar{e} (\bar{e})$	$\bar{e}$	Нет примеров	$\bar{a}$	Нет примеров
*e	e (e)	$\bar{a}$	$\bar{a}$	$\bar{a}$	$\bar{a}$
*u	$\bar{u} > u$	1. $\bar{u}$; 2. u	Нет примеров	Нет примеров	
*ъ (слабый)	$\bar{b} > \emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
*ъ (сильный)	u > $\bar{b}$	u	—	i/ $\bar{u}$	—
*y	$\bar{y} > y$	} 1. $\bar{i}$; 2. i/ $\bar{u}$	i > $\emptyset$	1. $\bar{i}$; 2. u	i > $\emptyset$
*i	$\bar{i} > i$				
*ь (слабый)	$\bar{b} > \emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
*ь (сильный)	i > $\bar{b}$	i/ $\bar{u}$	—	u	—
*q	un > $\bar{u}$ (> $\bar{u}$)	un	Нет примеров	Нет примеров	
*ę	in > $\bar{i}$ (> $\bar{e}$)	in	in	un	Нет примеров

Таблица 2. От древневенгерского к современному венгерскому

ДРЕВНЕВЕНГЕРСКИЙ	СОВРЕМЕННЫЙ ВЕНГЕРСКИЙ	ОРФОГРАФИЧЕСКОЕ НАПИСАНИЕ ⁷
$\bar{a}$	$\bar{a}$	$\acute{a}$
$\acute{a}$	$\acute{a}$	a
$\bar{a}$	$\bar{e}$	$\acute{e}$ (здесь $\bar{e}$)
$\bar{e}$	$\bar{e}$, диал. $\bar{i}$	$\acute{e}$ (здесь $\bar{e}$)
$\bar{a}$	ϵ	e (здесь ϵ)
$\bar{u}$, uw (в закр. слоге)	u, в однословах $\bar{u}$	u, resp. $\bar{u}$
u	o	o
$\bar{i}$	i, в однословах $\bar{i}$	i, resp. i
i	e	e (здесь $\bar{e}$)
$\bar{u}$ ⁸ , $\bar{u}w$ (в закр. слоге)	$\bar{u}$, в однословах $\bar{u}$	$\bar{u}$, resp. $\bar{u}$
$\bar{u}$	$\bar{o}$	$\bar{o}$
$\bar{a}w$, $\acute{a}w$ (в закр. слоге)	$\bar{o}$	$\acute{o}$
$\bar{a}w$, $\bar{e}w$, $\acute{a}w$, $\bar{i}w$, iw (в закр. слоге)	$\bar{o}$	$\bar{o}$

Судьба еров. На месте «слабых» *ъ, *ь в непервых слогах (в т. ч. в конце слова) в заимствованиях не обнаруживается вокалических рефлексов. Впрочем, само

⁷ При необходимости (и наличии соответствующих данных) в настоящей работе в орфографию вводится разграничение ϵ и $\bar{e}$, $\acute{e}$ и $\bar{e}$.

⁸ В славянских заимствованиях раннего периода не встречается.

по себе это обстоятельство не может служить доказательством раннего падения слабых еров в ПаннС, поскольку сам венгерский язык пережил фонетические процессы, в высшей степени сходные с процессами утраты славянских еров (ср. *bér* 'плата' < тюрк. **berü* ~ **beri*; *barom*, Acc. *barm-ot* 'скот' < тюрк. **barym*) и, весьма вероятно, происшедшие не без славянского влияния.

Высказывалось мнение о том, что венгерский язык отражает различие между слав. *ъ и *ь: парадигматическая заднерядность слова *děrek* : *děřka* - 'талия, поясница' < **drěkъ* связана с *ъ (а не *ь) в конце славянского слова [TESz II: 618]. Однако громадное количество контрпримеров вынуждает оценить это предположение скептически.

Сильные еры в венгерском сохраняются (см. табл. 1-2). Интересно, что во многих случаях современный венгерский язык сохраняет парадигматическое чередование рефлекса сильного ера с нулем, полностью сходное со славянскими чередованиями: *járom* Acc. *järm-ot* 'яро' < **arъть* (ср. русск. *ярем*, *ярма*). Но видеть здесь непосредственное заимствование морфонологической модели (которое вряд ли мыслимо при контактах неблизкородственных языков) нет нужды, поскольку аналогичное чередование присутствует в *barom* (см. выше) и ряде других слов неславянского происхождения.

В первом слоге и сильный, и слабый еры ведут себя одинаково: *rozs* 'рожь' < **ръзьь*, *molnár* 'мельник' > **тъlynarъь*, *lén* 'лен' < **лънь*, *pécer* 'живодер; (ст.-венг.) псарь' < **psarъь*. Тем самым не исключен такой этап фонетического развития в ПаннС, когда слабые еры в первом слоге сохранялись при утрате их в непервых слогах.

Заслуживает внимания введение неэтимологического гласного, фонетически и морфонологически совпадающего с рефлексом славянского ера, для разбивки ауслаутных консонантных сочетаний в словах типа *kapor* : *kapr-* 'укроп' < **koprъь*, *jászol* : *jászl-* 'ясли, кормушка' < **jasli* (< **ědsli*). Речь, однако, идет о процессе, происшедшем уже на венгерской почве, причем после утраты конечно-го -i в **jasli* и под.

Количество. Один из наиболее существенных выводов, к которому приводит анализ системы вокалической рефлексации, состоит в том, что в ПаннС (а скорее всего, и в соседних с ним славянских диалектах) с достаточной полнотой сохранялись в X-XII вв. количественные различия между первичными долгими **a*, **ě*, **u*, **i* и первичными краткими **o*, **e*, **ъ*, **ь* (хотя они и сочетались с новыми, качественными различиями), см. об этом уже [Kniezsa 1963b: 96].

Делались попытки объяснить венг. *á* на месте слав. *a* тем, что при отсутствии в древневенгерской системе нелабиализованного краткого [a] долгий *á* оказывался наиболее естественным субститутом слав. *a* (краткого), см. [Asbóth 1907: 66] и др. В принципе, сходными соображениями можно пытаться порознь объяснить и все остальные случаи количественно различной субституции первично долгих и первично кратких славянских гласных. Однако в целом предположение о том, что венгры при заимствовании столь успешно восстанавливали уже утраченную исходную долготу (у **a* и **ě* — практически всегда, у **u*, **y* и **i* — в значительной части случаев), в то время как на месте исходно кратких гласных долготы никогда не появлялось, выглядит совершенно неправдоподобным.

Обычно считается, что сокращение первичных долгот происходило в диалектно дифференцированном праславянском языке не позднее падения слабых

еров, поскольку последнее вызвало в ряде славянских диалектов в определенных акцентных условиях компенсаторное удлинение предшествующего гласного — т. е. создало принципиально новую систему вторичных долгот, лишь фрагментарно соотносимую с первичной системой [van Wijk 1937; Бернштейн 1961: 230–238; Shevelov 1964: 521; Timberlake 1983]. Данные венгерского языка, которые многие слависты не учитывали вообще, а Дж. Шевелев обходит ссылкой на то, что отражение славянской долготы в венгерском не вполне последовательно [Shevelov 1964: 520], побуждают к пересмотру этого тезиса. Очевидно, «новые долготы» должны рассматриваться как первоначально чисто акцентное явление, как возникновение новых интонаций, накладывавшихся на старые интонации и на еще сохранявшиеся количественные различия. Не вдаваясь в обсуждение возможных импликаций и интерпретаций этого факта (проблема осложняется чрезвычайно разноречивым соответствием «новых долгот» в славянских языках, что, кстати, само по себе свидетельствует против архаичности их квантитативной реализации), ограничимся констатацией того, что различий в рефлексации удлинявшихся и неудлинявшихся гласных в ранних заимствованиях не обнаруживается, ср. *bab* ‘боб’ (при схрв. *bōb*, словен. *bōb*, чешск. *bob*, словц. *bób*, польск. *bób*, укр. *біб*), *ganaj* ‘гной’ (схрв. *gnōj*, словен. *gnōj*, чешск. *hněj*, словц. *hnoj*, польск. *gnój*, укр. *гній*) и *lapát* ‘лопата’ (схрв. *lōnata*, словен. *lopáta*, чешск. *slavc. lopata*, польск. *lopata*, укр. *лоната*). С другой стороны, вторичная долгота отражена в диал. *bór-fa* ‘сосна’ (из словц. *bór*) и ряде других поздних заимствований.

В буквально считанных ранних заимствованиях отмечается краткостный рефлекс слав. **a* или **ě* в первом или закрытом последнем слоге (в срединных слогах такой феномен гораздо более част, но объясним процессами, происходившими на венгерской почве): *jegēnyē* ‘пирамидальный тополь’ < **agnēdъ*, *Kamon MN* < **kamenъ*, *lengyel* ‘поляк’ < **lędjanъ* или **lędjěнь*, *medēnce* ‘таз’ < **mędъnica*, *mostoha* ‘мачеха’ < **matjexa* (рефлекс **a* в первом слоге аномален и в качественном отношении), *zanót* ‘ракитник’ < **zanověť*. Ограниченность материала позволяет лишь предположить, что эта группа отражает начавшееся сокращение долгот, в особенности в ударном слоге под акутом (ср. **āgne*, **kāmenъ*, **mędъ*, **mātjexa*).

Более сложен вопрос о двойственной рефлексации узких долгих гласных **u*, **y*, **i*, для которых наряду с более частыми долготными рефlekсами (др.-венг. *ū*, *ī*, совр. *u/ú*, *i/í*) нередко находим и краткостные (др.-венг. *u*, *i*, *ü*, совр. *o*, *ē*, *ö*). Здесь сыграл роль комплекс факторов, среди которых определяющее место принадлежало позиции в слове: краткостные рефlekсы решительно преобладают в непрерывных закрытых слогах (*pásztor* ‘пастух’ < **pastyrъ*, *karácsony* ‘рождество’ < **korčunъ*) и в первом слоге, начинавшемся в славянском со стечения двух согласных (*bělēzna* ‘дефект в ткани’ < **blizna/o*, *szolga* ‘слуга’ < **sluga*); для открытого первого слога характерен долготный рефлекс (*hiba* ‘ошибка’ < **хyба*, *ruha* ‘одежда’ < **рухо*). Отмечается и ряд расхождений в трактовке слав. **u*, **y*, **i* между венгерскими диалектами, причем в целом долготные рефlekсы более характерны для восточной части Венгрии, а краткостные — для Задунавья (ср. [MNyA: карта 256] для *villa* ~ *vëlla* ‘вилка’ < **vidla*). Эти особенности распределения рефlekсов, а также возможная зависимость от славянских интонаций требуют дополнительного изучения. Во всяком случае, сами колебания в рефлексации долготы у **u*, **y* и **i* (при чрезвычайной редкости таких колебаний у **a* и **ě*)

свидетельствуют о том, что узкие гласные были раньше и сильнее затронуты начавшимся процессом сокращения первичных долгот.

Сингармонизация. Этим термином здесь обозначен переход гласных заднего ряда в передний ряд и наоборот для удовлетворения требованиям гармонии гласных в пределах одного слова; сингармонизации подверглись все давние не-книжные заимствования, проникшие в венгерский язык из не знающих вокалической гармонии источников и включавшие разнорядные гласные⁹.

Одно из наиболее существенных новых наблюдений, сделанных в связи с изучением славянских заимствований венгерского языка, состоит в установлении зависимости направления сингармонизации от места ударения в слове-источнике: «гармоническим стержнем» становился ударный гласный. Поскольку подробно механизм действия этого правила и значимость венгерских данных для подтверждения славянской акцентологической реконструкции освещены в специальной работе [Helinski 1992b], ограничимся здесь несколькими примерами: *csata* 'битва; (ст.-венг.) военный отряд' < *četa, *ebéd* 'обед' < *obědъ, *acél* 'сталь' < *ocělbъ, *szelence* 'коробочка' < *solbnica, *vacsora* 'ужин' < *večerja (венгерский язык отражает особо архаичную акцентуацию данного слова).

Группы *TorT, *TolT, *TerT, *TelT в ПаннС совпали соответственно с *TraT, *TlaT, *TrēT, *Tlēt, ср. *kalász* 'колос' < *kolsъ и *palást* 'плащ' < *plaščъ, *szērda* 'среда' < *serda и *észterha* 'стреха' < *strēxa, *barázda* 'борозда' < *borzda и *barát* 'друг' < *bratъ.

Наиболее очевидным образом рефлексы типа *TraT прослеживаются в непрерывных слогах, ср. *Nógrád* МН < *novъ gordъ, *toklász* 'колосковые чешуи' < *stokolsъ. В первом слоге панноно-славянская рефлексация сильно затемнена процессами, происходившими на собственно венгерской почве; их следует коснуться постольку, поскольку часто они создают внешний эффект отражения дометатетической формы (как в *szērda*) либо полногласной формы восточнославянского типа (как в *kalász*). Во-первых, инициальное сочетание согласных устранялось, чаще всего путем вставки краткого гласного, качественно близкого стоявшему за сочетанием гласному (*kalász*). Во-вторых, гласный второго (и вообще срединного) открытого слога редуцировался до нуля, если при этом не возникало «трудного» сочетания согласных (*szērda* < др.-венг. *szērēdā, ср. аналогичное развитие в *zabla* 'удила, узда' < *zobadlo и др.), или до краткого гласного (обычно *ōl'ē/o*, реже *a*, *i*), если полная редукция могла создать «трудное» сочетание (диал. *malogva* 'вид ивы' < др.-венг. *mālāgvā < ПаннС *mladja < *moldja, ср. аналогичное развитие в *palota* 'дворец' < др.-венг. *pālātā < *polata). При этом: а) венгерские диалекты могут расходиться в трактовке некоторых сочетаний как «трудных» или «легких» (ср. *gabona*, диал. *gabna* 'хлебные злаки, зерно' < *gobino); б) в части диалектов (особенно в западной части Венгрии) при угрозе «трудного» сочетания долгий гласный вообще не редуцировался (*szalonna*, диал. *szalánna* 'сало' < др.-венг. *sālān(i)nā < ПаннС *slanina < *solnina), см. [Moór 1964: 48–51]. Неполная диалектная однородность венгерского литературного языка (базирувавшегося на северо-восточном диалекте, но почерпнувшего немалую часть лексики и из говоров Задунавья) создает в этой ситуации достаточно запутанную картину рефлексации. В-третьих, сокращению мог подвергнуться и

⁹ Гласные *i*, *é* и *ē* допустимы в венгерском языке и в передне-, и в заднерядных словах.

долгий гласный, оказавшийся в непервом слове перед сочетанием согласных. Очевидно, наличие/отсутствие сокращения было связано с характером этого сочетания, однако малый объем материала препятствует формулировке точных правил. В случае с рефлексами групп типа **TorT* сокращение наблюдается в *csērésznye* 'черешня' < **čēršnja*, *csoroszlya* 'лемех плуга' < **čerslo*, *Garadna* МН < **gordina* или **gordьna*, *haraszt* 'сухая листва' < **xvorstь*, *Poroszló* МН < **Perslavъ*, *Zalatna* МН < **zoltьna* и не наблюдается в *barázda* 'борозда' < **borzda*, *Daráska* МН < **dorъьka*, *parázna* 'развратный' < **porzъьna/o*, *zarándok* 'паломник' < др.-венг. **sārānnuk* < **stornьnikъ*.

Группы **orT*, **olT*. Несмотря на ограниченность имеющегося материала, он свидетельствует о том, что метатеза плавных в этих группах обычно (или всегда?) вела не к *raT*, *laT*, а к *roT*, *loT*, ср.: *rab* 'раб, пленник' < ПаннС **rob* < **orbъ*, диал. *rabota* 'работа' < ПаннС **robota* < **orbota*, *rekëtye* ~ диал. *rakotyja* 'дрок Genista'; пепельная ива *Salix cinerea* < ПаннС **rokytje* < **orkytъje*, *ladik* 'плоскодонка' < ПаннС **lod-* (суффиксальное оформление неясно; возможно, **lodyka*) < **old-*; **lakma* (откуда производный глагол *lakmározik* 'пировать') < ПаннС **lokoma/o* < **olkoma/o*.

Известно, что во всех славянских диалектах, где рефлексы **orT*, **olT* не совпадают с рефлексами **TorT*, **TolT*, они не обладают полной стабильностью. Возможно, примером отклонения для ПаннС является венг. диал. *rásza* 'рассада' — преобразование др.-венг. **rāsād* < ПаннС **razsad* < **orzadъ* (хотя нельзя исключить и вторичность *á* в первом слове этого слова, поскольку *á* вместо ожидаемого *a* мы находим и в *pászta* 'полоса поля, постать', где слав. **postatъ* также отражено в преобразованном виде, с переосмыслением и усечением конечного согласного).

Носовые гласные. Стандартные рефлексы слав. **ǫ* и **ę* в древнейших заимствованиях — др.-венг. *un* (совр. *on*) и др.-венг. *in* (совр. *ēn*). Видимо, это указывает на фонологические тождества **ǫ* = /ɔn/, **ę* = /ɛn/.

Последующая утрата ринезма в ПаннС свидетельствуется слоом (не очень многочисленным) заимствований, в которых **ǫ* отражен как **u*, а **ę* — как **ě*, ср. *guszar* 'гусак' < ПаннС **guser* < **gǫserъ*, *gúzs* 'гуж' < ПаннС **guzъ* < **gǫzъ*, ст.-венг. *kenéz* 'князь' < ПаннС **kьnéz* или **kьnězъ* < **kьnězъ*, *mészár-os* 'мясник' (ст.-венг. также *menszár!*) < ПаннС **mésar* или **mēsarъ* < **mēsarъjь*. Рефлексация **ę* в виде долгого *ě* говорит о том, что долгота **ě* сохранялась в ПаннС дольше, чем ринезм.

Из других фонетических инноваций в панноно-славянском вокализме следует отметить **TьrT* > **TьrT*, ср. *görbe* 'кривой; (ст.-венг.) горбун, горб' < ПаннС **gьrba* < **gьrba*; не исключено, впрочем, что речь в данном случае идет о специфической передаче слогаобразующего *r*. В остальном между рефлексами редуцированных в сочетаниях с плавными и их рефлексами в других сильных позициях существенных различий не обнаруживается.

Консонантизм. Большинство согласных фонем панноно-славянской системы имело прямые аналоги в венгерском языке, и их рефлексы тривиальны, за вычетом редких случаев вторичных изменений уже на венгерской почве (после определенных гласных *-n* > *-nu* и *-l* > *-ly*, спорадически *s* > *c*, ассимиляции и др.).

В заимствованиях отсутствуют следы палатализации на месте утраченного слабого **ь*. Судя по *acěl* 'сталь' < **ocěľь* и под., на месте **-ľь* мы можем предпо-

лагать либо *l*, либо слабо палатализованный *l'*, контрастирующий с *l'* (ср. *moly* 'моль' < ПаннС **mol*' < **moljь*).

Праславянский **v* — фонетически, конечно, **w* — сохранил характер глайда в ПаннС и др.-венг., о чем свидетельствуют примеры его вокализации: *oláh* 'румын' < др.-венг. **ulāh* < ПаннС **wlax* < **volxь*, диал. *lōka* 'скамья, лавка' < **lavьka*. Невокализовавшийся *w* в дальнейшем приобрел в венгерском языке, как и в большинстве славянских, фриктивный характер.

О судьбе слав. **c* в наиболее ранних заимствованиях (> венг. *cs-*, *-c-*, *-t-*) уже говорилось выше. Имеется группа заимствований, являющихся по прочим признакам достаточно ранними, но уже имеющих *-c* (а не *-t*) на месте слав. *-сь* (*ketrēc* 'клетка' < **kotarьсь* и др.); эта группа отражает постепенное усвоение этой аффрикаты венгерским языком в X–XIII вв.

Значительная часть вторичных явлений в панноно-славянском консонантизме выглядит достаточно тривиальной с точки зрения славянской диалектологии. Последовательно представлен протетический *j* перед **a-*, ср. *járom* 'ярмо' < **arьmь*; однако поздние заимствования в славянский этот процесс не охватил, ср. *érsék* 'архиепископ' < **arsikь* (при др.-слвц. *jaršik*). Засвидетельствованы также такие фонетические процессы, как **bv* > *b* (*abár-ol* 'обварить' < ПаннС **obar(iti)* < **obvar(iti)*), **nr* > *ndr* (*pondró* 'червячок, личинка' < ПаннС **pondraw* < **ponorvь*), **bj* > *bl* (*gereblye* 'грабли' < ПаннС **grebl'a* < **grebja*).

Группа **dl* имеет своим рефлексом венг. *ll*: *villa* 'вилка' < **vidla*, диал. *silla* 'шило' < **sidlo*. Результатом позиционного преобразования *ll* можно, по-видимому, признать *l* (в положении после согласного: *gérlice* 'горлица' < **gьrdlica*, *zabla* 'удила, узда' < **zobadlo*) и *ly* (в третьем слове: *korcsolya* 'коньки; (ст.-венг.) сазанки для скатывания бочек' < **kьrcьVdlo*, *nyoszolya* 'ложе' < **nosidlo*). Примеры со слав. **tl* нам не встретились. Поскольку одновременно с этим мы находим *vitla* 'гибкий прут для плетения' < **vitьlo*, очевидно, что развитие **dl* (**tl*) > *ll* произошло не на венгерской почве, а в ПаннС, причем к моменту падения слабых еров этот процесс уже завершился.

Вторая палатализация заднеязычных отразилась в группе слов с *cs-* на месте слав. *-c-*, а также в *kóc* 'пакля, кудель, вычески' < ст.-венг. *kolc* < **klьci* (Pl. к **klьkь*) и *olasz* 'итальянец; (ст.-венг. также) француз' < **volsi* (Pl. к **volxь*). Последнее слово (несомненно, чрезвычайно раннее заимствование: первый поход венгров в Италию относится к 899 г.) интересно в двух отношениях. Во-первых, оно указывает на южнославянский эффект второй палатализации *-x* > *s* (ср. зап. слав. *x* > *š*). Во-вторых, оно отражает скорее **wlosi*, чем «нормальное» ПаннС **wlasi*: не может ли это указывать на такой неизвестный диалект-источник, в котором вторая палатализация южнославянского типа сочеталась со свойственным лехитско-лужицкой зоне развитием **TolT* > *TloT*?¹⁰

Рефлексы **dj* и **tj*. Исследователями давно отмечена неоднозначность рефлексации этих групп в славянских заимствованиях венгерского языка. Имеющийся материал выглядит следующим образом:

bátya 'старший брат; (ст.-венг.) дядя' < (?) **batja*

диал. *garágya* 'ограда (особенно из навоза)' < **gordja*

¹⁰ <Ср. [Хелимский 1988д] о вероятном проникновении данного слова в венгерский язык через тюркское языковое посредство.>

диал. *kútya* 'хижина' < **kŕtja* (после утраты ринезма)
lengyel (ст.-венг. *lengyen*) 'поляк' < **lędjanŕ* или **lędjěnŕ*
lěncse 'чечевица' < **lętja*

диал. *malágy* 'болотный кустарник, ивняк' < **moldj*

диал. *malogya* 'вид ивы' < др.-венг. **mālāgyā* < **moldja*

měgye 'медь; (ст.-венг.) граница' и *mězsgye* (диал. *mezside*) 'межа, граница' <

**medja*

mostoha 'мачеха' < **matjexa*

nyüst (ст.-венг., диал. *nyüst*) 'ремиза ткацкого станка' < **nitji*

(диал. *pest* 'печь', также *Pest* МН < **pektŕ*)

paritya 'праша' < др.-венг. **pārātyā* < **portja*

ragya (диал. *rogya*) 'оспина, ржавчина' и *rozsa* 'ржавчина' < **rđja*

szěgye 'закол для ловли рыбы' < **sědja*

szěrěncse 'судьба, удача, счастье' < **sŕetja*¹¹.

Согласно традиционной интерпретации, слова с *zsd*, *st* на месте слав. **dj*, **tj* считаются болгаризмами, а слова с *gy*, *ty* — заимствованиями сербохорватско-словенского типа (см. [Ашбот 1902: 247–266; Моор 1962: 273] и др.). Не отвергая в принципе такой возможности — или, точнее, возможности того, что славянские диалекты восточной и западной части Венгрии имели разные рефлексy **dj*, **tj* — отметим, что подобная неоднозначность может получить и чисто фонетическое объяснение. Рефлексы типа *zsd*, *st* обнаруживаются только после краткого гласного (*mostoha*, *mězsgye*, *nyüst*, *pest*, *rozsa*), рефлексы *gy*, *ty* — всегда после долгого гласного (*bátya*, *garágya*, *kútya*, *malágy*, **malágya*, **parátya*, *szěgye*) и в двух случаях в качестве варианта после краткого гласного (*měgye*, *ragya*). В положении после славянского носового гласного *dj* отражено как *gy* (*lengyel*), *tj* как *cs* (*lěncse*, *szěrěncse*). Данное распределение можно интерпретировать как указание на то, что, в ПАННС **dj*, **tj* имели «промежуточное» произношение типа ²*d'*, ³*t'* (через подобную промежуточную стадию должны были, вероятно, пройти и диалекты болгарского типа), и при передаче в венгерском языке слабый преко́нсонантный призвук стирался в позиции после долгого гласного и, как правило, усиливался до полного согласного в позиции после краткого гласного.

Выше практически все внимание было уделено вопросам исторической фонетики. Однако весьма значителен и потенциал данных венгерского языка в качестве источника для уточнения и пополнения праславянской лексической реконструкции. Речь идет, с одной стороны, о консервации ряда лексических и семантических архаизмов, скудно представленных в современных славянских диалектах, с другой стороны, о возможности удостовериться в праславянской древности многих дериватов (если их присутствие в том или ином из современных языков может быть продуктом относительно поздней деривации по продуктивной словообразовательной модели, то для венгерского языка такое объяснение исключается). В качестве иллюстрации укажем лишь на несколько этимологий, содержательно дополняющих материал ЭССЯ:

¹¹ Среди примеров этого рода часто упоминается и *gatyа* 'подштанники'. Это слово, однако, заимствовано скорее из схрв. *gāha*, а не из ПАННС (слав. **gatja*), что подтверждают и краткостный рефлекс *a* в первом слоге, и поздняя (1530 г.) первая фиксация слова, см. [EtSz: 1104–1110].

**berkovica*. Отражено в венг. *barkóca* 'берека *Sorbus torminalis*', но не представлено в собственно славянских материалах, см. [Kniezsa 1974: 82; TESz I: 252]. Реконструируемая форма — естественное дополнение к имеющемуся в ЭССЯ ряду **berkъ*, **berka*, **berkovъсь*.

**dьska*. Латино-германская этимология слав. **dьska* позволяет предполагать, что исходно это слово имело форму **dьska*, см. [Мартынов 1963: 61]. Эта незафиксированная форма подтверждается венг. *deszka* 'доска'. Напротив, диал. (преимущественно в секлерских говорах) *doszka* id. отражает слав. **dьska*.

kamorъ*. Эта предложенная О. Н. Трубачевым реконструкция гетероклитического *r*-варианта к слав. **kamy* (kamenъ*), опирающаяся на словин. стар. *kamor* 'камень' [Трубачев 1972: 10; ЭССЯ IX: 137], отражена, по-видимому, и в *Kamor* — названии одной из вершин в горах Бержён (м. Пешт) (неубедительны объяснение через польск. диал. *kamor* 'комар', *Kamor* ЛИ, см. [Kiss 1983: 312], и сравнение со словен. *Kamerovic*, см. [Stanislav 1948 II: 252]).

Как мы попытались показать выше, подавляющее большинство ранних славянских заимствований венгерского языка фонетически возводимо к позднеславянскому диалекту, который по совокупности особенностей во многом близок южнославянским языкам, а также среднесловацкому диалекту, но в то же время вряд ли может быть отождествлен с одним из них (в частности, от словацкого языка его отличает тенденция к слиянию юса малого и ятя, от словенского и сербохорватского — судьба редуцированных гласных, от болгарского — развитие ряда консонантных сочетаний и т. д.).

Большинство отмечавшихся выше расхождений и отклонений в рефлексации естественно связывать либо со вторичными процессами в истории венгерского языка (к сожалению, многие из них, в особенности имеющие диалектный характер, пока не нашли адекватного описания в унгаристике), либо с различными хронологическими этапами в истории субстратного позднеславянского диалекта, ср., например, начало сокращения акутовых долгот и утрату ринезма. Те расхождения, которые можно было бы связать с внутренней дифференциацией славянского диалектного субстрата, не имеют принципиального характера — они могли касаться акцентуации отдельных слов (ср. *cseled* 'батрак', *család* 'семья': слав. **čeljadъ*, **čeljadъ?*) и длительности исходно долгих гласных верхнего подъема (менее вероятно предположение о диалектно различной судьбе **dj* и **ij*). Но с точки зрения фундаментальных черт фонетико-фонологического строя славянского субстрата древнейшие заимствования в венгерский язык дают вполне однородную картину.

Важнейшим свидетельством относительной однородности этого субстрата является топонимический материал. В диаметрально противоположных точках венгерской языковой территории можно встретить идентичные по своему облику (и вполне отвечающие рассмотренным выше нормам фонетической субституции) топонимы славянского происхождения. Ср. *Beszterce* (Трансильвания, рум. *Bistrița*), *Beszterce(bánya)* (Словакия, слвц. *Banská Bystrica*) и (*Kis*)*beszterce* (м. Банья) — все из слав. **Bystrica*; *Battyán* (Трансильвания, рум. *Botean*) и (*Szabad*)*battyán* (м. Фейер) — оба из **botъjanъ* 'аист'¹²; *Valkó* (Трансильвания,

¹² Венгерские исследователи полагают, что топонимы без суффиксального оформления являются славянскими лишь с точки зрения дальней этимологии, но возникали вследствие собственно венгерской топонимации, см. [Kniezsa 1943: 118–119] и др. Однако при рассмотрении историко-фонетических вопросов этим обстоятельством можно пренебречь.

рум. *Vălcău*) и *Valkó* (м. Пешт) — оба из **vьlkovъ/a/o*; количество примеров этого рода можно многократно увеличить (напротив, среди примеров фонетически расходящихся топонимов одного происхождения — ср. *Varbó* и *Orbó* из слав. **vьrbovъ/a/o* и др. — предшествующими исследованиями не выявлено какой-либо четкой территориальной дистрибуции).

Свидетельствует ли это о том, что границы распространения позднелаславянского диалекта, который мы условно обозначили как панноно-славянский (с учетом того, что Паннония имела наиболее многочисленное славянское население), приблизительно совпадали с границами исторической Венгрии? Данные славянской лингвогеографии склоняют скорее к отрицательному ответу на этот вопрос: речь идет об обширном ареале, заселение которого было связано с различными славянскими колонизационными потоками [Пеняк 1972; Седов 1979: 113] и смежные с которым славянские диалектные области к X веку уже существенно различались между собой. Однако в качестве одной из рабочих версий можно допустить, что основным источником субстратных заимствований в венгерском языке служили не локальные славянские говоры, а некое койне, общее для всех славянских групп древневенгерского государства (при том, что исходной диалектной базой такого койне скорее всего явилась Паннония). В условиях тесных этнических контактов и массового двуязычия носителями такого койне могли быть не только славяне, но и определенная часть венгров. Развивая данную версию, мы вправе предположить, что койне могло сложиться еще до прихода в Среднее Подунавье венгров (потребность в нем могла возникнуть еще в государстве аваров); что даже заимствования из внешних по отношению к Венгрии славянских языков, например, древнерусского или древнерусского, должны были осуществляться через посредство койне и, следовательно, с соответствующим фонетическим пересчетом; наконец, что межславянское койне Венгрии могло сказать заметное влияние на формирование среднесловацкого диалекта и в дальнейшем словацкого национального языка (ср. различные объяснения южнославянских особенностей среднесловацкого диалекта [Kniezsa 1948; Popović 1960: 34–41, 1961: 211–222; Horálek 1971; Krajčovič 1974]).

Подчеркнем, однако, что выдвинутая версия является одной из возможных интерпретаций сделанных выше наблюдений, но не их предпосылкой.

Как бы то ни было, осуществленная нами реконструкция фонетических особенностей источника древнейших славянских заимствований в венгерском языке свидетельствует о бесперспективности попыток связать все эти заимствования или большую их часть с одним из ныне существующих славянских языков, будь то словацкий [Valló 1897; Stanislav 1948], болгарский [Ашбот 1908; Tóth 1983; Тот 1984а] или сербохорватский [Popović 1961]. В основе таких попыток лежат либо идеи об автохтонности соответствующего этноса на занятой венграми территории, либо представления об особо интенсивном культурном влиянии определенного славянского языка на венгерский. Самым негативным образом должна быть оценена гипотеза, согласно которой значительное число славянизмов было усвоено венграми еще до прихода в Среднее Подунавье из древнерусского языка [Munkácsi 1897; Пот 1973]¹³.

¹³ Хотя некоторые славянизмы (например, *görög* 'грек' < **grьkъ*) могли быть заимствованы венграми еще в Северном Причерноморье, о восточнославянском или довосточ-

После работ Я. Мелиха ([Melich 1903] и др.) среди венгерских славистов довольно широкое распространение приобрела концепция гетерогенности славянских заимствований венгерского языка, ср.: «Die slawischen Elemente im Ungarischen bedeuten keinen einheitlichen slawischen Einfluß auf das Ungarische. Die Ungarn hatten nie Berührungen zu den Urslawen, nur zu einzelnen slawischen Völkern und Völkerschaften, die bereits ein selbständiges Leben führten. Deshalb müßte man eigentlich nicht von einem slawischen Einfluß, sondern gesondert von altrussischen, ukrainischen, slowakischen, bulgarischen, serbischen, kroatischen, slowenischen usw. Einflüssen sprechen» [Kiss 1973b: 7]. Основные возражения, которые можно выдвинуть против такой концепции, носят экстралингвистический характер: она пренебрегает языковым вкладом славянского этнического субстрата и проецирует в IX–X вв. те языковые границы, которые пролегли через праславянский континуум в соответствии с возникшими позднее границами политическими. Одним из вариантов данной концепции является то или иное распределение исторической Венгрии в IX в. между отдельными славянскими народами и языками, когда, например, постулируется присутствие древних словенцев на западе Паннонии, древних сербов в Альфёльде, словаков на севере страны, болгар в Потисье и Трансильвании¹⁴, восточных славян в верховьях Тисы и под. (см. [Moór 1962; Kniezsa 1963a: 43–44]).

В чисто лингвистическом плане концепция гетерогенности оказывается, однако, практически неуязвимой. Язык паннонских славян не обладал никакими абсолютно уникальными в славянском мире фонетическими чертами и был связан множеством изоглосс со своими соседями по праславянскому континууму. Поэтому любое из древних заимствований можно по желанию удовлетворительно объяснить как словакизм, или болгаризм, или серброкроатизм и т. д. Сходным делом обстоит дело и с лексико-семантическими чертами заимствований. Показательно, что вопрос о происхождении многочисленных славянских заимствований в церковной терминологии венгерского языка обычно решается путем ее весьма условного подразделения на восточно-христианскую, болгарскую по своему происхождению, и западно-христианскую, восходящую к хорвато-словенским источникам [Kiss 1973b: 6] (см. также [Tóth 1985] и [Золтан 1986] с акцентировкой роли славяно-болгарской миссионерской деятельности и с недоучетом того обстоятельства, что церковная терминология старославянского языка тесно связана не столько с болгарской, сколько с моравско-паннонской христианской традицией). Конечно, такое подразделение возможно (и даже в целом ряде вариантов); но целесообразно ли оно, если учесть, что славянские прототипы большинства тех венгерских слов, о которых идет речь¹⁵, просто не могли не сущест-

нославянском происхождении основной массы древнейших заимствований не может быть и речи. Не следует и переоценивать длительность и интенсивность древнерусско-венгерских контактов в этом регионе, см. [Шушарин 1971: 94–96].

¹⁴ Вопрос о болгарях на юго-востоке Венгрии следует отделить от того обстоятельства, что Трансильвания и ряд областей к востоку от Дуная постоянно или временно находились под суверенитетом Болгарского государства: было бы странно полагать, что подданными турков-поболгар становились лишь славяне, произносившие *žd*, *št* на месте слав. *dj, *tj.

¹⁵ Например, *apáca* 'монахиня', *apát* 'аббат', *csoda* 'чудо', *hála* 'хвала', *karácsony* 'рождество', *kéreszt* 'крест', *kéreszt-él* 'крестить', *malaszt* 'благодать', *pap* 'священник' и т. д.

вовать в языке паннонских славян, христианизация которых началась еще на рубеже VIII и IX вв. [Грот 1881: 82]?

Нет оснований оспаривать возможность культурного и языкового влияния на древний венгров со стороны какого-либо из соседних славянских народов. Но вряд ли есть нужда в том, чтобы, исследуя подобные возможности, уходить от наиболее простого и естественного объяснения ранних славянизмов венгерского языка как субстратных заимствований из языка тех славян, которые вошли впоследствии в состав венгерского этноса. Такой уход фактически ведет к неполному использованию тех богатых возможностей, которые предоставляет венгерский языковой материал для праславянской реконструкции.

К

Е
цуз'
щие
(из
(для
точн
хор:
про
сей:
одн
но
дик
rex'
kirá
пам

зай
стр
Вен

исг
так
биг
вя
вен
на
сле
ще
*кс
*k
(сл
яс

об

KIRÁLY И OLASZ: К ИСТОРИИ РАННИХ СЛАВЯНО-ТЮРКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ*

Венгерские слова *király* 'король' и *olasz* 'итальянец' (ст.-венг. также 'француз') с уверенностью квалифицируются как славянские заимствования, восходящие к позднепраславянским формам южнославянского диалектного типа **kralъ* (из **korlъ*) и **vlasi* (мн. ч. от **vlaxъ* из **volxъ*). С учетом культурно-исторических (для *király*) и географических (для *olasz*) соображений их непосредственными источниками являются, по мнению ряда исследователей, соответствующие древнехорватские и древнесловенские формы. Оба слова несомненно должны были проникнуть в венгерский язык если не до переселения венгров в Карпатский бассейн, то в самые первые годы их пребывания на новой этнической территории: с одной стороны, знакомство с Италией и с институтом королевской власти должно было состояться никак не позднее 899 г., когда венгры вторглись в Ломбардию и нанесли поражение войску итальянского короля Беренгара I (Berengarius rex), о другой стороны, ничто не дает оснований предполагать наличие у слов *király* и *olasz* лексических конкурентов в старовенгерском языке (в письменных памятниках они фиксируются начиная с XI–XII вв.).

Оба рассматриваемых слова при сравнении с другими ранними славянскими заимствованиями венгерского языка (происходящими большей частью из субстратных славянских диалектов Паннонии и других областей исторической Венгрии) обнаруживают фонетические аномалии.

Уникальная фонетическая особенность слова *király* — это качество гласного, использованного для разбивки недопустимого по нормам старовенгерской фонотактики начального сочетания согласных. В более чем 250 примерах такой разбивки, рассмотренных в специальном исследовании Б. Кеслер на материале славянских и других иноязычных заимствований (аппеллятивов и топонимов) старовенгерского языка, универсально действует правило, согласно которому консонантное сочетание разбивается кратким гласным, который тождествен гласному следующего слога (если тот краткий) или качественно близок гласному следующего слога (если тот долгий). Ср. *karácsony* 'рождество' (слав. **kračunъ*), *kalász* 'колос' (слав. **klasъ* из **kolsъ*), *korong* 'диск' (слав. **krōgъ*), *kereszt* 'крест' (слав. **krъstъ*), *kilincs* 'ручка' (ст.-франц. *clinche*), ст.-венг. и диал. *garáblya* 'грабли' (слав. **grabl'a*), *gilisza* 'червь' (слав. **glista*) и т. д. [Keszler 1969: 16–38] Необъясненным (несмотря на ряд делавшихся попыток [Ibid.: 40]) отклонением являет-

* Впервые опубликовано в: Славяне и их соседи. Место взаимных влияний в процессе общественного и культурного развития. Эпоха феодализма. М., 1988. С. 53–55.

ся только *király* (ст.-венг. и диал. также *kērály*) с узким вставным гласным, вместо ожидаемого **karály* (известный в одной записи ок. 1240 г. топоним *Karakka* — вероятно, *Karályka* из слав. **Kraľьka* — лишь подтверждает аномальность этого рефлекса).

В слове *olasz* проблему порождает краткость гласного второго слога: нормой субституции для ранних славянских заимствований венгерского языка является передача слав. *a* (исконно долгого) долгим *á* (случаи с кратким *a* на месте слав. *a* характерны для сравнительно более позднего слоя заимствований и отражают преимущественно сокращение долгот в многосложных словах). Ср. особенно нормальную субституцию в практически тождественном по происхождению венг. *oláh* 'румын' из слав. **vľaxъ*. Правда, венг. *a* регулярно передает слав. *o*, но предполагать заимствование из форм о рефлексом лужицко-лехитского типа типа *ToIT* > *TloT* (как в польск. *Włochy*) вряд ли реалистично.

Обе трудные фонетические проблемы позволяют решить гипотеза о заимствовании *király* и *olasz* не прямо из славянского, а из тюркских форм славянского происхождения **qıral* и **ulası* (с ударением в обоих случаях на последнем слоге). С учетом общетюркских закономерностей фонетики и фонотактики облик этих предполагаемых форм-посредников как результатов регулярной адаптации слав. **kraľь* и **vľasi* не должен вызвать сомнений. Подчеркнем лишь, что в отличие от венгерского языка тюркские языки склонны использовать для разбивки начального сочетания согласных не аналог следующего гласного, а соответствующий ему по ряду узкий гласный (ср. тур. *tırıpıza* 'вид стола' из греч. *τρόλεζα*, кар.-балк. *qırai* 'край', тат. *kirän* 'хрен' и т. д.; см. [Рясянен 1955: 48; СИГТЯ: 77]).

С другой стороны, столь же регулярным в фонетическом отношении выглядит отражение предполагаемых тюрк. **qıral* и **ulası* в виде венг. *király* (~ *kērály*) и *olasz*. Специального комментария заслуживает только рефлексация тюрк. *a*: в тюркских заимствованиях, хронологически близких к рубежу IX–X вв., венгерский язык имеет долгий *á* на месте тюрк. *a* в ударном последнем слоге перед сонантом (*oroszlán* 'лев' из **arıslan*) и (по крайней мере в единственном полностью однотипном с **ulası* случае) краткий *a* на месте тюрк. *a* в безударном первоначально срединном слоге (*Gyarmat* название рода из **jormatı*; см. [Ligeti 1986: 199, 85]). Прочие фонетические эффекты (*i* > *-i/-θ*, *u* > *o*) связаны с собственно венгерским историко-фонетическим развитием (продуктом его может в принципе быть и палатализация *-l* > *-ly*, если только согласный *l* не звучал смягченно и в тюрк. **qıral*).

Изложенная гипотеза без затруднений интерпретируется в свете прочих данных об этноязыковой и этносоциальной структуре Венгрии эпохи Переселения. Тюркский (хазарский) язык даже в середине X в., не говоря уже о более раннем периоде, был хорошо известен или даже преобладал над венгерским в доме Арпадов и среди военной знати, о чем свидетельствует обилие личных имен и титулов тюркского происхождения. Кабары и, возможно, другие тюркоязычные группы составляли заметную часть венгерского войска. Л. Лигети в этой связи справедливо полагает, что часть «булгарско-тюркских» заимствований венгерского языка следует относить уже ко времени после переселения в Карпатский бассейн, хотя и признает невозможным отличить их от более ранних заимствоза-

ний эпохи соседства с Хазарским каганатом или от возможных заимствований из языка протоболгар [Ligeti 1986: 484–487, 531–534]. Это позволяет думать, что в то время как подавляющее большинство славянских слов проникло в венгерский язык непосредственно из языка местных славян — представителей социальных низов и в то же время носителей активно усваивавшейся венграми оседлой культуры, некоторая часть славянских слов первоначально проникла в язык тюркских этносоциальных групп и лишь затем, в условиях массового венгерско-тюркского двуязычия, была усвоена венгерским языком. Для слов *király* и *olasz*, связанных в первую очередь с военно-политической деятельностью тюркоязычной элиты, этот второй путь был вполне естественным.

РАННЯЯ СЛАВЯНСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ*

Лексика славянского происхождения занимает исключительно важное положение среди основной христианской терминологии венгерского языка, заметно превосходя в количественном отношении собственно венгерские образования и другие слои заимствований. Она охватывает практически весь круг фундаментальных понятий христианства, религиозных установлений и терминов церковной жизни, ср. *keresztény* 'христианин', *szent* 'святой', *kereszt* 'крест, крещение', *keresztel* 'крестить', *koma* 'кум'; *pogány* 'язычник', *bálvány* 'кумир, идол', *eretnek* 'еретик', *csoda* 'чудо', *hála* 'хвала', *malaszt* 'благодать', *pokol* 'ад'; *pap* 'священник', *deák* 'диакон', *apát* 'настоятель', *barát* 'монах', *apáca* 'монахиня', *szesztra* 'послушница', *zarándok* 'странник, паломник'; *zsolozsma* 'служба, литургия', *mise* 'месса', *vecsernye* 'вечерня'; *oltár* 'алтарь', *szövétnék* 'светильник', *korozsma* 'миро', *tömjén* 'ладан, фимиам', *karapol* 'кропить'; *szerda* 'среда', *csütörtök* 'четверг', *péntek* 'пятница', *szombat* 'суббота', *karácsony* 'рождество' и ряд других обозначений, а также славянизированные по форме христианские имена (*Demeter*, *Kozma*, *Miklos*, *Vászoly* и др.). С точки зрения фонетических соотношений со славянскими этимонами (включая и предполагаемые формы-посредники для слов неславянского в конечном счете происхождения), закономерностей адаптации и дальнейшего развития на венгерской почве данная лексика смыкается с обширным слоем ранних (конец IX–XII вв.) славянских заимствований венгерского языка, что согласуется и с достаточно давней фиксацией многих перечисленных слов в древневенгерских письменных памятниках. Происхождение абсолютного большинства ранних славянских заимствований можно связать с субстратным воздействием со стороны одного из позднепраславянских диалектов, первоначально распространенного в зоне наиболее активных контактов венгров со славянами, а затем, вероятно, проникшего и в другие регионы исторической Венгрии. Речь идет о языке паннонских славян, которые позднее были полностью ассимилированы венграми. Мощност субстратного пласта достаточно велика для надежной реконструкции комплекса фонетических характеристик этого диалекта (а отчасти и направлений его фонетической эволюции), равно как и некоторых его особенностей в сферах словообразования, лексики и семантики. Попытка подобной панноно-славянской реконструкции на основе венгерского языкового материала сделана в докладе на X съезде славистов в Софии [Хелимский 1988г].

* Впервые опубликовано в: Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 46–64.

В этом докладе был выдвинут и тезис о том, что славянские прототипы большинства перечисленных выше терминов христианской религии не могли не присутствовать в языке паннонских славян, христианизация которых началась еще за сто лет до завоевания страны венграми, и что именно в качестве элементов субстрата эти термины могли проникать и в венгерский язык. С учетом культурно-исторической значимости проблемы данный тезис нуждается в специальном обосновании и развитии, тем более, что он вступает в противоречие с теми взглядами, которые высказывались в течение последних десятилетий по поводу происхождения славянской христианской терминологии венгерского языка.

Вообще говоря, трактовка этой проблемы — одной из центральных и наиболее традиционных для венгерской славистики и работ по славяно-венгерским языковым контактам — претерпела сложную и во многом примечательную эволюцию. Весьма немаловажную роль сыграло то обстоятельство, что в основополагающих работах Фр. Миклошича о славянских элементах венгерского языка и о славянской христианской терминологии [Miklosich 1871, 1875] данная проблема оказалась тесно переплетена с унаследованной от Е. Копитара концепцией древнесловенско-паннонского характера старославянского языка. Обозначая язык славянского (древнесловенского) населения Паннонии как *Slavische Kirchensprache*, Миклошич видел в нем источник славизмов венгерского языка, в том числе и терминологии христианства, в которой налицо очевидные схождения с кирилло-мефодиевской традицией. Данный подход нашел отражение и в специальной большой работе О. Ашбота «Славянство в венгерской христианской терминологии», где констатируется, что «обращение венгров в христианскую веру при св. Иштване начинается с той области, которая, согласно предположению Миклошича и других авторов, была местом расселения словен, для которых и на язык которых славянские первоучители перевели Священное Писание» [Asbóth 1884: 342], — и тем самым фактически предполагается преемственность венгерской христианской терминологии по отношению к кирилло-мефодиевской; см. также [Volf 1897].

Пересмотр принятых в славистике взглядов на происхождение старославянского языка, признание его древнеболгарского характера и обстоятельная критика «паннонской теории» (главным образом в работах В. Ягича начиная с 1870-х гг.; см. [Jagić 1913]) автоматически повлекли за собой концептуальные изменения в трактовке славянских заимствований венгерского языка. В более поздних работах того же О. Ашбота сохраняется идея их близости старославянским формам, и для ее культурно-исторического обоснования выдвигается версия широкого расселения славяно-болгар на территории исторической Венгрии (Трансильвания, бассейн Тисы), а предполагаемый ареал наиболее интенсивного славянского влияния на венгров — в том числе и в сфере религии — перемещается из Паннонии на юго-восток [Asbóth 1900b, 1907]. Прочность тождеств в триаде «славянский источник венгерской христианской терминологии — старославянский язык — древнеболгарский язык» для автора настолько несомненна, что, согласно его новой точке зрения, «славянская часть венгерской христианской терминологии... является самым решительным доказательством в пользу возможности болгарского влияния на нашей современной территории» [Asbóth 1900b: 229].

Иной путь согласования фактических данных с утверждениями В. Ягича был избран Я. Мелихом. Полемизируя с «болгарской теорией» Ашбота, довольно

плохо соотносящейся с реальными историческими данными, он в монографии «Христианская терминология венгерского языка» акцентирует внимание на расхождении с лексикой старославянских памятников, в частности, привлекает к рассмотрению наряду со славянскими элементами этой терминологии и многочисленные латинизмы, параллельно представленные и в венгерском языке, и в языках славян-католиков [Melich 1903–1905]. В последующих работах Мелиха находит отражение выдвинутая им концепция множественности источников ранних славянских заимствований в венгерском языке¹, ставится задача последовательного разграничения преобладающего «католического» и относительно небольшого «православного» слоев в христианской терминологии славянского происхождения, причем роль языков-источников отводится в первом случае преимущественно кайкавско-хорватскому и словенскому, а во втором — болгарскому языкам [Melich 1910a: 4–11, 1910b: 95–102].

Концепция Мелиха, в том числе и его трактовка христианской терминологии, стала традиционной для венгерской славистики. Она отражена в работах И. Книежи, в том числе в его фундаментальном этимологическом словаре славянских заимствований венгерского языка [Kniezsa 1955]; вслед за [Kniezsa 1964: 205], в целом ряде работ перечень болгарских (православных) элементов в венгерской терминологии христианства содержит слова *kereszt* (только в значении 'крест'), *szombat, deák, pap* — см., например, [Kiss 1973b: 6; МТ 1984 I: 684; Тот 1984a: 32; Золтан 1986: 6]. Большинство других терминов (из числа перечисленных в начале доклада) связывается в этом случае с хорватско-словенским или в целом славянско-католическим языковым влиянием, хотя имеются и попытки обосновать болгарское или в целом православно-славянское происхождение ряда других слов (например, *hala, karácsony, malaszt* — см. [Хоргоши 1984; Tóth 1985: 61; Zoltán 1987] и др.). То обстоятельство, что одно и то же слово славянского происхождения порой поочередно фигурирует в разных перечнях (ср. для *szent* — [Тот 1984a: 33] и [Kiss 1973b: 6], для *zarándok* — [Kniezsa 1955: 568–569] и [Kiss 1973b: 6]), уже само по себе свидетельствует о проблематичности критериев разделения славизмов в венгерской терминологии христианства на православную и католическую части.

И в лингвистических, и особенно в исторических работах эта двухкомпонентность связывается с двумя путями распространения христианства в Венгрии — с Запада и из Византии ([Шушарин 1971: 112; Györffy 1977] и др.), причем в связи с присутствием в христианской терминологии предполагаемых болгаризмов активно разрабатывалась версия о славянском посредстве в миссионерской деятельности византийской православной церкви (например, [Tóth 1985; Неппер

¹ Данная концепция в значительной мере основывается на переоценке лингвогеографических критериев (распространенность тех или иных слов в тех или иных из соседних славянских языковых областей) в ущерб историко-фонетическим, что вообще характерно для научного творчества Мелиха (ср. [Asbóth 1907: 16] и [Melich 1909–1910: 71]). Несомненно, однако, что она преследовала и конъюнктурно-политические цели, имея целью затушевать субстратный характер большинства ранних славянских заимствований (очевидный для Миклошича) и показать, что «хотя в совокупности славянское языковое влияние на наш язык очень велико, но влияние каждого языка в отдельности не сильнее, чем, например, древнетюркское или итальянское языковое влияние» [Melich 1910a: 31]. См. в этой связи также [Рот 1973: 54 и сл.; Хелимский 1988г: 362, 1989г: 189–190].

1987]; ср. очень осторожные комментарии П. Кирая по этому вопросу [Király 1971: 294–295]).

Для полноты картины можно упомянуть и гипотезу о западнославянском — чешском и в особенности словацком — происхождении христианской терминологии в венгерском языке, связанную с концепцией устойчивого сохранения кирилло-мефодиевской традиции на территории Словакии [Bujnak 1933; Stanislav 1941, 1948: 609]; см. в этой связи возражения И. Книежи [Kniezsa 1942, 1948a, 1964], дополняемые тем обстоятельством, что данные в пользу идентификации тех или иных слов как фонетических или лексико-семантических словакизмов отсутствуют.

* * *

Те проблемы и альтернативные решения, которые возникли в трактовке славянских элементов венгерской христианской терминологии после работ Ягича, имеют своим источником давно обнаруженную и вполне очевидную близость большинства этих элементов к терминологии старославянских памятников кирилло-мефодиевской традиции. При этом практически с самого начала такая близость оценивалась как результат преемственности по отношению к терминологии, установленной Кириллом и Мефодием. Отсюда, в частности, и многочисленные попытки идентификации отдельных элементов как болгаризмов.

Однако приходится напомнить о том достаточно тривиальном факте, что вопрос о характере старославянского языка с точки зрения его фонетико-морфологических признаков никоим образом не идентичен вопросу о происхождении кирилло-мефодиевской христианской терминологии. Этот факт, вообще говоря, констатировал и сам Ягич, многократно отмечавший обилие в древнейших старославянских памятниках «моравско-паннонских» терминов, имеющих в основном латинское и германское происхождение [Jagić 1913: 154–155, 223, 225]. И исторические, и лингвистические данные однозначно указывают на то, что христианскую терминологию славянские первоучители не создавали, а использовали, поскольку прибытию в Моравию в 863 г. Кирилла и созданию славянской азбуки предшествовало не менее семи десятилетий христианства у западно-придунайских славян (Хорутания, Паннония, Великая Моравия). За этот период здесь сложилась вся система терминов, связанных с религией, ритуалом и жизнью церкви [Pauliny 1964; Kronsteiner 1982] и использованных в первых славянских религиозных текстах, переведенных с латинского или немецкого языков — «Оглашение», «Верую», формулы исповеди [Isačenko 1948; Matejka 1968; Dostál 1970; Бернштейн 1984: 89–90; Флоря 1985: 65; Тот 1986: 104]. Несомненно, деятельность Кирилла и Мефодия в Великой Моравии, а затем в Паннонии не могла не включать на начальном этапе запись с помощью новой азбуки этих текстов, хорошо знакомых их помощникам из среды местного славянского духовенства и даже рядовым прихожанам. Естественным следствием явилось употребление и закрепление соответствующих терминов также в переводах, осуществлявшихся непосредственно с греческих оригиналов — как в Моравии и Паннонии, так и позднее в Болгарии. Таким образом, западно-придунайское происхождение значительной части старославянской христианской терминологии (за исключением ряда сравнительно менее употребительных лексических единиц, заимствованных

из греческого языка или прокалькированных, а также возникших путем словотворчества) есть историко-языковая реальность, обусловленная и приоритетом западно-придунайских славян как носителей христианства, и экуменическим (для своего времени) характером деятельности Кирилла и Мефодия, несомненно, ставивших цели христианского просвещения превыше сложившихся в IX в. различий между римским и византийским ритуалами и опиравшихся на плоды предшествовавшей им деятельности западных миссий (см. [Zagiba 1961]).

Соответственно, из констатации схождений между двумя совокупностями христианских терминов — кирилло-мефодиевской и венгерской — вовсе не следует необходимость «выведения» второй из первой, тем более, что еще до смерти Мефодия (в 885 г.) славянская литургия и славянская книжность в Паннонии были если не полностью утрачены, то чрезвычайно ослаблены [Золтан 1986: 5], а версия болгаро-славянского посредства в миссионерской деятельности византийской православной церкви сталкивается и с отсутствием необходимых исторических свидетельств, и с логическими неувязками². С другой стороны, гонения на учеников Мефодия и в целом на славянскую литургию не означали ни отхода от христианского вероучения как такового, ни отказа от какого бы то ни было использования славянского языка в церковно-религиозной сфере (в тех пределах, которые были санкционированы для местных языков решениями каролингских церковных соборов, — например, в проповедях), а тем более не могли заставить славян Паннонии «забыть» сформировавшуюся еще до Кирилла и Мефодия христианскую терминологию.

Сохранение после венгерского завоевания достаточно многочисленного славянского населения в Паннонии обеспечило и континуитет славянской христианской традиции [Tóth 1985: 62; Хелимский 1988г: 350–351]. Именно с нею новые пришельцы столкнулись в первую очередь, задолго до того, как их могла в сколь-нибудь массовом порядке затронуть миссионерская деятельность, будь то римско-католическая или византийская. Кстати, во многих случаях заимствование отдельных элементов христианской терминологии вовсе не предполагает непосредственного принятия христианства: заимствованные обозначения, например, христианина, креста, священника, монаха и др. вполне могли быть известны уже и венграм-язычникам, соседствовавшим со славянами-христианами. Говоря о проникновении славянской христианской терминологии в венгерский язык, следует иметь в виду и чисто субстратный путь проникновения — не за счет заимствования самими венграми необходимой лексики по мере ознакомления с христианскими установлениями и принятия новой веры, а за счет языковой ассимиляции (мадьяризации) отдельных групп славян-христиан; учитывая известную религиозную толерантность и открытость язычества, вряд ли следует ду-

² Уже с середины X в. на территории Венгрии действуют греческие монастыри; тем не менее, с одной стороны, их достаточно обширное письменное наследие состоит исключительно из греческих или греко-латинских памятников (ни единого славянского), с другой стороны, в венгерский язык не проникло непосредственно ни одного греческого христианского термина; см. [Király 1971; MT 1984 I: 681–684; Tóth 1985]. Не удивительно, что «исторические источники умалчивают о миссионерской деятельности, ведшейся славянами, принадлежавшими к православной церкви, среди венгров» [Tóth 1985: 61]: даже самые полные и точные источники имеют обыкновение умалчивать о том, что не имело сколь-нибудь существенного значения.

мать, что подобная ассимиляция даже в X веке, до официального признания христианства государственной религией Венгерского королевства, предполагала тотальную дехристианизацию ассимилируемых групп.

Есть, таким образом, основания видеть в славянской христианской терминологии венгерского языка — или по крайней мере в определенной ее части — наследие достаточно ранней (по сути дела — докирилло-мефодиевской, хотя хронологически более поздней, чем миссия солунских братьев) славянской терминологии. Для изучения данного предположения целесообразно обратиться к анализу соответствующей лексики, причем с учетом сказанного выше особое внимание будет уделено тем терминам, которые в имеющейся литературе квалифицировались как православно-славянские (болгарские) заимствования. Центральным для нас является вопрос: все ли ранние славизмы венгерской христианской терминологии могли быть известны и употребимы в IX–X вв. в языке паннонских славян?

* * *

А. Лексика предполагаемого «православно-славянского» происхождения.

1. Ст.-венг. (с XIV в.) *belendēs* 'развратный, распутный'. Это слово (относящееся, разумеется, скорее к лексике религиозных текстов, нежели к христианской терминологии в собственном смысле слова) образовано от незасвидетельствованного *belend* 'разврат, распутство' < слав. **blędъ*. Ссылаясь на то, что в старославянском языке (согласно [Miklosich 1862–1865]) засвидетельствовано только значение 'deliramentum' ('пустая болтовня, вздор'), а в остальных славянских языках (помимо восточнославянских) — вообще только глагол **blędъ* 'болтать, бредить, нести вздор', И. Книежа ([Kniezsa 1955: 87] и вслед за ним [TESz I: 274] и [Tóth 1985: 65]) предположил, что венг. *belend(ēs)* имеет (др.-)русск. происхождение и, возможно, заимствовано через монахов русского монастыря Св. Андрея в Вишереграде (сер. XI в.). См. также [Melich 1905: 362–370].

Думается, что необходимость в этом несколько экзотическом предположении отпадает с учетом ст.-сл. *блѣдъ* в значении 'распутство, разврат, fornicatio' [SJS III: 117–118], представленного — что весьма примечательно в контексте паннонской проблематики — только в Синайском требнике, глаголическом памятнике XI в., отразившем моравско-паннонский оригинал [Jagić 1913: 251–257; Dostál 1966], ср.: *ѣвъ помышленъи неправеднѣи • поустоши ѣ блѣди • ѣкоже азъ колиждо сътворихъ Euch 72a 17 = kiridono enti unrehtero vizusheito, hurono so uue so ih sio giteta*. Фактически заимствование в венг. (если объяснить его субстратным влиянием, а не более поздними контактами) и пример из Синайского требника взаимно подкрепляют друг друга, позволяя думать, что слав. **blędъ* не только в вост.-слав. области, но и где-то в западнопридунайских землях развило (или сохранило) семантику, более характерную для слав. **blędъ*.

2. Венг. *diák, děák* (ст.-венг., с XIV в.) 'дьякон'; (ст.-венг., с XIV в.) 'писец, секретарь'; (с XV в., уст.) 'латинский'; (с XVI в.) 'студент, учащийся'. Согласно [EtSz I: 1286], из ст.-сл. *диакъ* 'дьякон'; квалифицируется также как заимствование из языка православных южных славян [Kniezsa 1955: 154–155; TESz I: 628], из болгарского языка [Тот 1984а: 32]. Первоисточником, во всяком случае, является ср.-греч. *διάκος*, усечение из *διάκονος*. При всей очевидности этимологии

анализ конкретных путей распространения слова и развития отдельных значений (совмещающихся не только в венг., но и в соседних слав. языках, возможно, не без венг. влияния: ср. схрв. *đák* 'дьякон, дьячок, писец, студент') представляет немалые трудности. С одной стороны, вполне правдоподобно присутствие слова в языке паннонских славян, во всяком случае после Кирилла и Мефодия; усеченная форма греческого происхождения могла дополнительно поддерживаться альпино-романскими преобразованиями лат. *diaconus*, к которым восходят, в частности, и чешск. *žák* 'ученик' (ст.-чешск. 'дьякон, певчий'), словц. *žiak* [BEW: 198–199]. В пользу этого свидетельствует и фиксация формы *динакъ* в ст.-сл. памятниках моравско-паннонской традиции: Синайском требнике (многократно), Беседах на евангелие папы Григория Великого [SJS IX: 485]. С другой стороны, венг. *diák*, *děák* может и не относиться к наиболее раннему пласту христианской терминологии (на это — или же на вторичное влияние лат. *diaconus* — указывает сохранение зияния; ср., впрочем, ст.-венг. и диал. формы *děják*, *gyják*, *gyivák* и др.); в этом случае с православно-славянской и субстратной (паннонской) версиями могут конкурировать и предположения о заимствовании непосредственно из греч. (в эпоху распространения в Венгрии греческой монастырской книжности; в таком случае это единственный термин такого происхождения, ср. выше) или из хорв. (где *dijak*, *djak* 'писец, секретарь' известно с начала XIV в.).

3. Венг. *hála* 'благодарность' (надежно засвидетельствовано с XIV в., преимущественно в выражении *hálát ad* 'gratias agit, воздает хвалу'). Источник венг. слова, **xvala*, представлен в слав. языках повсеместно, однако венгерские исследователи [Melich 1905: 262–264; Kniezsa 1955: 209–210; TESz II: 31] акцентируют внимание на возможности кайкавско-хорватского или словенского происхождения, с учетом того, что моделью для *hálát ad* могли послужить кайк.-хорв. *dálo je hvalu Bogu*, словен. *hválo dajáti*. Однако А. Золтан, указывая на многочисленные примеры хвалъ възда(я)ти в ст.-сл. евангельских текстах, трактует *hálát ad* как кальку этого выражения, а само слово *hála* как др.-болг. заимствование ([Zoltán 1987], ср. также [Золтан 1986: 8]). Поскольку, однако, хвалъ възда(я)ти систематически используется как переводное соответствие греч. εὐχαριστεῖν, но не является его калькой (в отличие от более поздних благохвалити, благодарити, см. [Jagić 1913: 412–413]), собственно славянский характер фразеологизма не вызывает сомнений: переводчики Евангелия опирались на уже существовавшее словосочетание, которое — с учетом хорватских и словенских параллелей — бытовало по крайней мере в западно-придунайской части славянской языковой области.

4. Венг. *karácsony* 'рождество' (засвидетельствовано с XV в., в качестве антропонима — с XII в.). Поскольку слав. **korčunъ*, несомненный источник этого слова, образует довольно пеструю и разрозненную лингвогеографическую картину (см. [ЭССЯ II: 56–57]), выдвигались версии о заимствовании из языков православных славян [Melich 1905: 310–316], из вост.-слав. (др.-русск.) еще до расселения венгров на современной территории ([Kniezsa 1955: 254] — как возможное допущение; [Рот 1973: 252–253])³, из словц. *kračun* 'рождество' ([TESz II:

³ Вост.-слав. версия однозначно опровергается фонетическими аргументами: праслав. **korčunъ* дало бы венг. **karcsony*, а вост.-слав. **koročunъ* — венг. **karacsony*; форма *karácsony* может восходить только к метатезированной форме южно-слав. типа **kračunъ* (ср. [Хелимский 1989г: 194]).

371–372] — как одна из возможностей), наконец, из болг. диал. *крачун* ‘сочельник, канун рождества’ и макед. (Корча, Кастория — см. [Koneski e. a. 1966: карты 9, 16]) *Крачун* ‘рождество’ ([Тот 1984а: 32–33; Золтан 1986: 7–8]; см. также [Melich 1925: 312–314]).

Представляется убедительной и высоко надежной трактовка **korčunъ* не как балкано-романского заимствования (ср. [BEW: 603–604]), а как исконно славянского деривата от **korčiti*, первоначально обозначавшего в рамках языческих календарных традиций ‘зимний солнцеворот’, а впоследствии отчасти утраченного вместе с этими традициями, отчасти же переосмысленного в христианском контексте как ‘сочельник’ или ‘рождество’ ([ЭСРЯ II: 336–337; ЭССЯ II: 57–58] с литературой). Современная лингвогеографическая мозаичность, несомненно, отражает исходное общеславянское бытование слова, охватывавшее и паннонский регион. Можно предполагать, что в ранней славянской христианской терминологии **kračunъ* использовалось как параллельное, неофициальное (и потому не отраженное в ст.-сл. памятниках) название рождественских праздников, реликты которого обнаруживаются в слов., болг., макед., рум., венг. языках.

5. Венг. *kérészt* ‘крест’ (с XIII в., в топонимах с XI в.); ‘крещение’ (с нач. XV в., ныне уст.). В работах венгерских авторов широко распространена трактовка *kereszt₁* ‘крест’ и *kereszt₂* ‘крещение’ как гетерогенных омонимов, из которых первый заимствован из языка православных славян, скорее всего из болг., а второй — из языка славян-католиков, скорее всего из хорв. или слн. ([Melich 1905: 324–326, 326–329; Kniezsa 1955: 263, 264; TESz II: 457–458, 458–459] и др.)⁴; эта трактовка соответствует хорошо известной дистрибуции значений у рефлексов слав. **krъstъ*, четко разделяющей Pax Slavica Orthodoxa и Pax Slavica Latina [ЭССЯ XIII: 76].

Однако столь прямолинейное проецирование современной лингвогеографии в эпоху, когда Pax Orthodoxa и Pax Latina еще не разделились окончательно, представляется неубедительным. Как неоднократно отмечалось, в ст.-сл. памятниках, в том числе и принадлежащих к моравско-паннонской традиции или связанных с нею, систематически представлено «православное» название креста ([SJS XVI: 78–79], с указанием на употребление *кръсть* ‘crux’ в Euch Cloz Const Meth VencNik Bes Vit). «Католическое» название *крижь* из всех охваченных в SJS памятников представлено только в CanMis, хорватско-глаголическом тексте литургического канона XIV в. [SJS XVI: 65], см. также [Львов 1966: 8] (*крижь* «появляется только в поздних списках памятников, а в древних списках известно только *кръсть*»). Для В. Ягича это обстоятельство служило важным аргументом в пользу балканского (древнеболгарского) происхождения старославянского языка [Jagić 1913: 203, 356], но в действительности оно скорее свидетельствует лишь о хронологическом приоритете слова **krъstъ*, которое было «заимствовано из др.-в.-нем. (или гот.?) формы имени Христа в докирилломефодиевское время в

⁴ Известна и версия, согласно которой венг. название креста имеет вост.-слав. происхождение и заимствовано еще до прихода венгров в бассейн Дуная. Однако основывается она всего лишь на том, что в одном из предположительно древневенгерских захоронений Северного Причерноморья обнаружено изображение креста ([Moravcsik 1952: 39]; см. также взаимоисключающие оценки этого слова у А. Барты [MT I: 560] и Д. Дьерффи [MT I: 731]). Историческая неправомерность этой версии отмечена И. Книежей [Kniezsa 1955: 264].

придунайских землях» ([ЭССЯ XII: 76]; см. также [ЭСРЯ II: 374]), по отношению к **križь*, более позднему заимствованию, восходящему в конечном счете к лат. *crucem* [BEW: 619–620; Machek 1971: 302].

Более того, для ранней эпохи вполне допустимо предполагать, как это делал и Ягич, синкретизм значений 'крест' и 'крещение' у слав. **krъstь*. О докирилло-мефодиевской древности второго из этих значений может свидетельствовать, в частности, его фиксация в Фрейзингенских отрывках (*inoga mnogoga ese protiu bogu i protiu menu creztu* — [Fris I: 20], см. [Freisinger Denkmäler 1968: 237; SJS XVI: 79]). Реликтом синкретизма может быть глагол **krъstiti*, который в языках православных славян почти неразличимым образом совмещает значения 'совершать обряд крещения' и 'осенять крестным знамением'; если этот глагол отыменной, как полагают М. Фасмер [ЭСРЯ II: 374] и О. Н. Трубачев [ЭССЯ XIII: 75–76], а не представляет собой самостоятельное заимствование из др.-в.-нем. (ср. ср.-в.-нем. *kristen* 'обращать в христианство' — см. [BEW: 634; Wandas 1987: 467–468]), то первое из этих значений само по себе указывает на то, что **krъstь* 'крещение' присутствовало и у языковых предков православного славянства. Ср. также возможность трактовки образований типа рус. *крѣстный* как непосредственных дериватов от **krъstь* — по полной аналогии с чешск. *křtini* от *křest* 'крещение', венг. *keresztapa* 'крестный отец', *keresztanya* 'крестная мать'.

В этом контексте попытки этимологического разграничения венг. *kereszt₁* и *kereszt₂* выглядят необязательными и фактически обедняющими историческую ценность венгерского материала для славистики. Источником обоих слов, а по сути дела — одного слова, могла явиться паннонско-славянская форма, совмещавшая оба праславянских значения и тем самым, по-видимому, отразившая ту раннюю эпоху первичного знакомства славян-язычников с христианством их западных соседей, когда не было еще необходимости дифференцировать принадлежность к религии (крещение), ее основную символику (крест) и ее центрального персонажа (Христос).

6. Венг. *malaszt* 'благодать' (засвидетельствовано, наряду с рядом других славизмов, уже в первом известном тексте на венг. языке — «Надгробной речи» конца XII в.). Обычно среди рефлексов слав. **milostь* внимание акцентируется на хорв. и слн. формах со значением 'благодать', которые и признаются непосредственными источниками венг. *malaszt* [Melich 1905: 342–344; Kniezsa 1955: 324; TESz II: 828–829; Золтан 1986: 6]. В работе Э. Хоргоши [1984] справедливо отмечается, с одной стороны, что в «Надгробной речи» *miloft-* (совр. *malaszt*) выступает в качестве эквивалента лат. *gratia*, с другой стороны, по крайней мере в одном ст.-сл. памятнике (житие св. Наума X в. из Македонии) в значении 'gratia' употреблено исконное милость, а не новообразование благодать (см. также [SJS XVIII: 208]). Эти наблюдения, однако вряд ли достаточны для констатации др.-болг. происхождения венг. слова (как у Хоргоши), а лишь показывают, что в ранней славянской — как, по-видимому, и в ранней венгерской — терминологии семантика соответствующих слов варьировалась в относительно широком диапазоне ('милосердие, сострадание, мягкосердечие, кротость, жалость, благосклонность, щедрость, благочестие, благодать, благодаяние' и под.).

7. Венг. *rap* 'священник, священнослужитель' (с XIV в., в ономастике с XII в.). На основании лингвогеографии и семантики (слав. **ropь* как общее обозначение священнослужителя характерно для языков православных славян, а у

славян-католиков известно преимущественно в значении 'православный священник') это слово причисляется к православно-славянскому (древнеболгарскому) пласту заимствований, см. [Kniezsa 1955: 384–385, 1964: 205; TESz III: 89–90; Тот 1984а: 32] и др.

В этом случае неадекватность лингвогеографического подхода, пожалуй, наиболее очевидна⁵. Происхождение слав. **porъ* (из др.-в.-нем. *pfaffo*) указывает на заимствование в западно-придунайских землях. Характерные примеры употребления слова в памятниках ст.-сл. письменности, особенно известная фраза из Жития Мефодия (Моравляне очююще нѣмьчьскыя попы, иже живаахоу въ нихъ, не принающе имъ, нъ ковь коующе на на, изгънаша вса 'Мораване, убедившись, что немецкие попы, которые жили между ними, не хотели им добра, но строили козни против них, изгнали всех' [Jagić 1913: 51; Флоря 1981: 99]), не оставляют никаких сомнений в том, что именно этим термином обозначались и предшественники Мефодия по религиозному служению в Моравии и Паннонии, и его помощники⁶. Столь же несомненно, наконец, что при вхождении древних венгров в контакты со славянами, сохранявшими свои христианские установления, обозначение священника *par* должно было быть заимствовано одним из первых — для заимствования не требовались ни обращение самих венгров в христианство, ни тем более какая-то специальная миссионерская активность православных славян.

8. Венг. *szeni* 'святой' (засвидетельствовано с XII в., в частности, в «Надгробной речи»). Обычно квалифицируется как славизм (слав. **svetъ*) без уточнения источника [Melich 1905: 401–403; Kniezsa 1955: 499–500; TESz III: 723], однако Л. Кишш относит это слово к «католическому» пласту лексики [Kiss 1973b: 6], а И. Тот, напротив, к «православному» ([Тот 1984а: 33], со следующей мотивировкой: «Тези термини принадлежат към кръга на най-основните понятия на християнството и е невъзможно да си представим разпространението му без тях. Тъй като това разпространение до 973 г. се свързва с дейността на византийската църква, споменатите думи с право могат да се изведат от старобългарския език»). Здесь можно ограничиться утверждением, что универсальное распространение прилагательного **svetъ* в слав. языках и в ст.-сл. памятниках служат гарантией того, что термин был известен и славянам Паннонии.

9. Венг. *szombat* 'суббота' (засвидетельствовано с нач. XV в., в топонимах существенно раньше). С учетом дистрибуции рефлексов слав. **sqbota* (ст.-сл., болг., схрв., вост.-слав.) и **sobota* (ст.-сл., слн., зап.-слав.) венг. слово признается заимствованием из языков православных славян [Melich 1905: 270–271, 279–280; Kniezsa 1955: 508–509, 1964: 205; TESz III: 779–780], из др.-болг. [Тот 1984а: 32; Золтан 1986: 6].

Характер изоглоссы не говорит в пользу присутствия формы **sqbota* (или **sqbotъ*, как в Синайском требнике и Ассеманиевом евангелии — см. [SJS XLII: 395]) в языке славян Паннонии (формы с **so-* к западу и к северу), хотя и не исключает такой возможности (формы с **sq-* к югу). Двойственность ст.-сл. памят-

⁵ Не говоря уже о том, что и материал языков «католического» славянства при историческом подходе к нему четко указывает на первичность **porъ* (с последующей семантической эволюцией) и вторичность обозначений священника типа чешск. *kněz*, польск. *ksiądz* ([Machek 1971: 472, 262]; см. также [Frinta 1918; Klich 1927; Olesch 1976]).

⁶ См. также [Jagić 1913: 154–155] (о слове **porъ* как элементе докирилло-мефодиевской христианской терминологии).

ников, в которых можно обнаружить и *sq-* в текстах западно-придунайского происхождения (Euch Bes), и *so-* в текстах из Болгарии и Македонии (Mar As Sin и др.), может свидетельствовать о довольно широких — в том числе и внутридиалектных — колебаниях между двумя формами. К сожалению, изобилие вариантов этимологического объяснения каждой из слав. форм (для **sqbota* — из ср.-греч., или балк.-лат., или гот., или др.-в.-нем.; для **sobota* — из греч. или ср.-лат., см. [ЭСРЯ III: 792]) затрудняет реконструкцию их исходной дистрибуции.

10. Венг. *zarándok* 'паломник, пилигрим' (с XIV в., в топонимах с XIII в.). Заимствовано из слав. (**stornьnikъ* >) **stranьnikъ*, представленного с соответствующими значениями в ст.-сл. и др.-рус., что служит основанием для атрибуции заимствования «православному» пласту христианской терминологии, см. [Kniezsa 1955: 568–569; TESz III: 1188; Tóth 1985: 61].

Можно отметить в этой связи, что в своей семантике ст.-сл. *страньнь* 'чужой, иноземный, иностранный; путник, странник, иностранец' и связанное с ним *страньникъ* заметно отличаются от большинства непосредственных рефлексов слав. **stornь* (с преобладающим значением '(по)сторонний') и **stornьnikъ* (с преобладающим значением 'сторонник'), ср., например, зап.-слав. факты типа чешск. *straník*, польск. *stronnik* 'сторонник' и оппозицию исконных и заимствованных форм типа *сторонник* — *странник* в вост.-слав. (др.-рус. [Срезн.] *стороникъ*, *стороньникъ* 'странник, путник' в церковных текстах могут калькировать ст.-сл. словоупотребление). С другой стороны, налицо теснейшая семантическая связь с хорв. *strān*, словен. (Plet.) *strān* 'иностранный, чужой'. Обычно эти формы трактуются как усечения из **stranь* [RHSJ; Skok III: 341], но необязательность данной трактовки вытекает из существования широко представленного в ст.-сл. (Nik Ochr Mak Const VencMin Nicod) *странъ* = *странь* [SJS XXXVIII: 175–176], ср. также *странолобие* = *страньнолюбие*, *страньлюбь* = *страньнолюбь* [там же: 174–175]. Представляется, что совокупность наблюдаемых данных позволяет усомниться в справедливости трактовки ст.-сл. *странь*, *страньникъ* как дериватов от **storna* в значении '(чужая) страна' [ЭСРЯ III: 771; Шанский и др. 1961: 321] и исходить из **stranъ* 'чужой, иностранный' — вероятно, южнославянского регионализма позднепраславянской эпохи, который мог быть по происхождению связанным со слав. **storna* 'сторона' и в то же время испытать по крайней мере контаминационное влияние романских продолжений лат. *extraneus* типа итал. *strano* 'странный, необычный, инородный'. Распространение **stranъ* и его предполагаемых прямых дериватов **stranь* 'чужой, иностранный; страный', **stranьnikъ* 'странник, путник, паломник' (а также словен. *strānski* 'иностранный' и др.) благоприятствует предположению о первичной локализации слова в западно-придунайских землях, тем самым частично реабилитируя версию Я. Мелиха о словенском происхождении венг. *zarándok* [Melich 1905: 410–413].

Б. Лексика предполагаемого «католико-славянского» происхождения.

В контексте основного поставленного вопроса — могли ли те или иные славянские элементы венгерской христианской терминологии употребляться славянами Паннонии в докирillo-мефодиевскую эпоху и в период после завоевания страны венграми — не требуют, очевидно, особо детального рассмотрения те случаи, когда: а) слово хорошо представлено в хорв., слн. и других языках сла-

вян-католиков, в силу чего нередко квалифицируется ([Melich 1905; Kniezsa 1955, 1964; TESz] и др.) как заимствование «католического» пласта; б) оно одновременно отражено в кирилло-мефодиевской традиции, а также в языках православного славянства, причем с тем же терминологическим значением; в) с точки зрения своих фонетических и иных признаков заимствование примыкает к субстратному славянскому пласту в венгерском языке. Параллельное использование в восточной и западной традиции дает достаточно веские основания полагать, что соответствующий термин, исконный или заимствованный, еще до окончательного размежевания церквей вошел в славянскую христианскую терминологию, в том числе и в Паннонии.

11. Венг. *barát* 'монах' (с XII в.), также 'друг, приятель' из слав. **bratъ*, широко распространенного со значением 'монах' в качестве обращения или элемента аппозитивных конструкций (ср. [SJS IV: 142]), калькирующего лат. *frater* и т. д. Довольно естественно, что в венг. было заимствовано не основное обозначение (**тъпѣхъ*), а его более употребительный в обиходе синоним. С точки зрения славянской диалектологии заслуживает внимания, что источником явилась именно форма **bratъ*, а не **bratъ* (характеризуемая как моравизм и представленная во Фрейзингенских отрывках, см. [Львов 1966: 65–69]).

12. Венг. *csoda* 'чудо' (с XIV в.) из слав. **čudo*.

13. Венг. *csütörtök*, уст. *csöitörtök* 'четверг' (с нач. XIII в. в топонимах) из слав. **četvrtъkъ* (см. [ЭССЯ IV: 96]). Венгерский язык отразил рано сложившуюся славянскую систему названий дней недели, внутренне алогичную в силу своей гетерогенности (четвертый день недели — четверг оказывается не тождественен ее среднему дню — среде).

14. Венг. *karapol* 'кропить' (с конца XVI в.) из слав. **kropiti*. По своему фонетическому облику и суффиксальному оформлению венг. слово неотличимо от древнейшего слоя слав. заимствований (слав. *i*-глаголам регулярно соответствуют венг. глаголы с суф. *-ol/-ell/-öl*), однако сравнительно поздняя фиксация *karapol* и его распространение только в диалектах Северной Венгрии и Словакии делают проблематичной принадлежность к этому слою.

15. Венг. *koma* 'кум' (с нач. XVI в., в антропонимах с XIII в.) из слав. **kumъ*, **kuma*.

16. Венг. *kéresztél* 'крестить' (с XV в.) из слав. **krъstiti*, ср. выше № 5.

17. Венг. *kéresztény* 'христианин, христианский', уст. *kérésztýén* (с XIV в.) из слав. **krъstъjanъ* (ср. [SJS XVI: 77]).

18. Венг. *korozsma* 'миро' (с XVI в.), также 'подарок крестных родителей' (с XVI в.). Вслед за Фр. Миклошичем [Miklosich 1871: 373], Я. Мелих предполагал заимствование из слав. форм типа словен. *križma* и связывал *korozsma* с «католическим» пластом христианской терминологии со ссылкой на отсутствие слова в ст.-сл. памятниках [Melich 1905: 338–341]. В более поздней литературе, однако, *korozsma* признается непосредственным заимствованием из лат. *chrisma* [Kniezsa 1955: 867–869; TESz II: 580–581]. Представляется, что последняя версия может быть опровергнута историко-фонетическими соображениями: при заимствовании лат. формы с ударением на первом слоге нельзя было бы ожидать происшедшего в венгерском гармонического выравнивания по велярному гласному последнего слога (ср. [Helinski 1992b]); напротив, версия слав. происхождения поддерживается многочисленными параллельными примерами типа венг. *borotva* < слав.

**britva* < **brīva*. С другой стороны, вопреки Мелиху, в ст.-сл. наряду с грецизмами хризма, хризма представлены в отдельных памятниках, причем не принадлежащих к западным изводам, латинизмы кризма (Nom), кризма (Lob Par Grig), см. [SJS XV: 64]. Это позволяет отнести слав. *križma* к раннему, а не специфически католическому пласту христианской терминологии. Остаются, однако, сомнения в том, заимствовано ли венг. *korozsma* в ранний период: проблему составляют относительно поздняя фиксация слова и двойное значение, дублирующее аналогичную полисемию ('миро' — 'подарок крестных родителей') в соседних славянских языках.

19. Венг. *mise* 'месса' (с XIV в.), скорее из слав. **мыша*, чем непосредственно из лат. *missa*. Как известно, ст.-сл. мыша представляет собой бесспорный реликт моравско-паннонского периода, позднее вытесненный из употребления, о чем свидетельствуют и характерные пояснения (мыша рекъше слоужьба) в Житии Мефодия, см. [Jagić 1913: 39, 48, 264; SJS XIX: 257]. Фонетический облик венг. слова, с -е вместо ожидаемого -а, можно, по-видимому, связать с формой Nom. мышъ в Киевских листах (Kij 7a 1, Kij 4b 7), ср. также и чешск. *mše*.

20. Венг. *oltár* 'алтарь' (с нач. XIV в., в топонимии с XII в.), судя по вокализму, из слав. **oltarъ*, а не из какого-либо иного (неславянского) источника.

21. Венг. *pénték* 'пятница' (с XIV в., как антропоним с XII в.; долгота *é* неясна, однако в диалектах присутствуют регулярная, ожидаемая по нормам фонетических корреспонденций, форма *pentek*) из слав. **petъkъ* (см. [SJS XXXIII: 533]).

22. Венг. *pogány* 'язычник, языческий' (с XIII в., в антропонимии с XII в.). Как и в случае с *oltár*, вокализм указывает на слав. **poganъ* (см. [SJS XXVI: 77–78]) как на вероятный источник слова.

23. Венг. *pokol* 'ад' (уже в «Надгробной речи», конец XII в.) из слав. **pykъlъ*. Хотя прямые рефлексy этой формы представлены в первую очередь в хорв. и словен., существенно присутствие в ст.-сл. памятниках моравско-паннонской традиции слова пыкъль (Vind Bes), ср. также пыцьль (Supr.) с эффектом 3-ей палатализации [SJS XXXIII: 516].

24. Венг. *szērda* 'среда' (с XIV в., в ономастике с XII в.) из слав. **srēda* < **serda*.

25. Венг. (уст. и диал.) *szēsstra* 'послушница' (засвидетельствовано с рубежа XIV/XV вв.). Предполагается заимствование из хорв. или словен. [Kniezsa 1955: 502; TESz III: 746], однако слав. **sesira* как термин церковного обихода засвидетельствовано и в ст.-сл. памятниках (Christ Šiš Slepč, см. [SJS XXXVI: 62]), ср. также выше (№ 11) относительно венг. *barát* 'монах' из слав. **bratъ*.

26. Венг. *tömjén* 'ладан, фимиам' (с XV в.). Слав. **тъмъjanъ* (из греч. θυμίαμα) широко представлено в языках и католических, и православных славян ([Miklosich 1886: 370; ЭСРЯ IV: 41]; ср. также ст.-сл. тъмианъ — Zogr Euch Supr), причем устойчивость фонетического облика — в частности, повсеместное диссимилиативное изменение *m-m* > *m-n* — позволяет квалифицировать слав. слово как раннее и распространившееся некнижным путем заимствование, которое могло быть известно в западно-придунайских землях еще до миссии Кирилла и Мефодия (отчасти и благодаря лат. *thūmiāta* и под.).

27. Венг. *zsolozsma* 'совокупность податей в пользу бана' (с XIII в., только ст.-венг.); 'церковная служба' (с XV в.) из слав. **služьba*.

28. Венг. *vecsernye* 'вечерня' (с XV в.) из слав. **večerъnja*.

Ли
ках с
правс
заимс
не ис
29
opatic
30
дине
356],
ние н
ражен
языка
не пр
вуюц
том, ч
ходе)
31
birma
сител
32
ния з
Судя
ное п
33
жайш
jeretn
этимс
лагат
34
фонет
На
ное,
проис
dežma
Ос
bálván
балван
парал
точни
мень,
Пр
ской
возмо

Лишь в нескольких случаях распространенность слав. слова-источника в языках славян-католиков при отсутствии его в ст.-сл. памятниках и вообще в языках православных славян делает достаточно вероятным относительно более позднее заимствование из соседних слав. языков (особенно из хорв. или словен.), хотя и не исключает возможность бытования в языке славян Паннонии.

29. Венг. *apáca* 'монахиня' (с XIV в., в топонимах с XIII в.), ср. схрв. *opatica*, *opatica* 'аббатиса; монахиня', словен. *opâtica* 'аббатиса' и след.

30. Венг. *apát* 'аббат, настоятель' (с XV в., в ономастике с XII в.). Уже в середине IX в. на территории Паннонии действовало несколько монастырей [MT I: 356], и местному славянскому населению должно было быть известно обозначение настоятеля монастыря — вероятнее всего, слово **opatъ* (из др.-в.-нем.), отраженное в хорв., слн., чешск., слвцк., польск. Тем не менее, в памятниках ст.-сл. языка, в том числе и связанных с моравско-паннонской традицией, этот термин не представлен (при том, впрочем, что обилие вариантов написания у соответствующего ему грецизма игоумень ~ игомънь ~ игоумень, видимо, свидетельствует о том, что соответствующий термин не имел опоры в разговорно-церковном обиходе).

31. Венг. *bérmál* 'конфирмовать' (с XVI в.), ср. хорв. *bérmati*, *birmati*, словен. *birmati* то же (из лат. *firmare* > *firmare*, др.-в.-нем. *firmōn*); следует учесть относительно позднюю фиксацию венг. слова.

32. Ст.-венг. *dušnok* 'душник — крепостной, завещанный церкви для служения за упокой души своего прежнего хозяина' (с XIII в., в топонимах с XI в.). Судя по данным [TESz I: 693], источником должно являться только тождественное по значению ст.-чешск. *dušník*.

33. Венг. *eretnĕk* 'еретик' (с XV в., в качестве антропонима с XIV в.). Ближайшими соответствиями являются кайк.-хорв. *eretnik*, *heretnik*, *jeretnik*, слн. *jeretnik* то же [TESz I: 785]; несмотря на русск. диал. *еретник*, для народно-этимологического преобразования (*j*)*eretikъ* > (*j*)*eretnikъ* вряд ли можно предполагать праславянскую древность.

34. Венг. диал. *pilis* 'тонзура' (с нач. XV в.). Несомненно, заимствовано из фонетически поздней формы типа чак.-хорв. *pliš* то же < слав. **plěšь*.

Наконец, довольно вероятно хорватско-словенское (и не исключено субстратное, паннонское) посредство при заимствовании нескольких слов латинского происхождения, в частности, венг. *dézma* 'десятина' (лат. *decima*, ст.-кайк.-хорв. *dežma*, *dižma*).

Особое положение среди рассматриваемой терминологии занимает венг. *bálvány* 'идол, кумир' (с нач. XII в., в ономастике с нач. XI в.) ~ ст.-сл. (поздн.) балвань и т. п. (см. [BER: 41]); весьма вероятно, что венг. и слав. формы являются параллельными заимствованиями из восточного (аварского? болгарского?) источника типа **bal^hvan*, ср. др.-тюрк. рунич. *balbal* 'балбал — ритуальный камень, символизирующий человека'.

Представляется, что осуществленный выше этимологический разбор венгерской христианской терминологии славянского происхождения подтверждает возможность и высокую вероятность паннонско-славянского, субстратного про-

исхождения значительной ее части. Это в равной мере относится и к тем терминам, для которых с большими или меньшими основаниями предполагалось происхождение из старославянского (древнеболгарского) языка и других языков православного славянства (№ 1–10, за возможным исключением венг. *diák*, *děák* № 2), и к тем терминам, которые обычно связываются со славянско-католическим влиянием или не идентифицируются с точки зрения принадлежности к «православному» или «католическому» слоям (№ 11–28, возможно и 29–30; кроме, быть может, тех слов, которые могли проникнуть непосредственно из латыни или из другого неславянского или позднего славянского источника: венг. *korozsma* № 18, *mise* № 19).

Тем самым само по себе расслоение венгерской христианской терминологии славянского происхождения на два пласта оказывается лингвистически немотивированным, а с учетом явного дефицита исторических аргументов в пользу такого расслоения — крайне спорным. Во всяком случае, остается не только чисто умозрительной, но и просто ненужной гипотеза об использовании старославянского (древнеболгарского) языка в православной миссионерской деятельности Византии на территории Венгрии. Можно констатировать лишь то обстоятельство, что субстратное влияние сменилось отчасти (в существенно более поздний период) адстратным влиянием со стороны западных и северных соседей — славян-католиков (№ 31–34, возможно и 29–30).

Нельзя не обратить внимание на то, что значительная часть рассмотренных выше славянских этимонов — те самые термины, которым традиционно уделялось основное внимание в дискуссиях о моравско-паннонских корнях старославянского языка (П. Шафарик, Е. Копитар, Фр. Миклошич, В. Ягич и др.). Фактически почти все термины христианства, заимствованные славянами из романогерманских источников, были далее переправлены в венгерский язык (едва ли не единственное существенное исключение — слав. **cъrky*, ср. венг. *egyház*)⁷. Все это говорит в пользу заимствования рассматриваемых христианских терминов в венгерский язык из западно-придунайского (паннонского) славянского источника.

Материал в целом, и особенно несомненные следы употребления в «мирском» (нелитургическом) обиходе (ср. венг. *karácsony* № 4, *barát* № 11, *szesztra* № 25, вероятно, и *belendes* № 1), хорошо подтверждают высказывавшееся еще в ранних работах О. Ашбота [Asbóth 1884: 342] мнение о том, что заимствование в основном происходило устным путем, а никак не книжным, и скорее благодаря «бытовым» контактам с христианами, чем за счет целенаправленной миссионерской деятельности.

Количество и характер заимствованных христианских терминов в венгерском языке свидетельствует о сохранении славянской христианской традиции на территории Паннонии и после венгерского завоевания (ср. мнение о том, что христианизация славян этого региона в IX в. была поверхностной и они большей ча-

⁷ Так, О. Кронштайнер перечисляет семь церковнославянских слов альпино-романского происхождения (**mъša*, **kryžь*, **oltarь*, **pъkьlь*, **opatь*, **koNpotrь* > **kоть*, **poganь*, см. [Kronsteiner 1982: 43]). Шесть из их отражены в венгерском языке, см. выше № 15, 19, 20, 22, 23, 30. Эта ситуация хорошо иллюстрирует универсальный принцип, согласно которому заимствованная (особенно недавно заимствованная) лексика языка-источника заимствуется дальше с существенно большей вероятностью, чем его исконная лексика.

стью в
против
ства, с
ским д
нежели
и его у
плени
[Kniez
Тел
герско
наибол
славнс
факт б
ствен
ниров
языко
ния в

стью вернулись к язычеству [Györfy 1977: 368–369]; впрочем, этому мнению противостоят многочисленные указания на континуитет паннонского христианства, см. [Tóth 1985: 62 ff.; Szegfü 1985: 85 ff.]). В то же время, судя по лексическим данным, эта традиция продолжает скорее докирилло-мефодиевскую эпоху, нежели отражает результаты непродолжительной деятельности самого Мефодия и его учеников в Паннонии; это согласуется с другими свидетельствами незакрепленности и слабости кирилло-мефодиевских традиций на территории Венгрии [Kniezsa 1948a, 1964; Király 1971].

Тем самым христианскую терминологию славянского происхождения в венгерском языке можно рассматривать как существенный источник для изучения наиболее ранней, общехристианской (не специфически католической или православной) славянской лексики и ее использования старославянским языком. Сам факт бытования в венгерском языке и особенности семантики, в сочетании с собственно славянскими данными, позволяют расширить представления о функционировании отдельных терминов в моравско-паннонский период старославянской языковой истории и об их генезисе, ср., например, высказанные выше соображения в связи с венг. *kereszt* № 5, *zarándok* № 10.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАРИТЕТЫ В РАННИХ СЛАВЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА*

Возможность широкого использования венгерского материала в праславянской реконструкции определяется: (а) древностью лексем, заимствованных в венгерский язык преимущественно от паннонских славян в X–XII вв., т.е. в поздний праславянский — хотя уже не общеславянский — период; (б) сравнительно высокой регулярностью фонетической адаптации славизмов и их дальнейшего, уже на венгерской почве, фонетического развития, что делает принципиально возможным обратный пересчет — от венгерского к паннонско-славянскому и праславянскому. Особенно часто венгерские данные полезны для удостоверения факта заимствования уже существовавшего деривата по продуктивной словообразовательной модели, в то время как материал современных славянских языков нередко не позволяет отличить древние образования от инноваций. Представленные ниже этимологии, небольшая часть которых публиковалась ранее в развернутом виде (см., в частности, [Хелимский 1988г: 360–361, 1990г], можно рассматривать как коллекцию дополнений к славянским этимологическим словарям — в первую очередь к SP и ЭССЯ, чем объясняется преобладание лексики на первые буквы алфавита.

**berkovica* ‘берека, *Sorbus torminalis*’: не засвидетельствованная непосредственно в слав. диалектах форма дополняет группу синонимов — **berkь*, **berka*, **berkovьсь* // Венг. *barkóca* id. См. также [Хелимский 1988г: 360].

**botъjanъ* ‘аист’ ([ЭССЯ]: с сомнениями в общеслав. характере ввиду отсутствия слова в южнослав. языках) // Венг. *Battyán*, топонимы в м. Ваш (1198 г.: *Bothian*), в м. Бихар, Трансильвания; в м. Фейер (*Szabadbattyán*); в м. Пешт (*Órbottyán*, 1388 г.: *Battyán*); в м. Баранья (*Ivanbattyán*, возможно, от фамилии графов *Batthyány*). Обширные топонимические данные указывают на бытование слова по крайней мере на сев. периферии южнослав. области и подтверждают фонетическую реконструкцию. См. также [Хелимский 1988г: 361].

**brdo* и **brdyce* не только в значениях ‘бёрдо, ткацкий гребень’ и ‘гребень горы, холм’, но и в качестве анатомического термина (названия костей), вероятно, через промежуточную семантику ‘опорная часть ч.-л., устой, остов’, как в чеш. диал. *na jedno brdo* ‘на один манер’, укр. *bérdo* ‘каменистая земля, твердый грунт; мертвая рука, мертвая нога’ // Венг. *borda* ‘бёрдо; ребро’, диал. *bérce* ‘креп-

* Текст представлен в виде доклада на сипозиуме в ознаменование 100-летия со дня смерти Фр. Миклошича (Вена, 30.09–1.10.1991 г.). Публикуется впервые.

ление ярма; валековозки; игла для вязания сетей; реберная кость'. Венг. данные решительно подтверждают возведение рус. *берцо́, берце́* к слав. **bьrdьce* [SP].

**čelarjъ*, дериват от **čelo*, к возможной семантике ср. след. // Венг. *Csalár*, топоним в м. Ноград, ныне Словакия (слвц. *Čeláre* — новообразование).

**čelo* в значении 'застава, предместье (особенно на основном пути к городу)' // Венг. *Csala*, топонимы: 1. Сев.-вост. предместье (ныне часть) г. Секешфехервар, м. Фейер — на дороге из Будапешта; 2. Юго-зап. предместье г. Боньлад, м. Тольна — на дороге из Печа. Ср. и слав. факты типа словен. *čelo* 'лоб; выдающаяся вперед часть предмета; отрог, предгорье', ст.-польск. *czolo* 'фронт войска'.

**četarjъ*, дериват от **četa* 'отряд, группа' (> венг. *csata* 'битва') // Венг. *Csatár* топонимы в м. Зала (1141–1161 гг.: *Chitary*); в м. Бихар, Трансильвания (рум. *Cetariu*). Скорее от мн. ч.

**čьbulja* 'бочонок, жбан', ср. **čьбанъ* и **čьбыгъ* id. // Венг. *csobolyó* (диал. *csobolya*) id. (финно-угорская этимология в TESZ крайне сомнительна).

**čьrmulja* 'иван-да-марья, *Malampyrum arvense*', ср. **čьrmelъ* id. // Венг. *csormolya* (диал. *csörmölye, csörmölye*) id., а также слвц. диал. *čermul'a* id. Если разделить слвц. форму (из венг.?), то можно думать и о источнике **čьrmidlo*, resp. о глаголе **čьrmiti* ('окрашивать'? 'вызывать воспаление'?).

**čьмырь* 'яд, бол(езнь) от яда' как вариант к **čьмеръ* id. // Венг. *csömör* 'тошнота, отвращение', а также словен. *čmér = čémér* 'яд, горечь etc.', польск. диал. *czmer* 'мелочь, дрянь'.

**drěкъ*: наряду с субстантивным значением ('туловище, корпус'), адъективное значение 'статный, стройный', как в производном **drěчьнь* и в этимологически соответствующем лит. *draikas* 'долговязый, стройный' // Венг. *derék* 'талия, поясница, торс; статный, добрый, славный'.

**dьrtica* 'нечто ободранное (шелуха, кожица), мука крупного помола; ссора', дериват от **dьrtъ* с более узкой семантикой (весь соответствующий семантический спектр представлен в глаголе **dьrati*) // Венг. *děrcе* id. (значение 'ссора' — ст.-венг.). См. также [Хелимский 1990г: 80].

**dьska* 'доска' — ожидаемая (с учетом заимствования через герм. из лат. *discus*) ранняя форма слав. **dьska* // Венг. *děszka* (диал. *doszka* — в секлерских говорах Сев. Трансильвании). См. также [Хелимский 1988г: 360].

**gatyje*, дериват от **gaty* 'гать, дамба' // Венг. *Gétye*, топоним в м. Зала.

**gorazdъ* и **gorazdънь* в значении 'сварливый' (наряду с 'способный, искусный, удачливый'), ср. **gorazditi* 'бранить, бесчинствовать': результат раннего расщепления семантики готск. *garazds* 'речистый' // Венг. *garázda* 'сварливый, грубый, бесчинствующий' и диал. (Трансильвания) *garázna* id. См. также [Хелимский 1990г: 77–78].

grěbъ* 'насыпь', дериват от **grebti*, **grebatil*/grěbati*; к **ě* ср. **pogrebyl*/**pogrébъ*: укр. *погреб, погріб* // Венг. диал. *gěréb* 'запруда, насыпь, дамба, гать, плотина, препятствие; хребет, позвонок'. См. также [Хелимский 1990г: 78].

**gьrdla* 'горлица, *Columba turtur*' // Венг. *gërle* id., а также словен. *grla* id., чеш. *hrdla* id. (в ЭССЯ не отделены от **gьrdlo* 'горло', видимо, исходя из идеи о позднем происхождении, обратном образовании от **gьrdlica*).

**xlěba*, дериват от **xlěbatl*, в значении, вероятно, близком **xlěbъ* 'порог, стремнина etc.' // Венг. *Helemba* (1234 г.: *Helumbazygeth*), остров на Дунае; ср.

также рус. диал. *хля́ба* 'дождь с мокрым снегом', укр. диал. *хля́ба* 'плохая, дождливая погода', белор. диал. *хля́ба* 'метель; снег с дождем'.

**xrakъ* 'мокрота, харкотина', ср. **xrakati* 'харкать' // Венг. диал. *harák* 'мокрота', ср. также рус. диал. *храк* 'харкотина'. См. также [Хелимский 1990г: 81].

**jarębъ*: наряду с субстантивными значениями ('рябчик, куропатка; рябина'), исходное адъективное значение 'рябой, пестрый' // Венг. *iromba* 'рябой, пестрый' (из формы ж. р. **jaręba*).

**kadarjъ* 'бондарь', дериват от **kadyъ*, **kady* // Венг. *kádár* id.; в то же время схрв. *kādār*, словен. *kádar* (диал. *kadár*), ст.-слвц. *kadár* являются, по крайней мере отчасти, обратными заимствованиями из венг. См. также [Хелимский 1990г: 81].

**komínica* ('домашняя, комнатная' печь), дериват от **komínъ* 'дымоход' из греч. κάμινος, лат. *camínus* // Венг. *keménce* 'печь' (ранее ошибочно возводилось к слав. **kamenica*). См. также [Хелимский 1990г: 80–81].

**kotarъсь* 'небольшая плетеная загородка', дериват от **kotarъ* // Венг. *ketręc* (диал. *katroc*) 'клетка'; венг. варианты — акцентологической природы.

**kъrčidlo* 'салазки, полоз', дериват от **kъrčiti* 'изгибать' // Венг. *korcsolya* ('устар.) салазки, полозья для скатывания бочек; (совр.) коньки'. К фонетике ср. **močidlo* > венг. диал. *mocsolya* 'лужа', **nosidlo* > ст.-венг. *noszolya*, совр. *nyoszolya* 'ложе'.

**strigunъ*, дериват от **striči* // Венг. *Esztergom*, топоним в м. Комаром (1079–1080 гг.: *strigonensis*... лат.; 1147 г. *Estrigun*, слвц. *Ostrihom*; не из слав. **stergomъ*).

užakъ*/južakъ* 'южный (ветер)' // Ст.-венг. *wzak* (= *uzsák*) 'australis'.

**verbъ* 'воробей' — основа для деривата **verbъjъ* // Венг. *veréb* id. Ср. **vorbъ* 'воробей' (основа для дериватов **vorbъjъ*, **vorbъсь* и др.), отраженное только в приб.-фин.: фин. *varpu(nen)*.

**žъranъ* 'жупан', наряду с **županъ* и **гъranъ*; все три варианта по-разному адаптируют аномальный с точки зрения слав. фонотактики иноязычный (аварский?) источник типа **žъpan* (*žī, žu, gū* на месте недопустимого *žū*) // Венг. *ispán* id. (1282 г.: *Spani* лат.), а также ст.-слвц. *špán*.

В приведенных выше этимологиях использована лишь мизерная часть венгерского топонимического материала, содержащего рефлексy славянских топонимов-дериватов, обычно весьма тривиальных в словообразовательном отношении и слабо представленных в этимологических словарях. О характере и значении венгерских данных для составления свода таких топонимов-дериватов позволяет судить частичная выборка на букву В:

**barica* от **bara* 'лужа, ручей' // Венг. *Bárca*, Словакия (слвц. *Barca* из венг.); ср. схрв. *bàrica* (дими́нүтив).

**bobovъсь*, от **bobъ*, **bobovъ* // Венг. *Babót*, м. Дьёр-Шопрон.

**bobrica*, от **bobrъ* // Венг. *Babarc*, м. Баранья.

**bojevъсь*, от **bojъ*, **bojevъ* // Венг. *Bajót*, м. Комаром (1221 г.: *Boyouth*).

**bokovica*, от **bokъ*, **bokovъ* // Венг. *Bakóca*, м. Баранья; ср. белор. *бакавіца* 'сторона предмета' и др.

**bokovъnikъ*, от **bokъ*, **bokovъ* // Венг. *Nagybakónak*, м. Зала, деревня и река (1193 г.: *Bocovnosj*); ср. чеш. *bokovní* = *bokový*.

**božъkovъ*, от **bogъ*, **božъkъ* // Венг. *Baskó*, м. Боршод-Абауй-Земплен.

**broďсь*, от **broďь* // Венг. *Bardoc*, м. Удвархей, Трансильвания; ср. схрв. *brodac*, словен. *br̂dec* (димиутив).

**брьньсе*, от **брьно* 'болото' // Венг. *Bernecebaráti*, м. Пешт (1245 г.: *Burnuce*).

**budidlo*, от **buditi* // Венг. *Bodola*, м. Харомсек, Трансильвания (рум. *Budila*).

**ьлкъь*, от **ьлкъати* 'болтать etc.' // Венг. *Bolkács*, м. Киш-Кюкюллё, Трансильвания.

**ьърzdovica*, от **ьърздь* 'быстрый' // Венг. **Bördőce*: *Iklódbördőce*, м. Зала (1324 г.: *Burzeulche*).

**ьърzVnica*, от **ьързь* 'быстрый' // Венг. *Börzönce*, м. Зала, первоначально название ручья (1320 г.: *Berzenche*); *Berzence*, м. Шомодь (ок. 1228–1230 гг.: *Burzence*).

SLAVIC/LATIN/GERMAN STRESS AND HUNGARIAN VOWEL HARMONY*

The newly established at the end of the 9th century European external contacts of the Hungarian language meant a new challenge for its system of vowel harmony. Previously influenced mainly by synharmonic Turkic idioms (which evidently contributed to the shaping of this system), Hungarian had now to cope with the influx of borrowings, many of which contained harmonically incompatible (from the Hungarian view point) sequences of vowels. In order to become phonetically domesticated, such words were to undergo the process of vocalic harmonization (Hu. «palato-veláris hasonulás»; see [Bárczi 1967: 160–161; Papp 1968: 134], cf. *malaszt* 'grace' (HB *miloft*-) from Sl. **milostb*, *angyal* 'angel' (HB *angel*-) from Lat. *angelus*).

This process was active during the Old and Middle Hungarian periods, being traceable — as a sporadic or dialectal phenomenon — even through the 19th century [Bárczi 1967: 160]. However, it never had an universal character. Some foreign words, especially those which penetrated into Hungarian as learned loans of the written language, always stayed beyond the reach of the vocalic harmonization. There also seems to be no complete regularity in the development and behaviour of the «harmonically tolerant»¹ vowels *i*, *í*, *ē* and *é*: in harmonically velar words they may either preserve their original phonetic quality, or be transformed into back vowels.

There is, however, a question concerning the regularities of the process of vocalic harmonization in Hungarian that was never (as far as my knowledge goes) answered — though the answer seems to exist and to be of relevance for the history of Hungarian (and part also of the loaning languages). The harmonically abnormal foreign words contained both back and front vowels. What was then the principle according to which the entire vocalism of a borrowed word was to become palatal (as in *szelence* 'casket' from Sl. **solbnica*) or velar (as in *rosta* 'sieve' from Sl. **rešeto*)? What factor or factors determined the direction of harmonization, the choice of the vowel which functioned as the «harmonic pivot» of a word?

Already the few examples above show that the process of harmonization, which includes both palatalization and velarization, is not automatically directed either by the first vowel of the word (which would be natural due to the prominent position of this vowel and to its being always stressed in Hungarian; but cf. *malaszt*, *szelence*, *rosta*),

* Впервые опубликовано в: Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum. Amsterdam; Atlanta, 1992. S. 45–54.

¹ The term «harmonically tolerant» is evidently more exact and informative than the traditional term «harmonically neutral». In using it the author follows the suggestion made by Lars-Gunnar Larsson while discussing this paper at the symposium in Groningen (1991).

or by its last vowel (which would be also natural as long as in Modern Hungarian this vowel determines — though not without exceptions [Kontra, Ringen 1986; Abondolo 1988: 35ff.; Gósy 1989] — the harmonic behaviour of foreignisms and of other harmonically abnormal words; but cf. *angyal*, *szelence*).

Nevertheless, the observed facts are accountable for in a simple and uniform way. It turns out that in all or at least in the vast majority of the examples under examination it was the stressed vowel of the word in the loaning language which served as its harmonic pivot in Hungarian.

To demonstrate the action of this principle, we will treat below the three most important layers of Old and Middle Hungarian borrowings — the words of Slavic, Latin and German origin. As long as the German accentology is most obvious, while the reconstruction of Slavic accents continues to create serious problems, we will diverge from the actual chronology and start with the German loanwords.

1. The case with the borrowings from Middle High German (MHG) and Early New High German (ENHG), the detailed presentation of which can be found in [Mollay 1982] (cf. also [Kobilarov-Götze 1972; Horváth 1978; TESz]), is relatively simple (and, perhaps, also less convincing as far as the above formulated principle is concerned) due to the absolute domination of the root-initial stress on all stages of the German linguistic history [Weinhold 1983: 18–22; Braune 1955: 57 ff.]. As long as among the borrowings there are very few prefigated stems with their first syllable unstressed in German, in the majority of examples the pivotal role of the stressed vowel can be, theoretically, explained also as that of the first vowel:

Hu. *herceg* 'prince' (1201: *Herceg*) < *herzog* [Mollay 1982: 308]. Unlike German words from many other examples, this word never lost its heterovocalic character through the assimilative or Umlaut-type phenomena, cf. New High German (NHG) *Herzog*.

Hu. *kalmár* 'merchant' (1301: *Kalamar-*) < MHG *krāmære* 'tradesman, merchant' [Mollay 1982: 336]. The Umlaut-type harmonization in German followed the opposite direction: NHG *Krämer*.

Hu. *polgár* 'citizen' (1229/1550: *Pulgar*) < MHG *burgære* 'city-dweller' [Mollay 1982: 444–446]. As in the preceding example, the German word itself became later palatal rather than velar (as in Hu.): NHG *Bürger*.

Hu. *püspök* 'bishop' (1177/about 1500: *Pyspek-*; dial. *pöspök*, *pözsbök*, *püspök*, *pispök* — all harmonically palatal forms) < Old Bavarian *piscof* [Mollay 1982: 459–465], cf. NHG *Bischof*.

There are also numerous examples with MHG, ENHG unstressed *e* being transformed into Hu. back vowel (usually *o*) under the influence of a back vowel in the first syllable: *bajor* 'Bavarian' (XI c. *Païr*) < MHG *bayer*, cf. NHG *Bayer*; *cukor* 'sugar' (1587: *cukor*) < ENHG *czukcher*, *zugher*, cf. NHG *Zucker*, etc. Such examples are, however, of very restricted value, because the graphic symbol *e* stood for a neutral (reduced, «irrational») vowel [Weinhold 1883: 70ff.; Mollay 1982: 150–151], which could have been replaced with Hu. *o* (Old Hungarian *u ~ o*) already at the moment of borrowing.

In several examples the harmonic shape of Hungarian words differs them from earlier, heterovocalic German forms, but not from the later (and NHG) continuations of these forms. Therefore the evidence is ambiguous, and its value depends on whether

the direct chronological and dialectal source of a loanword (which is often difficult to establish exactly) did already or did not yet undergo the corresponding assimilative development:

Hu. (obs.) *föröstök* (about 1395: *selestekum*) 'breakfast' < ENHG *Früstukch*, *fruestukh* [Mollay 1982: 278–289], but cf. NHG *Frühstück*.

Hu. (obs.) *lőböstök* (1604: *Lőbbőfőc*) 'the plant Levisticum' < ENHG *lūbestock*, *lebestock* (and also *lubstōkch*) [Mollay 1982: 389], but cf. both the Latin source of these forms (*levisticum*) and their continuation in NHG *Liebstöckel* (not without the influence of folk etymology).

Hu. *tenyer* (1086–1131: *Tener-*) 'palm' < Old High German (OHG) *tenar*, MHG *tener* [Mollay 1982: 528–530]. According to K. Mollay, the unstressed *a* of the OHG word underwent the process of reduction (to *æ*, graphically *e*) already at the first half of the 11. century, that is, approximately at the time of borrowing.

Hu. *vánkos* (1372/1448: *vankofok* Pl.) 'pillow' < MHG *wangechusse*, *wangküss* [Mollay 1982: 550]; according to K. Mollay, both the palatal and the velar variants of the second component (NHG *Kissen*; OHG *chussin*, see [Wasserzieher 1977: 119]) of this compound word coexisted in the Bavarian-Austrian dialects.

However, the above-mentioned possibility to account for the harmonic shape of all these German loanwords in Hungarian by the pivotal role of the first vowel is contradicted by one remarkable and very important example:

Hu. (dial.) *ispatály* (still without vocalic harmonization in Jókai Kódex: 1372/1448 *hyſpital-*, *Spital-*, 1527 *hyſpotaly-*) 'hostel; hospital' < MHG *spitāl* [Mollay 1982: 328]. The velar character of the Hungarian word and the transformation of *i* in the original first syllable into *o* (probably through *ē*, and very likely before the addition of the prothetic *i-*) is obviously connected with the stress on the second syllable in the non-native MHG *spitāl*, cf. also NHG *Spital* (on a line with the secondarily transformed *Spittel*: if the MHG counterpart of this latter form were borrowed into Hungarian, it would have resulted in **ispitély* ~ **ispetély* ~ **ispitely* ~ **ispetely*).

On the whole, the material of the German borrowings does not contradict to the principle of the stress-governed vocalic harmonization, and the last example directly confirms it, being the only one where the German stress occupies the unusual word-final position and thus does not coincide with the stress in Hungarian.

2. Only a part of the «harmonically abnormal» (in their original form) Latin loanwords exhibits the results of the vocalic harmonization in Hungarian. For many others their bookish character or the influence of the Latin liturgical tradition blocked this development, and here we do not deal with such cases.

The following harmonically heterovocalic Latin words are reflected in Hungarian as velar:

Hu. *angyal* 'angel' < Lat. *ángelus* [TESZ].

Hu. *kamara* 'chamber', *kamra* 'storeroom' < Lat. *cámara* ([Fludorovits 1937: 41; TESZ]; possibly through OHG *kamara*, *kamera*, MHG *kamere*, see [Mollay 1982: 337–339]).

Hu. *kanonok* (about 1405: *kananok*) 'clergyman' < Lat. *canónicus* [TESZ].

Hu. *ibolya* (1340: *iwola*) 'violet' < Lat. *viola* [TESZ]. It must be taken into consideration that the initial stress of this word in Classical Latin (*viola*) was replaced with the penultimar stress in Vulgar Latin and, presumably, in the later varieties of Latin

(*viola*), on this displacement of stress in vowel sequences see [Дынников, Лопатина 1975: 40].

And here are the examples of palatal reflexes for the harmonically heterovocalic Latin words:

Hu. *Elek* nom. pr. (1219/1550: *Elexius*) < Lat. *Aléxius* [Fludorovits 1930: 9].

Hu. *Erzsébet* nom. pr. < Lat. (?) *Elisabeth* or *Elisabéth* [Fludorovits 1930: 9].

Hu. *Ferenc* nom. pr. < shortened form of Lat. *Franciscus* [Fludorovits 1930: 9].

Hu. *fülemüle*, *fülemile* (1395: *filemyle*) 'nightingale' < Lat. *philomēla* [TESz].

Hu. *Lőrinc* nom. pr. (1138/1329: *Leurenci*, see [Fehértói 1983: 205]) < Lat. *Lauréntius* [Fludorovits 1930: 12].

Hu. *mise* (1372/1448: *mifet* AccSg) 'mass' < Lat. *missa* [TESz] (if this word is not a borrowing from Slavic **mbša*).

Hu. *sekréste* (1510: *fekrefyte*-) 'sacristy' < Lat. *sacristia* [TESz]. In this case, however, the palatal character of the Hungarian word can be accounted for by the presence of the palatal *ty* rather than by the stress, see below.

Hu. *szerecsén* (1138/1329: *Scerecin*) 'Saracen' < Lat. *Saracénus* [TESz].

Hu. *zsöllye* (about 1510: *sellye*) 'armchair (obs.); parterre-place' < Lat. *sella* 'seat, chair' [TESz]. Also in this case the presence of the palatal consonants (-*lly*-) is in itself sufficient to account for the palatalness of the word, see below.

In the examples above the Latin source words often contain more than one front vowel and/or more than one back vowel each, so that in each single case the pivotal harmonic role can be ascribed to different vowels of the word (e. g. in *canonicus* — to *a*, *o*, or *u*). But the set of possible pivots always includes the stressed vowel of the Latin form.

An important group of exceptions consist of the words that contain a medial cluster with a palatal element in it, and are harmonically palatal even when their original stressed vowel (and many other vowels of the word) was velar. Cf. for example such proper names as *Cirjék* or *Cerjék* (Lat. *Cyriacus*), *Dëmjén* (Lat. *Damiánus*), *Sebestyén* (Lat. *Sebastiánus*), see [Fludorovits 1930: 7]. The examples of Hu. *sekréste* and *zsöllye* (see above) may also belong here. But the palatalizing effect in such cases is not compulsory: there exists *Damján* as a variant of *Dëmjén*, cf. also *Adorján* (Lat. *Hadrianus*), see [Fludorovits 1930: 17, 44].

No palatalization occurs in such borrowings as *dézsma* 'tithe' (Lat. *décima*), *tégla* 'brick' (Lat. *tégula*). It may be that these words stayed in general beyond the reach of the vocalic harmonization; more probable, however, would be to suppose that the high degree of compatibility of the harmonically tolerant vowel *é* with the back vowels overweighed its palatal character.

Hu. *monostor* 'monastery' could be an exception to the above formulated principle if the word were borrowed directly from Lat. *monastérium* [Fludorovits 1930: 39]. In this case we were to expect something like **menesterjem* in Hungarian. But the real historical source of Hu. *monostor* was undoubtedly OHG *munusturi* [Mollay 1982: 405–406]. It is very possible that such proper names as *Márton* (Lat. *Martínus*), *Ágoston* (Lat. *Augustínus*) were also borrowed from MHG or related European forms with the stress replaced to the first syllable *Mártin(us)*, *Áugustin(us)*.

3. The borrowings into (Old) Hungarian from Slavic constitute the most numerous and perhaps the most interesting class of cases with the vocalic harmonization of origi-

nally heterovocalic stems. At the same time they present much more difficulties for the comparative analysis than the German or Latin loanwords. These difficulties are natural in view of several factors:

a. At the time of borrowing (10.–12. centuries) the accentual systems of Slavic dialects were already very far from uniformity, and were undergoing permanent changes — especially so far as the accentuation of individual words was concerned (see [Булатова, Дыбо, Николаев 1988; Дыбо, Замятина, Николаев 1990: 109–159]). While the Pannonian dialect of Late Common Slavic — extinct since then — must be considered as the main or even the only source of early Slavic loanwords in Hungarian [Хелимский 1988г, 1989д], we must be aware of possible subdialectal distinctions and diachronic transformations in the Pannonian Slavic accentology.

b. This is confirmed by the existence of at least several harmonic doublets of Slavic origin in Hungarian, which presumably go back to Slavic accentual doublets: *család* 'family' ~ *cseléd* 'domestic, servant' (Sl. *čeljadъ), *ketréc* — dial. *katroc* 'cage' (Sl. *kotarъcъ), *varsa* ~ dial. *verse*, *vörse* 'fishweir' (Sl. *vъrsa), etc.²

c. A big share of the borrowed stock is comprised of such words that occur relatively rare in Slavic (plant names, terms of agriculture and rural household, etc.), are therefore especially susceptible to accentual changes and create almost unsurmountable difficulties for the accentual reconstruction (at least now, according to the opinion of V. Dybo, S. Nikolaev and others who prepare the Common Slavic Accentological Dictionary at the Institute of Slavic and Balkan Studies in Moscow).

Despite all this, it can be positively stated that the data of the early Slavic loanwords in Hungarian do not contradict to the above principle of stress-governed vocalic harmonization. Highly indicative are, for example, several quasi-minimal pairs in which the distribution of velariness/palatality in Hungarian follows that of back character/front character of the stressed vowel in Slavic:

Hu. *acél* 'steel' < Sl. **ōcělъ* ([Kniezsa 1974 I: 59–60]); the original accentual type c, with stress on the first syllable, is reflected e. g. in Slovene *ocēl*, cf. [Дыбо, Замятина, Николаев 1990: 13]). The velariness of the Hungarian word did not affect the quality of the harmonically tolerant (and «tolerated») vowel *é* (while the palatality of the word would have changed the quality of *a*, cf. the following example).

Hu. *ebéd* 'dinner' < Sl. **obědъ* ([Kniezsa 1974 I: 166–167]); the original place of stress is preserved e. g. in Russian).

Hu. *szalonna* 'lard' < Sl. **solnina* → **slanina* 'salted lard' ([Kniezsa 1974 I: 487]; the reconstruction of the original place of stress in Slavic is based on **sōlnъ* 'salted' and the rules for the accentuation of derivatives established and described in [Дыбо 1981: 109, 145]).

Hu. *szelence* 'casket, small box' < Sl. **solbnica* 'box for salt, salt-cellar' ([Kniezsa 1974 I: 495–497]; though through **sōlb* 'salt' the Slavic source word is etymologically related to **sōlnъ*, **solnina*, the accentual outcome of the derivation is predictedly different, see [Дыбо 1981]).

There are numerous examples in which Hungarian seems to reflect — through the choice of the harmonic pivot — the Slavic place of stress which is preserved in Modern

² We believe that the reasons for this variation lie in Slavic rather than in Hungarian; the palatal/velar lexical pairs of internal Hungarian formation (*tompá* ~ *tömpe* 'blunt, dull', *csücs* ~ *csücs-ök* 'tip', etc.) are usually expressive or onomatopoeic.

Russian³, cf. (obs.) *csahol* 'long shirt' (Sl. *čexъlъ, Russ. чехол 'cover'), *csata* 'fight, (obs.) military team' (Sl. *četa, Russ. чета 'match, pair'), *csónak* 'boat' (Sl. *čьlnъkъ, Russ. челнок 'small boat'), *csorda* 'herd' (Sl. *čerda → *črěda, Russ. чепеда 'turn, order'), (dial.) *deget* 'wheel-grease' (Sl. *degъtъ, Russ. дѣзотъ 'tar, pitch'), *kalapál* 'to hammer' (Sl. *klepa-, Russ. кленáтъ 'to rivet'), *morotva* 'old riverbed' (Sl. *mьrtva, Russ. мертвá 'dead (fem.)'), *őszitőn* 'stimulus, drive' (Sl. *ostьnъ, Russ. остѣn id.), *rosta* 'sifter, sieve' (Sl. *rešeto, Russ. пeшeтo id.), *szērda* 'Wednesday' (Sl. *serda → *srěda, Russ. cpeдá id.), (obs. & dial.) *szosztra* ~ *szeztra* 'junior nun' (Sl. *sestra, Russ. сестрá 'sister'), etc.; cf. also *csütörtök* 'Thursday' (Sl. *četvьrtьkъ, Old Russ. четвѣртъkъ — see [Зализняк 1985: 149], but Modern Russ. четвертoк 'four pieces').

But other cases — as well as the situation in general — need much more consideration and a detailed analysis (especially on the Slavic accentological material), which certainly surpasses the limits of this paper. In particular, the Pannonian dialect seems to have undergone by the time of borrowing some special accent shifts, which it probably shared with the Kaikavian Serbocroatian dialect of Slavonia (e.g. the dialect of Cubinec)⁴. These shifts may account for the harmonic shape of such words as *szilva* 'plum' (probably from Sl. *slivá ← *slīva, Russ. сліва id.), *járom* 'yoke' (probably from Sl. *jārъmъ ← *jarьmъ, Russ. ярѣm id.). With such innovations taken into due account, the Hungarian material may become useful as an additional source for the Common Slavic accentological reconstruction.

4. Above we tried to demonstrate with the material of the borrowings from different languages that it was the stressed vowel of a word in a loaning language which determined the direction of harmonization in Hungarian. This direct dependency could be possible only if the corresponding vowel remained stressed (or distinguished in some other manner, which, however, can be functionally identified with the stress) also in Hungarian. The ultimate retraction of stress to the first syllable (according to the phonetic norms of Hungarian) was thus the last stage in the phonetic absorption of a foreign word, preceded by other adoptive processes, among them — by the process of vocalic harmonization.

It can therefore be assumed that the situation with the placing of stress in Old and Middle Hungarian was similar to that observed in Modern Estonian (as well as in some other languages), where the general rule of placing the stress on the first syllable is not applied to the foreign (recently borrowed) words which preserve their original stress [Ariste 1984: 41].

³ On the whole, Russian and Eastern Slavic reflects the original place of stress more directly than the other Slavic languages.

⁴ This indication was made by S. Nikolaev and G. Zamyatina.

СЛАВЯНСКОЕ КОЙНЕ В ВЕНГРИИ АРПАДОВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯНО-ВЕНГЕРСКИХ ТОПОНИМОВ В ТРАНСИЛЬВАНИИ*

Вряд ли можно предполагать, что славянское население, которое венгры за-
стали на рубеже IX–X вв. в Карпатском бассейне, было полностью однородным в
диалектном отношении. Позднепраславянский континуум в этом регионе мог со-
хранять исходные различия, соотносящиеся с двумя волнами славянской колони-
зации Подунавья и Балкан — восточной и западной, а также включать различия
между начавшими формироваться новыми диалектными зонами.

В то же время оказывается практически невозможным дифференцировать
ранние (проникшие не позднее XII–XIII вв.) славянские заимствования в венгер-
ском языке, равно как и мадьяризованные в ту же эпоху топонимы славянского
происхождения на территории исторической Венгрии¹, с точки зрения фонети-
ческих особенностей их славянских прототипов. Тожественными являются и
механизмы фонетической адаптации ранних славянизмов венгерским языком.
При этом речь идет об отражении в апеллятивах и топонимах целого комплекса
относительно не универсальных для славянского мира фонетических признаков: реф-
лексы типа *TorT* > *TraT* и *orT* > *roT*; группы **bj* > *bl'* и **dl* > *ll*; сохранение кван-
титативной оппозиции между **a* и **o*, **ě* и **e*, **и* и **ь*, **i* и **ь*; сохранение разли-
чий между **ъ* и **ь* в сильной позиции и в первом слоге; постепенное развитие
носовых гласных **o*, **e* в гласные *и*, *ě* (еще сохраняющие долготу); узкое произ-
ношение *я* и др. [Хелимский 1988г: 354–359]. Даже тот фонетический признак,
по которому традиционно противопоставляются усвоенные венгерским языком
заимствования «болгарского» типа (с венг. *st*, *zsd* на месте слав. **tj*, **dj*: *mostoha*
'мачеха', *rozsa* 'ржавчина') и «хорватско-словенского» типа (с венг. *ty*, *gy* на
месте этих групп: *kútya* 'хижина', *szégye* 'закол для ловли рыбы'), не обязательно
обладает дифференцирующими свойствами. Двойственность рефлексов может
быть объяснена из однородной в фонетическом отношении славянской системы с
рефлексами **tj* > *¹i'*, **dj* > *²d'*, которые при адаптации венгерским языком тракто-
вались бифонемно (особенно в положении после краткого гласного) или моно-

* Впервые опубликовано в: Материалы к VI Международному конгрессу по изучению
стран Юго-Восточной Европы. Лингвистика. М., 1989. С. 48–55.

¹ Помимо современной Венгрии, историческая Венгрия, в основном совпадающая с
максимальным ареалом распространения венгерского языка, включает Трансильванию,
Закарпатье, Словакию, часть Бургенланда, Войводину, часть Хорватии.

² Через такую промежуточную стадию должны были, видимо, пройти и диалекты бол-
гарского типа.

фоне
359–

Tj

ей —

отож

ной

топо

Арпа

Д

этом

bürge

сейн

Chro

diese

извес

веке

ние

ми

гс

прои

шем

этого

вани

вани

И. К

keine

einzig

Бс

славя

диале

(1359

ским

Mic)

разви

П

ленн

ба-Ю

имст

В IX-

247].

нали

1985:

дает

какие

ника.

виде

(*zolt

*krač

фонемно (особенно в положении после долгого гласного) [Хелимский 1988г: 359–360].

Трудности с дифференциацией — и, соответственно, диалектной атрибуцией — славянских прототипов обусловили безрезультатность многих попыток отождествить с тем или иным славянским этносом население южной и центральной частей Трансильвании, которое оставило в память о себе многочисленные топонимы, засвидетельствованные впервые еще в документах X–XIII вв. (эпоха Арпадов).

Достаточно естественным выглядело предположение о том, что славяне в этом регионе говорили на одном из древнеболгарских диалектов. «Da Siebenbürgen vor der Landnahme (имеется в виду завоевание венграми Карпатского бассейна. — E. X.) dem bulgarischen Reich angehörte, ja nach den ungarischen Chroniken von Bulgaren und Slawen bewohnt war, ist es wahrscheinlich, daß diese Slawen von bulgarischem Charakter waren», — отмечает И. Книежа в своем известном историко-топонимическом исследовании «Народности Венгрии в XI веке» [Kniezsa 1938a: 325]. Заметим, что в подобной формулировке предположение выглядит довольно спорным: вряд ли можно всерьез считать, что подданными государства тюрков-протоболгар становились те и только те славяне, которые произносили *št* и *žd* на месте славянских **tj*, **dj* и вообще находились в ближайшем этноязыковом родстве со славянами собственно Болгарии. Скорее в пользу этого предположения говорят относительная географическая близость Трансильвании к Болгарии и наличие несомненно болгарских черт в славянских заимствованиях румынского языка. Как бы то ни было, продолжением высказывания И. Книежи служит обескураживающая констатация: «Hierfür können jedoch keinerlei sprachwissenschaftliche Beweise angeführt werden, da unter den Namen kein einziger von zweifellos bulgarischem Charakter zu finden ist» [Kniezsa 1938a: 325–326].

Более того, топонимия Трансильвании содержит некоторые древние элементы славянского происхождения, противоречащие версии о болгарском характере диалекта-источника. Ср., например, в южной части региона топонимы *Gesztrágy* (1359: *Gestrág*; рум. *Găstrade*, ныне *Straja*) из слав. **Gostiradjь*, с явно не болгарским рефлексом сочетания **dj*, а также *Kis Mutnok* (1371: *Muthnuk*; рум. *Mutnicul Mic*) из слав. **Mōtьnikь*, где обнаруживается также чуждое болгарскому языку развитие *q > ū* (> др.-венг. *ū* > совр. венг. *u*) [Kniezsa 1943: 119, 227, 232].

Правда, Я. Мелих в свое время уделил специальное внимание названию населенного пункта *Zalatna* (1338: *Zalathna*; рум. *Zlatna*, нем. *Goldenmarkt*) близ Алба-Юлии и пришел к выводу, что этот топоним, отражающий слав. **Zlatьna*, «заимствован из такого южнославянского языка, где после *l* гласный *a* был кратким. В IX–XI вв. таким южнославянским языком был болгарский» [Melich 1925–1929: 247]. Недавно И. Тот апеллировал к этому выводу Я. Мелиха как к свидетельству наличия в средневековой Трансильвании болгаро-славянского населения [Tóth 1985: 63]. Однако можно убедиться, что в действительности топоним *Zalatna* не дает никаких указаний ни на краткость гласного первого слога в **Zlatьna*, ни на какие-либо иные диалектологически релевантные признаки славянского источника. Обычно слав. **a* отражается в ранних заимствованиях венгерского языка в виде долгого *á*, и с этой точки зрения соотношение в паре слав. **Zlatьna* (**zoltьna*) : венг. *Zalatna* отличается от соотношения в таких парах, как слав. **kračunь* (**korčunь*) : венг. *karácsony* 'рождество' или слав. **brazda* (**borzda*) :

венг. *barázda* 'борозда'. Но на общее правило венгерской рефлексии слав. *a накладываются дополнительные позиционные закономерности, связанные, очевидно, не с особенностями звучания славянских слов-источников, а с процессами, происходившими в самом венгерском языке, в особенности с редукционными процессами в срединных слогах трехсложных и многосложных слов [Хелимский 1988г: 357]. Один из таких процессов — сокращение *á > a* в положении перед сочетаниями согласных *dn, in* (и некоторыми другими), отразившееся не только в трансильванских топонимах *Zalatna* и *Galadna* (рум. *Gladna Română*; из слав. **Gladъna* < **goldъna*), но и в топониме *Garadna* (из слав. **Gradъna* < **gordъna*) в медье Боршод-Абауй-Земплен близ венгерско-словацкой границы, где славяно-болгарское влияние можно считать исключенным (см. [Kniezsa 1943: 232, 1938a: 305; Kiss 1988: 491–492, 497]).

Трудно обнаружить специфические болгарские (или же восточнославянские, сербские, словацкие) черты и в других славянских топонимах Трансильвании, например, в гидронимии, которая включает такие характерные элементы, как *Rebra* (слав. **rebro*), *Szalva* (слав. **solva* > **slava* 'соловая'?), *Ilva* (слав. **jьlova*), *Ilosva* (слав. **jьlьšova*, **jьlьšava*), *Beszterce* (слав. **bystrica*), *Lekence* (слав. **lьknica*; трижды), *Túr* (слав. **turb*; дважды), *Turóc* (слав. **turoвьсь*), *Deberke* (слав. **dьbrьka*/**dьbrьka*), *Bisztra* (слав. **bystra*; трижды), *Torockó* (слав. **truskova*, **Truskava*), *Orbó* (слав. **ьrbova*), *Cserna* (слав. **čьrna*; дважды), *Kászon* (слав. **kvasьnъ*), *Kovászna* (слав. **kvasьna*) и др. [Kniezsa 1942a: № 211, 212, 221.1, 214, 222.2, 222.3/254.1/612, 254/614.5, 254, 261, 313/624.1/813, 614.2, 615, 626/818, 721.1, 721.2]. В соотношении современных венгерских, старовенгерских и праславянских форм этих названий прослеживаются в точности те же нормы рефлексии и адаптации, что и во всем корпусе ранних славянских заимствований венгерского языка. Об этом же свидетельствует наличие многочисленных случаев, когда идентичные по своему облику топонимы славянского происхождения отмечаются в различных, порой диаметрально противоположных точках венгерской языковой территории: например, топоним *Beszterce* известен не только в Трансильвании, но также в медье Баранья (на границе с Югославией) и в Словакии, топоним *Battyán* (из слав. **botьjanъ* 'аист') — в Трансильвании и в медье Баранья, Фейер и Ваш.

С примерами типа *Gesztrágy* или *Kis Mutnok* соседствуют случаи, когда, например, в венгерских формах (особенно ранних) словацких топонимов обнаруживаются несловацкие фонетические черты. Ср. *Zemplén* (ок. 1200: *Zemlin*; слвц. *Zemplín*, Требиштовский окр.) из слав. **Zemlьnъ* или **Zemlъny*; 1323: *Riblyen* из слав. **Ryblъny* (совр. венг. *Ribény* и слвц. *Rybany*, Топольчанский окр. отражают слав. **Ryblъny*); 1276: *Hleulan* из слав. **xlěvъny* (совр. венг. *Helvény* и слвц. *Chlievaný*, Топольчанский окр., отражают слав. **xlěvъny*). В этих трех случаях мы находим нехарактерный для словацкого языка *l'* в праславянских сочетаниях губного с *j* [Kniezsa 1948b: 143]. Аналогичным образом, обнаруживаются невосточнославянские черты в ранней венгерской топонимии Закарпатья. Так, современное венгерское название населенного пункта Береги (бывший центр комитата) — *Bereg* отражает восточнославянскую форму, однако памятники фиксируют написания *Bereug* (1233), *Bereegh* (1323, 1327), то есть форму *Berég*, которая может восходить только к слав. **Brěgu* (или **Brěgъ*).

С фонетической гомогенностью славянской топонимии исторической Венгрии согласуется и гомогенность ранней венгерской антропонимии славянского происхождения. Для нее, в частности, характерно безраздельное господство типа славянских имен на *-měrъ*, а не *-mirъ*: *Bagamér* (слав. *Bogoměrъ*), *Budmér* и *Bodmér* (слав. *Budiměrъ*, и возможно, *Bъdiměrъ*), *Ladomér* (слав. *Ladiměrъ*), *Mutmér* (слав. *Motiměrъ*, ср. Const. Porph. Μουττιμῆρος), *Tihamér* (слав. *Tixoměrъ*), *Velemér* (слав. *Veleměrъ*), *Zelemér* (слав. *Zъloměrъ*). Напротив, на всех соседних славянских территориях архаичный тип личных имен на *měrъ* уже начиная с древнейших памятников сильно потеснен образованиями на *mirъ*.

За пределами фонетики, однако, легче обнаружить следы дифференцированности славянских диалектов-источников в заимствованном венгерском языке материале. Некоторые проходящие через славянский континуум лексические и лексико-семантические изоглоссы находят непосредственное продолжение в изоглоссах, отражающих распространение соответствующих славянских заимствований на венгерской языковой территории. Так, из двух общеславянских обозначений ярма, **jarmъ* и **jъgo*, второе преобладает главным образом на словенской и чешской языковых территориях, в то время как болгарские, македонские, сербохорватские, словацкие диалекты отдают предпочтение первому. Оба славянских слова известны, в качестве ранних заимствований, и венгерскому языку — венг. *járom*, *iga*, причем областью преимущественного распространения слова *iga* являются венгерские диалекты к западу от оз. Балатон (т. е. расположенные между Чехией и Словенией), в то время как на остальной территории исторической Венгрии употребительно слово *járom*, как свидетельствует карта 173 в «Атласе венгерских диалектов» [MNyJA].

«Парадоксальное» отсутствие в топонимии и антропонимии окраинных регионов исторической Венгрии фонетических признаков славянских диалектов соответствующих регионов (и наличие чуждых им признаков) особенно заметно в материале из письменных памятников эпохи Арпадов, тогда как современные венгерские формы могут нередко отражать вторичное влияние этих славянских диалектов, если они сохранились или сохранялись достаточно долго.

Изучение заимствованной в ранний период апеллятивной лексики славянского происхождения позволяет заключить, что в венгерский язык она проникала главным образом из славянских диалектов Паннонии (Задунавья) — области с наиболее густым на конец IX в. славянским населением и зоной наиболее активного славяно-венгерского языкового контактирования в эпоху Арпадов [Sós 1967]. Комплекс перечислявшихся выше фонетических особенностей славянских слов-источников был свойствен диалекту (языку) паннонских славян. Факты же ономастики заставляют думать, что этот диалект использовался и в качестве славянского койне (интердиалекта) на всей территории Венгрии Арпадов.

В условиях массового венгерско-славянского двуязычия (к XI веку «150-летний славяно-венгерский симбиоз привел к тому, что и владетельный господин, и воин, и слуга — все хотя бы немного понимали славянскую речь» [MT I: 731]) носителями этого койне были не только и даже не столько славяне, сколько отличавшиеся существенно большей мобильностью в пределах государства венгры. Это обеспечило койне почти монопольную позицию при заимствовании в венгерский язык славянских слов, в том числе и чисто локальных топонимов. Различия между славянскими диалектами (языками) на территории Венгрии бы-

ли в данный период достаточно невелики, чтобы не препятствовать автоматическому «пересчету» диалектных форм в интердиалектные.

Поскольку койне паннонского происхождения несомненно могло использоваться в сношениях Венгрии и венгров с соседними славянскими государствами, то и заимствования из соседних славянских языков должны были в течение определенного времени проникать в венгерский язык в аналогичном «пересчете». Учет этого фактора позволяет разрешить отдельные противоречия между фонетическими, с одной стороны, и лингвогеографическими или культурно-историческими, с другой стороны, критериями при трактовке славянских заимствований в венгерском языке.

В гипотетическом порядке можно предположить, что функционирование койне могло начаться еще до прихода в Карпатский бассейн венгров: потребность в нем могла возникнуть еще в государстве аваров, и особенно в процессе интенсивной языковой ассимиляции аваров славянами в VIII–IX вв. Свое существование койне должно было прекратить, очевидно, с завершением перехода основной массы славянского населения в центральных районах Венгрии на венгерскую речь.

НОСТРАТИКА. РАННИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКО- УРАЛЬСКИЕ СВЯЗИ

НОСТРАТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОКАЗАТЕЛЯ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ: СЛАВЯНСКО-САМОДИЙСКАЯ АНАЛОГИЯ*

Этимология славянского суффикса собирательных имен типа **qgъlje*, **kamenъje*, **zverbъje* хорошо известна. Слав. **-ъje*, широко представленный также в abstracta (**ostrъje*, **veselъje*, **znamenъje*), имеет многочисленные параллели в и.-е. отыменных образованиях с суф. **(i)jom*, среди которых представлены преимущественно abstracta (скр. *kšatr-iyam* 'господство', греч. θελκτήρ-ιον 'очарование', лат. *hērēd-ium* 'наследство'), реже — abstracta-collectiva (скр. *dūt-iyam* 'посольство', лат. *servit-ium* 'рабство, рабы'). Хотя суффикс сохранил в ряде ветвей высокую продуктивность, некоторые из таких образований проецируются и на и.-е. уровень (ср. скр. *svāpn(i)yam* 'сновидение' = греч. (ἐν-)ύπνιον = лат. *somnium* = ст.-сл. съние). Широкое распространение чисто собирательного значения выглядит скорее как славянская инновация. Морфологически имена на *-(i)jom* интерпретируются как субстантивизированные neutra от относительных прилагательных с суф. **(i)jo* (ср. **-ъje* в ср. роде слав. прилагательных на **-ъjb*)¹. См. [Brugmann 1888–1890 II 1: 119–125; Мейе 1938: 273–274, 1951: 286–288].

Оба компонента, из которых складываются и.-е. **(i)jom*, слав. **-ъje*, этимологизируются и на ностратическом уровне. И.-е. **(i)jo* отражает ностр. суффикс отыменных и отглагольных прилагательных **-ja* ([Иллич-Свитыч 1971: 282–284]; см. также [Čop 1972: 173–174]).

Более проблематичен вопрос об источнике и.-е. **-m* — показателя ср. рода в Nom-AccSg *o*-основ. Согласно высказанному вскользь замечанию В. М. Иллич-Свитыча [1976: 48], он отождествим с другим **-m* — показателем Acc. имен муж. и жен. рода, причем вначале **-m* появился в AccSg *o*-основ ср. рода, по аналогии с *o*-основами муж. рода, а затем по образцу других классов neutra с идентичными показателями в Acc. и Nom. он распространился и на Nom. Таким образом, трактовка В. М. Иллич-Свитыча фактически является «перелицовкой» предположения о связи аккузативного **-m* и **-m* у *o*-основ ср. рода, высказывавшегося, в ча-

* Впервые опубликовано как часть статьи «Две заметки о славянско-самодийских аналогиях» // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984. С. 114–123.

¹ Другой тип collectiva — формы на и.-е. **(i)ja*, слав. **-ъja*, образуемые от названий лиц (**bratrъja* = греч. φρατρία) — соотносится с collectiva на **-ъje* так же, как Nom-AccPl с Nom-AccSg у *o*-основ ср. рода; ср. также собирательное значение, присущее уже самим по себе и.-е. формам мн. числа имен ср. рода, согласовавшимися в функции субъекта с предикатом ед. числа [Мейе 1938: 301].

стности, К. Бругманном [Brugmann 1888–1890 II 2: 518]. К. Бругманн также исходил из этимологического отождествления этих двух формантов, но полагал, что употребление имен ср. рода с **-m* в объектной функции послужило причиной развития у **-m* аккузативного значения и обобщения на другие типы основ.

Иная возможность этимологизации **-m* в Nom-AccSg *o*-основ ср. рода (идея ее высказывалась А. Б. Долгопольским² в лекционном курсе 1970–1972 гг. по ностратике) состоит в возведении этого форманта к ностр. **mA*, реконструированному в качестве форманта в относительных конструкциях с именной функцией [Иллич-Свитыч 1976: 45–48]. Вот некоторые аргументы в пользу такой трактовки.

1. Если учесть, что ностр. **mA* имеет и другой и.-е. рефлекс в виде суффикса производных имен **-mo-* (вероятно, также **-mer/ *-men*), то индоевропейский при этой трактовке дополнит собой ряд языков, в которых наблюдается двойная рефлексация ностр. **mA*: сем. **m-* (префикс производных имен) и **-m* (суффикс производных имен³; префиксальное и суффиксальное употребление отмечено также в кушитском), тюрк. **-mal/ *-mä* и **-Vm*, монг. **-mal/ *-mä* и **-m*. Аналогичная ситуация, по-видимому, в уральском — ср. фин. *-mal/ -mä* и *-n* (*-me-*) [Хакулинен 1953: 112–113]; см. также ниже о чрезвычайно важных дравидийских и эламских данных. Это обстоятельство трудно счесть случайным. Двойная рефлексация может отражать сосуществование в ностратическом праязыке двух способов функционирования **mA* — местоименного ('то, что' — субстантиватор соседнего несубстантивного слова, причем обладавший известной свободой расположения относительно последнего — ср. префиксальный характер с.-х. и картв. *m-* при суффиксальности других рефлексов) и суффиксального (формант закрепившихся в субстантивном употреблении основ — это источник семитских и кушитских образований с суффиксальным *-m*; возможно, в косвенных формах суффикс **mA* отсутствовал, ср. и.-е. и драв. данные). Дальнейшее развитие в языках-потомках шло в основном по линии закрепления «самостоятельного» **mA* как словообразовательного показателя имен (но ср. ниже об архаичных самодийских рефлексах!) параллельно с частичным выветриванием словообразовательного значения у «связанного» **mA*.

2. И.-е. **-m* ср. рода имеет исключительно точные соответствия в дравидийских и эламском языках (соответствующий материал также был привлечен к ностратическому сравнению в лекционном курсе А. Б. Долгопольского). В «Опыте сравнения» к ностр. **mA* возводится драв. суффикс производных имен **-mai*, точным соответствием в эламском является суффикс *nomina abstracta -me*, например *sunkime* 'царство, царская власть' от *sunki* 'царь' ([McAlpin 1981: 66, 75, 77, 82] с реконструкцией эламо-драв. **-mai* — морфемы, используемой для образования *abstracta* от других существительных и иногда от глаголов — [Ibid.: 107]). С другой стороны, наличествует драв. **-m* — «суффикс именительного па-

² <В публикации 1984 г. А. Б. Долгопольский, чье имя после эмиграции в Израиль не подлежало упоминанию в книгах издательства «Наука», был назван А. Б. Лангфельдом. Автор приносит своему учителю извинения за вынужденное использование этого прозрачного псевдонима.>

³ К имеющимся у В. М. Иллич-Свитыча примерам можно добавить сем. **m* 'двойня' как вероятный субстантивированный рефлекс ностр. **to'E* 'два' [Долгопольский 1971: 110–111].

дежа у
значен
эламск
тельны
чение
(McAl
зуюмог
ным зн
функци
в Nom.
имен н
основа
отглаго
3. И
пользо
мент в

Обр
но же
тельны
ском я
169–17
'прежн
прилаг
регуляр
адекват
Осо
*mA. И
частиц
мет'): с
'хорош
'два', n
бой лю
ет изли
salo 19
mai m
(полев
угорск
Свитыч

⁴ Дан
в гетеро
191)).
Зде
рения) д
носители
мантом

дежа у существительных с двусложной или многосложной основой на *-a* и со значением «не-лица»» [Андронов 1978: 198]; столь же точным соответствием в эламском является формант *-əN* (*-un*, *-um*, *-an*, *-am*, *-in*), образующий существительные ср. рода, которые несут «слабое» (в сравнении с *-me*) отвлеченное значение или обозначают сооружения и т. п., например *mušin* 'счет', *balum* 'склад' ([McAipin 1981: 66, 77] с реконструкцией эламо-драв. **-əN* — окончания, используемого для образования существительных ср. рода с отвлеченным и конкретным значением [Ibid.: 107]). Представляется особенно показательным совпадение функций и.-е. **-m* и драв. **-m*: в обеих семьях речь идет о представленном только в Nom. (в и.-е. — также в систематически совпадающем с ним Acc.) суффиксе имен неодушевленного класса в определенном типе основ, а именно в и.-е. *o*-основах и драв. *a*-основах (ср. этимологическое тождество и.-е. **-o-* и драв. **-a-* в отглагольных именах, см. [Иллич-Свитыч 1971: 259])⁴.

3. Изложенные ниже соображения о славянско-самодийских аналогиях в использовании рефлексов **mA* также можно, по-видимому, расценивать как аргумент в пользу второй из ностратических этимологий и.-е. **-m*⁵.

Обратимся теперь к рефлексам ностр. **jл* и **mA* в уральских языках, особенно же в селькупском. Согласно В. М. Иллич-Свитычу, ностр. суффикс прилагательных **jл* отражен как урал. **-jз*. Продолжением этого суффикса в селькупском является широко употребительный адъективный показатель *-l'* [Katz 1979b: 169–170], который присутствует в ряде прилагательных (*mentäl* 'старый', *uköl* 'прежний') и служит для образования отыменных относительно-притяжательных прилагательных (*sūrīl* 'звериный', *pül* 'каменный') — последние ввиду высокой регулярности и тесной связи с производящей основой можно рассматривать как адъективные формы существительных [ОчСЯ: 190–193, 267].

Особую архаичность проявляют самодийские языки в рефлексации ностр. **mA*. Ими сохранено, видимо, исходное употребление **mA* как местоименной частицы с неопределенно-обобщенным значением ('то, что; нечто, вещь, предмет'): сельк. **mī* — универсальный субстантиватор (*soma mī* 'хорошее' от *soma* 'хороший', *īmpitīl mī* 'взятое' от *īmpitīl* 'взятый', *šittī mī* 'два предмета' от *šittī* 'два', *man mīmī* 'мос' от *man* 'я') и в то же время слово, способное заменить собой любое существительное, которое говорящий не может вспомнить или считает излишним называть, ср. нем. *Dingsda*, англ. *thingamy*, венг. *izé* [Castrén, Lehtisalo 1960: 195; ОчСЯ: 299–300]; нен. Л *mī* 'etwas zu essen, etwas Essbares; Ware', *mān mîej* 'Das Meinige' [Lehtisalo 1956: 258]; эн. Т Л *mu* 'Dingsda, thingamy, izé' (полевые записи автора) и т. д. Наряду с этим самодийским языкам (как и финно-угорским) хорошо известны и рефлексy **mA* в виде суффиксов (см. [Иллич-Свитыч 1976: 46–47]).

⁴ Данная индоевропейско-дравидийская параллель дополняет разительное совпадение в гетероклитическом склонении имен неодушевленного класса (см. [Иванов 1980: 190–191]).

⁵ Здесь не рассматривается, но, пожалуй, заслуживает внимания возможность приминения двух ностратических этимологий и.-е. **-m* путем отождествления ностр. **mA* в относительно-притяжательных конструкциях с именной функцией с ностр. **mA* как суффиксальным формантом маркированного прямого объекта [Иллич-Свитыч 1976: 48–51].

Наконец, путем сочетания адъективного показателя *-l'* с неопределенно-обобщенным *mī* в селькупском языке образуются: а) abstracta, если *-l'* оформляет прилагательное: *mentäl' mī* 'старье', *uköl' mī* 'прежнее, прошлое' (аналогичное значение имеют и сочетания других, лишенных *-l'* прилагательных с *mī*: *šentī mī* 'новое'); б) collectiva, если *-l'* выступает как адъективизатор: *süril' mī* 'зверье', *pül' mī* 'камни, каменистое место'. Оба вида образований полностью регулярны (см. [ОчСЯ: 169–170, 265]).

Налицо, таким образом (если принять рассмотренную выше версию происхождения и.-е. **-m* ср. рода), полная материальная и функциональная аналогия между славянскими abstracta и collectiva на **-bje* (и.-е. **(i)jom*) и соответствующими селькупскими образованиями с *-l' mī* (ПУ **-jз-мз*). При этом можно указать по крайней мере один случай этимологического (на уровне компонентов) и смыслового тождества собирательных форм:

слав.	<i>*vod</i>	-	<i>bje</i> ⁶	
и.-е.	<i>*ued</i>	-	<i>iō</i>	- <i>m</i>
ностр.	<i>*wetA</i>	-	<i>jA</i>	<i>mA</i>
ПУ	<i>*wete</i>	-	<i>jз</i>	<i>мз</i>
сельк.	<i>ütī</i>	-	<i>l'</i>	<i>mī</i>

Что касается возможности образования рассмотренным путем abstracta, то, по-видимому, к признанию ее ностратических истоков нет никаких препятствий⁷: присоединяясь к прилагательным, в частности к производным прилагательным на **-jA*, формант **mA* придавал им отвлеченное значение.

Гораздо сомнительнее выглядела бы, на наш взгляд, реконструкция ностр. суффиксального комплекса **-jAmA*, образующего от имен их собирательные формы. Как уже отмечалось, тенденция к распространению собирательного значения в славянском представляется на и.-е. фоне инновационной. Изолированный характер имеют и селькупские формы, не находящие явных соответствий ни в других самодийских, ни в финно-угорских языках. Отметим, впрочем, один ограниченный по объему, но очень четкий прибалтийско-финский словообразовательный тип — названия ягод с суф. **-im*, ср. фин. *muurain* (*muuraimе-*) 'морозика', *puolain* 'брусника', *siestain* 'черная смородина', *vaarain* 'малина'. Другие, не столь однородные семантически образования с этим суффиксом тяготеют к обозначению места, ср. *rikkein* (*rikkeime-*) 'сломанное место', *seinin* 'простенок', *selkoin* 'тыльная сторона' [Хакулинен 1953: 112–113]. Фонетически возведение **-im* к ПУ **-jз-мз* (или, возможно, **-j-мз*) достаточно правдоподобно, семантика слов с **-im* вполне позволяет предполагать исходное собирательное значение (во всяком случае, это относится к названиям ягод, которые повсеместно выражают собирательность — ср. *на столе лежит малина* vs. *на столе лежит груша* — и, например, в тунгусо-маньчжурских языках систематически

⁶ Ср.: *мелководье, половодье, разводье*.

⁷ Кроме, возможно, соображений того плана, что носители ностратического праязыка еще «не доросли» до выражения абстрактных понятий; однако, не видя в ностратических реконструкциях никаких свидетельств фонетического, грамматического или семантического примитивизма этого праязыка, автор склонен такими недоказуемыми внилингвистическими соображениями пренебрегать.

оформляя
kle 'брус
ных еще
ческой др
и независ
их рефле
использо

* В ср
ная) эти
Obl. -ita
в других
кам [Dia
мере кон
рефлекс
гаемым
только с
но-обоб
Из м
ности, н
ного при
роны, по
[Brockel
мы нахо
ных и сс

оформляются суффиксом собирательности *-kta/-kte*, ср. нан. *gā-kta* 'клюква', *šui-kte* 'брусника'). Однако даже принятие во внимание прибалтийско-финских данных еще не дает достаточно надежных оснований для постулирования ностратической древности собирательных форм. Речь может скорее идти о параллельной и независимой реализации потенций, заложенных в семантике ностр. **-jл*, **mА* и их рефлексов, о следовании сходным моделям порождения собирательных форм с использованием этимологически тождественного морфологического материала⁸.

⁸ В свете рассмотренных данных возникает перспектива (хотя и крайне проблематичная) этимологизации ханаанейских суффиксов мн. числа муж. рода (евр., финик. *-īm*; угар. Obl. *-īma* при Nom. *-ima*), которые, по-видимому, не сводимы к *л*-овым формам мн. числа в других семитских (и семито-хамитских в целом) языках и их ностратическим источникам [Diakonoff 1965: 65; Иллич-Свитыч 1976: 94–96], хотя могли с ними в той или иной мере контаминировать. Ср. сем. суффикс относительных прилагательных **-лj* (евр. *-lī*) как рефлекс ностр. **-jл* [Иллич-Свитыч 1972: 283]; семитскую мимацию с нередко предполагаемым для нее исходным значением неопределенности можно попытаться соотнести не только с ностр. «объектным» **mА* [Иллич-Свитыч 1976: 51], но и с ностр. «неопределенно-обобщенным» **mА*.

Из многочисленных трудностей, которые встречает эта этимология, отметим, в частности, нередко наблюдаемое несовпадение огласовок корня во мн. числе и у относительного прилагательного (евр. *nēšah* 'вечность': Pl. *nēšāhīm*; *nīšhī* 'вечный'). С другой стороны, показательно наличие в семитском abstracta на *-ī*, чаще с окончанием жен. рода *-īl* [Brockelmann 1908: 414–415]; возможно, здесь — как и в славянском, и в селькупском — мы находимся в том же кругу этимологически взаимосвязанных адъективных, абстрактных и собирательных дериватов.

УРАЛЬСКИЙ КОНСОНАНТНЫЙ АУСЛАУТ ~ ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ГЕТЕРОКЛИЗА? *

Излагаемые здесь наблюдения касаются достаточно редких и с уральской стороны, и с индоевропейской стороны типов основ, чем предопределены ограниченность ностратического сравнительного материала и проблематичность выводов.

Предметом обсуждения являются фонетические особенности следующих двух известных ностратических сравнений:

(1) И.-е. **wed-* 'вода', ПУ (согласно традиционной реконструкции) **wete*, алт.: тунг. **ödü(n)* 'дождь', драв. **ōtā/*vetā* 'влажный', ?с.-х. **wd-* 'влажный, поток' [Иллич-Свитыч 1968: 2.17, 1967: 334].

(2) И.-е. **ghes-* 'рука', ПУ (традиц. реконстр.) **kāte*, драв. **kac*, ?с.-х.: омот. **kč*, аккад. *kāt-um* [Иллич-Свитыч 1971: № 80; Долгопольский 1973: 306].

В связи с индоевропейскими и уральскими членами этих сравнений обращают на себя внимание некоторые специальные обстоятельства.

а) С уральской стороны представлены основы, которые, как нам удалось показать ранее, должны реконструироваться с согласным в ауслауте — **wet*, **kāt* [Хелимский 1979]. Основанием для реконструкции консонантного ауслаута (представленного, по-видимому, в нескольких десятках уральских и финно-угорских односложных именных основ) служат: «усеченная» (в действительности первичная) форма основы партитива в прибалтийско-финском (ср. фин. *vesi*, Part. *vet-tä* и *käsi*, Part. *kāt-tä*), корневое чередование долгот в венгерском (ср. венг. *víz*, Acc. *vizet* и *kéz*, Acc. *kez-et*), отсутствие каких бы то ни было следов ауслаутного гласного или связанных с ним умлаутных явлений в остальных финно-угорских и самодийских языках.

б) С индоевропейской стороны представлены один «классический» пример гетероклизы **wet-(o)r*, **wet-n(t)-* (ср. греч. ὕδωρ, ὕδατος, хетт. *uatar*, *uetenas*) и один случай, в котором наблюдаемые рефлексy **ghes-(o)r*, **ghes-to-* позволяют предполагать отражение древнего гетероклитического имени [Иллич-Свитыч 1971: № 80].

в) В названии руки имеет место аномальное соотношение вторых согласных (и.-е. **s*: драв. **c*: ПУ **t*). Предлагались решения этой проблемы путем исключения и.-е. слова из сравнения [Иллич-Свитыч 1967: 362] либо путем предположения о специфическом развитии исходного **-ti* [Иллич-Свитыч 1971: № 80].

Представляется, однако, что положение об универсальной единой структуре ностратического корня CVC(C)V является такой же необязательной условно-

* Впервые опубликовано в: Конференция «Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе»: Памяти В. М. Иллич-Свитыча. 6–9 февраля 1990 г.: Тезисы докладов. М., 1990. С. 11–13.

стью, к:
ваясь о
ложить
или с) *
а) П
ческим
б) F
крайне
сонант
ты ност
в) P
(> s) и,
перехо.
или аф
вестны
те — о
ряде с
в аусла
катами
г) Д
сложн
*c > *j
уже по
высокс
д) F
соглас
сравне
(В. Э.)
жения
Дру
именн
ауслау
жений
стност
*sneH
'жила'
ablaut
см. [И
сравне
nime-ā
вення
1971:
(тради
лич-С.

стью, как и аналогичное положение в уралистике (ср. [Helinski 1984a]). Отказываясь от постулата об обязательности вокалического ауслута, мы вправе предложить реконструкцию ностр. **wet* 'вода' (вместо **wetA*) и ностр. **gäč* (где *č* = *č* или *č̣*) 'рука' (вместо **gäti* у В. М. Иллич-Свитыча [1971: № 80]), считая, что:

а) Прауральские консонантные основы непосредственно восходят к ностратическим консонантным основам.

б) Возникновение гетероклитического типа основ в индоевропейском по крайней мере частично связано с определенным преобразованием исходных консонантных основ, не распространенным на вторичные (возникшие после утраты ностратического гласного второго слога) консонантные основы.

в) Развитие **č* в ауслутной позиции было нормальным в индоевропейском (> *s*) и дравидийском (> *c*), тогда как для уральского следовало бы постулировать переход **č* > **t*. Такое предположение не противоречит другим данным (корни или аффиксы конца слова, оканчивающиеся аффрикатами, в уральском неизвестны) и хорошо объяснимо: недопустимость двух подряд согласных в ауслуте — особенность уральской фонотактики, хорошо сохраненная в финском и в ряде самодийских языков, — могла сочетаться с ограничением на употребление в ауслуте аффрикат (приведшим к утрате исходными, ностр. конечными аффрикатами второго, фриктивного компонента).

г) Двусложность тунг. **ödü(n)* 'дождь' и драв. **ōtA/*vetA* 'влажный' (ср. односложность драв. **kac* 'рука', на которую, по-видимому, указывает развитие **c* > **j* в тамил. *kai*, кота *kaj*, тода *koj* и др.) не может считаться показательной уже потому, что семантическая производность их значений от ностр. **вода* с высокой вероятностью свидетельствует о словообразовательной производности.

д) Реконструкция в названии руки ностр. **č* (вместо **t*) сама по себе хорошо согласуется с омот. **kč̣*; тем не менее, семито-хамитские параллели в данном сравнении остаются крайне проблематичными в фонетическом отношении (В. Э. Орел, устное сообщение) и могут быть сохранены лишь ценой предположения о сложных взаимодействиях признаков глоттализации и аффрикации.

Другие ностратические сравнения с участием уральских и индоевропейских именных основ, в которых присутствуют признаки уральского консонантного ауслута, не опровергают, насколько нам известно, сделанных выше предположений, а отчасти могут служить их косвенным подтверждением. Речь идет, в частности, о сравнении ПУ **sen* (традиц. реконстр. **sōne*) 'жила' с и.-е. **sneft-*, **sneftu-* 'скручивать, прясть' (гетероклиза в производном имени **sneftu-r/-n* 'жила', ср. др.-инд. *snāvan-*, авест. *snāvarə*, однако предполагаемый Schwebelaut и расширитель *-u-* в индоевропейском препятствуют прямому сравнению), см. [Иллич-Свитыч 1967: 341]. С обеих сторон создает фонетические трудности сравнение ПУ **nim* или **nime* 'имя' (венг. *név*, Асс. *nevet*, но фин. *nimi*, Part. *nime-ä* и др.-перм. *nim-j-*) с и.-е. **(e/o)-n(o)m-n* (в рефлексации точки соприкосновения с гетероклитическими именами [Arbeitman 1976]), см. [Иллич-Свитыч 1971: № 317]. С и.-е. **pol-* 'половина, сторона' можно сравнивать как ПУ **pel* (традиц. реконстр. **pēle*), так и ПУ **pälä*, **pōla* с теми же значениями, см. [Иллич-Свитыч 1968: 10.14; Иллич-Свитыч 1967: 356].

A «NEW APPROACH» TO NOSTRATIC COMPARISON*

The monograph under review is extremely rich in ideas and interpretations which cover a vast field of problems. A novel reconstruction of the Proto-Indo-European (PIE) consonants, a model of the sub-phonemic variation of the PIE vowels, the Proto-Afroasiatic (PAA) phonology and sound correspondences between the five or six branches of the Afroasiatic (Semito-Hamitic) family — each of these topics could make the subject of a separate book, but for Allen R. Bomhard they only are a prelude to the focal theme, that is, to the presentation of 318 presumable lexical cognates between PAA and PIE and a tentative phonological reconstruction of the common ancestor of these two proto-languages. As long as this short review can in no way substitute for a more detailed acquaintance with the book (its reading will be highly instructive for any specialist concerned with the above-mentioned problems, whatever his opinion on the author's solutions may be), the reviewer feels free to spare many details and to concentrate upon the main lines of the «new approach», declared already in the subtitle, and upon the reliability of the data.

This being not the first attempt to prove the genetic relationship of PIE and PAA — cf. the studies of Hermann Moller, Albert Cuny, Marcel Cohen, Linus Brunner¹ and the incorporation of this relationship into a broader Nostratic framework in the works of Aharon Dolgopolsky and especially of Vladislav Illič-Svityč — Bomhard's study is fully and deliberately independent of the previous tradition. The author claims that the works of all his predecessors suffer from the same basic weakness and finds them «to be of limited value at best» (p. ix). The genetic relationship between PIE and PAA could not be proven insofar as their phonological systems were typologically different, thus giving no chance to come across plausible phonetic correspondences. «As long as scholars operated with the phonological system traditionally reconstructed for Proto-Indo-European, no real progress was possible: since that reconstruction was typologically isolated, Indo-European was doomed to remain genetically isolated» (p. 1). (The statement that genetic relationship is unprovable for languages with dissimilar phonologies seems to reflect a new discovery in the methodology of comparative research in linguistics. It is great luck that the Indo-Europeanists of the past did not know what Bomhard knows, otherwise Germanic, not to mention Tokharian, was doomed to remain beyond the Indo-European family.)

* Впервые опубликовано в: Journal of the American Oriental Society. 1987. 107/1. P. 97-100. Рецензия на кн.: Toward Proto-Nostratic: A New Approach to Comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. By Allen R. Bomhard with a foreword by Paul J. Hopper. Amsterdam, 1984.

¹ I feel it necessary to leave Saul Levin, who attacked the same problem with a most peculiar idea of the Indo-European origin of Hebrew, but not of other Semitic languages, out of this list.

Bo
His fi
propo
Paul J
tional
ratae t
the PI
after s
of pal
tion).
comes
clude
Kuryl
for the
nation
kinds
W
betwe
schol
viewp
phone
mits t
pecte
struct
berg)
Afroa
possib
to thi
ress is
Ac
struct
are co
the pr
dence
*b *p
in bo
than c
the ar
Th
pp. 18
give f
rynge
reson.
(No. 5)

Bomhard breaks the wall of typological isolation purposefully and unidirectionally. His first step is to adopt the glottalic theory of the PIE stop system which has been proposed in 1972 by T. V. Gamkrelidze and Vjač. Vs. Ivanov and in 1973 by Paul J. Hopper and enjoys growing popularity among the Indo-Europeanists: traditional plain voiced stops are reinterpreted as glottalized, while traditional voiced aspiratae take the vacant place of plain voiced. Some other innovations also serve to bring the PIE consonantal system closer to the PAA/PSem. system, as well as to pattern it after some North Caucasian specimens. Thus, for example, Bomhard cancels the series of palatal gutturals (giving no acceptable explanation to the phenomenon of satemization). On the other hand, he reconstructs as much as six PIE laryngeals, though — as it comes out of the text on pp. 17 and 119 — no Indo-European language (Anatolian included) distinguishes between the reflexes of Bomhard's $*h_1$ and $*h_2$ (both = $*_2$ in Kuryłowicz's reconstruction), $*x$ and $*\gamma$ (both = Kuryłowicz's $*_3$). The only reason for the multiplication of laryngeals becomes evident later, when the arbitrary discrimination between the members of these two pairs is used in order to account for four kinds of PAA/PIE correspondences ($*h_1/*_2$, $*_1/*_2$, $*h_1/*_3$, $*_1/*_3$).

While reconstructing the PAA consonantal system Bomhard follows a winding path between the reconstructions proposed by Igor Diakonoff, David Cohen and some other scholars. It results in a variant that looks no worse than any other from the typological viewpoint, but should be considered as an overt simplification of the true picture of phonetic correspondences between the Afroasiatic languages: the author honestly admits that «there are other correspondences, however, which simply do not fit the expected pattern» (p. 154). The same is probably to be said about other attempts to reconstruct the PAA phonology («early» Diakonoff, «modern» Diakonoff, Cohen, Greenberg): each of them is based upon a more or less arbitrarily selected list of presumable Afroasiatic cognates (some of them being very problematic) and neglects many other possible etymologies. I think that the Afroasiatic linguists must look for an alternative to this approach, which appears to be rather fruitless, or just wait until decisive progress is made in the reconstruction of Proto-Cushitic and Proto-Chadic.

According to Bomhard, the proposed modifications of the PIE and PAA reconstructions (which are sometimes on the verge of juggling with these reconstructions) are confirmed «in retrospect», because they bring at once the long-sought solution of the problem of genetic relationship. The table on p. 181 lists 40 phonetic correspondences between PAA and PIE, and 25 among them turn out to be trivial identities ($*p$ $*b$ $*p'$ $*t$ $*d$ $*t'$ $*s$ $*k$ $*g$ $*k'$ $*g'$ $*k''$ $*g''$ $*h$ $*h_1$ $*h_2$ $*_1$ $*_2$ $*_3$ $*w$ $*y$ $*m$ $*n$ $*r$ $*l$ $*a$ $*a$ in both PAA and reinterpreted PIE). In 15 other pairs the reflexes differ in not more than one distinctive feature (PAA/PIE $*f/*p$ $*ts/*t$ $*dz/*d$ etc.), so that the positing of the ancestral phonemic inventory (p. 186) looks like a schoolboy exercise.

The correspondences are illustrated with the lexical comparisons collected on pp. 188–284 of the monograph and forming its centerpiece. 318 proposed etymologies give from 1 to 35 examples (on the average 12) for each PAA/PIE pair of noise and laryngeal consonants and from 21 to 90 examples (on the average 48) for each pair of resonants. In most cases the cognates look strikingly alike, cf.:

- (No. 50) PAA $*tak$ $/*_1tak$ - 'to touch, push, strike': PIE $*tak$ - 'to touch, strike, push, stroke':
EG.: tq 'to cut, slay, strike'. CUSH.: PEC
 $*tak$ $/*_1tuk$ - 'to touch, push, strike' (...). Lat. $tangō$ 'to touch, strike, push, hit'; Gk.
 $τεταρῶν$ 'having seized'; OE. $\betaaccian$ 'to
pat, stroke'.

- (No. 100) PAA **šar-/šar-* 'to flow, overflow, creep, crawl': SEM.: Psem. **šar-atš-* > Hebr. *šāraš* 'to swarm, teem'; Aram. *šāraš* 'to creep, crawl'.
 (No. 150) PAA **gar-/gar-* 'to take, take away, seize, carry off, remove': SEM.: Psem. **gar-ap-* > Hebr. *eyrōp* 'fist'; Ar. *ġarafa* 'to take away, remove, carry off, sweep away' (...).
 PIE **sar-/sar-* 'to run, flow, move': Skt. *sārati* 'to run, flow, move' (...). PIE **sarp-/sarp-* 'to creep, crawl' (...). PIE **sru-/sru-* 'to flow' (...).
 PIE **gar-/gar-* 'to take, take away, seize, carry off, remove': Skt. *hārati* 'to take, take away, carry off, seize, remove'; Gk. *xeip* 'hand'; Arm. *jein* 'hand'.

Bomhard intends to impress and even to fascinate the readers of his monograph with the exactness of his phonetic and lexical correspondences (the foreword by Paul J. Hopper shows that he can succeed in doing so). But it is just this exactness that can also raise serious doubts. First of all, if the solution is so simple and elegant, how could it have remained unnoticed for such a long time? Unlike Bomhard, his predecessors in the comparative study of PIE and PAA were not equipped with the glottalic theory and did not treat PIE **d* as **t'*. But comparative linguistics is accustomed to «over-coming» distinctions in manner of articulation, and scholars were to equate PIE **d* with PAA **t'*, if the evidence is so strong and systematic. Secondly, the whole experience of comparative linguistics shows that phonological systems and the general shape of stems in two genetically related languages may be similar, especially if the relationship is close; or drastically different, which is the more probable, the more remote is their relationship. In our case two situations should be considered. If the PIE-PAA unity broke up at a relatively late date, so that PIE existed apart of PAA for only two or three millennia (which is difficult to believe), then it would be natural to expect that the two proto-languages possess a far-reaching typological resemblance (that is what the author tries to demonstrate throughout the book) and are connected with «fairly straightforward» (p. 185) correspondences. If, however, PAA and PIE «parted company many millennia before the stage of development that can be reached by a direct comparison of the extant daughter languages» (p. 180), so that their morphologies are almost totally different, then the simplicity of phonetic correspondences and the similarity of so many roots (which simply coincide, as in the above examples) would take a comparativist by the greatest surprise.

To solve this dilemma, one can also think about the possibility of mutual borrowings in (late) PIE and (late or even disintegrated) PAA. For some lexical comparisons this is undoubtedly the case, cf. (79) Psem. **t'awr-* 'bull, steer' — PIE **tawr-* 'bull' (see [Иллич-Свитыч 1964]). In the majority of pairs, however, the possibility of borrowing is practically excluded for semantic reasons; Bomhard himself insists on the treatment of the compared roots as genetic cognates.

I believe that in order to account for the above-mentioned paradoxes (without admitting that all Bomhard's predecessors were blind or that both PIE and PAA displayed unprecedented phonological conservatism) it is necessary to recollect the history of the Afroasiatic-Indo-European comparison and to cast a more critical glance at the list of the examples.

Bomhard supports the equation of PIE **t'* (traditional **d*) with PAA **t'* with 20 examples. Linus Brunner [1969: № 381–406] considers PIE **d* to be the counterpart of Psem. **d* and cites 26 examples (only from Semitic, but in modern Afroasiatic linguis-

tics a considerable percentage of Semitic roots is supposed to be of PAA origin). On the whole, these examples are hardly much worse than Bomhard's material. Illič-Svityč has posited the development of Nostratic **t* into PIE **d*, PAA **t*, illustrated in one of his earlier works [Иллич-Свитыч 1968: № 2.1–2.24] with 24 examples (7 of them — with both PIE and PAA counterparts)². His examples, being less numerous, are of much higher quality and reliability, because he practised multilateral comparison and provided corroborating data from Kartvelian, Dravidian, Uralic and Altaic (still, his etymologies seem to suffer from the ambiguity of the Afroasiatic materials: that was the price of «jumping across» the missing intermediate reconstructions of PChad., PCush. and PAA itself). Anyhow, in the case of PIE **d* — as well as in many other cases — the version accepted by Bomhard is not the only one which can be supplied with seemingly good examples, and, in my opinion, not necessarily the best one. To be sure, the etymologies by Brunner, Illič-Svityč and other scholars, which contradict this version, are disregarded in the book (or, exceptionally, provided with a different PAA reconstruction).

The trouble is that the «raw materials» at Bomhard's (and Brunner's) disposal — comprehensive Indo-European etymological dictionaries, comparative and monolingual dictionaries of numerous Afroasiatic languages — have been tremendously rich. This fact alone creates a high risk of coming across phonetically and semantically similar words which historically have nothing to do with each other. The risk surpasses reasonable limits if the proposed etymologies suffer from faults which are regretfully typical of many of the examples in the monograph. These faults are:

over-exploitation of verbal stems with blurred semantics ('to breathe, puff, blow,' 'to cleave, cut, split,' 'to expand, extend, spread, stretch,' 'to flee, run, rush, hurry', 'to scatter, spray', 'to shine, be bright' etc. — Bomhard's list abounds in such words, sharing this distressing feature with many etymological dictionaries);

dubious semantic conjectures (cf. e.g.; (17) PAA **pas-/pas-* 'to split, cleave, sever' — PIE **pas-* 'to split, prick, pierce, penetrate; penis'; actually, however, the Indo-European word is attested only with the last of the enumerated meanings, certainly not as a verb!);

arbitrary truncation of the third consonant in the PAA and PIE stems whenever its phonetic quality does not fit the comparison (cf. the above-cited Nos. 100 and 150);

ascribing the PAA origin to many roots which are attested in only one branch of Afroasiatic or even in one or two languages.

This is not to say that all etymologies with such faults are incorrect. We know or can easily assume that a proto-language, like any living language, may have a number of semantically blurred verbal stems; that words in their history may undergo significant semantic changes; that the formation of a triconsonantal root from a biconsonantal base may be due to mere suffixation; that any non-etymologized word in any Afroasiatic language may be a relic of PAA vocabulary. I am afraid, however, that a scholar who welcomes such assumptions in his etymologies too often and is equipped with comprehensive lexical sources would be able to posit and «prove» any set of phonetic correspondences between any two languages, related or unrelated.

² «Opyt sravnenija nostratičeskix jazykov» and other works of the same author (partly not yet published) contain additional examples with this reflexion.

To check this statement I made an attempt to «substantiate» a phonetic correspondence thought of just on the spur of the moment: PSem. *b — PIE *t (assuming that all other correspondences between PSem. and PIE should be those put forward by Bomhard and that his approach to constructing etymologies should be followed). Two hours' work with David Cohen's «Dictionnaire des racines sémitiques» and Julius Pokorny's «Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch» proved sufficient to find 20 would-be cognate pairs showing this correspondence in the initial position; the 'pearls' of my collection are PSem. *bl-d (Ar. *balad* 'pays plat, terre, sol') — PIE *tel- 'flach, flacher Boden, Gegend', PSem. *br-m (Ar. *burām* 'tique') — PIE *ter-, *ter-m 'Holzwurm, Milbe, malmendes oder bohrendes Insekt' (Lat. *tarmes, termes*), PSem. *br' (Aram. *b'ra* 'être fort') — PIE *(s)terā- : *(s)trē- 'starr, fest'. It is hardly necessary to cite here the full list of my jocular comparisons, but I am ready to submit it to anybody interested in the substantiation of my claim (together with another list which shows the «correspondence» between PSem. *b and PIE laryngeal)³.

Being sceptical about the methods employed by Bomhard and the obtained results, the reviewer on no account is going to reject the idea of the PIE-PAA genetic relationship. Some of the lexical examples in the book are extremely interesting and do not suffer from any serious faults, cf. e. g., (5) PAA *pāt-/ *pat- (Ar. *fataha* 'to open', Eg. *pṯh* 'to be open') — PIE *pāt-/ *pat- (Lat. *pateō* 'to be open'); (104) PAA *šān-/ *šan- (Ar. *sanna* 'to grow old, age') — PIE *sān- (Lat. *senex* 'old'); (280) PAA *mār-/ *mar- (Ar. *marīda* 'to fall ill, be sick', Eg. *mr* 'to be sick, to die') — PIE *mār-/ *mar-/mr 'to die' and some others. One is tempted to note that many of these good etymologies have been discovered long ago by the pioneers of the PIE-PAA comparative studies⁴. The absence of references to their works in the book is embarrassing. Even if Bomhard had come across long-established etymologies all by himself — which is fully imaginable — there still exists in scholarship the notion of priority.

It can nevertheless be hoped that future investigators of the problem will not follow this example of disrespect to predecessors (as they will not follow his «new approach», which has obviously failed), and that the monograph under review will constitute for them an additional, though not very reliable, source of etymological ideas and possible interpretations.

³ <See [Хелимский 1989e] = the following paper in this book.>

⁴ For (5) see already [Möller 1911: 205]; for (104) [Ibid.: 226]; for (280) [Cuny 1929: 330–332]. (5) is attested also in Altaic and possibly Dravidian, (280) — in Uralic; see [Иллич-Свитыч 1967: 372, 331].

КО
СЕМ

В пос-
блемам д
ду языка
рия, гип-
блемы п
родства
интенсиф
исследов
сий гене
тельства
чения, с
поисков
лучаемы
подобны
ре выяв.
фундиро
вольно е
компара
диапазон
тимым).

К сож-
вается е,
шего ро.
обширни
ческих)
близости
стой и
языками
тилетий
блемати
1984в, 1
гом даж

* Впе

К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ИНДОЕВРОПЕЙСКО-СЕМИТСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ*

В последние годы произошла явная интенсификация исследований по проблемам дальнего генетического родства и древнейших контактных связей между языками. Важнейшие из достигнутых результатов — ностратическая теория, гипотеза сино-енисейско-кавказского языкового родства, решение проблемы происхождения японского языка, демонстрация эламо-дравидийского родства и др. — широко известны. В то же время не секрет, что происшедшая интенсификация далеко не всегда равносильна действительному прогрессу в исследованиях: в части случаев много сил уделяется разработке ложных версий генетического родства или использованию ошибочных методов доказательства такового. Вероятно, этому можно было бы не придавать особого значения, считая, что мы имеем дело с нормальными и неизбежными издержками поискового процесса. Но, с другой стороны, эффективный способ контроля получаемых результатов позволил бы в какой-то мере предупредить и сократить подобные издержки. Нельзя не считаться и с тем, что неудачные опыты в сфере выявления дистантных связей способны дискредитировать гораздо более фундированные и продуктивные начинания (по крайней мере в глазах тех довольно еще многочисленных скептиков, которые считают приложение методов компаративистики к материалу реконструированных праязыков и к временным диапазонам свыше 5–7 тыс. лет преждевременным или даже вообще недопустимым).

К сожалению, обычно опровергнуть не внушающую доверия гипотезу оказывается едва ли не сложнее, чем создать ее. В типичном случае гипотеза древнейшего родства или древнейших контактных связей базируется на более или менее обширном списке предполагаемых лексических (или лексических и морфологических) соответствий, обладающих известной фонетической и семантической близостью; многие гипотезы ориентированы на получение более или менее простой и однозначной схемы фонетических соответствий между сравниваемыми языками (праязыками). Так обстоит дело со многими работами последних десятилетий, которые рассматривались автором в обзорах по ностратической проблематике и смежным вопросам дистантного языкового сравнения [Хелимский 1984в, 1986д] и получили в этих обзорах (на основании субъективных и во многом даже интуитивных критериев) положительную, отрицательную или, за от-

* Впервые опубликовано в: Палеобалканистика и античность. М., 1989. С. 13–20.

существом четких критериев, нейтральную оценку. Вообще обсуждение «подозрительной» гипотезы древнейшего родства или древнейших контактных связей, если оно возникает¹, имеет тенденцию сводиться либо к обмену субъективными оценками (но в случае серьезного расхождения между оценками это малопродуктивно), либо к критике отдельных этимологий или отдельных предполагаемых звукосоответствий (но если такая критика не сводит число предложенных сопоставлений к нулю, что вряд ли реально, то она не способна опровергнуть выдвинутую гипотезу).

Аллан Бомхард, опубликовавший в 1984 г. монографию с изложением своего «нового подхода» к индоевропейско-афразийскому сравнению и предложивший обширный список новых двусторонних этимологий ([Bomhard 1984]; см. рецензии: [Dolgopolsky 1986; Helimski 1987c; Palmaitis 1986; Schmitt 1984]), дал повод апробировать конструктивный способ опровержения несостоятельных гипотез. Таким способом является получение на базе того же материала и с использованием тех же методов и процедур альтернативного «списка соответствий», несовместимого с исходным (например, из-за того, что он включает принципиально иные этимологические объяснения тех же слов или предполагает существенно отличную сетку фонетических соответствий). По крайней мере теоретическая возможность использования альтернативных списков-опровержений обсуждалась и ранее (см., в частности [Porre 1971: 368–369], где задача создания такого списка — взамен голословной критики — ставится перед потенциальными «ниспровергателями» ностратической теории В. М. Иллич-Свитыча).

* * *

В помещенных ниже списках А и Б предлагается лексический материал, иллюстрирующий следующие два фонетических соответствия: а) и.-е. *θ- (*Н-) : сем. *b-; б) и.-е. *t- : сем. *b-. Все индоевропейские реконструкции приводятся по словарю Ю. Покорного [IEW], т. е. в традиционной безларингальной записи, все семитские — по словарю Д. Козна [Cohen 1976], причем в последнем принимались во внимание только те корни, которые представлены по меньшей мере в двух неблизкородственных языках и тем самым имеют основания претендовать на прасемитскую древность. Пары лексических параллелей отбирались в предположении, что при указанных выше соответствиях инициального консонантизма (которые ни концепция А. Бомхарда, ни, насколько нам известно, никакая другая попытка демонстрации индоевропейско-семитского или индоевропейско-афразийского родства не предусматривает) соответствия для второго, а в ряде случаев и для третьего согласного в корне должны удовлетворять сетке, предложенной А. Бомхардом ([Bomhard 1984: 181, 139 ff.]; см. также [Bomhard 1987: 5–

¹ Такие обсуждения широко практикуются на заседаниях Ностратического семинара им. В. М. Иллич-Свитыча при Институте славяноведения и балканистики АН СССР в отношении как работ участников семинара, так и других исследований. Данная статья в известной мере служит обоснованием той сдержанной или скептической позиции, которую автору нередко доводилось занимать при этих обсуждениях.

7]²). Кроме того, при составлении списков здесь — как и у А. Бомхарда, и во всех известных нам работах по индоевропейско-семитскому сравнению: а) практически не принимается во внимание вокалическая огласовка корней (для семитского, вслед за Д. Козном, указывается только их консонантный остов); б) признается в принципе допустимым сравнение по двум (обычно первым двум) согласным корней, которые состоят из более чем двух согласных, исходящее из предположения о вторичной («детерминативной», «расширительной») природе третьего корневого согласного.

A

Индоевропейский	Семитский
1. * <i>edh-</i> 'жердь, кол, изгородь'	* <i>bdd</i> 'сук, ствол, жердь, шест'
2. * <i>eg-</i> 'нехватка; недоставать'	* <i>bšr</i> 'мало; уменьшаться'
3. * <i>egnis</i> , * <i>ognis</i> 'огонь'	* <i>bšw</i> 'уголья'
4. * <i>eghs</i> (* <i>eghz</i>) 'из'	* <i>bgs</i> 'испускать, исторгать'
5. * <i>el-</i> в названиях ольхи, вяза, можжевельника и т. д.	* <i>bl</i> : * <i>blt</i> 'дуб', * <i>bls</i> 'фига', * <i>blł</i> , * <i>blbl</i> , * <i>blt</i> названия растений
6. * <i>el-</i> , * <i>elā-</i> : * <i>lā-</i> 'гнать, приводить в движение'	* <i>bl</i> 'перемешивать, будоражить'
7. * <i>el-</i> , * <i>ol-</i> 'уничтожать, портить'	* <i>blf</i> 'беспокоить; портиться'
8. * <i>elā-</i> , * <i>elak</i> , * <i>el-</i> , * <i>elk-</i> 'голодный' (слав. * <i>olka-</i>)	* <i>blf</i> 'глотать, есть'
9. * <i>elg-</i> 'скудный, бедствующий'	* <i>blq</i> 'опустошить'
10. * <i>en</i> 'в'	* <i>b</i> 'в', * <i>bn</i> 'из'
11. * <i>er-</i> (* <i>er-t-</i> , * <i>er-ū-</i>) 'земля'	* <i>brr</i> 'невозделанная земля'; ср. еще * <i>bhr</i> 'почва, земля'
12. * <i>er-</i> , * <i>eri-</i> 'козел, овца'	* <i>br-h</i> 'козленок, ягненок'
13. * <i>er-</i> , * <i>or-</i> 'крупная птица, орел'	* <i>brbr</i> вид птицы
14. * <i>ereg</i> ^h (<i>o</i>)-, * <i>erog</i> ^h (<i>h</i> o)- 'боб, горох'	* <i>brq</i> 'растение (с колючками)'
15. * <i>erei-</i> , * <i>reia-</i> etc. 'течь' (балто-слав. * <i>reistiō-</i> 'бежать')	* <i>brh</i> 'убежать'
16. * <i>eres-</i> 'протыкать'	* <i>brš</i> и * <i>brz</i> 'протыкать'

² По А. Бомхарду, сетка включает следующие индоевропейско-семитские консонантные соответствия (в традиционной записи; каждая пара соответствует особой фонеме реконструируемого им исходного общего праязыка):

И.-е. : Сем.	И.-е. : Сем.	И.-е. : Сем.	И.-е. : Сем.
<i>p</i> , <i>ph</i> — <i>p</i>	<i>t</i> , <i>th</i> — <i>t</i>	<i>k</i> , <i>kh</i> , <i>k</i> , <i>kh</i> — <i>k</i>	<i>ʔ</i> — <i>h</i> , <i>h</i>
<i>bh</i> — <i>b</i>	<i>dh</i> — <i>d</i>	<i>gh</i> , <i>gh</i> — <i>g</i>	<i>ʔ</i> — <i>ʕ</i> , <i>g</i>
<i>b</i> — <i>b</i>	<i>d</i> — <i>t</i>	<i>g</i> , <i>g</i> — <i>q</i>	<i>ʔ</i> — <i>h</i>
<i>t</i> , <i>th</i> — <i>t</i>	<i>s</i> — <i>s</i>	<i>kʰ</i> , <i>kʰh</i> — <i>k</i>	<i>w</i> — <i>w</i>
<i>dh</i> — <i>d</i>	<i>k</i> , <i>kh</i> , <i>k</i> , <i>kh</i> — <i>s</i>	<i>gʰh</i> — <i>g</i>	<i>y</i> — <i>y</i>
<i>d</i> — <i>t</i>	<i>g</i> , <i>g</i> — <i>d</i>	<i>gʰ</i> — <i>q</i>	<i>m</i> — <i>m</i>
<i>t</i> , <i>th</i> — <i>s</i>	<i>k</i> , <i>kh</i> , <i>k</i> , <i>kh</i> — <i>s</i>	<i>ʔ</i> — <i>ʔ</i>	<i>n</i> — <i>n</i>
<i>dh</i> — <i>z</i>	<i>gh</i> , <i>gh</i> — <i>z</i>	<i>ʔ</i> — <i>h</i> , <i>h</i>	<i>l</i> — <i>l</i>
<i>d</i> — <i>ʃ</i>	<i>g</i> , <i>g</i> — <i>ʃ</i>	<i>ʔ</i> — <i>ʕ</i> , <i>g</i>	<i>r</i> — <i>r</i>
<i>s</i> — <i>s</i>			

- | | |
|---|--|
| 17. *erk ^h 'восхвалять' (скр. <i>árcati</i> 'при-
ветствует') | *brk 'благословлять' |
| 18. *esu-s 'хороший, добротный' | *bsn 'красивый' |
| 19. *ei-(e)n 'зерно, семя' (греч. <i>έτνος</i>
'бобовая каша') | *bss 'мука, каша' |
| 20. *eu-, *euā-: *uā-, *uā- 'недоставать;
пустой; пустошь' | *bwr 'пустошь; впустую'; ср. еще
*bhw / *bhy 'пустой' |

Б

Индоевропейский

1. *tā-, *tā- *tāi-, *tāi-, *tāi-, *tāi-, *tāi-,
*tāi- 'таять, гнить' (лат. *tābes*)
2. *tād- 'действовать с умыслом'
3. *tāl- 'расти' (лит. *talōkas* 'взрослый,
возмужалый')
4. *(s)teg- 'шест, кол'; *(s)teig- 'проты-
кать, острый'
5. *tēg-, *tēg- 'гореть, пылать'
6. *tegi- 'толстый, густой, частый'
7. *tek- 'родить' (греч. *τέκνον* 'ребен-
нок')
8. *tek^h- 'бежать, течь'
9. *tel- 'быть тихим' (лит. *tīli* 'мол-
чит')
10. *tel-, *telā-, *telu- 'плоский; плоская
поверхность' (арм. *t'al* 'область')
11. *ter- в названиях впивающихся и
сверлящих насекомых (лат. *tarmes*/
termes 'жук-древоточец', бретон.
teurok 'клещ')
12. *ter-, *terā-, *teri-, *trēi-, *trī-, *teru-
: *treu- 'тереть' (→ 'истощать, по-
вреждать')
13. *(s)ter-, *(s)terā-: *(s)trē- 'крепкий'
14. *stēr- 'звезда' (скр. *tārah* Pl.)
15. *(s)ter-g-, *(s)tre-g-, *(s)ter-n- в на-
званиях колючих растений
16. *(s)teu- 'толкать, бить'
17. *trāgh-, *trōgh-, *trēgh- 'двигаться,
бежать'
18. *(s)trep-, *(s)treb- 'громко шуметь,
кричать'

Семитский

- *bhw 'быть худым, гнить'
- *bhd 'ждать; терпение'
- *b'l 'хозяин, муж'
- *bqr 'протыкать, колоть' (или *bgg
'протыкать')
- *bhq 'сверкать, сиять'
- *bqq 'обильный'
- *bkr 'детеныш, первенец'
- *bsbs 'течь'
- *blm 'узда; немой'
- *bld 'равнина, местность, земля'
- *brm 'клещ'
- *brw/*bry 'обрезать, утончать; ото-
щать'
- *br² 'здоровый, крепкий, свобод-
ный'
- *brh 'сиять', *brq 'молния', *brs
'сверкать'
- *brq 'растение (с колючками)'
- *bwh, *bwh 'futuerе'
- *brh 'бежать, уходить'
- *brbr 'реветь, рычать'

Вряд ли есть необходимость останавливаться на дополнительном (в частно-
сти, семантическом) «обосновании» предложенных сопоставлений; сделать это

весьма нетрудно с помощью стандартных приемов корневой этимологизации (отделение детерминативов, ссылки на семантические аналогии в словаре К. Д. Бака и под.), имеющих достаточно широкое распространение и в индоевропеистике, и в семитологии³. Как бы ни оценивать убедительность и правдоподобие приведенных этимологий, существенно другое. Можно надеяться, что непредубежденный специалист согласится, что эти сопоставления по своему количеству и качеству не хуже (хотя и не лучше) тех сопоставлений, которыми А. Бомхард в своей книге обосновывает индоевропейско-афразийское родство и систему фонетических соответствий между индоевропейским и афразийским праязыками⁴ — например, 22 примера на соответствие и.-е. **b-* (традиц. **bh-*) : афраз. **b-* (список которых открывается сравнением и.-е. **bheudh-* 'будить, бдить, воспринимать' с сем. **bwh* 'стать известным', **bwh* 'понимать' [см. Bomhard 1984: 195]) или 13 примеров на соответствие и.-е. **t-* : афраз. **t-* (список которых открывается сравнением и.-е. **tep-* 'греть; теплый' с егип. *tp* 'гореть; пламя' и хауса *tafāsa* 'кипеть, кипятить' (см. [Bomhard 1984: 205])). То обстоятельство, что мы ограничились сравнением индоевропейских и семитских корней, а в работе А. Бомхарда привлекается весь афразийский материал, никак не меняет дела (поскольку реально А. Бомхард в огромном большинстве случаев привлекает в качестве афразийского материал только одной или двух ветвей афразийской семьи, чаще всего просто семитский материал) и даже расширяет для него возможности подбора параллелей. Вообще апелляция к афразийскому уровню при нынешнем состоянии афразийской реконструкции (ср. [Diakonoff 1965; Bomhard 1984: 133–178; Дьяконов и др. 1987]); последний из этих вариантов уже подвергнут частичной ревизии в неопубликованных работах А. Ю. Милитарева) и при следовании существующей практике использования «хамитских» данных вряд ли способна служить эффективным этимологическим фильтром.

Эксперимент по «обоснованию» (методами А. Бомхарда) взятых наугад фонетических соответствий А и Б⁵ (кстати, потребовавший всего лишь нескольких часов работы со словарями Покорного и Коэна) позволяет думать, что для любого (тривиального или нетривиального) индоевропейско-семитского «соответствия» инициальных согласных средней или высокой частотности (при фиксации инлаутных соответствий указанным выше или неким иным способом) можно отыскать порядка 15–20 иллюстративных примеров приблизительно того же качества, что в приведенных списках. Корпус сопоставлений может быть в несколько раз расширен, если привлекать с индоевропейской стороны также данные отдельных групп (например, чисто индоиранские слова), а с семитской — данные отдельных языков (например, слова, известные только из арабского), а также если вести поиск более тщательно и выявлять наряду с инициальными со-

³ О чем можно только пожалеть. Имеется, правда, и столь же развитая техника критики тех или иных решений, связанных с корневой этимологизацией.

⁴ Отметим, что для обоснования той же гипотезы родства Г. Мёллер [Möller 1906, 1911] и А. Кюни [Cuny 1943, 1946], а также Л. Бруннер [Brunner 1969] и (в рамках ностратической теории) В. М. Илич-Свитыч [1971 и др.] пользовались во многом отличным корпусом сопоставлений и иными сетками консонантных соответствий.

⁵ Соответствие А было выбрано самим автором, а соответствие Б — по заказу коллеги, предположившего, что за примерами, которые иллюстрируют А, может стоять нечто большее, чем чистая случайность.

ответствиями также аналогичные соответствия для других позиций в слове. С учетом количества согласных в каждой из сопоставляемых консонантных систем это означает, что любая произвольно выбранная сетка корреспонденций может быть «обоснована» несколькими сотнями или даже 1,5–2 тыс. лексических примеров типа тех, которые фигурируют в списках.

Мы полагаем, что эти обстоятельства обесценивают результаты А. Бомхарда (по крайней мере в глазах тех, кто согласится, что качество сопоставлений в списках А и Б не отличается существенным образом от качества предлагавшихся им этимологий), хотя и ни в коей мере не могут быть опровержением самой идеи индоевропейско-семитского (индоевропейско-афразийского) языкового родства⁶. Вполне очевидна главная слабость как предложенных сопоставлений, так и материала А. Бомхарда; ведущее место принадлежит сравнению глагольных и межкатегориальных корней расплывчатой семантики, какие и словарь Ю. Покорного, и словарь Д. Козна реконструируют многими десятками и сотнями. Хорошо известно, сколько богатых, но, к сожалению, бесплодных возможностей корневой этимологизации создает обилие подобных условных реконструкций и псевдореконструкций. Аналогичные возможности создаются и для внешнего сравнения.

В этой связи вероятно, было бы целесообразным при различных опытах внешнего сравнения некоторого реконструированного праязыка принимать во внимание не весь его корнеслов, как он представлен в достаточно полном этимологическом словаре, а лишь ограниченную выборку из него — слова с достаточно конкретной семантикой (ср. [Гамкрелидзе, Иванов 1984 II: 463–855] как возможный образец такой выборки для праиндоевропейского состояния). Впрочем, несложный расчет показывает, что и при отсеве корней с расплывчатой семантикой эффект «шума» (случайности) при попарном сравнении языков или праязыков, для которых можно предполагать отдаленное родство, остается достаточно большим. (Он резко сокращается только при многостороннем сравнении данных трех или более языков или праязыков, предположительно состоящих в отдаленном родстве.)

Представляется, что сравнительно несложная и легко осуществляемая процедура типа описанной выше может позволить либо самому исследователю, либо его критикам оценить удельный вес возможного «шума» в материале, иллюстрирующем ту или иную версию дистантного родства или древнейших контактных связей.

⁶ Главным аргументом в пользу этого родства остаются сравнительно малочисленные семантически точные параллели из базисной (и близкой к ней) лексики, отчасти также из морфологии, которые, к сожалению, в ряде работ тонут в гуще недостоверного материала. <Вполне вероятно, что по своей хронологической глубине такое родство превосходит глубину ностратической реконструкции.>

«СМЕШАННЫЕ» СОСТОЯНИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ*

Данные типологии убеждают, что никакой из существующих языков не может быть признан идеальным, во всех отношениях эталонным репрезентантом того или иного из фундаментальных языковых типов, морфологических (изолирующий, агглютинативный, флективный) или синтаксических (номинативный, эргативный, активный). Отсутствуют или крайне редки и идеальные воплощения многих принципов и приемов структурной организации в языке (фиксированное строение морфем, тождество семантических и формальных падежей и чисел, тип порядка слов и т. п.). Повсеместно распространены «смешанность», «диффузность» — более или менее значительные отклонения от набора характерологических признаков типа, доминирующего в языке.

Индуктивная логика подсказывает, что подобное типологическое состояние синхронически естественно, а диахронически может быть не только переходным — промежуточным продуктом типологической трансформации (что бесспорно), но с немалой вероятностью и статичным, во всяком случае, в рамках нескольких обозримых тысячелетий. Исходя из этого,

а) реконструкции, наделяющие праязыковое состояние свойством полного воплощения определенного типа или принципа, не могут считаться типологически правдоподобными¹;

б) сама по себе «смешанность» не имплицитно подразумевает «переходности», и при отсутствии надежных историко-филологических или сравнительных данных служит слабым базисом для приложения аппарата внутренней типологической реконструкции².

Так, присутствие в уральских языках явлений фузии не может расцениваться как свидетельство постепенного отхода от агглютинативной техники. Ср., с одной стороны, возможность реконструкции чрезвычайно древних фузионных явлений (ПФУ **wol-* > фин. *ol-*, венг. *val-* 'быть', но Praes. 3Sg **won* > фин. *on*, венг.

* Впервые опубликовано в: Всесоюзная конференция по лингвистической типологии. Тезисы докладов. М., 1990. С. 180–182.

¹ Ср. противоположное мнение: «В номинативных языках, обнаруживающих отдельные признаки эргативности, существует, по всей вероятности, возможность восстановить весь типологический комплекс последней. Аналогичным образом для прошлого тех языков, в которых сохраняются некоторые остаточные явления активности, имеется возможность реконструировать активное состояние» [Климов 1983: 160].

² Ср. противоположное мнение: «Задача типолога состоит в том, чтобы определить (реконструировать), смену каких типосостояний знаменует собой состояние диффузности» [Виноградов 1988: 180].

van), с другой стороны, многочисленные инновации чисто агглютинативного характера. Прозрачность субморфного состава падежных посессивных форм в современных самодийских языках сохранилась, как показывает сравнение, на протяжении как минимум 2 тыс. лет, и напрашивающаяся внутренняя реконструкция ведет к хронологическим нонсенсам (см. [Хелимский 1983в]). Не внушают доверия и такие типологические реконструкции в уралистике, как категория *po-nep-verbum* (на основании синкретизма типа венг. *fagy* 'мороз', 'морозит, замерзает'), восстановление стандартного облика (C)VC(C)V для корней знаменательных слов, возведение словоизменительных и словообразовательных аффиксов к суффиксам диминутивно-аугментативной и эмфатической семантики (это противоречит и данным ностратического сравнения).

Наличие в тюркских языках прилагательных, связанных с именами с одной и с глаголами с другой стороны, трудно расценить как пережиток безаффиксного типологического прошлого тюркского праязыка.

Можно думать, что устойчивость разнопропорциональных смесей синтаксических типов в индоевропейских и картвельских языках настолько высока, а темпы их предполагаемого движения от активного к номинативному типу настолько ничтожны, что сама идея первичности активного строя в соответствующих праязыках, вне зависимости от ее состоятельности, выводит нас за рамки обозримой (представляющей не-глобтогонический интерес) языковой истории.

Отметим сходную опасность, связанную с недооценкой фактора стабильности «смешанных» структур, в историко-мифологических и фольклористических исследованиях (ср. чрезвычайно распространенный в культурах Сибири и, по-видимому, архаичный синкретизм культурного героя — победителя демонических сил и анекдотического трикстера).

EARLY INDO-URALIC LINGUISTIC RELATIONSHIPS: REAL KINSHIP AND IMAGINED CONTACTS*

1. This paper is based on one simple and natural assumption: there may be many riddles but no wonders in linguistic prehistory. Therefore the problem of early relationships between Indo-European and Uralic in its various aspects should be treated within the framework of the existing, sufficiently rich experience of historical linguistics, and the explanatory scenarios of prehistoric events suggested on the base of linguistic evidence must fit the criteria of experiential plausibility. It seems necessary to put this trivial claim forward again: all too often the early prehistory of languages is viewed as a *terra incognita* with its own unknown rules (which are therefore invented by some scholars freely and with vivid imagination).

But the leading role of linguists in the study of prehistoric epochs, and even the very fact of their professional participation in such study, are justified only if the phenomenon called «human language» underwent no principal changes at least since Upper Palaeolithic / Mesolithic times, so that:

- its structural types lay within the typological limits of variation attested in the contemporary world;
- the processes of its evolution did not differ from those attested in the contemporary world.

There are many reasons for assuming the validity of these restrictive clauses. The currently available typological and diachronic documentation covers geographically and culturally totally distinct regions, including those where the internal development has never reached the Neolithic stage, like aboriginal Australia or Amazonia. The time span of ca. 15,000 years (or even of ca. 6,000 years, if we deal only with Proto-Indo-European or Proto-Uralic issues) is also relatively short in comparison with even the minimal estimates of the age of *Homo sapiens* and of its language (ca. 50,000 years). It must be stressed in this connection that the problem of language origins (rise of articulatory organs, formation of grammatical means, creation of roots...) belongs,

* Расширенный текст доклада на международном симпозиуме по доисторическим контактам индоевропейцев и уральцев (Tvärtäpö, Финляндия, 8–10.01.1999). Статья публикуется в «Proceedings» симпозиума (один из очередных томов «Mémoires de la Société Finno-Ougrienne»).

Not long ago it could still be claimed that e. g. the Australian languages exhibit abnormal patterns of historic development hardly accountable for by the comparative reconstruction procedure, or that they are strongly aberrant in some other respects (e. g. [Boretzky 1984] or my own, perhaps too cautious, comments in [Хелимский 1986д: 258]). It becomes clear in the light of more recent research that «Australian languages change in a regular fashion, in the same way as Indo-European and other families» [Dixon 1990: 398].

in my opinion, to biology and anthropology rather than to linguistics, and even within this latter (cf. [Décsy 1977–1981]) it has nothing to do with the discipline called comparative and historical linguistics.

The inductive principle in prehistoric research advocated here means in practice:

(a) accepting only such claims and explanations which can be confirmed with exact analogies from the current experience of diachronic studies;

(b) disregarding any assumptions which cannot be confirmed by this experience (even if they cannot be definitely refuted)².

2. The experience of diachronic studies provides us with examples of only two types of language kinship.

2.1. The first and undoubtedly the most common type is direct kinship determined by divergent evolution. It is always created according to the same universal pattern, for which the development of the Romance language serves, due to complete historical attestation of all stages, as the best illustration:

— one relatively uniform language spoken on a relatively small territory

(Pre-Classical Latin of Latium, then Classical Latin of Central Italy);

— special historical premises favouring the spread of this language far beyond the original territory

(geopolitical energy and partly also technological superiority of Rome, its policy of conquests which led to the creation of the Roman Empire);

— export of this language to new territories in its dialectally and sociolectally differentiated forms constituting together a linguistic continuum

(Vulgar Latin = Proto-Romance in its regional variants);

— new historical situation interrupting or undermining the former socio-political and (relative) linguistic unity

(fall of the Roman Empire, new states in Pax Romanica);

— independent evolution of each of regional variants

(rise of French, Italian, Spanish, Rumanian, etc.).

The numerous less abundantly documented linguistic histories repeat (to the extent they are known) this general scheme up to minute details. Cf. such groupings and families as Slavic (Common Slavic somewhere between Vistula and Dnieper — Slavs as allies of Avars, Avaro-Slavic conquests in South-Eastern and Central Europe — spread of Slavic idioms across the Avar Khaghanate — decline and fall of the Avar Khaghanate, Hungarian conquest, later also Catholic-Orthodox schism — rise of Pol-

² This principle has naturally also other significant consequences. For example, available experience proves that good correlation between linguistic and genetic data is rather an exception than the rule, and most surely there exist no genes or gene-combinations responsible for using a certain language. Therefore even if the contemporary fashion of the co-operation between linguists and geneticists in prehistoric studies is sensible, the results obtained in each of the disciplines should be kept strictly apart. This remark (cf. also [Janhunen 1998: 9]) is addressed first of all to the international team of «root-finders», whose variegated and often extravagant ideas have been summarised in [Künnap 1998] and who tend, on the contrary, to overestimate the relevance of genetic and even of geological and gynaecological [Ibid.: 59] research for the Uralic studies. In their practice the proclaimed co-operation leads too often to a failure to distinguish between the origins («roots») of the population of Finland and the origins of the Finnish language.

ish, Bulgarian, Russian, etc.), Mongolic (Common Mongolic in Western Mongolia — Chinggis Khan — spread of Proto-Mongolic/Middle-Mongolic dialects in Central Asia — disintegration of the Mongol Empire — rise of Khalkha, Buryat, Oirat, Monguor, etc.), Permic (Common Permic at Lower Kama — migration to Upper Kama and further northward — Proto-Permic dialectal continuum in all these regions — Volga-Bulgarian conquest and penetration of Slavs to the Upper Kama — rise of Udmurt and Komi). This list of examples can be continued with those from e. g. Germanic, Indo-Aryan, Bantu, Samoyedic, Turkic, Polynesian, etc. (to quote only the most evident and better investigated cases).

Accompanying circumstances (substratum, secondary interaction after the breach of unity but before the disappearance of mutual comprehensibility, and spread of a *koine* across the individual regions which disguises the traces of the original continuum) are no less universal, but they do not introduce any major changes into the picture of kinship. Therefore the notion of the genealogical tree (with necessary refinements) was and remains fully valid.

2.1.1. Direct kinship is in principle traceable in the daughter languages. The more distant this kinship is, the less numerous and obvious such traces are and the more they are concentrated only in the most stable fragments of the language system:

- main grammatical markers — if not swept away by reduction and typological drifts;
- pronouns;
- numerals, if the proto-language existed after the introduction of decimal counting (in Eurasia — ca. 5,000 — 6,000 years ago);
- basic vocabulary.

2.1.2. The above statement concerning the numerals calls for a few special comments. The problems related with the origin of numerals, their etymological transparency, and their role in proving linguistic kinship have been reviewed in detail and persuasively discussed in [Honti 1993: 25–37], and I can only echo the author's reserved and moderately pessimistic estimates of the perspectives of the etymological research in this domain³.

However, the well-known fact that all Finno-Ugric languages have common numerals ('2' — '6', '10', '100', partly also '1' and '7'), while the common Samoyedic numerals are entirely different (with the exception of PUr. **kektä* '2')⁴ seems to be non-accidental. According to the prevailing (and well substantiated, both linguistically and historically) dating, PUr. time ended ca. 6,000 years ago, while PFU is about 1,000 years younger. Exactly this difference in time seems to be significant: as far as I know, there are no language groups or families of the Northern and Central Eurasia aged 5,000 and less which do not exhibit common numerals, and there are no families aged 6,000–7,000 years and more which do. It must be added that normally the common numerals of a language family or group are perfectly preserved in all daughter languages as an entire system. Later replacements affect usually only the numerals for '8' — '9', '1', '7', as well as derived and compound numerals; the situations when e. g.

³ Cf.: «Ich bin überzeugt, daß die Zahlwörter der heute gesprochenen Sprachen und der nur aus ihrer Schriftlichkeit bekannten ältesten Sprachen des Altertums nichts mehr von der Entstehung und Entwicklung dieser Kategorie verraten» [Honti 1993: 26].

⁴ I reconstruct this proto-form as disharmonic.

the words for '3' and '5' are original, while the word for '4' is innovative, are abnormal. My observations are reflected in the following table⁵:

FAMILY / GROUP OF LANGUAGES	APPROXIMATE AGE (years)	PRESENCE OF COMMON NUMERALS
Finno-Ugric	5,000	+
Samoyedic	2,000	+
Uralic	6,000	– (but cf. * <i>kektā</i> '2')
Mongolic, Turkic, Tungusic	between 800 and 2,500	+
Altaic	(much?) more than 6,000	–
Late Indo-European	5,000 – 6,000	+
Indo-Hittite	6,000 – 7,000	± (cf. Hit. <i>me(i)u-</i> '4' ⁶)
Semitic	6,000	+
Chukchi-Kamchadal	(much?) less than 5,000	+
Dravidian	5,000	+
Elamite-Dravidian	6,000 or (much?) more	– ? (at least '3' is not common ⁷)
Yeniseic	2,500	+
West Caucasian	relatively young	+
East Caucasian	probably older than IE	± (partly very problematic ⁸)
North Caucasian	probably much older than IE	– (no reliable counterparts ⁹)

The dependence between the time depth and the presence of common numerals probably indicates that some major change in counting practices — perhaps the introduction of decimal counting — spread throughout Eurasia some 5000–7000 years ago and led to establishing the new, and since then very stable, systems of numerals. There are therefore little (I would perhaps dare to say: no) chances of reconstructing numerals

⁵ There is regrettably no possibility to argue here for individual dates and estimates used in this table, but (a) they are mutually calibrated insofar as such calibration is possible; (b) it can be hoped that most specialists on individual families would find them reasonable rather than voluntary.

⁶ The phonetic shapes of most IE numerals are not attested in Hittite texts and other Anatolian sources, or the etymological identifications are problematic [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 844–848; Mallory, Adams 1997: 397–405]. At least Hit. *tēri* '3' fits the Late IE system of numerals, and at least *me(i)u-* '4' does not.

⁷ See [McAlpin 1981: 118]. Most Elamite numerals are not attested.

⁸ The North Caucasian Etymological Dictionary [Nikolayev, Starostin 1994] suggests the common origin of most East Caucasian numerals. In some cases, however, the comparison runs across serious and only tentatively solved problems ('4', '6'), and — in view of the fact that usually numerals are preserved as an entire system — the lack of Nakh correspondences for '2' and '3' looks very suspicious. On the other hand, the word for '20' is apparently common!

⁹ S. Nikolayev and S. Starostin [1994] attempted to identify the following West Caucasian numerals with their East Caucasian semantic counterparts: '1', '2', '3', '5', '6', '10', '100'. In most cases, however, this identification requires comments like 'Phonetically irregular' or 'Complicated case' — which, taking the predominantly monosyllabic stem structure of West Caucasian into account, signals the Procrustean character of the comparison. I would suggest abandoning the attempts to reconstruct the Proto-North-Caucasian numerals (with the exception, perhaps, of the word for '1') and assuming that the branches of North Caucasian diverged too early to have common numerals.

for the proto-languages which disintegrated much earlier, like Altaic, Nostratic, or Sino-Caucasian.

This cultural innovation seems to originate, like most other innovations of the Neolithic, from the Near East and North-Eastern Africa: the common vocabulary of Semito-Hamitic, which was probably sufficiently older than Semitic, includes several numerals (preserved in Semitic, Berber, Egyptian, partly also in Chadic).

I am naturally aware of the attempts to reconstruct the Altaic numerals or to find Nostratic cognates for the Uralic ones (most recent: [Blažek 1996/1997, 1997]). For the most part, the highly questionable etymological comparisons which result from such wishful attempts (on a line with some very interesting marginal comments)¹⁰ confirm, in my opinion, the above statement rather than refute it. On the other hand, accepting this statement means that the criterion of having common numerals¹¹ simply loses any relevance when dealing with the oldest proto-languages, so that the effort can be effectively spared.

2.1.3. Due to the fact that the number of common elements in two or several languages of the same origin, as well as the external similarity of these elements, tends to diminish steadily in the course of time, their genetic kinship becomes less and less transparent¹². This loss of transparency manifests itself directly in the spread of doubts concerning the validity of the corresponding genetic identification and in the loudness of critical voices.

The following table illustrates, with selected examples, the transparency of genetic kinship as dependent on the distance between the nodes of the genealogical tree (= relative age of the common proto-language) as well as on the choice between group comparison and binary comparison.

	less than 3000	3,000-6,000	6,000-9,000	9,000-12,000
Cluster of languages	obvious even to non-specialists (<i>Slavic; Germanic; Ob-Ugrian; Samoyedic; Bantu; Turkic; Yeniseic</i>)	clear to specialists (<i>Indo-European; Uralic; Chadic; Austronesian</i>)	traces (<i>Semito-Hamitic; Uralo-Yukagir; Altaic; Nostratic with proto-language reconstructions</i>)	? (<i>Indo-Uralic / Nostratic without proto-language reconstructions</i>)
Two languages	clear to specialists (<i>Greek and Sanskrit; Finnish and Lapp</i>)	traces (<i>English and Hindi; Nenets and Cheremis; PIE and PUr. on the base of reliable proto-language reconstructions</i>)	? (<i>Estonian and South Yukagir; Yakut and Manchu; Korean and Japanese</i>)	??? (<i>Hungarian and English without proto-language reconstructions</i>)

¹⁰ No more lucky was an attempt to trace the origin of numerals in Samoyedic ([Joki 1975]: perhaps the least successful scholarly contribution of this outstanding etymologist).

¹¹ This criterion is not infrequently used by the opponents of the Altaic and Nostratic theories, cf. e. g. [Doerfer 1966: 100-101].

¹² However, I would not side with J. Janhunen (s. a.: 2) in claiming that this kinship disappears («language change is really so rapid that genetic relationships inevitably fade away in a relatively short span of time [so that] the maximum lifespan of any language family is some 10,000 years») — just as I would not say that my distant cousin (whom I may have never met and will never recognize when meeting) is not my relative. At best, one can distinguish between a «practically important» and a «practically negligible» genetic kinship.

2.2. The second, much less common type of language kinship is lateral kinship or grafting, determined by relexification and observed in the case of «mixed» languages. It seems that all known cases of lateral kinship also fit a single pattern.

The sociolinguistic prerequisite of lateral kinship consists in a situation, in which the representatives of an ethnic or a social group want or need to speak the target (ancestral, titular, prestigious) language but, being adults grown up with another language, are not in a position to cope with the target grammar. Therefore they achieve their aim — partly at least — by relexifying their first language from the target language (case of Anglo-Romani¹³, Ma'a or Mbugu¹⁴), possibly adding also some simpler grammatical elements from this language (case of Copper Island Aleut¹⁵), or by superimposing the lexical stock of the target language on an appropriate and very simple grammatical framework partly resembling that of their first language (case of most pidgins and creoles, see [Holm 1989]). A linguist should not necessarily evaluate the results of such creative attempts in the same way as the speakers of the corresponding idiom. They naturally tend to view their aim as achieved and to identify their idiom with its target idiom, but there are usually more reasons to treat it on a line with «secret languages» and argots, which also normally preserve the grammatical structure of the starting language intact.

In any case, these processes:

- (a) produce only new languages in which grammar and vocabulary are of different origin;
- (b) produce in each case one «mixed» (relexified) language rather than a new family;
- (c) are due to abnormal and therefore rare sociolinguistic situations;
- (d) rarely become independent of these situations and are therefore mostly short-lived.

The recent studies devoted to the above problem do not contain any essential data which do not fit the above pattern — even if they abound in assumptions and guesses aimed at questioning its universal validity. If we leave aside the trivial statements («all languages are mixed») or clumsy attempts to qualify such loan-words-saturated languages as Yiddish or Hungarian as mixed (rather than as belonging to the Germanic, resp. to the Ugric group), the category of mixed languages appears to be in most parts of the world very small and relatively homogenous as far as the sociolinguistic and

¹³ See [Thomason, Kaufman 1988: 103–104]: «its grammar is simply that of English». The target language in this case is naturally Romani, the ancestral and titular language of Gipsies.

¹⁴ See [Goodman 1971; Порхомовский 1982: 215–216; Thomason, Kaufman 1988: 223–228]. According to the last mentioned book (and to some previous studies on «the strange case of Mbugu»), the typically Bantu grammar — rather complicated, with word classes, etc. — of this language is borrowed from the Bantu surrounding. Lexical borrowings (to any extent, up to entire relexification, as in the case of secret languages) are natural processes, but I fail to see how an entire grammar can be «borrowed». Obviously the relexification of a Bantu language with a Cushitic lexicon can be the sole explanation of this strange case. The data on the social background of Ma'a («resisters of total cultural assimilation to their Bantu-speaking milieu», who sought isolation «so that they could continue to follow their own customs») confirm the assumption that their language arose as an answer of assimilated Ma'a (who already shifted to Bantu) to the demand to restore their non-Bantu linguistic and cultural identity.

¹⁵ See [Асиновский, Головкин, Вахтин 1983; Thomason, Kaufman 1988: 233–238; Golovko, Vakhtin 1990; Vakhtin 1998].

structural mechanisms of their rise are concerned. It can be added that the data from the technologically backward linguistic areas (like Australia) do not appear to suggest that the phenomenon of lateral kinship in the early prehistoric past more wide-spread than in the contemporary world.

2.2.1. A mixed language that survives may constitute a problem for genetic linguistics insofar as its lateral kinship with the target language can be mistaken for a direct kinship with it (especially if a study is mostly confined to the vocabulary: that is why some of my colleagues, like Sergei Starostin, insist on the genetic identification of mixed languages with their targets).

2.3. The much-discussed notion of «contact kinship», or «areal affinity»¹⁶, is, from the viewpoint of inductive experience, a mere phantom. Even in the case of the most intensive areal interactions (Romano-Germania, the Balkans, Volga-Kama, Upper Yenisei, India, the Sino-Thai region, aboriginal Australia) the convergency processes result only in far-reaching typological similarities and in abundant borrowings in non-basic vocabulary. A *Sprachbund* producing an outcome similar to the outcome of direct or even of lateral kinship (serial cognates among inflectional and main derivational morphemes, incl. pronouns and other grammatical words; similarities in the domain of irregular and suppletive forms; unity of basic vocabulary or traces of such unity) has never been attested.

The lengthy reflections on how non-cognate languages could have been transformed into a language family due to prolonged and intensive contacts are a poor substitute for examples that are lacking.

Absence of examples does not prove that «contact kinship» due to areal convergencies is impossible. But the above formulated inductive principle of research into linguistic prehistory permits us to dismiss this notion as purely speculative.

2.3.1. Attempts to view the relationships between languages through the prism of convergent rather than divergent patterns have a long history — from Hugo Schuchardt via Giuliano Bonfante and especially Nikolay Trubetzkoy [1939] to contemporary Anti-Altaicists and «rebel» Uralists («root-finders»). Still, the above-mentioned predecessors overtly rejected the classical comparative and historical linguistic methodology of the Junggrammatiker¹⁷. I'd suggest their contemporary spiritual heirs do the same. A borderline or even a schism between different schools of linguistic thinking is preferable to a misleading pseudo-unity.

3. The admission of direct kinship between PIE and PUr. (K. B. Wiklund, B. Collinder, V. M. Illič-Svityč) is the logical consequence of the inductive principle. The comparison of PIE and PUr. provides us with a picture which corresponds most exactly to the theoretical expectations: the scanty and well known

¹⁶ Other designations or similar concepts: language diffusion, allogenetic relationship, (Hung.) *rokonságszerű kapcsolat*, proto-language as *lingua franca*, etc. (see [Хелимский 1986a: 253–260]).

¹⁷ A consequent adherent of «language convergencies» must inevitably finish with stating that e.g. French and Spanish existed as such on corresponding territories from times immemorial, and acquired their present Romance shape due to mutual convergency under the aegis of Rome.

stock of cognates (see [Collinder 1965; Иллич-Свитыч 1971: 6–37]) is found mainly among the most stable elements of both proto-languages.

3.1. An excellent opportunity to demonstrate the direct relationship between the stability of words (stems) and their occurrence in the common vocabulary of several Eurasian language families is provided by the paper presented at this symposium by Kaisa Häkkinen. Evaluating the distributional certainty of Uralic etymologies as they are reflected in contemporary etymological dictionaries, she singled out a group of 18 items «with 100 % etymological certainty», meaning that their counterparts can be traced throughout the Uralic family, and another group of 23 items «with 90 % certain etymology», meaning that their counterparts are missing or dubious in only one of 10 relevant languages or branches [Häkkinen 1999: 11–12].

The criteria of selection are purely formal (so that some of the most popular and absolutely certain Uralic etymologies, like those for Fi. *kala* 'fish' or *vesi* 'water', remain outside the list only because of the loss of corresponding words in Permian, Saami or Ostyak), but the results are by no means accidental: belonging to the first group means that an item was capable of being preserved in the course of ca. 37,000 years¹⁸, and belonging to the second group means withstanding potential replacements in the course of ca. 33,000 years. It is natural to expect that the items which proved their stability in «Post-Uralic» times possessed this quality also earlier, in the «Pre-Uralic» period.

It appears that among the 18 items of the first group 12 have IE and other Nostratic parallels according to [Иллич-Свитыч 1967, 1971, 1984] (in 9 cases in IE¹⁹, in 3 cases only in non-IE Nostratic²⁰; in 10 cases these parallels are accepted and mentioned also in the UEW²¹), and 2 more are supplied with indications of non-Uralic parallels in UEW²².

The second group includes, among 23 items, 6 numerals, none of which (with the exception of *kaksi* '2'²³) has Samoyedic counterparts and none of which has Nostratic parallels (this confirms that the subgroup of numerals appeared and acquired absolute stability only in Finno-Ugric times, cf. above, 2.1.2). The situation with the remaining 17 items resembles that of the first group, though the figures are a bit lower: 8 Nos-

¹⁸ This approximate figure reflects the sum of lengths (in years) of all branches of the family tree connecting the nodes for the 10 relevant Uralic languages/groups.

¹⁹ The Uralic proto-forms of Fi. *ala*- 'under-' (IE **Hel-* 'deep', Alt. **ala* 'under', Yuk. *al*), *ku(ka)* 'who' (IE **k'o*, Alt. **qa-/qo-*, Yuk. *xadi*, etc.), *me* 'we' (IE **me-s*, Alt. **bā/*mān-*, Yuk. *mit*, etc.), *mi(kā)* 'which' (IE **mo-*, Turk. **mi-*, etc.), *minä* 'I' (IE **me/*mene-*, Alt. **bi/*min-*, Yuk. *met*, etc.), *nimi* 'name' (IE **nem-*, **nōm-η*, Yuk. *niu*), *punoa* 'to weave' (IE **spen-*, Drav. **puṇa-*, etc.), *suoni* 'sinew' (IE **sneH(y)-*, etc.), *two* 'that' (IE **to-*, Yuk. *tuj*, etc.)

²⁰ *kadota* 'to disappear' (Alt. **qala-*, etc.), *sydän* 'heart' (? Alt.), *uida* 'to swim' (Tung. **uju-*).

²¹ Exceptions: *mi(kā)* and *sydän*.

²² *maksa* 'liver', *nuoli* 'arrow' (but the Alt. parallels are very problematic and can hardly be viewed as pieces of Nostratic evidence).

²³ This word must actually belong to the first group. The reason for lowering its certainty are the two question marks put by K. Rédei in the UEW before the Samoyedic counterparts of *kaksi*. However, none of the statements which substantiate his doubts («Die Zugehörigkeit der sam. Wörter ist unsicher, weil ihr anlautender Konsonant sowohl einem **k* als auch einem **c* entsprechen kann. Die Vertretung der ursprünglichen inlautenden Konsonantenverbindung ist unregelmäßig» [UEW: 139]) can be accepted.

tratic parallels (6 also in IE ²⁴, 2 only in non-IE Nostratic ²⁵) plus 5 indications of external parallels (which mostly cannot be viewed as Nostratic cognates) in the UEW.

The extraordinary high concentration of words with evident (and semantically exact) external parallels in the most stable strata of the Uralic vocabulary ²⁶ fully corresponds to the theoretical expectations outlined in 2.1.1.

Needless to say, treating the above items as «borrowings» (from IE or Altaic into Uralic, or vice versa, or from Uralic into Yukagir, etc.; see also below, 4.1) creates an absolutely improbable picture of a language which borrows all crucial and most stable elements of its lexical (and morphological) structure from a foreign source. «Borrowing on such a scale is practically equivalent to borrowing the entire structure of the language, to switching to another language, and this leads us again to admitting the genetic relationship of the proto-languages in question» [Иллич-Свитыч 1971: 5].

3.2. A lateral kinship between PIE and PUr. is hardly imaginable, since:

- (a) the similarities are found both in grammar and in vocabulary;
- (b) nothing in the linguistic structures of PIE or PUr. implies their «mixed» past;
- (c) the scenario of lateral kinship is statistically rare. (However, I would not completely exclude a version of this scenario in the case of Uralic-Yukagir kinship.)

3.3. Postulating the Indo-Uralic (and wider) genetic kinship is referred to here as the Nostratic theory. I feel obliged to remark, however, that accepting this theory is not the same as accepting uncritically the entire etymological material contained in Illič-Svityč's works and especially in recent Nostratic research ²⁷ (many critics of Nostratism — cf. [Doerfer 1973a, 1993; Reinhart 1988] — prefer to disregard this distinction). The core of the problem lies in the contradiction between the subjective wish to find new proofs of the prehistoric kinship and the objective scarcity of comparable data (see 2.1.1).

4. The reasons for rejecting some alternative treatments of the set of PIE-PUr. cognates are provided by the same inductive principle.

4.1. The similarity between some lexical items in PIE and PUr. is so obvious that this material cannot be simply discarded by the opponents or doubters of the genetic kinship. The idea of borrowing from PIE into PUr. therefore suggests itself.

K. Rédei, who advocates this approach, restricts the lexical evidence to a group of 7 words which he treats as PIE loans in PUr. The PUr. words in question are (the reconstructed forms and meanings are quoted after Rédei): **miye*- 'geben; verkaufen', **muške*- (**moške*) 'waschen', **nime* 'Name', **sene* (**sōne*) 'Ader; Sehne', **toye*-

²⁴ *kuolla* 'to die' (? IE **g^he(H)l-*, Drav. **kol-* 'to kill', Kartv. **qwil-* id.), *kyynär* 'elbow' (IE **genu/gneu* 'knee', etc.), *käsi* 'hand' (IE **ghes-*, Drav. **kac-*, etc.; cf. [Хелимский 1990a]), *mennä* 'to go' (? IE **men-* 'to step upon'), *pelätä* 'to fear' (IE **pelH-*, Alt. **pēli-*, etc.), *tämä* 'this' (IE **te-*, Alt. **tā-*, Yuk. *tiŋ*, etc.).

²⁵ *e-* negative verb (Alt. **e-*, etc.), *veri* 'blood' (? SH **br-*).

²⁶ On the whole, the share of PUr. and PFU stems with external parallels (in [Иллич-Свитыч 1971–1984] and [UEW]) hardly exceeds 10–15 %, and very often they are extremely problematic, especially in comparison with the majority of cases from the preceding footnotes.

²⁷ I suspect that many «long-ranger» studies will not withstand the procedure of imitative absurd etymologizing as suggested and applied in [Helimski 1987c; Хелимский 1989г].

'bringen, holen, geben', **waske* 'irgendein Metall, Kupfer', **wete* 'Wasser' [Rédei 1986: 40–43]. J. Koivulehto, who essentially shares this viewpoint²⁸, adds the following PUr. items to this list: **pele-* 'fürchten, sich fürchten', **puna-* 'spinnen, flechten', **pura* 'Bohrer; bohren' [Koivulehto 1994: 137–139, 1999: 1–2].

The semantic spectrum of presumed loan-words is in itself the strongest, most scathing argument against the version of borrowing.

The inductive basis of studying loan-words is rich and uniform: in all situations of language contact, the words to be borrowed first and foremost are «useful borrowings» — technical and other cultural terms as well as the terminology of local natural milieu. If the contacts are long and especially intensive, the penetration of some elements of the basic vocabulary — of «useless borrowings», because they serve only as replacements for the words which already existed — can be observed and expected; but these always remain quantitatively overshadowed by the «useful» ones. No known cases of «bilingualism in adjoining regions» or «motivation through the economic and cultural prestige» [Rédei 1986: 21] produce a different effect.

Here we are faced, on the contrary, with a list including four verbs with the most basic semantics — «give» (the meaning «sell» in Uralic is obviously derived, s. [UEW: 275]), «bring», «wash», «fear», with three nouns of a no less basic nature — «sinew», «name» (in no human language can the idea of naming be a cultural innovation, contrary to [Rédei 1986: 41]), «water», and two notions which ceased to be technical novelties long before the PIE and PUr. epoch — «spin» and «drill». No «useful» borrowings, which abound e. g. in the well-known lists of Indo-European (Pre- and Early Aryan) loan-words in Finno-Ugric and Finno-Permic [Rédei 1986: 43–64], are present in the list²⁹.

Therefore, in accordance with the inductive principle, this list (in its present form, at least) can be safely discarded from consideration as evidence of language contacts between PIE and PUr. The parallels in question can testify either to a genetic relationship or (if the adversaries of the Nostratic theory prefer this) to erroneous etymologizing.

4.2. Other attempts to prove such contacts deal with more or less the same lexical set, occasionally enlarging it by adding e. g. personal, demonstrative, and interrogative pronouns (the corresponding items are partly presented in the footnotes to 3.1). K. Rédei, on the other hand, excluded this material from consideration entirely, since for him «die lautliche Ähnlichkeit der uralischen und indogermanischen Pronomina beruht aller Wahrscheinlichkeit nach auf Lautsymbolismus» [1986: 19]. This view is

²⁸ He adds, however, a criterion according to which close phonetic similarity and/or regular phonetic correspondences between PIE and PU forms serve as evidence of borrowing. This criterion is not fulfilled by «Gleichungen, bei denen (bisher) keine genaue lautliche Übereinstimmung erreicht werden konnte; unter diesen letztgenannten Fällen könnten sich theoretisch unverwandte, indo-uralische Wörter finden» [Koivulehto 1994: 137]. The list of these provisionally unexplained and therefore provisionally related words includes PU **nime* 'name' (the laryngealistic reconstruction of IE **h₁neh₃men-* does not fit the author's idea of IE laryngeals as being reflected and preserved in Uralic as **k* or **š*), s. [Ibid.: 140].

²⁹ The only potential Kulturwort of the set, «metal», must have originally denoted «ore (as a special type of stone)» and have belonged to the same group of the basic vocabulary as «stone», «sand», «pebble», «clay», etc. On the other hand, this parallel can be viewed only in the context of contacts between Samoyedic (or some other later branch of Uralic) and Tocharian, and not as a piece of earliest Indo-Uralic evidence [Szemerényi 1988: 172].

expressed also by G. Doerfer [1973a: 84, 1993: 25]. The morphological parallels between PIE and PUr. (e.g. **-n* of the genitive and **-m* of the accusative) receive a similar treatment.

The idea that pronouns are of phonosymbolic origin («theory of elementary kinship») belongs obviously to the domain of glottology. Even in this case, however, it does not explain the fact that the «primary elements» *m* (1Sg), *t* (2Sg), *k* (interrogation), *i* (deixis) systematically occur in these functions only in the languages for which the Nostratic kinship is postulated, while in other languages they fulfil these functions no more frequently than other consonants. On several occasions I asked the adherents of this idea, whether the fact that in so many branches of Nostratic the elements *m* (1Sg) and *t* (2Sg) are followed by *n*, especially in oblique pronominal forms, should also have a phonosymbolic meaning — but never managed to get an intelligible answer. There is therefore every reason to insist that the theory of elementary kinship as an explanatory model finds no support in the experience of diachronic studies.

4.3. According to the most likely localisation of the proto-homelands, PIE before its disintegration was spoken somewhere to the north of the Black Sea (and/or of the Caspian Sea), while the PUr. habitat was restricted to Western Siberia and the north-eastern corner of Europe, which leaves no possibility for any direct contacts between the speakers of the two idioms (they were only two widely-spaced areas on the variegated linguistic map of the 8.–7. mill. B. P., in no way suggesting the future spread and glory of their descendants)³⁰. The search for PIE loan-words in PU, or vice versa, is probably deemed to be continued, but I would qualify this occupation as lacking in perspective.

5. Somewhat similar considerations (stemming from the same inductive principle) also argue for the rejection of the majority of the etymologies suggested by J. Koivulehto and his followers (together with the newly rewritten pages in the history of Indo-Uralic, Germanic-Fennic, etc. contacts).

In [Хелимский 1995] (cf. also [Helimski 1990a: 29–33; Хелимский 1997]) I have attempted to summarise those features that distinguish these newly coined etymologies from more traditional results in the study of IE loan-words:

Lexical scope: the loan etymologies of verbs and adjectives occur almost as frequently as the etymologies of nouns; the designations of qualities and properties, abstract notions and valuations are numerically superior; in too many cases the loan etymologies are proposed for the names of universally known objects and elementary actions.

Semantics: the meanings of the FU words and their presumed IE sources often differ, so that intermediate semantic shifts which are not attested must be postulated (the rich experience of IE linguistics makes the demonstration of the possibility, in principle, of such shifts a too-easy task).

Stem structure: quite often the presumed sources differ from the words which are actually attested in the IE languages in the presence or absence of a suffix, in their *Ab-*

³⁰ Very different views on the ethnic and linguistic prehistory of Western Eurasia are being developed e.g. in [Pusztay 1995; Sammalahhti 1995; Julku 1996, 1998; Carpelan 1998] as well as in some papers of the present symposium.

lautstufen, etc. (here, too, the rich potential of studies on IE stem-formation is exploited).

Phonetics: in addition to long-established rules J. Koivulehto makes use of new ones, which, however, can be illustrated only with other etymologies belonging to the same author.

Each of these features is suspicious in itself; their combination deprives the corpus of etymologies obtained with such methods of any cognitive value (which certainly does not exclude the acceptability of some — relatively few — new etymological findings).

More recent publications by J. Koivulehto (e. g. [1994, 1999; Койвулехто 1997]) demonstrate once again his brilliant inventiveness in coining etymologies and his highest technique in dealing with IE materials, but give no reason to change this position. The following example of his newer etymological findings can be quoted:

«FM **venēš* 'boat' (> Finn. *vene(h)* 'boat', Lapp. Mord. id.)

← IE/Pre-Aryan/Early Indo-Aryan **wen-(e/o-)* > OInd. *vān-* (root noun) 'wood', *vāna-* (n.) 'wood, tree; timber; wooden vessel'. — **venēš* was an "Einbaum": a dug-out stem used as a canoe/boat/vessel» [Koivulehto 1999: No. 43].

The reflections on the circumstances under which this borrowing could have occurred inspired me to compose the following sketch:

5.1. A Pre-Finno-Mordvinian comes to a neighbouring Proto-Indo-European village and looks around in bewilderment.

— What are you looking for here? — someone asks him (a Pre-Aryan, as it turns out later — though there are also many Pre-Greeks, Pre-Slavs, Pre-Balts and especially Pre-Germans dwelling in the same village).

— Oh, I'd like to borrow a word for boat... — the guest answers.

— What are you speaking about? Do you want to borrow one of our boats?

— Why should I? We have plenty of boats ourselves. In fact, we are a long way ahead of you in boat-making! How else could we become skilled fishermen? I only need your *word* for boat!

— Don't you have your own word for it?

— Surely we do! But you know, nowadays it's all the rage — to use Indo-European loans!

— Well, — the pre-Aryan scrunches up his brow. — Naturally we do have a name for boat. It is **nāus* — everybody, except these stupid and stubborn Pre-Slavs and Pre-Balts, knows and uses it! But I just cannot lend this word to you! I need it for myself, and for my Old Indic offsprings, who will call boats *nāu*, and for my Ossetic descendants, so that they could call them *naw*! No, you won't get this precious lexical item!

— What shall I do then? I cannot come back empty-handed. Maybe you will find for me something less valuable or little needed, if you have such a thing? And you must have, Pokorný tells us that your language is so rich in stems!

— He is right, we do have some other boat-names, **aldhu-*, **(s)kolmos*, and **ploynos*, for example. But lending them is out of question, forget it! We Indo-Europeans need these items for ourselves, if we are going to have our languages spread over all continents!

— Have pity, give me something, at least! — moans the poor creature.

— I've had enough of your begging! Here, take the word **wen-(e/o-)* — this is the only one I can give you! At present nobody really uses it here — this word will emerge only in Sanskrit as *vāna-* and in Avestan as *vanā-*, without any Indo-European etymology and without any trace of the vowel *e*. So nobody will now notice it is missing. But I must warn you, this word does not really denote a boat! It is a word for tree, or for wood, or for timber. At best you can refer to a chunk of wood or a wooden vessel, like a bucket or a trough, with this name...

— No matter, our boats are after all no less wooden than troughs! You know, sometimes we just use dug-out stems as canoe boats! That will suit me! Thank you very much indeed, now I can head home with this wonderful new loan!

— Hey, wait a moment! You cannot borrow **wen-(e/o-)* just so as it is. What if one of our guys hears and recognises it? He'll take it back, and I'll get into trouble for squandering words! You must disguise the loan. Look, you may add some unusual non-Indo-European suffix to it. For example, *-š* — this will be a proper disguise.

— What a wise idea! I will do so. Many thanks again, it was so kind of you!

And the happy Pre-Finno-Mordvinian leaves the village whispering: «**Veneš*, **veneš*! How sweet these Indo-European words are!»

5.2. I do not think that the etymological proposal by J. Koivulehto is much more realistic than the above dialogue.

ЮЖНЫЕ СОСЕДИ ФИННО-УГРОВ: ИРАНЦЫ ИЛИ ИСЧЕЗНУВШАЯ ВЕТВЬ АРИЕВ («АРИИ-АНДРОНОВЦЫ»)? *

Согласно традиционной точке зрения, источником многочисленных и хорошо известных индоиранизмов финно-угорского праязыка и его потомков были первоначально диалекты позднеиндоевропейско-доиндоиранского типа. Сохраняя контакты с финно-угорским миром и продолжая оказывать на него влияние, эти диалекты на протяжении III-I тыс. до н. э. последовательно трансформировались в праиндоиранские (праарийские), далее праиранские и, наконец, в восточноиранские скифо-сарматские диалекты. Изложенная точка зрения, отождествляющая северных ариев только с иранцами или с их прямыми предками, сложилась, по-видимому, под влиянием убедительных доказательств иранской языковой принадлежности скифо-сарматских племен. С тех пор, как понятие андроновской археологической культуры приобрело (в 1950-х гг.) свою нынешнюю известность, стало принято считать, что язык(и) носителей этой культуры, живших в непосредственной близости от финно-угров и явно оказывавшие сильное культурное воздействие на северных соседей, составлял(и) промежуточное звено в данной цепочке трансформаций. В силу этого предполагается, что андроновцы в языковом отношении были праиранцами или ранними иранцами.

Такая точка зрения с незначительными вариациями представлена практически во всех современных работах, посвященных индоевропейско-финно-угорской проблематике. Пожалуй, наиболее эксплицитно она выражена в монографии Э. Коренчи, где упоминание «иранских заимствований» в самом заглавии книги сочетается с подробным анализом андроновской проблемы при обсуждении вопроса об источнике этих заимствований [Korenchy 1972: 32–33], а также в диссертации А. В. Лушниковой [1990а], тогда как А. Й. Йоки [Joki 1973] и К. Редей [Rédei 1986] используют менее определенные формулировки и предпочитают по возможности применять к источнику заимствований более нейтральные обозначения «арийский» или «индоиранский»; такая осторожность (неопределенность) представляется вполне оправданной.

Рецензируя работу А. В. Лушниковой, я позволил себе усомниться в иранском происхождении значительной части рассматриваемых ею индоевропеизмов финно-угорских языков, но ограничился лишь очень коротким критическим замечанием [Хелимский 1991а: 219]. Однако те противоречия и трудности, кото-

* Впервые опубликовано в: ПОЛУТРОПОН. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998. С. 61–72.

рые выт
праиран

Пами
и степн
падных
верхнег
охваты

Вопр
хронол
памятн
обще н
споры
нейши
X–IX (с
логия
ваться
редняк
предш

К э
дронов
уграми
Ural m
B.C., а
64]; см

С д
истори
стие в
тов, в
но уст
индоа
(в дог
до н. э.
ветств

На
(пред
рой р
ходом
ла не
желе:
тем ж
ших
Ир
делах

рые вытекают из признания населения андроновской культуры иранским или праиранским, заслуживают, по всей вероятности, более подробного освещения.

Данные археологии и хронологические соображения

Памятники андроновской культуры обнаруживаются в широком лесостепном и степном поясе, протянувшемся не менее чем на три тысячи километров от западных склонов Урала и бассейна реки Урал через Западную Сибирь до бассейна верхнего Енисея на востоке. На севере этот пояс достигает границ тайги, а на юге охватывает значительную часть Казахстана [Кузьмина 1994: 13].

Вопросы о выделении в рамках андроновского культурного типа локальных и хронологических подтипов, и даже о том, отражают ли определенные группы памятников (особенно на южной и восточной периферии) такие подтипы или вообще не могут считаться андроновскими, остается нерешенным. Но, несмотря на споры по этим вопросам, археологи практически единодушны в датировке древнейших памятников XVI–XVII (редко XVIII) вв. до н. э., а наиболее поздних — X–IX (иногда VIII–VII) вв. до н. э., так что предлагаемая Е. Е. Кузьминой хронология андроновской культуры — с XVII в. по IX в. до н. э. — может рассматриваться не только как наиболее современное и авторитетное решение, но и как усредняющая аппроксимация ([Кузьмина 1994: 13–51], с подробным обзором предшествующих работ).

К этому временному интервалу относится и интенсивное взаимодействие андроновских племен с их северными соседями — финно-уграми, особенно с прауграми и прапермцами. «In the areas settled by Finno-Ugrians, on both sides of the Ural mountains, the metallic objects are attested only since the 2nd half of the 2nd mill. B.C., and are in their types similar to the Andronovo metallic objects» ([Fodor 1976: 64]; см. также [Kuzmina 1992]).

С другой стороны, в этот же период или даже чуть раньше начинается ранняя история (собственно) индоарийских и иранских этнических групп. Если их участие в формировании навыков коневодства и использования колесниц у касситов, вторгшихся в Месопотамию около 1760 г. до н. э., нельзя считать достоверно установленным [Дьяконов 1983: 386], то несомненно арийским и, более того, индоарийским был язык появившихся здесь двумя веками позднее митаннийцев (в договоре между Хеттским государством и Митанни, заключенном около 1400 до н. э., упомянуты четыре божества — *Indara, Uruvna, Mitira* и *Našatiya*, соответствующие четверке *Indra, Varuna, Mitra, Nakṣatras* в Ригведе).

На севере Индийского субконтинента культура цветной охряной керамики (предположительно дравидийская) сменилась около 1200 г. до н. э. культурой серой расписной керамики. Все указывает на то, что эта смена была связана с приходом в страну (индо)арийских племен: культура серой расписной керамики была не городской, она была связана с новой технологией выплавки и обработки железа, и, наконец, с ней в Индии распространилось коневодство. Практически тем же временем (1200–1100 гг. до н. э.) обычно датируется создание древнейших текстов ведийской литературы.

Иранцы появляются на исторической сцене несколько позже, но все же в пределах того временного интервала, когда андроновская культурная общность еще

продолжала существовать. Согласно данным антропологии, отдельные группы иранцев начинают проникать на территорию Персии в конце II тыс. до н. э. [Грантовский 1970], постепенно превращаясь здесь в доминирующую силу. К середине IX в. до н. э. в клинописных документах упоминаются две группы иранцев: мидийцы и персы.

Продвижению ариев в Южную и Юго-Западную Азию предшествовало их пребывание — скорее в течение достаточно длительного периода, чем в порядке одного из миграционных эпизодов — на территории Средней Азии. «Jenes ursprüngliches Siedlungsgebiet der Indoiranier ist wahrscheinlich in dem ostiranisch-zentralasiatischen Steppengürtel von Sogdien, Chwaresmien und Baktrien sowie in den Gegenden nördlich davon zu suchen. Hierfür sprechen v. a. das Fehlen sicherer Spuren einer nicht-arischen, d. h. vor-arischen Bevölkerung in diesem Raum [...] und das Vorkommen bestimmter in diesem Bereich lokalisierter geographischer Namen, die in altindoarischen Quellen genaue Entsprechungen haben, etwa av. *Harōiua-*, ap. *Haraiva-* 'Areia' ~ ved. *FIN Sarāyu-*; av. *Harax'aīti-*, ap. *Harauvati-* 'Arachosien' ~ ved. *FIN Śarasvatī-* u. a. Von dort scheinen die Indoarier zu Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. nach N-Afghanistan und weiter über den Hindukusch nach NW-Indien gewandert zu sein (vgl. neuestens R. Ghirshman, L'Iran et la migration des Indo-aryens et des Iraniens, Leiden 1977), während die Iranier weiter an Ort und Stelle verblieben sein dürften» (Р. Шмидт в [СЛ: 25]).

Часть этой последней общей прародины ариев, район Хорезма (Мерв, Герат), признается также местом создания Авесты, древнейшие части которой датируются VII–VI вв. до н. э.

Таким образом, квалификация андроновского населения как «праиндоиранского» ведет к очевидному противоречию: по крайней мере начиная с середины II тыс. до н. э. андроновцы-«предки» оказываются моложе своих «потомков» в Митанни и Хорезме. Такая квалификация приложима в лучшем случае к первым поколениям носителей андроновской культуры (XVII–XVI вв. до н. э.), и то только при допущении, что именно в этот период они стали быстро продвигаться на юг. Гораздо более оправдано, однако, применение обозначения «праиндоиранцы» не к самим андроновцам, а лишь к их предкам.

Признание андроновского населения в урало-сибирском регионе «иранским» или «раннеиранским» вызывает не меньшие коллизии. Если учесть общие воспоминания о согдийско-хорезмийско-бактрийской прародине (см. выше), отделение иранцев от индоариев произошло в регионе, который не принадлежал к поясу андроновской культуры и заведомо не мог быть местом арийско-финноугорских контактов. Можно ли в таком случае предполагать, что после распада индоиранского единства — а он произошел ранее XVII в. до н. э., т. е. до появления андроновской культуры — иранцы сдвинулись на север, на андроновские территории (повторив в обратном направлении путь своих арийских предков), а спустя много столетий вернулись тем же путем обратно? И что в ходе всех этих передвижений они сохранили нетронутыми упомянутые общие с индоариями воспоминания? Можно ли, в качестве альтернативы этому, допустить, что ранее XVII в. до н. э. произошел распад не только арийского, но и иранского единства, так что уже с этих пор восточноиранские племена (население андроновской культуры, впоследствии скифы и т. д.) и их языки были отделены от западноиранских племен и языков юга Средней Азии и Персии? Все подобные по-

стро
речи
М
тери
ским
опыт
руме
сход
прее
хрон
нивш
как з
памя
разви
смен
что
или
оно
за с
П
скор
тата
ство

Н
угор
«пра
А
двух
молс
в [R
регр
стве
вую
оцен

А
дени
ноир
стру
согд
(*ča.
'кол

строения слишком сложны и гипотетичны, и они вступают в очевидное противоречие с современными данными сравнительной индоиранистики.

Многие археологи (включая и Е. Е. Кузьмину) подчеркивают сходства в материальной и духовной культуре между андроновцами и более поздними иранскими (скифо-сарматскими) племенами в том же регионе. Но, как показывает опыт, опора на археологическую ретроспекцию — довольно рискованный инструмент в решении вопросов этногенеза. Главное же в том, что наблюдаемые сходства свидетельствуют лишь об определенной степени родства, а не о прямой преемственности. В противном случае вряд ли было бы возможным провести хронологическую грань между андроновской культурой (до IX в. до н. э.) и сменявшей ее на юге Западной Сибири культурой ранних саков с такой четкостью, как это обычно делается (ср. [Кузьмина 1994: 27]). Г. Б. Зданович, рассматривая памятники IX–VII вв. до н. э. в бассейне Ишима как поздний «ильинский» этап в развитии андроновской культуры, признает, что этот этап ознаменовался резкой сменой культурных традиций [Зданович 1975]. Логичнее поэтому предполагать, что андроновское население было покорено, уничтожено или ассимилировано иранскими завоевателями, а не что оно само превратилось в исторически известных иранцев за счет внутренней эволюции.

Подлинное соотношение между андроновскими ариями и скифо-сарматами скорее всего напоминает соотношение между тюрко-булгарским и тюрко-татарским населением восточноевропейских степей (далее генетическое родство + сходство культур, но не прямая преемственность).

Данные заимствований и лингвистические соображения

Насколько оправдана квалификация тех лексических элементов в финно-угорских языках, источником которых мог(ли) быть язык(и) андроновцев, как «праиранских» или «раннеиранских»?

Анализ данных, позволяющих ответить на этот вопрос, облегчен наличием двух авторитетных и достаточно полных источников — а именно, списков этимологий в [Korenchy 1972] («Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen») и в [Rédei 1986] (раздел 5.2: «Wörterverzeichnis der iranischen Lehnwörter in den permischen Sprachen»). Ниже отсылки к этим двум спискам снабжаются соответственно индексами K и R (за которыми следует номер этимологии в соответствующем списке). Представленный в них материал заставляет — отчасти вопреки оценкам самих авторов — сделать следующие наблюдения:

А. В обоих списках большинство таких заимствований, иранское происхождение которых не вызывает сомнений, отражают относительно поздние восточноиранские формы-источники, как правило, особенно близкие в фонетическом, структурном и семантическом отношениях осетинскому языку (нередко также согдийскому). Ср. (K 25) манс. *šārkās 'орел': осет. *cārgās* id., согд. *ērks* (*čarkas) 'хищная птица' (но авест. *kahrkāsa* 'коршун'); (K 31) хант. *dāyār 'кольчуга': осет. *zyār/äsqār* 'латы', согд. *zyr* 'броня, кольчуга'; (R 19) др.-перм.

ideg 'ангел': осет. *dawäg/ldawäg* 'божество' (из иран. **vi-tāva-ka* '[небесные] силы'); ср. далее К 6, 11, 24, 36; R 2–6, 9, 14, 22, 23, 39 (?), 45. Подобные заимствования отражают контакты с иранцами в период максимальной экспансии аланов (предков осетин), т. е. в первые века н. э.; не исключено и влияние буртасов, говоривших, вероятно, на одном из аланских диалектов [Добродомов 1990]. При рассмотрении андроновской проблемы данный материал следует оставить в стороне. Этимологии К 41; R 15, 28, 40 и, возможно, еще несколько других случаев (осетинские соответствия не засвидетельствованы, но присутствие в аланских диалектах или синхронных и близких им восточноиранских диалектах весьма вероятно) также могут быть отнесены к этой категории заимствований.

В. Затруднительно извлечь какие-либо выводы из тех случаев, когда поздние осетинские (или древнеосетинские — аланские) формы обладают лишь минимальными отличиями от их реконструируемых индоиранских источников: заимствование таких слов в обско-угорский или пермский могло произойти на любом хронологическом этапе (R 16, 26, 29, 31, 44, 50).

По различным причинам значительную часть этимологий в списках следует отклонить или оценить как весьма сомнительные (К 2–4, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 34, 38, 40; R 18, 30, 41, 42); большинство из них приведено в К и R под знаком вопроса. В контексте андроновской проблемы можно отвлечься также от индоиранизмов, относящихся к финно-угорскому наследию в обско-угорском (К 1, 5, 7, 9, 19, 26, 28, 29, 33) и в пермском [Rédei 1986: раздел 5.1], либо принадлежащих к категории культурных *Wanderwörter* со сложной этимологической историей (R 1, 21, 33, 38).

С. Что касается большинства остающихся случаев в предложенных списках иранизмов (а они составляют лишь немногим менее половины всего корпуса этимологий), то можно утверждать, что обско-угорские и пермские формы не обнаруживают в форме и значении большего сходства с иранским материалом, чем с индоарийским. Ср. (К 8) манс. **oštār* 'кнут, плетъ', венг. *ostor* < и.-ир. **aštra-* (др.-инд. *āstrā-* 'острая палка, которой погоняют скот', авест. *aštrā-* 'хлыст, плетъ'); (К 44) манс. хант. **wāt* 'ветер' < и.-ир. **vāta-* (др.-инд. *vāta*, авест. *vāta-*); (R 13) удм. *egir* 'уголь', коми *egir* < и.-ир. **angāra-* (др.-инд. *āṅgārah*, иран. **angāra*); (R 25) коми *mež* 'баран' < и.-ир. **maiša-* (др.-инд. *meṣāḥ* 'баран', авест. *maēša-*, *maēši-* 'овца'); далее см. К 13 (?), 18, 20, 23, 27, 30, 32, 39, 42; R 7, 8, 10–12, 20, 24, 34–37, 43, 46–49. К этому списку можно добавить и две этимологии, предложенные В. Блаžком [Blažek 1990]: манс. **māj* 'гость, визит', хант. **maj* 'свадьба' < и.-ир. **mayā-* (др.-инд. *māyah* 'развлечение, удовольствие', авест. *mayah-* 'спаривание'); манс. (Ср. Лозьва) *šoṣwə* и т. д. 'заяц' < и.-ир. **śasa-* < и.-е. **kas-o-*, **kas-en-* (др.-инд. *śaśāḥ*, но др.-иран. **saṅha-*, хотано-сак. *saha-*).

В этой группе можно обнаружить и арийские заимствования, вообще не отраженные в иранских языках или представленные в них в существенно отличном облике: (К 23) манс. **sāṅku* 'клин', венг. *szeg* 'гвоздь' < и.-ир. (и.-е. **kank-* 'ветвь, сук, колышек', др.-инд. *śaṅkū* 'колышек, гвоздь'; см. фонетический комментарий к этому заимствованию: [Хелимский 1990в]); (R 37) удм. коми *šumīs* 'ремень': др.-инд. *syūman-* id. (в иранском представлен только родственная глагольная основа со значением 'шить').

Данная категория заимствований не отражает перехода $*s > \chi$ (h), общего для всех иранских языков. Ср. (К 27) манс. $*sāt$ '7', хант. $*dāpət$, венг. $hét$ (вместо $*ét$, под влиянием hat '6') < и.-ир. $*sapta$ (др.-инд. $sapta$, но авест. $hapta$); (R 36) удм. коми sur 'пиво' < и.-ир. $*surā$ 'алкогольный напиток' (др.-инд. $sūrā$, но авест. $hurā$); то же в ряде других примеров, включая и предложенную В. Блажком этимологию 'зайца', см. выше.

Отсутствие этой фонетической черты иранских языков заслуживает особого внимания. К. Реден в своей монографии указал на два случая, когда, по его мнению, в пермском отражены «подлинно» иранские формы с утратой $*s$; оба случая структурно сходны, и в обоих имеются финно-угорские соответствия за пределами пермских языков:

[Rédei 1986: раздел 5.1, № 29] (с реконструкцией финно-перм. $*ertäs$ и $*ertä$): саам. Т $jierhte$ 'сторона', морд. $irðes$ 'ребро', мар. $örðəž$ 'сторона'; удм. $urd(-l̥i)$ 'ребро' и $urdes$ 'сторона', коми $ord-l̥i$ 'ребро', ord 'место у/возле чего-л.' (последняя основа) и $ordes$ 'борт; приемный ребенок' < и.-ир. $*ardhas$, $*ardha$ (др.-инд. $árdhaḥ$ 'часть, сторона, половина', авест. $arəda-$ 'полу-, сторона');

[Rédei 1986: раздел 5.1, № 43] (с реконструкцией финно-перм. $*puntaks$ и $*punta$): мар. KB $pāndaš$, JP $pūntakš$ 'дно, днище', удм. $pides$ $id̥$, коми $pīd$ 'глубина' и $pīdes$ 'дно, днище' < и.-ир. $*bhundas$ или $*budhnas$ (др.-инд. $budhnāḥ$ 'дно, днище', авест. $būna-$ 'дно, днище, глубина').

Комментируя первый из этих случаев, К. Реден пишет: «Die finnischugrischen Wörter mit dem erhaltenen auslautenden s (mord., tscher., wotj., syrj.) gehören zu einer älteren Schicht, während die Formen ohne s (lapp., wotj., syrj.) auf jüngere Entlehnungen (ar. $s > h > FP \emptyset$) hinweisen». Но принять такое объяснение нельзя по двум причинам. Во-первых, оно вынуждает нас предполагать, что в и.-ир. формах-источниках иранский переход ауслаутного $*s$ в h (χ) прошел раньше, чем общеиндоиранский переход и.-е./праи.-ир. $*e$ в $*a$ (саам. Т $jie-$ однозначно указывает на $*e$!). Такая хронологическая последовательность немыслима. Во-вторых, соотношение между такими формами, как коми ord и $ordes$, $pīd$ и $pīdes$ совершенно не требует предположений о двукратном заимствовании. В точности то же соотношение наблюдается в коми парах uv 'место под чем-л., низ' : $ules$ 'стул', $pīčk$ 'внутренность' : $pīčkēs$ 'внутренний', vev 'крышка' : $vevījes$ 'покрытие, покрывало', $śeļem$ 'сердце' : $śeļmes$ 'сердцевина', что доказывает суффиксальный характер $-(e)s$. Поэтому представляется возможной и целесообразной единая реконструкция заимствованных форм в виде финно-перм. $*ertäs$ (> перм. urd , ord), $*puntas$ (> перм. $pīd$), ср. [Helimski 1992]. Отсутствие $-s$ представляет собой результат собственно пермского (и саамского) фонетического развития (ту же утрату мы находим в удм. $parš$ 'свинья', коми $porš$ < финно-перм. $*poršas$ < раннеи.-ир. $*poršos$). С развитием $*s > \chi$ в иранском оно не имеет ничего общего. Лишь по чистой случайности в некоторых производных словах появилось $-s$ совершенно иного (суффиксального) происхождения.

М. Майрхофер приводит убедительные аргументы, препятствующие трактовке перехода $*s > \chi$ (h), общего для всех иранских языков, как праиранского фонетического процесса: «In der Position vor Vokal hatte das Uriranische noch $*/s/$, wiewohl die iranische Corpussprachen, vom Avestischen und Altpersischen an, in dieser Position $/h/$ für $*/s/$ zeigen. Dieses Wandel ist jedoch ein inneriranischer Prozeß. So ist der Name von Susa (wohl aus $*Sūša[n]$) gewiß in der Persis von der Persern

übernommen worden, und erst nach dieser Übernahme hat der Wandel /s/ > /h/ die Form des Landesnamens für "Elam", ap. <U-v-j-> /*(H)ūža-*/ bewirkt. Auch der Ausgang -a-stämmiger iranischer Namen im Elamischen auf -aš läßt die Übernahme von frühap. *as (gegenüber belegtem -a) annehmen» ([CLI: 7]; см. также [Szemerényi 1968: 161 ff.]).

Эта аргументация препятствует тому, чтобы автоматически считать любые арийские формы-источники с сохраненным *s неиранскими. Но, с другой стороны, она порождает дополнительные и весьма серьезные сомнения относительно иранского характера языка андроновского населения. Если переход *s в χ произошел не ранее начала I тыс. до н. э. и тем не менее охватил в с е иранские языки, то в с е эти языки (или все еще диалекты) должны были в это время составлять компактный территориально-языковой ареал, включающий в себя и Персию. Известно, однако, что андроновцы в начале I тыс. до н. э. продолжали жить в степях и лесостепях Евразии. Вряд ли допустимо, вопреки данным археологии и просто здравого смысла, предполагать существование сплошного и единого ираноязычного пространства, простиравшегося в меридиональном направлении от Персидского залива до западносибирской тайги.

D. Наконец, остается весьма небольшая группа заимствований в обскоугорских и пермских языках, которые имеют скорее иранский, чем индоиранский облик (хотя, впрочем, в данной группе вообще не представлены слова с *s > χ) и поэтому не могут быть отнесены к категории, рассмотренной в пункте С, но в то же время не обладают характерными алано-осетинскими признаками и поэтому могут находиться за рамками той категории заимствований, о которой шла речь в пункте А. В эту группу входят: К 35; R 17 (?), 27, 32 (?), 51 (кроме того, К 37 и К 43 могут быть отнесены либо сюда, либо к этимологиям пункта С). Возможно, проникновение этих слов связано со скифо-сарматским влиянием на обских угров и пермцев в I тыс. до н. э. или в самом начале н. э. Неясно, можно ли считать все этимологии данной группы отражающими один и тот же иранский язык-источник.

С учетом изложенного и прокомментированного выше распределения этимологического материала (А–D) на вопрос, поставленный в начале этого раздела, можно дать следующий ответ:

Наиболее многочисленная и репрезентативная часть заимствований, обычно рассматриваемых как иранизмы в обско-угорских (угорских) и пермских языках, в действительности не имеет никаких специфически иранских или раннеиранских черт (категория С). С равным успехом их можно было бы считать индоарийскими или раннеиндоарийскими заимствованиями, если бы только такая атрибуция имела исторические права на существование. Если эти заимствования являются наследием контактов с населением андроновской культуры — что весьма вероятно, — то они доказывают, что это население было ариями, но не что эти арии были праиранцами или древними иранцами.

Собственно же иранское влияние на обских угров и пермцев отразилось в достаточно значительной группе заимствований из аланского языка или других

близ
мож
матс
вряд
Н
ставл
отдел
тельн
иранс
перс
этим
ф
ūdha
са
и-ир
суфф
ф
инд.
язык
Э
имст
пы,
на с
ли ф

П
селен
«teri
деля
тью
с нур
объе
«андр
Н
томи
дит н
ногер
точно
не су
С
язы
трет
исч

близких (и синхронных) ему восточноиранских диалектов (категория А) и, возможно, в нескольких заимствованиях из других — предположительно скифо-сарматских — иранских источников (категория С). Но эти категории заимствований вряд ли оправдано привлекать к рассмотрению в связи с андроновской проблемой.

Необходимо также отметить, что лексика арийского происхождения, представленная только в западных финно-угорских языках — в финно-волжском и в отдельных его ветвях — и, таким образом, скорее всего отражающая относительно поздние контакты, также в целом не обнаруживает большей близости к иранским формам, чем к индоарийским. Не отражается в ней и общеиранский переход *s в χ. Достаточно привести несколько хорошо известных и очевидных этимологий [Rédei 1986: раздел 5.1, № 57, 45, 33]:

фин. *udar* 'вымя', морд. *odar*, мар. *wodar*, *wadar* < и.-ир. **ūdhar* (др.-инд. *ūdhar*; в иранском не засвидетельствовано);

саам. *L riesjmē* 'веревка (из корневых волокон)', морд. Э *riśme* 'канат, цепь' < и.-ир. **reśmi* (др.-инд. *raśmīh* 'веревка'; в иранском представлено только с иным суффиксом);

фин. *marras* 'умирающий; мужского пола' < и.-ир. **martas* или **mrtās*: др.-инд. *mārtah* 'человек, смертный', авест. *marəta-*, *maša-* (*-s сохранено в финском языке).

Это, по-видимому, означает, что вероятный источник этих и подобных им заимствований, язык(и) арийского населения Восточной Европы, современного и в культурном отношении близкого населению андроновской культуры, также не следует квалифицировать как «праиранский» или «раннеиранский».

Предлагаемое решение

Похоже, что традиционная иранская или праиранская языковая атрибуция населения андроновской культуры основана на ложном применении принципа «*tertium non datur*». В современной таксономии внутри индоиранской ветви выделяются две группы, индоарийская и иранская (иногда к ним добавляют и третью — нуристанскую). отождествление андроновцев с индоариями (и тем более с нуристанцами) выглядит заведомой бессмыслицей, поэтому их предпочитают объединять с иранцами — тем более, что присутствие иранских племен в былом «андоновском поясе» в более позднюю эпоху является несомненным фактом.

Но вряд ли необходимо или целесообразно проецировать современную дихотомию (или трихотомию) в столь отдаленное прошлое. Подобный подход выглядит не более оправданным, чем, скажем, попытка отнести готский язык к западногерманской или к северногерманской группе (на том лишь основании, что восточногерманской группы, которую он представлял в действительности, больше не существует).

С учетом хронологических соображений и лингвистических свидетельств язык андроновского населения скорее следует отнести к третьей (resp. четвертой) группе индоиранских языков, исчезнувшей еще в I тыс. до н. э., — группе, примерно равно от-

стоящей от иранских и от индоарийских языков. Использовать для языка этой группы обозначение «праиндоиранский» («праарийский») также невозможно, поскольку по крайней мере со второй половины II тыс. до н. э. он существовал одновременно с языками собственно индоарийской и собственно иранской ветвей.

Несомненно, наряду с негативным определением («не иранский и не индоарийский»), андроновский арийский обладал и собственными фонетическими и лексическими признаками (весьма вероятно, что, оставаясь неизвестными, такие особенности препятствуют идентификации каких-то андроновских заимствований в финно-угорских языках). Вероятно, одним из таких признаков была палатальная артикуляция и.-ир. **a* (в обско-угорских языках многие заимствования, предположительно отражающие андроновское языковое влияние, содержат **ä/*ǣ* на месте и.-ир. **a*). Но чтобы с уверенностью говорить о незасвидетельствованном исчезнувшем языке — в данном случае, об андроновском арийском, — следует попытаться установить более полный комплекс его позитивных характеристик.

Е
циа.
мол
ма
рет
и, к
ски
обн
знач
низ
про
ник
роп
вен
но-
рец
Вос
мнс
лы
зат
28
ден
так
мо
мен
Ritt
ско
ски
ны

пы.

СВЕРХДРЕВНИЕ ГЕРМАНИЗМЫ В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ И ДРУГИХ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

История проблемы в краткой аннотированной
и комментированной библиографии*

В последнее время внимание многих финно-угроведов, в особенности специалистов по прибалтийско-финской проблематике, оказалось привлечено к этимологическим и этноисторическим разработкам, которые начал в 1970-е гг. Йорма Койвулехто, профессор германистики Хельсинкского университета, приобретший с тех пор немало последователей. Обратившись вначале к традиционной и, как считалось, хорошо изученной проблеме германского влияния и германских лексических заимствований прибалтийско-финской эпохи, Й. Койвулехто обнаружил здесь огромные резервы для углубленного этимологического поиска, значительно пополнив перечень финских слов, признававшихся до него германизмами. Дальнейшая работа в том же направлении привела исследователя к продолжению этого поиска на больших хронологических глубинах и к выявлению предположительных слоев заимствований раннепрагерманского и индоевропейско-догерманского характера (с точки зрения языка-донора), и, соответственно, раннеприбалтийско-финского, финно-саамского, финно-волжского, финно-пермского и даже общеуральского характера (с точки зрения языка-реципиента), к новому видению не только хода развития языковой ситуации в Восточной Прибалтике, но и всей истории индоевропейско-уральских связей. В многочисленных работах Й. Койвулехто и других представителей «новой школы» поднят поистине труднообозримый этимологический пласт. Достаточно сказать, что только в пределах списка из 1000 наиболее частотных финских слов к 28 известным ранее корневым (непроизводным) словам германского происхождения исследования Й. Койвулехто добавили еще 39 (многие дериваты которых также входят в этот список), см. [Ritter 1993: 26–27]. Литература вопроса, помимо многих десятков статей и этимологических заметок, к 1994 г. насчитывала по меньшей мере четыре монографии [Hofstra 1985; Katz 1990; Koivulehto 1991; Ritter 1993], первый том словаря ранних германских заимствований в прибалтийско-финских языках, в значительной мере сосредоточенный на исследовательских проблемах «новой школы» [Kylstra e. a. 1991], а также сборники, посвященных целиком или преимущественно этим проблемам [LKK 1986; OVL 1988].

* Впервые опубликовано в: Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995. С. 3–37.

Вполне понятно, что в своем этноисторическом аспекте эти исследования оказываются потенциально чрезвычайно значимыми далеко за пределами финно-угроведения и германистики. Немаловажна и методологическая сторона новых разработок, вокруг которой — пожалуй, в большей мере, чем вокруг вопросов этно- и глоттогенеза — справедливо оказалось сосредоточенной дискуссия, вызванная работами Й. Койвулехто. Данные обстоятельства, вместе с наличием вполне определенной позиции в рамках данной дискуссии, побудили меня подготовить настоящий обзор.

Основная его часть построена в форме хронологически упорядоченной библиографии (с аннотациями и комментариями). Несмотря на свой немалый объем, библиография является далеко не исчерпывающей и не стремится к полноте (например, в ней опущено большинство мелких этимологических этюдов и других работ частного характера). Пропуски (особенно за 1970-е — 1980-е гг.) могут быть легко восполнены при обращении к библиографической части названных выше изданий (особенно [Hofstra 1985; Kylstra e. a. 1991; Ritter 1993]). Подробность аннотаций и комментариев не обязательно коррелирует с объемом и значимостью соответствующих публикаций.

* * *

Обзорно-библиографическую часть статьи целесообразно предварить некоторыми замечаниями принципиального характера. С моей точки зрения, существует ряд отличительных признаков, характерных для значительного или даже подавляющего большинства этимологических построений Й. Койвулехто, и ранних, связанных преимущественно с пополнением перечня герм. заимствований в ПФ, и — особенно — более поздних, посвященных предполагаемым индоевропеизмам/раннегерманизмам в более широком круге урал. языков.

а) Лексическая сфера: этимологии глаголов и прилагательных представлены едва ли не столь же широко, как этимологии существительных; заметно преобладание обозначений качеств и свойств (в частности, ментальных), понятий абстрактно-оценочного характера, нередко также этимологии для названий универсально известных объектов и элементарных действий (базисная лексика). В порядке сравнения следует констатировать, что среди ранее (и надежно) проэтимологизированной заимствованной лексики ф.-у. языков абсолютно доминируют существительные, а среди них — терминологическая (в широком смысле слова) лексика. Ср., например, значения представленных в фин. языке балт. заимствований (первые двадцать этимологий, приведенных как достоверные в [Kalima 1936: 86 ff.]): *ahingas* 'острога', *ankerias* 'угорь', *ansa* 'силос', *arta* 'вешала для сетей', *elki* 'повадка', *haljakka* 'голубой', *halla* 'ночные заморозки', *hammas* 'зуб', *hanhi* 'гусь', *harja* 'щетина, щетка', *harmaa* 'серый', *heimo* 'племя', *heinä* 'сено', *herhiläinen* 'шершень', *herne* 'горох', *hihna* 'ремень', *hirvi* 'лось', *härkä* 'бык, вол', *härmä* 'инея', *jäärä* 'баран'. Более или менее сходный семантический спектр (с терминологическим упором то на сельское хозяйство, то на сферу ремесел или промыслов, то на социальные отношения, то на обозначения ландшафта и т. д.) наблюдается, разумеется, и в других слоях ф.-у. индоевропеизмов (индо-иранизмы, аланизмы, заимствования позднепрагерм. эпохи, слав. и русск.

заимств.
контакт:

б) С
многих
венно н
ла, асо
родовы
ту или
трудные
ных для
аналог
жением
ского г
ных зна
ванным
семанти

в) С
таточно
тельств
логичес
ных фо
конца о
структу
ссылкан
никнут

г) Ф
нетичес
пользую
обычно
сопостав
вых по
но, либ
этимол
нотакти
Присут
(для за
чтобы
ческой

При
можно
лехто
дельно
всем ск

Для
структ
Хелим
ных пр

заимствования), т. е. налицо ситуация, абсолютно тривиальная при языковых контактах.

б) Семантика: значения ф.-у. слов и их предполагаемых источников во многих случаях не тождественны, так что приходится предполагать непосредственно не засвидетельствованный семантический сдвиг (деривацию нового смысла, ассоциативный перенос, узкую терминологическую специализацию слова с родовым значением или, наоборот, утрату конкретного значения у термина) по ту или иную сторону «точки заимствования». Как правило, Й. Койвулехто не затрудняется с обоснованием возможности такого сдвига посредством стандартных для современной индоевропеистики приемов: апелляции к семантическим аналогиям у корней с близкими значениями (в тех же или других языках), «наложении» значения одного слова на форму другого слова из того же этимологического гнезда, изредка посредством семантической реконструкции на базе частных значений полисемичных слов. (Тогда как, например, в случае с процитированными выше балтизмами фин. языка подобные ухищрения просто излишни: семантически точные балт. соответствия почти всегда «лежат на поверхности».)

в) Словообразование, структура слова: далеко не всегда, но достаточно часто в роли предполагаемых и.-е. источников выступают незасвидетельствованные (либо вообще, либо в «искоме» с точки зрения данного этимологического построения) формы, отличающиеся от реально засвидетельствованных форм наличием либо отсутствием суффикса (детерминатива), огласовкой конца основы, ступенью аблаута. Как и в случае с семантическими различиями, структурно-словообразовательные различия преодолеваются стандартными ссылками на существование моделей, по которым потенциально могли бы возникнуть гипотетические формы.

г) Фонетика: в дополнение к известным ранее закономерностям ф.-у. фонетического развития и рефлексации при заимствованиях, Й. Койвулехто использует ряд новых и порой неожиданных соотношений, каждое из которых обычно может быть проиллюстрировано еще несколькими из предложенных им сопоставлений. В большинстве случаев удостовериться в правильности этих новых построений на «классическом» этимологическом материале либо невозможно, либо проверка дает отрицательный результат. Еще одна специфическая черта этимологического творчества новой школы — сосредоточенное внимание к фонотактике как «путевому указателю» (Wegweiser) этимологического поиска. Присутствие в уже идентифицированном заимствовании относительно редкой (для заимствующего языка) комбинации фонем служит основанием для того, чтобы предполагать заимствованный характер других слов с той же фонотактической чертой.

Примеры проявления (часто совмещенного) четырех отмеченных признаков можно найти ниже в аннотациях и комментариях к отдельным работам Й. Койвулехто и его последователей; фактически они сопутствуют если не каждому отдельно взятому новому этимологическому объяснению, то, во всяком случае, всем сколь-нибудь представительным этимологическим сводкам.

Для автора этих строк, которому уже не раз доводилось выступать в «деструктивном» жанре этимологической критики (см., например, [Helimski 1987; Хелимский 1989е] и др.), наличие у корпуса этимологий любого из перечисленных признаков достаточно для сомнений в адекватности материала. Одновре-

менное же присутствие всех этих признаков — бесспорное свидетельство несостоятельности этого материала в целом (что, впрочем, может сочетаться с правомерностью некоторых этимологических решений) и отсутствия историко-языковой и культурно-исторической значимости у выводов, построенных на таком материале.

Именно так я вынужден оценивать и всю совокупность вновь полученных результатов, хотя при чтении работ Й. Койвулехто неприятие выводов автора соседствует с восхищением, которое часто вызывают изобретательность в подборе и.-е. прототипов для рассматриваемых слов и великолепная техника этимологического анализа. Дело не меняет наличие в этих работах определенного (помоему, весьма небольшого) числа реалистичных и надежных находок: их выявление и ограничение настолько затруднены обилием недостоверных сравнений, что для этого необходимы отдельные и весьма трудоемкие разыскания.

Сделанная оценка может показаться слишком категоричной не только сторонникам «новой школы» среди финно-угроведов — их немало, хотя превалирующим отношением к работам Й. Койвулехто является (насколько я могу судить) осторожный скепсис. Те, кто хорошо знаком с этимологической практикой современной индоевропеистики, могут обнаружить, что приемы и критерии Й. Койвулехто в целом отвечают ее стандартам (если считать отражением таких стандартов, например, построение этимологических гнезд в словаре Ю. Покорного). Установка же на объяснение максимального количества ф.-у. слов как и.-е. заимствований вполне коррелирует с господствующим в индоевропеистике стремлением возвести максимальную долю лексики языков-потомков к праязыку (платой за это стремление оказывается многовариантность и гипотетичность формальной и семантической реконструкции для отдельных слов — ср. разработки по и.-е. этимологии для славянских, германских, тохарского, албанского и других языков).

Здесь налицо принципиально важный аспект проблемы. Исследования Й. Койвулехто и его школы трудно расценить иначе, как широкое наступление на финно-угроведение с использованием всего мощного арсенала средств современной индоевропеистики (причем далеко не самой удачной и интересной ее части). Самодостаточная мощь этого арсенала стала, пожалуй, серьезнейшей методологической проблемой: развитие, с одной стороны, историко-семасиологических штудий и, с другой стороны, разработок по структуре и вариантам ларингально-аблаутного оформления основ в и.-е. языках создало едва ли не безграничные возможности для «открытия» все новых и новых предполагаемых ответвлений праязыковых корней в языках-потомках.

Кроме того, семантические обоснования в работах Й. Койвулехто игнорируют принципиально важное различие между развитием лексики имманентным путем и за счет заимствований. Сдвиг или перенос значения у исконного (или давно прижившегося в языке) слова — естественное явление, обусловленное сетью сложившихся ассоциативных связей, развитием полисемии, употреблением слова во фразеологизмах и под. Восприятие же иноязычного слова в переносном (периферийном) значении — причем часто речь идет вообще о непосредственно не засвидетельствованном значении, которое постулируется в порядке гипотезы, — можно допустить разве что как редчайшую аномалию даже в условиях массового билингвизма (предположение о распространенности герм.-фин. двуязычия в

древнейшие эпохи занимает существенное место в культурно-исторических обоснованиях у Й. Койвулехто). Приемы, ограниченно (и под сомнением) приемлемые при обращении к истории одного языка, совершенно непригодны при изучении межъязыковых контактных связей.

* * *

Один пример позволит, возможно, составить некоторое представление о характере затронутых Й. Койвулехто проблем, способах их решения — а также о рецепции и судьбе соответствующих идей и этимологий.

В соответствии с традиционной точкой зрения касательно относительной хронологии отдельных слоев и.-е. заимствований в ПФ языках, «среди фонетических изменений прибалтийско-финской эпохи [...] одним из важнейших является переход **ti > si*, который затронул не только слова финно-угорского происхождения, но и балтийские заимствования [...] фин. *silta*, кар. *šilda*, вепс. *süud*, вод. *silta*, эст. *sild*, лив. *silda* 'мост' < балт., ср. лит. *tiltas*) и служит очень важным хронологическим критерием (в германских заимствованиях этого перехода не происходило: фин., эст., кар. *tila*, вод. *tila* 'место, положение и под.' < прагерм. **tila-*, ср. ср.-н.-нем. *til*, др.-в.-нем. *zil* 'цель, предел'). Не менее важным является переход *š > h* [...] фин. *hihna*, кар. *hihna*, вепс. *hihn*, вод. *ihna*, эст. *ihn* 'ремень, пояс' < ПФ **šišna* < балт., ср. лит. *šikšnà*, латыш. *siksna*» [Хайду 1985: 81]. Аналогичные упоминания о хронологически диагностирующей значимости этих фонетических изменений стандартны в финно-угроведческих работах. Отсюда вытекает и традиционная концепция очередности контактных связей: предки прибалтийских финнов испытали мощное балтийское влияние с конца II — начала I тыс. до н. э., тогда как влияние германцев относится к более позднему периоду на рубеже н. э.

По авторитетному мнению нашего эстонского коллеги Т.-Р. Вийтсо, утверждения такого рода нельзя более считать правомерными. «Начиная с 1970-х годов Йорма Койвулехто представил свидетельства того, что древнейшие германские заимствования также участвовали в изменениях **š > *h* и **ti > *si*, напр., **hauta* 'могила' < прагерм. **saupa*, **kärši* 'страдать' < прагерм. **hardian-*, ст.-швед. *härpa*» [Viitso 1992a: 185].

Этими двумя этимологиями не исчерпывается аргументация в пользу нового тезиса, но их упоминание у Т.-Р. Вийтсо (как и отсылки к ним в работах самого Й. Койвулехто) позволяет видеть в них наиболее надежные, достоверные свидетельства. Небесполезно поэтому проследить судьбу данных этимологий, их рецепцию в литературе вопроса.

Впервые версия герм. происхождения ПФ слов появляется в ранних работах Й. Койвулехто. Фин. *hauta* 'могила; яма (для смолокурения, приготовления пищи, ловли зверей); выпеченные (в яме) картофель, репа' и его ПФ соответствия с близкой семантикой, а также саам. *suow'de* 'жабры; пасть, глотка' сопоставляются с герм. **saupa-z* > др.-швед. *söper* 'колодец, источник (в топонимах)', ст.-готланд. *saupr* 'колодец', др.-англ. *sēap* 'яма, могила, колодец, источник', в конечном счете к герм. **seipa-* 'кипеть' ([Koivulehto 1976: 35–37; повторено: [Koivulehto 1981b: 193]; формы и значения уточнены по [Kylstra e. a. 1991: 89]). Фин. *käršiä* 'страдать, мучиться, терпеть, претерпеть' и его установленные ранее

соответствия, включая морд. Э *kiŕdems* 'держат, терпят, выносят', мар. *kertam* 'мочь, смочь', возводятся к герм. **hardjan-* (> швед. *hårta* 'закалять', *hårta ut* 'выдерживать, вытерпеть'), **hardēn-* (> др.-в.-нем. *hartēn* 'упорствовать, терпеливо выжидать') ([Koivulehto 1971: 386]; повторено в ряде других работ Й. Койвулехто, причем варианты реконструкции прагерм. источника заметно разнятся).

Обе этимологии принимает и многократно использует в иллюстративных целях Т. Хофстра [Hofstra 1985: Wortregister]. Kylstra e. a. [1991] оценивают герм. этимологию для *hauta* как надежную, хотя и отмечают, что фин. *hautoa* 'парить (репу etc.)' (по Й. Койвулехто — дериват от *hauta*) можно рассматривать как балтизм, ср. латыш. *sautēt* 'парить; высиживать (яйца)'.

Новый финский этимологический словарь допускает (с сомнением) возможность герм. происхождения для *hauta*, а предложенное Й. Койвулехто объяснение для *kärsiä* упоминает лишь как отклоняемое [SSA 1992: 148, 478].

Детальному критическому разбору обе рассматриваемые этимологии (как и другие предполагаемые свидетельства древности герм.-ПФ связей) подвергнуты в книге Р.-П. Риттера [Ritter 1993: 96–98, 71]. Ошибочность возведения *hauta* к герм. **sauba-* вытекает как из несомненной первичности значения 'источник' в герм. (откуда 'яма' как результат несомненно позднего семантического развития в др.-англ.), так и из возможности вполне удовлетворительной реконструкции исходной семантики *hauta* — 'яма для выпечки (парки) овощей': данный термин связан с *hautoa* 'парить' и далее, вероятно, с упомянутым выше балт. этимом. Аналогичным образом, волжско-финское происхождение фин. *kärsiä* хронологически не согласуется с идеей заимствования герм. отыменного глагола: семантика швед. *hårta* < **hardjan-* инновационна (соответствующее др.-сканд. *herða-* имело значения только 'закалять, укреплять'), **hardēn-* морфологически опознается как зап.-герм. инновация.

* * *

Thomsen V. Den gotiske sprogklasses indflydelse pa den finske: En sproghistorisk undersøgelse. København, 1869.

Thomsen V. Ueber den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen. Halle, 1870.

Работа, с которой принято связывать начало историко-лингвистического изучения герм.-ПФ связей (хотя многие этимологии были обнаружены задолго до В. Томсена).

Setälä E. N. Zur Herkunft und Chronologie der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen // JSFOu. 1906. 23:1.

Обоснование «классического» варианта хронологии герм. заимствований в ПФ: начало их проникновения относится, с учетом фонетических критериев, к рубежу н. э. (см. выше).

Setälä E. N. Bibliographisches Verzeichnis der in der Literatur behandelten älteren germanischen Bestandteile in den ostseefinnischen Sprachen // FUF. 1913. 13. S. 345–475; Anzeiger 13. S. 60–64.

Указатель этимологий (надежных, проблематичных и ошибочных), послуживший в известной мере образцом для дальнейших сводок такого типа, вплоть до [Kylstra e. a. 1991].

Collinder B. Die urgermanischen Lehnwörter im Finnischen I-II. Uppsala; Leipzig, 1932–1944.

Очень важная для своего времени, и — благодаря надежности материала — не утратившая своей значимости работа, с акцентом на изучение механизмов фонетической рефлексии и на значение ПФ данных для германистики.

Karsten T. E. Finnar och germaner. (Folkmalstudier 9–10). Helsingfors 1943–1944.

Подробная аналитическая сводка этимологий, многие из которых (часто далеко не бесспорные и отклоняемые в новейшей литературе) принадлежат самому автору. В своей оценке объема герм. вклада в ПФ словарь, как и в некоторых чертах этимологического метода, Т. Карстен, пожалуй, более близок Й. Койвулехто, чем другие основные предшественники.

Аристе́з П. А. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956. С. 5–27.

Своими работами П. Аристе́з, а также археологи Х. Моора и Л. Янитс (см. след.) заложили основу концепции раннего — на рубеже IV и III тыс. до н. э. — расселения предков прибалтийских финнов в Прибалтике. Эта концепция получила в дальнейшем достаточно широкое распространение в Эстонии и Финляндии (как в научной среде, так и в общественном сознании); тесно связаны с ней и разработки Й. Койвулехто в их этноисторическом аспекте.

Лингвисты и археологи других стран обычно придерживаются более традиционной и, по-видимому, более реалистичной точки зрения, согласно которой появление финно-саамского (ранне-ПФ) праязыка в Прибалтике датируется не ранее чем концом II тыс. до н. э. и связывается с продвижением сюда из Верхнего Поволжья племен культуры текстильной керамики (см. [Напольских 1990] с обширной литературой). Принципиальным является вопрос об относительной последовательности появления в Прибалтике балт. и ПФ населения — ответ на него напрямую зависит от выбора одной из датировок, т. к. этногенез балтов связывается с распространением в конце III — первой половине II тыс. до н. э. культур шнуровой керамики и боевых топоров (ср. также [Korhonen 1976; Viitso 1983]).

Моора Х. А. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956. С. 49–141.

Археологическое обоснование концепции раннего расселения предков прибалтийских финнов в Прибалтике (см. пред.).

Янитс Л. Ю. К вопросу об этнической принадлежности неолитического населения территории Эстонской ССР // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956. С. 142–171.

Обоснование преемственности исторического населения Эстонии по отношению к носителям неолитических культур данного региона.

Fromm H. Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen // Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 1957–1958. 88. S. 81–101, 211–240, 299–324.

Обобщающая работа, сосредоточенная на германистическом ракурсе проблемы (в ее историко-фонетических и культурно-исторических аспектах).

Sköld T. Drei finnische Wörter und die Laryngaltheorie // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 1960. 76. S. 27–42.

Автор констатирует, что по крайней мере в трех случаях (фин. *puhdas* ‘чистый’ — и.-е. **puH-to-s*, др.-инд. *pūtāh*; фин. *teke-*, *teh-dä* ‘делать’ — и.-е. **dʰeh₁-*; фин. *tuo-* < ф.-у. **ioye-* ‘принести’ — и.-е. **doh₃-*) можно заподозрить заимствование в ф.-у. из и.-е. форм, еще сохранявших ларингальные согласные. Сам он, однако, не склонен принимать подобное объяснение, указывая на ряд гораздо более правдоподобных альтернатив. В частности, речь идет о возможности древнейшего родства (для последних двух примеров ср. [Иллич-Свитыч 1967] sub ‘давать’ и — без урал. — sub ‘класть’); к фин. *puhdas* будет повод вернуться ниже (при обсуждении работ [Koivulehto 1983a] и [Viitso 1992a]). Напротив, Й. Койвулехто впоследствии признал скепсис Т. Шёлда излишним и принял его наблюдения за основу в своих разработках по «ларингальной» проблематике, ср. [Koivulehto 1991: 8–10].

Kylstra A. D. Geschichte der germanisch-finnischen Lehnwortforschung. Assen, 1961.

Обзор истории исследований, связанных с герм. заимствованиями в ПФ, по состоянию на 1960 г. Фактическим продолжением данной работы служит [Hofstra 1985] — монография, сосредоточенная на идеях и итогах следующего двадцатипятилетия в данной области исследований.

Koivulehto J. Suomen laiva-sanasta // Virittäjä 1970. 74. S. 178–183.

Эта ранняя работа вполне репрезентативна как образец исследований Й. Койвулехто в области герм.-ПФ этимологии. Центральное место в ней занимает предположение о заимствовании фин. *laiva* ‘судно, корабль’ из герм. **flauja-* (др.-сканд. *fley* ‘паром, судно’; к и.-е. **pleu-* ‘плыть’). Этот новый вариант объяснения фин. слова (обычно оно либо возводилось к лит. *laivas* ‘лодка, судно’, латыш. *laīva*, либо рассматривалось как источник балт. форм, не имеющих надежной этимологии; в последнем случае предлагалось сравнение с морд. *luv* ‘ясли, кормушка’ или возведение к герм. **hlaiwa-* ‘могила’, см. [SKES: 271; Bednarczuk 1977: 101–102]) сталкивается с фонетической проблемой — следует предполагать метатезу герм. **-auj-* > ПФ **-aiv-*. Обосновывая возможность и даже закономерный характер данной метатезы, Й. Койвулехто привлекает целую серию новых сопоставлений: фин. *kaivata* (*kaipaa-*) ‘тосковать, нуждаться в чем-л.’ — герм. **kaujan* ‘звать, призывать’; фин. *raivata* ‘расчищать, корчевать, прокладывать, возделывать’ — герм. **straujan* ‘сыпать’ (семантическая связь усматривается через значение ‘укладывать, расстилать’); фин. *raivo* ‘череп (уст.)’ — герм. **trauja-* ‘мера емкости’ (англ. *tray*); фин. *häivä* ‘покрывало’ — герм. **heuja* (др.-сканд. *hy* ‘пушок, цвет лица’).

См. также изложение данной серии этимологий — [Hofstra 1985: 174–177] и ее критический разбор — [Ritter 1993: 116–119]. Не вдаваясь в детали, я хотел бы

отметить весьма характерную апелляцию к потенциальным возможностям историко-семантического развития ('мера емкости' < 'сосуд' > 'череп', 'покрыв' < 'поверхность' > 'окраска' и под.), которая призвана восполнить отсутствие точных корреспондентов семантики, которые естественно ожидать при заимствовании.

Можно отметить, кроме того, что Р.-П. Риттер [Ibid.] готов предложить для рассматриваемых фин. слов ряд альтернативных интерпретаций, которые по меньшей мере не уступают этимологиям Й. Койвулехто ни в фонетическом, ни в семантическом отношении: фин. *raivo* — либо к герм. 'труп' (гот. *hrāiw*), либо к балт. **kraivas* 'кривой, вогнутый'; фин. *raivata* — либо к герм. **fraiwa* 'плодородный', либо к балт. **rauja-* 'вырывать, полоть'. Было бы наивно полагать, что сопоставлениями Й. Койвулехто и шуточными этимологическими упражнениями Р.-П. Риттера (впрочем, сравнение *raivata* — **rauja-* заслуживает, возможно, внимания!) исчерпываются все возможности «выявления» и.-е. прототипов для рассматриваемых слов.

Ariste P. The earliest substrata in the Baltic-Finnic languages // *Néprajz és Nyelvtudomány*. 1971–1972. 15–16. 5–11. o.

Ariste P. Die ältesten Substrate in den ostseefinnischen Sprachen // СФУ. 1971. VII/3. С. 251–258.

Проблема «палеоевропейского» (не индоевропейского?) субстратного слоя в ПФ языках.

Koivulehto J. Germanisch-finnische Lehnbeziehungen. I–III. // *Neuphilologische Mitteilungen*. 1971. 72. S. 577–607; 1972. 73. S. 575–628; 1973. 74. S. 561–609.

Серия статей (отдельные отсылки к ним см. ниже) охватывает примерно тот же материал, что и совокупность ранних этимологических публикаций Й. Койвулехто на финском языке ([Koivulehto 1970] и др.); этот материал подробно систематизирован в [Hofstra 1985].

Huskanen P. A. Германские заимствования в прибалтийско-финских и саамском языках: Библиографический указатель // Прибалтийско-финское языкознание. Л., 1971. С. 70–95.

Herzen E. von. Itämerensuomen lainasanakerrostumien ikäämisestä (Zusammenfassung: Zur Datierung der Lehnwortschichten des Ostseefinnischen) // JSFOu. 1973. 72. P. 77–105.

Автор полностью принимает концепцию раннего (связанного с культурой типичной гребенчатой керамики, 3500–2100 до н. э.) расселения предков прибалтийских финнов в Прибалтике, далеко к западу от других финно-угров (см. [Аристэ 1956; Моора 1956; Янитс 1956]) и считает необходимым привести в соответствие с данной концепцией ряд лингвистических датировок и интерпретаций. Выдвигается предположение, что многочисленные термины сельского хозяйства, общие для финно-волжских или даже для всех финно-пермских языков, не являются праязыковым наследием (т. к. их наличие в IV тыс. до н. э. и ранее немислимо), а заимствованы в ПФ из волжских ф.-у. языков в эпоху распространения культуры текстильной керамики из Волго-Окского региона на запад (1500–1300 до н. э.). Балт. заимствования в ПФ датируются начиная с 2100–1800

до н. э., а герм. — начиная с 1200–500 до н. э. При этом автор отчасти апеллирует к результатам Й. Койвулехто, в основном же к историко-археологическим свидетельствам раннего знакомства прибалтийских финнов с теми объектами, которые обозначаются в ПФ герм. заимствованиями. Ранняя датировка (по крайней мере рубежом н. э.) допускается и для начала контактов прибалтийских финнов со славянами.

Этимологический материал статьи представляется не во всем надежным; явно искусственный характер носит отрыв сельскохозяйственных терминов (и некоторых других элементов культурного словаря) от всего массива финно-волжской и финно-пермской лексики (см. [Korhonen 1976]).

Koivulehto J. Vanhimmista germaanisista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä I–II // Virittäjä. 1976. 80. S. 33–47, 247–290.

Продолжение (и отчасти повторение) сводки этимологий, которые должны свидетельствовать о ранних герм.-приб. фин. контактах; предваряются выводы, обсуждаемые ниже в связи с [Koivulehto 1981a] и др. См. также [Hofstra 1985].

Korhonen M. Suomen kantakielen kronologiaa (Zusammenfassung: Zur Chronologie der Ursprachen des Finnischen) // Virittäjä. 1976. 80. S. 3–15.

Анализ противоречий между различными хронологическими концепциями ПФ этно- и глоттогенеза; они могут быть в значительной мере устранены с учетом размытости границ между финно-пермской, финно-волжской, финно-саамской и собственно ПФ эпохами (что отражает, в частности, картина дистрибуции балтизмов в западных ф.-у. языках).

Koivulehto J. Die Datierung der ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen // CUFU 5. Turku, 1981a. Pars VII. P. 73–78.

Перечисляя свои этимологические предложения с группировкой по фонетическим явлениям (герм. *s > ранне-ПФ *š > фин. h; герм. *st- > фин. s-; герм. *-dj-, *-hj-, *-tj- > ранне-ПФ *-čč- > фин. -ts-; заимствования, проникшие до перехода *ti > si) и ссылаясь на другие предполагаемые признаки древности заимствований (присутствие в саам., морд. и т. д.; e-основы на месте герм. a-основ; отражение глагольных основ без наращенных в прагерм. период суффиксов), Й. Койвулехто углубляет принятую до него датировку начала герм.-ПФ контактов примерно на тысячу лет. Он относит ранние контакты к эпохе бронзы (1500–500 до н. э.), «к периоду мощной скандинавской культурной экспансии на восточном побережье Балтийского моря, особенно же в Финляндии» (с. 78).

Koivulehto J. Reflexe des germ. /ē/ im Finnischen und die Datierung der germanisch-finnischen Lehnbeziehungen // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1981b. 103. S. 167–203, 333–376.

Заимствования в ПФ указывают, по мнению автора, на то, что «расщепление» рефлексов герм. */ē/ (> гот. ē, сканд. и зап.-герм. ā) осуществилось еще в прагерм. эпоху. Вопреки оценке Х. Фромма [Fromm 1984: 92–96], иллюстративный материал выглядит в лучшем случае амбивалентно, что фактически признает даже сторонник идей Й. Койвулехто [Hofstra 1985: 142 ff.]; см. также [Ritter 1993: 108 ff.].

Koivulehto J. Zur Erforschung der germanisch-finnischen Lehnbeziehungen // СФУ 1981с. XVII/3. С. 161–175.

На этимологическом материале, представленном и в других работах автора, обсуждаются методологические аспекты исследования. Затронуты, в частности, вопросы сопоставления фонологических систем контактирующих языков (так, единственный прагерм. сибилант *s фонетически находился, по мнению автора, между ПФ *s и *š, чем и объясняется присутствие двух рефлексов: герм. *s > фин. s и герм. *s > ранне-ПФ *š > фин. h); фонотактического объяснения необычных субституций; возможности этимологизации глагольных основ после отделения омертвевшего суффикса (так, фин. *heittä-* 'метать' с предположительно выделяемой суффиксальной частью *-itä-* возводится к догерм. **sēja-/sēje-*, ср. гот. *saian* 'сеять').

Koivulehto J. Seit wann leben die Urfinnen im Ostseeraum? Zur relativen und absoluten Chronologie der alten idg. Lehnwortschichten im Ostseefinnischen // MSFOu 1983a. 185. P. 135–157.

Эта сравнительно небольшая по объему статья — доклад Й. Койвулехто на симпозиуме в честь 100-летия Финно-угорского общества, посвященном внешним связям уральских языков (см. [Хелимский 1985в]) — занимает, пожалуй, принципиально важное место в истории рассматриваемой проблемы: здесь автор существенно расширяет горизонт исследований и, кроме того, напрямую соотносит свои результаты с определенной этноисторической концепцией. Поэтому основные выводы статьи заслуживают развернутого цитирования:

«1. В финно-саамском имеется древний слой и.-е. заимствований. Согласно всем имеющимся в нашем распоряжении фонетическим критериям, эти слова отражают реконструктивный уровень индоевропейского праязыка с оппозицией палатальных — велярных смычных и с отчасти еще сохранными ларингалами. Такой (поздне)индоевропейский уровень можно (применительно к рассматриваемому ареалу) соотнести с периодом примерно 3000–2000/1500 гг. до н. э.; естественно, в это время уже должны были иметься многие и.-е. диалекты.

2. Эти древние и.-е. заимствования в целом распространены преимущественно в западной части финно-угорских языков [...].

3. Судя по критерию распространения в финно-угорском, заимствования восприняты на западе тогдашнего финно-угорского языкового ареала — в Восточной Прибалтике, на юге Финляндии и в расположенных юго-восточнее областях до верхнего или среднего течения Волги. Это именно тот ареал, где впервые появляются раннее земледелие и скотоводство. [...] По-видимому, нет никаких языковых факторов, которые препятствовали бы удревнению датировки финно-угорского заселения Восточной Прибалтики и Финляндии [...].

4. По критерию распространения и.-е. оригиналов (с одновременным учетом распространения в ф.-у.) заимствования представляются происходящими из различных и.-е. диалектов: одни из них, вероятно, доарийского происхождения (например, фин. *jyvä, osa, kehrä*, саам. *ræš'me* = морд. Э *rišme*), другие же с большей или меньшей отчетливостью отражают очень ранний и.-е. диалект догерманского характера (саам. *cuonja*, фин. *susi, tosi, pohtaa*, вероятно также фин. *puhdas* и т. д.), а некоторые, возможно, имеют добалтийское происхождение. Но, например, в случае с фин. *porsas* не удастся сделать выбор между этими возможностями

ми. Вполне уместно задать также вопрос, насколько верно, что слова, обозначенные здесь как доарийские, действительно отражают иной и.-е. диалект, нежели остальные ранние заимствования с теми же фонетическими признаками. Ведь необходимо иметь в виду, что письменные памятники индо-иранских языков появляются раньше, чем памятники германских и балтийских языков. В раннем догерманском, распространенном в Скандинавии, и в раннем добалтийском заведомо имелись и такие исконные и.-е. слова, которые впоследствии были вытеснены в них новообразованиями.

5. Принимавшаяся ранее хронологическая последовательность: вначале индоиранские, затем балтийские, и лишь затем германские заимствования — должна быть отвергнута или модифицирована. В корпусе германских заимствований мы явно наблюдаем временной континуум без продолжительных перерывов от раннего и.-е. диалекта догерманского характера (ср. особенно фин. *susi*, саам. *šuoŋja*) через догерм. кентумный язык до прагерманского и более поздних периодов. Так же может обстоять дело и с балтийским. Собственно индоарийские заимствования (после доарийского периода), например, фин. *sata*, *vasa*, разумеется, не могут — несмотря на их порой широкое распространение — считаться более древними, чем наиболее ранние индоевропеизмы из другого источника — напротив: они должны быть более поздними.

6. Мнение эстонских и финских археологов, согласно которому ранние предки прибалтийских финнов (финно-угры) находились в Восточной Прибалтике и Финляндии еще до эпохи бронзы, особенно со времени культуры (типичной) гребенчатой керамики, хорошо согласуется с представленными здесь результатами изучения заимствований» (с. 151–153).

Как явствует из приведенного текста, узловым моментом является постулирование сверхдревних связей финно-угров с носителями «и.-е. диалекта догерманского характера». Будет небесполезно прокомментировать те несколько слов, которые квалифицируются как наследие этих связей.

Фин. *susi* (Gen. *suden*) ‘волк’ Й. Койвулехто выводит через гипотетические предшествующие стадии **šući*, **šunći*, **šunti* из и.-е. (догерм.) **k̑wntō-*, отраженного в герм. **χunda-* ‘собака’. При этом отдельные стадии предполагаемой фонетической эволюции обосновываются ссылками на аналоги из числа других разработанных автором этимологий (см. ниже). Трудно, однако, не заметить, что в лексике исконного происхождения (с надежными финно-угорскими соответствиями) постулируемые фонетические правила и вторичные процессы в морфологии именных основ «почему-то» не действовали, ср.: ф.-перм. **ponti* > фин. *ponsi*, *ponnen* (не **posi*, **poden*) ‘рукоять’; ПУ **kuñci* > фин. *kusi*, *kusen* (не **kusi*, **kuden*) ‘моча’ [UEW: 734, 210]. Имеется и удовлетворительная собственно ф.-у. этимология для фин. *susi* [Katz 1988: 90].

Ближайший из «аналогов» для *susi* — фин. *tosi* (Gen. *toden*) ‘правильный, действительный, серьезный’, возводимое через **toći*, **toñci*, **tonći* к и.-е. **d̑ntō-* ‘обузданный, укрощенный’ (др.-инд. *dāntā-*). Преодолеть различие в семантике через цепочку гипотетических промежуточных стадий (типа ‘обученный, привычный, послушный’) — разумеется, не проблема для натренированного в подобных экзерсисах индоевропейца. Но непреодолимой для данной этимологии препятствием остается саам. N *duottā* (из **toti*) ‘правильный’, точное этимологическое соответствие фин. слова, которое Й. Койвулехто квалифицирует как за-

имст
ческ
1988
фин
бесп
мере
герм
нети
(ср.
нош
впрс
из н
д
из и
Эта
(осо
[Koi
375]
фин
лим
'дут
о сл
ским
такж
рекс
*pū/
оказ
ний
Е
ракт
инд.
так
венн
конс
случ
'сын
идти
вае
и.-е.
(
или
герм
ская
шен
*g^h
для
нос

имствование из фин., хотя ни на какой из постулируемых у него стадий фонетического развития отражение в виде саам. **toti* не было бы нормальным [Katz 1988: 90–91; Ritter 1993: 83]. Остаются, естественно, и противоречия с данными финно-угорской исторической фонетики, отмеченные в связи с фин. *susi*. Полная беспомощность этого этимологического построения вызвала к жизни по крайней мере два альтернативных варианта выведения фин. *tosi* из и.-е. источников: из герм. **stōdīa-* 'устойчивый, прочный' ([Katz 1988: 91], с весьма подробной фонетической и словообразовательной аргументацией) и из близкого балт. **statija* (ср. лит. *stāčias* 'стоячий, вертикальный, прямой') [Ritter 1993: 86]. Во всех отношениях данные версии более удачны, чем построение Й. Койвулехто (что, впрочем, никоим образом не служит гарантией достоверности хотя бы одной из них).

Фин. *pohtaa* 'веять (зерно)' (точнее, первый слог данной основы) выводится из и.-е. (догерм.) **rouHejo-* (откуда герм. **fauja-*, др.-в.-нем. *fewen* 'просеивать'). Эта этимология, многократно фигурировавшая в работах Й. Койвулехто (особенно в связи с идеей об отражении и.-е. ларингалов в виде фин. *h* < **š* — см. [Koivulehto 1988: 288, 1990a: 19 ff., 1990b: 7, 1991: 91 ff.], а также [Hofstra 1985: 375]), вполне убедительно дезавуирована Р.-П. Риттером [Ritter 1993: 137–139]: фин. *pohtaa*, совмещающее значения 'веять (зерно)' и 'веять (о ветре)', неотделимо от других рефлексов ПУ **pu-* (**pušz-*, **puwz-*, **puyz-*, см. [UEW: 409–411]) 'дуть'. Примечательно, что — по мнению Риттера — «не следовало бы говорить о случайном созвучии финно-угорских слов с предполагаемыми индоевропейскими этимонами, поскольку в основе и.-е. **pewh* 'веять (зерно)' несомненно также лежит дескриптивный корень со значением 'веять, дуть'». Ср. в этой связи реконструкцию ностр. **puḷa* 'дуть' как общего источника и.-е. **pu(H)-*, ПУ **pū/y/a-* и т. д. [Иллич-Свитыч 1967: 339]. (Это не единственный случай, когда оказывается возможной ностратическая «реинтерпретация» ошибочных построений Й. Койвулехто.)

В случае с фин. *puhdas* (**puštas*) 'чистый' роль «источника догерманского характера» выполняет, собственно говоря, и.-е. **puHto-s*, отраженное только в др.-инд. *pūtā-h* 'чистый' (сопоставление впервые предложено в [Sköld 1960: 37–42]), так что к остальным разбираемым этимологиям данное слово имеет лишь косвенное отношение. Сходство современной фин. формы с и.-е. ларингальной реконструкцией разительно! Но если за ним стоит что-то большее, чем простая случайность (которая тоже способна давать разительные эффекты — ср. рум. *fiu* 'сын' из лат. *filius* и венг. *fiű* 'сын', родственное фин. *poika*), то речь тоже может идти о весьма отдаленном и опосредованном родстве ностр. уровня: как показывает Р.-П. Риттер, связь фин. *puhdas* с *pohtaa* столь же вероятна, как и сближение и.-е. **puHto-s* с корнями со значениями 'веять' и 'дуть'.

Саам. *N čuonja*, *čuodnjag-* (возможные праформы — **čaṇak*, **šaṇak*, **čaṇat* или **šaṇat*) 'гусь' автор возводит к и.-е. (догерм.) **g^han-əd-*, **g^han-ud-*, откуда герм. **ganat-/ganut-* (др.-в.-нем. *ganazzo* 'гусь-самец' и т. д.). Одна фонетическая проблема такого сопоставления (начальный согласный) снимается «совмещением» германского словообразовательного типа с сатэмным рефлексом и.-е. **g^h-* (который и вправду мог бы отразиться как ф.-у. **š-* или **č-*). К сожалению для данной этимологии, остается другая фонетическая проблема — палатальность инлаутного согласного: автор этимологии видит в ней ассимиляционное

влияние начального *š- (*č-), однако подобные ассимиляции для саамского языка нехарактерны, ср. саам. N *čádnât* (*čęę-) 'вязать', *čadna* (*čānā) 'трутовик', *čoaŋotâs* (*čōnē-) 'поклажа оленя' и др. [Lehtiranta 1989].

Koivulehto J. Suomalaisten maahanmuuto indoeurooppalaisten lainasanojen valossa // JSFOu. 1983b. 78. P. 107–132.

По материалу и выводам статья близка рассмотренной выше работе [Koivulehto 1983a]. Дополнительно акцентируется присутствие в ПФ не только догери., но и добалт. элементов, в связи с чем изложены следующие две этимологии: фин. *kypsä* 'спелый' (с финно-перм. соответствиями вплоть до коми *kiš-mi*- 'созреть', см. [UEW: 665]) к балт. **kepta*- 'жареный'; фин. *kylmä* 'холодный' (с соответствиями вплоть до коми *kīn* id., см. [UEW: 663]) к балт. **gelumā* (латыш. *gelumā* 'мороз'). Цена этих сопоставлений — целая серия малоправдоподобных предположений о фонетической эволюции и путях распространения соответствующих слов.

Vitso T.-R. Läänemeresoomlased: Maahõive ja varaseimad kontaktid // MSFOu. 1983. 185. P. 265–281.

Осторожная, но достаточно радикальная попытка пересмотреть концепцию ПФ этногенеза, утвердившуюся в работах большинства эстонских и финских исследователей и поддержанную результатами Й. Койвулехто. Специальное внимание уделяется тому обстоятельству, что в балт. языках не обнаруживается никаких ПФ заимствований, связанных с морем; напротив, в ПФ присутствуют балтизмы из данной сферы — это «позволяет считать, что балты прибыли в Прибалтику скорее до, чем после прибалтийских финнов» (с. 274). Компромисс, к которому склоняется Т.-Р. Вйтсо — признание раннего населения Прибалтики (носителей культуры гребенчатой керамики) финно-уграми, которые вошли в качестве одного из этнических компонентов в состав прибалтийских финнов, хотя и не могут рассматриваться как их прямые языковые предшественники. Правда, аргументация в пользу ф.-у. принадлежности племен гребенчатой керамики остается довольно зыбкой, что фактически признает и сам автор.

Fromm H. Germanisch-finnische Lehnwortforschung und germanische Sprachwissenschaft // JSFOu. 1984. 79. P. 87–106.

Автор, один из ведущих авторитетов в области изучения герм.-фин. лексических отношений (см. [Fromm 1957–1958]), выступает с безоговорочной поддержкой новых результатов и датировок, связанных с исследованиями Й. Койвулехто.

Koivulehto J. Germaaniminen filologia ja kansalliset tieteet // Virittäjä. 1984. 88/1. S. 9–16.

Внимание уделено семантическому спектру (и, в связи с этим, культурно-историческому фону) предполагаемых заимствований. В частности, из предложенной серии этимологий вытекает, что практически все названия шкур и кож (сырых и обработанных) в фин. языке имеют герм. происхождение.

Хелимский Е. А. [Рец. на кн.]: Symposium saeculare Societatis Fenno-Ugricae. (MSFOu 185). Helsinki, 1983 // СФУ. 1985в. XXI/4. С. 289–294.

Упомянув некоторые из слов, этимологизируемых в [Koivulehto 1983a], я в этой рецензии отметил: «Создается впечатление, что известные законы фонети-

ческого развития от финно-угорского к прибалтийско-финскому состоянию на них не распространялись» (с. 292).

Hofstra T. Ostseefinnisch und Germanisch: Frühe Lehnbeziehungen im nördlichen Ostseeraum im Lichte der Forschung seit 1961. Groningen, 1985.

Большая по объему, обстоятельная монография (докторская диссертация) Т. Хофстры служит прекрасной сводкой данных и о традиционной трактовке проблемы, и о ее трансформации школой Й. Койвулехто (к которой можно, хотя и не без некоторых оговорок, отнести и самого автора).

Первая глава посвящена фонетической субституции в германизмах ПФ пражского (преимущественно на материале «классических» этимологий).

Содержание второй главы — новые результаты в области исторической фонетики. Здесь — вопреки, быть может, намерениям самого автора и в то же время несомненно благодаря той тщательности и полноте, которые отличают организацию и комментирование материала в монографии — наглядно выступают слабости фонетических построений Й. Койвулехто. Так, попытка обосновать на материале заимствований раннее расщепление рефлексов герм. **ē*¹ ([Koivulehto 1981b], с акцентом на *a*-образные рефлексy) выглядит довольно спорной на фоне того обстоятельства, что в его же собственных работах обнаруживаются столь разнообразные «отражения» герм. **ē*¹, как ПФ **ē*, **e*, **ā*, **a*, **ā*. При этом три краткостных рефлекса (существование которых нелегко соотнести с фактом наличия долготной оппозиции и в герм., и в ПФ) представляют собой «Neuentdeckungen» Й. Койвулехто (с. 135–146).

В третьей главе рассмотрены морфология и фонотактика — главным образом в ракурсе групповой этимологизации из герм. источников для фин. слов со сходным фонотактическим построением или суффиксальным оформлением; здесь же Т. Хофстра предлагает серии собственных (в целом достаточно проблематичных) этимологий для фин. слов со звуковыми последовательностями *-air/-äir-* и *-is*.

Четвертая глава посвящена семантической группировке ранних герм. заимствований, пятая — их датировке, локализации и стратификации (здесь, разумеется, на первом плане находятся идеи, отраженные в [Koivulehto 1983a], см. выше). Небольшая шестая глава перечисляет предложения Й. Койвулехто по этимологизации волжско-финской и пермской лексики из герм. источников. Таких этимологий (по состоянию на 1985 г.) было еще немного, причем среди них отчетливо преобладали обозначения человеческого тела и его частей, а также совокупностей людей и животных... (с. 400). Несколько дополнительных этимологических экскурсов составили седьмую главу. Восьмая служит заключением к монографии и характеризует роль ПФ данных и новых трактовок для исторической германистики.

Koivulehto J. Alte indogermamische Lehnwörter im Finnisch-Ugrischen // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. Т. 2. М., 1990. С. 290–294.

Текст доклада, прочитанного в 1985 г. и тематически близкого [Koivulehto 1987]. Среди нескольких этимологий, составивших содержание этого доклада, привлекает внимание трактовка фин. *vilja* 'хлебá, зерно, жито; изобилие, дары (природы и т. п.)', саам. *vál'lje* 'изобилие; еда; зерно' в связи со слав. **obilьje* < **ob-vilьje* (и.-е. **wīl(i)jo-*).

Ariste P. [Rez. zu:] *Hofstra T.* Ostseefinnisch und Germanisch: Frühe Lehnbeziehungen im nördlichen Ostseeraum im Lichte der Forschung seit 1961. Groningen, 1985 // СФУ. 1986. XXII/3. С. 226–229.

Очень высокая оценка монографии Т. Хофстры, сочетающаяся со сдержанной критичностью в отношении ряда этимологий, цитируемых в монографии.

Hahmo S.-L. Zweisilbige ostseefinnische Nominalstämme auf -e im Lichte der Lehnwörter // СФУ. 1986. XXII/3. С. 161–176.

Анализ сложного вопроса об экспансии фин. именных основ на -i (-e-) за счет иных структурных типов. Вопрос, как и следовало ожидать, не становится более ясным в свете этимологий «новой школы».

ЛКК = Lyökämme käsi kätchen: Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finnougrischen und des Germanischen. A. D. Kylstra zum 65. Geburtstag. Amsterdam, 1986.

Юбилейный сборник, в котором центральное место занимает блок этимологических статей, принадлежащих представителям «новой школы» (Й. Койвулехто, С.-Л. Хахмо, Т. Хофстра, О. Никкиля).

Koivulehto J. Zu den frühen Kontakten zwischen Indogermanischem und Finnisch-Ugrischem // Parallelismus und Etymologie: Studien zu Ehren von Wolfgang Steinitz. (Linguistische Studien, Reihe A, 161/II). Berlin, 1987. S. 195–218.

Поиск возможностей этимологизации фин. (и вообще ф.-у.) слов как ранних и.-е. заимствований, с выходом за пределы герм. лексического материала. В частности, обсуждаются такие известные параллели, как фин. *kuori* 'кора', морд. *kar* — слав. **kora*; фин. *puoli* 'половина' — слав. **polъ* (ср. в ностр. перспективе [Иллич-Свитыч 1971: 341–343, 1967: 356]).

Tuldava J. Zur Frage der ältesten germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen // Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (TRÜT). 1987. Vol. 750: Linguistica. P. 117–124.

Краткий обзор наиболее важных — и, с точки зрения автора, бесспорных — результатов исследований Й. Койвулехто.

Katz H. Finnisch *tosi* ← **dñtō-?* // СФУ. 1988. XXIV/2. С. 90–93.

Критика одной из этимологий Й. Койвулехто (см. выше обсуждение работы [Koivulehto 1983a]).

Koivulehto J. Idg. Laryngale und die finnisch-ugrische Evidenz // Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems / Hrsg. von A. Bammesberger. Heidelberg, 1988. S. 281–297.

Предварительный и сжатый вариант исследования, опубликованного в 1991 г. в монографическом виде ([Koivulehto 1991], см. ниже). Автор ставит целью предъявить с ф.-у. стороны свидетельства фонетической реальности ларингалов и.-е. реконструкции. — Следует заметить, что историческая реальность ларингалов стала труднооспоримой со времени открытия хеттского языка. Однако можно усомниться в правомерности «ларингального максимализма», ведущего к разрастанию числа реконструируемых ларингалов, к размещению их во всех мыс-

лимых и немислимых позициях (в том числе при нулевом хетт. рефлексе), и к постулированию сохранности ларингалов в позднем («бругманновском») и.-е. праязыке и в его потомках. По крайней мере по последним двум пунктам Й. Койвулеhto склонен разделять «максималистский» подход.

OVL = *Hahmo S.-L. e. a. Omaa vai lainattua: Itämerensuomen germaanisiin lainasanoihin liittyviä kirjoitelmia.* Helsinki, 1988

Сборник исследований, связанных с подготовкой словаря ранних герм. заимствований в ПФ языках (см. [Kylstra e. a. 1991]) и посвященных обсуждению этимологических альтернатив.

Katz H. *Bume und Korpsion: Zur Behandlung konsonantischer Anlautkluster in den urgermanischen Lehnwörtern des Ostseefinnischen.* (Innsbrucker Studien zur Ural-Altaistik, Bd. 3). Innsbruck, 1990.

Данное исследование, как и ряд других работ Х. Катца по герм.-фин. проблематике, в методологическом отношении вполне соответствует подходу Й. Койвулеhto (массовое этимологизирование фин. слов из герм. источников с учетом моделей, потенциально возможных в свете данных индоевропеистики; использование нетривиальных фонетических соответствий, якобы характеризующих древнейшие слои заимствований; преодоление семантических несообразностей ссылками на семасиологические параллели). Оно, однако, частично отличается от исследований Й. Койвулеhto набором постулируемых звукосоответствий и субституционных норм в предполагаемых заимствованиях. Внимание автора сосредоточено на якобы имеющихся случаях метатезы как средства устранения инициальных кластеров, имевшихся в форме-источнике, но недопустимых с точки зрения ПФ фонотактики. Соответственно, привлекается иной корпус этимологий, в ряде случаев — для тех же самых слов (см. [Hofstra 1992]).

Koivulehto J. *Entlehnung und Lautgesetz // CUFU 7. Pars 1A.* Debrecen, 1990a. P. 7–26.

Пленарный доклад Й. Койвулеhto на конгрессе финно-угроведов был посвящен некоторым слабостям традиционных ф.-у. сравнений, которые проистекают, с точки зрения докладчика, из недоучета и.-е. источников сравниваемых слов. Рассмотрены случаи, когда: (а) традиционное сравнение само по себе правильно, однако наличествуют отклонения от ожидаемых звукосоответствий, что объясняется заимствованным характером слов; (б) традиционно сравниваемые слова связаны друг с другом опосредованно, будучи отражениями родственных форм в разных и.-е. диалектах; (в) традиционно сравниваемые слова представляют собой отражения разных, хотя и связанных этимологически, и.-е. оригиналов; (г) и.-е. прототипы сравниваемых слов не имеют друг к другу никакого отношения. Качество иллюстративного материала весьма неровно: здесь соседствуют и общепринятые этимологии, и остроумные — хотя и крайне сомнительные — историко-фонетические упражнения (фин. *ihminen* 'человек', морд. *inže, inži* 'гость' < и.-е. **ǵnh₁-(y)elo-* < **ǵenhi₁* 'родиться'; коми *pož* 'сито' < и.-е. **pewH-eno-* > др.-инд. *pāvana* 'очистка зерна, сито'; к предполагаемой автором субституции и.-е. ларингалов см. [Koivulehto 1991]), и странные (говоря мягко) сопоставления типа фин. *kesy* 'ручной, смирный', коми *goz* 'супруг, пара' < и.-е. **h₁(e)su-* 'хороший'.

В наибольшей мере этот материал иллюстрирует, пожалуй, следующий принцип: было бы финно-угорское слово, а индоевропейская этимология найдется...

Koivulehto J. Frühe indogermanisch-uralische Sprachkontakte // Uralo-Indogermanica: Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Ч. II. М., 1990b. С. 3–9.

Доклад Й. Койвулехто на конференции в Москве строился в основном на этимологиях, фигурирующих и в других его работах (например, [Koivulehto 1988, 1990a]). Выступления в ходе оживленной дискуссии по докладу носили преимущественно критический характер и касались многих аспектов самой проблемы и использованных Й. Койвулехто подходов: Г. Бирнбаум, представляя индоевропеистику, выразил сомнение в том, что поздние и.-е. диалекты сохраняли ларингалы, как это предполагают этимологии из доклада; К. Реден счел вызывающим недоумение сам факт столь массовых и явно тяготеющих к «базисной», а не «культурной» лексической сфере заимствований в урал. языки; Е. Хелимский и Ю. Янхунен отметили недостоверность слишком многих фонетических и семантических деталей в предложенных этимологиях.

Напольских В. В. Проблема формирования финноязычного населения Прибалтики (к рассмотрению дилемм финно-угорской предыстории) // Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов: Материалы XVII Всесоюзной финно-угорской конференции. Ижевск, 1990. С. 40–67.

Сопоставление нескольких версий ПФ этно- и глоттогенеза с учетом археологических, палеобиогеографических и лингвистических данных. Безусловно предпочтительной, по оценке автора, является версия, связывающая распространение в Прибалтике ранне-ПФ речи с ассимиляцией носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики («палеоевропейцы», ср. [Ariste 1971–1972]) и носителей культуры боевых топоров (балты) носителями культуры текстильной керамики (с. 49). — Оценки, содержащиеся в этой работе, весьма близки автору данного обзора, который частично разделяет с В. В. Напольских ответственность за интерпретации лингвистических данных.

Ritter R.-P. Das Ostseefinnische «im Kreise der germanischen Sprachen»: Zur neuer Konzeption in der germanisch-finnischen Lehnwortforschung // Vorträge und Referate der Finnougrischen Arbeitstagung 9.–11. Mai 1989 in Hamburg / Hrsg. von W. Veenker. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Bd. 30). Wiesbaden, 1990. S. 35–40.

Пolemическое выступление по поводу работ Й. Койвулехто и их высокой оценки Х. Фроммом [Fromm 1984], предвещающее монографию [Ritter 1993]. Автор иронически констатирует, что при дальнейшем столь же бурном, как в 1970–1980-е гг., росте числа выявленных «новой школой» германизмов вскоре должен встать вопрос о конкретизации места прибалтийско-финского в кругу германских языков, с которыми его связывает столько общего в базисной лексике. В этой небольшой статье продемонстрирована несостоятельность нескольких этимологий Й. Койвулехто — в частности, со стороны германистики. Например, для возведения фин. *haasia* «прясло (для просушки сена, хлеба)» к герм. **sāt(i)ja* < **sēja* (др.-сканд. *sāti* 'сидение; скирда') нужно предполагать, что заимствование: (а) носит догерм. характер, так как в заимствованиях позднепрагерм. эпохи уже

не отражается ПФ переход $*ti > *si$; (б) отражает при этом диалектный переход герм. $*ē^1 > ā$ (ранняя датировка которого, вопреки [Koivulehto 1981b] и др., выглядит неубедительно).

Koivulehto J. Uralische Evidenz für die Laryngaltheorie. Wien, 1991.

Материал книги составляют 27 этимологий, из которых 24 принадлежат самому автору (еще три взяты из упоминавшейся выше работы Т. Шёлда) и в полной мере разделяют все характерные черты его этимологической продукции. Часть из этих сопоставлений, постепенно накапливавшихся и публиковавшихся автором [Koivulehto 1981b, 1983], уже обсуждалась или упоминалась выше. 9 этимологий должны иллюстрировать соответствие и.-е. $*H-$ ($*h_1-$, $*h_2-$, $*h_3-$): ПУ $*k-$ в анлауте, в остальных Й. Койвулехто усматривает — в качестве соответствий и.-е. инлаутному $*H-$ — ПУ $*x-$, $*k-$ или ПФУ $*š-$. (Что касается так называемого ПУ $*x-$, то это нововведение в ПУ реконструкцию — см. [Janhunen 1981; Sammallahti 1988] — представляется не вполне удачной попыткой упрощения реальной картины. В действительности, по-видимому, постулируемому $*x-$ соответствовали различные «неустойчивые» согласные типа $*w-$, $*j-$, $*ŋ-$, $*ɣ-$, как это предполагает традиционная ПУ реконструкция, а также, возможно, вторые компоненты дифтонгических сочетаний и конец односложной основы).

Будучи в методологическом отношении прямым продолжением других исследований «новой школы» (ср. такие этимологии, как ПУ $*suxi-$ 'грести' из и.-е. $*suH-e/o-$ > др.-инд. *śuvāti* 'гонит, движет', хетт. *šuwāi-* 'толкать, теснить'; ПУ $*tuxli$ 'ветер' из незасвидетельствованного деривата $*d^huH-li-$ к и.-е. $*d^ew(H)-$ 'дуть'), работа в целом выходит за рамки рассматриваемой здесь герм.-ф.-у. проблематики. Лишь в отдельных случаях автор обращается к своей гипотезе о влиянии на финно-угров и.-е. диалектов догерм. типа — например, в связи с фин. *kaski* 'пожог, (диал.) молодой лиственный лес', эст. *kask* 'береза', возводимыми к и.-е. (догерм.) $*h_2azg^{(h)}-$ > нем. *Asche* 'зола'.

Некоторые из параллелей, обсуждаемых в книге, могут быть проинтерпретированы как отражение ностратического родства. Частично они рассматривались — хотя в монографии на это нет никаких ссылок — в работах В. М. Иллич-Свитыча. Ср. также такие установленные последним соответствия, как ностр. $*-q-$ > и.-е. $*H$, ПУ $*k$, ностр. $*^2-$ > и.-е. $*H$, ПУ долгота гласного (тракуемая у Ю. Янхунена и Й. Койвулехто как рефлекс урал. $*x-$) — см. [Иллич-Свитыч 1971: 149]. Если же верить этимологиям книги и их трактовкам, то приходится признать, что лишь благотворному и.-е. влиянию уральцы обязаны обозначениями таких понятий, как 'пить', 'расти', 'женщина', 'варить', 'дерево', 'принести, дать', 'ветер', 'делать'. Впрочем, загадкой остается не только то, как носители уральского праязыка обходились без соответствующих слов до встречи с индоевропейцами (или почему они так охотно расставались со своим прежним лексиконом). Еще одно загадочное обстоятельство состоит в том, что почти во всех случаях заимствующая сторона умудрялась то выискать в индоевропейском какую-либо особенно необычную в фонетическом и словообразовательном отношении форму (ряд недоумений по этому поводу высказал Р.-П. Риттер — ср., например, его анализ гипотетического и.-е. $*h_2awks-$ 'расти' вместо обычных абла-

утных вариантов **h₂awg-* и **h₂weks-*, см. [Ritter 1993: 87–88]), то исказить (вероятно, по недомыслию?) значение заимствуемого слова.

Kylstra A. D., Hahmo S.-L., Hofstra T., Nikkilä O. Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Bd. I: A–J. Amsterdam; Atlanta, GA, 1991.

Словарь, ориентированный в равной мере на финно-угроведов и германистов, отличается четкостью построения статей и полнотой библиографических ссылок (что позволяет восполнить сокращения при подаче и этимологическом анализе материала). Авторский коллектив объединил заслуженного представителя традиционного направления в изучении герм.-фин. языковых контактов, проф. А. Д. Килстра (начавшего работу над словарем еще в 1960-х гг.) и исследователей, которых можно отнести к «новой школе».

В корпусе рассматриваемых этимологий примерно равные доли составляют известные еще несколько десятилетий назад сравнения (правильные и ошибочные: словарь охватывает и отвергаемые его авторами этимологии) и те фин. слова, для которых герм. этимологии были впервые предложены в последнее время (очень много и таких случаев, когда уже существовавшие объяснения были скорректированы или заменены альтернативными). Окончательно о второй из этих групп целесообразно будет судить по завершении всего издания, однако первый том (A–J) подтверждает впечатления об их крайней ненадежности. Вот, например, какие этимологии включены в словарь с оценкой «герм. или более древнее заимствование», иллюстрируя тем самым тезис о позднеиндоевропейско-догерманском языковом влиянии на прибалтийских финнов:

Фин. *aho* 'сухая' поляна (обычно бывший пожар): принимается этимология О. Никкиля [OVL: 135–140], который «сравнивает *aho* с и.-е. корнем **as-* 'гореть, раскаляться', засвидетельствованном и в герм., семантическое поле которого охватывает и значение 'сухой'; хотя непосредственно соответствующее существительное не представлено, однако связь между 'гореть, сухость', с одной стороны, и 'выжженное место, пожар', с другой стороны, можно подкрепить ссылкой на ПФ *palaa* 'гореть' при фин., карел., вепс *palo* 'пожар'...».

Фин. *aita* 'забор, изгородь': составители словаря приводят (под вопросом) две предложенных Й. Койвулехто герм. этимологии данного слова: (а) из герм. **aiþa-z* 'присяга' (нем. *Eid*), со ссылкой на «герм. обычай приносить присягу в кольцо людей (живой ограде)»; (б) из герм. **aida-*, др.-сканд. *eid* 'перешеек, волок' («герм. образований со знач. 'забор, ограждение' все же не представлено, и это ослабляет предложенное объяснение»).

Фин. *asia* 'вещь': это слово с хорошей ф.-у. этимологией (см. [UEW: 20]) Й. Койвулехто предложил вывести из герм. **anþja-*, отраженного, по его мнению, в **uz-anþja-* др.-сканд. *erendi* 'посольство, поручение, сделка'.

Фин. диал. *attala* 'услужливый, усердный': принимается этимология О. Никкиля из герм. **atala-z*, др.-сканд. *atall* 'сварливый, яростный, дикий', исл. *atall* 'жесткий, жестокий; энергичный, крепкий'.

Фин. *aulis* 'готовый помочь, щедрый': согласно Т. Хофстра, с очевидной внутрифинской этимологией (от *apu*, *avu/-lau-* 'помощь') может конкурировать возведение к герм. **aylu-z*/**ayli-z*/**ayla-z*: гот. *agls* 'мерзкий', *aglus* 'затруднительный', др.-англ. *egle* 'безобразный'.

Фин. *auvo* 'удача, радость; почет', *avo* 'привычка', *avi* 'достоинство': согласно проблематичной этимологии О. Никкиля, из герм. **auja-* > др.-сканд. *auja* 'удача, божья милость, защита' (? — точное значение неясно).

Фин. *hera* 'сыворотка': под вопросом принимается версия Й. Койвулехто о возведении к незасвидетельствованному герм. **sera-* (< и.-е. **serom* > лат. *serum*); «прафин. *h-* < *š-* как рефлекс прагерм. *s-* предполагает раннее время заимствования».

Фин. *juola-*: *juolavehnä* 'пырей' (*vehnä* 'пшеница'): под вопросом принято объяснение Й. Койвулехто из герм. **kwjōla-* — незасвидетельствованного (и не подтверждаемого извне) деривата от **g*ʷ*i-* 'жить' (и.-е. **g*ʷ*jō + lo-*).

Представляется, что отношение составителей словаря к имеющимся этимологическим версиям могло бы быть существенно более критичным. Впрочем, уже упоминавшаяся четкость подачи материала предоставляет читателю возможность самостоятельно осуществить критический отбор.

Hofstra T. Germanisch-ostseefinnische Lehnbeziehungen: Notizen zu Adjektiva // Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum: Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.–15. November 1991. Amsterdam; Atlanta, GA, 1992. S. 55–63.

Критические замечания к этимологическим этюдам Х. Катца [Katz 1990], демонстрирующие в ряде случаев возможность возведения ПФ прилагательных — по несколько иным «правилам игры» — к иному герм. источнику, чем у Х. Катца. Ср.:

Фин.	Предполагаемый германский источник	
	[Katz 1990]	[Hofstra 1992]
<i>hilja-inen</i> 'тихий'	<i>*stel/iltja-</i> id.	<i>*sil-</i> (гот. <i>ana-silan</i> 'умолкнуть')
<i>terve</i> 'здоровый'	<i>*trewwa-z</i> 'крепкий > верный'	<i>*derba-z</i> 'сильный'
<i>lämsä</i> 'рыхлый'	<i>*slama-</i> 'обвислый'	<i>*lama-z</i> 'хромой, парализованный'

(Среди картинок в калейдоскопе можно, наверно, выбирать самую красивую — но вряд ли целесообразно полагать, что эта картинка наиболее правильная и лучше всего отражает внекалейдоскопическую действительность...)

Koivulehto J. Germanisch-lappische Lehnbeziehungen // Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum: Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.–15. November 1991. Amsterdam; Atlanta, GA, 1992a. S. 85–93.

В этом докладе Й. Койвулехто ориентируется на предшествующий немалый опыт исследования герм. (др.-сканд.) лексических элементов в саам. языке, но демонстрирует, что резервы этимологического поиска здесь далеко еще не исчерпаны. Среди новых предложений — возведение саам. **kävne-* 'найти, встретить' к герм. **gagna-* (нем. *be-gegenen*, англ. *gain*); сильным аргументом в пользу данной этимологии является установленное ранее заимствование саам. **kävne* 'вещь, предмет; польза' из др.-сканд. *gagn* < **gagna* id. (связанного, естественно, с глаголом **gagna-*).

Koivulehto J. Der Typus *palje* '(Blase)balg', *turve* 'Torf' unter den Lehnwörtern des Ostseefinnischen // JSFOu. 1992b. 84. P. 163–190.

Статья включает серию и.-е. этимологий для фин. существительных на *-e(h)* < ПФ **-eš*, **-ek*. По мнению автора, речь идет о суффиксальных элементах, добавившихся на ПФ почве, что позволяет не учитывать *-e(h)* при поиске и.-е. прототипов. Серию завершает возведение фин. *ihme* (ПФ **imeš*) 'чудо' к поздней.-е.-добалт. **g̃n-m-* (балт. **žīmē* 'знак, признак, след'), построенное на достаточно произвольных допущениях историко-фонетических «чудес».

Vaba L. [Rez. von]: Kylstra A. D., Hahmo S.-L., Hofstra T., Nikkilä O. Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Bd. I: A–J. Amsterdam; Atlanta, 1991. 145 S. // LU. 1992. XXVIII/3. P. 219–223.

В содержательной рецензии особое внимание обращено на те многочисленные случаи, когда с предлагаемой словарем германской этимологией ПФ слов может с успехом конкурировать балтийская. В этом отношении рецензия отчасти перекликается с исследованием Р.-П. Риттера ([Ritter 1993], см. ниже), где, однако, равновероятность герм. и балт. сопоставлений трактуется скорее как признак малой надежности или несостоятельности обеих версий.

Vitso T.-R. Finnic and its prehistoric Indo-European neighbours // Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum: Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.–15. November 1991. Amsterdam; Atlanta, GA, 1992a. S. 185–196.

Автор допускает возможность существования слав.-ПФ контактов примерно той же древности, что и балто-ПФ или постулируемые Й. Койвулехто герм.-ПФ контакты (т. е. относящихся по крайней мере к первой половине I тыс. до н. э. — обычно установление таких контактов связывается с кривичско-словенской колонизацией Русского Северо-Запада в VI–VII вв. н. э.). Такое допущение позволяет предложить ряд новых слав. этимологий фин. слов например, *lehti/lehto* 'лист' из слав. **listŭ*, *puhdas* 'чистый' из слав. **pustŭ* (ср. ключевую роль «ларингальной» и.-е. этимологии фин. *puhdas* в работах Й. Койвулехто — см. выше), *tahdas* 'тесто' из дослав. **taistos*; давно известны и несколько других случаев, когда при несомненном сходстве ПФ и слав. форм гипотеза о заимствовании наталкивается на серьезные препятствия в связи с хронологией фонетических изменений (фин. *hirsi*, *hirde* < **širti* 'жердь' при слав. **žirdi* < **girdi*: трудно поверить, что первая палатализация в слав. имела место раньше, чем ПФ переход **š > h*; см. в этой связи уже колебания Й. Й. Микколы [Mikkola 1894: 114, 1938: 84]. Нельзя не отметить, что по крайней мере со стороны семантики и реалистичности реконструкций сопоставления Т.-Р. Вйтсо выглядят намного убедительнее, чем большинство этимологий Й. Койвулехто.

Заслуживают внимания оценки и этноисторические выводы в конце данной работы: «Исторический лингвист оказался в более сложном положении, чем когда-либо ранее: известны три индоевропейские группы (германцы, балты и славяне. — Е. Х.), которые могут претендовать на роль первых индоевропейских соседей прибалтийско-финской языковой группы. Нет надежных лингвистических

критер
в сосед
рии дл
ском р
Воз
веке э
иска
с дру
(с. 194)

Vitso T.
Рей
верну
зульта
европе
повод
де слу
форм
предп
ность
разру
ванны
прини
все на
бровь
сти, с
моло
напри
нем.
ся, п
гаеме

Koivu
Х.
В
идет
[Koiv
имст
ной
бом
имст

Nilss
S.
Е
мож

критериев для доказательства приоритета одной из этих индоевропейских групп в соседстве с прибалтийскими финнами. Отсутствуют и лингвистические критерии для доказательства приоритета какой-либо из языковых групп в прибалтийском регионе.

Возможно, такой итог вполне естественен: с распространением в бронзовом веке земледелия различные группы распространялись по Северной Европе в поисках свободных земель и лучших условий для хозяйствования, смешиваясь друг с другом. Впоследствии произошла их постепенная языковая унификация» (с. 194–195).

Viitso T.-R. Proto-Indo-European Laryngeals in Uralic // LU. 1992b. XXVIII/3. P. 161–172.

Рецензия Т.-Р. Вийтсо на монографию Й. Койвулехто [Koivulehto 1991] возвращена в статью-исследование, где автор предпринимает попытку соотнести результаты Й. Койвулехто с некоторыми вариантами ларингальной теории в индоевропеистике. Значительную ценность представляют замечания Т.-Р. Вийтсо по поводу едва ли не большинства сопоставлений из рецензируемой работы — в ряде случаев эти замечания дезавуируют идею о заимствовании соответствующих форм из и.-е. в урал. (общая проблематичность сопоставления, аномальность предполагаемой фонетической субституции, семантические трудности, возможность интерпретации в рамках теории ностр. родства и др.). Однако, фактически разрушив эмпирические основания построений Й. Койвулехто своими обоснованными критическими соображениями, Т.-Р. Вийтсо парадоксальным образом принимает саму концепцию присутствия следов и.-е. ларингалов в уральском, и все на том же сомнительном материале исследует возможность отражения тембровых различий между и.-е. ларингальными согласными в уральском. В частности, он выдвигает гипотезу о соответствии между и.-е. $*h_1$ и урал. $*š$ (хотя этимологии в пользу данной гипотезы, которые можно найти у Й. Койвулехто, — например, возведение ПУ $*piša-$ ‘жарить’ к и.-е. $*b^heh_1-yelo-$ > герм. $*bē-jela-$, нем. *bähen* ‘парить’ или фин. *vihdoin* ‘наконец’ к и.-е. $*wejh-$ ‘идти, направляться, путь, последовательность’ — страдают теми же недостатками, что и отвергаемые этимологии).

*Koivulehto J. Zur Etymologie von fi. *susi*, *tosi* — und *kesi*: eine Entgegnung // LU. 1993. XXIX/1. P. 21–37.*

Возражения по поводу возражений, выдвинутых Х. Катцем [Katz 1988]. Речь идет вновь об этимологиях, обсуждавшихся выше в связи с их использованием в [Koivulehto 1983a]. Й. Койвулехто допускает, что предположение Х. Катца о заимствовании фин. *tosi* ‘правильный’ из герм. $*stōdīa-$ не уступает его собственной этимологии данного слова (из и.-е. $*d̥h₁tō-$); но «в качестве результата в любом случае мы можем зафиксировать: фин. *tosi* представляет собой древнее заимствование» (с. 32).

*Nilsson T. K. The Indo-European etymology of Fi. *peukalo* ‘thumb’ // FUF. 1993. 51. S. 189–197.*

Еще один яркий пример подхода к фин. языку как к языку, лексика которого может и должна быть соотнесена с известным и.-е. корневым фондом. Фин.

peukalo 'большой палец' возводится к герм. образованию типа **beugVlō* (ср. нем. *Bügel* 'ручка, скоба') от и.-е. **beug-* 'гнуть'. В действительности фин. слово не может быть оторвано от имеющих общеурал. распространение названий большого пальца (саам. *bæl'ge*, морд. *pelka*, коми *pev*, манс. *pāja*, самод. **pij-*; см. [UEW: 363]), сведение которых к единой праформе затруднено из-за явно нетривиальной фонетической структуры этой праформы.

Ritter R.-P. Studien zu den ältesten germanischen Entlehnungen im Ostseefinnischen. (Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia V). Frankfurt a. M. e. a., 1993.

В предшествующей части обзора делались многочисленные ссылки на эту монографию, в которой значительная часть этимологических построений «новой школы» подвергнута серьезной, квалифицированной критике (с точки зрения и германистики, и финно-угроведения). Методологически очень важен безошибочный критический прием, к которому постоянно прибегает Р.-П. Риттер: умело пользуясь «этимологической техникой» своих оппонентов, он указывает альтернативные объяснения (на основе германского или, чаще, балтийского материала), которые выглядят во всех отношениях не хуже отвергаемых этимологий. Речь, однако, идет не о замене одних построений другими, столь же или чуть менее слабыми (как это имеет место у Х. Катца, также настроенного по отношению к Й. Койвулехто достаточно критически). Сама по себе легкость подбора подобных «этимологических объяснений» служит доказательством их произвольного, оторванного от всякой историко-языковой реальности характера.

Значительное место в книге занимают полемика с делавшимися ранее позитивными оценками нового направления в исследованиях, что отражается и в структуре работы: отдельные главы соответствуют главам или крупным разделам в [Hofstra 1985]. Это позволяет Р.-П. Риттеру последовательно рассмотреть (и отвергнуть ввиду несостоятельности этимологического материала) всю совокупность основных тезисов «новой школы» — касательно хронологии контактов, роли германского как «престижного языка», специальных случаев фонетической субституции, локализации контактов, присутствия в ПФ западногерманских элементов, истории материальной культуры и др. Особое место занимает глава, демонстрирующая значительную корреляцию между составом подлинных ранних германизмов в ПФ и составом германизмов примерно того же возраста, обнаруживаемых в слав., балт. и ром. языках; именно данный лексический набор позволяет делать надежные заключения о материальной, социальной и духовной культуре древних германцев.

В заключительном разделе Р.-П. Риттер констатирует, что, вопреки предпринятым в последние десятилетия попыткам ревизии, традиционный взгляд на характер и хронологию контактов между прибалтийскими финнами и германцами сохраняет свою силу. С этим выводом, я полагаю, есть все основания солидаризироваться.

Vitso T.-R. Livonian *kōps* 'hare' and Finnic **korva* 'ear' // LU. 1993. XXIX/2. P. 89–94.

Ассоциативная связь 'рога' и 'уха' (отражение которой, возможно, следует усматривать в лексической паре удм. *keč* 'коза' — коми *keč* 'заяц') наводит автора на фантастическую мысль о заимствовании ПФ **korva* 'ухо' из кентумного

рефлекса
*sorwa 'я'
также н
'самец'
кация Т.
времени
теля пос
данном
свойств
переход

рефлекса и.-е. **ker-w- 'rog'* (ср. заимствование сатэмного рефлекса в виде ф.-у. **sorwa 'rog'*). Более того, делаются попытки соотнести с тем же и.-е. источником также некоторые урал. лексемы со значениями 'лист' (< **ухо* < ***rog* ') и 'самец' (**рогатый самец* '). Автору обзора хочется надеяться, что данная публикация Т.-Р. Вийтсо (как и некоторые моменты в других его работах последнего времени [Viitso 1992a, 1992b]) продиктована характерным для этого исследователя постоянным интересом к новым направлениям диахронического поиска (в данном случае — к гиперболизации той семантической эквилибристики, которая свойственна для этимологий Й. Койвулеhto и его последователей) и не означает перехода на явно тупиковый путь этимологических разысканий.

УКАЗАТЕЛЬ ФОРМ*

Для языков, не имеющих общепринятого алфавита, а также для нескольких языков, объединенных в один список, принимается следующий алфавитный порядок:

ʔ ə a ä b β c ċ d ḋ d̈ e ė ë f g γ h i j k l l̃ m n ñ ŋ o ö ɔ p q r s š ſ t̃ u ů v w x y z ž ž̃ z̃ 3 4 5 V

Все прочие диакритики игнорируются, а варианты букв считаются за одну букву. Допускаются отдельные отклонения от алфавитного порядка, позволяющие более удобно разместить формы (особенно из старых записей), приведенные в «нестандартных» транскрипциях (например, приравнивание *tj* = *t'*, *sch* = *š* и т. п.). Особенности алфавитного расположения для отдельных языков оговариваются дополнительно.

Языки расположены в указателе в следующей последовательности:

УРАЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ	538	Саамский.....	564
Прауральский и прафинно-угорский.....	538	Прибалтийско-финский.....	565
Самодийские языки	539	Финский.....	565
Прасамодийский и		Карельский.....	567
прасеверосамодийский.....	539	Вепсский.....	568
Селькупский.....	541	Ижорский.....	568
Камасинский.....	547	Водский.....	568
Маторский.....	547	Эстонский.....	568
Ненецкий.....	549	Ливский.....	568
Энецкий.....	552	ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК	568
Нганасанский.....	555	ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ	569
Угорские языки	557	Праиндоевропейский.....	569
Праугорский.....	557	Хеттский	569
Обско-угорские языки.....	557	Тохарские языки	569
Хантыйский.....	557	Индоиранские языки	569
Мансийский.....	558	Праиндоиранский.....	569
Венгерский.....	558	Митаннийский.....	570
Финно-пермские языки	562	Древнеиндийский, санскрит.....	570
Прафинно-пермский и прафинно-		Иранские языки.....	570
волжский.....	562	Армянский	570
Коми.....	562	Греческий	571
Удмуртский.....	563		
Марийский.....	563		
Мордовский.....	563		

* Составлен В. Ю. Гусевым.

Латинский	571	АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ	582
Романские языки	571	Праалтайский	582
Кельтские языки	571	Тюркские языки	582
Германские языки	571	Монгольские языки	588
Прагерманский	571	Прамонгольский, среднемонгольский	
Отдельные германские языки	572	и письменный монгольский	588
Балтийские языки	572	Бурятский	588
Прабалтийский	572	Монгорский	588
Литовский	572	Прочие монгольские языки	589
Латышский	573	Тунгусо-маньчжурские языки	589
Прусский	573	Пра- и общетунгус(о-маньчжур)ский	589
«Ятвяжский»	573	Эвенкийский	589
Славянские языки	573	Эвенский	590
Праславянский	573	Маньчжурский	590
Старославянский и древнерусский	576	Прочие тунгусо-маньчжурские языки	590
Древненовгородский	577	ДРАВИДИЙСКИЕ И ЭЛАМСКИЙ	
Русский	577	ЯЗЫКИ	590
Говорка	580	СЕМИТО-ХАМИТСКИЕ	
Украинский	581	(АФРАЗИЙСКИЕ) ЯЗЫКИ	590
Белорусский	581	ЕНИСЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ	591
Болгарский и македонский	581	НОСТРАТИЧЕСКИЙ ПРАЯЗЫК	591
Сербскохорватский	581	ПРОЧИЕ ЯЗЫКИ	591
Словенский	581		
Чешский	581		
Словацкий	582		
Польский	582		
Прочие славянские языки	582		

УРАЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ

Прауральский и прафинно-угорский

*aŋz 215
 *aswz 193
 *attz- 199
 *äjmä 191
 *čäptz 207
 *čele- 215
 *čenz 205
 *činz 205
 *čoka 211
 *e 199
 *elä- 191
 *ertä 192
 *ertäsz 192
 *ipse 199
 *itä- 199

*jelä 211
 *juta- 212, 303
 *jütz 306
 *-jz 471
 *-jz-mz 472
 *jzwz 15
 *-k 191
 *kađa 304
 *kaďwa 302
 *kaďwz 302
 *kala 191
 *kats 215
 *kauď 302
 *kawse 15
 *kaxsj 301
 *käďwä 18, 302
 *käďwz 298
 *kät 474
 *käte 474
 *keka 491, 492
 *kiče 200

*kinče 200
 *kinz(-lз) 199
 *kič(č)e 305
 *kič(č)u 305
 *komz(rз) 307
 *ko(n)čkз 304
 *korŋa- 201, 210
 *kose 301
 *koska 191, 212
 *kowsa 301
 *kuďjз 207
 *kuďз 304
 *kuksз- 206
 *kuma 200
 *kuha- 207
 *kuñci 522
 *kupsa- 200, 206, 207
 *kurз 206
 *kuse 301
 *küče 200
 *künče 200

*kūnz(-lз)
 *kappz 180
 *lappz 180
 *lapsz 210
 *lapta 210
 *lälappz
 *läppz- 18
 *leppz 180
 *lewet- 18
 *loluppa
 *lappz 180
 *lappz 180
 *m 191
 *mačče-
 *maida 2
 *miye- 49
 *m[i]rkз
 *molз 20
 *moške 4
 *mukča-
 *muna 20
 *mura 20
 *murз 20
 *muške-
 *mъz 19
 *-n 191,
 *nim 47
 *nime 47
 *nuxз- ('
 *nare 20
 *nepłз 2
 *nola- 2
 *noma-
 *nore 20
 *norз 20
 *nowŋa
 *nulkз 1
 *nъnz 20
 *oča- 19
 *omte 1
 *onte 19
 *orpa(s)
 *pała 4
 *pake 2
 *paksе-
 *pälä 4
 *peďpä
 *pel 47
 *pele- 3
 *pēle 4
 *pilms
 *piša 1
 *piša-
 *počka

- *kühə(-lɜ)* 199
**kəppɜ* 186
**lappɜ* 186
**lapsɜ* 210
**lapta* 210
**läləppɜ* 186
**läppɜ-* 187
**leppɜ* 186
**lewet-* 187
**loluppa* 186
**ləppɜ* 186
**lšppɜ* 186
**-m* 191, 499
**mačče-* 213
**maiða* 205
**miye-* 497
**m[i]rkɜ* 199
**molɜ* 208
**moške* 497
**mukča-* 206
**muna* 200
**mura* 200
**murɜ* 200
**muške-* 497
**mæɜ* 199
**-n* 191, 499
**nim* 475
**nime* 475, 497, 498
nusɜ-* (nušɜ-*) 200
**nare* 209
**neplɜ* 214
**nola-* 215
**noma-* 210
**nōre* 209
**norɜ* 209
**nowŋa* 208
**nulkɜ* 15
**nɔnɜ* 209
**oča-* 199
**omte* 194
**oŋte* 194
**orpa(sɜ) ~ *orwa(sɜ)* 194
**paɭa* 402
**pāke* 209
**pākse* 211
**pālū* 475
**peðpā* 210
**pel* 475
**pele-* 302, 498
**pēle* 475
**pilmɜ* 199
**piša* 199
**piša-* 533
**počka* 205
**pojta* 206
**poka* 207
**pōla* 475
**pu* 523
**puða* 207
**puðas* 178
**puða-se* 178
**puɣɜ-* 523
**pukta-* 206
**puna-* 200, 498
**puñca* 213
**puñčsɜ* 213
**pura* 498
**pušɜ-* 523
**puwɜ-* 523
**pū/ɣ/a-* 523
**pəiɜ-* 201, 211
**račɜ* 357
**repä (- -čɜ)* 193
**repšɜ* 193
**saksɜ* 302
**sala-* 305
**sejpä* 212
**seŋ* 475
**sene* 497
**sikɜ* 302
**sikɜsɜ* 15
**soksɜ* 302
**sōne* 475, 497
**suða* 279
**suðɜ* 19
**sukse* 15, 307
**sula-* 403
**suŋe* 200
**suxi-* 529
**səksɜ* 302
**sata* 189
**sele-* 215
**šilmä* 200
**šolče* 212
**šoppɜs* 187
**šoppɜ-sɜ* 187
**šorwa* 535
**soxi* 212
**surme* 210
**šuwe* 212
**šüðäm* 178, 195
**šüðä(-mɜ)* 178
**šärä* 19, 279
**šerä* 19, 279
**šiger* 195
**-t* 191
**tala(-sɜ) (?)* 193
**tä ~ *te ~ *ti* 200
**täŋɜ* 215
**to* 200
**toye-* 200, 497, 518
**tule-* 302
**tuppɜ* 186
**tuxli* 529
**uðar* 178
**uðɜm, *uðɜ-mɜ* 178
**ulɜ(-jɜ)* 209
**wajmɜ* 212
**wajŋe* 212
**wantɜ* 208
**waške* 498
**watta-* 210
**wečɜ* 201
**weñčɜ* 201
**wet* 474
**wete* 474, 498
**wetejɜ mɜ* 472
**wiðɜm, *wiðɜ(-mɜ)* 178
**woča* 308
**wol-* 402, 487
**wōte* 370
**won* (3Sg от **wol*) 402, 487

Самодийские языки

Прасамодийский и прасеверосамодийский

- *ä-* 199
**ämsä* 56
**äptä* 199
**äptä* 199
**ätä-* 199
**ätü-* 199
**ätɜ-* 199
a'ŋo* (aTŋo*) (пранен.-эн.) 215
**ājwā* 88
**ājwākātā* (ПСС) 88
**Ajwākātā* (ПСС) 89
**ājwā-mir* (ПСС) 88
**ājwā(n) mir* (ПСС) 25
**ä- (? ~ *e- ~ *ɜ-)* 199
**äärä* (ПСС) 44
**āmā¹j* 316
**āŋ* 56
**ā¹t¹ā¹* 16
**carkaj* 311
**cārkaŋ-* 16, 287, 293
**ceɜ* 16, 286
**cürä* 198
**eme* 42

- *ena-j 316
 *i- 198
 *ilā- 198
 *i-ntā 65
 *irjā (ПСС) 56
 *irz- (*irāj) 310
 *ilā 197
 *inapā 208
 *ināpā 197
 *itz- 198
 *-jā 87
 *jata- 212, 303
 *jācā- 288
 *jāle 211
 *jāṅkz(-) (ПСС) 138
 *jāṅor (ПСС) 23, 280
 *je 15
 *Jentāsš 18, 27, 279, 307
 *jeppā 279
 *jēkcš 16
 *jēk(з)ṛ'z 309
 *jesin 280
 *jikkā- 198
 *jilā- 198
 *jintā 197
 *jok- (?) 213
 *jokā- 213
 *jokö- 213
 *jork- (ПСС) 216
 *juāj 16
 *juntz 306
 *juta 190
 *jüntā- 198
 *jür 18, 198, 289, 297, 298
 *kājāli (ПСС) 42
 *kājwā 18, 279
 *kājwātā 18, 279
 *kājwāter (ПСС) 400
 *kāmā- 200
 *kāmti (ПСС) 400
 -kanal/-kāne 65
 *kāncā 281
 *kāntā (ПСС) 281
 *kāntān (ПСС) 400
 *kāntiṅ (ПСС) 400
 *kāñā- 207
 *kāñālā 199
 *kāñāli 199
 *kāṅār 16
 *kāpta- 207
 *kāptā- 200
 *kāra- 206, 210
 *kāṛā- 201
 *kāra 206
 *kārtā 67
 *kāṛā- 215
 *kāṛālāmā (ПСС) 42
 *kāṛā 215
 *kāṛā 200
 *kāto (ПСС) 215
 *ka 311
 *kaat 301
 *kāāt 15
 *kāātj- 15
 *kaatjā 301
 *kacā 304
 *kacu 304
 *kājkā 16, 56
 *kale 316
 *kāle 92
 *kanta- 312
 *kāptā 16
 *kārpā (ПСС) 23, 280
 *kāso(j) 16
 *kata 212, 310
 *kāma 209
 *kāma 307
 *kāntā (ПСС) 205
 *kāpt'i 207
 *kāsa 304
 *kāšerā¹ 15
 *kEδ' (ранне-ПС) 302
 *ken 18
 *keptā 305
 *keptu 305
 *ket- 206, 312
 *ketz- 206
 *ki 15, 18, 298, 302, 307
 *kiā 198
 *kija¹ 318
 *kilz 298, 302
 *kil' (ранне-ПС) 18, 298
 *kilz 298, 302
 *kite 398
 *kij 197
 *koajā 304
 *kopa 180
 *kurā- 281
 *kurko 281
 *küntā 198
 *küṅ 198, 398
 *kür 198
 *-kz- 14
 *laps- (ПСС) 322
 *lapse (ПСС) 322
 *lapta 210
 *lajitta (ПСС) 322
 *lettz- 180
 *leantāti (ПСС) 206
 *lepsā (ПСС) 400
 *l'iptz (ПСС) 281
 *māca- 213
 *māja 205
 *mālz- 208
 *mān 157
 *mānā- 200
 *māncz- 18, 279
 *māṛā- 200
 *māṛkā 199
 *mārki 199
 *macā(-) 213
 *mājāṅ (ПСС) 87
 *manto 208
 *maṅto 208
 *mas 398
 -mat/-met 66
 *māt 398
 *menūjā (ПСС) 400
 *merkā 56
 *merke 56
 *mi- 198
 *mir 198
 *mīr 197
 *mītā 197
 *moṅkā 87, 88
 *munt'o 15
 *munt'oṛ'sz 15
 *muṅkā 16
 *mur 197
 *nāt- 200
 *-nal/-nā 157
 *nārā 356
 -nat/-net 66
 *nākur 399
 *nerā 146
 *ni- 198
 *nim ~ *nūm 198
 *nitka 308
 *nikā- 197
 *niṅkā- 197
 -ntal/-ntel/*-tal/*-te 66
 *num 16
 *nu-nta 65
 *ñākā¹ 16
 *ñampa 399
 *ñārāmā (ПСС) 44
 *ñarso (ПСС) 209
 *ñā 279
 *ño'ña (?) *nōjna) 206
 *ñuāñ 209
 *ñuāñ 15
 *ñulkā 15

- *ñāmtā (ПСС) 400
 *ñāṇ (ПСС) 398
 *o 209
 *op 209, 279
 *pājmā 199
 *pājmi- 199
 *pājz (ПСС) 280
 *pāktz 219
 *pān- 200
 *pān- (ПСС) 211
 *pān- (ПСС) 211
 *pāṇkā 219
 *pāsā 220
 *pāsi(-) 220
 *pātā 200, 219
 *pāte 200
 *pāt³mā 208
 *pājñā 219
 *pajl¹z 15, 285
 *pāre 16
 *pārkā 219
 *pā 219
 *pātor 205
 *pejā (ПСС) 18
 *pelā 219, 356
 *peṇ- 289
 *peṇkir 16
 *peṇkapsān- 16
 *pepā 141
 *peptān² ~ *piptān² 219
 *pen- 219
 *pi- 198
 *picā- 219
 *pij- 302, 534
 *pils- 302
 *pim- 219
 *piñz 15, 206, 219
 *pisin- 220
 *pisi(ṇ) (ПСС) 400
 *pisz- 220
 *pija 312
 *piṭā (ПСС) 44
 *por- 373
 *porsā 373
 *posā- 220
 *potār 205
 *pszn 309
 *puā 208
 *puātā (ПСС) 44
 *puja 307
 *punsa, (?) *punso (ПСС) 213
 *putatā (ПСС) 173
 *pznso(j) 15
 *sāja (ранне-ПС) 19
 *sājā (ранне-ПС) 279
 *sājmā 200
 *sājme 200
 *-sā-kāj (*sā-kāñ) 310
 *sālca 212
 *sāltā 212
 *sāmā (ПСС) 83
 *sāmpālāṇkā 400
 *sāpoj 16
 *sāpsi (ПСС) 400
 *salka (ранне-ПС) 19
 *sālkā (ранне-ПС) 279
 *sāmpā- 16
 *sār¹ā 16
 *sāntā (ПСС) 205
 *sāntā (ПСС) 357
 *seč- 312
 *sejā 195
 *seli- 215
 *selū- (ПСС) 215
 *selūja (ПСС) 215
 *seṇka (ПСС) 398
 *seṇkā 15
 *seṇ 398
 *seṇātā (ПСС) 400
 *siṭakkā (ПСС) 322
 *siṭā 197
 *soj/ *sōj 212
 *siūtāpipsu (ПСС) 400
 *-sān (ПСС) 23
 *sit (ПСС) 398
 *site (ПСС) 398
 *sūrz (ранне-ПС) 19, 279
 *-t- (ПСС) 83
 *tā- 200
 *tā(-) 200
 *tā(-) 200
 *tājā 19, 279
 *tājwa 212
 *tālāTma (ПСС) 400
 *tān 157
 *tāṇ ~ *tāṇā 200
 *tāṇātī (ПСС) 400
 *tāce(pā¹) 16
 *t¹ajwa 212
 *talā- 305
 *tālkā 19, 279
 *tānsā 281
 *t¹ajwa 311
 *tet 15
 *tettā 398
 *t¹ēā 286
 *t¹ēz 16
 *tiā 201
 *tiā 198
 *tiāpā 201
 *titā (ПСС) 398
 *tiāzā 201
 *tija 398
 *tina (ПСС) 215
 *t¹irā- 197
 *tīt- 302
 *tītājāṇ 302
 *tītēṇ 15, 302
 *toā- 19
 *toān 19, 280
 *toj-/ *tuj- 302
 *to¹jmā 15
 *ton 19, 280
 *tōi (?) 311
 *tulz 302
 *tulz- 302
 *tutā 307
 *tutā 398
 *t¹ūj- 198
 *tūrā 398
 *tūt- 198
 *tūrz 19, 279
 *uta 189
 *ūtāz 306
 *ūnti (ПСС) 400
 *ūts 306
 *wāl- 67
 *wārkā 193
 *wac 308
 *wāc 281
 *wājma (ПСС) 56
 *warātīā (ПСС) 400
 *wājṇ- 23
 *wājñā 212
 *wājṇsān 23
 *wājñtāsān 23
 *wājñtāt (ПСС) 23
 *wān- 208
 *wānā(-) 208
 *wekāna 303
 *wekār(z) 303
 *weñz 306
 *wesā 307
 *wet- (ПСС) 210
 *wikārā¹ 16
 *wiṇkānce 15, 311
 *wūt 198

Селькупский

Большинство форм без специальных помет относится к тазовскому диалекту. При упорядочении

дочивании селькупских форм
q приравнивается к k (k).

aba (N) 73
adarmo 366
āḍāžä (южн.) 286
ak (N, Тым) 71
°āqqa (центр.) 365
aqqa! 93
akko 365
*āl 365
°ālpo (центр.) 365
*amər- 365
and (MO) 366
ang (K) 71
angde (Обь) 71
°antə 366
anti (Таз) 366
*āṇ 365
a-ṇgo 365
a-ṇgi 365
aṇgi- 365
*āṇgo 365
°āṇgo (южн.) 365
appa (K) 73
arka 228
aš 281
aša 281
ašša 281
°atə- 366
*atər- 366
°atərmo 366
atjrmō (Таз) 366
°awər- 365
awarmo· (СтС) 365
awarmo· (Тым) 365
äre 75
ceencang (K) 372
chārren (сев.) 70
čakka (Таз) 374
°čāncə 375
čanže- 375
časijil' 78
tschässok (сев.) 73
tsche (сев.) 72
čečang, čeečang (MO) 372
čehər 303
°čēncə 375
čēncək (N) 372
čentapo (Таз) 375
čenti- 375
česan 303
*čəkə- 211
čilqī (Таз) 377

čilqī-mpī- (Таз) 377
°činča 375
čokka (Таз) 374
°cončə 375
čonga (B) 376
čonž (Тогур) 375
čonqī (Таз) 376
tschopsak (Тым) 71, 72, 74
tschöfak (N) 71, 72, 74
tschöpsan (K) 71, 72, 74
čöšan (N) 75
čōntjīs (Таз) 18, 279
čōpi- (сев.) 78
čōpsj (Таз) 363
čōrpi (Таз) 309
ču(j)gūla 76
°čuš 375
tschüe (N, Тым) 72
tschünde (N) 72
tschünde (сев.) 72
čvor 375
čvōri 375
ēbi 366
ē-bü 366
ehe (N) 72
ēndlend (N) 75
énddə (K) 75
ēpagu (N) 366
eré (MO) 75
eréde (Тым) 75
esél (Обь) 72
essem (Тым) 72
éssem (K) 72
eweb (T) 71
éweb (N) 71
ewél (Обь) 71
éwem (K) 71
eṇ (сев.) 78
hāk (сев.) 71
hālsch (N) 72
hēbanža (N) 75
hémed (сев.) 71
hēng (сев.) 77
héseb (сев.) 72
hjuk (сев.) 73, 74
hormtsch (N) 72, 76
hō-tofat 373
huonnar (N) 374
hütte (сев.) 73
hündel (сев.) 77
il (N, K) 371
iil (OO, Tas, Kar.) 371
ima (сев.) 78

impjil' 471
impjil' mī 471
i-ndä (OO) 75
intäl' (сев.) 78
ira (сев.) 78
iré (K, Tschl.) 75
ireda (N) 75
irét (Обь) 75
irred (сев.) 73, 75
*īlə 371
īlī 371
īlī 371
*intə 75
īpa- 366
°ipaj (южн.) 366
°ipalčə 366
īpañ (Таз) 366
jēbe 366
je-bi 366
jēbi 366
kab 73
qādē (N) 301
qaj 281
qaj porqa 350
°kālčə 366, 367
kaldš (NP) 366
kalšu 367
kalžə (СтС) 366
qalporqa 350
kalžə (HC) 366
kam 75
qam (Таз) 350
*qāmə 307
qaməl' porqa 350
qamən pi 350
qampj 350
°qanək (центр.) 367
kanang (Обь) 71
kanang 367
kánang (Tas) 367
*qančə 77
kandak (N) 367
kandang (MO, K, NP) 367
qandē-čku (Ласкино) 367
kandék (N) 367
kandək 367
qandepka 367
qande-ptəgu 367
káneng 367
qanjik 367
qanjij 367
*qantə 77
*qantək 367
*qantäk 367

°qantāp
qanti (T
qantipl'
kap 73
kap/kāp
kapai (N
kápénj 3
kápé/ka
kārā-ljm
karamò
kargə 36
kargaj 3
kargu 36
karren (N
kart (N)
qas (Tol
kās (K)
kaas (N)
°qāsə 36
°qāsəra
kaasera
qāsirə 3
qatqī 78
qauñ pi
qawən p
kāz°ra 3
qaza (T
kā (N, T
kām 75
kē (NP,
qeacə (C
keām 75
keba (M
kē-balkē
kētsche
kem 75
kēpa/kej
kēsən 30
kēžər 30
*kē 75
qē (сев.
qē (Таз)
qeqir (T
*kēm 73
kēm (Ta
*kēpə 7
*kēptä 7
kēsə 25
kēsj (Ta
qēittj (T
khande
qisqāl' p
kiunde (C
kī 306, 3

- °*qantäptəpəl'* 367
qantī (Таз) 367
qantipil' 78
kap 73
kap/kāp 75
kapai (NP) 366
kāpənj 366
kāptél/kaptè (N) 75
kārā-ljmo (Tas) 367
karamò 367
kargə 368
kargaj 368
kargu 368
karren (K) 70
kart (N) 70
qas (Торып) 368
kās (K) 368
kaas (NP, B, Tas, Kar.) 368
 °*qāsə* 368
 °*qāsəra* 366
kaasera (Tas, Kar.) 366
qāsirə 366
qatqi 78
qauñ pi 350
qawən pi 350
kāz'ra 366
qaza (Торып) 368
kā (N, Tsch., OO) 75
kām 75
kē (NP, K) 75
qeače (OO) 301
keām 75
keba (MO, Tsch., OO) 75
kē-ba/kēbā/kiba (N) 75
kétsche (сев.) 74
kem 75
képa/kepa (K) 75
kēsən 303
kēžər 303
 **ke* 75
qe (сев.) 78
qē (Таз) 304
qeqir (Таз) 303
 **kem* 73, 75
kem (Таз) 43
 **kepə* 73
 **kēptā* 75
kēsə 251
kēsī (Таз) 307
qētti (Таз) 308
khande 367
qışqıl' pōrā (Таз) 371
kiunde (Обь) 72
kī 306, 307, 369, 373
- kī/kī* 369
qi- (Таз) 43
kīmi- (Таз) 43
 **kīpa* 75, 77
kīr/kīrj- (Таз) 43
 -*qo* 76
qō 78
qoač (N) 308
koč 73
 **qōč* 73
 **qōčcu* 73
 **qoči* 73
kodj (Обь) 74
 °*Koh* 369
kolā (Kar.) 369
kollā (Tas) 369
 °*kollal-lōsə* 369
kōm (MO) 75
qōm (Tsch.) 75
qoñ/qō- (Таз) 43
qopə 46
qopə (K) 187
 °*korəmcā* 367
kora 367
gorqi 283
koromdšā (Tas) 367
koromdše (N) 367
koršarj (Таз) 376
 **qotə* 308
kota 312
kož 73
ko (N) 368
 **qō* 368
kōtsche (N) 74
kōe (Обь) 72
kōn (K) 75
 °*qōpo* 368
kōpte (N, сев.) 75
kōsun (MO) 75
qōt (Парабель) 368
kōin (N) 75
qōlti (Таз) 366
qōmī (Таз) 307
ku (N) 369
 -*ku* 76
kū (B, Tas, Kar.) 369
kuāgana (Обь) 74
kub (сев.) 70, 75
gub 70, 75
kub/kum (N) 70, 75
quegar (N, OO) 303
 °*qūl* (*qūlə*) (центр.) 369
qūlj (Таз) 369
 **qulqo* 309
- kum* (K) 70, 75
kuum (Обь) 70, 75
ḡum (OO) 75
qum (Таз) 43
kumala 283
qumi- (Таз) 43
kuoger (сев.) 74
kuogor (N) 74
ḡup/ḡop (N) 75
 °*kūpo* 369
 °*kura-* 369
 °*kuraj* (южн.) 369
 **kurai-* 210
kurāu (MO) 369
kūrau (MO) 369
kurj- (Таз) 210
 **Kūs-* 369
 **Kusə* 369
qusirj- (Таз) 369
kuuska (K, Tsch., OO) 369
Kutaš 69
kūzəra (Тым) 369
 kū-*/tū-* 81
kūbā (Обь) 74, 75
kūba (N) 74, 75
kūe (K) 72
kūgāi (Обь) 77
kūnde (Обь) 72
kūpa (сев.) 74, 75
 **q*"*ēčə* 281
 **k*"*esə* 307, 308
kye (OO) 374
kyelom (N) 280
 -*la* 76
lāpī/lapī (Таз) 43
lāmbak (N) 75
lāmbang (OO) 75
lep 370
lēmbak (N) 75
lēmbang (MO) 75
 **lērəmpə-* 75
līmba 370
līmpā (Таз) 370
ločjko 283
loga (Tschl., OO) 46
los (MO) 370
 °*lōsə* 369, 370
lōose (K, N) 72
lōssi (Обь) 72
lūuse (сев.) 72
lūppok (сев.) 73
 -*l'* 471, 472
 -*l'mj* 472
l'ekarsə 283

lekarso 283
lepsa-lžambədi 370
māčij/māčij (Таз) 43
madər 371
magaj 370
maka (N) 370
maká (N) 370
makka (Таз) 370
man (K, сев.) 70
man 157, 471
man mīmij 471
°māramčə 370
marendžet 371
maarndženg (Тас) 370
maromžə 371
mat (N) 70
**māt* 370
°mātəko (южн.) 370
°matər 371
matjir (Таз) 371
**matə* 205
mentäl 471
mentäl' mī 472
**mī* 471
mī 472
°mīka 371
mōga (N) 370
°moqaj (южн.) 370
moqka (K) 370
mōi 370
mōijko (Таз) 370
°mūč 371
muuč (B, Tas, Kar.) 371
munijik (сев.) 78
-n 371
nāl qum 78
nedek (N, Тым) 71, 73
nedək (N, Тым) 71, 73
nelgul (N) 74
nep 370
nessan (СтС) 369
nip 370
nipsa (Обь, сев.) 72
nipse-tepte (N) 72
nitteng (K) 71, 73
-(n)ni 76
nob (сев., Тым) 70
nōb 73
**nom* 73
nom (Обь, K) 70
nom (Таз) 43
nōp 73
**nopə* 73

nopp (N) 70
nū- (Таз) 43
nub (Тым) 70
nutsch (N, сев.) 76
num (Обь) 70
numma (N) 77
num/nub (N) 70
mīnga (сев.) 77
njab (N) 77
Nandesī (NP, южн.) 18, 279
ñarkizaqqin 368
ñassala (HC) 369
njābi (N) 77
njāp (Обь) 77
**ñimərä* 71, 75
**ñipsə* 72
**ñoma* 71
Ñomal' porqī 36
**ñūčə* 74
njūdsche (Обь) 76
ñulk 368
ñulkšəŋ 368
ñur (Таз) 376
ñuriš (Таз) 376
°ol (центр.) 371
**olə* 371, 373
on- 47
ög (N) 75
ög/ōk (MO) 75
ōng (N) 376
ōrran (K) 73
ōqqal' 93
ōqqī (Таз) 365
ōlpo (сев., Таз.) 365
ōmtj- 274
ōmtjil' qoŋ (Таз) 274
pa (Обь) 71
paa (K) 71
°pača 372
pādar (N) 205
paador (MO) 205
padža 372
padža (Тым) 372
págge (N) 71
pagi-l 371
pahadšap (N) 220
paḳ (Tas) 371
pāḳ (N) 371
paqī-l 371
**paq-īl* 371
°paq-īl (центр.) 371
°paq-īlž 371
paḳḳ'a (Tas) 371
paqqi 371

paḳtur (Tsch., OO) 219
paŋg (MO, K) 371
pānga (сев.) 71
°paŋqə (южн.) 371
**paŋqə* 371
**paŋqə-īlə* 371
**paŋqə-īlčə* 371
pasışqo (Таз) 220
pata 372
paḥ (N) 371
pēärē (N, NP) 371
**pēmə* 71
pin (K) 70
pit (N, Тым, сев.) 70
pīti (Таз) 212
**pitīa* 77
**po* 365, 372
po (N) 368, 369
-po 375
pō 367, 372, 375
poadur (Tsch., OO) 205
pood (MO, K) 372
pōd (N) 372
pōd 372
podal (N) 373
pōəsi (N) 372
°poq (центр.) 372
pōka 372
°poqqal' pō (центр.) 372
pol-zak 368
**pončə* 372
ponž 372
ponžə 373
**ponqə* 372
**ponqəl'°poqqə* 81
°pōrä 371
pōrä (Таз) 371
pors (Тым) 373
porsj (Таз) 373
°pōsə (южн.) 372
pōš (Тым) 372
**pōšə* 372
pōšj (Таз) 372
**poi-, pot-* 372
°pōtə 372
pōžəgu 372
pōžugu 372
**-psan* 374
**-(p)san* 370
pucai (K) 373
puŋsch (N) 77
**puča* 373
pudal (N) 373

puḳjunc
puoreä
pur (Ta
**pura* 7
°puräl
**pūrə*
purilla
puris ('
purij ('
purulž
**puta* :
puta (1
putcai
putcai
puža :
puža 3
pužal
pū (Ta
pūl 47
pūl' mī
pynger
Ratta
**Rättu*
Rōtra
rusch
sak (K
ssak (K
saldq
sāmb
**sāñu*
say (1
ssällg
se (K
seber
sseul
serj (i
selj-
si (K
sī 71
ssi (K
ssid-
ssidj
siee
sirre
-sī-q
**sīr-*
**sīr-*
sīrj
sīw
sooq
soq
**sō*
**sō*
solc

- puđjunöll* (Обь) 77
puoreä (B, Tas) 371
pur (Tas) 373
**purä* 77
°puräl'ki 373
°pūrān 373
purjita (Taz) 373
purjś (Taz) 376
purqi (сев.) 78
purulža 373
**puta* 373
puta (Taz) 373
putcai (K) 373
putcai (NP) 373
puža 372
puža 372
pužal yər 373
pü (Taz) 208
pül 471
pül' mǝ 472
pyngr (K) 77
Ratta 92, 93
**Rätta* 92
Rōtta 92, 93
ruschel mat (сев.) 74
sāk (K) 71
ssak (Обь) 71
saldafat 373
sámblang (сев.) 72
**sāna* 216
say (N) 72
ssällgie (Обь) 72
se (K) 71
sebandjá (MO) 75
sseul (Обь) 72
sgrj (сев.) 78
selj- (Taz) 215
si (K, сев.) 71
sī 71, 298
ssi (Обь) 71
ssid-jónijet (Обь) 77
ssidyniet (Обь) 71
siee (Обь) 71
sirre (сев.) 73
-si-qā-qī (Taz) 310
**sīrā* 72
**sīrqa* 374
sīrqi (Taz) 374
sīwīncā 283
soogonnau (Обь) 374
sogor (MO) 376
**sōqāltā-* 374
**sōqāltapsan* 374
soláng (Обь) 71
sólla (сев.) 71
sóllak (N) 71
sóltafan 374
sóltafsan 374
sōl (сев.) 78
sōl'sōlī- (Taz) 43
soma 471
soma mǝ 471
ssómbel (Обь) 72
sómblag (N) 72
song (MO) 376
songa (K, NP) 376
songo (Tsch., Tschl., OO) 376
sonjal 375
sormisch (Тым) 72, 76
sórmische (сев.) 72, 76
soroldó (Обь) 72
sotsa (Torgyp) 374
**sōtsa* 374
soottang (MO, NP) 374
sōqir (Taz) 350
sōna (Taz) 216
sūrjil' 471
sūrjil' mǝ 472
šaja 318
-šak (-šaq, -sak, -saq) 368, 374
schāk (N) 71
-šaq (южн.) 374
šāq/šāqi- (Taz) 43
sche (N, Тым) 71
scheak (сев.) 71
schel (сев.) 71
šen (Taz) 43
šenti mǝ 472
šī 298
šī (N) 302
šī- 47
schiba (сев.) 77
schidæ (N) 71
schig (N, Тым) 71
schindy (N) 72
šīnj- (Taz) 43
schittetschángut-kōt (N) 77
schittidächun (сев.) 77
šittǝ 471
šittǝ mǝ 471
šogor (N) 376
šok (N) 376
°šoqar 376
šōqir (Taz) 376
šongol (B, Kar.) 375
**šonol* 375, 376
**šonqa* 376
°šowol (центр.) 375
šöl 375
šunksaq, šunšaq, šunqasaq 368
-i 76
-iā 366
tāgan (K) 71
tagget (N) 71
tagi 71
tāqitqo (Taz) 43
**talīā* 212
**talīu* 77
tāmma (сев.) 71
tan 157
tāssui-ūt (Обь) 74
tāua (N) 71
tāwa (Обь) 71
teb (MO) 75
teb/teb (N) 75
tebā (OO) 75
teu (N, MO, OO) 75
tērā 19, 279
tibbo (Тым) 73, 75
tebeb (N) 73, 75
**tiñā* 206
tīqaptīn 283
tīpīl' qum 78
tippa (K) 75
tippi (K) 73, 75
tj- (Taz) 43
tjđjzaq 368
tō 373
tob (сев.) 74
toban-ildšet (N) 371
tobóll (Обь) 74
tod 73
°tolāq 374
tolīq (Taz) 374
ton (Обь) 70
**tōn* 73
tonij (Taz) 375
tōpo (N) 74
tot 73
tot (N) 70
totn (сев.) 70
tōo (N, Тым) 71
tōl/tōlī- (Taz) 43
tū (сев.) 78
tūba (N) 374
tū-bek (N) 374
tulj-š- (Taz) 302
tultj- 302
**tūp-* 374
tūpīl' (Taz) 374
tuś (Taz) 375

- *tutə 73
 tū 228
 tül'pur (Таз) 376
 *tūmə 71
 tün 228
 tūšj 281
 tūu (K) 71
 tūum (сев.) 71
 tūbal (Обь) 73, 75
 tūqī poq (Тогул) 374
 *tūrpə 310
 tjinnaui (MO) 375
 *tūŋqə 376
 tjöpsāng (Обь) 71, 72, 74
 tju (Обь) 71
 tujqum 76
 tūwēr 375
 °t'wesaŋ (K) 374
 tje (NP) 374
 uarga 228
 uarke 228
 ud'od (N) 75
 udə, uDə (центр.) 190
 udə (OO) 75
 ukōl' 471
 ukōl' mī 472
 ulgōi-soroldó 74
 ulqa (/qulqa) (Таз) 309
 *ulqo 309
 utə (сев.) 190
 uttə (K) 190
 uttə (K) 75
 ū-tta (K) 187
 ügēll (Обь) 73, 74
 ūk (N, Тым) 73, 74
 ūku (K) 73
 üng (N) 376
 üngend (сев.) 76
 üngontsch (N) 76
 °üŋkə 376
 üŋkīlsa (сев.) 78
 üssamī 77
 °üt 376
 °ütəš 376
 ütjil' mī 472
 ütqil' tōtj 376
 ütkol-kül 74
 wač 374
 wačipo ~ wāčipo 93
 weččj- 339
 wešj- 339
 weššē- 339
 yg (N) 75
 ygo (Tschl., OO) 75
 yngə (B., Jel.) 376
 yngo (Tschl., OO) 376
 zapack (N) 71
 авоенъ (K) 77
 авой (Обь) 75, 77
 агур- (K) 71
 актъ (сев.) 71
 акъ (N) 71
 амор- (сев.) 71
 аморко (сев.) 76
 амъ (Обь) 71
 анз 366
 анъ (K) 71
 апсы (N) 72
 ау (Обь) 77
 аур- (N, Обь) 71
 аургу (Обь) 76
 афы¹ паксы¹ нючи (N) 72
 весь (Обь) 78
 воркуля (Обь) 76
 евель (Обь) 71
 екъ (N) 71
 енгъ (Обь) 71
 ига (сев.) 77
 инда (Обь) 75
 инды (N) 75
 иредъ (K) 75
 иреды (N) 75
 иреты (сев.) 75
 -ка 366
 кава-лоз 369
 кажса (N) 71
 каза (Обь) 71
 канакъ (N) 71
 кананъ (Обь) 71
 карамо (Обь) 367
 кашкóу (Обь) 78
 квай (Обь) 366
 квен (Обь) 368
 квент (Обь) 368
 квѣнт (Обь) 368
 кебъ (N) 70, 75
 кемъ (K) 70, 75
 кемъ (Обь, сев.) 70, 75
 кѣнт 368
 кѣнбар 78
 кепъ (N) 70, 75
 ко (Обь) 78
 козы (N) 72
 коръзырь (K) 72
 коръхырь (N) 72
 котял'котел (Обь) 78
 кошегаесъ (сев.) 77
 кошига (N) 77, 77
 кумъ (Обь) 70, 75
 купъ (N) 70, 75
 кураи (Обь) 369
 кыгай (Обь) 73, 77
 кыгай (Обь) 78
 кыгыди- (Обь) 74
 кыгыдыль (N) 74
 кыкъкай (K) 73, 77
 кында (Обь) 72
 кю (Обь) 72
 кюнде (Обь) 72
 кюсянъ (K, Обь) 72, 75
 кюу (Обь) 72
 кюз (Обь) 72
 кюю (K) 72
 лерембанъ (Обь) 75
 лерымбакъ (N) 75
 логы (N) 72
 лоз (Обь) 370
 ломъ (Обь) 70
 манъ (Обь) 71
 мат- (N) 71
 могай 370
 муч (Обь) 371
 нап (N) 70
 не (Обь) 71
 нева (N) 71
 недекъ (N) 71
 нѣйгом (Обь) 78
 неуре (Обь) 71, 75
 ниденъ (Обь) 71
 ниуре (N) 71, 75
 номъ (K) 70
 номъ (Обь, сев.) 70
 нюдуикоптъ (Обь) 74
 нючильпачиты¹ чотчи (N) 74
 нябъ (N) 77
 няпъ (K) 77
 орабъ (сев.) 70
 оромъ (K) 70
 орупъ (N) 70
 па (Обь) 71
 павы (N) 71
 пангы 371
 пеу (O N) 71
 пинъ (Обь) 70
 питъ (N) 70
 поджа 372
 поры- (N) 78
 потку (Обь) 372
 пуджи (N) 77
 пуджиноль (K) 77
 пурулто (Обь) 373

пучь (Обь) 78
рушь 352
сакъ (Обь) 71, 72
сакъкъ (К) 72
салды (Обь) 72
салжи (N) 72
салжже (сев.) 72
сальжи (К) 72
се (К) 72
себука (К) 72, 74
сега (Обь) 71
сей (Обь) 71
селу (Обь) 71
сибинжа (N) 75
сиджа (К) 72
сидиендетъ (Обь) 77
сой (К) 72
сокъка (К) 73
солжи (N) 72
сольже (сев.) 72
сорагъ (Обь) 71
суромъ (Обь) 70, 72
суру (сев.) 70, 72
сурумъ (К, О) 70, 72
сурупъ (N) 70
сырь илмат (N) 72
сычъ (сев.) 72
сюу (Обь) 71
тава (Обь) 71
тавур 374
тагы- (К) 71
тагынь (сев.) 71
танбар (Обь) 78
тар (Обь) 78
таур (Обь) 374
твега (N) 74
твеко (К) 74
тебёгом (Обь) 78
теву (К) 71, 75
тёго (Обь) 74
тёгы/тёган (Обь) 78
телда (Обь) 74
тель (сев.) 74
тибъ (К) 74
тибы (N) 74
тиву (N) 71, 75
тима (сев.) 71, 75
тинга (Обь) 74
типа (сев.) 74
тиу (N) 75
това (N) 71
толам 374
тонъ (Обь) 70
тотъ (N) 70

ту (Обь) 78
тыбилкупъ (сев.) 75
тыу (Обь) 71, 75
тю (Обь) 74
тюка (сев.) 74
тюшатъ (сев.) 72, 72, 75
угемъ (Обь) 75
уда (N) 73, 74, 75
улго (Нижняя Чая) 309
унжель (сев.) 77
ута (К) 73, 75
утоль (сев.) 73, 74, 75
утъ (Обь) 73, 74, 75
хиджа (N) 72
ховаракъ (N) 71
хуръпъ/хурпъ (N) 70, 72
хырыльнипы (N) 72
хырыльнифыл юрь (N) 72
чвѣ (N) 72
чель (К, N) 74
чинга (N) 74
чинды (N) 72
чо (N) 72
чугулы 76
чю, чюю (N, сев.) 72, 74
чюжсекъ (N) 72, 75
чюнды (N) 72
шакъ (N, сев.) 71, 72
ше (N) 71, 72
шебы (N) 72, 74
шебя (сев.) 72, 74
шегы (N) 71
шелы (N) 71
шерба'ютъ (сев.) 75
шет (сев.) 72
шибо (сев.) 77
шидагылкетъ (N) 77
шу (N) 71
эвемъ (N) 71
юзу (N) 75

Камасинский

aba 228
aktayaš 314
bara 207
baktā 206
Bögödjī (койб.) 87
Bögöshä 87
enst'i 297
kaŋgyjak 316
mäkter'lam 206
mija 205
muni 228

nor 209
phiändeläm 289
phigije 209, 297
phōti 285
pikkā 297
p'ō'du 285
pooto (койб.) 286
saima 228
sed-em 312
sile (койб.) 302
ssillae (койб.) 302
šaja 318
šan 312
šajā 318
šili 302
t'an 308
than 308
to 286
tēji 206
uda 190
uruga 228
iijūni 46
wəra 207
инзиде (койб.) 297
ка (койб.) 311
кайля (койб.) 207
мугна (койб.) 311
пѣья (койб.) 297
подо 286
тятъ (койб.) 311

Маторский

-ər- 317
abjs 290
abydda, 228
ailāk 314
ajlak 314
ak korgolžin 288
aksagas 314
aktälä 287
aktälän 287
ala 287
alban 288
aldəŋ(g)aj 288
alma 288
altin 288
amgandünbischingas 220
andəldä 288
aŋjir 287
*arā- 295
argalä 314
argalae 314
argäle 208, 314

árgale 314
 árgali 314
 askj̄r 287
 astā- 317
 āmī 316
 bagj̄r 288
 baj 288
 bEsā 288
 bēn 286
 bičik 289
 bitschiktschi 296
 bičülöp 315
 bigürä 288
 bihil'k 296
 bijä 205
 bir 288
 bischigä 220
 bischigä 220
 bischigedä 220
 bischinnergum 220
 bisigä 220
 bisin- 220
 bissinschi 220
 bīzo 287
 Bogoshe 87
 bolat 288
 bora 287
 borogón 295
 bosomo 220
 bósomo 220
 bozrak 287
 buka 287
 bułtschin- 296
 buluk 309
 burkan 290
 bügürä 288
 changaijak 316
 changárgan 287, 317
 charkja 296
 chásta 286
 chēdide 219
 chérugulam 296
 chūcto 219
 chylm̄y 296
 čabkəpso(n) 309
 čagādi 309
 čagluk 288, 315
 čaktan- 315
 čala 287
 čalaŋ 287, 289
 čāluk 288, 315
 čar 289
 čārE 286
 čĒči 290

čeda 288
 čes 288
 čidā- 288
 čika- 287
 čogār 287
 čojbuh 289
 čok-čal (čök-čal) 315
 čuj 288
 čujbuh 289
 čukun 288
 čügān 287
 čūr 289
 čūs 289
 -de 316
 dengi 287, 316
 donhoi 293, 295, 297
 dschāluk 315
 dschisū 289
 dschün/dschüd 296
 dshokom 295
 dsjagluk 315
 dzjāla- 295
 EdE 287
 enstī 297
 enži 288
 eseréschie 296
 eserirgem 296
 geimomsa 310
 gīm 286
 gūmgūde 316
 hainga 219
 hajŋa 219
 hāla 289
 haŋga 219
 harga 219
 hārga 219
 hāschte 286
 hāschte 286
 hā 219
 hādā 219
 hālā 219
 hālla-hinde 219
 hedibsin 289
 helme 288
 heŋ- 219
 hidā- 219
 hidibsin 289
 him- 219
 hongā ~ hongō 288
 höbtet ~ höbte'n 219
 höngəbsin 289
 höngür 289
 hōptet 219
 hūje 219

huktā 219
 hūne 219
 hungito 297
 hungusishta 289
 hūja 219
 hūnā 206, 219
 inī 316
 inži 288
 irei 310
 jadoko 288
 káitschi 296
 kaj 295
 kaj- 315
 kajār 288
 kajgu 289
 kajlagak 317
 kalj 317
 kamžj 287
 kangajak 287, 316
 kangargan 317
 kastuk 288, 318
 katkan 288
 kälän-käbti 288
 kälā 316
 kāpti 207
 ke- 310
 kejbe 286
 kémngnā 310
 ki 298, 302
 kidde 398
 kinām 288
 kip 288
 kir 295
 k(i)randār- 287
 k(i)ri 288
 kiško 287
 kodan 295
 kodon 295
 koj 287
 kojabsin 288
 kola 288
 kolhon 296
 konin 287
 koŋgoj 288
 korgolžin 288
 kōlār- 287
 kölljadsche 297
 kõngmā 310
 kuča 287
 kágo 293, 295
 kulun 287
 kuragan 287
 kurgu 296
 kustuk 288

kü- 288
 kümga
 kümiš
 lähä 28
 māasa
 madā
 māza 3
 māt 29
 mEj(ə)
 m(i)nā:
 m(i)nā:
 mindi 2
 mīngan
 mōndoi
 mōjūh
 mūhu 2
 mungu
 muštār-
 müŋgū
 mūr 288
 nitkā 30
 num 28
 numak
 nej 288
 nEymā
 nēli 288
 nūnda 2
 ondoj 21
 ongoso
 ongoso
 orgo 22
 ornazar-
 öläŋ 317
 ör 287
 pisiga 2
 pissinsci
 -pso(n) 3
 sadižj 28
 sal 287
 salā 296
 sārchun
 sarhun 2
 sartā- 28
 schāshai
 schiebida
 schimeda
 sed 288,
 sichdā 28
 sijbi 318
 soglok 28
 sokto 296
 sokt'rgen
 solo 287
 susū 289

kü- 288
kümgə 316
kümis 288
lähä 287
máasa 316
madə- 286
māza 316
mät 290
mEj(ə)tE 287
m(i)näsä 288
m(i)nästər- 288
mindi 288
mingan 289
mōndoh 289
mōjuh (? *mojuh*) 289
múhu 288
mungu 288
muštər- 317
müngü 288
mür 288
nitkä 308
num 289
numak 290
nej 288
ñEñmä 287
ñeli 288
ñunda 286
ondoj 287
ongoso 296
ongoso 287
orgo 228
ornazər- 288
ölän 317
ör 287
pisiga 220
pissinschum 220
-pso(n) 309
sadiži 288
sal 287
salä 296
sárchun 296
sarhun 289
sartə- 286
scháshai 296
schiebidaeda 318
schimeda 228
sed 288, 296
sichdä 288
sijbi 318
soglok 287
sokto 296
soktyrgem 296
solo 287
susu 289

sügän 288
süskü 287, 318
šili 298
šor 287
šorška 287
šoška 287
tabtəjər- 288
taja 19, 279
takja 287
talán 290
tar 288
**targaj* 294
**targəs-* 294
tädE 289
täjbä 311
täl(ə)gät 288
tälər- 288
tEñ 319
tErə 290
terge 287
tegä 286
təmdə- 288
təmdər- 288
tigir 290
tizäk 287
tolgan 288
toñ(g)oj 286
tör- 289
törə 289
toru 287
tölgälər- 290
tschäpkon 295
tugün 288
tun 289
turmok 288
uda, uDa 190
urluk 290
us 288
üdü ~ üdä 286
üdü 293, 295
ангырь 295
арамдыямь 295
бизжингемь 220
бизнегемь 220
бичюлёрь 315
бишке 220
булонь 295
гептынъ 219
джактынгаемь 315
зедкыръ 290, 296
идиямь 219
имдымтчиайтыгы 219
кай(дждага) 289
каямь 207

коймукты 288
кунырю 296
муштыришта 317
никсийямь 287
ниткиде 308
охтэ 219
тайбе 311
тугокъ 319
тчэкъ тчаль 315
тыгокъ 319
тялямамь 287
улянъ 317
ум 295
уммерга 295
урлукъ 295
ха 219
хадыде 219
хайлыгакъ 317
халы 317
хānga 219
хашта 286
хеннамь 219
хиддиямь 219
шая 318

Ненецкий

Большинство слов без специальных помет относятся к тундровому диалекту. См. также список слов старовосточного диалекта ненецкого языка на с. 53–55.

áddi (сВ) 52
amtaí^p 140
awka (Т) 321
-b⁹(-) 130
-bä- 129
behánna (сВ) 51
bi (сВ) 51
bü, büu (сВ) 51
-dä- 129
düñ (Л) 400
gaborta 228
gingäni (сВ) 51
-j 91, 132
ja 137, 140
ja⁹namd 353
ja⁹çora 353, 354
jabe šo 134
jabri 128
jadçäna 130
jäðäçainn (Oks.) 130
-jagä (сВ) 51

- jāl* 206
jāmču (O) 216
jang(a)ña (T) 51
jaši[?] 137
Jen(ā)ša jam[?] 18, 279, 281
Jenša kārbat (Jl) 18, 280
jepc 400
jeru 228
ješa 251
jew (cB) 52
Jewši (Jl) 89
jexēna (T) 51
jī[?] (T) 51
jī'īlxa 129
jille 228
jilē 130
jileš 128
jingaņej (T) 51
jingņej (T) 51
jonaře^e 140
jū[?] (T) 51
jūda (cB) 51
jun 400
juna (T) 51
junō (T) 51
jūt (Jl) 51
Juxu 91
Juxu[?] 91
kał (Jl) 46
kał' n (Jl) 46
kan (Jl) 51
kāt (Jl) 51
kau (cB) 51
kirwa (cB) 52
-kī- 143
kōj (Jl) 304
kuo (cB) 51
lābcoj (T) 322
lād 86
ladiku (cB) 51
lamdō (T) 51
lāpca- (T) 322
lāpša (Jl) 322
lata 92
lata (T) 322
lēmbara (T) 51
libbe (cB) 51
ljabarra (cB) 51
**luātsā* 282
lūca 282
līmba (T) 51
līmpa (Jl) 51
līpt[?] 281
-m[?] 140
ma[?] 398
ma[?] 129, 398
mā[?] (T) 51
ma'āma[?] 129
ma'ma[?] 129
mačār (S Nj) 371
madadm[?] 128
mađ'ēr[?] (O Sj) 371
māđarć (Sjo.) 213
maja[?] 87
mam[?] 140
mando 82
mantu 82
marāga (cB) 51
maranga (T) 51
mašmān (Nj.) 65
mašmānna[?] (Nj.) 65
mañ 51
mañ (Nj.) 65
mañā 157
mañije- (T) 51
mañ mîĕj (Jl) 471
mañña[?] (Nj.) 65
Māngañsi 38
māt (Jl) 51
mātar (Nj.) 213
meāraņ 133
meñuj 400
meš 132
-mi 137
mij- 129
mir[?] 87
mire[?]- 87
mireta 87
mī (Jl) 471
mjā (cB) 51
modi (cB) 51
modie- (cB) 51
monga 87
Monganzi 87
múdsju (cB) 51
mudūt (cB) 51
m ɹ ɛ̃m qat^p 140
mug (cB) 51
mung (T) 51
munnūśsa(η) (Jl) 51
munōč[?] (T) 51
mūnzu[?] (T) 51
nadsik (cB) 52
nara 356
narako 356
nārmātj (Cēmжа) 356
nārmej 356
nārmejī (Cейда, Обдорск) 356
nāessa (cB) 52
nekal- 64
nhārrudodijālle (cB) 51
niervēā, nieriveā, nieliveā,
nielweā (Jl) 208
nub (cB) 51
nūm (Jl) 51
num[?] (T) 51
nu-na 65
ña 143
ña[?] 398
ñā[?] (T) 51
ñaba 312
ñāblūj (O U) 214
ñāđanĕjini[?] 143
ñallō- (Kis.) 215
ñamba 399
ñamd 400
ñampluj (S) 214
ñāñ (T) 52
ñāņ (Jl) 51
ñapplūj (Jl) 214
ñār[?] 129, 135
njarka 228
ñāxalomtej (Jl) 51
ñaxār[?] 129, 399
ñāxaramdej (T) 51
njāng (cB) 51
ñe 129
ñē 129
ñē[?] 129
ñēblūj (Sj.) 214
ñēm[?] 129
ñēņwa 398
ñer- 146
ñi-ña 65
ñiś 132
ñu- 149
ngābsa (cB) 51
ñābt'-e-ć (T) 201
ngāddu (cB) 51
ņamgi 281
ņamgi 281
ņamsa (Jl) 51
ņamza (T) 51
ņāñjβēñ[?] 143
ņannū (Jl) 51
ņanō (T) 51
ņasāda 88
ņāwĭ 281
ņawka (T) 321
Ñāeiwwasatta 89
ņāewa mir[?] 88
ņāewa-mir[?] 25

- (η)ās 133
 ngidde (cB) 51
 ñileka 283
 ñin (JI) 51
 ñob² 130, 143
 ñōb² (O₂) 130
 ngu (cB) 51
 ηu² (T) 51
 ηu²āī (JI) 209
 ηuōa 190
 ηumbja 146
 ηut (JI) 51
 ηutta 190
 Ŋuuči (Wuuči) 89
 ōliuku 312
 -p²(-) 130
 pā 129
 pā 129
 pā² 129
 pada- 128
 padwi 128
 pāder² 383
 pāj 280
 pānt² 143
 parad (T) 292
 pārisē 129
 pāriše'e 129
 pārhe 86
 pasī (T) 52
 peba 141
 pēla 356
 pelej 356
 pētat rī (JI) 211
 pī² 356, 357
 pīlma (JI) 210
 pīrāc 145
 pīrtā (≈ pirta) 145
 pīs (JI) 357
 pīs² (ст.-нен.) 357
 pīs (JI) 400
 pīs² (T) 400
 pōrhe 86
 pud 357
 pudād 173
 pu'δ 44
 pūtjau (cB) 51
 pūxucaw (T) 51
 ramtū (JI) 51
 rēmparra (JI) 51
 -rī² 209
 rūp(ŋšōβ 133
 -rxa 128
 sābljāk (cB) 51
 sag (cB) 51
 sāl 87
 sālda 86
 sālda- 86, 87
 Sālārtā 87
 samblang (T) 51
 samlang (T) 51
 sāng (T) 51
 sāpc 400
 sei 228
 serād 400
 sirte (cB) 51
 sōrmūṅk (T) 210
 sōβa 83
 sōβī²- 83
 Sōβita 83
 sōβitā- 83
 sur²munṅ (T) 210
 -s-xa² 310
 ša- 143
 -šāda 88
 šaman 143
 šāmbalang 400
 šāmi²xāōā 143
 šan 357
 šas 282
 šaxā² 132
 šāwta (T) 52
 šēnga 398
 šer² 145
 šī² 137
 šī²- 47
 šīda 398
 šīrtā (T) 51
 šīxirtā 30
 šīxirtā (T) 51
 šu² 398
 šudbāpc 400
 šūō²ēi 143
 šumbāng 314
 ta² (T) 51
 tāl'ma 400
 tāmna 135
 tāṅād 400
 taṅī (T) 51
 tāṅ-o-ć 201
 tar 255
 tar 228
 tarenza 97, 113
 tarka 97
 tāewa- 88
 ti² 128
 tija 398
 tīwa (T) 311
 tī (JI) 214
 tigu² 282
 to 228
 to (cB) 51
 tō 51
 tor 228
 tu 228
 tūa (cB) 51
 tungo² 282
 tungu² 282
 tuos 282
 tēda 128
 tēt 398
 tīda 398
 tīki 135
 Tōr 89-91
 tōr- 90
 Tōrī² 91
 uāddu (cB) 51
 waj 87
 Waj 87
 wālak 67
 wānnū (JI) 51
 wānō T 51
 Wārkuta 32
 warti 400
 wāewa 88
 -wi 137
 -wil-mi 145
 wīngnī (JI) 51
 wīt (JI) 51
 wīxēnna (JI) 51
 wī² (T) 51
 wīṅ (JI) 51
 wīṅg (cB) 51
 wūhīs 132
 cha (cB) 51
 xābi 31, 280
 chaburta 228
 xadā 130
 xadāw 129
 xadāwās 129
 chādde (cB) 51
 xadī 15
 xādī (T) 51
 xadī (T) 301
 chala, challe 228
 xāmd² 400
 xamma (JI) 83
 xāmp²lāṅk (JI) 51
 xan (T) 51
 xān 128
 xan- 140
 xān² 128, 400
 xān² 400

хāñā' 140
 хāñk (Л) 51
 char (сВ) 51
 хāñ'- (Т) 46
 хāñ 67
 хāño, хāñu 89
 харр 23, 280
 Хаñuñi 89
 хās 369
 хāsujū' (Т) 52
 хawna 128
 хāewa 88
 хāewdār' 400
 хās 131, 140, 143
 -xi (-gi, -ki) 134
 хiñ 397
 хiñā' 140
 хiñ' (Т) 294
 хiñtiñk (Т) 210
 хoba 128
 хōj (Т) 304
 хōллатиñk (Л) 210
 chowa (сВ) 51
 хuñā' 140
 хurko 281
 хuti 312
 -хVna 157
 Айваседа 89
 апой 132
 букварь 146
 возждь 147
 вэдāмз' (Т) 209
 вэде- (Т) 210
 вэдець (Т) 209
 грамм 132
 Грисако 131
 Ензя-ям' 352
 Енэсий (др.-нен.) 352
 еняд 206
 Еуши 89
 ёрка (Т) 216
 ёркальц (Т) 216
 Ивши 89
 круна 132
 лāбта (Т) 210
 лāбтэй (Т) 210
 лāбтэй (Т) 210
 луотса (др.-нен.) 352
 лууца 352
 мада- (Т) 206
 мерри' 133
 Могатисанг 88
 монганси 351
 Москва 147

муңг (Т) 210
 -н' 138
 нарматы 356
 Нгэвасяда 89
 Нгэвацата 89
 ня''мā- (Т) 210
 нялодā- (Т) 215
 нялпā- (Т) 208
 няңгоць (Т) 208
 няңгэхэй (Т) 208
 няра 44
 нярава 44
 нярцо (Т) 209
 Ѓа 88
 ѓа''ю (Т) 215
 юоб' 130
 юоб'' (Т) 209
 юопой 132
 нули' (Т) 209
 (н)эбта 133
 па (Т) 207
 пад (Т) 207
 пирбя (Т) 210
 пия (Т) 206
 подер'' (Т) 205
 пуд 44
 пуд 44
 пүй (Т) 207, 208
 пунзо (Т) 213
 пыря 151
 Пыряти 151
 пэрць (Т) 211
 Родина 147
 ручка 133
 сабитā(сь) 83
 селā- (Т) 215
 селюй (Т) 215
 сеня 134
 сеняня 134
 Сиде Парисе'э 151
 Сиде Сэр' Хабт 151
 сую (Т) 215
 сяб (Т) 207
 сяр (Т) 209
 сярта (Т) 209
 сян (Т) 205
 тāmбā- 186
 тива (Т) 311
 Тивак(ā) Вакацям' Сякалпа-
 дараха 101
 тына (Т) 215
 тыңгос'' 352
 тыңгус'' 352
 тэхэдā- (Т) 211

уручка 133
 хабт 151
 хāбта- (Т) 207
 хāда- 206
 хадāбā- 186
 хādē- 206
 хāдо (Т) 215
 хамадāмбā- 186
 Хан(ā) Хадеуота 101
 ханя 134
 ханяна 134
 хāрам 132
 хāрē 89
 Харюци 89
 хўрупа 132
 юра (Т ВЗ) 216
 Юхучи (Юхуди) 89
 Ябта Сале' Ерв(ā) 101
 ябцо (Т) 216
 яв' нарматы 356
 ядхана 130
 ямдē (Т) 216
 яну (Т) 216
 яңгу 138

Энецкий

Большинство слов без специальных помет относятся к тундровому диалекту.

-'90, 91
 aamī' ~ aamir- (Т) 88
 Aaseđa 85, 88, 89
 aba (Т) 88
 aburi (Т) 57, 88
 ade (Л) 57
 ađe (Л) 52
 ađe (Т) 62
 ādo' 41
 Адуба 90
 Адубаа' 90
 aga 63
 agu' (Т) 63
 agu'a (Т) 63
 agu'aro (Т) 61, 63
 āmī' 25
 amuke (Т) 64
 aRe (Т) 61, 62, 66, 67
 auku (Т) 321
 ba (Т) 66
 -(b)a' (Т) 63, 65
 baa (Т) 56, 58, 62, 64, 66, 67,
 88
 bađi (Т) 51

bađa (Л) 57
 Bae (Л) 84, 8
 bago (Т) 31,
 Bago (Т) 86
 bagō 42
 bago'o 41
 Bagoi' 91
 bagoo 41
 bakoo (Т) 32
 baroti 400
 bañu'o 57
 beñana (Т) 5
 bi (Л) 57
 bi' (Т) 51
 biğōđi (Т) 51
 bilaxa 129
 biomo 42
 biu' (Т) 51
 boa (Л) 56, 6
 bodde (Т) 64
 bode (Т) 64,
 bodeđa (Т) 5
 bodeRa (Т) 6
 bu (Л) 25, 57
 bu' ~ bun- (Т)
 -bu' 130
 buđedo (Т) 2
 buđee (Т) 21
 buđer- (Т) 21
 Bunel'a (Т) 8
 buuse (Л) 57
 -de 66
 đaa 63
 đaañane (Т)
 đaborio 128
 Đedoši' 18, 2
 đēbe 42
 đere 63
 đerehan (K)
 đereyone (Т)
 deu' 23, 280
 dide (Л) 58
 d'idu 57
 d'ide (Л) 58
 dire (Л) 63
 diree ~ direi
 diree'ine ~ d'
 diretudo (Л)
 d'iri (Л) 56
 d'iriču (Т) 63
 dobo (Т) 52
 dōro 42
 du' ~ dus- 89
 duđa (Т) 51

- baða* (JI) 57
Bae (JI) 84, 87
bago (T) 31, 86
Bago (T) 86
bagō 42
bago'o 41
Bagoi' 91
bagoo 41
bakoo (T) 321
baroti 400
baɣu'o 57
bexana (T) 51
bi (JI) 57
bi' (T) 51
biḡod'i (T) 51
bilaxa 129
biomo 42
biu' (T) 51
boa (JI) 56, 64
bodde (T) 64
bode (T) 64, 67
bodeða (T) 58, 64
bodeRa (T) 62, 64, 66, 66, 67
bu (JI) 25, 57
bu' ~ bun- (T) 86
-bu' 130
buðeðo (T) 210
buðee (T) 210
buðer- (T) 210
Bunel'u (T) 86
buuse (JI) 57
-de 66
dua 63
duaɣane (T) 63
daborio 128
Dedoši' 18, 279
dēebe 42
dere 63
derehan (K) 63
dereɣone (T) 63
deu' 23, 280
dide (JI) 58
d'idu 57
d'ide (JI) 58
dire (JI) 63
diree ~ direi (JI) 64
dire'ine ~ direi'ine (JI) 64
diretudo (JI) 63
d'iri (JI) 56
diriču (T) 63
dobo (T) 52
dōro 42
diu' ~ dius- 89
duðu (T) 51
ḡugite' (T) 216
Diuti 89, 90
Diutii' 90
Diutio' 90
diūdo 42
-de (T) 66
ē 42
e' (T) 56, 398
eara 44
eba (JI) 57, 88
eðe (JI) 62
eesaa (T) 58
eke (T) 63
ema (T) 398
eru addo (T) 59
eru'ado (T) 59
ēsā 41
ēsāu' 42
ese 62
esea' (T) 62
eseba' (T) 62
esee' (T) 61, 62, 66
essa (T) 58
faede (JI) 57
fāru (T) 57
gaane 128
i 61-63
-i' 91
ibio 90
ido (T) 51
iðāne 42
iði (T) 58
iðo 64
ire- (T) 63
iree 130
irei'ine (T) 64
ireo (T) 64
irese 128
iretudo (T) 63
iretudoða' (T) 63
iri (T) 58
irio (T) 56
iRo (T) 62, 64, 66
iro- 90
iroo 90
irri (T) 58
jaaxona (T) 61, 63, 65, 66
jereɣone (T) 61, 63, 65, 66
jerèchonè (T) 63
(j)irei'ine (T) 62, 64, 67
(j)iretuRowa' (T) 61, 63, 66, 66, 67
kaa 88
kabo' 23, 280
kae- 63, 64
kae' (T) 61, 63
kai' (T) 63
kaj' (T) 63
kate (T) 57
kalodi- (T) 64
kalodia' (T) 64
kānuo 41
kār (T) 57
kare 57, 92
kāre (JI) 57
kaðaabo 129
kaðaaboši 129
kaðae 130
kaðie (JI) 301
kaðio (T) 301
kaɣa (T) 56, 62
**kaɣus-* (T) 62
**kaɣutudo* (T) 62
kere' 46
keɣutuRo (T) 61, 62, 63, 66, 67
kirba (JI) 52
kirba ~ kiroba (JI) 63
kiroba ~ kiriba (T) 63
kirwa (T) 61, 63, 66
kixo (JI) 56, 62
**kixus-* (JI) 62
**kixutudo* (JI) 62
koda (T) 67
kodago (T) 64
kodagoɣodo (T) 64
kodagoɣoRo (T) 62, 64, 66, 67
kodi 400
kodi' 400
kodo 128
koðo (T) 51
kodo' 128
kōðe' 400
koðorā 42
koðuo (T) 215
kolago 64, 67
kolagoɣodo (JI) 64
koŋei, koŋoi (T) 207
kq̄pri (JI) 207
kora (JI) 67
kōre (JI) 207
kōri 42
kudaduo 42
kuoo (T) 304
kūre (JI) 207
kuroi (T) 207
lata 92, 322
Leedo 90

*Leedoo*⁹⁰
leedodi (T) 206
leguo (T) 216
lođu 92
lođu (T) 51
lođo (T) 86
Lođoseđe (T) 86
*Lođoseđei*⁹¹
loo (T) 64
loola- (T) 64
*loola*⁹ (T) 64, 92
lote (B) 210, 92
libe 51, 92
*liđiāi*⁹²
liđogo 92
liutā 90, 282
*liutāa*⁹⁰
*liutāi*⁹¹
*lutu*²⁸¹
madu (Jl) 82
mađoro- (T) 213
mađu- (T) 213
*mae*⁸⁷
mantu (T) 84
masu- (T) 86
Masuodae (T) 86, 90
*Masuodae*⁹⁰
*Masuodaei*⁹⁰
*Masuodaeo*⁹⁰
māsi (Jl) 58
mēdsche (T) 58
međe (T) 56
mēđa 42
*mema*¹²⁹
menio 400
*mero*¹³³
mese (Jl) 56
*mi*⁹ (T) 57
mimo 42
mod'i 51, 61, 62, 64, 157
*mod'ina*⁹ (T) 62, 64, 65
*mod'ini*⁹ (T) 64
*mod'ixoriona*⁹ (T) 65
mod'ixoriono (T) 65
*mod'ixorioni*⁹ (T) 65
moga 87
Mogadi 38, 87, 90
*Mogadi*⁹⁰
mona 228
monna 228
moroga (T) 51
motulā 41
mu 471
muā 42

*muđuē*⁹ (T) 51
*muđe*⁹ (T) 51
mūnedi (Jl) 57
munodi (T) 57
mūnori (T) 57
*na*⁹ (Jl) 56, 398
*-na*⁹ (T) 65, 66
naba (T) 58, 399
nāba (T) 58
nadiđu (T) 209
naexa 87
narā 44
natiko (T) 52
nau (T) 57
ne 129
nee 129
*nee*¹²⁹
neesaa (Jl) 58
*neina*⁹ (T) 64, 66
*neine*⁹ (T) 62, 64, 66
nekoro- (Jl) 64
*nena*⁹ (T) 61, 63, 66
*nene*⁹ (T) 66
nenogo 90
neo 64
nēsa (Jl) 52
nexode (T) 51
*nexu*³⁹⁹
nio 149
nižo 64
nižoro (T) 62, 64
no'o- (T) 210
noma (Jl) 398
noo- (T) 63
*nooina*⁹ (T) 61, 63, 66
*noona*⁹ (T) 63
nooo (T) 63
nudāwe 225, 228
nāba (Jl) 58
nāba (Jl) 58
*ni*⁹ 62
nie 132
niitoda (T) 57
nilo (T) 61, 62
na (T) 58
na'u (T) 215
naa 62, 88
naaxi (T) 62
naaxi'a (T) 62
naaxi'aro (T) 61-63
naaxis- (T) 62
naaxona (T) 61, 62, 65, 66
naj (T) 58
no (Jl) 58

-o (T) 87, 90, 91, 215
obu (Jl) 57, 281
ođu (T) 51
ohra (T) 58
oma (T) 57
osa (Jl) 56
*oteina*⁹ (T) 63
*oteine*⁹ (T) 61, 63, 66
oteo (T) 62-64
paato (T) 207
padobi 128
pađu (T) 57
pajde (Jl) 57
pāto 42
pe 129
pe'e 41
pebe 141
peđu'o (T) 212
pee 41, 129
*pee*¹²⁹
piđu (T) 44, 357
*pie*⁹(s) (T) 357
piđu (Jl) 206
pire'e (T) 210
*piretūđoba*⁹ (T) 63
poikadō 42
poja 280
ponede (T) 64
*ponede*⁹ (T) 62, 64, 66
poner- 64, 201, 211
porje 86
*-pu*¹³⁰
pudā (T) 213
pudādi (T) 213
pudodo (T) 173
puo- 63
*puo*⁹ (T) 63
puodo 44
puoo 61, 63
puos- (T) 63
*puotūđoba*⁹ (T) 63
-ra (T) 58, 66
ratta 92
rāta (Jl) 92
-raža 128
-Re (T) 66
rilek 92
-Ro- (T) 63
rōddo 92
role (T) 66, 92
*roola*⁹ (T) 62, 64, 66
rōtte 92
rybe 92
sadoo (T) 86

Sadu (T) 8
sadur- (T)
sažo (T) 5
sanike (T)
sedo (T) 2
-seda (Jl)
seri- (T) 2
serio (T) 2
*si*³⁹⁸
sifa (T) 5
sini (T) 30
sira 57, 90
šira (T) 5
sirāne 42
sirec 90
sirođo 400
sō 42
soborego 1
soe (T) 83
*soe*² 83
speđa (T)
Soeta (T)
*Soetaa*⁹⁰
*Soetai*⁹⁰
*Soetei*⁹⁰
*Soeteo*⁹⁰
soeto- 83
soida (Jl)
Solda (T)
*Soldaa*⁹⁰
*Soldai*⁹¹
*Soldai*⁹ ka
*Soldai*⁹ nu
*Soldai*⁹ ka
*Soldeo*⁹⁰
somatu (T)
somatu na
*somatui*⁹
*somatuo*⁹
sonuka (T)
Sonuka (T)
sqi 400
sou- (T) 64
sou- soe-
**souda-* (T)
**soudaa* (T)
**soudaaro*
*-so-žo*³¹⁰
sueda (T) 6
suedaa (T)
suedaaro (T)
suroko (T)
suwuRaaro
šara 83

- Sadu* (T) 86
sadur- (T) 86
sago (T) 51
sanike (T) 87
sedo (T) 205, 357
-seḍa (Jl) 88
seri- (T) 215
serio (T) 215
*si*² 398
sifa (T) 57
sini (T) 302
sira 57, 90
ṣīra (T) 57
sirāne 42
sirec 90
siroḍo 400
sō 42
soboreḡo (T) 51
soe (T) 83
*soe*² 83
speḍa (T) 64
Soeta (T) 83, 84, 86, 90
*Soetaa*² 90
*Soetai*² 90
*Soetei*² 90
*Soeteo*² 90
soeto- 83
soida (Jl) 64
Solda (T) 86, 90
*Soldaa*² 90, 91
*Soldai*² 91
*Soldai*² kaḡa 90
*Soldai*² hue 90
*Soldei*² kaḡa 90
*Soldeo*² 90
somatu (T) 82, 84, 86
somatu nau 41
*somatui*² 91
*somatuo*² 90
sonuka (T) 87
Sonuka (T) 87
sotī 400
sou- (T) 64
sou- ~ soe- ~ sue- (T) 64
**souḍa-* (T) 64
**souḍaa* (T) 64
**souḍaaro* (T) 64
*-so-ḡo*² 310
sueḍa (T) 64
sueḍaa (T) 64
sueḍaaro (T) 64
suroko (T) 322
suwuRaaro (T) 62, 64, 66
Sara 83
*si*² 398
*si*²- 47
siḍe 398
*siḍena*² (T) 64
*siḍina*² 64
*sie*² 64
*siḍeo*² (T) 58, 62, 64
*siRene*² (T) 62, 64, 66
*su*² 398
ṣubogo 314
ṣuḍobitū 400
ṣaru (Jl) 57
taa- 88
taai (T) 83
Taai (T) 83
taara- (T) 64
*taara*² (T) 62
taḍobe (T) 87
Taḍobeo (T) 87
*taora*² (T) 62, 64, 66, 67
*te*²i (T) 62
*te*²ido (Jl) 62
*te*²io (T) 61, 62
*te*²iro (T) 62
teḍa- (T) 63
teḍatū (T) 63
teino (T) 62
*teino*² (T) 62
teñi (T) 57
tetide 128
tina (T) 215
to (Jl) 57, 58
tō 42
to- (T) 63
tq- 63
todi (T) 58
toḍi (T) 57, 61, 62, 64, 66,
 157
*toḍida*² (T) 64
*toḍidi*² (T) 64
toḍa- 63, 64
toḍatū (Jl) 63
tōḍi 400
toḥe (T) 62
toḥē (T) 62
tone (T) 61-63
tone- 64
tonea (T) 62, 44
toḥee (T) 62
tonne (T) 63
tqḡna 135
toora- (Jl) 64
*toora*² (Jl) 64
toRatū (T) 61, 63, 66, 67
tore 61, 62
*tore*² (T) 61, 66
*tore*² 62
*toru*²a 400
tqsu (T) 61, 63, 66
totū (T) 63
tu- (T) 63
tudschio (T) 58
*tud*²o 57
tusu (?) (Jl) 63
tuḍo 307, 398
tēone 42
tīna 42
tūro 398
ū (Jl) 25, 57
uḡoe 146
udi 400
uḍa (T) 56
uḍāḡa 41
uḍa 58, 190
ūḍa (T) 58
uḍḍa (Jl) 58
uu (Jl) 62, 65, 66
*uuda*² (T) 65
*uudi*² (T) 65
ḡarutī (T) 89
ḡarutī (T) 89
-ḡona (T) 65
-ḡone 65
ḡori (T) 89
abolū (T) 58
Aceda 89
baḡya (T) 58
быусы (Jl) 58
evā (Jl) 58
Лодоседа (T) 85
люотя 352
Мерета ~ Мерута 86
*Мер*²ta 87
Myḡgaḍi (T) 85
Солда (T) 85, 87
Чор (T) 86
Нганасанский
 ? 83
-²balə 171
-²SUTə 157
əmnī 199
əmtī 199
-a²ku 171
aliḡaa 97, 113
*ani*²ə d'alī 94
auku 321

bəd^a 98
bəli 95, 99, 100, 149
bəku 97, 113
bətu 67
bənsə 201
baərbə 42
baj 84
bakəə 321
bakəəla- 321
bakəilə- 321
basa 46
bataa 210
batu 210
batudə- 210
bigaj 42
bii[?] 198
biidimtiə 198
biidimtiə 198
bikə[?] 42
bindər 113
bintəmi 113
bint'a'mjədəə 113
bint'aməə 113
bint'atjə 113
bijəgi 129
-biu[?] 130
-dəə 215
-də-gəj 310
dəŋku 98
dəŋur 280
dərbü[?] 98
dərbü'a 98
dəndələh'adidə 101
dəndəl'i[?] 101
Dəntadiə 18, 279
dikü- 198
d'ilə- 198
d'indi- 198
d'intə 100, 197
d'ir 198
dürimj 95, 99
dürkatə- 216
dütü 190
-HAMHU- 157
-HATU- 157
heej 383
helj 382
hiə[?](*d'*) 357
h'angu'a 113
hidü 400
hieđə 206
hil'i-tim 302
hiñ- 198
hiri[?]*a* 210

hisilə- 220
hütəđə 212
hoadağ 207
hođiutə- 112
hojmi- 199
hon- 196, 200, 201, 211
hotəməə 128
hotj 200
h^uaa bigaj 322
h^uanggürküəđə 99
h^uaturu 115
huđitiü 113
hudu 113
huykəđəmu 105
hurkatə- 98
hurka'a 98
-hü[?] 130
hüj 208
hüñsü 213
hütəđə 173
hütə 207, 208
hütü- 208
idə[?] 101
idə'a 101
ihütə 101
iğəə 383
jaŋur 23
-Kə[?] 157
-Kə[?]*Tə* 157
kəəli 199
kəbtu- 200
kəđudəə 215
kəjŋə- 94
kəjŋəir- 94
kəjŋəirsə 94–97, 99–102, 107, 109–117, 149, 161
kəjŋəiriə 94
kəjŋələra'a 94
kəmə- 198, 200
kəməđu- 200
kəndə 400
kəndə[?] 128
kəndə'ku 171
kəntə 128
kəra- 198, 201
kətu 200
kəmsusəmi[?] 107
katifatamə 209
kaulə- 207
-Kl[?]*ə-* 157
kiŋ 198
kintə 198
kintəh 209
kintta 171

kiŋ 398
kitəđəə 197
kobtuə 382
kodü 114
koubtar 113
koubtu- 113
kuəbtah^ua[?] 99
kuəđə 304
kuəđə kəntə 97
kuhu 180
ku'tə'kəndim 101
ku'təsanj'kəndim 101
ləjmi 113
ləjmi'a 113
ləmu 97
ləpsj 322
lapsə 400
lintə 98
**lojto* (старонган.) 322
**lojtu* (старонган.) 322
lojtü, lotü 322
longütü 113
lonku 113
lūə'sa 282
məmsj'a 113
mənə 98, 157
mənu 200
mərə 200
mərsj 199
mətuđə 382
məu 205
ma[?] 129
mamu 97, 113
mamu[?] 129
merə 133
mi[?] 198
mi(i) 65
mirəə 197
mirəđi- 198
mitə 197
mijlianə 65
mijliani 65
mijlianj[?] 65
mij 65
monu 228
-MU[?]*ə-* 157
muŋku 87
muŋku[?] 98
muŋkuləmu 97
nət- 200
na 179
naa 179
naagəə 283
nəđi'səmi 113

nəđi'səmi
nəđis- 11
natj 113
natjəđəə 1
nelhəđu-
ni- 198
nigü[?] 197
nilidj 128
nim 198
nimkəə 1
nimkəm'a
nindim 98
niŋkə- 19
nomu 175
nosu 205
nüə 149
nürəə 115
ŋə[?] 87
ŋəbtə 199
ŋəbtəliə 1
ŋəđu- 195
ŋəmtə 40
ŋənuə 38
ŋəŋ 398
ŋəŋuəđə
ŋiđisi- 19
ŋilə 197
ŋilənu 19
ŋinəbə 19
ŋitə- 198
ŋiti- 198
ŋonə- 46
ŋudabala
ŋur'ar 10
**pa(a) bi*
-rakü 128
səltə 115
səma[?] 83
səma'tə- {
səma'tətu
səma'tu {
səmanə 1
səmu 82,
-SəMU-
səŋhələŋj
səŋku 39
səme 228
sijidə 98
soa 228
-SUə- 15
sejmi 200
seluə 215
seli- 215
šia 198

ñadĩ'samjðatə 113
ñadĩs- 113
ñatĩ 113
ñatjðatə 113
ñelhədu- 208
ñi- 198
ñigũ² 197
ñilĩdĩ 128
ñim 198
ñimkəə 101
ñimkam'amjntjə 101
ñindĩm 98
ñinjə- 197
ñomu 179
ñorsu 209
ñüə 149
ñürəə 115
ñə² 87
ñəbtə 199
ñəbtəljə 199
ñədu- 199
ñamtə 400
ñanuə 383
ñəñ 398
ñəñuədə 215
ñidĩsi- 198
ñilə 197
ñilənu 197
ñinəbə 197
ñitə- 198
ñiti- 198
ñonə- 46
ñudabala 171
ñur'ar 105
**pa(a) bigaj* (старонган.) 322
-rəku 128
səltə 115
səma² 83
səma²tə- 82, 83
səma²tətu 83
səma²tu 82–84
səmanə 107
səmu 82, 83
-SƏMU- 157
səñhəñ'əñkə 101, 400
səñku 398
séme 228
sĩljĩdə 98
soa 228
-SUƏ- 157
šejmĩ 200
šeluə 215
šeli- 215
šia 198
šila²kə 322
širü 197
šitəbĩ 95, 99
šiti 398
tə 100
tə- 200
tənə 157, 200
təñj 200
-tənu 157
təñədəə 400
təñu² 97
təñuləmu 97
təti 200
taa masu 98
taanə 99
taaraa 383
taharaa 383
tarka²a 97
ti(i) 65
tjĩdĩ² 101
tjĩdĩ²a 101
tjĩ 65
tjĩtj-d'a 398
torĩnsĩ 97, 113
-tu 83
-TU 157
-TUƏ 157
tuđitü 113
tumta²a 111
tutə 113, 307
təsitə 128
tətə 398
t'əbə 201
t'əbətj- 198
t'ii- 198
tjĩidi 42
t'ürü 201
t'ĩlasa 171
t'irə 198
t'irü- 197
t'it- 198
кайнгалара 94
ләпсы 322
лоуту (старонган.) 322
Нгодикадю 87
сəма²тəсə 82

Угорские языки

Праугорский

**pukks* 208
**ðaraña* 193

Обско-угорские языки

anke, angu 227
jank, jenk 227
ketsche, kötsche 227
keu, koch 227
köi, ket 227
lu, lau, lo, loch 227
lui, loi, joi 227
lunt, lont 227
magl, mögil, méi 227
**māmoñt-/ *mēmōñt-*
*! *māmoñt-/ *mēmōñt-* 353
melek, möllek, meleng 227
mennen, minnen 227
mong, mungi, mock, moch 227
njāl, njöl, njol 227
njelm, njälem 227
pel, pil 227
sarni 224
sarym, serum 227
scham, sem 227
schim, sem 227
sorni 224
sorni, sarni 227
tu 227
ujt 227
urt, ort 227
wür, würte 227

Хантыйский

awkka (Kaz.) 321
awkkā (O) 321
enə-wojə (южн.) 120
jäl (O) 206
jil (V) 211
jil-pər'yi (J) 211
jöl (Kaz.) 206
jorñi (Vj) 193
**käl* 301
kānəñ (VVj) 367
kāntəy-jay (VVj) 76
**kap* 17
**kājəy* 302
körəñ wajəy (вост.) 120
kurəñ waj (сев.) 120
läpas (O) 119
läpas (Trj.) 119
läwas (VVj) 119
löras (Kaz.) 119
lorñə (V) 193, 251
**lōñkər* 195
**maj* 506

mārax (O) 199
mērək (DN) 199
nāpalaw (O) 214
pər'yi 211
**puł* 402
ruś 282
pyть 352
sājəp 368
sārñə (V) 251
sat (вост.) 190
**sīm* 195
šōyāl (Kaz.) 375
tāpas (Irt.) 119
tīyət (южн.) 303
tōpas (Š) 119
tōyāl (VVj) 376
tōxāl (V) 375
**ūāyər* 505
**ūāpət* 507
unt 119
unt tōpas 119–121
unt wəj 119
-urj: jēṅkurj (Vj) 194
-urwī: jēṅkurwī (V) 194
**wāt* 506
wəj 119
xāntə-jax (DN) 76

Мансийский

ānt 353
**āntər* 194
ānt 353
**ātər* 193
**ēnt* 353
jāni-uj (LM) 120
kāt-mārək (N) 199
**kāwt* 301
**kāl* 302
**kēp* 17
mā 354
**māj* 506
mām 353
māṅ-ānt (So) 353
māṅ-ānt (T) 353
māṅ-ont (Верхотурье) 353
mark (Sy.) 199
māxar 353
mā-xār 354
māxarānt 353
mā-xār-ānt 354
māxum 353
**mē* 353
**mēṅ* 353

mēṅ-ont (P) 353
no plu 214
no plu 214
no plu 214
**-ṅ* 353
ont 353
**oštər* 506
pāja 534
pisi (T) 213
**pūl* 402
ruś 282
pyсь 352
sāt (N) 190
**sāṅku* 506
**sāt* 507
**sīm* 195
sōrñi (So) 251
**šārkaš* 505
šośwə (LM) 506
tarəñ (P) 251
tariñ, tarñe (P) 193
**tāṅkər* 195
**tēt* 303
tul (N, LM) 193
wāni-uj 120
xār 354

Венгерский

(включая древневенгерские, средневенгерские и диалектные формы)

abár-ol 427
abroncs 418
acél 425, 460
acél 426
Adorján 459
Ágoston 459
alacsony 225
alacsony 229
alazatos, 229
all 229
áll 224
alma 402, 421
**almá* 421
Álmos 89
angel- 456
angyal 456–458
anya 224, 227, 229
apa 224, 228, 229
apáca 431, 436, 449
apát 431, 436, 449
arany 193, 224, 227
arpa 229

árpa 224
árva 194
asztal 224, 229
atya 229
atya 224
bab 424
Babarc 454
Babót 417, 454
Bagamér 465
bajor 457
Bajót 417, 454
Bakóca 454
bálvány 436, 449
barát 425, 436, 447, 448, 450
barázda 414, 425, 426, 464
Bárca 454
Bardoc 455
barkóca 429, 452
barom 423
Baskó 454
Batthyány 452
Battyán 429, 452, 464
bátya 427, 428
belend 441
beléndek 417
belendes 450
belendēs 441
belendēs 417
beléndes 417
bélēzna 424
**bälind* 417
bér 423
bérce 452
Bereg 464
Beregh 464
Berente 417
Bereyg 464
bérmál 449
Bernecebaráti 455
Berzence 455
Berzenche 455
Berég 464
beszéd 413
Beszterce 429, 464
Besztercebánya 429
beteg 276
Bisztra 464
Bocovnocj 454
Bodmér 465
Bodola 455
Bolkács 455
bolond 417
bolsevik 414
borda 452

bór-fa 424
borotva 447
borozda 414
Bothian 452
Boyouth 454
*Börzdöce 455
Börzönce 455
Budmér 465
Burnuce 455
Burzence 455
Burzeulche 455
buza 229
búza 224
Cerjék 459
Chitary 453
Cirjék 459
cukor 457
csahol 461
Csala 453
család 429, 460
Csalár 453
császár 417
csata 419, 425, 453, 461
Csatár 453
cseléd 460
cseléd 429
csép 417
cser 417
csērésznye 426
cserje 417
csērmēlye 453
Cserna 464
csēve 417
csobolya 453
csobolyó 453
csoda 431, 436, 447
csombor 417
csónak 461
csorda 461
csormolya 453
csoroszlya 426
cső 417
csömör 453
csōrmōlye 453
csötörtök 447
csúcs 460
csuka 413
csűcsök 460
csütörtök 436, 447, 461
Damján 459
Daráska 426
deák 436, 438
deák 441, 442, 450
Deberke 464

Debrecen 413
deget 461
dēják 442
Demeter 436
Dēmjen 459
dērc 453
derék 453
dērēk 423
deszka 429
dēsza 453
dēsma 449, 459
diák 441, 442, 450
Dombó 417
Dombró 417
donga 417
dorong 417
doszka 429, 453
dusnok 449
ebéd 460
ebéd 425
egér 195
egyház 450
ei 228
ēj 224
él 224
Elek 459
eleven 228
Elexius 459
elo 228
elő 224
eretnek 436
eretnek 449
ērsēk 427
Erzsébet 459
Estrigun 454
Esztergom 454
ēsztērha 425
ezüst 224, 228, 251
fagy 488
fal 402
falat 402
falu 229
farkas 229
felejtekm 458
Ferenc 459
feri 229
férj 225
fészek 218, 219
filemyle 459
fiu 228
fiú 224, 523
főrostók 458
ful 227
fűl 224

fűlemile 459
fűlemüle 459
gabna 425
gabona 425
Galadna 464
galamb 417
Galambok 417
ganaj 424
garáblya 433
Garadna 426, 464
garágya 427, 428
garázda 453
garázna 453
gatya 224, 228, 428
gēreb 453
gereblye 427
gērēnd 417
gērēnda 417
gērēndely 417
gērle 453
gērlice 427
Gestrag 463
Gesztirágy 463, 464
Gétye 453
gilisza 433
gomba 417
Gondoc 417
goromba 417
gorond 417
gorongy 417
gorongya 417
görbe 426
görög 414, 415, 430
guszar 426
gűzs 426
Gyarmat 434
gyiják 442
gyivák 442
hal 224, 228, 229, 357
hala 438
hála 431, 436, 442
halom 414, 415
hamar 276
harák 454
haraszt 426
hat 218, 507
ház 357, 402
*hāō 402
hegy 304
Helemba 418, 453
Helumbazygeth 453
Helvény 464
herceg 457
Herceg 457

- Herencsény* 418
hét 218, 507
hiba 424
Hleulan 464
ho 228, 228
hó 224
holnap 228
honap 228
hölgy 302
hyfpital- 458
hyfpotaly- 458
ibolya 458
iga 465
Iklódbördöce 455
Ilosva 464
Ilva 464
iromba 454
ispán 454
ispotály 458
Ivanbattyán 452
iwola 458
izé 471
járom 423, 427, 461, 465
jászol 423
javor 228
jeg 227
jég 224
jegénye 424
kádár 454
Kalamar- 457
kalapál 461
kalász 414, 425, 433
kalmár 457
kamara 458
Kamon 424
Kámor 429
kamra 458
kanál 276
kananok 458
kanonok 458
kapor 423
karácsony 424, 431, 433, 436, 438, 442, 450, 463
Karalka 434
Karályka 434
karapol 436, 447
Kászon 464
katroc 454, 460
kek 229
kék 224
kemence 415
keménce 454
kenéz 426
kérály 434
kereszt 414, 415, 433, 436, 438, 443, 444, 451
kérészt 431, 443
keresztanya 444
keresztapa 444
keresztel 436
kérésztél 447
kérészt-él 431
keresztény 436
kérésztény 447
kérésztén 447
kes 227
kés 224
kesön 229
késön 224
ketrec 454, 460
ketrec 427
kez 227, 229
kéz 224, 474
kicsi 224
kilincs 433
király 433-435
kis 224, 229
Kisbeszterce 429
Kis Mutnok 463, 464
kitschi 229
kóc 427
kolc 427
koma 436, 447
konc 417
kondor 417
konkoly 417
korcsolya 427, 454
Korompa 417
korong 417, 433
korozsma 436, 447, 448, 450
kos 224, 229
Kovászna 464
Kozma 436
kő 228
kő 224, 227
Krupá 417
kut 229
kút 224
kútya 428, 462
ladik 426
Ladomér 465
**lakma* 426
lakmározik 426
lanka 418
Lankóc 418
lapát 424
László 407
lén 423
lencse 417, 428
lédnök 417
Lekence 464
lëndék 417
lengyel 414
lengyel 417, 424, 428
lengyen 417, 428
Leurenci 459
**lindnik* 417
lo 227
ló 224
lóka 427
Long 417
lőböstök 458
Lőbőflóc 458
Lőrinc 459
lud 227
lúd 224
malágy 428
malágya 428
**málágya* 425, 428
malaszt 431, 436, 438, 444, 456
malogya 425, 428
mancs 418
Marót 418
Márton 459
medénce 424
medve 413, 421
**medvéd* 413
mégve 428
mégve 428
meleg 224, 227
mell 224
mely 227
menni 224, 227, 228
menszár 426
menny 224
mesgye 421
mészár-os 426
mezsdé 428
mezsgye 421
mészgye 428
Miklos 436
milofi- 444, 456
mise 436, 448, 450, 459
mifet 459
mocsolya 454
molnár 423
moly 427
monostor 459
mony 224, 227, 228
morotva 461
mostoha 424, 428, 462

munka 418
Muthnuk 463
Mutmér 465
Nagybakónak 454
nedves 224, 225, 228
némét 418
név 168, 475
Nógrád 425
noszolya 454
nyelv 224, 227, 229
nyíl 227, 229
nyíl 224
nyísi 428
nyoszolya 427, 454
nyüst 428, 427, 433, 434, 435
-oll-ell-öl 447
oláh 427, 434
oldal 276
oltár 436, 448
ontok 418
ontora 418
Orbó 430, 464
óriás 415
oroszlán 434
ostor 506
ökör 249
Órbottyán 452
öreg 228
ösztön 461
Paiur 457
palást 414, 425
**pálata* 425
palota 425
pánk ~ ponk 418
pap 431, 436, 438, 444, 445
parancs-ol 418
**parátya* 428
**párätyä* 428
parázna 426
parittyä 428
pásztä 426
pásztor 424
pating 418
pécér 423
pentek 448
péntek 436
pénték 418, 448
pénték 418
Pest 413, 428
pest 428
pilis 449
pispék 457
pisztráng 418
pisztrong 418

pogány 436, 448
pokol 436, 448
polgár 457
pondró 427
porond 418
porong 418
Poroszló 426
pöspök 457
pözsök 457
Pulgar 457
püspök 457
püspök 457
Pyspek- 457
rab 419, 426
rabota 426
rács 357
ragya 428
rakottya 426
**rásäd* 426
rásza 426
ravasz 193
Rebra 464
rekätye 426
rënd 418
Ribény 464
Riblyen 464
rogya 428
röka 193
romb-ol 418
roncska 418
rosta 456, 461
roz 229
roz 224, 413, 423
rozsa 428, 462
ruha 424
**sälän(i)nä* 425
**särännuk* 426
sarga 229
sárga 224
sátor 419
Scerecín 459
Sebestyén 459
sekrästyë 459
fekreftyë- 459
sellye 459
silla 427
sisak 361
so 228
só 225
Spital- 458
Szabadbattyán 429, 452
szakal 229
szakall 229
szakáll 224

szalánna 425
szalonna 425, 460
Szalva 464
szan 229
szán 224
szaraz 227
száraz 224
száz 190
szeg 506
szégye 415, 462
szégye 428
szel 229
szél 224
szelemén 418
szelénce 456, 457, 460
szelénce 425
szem 224, 227-229
szeni 436, 438, 445
szent-él 418
szerda 414, 436
szërda 425, 448, 461
szerecsén 459
**szeréda* 414
**szërédä* 425
szërénce 418, 428
szesztra 436, 450, 461
szésztra 448
szilva 461
szinü 229
sziv 227, 229
szív 195, 224
szolga 424
szombai 414, 418, 436, 438, 445
Szompács 418
szomszéd 418
szor 228, 229
szosztra 461
ször 225
szövétnek 436
szu 227, 228
tanya 415
tégla 459
Tener- 458
tenger 224, 229
tenyer 458
tenzsola 418, 419
tézsola 419
Tihamér 465
tik 229
to 227, 228
tó 224
toklász 425

tompa 418, 460
 Torockó 464
 toromba 418
 torongy 418
 tök 421
 tömjén 436, 448
 tömpe 460
 Tür 464
 Turóc 464
 *turund 418
 tiiz 228
 tűz 225
 tyuk 224, 229
 udvar 413, 415
 ui 227
 ujj 224
 *uláh 427
 ur 227, 228
 ür 225
 utsal 454
 vacsora 425
 vai 228, 229
 vaj 224
 val- 487
 val-a 402
 Valkó 429, 430
 van 402, 488
 vankos 458
 vankofok 458
 Varbó 430
 varsa 460
 vas 251
 Vászoly 407, 436
 vecsernye 436, 448
 Velemér 465
 vella 424
 vénic 418
 venz 418
 veréb 413, 454
 veres 227
 verse 460
 villa 424, 427
 viz 227, 228
 víz 224, 474
 vörös 224
 vörse 460
 wzak 454
 zablá 425, 427
 Zalatna 426, 463, 464
 Zalatna 463
 zanót 424
 zarándok 426, 436, 438, 446,
 451
 Zelemér 465

Zemlin 464
 Zemplén 464
 Zombor 418
 zsolozsma 436, 448
 Zsombor 418
 zsöllye 459

Финно-пермские языки

Прафинно-пермский и прафинно-волжский

*ajiša 193
 *ajša 193
 *akšte-rэ (*akšэ-terэ) 193
 *ertä 192, 507
 *ertäs 194, 507
 *ertäsэ 507
 *marta 192
 *martas 194
 *martas(e) 192
 *ooši 193
 *oraša 194
 *oraše 194
 *orpa 194
 *orpas 194
 *orwas 194
 *payas 194
 *pakas 194
 *pakas(e) 192
 *ponti 522
 *poršas (*porčas) 192, 507
 *porščas 194
 *punta 192, 507
 *puntaks 194
 *puntaksэ 192, 507
 *puntas 507, 194
 *puntэ (~-ksэ) 192
 *sasar 194
 *sasare 192
 *silesar 194
 *sisare ~ *sesare 192
 *tajwas 194
 *tajwas(e) 192
 *talas 194
 *tala(-sэ) 193
 *tarwas 194
 *tarwas(e) 192
 *utar 194
 *utare 193
 *veneš 500, 501
 *warkas 194
 *wašara 194

*werkas 194
 *werkas(e) 193
 *wermen 194
 *wermen(e) 193
 *zarńi 193

Коми

aako 321
 avko 321
 egir 506
 -(e)s 507
 gatsch 224, 228
 goz 527
 idęg (др.-перм.) 506
 jösis, isisch 228
 judor 377
 keč 534
 kiš-mj- 524
 kın 524
 mež 506
 mort 402
 munni 228
 mur 192
 nim-j- (др.-перм.) 475
 ord 507
 ordęs 192, 507
 ord-lj 192, 507
 ozjr 193
 qž 193
 pev 534
 pi 228
 pięes 213
 pičk 507
 pičkes 507
 pjd 192, 507
 pides 192, 507
 porš 192, 507
 poz 218
 pož 527
 roč 282
 ruč 193
 sol 228
 sozor 192
 sur 507
 šęlem 195, 507
 šęmes 507
 šo 190
 šumjs 506
 šjr 195
 šjš 359
 tięes 193
 tu 228
 uęes 507

uv 507
 varęes 1
 vevt 507
 vevtjes 5
 vęl-i 402
 vož 193
 wi, wiu
 zarńi 19
 -an 350
 вартан
 варт-ни
 *ват 35
 ватлан
 *ватлы
 вөр-мөс
 вёрнийс
 караб 1
 карабл
 кузь-ко
 неблюй
 рад 350
 радлы-и
 роч 352
 чаром
 юркоон

Удмурт

azveš 2:
 egir 506
 Kam 30
 keč 534
 kjrjž 20
 murj 19
 murt 40
 parš 19
 pides 19
 pięes, p
 puz 218
 sur 507
 suzer 19
 šu 189
 šulem 1
 šumjs 5
 šjr 195
 tięes 193
 urd 192
 urd(-lj)
 urdes 1
 uzjr 193
 uzveš 2:
 vajiž, v
 vajiž, v
 val (ди

uv 507
 varges 193
 vevt 507
 vevtjes 507
 vgl-i 402
 vož 193
 wi, wiy 228
 zarñi 193, 224, 251
 -ан 350
 вартан 350
 варт-ны 350
 *ват 350
 ватлан 349, 350
 *ватлы-ны 350
 вөр-мөс 120
 вурпийан (язывинск.) 120
 караб 153
 карабля 153
 кузь-кок 120
 неблюй 214
 рад 350
 радлы-ны 350
 роч 352
 чаром 310
 юркооны 216

Удмуртский

azveš 251
 egir 506
 Kam 307
 keč 534
 kīriž 206
 murj 192
 murt 402
 parš 192, 507
 pides 192, 507
 pižes, pižes 213
 puz 218
 sur 507
 suzer 192
 šu 189
 šulem 195
 šumš 506
 šir 195
 tišis 193
 urd 192
 urd(-li) 507
 urdes 192, 507
 uzir 193
 uzveš 251
 vajiz, vaiž (K) 193
 vajiz, vaiž (S) 193
 val (диал. vaц) 402

van 402
 vargas 193
 zarñi 193
 žičij 193

Марийский

arweza (KB) 194
 arweze (U) 194
 jama- (Г) 213
 joma- 213
 jūt 306
 kačak 304, 305
 kačä 305
 *kapə 186
 kertam 516
 *lepə 186
 *lip(ə) 186
 *lipə 186
 *lop 186
 *lup 186
 *lupə 186
 ördəž (KB U B) 192, 507
 pəndəš (KB) 192, 507
 pundāš (B) 192
 pūndaš (J) 192
 punduš (B) 192
 pūntakš (JP) 192, 507
 rəwəž (KB) 193
 rəwəž (U B) 193
 šəðər 194
 šəžar (KB) 192
 šörtñi 193
 *šuwəš 187
 šužar (B) 192
 šüðə 189
 šüðər 194
 šüðö 189
 šüm 195
 šüžar (U) 192
 tawar, towar 194
 *tup 186
 urweze (M) 194
 waðar (Г) 178, 193, 509
 woðar (U B) 178, 193, 509

Мордовский

azor 193
 azoro (Э) 193
 ažiya (Э) 193
 ažiä (M) 193
 äšter (M) 193
 äšfir (Э) 193

čejeř, čever (Э) 195
 ekšter (Э) 193
 ervä (M) 194
 inže 527
 inži 527
 irdeş 192, 507
 irďis (Э) 192
 jakšter (Э) 193
 joma- (Э) 213
 juma- (M) 213
 käl 229
 kař 526
 kirdəms (Э) 516
 kjaw 228
 kjed 229
 kjel 229
 ko 228
 kud (M) 402
 kudo (Э) 402
 lo 228
 luv 518
 menil 228
 mirdə (M) 402
 nall 229
 odar 193, 509
 pal (M) 402
 pavas (M) 192
 paz, pas (Э) 192
 pelka 534
 pizä 218
 piža 199
 piže 199
 potmaks 192
 potnaks (Э) 192
 puRc, puRc (M) 192
 purcos (Э) 192
 pursuz (Э) 192
 rišme (Э) 509
 rišme (Э) 521
 riveš (Э) 193
 ross 224, 229
 sakal 224, 229
 sazor 192
 sirñe (Э) 193, 251
 sjän 229
 ssiedei 229
 ssjelm 229
 šado / šadä 189
 šedej, šeden (Э) 195
 šedi (M) 195
 šerəñ (M) 251
 šere (M) 251
 *šeren 251
 šeren (M) 251

širān (M) 251
širhe (M) 251
šejer (M) 193, 195
scher 229
tarvaz 192
ula 229
umar 402
uros 194
urozi (M) 194
urus (Э) 194
urva (Э) 194
užer 194
užere (Э) 194
vergas (M) 193
verges, vergis (Э) 193
veše (Э) 201
veši (Э) 201
vižir (Э) 194
wai 229
wä'ä 229
wei 228
wied 228
wjarges 229

Саамский

argále 208
bæd'be (N) 210
bæl'ge 534
biekkān (N) 209
boayan (N) 207
bubme (N) 208
budda 207
buđđa (N) 207
buoidā -i'dāg- (N) 206
bužēs-, bužōs- (N) 213
bužōs-dak'te 213
**cōkē* 211
**cānā* 524
**cēdēm* 195
**cēlē-* 215
**cēne-* 205, 524
**cōlīe* 212
**cōnē-* 524
**cormē* 210
čadna (N) 524
čādnāt (N) 524
čar^ava- (L) 310
čevđi (I) 207
čīdte (T) 189
čoanōtās (N) 524
čuodnjag- (N) 523
čuonja (N) 521–523
čūolčē (Wfs.) 212

čuohte (N) 189
čyeti (I) 189
duottā (N) 522
duov've 206
**ērtiē* 192
gađ'fe (N) 302
giedātāllāt (N) 206
goar'gno- (N) 201
gok'set (N) 206
gožo (N) 183
guđ'jo (N) 207
gul'jo 207
guolle (N) 170
guottot (N) 215
hān'ŋa, hān'ŋja (N) 215
**jāvkkē-* 213
**jēlēkkēs* 211
jie (T) 507
jierhte (T) 507
jolle (N) 206
**jotē-* 212
jōzžā -z'žāg- 206
jurka (Kld.) 216
jurra (T) 216
юррк 216
kāāij (Ko.) 183
**kādvē* 302
kaito (S) 209
**kārnē* 206
**kāvnē* 531
**kāvnē-* 531
**kēte* 206
kiehta (L) 206
kiehtto (L) 206
kiehttōt (L) 206
**kočōj* 183
koijo (I) 183
**kōllē* 170
**kopsē-* (вост.) 207
kopsed (I) 206
**kopsō-* 207
**kōre-* 210
**kōrŋō-* 210
**kōskē* 212
**kōtō-* 215
kupsuđ (I) 206
**lāmcē* 216
leŋhena (Ko.) 216
lūps (Kld.) 210
mac'ce (N) 213
**mācce-* 213
moallo (N) 208
moiDD^a (Ko.) 205
**moksē-* 206

nābī^e-pōaDD^z (S) 214
njakka (N) 206
njāp̄pt̄sas 214
**nārpē* 208
njaūhtsōda 214
njau'las (Malā) 214
njāb'lō (L) 213, 214
njāblot (S) 214
njāb'lōt 214
njāb'tsō (L) 214
njāb'tsōt 214
nēbēl^(a) (T) 214
**nēvlē* 214
njivlāā (I) 214
noalle- (K) 215
njoavdnja (N) 208
**nōnē* 209
**nōre* 209
**nōmō-* 210
njunnalak (N) 209
nuñalah (I) 209
nuorā 209
nuorā (Ko.) 209
nuōrr^a (Ko.) 209
ol'lo (N) 209
olmuš (N) 184
**ōrpēnē* 194
**ōrpēs* 194
pījkij (T) 209
**piksē* 211
piñña- (T) 201, 211
piññe- (Kld.) 211
pōāšk (P) 205
poaskas (P) 205
**pōjtē* 206
**pōckē-* 205
**puđā* 207
puttjēs (L) 213
ræš'me 521
rēp^Hše (S) 193
rēPis (S) 193
riebān (N) 193
riesjmē (L) 509
**sējpē* 212
**sijtē* 360
sjato (N) 209
sjnjib'lē (L) 214
sjnjib'lō 214
smollē (L) 208
suow'de 515
**sējiē* 360
šiešš 359
**šōjē* 216
**tiŋē* 215

tjuw (S) 212
tjuehtee (U) 189
tjüodie (южн.) 189
**toti* 523
vaaij (Ко.) 183
**vācēm* 183
vaij- (I) 183
väl'lje 525
vāžā (N) 183
**vērmē* 193
**vēcērē* 194
**vōjņē* 212
**vōņēm* 208
**vōittē* 209
vuoi'gnā (N) 212
vuorro (N) 208
vūntem (Kld.) 208

Прибалтийско-финский
 (включая прибалтийско-финские слова, встретившиеся в новгородских берестяных грамотах)

**ajka* 403
Alo 344
**anna-* 342
**anta-* 342
**happa-* 342
**happala* 342
**harakka* 181
**hauta* 515
Hüviä 346
**hüvä* 346
Hüvä 346
Hüvö 346
lhala 345, 346
lhali 345
lhari 345
**im* 472
**imes* 532
Jumala(n) nuoli 343
**kanta-* 338
**kantama* 338
Kauka ~ Kauku 346
**kohtu* 342
kolmisto 331
**korva* 534
kurkku 349
**kärsi* 515
**kür-* 347
-la 345
**laita* 322
Lein- 347

Leina 347
Leinakka 347
Leini 347
Leinio 347
Leino 347
Leinä 347
**lentä-* 339
**lentama* 339
**lentämä* 339
-li 345
**makazi* 177
**mēle-* 347
**Mēli ~ *Mēlo ~ *Mēla* 347
merta 331
Montaja 347
Montanen 347
Montaneuvo 347
Monto ~ Monta 347
Montonen 347
Montoneuvo 347
Montopäivä 347
Musta 331
**nosta-* 348
Nuija 348
Nuijala 348
Nuijamaa 348
palaa 530
**puštas* 523
-ri 345
**rōtsa/ruotsa* 282
salmi 331
**ssa* 180
säihä 343
**šišna* 515
Toivali 345
Toivari 345
-t(tu) 346
**tum-* 403
**vasem-* 345
**velj-* 346
**velja* 346
**vetal* 341
**vetelikko* 340
**vetla* 340
**vetol* 341
**vet(t)ali* 341
**vet(t)-eli(k)s* 340
**vet(t)ulu* 341
**vēttä-* 340
**vetä-* 340
vet(э)l(э) 340
Vichtemas 345
Vichtmys 345
Vichtmys 345

Vihari 345
**Vihta ~ *Vihto(i) ~ *Vihti* 345
**vilja* 346
Vychtemas 345
вѣлка 342
гулкиа 341
кохти 342
каски 341
кюзу 341, 342
кюзувѣлкадониндалы 341, 342
омобою 343
сѣха 343
хапала 341, 342
юмолануоли 343

Финский

Aatu 344
ahder 193
ahingas 512
aho 530
ahtera 193
aika 403
aisa 193
aita 530
akkuna 331
ala- 496
ampua 343
ankerias 512
anoppi 208
ansa 512
apea 170
apu 530
arta 512
asia 530
attala 530
aulis 530
Auva 344
Auvi 344
auvo (ст.-фин.) 344, 531
Auvo 344
avanto 180–182
Avi 344
avo 531
Avo 344
avu 531
e- 497
elaton 170
elki 512
haasia 528
haljakka 512
halla 512

- halu 346
 hammas 512
 hanhi 512
 hanka 342
 hankala 342
 hapen (happame-) 342
 harakka 181
 harja 512
 harmaa 512
 hauta 515, 516
 hautoa 516
 heimo 512
 heinä 512
 heittä 521
 hera 531
 herhiläinen 512
 herne 512
 hihna 512, 515
 hiiri 195
 hiisi 359, 360
 hile 360
 hiljainen 531
 Hima 346
 himo 346
 Himo 346
 hirs 532
 hirvi 512
 hylkiä 341
 hyvä 346
 hyvänviihteinen 345
 häivä 518
 härkä 512
 härmä 512
 ien 170
 iha 345, 346
 ihala 342
 Ihala 345
 ihana 342
 ihme 532
 ihminen 527
 Ikahalo 346
 Ikahalu 346
 ikä 346
 Ikähalo 346
 Ikähalu 346
 Ilmarinen 158
 imara 342
 imelä 342
 isäntä 180–182
 Jaakko 348
 johtaa 344
 johtavi 344
 jolu 344
 juola- 531
 juolavehänä 531
 jyvä 521
 jääri 512
 kadota 496
 kaipaa- 518
 kaivata 518
 kakla 182
 kaksi 496
 kala 496
 kalu 344
 karitsa 179
 caritzadhen (ст.-фин.) 179
 Karjala 348
 -kas 346
 kaski 529
 kauko- 346
 kaula 182
 kehrä 521
 kelo 215
 Kemi 307
 kesi 533
 kesy 527
 kide 304
 kipu 170
 kohtu 342
 kota 402
 ku(k)a 496
 kukka 170
 kuolla 497
 kuori 526
 kurkku 349
 kusi 522
 kuusi 301
 kylmä 524
 kymi 307
 kypsä 524
 kysy 342
 kysyi 342
 kynnär 497
 kärsiä 515, 516
 käsi 474, 497
 käske 341
 käski 341
 käämi 331
 käävi 331
 laatu 170, 332
 laiva 518
 lampi 345
 lausia 403
 lausua 403
 lehti/lehto 532
 leina 347
 leino 347
 Lemminkäinen 158
 lennates 339
 lennatos 339
 lennatto 339
 lentää 339
 lusikka 331
 lähellä 177
 lämsä 216, 531
 läsnä 177
 -mal/-mä 470
 maksa 496
 Markku 344
 marras 192, 509
 marras/marta- 402
 me 496
 mennä 497
 mi(kä) 496
 mieli 347
 Mieli (др.-фин.) 347
 mielitty 347
 Mielitty 347
 Mielo (др.-фин.) 347
 Mikko 344, 347
 minä 496
 moni 347
 muurain (muuraime-) 472
 -n (-me-) 470
 naatti 331
 nimi 168, 475, 496
 niska 308
 nostaa 348
 Nosturi 348
 Nousia (ст.-фин.) 347, 348
 Nousiainen 347, 348
 Nousiala 347
 nousta 348
 nuija 348
 nuoli 496
 ohjaa 344
 ol- 487
 ol-i 402
 omena 402
 on 402, 487
 ora(i)sa 194
 oras 194
 orasa 194
 orpana 194
 orpo 194
 orvas 194
 osa 521
 ottau (ст.-фин.) 179
 Paavo 344
 pakana 179
 pacanadhen (ст.-фин.) 179
 pakko 180

pako 18
 pala 40
 palje 53
 palo 53
 palttina
 parta 1
 pata 17
 pato 18
 patto 11
 pelätä 4
 pestä 2
 pesä 17
 petra 11
 peukalo
 peura 1
 pitey (c
 pohtaa
 poika 5
 ponsi 5
 porsas
 poski 2
 puhdas
 punoa 4
 puolain
 puoli 5
 puskea
 puu 17
 raivata
 raivo 5
 repo 19
 rikkein
 rinta 18
 ruotsal
 Ruotsi
 räähkä
 räätty 3
 sata 18
 Savo 3
 seinin 4
 selkoin
 siestain
 siivatta
 silta 51
 sisar 19
 sissi 35
 sula 40
 sulaa 4
 sumea
 suoni 4
 susi 52
 suu 212
 suuto 3
 sydän 1
 sähkö

pako 180
pala 402
palje 532
palo 530
palttina 331
parta 170
pata 179
pato 180
patto 180
pelätä 497
pestä 219
pesä 177, 218
petra 182
peukalo 533, 534
peura 182
pitey (ст.-фин.) 179
pohtaa 521–523
poika 523
ponsi 522
porsas 192, 521
poski 219
puhdas 518, 521, 523, 532
punoa 496
puolain 472
puoli 526
puskea 219
puu 179
raivata 518, 519
raivo 518, 519
repo 193
rikkein 472
rinta 181
ruotsalainen 282
Ruotsi 282
räähkä 332
rääty 332
sata 189, 522
Savo 338
seinin 472
selkoin 472
siestain 472
siivatta 331
silta 515
sisar 192
sissi 359
sula 403
sulaa 403
sumea 403
suoni 496
susi 521–523, 533
suu 212
suuto 344
sydän 195, 496
säihkyä 343

säikkiä 343
säikähtää 343
säjähtää 343
-t 342
tahdas 532
taivas 177, 192
talas 193
Tatu 344, 348
teke- 518
terve 531
tila 515
tosi 521–523, 526, 533
tumea 403
tumma 403
tummentaa 403
tuo 496, 518
turve 532
tylppä 348
tylpä 348
tymmä 403
tähän 177
tämä 497
tässä 177
udar 178, 193, 509
uida 496
utara 193
utare 178, 193
utaro 193
vaarain 472
vaiva 345
valittu 345
varma 345
Varma 345
varpu(nen) 454
vasa 522
vasara 194
vasen 345
vaski 251
vehnä 531
veleka (диал.) 342
velka 342
velmo 340
velppa 340
velso 340
veltto 340
vene(h) 500
vento 340
veri 497
verme 193
vermen 193
vermes 193
vesi 474, 496
vetelys 339, 340
vetelä 340

vetla 339, 340
vetlakka 339
vetlu 340
vetää 340
viettelys 340
viettä- 340
viha 345
vihanta 345
Vihas 345
vihdoin 533
vihkiä 345
vihta 345
vihtyä 345
-vihteinen 345
vihtyä 345
viikari 345
Viikari 345
vikuri 345
vilja 525
vyhtyä 345
vyyhtyä 345
Väinämöinen 158
värttänä 331

Карельский

ambu- 343
Dekkulo 348
emändy (ливвик.) 181
hapai(n) (ливвик.) 342
hapan (happame-) 342
haplakka, -o 342
haplata 342
harakku (ливвик.) 181
hiihna 515
hiisi 359
hiisi (ливвик.) 359
hile 360
hillo- 360
**hillVnda-* 360
händy (ливвик.) 181
hülkie 341
Jekkulo 348
kieldiä (ливвик.) 181
kierdiä (ливвик.) 181
kiändiä (ливвик.) 181
kohtu 342
kumardua (ливвик.) 181
käske 341
käski 341
küzü (ливвик.) 342
küzüi (ливвик.) 342
lambi 345
Miku 344, 347

nouziaized (ливвик.) 348
paimendua (ливвик.) 181
palo 530
puhaldua (ливвик.) 181
rambu (ливвик.) 181
sata 189
sūd (людик.) 344
suudo (ливвик.) 344
suudu (ливвик.) 344
suutu (ливвик.) 344
-r 342
**Tadu* 348
tila 515
tūlp 348
tūlppä 348
vallita 345
Vallittu 345
vanhemb (ливвик.) 181
vazemut 345
vazen 345
vedel (ливвик.) 340
vedeliis 340
vellut 346
verand (людик.) 340
vetkula 340
vetlakka (ливвик.) 340
viihityö (ливвик.) 345
šata 189
šilda 515
šäigeä (ливвик.) 343
šäijätä (šäigä-) (ливвик.) 343
šäikätä (ливвик.) 343

Вепсский

ampta (ambu-) 343
-d 342
hapa(n) 342
hapa(n)-maid 342
hihn 515
kanda- 338
kandam 338
kantta 338
kata 338
-kaz 346
koht 342
kurk 349
käske 341
käski 341
küzu 342
küzui 342
l'enda- 338, 339
**l'endam* 339
l'eta 338

lähenduz 177
läzn 177
muḡl 331
palo 530
sada 189
sūd 344
süud 515
vedelntas 340
vedeluz 340
vihtutõda 345

Ижорский

vētteliüz 340

Водский

apō 342
ihna 515
iZ 360
jalka 181
kaṅgaZ 181
kumpa 181
kunikaZ 181
lapakko 181
lina 331
luḡetella 181
pesä 177
peḷloD 181
peḷto 181
pičelko 181
sata 189
silta 515
sūrepi 181
sūto 344
tila 515
vajentā 181
vetel 340
veteliüZ 340
-za 180

Эстонский

aeg 403
eesti 84
hapen 342
hapne 342
hapu 342
hiis 360
iha 346
ihn 515
kandam 338
kask 529
koht 342

kurk 349
kääv 331
küürik 346, 347
laus 403
lausuda 403
lina 331
mogl 331
muḡl 331
Munth 347
mügl 331
rebane 193
sada 189
sild 515
sišš 359
sōsar 192
tila 515
tsišš 359
tūlp 348
vaat 349
vedel 340
vedel(e)da 340
vedelik 340
vetel (юж.-эст.) 340
vigl 331
viljakas 346
Willekasse 346
Villika 346
Willikas 346
Villikasti 346

Ливский

ap̄p̄ān 342
eḷttā 339
ēitam 339
kādam 338
kādam 338
kōps 534
kuṛk 349
nuštā 348
sada 189
sīlda 515
tūlp 348
umār 402
v^{le}ddā 339
v^{le}edām 339

ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК

al 496
jelode (колым.) 211
**-kz-* 14
met 496

mit 496
niu 496
tiŋ 497
tiŋ 496
xadi 496

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ

Праиндоевропейский

*aldhu- 500
*as- 530
*beug- 534
*b^heh₁-ye/o- 533
*bheudh- 485
*dēiyo- 192
*d^heh₁- 518
*d^hew(H)- 529
*dhūmos 403
*d^hīō- 522, 526, 533
*doh₃- 518
*dolghos 192
*duō 259
*(e/o)-n(o)m-n 475
*gār-/ *gar- 478
*genh₁- 527
*genu/ *gneu 497
*ghes- 474, 497
*ghes-(o)r, *ghes-to- 474
*gh₁-(y)e/o- 527
*g^he(H)- 497
*g^hi 531
*(h)āi 250
*h₂awg 530
*h₂awks 529
*h₂azg^(h)- 529
*Hel- 496
*h₁(e)su- 527
*h₁neh₃men- 498
*h₂weks- 530
*-(i)jā 469
*-(i)jo- 469
*-(i)jom 469, 472
*-jos 329
*kank- 506
*kas-en- 506
*kas-o- 506
*ker-w- 535
*k^ho 496
*k^hwnō- 522
*lā- 483
*-m 469-473, 499
*mār-/ *mar-/mr̥ 480
*mel/ *mene- 496
*men- 497
*-mer/ *-men 470
*-me-s 496
*-mo- 496
*-mo- 470
*-n 499
*nāus 500
*nem- 496
*nōm-ŋ- 496
*-o- 471
*orbhano- 194
*orbhjo- 194
*orbhos 194
*pās- 479
*pāt-/ *pat- 480
*peku 250
*pelH- 497
*pewh 523
*pewH-eno- 527
*pleu- 518
*plogos 500
*pol- 475
*porkos 192
*pu(H)- 523
*puH-to-s 518
*puHto-s 523
*sān- 480
*sār-/ *sar- 478
*sārp-/ *sarp- 478
*serom 531
*(s)kolmos 500
*snefī- 475
*snefī(y)- 496
*snefīu- 475
*snefīu-rī-n- 475
*spen- 496
*sru-/ *srāy-/ *sray- 478
*(s)terā- 480
*(s)trē- 480
*syesor- 192
*suH-e/o- 529
*tak'- 477
*tawr- 478
*te- 497
*tel- 480
*tem(H)- 403
*tep- 485
*ter- 480
*ter-m- 480
*to- 496
*yed- 474

*uedijom 472
*uel- 327
*uet-(o)r (*uet-n(t)-) 474
*ui 327
*uik^hti 259
*uk^hsen 250
*uk^hsō 250
*wejH- 533
*wen-(e/o-) 500, 501
*wil(i)jo- 525

Хеттский

me(i)u- 492
šuwāi- 529
tēri 492
uatar 474

Тохарские языки

āle (A) 250
*alyiye (B) 250
*hokso (B) 250
ikam (B) 259
okso (B) 250
pihkem (B) 289
por (A) 250
puwar (B) 250
walke (B) 325
walo (B) 325
wāl (A) 325
wās (A) 250, 251
wiki (A) 259
yasa (B) 250, 251

Индоиранские языки

Праиндоиранский

*aiša 193
*a-kšaitra- 193
*angāra- 506
*antar 194
*antara- 194
*arbhas 194
*ardha- 507
*ardhas 507
*asura 193
*āstra- 506
*bhagas 192
*bhundas 192, 507
*budhnas 192, 507
*daivas 192
*darghas (?) 192

**erdhas* 192
 **maiša*- 506
 **martas* 192, 402, 509
 **maya*- 506
 **mṛtas* 192, 402, 509
 **poršos* 192, 507
 **rešmi* 509
 **reupōšo*- 193
 **sapta* 507
 **śaśar*- 192
 **surā*- 507
 **talas* (?) 193
 **varāzha*- 194
 **varman*- 193
 **vāta*- 506
 **vāzra* 194
 **vermen*- 193
 **vṛkas* 193
 **śasa*- 506
 **ūdhar* 193, 509
 **wen*-(e/o)- 501
 **zharan*(i)ya 193

Митаннийский

Indara 503
Mitira 503
Našatiya 503
Uruvna 503

Древнеиндийский, санскрит

ā-kṣetra 193
āṅgāraḥ 506
antār 194
antara- 194
ārbhaḥ 194
ārcati 484
ārdhaḥ 192, 507
āṣṭrā- 506
āsuraḥ 193
bālam 328
bālīyas- 328
bhāgaḥ 192
budhnāḥ 192, 507
dāntā- 522
dēvāḥ 192
dūt-iyam 469
hārati 478
hiraṇya- 193
Indra 503
iṣā 193

kṣatr-iyam 469
lōpāsāḥ 193
mārtah 192, 402, 509
māyah 506
meśāḥ 506
Mitra 503
mṛtāḥ 402
Nakṣatras 503
nāu 500
pāvana 527
piṅkte 289
pūtāḥ 518, 523
raśmiḥ 509
sapta 507
Sārasvatī- 504
sārati 478
Sarāyu- 504
snāvan- 475
sūrā 507
suvāti 529
svāpn(i)yam 469
svāsar- 192
syūman- 506
śaṅkū 506
śaśāḥ 506
tala-m 193
tārah 484
ūdhar 193, 509
ukṣā 250
vājraḥ 194
vān- 500
vāna- 500, 501
varāhāḥ 194
varīyān 325
vārman- 193
Varuna 503
vāta 506
vṛkaḥ 193

Иранские языки

(авестийские формы специально не обозначены)

**zyr* (согд.) 505
aēša 193
afriša (перс.) 261
ahurō 193
 **aṅgāra* 506
arəda- 507
aštrā- 506
āsquār (осет.) 505
æwzestæ (осет.) 251
bayas 192
 **būna*- 507

βr'z- (согд.) 266
cārgās (осет.) 505
 **čarkas* 505
črks (согд.) 505
dawāg (осет.) 506
hapta 507
Haraiva- (др.-перс.) 504
Haraivati- (др.-перс.) 504
Harax'aiti- 504
Harōiua- 504
hurā- 507
idawāg (осет.) 506
kad (перс.) 402
kahrkāsa- 505
kat (ягноб.) 402
 **kata*- 308
kata- 402
marata- 509
mar'ta- 402
mard (пехл. перс.) 402
mayah- 506
maēša- 506
maēši- 506
maša 509
naw (осет.) 500
piyādag (ср.-перс.) 303
saha- (хотано-сак.) 506
 **saṇha*- 506
snāvarə 475
Susa (перс.) 507
 <*U-v-j*> (*H*)*ūža*- (др.-перс.) 508
uxšan- 250
vanā 501
varāza- 194
vāta- 506
vazra- (авест.) 194
 **vi-tāva-ka* 506
zaranya- (авест.) 193, 224, 251
zarr (пехл.) 251
zarrēn (пехл.) 251
zār (перс.) 251
zārrīn (перс.) 251
zyār (осет.) 505

Армянский

ēš 252
jeṛn 478
oski (др.-арм.) 251
t'al 484
voski 251

Греческий

(F)ἄλις 325
 ἄρι 325
 βέλ-терос 328
 βύσσοc 252
 διάκοc (ср.-греч.) 441
 διάκονοc (ср.-греч.) 441
 εἰλέω 325
 εἶλω 325
 ἐλιχόν 326
 (ἐν-)ύπνιον 469
 ἐρι- 325
 εὐχαριστεῶ 442
 θελκτήρ-ιον 269
 θυμίαμα 448
 κάμῑνοc 454
 κῑstis 360
 Λενξανῆνοι 414
 μῆλον 402
 Μουντιμῆροc 465
 ὄνοc 252
 ὀρθόν 326
 ορφανός 194
 πηλίκοc 330
 συμρνα 261
 τέκνον 484
 τεταγών 477
 τηλίκοc 330
 τοῦρχοι 411
 τράπεζα 434
 φρατρία 469
 χεῖρ 478
 ὕδωρ 474

Латинский

aes 251
 Aléxius 459
 angelus 456
 ángelus 458
 asinus 252
 Augustínus 459
 Augustin(us) 459
 aurum 251
 cámera 458
 camínus 454
 canónicus 458, 459
 chrisma 447
 cōnus 361
 cruceм 444
 Cyriácus 459
 Damiánus 459
 dē-bilis 328

décima 449, 459
 diaconus 442
 discus 453
 dubium 259
 Elisabeth 459
 Elisabeth 459
 extraneus 446
 fermare 449
 fílius 523
 firmare 449
 Franciscus 459
 frater 447
 gratia 444
 Hadrianus 459
 hērēd-ium 469
 Lauréntius 459
 leviticum 458
 magis 329
 málum 402
 Martínus 459
 Márтин(us) 459
 missa 448, 459
 monastérium 459
 Noricum 333
 orbus 194
 pateō 480
 philoméla 459
 pingo 289
 porcus 192
 quālis 330
 rem 88
 sacristia 459
 Saracénus 459
 Sebastianus 459
 sēlla 459
 senex 480
 serum 531
 servit-ium 469
 somnium 469
 Spani 454
 strigonensis 454
 tālis 330
 tangō 477
 tarmes 480
 tēgula 459
 termes 480
 thymāma 448
 valeo 325
 viola 458
 violā (вульг.) 459
 viola 458

Романские языки

Bistrița (рум.) 429
 Botean (рум.) 429
 Budila (рум.) 455
 Cetariu (рум.) 453
 chaire (фр.) 264
 chaise (фр.) 264
 chenapan (фр.) 355
 clinche (ст.-фр.) 433
 fiu (рум.) 523
 Găstrade (рум.) 463
 Gladna Română (рум.) 464
 mais (фр.) 329
 Mutnicul Mic (рум.) 463
 rien (фр.) 88
 Straja (рум.) 463
 strano (итал.) 446
 trousse (фр.) 355
 trousses (фр.) 355
 Vălcău (рум.) 430
 Zlatna (рум.) 463

Кельтские языки

ad-bol (др.-ирл.) 328
 Norici (кельт.) 333
 teurok (бретон.) 484
 triubhas (гэльск., др.-ирл.) 355
 trius (ирл.) 355
 vīndo (кельт.) 413
 wedinna (кельт.) 413

Германские языки**Прагерманский**

*aylu-z/*ayli-z/*ayla-z 530
 *aiḍa- 530
 *aiṣa-z 530
 *aiwa- 403
 *aiwi- 403
 *anhja- 530
 *apl- 402
 *atala-z 530
 *auja- 531
 *bē-jela- 533
 *fauja- 523
 *flauja- 518
 *fraiwa 519
 *gagna- 531
 *hardēn- 516
 *hardīan- 515
 *hardjan 516
 *heuja 518

*hlaiwa- 518
 *kaujan 518
 *kwjōla- 531
 *lausaz 403
 *rauja- 519
 *sāt(i)ja 528
 *sauþa 515, 516
 *sauþa-z 515
 *seīþa 515
 *sēja-/ *sēja- (догерм.) 521
 *sēja 528
 *stōdia- 523, 533
 *straujan 518
 *tila- 515
 *trauja- 518
 *uz-anþja- 530
 *χunda- 522

Отдельные германские языки

agls (готск.) 530
 aglus (готск.) 530
 Agoston (ср.-в.-нем.) 459
 aiz (готск.) 251
 Allo (др.-датск.) 344
 Alo (др.-нем.) 344
 arbja (готск.) 194
 Asche (нем.) 529
 atall (др.-сканд., исл.) 530
 auja (др.-сканд.) 531
 bāhen (нем.) 533
 bayer (ср.-в.-нем.) 457
 Bayer (нем.) 457
 be-gegen (нем.) 531
 Bischof (нем.) 457
 burgære (ср.-в.-нем.) 457
 Bügel (нем.) 534
 Bürger (нем.) 457
 chussin (др.-в.-нем.) 458
 czukcher (ранний н.-в.-нем.) 457
 Dingsda (нем.) 471
 egle (др.-англ.) 530
 Eid (нем.) 530
 eið (др.-сканд.) 530
 erendi (др.-сканд.) 530
 fat (др.-сканд.) 349
 fewen (др.-в.-нем.) 523
 firmōn (др.-в.-нем.) 449
 fley (др.-сканд.) 518
 fruestukh (ранний н.-в.-нем.) 458

Frühstück (нем.) 458
 Frühstück (ранний н.-в.-нем.) 458
 gagn (др.-сканд.) 531
 gain (англ.) 531
 ganazzo (др.-в.-нем.) 523
 garazds (готск.) 453
 Goldenmarkt (нем.) 463
 ham (ср.-н.-нем.) 350
 hamr (др.-сканд.) 350
 hartēn (др.-в.-нем.) 516
 haus (исл.) 360
 hauss (др.-исл.) 360
 hārta (швед.) 516
 hārta ut (швед.) 516
 hārþa (ст.-швед.) 515
 herzog (ср.-в.-нем.) 457
 Herzog (нем.) 457
 herða- (др.-сканд.) 516
 hös (швед. диал.) 360
 høs (ст.-дат.) 360
 hraiw (готск.) 519
 hý (др.-сканд.) 518
 katara (др.-в.-нем.) 458
 kamera (др.-в.-нем.) 458
 kamere (ср.-в.-нем.) 458
 Kissen (нем.) 458
 krāmære (ср.-в.-нем.) 457
 Krämer (нем.) 457
 kristen (ср.-в.-нем.) 444
 lebestock (ранний н.-в.-нем.) 458
 Liebstöckel (нем.) 458
 lubstōkch (ранний н.-в.-нем.) 458
 lübestock (ранний н.-в.-нем.) 458
 Márton (ср.-в.-нем.) 459
 Mondnacht (нем.) 347
 Mundo (др.-нем.) 347
 Munt (др.-нем.) 347
 munusturi (др.-в.-нем.) 459
 pal (ниж.-нем.) 328
 pal (сев.-фриз.) 328
 pall (ниж.-нем.) 328
 pall (сев.-фриз.) 328
 pfaffo (др.-в.-нем.) 445
 piscof (ст.-баварский) 457
 quench (англ.) 207
 saian (готск.) 521
 saubr (ст.-готланд.) 515
 sāti (др.-сканд.) 528
 Schaft (нем.) 371
 Schlüffel (нем.) 355

sēap (др.-англ.) 515
 smola, smula, smule (др.-швед.) 208
 sōþer (др.-швед.) 515
 spitāl (ср.-в.-нем.) 458
 Spital (нем.) 458
 Spittel (нем.) 458
 tenar (др.-в.-нем.) 458
 tener (ср.-в.-нем.) 458
 thingamy (англ.) 471
 til (ср.-н.-нем.) 515
 tray (англ.) 518
 trouse (англ.) 355
 trousers (англ.) 354, 355
 truss (англ.) 355
 twist (англ.) 259
 þaccian (др.-англ.) 477
 vat (ср.-н.-нем.) 349
 wangechusse (ср.-в.-нем.) 458
 wangküss (ср.-в.-нем.) 458
 Wien (нем.) 413
 Zapf (нем.) 361
 Zapfen (нем.) 361
 zil (др.-в.-нем.) 515
 Zipfel (нем.) 361
 Zucker (нем.) 457
 zugher (ранний н.-в.-нем.) 457

Балтийские языки

Прабалтийский

*gelumā 524
 *kepta- 524
 *kraivas 519
 *rauja- 519
 *reistjō- (балто-слав.) 483
 *statija 523
 *uorgos (балто-слав.) 193
 *žimē 532

Литовский

draikas 453
 lābas 330
 laikas 402
 laivas 518
 stāčias 523
 šikšnā 515
 talōkas 484
 tiltas 515
 *toli 326
 toli 325

iolūs 325
 ūli 484
 vaigas 1

Латыш

dūms 403
 gaļa 402
 gelumā 5
 labs 330
 laīva 518
 sāutēt 51
 siksna 51
 sisis 359
 tālis 325

Прусский

labs 330
 Monte 34
 Munte 34
 tālis 325
 talus 193

Ятвяк

ajki 402
 alm 402
 bus 402
 chad 402
 dumo 403
 fala 402
 taura 403
 mard 402
 sula 403
 wal 402

Славян

Праславянский

*ablū/o 4
 *āgne 42
 *agnedъ 4
 *aršikъ 4
 *arъmъ 4
 *ba 328,
 *bara 45
 *barica 4
 *baŕja 42
 *berka 42
 *berkovicъ 4
 *berkovъ 4
 *berkъ 42

tolūs 325
tūli 484
vaŕgas 193

Латышский

dūms 403
gaļa 402
gelumā 524
labs 330
laīva 518
sautēt 516
siksna 515
sisis 359
tāls 325

Прусский

labs 330
Monte 347
Munte 347
tālis 325
talus 193

«Ятвяжский»

ajki 402
atm 402
bus 402
chad 402
dumo 403
fała 402
tausa 403
mard 402
sulā 403
wał 402

Славянские языки

Праславянский

*ablū/o 402
*āgne 424
*agneđь 424
*aršikъ 427
*arъmъ 423, 427
*ba 328, 329
*bara 454
*barica 454
*batja 427
*berka 429, 452
*berkovica 429, 452
*berkovъсь 429, 452
*berkъ 429, 452

*bēšъ 332
*blēđo 441
*blēđь 417, 441
*blizna/o 424
*blōđь 417, 441
*bo 325, 328, 329
*bobovъ 454
*bobovъсь 417, 454
*bobrica 454
*bobrъ 454
*bobъ 454
*bōdi li 329
Bogomērъ 465
*bogъ 454
*bojevъ 454
*bojevъсь 417, 454
*bojъ 454
*bokovica 454
*bokovъ 454
*bokovъnikъ 454
*bokъ 454
*bo le 329
*bole 329
*boli 329
*bolje 325–330
*boljeje 328
*boljъjъ 325, 328, 329
*boljъma 329, 330
*boljъmi 329, 330
*boljъše 328
*boljъši 325, 328, 329
*borzda 425, 426, 463
*Boreta 417
*botъjanъ 429, 452, 464
*božьkovъ 454
*božьkъ 454
*bratrъ 447
*bratrъja 469
*bratъ 425, 447, 448
*brazda (ПаннС) 414, 463
*Brēgъ (ПаннС) 464
*Brēgъ (ПаннС) 464
*britva 448
*brītva 448
*brođь 455
*brođьсь 455
*brъno 455
*brъньсь 455
*budidlo 455
Budimērъ 465
*buditi 455
Bъdimērъ 465
*bъlkačъ 455
*bъlkati 455

*bъrzdovica 455
*bъrzda 455
*bъrzъ 455
*bъrzVnica 455
*bystra 464
*bystrica 464
*Bystrica 429
*bъrdo 452
*bъrdьce 452, 453
*cerъ 417
*cerъje 417
*cērъ 417
*cēsarъ 417
*cēva 417
*cēvъ 417
*cēvъ 331, 417
*cъrky 450
*čelarjъ 453
*čeljadъ 460
*čeljadъ 429
*čeljadъ 429
*čelo 453
*čemerъ 453
*čērda 461
*čerslo 426
*čersъnja 426
*četa 419, 453, 461
*četa 425
*četarjъ 453
*četvъrtъkъ 447, 461
*čexъlъ 461
*čъbrъ 417
*črēda (ПаннС) 461
*čudo 447
*čъbanъ 453
*čъbulja 453
*čъbъrъ 453
*čъlпъkъ 461
*čъmъrъ 453
*čъrmelъ 453
*čъrmidlo 453
*čъrmiti 453
*čъrmlja 453
*čъrna 464
*da 325
*dalekъ 325
*dalje 325, 329
*dalъ 325
*dalъnъ 325
*degъtъ 461
*dъbovъ/a/o 417
*dъbrava 417
*dъbrovъ/a/o 417
*dъga 417

*doržьka 426
 *drěčьnъ (ПаннС) 453
 *drěkъ (ПаннС) 423, 453
 *drogъ 417
 *dъbrьka/*dъbrьka 464
 *dъska 429, 453
 *dъrati 453
 *dъrtica 453
 *dъrtъ 453
 *dъska 429, 453
 *e-le 327
 *ēdsli 423
 *gatja 224, 428
 *gatъ 453
 *gatъje 453
 *gīrdī (раннеслав.) 532
 *Gladьna (ПаннС) 464
 *glista 433
 *glōbьkъ 417
 *gōba 417
 *gobino 425
 *gōdьcъ 417
 *goldьna 464
 *golōbъ 417
 *gorazditi 453
 *gorazdъ 453
 *gorazdьnъ 453
 *gordina 426
 *gordja 427
 *gordъ 425
 *gordьna 426, 464
 *gōserъ 426
 *Gostiradъ 463
 *gōžъ 426
 *grabla (ПаннС) 433
 *Gradьna (ПаннС) 464
 *grebatil/*grěhati 453
 *grebja 427
 *grebl' u (ПаннС) 427
 *grebtі 453
 *grědu 417
 *grědelъ 417
 *grědīlъ 417
 *grědъ 417
 *grěbъ 453
 *grěxъ 332
 *grqha 417
 *grqđъ 417
 *grqđьje 417
 *grьkъ 415, 430
 *guser (ПаннС) 426
 *guž (ПаннС) 426
 *gъ 327
 *gъrпъ 454

*gъrba 426
 *gъrdla 453
 *gъrdlica 427, 453
 *gъrdlo 453
 *gъrba (ПаннС) 426
 -ik- 326
 *ile 326
 *jaręba 454
 *jarębъ 454
 *jarъmъ 465
 *jarъmъ 461
 *jаръmъ 461
 *jasli 423
 *-je 329
 jele 326
 *je lě 326
 *(j)elě 326
 *je li 326
 jeli 326
 jeliko 326
 *jelikъ 326
 jely 326
 jelyma /-mi 326
 *jelymi / -ma 330
 *južakъ 454
 *jъ 326
 *jъgo 465
 *jъ lě 326
 *jъlova 464
 *Jъlъšava 464
 *jъlъšova 464
 *kadarjъ 454
 *kady 454
 *kadъ 454
 *kamenica 454
 *kamenъ 424, 429
 *kâmenъ 424
 *kamenъje 469
 *katoгъ 429
 *kamy 429
 *kěvъ 331
 *klasъ (ПаннС) 414, 433
 *klepa- 461
 *klъci 427
 *klъkъ 427
 *ko 330
 *kōd(e)рь 417
 *kōkolъjъ 417
 *ko li / *ko lě 326
 koli / kolě 326
 *koliko / *kolikъ(jъ) 326
 *kolikъ 326-330
 *kolosъ (вост.-слав.) 414
 *kolsъ 425, 433

*kolъ 326
 *kolъkъ (зап.-слав.) 327, 328
 *kolъmi / -ma 326, 330
 *kominica 454
 *kominъ 454
 *komъ 450
 *koNpoгъ 450
 *kopъ 423
 *kora 526
 *korčiti 443
 *korčunъ 424, 442, 443, 463
 *korlъ 433
 *koročunъ (вост.-слав.) 442
 *kōsъ 417
 *kotarъ 454
 *kotarъcъ 427, 454, 460
 *kotja 428
 *kračunъ (южно-слав.) 442
 *kračunъ (ПаннС) 433, 443, 463
 *krajъ 332
 *kralъ (ПаннС) 433, 434
 *Kralъka (ПаннС) 434
 križma 448
 *križъ 444
 *kroгъ 332, 417, 433
 *krōpa 417
 *kropiti 447
 *kryžъ 450
 *krъstiti 444, 447
 *krъstъ 415, 433, 443, 444
 *krъstьjanъ 447
 *kuma 447
 *kumъ 447
 *kvasьna 464
 *kvasьnъ 464
 *kъ 326, 330
 *kъnězъ (ПаннС) 426
 *kъnězъ (ПаннС) 426
 *kъnězъ 426
 *kъrčidlo 454
 *kъrčiti 454
 *kъrčVdlo 427
 *kъrkъ 349
 Ladiměrъ 465
 Ladislavъ 407
 *ladъ 170, 332
 *lakma 426
 *lavьka 427
 *le 325-328
 *le / *lъ / *li 327
 *lě 327
 *le bo 329
 *lędjan- 415

*lędjaninъ
 *lędjanъ 4
 *lędjъnъ 4
 *lędnica 4
 *lędnikъ 4
 *le-le 327
 *leja 417,
 *li 326-33
 *li bo 329
 *libo 329
 *listi 532
 *lod- (Пан
 *lodyka 42
 *logъ 417
 *loka 418
 *lokanьcъ
 *lokoma/o
 *loknica 41
 *lъžьka 33
 *lъ 326-32
 *lъnъ 331,
 *matjexa 4
 *mājexa 4
 *mečъ 418
 *medja 428
 *medvėdъ
 *mėdъ 424
 *mėdъnica
 -mėrъ 465
 *mėsar' (П
 *mėsarъ (П
 *mėsarjъ 4
 *milostъ 44
 *mirъ 332
 -mirъ 465
 *mladja (П
 *močidlo 4
 *mъka 418
 *mol' (Пан
 *moldja 42
 *moldjъ 42
 *molъ 427
 *moravьcъ
 Moriměrъ 4
 *Mōrъnikъ
 *mъlynarjъ
 *mъnixъ 44
 *mydlo 331
 *mъnъmi /
 *mъrtva 46
 *mъša 448,
 *naъ 331
 *nėmьcъ 41
 *niji 428

- *leđjaninъ 414
 *leđjanъ 417, 424, 428
 *leđjēnъ 417, 424, 428
 *leđьnica 417
 *leđьnikъ 417
 *le-le 327
 *leŭja 417, 428
 *li 326-330
 *li bo 329
 *libo 329
 *listŭ 532
 *lod- (ПаннС) 426
 *lodьka 426
 *logъ 417
 *lōka 418
 *lōkanъcъ 418
 *lokoma'lo (ПаннС) 426
 *lōknica 464
 *lōžьka 331
 *lō 326-328
 *lōnъ 331, 332, 423
 *matjexa 424, 428
 *mājexa 424
 *mečъ 418
 *medja 428
 *medvēdъ 413
 *mēdъ 424
 *mēdьnica 424
 -mērъ 465
 *mēsar (ПаннС) 426
 *mēsar' (ПаннС) 426
 *meсарjъ 426
 *milostъ 444, 456
 *mirъ 332
 -mirъ 465
 *mladja (ПаннС) 425
 *močidlo 454
 *mōka 418
 *mol' (ПаннС) 427
 *moldja 425, 428
 *moldjъ 428
 *moljъ 427
 *moravъcъ 418
 Mōtimērъ 465
 *Mōtьnikъ 463
 *mьlynarjъ 423
 *mьnixъ 447
 *mydlo 331
 *mьnъmi / -ma 330
 *mьrtva 461
 *mьša 448, 450, 459
 *natъ 331
 *nēmъcъ 418
 *nitji 428
 *nosidlo 427, 454
 *novъ gordъ 425
 *obar(iti) (ПаннС) 427
 *obēdъ 425, 460
 *obida 170
 *obilьje 525
 *obrōčъ 418
 *obvar(iti) 427
 *ob-vilьje 525
 *ocēlъ 426
 *ocēlъ 425
 *ōcēlъ 460
 *ōgьlьje 469
 *okъno 331
 *old- 426
 *o-le 327
 ole 326
 oliko 326
 *olka- 483
 *olkoma'lo 426
 *oltarъ 448, 450
 onoliko 326
 onolikhъ 326
 *opatъ 449, 450
 *orbota 426
 *orbъ 419, 426
 *orkytъje 426
 *orzsadъ 426
 *ostrъje 469
 *ostnъ 461
 *otora 418
 *otъkъ 418
 ovoliko 326
 *paqъkъ 418
 *parъ 332
 *pastyrъ 424
 *pekъ 428
 *Perslavъ 426
 *pētъkъ 418, 448
 *pirъ 332
 *plaščъ 414, 425
 *plēšъ 449
 *poganъ 448, 450
 *pogrebъ / *pogrēbъ 453
 *polata 425
 *polъno 331
 *polъ 526
 *pondraw (ПаннС) 427
 *ponorъ 427
 *porъ 444, 445
 *porōč(iti) 418
 *portja 428
 *porъxъ 332
 *porzdьna'lo 426
 *postatъ 426
 *potegъ 418
 *prođъ 418
 *pustŭ 532
 *pъlkъ 332
 *pъkъlъ 448, 450
 *pъсарjъ 423
 *pъstrōgъ 418
 *račъ 357
 *razsad (ПаннС) 426
 *rebro 464
 *rēdъ 332, 418
 *rešeio 456, 461
 *rob (ПаннС) 426
 *rōb(iti) 418
 *robota (ПаннС) 426
 *rōčьka 418
 *rođъ 332
 *rokytъje (ПаннС) 426
 *ruxo 424
 *rъdja 428
 *rъžъ 224, 423
 *Rybanъ (зап.-слав.) 464
 *Ryblъny (ПаннС) 464
 *sani 224
 *sēdja 428
 seliko 326
 selikhъ 326
 *selme 418
 selъ 326
 *serda 414, 425, 448, 461
 *sestra 448, 461
 *slaninq (ПаннС) 425
 *slanīna (ПаннС) 460
 *slava 464
 *sliva 461
 *slīva 461
 *sluga 424
 *služьba 448
 *sobota 445, 446
 *sqbota 418, 445, 446
 *sqbotъ 445
 *solninq 425
 *solnina 460
 *sōlnъ 460
 *solva 464
 *sōbъ 460
 *solьnica 456
 *solьnica 425, 460
 *sqpacъ 418
 *sqsedъ 418
 *srēda (ПаннС) 414, 448, 461
 *stergomъ 454
 *stokolsъ 425

игомѣнь 449
 игоумѣнь 449
 игоумень 449
 крижма 448
 крижь 443
 кризма 448
 кръсть 443
 милость 444
 мьньми 330
 мыша 448
 мышѣ 448
 нареци 333
 (на)реци 334
 нарци 333, 334
 нарьци 333, 334
 нарьць 333
 нор(и)ци 334
 пькъль 448
 пьцьль 448
 рыци (рцы) 334
 радѣ 332
 солома 331
 стороникъ 446
 стороньникъ 446
 странолюбие 446
 странолюбьць 446
 странъ 446
 страньникъ 446
 страньнолюбие 446
 страньнолюбьць 446
 страньнь 446
 съние 469
 тьминанъ 448
 хризма 448
 хризьма 448
 четвѣртъкъ 461
 шестник 335, 336
 шестник(и) 335
 шестникъ 335
 шестьники 334

Древненовгородский

(см. также прибалтийско-финские формы, встретившиеся в берестяных грамотах, в указателе прибалтийско-финских слов)

Ава 344
 Ави 344
 Алуево 344
 Алуй 344
 Алюев 344
 Алюй 344, 345, 347

Баивас 345
 Валит 345
 Варма 345
 вели 341
 Вигала 345
 Вигарь 345
 Вихтимас 345
 Вихтуй 344
 внуке 332
 Воземут 345
 вытол 339–341
 вѣли 341
 Вѣльют 345
 Вѣльязказ 345, 346
 Гымуй 344, 346
 Гювий 346
 Игала 345, 346
 Икагал(а) 346
 Кавкагала 346
 Карп 346
 кисло 341, 342
 кисель 342
 коломище 331
 Корѣла 348
 Кюрик 344, 346
 Кюриково 346
 лендом(а) 338, 339
 Лѣнуй 344, 347
 Марк 346
 Мика 347
 Мунданахт 347
 Мундуева Гора 347
 Мундуй 344, 347, 348
 Мѣла 347
 Мѣли 347
 Мѣлит 347
 Мѣлиць 347
 Мѣлич 347
 Новзин 348
 Новзуево 347
 Новзуй 347
 Новзуѣв 347
 Новзѣ 338, 347
 Новзѣев 347
 Новзѣй 347
 Новзѣйко 347
 Ноя 348
 Нустуй 344, 348
 соромо 341
 соромъ 341
 социле 342
 сочил 342
 Тадуй 344, 348
 Тюлпа 346, 348

хамъ 350
 церево 341, 342
 Ъкуй 344, 348

Русский

(включая диалектную лексику)

абармо 365
 авка 321
 авко 321
 ад 332
 адор 376
 акка 365
 акка 365
 альфа 365
 анга 366
 анга 365
 ант(а) 366
 аргиишть ~ аргышть ~
 арьюшть 337
 атарма 366
 атарменный 366
 атармочный 366
 бѣрце 453
 берцо 453
 бес 332
 беспятый 362
 боб 332
 бодр 332
 боѣвки 318
 бок 332
 боле 328
 болѣшто 329
 болѣцо 329
 больше 328
 больше 328
 большевик 414
 большо 328
 борозда 414
 бугорок 370
 бурлитъ 373
 бурло 373
 вайвас-ламба 345
 валять 356
 вар 332
 варяг 415
 варяж- 415
 ваш 386
 вежа 335
 вѣжить 337
 вѣжник 337
 вежничать 337
 вежь 337
 веле- 326

великий 326
 вельмй 329
 -верзить 359
 вехоть (вѣхоть) 340
 вместе 390
 внук 332
 волк 97
 вор 332
 *вороб 332
 вóрог 193
 вóрот 359
 враг 332
 все 385
 вы 386
 вырáнда 340
 вѣхоть 340
 галдѣть 359
 гасить 207
 гаснуть 207
 гáчи 224
 говорка 378
 голенький 362
 голец 208
 грудная жаба 120
 гуж 332
 дайгá 354
 дѣготь 461
 дух 332
 дьяк 332
 елүй, ёлуй 344
 Енисей 281, 282, 352
 еретник 449
 жугá 376
 заánга 365
 забыть 382
 закандѣчить 367
 заработать 382
 зырян(ин) 352
 ибальджá 366
 ибальджа 366
 ибальджушка 366
 ибѣчка 366
 ивóйка 366
 -ик 355
 -ина 369
 к 389
 -ка 369
 кагáн 369
 каз 368
 казак 352
 казáра 366
 казара 366
 казárка 366
 кáзы 368

кáлтұс 367
 кальджа 366
 Кальджа Мысовая 366
 Кальджа Трехустная 366
 кáльджа 366
 канáк 367
 канат 372
 кандѣк 367
 кандѣнка 367
 кандѣчить 367
 каральмушка 367
 карамá 367
 °°карамджá 367
 карамджушка 367
 карамйшко 367
 карамó 367
 карамóшко 367
 карамушка 367
 каргашáк 367, 368
 каргашáтина 367
 каргашáтник 367
 каргыз 368
 кáриша 376
 кас 368
 каслать 337
 квас 332
 квѣна 368
 Кем 352
 кибирь (сиб.) 315
 кинярка 376
 киргйзник 368
 киргыз(н)ик 368
 кѣба 368
 клепáть 461
 коготка 368, 369
 ковш 332
 колоб 332
 коняга 356
 корабль 100
 корнахвостик 362
 корняжка 376
 короб 332
 °°коромджá 367
 коряга 356
 кочевать 337
 кочевник 337
 край 332
 крѣстный 444
 круг 332
 кубá 369
 кúба 369
 кул 369
 кулак 367
 кулачить 367

кум 332
 курáвина 369
 курáинка 369
 куцáк 362
 куцáн 362
 кúцый 362
 кыргызник 368
 лабаз 119
 ламба 345
 липсáд 369
 липсáн 369
 липты 281
 липцáн 369
 лисáн 369, 370
 лось 122
 лóза 370
 лук 332, 362
 лука 64
 лука 362
 лукавый 64
 лукавый 362
 лукáнько 362
 лымба 370
 лынпáсýчка 370
 лысой 362
 лысый бес 362
 лыч 332
 лóнба 370
 люцáн 369
 магарóк 370
 магáй 370
 маáдар 371
 маáдер 371
 маáдога 370
 таáтапто 353
 макá 370
 мамáнт 353
 мáмант 353
 мáмонт 353
 Мангазая 87
 маáрамджа 370
 маáтур 371
 мелководье 472
 мерѣда 331
 мерѣда 331
 мертвá 461
 мил 332
 министр 100
 мир 332
 мой 385
 молокоита 368
 молокоитник 368
 морская звезда 120
 Мста 331

- мудр 332
 Мунгатков (улус) 88
 муч 371
 му́ча 371
 мы 386
 мы́га 371
 мыч 371
 нараку́й 356
 наре́ц 333
 на́рмота 356
 на́рцы 333
 на́ш 386
 неблю́й 214
 неплю́й 214
 -ник 332
 нисса́д 369
 Новзинская 347
 обласок 366
 одевать 382
 одеваться 382
 остаться 382
 остён 461
 о́стяк 31
 отча́янный 318
 па́гальджи 371
 па́нги 371
 панжа́ 372
 панталоны 355
 Па́пигай 322
 пар 332
 па́рить 382
 па́риться 382
 па́ря 371
 пелёй 356
 переработать 382
 переть 377
 пёры 376
 Печалька 369
 печенóк 371
 печенóл 371, 373
 печенóльник 371
 пир 332
 пися́га 356
 под- 372
 пода 372
 по́да 372
 по́джа 372
 подканáк 372
 подканáт 372
 по́за 372
 по́зя 372
 по́кальбо́ 372
 по́кальпо́ 372
 по́канáк 372
 полк 332
 половодье 472
 по́нжа 372
 по́нса 372
 по́ньджа 372
 по́ньжа 372
 Попига́й 322
 порох 332
 порс 373
 по́рса 373
 почи́л 371
 приморóзка 367
 проработать 382
 про́шка 357
 пудени́ца 357
 пуджа́ 373
 пуджа́ 373
 пуджа́ 373
 пуджа́ 373
 пу́жжа 373
 пузя́ 373
 пурно́ва 373
 пурно́л 373
 пурно́ла 373
 пурчисо́н 377
 пурчисо́нисто 377
 пурьльга́ 373
 пуст 332
 путь 356
 пух 332
 пы́джа 373
 пы́джа́ 373
 пы́джа́ 373
 пы́рло́ 373
 работать 382
 раз 258
 разводье 472
 рай 332
 ра́ка 357
 ра́ковина 357
 ра́чек 357
 решето́ 461
 род 332
 родить 382
 родиться 382
 русский 84
 са́п 368
 сак 332
 салтафа́н 373, 374
 салтафа́нчик 373
 салтуфа́н 373
 само́ди 82
 само́ед 352
 само́еды 82
 самая́дь 82
 Саяны 86
 седо́ва́ 377
 се́ка 377
 сельница́ 322
 сестра́ 461
 сит 370
 сита́ 370
 сить 370
 сли́ва 461
 сноп 332
 согласи́ться 382
 соло́мя 331
 сотня́га 356
 Сохаты́й 122
 среда́ 461
 ста́ть 382
 ствол 332
 стол 332
 столб 332
 сторонник 446
 странник 446
 струж 282
 сыр 332
 сы́рга 374
 -ся 382
 сян 205, 357
 таву́р 374
 тайга́ 354
 тау́р 374
 твой 385
 те́ря 377
 тесáн 374
 толк 332
 то́лом 374
 толомóк 374
 толомóчек 374
 толóмья 374
 толоно́к 374
 толоно́чек 374
 то́лоп 377
 толопа́ 377
 Толька 369
 торг 332
 трусики 355
 трусы 355
 трусы́ 354, 355
 тунгус 282, 352
 туп 374
 ты 385
 ура́ 377
 фиг 362
 хале́ть 357

хам 350
 х́аза 357
 х́азина 357
 хв́орост 359
 хлев 332
 хля́ба 454
 хо́бот 359
 ход 332
 холм 415
 холопáй 355
 хо́луй 344
 хорт 332
 храк 454
 хуй 362
 чай 332
 ча́кка 374
 ча́ккочка 374
 чары́м 310
 час 282
 чвор 375
 чворá 375
 чворíшка 375
 челно́к 461
 чёнга 375, 376
 чёньджа 375
 чёньжа 375, 377
 чёньжа 375
 череда́ 461
 чёрный 362
 чёрт 362
 четá 461
 четверто́к 461
 чехо́л 461
 Чижа́пка 369
 чильга́ 377
 чиньджа 375
 чиньжа 375
 чиньза 375
 чира́ 377
 чи́ра 377
 чихать 357
 чо́ньджа 375
 чо́ньжа 375
 чо́пса 363
 чувáл 375
 чукáн 377
 чумовать 337
 чуш 375
 чушь 375
 шалапáй 355
 шалить 356
 шали́ть 355

шалопай 355, 356
 шалопáй 355
 шалопу́т 356
 шалый 356
 ша́лый 355
 шаяй-валяй 356
 шевёл 375
 шелапáй 355
 шелк 332
 шелопáй 355
 шелопу́т 356
 шест 335
 шествие 335
 шествовать 335
 шестник 335
 ши- 359
 ши́верзить 359
 ши́ворот 359
 шигалдун 359
 ши́ландать 360
 ши́льник 360
 ши́хворость 359
 ши́хоботь 359
 шиш 358-362
 шиша́к 361
 шиши́га 362
 ши́шка 358, 360, 361
 ши́шко 362
 шо́нга 375, 376
 шо́ньга 375, 376
 шувáл 375
 шуга 376
 шугá 376
 шугóр 376
 шы́шка 358
 это 387
 этот 387
 юдор 377
 юнга 376
 юнги 376
 юнговóй 376
 юнговый 376
 юраки 352
 юрга́ 377
 юрка 216
 юро 216
 ютуш 376
 я 385
 -яга 356
 ям 332
 ямда́ть 337
 ярем 423
 ярём 461

Говорка

агуста 384
 белый 385
 богу 384
 брат 383
 вас 386
 ваша 386
 веревка 384
 время 390
 вы 386
 глаза́ 384
 говорка 378
 девка 382
 добрый 383
 доро́дно 383
 дрова 383
 дяринга́ 383
 его 387
 забы́ться 382
 закона 384
 казать 382
 казка/казку 384
 кола 383
 колько 383
 который 385
 ку́сать 383
 ломать 382
 люди 384
 малаший 383
 мая 384
 меня 385
 мера 390
 месте 390
 место 388-390
 много 385
 много 385
 мого 385
 мы 386
 нас 386
 натуре 385
 наш 386
 наша 386
 ного 385
 оба 385
 одевать 382
 па́дерка 383
 парíть 382
 поймать 382
 пора 390
 прийти 382
 работать 382
 ребята 384

реза́ть
 родить
 рядом 3
 се 383,
 середка
 согласи
 стать
 сюза 38
 -ся 382
 тарик
 тебя 38
 -то 385
 торой
 торопи
 тут 38
 ураха́ 3
 худой 3
 человек
 чика́ть
 это 38

Украи

бе́рдо 4
 би́б 424
 бо́ле (д
 бо́ледь
 бо́ледь
 бо́ли (д
 веле- 3
 ве́лий (,
 велики
 вельми
 вельхо
 гний 42
 ле́ле 32
 лопáтс
 по́греб
 по́гриб
 хля́ба (,
 шиша́к
 ши́шка
 шугá 3

Белор.

бакави
 веля- 3
 вельми
 вялікі 3
 хля́ба (

резать 382
родить 382
рядом 390
се 383, 385
середка 382
согласить 382
стать 382
сюка 383
-ся 382
тарик 383
тебя 385
-то 385
торой 385
торопил 382
тут 387
ураха 383
худой 383
человек 384
чікати 383
это 387

Украинский

бєрдo 452
біб 424
боле (диал.) 329
боледь (диал.) 329
боледь що (диал.) 329
боли (диал.) 329
веле- 326
вєлий (диал.) 326
великий 326
вєльми 329
вєльхорoш 326
гній 424
лєлє 327
лoпaтa 424
пoгрєб 453
пoгрїб 453
хлїба (диал.) 454
шїшак 361
шїшка 358
шугa 376

Белорусский

бакавіца 454
веля- 326
вєльмі 329
вялікі 326
хляба (диал.) 454

Болгарский и македонский

(болгарские формы специаль-
но не обозначены)

веле- 326
веле- (макед.) 326
вєли 326
вєли (макед.) 326
вєлік 326
вєлік (макед.) 326
вєльне 329
вєлно 329
крачун 443
Крачун (макед.) 443
лєлє 327
шїшко 361

Сербскохорватский

bārica 454
bėrmati 449
birmati 449
bōb 424
brodac 455
dežma (ст.-кайк.-хорв.) 449
dijak 442
dižma (ст.-кайк.-хорв.) 449
djak 442
đak 442
eretnik (кайк.-хорв.) 449
gāce 224
heretnik (кайк.-хорв.) 449
jeretnik (кайк.-хорв.) 449
jeretnik (кайк.-хорв.) 449
kādār 454
křk (диал.) 349
Ledanin (ст.-серб.) 415
opatica 449
opatica 449
pliš (чак.-хорв.) 449
strān 446
šišak 361
šiška 358
бoльє 329
бoльма 329
вєлє 326
вєликї 326
вєльї 326
вєoма 329
воља 399
гнoј 424
гaђa 428
дан 399

коњ 399
лан 399
лєлє 327
лoпaтa 424
лє 329
маъма 330
не 399
низ 399
њивa 399

Словенский

birmati 449
bōb 424
boli 329
boljma 329
brōdec 455
čēlō 453
čēmér 453
čmér 453
dan 399
gāča 224
gnōj 424
grla 453
kādār, kadār 454
Kamerovic 429
konj 399
križma 447
lan 399
lopāta 424
ne 399
niz 399
njiva 399
ocēl 460
opātica 449
strān 446
strānski 446
šišak 361
šiška 358
tam-le 327
tam ve 327
tu-le 327
tu ve 327
ve 327
ve/-vė 327
vele- 326
vėlik 326
vezdaj 327
vplja 399
zdaj 327

Чешский

bob 424

bokovní 454
 bokový 454
 brdo 452
 dušník 449
 hnůj 424
 hrdla 453
 kněz 445
 krk 349
 křest 444
 křstni 444
 lopata 424
 mše 448
 stařec 264
 straník 446
 šišák 361
 šišaň 358
 šiška 358
 vele 326
 veli 326
 veliký 326, 327
 velký 326, 327
 velmi 329
 žák 442

Словацкий

Banská Bystrica 429
 Barca 454
 bôb 424
 bôr 424
 Chlievany 464
 Čeláre 453
 čermuľa 453
 hnoj 424
 jaršik 427
 kadár 454
 kračun 442
 lopata 424
 mesto 421
 Ostrihom 454
 Rybany 464
 šišák 361
 šiška 358
 špán 454
 veliký 326
 velo 326
 veľký 326
 veľmi 329
 Zemplin 464
 Zlate Moravce 418
 žiak 442

Польский

ba 328
 bób 424
 chata 402
 czer 453
 czolo 453
 gnój 424
 kamor 429
 Kamor 429
 ksiądz 445
 lopata 424
 proch 357
 proszek 357
 stronnik 446
 szysz 359
 szysza 358, 361
 szyszak 361
 szyszka 358
 wiele 326
 wielgi 327
 wielgi 327
 wielki 326
 wielmi 329
 wielo- 326
 Włochy 434

Прочие славянские языки

kamor (словин.) 429
 kark (словин.) 349
 šiška (в.-луж.) 358
 šyška (н.-луж.) 358
 vjeldzi (кашуб.) 327
 wielesy (н.-луж.) 327
 wilt'ě (полаб.) 326
 wjele (в.-луж.) 326
 wjele (н.-луж.) 326
 wjeliki (н.-луж.) 326
 wulki (в.-луж.) 326

АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ

Праалтайский

*ala 496
 *bä/*män- 496
 *bi/*min- 496
 *e- 497
 *k'ädV 304
 *kařV 304
 *peli- 497

*p'iül'V 119
 *qa-/ *qo- 496
 *qala- 496
 *tä- 497

Тюркские языки

Древне-, средне-, обще- и межтюркские формы специально не обозначены. В тюркском указателе принято следующее расположение букв:

ä = e (на месте e)
 γ = g (на месте g)
 i = j = y = ı (после i)
 q = k (на месте k)
 ş = s (после s)

aba (ср.-тюрк., тат., тоф.) 229, 312
 ayaş (алт.) 314
 ayiz 261, 262
 ayizan- 262
 ayizla- 261
 ayzan- 262
 *ajla- 314
 *ajlaq, °ajlaq 314
 ajlaŋ (тув.) 314
 ajlaŋ-kuškaş (тув.) 314
 ajlaŋ-sāskan (тув.) 314
 aq as (алт.) 314
 ākō (долг.) 321
 aqsa- 250
 *aqsaq 314
 *aqsyŋ 314
 °aqsyŋ-as (сиб.-тюрк.) 314
 aqsū (алт.) 314
 aqsun 250
 °aqtaŋ-as 314
 āku (долг.) 321
 ālagaş (тоф.) 312
 alascha (тат.) 229
 aldī 288
 aldāt (якут.) 382
 alma 402
 anırvzn 261
 *ār-, ār- 265
 *ār₂- 265
 arba (тат.) 229
 *ārdī 265
 ar-dor- (тув.) 265
 °aryalyŋ (сиб.-тюрк.)
 aryalyŋ (леб., шор.) 314
 ariŋ, aryŋ 264, 295
 *arışlan 434

*arqa 314
 *arkalıŋ (тюрк.)
 arqalū (алт.)
 arqış tirkış
 *ārmadī 261
 arpa (тат.)
 *ārsun 261
 aru (алт.)
 'arz et- 261
 arzu 261
 *as, ās (алт.)
 *asyŋ 300
 ata (тат.)
 āv (чуваш.)
 ava (тув.)
 āvā (чуваш.)
 avalışkılar 310
 avruzi 261
 avzuri 261
 āz-, *āz- 261
 azyan 261
 azyir 261
 azyi 264
 azyi, *azyi
 azman 261
 azmīš 261
 aznd 261
 az-toz- (кир.)
 'azzā vā žē
 *bā- 245
 bacanak (тат.)
 bacınak (тат.)
 baj 87
 bajan (бул.)
 baka (долг.)
 bakalaa- (тат.)
 balbal 449
 banzi 262
 *barym 429
 bariš-, bar
 baz (крым.)
 baz qil- 261
 bāža (тюрк.)
 bedizci 261
 *bākirā 304
 bekire (каз.)
 bekire/bek
 bekrā (каз.)
 bākrā (узб.)
 *berü ~ *t
 *bez 252

*arqa 314
 *arkalı(y), °arqalı(y) (сиб.-тюрк.) 208, 314
 arqalū (алт.) 314
 arqış tırkiš 259
 *armadī 265
 arpa (тат.) 229
 *ārsun 265
 aru (алт.) 295
 'arz et- 261
 arzu 261
 *as, ās (алт.) 314
 *asyu 300
 ata (тат.) 229
 āv (чуваш.) 307
 ava (тув.) 310
 āvā (чуваш.) 307
 avalışkılar, avaškilar (тув.) 310
 avruzi 261
 avzuri 261
 āz-, *āz- 261, 265
 azyan 261
 azyir 261
 aziy 264
 azīy, *azyu 261, 300
 azman 261
 azmīš 261
 aznd 261
 az-toz- (кирг.) 265
 'azzā vā žällā 261
 *bā- 245
 bacanak (тур.) 258
 bacınak (тур.) 258
 baj 87
 bajan (булг.) 269
 baka (долг.) 321
 bakalaa- (долг.) 321
 balbal 449
 banzi 262
 *barym 423
 barīš-, barış (тур.) 265, 266
 baz (крым-тат., карaim.) 266
 baz qıl- 265
 bāža (туркм.) 258
 bedizēi 261
 *bākirā 303
 bekire (ккалп.) 303
 bekire (казах.) 303
 bekire/bekre (туркм.) 303
 bekrā (казах.) 303
 bākrā (узб. диал.) 303
 *berü ~ *beri 423
 *bez 252

*bi 253
 °bičülör (сиб.-тюрк.) 314, 315
 bikrī (башк.) 303
 bil- 265
 bildür- 265
 bildüz- 265
 *biš- 314
 biz 261
 bizdā 261
 bizkā 261
 bizni 261
 bizniñ 261
 *byš- 314
 boy- 257
 boyardağ (башк.) 257
 boyaz 257
 boyirdaq (ног.) 257
 boyrul 248, 257, 299
 *boyur, 248
 boyurdaq 248, 257, 262, 299
 *boyurdaq 248
 boğurtlak (тур. диал.) 257
 *boyur, ul 248
 boyuz 248, 257, 299
 boyuzdaq 262
 boqurdaq 257
 bora- (тув.) 317
 *borayan 295
 boralgak (тув.) 317
 boran (тур. диал.) 259
 borān (тув.) 295
 borbaš (кирг.) 259
 borčın (чаг.) 259
 borčun (кирг.) 259
 *boroyon 295
 borogon (алт.) 295
 bortağ (тур. диал.) 259
 Bota 271
 boz 259
 bozdaq tüö (казах.) 259
 bozla- 261
 böz 252
 budai (тат.) 229
 bulağ (тоф.) 309
 buluk (тув.) 309
 buluñ 295
 bulūs (якут.) 309
 *büz 309
 buzmaq 261
 *bün, bün 306
 *bür- 265
 *büz- 265
 tẓanna (тат.) 224, 229

čā (тув., хак.) 315
 ča'pqis (тоф.) 309
 ča'ski (тув.) 309
 čayda- (хак.) 315
 °čayluğ (сиб.-тюрк.) 315, 317
 čai (леб.) 318
 *čaja, čaja (тат.) 318
 -čaq/-čaq (томск.) 368
 -čaq/-čāk 368
 °čaqyn- 315
 čalañ (тув.) 289
 čalañ bulañ 356
 °čāluğ (сиб.-тюрк.) 315, 317
 tšchana (тат.) 229
 tšchanna 224
 čarjın (алт.) 310
 čarpin (тоф.) 309
 *čatyr 419
 čāva (тув.) 312
 čavzu 261
 čekpe (тув.) 295
 čel (тув.) 295
 čepke (тув.) 295
 čiq- (узб.) 265
 čiqar- (узб.) 265
 čiqaz- (узб.) 265
 čilīn (хак.) 295
 čiš (кирг.) 358
 čiš (туркм.) 358
 čitke (тув.), čitkā (шор.) 308
 čitke (хак.) 308
 čiztiir- 261
 *čyq 318
 čoydī (тоф.) 309
 čōq (саг. шор.) 315
 °čōk-čal (сиб.-тюрк.) 315
 Čor (шор.) 90
 čōx (хак.) 315
 °čōx-čal (сиб.-тюрк.) 315
 čōxčy (хак.) 315
 čōx tulpas (хак.) 315
 čuval (тат.) 375
 day 354
 °dañ(y)aj (тув.-тоф.) 316, 317
 dañza (тоф., тув.) 316
 *degirmi 318
 *degre 318
 *deñ ~ *deg 318
 °dāñ(g)āj (тув.-тоф.) 316, 317
 dī 'jba (тув.) 311
 *dyq 319
 dikiz (туркм.) 260
 dīj (тув.) 302
 dokurçın (тур. диал.) 260

- dokurcun* (тур. диал.) 260
dokuz (тур.) 260
**doṇur* 286, 295
doṇuz 286
**döŋgelek* 318
drzul 261
ditke (алт.) 308
ägir- 259
egirmi 259
egiz 259
ägri 259
eki 259
ekiz 259
eksi- 250
e-pē (чуваш.) 253
er 225, (тат.) 229
ergi (тув.) 259
eri 225, (тат.) 229
erke (ж.-уйг.) 259
**erki, erki* 259
ertä 259
e-sē (чуваш.) 253
eski 259
eš- 252
ešäk, ešek (тур.) 252
ešgäk 252
ešjäk 252
etüziäki 261
ezä (сар., койб.) 259
äzä (шор.) 259
Azrua 261
gaj (туркм.) 304
-yaql-gäk 260
**gāt* 305
yazıj: (*qara*)*yazıj* (хак.) 301
gez (тур. диал.) 258
gırnaq (туркм.) 258
häs (долг.) 321
heg- (тув.) 310
heṇme (тув.) 310
heṇme (тоф.) 310
hēs (тоф.) 312
hökiz (узб.) 249
**hoquz* 250
**hōi* 250
**höküz* 250
höküz (уйг.) 249
hötpä (тоф.) 312
hürbä (долг.) 321
iki 259
ikircüḡ 259
ikiz 259
ikki 259
ikkiz 259, 297
inai, inä (тат.) 229
ir 225, (тат.) 229
irdä- 257, 262
irdä- (якут.) 257
ire (тув.) 310
ife (тоф.) 310
irej (тув.) 310
irgi (хак.) 259
irtä- 257
istä-, iste- (чар.) 257
istäk 31
itkä (кыз.) 308
itki (ж.-уйг.) 308
İz 257, 261
izdä- 257, 262
izlik 261
yṡṡr (караим.) 295
yṡṡyrčak (хак.) 295
yṡṡyrčak (тув.) 295
**yṡṡr* 295
yṡṡr (якут.) 295
yṡṡrčaq 295
İv (чуваш.) 307
İva (чуваш. диал.) 307
yzyk (тув.) 361
jabiz 257
jabrüt- 257
jaday 303
**jada-* 303
jafuz 257
**javy* 315, 318
**jaytyn-* 315
**jayut-* 315
jaja- (чар.) 303
jajan (чар.) 303
jal (алт.) 295
**jal-* 315
jalä (каз.) 295
**jala* 295
jaldruq 260
jalpaju (тат.) 252
jan 262
janrat- 262
janza- 262
janzat- 262
jar (тат.) 252
**jäs, jäs* 248, 256, 300
**jav-* 257
javrü- 248, 257
**javrüt-* 257
javru- 257
javüz 248, 257, 258
javuz 257
**jāz* 300
jazd 261
Jazdigard 261
jazqı 261
jazsa- 261
jegirmi 259
jeki 259
jäkkän (алт.) 295
**jälä* 295
jälä (тур.) 295
jēner (чуваш.) 295
**jēpgän* 295
**jēpgön* 295
**jēpkän* 295
**jēpkön* 295
jēs (чуваш.) 251
jez 250, 251
jeznä 262
jigirmi 259
jikiz 259
jisch (чатск.) 354
jitkä (чулым.), *jitke* (леб.) 308
jir 305
jys (алт., хак.) 354
joydıj (тоф.) 309
**joj* 315
**jo-j-* 315
joldoru (тат.) 252
joldruq 260
jolto (долг.) 321
**jo-r-* 315
jor- (туркм.) 265
**jormati* 434
joz- (азерб.) 265
juldruc 260
julduz 260
**junt, junt* 306
jüdiü *jüde* (?) 305
jüksä- 250
**jür* 18, 289
jüz 289, 297
kāš (тат.) 301
ka (хак.) 311
kada (тув.) 310
**kād, kād* 304
**kadıj, *kadıy* 15, 18, 301
qadın 258
qadın qadınayun 258
**kadır* 304
qadıir- 260
**kadır* 304
qadıirayac 260
qadıiz 260
**qadıri* 260
**qadıriq* (?) 260

kayan (те
 зуш)
gai- (алт.)
kaj (тур.)
qaj- 317
**kaja* 304
**qajilyaq*
**kajın* 304
qajır (тув.)
**qaj-ly-yc*
**qajilyaq*
kajın (тур.)
qajiri (тат.)
kal (алт.)
qaldıj (т.)
kaldır (а)
**qaly* (си)
qām (леб.)
qana (ку)
qanaj (ку)
qanadayı
qanajıaq
qanğa (т.)
**qan(ya)*
qanğa (т.)
kanza (а)
qār 264
**kār* 295
Kara Tjo
qarayaj (т.)
karyaj 31
qarın 25
qarındaš
kas (алт.)
 тюрп
**kās, kās*
qasta- (т.)
qastaq (т.)
**qastuq* (т.)
qaša (др)
kat (тув.)
**kāt, kāt*
qaw- (ан)
qaz- 261
**qāz, kā*
 317
qazyar-
**qāzla-*
qaznaq
ketsch (т.)
Kām, Ke
kendi (т.)
kendü 2
kendü 2

- kaγan* (телеут.), *kagan* (эуштинск.) 369
qai- (алт., тел.) 317
kaj (тур.) 304
qaj- 317
**kaja* 304
°qajylʷaq 317
**kajɨŋ* 304
qajyr (туб.) 317
°qaj-ly-ʷaq 317
°qajylʷaq 317
kajɨ (туркм.) 301
qajri (тат.) 260
kal (алт.), *qal* (тел., шор.) 317
qaldjū (тел.) 317
kaldūr (алт.) 317
°qaly (сиб.-тюрк.) 317
qāt (леб., туб.) 307
qatɨ (куман.) 316
qatɨaj (куманд. леб.) 316
qatɨajai (леб.) 316
qatɨajɨq (качинск.) 316
qatɨga (тат., тоб.) 316
°qatɨ(ʷ)arɨan (сиб.-тюрк.) 317
qatɨha (тоф.) 316
katɨza (алт.) 316
qār 264
**kār* 295
Kara Tjogde (тоф.) 309
qarayaj (чаг., казах.) 301
karyaj 367
qarɨn 258
qarɨndaš 258
kas (алт., др.-уйг.), *qas* (сиб.-тюрк.) 295, 304, 317
**kās, kās-* 304
qasta- (тел.) 318
qastaq (тел.) 318
°qastuq (сиб.-тюрк.) 317
qaša (др.-кыргыз.) 307
kat (тув.), *qat* (алт., хак.) 305
**kāt, kāt* 305
qaw- (алт.) 307
qaz- 261
**qāz, kāz, qāz* 264, 295, 304, 317
qazyān- 261
**qāzla-* 318
qaznaq 261
ketsch (тат.) 229
Kām, Kem 306
kendi (тур.) 254
kendü 254
kendü öz 254
kensi (куман.) 254
kentü 254
kenzi 261
kärt- 258
kēs (тоф.) 312
kāz 258
-kez (куман.) 258
kezen- (казах., кирг.) 258
kitz (тат.) 229
kitschi, kitschu (тат.) 229
**kīl* 18, 298, 301
kirān (тат.) 434
kis (казах., хак.) 301
kīs (якут.) 298, 301
kīs (др.-уйг., тув., чаг.) 301
**kīs* 18, 298, 301
kīm(i)ran qīmīran (казах.) 265
qimīz 265
**kīn* 18
**kyr, kyr* (тув.), *qyr* 295
qirai (кар.-балк.) 434
**qiral* 434
qirya- 258
qiryāq 258
qiryu 258
qirqin 248, 258, 263
qirnaq 258
kirzan- (тув.) 260
kīis (якут.) 382
qiz 248
qiz- 258, 260, 261
qiz 258, 263
qizya- 258
kizgan- (кирг.), *qizyan-* 260, 262
qizyil 262
qizyu 258
qizil 258
qizqan- 262
qizqil 262
kiz kirkīn (кирг.), *qiz qirqin* (тат.) 258
qiz qirqin 258
qiznaq 261
kotschkar (тат.) 229
kodan (тув.), *qodan* 295
kojon (алт.) 295
kok (тат.) 229
komis (алт.) 260
**qoɨuz, qoɨuz* 260
qorɨašun 252
qota(n) 308
qotan (чаг.) 308
köč- 337
kögürčän 258
kögüz 258
kök 258
kökräk, kökre (чаг.) 258, 263
kökürčän 258
kökürčün 258
kökürdaš (таранчи) 258
köküz 258, 262, 263
köküz kar- 262
kömkör- (алт.) 316
kömkörö (алт.) 316
köñkör- (алт.) 316
köñkörö (алт.) 316
köñül 262
köñül kār- 262
kör- 265
**kör₂* 265
**körj₃* 265
**kör-ün-* 265
**köz, köz* 248, 256, 262, 265, 300
közä- 262
**közämān* 262
közü 262
közkiš- 262
közmān 262
köznäk 262
közñü 262
közsüz 261
közük- 262
**köz-ün-* 265
közün- 262
közünñü 262
**qu/*-kü* 318
kū (тув., алт.) 295
kutscha (тат.) 229
kuduk (тат.) 229
**quđ-* 317
**kugo* 295
**quyu, quyu* 293, 295
qujül- (тел.) 317
qujülyāq (леб., тел.) 317
kuk (тат.) 229
kuš (чуваш.) 265
kuškaš (тув.) 314
quzyun 261
kükräk (тат. башк.) 258
kümgürä- (куманд.) 316
**kümg₃* (сиб.-тюрк.) 316
küzkünäk 262
küzküni 262
-laa (долг.) 321
layzin 262
laqzin 262

- lapsa* (якут. жиган.) 321
läpsä (долг.) 321
läpsi (якут. анабар.) 322
lojto (долг.) 321, 322
luča (якут.) 282
**-luq > -tuq* 317
**-ma/*-mä* 470
**maji-* 246
manastar xürz-a 261
mas (тоф.) 316
mäs (тув., хак.) 316
masa (казах.) 316
**mäsa, °mäsa* (сиб.-тюрк.) 316
**matur* 246
**mäniñ* 253
mänzil 261
mäñi 266
**mäñilä-* 266
mäñiz, meñiz 262, 266
meñizät- 262
meñzä- 262
meñzät- 262
**mi-* 496
mykta- (сар.) 316
mysta- (тел.) 316
**mort* 246
mu'azzim 261
mugne (хак.) 311
musta- (хак.) 316
mustir- (хак.) 317
°mušta- (хак. диал.) 316
°muštir- (хак. диал.) 317
müčüre (сар.) 315
müčürä (шор.) 315
mün 306
**-n/*-yn* 315
**nä* 246
netkä (сар.) 308
nitkä (шор.) 308
nitke (хак.) 308
nizvanı 261
niča (якут.) 282
oılaq 260
oıraq 260
oıul 260
oıur (булг.) 260
oıus (якут.) 249
oıuz 260
**-oq* 319
on (o)gur (булг.) 411
-ool (тув.) 271
óstol (телеут.) 224, 229
ot (тоф.) 312
-oı (хак.) 319
öksü- 250
öküz 249
**öl* 317
°ölän (сиб.-тюрк.), *öleñ* (хак.) 317
ölöñ (кирг.), *ölöñ* (леб.) 317
ömzüik 262
öñ 295
öñzin 262
öñzin 262
**ös* 300
östik- 262
öz 298
öz 254, 261, 262
Özčänd 261
özän 262
özgä 261
özkän 261
Özkänd 261
öz kendü 254
öznä- 262
öztik- 262
pičirö (хак.) 315
pil (хак.) 314
pir (чуваш.) 252
pyslaq (сар.) 314
pyšlaq (шор.) 314
pyštaq (тел.) 314
porän (хак.) 295
**puju* 307
pulan (хак.) 311
puluı (лебед.) 309
puluñ (хак.) 295
pusta- (леб. тел.) 316
püčürä (сар.) 315
püzlär (кыз.) 315
-r-yan 317
sachal (тат.) 229
sakal 224, 229
sara (тат.) 229
saskan (тув.) 314
sedik (сар.) 312
sämiz 258
sämri- 258
**säniñ* 253
sergak (узб.) 260
sergek (куман.) 260
sez- 260
sezgek (чаг.) 260
sezik- 260
**si* 253
sidik (хак.) 312
siäliñsä (якут.) 322
sil (тат.) 229
silär (уйг.) 309
sirgäk (тат.) 260
sıs (хак.) 358
sısik (ног.) 361
sızig (хак.) 361
**sıyız* 262
sıyra 262
sıyraı 262
sıyza- 262
°syjby 318
syjbyzyk (тув.) 318
syläka (долг.) 322
sırka- (кирг.) 260
sırqat (казах.) 260
sırko (кирг.) 260
sıs (алт.) 260
**sıs, sıs* 358, 361
sız- (алт.) 260
sızla- 260
sjöl (тат.) 229
sö (тоф.) 312
sojon (сиб.-тюрк.) 86
sojot (сиб.-тюрк.) 86
sürmä 258
**süs-* 318
süsgän 318
süskäñi (хак.) 318
°süskü 318
süskür (алт.) 318
süz- 258
süzegen (алт.) 318
süzmä, süzme (чаг.) 258
süzük 258
**ser* (булг.) 250, 251
šér (чуваш.) 305
šör (чуваш.) 305
šuran (чуваш.) 303
šay (шор.) 315
šai (шор.) 318
°šaja 318
šajan (башк., тат.) 318
šajar- (башк., тат.) 318
-šak 367
-šaq/-šek (казах.) 368
šala (казах.) 356
šalayai (казах.) 356
šalbak (тат.) 355
šalča (чуваш.) 212
šalpak (узб.) 355
šalpan (узб.) 355
šalša (чуваш.) 212
šaancak (тув.) 311
šatyr (булг.) 419

- šeš* (тат., башк.) 358, 361
šičik (шор.) 361
schil (тат.) 229
širēm (чуваш.) 259
šiš (тур., шор., кирг.) 358
šiš- (тур.) 361, 362
šiš-, **šiš*(-) 361, 362
šişik (кирг.) 361
šişik (куман.) 361
šišik, **šišik* 361, 362
šiškin (тур.) 361
šišman (тур.) 362
šišqo (тур.) 361, 362
šišuy (чаг.) 361
šižik (шор., бараб.) 361
šiš, *šiš* 358
škj-: -(l)škj(-lar) (тув.) 310
šor (шор.) 90
šunzi 261
taγ 354
taiga (тат.), *taiya* (алт., хак.) 354
taiga (алт.) 354
**tāl* 300
**tāla-* 305
talaš- 305
talim 305
talqī- 266
**tān* 308
tapzuyiq 262
tapzuyiq 262
tarhış, tarhyš (тоф.) 293, 311
taš 266
tašqar- 266
tašu- 266
tauuk, tauk (тат.) 229
teg- (чаг.) 265
teglek (хак.) 318, 319
tegür- (чаг.) 265
tegüz- (чаг.) 265
tegin- 262
tel- 266
telik 266
tengys (тат.) 229
**teñ, teñ* (казах.), **teñ* ~ **teg* 318, 319
täñirkän 260
täñiz 248, 260, 299
**teñlek* 319
**teñlik* 319
täñri 248, 260, 299
tepiz 262
tepsä- 262
terpä- 262
terče (куман.) 259
tärk 259
tärkin 259
terkiš 259
tärklä- 259
teš- 266
tešük 266
tät (хак.) 311
tetayac (сиб.-тат.) 302
tävä 259
täz- 259
tezgin- 262
täzig 259
til lafz 261
tirkiš (туркм.) 259
tirsäk 260
tiš (карачаево-балкар.) 358
tiš- (бараб., тел.) 358
tīt (якут.) 302
tiz- 259, 260, 262
tizig 259
tizim 259
tizmä 262
tižik (алт.) 361
tya (якут.) 354
tyγ- 319
tigürčik (кирг.) 260
tüyiz (кирг.) 260
**tuy-oq* (сиб.-тюрк.) 319
tüya- 260
tüyaq 260
tigriq (тат.), *türiq* (башк.) 260
tyq (куманд.) 319
tırpiza (тур.) 434
**tūt* 15
**tūt*, *tūt* 302
Tjogde (тоф.) 309
tō 19
toyuz 260
toyuzinč 260
toqsinč 262
toqsunč 262
tokurçin (ст.-осм., тур. диал.) 260
toquz 260, 262
toquzinč 260, 262
toquzunč 260
**toquř* 295
toņus (алт.) 295
toņuz 293, 295
tovuz 259
tōz 262
tōzkär- 262
tū (хак.) 319
**tuy-oq* (сиб.-тюрк.) 319
tut- 260
tūt (тув., якут.) 307
tutruy 260
tutur- 260
tuturyu 260
tutuz- 260
tuvra- 259
tuwuz 259
tüp 262
tüpkär- 262
türk 411
tütsük 262
tütüz- 262
tüzdäm 261
tände (тув.) 312
ud 295
**udö* (?) 295
uđ 286
uy- 307
**ulası* 434
uraha (долг.) 383
**urluq* 295
ustel (башк.) 224, 229
'uzr 261
vākār (чуваш.) 249
vārlāx (чуваш.) 295
xadi (тоф., тув.) 301
xāj (тув.) 312
xajı (нижнеиосск.-тюрк.) 301
xajum (тув.) 317
xamnos (хак.) 311
xanxa (хак.) 316
xaplayas (якут.) 305
xarija (якут.) 301
xas (хак.) 295
xasta- (хак.) 304
xat (тув.) 304
xatirik (якут.) 260
xazı: (xara)xazı (хак.) 301
xır (чуваш.), *xur* (хак.) 295, 301
xırā (чуваш.) 301
xirt (хак.) 258
xomurduos, xoñurduos (якут.) 260
Xormuzia 261
xozan (хак.) 295
xū (хак.) 295
xuna- (тув.) 312
xuni (хак.) 311
ū (чуваш.) 307

üz- 262
 üzmälä- 262
 zäränzä 262
 zmrün 261
 zmyutyу роc 261
 Zrušć 261
 -žyk (тув.) 318
 žar (тат. диал.) 251, 252
 dschās kysch (кангат.) 309
 žäsel (тат. диал.) 251
 dschik'pā (кангат.) 295
 *-žyq 318
 žoydž (тоф.) 309
 žoldoru (тат.) 252
 *.Vm 470
 atax (якут.) 119
 атахтаах (якут.) 119
 атахтāх (якут.) 118
 еуштинцы (сиб. тюрк.) 89
 дьоты (куманд., телеут.) 89
 Кем (сиб.-тюрк.) 352
 -лаах/-таах (якут.) 119
 мэнэр-э- 266
 нуучча (якут.) 352
 орус 352
 -пай (тув.) 355
 Тууты (тув.) 89
 тоңгуз 352
 урус 352
 чалгаа (тув.) 355
 чалгаапай (тув.) 355
 Чогду (тоф.) 89
 Чооду (тув.) 89
 шалагай (ног.), шалагай
 (казах., ккалп.) 356
 шала-пула (ккалп.) 356
 юс (юж) (туб.) 89
 Юсь (алт.) 89
 юты (куманд., телеут.) 89
 Юуты (туб.) 89
 яры (таг.) 252
 яшел-зэңгэр (тат.) 252

Монгольские языки

Прамонгольский, среднемонгольский и письменный монгольский

altan 267
 amtan 267
 bayana 303
 berged- 267

bi 253
 bičigeči 296
 biličeg 296
 bisilay 315
 bulčij 296
 *ča, ča 16, 286
 čayarsu(n) 289, 296
 čalayai 356
 čaliyai 356
 čečeg 267
 či 253
 čidkür 296
 čikibči 267
 činu 253
 dayuči 267
 dalai 248, 260, 299
 degesün 280
 dotura 267
 dutayu 267
 elž- 252
 elžigen 252
 erte 267
 yansa ~ yansa 316
 gendü 254
 *halaq 250
 *haliya 250
 *hüker, hüker 249
 ikere 297
 ikire 297
 jadayu 303
 kimurayan 265
 kögerge 296
 köke 267
 kürene 296
 *.m 470
 -ma!/-mä 470
 marta- 267
 minu 253
 moyai 370
 neke- 267
 nöğči- 267
 onyuča 296
 ökin 267
 ötegü 267
 qada 304
 qaiči(n) 296
 qorjolžin 252
 qota(n) 308
 qulusu(n) 296
 *salya-, salya- 19, 279
 sel(e)me 288, 296
 selgüre- 358
 selküre- 358
 serge- 260

sergeg 260
 sergülen 296
 siyažayai 296
 soytyuyura- 296
 šil 358
 *tajika 354
 tala- 305
 to'an 280
 toya-la- 19
 toya(n) 19
 uul(a) 307
 xusi 301
 yanggirčay 267
 üker 249
 žajayači 290
 žalaya 296
 žar 289
 žari 286
 žes 251, 296

Бурятский

bešegše 296
 bihelek 296
 bulšan 296
 gansa 316
 harxäg 296
 helme 288, 296
 hergelen 296
 hogtür- 296
 kürgü 296
 lüca 282
 ongoso 296
 opod 352
 sārhan, sārha(n) 289, 296
 шала- 356
 шали- 356
 шалиг 356
 шалиг шальнаа 356
 шальпадха 356
 šāzgaž 296
 šütür 296
 xajša 296
 xasūri 301
 xulha(n) 296
 xūneri 296
 zalā 296
 zed 288, 296
 Zugde 309

Монгорский

amut'a 267
 Dūti's'i 267

fuDžün ~
 fuGuor 2
 k'irDžia
 k'uGuo 2
 mu(r)šDā
 nik'i- 267
 noGšDžia
 ötegü 267
 p'ierGeD
 šdie 267
 sDöGu 2
 sDuro 26
 t'uDž 267
 t'uro 267
 ts'iDžia
 ts'iğišDž
 xarDan 2
 xoro 267

Прочие языки

bašlag (х)
 kašō (даг)
 kimrān (к)
 qasō (даг)
 sarxiag (х)
 xasō (даг)
 xadō (даг)
 цаа (халх)

Тунгусо- язык

Пра- и о- маньчжэ

*ā- 281
 *ba 275
 *bi 253
 *bula- 27
 *daga 274
 *enu- 297
 *enusi(-) 2
 *garpa 23
 *garpa- 2
 *ičā- 272
 *ič(e)- 272
 *iče- 272
 *jaḡ(ur)- 2
 *jaḡ-ur- 2
 *Jendesī 1
 *jenē/*jeḡ
 *jeppō 279

fuDŽün ~ šDŽün 267
fuGuor 250
k'irDŽiaG 267
k'uGuo 267
mu(r)šDā- 267
nik'i- 267
noGšDŽi- 267
ötegü 267
p'ierGeDi- 267
šdie 267
sDōGu 267
sDuro 267
t'uDū 267
t'uro 267
tš'iDŽiaG 267
tš'igišDŽi 267
xarDan 267
xoro 267

Прочие монгольские языки

baslag (халх.) 315
kašō (дагур.) 251
kimrān (калм.) 265
qasō (дагур.) 307
sarxiag (халх.) 296
xašō (дагур.) 307
xaθō (дагур.) 307
цаа (халх.) 286

Тунгусо-маньчжурские языки

Пра- и общетунгусо-маньчжурский

*ā- 281
 *ba 275
 *bi 253
 *buta- 271
 *daga 274
 *enu- 297
 *enusi(-) 297
 *garpa 23, 280
 *garpa- 23, 280
 *ičā- 272
 *ič(e)- 272
 *iče- 272, 273
 *jaŋ(ur)- 280
 *jaŋ-ur- 23
 *Jendesī 18, 279
 *jenē/*jenē 18, 279
 *jeppō 279

*k'asi- 15
 *kēlōme/*kēlēme 280
 Kile(n) 280
 -kta/-kte 473
 *mini 253
 *munsī- 18, 279
 *niā 279
 *ödū(n) 474, 475
 *padu (южно-тунг.) 207
 *pāylān 118-121
 *pēje 18
 *pige- 209, 297
 *piken 297
 *pulV 280
 *puro- 373
 *puta(-) 207
 *-ra-gī 271, 275
 *saja(n) 19, 279
 *sālga(n) 19, 279

Самай 82
 Саман 82
 *si 253
 *sini 253
 *sire 19, 279
 *sogdo- 296, 300
 *sūksi- 15
 *suktu 15, 303
 *šire 19, 279
 *taag- 272
 *tagragi- 272
 *tāg- 272
 *takti- 15, 303
 *tāgā- 274
 *teg(e)- 274
 *tege- 274
 *uju- 416
 *up-kal 279
 *up-kat 279
 *xai 281
 *xasi(kta) 301
 *xawū/*xawgū 281
 *xedūn 304
 *x'ew 18, 279
 *x'ewte 18, 279
 *žuge- 272
 *žüge- 272
 *žüget- 272
 *žüxi-kte- 272

Эвенкийский

āčča 281
 alañā 97, 113
 Baja 85

Bajagir 85
 Berkewul 271
 desun 280
 dilačā 211
 Doŋki 282
 Doŋoj 282
 enū 297
 enūhin 297
 Guriwul 271
 hiyēcēn 209, 297
 hiyen 209, 297
 hiken 297
 hukur 250
 ičulī- 273
 jaŋ 23, 280
 jaŋurā 23, 280
 Jendeyī 18, 279
 Jendreyī 18, 279
 Joandesī 18, 279, 282
 kaptayas 305
 keleči 297
 kiŋlā 316
 kiŋnā 316
 korko 283
 kumalāŋ 283
 lāpčā 216
 lekarsē 283
 lōča 282
 ločoko 283
 lūča 282
 najaha 87
 najaksa 87
 najakša 87
 nūča 282
 naka 283
 ŋēlekī 283
 p'ēŋatī 297
 p'ēŋoti 297
 -rī 271
 sivinža 283
 siŋle-wun 358
 tege- 274
 tegemēr 274
 teyemēr 274
 tiŋeptun 283
 Toŋkul 282
 tuŋu-ri-l 282
 -wul 271
 žandri 31
 žuget- 272
 hoglan 118
 hogлокан ~ hэглэкэн 118
 hogлун чоли 118
 hэвлэн 118

həɣlun 118
həɣlən 118
həɣlən sɔlin 118
həɣun 118
Лада-гир 85
лууца 352
Му(н)ган 85
оһлэ́ткан 118
та(ва)р экун 121
Чорду 86
Шолот 86
эвлэн 118
эүлэн 118

Эвенский

ensi 297
həken 250
həvlin 118
hiken 297
horča 373
horča- 373
kende 281
kēnde 281
hūci 282
-rī 271
təɣəmer/təɣəmer/tegetēr 274

Маньчжурский

adula- 274
adulasi 274
aisin 251
duksi 272
loča, лоча 282, 352
mede 274
medesi 274
-ra 271
-si 274
šeri 19, 279
te- 274
ton 19, 280
učule- 274
učulesi 274
xečen 281
xunču(n) 281
žuwanda 273

Прочие тунгусо-маньчжурские языки

anči (удэг.) 281
čui-kte (нан.) 473
dā (негид.) 274

daya (негид.) 274
du(w)e-li- (орок.) 272
ensi- (ульч.) 297
enusi- (ороч., нан.) 297
gā-ka (нан.) 473
-i (удэг.) 271
ičiči- (нан.) 273
isō- (сол.) 273
-j (ороч.) 271
-ji (негид.) 271
kilō (ульч.) 280
lanū (сол.) 216
liptoko (нан.) 281
loča (нан.) 282
lusa (удэг.) 282
-raj (нан.) 271
-ri (сол., нан., ульч.) 271
teɣəmeri (орок.) 274
tišəza (нан.) 281
χālčī (орок.) 367
χalō (нан.) 367
xorko (нан.) 281
xorku (ульч.) 281
xukku (сол.) 281
xuku (удэг.) 281
žoā, жоа(n-) (нан.) 273
Дāи Пэулэ́ (нан.) 118
Нūчи Пэулэ́ (нан.) 118
пэулэ́ (орок., орок.) 118
пэулэ́ (нан.) 118
пэулэ́(n-) (ульч.) 118
хэвлэн ~ хэулэн (негид.) 118

ДРАВИДИЙСКИЕ И ЭЛАМСКИЙ ЯЗЫКИ

(прадравидийские формы специально не обозначены)

*-əN (эламо-драв.),
-əN (-ин, -ит, -ан, -ам, -ин)
(элам.) 471
*-a- 471
balum (элам.) 471
*kas 474, 475
*kas- 497
kai (тамил.) 475
kaj (кота) 475
koj (тода) 475
*kol- 497
*-m 470, 471
*-mai 470
*-maj (эламо-драв.) 470
*-me (элам.) 470, 471

mušin (элам.) 471
*ōtA 474, 475
*rupA- 496
sunki (элам.) 470
sunkime (элам.) 470
*vetA 474, 475

СЕМИТО- ХАМИТСКИЕ (АФРАЗИЙСКИЕ) ЯЗЫКИ

*.Aj (сем.) 473
balad- (арам.) 480
bazz (араб.) 252
b'ā (арам.) 480
*bl-d (сем.) 480
*br- (с.-х.) 497
*br' (сем.) 480
*br-m (сем.) 480
bš (финик.) 252
burām (арам.) 480
būš (арам.) 252
*bwh (сем.) 485
*bwh (сем.) 485
fataha (арам.) 480
*gər-/ *gar- (с.-х.) 478
ğarafa (арам.) 478
*gar-ap- (сем.) 478
ğurnūq (араб.) 258
'eyrōφ (евр.) 478
hazir (евр.) 300
-ī (евр.) 473
-īm (евр., финик.) 473
-īma (угар.) 473
-ir (евр.) 473
kāt-um (аккад.) 474
*kč (омот.) 474, 475
*m- (сем.) 470, m- (с.-х.) 470
*m (сем.) 470
*mar-/ *mar- (с.-х.) 480
marida (арам.) 480
mr (егип.) 480
nēšah (евр.) 473
*paš-/ *paš- (с.-х.) 479
*pat-/ *pat- (с.-х.) 480
pih (егип.) 480
sanna (арам.) 480
*šən-/ *šan- (с.-х.) 480
*šar-/ *šar- (с.-х.) 478
šəraš (арам.) 478
šāraš (евр.) 478

*šar-aš' - (сем.) 478
 *tāk' - / *tāk' - (с.-х.) 477
 iāḡsa (хауса) 485
 *tāk' - / *tūk' - (вост.-кушит.)
 477
 tp (егип.) 485
 tq (егип.) 477
 *tu'm- (сем.) 470
 *pwt (кушит.) 403
 *t'awr- (сем.) 478
 -uma (угар.) 473
 *wd- (с.-х.) 474

ЕНИСЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ

b'entšey (кетск.) 23
 hanan (коттск.) 367
 kōnnong (пумпокольск.) 367
 kul (аринск.) 309

*qä(ʔ)p 17
 qo (кетск.) 309
 qul (кетск.) 369
 cipz (кетск.) 352
 ūl (кетск.) 309
 *xul-qo 309

НОСТРАТИЧЕСКИЙ ПРАЯЗЫК

*ʔitā 254
 *baHΛ 245
 *gāC 475
 *gāfi 475
 *golHΛ 307
 *gUrΛ 254
 *haju 254
 *-jΛ 469-473
 *-jΛtΛ 472
 *kerΛ 258

*mA 470-473
 *puyΛ 523
 *qoji 250
 *io'E 470
 *wet 475
 *wetΛ 475
 *wetΛ-jΛ mA 472

ПРОЧИЕ ЯЗЫКИ

ais (нивх.) 251
 anšu (шумер.) 252
 GUŠ.KIN (шумер.) 251
 m- (картв.) 470
 mjen (синокор.) 306
 pyöl (кор.) 119
 *qwil- (картв.) 497
 wat (нивх.) 251
 zaḡs (тибет.) 251

ЛИТЕРАТУРА

Сокращения

AfslPh	Archiv für slavische Philologie.
ALH	Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae.
AOH	Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae.
CAJ	Central Asiatic Journal.
CIFU	Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum.
FUF	Finnisch-Ugrische Forschungen.
FUM	Finnisch-Ugrische Mitteilungen.
IF	Indogermanische Forschungen.
JSFOu	Journal de la Société Finno-Ougrienne.
LSFU	Lexica Societatis Fenno-Ugricae.
LU	Linguistica Uralica.
MNy	Magyar Nyelv.
MNyTK	A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai.
MSFOu	Mémoires de la Société Finno-Ougrienne.
NNy	Néprajz és Nyelvtudomány.
NyK	Nyelvtudományi Közlemények.
Nyr	Magyar Nyelvőr.
NytudÉrt	Nyelvtudományi Értekezések.
ÖEST	Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused.
SSUF	Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar.
StSl	Studia Slavica.
StO	Studia Orientalia.
SUA	Studia Uralo-Altaica.
TRÜT	Tartu Riiklik Ülikooli Toimetused.
UAb	Ural-Altaische Jahrbücher.
UAS	Uralic and Altaic Series.
UAYb	Ural-Altaic Yearbook.
UJb	Ungarische Jahrbücher.
UUÅ	Uppsala Universitets Årsskrift.
Vir.	Virittäjä.
VSUA	Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica.
ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
ZPh	Zeitschrift für Phonetik.
ВЯ	Вопросы языкознания.
ПСРЛ	Полное собрание русских летописей.
РФВ	Русский филологический вестник
ССл	Советское славяноведение.
СТ	Советская тюркология.
СФУ	Советское финно-угроведение.
ТИЭ	Труды Института этнографии.

Аврорин
Аксенов
русск
Аксенов
блем
саам
Андреев
Андронс
Андронс
Аникин
Сиб
Вып
Аникин
Аникин
К 60
Аникин
Про
Анисим
Арист
Арист
разе
Арханг
Асинов
дор
Ахатов
Ахмет
197
Ашбо
цер
190
Ашбо
ния
С. 2
Бакла
фи
гра
Барта
No
Барта
ри
Баска
ваг
Баска
оч
Бахру
Бекке
//
Бекке
фр

- Аврорин В. А. Синтаксические исследования по нанайскому языку. Л., 1981.
- Аксенова Е. Е., Бельтюкова Н. П., Кошеверова Т. М. Словарь долганско-русский и русско-долганский. СПб., 1992.
- Аксянова Г. А. Антропологические материалы о саамско-ненецких контактах (к проблеме досамодийского субстрата в Европейском Заполярье) // Происхождение саамов. М., 1991. С. 107–128.
- Андреев А. И. Труды Г. Ф. Миллера о Сибири // Миллер 1937а: 57–114.
- Андронов М. С. Грамматика тамильского языка. М., 1966.
- Андронов М. С. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1978.
- Аникин А. Е. К типологии названий Большой Медведицы в языках Сибири // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия истории, филологии и философии. Вып. 3. Новосибирск, 1990. С. 18–22.
- Аникин А. Е. Об уральском вкладе в лексику русских говоров // UI I. М., 1990а. С. 16–22.
- Аникин А. Е. Из сибирской космологии // Славистика, индоевропеистика, ностратика: К 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо. М., 1991. С. 37–41.
- Аникин А. Е. Этимологический словарь заимствований в русских диалектах Сибири: Пробный выпуск. Новосибирск, 1995.
- Анисимов А. Ф. Космологические представления народов Севера. М.-Л., 1959.
- Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты. М., 1978.
- Аристэ П. А. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956. С. 5–27.
- Архангельский областной словарь. / Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1–. М., 1980–.
- Асиновский А. С., Головкин Е. В., Вахтин Н. Б. Этнолингвистическое описание командорских алеутов // ВЯ. 1983. № 6. С. 108–116.
- Ахатов Г. Х. Диалект западносибирских татар. Уфа, 1963.
- Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и чувашского языков. М., 1978.
- Ашбот О. Несколько замечаний на сочинение В. И. Ягича об истории происхождения церковнославянского языка // Известия Отделения русского языка и словесности. 1902. 7/4. С. 246–320.
- Ашбот О. Рефлекс слов вида *трът—трът* и *тлът—тлът* в мадьярских заимствованиях из славянского языка // Статьи по славяноведению. Вып. II. СПб., 1908. С. 227–269.
- Бакланова Н. А., Андреев А. И. Обзор рукописей Г. Ф. Миллера по истории, географии, этнографии и языкам народов Сибири, хранящихся в московских и ленинградских архивах и библиотеках // Миллер 1937а: 541–569.
- Барта А. Восточная Европа и раннее средневековье Венгрии до середины XI в. // Nouvelles études historiques. Т. 1. Budapest, 1965. Р. 11–26.
- Барта А. Истоки венгерской культуры X в. // Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972. С. 118–127.
- Баскаков Н. А. Диалект черновых татар (туба-кижи): Грамматический очерк и словарь. М., 1966.
- Баскаков Н. А. Диалект лебединских татар-чалканцев (куу-кижи). Грамматический очерк, тексты, переводы, словарь. М., 1985.
- Бахрушин С. В. Г. Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер 1937а: 3–55.
- Беккер Э. Г. Устные и письменные формы селькупских топонимов Томской области // Уч. зап. Томского гос. педагогического ин-та. 1965. 22. С. 142–153.
- Беккер Э. Г. О некоторых селькупских географических терминах // Вопросы географии. Вып. 81. М., 1970а. С. 171–174.

- Беккер Э. Г. О некоторых параллелях в гидронимии Европейского Севера и Западной Сибири // Языки и топонимия Сибири. Вып. 2. Томск, 1970б. С. 14–18.
- Беккер Э. Г. О некоторых селькупских словах-терминах и их употреблении в топонимии // Языки и топонимия Сибири. Вып. 4. Томск, 1971. С. 107–110.
- Беликов В. И., Хелимский Е. А. Глоттохронологическая методика Шилы Эмблтон в приложении к креольским языкам // Возникновение и функционирование контактных языков: Материалы рабочего совещания / Институт востоковедения АН СССР. М., 1987. С. 24–27.
- Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.
- БЕР = Български етимологичен речник. / Ред. Вл. И. Георгиев, В. Анастасов. Т. 1–. София, 1971–.
- Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. М., 1984.
- Благовецкий И. И. Список населенных мест Олонецкой губернии за 1905 г. Петрозаводск, 1907.
- Болдырев Б. В. Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. Новосибирск, 1987.
- Боргояков М. И. Источники и история изучения хакасского языка. Абакан, 1981.
- Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
- Бояришинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации. Томск, 1960.
- Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М., 1981.
- Бубрих Д. В. Историческая фонетика финского-суоми языка. Петрозаводск, 1948.
- Булатова Р. В., Дыбо В. А., Николаев С. Л. Проблемы акцентологических диалектизм в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 31–66.
- Бураев И. Д. Результаты контактирования языков алтайской общности в Циркумбай-кальском регионе // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности. Тезисы докладов XXIX сессии Постоянной Международной Алтаистической Конференции (PIAC). Ташкент, сентябрь 1986 г. II. Лингвистика. М., 1986. С. 27–29.
- Вадецкая Э. Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986.
- Вайнштейн С. И. Проблемы истории, хозяйства и культуры южносамодийских народов Саян // Языки и топонимия. Вып. 3. Томск, 1976. С. 168–172.
- Вайнштейн С. И. Проблемы культуры и социальной организации южносамодийских народов Саян // CIFU 4. Pars IV. Budapest, 1983. P. 41–49.
- Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. М., 1958.
- Василевич Г. М. Этноним *саман* — *самай* у народов Сибири // Советская этнография. 1965. № 3. С. 139–145.
- Васильев В. И. Лесные энцы // Сибирский этнографический сборник 5. (ТИЭ 84). М., 1963. С. 33–70.
- Васильев В. И. К проблеме этногенеза северосамодийских народов // Социальная организация и культура народов Севера. М., 1974. С. 133–175.
- Васильев В. И. Проблема формирования енисейских ненцев // Этногенез и этническая история народов Севера. М., 1975. С. 111–147.
- Васильев В. И. Проблемы формирования северосамодийских народностей. М., 1979.
- Васильев В. И. Основные проблемы формирования и развития самодийских этносов (ненцы, энцы, нганасаны, селькупы) // Проблемы этногенеза и этнической исто-

рни с
этног
Васильев
малы
С. 18
Вахтин
1993
Lond
Вдовин
Вереш
вейш
Р. 9–
Вийтсо
ных
Виногра
чени
С. 15
Владим
геогр
Возникн
шани
Воробье
Воронин
(т. 1)
ское
Воронин
Воскоби
Воскоби
Воскоби
Вы' хы
Гамкре
Тби:
Гондат
Горьев
Гранто
Грачев
ринг
Грачев
наса
Григор
sölk
Григор
язы
Григор
ла Р
Грот Я
Грот Я
Даль В.
188

- рии самодийских народов. Тезисы докладов областной научной конференции по этнографии. Омск, 1983. С. 3–7.
- Васильев Л. Л. С каким звуком могла ассоциироваться буква «неиотированный юс малый» в сознании писцов древнейших русских памятников? // РФВ. 1913. 69. С. 181–206.
- Вахтин Н. Б. Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. СПб., 1993 (original English version: *N. Vakhtin. Native peoples of the Russian Far North*. London, 1992).
- Вдовин И. С. История изучения палеоазиатских языков. М.; Л., 1954.
- Вереш П. К вопросу финно-угорской прародины и этногенеза венгров в свете новейших палинологических данных // CUFU 6: *Studia Hungarica*. Budapest, 1985. P. 9–17.
- Вийтсо Т.-Р. Взаимно обратимые фонологические системы и теория дифференциальных признаков // Вопросы фонологии и фонетики. Ч. 1. М., 1971. С. 75–81.
- Виноградов В. А. Типологическая реконструкция // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Теория лингвистической реконструкции. М., 1988. С. 157–180.
- Владимиров Е. К. К вопросу о происхождении названия реки Енисея // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. 1938. Т. 70. Вып. 2. С. 292–293.
- Возникновение и функционирование контактных языков: Материалы рабочего совещания / Институт востоковедения АН СССР. М., 1987.
- Воробьева И. А. Русская топонимия средней части бассейна Оби. Томск, 1973.
- Воронин С. В. Дескриптивные праформы в ностратическом сравнительном словаре (т. 1) В. М. Иллич-Свитыча // Конференция «Ностратические языки и ностратическое языкознание»: Тезисы докладов. М., 1977. С. 69–70.
- Воронин С. В. Основы фоносемантики. Автореферат докт. дисс. Л., 1980.
- Воскобойников М. Г. Фольклор эвенков Бурятии. Улан-Удэ, 1958.
- Воскобойников М. Г. Эвенкийский фольклор. Л., 1960.
- Воскобойников М. Г. Фольклор эвенков Прибайкалья. Улан-Удэ, 1967.
- Вы' хынонга [Тундра поет] Ред. И. Г. Истомин. Тюмень, 1959.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I–II. Тбилиси, 1984.
- Гондатти Н. Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. М., 1888.
- Горяев Н. Этимологический словарь русского языка. 2-е изд. Тифлис, 1896.
- Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970.
- Грачева Г. Н. Шаманы у нганасан // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981. С. 69–89.
- Грачева Г. Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на материалах нганасан XIX — начала XX в.). Л., 1983.
- Григоровский Н. П. Азбука сюссорой гулань, Казань, 1879 (перепечатано: *Die erste sölkupische Fibel aus dem Jahre 1879, eingeleitet von P. Hajdú. Szeged, 1973*).
- Григоровский Н. П. Молитвы и о сердечной молитве к Богу. На остяко-самоедском языке, Казань, 1879б.
- Григоровский Н. П. Описание Васюганской тундры // Зап. Западно-Сибирского Отдела Русского Географического О-ва 6. Омск, 1884. С. 1–70.
- Грот Я. К. Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века. СПб., 1881.
- Грот Я. К. Филологические разыскания. 1–2. 4-е изд. Санкт-Петербург. 1899.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. СПб.; М., 1880–1882.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. Изд. 3-е. / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1994 (перепечатка издания: СПб.; М., 1903–1909).
- Демьяненко З. П. Долганское БИЛИР в ряду однокоренных слов // Лексика и морфология тюркских языков. Новосибирск, 1982. С. 59–67.
- Деннинг Н. В. Аффрикатизация и разложение аффрикат в селькупском языке (на материале тымского диалекта) // Теоретические вопросы фонетики и грамматики языков народов СССР. Вып. 2. Новосибирск, 1981. С. 160–166.
- Добжанская О. Э. Мелодика нганасанских кэйнгэйрся // Музыкальная этнография Северной Азии. Новосибирск, 1989. С. 76–85.
- Добжанская О. Э. Музыка в шаманском обряде нганасанов (на примере ритуалов Тубяку Костеркина) // Таймырский этнолингвистический сборник. Вып. I: Материалы по шаманскому языку и фольклору. М., 1994. С. 147–171.
- Добровольский Б. М. О напевах ненецких эпических песен // Куприянова 1965: 757–780.
- Добродомов И. Г. Буртасский язык — исчезнувший аланский диалект в Среднем Поволжье // UII. 1990. С. 64–70.
- Долгих Б. О. О родоплеменном составе и распространении энцев // Советская этнография. 1946. № 4. С. 109–124.
- Долгих Б. О. Происхождение нганасанов // Сибирский этнографический сборник I. (ТИЭ 18). М., 1952. С. 5–87.
- Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. (ТИЭ 55). М., 1960.
- Долгих Б. О. Мифологические сказки и исторические предания энцев. (ТИЭ 66). М., 1961.
- Долгих Б. О. Бытовые рассказы энцев. (ТИЭ 75). М., 1962.
- Долгих Б. О. Происхождение долган // Сибирский этнографический сборник V. (ТИЭ 84). М., 1963. С. 92–141.
- Долгих Б. О. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М., 1970.
- Долгих Б. О. Мифологические сказки и исторические предания нганасан. М., 1981.
- Долгих Б. О., Файнберг Л. А. Таймырские нганасаны // Современное хозяйство, культура и быт малых народов Севера. (ТИЭ 56). М., 1960. С. 9–62.
- Долгопольский А. Б. Какие языки родственны европейским? // Наука и человечество 1971–1972. М., 1971. С. 106–119.
- Долгопольский А. Б. Сравнительно-историческая фонетика кушитских языков. М. 1973.
- ДСЯ = Афанасьев П. С., Воронкин М. С., Алексеев М. П. Диалектологический словарь якутского языка. М., 1976.
- ДТС = Древнетюркский словарь. Л., 1969.
- Дульзон А. П. Материалы по языку и этнографии нарымских остяков. Томск, 1962 (рукоп., цит. по [Ольгович 1963]).
- Дульзон А. П. Селькупские сказки // Языки и топонимия Сибири. Вып. 1. Томск, 1966. С. 96–158.
- Дурново Н. Н. К вопросу о времени распада общеславянского языка // Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Sv. 2: Přednasky. Praha, 1932. S. 514–526.
- Дыбо А. В. Заимствования из уральских языков в анатомической лексике алтайских языков // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Материалы к дискуссиям на Международной конференции. Ч. 1. М., 1989. С. 210–215.

Дыбо А. В.
термин
Дыбо В. А.
тератур
Дыбо В. А.
Дыбо В. А.
1990.
Дынников
Дьяконов
общест
М., 198
Дьяконов
зийска
блемы
Есеев М.
Егоров В.
Елизарен
гическ
Елисеев К
языко
Елисеев К
С. 308
ЕСУМ =
Київ,
Живов В.
Жирмунс
Журавле
языка
Зализняк
славя
Зализняк
Зализняк
НРБ
Зализняк
него
славя
Зализняк
1988
Зализняк
Зданови
ского
Зеленин
Музи
Зиняви
М., 1
Золтан
ской
Зуев В.

- Дыбо А. В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии: Соматические термины (Плечевой пояс). М., 1996.
- Дыбо В. А. Ностратическая гипотеза (Итоги и проблемы) // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1978. № 5. С. 400–413.
- Дыбо В. А. Славянская акцентология. М., 1981.
- Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской акцентологии. М., 1990.
- Дынкив А. Н., Лопатина М. Г. Народная латынь. М., 1988.
- Дьяконов И. М. (ред.) История Древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1: Месопотамия. М., 1983.
- Дьяконов И. М., Милитарев А. Ю., Порхоновский В. Я., Столбова О. В. Общеафриканская фонологическая система // Африканское историческое языкознание: Проблемы реконструкции. М., 1987. С. 9–29.
- Евсеев М. Я. Исторические основы карело-финского эпоса. Т. 2. М.; Л., 1960.
- Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
- Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. О ведийской загадке типа *brahmodya* // Пармиологические исследования. М., 1984. С. 14–16.
- Елисеев Ю. С. Древнейший письменный памятник одного из прибалтийско-финских языков // Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка. 1959. № 18. С. 65–72.
- Елисеев Ю. С. Финские имена // Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1979. С. 308–314.
- ЕСУМ = Етимологічний словник української мови. / Гол. ред. О. С. Мельничук. Т. 1–. Київ, 1982–.
- Живов В. М. Очерки по синтагматической фонологии. М., 1980.
- Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975.
- Журавлев В. К. Группофонема как основная фонологическая единица праславянского языка // Исследования по фонологии. М., 1966. С. 79–96.
- Зализняк А. А. К исторической фонетике древненовгородского диалекта // Балто-славянские исследования 1981. М., 1982. С. 61–80.
- Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // НРБ 1977–83: 89–219.
- Зализняк А. А. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание: X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988а. С. 164–177.
- Зализняк А. А. Древненовгородское койне // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988б. С. 60–78.
- Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Зданович Г. Б. Периодизация и хронология памятников эпохи бронзы Петропавловского Приишимья. Автореферат канд. дисс. М., 1975.
- Зеленин Д. В. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. 2. (Сборник Музея антропологии и этнографии 9). Л., 1930.
- Зинквичус З. Польско-являжский словарь? // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984. С. 3–29.
- Золтан А. О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии // Съпоставително езикознание. 1986. XI/4. С. 5–9.
- Зув В. Ф. Материалы по этнографии Сибири XVIII в. М.; Л., 1947.

- Иванов Вяч. Вс. Праязыки как объекты описания в издании «Языки мира» // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980. С. 181–207.
- Иванов Вяч. Вс. Диалектные членения славянской языковой общности и единство древнего славянского языкового мира (в связи с проблемой этнического самосознания) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 227–228.
- Иллич-Свитыч В. М. Алтайские дентальные: *t, d, δ* // ВЯ. 1963. № 6. С. 37–56.
- Иллич-Свитыч В. М. Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964. С. 3–12.
- Иллич-Свитыч В. М. Материалы к сравнительному словарю ностратических языков (индоевропейский, алтайский, уральский, дравидский, картвельский, семито-хамитский) // Этимология. 1965. М., 1967. С. 321–373.
- Иллич-Свитыч В. М. Соответствия смычных в ностратических языках // Этимология. 1966. М., 1968. С. 304–355.
- Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b — ʁ). М., 1971.
- Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (l — ʒ). Указатели. М., 1976.
- Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (p — q) (по картотекам автора). М., 1984.
- Ильинский Г. А. Сложные местоимения и окончания родительного пад. ед. ч., м. и ср. р. неличных местоимений в славянских языках. Изд. 2-е. М., 1905.
- Ильинский Г. А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.
- Истомин Иван. Маня' Нгэрмна': Стих' [Наш Север: Стихи]. М.; Л., 1953.
- История Венгрии / Шушарин В. П. и др. Т. 1. М., 1971.
- История Сибири. Т. 1–2. Л., 1968.
- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка: Фонетика и морфология. М., 1961.
- Казакевич О. А., Кузнецова А. И. Языковая ситуация у самодийских народов // Языковая ситуация в Российской Федерации: 1992. М., 1992. С. 92–101.
- Кальман Б. Русские заимствования из объ-угорских языков // ALH. 1951. 1. P. 249–272.
- Кенин-Лопсан М. Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Новосибирск, 1987.
- Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М.; Л., 1949.
- Климов Г. А. Принципы континентальной типологии. М., 1983.
- Клосон Дж. Происхождение тюркского рунического письма [пер. с англ.] // Зарубежная тюркология. М., 1986. С. 135–158.
- Ковалев Г. Ф. Этнонимия славянских языков. Воронеж, 1991.
- Койвулехто Й. Ранние индоевропейско-уральские языковые контакты // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1997. С. 156–163.
- Колесникова В. Д. Синтаксис эвенкийского языка. М.; Л., 1966.
- Коми народные загадки. Сыктывкар, 1975.
- Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников V–X вв. Л., 1980.
- Константин Багрянородный. Об управлении империей [Пер Г. Г. Литаврина] // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 267–333.
- Косарев М. Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М., 1974.

- Косвен М. О. Этнографические результаты Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг. // Сибирский этнографический сборник III. (ТИЭ 64). М., 1961. С. 167–212.
- Крейнович Е. А. Юкагирский язык. М.; Л., 1958.
- Крейнович Е. А. Юкагирский язык // Языки народов СССР. Т. V. Л., 1968. С. 435–452.
- Кривошекова-Гантман А. С. К вопросу о западносибирском компоненте в топонимии Прикамья // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1973. С. 129–132.
- Крупник И. И. К истории аборигенной приморской культуры в западном секторе Арктики // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск, 1981. С. 70–73.
- Крюков М. В. Этнос и субэтнос // Расы и народы: ежегодник. М., 1988. С. 5–21.
- Кузьмина А. И. Грамматика селькупского языка. Ч. I. Новосибирск, 1974.
- Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоари? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М., 1994.
- Купер Ш. Ц. Интерпретация длительности согласных в селькупском языке // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. Т. 2. М., 1990. С. 111–112.
- Куприянова З. Н. Ненецкий фольклор: Учебное пособие для педагогических училищ. Л., 1960.
- Куприянова З. Н. Эпические песни ненцев. М., 1965.
- Куркина Л. В. Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара // ВЯ. 1981. № 3. С. 85–97.
- Куруч Р. Д. (ред.). Саамско-русский словарь. М., 1985.
- Кызласов Л. Р. Взаимоотношение терминов «хакас» и «кыргызы» в письменных источниках VI–XII веков // Уч. зап. Хакасского НИИЯЛИ. Вып. XIII. Абакан, 1969. С. 5–20.
- Кызласов Л. Р. История Южной Сибири в средние века. М., 1984.
- КЭСК = Лыткин, Гуляев 1970.
- Лавонен Н. А. (сост.) Карельские народные загадки. Петрозаводск, 1982.
- Лапцуй Леонид. Мань Ямалми, вадёд'! Стих' [Расти, мой Ямал! Стихи]. Тюмень, 1950.
- Лапцуй Леонид. Ири [Дед]. Свердловск, 1970.
- Лапцуй Леонид. Мань яв [Мой край]. Свердловск, 1973.
- Лапцуй Леонид. Едэйко: Поэма. Свердловск, 1980.
- Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). Л., 1959.
- Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977.
- Леваи Б. Ранние славяне на севере Затисского края Венгрии // Старобългаристика. 1986. X/4. С. 64–67.
- Ледков Василий. Нэсын тер' нацекэхэ': Стих' сборник. [Детям моего стойбища: Сборник стихов]. Л., 1960.
- Ледков Василий. Соя'мани яни вабц: Стих' [Голос родного края: Стихи]. Тюмень, 1962.
- Лекомцева М. И. Семиотические аспекты «индексальной» загадки // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. I. М., 1994. С. 214–225.
- Лившиц В. А. О происхождении древнетюркской рунической письменности // СТ. 1978. № 4. С. 84–98.
- Лихачев Д. С. Комментарии // Повесть временных лет. Ч. 2. М.; Л., 1950. С. 203–484.

- Лушникова А. В. Стратификация ирано-уральских языковых контактов. Канд. дисс. (рук.). М., 1990а.
- Лушникова А. В. Стратификация ирано-уральских языковых контактов (Автореферат канд. дисс.). М., 1990б.
- Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964.
- Лыткин В. И. Сравнительно-историческая фонетика финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания. Ч. 1. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. М., 1974. С. 108–213.
- Лыткин В. И., Гуляев Е. И. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.
- Львов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966.
- Люблинская М. Д. Морфология глагола ненецкого языка. Канд. дисс. (рук.). СПб., 1993.
- Майтинская К. Е. Сравнительно-историческая морфология финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания. Ч. 1. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. М., 1974. С. 214–382.
- Мартынов В. В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры: К проблеме прародины славян. Минск, 1963.
- Матющенко В. И. О средствах использования археологических источников для решения проблем этногенеза // Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. Тезисы докладов областной научной конференции по археологии. Омск, 1983. С. 9–13.
- Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
- Мерперт Н. Я. Угорские (венгерские) племена в южнорусских степях // Очерки истории СССР, III–IX вв. М., 1958. С. 674–683.
- Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири. Ч. 2. СПб., 1878.
- Микушев А. К. Коми эпические песни и баллады. Л., 1969.
- Милеску Спафарий Н. Г. Сибирь и Китай. Кишинев, 1960.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М.; Л., 1937а; Т. 2. М.; Л., 1941.
- Миллер 1937б = Миллер Г. Ф. Описание монх служб // Миллер 1937а: 145–155.
- Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII — первой половине XIX в. Новосибирск, 1975.
- Митрофанова В. В. (сост.) Русские народные загадки. Л., 1968.
- Мифы, предания, сказки хантов и манси. / Сост. Н. В. Лукина. М., 1990.
- Млекопитающие фауны СССР. Ч. 2. М.–Л., 1963.
- Могильников В. А. Об этническом составе культур Западной Сибири в эпоху железа // Этнокультурные процессы в Западной Сибири. Томск, 1983. С. 77–89.
- Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968.
- Моора Х. А. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956. С. 49–141.
- Морев Ю. А. Глухость-звонкость согласных в селькупском языке (на материале среднеобского говора чумылькупов) // Языки и топонимия. Вып. 5. Томск, 1977. С. 13–26.
- Морев Ю. А. Особенности развития консонантизма по диалектам селькупского языка // Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. Тезисы докладов областной научной конференции по лингвистике. Омск, 1983. С. 24–28.
- Морохин В. Н. (сост.) Малые жанры русского фольклора: Пословицы, поговорки, загадки. М., 1986.

Народы
рассмо
незу и
финно-
Народы С
и культ
НГБ 1951
М., 195
НГБ 1952
1952 г.
НГБ 1953-
сте: Из
НГБ 1955
Из рас
НГБ 1956-
сте: Из
НГБ 1958
1958–1
НГБ 1962-
раскоп
НГБ 1977-
копок 1
НГБ 1984-
копок 1
Нейпер И.
болгар
Николаев
времен
1986. М
Николаев
в прибо
1990. С
Нисканен
ках: Б
1971. С
Новик Е. С
Окладнико
1967.
Ольгович
бассейн
Ольгович
Сибири
Ольгович
гос. пед.
ОчСЯ = К
языку (Патканов
Сибири
ства по

- Напольских В. В. Проблема формирования финноязычного населения Прибалтики (к рассмотрению дилемм финно-угорской предыстории) // Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов: Материалы XVII Всесоюзной финно-угорской конференции. Ижевск, 1990. С. 40–67.
- Народы Севера России (1960–1980-е годы). Часть I–III. (Материалы к серии «Народы и культуры» XVIII). М., 1992.
- НГБ 1951 = Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1951 г. М., 1953.
- НГБ 1952 = Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1952 г. М., 1954.
- НГБ 1953–54 = Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1953–1954 гг. М., 1958.
- НГБ 1955 = Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1955 г. М., 1958.
- НГБ 1956–57 = Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1956–1957 гг. М., 1963.
- НГБ 1958–61 = Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1958–1961 гг. М., 1963.
- НГБ 1962–76 = Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1962–1976 гг. М., 1978.
- НГБ 1977–83 = Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977–1983 гг. М., 1986.
- НГБ 1984–89 = Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1984–1989 гг. М., 1993.
- Неппер И. М. Влияние византийской культуры в Затисском крае Венгрии и вопросы болгарского посредничества // Старобългаристика. 1987. XI/2. С. 41–45.
- Николаев С. Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988. С. 115–154.
- Николаев С. Л., Хелимский Е. А. Славянские (новгородско-псковские) заимствования в прибалтийско-финских языках: -а и -и в рефлексах имен мужского рода // UI I. 1990. С. 41–43. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 331–332.)
- Нисканен Р. А. Германские заимствования в прибалтийско-финских и саамском языках: Библиографический указатель // Прибалтийско-финское языкознание. Л., 1971. С. 70–95.
- Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. М., 1984.
- Окладников А. П. Лики древнего Амура: Петроглифы Сакачи-Аляна. Новосибирск, 1967.
- Ольгович С. И. Иноязычные слова в русских старожильческих говорах средней части бассейна реки Оби. Канд. дисс. (рук.). Томск, 1963.
- Ольгович С. И. Из наблюдений над усвоением заимствованных слов в акающих говорах Сибири // Уч. зап. Томского гос. педагогического ин-та. 1964. 21. Вып. 1. С. 24–42.
- Ольгович С. И. Этимологические заметки по диалектной лексике // Уч. зап. Томского гос. педагогического ин-та. 1965. 22. С. 18–27.
- ОчСЯ = Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку (Тазовский диалект). М., 1980.
- Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев. Т. II. (Записки Русского географического общества по отделению статистики XI, вып. 2). СПб., 1911.

- Пекарский П. П. История Академии наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870.
- Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.
- Пеняк С. И. К вопросу о времени заселения славянами Карпатского бассейна // Исследования по истории славянских и балканских народов. М., 1972. С. 68–77.
- Переньи И. Взаимоотношения между венграми и восточнославянскими племенами // StSl. 1956. 2. Р. 1–29.
- Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М., 1970.
- Песни нганасан / Сост.: Добжанская О. Э., Костеркина Н. Т. Красноярск, 1995.
- Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. Финно-угорская мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2. М., 1982. С. 563–568.
- Пичков А. Ненецкие загадки // Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та. Л., 1959. 169. С. 145–152.
- Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия, СПб., 1885.
- Попов А. А. Тавгийцы. М.; Л., 1936.
- Попов А. А. Нганасаны: Материальная культура. М.; Л., 1948.
- Попов А. И. Прибалтийско-финские личные имена в новгородских берестяных грамотах // Труды Карельского филиала АН СССР. 1958. № 12. С. 95–100.
- Попов А. И. Следы времен минувших. Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Л., 1981.
- Порхомовский В. Я. Проблемы генетической классификации языков Африки // Теоретические основы классификации языков мира: Проблемы родства. М., 1982. С. 195–257.
- Потапов Л. П. Происхождение и формирование хакасской народности. Абакан, 1957.
- Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1959.
- Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972.
- Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. Тезисы докладов областной научной конференции. 1–3. Омск, 1983.
- Прокофьев Г. Н. Селькупская (остяко-самоедская) грамматика. Л., 1935.
- Прокофьев Г. Н. Введение // Языки и письменность народов Севера. Ч. 1: Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов. М.; Л., 1937а. С. 5–11.
- Прокофьев Г. Н. Нганасанский (тавгийский) диалект // Языки и письменность народов Севера. Ч. 1: Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов. М.; Л., 1937б. С. 53–74.
- Прокофьев Г. Н. Ненецкий (юрако-самоедский) язык // Языки и письменность народов Севера. Ч. 1: Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов. М.; Л., 1937в. С. 5–52.
- Прокофьев Г. Н. Энецкий (енисейско-самоедский) диалект // Языки и письменность народов Севера. Ч. 1: Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов. М.; Л., 1937г. С. 75–50.
- Прокофьев Г. Н. Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна // Советская этнография. 1940. Т. 3. С. 67–76.
- Прокофьева Е. Д. К вопросу о социальной организации селькупов (род и фратрия) // Сибирский этнографический сборник 1. (ТИЭ 18). М., 1952. С. 88–107.
- Радищев А. Н. Записки путешественника из Сибири // Полное собрание сочинений. Т. 3. М.; Л., 1952. С. 267–304.
- Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. I–IV. СПб., 1893–1911.
- Радлов В. Из Сибири, М., 1989.
- Рассадин В. И. Фонетика и лексика гофаларского языка. Улан-Удэ, 1971.
- Рассадин В. И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М., 1978.

PHC = Пыре
Рот А. М. Д
ной хрон
1968. 8. Ф
Рот А. М. В
Рот Ш. Дре
вопросу
346.
РТС = Русск
РХС = Чанк
Рябен М.
Свод древн
таврин,
СВЯ = Зайц
Севортян Э
тюркски
Севортян Э
тюркски
Севортян Э
тюркски
Седельник
сейског
Седельник
Исслед
Седов В. В
Седов В. В
Семерень
Сергиевск
Серебренн
уральск
Серебренн
Серебренн
С. 3–1
Серебренн
ских я
СИГТЯ =
1984.
Симченкс
чекски
Симченкс
Симченкс
Сказания
Сл = Слс
Под р
вой О
ССРЯ
1948-
СлРЯ = (

- РНС = *Пырерка А. П., Терещенко Н. М.* Русско-ненецкий словарь. М., 1948.
- Рот А. М. Древнерусские элементы в лексике венгерского языка и вопросы абсолютной хронологии фонетических изменений в восточнославянском языке // *Slavica*. 1968. 8. Р. 209–222.
- Рот А. М. Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Budapest, 1973.
- Рот Ш. Древнерусизмы в лексике венгерского и прибалтийско-финских языков: К вопросу их фонетического и фонологического освоения // *StSl*. 1979. 25. Р. 337–346.
- РТС = Русско-татарский словарь. М., 1971.
- РХС = *Чанков Д. И.* (ред.). Русско-хакасский словарь. М., 1961.
- Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955.
- Свод древнейших письменных известий о славянах. / Сост.: С. А. Иванов, Г. Г. Литаврин, В. К. Ронин. Т. II (VII–IX вв.). М., 1995.
- СВЯ = *Зайцева М. И., Муллонен М. И.* Словарь вепсского языка. Л., 1972.
- Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974.
- Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б»). М., 1978.
- Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г», и «Д»). М., 1980.
- Седельников Б. А. Характеристики дифтонгов нганасанского языка // Вопросы енисейского и самодийского языкознания. Томск, 1963. С. 135–138.
- Седельников Б. А. Квантитативность гласных-монофтонгов нганасанского языка // Исследование звуковых систем сибирских языков. Новосибирск, 1979. С. 56–77.
- Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
- Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
- Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Сергиевский М. В. История французского языка. М., 1938.
- Серебренников Б. А. Основные линии развития падежной и глагольной системы в уральских языках. М., 1964.
- Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
- Серебренников Б. А. Из истории звуков и форм тюркских языков // *СТ*. 1974а. № 6. С. 3–17.
- Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, 1979.
- СИГТЯ = Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Фонетика. М., 1984.
- Симченко Ю. Б. Праздник Аны'о-Дяля у авамских нганасан // Сибирский этнографический сборник V. (ТИЭ 84). М., 1963. С. 168–179.
- Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М., 1976.
- Симченко Ю. Б. Нганасаны: Система жизнеобеспечения. М., 1992.
- Сказания о начале славянской письменности / Пер. и комм. Б. Н. Флори. М., 1981.
- Сл = Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби 1–3 / Под ред. Палагиной В. В. Т. 1–3. Томск, 1964–1967; Дополнение / Под ред. Блиновой О. И., Палагиной В. В. Т. 1–2. Томск, 1975.
- ССРЛЯ = Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1948–1965.
- СлРЯ = Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–14. М., 1975–1988.

- Спафарий Н. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника в 1675 г. (Записки Имп. Русского Географического О-ва по отд. этнографии X/1). СПб., 1882.
- Спафарий 1960 = Милеску Спафарий 1960.
- СРНГ = Словарь русских народных говоров / Сост. Ф. П. Филин. Вып. 1-. М.; Л., 1965-.
- ССКЗД = Жилина Т. И., Сахарова М. А., Сорвачева В. А. Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961.
- Старостин С. А. Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков // Кетский сборник. Л., 1982. С. 144-237.
- Старостин С. А. Гипотеза о генетических связях синотибетских языков с енисейскими и северокавказскими языками // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тезисы и доклады конференции. Ч. 4. М., 1984. С. 19-38.
- Старостин С. А. Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991.
- Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
- Суник О. П. Глагол в тунгусо-маньчжурских языках. М.; Л., 1962.
- Суслов С. П. Физическая география СССР: Азиатская часть. М., 1954.
- Таймырский этнолингвистический сборник. Вып. 1. Материалы по нганасанскому шаманству и языку. / Под ред. Е. А. Хелимского. М., 1994.
- Татаринцев Б. И. О научном наследии Н. Ф. Катанова и его месте в тюркской и тувинской филологии // Вопросы тувинской филологии. Кызыл, 1983. С. 44-52, 101-109.
- Тенишев Э. Р. (ред.) Тувинско-русский словарь. М., 1968.
- Тенишев Э. Р. Перебой *s/s* в тюркских рунических памятниках // Структура и история тюркских языков. М., 1971. С. 293-294.
- Терентьев В. А. О статусе фонемы *χ* в ненецком языке // СФУ. 1977. XIII/3. С. 199-201.
- Терентьев В. А. К вопросу о реконструкции прасамодийского языка // СФУ. 1982. XVIII/3. С. 189-193.
- Терентьев В. А. Древнейшие заимствования из самодийских языков в тюркские // СФУ. 1989. XXV/4. С. 274-280.
- Терещенко Н. М. Материалы и исследования по языку ненцев. Л., 1956.
- Терещенко Н. М. Ненецко-русский словарь. М., 1965.
- Терещенко Н. М. Синтаксис самодийских языков. Л., 1973.
- Терещенко Н. М. Нганасанский язык. Л., 1979.
- ТМС = Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков / Отв. ред. В. И. Цинциус. Т. I-II. Л., 1975-1977.
- Тодаева Б. Х. Монгорский язык. М., 1973.
- Толстой Н. И. Каков облик дьявольский? // Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 250-269.
- Топоров В. Н. Некоторые соображения относительно изучения истории праславянского языка // Славянское языкознание. М., 1959. С. 3-27.
- Топоров В. Н. Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам // Этимология 1972. М., 1974. С. 3-19.
- Топоров В. Н. Прусский язык: Словарь. Т. 1-. М., 1975-.
- Топоров В. Н. О специфике балт. **lai* и его индоевропейских параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984. С. 83-91.
- Тот И. Славяно-български заемки в унгарския език // Съпоставително езикознание. 1984а. IX/5. С. 28-36.

Тот И. След
българис
Тот И. Х. М
Pannóniál
Гретьяков Г.
Русского
ТатРС = Тат
ТувРС = Тен
Трубачев О.
1970. М.
Трубачев О.
логи и
стов. До
Трубачев О.
Трубачев О.
дения //
российск
Труссман Г.
ская, Де
ТДС = Тат
Тумашева Д.
Убрятова И.
Устно-поэт
Саранск
Федотов М.
финно-у
Финно-уго
Флоря Б. Н.
вья // С
Хазанович
Хайду П. У
Хакулинен
1953.
Халиков А.
Хаузенберг
Хелимский
ренция
1972. С
Хелимский
купско
Хелимски
ческой
их язы
50-55.
Хелимский
С. 301-
Хелимски
самоды

- Том И. Следы от Кирило-Методиевата традиция в унгарския речников фонд // Старо-българистика. 1984. VIII/1. С. 87–89.
- Том И. Х. Мефодий и его ученики в Паннонии // *Cirill és Metód tevékenysége Pannóniában.* (Hungaro-Bulgarica 1). Budapest, 1986. 102.–118. о.
- Третьяков П. И. Туруханский край, его природа и жители // Записки Императорского Русского географического о-ва. 1869. Т. II. С. 215–530.
- ТатРС = Татарско-русский словарь. М., 1966.
- ТувРС = Тенишев 1968.
- Трубачев О. Н. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология 1970. М., 1972. С. 3–20.
- Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян: Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983. С. 231–270.
- Трубачев О. Н. Языкознание и этногенез славян, V // ВЯ. 1985. № 4. С. 3–17.
- Трубачев О. Н. Древние славяне на Дунае (южный фланг): Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 3–23.
- Трусман Г. Г. Чудско-литовские элементы в Новгородских пятинах. Ч. 1. Пятины Водская, Деревская и Шелонская. Реваль, 1898.
- ТТДС = Татар теленең диалектологик сүзлеге. Казан, 1969.
- Тумашева Д. К. Язык сибирских татар. 2. Казань, 1968.
- Убрятова Е. И. Язык норильских долган. Новосибирск, 1985.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 4. Кн. 2: Мордовские загадки. Саранск, 1969.
- Федотов М. Р. Исторические связи чувашского языка с волжскими и пермскими финно-угорскими языками. II. Чебоксары, 1968.
- Финно-угорская мифология // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1981.
- Флоря Б. Н. Славянская письменность и европейская культура раннего Средневековья // ССЛ. 1985. № 2. С. 66–70.
- Хазанович А. М. Друзья мои нганасаны. М., 1986.
- Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985.
- Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1953.
- Халиков А. Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969.
- Хаузенберг А.-Р. Названия животных в коми языке. Таллин, 1972.
- Хелимский Е. А. Селькупские дополнения к ностратическим этимологиям // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972. С. 85–86.
- Хелимский Е. А. О соответствиях уральских *a*- и *e*-основ в тазовском диалекте селькупского языка // СФУ. 1976а. XII/2. С. 113–132.
- Хелимский Е. А. Об одном переходном северносамодийском диалекте (К исторической диалектологии ненецкого языка) // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1976б. С. 89–93. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 50–55.)
- Хелимский Е. А. [Рец. на:] *Hajdú P. Samojedologische Schriften* // СФУ. 1977. XIII/4. С. 301–305.
- Хелимский Е. А. Лексикографические материалы XVIII — начала XIX в. по саяно-самодийским языкам // Языки и топонимия. Вып. 6. Томск, 1978. С. 47–58.

- Хелимский Е. А. Реконструкция прасеверносамодийских (ПСС) лабиализованных гласных непервых слогов // Конференция «Проблемы реконструкции». 23–25 октября 1978 г. (Тезисы докладов). М., 1978а. С. 123–126.
- Хелимский Е. А. Чередование долгот, консонантный ауслаут и ударение в истории венгерских именных основ // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979. С. 118–133.
- Хелимский Е. А. Этимологические заметки по энецкой ономастике // СФУ. 1981. XVII/2. С. 119–130. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 82–93.)
- Хелимский Е. А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели (Лингвистическая и этногенетическая интерпретация). М., 1982а.
- Хелимский Е. А. Самодийская мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2. М., 1982б. С. 398–401.
- Хелимский Е. А. *Keto-Uralica* // Кетский сборник: Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Л., 1982в. С. 238–254.
- Хелимский Е. А. [Рец. на:] Katzschmann, Pusztay 1978 // СФУ. 1982г. XVIII/2. С. 135–147.
- Хелимский Е. А. Селькупские заимствования в русских диалектах // СФУ. 1983а. XIX/3. С. 202–216. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 363–377.)
- Хелимский Е. А. Ранние этапы этногенеза и этнической истории самодийцев в свете языковых данных // Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов. Тезисы докладов областной научной конференции по лингвистике. Омск, 1983б. С. 5–10.
- Хелимский Е. А. Прасамодийские серии посессивов и их рефлексy // Категория притяжательности в славянских и балканских языках: Тезисы совещания. М., 1983в. С. 107–112. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 45–49.)
- Хелимский Е. А. Критерии классификации диалектов селькупского языка // *Dialectologia Uralica* (Erstes internationales Symposium zur Dialectologie der uralischen Sprachen 4.–7.IX.1984 in Hamburg). Hamburg, 1984а. S. 44–46. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 80–81.)
- Хелимский Е. А. Две заметки о славянско-самодийских аналогиях // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984б. С. 114–123. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 396–401, 469–473.)
- Хелимский Е. А. Проблема границ ностратической макросемьи языков // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тезисы и доклады конференции. Ч. 5. М., 1984в. С. 31–48.
- Хелимский Е. А. Установление диалектной принадлежности энецких материалов // *Dialectologia Uralica* (Erstes internationales Symposium zur Dialectologie der uralischen Sprachen 4.–7.IX.1984 in Hamburg). Hamburg, 1984г. S. 38–43. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 56–59.)
- Хелимский Е. А. К исторической диалектологии селькупского языка // Лексика и грамматика языков Сибири. Барнаул, 1985а. С. 42–58. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 68–79.)
- Хелимский Е. А. Самодийско-тунгусские лексические связи и их этноисторические импликации // Урало-алтаистика: Археология, этнография, язык. Новосибирск, 1985б. С. 206–213. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 278–283.)
- Хелимский Е. А. [Рец. на:] Symposium saeculare Societatis Fenno-Ugricae. (MSFOu 185). Helsinki, 1983 // СФУ. 1985в. XXI/4. С. 289–294.
- Хелимский Е. А. *Etymologica* 1–48: Материалы по этимологии маторско-тайгийско-карагасского языка // NyK. 1986. 88. 119.–143. о.

- Хелимский Е. А. (1986а) О прибалтийско-финском языковом материале в новгородских берестяных грамотах // НГБ 1977–83: 252–259. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 338–348.)
- Хелимский Е. А. Решение дилемм праторжской реконструкции и ностратика // ВЯ. 1986б. № 5. С. 67–78. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 243–255.)
- Хелимский Е. А. Происхождение древнетюркского чередования $r \sim z$ и дилемма «ротацизма-зетацизма» // СТ. 1986в. № 2. С. 40–50. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 256–266.)
- Хелимский Е. А. Опыт фонологической интерпретации данных по маторско-тайгийско-карагасскому языку (МТК) // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986г. С. 99–102.
- Хелимский Е. А. Труды В. М. Иллич-Свитыча и развитие ностратических исследований за рубежом // Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М., 1986д. С. 229–282.
- Хелимский Е. А. Встречный двунаправленный отсчет мор в нганасанском языке // The Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. Proceedings. Vol. 1. Tallinn, 1987а. Р. 158–161.
- Хелимский Е. А. «Русский говорка место казать будем» (Таймырский пиджин) // Возникновение и функционирование контактных языков. Материалы рабочего совещания. М., 1987б. С. 84–93.
- Хелимский Е. А. К истории этноязыковой ситуации в центре Азии: данные маторско-тайгийско-карагасского языка // Синхрония и диахрония в лингвистических исследованиях. Ч. 2. М., 1988а. С. 153–166. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 284–291.)
- Хелимский Е. А. **Veľe*, **bolje* // ССл. 1988б. № 4. С. 54–59. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 325–330.)
- Хелимский Е. А. Историческая и описательная диалектология самодийских языков. Докт. дисс. Тарту, 1988в.
- Хелимский Е. А. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии // X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. Славянское языкознание. М., 1988г. С. 347–368. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 416–432.)
- Хелимский Е. А. *Király* и *olasz*. К истории ранних славяно-тюрко-венгерских связей // Славяне и их соседи. Место взаимных влияний в процессе общественного и культурного развития. Эпоха феодализма: Сборник тезисов / Институт славяноведения и балканистики АН СССР. М., 1988д. С. 53–55. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 433–435.)
- Хелимский Е. А. Силлабика стиха в нганасанских иносказательных песнях // Музыкальная этнография Северной Азии. Новосибирск, 1989а. С. 52–76. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 94–109.)
- Хелимский Е. А. Глубинно-фонетический изосиллабизм ненецкого стиха // JSFOu. 1989б. 82. Р. 223–268. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 125–154.)
- Хелимский Е. А. О морфонологии нганасанского языка. Доклад на 4-ом Международном симпозиуме «Уральская фонология» (Гамбург, 4–8 сентября 1989 г.) 1989в. (Рук.)
- Хелимский Е. А. Изучение ранних славяно-венгерских языковых отношений // Славяноведение и балканистика в странах Зарубежной Европы и США. М., 1989г. С. 184–198. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 404–415.)

- Хелимский Е. А. Славянское койне в Венгрии Арпадов и происхождение славяно-венгерских топонимов в Трансильвании // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. Лингвистика. М., 1989д. С. 48–55. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 462–466.)
- Хелимский Е. А. К оценке надежности индоевропейско-семитских лексических сопоставлений // Палеобалканистика и античность. М., 1989е. С. 13–20. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 481–486.)
- Хелимский Е. А. [Рец. на:] Rédei K. Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Lfg. 1 // Этимология 1986–1987. М., 1989ж. С. 240–245.
- Хелимский Е. А. Уральский консонантный ауслат ~ индоевропейская гетероклиза? // Конференция «Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе». М., 1990а. С. 11–13. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 474–475.)
- Хелимский Е. А. Этимологические заметки // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990б. С. 30–42. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 353–357.)
- Хелимский Е. А. Ugrica: Этимологии с историко-фонетическим подтекстом // NyK. 1990в. 91. 63.–68. о.
- Хелимский Е. А. К корпусу ранних славянских заимствований венгерского языка // UII. М., 1990г. С. 76–82.
- Хелимский Е. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков. М., 1991. С. 86–99. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 13–25.)
- Хелимский Е. А. [Рец. на:] Лушникова 1990 // СФУ. 1991а. XXVII/3. С. 218–222.
- Хелимский Е. А. Об одном диакритическом приеме создания древнетюркского рунического алфавита // Исследования языковых систем в синхронии и диахронии: К 90-летию Э. Р. Тенишева. М., 1991б. С. 150–158.
- Хелимский Е. Etymologica 49–79: Материалы по этимологии маторско-тайгийско-карагасского языка // NyK. 1992–1993. 93. 101.–123. о.
- Хелимский Е. А. Прасамодийские *ā и *ǣ: прауральские источники и нганасанские рефлексy // Hajdú Péter 70 éves. Budapest, 1993. 125.–133. о. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 196–201.)
- Хелимский Е. А. Очерк морфонологии и словоизменительной морфологии нганасанского языка // Таймырский этнолингвистический сборник. Вып. 1: Материалы по нганасанскому шаманству и языку. М., 1994. С. 190–221.
- Хелимский Е. А. Сверхдревние германизмы в прибалтийско-финском и других финно-угорских языках: История проблемы в краткой аннотированной и комментированной библиографии // Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995. С. 3–37. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 511–535.)
- Хелимский Е. А. Uralo-Indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей // Балто-славянские исследования 1989–1996. М., 1997. С. 224–249.
- Хлобыстин Л. П. О расселении предков самодийских народов в эпоху бронзы (II тысячелетие до н. э.) // Материалы конференции «Этногенез народов Северной Азии». Вып. 1. Новосибирск, 1969. С. 133–135.
- Хлобыстин Л. П. Древние культуры Таймыра и крупные этнические общности Сибири // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1973. С. 163–166.
- Хомич Л. В. Ненцы: Историко-этнографические очерки. М.; Л., 1966.
- Хомич Л. В. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976.

Э. П.
Gottesgnade
иский Н.
= Баскакс
айнен М.
вородск
1958. № 12
В. И.
З. Б.
В. Н. I
ология и
Л. В.
1969.
В. Н.
поху неол
П. Я.
М. 1993.
Л. А.
Л. А.
докт. дисс
иский Н. Л
ского язык
А.
у языку,
А.
А.
Л. А.
Л. А.
лоционне
Е. С
ных хант
В. Я
М. 1991.
В.
XVII в
В.
В.
А.
гусо-ман
А. А.
А. А.
№ 6. С. 3
А. А.
моноголи
А. А.
Р. С.
XXVII. М
И. В.
Э.
маньчжу

- Хоргошии Э. Происхождение венгерского слова *malaszi* < *milost* "gratia, clementia, Gottesgnade, Gnade" // Старобългаристика. 1984. VIII/3. С. 45–49.
- Хотинский Н. Л. Голоцен Северной Евразии. М., 1977.
- ХРС = Баскаков Н. А., Инкижекова-Грекул А. И. Хакасско-русский словарь. М., 1953.
- Хямяляйнен М. М. О статье А. И. Попова «Прибалтийско-финские личные имена в новгородских берестяных грамотах» // Труды Карельского филиала АН СССР. 1958. № 12. С. 101–103.
- Цинциус В. И. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949.
- Чадамба З. Б. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, 1974.
- Чекман В. Н. Исследования по исторической фонологии праславянского языка: Типология и реконструкция. Минск, 1979.
- Черепнин Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969.
- Чернецов В. Н. Этнокультурные ареалы в лесной и субарктической зонах Евразии в эпоху неолита // Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. I–II. М. 1993.
- Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Томск, 1984.
- Чиндина Л. А. История Среднего Приобья в V в. до н. э. — IX в. н. э. Автореферат докт. дисс. Новосибирск, 1985.
- Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961.
- Шахматов А. А. Исследование о двинских грамотах XV в. (Исследования по русскому языку, т. II, вып. 3). СПб., 1903.
- Шахматов А. А. Толковая Палая и русская летопись. СПб., 1904.
- Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. I. Пг., 1916.
- Шилов А. Л. Чудские мотивы в древнерусской топонимии. М., 1996.
- Ширина Л. А. Летопись экспедиций Академии наук на северо-восток Азии в дореволюционный период. Новосибирск, 1983.
- Шмидт Е. Соотношение музыки, стихосложения и стиля в народной поэзии северных ханты // CUFU 6: Studia Hungarica. Budapest, 1985. P. 231–237.
- Шумкин В. Я. Этногенез саамов (археологический аспект) // Происхождение саамов, М., 1991. С. 129–167.
- Шушарин В. П. Русско-венгерские отношения в IX в. // Международные связи России до XVII в. М., 1961. С. 131–180.
- Шушарин В. П. Ранний этап этнической истории венгров. М., 1997.
- Щербак А. М. О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков // ВЯ. 1966. № 3. С. 21–35.
- Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.
- Щербак А. М. О ностратических исследованиях с позиций тюрколога // ВЯ. 1984. № 6. С. 30–42.
- Щербак А. М. Проблема ротацизма и перспективы дальнейшего изучения тюркско-монгольских языковых связей // СТ. 1987. № 3. С. 3–9.
- Щербак А. М. [Рец. на:] Altaistic studies. Stockholm, 1985 // ВЯ. 1988. № 1. С. 157–159.
- Эккерт Р. Основы на -й- в праславянском языке // Уч. зап. Института славяноведения XXVII. М., 1963. С. 3–133.
- Эрдейи И. Венгры в Леведии: Автореферат канд. дисс. Л., 1959.
- Эрнсте Э. Предварительные данные о связях между саамским и тунгусо-маньчжурскими языками // СФУ. 1977. XIII/1. С. 20–24.

- ЭСРЯ = Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. и доп. О. Н. Трубачева. I–IV. М., 1964–1973.
- ЭССЯ = Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1–. М., 1974–.
- ЭСТЯ = Севортян Э. В. и др. Этимологический словарь тюркских языков. 1–. М., 1974–.
- Этническая история народов Севера. / Отв. ред. И. С. Гурвич. М., 1982.
- Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Тезисы докладов областной научной конференции по антропологии, археологии и этнографии. Омск, 1984.
- Этническое развитие народностей Севера в советский период. / Отв. ред. И. С. Гурвич. М., 1987.
- Юганпелик Иван. Мань хынонгадм: Стих' [Я пою: Стихи]. Тюмень, 1960.
- Юсупов Г. В. Введение в болгаро-татарскую эпиграфику. М.; Л., 1960.
- Якобсон Р. О. К характеристике евразийского языкового союза. Париж, 1931.
- Янитс Л. Ю. К вопросу об этнической принадлежности неолитического населения территории Эстонской ССР // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956. С. 142–171.
- A magyar honfoglalás kütfői / Szerk. Gy. Pauler és S. Szilágyi. Budapest, 1900.
- A magyarok elődeiről és a honfoglalásról: Kortársak és krónikások híradásai / Szerk. Gy. Györffy. 3. kiadás. Budapest, 1986.
- Aalto P. Eine alte Name des Kupfers // UAJb. 1959. 31. S. 33–40.
- Abondolo D. M. Hungarian Inflectional Morphology. (Bibliotheca Uralica 9). Budapest, 1988.
- Adamović M. Umstrittene tschuwaschische Etymologien // UAJb (N. F.). 1985. 5. S. 74–97.
- Agyagási K. Az 'éjszaka' jelentésű szó a csuvasban // Folia Uralica Debreceniensia. 1989. 1. 19–24. o.
- Alvre P. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded ja materjalid (üksikkonsonandid). Tartu, 1981.
- Arbeitman Y. Cuneiform and Hieroglyphic Luwian -za // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. 1976. 90/1–2. S. 145–148.
- Arendt V. V. Das Levedien der Ungarn // Archaeologia Hungarica. 1935. 16. P. 69–80.
- Ariste P. Die ältesten Substrate in den ostseefinnischen Sprachen // СФУ. 1971. VII/3. С. 251–258.
- Ariste P. The earliest substrata in the Baltic-Finnic languages // NNy. 1971–1972. 15–16. 5.–11. o.
- Ariste P. Eesti keele foneetika. II. osa. 6. trükk. Tartu, 1984.
- Ariste P. [Rez. zu:] Hofstra 1985 // СФУ. 1986. 22/3. С. 226–229.
- Asbóth O. Szlavság a magyar keresztény terminológiában // NyK. 1884. 18. 321.–427. o.
- Asbóth O. A szláv szók a magyar nyelvben. Budapest, 1893.
- Asbóth O. Az ószlovén nyelv hazája: Valász Volf Györgynek // NyK. 1896. 26. 218.–225. o.
- Asbóth O. Die Anfänge der ungarisch-slavischen ethnischen Berührung // AfslPh. 1900a. 22. S. 433–487.
- Asbóth O. A magyar nyelvbe került szláv szók átvételének helye és kora // NyK. 1900b. 30. 74.–90., 209.–230. o.

- Asbóth O.* Szláv jövevényszavaink. I. Bevezetés és a különböző rétegek kérdése. Budapest, 1907.
- Austerlitz R.* Ob-Ugric Metrics: The Metrical Structure of Ostyak and Vogul Folk-Poetry. Helsinki, 1958.
- Baldi Ph.* (ed.). Linguistic Change and Reconstruction Methodology. Berlin; New York, 1990.
- Bálint Cs.* A Kárpát-medence VI–IX. századi régészeti-néptörténeti kérdései // Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I: 1. Budapest, 1984. 107.–120. o.
- Barbera M.* La gradazione baltofinnica. London, 1993a.
- Barbera M.* Problemi di ricostruzione nel consonantismo uralico // Ponto-Baltica. 1993b. 5. P. 7–60.
- Bárczi G.* Hangtörténet // Bárczi G., Benkő L., Berrár J. A magyar nyelv története. Budapest, 1967. 95.–180. o.
- Bartha A.* Hungarian Society in the 9th and 10th Centuries. Budapest, 1975.
- Bartha A.* A magyar honalapítás. Budapest, 1987.
- Bartha A.* A magyar nép őstörténete. Budapest, 1988.
- Bednarczuk L.* Finno-Ugric Loans in Baltic // Journal of Baltic Studies. 1977. VIII/2. P. 99–104.
- Benzing J.* Die tungusischen Sprachen: Versuch einer vergleichenden Grammatik (= Akad. der Wiss. und der Literatur in Mainz. Abh. der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 1955, Nr. 11). Wiesbaden, 1955.
- Bereczki G.* Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte II. (SUA 34). Szeged, 1992.
- Bergsland K.* L'alternance consonantique date-t-elle du lapon commun? // Festschrift til Konrad Nielsen på 70-årsdagen. (Studia Septentrionalia 2). Oslo, 1945. P. 1–53.
- Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg, 1908–1913.
- Berta A.* Lautgeschichte der tatarischen Dialekten. (SUA 31). Szeged, 1989.
- Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 2. rész. Budapest, 1976.
- BEW = *Berneker* 1908–1913.
- Birnbaum H.* Common Slavic: Progress and Problems in its Reconstruction. Columbus (Ohio), 1979.
- Blažek V.* New Fenno-Ugric — Indo-Iranian lexical parallels // UI II. 1990. C. 40–45.
- Blažek V.* Some thoughts about Uralic numerals // Philologia Fenno-Ugrica. 1996/1997. 2–3. P. 1–18.
- Blažek V.* Altaic numerals // Studia Etymologica Cracoviensia. 1997. 2. P. 33–75.
- Bomhard A.* Towards Proto-Nostratic: A New Approach to the Comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
- Bomhard A.* A Sample of the Comparative Vocabulary of the Nostratic Languages. (Mscr.) Boston, 1987.
- Boretzky N.* The Indo-Europeanist model of sound change and genetic affinity and its application to exotic languages // Diachronica. 1984. 1. P. 1–51.
- Braune W.* Althochdeutsche Grammatik. 8. Aufl. Halle (Saale), 1955.
- Brockelmann C.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. 1. Laut- und Formenlehre. Berlin, 1908.
- Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927.
- Brugmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. II. Wortbildungslehre. Strassburg, 1888–1890.
- Brugmann K.* Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität // Renuntiatiionsprogramm der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig für 1893–1894.

- Brunner L. Die gemeinsamen Wurzeln des semitischen und indogermanischen Wortschatzes. Bern, 1969.
- Bujnak P. Obrátenie maďarov na vieru kresťanskú. Bratislava, 1933.
- Burrow Th. The Sanskrit Language. London, 1956.
- Carpelan Chr. Die Herkunft der Finnen und Saamen im Licht der Archäologie (20000–500 v. Chr.) // Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. 1998. 30. S. 31–38.
- Castrén M. A. Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838–1844. Herausgegeben von A. Schiefner. SPb., 1853.
- Castrén M. A. Grammatik der samojedischen Sprachen. Herausgegeben von A. Schiefner. SPb., 1854.
- Castrén M. A. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. Bearbeitet von A. Schiefner. SPb., 1855.
- Castrén M. A. Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845–1849. Herausgegeben von A. Schiefner. SPb., 1856.
- Castrén M. A. Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre. SPb., 1857.
- Castrén M. A. Versuch einer burjätischen Sprachlehre. Herausgegeben von A. Schiefner. SPb., 1857b.
- Castrén M. A. Grammatik der samojedischen Sprachen. Bloomington; The Hague, 1966 [Reproduction of the original edition: SPb., 1854].
- Castrén M. A., Lehtisalo T. Samojedische Volksdichtung. (MSFOu 83). Helsinki, 1940.
- Castrén M. A., Lehtisalo T. Samojedische Sprachmaterialien. (MSFOu 122). Helsinki, 1960.
- CL = Castrén, Lehtisalo 1960.
- Clauson G. The Turkish Y and related sounds // Studia Altaica: Festschrift für Nikolaus Poppe zum 60. Geburtstag. Wiesbaden, 1957. S. 33–45.
- Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Oxford, 1972.
- Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Index. Vol. I–II. With a Preface by A. Róna-Tas. Szeged, 1981.
- CLI = Compendium Linguarum Iranicarum. / Hrsg. von R. Schmitt. Wiesbaden, 1989.
- Cohen D. Dictionnaire des racines sémitiques. Fasc. 2. The Hague, 1976.
- Collinder B. Die urgermanischen Lehnwörter im Finnischen I–II. Uppsala; Leipzig, 1932–1944.
- Collinder B. Jukagirisch und Uralisch. Uppsala, 1940.
- Collinder B. Az uráli fókvaltakozás // NyK. 1948. 52. 15.–30. o.
- Collinder B. Proto-Lappish and Samoyed // SSUF. 1952–1954. S. 93–118.
- Collinder B. Fenno-Ugric Vocabulary: An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm, 1955.
- Collinder B. Survey of the Uralic languages. Stockholm, 1957.
- Collinder B. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm, 1960.
- Collinder B. Hat das Uralische Verwandte? // UUÅ. N. S. 1965. 1:4. P. 109–180.
- Comrie B. General features of the Uralic languages // Sinor D. (ed.). The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988. P. 451–477.
- Čop B. Indouuralica II // UAJb. 1972. 44. S. 162–178.
- Cuny A. Contribution à la connaissance du vocabulaire commun à l'indoeuropéen et au chamito-sémitique // Donum Natalicium Schrijnen. Nijmegen; Utrecht, 1929.
- Cuny A. Recherches sur le vocalisme, le consonantisme et la formation des racines en «nostratique», ancêtre de l'indo-européen et du chamito-sémitique. Paris, 1943.
- Cuny A. Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques. Bordeaux, 1946.

Czegle
10
Debru
na
Décys
Bc
ing
De Sm
III
DEW
Sp
Diako
Dixon
lar
Doerf
Doerf
tur
Doerf
Be
Doerf
26
Doerf
19
Doerf
Doerf
ge
Doerf
Dolgo
de
Donne
un
Donne
Tsc
Donne
Donne
Donne
Donne
/ B
Donne
Donne
Donne
Donne
Int
Me
71.
Dostál
Dostál
Sla
Dulsor
alte

- Czeglédy K. A magyarság Dél-Oroszországban // A magyarság östörténete. Budapest, 1943. 100.–122. o.
- Debrunner A. Geschichte der griechischen Sprache. II. Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch. Berlin, 1954.
- Décsy Gy. Sprachherkunftsforschung. Bd. I. Einleitung und Phonogenese/Paläophonetik. Bd. II. Semogenese/Paläosemiotik. (Bibliotheca Nostratica 2: 1,2). Wiesbaden, Bloomington. 1977–1981.
- De Smedt A., Mostaert A. Le dialecte Monguor parlé par les Mongols du Kansu Occidental. III. Dictionnaire Monguor-Français. Peiping, 1933.
- DEWOS = Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Lfg. 1–15. Berlin, 1966–1993.
- Diakonoff I. M. Semito-Hamitic Languages. Moscow, 1965.
- Dixon R. M. W. Summary report: Linguistic change and reconstruction in the Australian language family // Baldi 1990: 393–401.
- Doerfer G. Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen // IF. 1966. 71. S. 81–123.
- Doerfer G. Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre // Orientalistische Literaturzeitung. 1971. 66. Jg. 7/8. S. 325–344.
- Doerfer G. Lautgesetz und Zufall: Betrachtungen zum Omnicomparatismus. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 10). Innsbruck, 1973a.
- Doerfer G. Bemerkungen zu den sojonischen Anlautklusilen // UAJb. 1973b. 45. S. 254–260.
- Doerfer G. Proto-Turkic: reconstruction problems // Türk dili araştırmaları yıllığı. Belleten, 1975–1976. P. 1–59.
- Doerfer G. The Problem of Rhotacism/Zetacism // CAJ. 1984. XXVIII/1–2. S. 36–42.
- Doerfer G. Prolegomena zu einer Untersuchung der dem Tungusischen und Mongolischen gemeinsamen Wörter // JSFOu. 1984a. 79. P. 65–85.
- Doerfer G. Nostratismus, Illič-Svityč und die Folgen // UAJb (N. F.). 1993. 12. S. 17–34.
- Dolgopolsky A. [Compte-rendu de:] Bomhard 1984 // Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. 1986. 81/2. P. 91–97.
- Donner K. Über die anlautenden labialen Spiranten und Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen. (MSFOu 49). Helsinki, 1920.
- Donner K. Zur Vertretung der Konsonantverbindung Nasal + homorganer Klusil im Tschaja-Dialekt des Ostjak-Samojedischen // MSFOu. 1924. 52. P. 36–41.
- Donner K. Samojedische Benennungen der Russen // MSFOu. 1928. 58. P. 366–370.
- Donner K. Samojedische Wörterverzeichnisse. (MSFOu 64). Helsinki, 1932.
- Donner K. Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik. / Bearb. und hrsg. von A. J. Joki. (LSFU 8). Helsinki, 1944.
- Donner K. Ketica. / Bearb. und hrsg. von A. J. Joki. (MSFOu 108). Helsinki, 1955.
- Donner K. Siperian samojedien keskuudessa vuosina 1911–1913 ja 1914. Helsinki, 1979.
- Donner, Joki 1944 = Donner 1944.
- Donner O. Die samojedischen sprachen und die finnisch-ugrischen // Atti del IV Congresso Internazionale degli Orientalisti (Firenze 1878). T. II. Firenze, 1881. P. 231–251 (Repr.: Memoria Saecularis Ottonis Donner 1935.XII.15. (MSFOu 71). Helsinki, 1936. P. 51–71.)
- Dostál A. L'Écologie slave du Sinaï // Byzantion. 1966. N 1. P. 41–50.
- Dostál A. Quellen der altrichenslawischen Literatur // Das heidnische und christliche Slaventum. Bd. II/2. Wiesbaden, 1970. S. 121–126.
- Dulson A. Über die räumliche Gliederung des Sölkupischen in ihrem Verhältnis zu den alten Volkstumsgruppen // CФУ. 1971. VII/1. C. 35–43.

- Elirt C. N. E.* A Finnish Grammar. Oxford, 1890.
- Emre A. C.* Türk lehçelerinin mukayeseli grameri (ilk deneme). Birinci kitap — Fonetik. İstanbul, 1949.
- Erdal M.* The Turkic Nagy-Szent-Miklós inscription in Greek letters // AOH. 1988. 42. P. 221–234.
- Erdélyi I.* Az ősmagyarország régészeti emlékei Kelet-Europában // Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest, 1967. 65.–76. o.
- Erdélyi I.* Selkupisches Wörterverzeichnis (Tas-Dialekt). Budapest, 1969.
- Erdődi I.* Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. Budapest, 1970.
- Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 1. Paris, 1951.
- ESSJ* = Etymologický slovník slovanských jazyků: Slova gramatická a zájmena. / Sest. F. Kopečný, Vl. Šaur, V. Polák. Sv. 1–2. Praha, 1973, 1980.
- EtSz* = *Gombocz Z., Melich J.* Magyar etymológiai szótár. I–II. köt. Budapest, 1914–1944.
- Fehér G.* Die landnehmenden Ungarn und ihr Verhältnis zu den Slawen des mittleren Donaubeckens // StSl. 1957. 3. P. 7–58.
- Fehér G.* Zur Geschichte der Steppenvölker von Südrussland im 9.–10. Jahrhundert // StSl. 1959. 5. P. 257–326.
- Fehértői K.* Árpád-kori kis személynévtár. Budapest, 1983.
- Fischer J. E.* Sibirische Geschichte. SPb., 1768.
- Fischer J. E.* De origine Ungorum // Io. Eberhardi Fischeri Quaestiones Petropolitanae. Gottingae et Gothae, 1770. P. 3–40.
- Fischer J. E.* Vocabularium Sibiricum (1747): Der etymologisch-vergleichende Anteil / Bearb. und hrsg. von J. Gulya. (Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia VII). Frankfurt a. M., 1995.
- Fludorovits J.* Latin jövevényszavaink hangtana. (MNyTK 26). Budapest, 1930.
- Fludorovits J.* A magyar nyelv latin jövevényszavai. (A magyar nyelvudomány kézikönyve I. 12. füzet). Budapest, 1937.
- Fodor I.* The main issues of Finno-Ugrian archaeology // Ancient Cultures of the Uralic Peoples. Budapest. 1976. P. 49–78.
- Fodor I.* Altungarn, Bulgarotürken und Ostslawen in Südrussland (Archäologische Beiträge). Szeged, 1977.
- Fodor I.* In Search of a New Homeland: The Prehistory of the Hungarian People and the Conquest. Budapest, 1982.
- Forsman A. V.* Pakanuudenaikainen nimistö. Helsinki, 1891.
- Freisinger Denkmäler.* München, 1968.
- Fried I.* A magyar szlavisztika kezdeteihez // Helikon. 1964. 2–3. sz. 295.–301. o.
- Frinta A.* Náboženské nazvoslovi československé. Praha, 1918.
- Fritse W. H.* Zur Bedeutung der Awaren für die slawische Ausdehnungsbewegung im frühen Mittelalter // Zeitschrift für Ostforschung. 1979. 28. S. 498–545.
- Fromm H.* Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen // Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 1957–1958. 88. S. 81–101, 211–240, 299–324.
- Fromm H.* Germanisch-finnische Lehnwortforschung und germanische Sprachwissenschaft // JSFOu. 1984. 79. P. 87–106.
- Futaky I.* Zur Frage der «altaischen» Lehnwörter im Ungarischen // CUFU 3. Pars I. Tallinn, 1970. P. 587–592.
- Futaky I.* Einige Aspekte zur Erforschung der uralisch-tungusischen Sprachbeziehungen // Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 65. Geburtstag. Göttingen, 1973. S. 25–34.
- Futaky I.* Tungusische Lehnwörter des Ostjakischen. (VSUA 10). Wiesbaden, 1975.

Futaky I.
mány
FUV = C
Gáldi L.
StSl.
Gáldi L.
giqu
Gáldi L.
köny
Gautiot
Göbl R.,
phis
Gotqab Z
Golden
Golovka
sia.
Gomboc
182.
Gomboc
191.
Goodam
Ed.
Gósy M
sche
Han
Grošelj
Grunds
Gulya J
P. 1
Gulya J
(Ny
Gulya J
Gulya J
ána
tisz
Gyarmu
den
Györffy
Györffy
Györffy
Haavio
Hadro
log
Hadro
Hadro
Hadro
eltr
Hahmc
// C

- Futaky I.* Zur Frage der nganasanisch-tungusischen Sprachkontakte // *Urälistikai tanulmányok 1: Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére*. Budapest, 1983. 155.–162. o.
- FUV = Collinder 1955.
- Gáldi L.* Sur quelques pionniers des rapprochements étymologiques slavo-hongroises // *StSl.* 1955. 1. P. 5–25.
- Gáldi L.* De Gyarmathi à Miklosich: Une chapitre de l'histoire des recherches étymologiques slavo-hongroises // *StSl.* 1956. 2. P. 289–329.
- Gáldi L.* A finnugor népi verselés tipológiai áttekintése // *Domokos P.* *Uralisztikai olvasókönyv*. Budapest, 1977. 469–476. o.
- Gautiot R.* Essai de grammaire sogdienne: Phonétique. Paris, 1914.
- Göbl R., Róna-Tas A.* Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szentmiklós: Eine paläographische Dokumentation. Wien, 1995.
- Golab Z.* The Origins of the Slavs: A Linguist's View. Columbus, Ohio, 1992.
- Golden P. B.* An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden, 1992.
- Golovko E. V., Vakhtin N. B.* Aleut in contact: the CIA enigma // *Acta Linguistica Hafnien-sia*. 1990. 22. P. 97–125.
- Gombocz Z.* Adalékok az obi-ugor nyelvek szókészletének eredetéhez. // *NyK.* 1902. 32. 182.–215. o.
- Gombocz Z., Melich J.* Magyar etymologiai szótár. I–XVII. füzet (*a-geburnus*). Budapest, 1914–1944.
- Goodman M.* The strange case of Mbugu // *Pidginization and Creolization of Languages* / Ed. by D. H. Hymes. Cambridge, 1971. P. 243–254.
- Gósy M.* Vowel harmony in children's speech // *Viertes Internationales Symposium «Uralische Phonologie»*. Thesen zu den Vorträgen und Referaten. / Hrsg. von W. Veenker. Hamburg, 1989.
- Grošelj M.* Etyma slavica // *Slavistična revija*. 1954. V.–VII. S. 122–124.
- Grundström H.* Lulelappisches Wörterbuch. Bd. I–IV. Uppsala; København, 1946–1954.
- Gulya J.* Some 18th century antecedents of the 19th century linguistics // *ALH.* 1965. 15. P. 163–170.
- Gulya J.* A magyar nyelv első etimológiai szótára // *A magyar nyelv története és rendszere*. (NytudÉrt 58). Budapest, 1967. 87.–90. o.
- Gulya J.* Etymologie im 18. Jahrhundert // *ALH.* 1976. 26. P. 139–144.
- Gulya J.* XVIII. századi etimológiák: Mutatvány J. E. Fischer «Vocabularium Sibiricum»-ának készülő kiadványából // *Urälistikai tanulmányok 1: Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére*. Budapest, 1983. 163.–172. o.
- Gyarmathi S.* Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis grammaticae demonstrata. Göttingae, 1799.
- Györffy Gy.* Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959.
- Györffy Gy.* Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1–. Budapest, 1963–.
- Györffy Gy.* István király es műve. Budapest, 1977.
- Haavio M.* Tuohikirje n : o 292 // *Vir.* 1964. 68/1. S. 1–17.
- Hadrovics L.* Die slavischen Elemente im Ungarischen // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 1960. 29. S. 1–28.
- Hadrovics L.* Jövevényszó-vizsgálatok. (NytudÉrt. 50). Budapest, 1965.
- Hadrovics L.* Szavak es szólások. (NytudÉrt. 88). Budapest, 1975.
- Hadrovics L.* A magyar-szláv nyelvi érintkezések etimológiai problémái // *Az etimológia elmélete és módszere*. Budapest, 1976.
- Hahmo S.-L.* Zweisilbige ostseefinnische Nominalstämme auf -e im Lichte der Lehnwörter // *СФУ*. 1986. XXII/3. C. 161–176.

- Hajdú P. Die Benennungen der Samojeden // JSFOu. 1950. 54:1. S. 1–112.
- Hajdú P. A szamojédok etnogeneziséhez // NyK 1952. 54. 41.–49. o.
- Hajdú P. Pápai Károly szelkup szójegyzéke // NyK 1952a. 54. 141.–184. o.
- Hajdú P. A jurák-szamojéd nyelvtan két kérdéséről // NyK. 1959. 61/2. 223.–246. o.
- Hajdú P. Szöveg és dallam viszonya a szamojéd énekekben // NNy. 1959–1960. 3–4. 19.–29. o. (Периздано: Hajdú 1977.)
- Hajdú P. Die Frage des Stufenwechsels in den samojedischen Sprachen // UAJb. 1962. 34. S. 41–54.
- Hajdú P. The Samoyed Peoples and Languages. (UAS 14). Bloomington; The Hague, 1963.
- Hajdú P. Über die alten Siedlungsräume der uralischen Sprachfamilie // ALH. 1964a. 14. P. 47–83.
- Hajdú P. Samojedica // NyK. 1964b. 66. 397.–405. o.
- Hajdú P. Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest, 1966.
- Hajdú P. Chrestomathia Samoiedica. Budapest, 1968.
- Hajdú P. A nyenyec sámándal és szövege // Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei. 1974. 29. 279.–294. o.
- Hajdú P. Samojedologische Schriften. (SUA 6). Szeged, 1975.
- Hajdú P. Északi szamojéd epikus énekek // Ethnographia. 1976. 87/4. 488.–495. o.
- Hajdú P. Szöveg és dallam viszonya a szamojéd énekekben // Domokos P. (szerk.) Uralisztikai olvasókönyv. Budapest, 1977. 493.–502. o.
- Hajdú P. Beiträge zu den Grundproblemen der jurakischen Volksdichtung // Neohelicon. 1978. 6/1. S. 143–160.
- Hajdú P. Az uráli nyelvészet alapkérdései. Budapest, 1981.
- Hajdú P. Vers — folklór — zene — nyelvi változás // Filológiai Közlöny. 1983. XXVIII/4. 400.–435. o.
- Häkkinen K. Prehistoric Fenno-Ugric culture in the light of historical lexicology. Paper read at the International Symposium «Contacts between Indo-European and Uralic speakers». University of Helsinki. 8–10 Jan. 1999 in Tvärminne, Finland.
- Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. 4. painos. Helsinki, 1979.
- Halther R. Birch-bark documents from Novgorod relating to Finland and Scandinavia // Les Pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance). Actes du colloque d'Upsal 20–22 avril 1979. Uppsala, 1981. P. 161–167.
- Halász I. Visszahódított magyar szók // Nyr. 1881. 10. 193.–198, 244.–248, 346.–353. o.; 1883. 12. 5.–12., 55.–60., 97.–103. o.
- Hammarberg R. Another look at Finnish consonant gradation // CФУ 1974. X/2. C. 171–178.
- Hasselblatt C. Avunhuuto lounaasta // Vir. 1998. 102/2. S. 232–239.
- Hasselbrink G. Südlappisches Wörterbuch. Bd. I. Uppsala, 1981.
- Haussig H.-W. Die Runen des Schatzes von Nagy-Szent Miklós in ihrer Bedeutung für die Runenschriften Osteuropas // Röhrborn K., Veenker W. (Hrsg.). Runen, Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa. (VSUA 19). Wiesbaden, 1985. S. 18–52.
- Heaney L. The implications of Richard James' *maimanto* // Oxford Slavonic Papers. 1976. IX. P. 102–109.
- Helmski E. On the origin of prosodic features in some Samoyed and Ugric languages // Estonian Papers in Phonetics 1978. Tallinn, 1978. P. 35–38.
- Helmski E. The Language of the First Selkup Books. (SUA 22). Szeged, 1983.
- Helmski E. Phonological and Morphonological Properties of Quantity in Samoyed // Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen / Hrsg. von P. Hajdú und

- L. Honti. Budapest, 1984. S. 13–17. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 41–44.)
- Helinski E.* Problems of phonological reconstruction in modern Uralic linguistics // СФУ. 1984a. XX/4. С. 241–257.
- Helinski E.* Permi szófejtések // NyK. 1984b. 86/1. 196.–199. o.
- Helinski E.* Die Feststellung der dialektalen Zugehörigkeit der encischen Materialien // Dialectologia Uralica. Materialien der ersten Internationalen Symposions zur Dialektologie der uralischen Sprachen, hrsg. von W. Veenker. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 20). Wiesbaden, 1985. S. 303–308. (См. русский вариант этой работы в настоящем сборнике: с. 56–59.)
- Helinski E.* Two Mator-Taigi-Karagas vocabularies from the 18th century // JSFOu. 1987a. 81. P. 49–132.
- Helinski E.* [Rev. of:] Janhunen 1986 // СФУ. 1987b. XXIII/4. С. 304–310.
- Helinski E.* A «new approach» to Nostratic comparison [Rev. of: Bomhard 1984] // Journal of the American Oriental Society. 1987c. 107/1. P. 97–100. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 476–480.)
- Helinski E.* Octosyllabic and hexasyllabic verse in Northern Samoyed // CIFU 7. Pars 2A. Summaria Dissertationum: Linguistica. Debrecen, 1990. P. 75.
- Helinski E.* The external connections and early contacts of the Uralic languages // Problems of Uralistics: Analytical reviews. Vol. I. Moscow, 1990a. P. 19–43.
- Helinski E.* On the interaction of Mator with Turkic, Mongolic, and Tungusic: A rejoinder // JSFOu. 1991. 83. P. 257–267. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 292–300.)
- Helinski E.* Bisyllabic consonantal and trisyllabic vocalic stems in Fenno-Permian and further // Rédei-Festschrift. Wien; Budapest, 1992. P. 195–200. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 191–195.)
- Helinski E.* Slavic / Latin / German stress and Hungarian vowel harmony // Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum. Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.–15. November 1991. Amsterdam; Atlanta, 1992b. P. 45–54. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 456–461.)
- Helinski E.* Does the language of spirits influence the development of human language? // Shamans and Cultures, ed. by M. Hoppál and K. D. Howard. Budapest, 1993. P. 210–214. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 155–158.)
- Helinski E.* Samoyedic vocabularies from the 18. century: A list of archive manuscripts // UAJb (N. F.). 1993a. 12. S. 249–265.
- Helinski E.* Samoyedic loans in Turkic: Check-list of etymologies // Laut- und Wortgeschichte der Türk Sprachen. Hrsg. von B. Kellner-Heinkele und M. Stachowski. (Turcologica 26). Wiesbaden, 1995. S. 75–95. (См. русский вариант этой работы в настоящем сборнике: с. 301–312.)
- Helinski E.* Proto-Uralic gradation: Continuation and traces // CIFU 8. Pars I: Orationes plenariae et conspectus quinquennales. Jyväskylä, 1995b. P. 17–51. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 167–190.)
- Helinski E.* The Enets text of the Lord's Prayer from Witsen's book // Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. Szeged, 1996. 125.–132. o. (См. перепечатку в настоящем сборнике: с. 60–67.)
- Helinski E.* Protolappisch und Samoedisch: die vorgeschlagenen Wortgleichungen im Lichte der heutigen etymologischen Forschung // Lapponica et Uralica. Uppsala, 1996a. P. 51–69. (См. русский вариант этой работы в настоящем сборнике: с. 202–217.)

- Helinski E.* Die Matorische Sprache: Wörterbuch — Grundzüge der Grammatik — Sprachgeschichte. (SUA 41). Szeged, 1997.
- Helinski E.* Nganasan // The Uralic Languages / Ed. by D. Abondolo. London; New York, 1997a. P. 480–515.
- Helinski E.* Etymologien aus dem 18. Jahrhundert [Rez. von Fischer 1995] // FUF. 1997b. 54/1–2. S. 185–192.
- Helinski E.* Early Indo-Uralic linguistic relationships: Real kinship and imagined contacts // Paper read at the International Symposium «Contacts between Indo-European and Uralic speakers». University of Helsinki. 8–10 Jan. 1999 in Tvärminne, Finland. (См. публикацию в настоящем сборнике: с. 489–501.)
- Helinski E., Janhunen J.* Once more on the ethnonym «Tungus» // Specimina Sibirica III: Gedenkschrift für Irén N. Sebestyén. Pécs, 1990. P. 67–72.
- Hertzen E. von.* Itämerensuomen lainasanakerrostumien ikäämissestä // JSFOu. 1973. 72. P. 77–105.
- Hofstra T.* Ostseefinnisch und Germanisch: Frühe Lehnbeziehungen im nördlichen Ostseeraum im Lichte der Forschung seit 1961. Groningen, 1985.
- Hofstra T.* Germanisch-ostseefinnische Lehnbeziehungen: Notizen zu Adjektiva // Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum: Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.–15. November 1991. Amsterdam; Atlanta, 1992. S. 55–63.
- Holm J.* Pidgins and Creoles. Vol. II. Reference Survey. Cambridge, 1989.
- Holub J.* Stručný slovník etymologický jazyka československého. 2 vyd. Praha, 1937.
- Honti L.* Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. Budapest, 1982.
- Honti L.* Zur ugrischen Lautgeschichte (Beiträge zur relativen Chronologie einiger Lautwandel in den ugrischen Sprachen) // ALH. 1983. 33. P. 113–122.
- Honti L.* Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen. Budapest, 1992.
- Horálek K.* Postavení slovenštiny // Slavia. 1971. 40. S. 537–550.
- Horváth M.* Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Budapest, 1978.
- Hujer O.* Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka. Praha, 1961.
- IEW = Pokorny 1959.
- Isačenko A. V.* Začiatky vzdelanosti vo Velkomoravskej ríši. Turčianský Sv. Martin, 1948.
- Itkonen E.* Struktur und Entwicklung der ostlappischen Quantitätssysteme. (MSFOu 88). Helsinki, 1946.
- Itkonen E.* Die Laut- und Formenstruktur der finnisch-ugrischen Grundsprache // UAJb. 1962. 34. S. 187–210.
- Itkonen E.* Inarilappisches Wörterbuch. Bd. I–IV. (LSFU 20). Helsinki, 1986–1991.
- Itkonen T. I.* Koltan- ja Kuolalappin sanakirja. Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen. Bd. I–II. (LSFU 15). Helsinki, 1958.
- Jagič V.* Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Wien. 1913.
- Jakobson R.* Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves. Prague, 1929.
- Janhunen J.* Tunguusin ja samojedien kosketuksista. Preliminääri katsaus. II osa, sanaluettelo. Esitelmä prof. Aulis J. Joen johtamissa aitalaisen kielentutkimuksen proseminaarissa 12. XII. 1974. (Mscr.)
- Janhunen J.* Adalékok az északi-szamojéd hangtörténethez. Vokalizmus: az első szótagi magánhangzók // NNy. 1976. 19–20. 165.–188. o.
- Janhunen J.* Samoyed-Altaic contacts — present state of research // MSFOu. 1977. 158. P. 123–129.

- Janhunen J.* Porsa — a Siberian cultural term // StO. 1977a. 47. P. 103–107.
- Janhunen J.* Samojedischer Wortschatz: Gemeinsamojedische Etymologien. (Castrenianum toimitteita 17). Helsinki, 1977b.
- Janhunen J.* Uralilaisen kantakielen sanastosta // JSFOu. 1981. 77. P. 219–274.
- Janhunen J.* On the structure of Proto-Uralic // FUF. 1982. 44. S. 23–42.
- Janhunen J.* On early Indo-European-Samoyed contacts // Symposium Saeculare Societatis Fenno-Ugricae. (MSFOu 185). Helsinki, 1983. P. 115–127.
- Janhunen J.* Problems of Nenets phonology // Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen / Hrsg. von P. Hajdú und L. Honti. Budapest, 1984. S. 19–28.
- Janhunen J.* The Tungus peoples and the conquest of Siberia // Altaistic Studies. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie Konferenser 12. Stockholm, 1985. S. 73–77.
- Janhunen J.* Glottal Stop in Nenets. (MSFOu 196). Helsinki, 1986.
- Janhunen J.* On the Interaction of Mator with Turkic, Mongolic, and Tungusic // JSFOu. 1989. 82. P. 287–297.
- Janhunen J.* Ethnic death and survival in the Soviet North // JSFOu. 1991. 83. P. 111–122.
- Janhunen J.* Material on Manchurian Khamnigan Evenki. (Castrenianum toimitteita 40). Helsinki, 1991a.
- Janhunen J.* Die Uralier und Eurasien // Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. 1998. 30. S. 7–15.
- Janhunen J.* (s. a.) Any chances for long-range comparison in North Asia? (Mscr.).
- Janurik T.* A szölkup nyelvjárások osztályozása // NyK. 1978. 80. 77.–104. o.
- Janurik T.* Über die Konsonantenphoneme der sölkupischen Mundarten // Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen / Hrsg. von P. Hajdú und L. Honti. Budapest, 1984. S. 51–67.
- Jelisejev J. S.* Itämerensuomalaisia kielenmuistomerkkejä // Vir. 1966. 70/3. S. 296–304.
- Jelisejev J. S.* Itämerensuomalaisten tuohikirjoitusten n:o 403 tulkinta // Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen symposiumi Petroskoissa 26.–27.3.1974. Helsinki, 1975. S. 105–113.
- Joki A. J.* Kai Donners kleinere Worterverzeichnisse aus dem Jurak-, Jenissei- und Tawgy-Samojedischen, Katscha-Tatarischen und Tungusischen // JSFOu. 1936. 58:1. P. 1–17.
- Joki A. J.* Die Lehnwörter der Sajansamojedischen. (MSFOu 103). Helsinki, 1952.
- Joki A. J.* «Tunguse» — «Pomback» // Studia Serica Bernhard Karlgren dedicata. Kopenhagen, 1959. P. 123–127.
- Joki A. J.* Uralier und Indogermanen. (MSFOu 151). Helsinki, 1973.
- Joki A. J.* Über einige Zahlwörter im Samojedischen // CIFU 3. Pars I. Tallinn, 1975. P. 729–732.
- Juhász J.* Moksa-mordvin szójegyzék. Budapest, 1961.
- Julku K.* Suomalais-ugrilainen muuri // Historia Fenno-Ugrica I:1. Congressus Primus Historiae Fenno-Ugricae. Oulu, 1996. P. 421–428.
- Julku K.* Die verschiedenen Hypothesen über den Ursprung der finnisch-ugrischen Völker. Kongressvortrag (Congressus Secundus Historiae Fenno-Ugricae, 15.–18.X.1998, Tallinn).
- Kalima J.* Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki, 1919.
- Kalima J.* Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1936.
- Kalima J.* Die slavischen Lehnwörter im Ostseefinnischen. Berlin, 1956.
- Kálmán B.* Über die Rolle der Füllwörter und Füllsilben in den wogulischen Liedern // Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Paavo Ravila (MSFOu 125). Helsinki, 1962. P. 177–193.
- Kangasmaa-Minn E.* Vepsän klusiilisysteemi // Sananjalka. 1964. 6. S. 27–34.

- Kangasmaa-Minn E.* Suffiksaalisesta astevaihtelusta // MSFOu. 1968. 145. P. 110–115.
- Kannisto A.* Wogulische Völkedichtung. VII. Bd.: Wörterverzeichnis, bearb. von M. Liimo-la u. V. Eiras, hrsg. von V. Eiras. (MSFOu 180). Helsinki, 1982.
- Karsten T. E.* Finnar och germaner. (Folkmålstudier 9–10). Helsingfors 1943–1944.
- Katz H.* Selcupica I. Materialien von Tym. München, 1975.
- Katz H.* Notiz zur selkupischen Lautgeschichte // NyK. 1977. 79. 233.–237. o.
- Katz H.* Selkupische Quellen. (Studia Uralica 2). Wien, 1979a.
- Katz H.* Beitrag zur Lösung des Problems der Entwicklung von ursam. *j im Selkupischen... // СФУ. 1979b. XV/3. С. 168–176.
- Katz H.* Finnisch *tosi* ← *dñtō-? // СФУ. 1988. XXIV/2. С. 90–93.
- Katz H.* *Bume* und *Korpsion*: Zur Behandlung konsonantischer Anlautkluster in den urgermanischen Lehnwörtern des Ostseefinnischen. (Innsbrucker Studien zur Ural-Altaistik 3). Innsbruck, 1990.
- Katzschmann M.* Vorläufiges Nganasanisches Wörterverzeichnis auf der Grundlage alter und neuer Quellen / Privatausgabe. S.l., 1990.
- Katzschmann M., Pusztay J.* Jenissej-Samojedisches (Enzisches) Wörterverzeichnis. (Fenn-Ugrica 5). Hamburg, 1978.
- Kecskeméti I.* Index to P. S. Pallas «Zoographia». (StO 37/4). Helsinki 1968.
- Kecskés A., Szilágyi P., Szuromi L.* Kis magyar verstan. Budapest, 1984.
- Keil B.* Die griechischen Inschriften im sog. Schatz von Attila // Repertorium für Kunstwissenschaft 1888. 11. S. 256–261.
- Keresztes L.* Geschichte des mordwinischen Konsonantismus II: Etymologisches Belegmaterial. (SUA 26). Szeged, 1986.
- Keszler A.* A szókezdő mássalhangzó-törlődások feloldása korai jövevénytavainkban. Budapest, 1969.
- Kettunen L.* Astevaihtelusta länsisuomalaisissa kielissä // Vir. 1919. S. 36–55.
- Kettunen L.* Valtian kielen äännehistoria. Helsinki, 1930.
- Kettunen L.* Gab es Stufenwechsel im Urfinnischen? // NyK. 1936. 50. 170.–183. o.
- Kettunen L.* Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. (LSFU 5). Helsinki, 1938.
- Kettunen L.* Astevaihtelun salaisuus // Vir. 1949. S. 69–75, 182–183.
- Kettunen L.* Suomen murteet. III. Murrekartasto. Helsinki, 1969.
- Kiparsky V.* Ims. *h*-äänteen vastineet venäjässä // Vir. 1958. 62/2. S. 165–174.
- Király P.* K otázke cyrilo-metodejských tradicí v Uhorsku: otázka hlaholských pamiatok // Slovo. 1971. 21. S. 291–300.
- Király P.* Название венгров УГРИ и восточные славяне // Hungaro-Slavica. Budapest, 1983. P. 167–183.
- Kiss L.* Kniezsa István. (MNYTK 123). Budapest, 1968.
- Kiss L.* Hatvanhét szómagyarázat. (NytudÉrt. 71). Budapest, 1970.
- Kiss L.* Melich János emlékezete születésének századik évfordulója alkalmából. (MNYTK 134). Budapest, 1973a.
- Kiss L.* Ungarisch-slawische Wechselbeziehungen in der Sprache // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio linguistica. 1973b. P. 3–12.
- Kiss L.* Slawistik und die ungarische Sprachwissenschaft // StSl. 1974. 20. P. 1–12.
- Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. 3. kiadás. Budapest, 1983.
- Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. 4. kiadás. 1. köt. Budapest, 1988.
- KKS* = Karjalan kielen sanakirja / Toim. P. Virttaranta. I–(A–). (LSFU 16). Helsinki, 1968–.
- Klemensiewicz Z.* Historia języka polskiego. Warszawa, 1974.
- Klich E.* Polska terminologia chrześcijańska. Poznań, 1927.

- Klima L.* On the Uralian Homeland — in general and in particular // *Historia Fenno-Ugrica* I:1. *Congressus Primus Historiae Fenno-Ugricae*. Oulu, 1996. P. 489–496.
- Kniezsa I.* Ungarn zur Zeit der Landnahme // *Rocznik Slawistyczny*. 1933. 2. S. 1–25.
- Kniezsa I.* Ungarns Volkerschaften im 11. Jahrhundert // *Archivum Europae Centro-Orientalis*. 1938a. 4. P. 241–412.
- Kniezsa I.* Magyarország népei a XI. században // *Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján*. I. köt. Budapest, 1938b. 365.–472. o.
- Kniezsa I.* Die Slawenapostel und die Slowaken. Budapest, 1942.
- Kniezsa I.* Erdély víznevei. Kolozsvár, 1942a.
- Kniezsa I.* Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helynevei // *Magyar Néprajz*. 1942b. 4. 196.–232. o.
- Kniezsa I.* Kélet-Magyarország helynevei // *Magyarok és románok*. I köt. Budapest, 1943. 111.–313. o.
- Kniezsa I.* A párhuzamos helynévadás: Egy fejezet a településtörténet módszertanából. Budapest, 1944.
- Kniezsa I.* Autour du problème des traditions de Cyrille et Méthode // *Études slaves et roumaines*. 1948a. I/4. P. 237–244.
- Kniezsa I.* Zur Geschichte der Jugoslawismen im Mittelslowakischen // *Études slaves et roumaines*. Budapest, 1948b. I/2. P. 139–147.
- Kniezsa I.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I–II. Budapest, 1955.
- Kniezsa I.* Charakteristik der slawischen Ortsnamen in Ungarn // *StSl*. 1963a. 9. P. 27–44.
- Kniezsa I.* Szláv jövevényszavaink magánhangzó-kvantitása // *NyK*. 1963b. 65. 77.–101. o.
- Kniezsa I.* Zur Frage der auf Cyrillus und Methodius bezüglichen Traditionen auf dem Gebiete des alten Ungarns // *Cyrrillo-Methodiana*. Köln; Graz, 1964. S. 199–209.
- Kniezsa I.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I–II. 2. kiadás. Budapest, 1974.
- Kobilarov-Götze G.* Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1972.
- Koerner E. C. K.* Western Histories of Linguistic Thought. Amsterdam, 1978.
- Koivulehto J.* Suomen laiva-sanasta // *Vir*. 1970. 74. S. 178–183.
- Koivulehto J.* Germanisch-finnische Lehnbeziehungen I–III. // *Neuphilologische Mitteilungen*. 1971. 72. S. 577–607; 1972. 73. S. 575–628; 1973. 74. S. 561–609.
- Koivulehto J.* Vanhimmista germaanista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä I–II // *Vir*. 1976. 80. S. 33–47, 247–290.
- Koivulehto J.* Die Datierung der ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen // *CIFU* 5. Pars VII. Turku, 1981a. P. 73–78.
- Koivulehto J.* Reflexe des germ. /ē/ im Finnischen und die Datierung der germanisch-finnischen Lehnbeziehungen // *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*. 1981b. 103. S. 167–203, 333–376.
- Koivulehto J.* Zur Erforschung der germanisch-finnischen Lehnbeziehungen // *СФУ* 1981c. XVII/3. С. 161–175.
- Koivulehto J.* Seit wann leben die Urfinnen im Ostseeraum? Zur relativen und absoluten Chronologie der alten idg. Lehnwortschichten im Ostseefinnischen // *MSFOu* 1983a. 185. P. 135–157.
- Koivulehto J.* Suomalaisten maahanmuutto indoeurooppalaisten lainasanojen valossa // *JSFOu*. 1983b. 78. P. 107–132.
- Koivulehto J.* Germaaninen filologia ja kansalliset tieteet // *Vir*. 1984. 88/1. S. 9–16.
- Koivulehto J.* Zu den frühen Kontakten zwischen Indogermanischem und Finnisch-Ugrischem // *Parallelismus und Etymologie: Studien zu Ehren von Wolfgang Steinitz*. (Linguistische Studien, Reihe A, 161/II). Berlin, 1987. S. 195–218.

- Koivulehto J.* Idg. Laryngale und die finnisch-ugrische Evidenz // Die Laryngalthorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems / Hrsg. von A. Bammesberger. Heidelberg, 1988. S. 281–297.
- Koivulehto J.* Alte indogermanische Lehnwörter im Finnisch-Ugrischen // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. Т. 2. М., 1990. С. 290–294.
- Koivulehto J.* Entlehnung und Lautgesetz // CIfU 7. Pars 1A. Debrecen, 1990a. P. 7–26.
- Koivulehto J.* Frühe indogermanisch-uralische Sprachkontakte // UI II. M., 1990b. C. 3–9.
- Koivulehto J.* Uralische Evidenz für die Laryngalthorie. Wien, 1991.
- Koivulehto J.* Germanisch-lappische Lehnbeziehungen // Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum: Vorträge des Symposiums aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.–15. November 1991. Amsterdam; Atlanta, 1992a. S. 85–93.
- Koivulehto J.* Der Typus *palje* '(Blase)balg', *turve* 'Torf' unter den Lehnwörtern des Ostseefinnischen // JSFOu. 1992b. 84. P. 163–190.
- Koivulehto J.* Zur Etymologie von fi. *susi*, *tosi* — und *kesi*: eine Entgegnung // LU. 1993. XXIX/1. P. 21–37.
- Koivulehto J.* Indogermanisch — Uralisch: Lehnbeziehungen oder (auch) Urverwandtschaft? // Bopp-Symposium 1992 der Humboldt-Universität zu Berlin / Hrsg. von R. Steinemann. Heidelberg, 1994. S. 133–148.
- Koivulehto J.* The earliest contacts between Indo-European and Uralic speakers in the light of lexical loans / Paper read at the International Symposium «Contacts between Indo-European and Uralic speakers». University of Helsinki. 8–10 Jan. 1999 in Tvärminne, Finland.
- Koneski B., Vidoski B., Jašar-Nasteva O.* Distribution des balkanismes en macédonien. Skopje, 1966.
- Kontra M., Ringen C.* Hungarian vowel harmony: The evidence from loanwords // UAJb. 58. 1986. S. 1–14.
- Korenchy É.* Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest, 1972.
- Korhonen M.* Suomen kantakielen kronologiaa // Vir. 1976. 80. S. 3–15.
- Korhonen M.* Johdatus lapin kielen historiaa. Helsinki, 1981.
- Korhonen M.* Kolttalaulujen fonologiaa // JSFOu. 1983. 78. P. 133–152.
- Korhonen M.* History of the Uralic languages and the principle of lateral areas // FUF. 1985. 47. S. 156–162.
- Korhonen M.* Finno-Ugrian Language Studies in Finland 1828–1918. Helsinki, 1986.
- Korhonen M.* The Lapp language. The History of the Lapp language // Sinor D. (ed.): The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988. P. 41–57, 264–287.
- Koschmieder E.* Die Patatalitätskorrelation im Slavischen. Heidelberg, 1958.
- KP = Katzschmann, Pusztay 1978.
- Krajčovič R.* Problém praslovenskej genézy slovenčiny // Slavia. 1974. 43. S. 368–377.
- Krajčovič R.* Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava, 1981.
- Kristó Gy.* Hungarian History in the Ninth Century. Szeged, 1996.
- Kronsteiner O.* Salzburg und die Slawen. Mythen und Tatsachen über die Entstehung der ältesten slawischen Schriftsprache // Die Slawischen Sprachen. 1982. 2. S. 27–51.
- Krueger J. R.* Preface to the Re-Printing // Strahlenberg 1975: 1–15.
- Künnap A.* System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. I: Numeruszeichen und Nominalflexion. (MSFOu 147). Helsinki, 1971.
- Künnap A.* System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. II: Verbalflexion und Verbalnomina. (MSFOu 164). Helsinki, 1978.

Künnap
Kuzmi.
Inc
ish
Kylstr.
Kylstr.
wö
19
Laane
Laane
Ladó
Lakó
László
Lehtin
Lehtir
Lehtir
sc
Lehtir
25
Lehtir
Lehtir
ho
Lehti
Lehti
F
Leht
Leht
Leht
Leht
L
L
L

- Künnap A. Breakthrough in Present-Day Uralistics. Tartu, 1998.
- Kuzmina E. E. Stages in the development of cultural ties between the Finno-Ugric and Indo-Iranian peoples in the light of linguistic and archaeological data // Suomen varhaishistoria. Rovaniemi, 1992. P. 226–227.
- Kylstra A. D. Geschichte der germanisch-finnischen Lehnwortforschung. Assen, 1961.
- Kylstra A. D., Hahmo S.-L., Hofstra T., Nikkilä O. Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Bd. I: A–J. Bd. II: K–O. Amsterdam; Atlanta, 1991, 1996.
- Laanest A. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tallinn, 1975.
- Laanest A. Einführung in die ostseefinnischen Sprachen. Hamburg, 1982.
- Ladó J. Magyar utónévkönyv. 4. kiadás. Budapest, 1978.
- Lakó Gy. Zu den Beziehungen der Lappen mit den Samojeden // UAJb. 1978. 50. S. 91–97.
- László Gy., Rácz I. A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, 1977.
- László Gy., Rácz I. Der Goldschatz von Nagyszentmiklós. Budapest, 1983.
- Lehtinen T. Suomen kielen esihistoriaa. Helsinki, 1994.
- Lehtiranta J. Eine Beobachtung über die Gründe der raschen Veränderung der Grundwortschatzes im Lappischen // FUF. 1982. 44. S. 114–118.
- Lehtiranta J. Zur Vertretung «protolappischer» Elemente // СФУ. 1986. XXII/3. С. 249–252.
- Lehtiranta J. Yhteissaamelainen sanasto. (MSFOu 200). Helsinki, 1989.
- Lehtiranta J. Zur Vertretung «protolappischer» Elemente // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. Т. 2. М., 1990. P. 323–326.
- Lehtisalo T. Jurakkisamojeden lauluista // Kalevalaseuran Vuosikirja. 1922. 2. S. 82–102.
- Lehtisalo T. Über den Vokalismus der ersten Silbe im Juraksamojedischen (MSFOu 56). Helsinki, 1927.
- Lehtisalo T. Über die primären uralischen Ableitungssuffixe (MSFOu 72). Helsinki, 1936.
- Lehtisalo T. Samojedische Etymologien // NyK. 1936a. 50. 227.–231. o.
- Lehtisalo T. Beobachtungen über die Jodler // JSFOu. 1937. 48:2. P. 1–39.
- Lehtisalo T. Über die Entstehung des Stufenwechsels // Litterarum Societas Esthonica 1838–1938. Liber Saecularis. (ÖEST XXX). Tartu, 1938. S. 359–364.
- Lehtisalo T. Juraksamojedisches Volksdichtung. (MSFOu 90). Helsinki, 1947.
- Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch. (LSFU 13). Helsinki, 1956.
- Leppik M. On the non-phonological character of consonant gradation in Proto-Fennic // СФУ. 1968. IV/1. С. 1–12.
- Les anciens Hongrois et les ethnies voisines à l'Est / Red. Erdélyi I. Budapest, 1977.
- Lessing F. E. (gen. ed.) Mongolian-English Dictionary. Bloomington, 1973.
- Libhart O. Die Ortsnamen des Seklergebietes in Siebenbürgen // Balkan-Archiv. 1927. 3. S. 1–96.
- Ligeti L. Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise // AOH. 1950. 1. P. 141–185.
- Ligeti L. A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest, 1986.
- Ligeti L. A pannoniai avarok etnikuma és nyelve // MNy. 1986a. 82. 129.–151. o.
- Lindén E. Onko t:n heikon vastineen kato lyhyen sivupainollisen tavun jäljessälänsimurteissa äänneilailista vai analogista? // Vir. 1949. S. 78–82.
- Littre P.-E. Dictionnaire de la langue française. Monte-Carlo, 1968.
- LKK = Lyökämme käsi kätehen: Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finno-ugrischen und des Germanischen. A. D. Kylstra zum 65. Geburtstag. Amsterdam, 1986.

- Lotz J. Az uráli verselés // *Domokos P.* (szerk.) *Úralisztikai olvasókönyv.* Budapest, 1977. 477–492. o.
- LSS = Joki 1952.
- Macartney C. A. *The Magyars in the Ninth Century.* 2nd ed. Cambridge, 1968.
- Machek V. *Etymologický slovník jazyka českého.* Praha, 1971.
- Mägiste J. Itämerensuomalaisia henkilöitä Novgorodin tuohikirjeessä // *Vir.* 1957. 61/1. S. 97–101.
- Majtán M. *Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov.* Bratislava, 1972.
- Mallory J. P., Adams D. Q. (eds.). *Encyclopedia of Indo-European Culture.* London; Chicago, 1997.
- Martinet A. Langues à syllabes ouvertes: Le cas du slave commun // *ZPh.* 1952. 6. P. 145–163.
- Martinet A. Des jers slaves aux voyelles caduques du Japonais // *Studia Linguistica Alexandro Vasilio filii Issatschenko a Collegis Amicisque oblata.* Lisse, 1978. P. 263–266.
- Masson E. *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec.* Paris, 1967.
- Matejka L. On translating from Latin into Church Slavonic // *American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists. Vol. 1. Linguistic Contributions.* The Hague, 1968.
- Mavrodinov N. Le trésor proto-bulgare de Nagyszentmiklós. (*Archaeologia Hungarica* 29). Budapest, 1943.
- McAlpin D. W. Proto-Elamo-Dravidian: The Evidence and Its Implications. (*Transactions of the American Philosophical Society*, vol. 71, pt. 3). Philadelphia, 1981.
- Meillet A. *Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave.* 1. Paris, 1902.
- Melich J. Szláv jövevényszavaink (Hetedik közlemény) // *NyK.* 1903. 33. 298–337. o.
- Melich J. Szláv jövevényszavaink. I. Az óbolgár nyelvemlékek szókészlete és magyar nyelv szláv jövevényszavai. II. A magyar nyelv keresztény terminológiája. Budapest, 1903–1905.
- Melich J. Szláv jövevényszavaink eredetéről // *NyK.* 1909–1910. 39. 1.–74 o.
- Melich J. *Nyelvünk szláv jövevényei.* Budapest, 1910a.
- Melich J. Die Herkunft der slavischen Lehnwörter der ungarischen Sprache // *AfslPh.* 1910b. 32. S. 92–116.
- Melich J. *A honfoglalás kori Magyarország.* Budapest, 1925–1929.
- Melich J. Régi magyar hatás a tót nyelvre // *MNy.* 22. 1926. 110–117. o.
- Menges K. H. The function and origin of the Tungus tense in *-ra* // *Language.* 1943. 19. P. 237–251.
- Menges K. H. Die Türkischen Sprachen Süd-Sibiriens. III, 2 // *CAJ.* 1959. 5. S. 97–150.
- Menges K. H. Zu einigen ural-altajisch-toxarischen Wortbeziehungen // *Orbis.* 1965. XIV/1. P. 126–137.
- Menges K. H. Tungusen und Ljao. (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes XXXVIII, 1). Wiesbaden, 1968.
- Menges K. H. *The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies.* (Ural-Altaische Bibliothek 15). Wiesbaden, 1968a.
- Menges K. H. Dravidian and Altaic // *Anthropos.* 1977. 72/1–2. P. 129–179.
- Menges K. H. Problems of Tungus Linguistics // *Anthropos.* 1978. 73. P. 367–400.
- Middendorff A. Th. *Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens.* Bd. IV/2. Spb., 1875.
- Mikkola J. J. Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen. I. Slavische Lehnwörter in den westfinnischen Sprachen. (MSFOu 8). Helsinki, 1894.

Mikkola
Hels
Miklosi
Miklosi
Miklosi
Miklosi
Miklosi
Mikola
Mikola
Mikola
Des
Miller
Phc
Mladen
Sze
MNYA
Mollay
Möller
Möller
Morav
Morav
Qu
Moór
19
Moór
Moór
87
Moór
sc
Moór
P.
Moór
Möte
S
MS=
MSz
1
MT
S
MT
Mun
Mun
Nég
t
Nén
Nén
Nén

- Mikkola J. J. Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch. (MSFOu 75). Helsinki 1938.
- Miklosich Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862-1865.
- Miklosich Fr. Die slavischen Elemente im Magyarischen. Wien, 1871.
- Miklosich Fr. Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen. Wien, 1875.
- Miklosich Fr. Die slavischen Elemente im Magyarischen. 2 Aufl. Wien, 1884.
- Miklosich Fr. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
- Mikola T. Enyec és nganaszan nyelvi adalékok // NyK. 1980. 82. 223.-236. o.
- Mikola T. Beiträge zur nganasanischen Sprachgeschichte // FUM. 1986. 10. S. 243-247.
- Mikola T. Geschichte der samojedischen Sprachen // Sinor D. (ed.). The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988. P. 219-263.
- Miller R. A. How many Verner's laws does an Altaicist need? // Studies in the Historical Phonology of the Asian Languages. Amsterdam; Philadelphia, 1991.
- Mladenov St. Zur Erklärung der sogenannten Buelainschrift des Goldschatzes von Nagy-Szent-Miklós // UJb. 1927. 7. S. 331-337.
- MNyA = A magyar nyelvjárások atlasza. I.-VI. köt. Budapest, 1968-1977.
- Mollay K. Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest, 1982.
- Möller H. Semitisch und Indogermanisch: Konsonanten. Kopenhagen, 1906.
- Möller H. Vergleichendes indogermanisch-semitisch Wörterbuch. Göttingen, 1911.
- Moravcsik Gy. Bizánc és a magyarság. Budapest, 1952.
- Moravcsik Gy. Byzantinoturcica II. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. 3. Aufl. (Berliner byzantinistische Arbeiten 11). Berlin, 1958.
- Moór E. Die slavischen Ortsnamen der Theissebene // Zeitschrift für Ortsnamenforschung. 1930. 6. S. 3-37, 105-140.
- Moór E. Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen. Szeged, 1936.
- Moór E. A magyar nyelvtörténet őstörténeti vonatkozásai // Nyr. 1947. 71. 39.-42., 85.-87., 151.-154. o.
- Moór E. Die Ausbildung des urungarischen Volkes im Lichte der Laut- und Wortgeschichte. (IV-V, VI.) // ALH. 1957. 7. P. 63-97, 249-272; 1959. 9. P. 117-186.
- Moór E. Zur Geschichte südslavischer Völkerschaften im Karpatenbecken // StSl. 1962. 8. P. 267-312.
- Moór E. Szláv jövevényszavaink kvantitási anomáliái // NyK. 1964. 66/1. 43.-57. o.
- Mötefind H. Der Schatzfund von Nagyszentmiklós // Ungarische Jahrbücher. 1925. 5. S. 364-391.
- MS = Helinski 1997.
- MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei: Etimológiai szótár. I-III. köt. Budapest, 1971-1978.
- MT = Magyarország története: Előzmények és magyar történet 1242-ig. / Főszerk. Székely Gy. I-II köt. Budapest, 1984.
- MTEsz = TESz.
- Munkácsi B. A magyar-szláv etnikai érintkezés kezdetei // Ethnographia. 1897. 8. P. 1-30.
- Munkácsi B., Kálmán B. Wogulisches Wörterbuch. Budapest, 1986.
- Négyesi L. Az ugor összehasonlító verstanról // Budenz-Album: Budenz József XXV éves nyelvészeti működése emlékére. Budapest, 1884. 84-95. o.
- Németh Gy. Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós. Budapest; Leipzig, 1932a.
- Németh Gy. A nagyszentmiklósi kincs feliratai. (MNyTK 30). Budapest, 1932b.
- Németh Gy. The runiform inscriptions from Nagy-Szent-Miklós and the runiform scripts of Eastern Europe // ALH. 1972. 21. P. 2-52.

- Németh Gy.* A honfoglaló magyarság kialakulása. 2. kiadás. Budapest, 1991.
- Németh Zs.* 96 gleiche Texte in uralischen Sprachen (Vaterunser). (Az uralisztikai tanszék kiadványai 3). Szombathely, 1991.
- Nielsen K.* Die wissenschaftliche Bedeutung des Lappischen // FUF. 1913. 13. S. 186–206.
- Nikolayev S. I., Starostin S. A.* A North Caucasian Etymological Dictionary. Moscow, 1994.
- Nilsson T. K.* The Indo-European etymology of *Fi. peukalo* 'thumb'. // FUF. 1993. 51. S. 189–197.
- Nirvi R. E.* Inkeröismurteiden sanakirja. Helsinki, 1971.
- Nissilä V.* Suomen Karjalan nimistö. Joensuu, 1975.
- Oinas F. J.* Shamanistic components in the Kalevala // *Hoppál M., Pentikäinen J.* (eds.). Uralic Mythology and Folklore. Budapest; Helsinki, 1989. P. 277–286.
- Olesch R.* Die christliche Terminologie im Dravänapolabischen // Zeitschrift für slavische Philologie. 39. 1976. S. 10–31.
- OED = The Oxford English dictionary. Vols. I–XII. Oxford, 1933. (Repr. 1961.)
- OVL = *Hahmo S.-L. e. a.* Omaa vai lainattua: Itämerensuomen germaanisiin lainasanoihin liittyviä kirjoitelmia. Helsinki, 1988.
- Paasonen H.* Die türkischen Lehnwörter im Mordwinischen // JSFOu. 1897. 15/2. P. 1–64.
- Paasonen H.* Über die türkischen lehnwörter im ostjakischen // FUF. 1902. 2. S. 81–137.
- Paasonen H.* Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatikalischem Abriss. Helsinki, 1909.
- Paasonen H.* Über den versbau des mordwinischen volksliedes // FUF. 1910. 10. S. 153–191.
- Paasonen H.* Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte. Budapest, 1917.
- Pallas P. S.* Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs. Bd. III. SPb., 1776.
- Pallas P. S.* Zoographia Rosso-Asiatica. I–III. Petropoli, 1811.
- Palmaitis M. L.* [Rev. of:] Bomhard 1984 // IF. 1986. 91. S. 305–317.
- Pápai P.* Dictionarium hungarico-latinum. Leutschoviae, 1708.
- Papp I.* Die Rhythmusprobleme des Kalevala // JSFOu. 1955–1956. 58:5. P. 1–30.
- Papp I.* Unkarin kielen historia. Helsinki, 1968.
- Pauliny E.* Slovesnost' a kulturny jazyk Velkej Moravy. Bratislava, 1964.
- Pedersen H.* Türkische Lautgesetze // ZDMG. 1907. LVII. S. 535–561.
- Pedersen H.* Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute (Danske Historisk-filologiske Meddelelser 32, no. 5). København, 1951.
- Pentikäinen J.* The shamanic poems of the Kalevala and their Northern Eurasian background // *Hoppál M., von Sadovszky O.* (eds.). Shamanism: Past and Present. Pt. 1. (ISTOR Books 1). Budapest; Los Angeles, 1989. P. 97–102.
- Penttilä A.* Suomen kieliooppi. Porvoo; Helsinki, 1957.
- Pikamäe A.* Tüveline astmevaheldus läänemeresoome keeltes ja lapi keeles. (TRÜT 50). Tartu, 1957.
- Plöger A.* Die russischen Lehnwörter der finnischen Schriftsprache. (VSUA 8). Wiesbaden, 1973.
- Pokorny J.* Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. (2. Aufl. 1989.)
- Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
- Popović I.* Quel était le peuple pannonien qui parlait μέδος et strava? // Зборник радове Византинолошког Института. 1961. 7. C. 197–226.
- Poppe N.* Introduction to Mongolian Comparative Studies. (MSFOu 110). Helsinki, 1955.
- Poppe N.* Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. 1. Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.

Poppe N. I.
365–366
Poppe N. I.
Poppe N.
120.
Posti L. Ü.
Posti L. G.
Posti L. F.
Potapov L.
JSFOu
Pusttay J.
Pusttay J.
(VSU).
Ramstedt
P. 26–
Ramstedt
Ramstedt
Ramstedt
Helsin
Rapola M.
änne
Rapola M.
Räsänen
1949.
Räsänen
ugric:
Räsänen
Raun A.
Lang
Ravila P.
Ravila P.
Rédei K.
Rédei K.
150.
Rédei K.
Rédei K.
reis)
Rédei K.
Rédei K.
37/1.
Reinhar
sche
Revuner
Shar
P. 31
RHSJ =
Ritter R.
Kon

- Poppe N. Ein vergleichendes Wörterbuch der nostratischen Sprachen // FUF. 1971. 39/3. S. 365–369.
- Poppe N. [Rev. of:] Щербак 1970 // Linguistics. 1973. Nr. 100. P. 97–101.
- Poppe N. Chaladsch und die altaische Sprachwissenschaft // CAJ. 1983. 27/1–2. P. 112–120.
- Posti L. Über den Stufenwechsel im Wepsischen // FUF. 1939. 26. S. 1–25.
- Posti L. Grundzüge der livischen Sprachgeschichte. (MSFOu 85). Helsinki, 1942.
- Posti L. From Pre-Finnic to Late Proto-Finnic // FUF. 1953. 31. S. 1–91.
- Potapov L. P. Zum Problem der Herkunft und Ethnogenese der Koibalen und Motoren // JSFOu. 1957. 59:1. P. 1–104.
- Pusztay J. Az alapnyelvi szószervezet // MNy. 1983. 79/2. 185.–197. o.
- Pusztay J. Diskussionsbeiträge zur Grundsprachenforschung (Beispiel: das Protouralische) (VSUA 43). Wiesbaden, 1995.
- Ramstedt G. J. Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen // JSFOu. 1922–1923. 38. P. 26–32.
- Ramstedt G. J. Kalmückisches Wörterbuch. (LSFU 3). Helsinki, 1935.
- Ramstedt G. J. Studies in Korean Etymology. (MSFOu 95). Helsinki, 1949.
- Ramstedt G. J. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I–III. (MSFOu 104: 1–3). Helsinki, 1957–1966.
- Rapola M. Suomen kirjakielen historia pääpiirteittäin. I: Vanhan kirjasuomen kiirjoitus ja äänneasun kehitys. Helsinki, 1965.
- Rapola M. Suomen kielen äännehistorian luennot. Helsinki, 1966.
- Räsänen M. Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen. (StO XV). Helsinki, 1949.
- Räsänen M. Beiträge zu den altaisch-slavischen Berührungen // Commentationes fenno-ugricae in honorem Y. H. Toivonen. (MSFOu 98). Helsinki, 1950. P. 125–131.
- Räsänen M. Uralaltaische Wortforschungen. (StO 18/3). Helsinki, 1955.
- Raun A. Proto-Uralic comparative-historical morphosyntax // Sinor D. (ed.). The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988. P. 555–571.
- Ravila P. Astevaihtelun arvoitus // Vir. 1951. S. 292–300, 510.
- Ravila P. Probleme des Stufenwechsels im Lappischen // FUF. 1960. 33. S. 285–325.
- Rédei K. Osztják jövevényszavak a szelkupban // NyK. 1972. 74. 186–193. o.
- Rédei K. Über die Demonstrativpronomina in den uralischen Sprachen // MSFOu. 1973. 150. P. 311–319.
- Rédei K. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.
- Rédei K. Zu den uralisch-jukagirischen Sprachkontakten (einige Kapitel aus dem Themenkreis) // CIfU 7. Pars 1A. Debrecen, 1990. P. 27–36.
- Rédei K. Zu den uralisch-jukagirischen Sprachkontakten // FUF. 1999. 55. S. 1–58.
- Rédei K., Róna-Tas A. Early Bulgarian loanwords in the Permian languages // AOH. 1983. 37/1–3. P. 3–41.
- Reinhart J. Holzwege der nostratischen Sprachwissenschaft // Akten der 13. Österreichischen Linguistentagung (Graz, 25.–27. Oktober 1985). Graz, 1988. S. 275–285.
- Revunenkov E. V. Shamanism and poetry // Hoppál M., von Sadvoszky O. (eds.). Shamanism: Past and Present. Pt. 2. (ISTOR Books 2). Budapest; Los Angeles, 1989. P. 393–398.
- RHSJ = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–XIX. Zagreb, 1880–1967.
- Ritter R.-P. Das Ostseefinnische «im Kreise der germanischen Sprachen»: Zur neuer Konzeption in der germanisch-finnischen Lehnwortforschung // Vorträge und Referate

- der Finnougrischen Arbeitstagung 9.–11. Mai 1989 in Hamburg / Hrsg. von W. Veenker. (VSUA 30). Wiesbaden, 1990. S. 35–40.
- Ritter R.-P. Studien zu den ältesten germanischen Entlehnungen im Ostseefinnischen. (Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia V). Frankfurt a. M. e. a., 1993.
- Robert R. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. P., 1985.
- Róna-Tas A. Tibeto-Mongolica: The Tibetan Loanwords of Monguor and the Development of the Archaic Tibetan Dialects. Budapest, 1966.
- Róna-Tas A. Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen? // Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker. Berlin, 1974. S. 499–504.
- Róna-Tas A. Böz in the Altaic world // Altorientalische Forschungen. III. Berlin, 1975. S. 155–163.
- Róna-Tas A. On the earliest Samoyed-Turkic contacts // CIFU 5. Turku 20.–27.VIII.1980. Pars III: Dissertationes symposium linguisticorum. Turku, 1981. P. 377–385.
- Róna-Tas A. The periodization and sources of Chuvash linguistic history // Chuvash Studies. Budapest, 1982. P. 113–169.
- Róna-Tas A. On the development and origin of the East Turkic «runic» script // AOH. 1987. 16/1. P. 7–14.
- Róna-Tas A. Turkic influence on the Uralic languages // Sinor D. (ed.). The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988. P. 742–780.
- Róna-Tas A. Die Inschrift des Nadelbehälters von Szarvas (Ungarn) // UAJb (N. F.). 1990. 9. S. 1–34.
- Róna-Tas A. A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe. 2. kiadás. Budapest, 1997.
- Rot A. V. A magyar nyelv fejlődése: A magyar — keleti szláv nyelvi kapcsolatok. Kijev; Uzsgorod, 1968a.
- Rot A. V. A magyar nyelv keleti szláv jövevényszavai fonológiai meghonosodásának kérdései // MNy. 1968b. 64 évf. 38–47. o.
- Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Bd. 1. Wiesbaden, 1963–1975.
- Salminen T. A phonemization of Tundra Nenets long vowels // Hajdú Péter 70 éves. Budapest, 1993. 347–352. o.
- Salminen T. Tundra Nenets Inflection. (MSFOu 227). Helsinki, 1997.
- Salminen T. A Morphological Dictionary of Tundra Nenets. (LSFU 26). Helsinki, 1998.
- Sammallahti P. Über die Laut- und Morphemstruktur der uralischen Grundsprache // FUF. 1979. 43. S. 22–66.
- Sammallahti P. Historical phonology of the Uralic languages // Sinor D. (ed.). The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988. P. 478–554.
- Sammallahti P. Language and roots // CIFU 8. Pars I. Jyväskylä, 1995. P. 143–153.
- Sauvageot Au. Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-altaïques, Budapest, 1929.
- Schachmatov A. A. Beiträge zur russischen Grammatik // AfslPh. 1884. 7. S. 62–66.
- Scheiner W. Die Ortsnamen im mittleren Teile des südlichen Siebenburgens // Balkan-Archiv. 1926. 2. S. 1–112; 1927. 3. S. 113–172.
- Schlachter W. Wörterbuch des Walldappendialekts von Malå und Texte zur Ethnographie. (LSFU 14). Helsinki, 1958.
- Schlözer A. L. Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771.
- Schmitt K. H. [Rez. von:] Bomhard 1984 // Kratylos. 1984. 29. P. 32–36.

Schönig C.
Lehnm
Johans
Schwyzer
Müncel
N. Sebest
P. 291
N. Sebest
P. 382
Setälä E.
Setälä E.
Setälä E.
ostsee
Setälä E.
Setälä E.
samo
Setälä E.
germ.
475;
Shevelov
Heidi
Shevelov
and J
Siikala A.
the N
Simonyi
1955
Sinor D.
Sinor D.
pest,
Sinor D.
198(
SJS = S
SKES =
Heli
Skok =
197
Sköld T
Spr
Smiech
Smilau
Solms
Sotava
pöy
Sotava
SP = S
SSA =
Ku
Stacho

- Schönig C. Ist **kānmā* 'haltbar Gemachtes (Fleisch, Fisch)' wirklich ein samojedisches Lehnwort im Sajantürkischen? // *Symbolae Turcologicae: Studies in Honor of Lars Johanson*. Stockholm, 1996. P. 209–212.
- Schwyzler E. Griechische Grammatik. 1. Bd. (Handbuch der Altertumswissenschaft II : 1,1). München. 1939.
- N. Sebestyén I. Beiträge zum Problem der protolappischen Sprache // ALH. 1953. 3. P. 291–322.
- N. Sebestyén I. Juraksamojedische Verben mit *mæ-*, *mje*-Stamm // JSFOu. 1973. 72. P. 383–391.
- Setälä E. N. Yhteissuomalainen äännehistoria. I. Helsinki, 1890–1891.
- Setälä E. N. Über quantitätswechsel im finnisch-ugrischen // JSFOu. 1896. 14:3. P. 1–54.
- Setälä E. N. Zur Herkunft und Chronologie der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen // JSFOu. 1906. 23:1. P. 1–50.
- Setälä E. Zu den alter des stufenwechsels // FUF. 1911. Anzeiger 11. S. 14–15.
- Setälä E. Über art, umfang und alter des stufenwechsels im finnisch-ugrischen und samojedischen // FUF. 1912. Anzeiger 12. S. 1–128.
- Setälä E. N. Bibliographisches Verzeichnis der in der Literatur behandelten älteren germanischen Bestandteile in den ostseefinnischen Sprachen // FUF. 1913. 13. S. 345–475; Anzeiger 13. S. 60–64.
- Shevelov G. I. A Prehistory of Slavic: The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg; New York, 1964.
- Shevelov G. Y., Chew J., Jr. Open syllable languages and their evolution: Common Slavic and Japanese // Word. 1969. 25. P. 252–274.
- Siikala A.-L. Shamanistic themes in Finnish poetry // *Traces of the Central Asian Culture in the North*. (MSFOu 194). Helsinki, 1986. S. 223–233.
- Simonyi D. Die Kontinuitätsfrage und das Erscheinen der Slawen in Pannonien // StSl. 1955. 1. P. 333–362.
- Sinor D. Notes on the equine terminology of the Altaic peoples // CAJ. 1965. 10. S. 307–315.
- Sinor D. Uralo-Tunguz lexical correspondences // *Researches in Altaic Languages*. Budapest, 1975. P. 245–265.
- Sinor D. Samoyed and Ugic Elements in Old Turkic // *Harvard Ukrainian Studies*. 1979–1980. III/IV. P. 768–773.
- SJS = *Slovník jazyka staroslovenského* 1–. Praha, 1959–.
- SKES = *Toivonen Y. H. e. a. Suomen kielen etymologinen sanakirja* I–VII. (LSFU 12). Helsinki, 1955–1981.
- Skok = *Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika*. Knj. 1–3. Zagreb, 1971–1973.
- Sköld T. Drei finnische Wörter und die Laryngalthorie // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. 1960. 76. S. 27–42.
- Śmiech W. Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych **sr**, **zr**, **žr**. Łódź, 1953.
- Šmilauer V. *Vodopis starého Slovenska*. Pr., Br., 1932.
- Solmsen F. Beiträge zur griechischen Wortforschung. T. 1. Straßburg, 1909. S. 155.
- Sotavalta A. Astevaltielua samojedikielissä // *Suomalainen Tiedekatemia esitelmät ja pöytäkirjat*. 1912. I. S. 47–52.
- Sotavalta A. A samojed nyelvek főkváltakozásához // NyK. 1914. 43. 155.–157. o.
- SP = *Słownik prasłowiański*. / Pod red. F. Sławskiego. T. 1–. Wrocław etc., 1974–.
- SSA = *Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja* / Päätoim.: Itkonen E., Kulonen U.-M. 1–. Helsinki, 1992–.
- Stachowski M. *Dolganisches Wortschatz*. Krakau, 1993.

- Stachowski M. Einige chakassische Etymologien // UAJb (N. F.). 1996. 14. S. 218–230.
- Stanislav J. Slovenská liturgia na Slovensku a sídlo Metodovo a Gorazdovo. Bratislava, 1941.
- Stanislav J. Slovenský juh v stredoveku. D. I–II. Mapové prílohy. Turčiansky Sv. Martin, 1948.
- Stehr A. Die Anfänge der finnisch-ugrischen Sprachvergleichung, 1669–1771 (Mskr.). Göttingen, 1957.
- Steinitz W. Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus // Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica 1. 1952. P. 15–39. (Перепечатано в: Steinitz W. Ostjakologische Arbeiten. Bd. IV. Budapest, 1980. S. 117–141.)
- Steinitz W. Zu den samojedischen Lehnwörtern im Ob-Ugrischen // UAJb. 1959. 31. S. 426–453.
- Steinitz W. Beiträge zu den finnisch-ugrisch-samojedischen Lehnwörtern im Russischen // Zeitschrift für Slawistik. 1961. 6. S. 597–601.
- Steinitz W. Ostjakologische Arbeiten. Bd. III. Texte aus dem Nachlass. Budapest, 1989.
- Stieber Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa, 1979.
- Stoebke D. E. Die alten ostseefinnischen Personennamen im Rahmen eines urfinnischen Namensystems. Hamburg, 1964.
- Strahlenberg Ph. S. von. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm, 1730. (Фототипическое переиздание: SUA 8. Szeged, 1975)
- Street J. PAlt *-I(V)b- > Tu š // CAJ. 1980. 24/3–4. P. 285–303.
- Suciu C. Dicționar istoric al localităților din Transilvania. 1–2. București, 1967–1968.
- SUL = Csűcs S., Honti L., Salanki Zs., Varga J. Statistik der uralischen Lautentsprechungen. Budapest, 1991.
- SW = Janhunen 1977b.
- Szabó L. Selpup texts, with phonetic introduction and vocabulary. (UAS 75). Bloomington, 1967.
- Szegfü L. Pogányság és kereszténység a XI. századi Magyarországon // Fejezetek a régebbi magyar történelemből. Budapest, 1985. 73.–95. o.
- Szemerényi O. The development *s* > *h* in Indo-European languages // Die Sprache. 1968. 14. P. 161–163.
- Szemerényi O. On Contacts between Indo-European and Uralic // UAYb. 1988. 60. P. 169–176.
- Szinnyei J. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 2. Aufl. Berlin; Leipzig, 1922.
- Szöke B. Über die Beziehungen Moraviens zu den Donaugebiet in der Spätawarenzeit // StSl. 1960. 6. P. 75–112.
- Slawski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1–. Krakow, 1952–.
- Sós A. Cs. Magyarország szláv népessége (VI–XIII. század) // Szláv népek és nyelvek. Budapest, 1967. 77.–221. o.
- Sós A. Cs. Zur Frage der Kontinuität der pannonischen Slaven im 9. Jahrhundert // Das heidnische und christliche Slaventum. Wiesbaden, 1969. S. 153–157.
- Sós A. Cs. Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. München, 1973.
- Tauti V. Astmevahelduse tekkimise foneetilised tingimused // Vir. 1947. 51. S. 174–181.
- Tekin T. Zetacism and sigmatism in Proto-Turkic // AOH. 1969. 22/1. P. 51–80.
- Tekin T. Further evidence for «zetacism» and «sigmatism» // Researches in Altaic languages. Budapest, 1975. P. 275–284.
- Tekin T. On the origin of primary long vowels in Turkic // UAJb. 1976. 48. S. 231–236.
- Tekin T. Once more zetacism and sigmatism // CAJ. 1979. 32/1–2. P. 118–137.

Терсень
1960.
ТЭС = А
пест. 1
Томасон
Беркел
Томсен
андерс
Томсен
Халле.
Томсен
сен V.
Тибенский.
Ансье
schaft
Тимберла
can C.
Colur
Тайвонен
Тайвонен
19. S.
Тайвонен
Акад.
Тотт I. H.
P. 13
Тотт I. H.
Fejez
Трубет
Revu
Трубет
1939
Тсисини
Буда
Тудави
Спра
Тункело
Тункело
Турнер
cripti
UEW =
U = U
екн;
Паба Л.
Факхин
гуай
Can
Кулло А
зла

- Terescsenko N. A nyenyec nemzetségnevekről // Névtudományi vizsgálatok. Budapest, 1960. 106–115. o.*
- TESz = *A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára /Főszerk. Benkő L. I–III. köt. Budapest, 1967–1976.*
- Thomason S. G., Kaufman T. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley e. a., 1988.*
- Thomsen V. Den gotiske sprogklassens indflydelse på den finske: En sproghistorisk undersøgelse. København, 1869.*
- Thomsen V. Ueber den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen. Halle, 1870.*
- Thomsen V. Une inscription de la trouvaille d'or de Nagy-Szent-Miklós (Hongrie) // Thom-sen V. Samlede Afhandlinger. III. København. 1917. S. 325–353.*
- Tibenský J. Schlözers Bedeutung für die in der Slowakei im 18. Jahrhundert herrschenden Ansichten über die Slawen // Lomonosov, Schlözer, Pallas: Deutsch-russische Wissens-schaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert. Berlin, 1962. S. 228–244.*
- Timberlake A. Compensatory Lengthening in Slavic, 2: Phonetic Reconstruction // Ameri-can Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Vol. 1: Linguistics. Columbus (Ohio), 1983. P. 293–319.*
- Toivonen Y. H. Wortgeschichtliche streifzüge // FUF. 1927. 18. S. 192–198.*
- Toivonen Y. H. Zur geschichte der finnisch-ugrischen inlautenden affrikates // FUF. 1928. 19. S. 1–270.*
- Toivonen Y. H. Zum Problem des Protolappischen // Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften. 1949. S. 161–189. (Separatum: Helsinki, 1950.)*
- Tóth I. H. A magyar nyelv bolgár-szláv elemeiről // Dissertationes Slavicae. 1983. 14. P. 135–158.*
- Tóth I. H. Adalékok a korai magyar-szláv egyházi és kulturális kapcsolatok kérdéséhez // Fejezetek a régebbi magyar történelemből. Budapest, 1985.*
- Troubetzkoy N. Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun // Revue des études slaves. 1922. 2. P. 217–234.*
- Trubetzkoy N. Gedanken über das Indogermanenproblem // Acta Linguistica Hafniensia. 1939. 1/2. P. 81–89.*
- Tsintsius V. I. On the Pre-Altai system of consonants // Researches in Altaic languages. Budapest, 1975. P. 299–306.*
- Tuldava J. Zur Frage der ältesten germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen // TRÜT. 1987. Vol. 750: Linguistica. P. 117–124.*
- Tunkelo E. A. Vepsän kielen astevaihtelluttomuudesta // Suomi. 1938. 5/20. S. 1–44.*
- Tunkelo E. A. Vepsän kielen äännehistoria. Helsinki, 1946.*
- Turunen A. The Balto-Finnic languages // Sinor D. (ed.). The Uralic Languages: Des-cription, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988. P. 58–83.*
- UEW = *Rédei K. Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. I–III. Budapest, 1986–1991.*
- UI = *Uralo-Indogermanica: Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропей-ских связей. Часть I, II. М., 1990.*
- Vaba L. [Rez. von:] Kylastra et al. 1991 // LU. 1992. XXVIII/3. P. 219–223.*
- Vakhtin N. B. Copper Island Aleut: a case of language «resurrection» // Endangered Lan-guages: Language Loss and Community Response / Ed. by L. A. Grenoble, L. J. Whaley. Cambridge, 1998. P. 317–327.*
- Valló A. N. Tót elemek a magyar nyelvjárásokban különös tekintettel a magyarság és szlávtság viszonyára történeti, néprajzi és nyelvi alapon. Keszthely, 1897.*

- Van Windekens A. J.* Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. I. Louvain, 1976.
- Váňa Z.* Maďari a Slované ve světle archeologických nálezů X.–XII. století // Slovenské archeológia. 1954. II. S. 51–104.
- Vásáry I. Kám*, an Early Samoyed Name of the Yenisey // *Ligeti L.* (ed.). *Studia Turcica*. Budapest, 1971. P. 469–482.
- Vászolyi E.* Északizürjen epikus énekek. I–II // *Ethnographia*. 1967. 78/3. 438–451. o.; 1968. 79/1. 76–91. o.
- Vékony G.* Zur Lesung der griechischen Inschriften des Schatzes von Nagyszentmiklós // *Acta Archaeologica Hung.* 1973. 25. P. 293–306.
- Veres P.* A finnugor őshaza meghatározása az újabb adatok fényében // *Urálisztikai tanulmányok 2: Bereczki emlékkönyv*. Budapest, 1988. 367–373. o.
- Vernadsky G.* Lebedia: Studien über den madjarischen Hintergrund des Kiewer Rußland // *Vernadsky G., Ferdinandy M. de.* Studien zur ungarischen Frühgeschichte. München, 1957. S. 7–31.
- Vértés E.* Die ostjakischen Pronomina. Budapest, 1967.
- VEWT = *Räsänen M.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk Sprachen. I–II. Helsinki, 1969–1971.
- Viitso T.-R.* Markusi neenetsi keele fonoloogia kohta // *Keel ja Struktuur*. IV. Tallinn, 1970. S. 163–172.
- Viitso T.-R.* Läänemeresoomlased: Maahõive ja varaseimad kontaktid // *Symposium Saeculare Societatis Fenno-Ugricae*. (MSFOu 185). Helsinki, 1983. P. 265–281.
- Viitso T.-R.* Finnic and its prehistoric Indo-European neighbors // *Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum: Vorträge des Symposiums aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen* 13.–15. November 1991. Amsterdam; Atlanta, 1992a. S. 185–196.
- Viitso T.-R.* Proto-Indo-European Laryngeals in Uralic // *LU*. 1992b. XXVIII/3. P. 161–172.
- Viitso T.-R.* Livonian *kõps* 'hare' and Finnic **korva* 'ear' // *LU*. 1993. XXIX/2. P. 89–94.
- Volf Gy.* Az egyházi szláv nyelv hazája és a magyar honfoglalás // *NyK*. 1897. 27. 1.–51., 166.–193., 307.–324. o.
- Wandas A.* Słowiańskie *kręstiti* "baptisare" // *Slawistyczne studia językoznawcze*. Warszawa, 1987.
- Wasserzieher E.* Kleines etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Leipzig, 1977.
- Weinhold K.* Mittelhochdeutsche Grammatik. 2. Ausg. Paderborn, 1883.
- Wickman B.* Bemerkungen zur jurackischen Lautlehre // *FUF*. 1960. 33. S. 96–130.
- Wickman B.* The history of Uralic linguistics // *Sinor D.* (ed.). *The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences*. Leiden e. a., 1988. P. 792–818.
- Wiedemann F. J.* Eesti-saksa sõnaraamat. 4. trükk. Tallinn, 1973.
- Wiik K.* Olivatko myöhäiskantasuomen geminaatat lyhytalkuisia vai lyhytloppuisia? // *Kielitieteellisiä lastuja* 2. Turku, 1982. S. 34–38.
- Wijk N. van.* La décadence et la restauration du système slave des quantités vocaliques // *Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen*. Aarhus, 1937. P. 373–378.
- Wiklund K. B.* Laut- und formenlehre der Lule-lappischen dialekte. Stockholm, 1891.
- Wiklund K. B.* Entwurf einer urlappischen lautlehre. (MSFOu 10). Helsingfors 1896.
- Wiklund K. B.* Finnisch-ugrisch und indogermanisch // *Le Monde Oriental*. 1907. 1. P. 43–65.
- Wiklund K. B.* Stufenwechselstudien // *Le Monde Oriental*. 1913. 7. P. 197–239; 1915. 9. P. 171–239; 1919. 13. P. 55–121.

- Winkler E. Zum Göttinger Vocabularium Sibiricum // JSFOu. 1997. 87. P. 281–308.
- Witsen N. Noord en Oost Tartaryen. Amsterdam, 1692, 1705, 1785.
- Witsen N. Berichte über die uralischen Völker. Aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt von Tibor Mikola. (SUA 7). Szeged, 1985.
- YSS = Lehtiranta 1989.
- Zagiba F. Die bairische Slavenmission und ihre Vorsetzung durch Kyrill und Method // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1961. Nr. 1. S. 1–56.
- Zett R. Über das Verhältnis vom slavisch und ungarisch *župan* — *špan* — *ispán* im Lichte der Wortgeographie // UAJb. 1975. 47. S. 207–216.
- Zinkevičius Z. Lenkų-jotvingių zodynėlis? // Baltistica. 1985. XXI/1–2. P. 61–82, 184–193.
- Zoltan A. A *hálát ad kifejezés eredetéről* // Szlavisztikai tanulmányok: Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. Budapest, 1987. 427–437. o.
- Zsirai M. Finnugor rokonságunk. Budapest, 1937.
- Zubaty J. Studie a články. I/1. Praha, 1945.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ*

Языки и диалекты

авест. — авестийский	гот(ск). — готский
акк(ад). — аккадский	греч. — греческий
алт. — алтайский	гэльск. — гэльский
анабар. — анабарский (диалект якутско- го языка)	дагур. — дагурский
англ. — английский	дигор. — дигорский (диалект осетинско- го языка)
араб. — арабский	догерм. — догерманский
арам. — арамейский	долг. — долганский
аринск. — аринский	драв. — дравидийский
арм. — армянский	др.-англ. — древнеанглийский
АТ — архаический тюркский (древне- и среднетюркские диалекты)	др.-арм. — древнеармянский
балт. — балтийский	др.-булг. — древнебулгарский
бараб. — барабинский (диалект языка сибирских татар)	др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
башк. — башкирский	др.-венг. — древневенгерский
белор. — белорусский	др.-датск. — древнедатский
б.-з. — большеземельский (диалект не- нецкого языка)	др.-инд. — древнеиндийский
болг. — болгарский	др.-иран. — древнеиранский
бретон. — бретонский	др.-ирл. — древнеирландский
булг. — болгарский (булгарско-тюрк- ский)	др.-исл. — древнеисландский
бур. — бурятский	др.-кыргыз. — древнекыргызский
венг. — венгерский	др.-мар. — древнемарийский
вепс. — вепсский	др.-нем. — древненемецкий
в.-луж. — верхнелужицкий	др.-нен. — древнененецкий
вод. — водский	др.-новг. — древненовгородский
вост.-кушит. — восточнокушитский	др.-перм. — древнепермский
вост.-слав. — восточнославянский	др.-перс. — древнеперсидский
герм. — германский	др.-прусс. — древнепруссский
	др.-рус. — древнерусский
	др.-сканд. — древнескандинавский
	др.-слвц. — древнесловацкий
	др.-тюрк. — древнетюркский

* Библиографические сокращения приведены в разделе «Литература». Список не включает некоторые специальные сокращения, вводимые и оговариваемые в тексте отдельных статей, а также стандартные обозначения диалектов в использованных источниках.

др.-уйг. — древнеуйгурский
 др.-фин. — древнефинский
 др.-чуваш. — древнечувашский
 др.-швед. — древнешведский
 евр. — (древне)еврейский
 егип. — египетский
 енис. — енисейский
 жиган. — жиганский (диалект якутского языка)
 ж.-уйг. — язык желтых уйгуров
 забайк. — забайкальский (диалект эвенкийского языка)
 зап.-герм. — западногерманский
 зап.-слав. — западнославянский
 и.-е. — индоевропейский
 ижем. — ижемский (диалект коми-зырянского языка)
 ижор. — ижорский
 и.-ир. — индоиранский
 иран(ск). — иранский
 ирл. — ирландский
 ирон. — иронский (диалект осетинского языка)
 исл. — исландский
 исп. — испанский
 итал. — итальянский
 каз(ах). — казахский
 казым. — казымский (диалект хантыйского языка)
 кайк.-хорв. — кайкавско-хорватский
 калм. — калмыцкий
 кам. — камасинский
 кангат. — кангатский (сибирско-тюркский диалект)
 кар. — карельский
 караг. — карагасский
 караим. — караимский
 кар.-балк. — карачаево-балкарский
 кар.-ливвик. — карельский-ливвиковский (олонецкий)
 кар.-людик. — карельский-людиковский
 картв. — картвельский
 качинск. — качинский (диалект хакасского языка)
 кашуб. — кашубский
 кельт. — кельтский
 кетск. — кетский
 кирг. — киргизский
 ккалп. — каракалпакский

КМ — карагасский диалект маторского языка (по Г. Ф. Миллеру, см. [Helimski 1987])
 койб. — койбальский (диалект камасинского языка; диалект хакасского языка)
 колым. — колымский (диалект юкагирского языка)
 коми-зыр. — коми-зырянский
 кор. — корейский
 коттск. — коттский
 КП — карагасский диалект маторского языка (по П. С. Палласу, см. [Helimski 1987])
 крым-тат. — крымско-татарский
 куман. — куманский (половецкий)
 куманд. — кумандинский (диалект алтайского языка)
 кушит. — кушитский
 кыз. — кызыльский (диалект хакасского языка)
 кыпч. — кыпчакский
 кюэр. — кюэрикский (сибирско-тюркский диалект)
 лат. — латинский
 латыш. — латышский
 леб(ед). — лебединский (диалект алтайского языка)
 лив. — ливский
 ливвик. — ливвиковский (диалект карельского языка)
 лит. — литовский
 людик. — людиковский (диалект карельского языка)
 макед. — македонский
 манс. — мансийский
 маньчж. — маньчжурский
 мар. (Г, Л) — марийский (горный, луговой)
 мат. — маторский
 ММ — собственно маторский диалект маторского языка (по Г. Ф. Миллеру, см. [Helimski 1987])
 монг. — монгольский
 монгор. — монгорский
 морд. (М, Э) — мордовский (мокша, эрзя)
 МСп — собственно маторский диалект маторского языка (по Г. И. Спасско-

- му, см. [Potapov 1957; Helinski 1987: 103-106])
- МТК — маторско-тайгийско-карагаский
- нан. — нанайский
- н.-в.-нем. — нововерхненемецкий
- нган. — нганасанский
- негид. — негидальский
- нем. — немецкий
- нен. (Т, Л, СВ) — ненецкий (тундровый, лесной, старовосточный)
- нивх. — нивхский
- нижнеиусск.-тюрк. — нижнеиусско-тюркский
- ниж.-нем., н.-нем. — нижненемецкий
- н.-луж. — нижнелужицкий
- ног. — ногайский
- ностр. — ностратический
- обд. — обдорский (диалект хантыйского языка)
- об.-угор. — обско-угорский
- общесельк. — общеселькупский
- общетюрк. — общетюркский
- омот. — омотский
- орок. — орокский
- ороч. — орочский
- осет. — осетинский
- ПаннС — панноно-славянский
- перм. — пермский
- перс. — персидский
- пехл. — пехлевийский
- п.-монг. — письменный монгольский
- подкам.-тунг. — подкаменнотунгусский (диалект эвенкийского языка)
- полаб. — полабский
- польск. — польский
- правенг. — правенгерский
- прагерм. — прагерманский
- праи.-ир. — праиндоиранский
- праманс. — прамансийский
- праслав. — праславянский
- приб.-фин. — прибалтийско-финский
- прусс. — прусский
- ПС — прасамодийский
- ПСС — прасеверосамодийский
- ПТ — пратюркский
- ПТМ — пратунгусо-маньчжурский
- ПУ — прауральский
- пумпокольск. — пумпокольский
- ПФ — прибалтийско-финский
- ПФУ — прафинно-угорский
- раннеи.-ир. — раннеиндоиранский
- рун. — рунический, язык рунической письменности
- рус. (арх., том., алт., иркут., челяб., перм., новг., вост.-сиб., енис., забайк., волог., перм., мезен(ск), печерск., кольск., пинежск., шенкурск., вятск., сиб., яросл., воронежск., костромск.) — русский (архангельский, томский, алтайский, иркутский, челябинский, пермский, новгородский, восточносибирский, енисейский, забайкальский, вологодский, пермский, мезенский, печерский, кольский, пинежский, шенкурский, вятский, сибирский, ярославский, воронежский, костромской)
- саам. — саамский
- саг. — сагайский (диалект хакасского языка)
- сам(од). — самодийский
- с.-в.-р. — северо великорусский
- сев.-кар. — северонакарельский
- сев.-самод. — северосамодийский
- сев.-тунг. — северотунгусский
- сев.-фриз. — севернофризский
- сельк. — селькупский
- сем. — семитский
- сиб.-тюрк. — сибирско-тюркский
- синокор. — синокорейский
- скр. — санскрит
- слав. — славянский
- слвц. — словацкий
- словен. — словенский
- словин. — словинский
- согд. — согдийский
- сол. — солонский
- ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
- ср.-греч. — среднегреческий
- ср.-монг. — среднемонгольский
- ср.-н.-нем. — средненижненемецкий
- ср.-перс. — среднеперсидский
- ср.-тюрк. — среднетюркский
- ст.-венг. — старовенгерский
- ст.-готланд. — староготландский
- ст.-дат. — стародатский

ст.-кай
ват
ст.-ли
ст.-ос
ст.-по
ст.-не
ст.-се
ст.-сл
ст.-фи
ст.-фр
ст.-ше
с.-х.
схрв.
тайг.
тамил
таг.
тел(е)
ск
тибет
ТМ
яз
sk
тоб.
би
тодж.
го
томс
би
тоф.
тохар
туб.
яз
тув.
тунг.
тунг.
тур.
турк
тюрк
тюрк
ут(ор
угар.
удм.
удэг.
узб.
уйг.
укр.
ульч
ура

ст.-кайк.-хорв. — старокайкавско-хорватский
 ст.-лив. — староливский
 ст.-осм. — староосманский
 ст.-польск. — старопольский
 ст.-нен. — староненецкий
 ст.-серб. — старосербский
 ст.-сл. — старославянский
 ст.-слвц. — старословацкий
 ст.-фин. — старофинский
 ст.-франц. — старофранцузский
 ст.-швед. — старошведский
 с.-х. — семито-хамитский
 схрв. — сербскохорватский
 тайг. — тайгийский
 тамил. — тамильский
 тат. — татарский
 тел(еут). — телеутский (диалект алтайского языка)
 тибет. — тибетский
 ТМ — тайгийский диалект матурского языка (по Г. Ф. Миллеру, см. [Helimski 1987])
 тоб. — тобольский (диалект языка сибирских татар)
 тодж. — тоджинский (диалект тувинского языка)
 томск. — томский (диалект языка сибирских татар)
 тоф. — тофаларский
 тохар. — тохарский
 туб. — тубинский (диалект алтайского языка)
 тув. — тувинский
 тунг. — тунгусский
 тунг.-маньчж. — тунгусо-маньчжурский
 тур. — турецкий
 туркм. — туркменский
 тюрк. — тюркский
 тюрк.-булг. — тюрко-булгарский
 уг(ор). — угорский
 угар. — угаритский
 удм. — удмуртский
 удэг. — удэгейский
 узб. — узбекский
 уйг. — уйгурский
 укр. — украинский
 ульч. — ульчский
 урал. — уральский

фин. — финский
 финик. — финикийский
 финно-перм. — финно-пермский
 франц. — французский
 ф.-у. — финно-угорский
 хак. — хакасский
 халх. — халха-монгольский
 хант. — хантыйский
 хорв. — хорватский
 хотано-сак. — хотано-сакский
 чаг. — чагатайский
 чак.-хорв. — чакавско-хорватский
 чан. — чанский
 чатск. — чатский (сибирско-тюркский диалект)
 чешск. — чешский
 чув(аш). — чувашский
 чулым. — чулымско-тюркский
 шв(ед). — шведский
 шор. — шорский
 шумер. — шумерский
 эвен. — эвенский
 эвенк. — эвенкийский
 элам. — эламский
 эн. (Т, Л) — энецкий (тундровый, лесной)
 эст. — эстонский
 зуштинск. — зуштинский (сибирско-тюркский диалект)
 юж.-эст. — южноэстонский
 южно-тунг. — южнотунгусский
 юкаг. — юкагирский
 ягноб. — ягнобский
 язьвинск. — язьвинский (диалект коми языка)
 якут. — якутский

Alt. — Altaic
 Ar. — Arabic
 Aram. — Aramaic
 Arm. — Armenian
 Av. — Avestan
 Blr. — Belorussian
 Bulg. — Bulgarian
 Ch(er). — Cheremis (Mari)
 CM — Common Mongolian

- Cz. — Czech
 Drav. — Dravidian
 Eg. — Egyptian
 En. (T, F) — Enets (Tundra, Forest)
 ENHG — Early New High German
 Est. — Estonian
 Ev. — Evenki
 Fi(nn). — Finnish
 FM — Finno-Mordvinian
 FP — Finno-Permian
 FV — Finno-Volgaic
 Germ. — German
 Goth. — Gothic
 Gr. — Greek
 Hit. — Hittite
 Hu(ng). — Hungarian
 IE — Indo-European
 Ilr. — Indo-Iranian
 KangM — Kangat (Siberian-Turkic dialect) after G. F. Mueller
 Kar. — Karelian
 Kartv. — Kartvelian
 Kb. — Koibal
 Km. — Kamassian
 KM — Karagas dialect of Mator (after G. F. Mueller, see [Helimski 1987])
 KP — Karagas dialect of Mator (after P. S. Pallas, see [Helimski 1987])
 KPZ — Karagas dialect of Mator (after P. S. Pallas' «Zoographia», see [Pallas 1811; Kecskeméti 1968])
 Lat. — Latin
 Lith. — Lithuanian
 Lp. — Lapp
 Md. (E, M) — Mordvinian (Erzya, Moksha)
 MHG — Middle High German
 MM — Mator (proper) dialect of Mator (after G. F. Mueller, see [Helimski 1987])
 MontPZ — Karagas («lingua monticolis Sajanensibus») dialect of Mator (after P. S. Pallas' «Zoographia», [Pallas 1811; Kecskeméti 1968])
 MPZ — Mator (proper) dialect of Mator (after P. S. Pallas' «Zoographia», see [Pallas 1811; Kecskeméti 1968])
 Nen. (T, F) — Nenets (Tundra, Forest)
 Ngan. — Nganasan
 OHG — Old High German
 OHu. — Old Hungarian
 OInd. — Old Indic
 Olon. — Olonets (Livvik Karelian)
 OPr. — Old Prussian
 Os. — Ostyak (Khanti)
 Osm. — (Osman) Turkish
 PAA — Proto-Afroasiatic
 Perm. — Permian
 PChad. — Proto-Chadic
 PCush. — Proto-Cushitic
 PFU — Proto-Finno-Ugric
 PIE — Proto-Indo-European
 PNSam. — Proto-North-Samoyedic
 Pol. — Polish
 PSam. — Proto-Samoyedic
 PSem. — Proto-Semitic
 PU, PUr. — Proto-Uralic
 Russ. — Russian
 Sam. — Samoyedic
 SCr. — Serbo-Croatian
 SH — Semito-Hamitic
 Sl(av). — Slavic
 Slk. — Slovak
 Sln. — Slovene
 Tel. — Teleut (a dialect of Altay Turkic)
 TM — Tungus-Manchurian
 TPZ — Taigi dialect of Mator (after P. S. Pallas' «Zoographia», see [Pallas 1811; Kecskeméti 1968])
 Tof. — Tofalar
 Tung. — Tungusic
 Tu(rk). — Turkic
 Ud. — Udehe
 Ug. — Ugrian (Ugric)
 Ukr. — Ukrainian
 Vog. — Vogul (Mansi)
 Vot. — Votyak (Udmurt)
 WM — Written Mongolian
 Yuk. — Yukagir
 Zyr. — Zyrien (Ziryen, Komi)

Ист

(Милле
ф. 1

(МЭ) =

197

(Сп), (С

106

(Т) = д

(С), (К

(D), (E

195

(L) = д

Ап

ААН =

ОР ГГ

Са

РГАД

ЦГАД

Источники

- (Миллер), (Mueller) = данные Г. Ф. Миллера (рукописные материалы в РГАДА, ф. 199, оп. 2); см. также [Helinski 1987].
 (МЭ) = экспедиционные материалы автора (Селькупская экспедиция МГУ, 1970–1977; Энецкая экспедиция МГУ, 1975–1979; полевые записи 1982–1996 гг.).
 (Сп), (Спасский), (Sp) = данные Г. Спасского, см. [Potapov 1957; Helinski 1987: 103–106].
 (Т) = данные Н. М. Терешенко, см. [Терешенко 1956, 1965, 1973, 1979].
 (С), (Кастрен) = данные по [Castrén 1854, 1855, 1857, 1857b; Castrén, Lehtisalo 1960].
 (D), (Donner) = данные К. Доннера, см. [Donner 1920; Donner, Joki 1944; Joki 1936, 1952].
 (L) = данные по [Lehtisalo 1956].

Архивы

- ААН = Архив Академии наук, Санкт-Петербург.
 ОР ГПБ, ПБ = Публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей, Санкт-Петербург.
 РГАДА = Российский государственный архив древних актов, Москва.
 ЦГАДА = Центральный государственный архив древних актов, Москва (→ РГАДА).

Евгений Арнольдович Хелимский

КОМПАРАТИВИСТИКА, УРАЛИСТИКА

Лекции и статьи

Издатель А. Кошелев

Оригинал-макет подготовлен В. Ю. Гусевым

Подписано в печать 15.02.2000. Формат 70х100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. изд. л. 51,6. Заказ № 1846 Тираж 1000.

Издательство «Языки русской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6-105; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-lrc.msk.ru
Каталог в ИНТЕРНЕТ
<http://postman.ru/~lrc-mik>

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография "Наука"».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Zubovskiy b-r, 17, str. 3, k. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order the above titles
by E-mail: Lrc@koshelev.msk.su
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).